
Дина РУБИНА

★ РУССКАЯ КАНАРЕЙКА ★
Трилогия
В ОДНОМ ТОМЕ



Annotation

Кипучее, неизбежно музыкальное одесское семейство и – алма-атинская семья скрытных, молчаливых странников... На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода – блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки.

На исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе «последний по времени Этингер», которому уготована поразительная, а временами и подозрительная судьба.

Трилогия «Русская канарейка» – грандиозная сага о любви и о Музыке – в одном томе.

- [Дина Рубина](#)
 - [Книга первая](#)
 - [Пролог](#)
 - [Зверолов](#)
 - [Дом Этингера](#)
 - [Айя](#)
 - [Леон](#)
 - [Книга вторая](#)
 - [Охотник](#)
 - [Меир, Леон, Габриэла...](#)
 - [Остров Джум](#)
 - [Рю Обрио, апортовые сады](#)
 - [Книга третья](#)
 - [Луковая роза](#)
 - [Love in Portofno](#)
 - [Возвращение](#)
 - [Эпилог](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)

- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)



Дина Рубина

Русская канарейка. Трилогия в одном томе

Книга первая
Желтухин

Пролог

«...Нет, знаете, я не сразу понял, что она не в себе. Такая приятная старая дама... Вернее, не старая, что это я! Годы, конечно, были видны: лицо в морщинах и все такое. Но фигурка ее в светлом плаще, по-молодому так перетянута в талии, и этот седой ежик на затылке мальчика-подростка... И глаза: у стариков таких глаз не бывает. В глазах стариков есть что-то черепашьё: медленное смаргивание, тусклая роговица. А у нее были острые черные глаза, и они так требовательно и насмешливо держали тебя под прицелом... Я в детстве такой представлял себе мисс Марпл.

Короче, она вошла, поздоровалась...

И поздоровалась, знаете, так, что видно было: вошла не просто поглазеть и слов на ветер не бросает. Ну, мы с Геной, как обычно, – можем ли чем-то помочь, мадам?

А она нам вдруг по-русски: “Очень даже можете, мальчики. Ищу, – говорит, – подарок внучке. Ей исполнилось восемнадцать, она поступила в университет, на кафедру археологии. Будет заниматься римской армией, ее боевыми колесницами. Так что я намерена в честь этого события подарить моей Владке недорогое изящное украшение”.

Да, я точно помню: она сказала “Владке”. Понимаете, пока мы вместе выбирали-перебирали кулоны, серьги и браслеты – а старая дама так нам понравилась, хотелось, чтоб она осталась довольна, – мы успели вдоволь поболтать. Вернее, разговор так вертелся, что это мы с Геной рассказывали ей, как решились открыть бизнес в Праге и про все трудности и заморочки с местными законами.

Да, вот странно: сейчас понимаю, как ловко она разговор вела; мы с Геной прямо соловьями разливались (очень, очень сердечная дама), а о ней, кроме этой внучки на римской колеснице... нет, ничего больше не припоминаю.

Ну, в конце концов выбрала браслет – красивый дизайн, необычный: гранаты небольшие, но прелестной формы, изогнутые капли сплетаются в двойную прихотливую цепочку. Особенный, трогательный браслетик для тонкого девичьего запястья. Я посоветовал! И уж мы постарались упаковать его стильно. Есть у нас VIP-мешочки: вишневый бархат с золотым тиснением на горловине, розовый такой венок, шнурки тоже золоченые. Мы их держим для особо дорогих покупок. Эта была не самой дорогой, но Гена подмигнул мне – сделай...

Да, заплатила наличными. Это тоже удивило: обычно у таких изысканных пожилых дам имеются изысканные золотые карточки. Но нам-то, в сущности, все равно, как клиент платит. Мы ведь тоже не первый год в бизнесе, в людях кое-что понимаем. Вырабатывается нюх – что стоит, а чего не стоит у человека спрашивать.

Короче, она попрощалась, а у нас осталось чувство приятной встречи и удачно начатого дня. Есть такие люди, с легкой рукой: зайдут, купят за пятьдесят евро плевые сережки, а после них ка-ак повалят толстосумы! Так и тут: прошло часа полтора, а мы успели продать пожилой японской паре товару на три штуки евриков, а за ними три молодые немочки купили по кольцу – по одинаковому, вы такое можете себе представить?

Только немочки вышли, открывается дверь, и...

Нет, сначала ее серебристый ежик проплыл за витриной.

У нас окно, оно же витрина – полдела удачи. Мы из-за него это помещение сняли. Недешевое помещение, могли вполовину сэкономить, но из-за окна – я как увидел, говорю: Гена, вот тут мы начинаем. Сами видите: огромное окно в стиле модерн, арка, витражи в частых переплетах... Обратите внимание: основной цвет – алый, пунцовый, а у нас какой товар? У нас ведь гранат, камень благородный, теплый, отзывчивый на свет. И я, как увидал этот витраж да представил полки под ним – как наши гранаты засверкают ему в рифму, озаренные лампочками... В ювелирном деле главное что? Праздник для глаз. И прав оказался: перед нашей витриной люди обязательно останавливаются! А не остановятся, так притормозят – мол, надо бы зайти. И часто заходят на обратном пути. А если уж человек зашел, да если этот человек – женщина...

Так я о чем: у нас прилавков с кассой, видите, так развернут, чтобы витрина в окне и те, кто за окном проходит, как на сцене были видны. Ну и вот: проплыл, значит, ее серебристый ежик, и не успел я подумать, что старая дама возвращается к себе в отель, как открылась дверь, и она вошла. Нет, спутать я никак не мог, вы что – разве такое спутаешь? Это было наваждение повторяющегося сна.

Она поздоровалась, как будто видит нас впервые, и с порога: “Моей внучке исполнилось восемнадцать лет, да еще она в университет поступила...” – короче, всю эту байду с археологией, римской армией и римской колесницей... выдает как ни в чем не бывало.

Мы онемели, честно говоря. Если б хоть намек на безумие в ней проглядывал, так ведь нет: черные глаза глядят приветливо, губы в полуулыбке... Абсолютно нормальное спокойное лицо. Ну, первым Гена очнулся, надо отдать ему должное. У Гены мамаша – психиатр с огромным

стажем.

“Мадам, – говорит Гена, – мне кажется, вы должны заглянуть в свою сумочку, и вам многое станет ясно. Сдается мне, что подарок внучке вы уже купили и он лежит в таком нарядном вишневом мешочке”.

“Вот как? – удивленно отвечает она. – А вы, молодой человек, – иллюзионист?”

И выкладывает на витрину сумочку... черт, вот у меня перед глазами эта *винтажная* сумочка: черная, шелковая, с застежкой в виде львиной морды. И никакого мешочка в ней нет, хоть ты тресни!

Ну, какие мысли у нас могли возникнуть? Да никаких. У нас вообще крыши поехали. А буквально через секунду громыхнуло и запылало!

...Простите? Нет, потом такое началось – и на улице, и вокруг... И к отелю – там ведь и взорвалась машина с этим иранским туристом, а? – понаехало до черта полиции и “Скорой помощи”. Нет, мы даже и не заметили, куда девалась наша клиентка. Вероятно, испугалась и убежала... Что? Ах да! Вот Гена подсказывает, и спасибо ему, я ведь совсем забыл, а вам вдруг пригодится. В самом начале знакомства старая дама нам посоветовала канарейку завести, для оживления бизнеса. Как вы сказали? Да я и сам удивился: при чем тут канарейка в ювелирном магазине? Это ведь не караван-сарай какой-нибудь. А она говорит: “На Востоке во многих лавках вешают клетку с канарейкой. И чтоб веселей пела, удаляют ей глаза острием раскаленной проволоки”.

Ничего себе – замечание утонченной дамы? Я даже зажмурился: представил страдания бедной птички! А наша “мисс Марпл” при этом так легко рассмеялась...»

Молодой человек, излагавший эту странную историю пожилому господину, что вошел в их магазин минут десять назад, потолокся у витрин и вдруг развернул серьезнейшее служебное удостоверение, игнорировать которое было невозможно, на минуту умолк, пожал плечами и взглянул в окно. Там карминным каскадом блестели под дождем воланы черепичных юбок на пражских крышах, двумя голубыми оконцами мансарды таращился на улицу бокастый приземистый домик, а над ним раскинул мощную крону старый каштан, цветущий множеством сливочных пирамидок, так что казалось – все дерево усеяно мороженым из ближайшей тележки.

Дальше тянулся парк на Кампе – и близость реки, гудки пароходов, запах травы, проросшей меж камнями брусчатки, а также разнокалиберные дружелюбные собаки, спущенные хозяевами с поводков, общались всей

округе то ленивое, истинно пражское очарование...

...которое так ценила старая дама: и это отрешенное спокойствие, и весенний дождь, и цветущие каштаны на Влтаве.

Испуг не входил в палитру ее душевных переживаний.

Когда у дверей отеля (за которым последние десять минут она наблюдала из окна столь удобно расположенной ювелирной лавки) рванул и пыхнул огнем неприметный «Рено», старая дама просто выскользнула наружу, свернула в ближайший переулок, оставив за собой оцепеневшую площадь, и прогулочным шагом, мимо машин полиции и «Скорой помощи», что, вопя, протирались к отелю сквозь плотную пробку на дороге, миновала пять кварталов и вошла в вестибюль более чем скромной трехзвездочной гостиницы, где уже был заказан номер на имя Ариадны Арнольдовны фон (!) Шнеллер.

В затрапезном вестибюле этого скорее пансиона, нежели гостиницы постояльцев тем не менее старались знакомить с культурной жизнью Праги: на стене у лифта висела глянцевая афиша концерта: некий *Leon Etinger, kontratenor* (белозубая улыбка, вишневая бабочка), исполнял сегодня с филармоническим оркестром несколько номеров из оперы «Милосердие Сципиона» («*La clemenza di Scipione*») Иоганна Христиана Баха (1735–1782). Место: собор Святого Микулаша на Мала-Стране. Начало концерта в 20.00.

Подробно заполнив карточку, с особенным тщанием выписав никому здесь не нужное отчество, старая дама получила у портье добротный ключ с медным брелком на цепочке и поднялась на третий этаж.

Ее комната под номером 312 помещалась очень удобно – как раз против лифта. Но, оказавшись перед дверью в свой номер, Ариадна Арнольдовна почему-то не стала ее отпирать, а, свернув влево и дойдя до номера 303 (где уже два дня обитал некий Деметрос Папаконстантину, улыбчивый бизнесмен с Кипра), достала совсем другой ключ и, легко провернув его в замке, вошла и закрыла дверь на цепочку. Сбросив плащ, она уединилась в ванной, где каждый предмет был ей, похоже, отлично знаком, и, первым делом намочив махровое полотенце горячей водой, с силой провела им по правой стороне лица, стащив дряблый мешок под глазом и целую россыпь мелких и крупных морщин. Большое овальное зеркало над умывальником явило безумного арлекина со скорбной половиной старушечьей маски.

Затем, поддев ногтем прозрачную клейкую полоску надо лбом, старая дама совлекла седой скальп с абсолютно голого черепа – замечательной,

кстати сказать, формы, – разом преобразившись в египетского жреца из любительской постановки учеников одесской гимназии.

Левая сторона морщинистой личины оползла, как и правая, под напором горячей воды, вследствие чего обнаружилось, что Ариадне Арнольдовне фон (!) Шнеллер неплохо бы побриться.

«А недурно... ежик этот, и старуха чокнутая. Удачная хохма, Барышне понравилось бы. И педики смешные. До восьми еще куча времени, но – распеться...» – подумала...

...подумал, изучая себя в зеркале, молодой человек самого неопределенного – из-за сублильного сложения – возраста: девятнадцать? двадцать семь? тридцать пять? Такие гибкие, как угорь, юноши обычно исполняли женские роли в средневековых бродячих труппах. Возможно, поэтому его часто приглашали петь женские партии в оперных постановках, он бывал в них чрезвычайно органичен. Вообще, музыкальные критики непременно отмечали в рецензиях его пластичность и артистизм – довольно редкие качества у оперных певцов.

И думал он на невообразимой смеси языков, но слова «хохма», «ежик» и «Барышня» мысленно произнес по-русски.

На этом языке он разговаривал со своей взбалмошной, безмозглой и очень любимой матерью. Вот ее-то как раз и звали Владкой.

Впрочем, это целая история...

...А по-другому его в семье и не называли. И потому, что многие годы он поставлял животных ташкентскому и алма-атинскому зоопаркам, и потому, что это прозвище так шло всему его жилисто-ловчему облику.

На груди у него спекшимся пряником был оттиснут след верблюжьего копыта, вся спина исполосована когтями снежного барса, а уж сколько раз его змеи кусали – так то и вовсе без счету... Но он оставался могучим и здоровым человеком даже и в семьдесят, когда неожиданно для родных вдруг положил себе умереть, для чего ушел из дому так, как звери уходят умирать, – в одиночестве.

Восьмилетний Илюша эту сцену запомнил, и впоследствии она, очищенная памятью от сумбура восклицаний и сумятицы жестов, обрела лаконичность стремительно завершенной картины: Зверолов просто сменил тапочки на туфли и пошел к дверям. Бабушка кинулась за ним, привалилась спиной к двери и крикнула: «Через мой труп!» Он отодвинул ее и молча вышел.

И еще: когда он умер (заморил себя голодом), бабушка всем рассказывала, какая легкая у него была после смерти голова, добавляя: «Это потому, что он сам умереть захотел – и умер, и не страдал».

Илюша боялся этой детали всю свою жизнь.

* * *

Вообще-то звали его Николай Константинович Каблуков, и родился он в 1896 году в Харькове. Бабушкины братья и сестры (человек чуть ли не десять, и Николай был старшим, а она, Зинаида, – младшей, так что разделяли их лет девятнадцать, но душевно и по судьбе он всю жизнь оставался к ней *ближайшим*) – все родились в разных городах. Трудно понять, а сейчас уже никого и не спросишь, каким ненасытным ветром гнало их папашу по Российской империи? А ведь гнало, и в хвост и в гриву. И если уж мы о хвосте и о гриве: лишь после распада Советской державы бабушка посмела оголить кусочек «страшной» семейной тайны: у прадеда,

оказывается, был свой конный завод, и именно что в Харькове. «Как к нему лошади шли! – говорила она. – Просто поднимали головы и шли».

На этих словах она каждый раз поднимала голову и – высокая, статная даже в старости, делала широкий шаг, плавно поводя рукой; в этом ее движении чудилась толика лошадиной грации.

– Теперь понятно, откуда у Зверолова страсть к ипподромам! – однажды воскликнул на это Илья. Но бабушка глянула своим знаменитым «иваногрозным» взглядом, и он заткнулся, дабы старуху не огорчить: вот уж была – хранительница семейной чести.

Вполне возможно, что разгулянная прадедова повозка тряслась по городам и весям вперегонки с неумолимым бегом бродяжьей крови: самым дальним известным его предком был цыган с тройной фамилией Прохоров-Марьин-Серегин – видать, двойной ему казалось мало. А Каблуков... да бог знает, откуда она взялась, немудреная эта фамилия (еще и тем оскандаленная, что одна из двух алма-атинских психушек, та, что на одноименной улице, одарила эту фамилию нарицательным смешком: «Ты что, с Каблукова?»).

Возможно, тот же предок откаблучивал и выкаблучивал под гитару так, что летели набойки от каблуков?

В семье, во всяком случае, бытовали ошметки никому не известных, да и просто малопристойных песенок, и все их мурлыкали, от мала до стара, с характерным надрывом, не слишком вдаваясь в смысл:

Цыган цыганке говорит:
«У меня давно стоит...
Эх, ды – на столе бутылочка!
Давай выпьем, милочка!»

Было кое-что поприличнее, хотя и на ту же застольную тему:

Ста-а-кан-чи-ки гра-ане-ны-ия
Упа-а-али со-о стола...

Эту Зверолов и сам любил напевать под нос, когда канареечные клетки чистил:

Упа-али и раз-би-ли-ся –

Разби-илась жизнь моя...

Канарейки были его страстью.

По четырем углам столовой от пола до потолка громоздились клетки.

Приятель у него в зоопарке работал, мастер изумительный. Каждая клетка – маленький ажурный дом, и каждая – наособицу: одна – как резная шкатулка, другая – точь-в-точь китайская пагода, третья – собор с витыми башенками. А внутри вся обстановочка, заботливое кропотливое хозяйство для певчих жильцов: «купалка» – воротца, наподобие футбольных, с дном из оргстекла, и поилка – сложно устроенная штука, куда вода поступала из резервуара; менять ее надо было каждое утро.

Но главное – кормушка: деревянный ящичек, куда засыпали пшено с просом. Хранился корм в ситцевом мешочке, перетянута на горловине серебряной тесьмой от новогоднего подарка из раннего Илюшиного детства. Мешочек зеленый, с оранжевыми цветами, и совок к нему привязан, тоже – младенческий лепет... ..бред, почему это помнится?

И ясно, очень ясно помнится бровастое носатое лицо Зверолова, заштрихованное тонкими прутьями птичьей клетки. Глубоко посаженные черные глаза с выражением требовательного любования и в каждом – по желтому огоньку скачущей канарейки.

И тюбетейка! Он всю жизнь их носил: четырехгранные чустские «дуппи» – твердые коробочки, с про стеганными белой ниткой перцами-каламбир, самаркандские «пилтадузи», бухарские золотошвейные... Самые разные тюбетейки, любовно вышитые женской рукой. Вокруг него всегда вилось множество женщин.

Он бегло говорил по-узбекски и по-казахски; если брался готовить плов, от чада нечем было дышать, и морковь прилипала к потолку, но получалось вкусно.

Чай пил только из самовара и не меньше семи эмалированных кружек за вечер – чашек не признавал. Если бывал в хорошем настроении, много шутил, смеялся громоподобно и заливисто, со смешными всхлипами и канареечной фистулой на высоких нотах; вечно сыпал какими-то никому не известными прибаутками: «Деревня Юшта! Вот глушь-то!» – и при каждом удобном случае, будто фокусник, извлекал из памяти подходящий огрызок стихотворения, изобретательно меняя по ходу рифму, если вдруг слово забудется или по смыслу не личит.

Илюша лазал по Зверолову, как по дереву.

Гораздо позже, узнав о нем кое-что еще, Илья припоминал отдельные жесты, взгляды и слова, запоздало наделяя его личность не затоптанными, тлеющими и в поздние годы страстями.

Вообще, было время, когда он много думал о Зверолове, раскапывая какие-то замороженные простодушной детской памятью воспоминания. Например, как из шашлычных палочек тот плел корзинки для канареечных гнезд.

Палочки они вместе собирали в траве у соседней шашлычной, потом долго мыли их под колонкой во дворе, соскабливая затверделый воск давнего жира. После чего великанские пальцы Зверолова пускались в замысловатый танец, выплетая глубокие корзинки.

– Разве гнезда такие – как короб? – спрашивал Илюша, внимательно следя за ловким большим пальцем, что без усилия сгибал алюминиевое копьё и легко продевал его под уже сплетенный каркас.

– Иначе яички выпадут, – серьезно пояснял Зверолов; всегда подробно растолковывал – что, как и зачем делает.

На готовый каркас накручивались кусочки верблюжьей шерсти («чтоб малыцы не замерзли») – а если шерсти не было, выковыривался из старого, еще военных лет ватника желтый комковатый ватин. Ну, а поверх всего вязались полоски цветной материи – тут уже бабушка доставала щедрой рукой лоскуты из своего заветного портновского тючка. И гнезда выходили праздничные – ситцевые, сатиновые, шелковые, – очень цветные. А дальше, говорил Зверолов, птичья забота. И птицы «наводили уют»: устилали гнезда перышками, кусочками бумаги, выискивали клубки бабушкиных «цыганских» волос, вычесанных поутру и случайно закатившихся под стул...

– Поэзия семейной жизни... – умиленно вздыхал Зверолов.

Яички получались очень милые, голубовато-рябенькие; их можно было рассматривать, только если самка выбиралась из гнезда, но трогать запрещалось. А вот птенцы выклевывались страшные, похожие на Кощея Бессмертного: синеватые, лысые, с огромными клювами и водянистыми выпуклыми глазами. Скоро они покрывались пухом, но страшными оставались еще долго: новорожденные драконы. Иногда выпадали из гнезд: «Эта самочка неопытная, вишь, сама их роняет», – а бывало, какой-нибудь помирал, и Илюша, заметив окоченевший трупик на полу клетки, отворачивался и зажимурился, чтобы не видеть белесой пленки на закатившихся глазах.

Зато подросших птенцов ему разрешалось кормить. Зверолов разминал

яичный желток, смешивал с каплей воды, поддевал кашу спичкой и точным движением вдвигал ее птенцу прямо в разинутый клюв. Все птенцы почему-то норовили купаться в поилках, и Зверолов объяснял Илюше, как их надо учить, откуда пить, а где купаться. Любил качать в ладонях; показывал – как брать, чтоб, не дай бог, не причинить птахе боли.

Но все эти ясельные заботы меркли перед волшебным утренним мигом, когда Зверолов – уже проснувшийся, бодрый, ранне-трубный (он сморкался в большой клетчатый платок так, что бабушка затыкала уши и восклицала всегда одно и то же: «Труба иерихонская!» – за что немедленно получала в ответ: «Ослица Валаамова!») – выпускал всех канареек из клеток полетать. И воздух становился джунглевым: плотным, переливчатым, желто-зеленым, веерным... и немного опасным; а Зверолов стоял посреди комнаты – высоченный, прямо Колосс Родосский (это опять бабушка) – и нежным воркотливым басом с внезапным фистульным писком вел с птицами беседы: щелкал языком, цокал, губами вытворял такое, что Илюша хохотал, как безумный.

И еще утренний номер был: Зверолов смешно поил птиц из рта: набирал в рот воды, принимался «гулить и горлить», чтоб их привлечь. И они слетались к его губам и пили, младенчески закидывая голову. Так весной птицы слетаются к могучему дереву с высоко прибитым скворечником. Да и сам он, с закинутой головой, становился похож на гигантского птенца какого-нибудь птеродактиля.

Бабушке это не нравилось, она сердилась и повторяла, что птицы – переносчики опасных заболеваний. А он лишь смеялся.

Все птицы пели.

Илюша различал их по голосам, любил смотреть, как дрожит у канарейки горлышко на особо громких трелях. Иногда Зверолов разрешал положить палец на поющее горло – пальцем слушать пульсирующую россыпь. А петь учил их сам. Было у него два способа: собственное громкое пение русских романсов (птицы подхватывали мелодию и подпевали) – и пластинки с голосами птиц. Пластинок было четыре: аспидно-черные, с бегущим по кругу кинжальным просверком, с розовыми и желтыми сердцевинами, где мелкими буквами указывалось, какие птицы поют: синицы, славки, дрозды.

– Из чего состоит ценная песня благородного певца? – вопрошал Зверолов. Мгновение держал паузу, после чего бережно ставил пластинку

на проигрыватель и осторожно пускал иглу в ее зачарованное кружение. Из далекой тишины голубых холмов рождались и звонкими ручьями приплывали, потренькивая по камушкам, вычиркивая-вызывая и дробно-серебристо роясь в воздухе, птичьи голоса.

Илюша наперечет знал колена песни русской канарейки; умел уже отличить «светлую овсянку» от «горной», «подъемной» – когда, начиная петь в низком регистре, постепенно, будто в гору поднимаясь, певец вытягивает песню наверх, на запредельные трели с замирающей сладостью звука (а ты боишься, не оборвет ли) и долго держит трепетное «и-и-и-и», переводя его то на «ю-ю-ю-ю», то на «у-у-у-у», а после короткого вздоха выдыхает полный и круглый звук («Кнорру пустил!» – шепотом замечал Зверолов) – и заканчивает низкими, нежно-вопросительными свистками.

На ночь клетки покрывали платками и шальями, и сразу в комнате становилось очень-очень тихо. Последней жизнь шорохов замирала не в клетках, а в огромном шкафу, где обитал...

Вот... теперь, хочешь не хочешь, придется вспомнить о Желтухине Втором и, главное, о дубовой резной исповедальне, что служила ему домом.

* * *

В столовой, помимо клеток по углам, стояли тахта и круглый обеденный стол со стульями, а также большая зеленая кадка, где росла финиковая пальма, выращенная бабушкой из косточки. В сущности, эта светлая комната выглядела бы вполне просторно (бабушка не любила «громоздить барахло»), если б не странное монументальное сооружение у «слепой» стены, похожее на орган без труб или надгробие епископа.

Это была исповедальня, выброшенная из ташкентского костела за ненадобностью, когда тот перестраивали – то ли в овощехранилище, то ли еще в какой-то склад. Бабушка утверждала, что Зверолов (он и жил тогда в Ташкенте) притащил к себе исповедальню на закорках. Это, положим, выглядело подвигом Геракла – без грузовика и пары грузчиков там вряд ли обошлось, – но уж как-то доставил, ибо сразу решил, что сей таинственный грот, хранящий отзвуки грехов и страстей человеческих, должен стать обителью Желтухина Второго, его любимого кенаря.

– Почему Второй? – спросил однажды Илюша. – И где же Первый?

– Первый в бозе почил, – вздохнул Зверолов, и мальчик представил эту

самую «бозю» в виде той же исповедальни, только лежащей на боку и похожей на деревянный лакированный саркофаг, где лакированным клювом вверх, пугающе неподвижный, как мумия фараона, *почил Желтухин Первый.*

Все дело в том, что Желтухин Второй был – в отличие от остальных зеленых канареек овсянистого напева – желтым и ослепительно гениальным. Свою песню инкрустировал каскадом вставных колен. Пел с открытым клювом, в манере сдержанной страсти, виртуозно меняя тональность и силу звука, «балуясь»: то проходя низами, то поднимая тон, то сводя звук к обморочному зуммеру, трепещущим горлом припадая к тончайшей тишине. Не было случая, чтоб оскорбил он свое искусство акустической грубостью или вдруг громче крикнул, чем это было уместно. Зверолов уверял, что на любом мировом конкурсе, ежели бы на та кой попасть, Желтухин Второй обязательно отхватил бы первый приз.

Как сладко было просыпаться утром под его песню...

Начинал он синичкой-московкой: *«Стыдись-стыдись-ты! Стыдись-стыдись-ты!»* – словно укорял Илюшу-засоню. И, как бы не веря в то, что мальчик сейчас же вскочит, на ироническом выдохе проборматывал: *«Скептически-скептически... скептически-скептически...»*

О, Илюша мог часами толмачить *разговоры-канары* птичьего народца. Желтухин, когда еще к песне не приступал, выщелкивал такие речи! *«Нетеберассказывать!» «Незадавайвопросов!»* И после секундного размышления, решительно и четко: *«Предпринял, предпринял!..»* – затем следовала попискивающая нить многоточия и:

«Воттеперьуходи... воттеперьуходи-и-и...»

А дальше гневным стрижом: *«Щщассвыстрелю!!!*

Щщассвыстрелю!!!»

И наконец плавно переходил на россыпи...

Из мечтательного далека, из звукового небытия вытягивал и вил нежную, еле уловимую «червячную» россыпь: стрекот кузнечика в летний зной. Хотя коронной его была редкая в пении канарейки россыпь *серебристая*: витая блескучая нить, на слух – разноцветная, желто-зеленая... А там уже катились «смеющиеся овсянки», с их потешными «хи-хи-хи-хи» да «ха-ха-ха-ха», подстегнутыми увертливой скороговоркой флейты. И вдруг выворачивал он на звонкие открытые бубенцы, и те удалялись и приближались опять, будто старинная почтовая тройка кружила в поисках тракта... А заканчивал «отбоями»: «Дон-дон! Цон-цон!..

Дин-динь!» – колокольцы в морозном воздухе зимнего утра.

Вообще, изобретательность его композиторского дара не знала границ. Одну и ту же тему он варьировал, перерабатывая ее по ходу исполнения, с филигранной точностью и грациозным изяществом вплетая в нужное колено.

Но бывало, в конце длинной и пылкой арии брал крошечную паузу и вдруг на одном дыхании выдавал «Стаканчики граненые», хитро кося на хозяина черным своим глазком-бусиной, отчего Зверолов хохотал и плакал одновременно, сморкаясь в платок, качая головой и повторяя:

– Ах ты ж, боже мой, какой артист! Сколько иронии, блеска, страсти!

И утверждал, что это – самый безгрешный голос, когда-либо звучавший в исповедальне, «сей обители грехов и печалей».

2

Дом стоял на окраине Алма-Аты, у самых гор, в апортовых садах Института плодоводства и виноградарства, где когда-то работала бабушка Зинаида Константиновна. Чуть ли не за калиткой начинался виноградник – бетонные столбики с натянутой между ними проволокой, увитой мозолистой шершавой лозой.

Справа тянулся бетонный забор за шеренгой серебристых тополей, раскидистых и светлых, с большими, в две женские ладони, плескучими листьями; за ним – дощатая беленая помойка, над которой в летние дни бушевала беспощадная хлорная вонь. А дальше слева, и справа, и вокруг простирались сады, и уж они были безбрежны и благоуханны.

Путь до нижнего края занимал целый час, а если пойти направо, вдоль гор, – еще часа полтора. Они просто назывались так: апортовые сады, но, помимо яблонь, в огромных этих угодьях были малиновые, смородиновые и клубничные поля, несметное количество дикой ежевики, терна и барбариса, карагачевые и тополиные аллеи, когда-то высаженные как снегозащитные полосы, и богатейшие россыпи грибов – шампиньонов, дождевиков, синих степных, а под карагачами – голубоватых вешенок.

Еще была поляна, обсаженная пирамидальными, с недовольным вороньем в кронах, прямыми и темными тополями, где Илюша играл с одноклассниками в футбол, а после – вспотевший, возбужденный, ошпаренный солнцем – бежал купаться «в поливные краны»: вокруг них всегда собиралось небольшое озерцо ледяной даже летом воды.

Вечером, часам к девяти, налетал ветер с гор, властно вплетая сильные

плодотворящие струи в любовные испарения садов, будоражил и нежил листву.

И всегда висел над садами, то потрескивая и вибрируя от зноя, то разбухая – особенно весной после дождя, – терпкий слоистый запах, вернее, пестрый ковер из неопишуемых горных запахов: шалфея, душицы, лаванды, сладковатого красного клевера и лесных фиалок, что росли в укромных уголках сада.

К травным и древесным примешивались острые запахи животных – лисы, ежа, каких-то полевых грызунов; понизу стлались вязкий холодный запах тины и сырой дух грибницы и влажной земли.

И запах полыни... Ее много вокруг было, и в садах, и возле дома: красной, белой, серебристой... Бабушка ее любила, и каждую весну полынные веники развешивались на стенах кухни и веранды.

Но главное, по всей округе воздух закипал всепобеждающим ароматом яблок сорта апорт.

Апорт называли символом Алма-Аты: яблоко весило чуть не килограмм. Гигантские, круглые пахучие плоды, красно-полосатые от малинового до бордового, с зеленоватой кисло-сладкой сердцевинкой – они до февраля могли храниться просто в серванте. Бабушка рассказывала, что раньше их продавали с телег, высланных сеном, – горы пунцовых яблок, покрытых тонким слоем воска.

На вокзалах апорт ведрами выносили к поездам, ведрами продавали на подходе к базару; золотисто-малиновыми курганами пузатились прилавки фруктовых рядов на Зеленом базаре.

На улице Абая, где яблони росли вдоль арыка, роняя в воду плоды, а те плыли, плыли, стремительно кружась, как поплавки, и скапливались у коллектора, можно было просто опустить руку в холодную воду и выудить самое красное, самое пахучее и уже мытое яблоко: бери и надкусывай, успевай лишь отирать ладонью сладкий сок с подбородка.

А на складе Института плодоводства (был это просто гигантский земляной ангар, одна лишь крыша над поверхностью земли) работала тетя Тамара, которой, по тайному мнению Илюши, очень эта работа подходила. Мужеподобная, почти лысая – так что в полутьме подвала ее череп, склоненный над горой яблок, и сам напоминал розоватый, особо уродившийся апорт, – она выуживала плоды из круглобоких курганов, сортировала и укладывала в опилки, в ящики, а некоторых красавцев – в вощеную бумагу и в отдельные коробки. Затем рабочие вытаскивали их наверх, и полные алого золота, пурпура и янтаря коробки стояли во дворе на снегу в ожидании грузовиков. Куда и к кому они в конце концов

приплывали, райские эти плоды?

Бабушка – она занималась и апортом тоже – однажды объяснила, что сорт этот – воронежский; просто в тамошнем климате яблоки не разрастались столь чудесным образом, как здесь, в предгорьях Алма-Аты. И добавила, что срок жизни любого сорта яблок – лет сорок, после чего им снова нужно заниматься: се-лекци-они-ро-вать. А зачем, думал Илюша: сорок лет – это ж какая даль незаглядная! Это ж коммунизм давно будет, не то что – яблоки.

В Институте бабушка уже не работала, но продолжала его «курировать»: приходила в свою лабораторию виноделия, обсуждала с учениками и бывшими коллегами результаты опытов, проверяла чистоту химической посуды. Сады, виноградник, поля, снегозащитные аллеи и, кажется, даже дощатую помойку она воспринимала как свое хозяйство: строго расспрашивала сторожей на лошадях, осматривала виноград и яблони, следила за тем, как проходит полив.

Илюша с раннего детства сопровождал бабушку в ее «инспекциях». Привык послушно вкладывать руку в ловушку сильной и жесткой бабушкиной руки – почему-то она любила всегда чувствовать руку мальчика у себя в ладони; привык слушать бабушкины объяснения всему вокруг. Годам к шести знал от нее много неожиданных, необычных и «взрослых» явлений природы и мира.

Бывало, остановится она внезапно и спросит:

– Знаешь, как найти Гнилой угол?

– Гни-лой? – удивляется Илюша. – А где он?

– Да на небе, – говорит бабушка. – Такое место на небе, на северо-западе. Мы в полукольце гор, понимаешь? Получается, ветер попадает к нам только с северо-запада. Там и тучи скапливаются, оттуда и все дожди приходят. Если хочешь узнать, что за погода будет через час-другой, – ищи глазами Гнилой угол...

Во-о-он он, над школой...

Все улицы в округе, носящей странное название Экспериментальная база, были застроены неказистыми частными домиками, и по каждой можно было прийти к школе. За школой – тоже неказистой, типовой трехэтажной, с футбольным полем и сарайным зданием мастерских – протекала речка, Большая Алматинка; за ней тянулись пригороды и поселки. А дальше холмились предгорья, заселенные кладбищами и дачами. С них начинался подъем в настоящие горы, в Алатау.

Почему-то назывались эти предгорья по-базарному, «прилавками»,

и каждой весной Илюша с бабушкой ходили туда за подснежниками.

Он поднимал голову и вглядывался в небо, где вообще не было никаких углов, одни лишь громады опалово-белых облаков. Они сталкивались друг с другом, внедряясь в боевые ряды противника. Белая конница настигала врага и валила, опрокидывая колесницы, бесшумно взрываясь клубами небесных петард. А из свалки выползал длинный кудрявохребетный дракон с надорванным брюхом, истекающим сизо-черным дымом, и медленно умирал, волоча за собой темные клочья тлеющих на закате внутренностей...

* * *

За садом смотрел Абдурашитов – тощий уйгур с узкими желтыми глазами на смуглом лице без малейшего намека на растительность. Он бы выглядел и совсем молодым, если б не клетчатая от морщин длинная шея. Ходил враскачку на кривоватых ногах, руки носил вдоль туловища, не размахивая, и казалось, что выросли они у него лишь затем, чтоб поводить держать. Когда сидел на лошади, казался очень ловким; спустившись с коня, запутывался в собственной походке. Был обременен большой девчачьей семьей – аж девять дочерей, рожденных, как говорила бабушка, «в затылочек друг другу». Так в весенней капели одна за другой падают большие неторопливые капли: все были крупными, волоокими задумчивыми девочками.

Пятая, Аида, лет через двадцать выкормит своим молоком новорожденную дочь Ильи, осиротевшую через час после рождения.

Со времен «инспекций» осталась фотография – та, что и сейчас смотрит с полки бабушкиного бюро: Илюша с бабушкой стоят, как плывут, в ажурной тени еще голых струнных тополей. Она крепко держит внука за руку, то ли спасаясь от качки в волнах света, то ли боясь, что мальчик деру даст, а над ними мачтой возвышается Абдурашитов на лошади. На фото не видать, что лошадь – рыжая, с черной гривой (бабушка говорила – саврасая), такая же блекло-рыжая, как галифе на стороже. И судя по его одежде, по мягким азиатским сапогам, овчинной душегрейке поверх клетчатой рубахи, по казахской войлочной шапке, это ранняя весна; зимой он носил ватник и кирзовые сапоги.

А снимал, вероятно, Разумович – «богато разносторонний человек».

Вслед за бабушкой Илюша называл Разумовича «учеником», хотя неясно было, где и когда тот у нее учился. Он *принял лабораторию* после ухода бабушки на пенсию и считался другом семьи. Нервный, преданный, непременно с кем-нибудь выяснял отношения, говорил пылкими рваными фразами, пересыпая речь непонятным словом «конеццитаты»:

– Я, Зинаида Константиновна, не понимаю! Зачем ждать, пока крыша провалится! Пришлю в среду Николая! Он покроет жестью вашу веранду! Конеццитаты! – Или: – Лаборанты распустились: Нина уходит в декрет! Сема непременно должен к матери ехать! Работать некому! Конеццитаты!

Разумович часто их навещал, но приходил старался в отсутствие Зверолова. По словам бабушки, они «почему-то находились в конфронтации». А тут и гадать незачем – все ж и так ясно: Разумович был оголтелым меломаном, сам играл на флейте, вечно где-то что-то «репетировал» и время от времени выступал на концертах каких-то любительских ансамблей. Появляясь у них с бабушкой после очередной воскресной репетиции, Разумович даже не пытался раскрыть футляр, не то чтоб инструмент из него извлечь.

Виной всему были канарейки: Зверолов пуще глаза берег их от «нежелательных влияний». Особенно Желтухина Второго – тот вообще сидел в своей исповедальне в настоящем карантине, потому что был для остальных самцов *учителем*, «старкой». К нему подсаживали молодых кенарей – учиться настоящей песне.

Так что флейта Разумовича была самым что ни на есть «нежелательным влиянием».

– Еще чего! – заявлял Зверолов. – Вначале флейта, потом телефон зазвонит, потом керосинщик запоет, а потом мы до крика ишака докатимся. – И если бабушка, сурово поджимая губы, пыталась выступить в защиту «ученика» и его «разносторонних интересов», особенно ненаглядной флейты, Зверолов вытягивал указательный палец в сторону исповедальни и громко декламировал:

Флейты свищут, клеветают и злятся,
Что беда на твоём ободу!..

Однажды Илюша слышал, как Разумович пробормотал себе под нос, пожимая плечами, что, мол, не дом это, а «сухая канареечная чума, конеццитаты!...».

Там же, в садах, выпасала своих коз старая казашка баба Марья – маленькая, в накрученном на голову белом платке, в бархатной жилетке и длинной юбке, с большим, круглым, очень морщинистым лицом. Ее дикий русский язык Илюше был непонятен и смешон, но бабушка понимала все и очень нежно с ней разговаривала. Иногда вполголоса упоминала, что Марьян муж, с тех пор как вернулся с войны и из лагерей, бьет ее смертным боем.

– За что? – тревожно спрашивал Илюша, оглядываясь на приветливо кивающую вслед им старуху: отойдешь на тыщу километров, обернешься, – а она все кивает и кивает.

– Контузия, – коротко бросала бабушка.

С бабой Марьей, вернее, с ее стадом, был связан дикий случай, тот, что потом бабушка именovala «скачками на козле», а Илюша сердился, краснел и тарашил глаза, чтобы влага стыда и обиды не выкатилась на щеки. Это Зверолов уговорил Илюшу покататься на козле. Уверял, что в древней Элладe (они как раз вечерами читали «Легенды и мифы Древней Греции») на олимпиадах был такой вид соревнований. И, продолжая уговаривать заробевшего мальчика, поднял его под мышки, пронес канарейкой по воздуху и опустил на козла. Тот постоял, разбежался, резко наклонил голову и скинул Илюшу под откос, в валуны, оставшиеся от давнего селя. Так в них бедный Илюша и застрял – головой вниз. Громко причитая и охая смущенным басом, Зверолов его вытащил за ноги, и долго они обмывали у поливного крана ссадины и кровоподтеки. А потом очень долго шли домой через сады – молча, как чужие. Только перед самым крыльцом Зверолов попросил ничего не говорить «нашей грозной хозяйке». И Илюша кивнул – конечно же, ничего-ничего. Хотя было очень больно и хотелось пожаловаться. Но он Зверолова не выдал, а скандал – грандиозный! – все равно состоялся по полной домашней программе: темперамента и склонности к жестам и драматическим сценам (ау, цыганский предок Прохоров-Марьян-Серегин!) в семействе было с избытком.

Тут надо наконец пояснить, что Зверолов не обитал у сестры постоянно, хотя и жил подолгу: последняя женщина, к которой его прибило, занудная старая учительница Елена Матвеевна, занимавшая комнату в коммуналке где-то в районе Зеленого базара, в конце концов выгнала его вместе со всеми канарейками. Да и то: канареек было штук двадцать, не помещались они в тесной комнате. А у сестры Зинаиды все уживались естественно и уютно: канарейки, ужи-ежи, величественная исповедаля, а в ней – Желтухин Второй с наследной семейной песенкой про «стаканчики граненые» и с грезами о тезде, что давно *в бозе почил*.

А еще раньше Зверолов жил в Ташкенте, и это тоже отдельная глава его одиссеи, смешно и не без злорадства пересказываемая бабушкой. Якобы однажды он там обнаружил пустующий участок на берегу Салара и незаконно его занял. («Простодушно!» – поправлял Зверолов; «Незаконно!» – упрямо уточняла бабушка. Илюша в этом месте ее рассказа всегда представлял Зверолова на берегу *пустынных волн* Салара, в позе Петра, с рукой простертой: «Здесь будет город заложен назло надменному соседу!»)

На незаконном участке он простодушно построил дом, вырыл бассейн и напустил в него золотых рыбок, которые выросли до размера окуней; высадил чуть ли не пятьдесят сортов гладиолусов – от белоснежных до почти черных, цвета жженой пробки – и установил переносной туалет. («Простодушно?» – «Конечно, простодушно, мой ангел!») Еще одна навязчивая страсть, добавляла бабушка: ему почему-то нравилось этот туалет переставлять. Так и носился по участку с переносным туалетом.

– В конце концов, – подытоживала она, делая последнюю стежку, склоняя к шитью чернокосую корону и перекусывая нитку, – в конце концов земля понадобилась горсовету, и дом отобрали, а наш герой в свои шестьдесят пять лет остался бездомным.

Ну и отлично, втайне полагал Илюша, а то совсем было бы скучно жить. Зверолов же со своими канарейками, прибаутками, песенками, громоподобными утрами, внезапными исчезновениями и столь же внезапными появлениями очень украшал жизнь их, как говорил он, «сильно усеченного семейства».

Бабушка сердилась, когда это слышала. Тема усеченного семейства была запретной. Например, нельзя было спрашивать о смерти Илюшиных родителей – вернее, об их отсутствии. (Благопристойную смерть родителей в авиакатастрофе Илюша открыл в своих мечтаниях случайно, просто однажды натолкнулся на нее: ведь у каждого человека есть мама и папа? ну, хотя бы одна мама? ну, должны же они были куда-то деться, если сейчас их

нет? – и постепенно смерть родителей проросла и отвердела страшными и втайне желанными деталями.)

На деле бабушка просто запрещала ему задавать любые вопросы на эту тему. Сухощавая, опрятная, всегда пахнувшая какой-то лавандовой водой, которую сама и настаивала, с гладко выплетенной и выложенной надо лбом косой, черной даже в старости, была она человеком властным, прямолинейным и без воображения. Всякие детские «почему» и прочие «несдержанности» угрюмо игнорировала или обрывала простым кратким «помолчи!». Трудновато с ней приходилось. Бывало, проснувшись в плохом настроении, не разговаривала с внуком до полудня, так что он озадаченно пытался припомнить, не натворил ли чего. Илюша был крепеньким вихрастым мальчиком с дивными шоколадными глазами, тихо излучавшими мудрую кротость. Бабушку он не то что боялся, но предпочитал не будоражить этот вулкан, по собственному опыту зная силу его извержений.

...Итак, они умерли. Это хорошо. Спокойно. Туманных родителей он по умолчанию похоронил. Гибель матери хотелось бы как-то расцветить; мать представлялась мальчику полной противоположностью бабушке: нежно-воздушной полноватой блондинкой с розовым маникюром на нежных пальцах. Да, что-нибудь такое. Но все натыкалось на тайну, на отсутствие деталей. А что можно выдумать про человека, о котором не знаешь ничего – ни цвета волос или глаз, ни как она училась, ни даже любила ли кататься на коньках, как он, Илюша, любит?

Однажды он слышал утреннюю перебранку бабушки со Звероловом, но было то на пробуждении, на переходе в яркую россыпь канареечного пения, так что все могло оказаться и продолжением сна. Его и разбудило бабушкино отрывистое, на взрыде: «...его мать!!!» – и еще какое-то сложное слово, связанное почему-то с кашей, с манной крупой. Что-то... «манка»? «Нимфоманка»? И в ответ ей Зверолов:

– Ты безумна, Зинаида, бог тебя накажет!

– Он меня уже наказал!

А однажды – это было в первом классе, когда бабушка забрала его из школы и они шли к автобусной остановке, – Илюша заметил высокую, очень худую тетеньку, шедшую вровень с ними по другой стороне улицы. Заметил, потому что, слегка их обгоняя, она неотрывно смотрела на мальчика и раза три даже натыкалась на прохожих.

А когда Илюша обратил бабушкино внимание на странную тетеньку, бабушка обернулась и, больно вцепившись ему в руку (он почувствовал, как ее передернуло), прошипела:

– Не смей оборачиваться! Не смотри на нее!
– А кто это? – испуганно спросил мальчик. – Ты ее знаешь, ба?
– По-мол-чи! – как обычно, отчеканила бабушка и спустя минуту буркнула: – Какая-нибудь сумасшедшая...

Ну, сумасшедших-то Илюша любил. Встреча с безумцами всегда была – нечаянный театр. Две его знакомые чокнутые старушки ездили в троллейбусе номер девять – от проспекта Ленина до кинотеатра «Целинный».

Он никогда не видел их обеих одновременно, они словно принадлежали разным мирам и существовали в разных пространствах и временах года. Одна была летняя, другая – зимняя.

Летняя – русская, в мелких рыжих кудряшках, поверх которых, заливчатски кренясь, сидела нежно-бирюзовая грязная шляпка с цветами и ягодами. Весь ее облик – мятое личико, грубо зашпаклеванное застарелым потрескавшимся гримом, кокетливая блузка с рюшами на большой груди, цветастая юбка фасона «солнце-клеш» и обутые в полураспавшиеся туфельки некогда стройные ноги в страшных венах, будто оплетенные синими косами, – излучал тем не менее подлинно артистическое вдохновение.

Она входила в переднюю дверь, бодро подкидывая юбку узловатыми коленями, чинно брала билет и, обернувшись лицом к салону, принималась тоненьким голосом выводить что-то из области романсов. Порой Илюша с удовольствием узнавал кое-что из домашнего репертуара Зверолова.

Вот это, например:

– Опустел наш сад, вас давно уж нет... Я брожу один, весь измученный. И нево-о-о-льные слезы капаят пред увядшим кустом хризантэ-э-э-эм!

А вот это еще лучше:

– Не-е-е-т! не пурпурный руби-и-ин, не аметист лило-овый, не на-а-аглой белизной сверкающий алмаз! не подошли бы так к лучистости суровой холодных ваших глаз!.. – Тут небольшая лукавая пауза, и вначале медленно и вразтяжку, затем все быстрее, завихряясь низким контральто: – ...Как этот то-онко ограненный, хранящий тайну темных руд! ничьим огнем не опаленный! в ништо на свете не влюбленный!.. – и, страстно откинув мятые кудряшки с иссеченного морщинами лба: – ...Темно-зелё-о-о-оный и-и-и-и-изумруд!..

Остановки через три-четыре выходила.

Другая, зимняя старуха, была казашкой, кряжи стой, сильной и –

так казалось мальчику – глубже погруженной в туман безумия. Носила мужскую шляпу «без крыши», надвинутую на бледный широкий лоб, из дыры в низкой тулье выбивались два-три кустика жидких волос. Фантастический шарф возлежал у нее на плечах мужского полупальто, свисая чуть не до полу – длинный, широкий, необычайной пестроты, весь связанный из остатков ниток. Она ловила пестрый хвост шарфа руками в митенках (короткие сизые пальцы как-то непристойно из них топорщились) и закидывала за спину, поцелуйно вытягивая пунцовые, сильно преувеличенные карандашом губы. Но самым интригующим во внешности были две пары бровей: одни родные, жиденькие, разрушенные безжалостной природой, другие – домиком над ними, нарисованные густой сурьмой. Эта запасная пара бровей почему-то пугала – словно грозный посланец явился. Но от кого? И – к кому?

Зимняя старушка читала отрывки длинных монологов. Илюша, конечно, не мог еще опознать их происхождение. Но однажды она вошла в троллейбус, когда Илюша ехал вдвоем со Звероловом, и тот, прослушав весь репертуар старухи, выданный прерывистым низким голосом, задумчиво проговорил:

– Во шпарит! Шекспир, Чехов, Мериме. А толку что, ежели мозги набекрень...

Когда она вышла, пробормотал себе под нос:

– И шестибровый серафим на перепутье нам явился.

Странным образом обе эти старухи, и летняя, и зимняя, напоминали Илюше канареек, то ли плохо обученных, то ли вдруг «заяривших» от неправильного обращения, но только уже безнадежно бракованных и никому не нужных.

Поскольку все детство Илюша сопровождал бабушку в ее «инспекциях» по апортовым садам, он тоже считал сады своими.

У него были тут особо любимые места – свои деревья, им посаженные (вроде выросшего из прутика желто-оранжевого куста ивы, за который Илюша всегда тревожился: по округе шлялись мужики-душегубы, что корзины плели; они безжалостно нарезали прутья даже у самых молодых деревьев); были свои дупла, пещеры, пни и коряги; «берлога» – яма, вырытая под огромным, с козырьком-крышей гранитным валуном, – да и сами прогретые солнцем замшело-крапчатые валуны, с накипью

лишайников и ракушек, что намертво вросли в каменное тело за миллионы лет.

Это были его рыцарские владения: поместья, замки, леса для охоты, и он буйно, с гиканьем и свистом, властвовал над ними, но лишь когда играл один; вообще, он рос застенчивым мальчиком.

Особо любимой была «индейская пирога» – продолговатый, расколовшийся надвое огромный камень: он плыл в высокой заросли полыни к крепостной стене замка – кирпичному забору территории Горводоканала.

К «пирогам» они, гуляя в садах, приходили со Звероловом – слушать соловьев и наблюдать муравейники и осиные гнезда. Часто встречали там Земфиру – старшую и самую красивую дочь Абдурашитова; заметив их, та каменела широким прекрасным лицом, опускала пухлые веки длинных сердоликовых глаз и некоторое время шла за ними на приличном расстоянии. Илюше казалось, Зверолов повышал голос, чтобы и Земфира слышала про то, как сидел он в засаде на снежного барса (тогда еще они встречались высоко в горах). Вот какой наш Зверолов щедрый, думал Илюша, не жалко ему, чтобы каждый встречный слушал *наши* потрясающие истории. (То, что они так часто встречали тут Земфиру, совсем не казалось мальчику странным: за дочерьми Абдурашитова он готов был признать наследное право на сады.)

Именно здесь Зверолов научил его чувствовать «воздушный пирог» – загадочное и чудесное метеорологическое явление: вечерами в садах теплый и холодный воздух перемещались слоями, и теплый пах яблоками, а холодный – стылым камнем и росными травами; и если стоять тихо-тихо, закрыв глаза, чувствуя кожей дыхание сада, то можно ощутить, как ходят волны – то один слой пирога, то другой.

– Ты вдыхай его, питайся, – говорил Зверолов, – ноздрями втягивай – смакуй... Хороший нюх человеку очень пригождается. Я зверя чую за километр...

Годы спустя Илья сокрушался, что многое позабыл из этих «ловчих» рассказов: избирательная детская память сохраняет образы, а не детали. То, как Зверолов часами сидел в засаде на снежного барса, помнил потому, что мгновенно и ясно представил его – огромного, по пояс в снегу, в меховой шапке, в тулупе; одни только черные брови шевелятся на белом от мороза лице. А дальше-то – что? Стреляли патронами со снотворным, вроде бы так? Вроде бы так, а точнее – где, у кого узнаешь? Вот и про ловушки – ямы, прикрытые ветвями, – поди разбери: помнил

о них со слов Зверолова или видел гораздо позже в передаче «В мире животных»?

Зато подробно мог пересказать, как сачками ловят лягушек, и, вероятно, и сегодня смог бы завязать скользящую петлю на лассо, как учил его Зверолов, рассказывая про охоту на диких верблюдов и на лошадок Пржевальского.

Илюша ясно помнил день их последней осени: близкие горы, будто оправдывая свое название – Алатау, «пестрые», – принакрылись ворсистым густотканым ковром, с бесчисленными оттенками желто-багряных, пунцовых, ржаво-золотых кустов и деревьев. По небу кружили дырявые – пенка на молоке – облака. Плыли, сцепившись оборками, выпуская солнце на миг-другой и вновь пряча его за широкими кисейными подолами. Чуть пониже плавным хороводом кружили какие-то перелетные длинноногие птицы, нежно посылая вниз бесшумный плеск длиннопалых опаловых крыльев. А по земле, по деревьям и камням точно таким же хороводом кружили дырявые тени облаков, и, вынырнув на мгновение, солнце из последних сил согревало камень, где сидели Илюша со Звероловом.

Тот, раздевшись до пояса – «Лови последнее солнце!» (а и впрямь оказалось последним) – и вынув из кармана брюк длинную веревку, показывал, как мастерить скользящую петлю на настоящем лассо.

И в этом многослойном скользящем кружении на другом камне, напротив них молча сидела загадочная Земфира, похожая на красавца-принца из книжки казахских народных сказок...

Робкое солнце, возникая нырками, падало ей на лицо, всякий раз вылепливая его до алебастрового сияния, а ее прекрасные сердоликовые глаза то погружались в тень, то вспыхивали блескучей слезой.

И этих глаз она не сводила с мускулистых рук Зверолова, вяжущих узлы и петли.

Бедная... Она выучила этот его урок.

* * *

Маленьких степных лошадок со стоячими рыжими гривами Илюше было страшно жаль. Он не любил зоопарк и втайне, слушая рассказы Зверолова, всегда надеялся, что в конце какой-нибудь истории тот разведет руками и скажет: «Эх... сорвалось в тот раз!»

Но, как и бабушку, стеснялся огорчить и послушно тащился за ним в Парк культуры и отдыха имени Горького. А там послушно шагал мимо

тесных бетонных отсеков, где метались степные волки, мимо бассейна с грязным белым медведем в зеленой воде, мимо клеток с угрюмыми орлами и беркутами, что взмахивали культами обрезанных крыльев.

Были там еще слоны, бегемоты, носорог и тапир – Зверолов шутил, что тот в белых трусах.

Просторнее всех – одна в вольере – жила большая черепаха, да еще верблюды: те хоть двигаться могли; впрочем, у них и морды такие, будто на людей им плевать.

Мальчик все это ненавидел; главное – ненавидел острый звериный запах, лучше повествующий о беде животных, чем любые рассказы.

После зоопарка всегда навещали старика Морковного. Тот жил в Татарке, неподалеку от Малой Станицы – некогда старой казачьей окраины. Татарка граничила с зоопарком, и потому днем и ночью над ее разбитыми, запутанными, тесными колеями улочек – шириной в одну то и дело застревающую машину – разносился вой, клекот и рык обитателей клеток.

Вообще, весь район Татарки (Зверолов говорил, что прежде здесь *по логике* обитало много татар, даже мечеть была) почему-то напоминал Илюше те глубокие гнезда из шашлычных палочек, что плели они со Звероловом для канареек.

Помимо типичных казачьих домов в полтора этажа – беленых, с наличниками и ставнями на окнах, с высоким крыльцом, окруженным курами, – встречались там дома из вагонных шпал. И если б не буйная зелень вокруг, выглядели бы эти угрюмые темные жилища с подслеповатыми окошками совсем уж дико. Но вились по заборам голубые и розовые выюнки; цветники вокруг дома пестрели белыми и пунцовыми астрами, георгинами, мелкими сиреневыми хризантемами, барвинками и непременно золотыми шарами.

А на заборах – в первых рядах партера – восседали пестрые сонмища кошек, и в каждом дворе мельтешили «звонки» – мелкие дворняжки.

Старик Морковный снимал комнату в полуподвале одного из таких домов. Найти его было легко: на крыше дома, чуть ли не единственная в Татарке, сидела огромная голубятня. Возможно, хозяева потому и терпели старика Морковного с его канарейками, что сами держали голубей и были заядлыми птичниками.

В кривоzubом заборе, захлестнутом высокими кустами бледно-розовой и бордовой мальвы, голубела калитка с осевшим левым плечом – отворить

ее получалось, только если хорошенько приналечь, а там уж оголтелым перебрехом гостей встречала упряжка трех мелкотравчатых дворняг: рыжей, пегой и белой. Бездельники радовались любому поводу дать концерт, и пока меж кустов сентябринок гости шли по тропинке к дому – желтому, с ярко-синими наличниками и ставнями, – в спины им неслись вдохновенные переливы этого трио – хриплый гав, торопливый захлеб и визгливое дребезжание шавок.

В обитель жилья вела низкая дверь со двора, и надо было еще спуститься по семи ступеням крутой деревянной лестницы. Сразу ты попадал в настоящий птичник: клетки стояли одна на другой в четыре этажа, располагаясь рядами, как стеллажи в районной библиотеке. Воздух тут был густой, кормовой, перистый, перенасыщенный птичьими слабыми звучками.

Один свободный от клеток угол занимала «кушетка» – просто матрац, уложенный на доски и поставленный на кирпичи; в другом углу на кирпичных столбиках алтарем возвышалась старая газовая плита. Был еще самодельный дощатый стол, заставленный и заваленный какими-то коробками, пакетами и птичьим инвентарем. На уголке его, расчищенном «для разговору» и застеленном клеенкой, гостей ожидало непременно пиршество. Но – не сразу, не в начале вечера.

Долгое время Илюша был уверен, что Морковный – это не имя, а прозвище старика, данное потому, что в корм своим канарейкам он подкладывает кусочки моркови. Был тот настоящим «разводчиком», настоящим, по словам Зверолова, «канареечным охотником», хотя охотника Илюша представлял себе иначе: молодым, ловким, с сетью в одной руке, с клеткой в другой. Но Зверолов старика уважал и покупал у него молодых самцов хорошей зеленой линии.

– О, Федор Григорыч – это!.. – говорил он. – Федор Григорыч, знаешь, в пятнадцать лет пацаном сел за руль и всю жизнь шоферил. А когда работал дальнобойщиком, даже в дорогу брал с собой кенаря в клеточке, чтоб пел в кабине. Во какой человек... страстный! (Определение «страстный» у Зверолова означало высшее одобрение.)

А вообще Илюша скучал, слушая неинтересные разговоры про спаривание птиц и содержание их в пролетных клетках, про «дрессировку» и про «отбивание брака». Порой в заветном ожидании прекрасного окончания вечера даже задремывал под эти разговоры, уютно пристроив на руках вихрастую голову. Просыпался – вернее, вздрагивал – от сиплых выкриков Морковного:

– А я тебе скажу: столько брехни, сколько в нашем деле, –

еще поискать! Мол, и в бочки кенарей сажали, и в чулках подвешивали, и палками с перьями щекотали... Это все мифы! Васильев тот – да, могу рассказать, как он птиц темнил, сам видел, своими глазами: он клетку ставил в ящик, ящик заворачивал в мешок, тот – еще в какой-то тулуп... и все это запиралось в шифоньер.

– А воздух-то, воздух?

– Что – воздух? Дышать как-то птица еще дышала, а вот пила-ела, надо думать, на ощупь. Куда твоему Желтухину!

– Да-а-а...

Комната, где обитал со своими канарейками Морковный, даже в самый яркий день была погружена в полуподвальный сумрак: свет в нее с трудом протискивался через два оконца, мало того, что под самым потолком, так еще снаружи, со двора заросшие барвинками. Поэтому дверь – снизу она казалась корабельным люком, распахнутым в синее небо, – почти весь день он держал открытой. С наступлением темноты старичок Морковный щелкал выключателем, и над столом загоралась низко висящая лысая лампа величиной с младенческую голову. Но кроме лампы обязательно запаливались три свечи в трех разностильных старых подсвечниках. Это тоже было – «для разговору».

И разговор длился и длился до ночи – можно было на месяц вперед под него выспаться. И про то, что лучшими канарейками в старину считались вовсе не с Полотняного завода, хотя и про тех худого слова не скажешь, а боровские; и что в Москве в Охотном ряду именно боровские шли первым сортом, а калужские, тульские и нижегородские шли вторым и третьим. И что настоящая «концертная» канарейка стоила когда-то дороже офицерской лошади, а «отучали» ее дудками и натурой...

Мальчик скучал, но, вышколенный бабушкой Зинаидой Константиновной, терпел в тайной надежде на гренки, которыми старик Морковный всегда угощал их на прощание. Жарил сразу в двух больших сковородах на своей старой плите – с ножом в руке подскакивая то к одной, то к другой сковороде, «подстерегая момент» и с фехтовальной ловкостью переворачивая гренку именно тогда, когда «щечка» зарумянивалась «в нужной кондиции». Толстые, сочные, с поджаристыми хрупкими кружевцами, обсыпанные угольками куриных шкварок, лука и чеснока – эти гренки стоили самого пропащего вечера.

И пока за столом шли все те же скучные разговоры о кормах – надо ли включать в зерновую смесь льняное семя («Ни в коем случае! – горячился старик Морковный. – Льняное семя – маслянистое, доведет птицу

до ожирения, особенно во время линьки, убьет печень, расстроит пищеварение... Давать – только как слабительное. – И со страстным лицом повторял: – Только как слабительное!)), – Илюша, обжигаясь и шумно втягивая воздух, пользуясь тем, что бабушка не видит «этого безобразия», хватал гренки руками под одобрительные кивки старика Морковного, а запивал мутнохолодным, в нос шибавшим квасом – тоже самодельным, настоящим на яблоках, на апорте.

Домой возвращались поздно, по вымершим улицам – фонарей там сроду не водилось, – косясь на зловещие заросли мальвы у заборов и непременно ошибаясь то поворотом, то переулком, то водной колонкой. И оттого, что они плутали, и оттого, что густая пахучая темень дрожала голосами зверей и птиц из зоопарка, и оттого, что голоса эти были исполнены тоски и угрозы, можно было представлять, что пробираются они опасными джунглями, под улюлюканье и вой преследующих индейцев...

Но даже и в эти минуты, перешибая ночную мощь травных и древесных запахов, догоняя их и обещая райское блаженство, над Татаркой витал аромат неопикуемых гренок старика Морковного.

Позже, скучая по Зверолову, Илюша так и не решился однажды сесть в знакомый трамвай и кривыми тесными улицами, среди тополей и карагачей, поехать в Татарку «просто так». Бабушка сказала бы, что это неприлично; да и самому себе неохота было признаваться, что во многом им движет мечта еще хоть раз отведать незатейливой, но такой вкусной еды.

Зато он приходил к «индейской пироге» и подолгу оставался там один, привалившись спиной к нагретому солнцем валуну в кустах ежевики, вспоминая, как они слушали здесь соловья («сладостно бушующего», сказал тогда Зверолов, вытирая глаза большим клетчатым платком), как ловили ежей и черепах, а однажды поймали даже ласку, и Илюша умолил отпустить ее на волю.

Но вскоре после смерти Зверолова там повесилась старшая, самая красивая дочь Абдурашитова Земфира, и мальчик («Опустел наш сад, вас давно уж нет...») перестал туда ходить, не сумев понять и принять молчаливого предательства сада, когда с веткой одного и того же дерева связаны высочайшее блаженство и непостижимые ужас и боль.

То, что Зверолов – отчаянный игрок, бабушка старательно и ревниво скрывала. Та еще *лакировщица действительности* была. Все, что ею расценивалось как «семейный позор», запрятывалось в такие подвалы-анналы, что из этих застенков мало что вырывалось. Удивительно, что не уничтожила весь архив. Много чего пожгла, это точно, и бесполезно сейчас догадываться, что именно. (Впрочем, почему бесполезно? Наверняка все то, что могло связать Илью с его несчастной матерью после бабушкиной кончины. Хотя прожила она так долго, что вполне могла пережить и свою таинственную преступную дочь.)

Совсем уж в глубокой ее старости выплывало на свет то одно, то другое. Вот, конный завод прадеда нарисовался – видимо, старуха сочла его безопасным (смешно: для кого – безопасным?). А перед смертью вдруг рассказала, как именно Зверолов просаживал деньги: срезал все свои гладиолусы, складывал в чемодан, летел в Москву, сдавал цветы знакомому на рынке – и мигом на ипподром. Кончалось все одинаково, судя по связке однообразных телеграмм, обнаруженных Ильей в бабушкином бюро после ее смерти: «Зинаида срочно телеграфом 50 (или 100) тчк Николай».

Биография Зверолова тоже сложилась у Ильи в самых общих чертах, уже спустя много лет после его смерти. И странно было осознать, что этот человек, проникнутый любовью к малым птицам, воевал, воевал и воевал: сначала в гренадерском полку Его Величества, потом в конной бригаде Котовского, затем – в Финскую, Отечественную... Он и строил, конечно, – Турксиб, например, и, вероятно, много чего еще.

Но главным было другое: его уникальная способность к мгновенным и внезапным исчезновениям и перемещениям в пространстве. Никогда и нигде он не жил подолгу. Любимой присказкой, если случалось куда отлучиться – неважно, на сколько, на четверть часа или на полгода, – была: «Я мигом, фигара-здесь-фигара-там!», и потому, в отличие от остальных братьев и сестер, этот весьма заметный «фигара» ни разу не попал в лагеря – не успевали за ним.

В конце концов помнилось только то теплое, родное, что имело к Илье самое непосредственное отношение: как вечерами он качался у Зверолова на ноге, верхом на огромной ступне в войлочном тапке. А тот читал или слушал радио, будто и не замечая маленького всадника, что обнимал мощную икру, щекой прижимаясь к мягкой брючине фланелевой пижамы. Когда передавали «Полонез» Огинского – плакал: громадный, с черными кустистыми бровями и толстым носом, плакал и вытирал слезы большим клетчатым своим платком.

– Ты чего плачешь? – интересовался мальчик. – От музыки?

– От музыки, – соглашался тот. – Эту пьесу играла одна дорогая прелестная девочка. Мно-о-ого лет назад.

Вот что еще запомнилось: ссора взрослых перед шестым днем рождения Илюши, когда бабушка, заламывая руки, ходила за Звероловом по квартире, уговаривая не дарить мальчику привезенного из Ташкента ослика. Илюша не спал и слышал каждое слово; ужасно переживал, куда определят ослика – в столовую? на веранду? Во дворе его держать не разрешили бы соседи – двор у них был общим. Бабушка то кричала тягучим шепотом, то ласково умоляла: ну, чего тебе еще, и так уже не квартира, а филиал зоопарка: черепахи, ежи, хомяки, канарейки!

Уговорила в конце концов. Но день был тяжелым, и вечер выдался под стать: сидели оба мрачные по разные стороны стола, раскладывали каждый свой пасьянс. Молчали.

Между прочим, в семействе гадали все. Вообще, карты в доме присутствовали вещественно и зримо, хотя играть в них было запрещено. Когда однажды в детстве Илюшу – он валялся тогда с ангиной – забежали провести дворовые подружки, близнецы Нинка и Яся, и, увидев на столе карты, стали уговаривать его научиться «резать в дурачка», бабушка, застав это кощунство, с руганью вырвала карты из Нинкиных рук, подтвердив тем самым репутацию «злыдни».

Сама она гадала молча, ничего никому не говоря, свои карты в руки никому не давала. Никакой мистики и прочих глупостей в ее жестком характере не водилось в помине. Но... карты всегда в руках. Разложит – и тотчас смешает одним движением руки.

За неделю до Гулиных родов выложила – Илья случайно увидел – все смертные карты. Испугалась, побелела, быстро их смешала... И затихла.

* * *

В последние годы у Зверолова обнаружилась глаукома; он ее никак не лечил. Кажется, даже любовался некоторыми изменениями, принесенными ею в окружающий мир. Во всяком случае, Илюше хвастался:

– Исповедальню видишь? Просто шкаф, да? Во-о-от. А у меня она вся

в лиловом мерцании... Окно видишь? Окно и окно, да? А у меня все оно сиянием охвачено, вроде северного: острые лучики – от белого до сиреневого.

Почему все оборвалось так нелепо и грустно; почему еще бодрый могучий старик ушел помирать (в коммуналку ушел, к своей скучной учительнице, которая как раз уехала на два месяца к сестре в Семипалатинск, да и вся коммуналка, все три комнаты – как только в пьесах бывает, чтобы сюжет сладился, – разъехалась на каникулы. Так и лежал там один до самого конца), для Ильи долго оставалось загадкой, как и загадочная бабушкина фраза о *легкой* его голове.

Бабушка всем объясняла, что Зверолов боялся ослепнуть и стать беспомощным, в тягость родным.

Чепуха! Ее обычная лакировочная версия.

Как он *замучивал* себя? – пытался представить Илюша. Представлять было трудно, совсем невозможно: ведь напоследок Зверолов все равно должен был видеть свою нежную радугу, очарованным странником уйти, с *легкой головой*, в ореоле ее острых бело-сиреневых лучей...

Вот, собственно, и все – о нем. Осталось только добавить, что тахта, на которой он спал, называлась «рыдван»; чемодан, что под ней хранился, – «рундук». А еще по всему дому валялись химические карандаши – с Гражданской их полюбил, уверял, что писать удобно.

Илья впоследствии долго натыкался на эти карандаши по разным углам, разок подобрал и сам пристрасился; правда, удобно: послунил грифель, и вот, пожалте, – «не вырубишь топором».

* * *

В рундуке под «рыдваном» оказались: плащ из бычьей кожи времен Гражданской войны; кальсоны, рубашка, очки; зеленое, легчайшее верблюжье одеяло; справочники «Гладиолусы» и «Русская канарейка»; неказистая белая монета царской чеканки: на одной стороне – затертый двуглавый орел, на обратной – буквы: «3 рубли на серебро 1828 Спб»; и папка с документами.

В папке хранились мандат двадцатых годов на ношение огнестрельного оружия за подписью какого-то Якова Михайлова, телеграмма с просьбой о поставке лягушек для Ташкентского зоопарка, записки людей, безуспешно искавших его между Ташкентом и Алма-Атой,

и старая коричневатая, с обломанными уголками карточка (понизу выведено славянской вязью: «Придворная фотография Я. Тираспольский и А. Горнштейн, г. Одесса»), на которой манерная, знойного облика девица губами тянулась к кенарю на жердочке.

Плащ был Илюше и раньше знаком – огромный, тяжелый, из толстой бычьей кожи, он мог стоять на полу сам, без человека внутри. От него довольно приятно пахло: кожей и чуть-чуть касторкой – смазывали на лето, чтобы не растрескался. В раннем детстве Илюша играл в нем, как в шалаше. Так что плащ был давним знакомцем – помнится, летом они с бабушкой сообща выносили его во двор (весил он килограммов семь-восемь), переваливали через веревку и караулили, по очереди сидя посреди двора на старом венском стуле, из-за треснутого сиденья изгнанном из парадных стульев столового ранжиру.

Да, плащ был выдающийся, и кроя отменного. Илья потом видел похожий на Жеглове из места встречи, которое нельзя изменить: два ряда пуговиц, карманы-прорези, кожаный пояс с пряжкой и большой воротник, застегивающийся под горло, – тогда остается еще воротник маленький. Длинный черный плащ, даже Зверолову длинный: до середины икры.

Якобы тянулся за ним романтический шлейф: бабушка говорила, что в этом плаще Зверолов ночевал зимой под окнами какой-то одесской балерины. Ну, ночевал или не ночевал, балерины или кого там еще, а только плащ бабушка отдала Абдурашитову. Под зеленым легчайшим верблюжьим одеялом (полезная вещь!) много лет потом спал сам Илья, а позже – его единственная, обожаемая драгоценная дочь, которая... Нет! Рановато о ней.

Сначала о канарейках.

Само собой, ухаживать за всем этим птичьим населением стало некому. Пригласили старика Морковного с Татарки, и тот за бесценок – да у бабушки и сил не было торговаться – забрал всех птиц, в том числе и Желтухина Второго. А главное, забрал исповедальню. Вот чего Илья долго не мог бабушке простить: она всегда мечтала избавиться от «этого саркофага». Хотя, если подумать, не лишать же такого выдающегося артиста, такого, по словам Зверолова, «страстного маэстро», как Желтухин Второй, его законного жилища.

Сделка свершилась, когда мальчик был в школе. Вернувшись, он застал странно пустую, странно облезлую и, главное, странно безмолвную комнату. «Опустел наш сад, вас давно уж нет...» Вот теперь

Разумович мог играть на своей проклятой флейте до потери сознания.

Это потрясло Илюшу сильнее, чем сама смерть Зверолова, чем похороны, чем плывущая в гробу на плечах незнакомых и хмурых мужчин его *легкая голова* – голова человека, что вдруг захотел умереть и потому не страдал.

Весь вечер Илюша проплакал, словно лишь теперь понял, что Зверолов не вернется никогда. А может, в этом беспитицье и безмолвии его сердце подспудно прозрело образ *иного* безмолвия – того, что много лет спустя обрушится на любимое существо?..

5

К девятому этажу бетонно-стеклянной башни, населенной редакциями чуть ли не всех казахстанских газет и журналов, сладкими волнами поднимались одуряющие запахи из соседней кондитерской фабрики. Ароматы ванили, патоки, цукатов, горячего темного шоколада под конец дня становились невыносимы, а с голодухи даже тошнотворны – тем более что с утра просыпался Зеленый базар напротив, раскошегаривал свои тандыры, раздувал угли для шашлыков, насаживал кусочки баранины на палочки и выкладывал их рядком на мангалы.

Опрятные корейки выставляли на прилавки миски со своими остропахучими салатами и закусками, всеми этими пряными морковками, капустами, грибами, требухой, фунчозой, рыбным и мясным хе...

Сухие терпкие струи запахов – перец, куркума, кинза, зира, барбарис – витали над мисками и горками разноцветных специй, и вся эта благоуханная отравка, смешавшись за день с приторным духом кондитерского рая, под вечер способна была довести голодного человека до обморока.

В редакции время от времени появлялся Ванильный Дед – старый казах с покалеченным лицом: правая половина была окаменелой и какой-то рубчато-вельветовой; левая беспрестанно дергалась, будто он не переставал ухмыляться миру и людям. Ванильный Дед приносил ворованную на кондитерской фабрике ваниль, расфасованную в пробирки, заткнутые пробкой из жеваной газеты. Редакционные бабы дожидались его появления с каким-то исступленным хозяйственным вождением (ходил он по одному ему известному графику), гоняясь за ним по всем этажам здания, словно его товаром был не этот кондитерский вздор, а какое-нибудь спасительное заграничное лекарство для безнадежного больного.

– Ванильный Дед не появлялся? – влетая в комнату, спрашивала запыхавшаяся машинистка Люба.

Ей отвечала корректор Александра Трофимовна:

– Бегите на третий, Люба. Должен быть там, если не ушел.

Илья терпеть не мог эту советскую стеклянную девятиэтажку, студеную зимой и нестерпимо душную летом. На всю редакцию республиканской пионерской газеты «Веселые отряды» был один бестолковый кондиционер, работавший в каком-то своем творческом режиме.

Выросший на земле, в апортовых садах, Илья высоту ненавидел и втайне ее боялся. А в здании даже лестницы были мерзкими: ступени – просто бетонные плиты на опорах, сквозь них – пустота. Он предпочитал спускаться в лифте, но за годы студенчества пережил тут несколько землетрясений, однажды надолго застряв в темной и душной кабине; и пока, упершись лбом в фанерованную стенку, обреченно ожидал вызволения, думал почему-то о Желтухине Втором, который всю жизнь провел вот в такой крошечной тьме ради редких минут ликующего пения.

С тех пор твердо решил спускаться на своих двоих, стараясь, однако, не слишком заглядывать под ноги.

После работы Илья выскакивал из здания редакций и бежал на Зеленый базар: купить в забегаловке поджаристую кунжутную лепешку, острый домашний сыр с тмином и базиликом или запихнуть за щеку соленый курт – поскорей заесть першащую в горле кондитерскую сладость...

Уже в то студенческое время он начал лысеть – поразительно рано. Но высокий рост, обаятельная легкая сутулость и немного рассеянные, ироничные темно-карие глаза вполне обеспечивали ему внимание женщин, тем более что бабушкино «хорошее воспитание», столь досаждавшее ему в детстве и вконец осточертевшее в юности, как выяснилось, в любой компании выгодно его отличало.

Впрочем, его карьера покорителя женских сердец (три очень разных блиц-романа на первом же курсе; особенно приставучая благосклонность секретарши ректора Сони Сопрыкиной) оборвалась в тот воскресный день на Медео, когда он увидел Гулю – заметил ее на огромном слепящем катке: в этом своем синем платье, с широченной юбкой, вихрящейся вокруг невероятно тонкой талии. Сидя на деревянной лавочке, он надевал коньки. И когда поднялся на ноги, чтобы выйти на лед, увидел впереди стремительное кружение синей юлы. Вмиг это напомнило ему облачно-

журавлиное кружение далекого весеннего дня, и, возможно, поэтому Илью даже издали поразило сходство ее разгоряченного под горным весенним солнцем лица с почти забытым лицом Земфиры.

Он решительно подъехал и заговорил, мысленно благословляя свой какой-никакой *галантерейный* мужской опыт, а иначе не решился бы ни за что.

И после, счастливый, ошеломленный тем, что *получилось*, на очень легких после коньков ногах повел угощать ее шашлыком – много их, шашлычников, стояло вдоль дороги: пряный синий дымок в холодном воздухе. И ели они стоя, жадно стаскивая зубами с палочек кусочки вкуснейшей баранины. Под мостом среди снега, льда и камней стеклянно бренчала речка. Футляр со скрипкой (после катка Гюзаль должна была ехать на репетицию) он неудобно и осторожно держал под мышкой, боясь уронить и время от времени делая вид, что роняет, – тогда она округляла в испуге длинные сердоликовые глаза под высокими *ласточкиными* бровями.

Это было время его короткого и вялого мятежа против бабушки: борясь за свою хотя бы номинальную самостоятельность и взрослость, он не брал у нее денег, не сообщал, когда придет домой, а однажды, не предупредив, остался ночевать у сокурсника, о чем потом сильно сожалел: вернувшись, застал ее в состоянии невменяемом: исступленные глаза блестели окаменелым горем, руки тряслись, а Разумович, оказывается, за ночь успел обегать все больницы и морги.

– Да что, что со мной может случиться?! – кричал Илья.

– Прекратите третировать бедную старуху! – сквозь зубы сказал ему Разумович, и оттого, что тот, знавший Илью с младенчества, вдруг обратился к нему на «вы», а бабушку назвал «старухой», Илья замешкался, криво ухмыльнулся, собираясь с ответом, но уже в следующую минуту понял, что проиграл, и мысленно махнул рукой на свои революционные потуги. Конец цитаты.

Кстати, в редакцию «Веселых отрядов» его пристроила племянница Разумовича, работавшая там корректором. И все годы учебы в институте Илья исправно отсидел в отделе писем, среди синих и красных карточек, на которых требовалось записывать адрес и имя корреспондента. Поначалу его удручала возня с бесконечными конвертами, тем более что каждого новенького подвергали своеобразной дедовщине, исподтишка наблюдая, как бедняга облизывает уголок, прежде чем заклеить конверт. Один, другой конверт, десятый... и вот уже омерзительный вкус клея во рту, шершавый

язык одеревенел и еле шевелится. И тогда насмешники разъясняли с невинными лицами, что существуют кисточка или губка да стакан с водой, а конверты можно выложить елочкой – вот так, чтоб уголки с клеем один под другим: мазнул сразу все – и заклеил.

* * *

В один из августовских вечеров, что разливают в воздухе странное желтоватое свечение, Илья с завернутым в кулек увесистым куском *саномяна* – рассольного острого сыра, похожего на брынзу, – вышел из центрального павильона Зеленого базара на улицу Горького. На ходу развернув бумагу и жадно отхватывая зубами ломти сыра прямо из кулька, он чуть не столкнулся с каким-то стариком – тот стоял у него на дороге с птичьей клеткой в руке. Илья чертыхнулся, извинился, притормозил. Вообще-то старики с клетками околачивались на Тастаке – был там птичий рынок. Но этот, видимо, где-то неподалеку жил, а до Тастака добираться сил уже не хватило: совсем изношенный старичок, в одной руке клетка, другая, паркинсоновая – с самодельной, приплясывающей палкой.

Но дело не в этом; чем-то его старик зацепил, напомнил что-то смутное, давно забытое: какую-то мальву у заборов, залиvistую брехню дворняжек, звяканье ведер вокруг уличной колонки...

А тот, приметив, как Илья замедлил шаг и внезапно остановился, крикнул неожиданно громким петушиным говорком:

– Молодой человек! Купите кенаря, не пожалеете! Старинный народный промысел, благородный овсянистый напев, замечательная раскладистость! Купите, ей-богу! Дом, где птицы поют, никакого сглазу не боится!

И вдохновленный тем, что юноша не уходит, а все стоит, неподвижно уставясь на клетку в руке продавца, наддал дребезжащего голоса:

– Этот кенарь – не просто певец, а большой артист! Знаменитая желтая линия. Потомство легендарного Желтухина!

– Желтухина?! – Илья рванул к нему так, что сыр вывалился из кулька и шмякнулся под ноги. Но ему не до сыра было: неужели перед ним старичок Морковный?! Неужели дотянул до нынешних времен?! Да сколько ж ему теперь?! Фу-ты, забыл имя-отчество... – Вы... простите, вы – Морковный? – Илья почему-то страшно разволновался и растрогался. Словно перед его глазами возник сам Зверолов, пусть даже тень его. – Вы меня, конечно, не помните. Я – внучатый племянник Николая

Константиновича Каблукова. Мы приходили к вам, и вы... гренки жарили... и квас был еще, очень вкусный!

– Что ж – гренки, – ничуть не смутившись, ни на мгновение не запнувшись, отозвался старик Морковный. – Я б тебе, сынок, и сейчас гренки замастырил хоть куда... кабы яичек штуки три-четыре, а?

Минут через двадцать они уже ехали в такси к старику Морковному в Татарку, все той же заблудистой сетью улочек, мимо заборов, полоненных неряшливой розовой и белой мальвой. В одной руке Илья держал клетку с наследником Желтухина Второго, а в другой, так же осторожно – бумажный пакет с десятком яиц.

И точно в детство вернулся: старик Морковный, Федор Григорьич, так и жил у тех же хозяев, в своей большой странной комнате в полуподвале.

– Скажу тебе как родному, Илюша: другие давно б меня выгнали, уж очень я им задолжал по всем статьям.

А главное, едва спустился по хлипкой крутой лестнице (голову-то теперь пришлось хорошенько пригнуть) – точно родное существо встретил: в сумраке полуподвала у единственно свободной от клеток стены стояла исповедальня. Будто все эти годы ждала его, притихшая темная утроба. И уже не казалась такой величественной, как в детстве. Просто нелепое культовое сооружение, нечто вроде двойной телефонной кабины с приступочкой, изумительно сработанное старинным мастером. И, конечно, в ней уже не было, не могло быть легендарного Желтухина Второго с его «стаканчиками гранеными». Вообще, клеток у Морковного явно поубавилось:

– Пораспродал молодых кенарей, Илюша, надо как-то сводить концы с концами. – Заметив, что Илья то и дело оборачивается на исповедальню, вкрадчиво добавил: – Но шкаф – он, конечно, по-прежнему обитаем. И жилец, доложу, очень серьезный... Тебе, – голосом приналег, – покажу.

Открыл пузатую резную дверцу, нырнул по пояс вглубь, шебурша там, возясь в темноте. Наконец, извлек наружу клетку – акушер так извлекает младенца из утробы матери – и поставил ее в центр стола. Неприметный блекло-желтый кенарь озирался на жердочке. Несколько мгновений в воздухе легчайшими перышками мерцали его вздохи-попискивания, затем вздулся тугой шар тишины, и в нем вначале короткими побаловками, низами, синичкой грянула звонкая серебристая россыпь, широко и вольно разливаясь, вознося мелодию ввысь, заплетая длинные витые пряди, подстегивая себя увертливой скороговоркой флейты. На особо

трогательном переходе от овсянки к бубенцам у Ильи сжалось горло, на глаза – хорошо, что свету маловато, – навернулись слезы. Вспомнились их *джунглевые* утра, высоченная фигура Зверолова с закинутой, как у птенца, головой, сердитое бабушкино ворчание про «переносчиков заразы». Все так ярко вдруг ожило перед ним в чередке рассыпчатых канареечных колен...

Это была *плановая* песня хорошего певца. И заканчивалась артистично: звонкими отбоями.

– Спасибо, – проговорил Илья, приходя в себя после песни, смущенной улыбкой благодаря то ли Морковного, то ли самого кенаря. – Спасибо. Я куплю у вас, Федор Григорьевич, самца? Вы мне только порасскажите кое-что из дела... Хотя я помню, конечно, многое помню от... дяди Коли.

– Дорогой ты мой! – вскинулся старик. – Да я тебе все передам, всю душу свою канареечную, только знай – бери!

Весь вечер он, как бывало, взялся и почему-то сердито говорил о своем: о кормах, о том, что к каждому самцу требуется подход: ежели он слишком темпераментный, так ты его раскорми, чтоб позже *вышел на песню*, чтоб не *заярил*. А другого, *хладнокровного* – наоборот, корми меньше, но зато стимулирующими кормами. И что все зависит от степени *прорванности*, то есть выхода на песню...

И так же аппетитно скворчали восхитительные гренки на двух сковородах, исправно ворочаясь с боку на бок.

– А квас, Илюша, нынче мне не по карману, извини. Да и хлопотно, вон рука-то... ходуном ходит.

Илья просидел у Морковного до ночи и ушел, унося в маленькой клетке кенаря, молодого самца, Желтухина – а как же иначе – Третьего, первого питомца, с которого затеплилась его личная страсть, его канароводная звезда, будто сам Зверолов через своего едва ли не потустороннего посланника озабочился приставить к покинутому делу «внучонка».

Странно только было, что старик Морковный почти не вспоминал Зверолова, как это было бы понятно и очень даже приятно Илье. Только напоследок, когда прощались у лестницы, ведущей к двери-люку, распахнутому в желтоватую тьму августовской ночи, сдержанно проговорил: – А ты другой...

– Что – другой?

– Другой, чем он. Ты смиренный. Тихий. Это в нашем терпеливом деле

гораздо лучше. Николай – тот буйным был, и во всем – буйным: в жизни, в канарейках... в женщинах. Я ж говорил ему тогда: как ты мог, старый подлец, – девочку, девочку! – в себя влюбить...

Вгляделся в полутьме в обомлевшее лицо Ильи и запнулся:

– А ты что... не знал, выходит?

– Не понимаю... – пробормотал юноша. – О чем – не знал? Вы что... вы...

– Ну так дочка же... несчастная девочка этого садового егеря...

Илья аж в перила лестницы вцепился, чтобы на ступеньку не осесть, – так тело огрузло. Вмиг пронеслось: кружение молочной пенки облаков на высоких небесах, обнаженные сильные плечи и грудь Зверолова с печатным пряником верблюжьего копыта, его мускулистые руки, ловко затягивающие узлы на скользящей петле. И – бессильными плетями висящие руки Абдурашитова на похоронах дочери.

«Опустел наш сад, вас давно уж нет...»

– Вишь, как оно выходит, если буйствовать, – вздохнул старичок Морковный. – Хотел он ее отпустить своей смертью, а оно вон как повернулось: это она своей смертью его догнала и уже не отпустила...

* * *

С того вечера он часто заглядывал к старику, иногда в неделю раз, а бывало, и чаще. И всегда находилось о чем потолковать, тем более что Илья только приступал к дотошному постижению канароводного дела. Морковный же был – неутомимый рапсод своей страсти. Глубокий старик, слабеющий с каждым днем, он оживлялся только на теме жизненного промысла: на канарейках. У него и голос становился тверже, и рука будто меньше тряслась.

Сидели за гренками целыми вечерами, потом еще минут сорок договаривали, стоя у лестницы под распахнутой в небо дверь.

И однажды Илья решился.

– Федор Григорьич, я вот что хотел... Только не думайте, что непременно обязаны рассказать, но вдруг вы что-то... может, слышали, пусть даже сплетни, мне все равно! А если нет, то простите и забудьте.

Они опять прощались, стоя под распахнутой дверь. Высоко вокруг лампы вилась золотая мошкара. Илья, как в медленном сне, пытался вымолвить, произнести слово, реже которого он вряд ли что в жизни

произносил. Наконец, выдохнул:

– Моя мать. Вы, случайно, не знаете о ней?

Морковный помолчал, рассматривая лицо Ильи, будто сверяя его черты с чертами кого-то забытого, отринутого, возможно, и преступного.

– А сам не знаешь? – спросил он.

– Нет.

– Ну, так тебе, значит, и не велено знать.

– Кем не велено? – оторопел Илья, думая, что старик имеет в виду бабушку Зинаиду Константиновну с ее строгостями, под старость уже смешными.

Но тот, очевидно, отнюдь не бабушку держал в уме. Молча поднял указательный палец трясущейся руки вровень с плечом и ткнул им в потолок. И палец этот ходил и ходил, точно отыскивал где-то там, вверху – возможно, в небе самом – единственную достойную цель. Потом опустил руку, помолчал и устало добавил:

– Я, мил ты мой, толком не скажу. Николай рассказывал, а я уж и не помню подробностей. Но тяжелая вышла история с этой ее дочерью.

– Чьей? Чьей дочерью? – чуть не крикнул Илья.

– Ну так... Зинаиды дочерью, чьей же еще, – недоуменно отозвался старик. – Татьяной ее звали... Вроде она с детства была такой... убегала и убегала...

Золотая мошкара вилась под притолокой вокруг лампы, добавляя к звездной россыпи блестящее канареечное мельтешение. Сердце Ильи тяжело бухало о ребра. Рука сжималась и разжималась, будто припоминая жесткую хватку бабушкиной ладони, все детство не отпускавшей руки внука.

– Николай говорил, это болезнь такая, вот забыл, как называется: человек бежит, бежит... сам не знает куда. Только на месте оставаться не может никак. И вот она, значит, девочка, ее дочь... убегала лет с двенадцати. Мать головой о стенку билась: сначала молила, потом под замок сажала, а после уже напрямик в милицию – с воем: помогите, мол. В какие-то закрытые интернаты девчонку определяли, так она – где обманом, где ловкостью – отовсюду выворачивалась и убегала. Ну, и... однажды явилась домой не одна, а... – Он взглянул на Илью и оборвал себя.

– Не одна, а со мной, – закончил тот. Повернулся и взбежал, раскачивая лестницу, в черное небо, пересыпанное огоньками невозмутимых звезд.

Года через полтора старик Морковный умер.

Выпустил утром птиц полетать, прилег на топчан и уснул под сенью желто-зеленых крыл – что может быть прекрасней? Нарядная, благодатная смерть.

Оказалось, что он оставил бумагу, в которой ясным крупным почерком в одном предложении отписал Илье все свое птичье хозяйство вместе с «дубовым шкафом».

Гуля тогда уже была беременна и тяжело носила, вся опухла, но с веселым недоумением смотрела, как, пыхтя и шепотом матерясь, чтобы не услышала бабушка, два сослуживца Ильи помогали втаскивать в дом тяжелую резную громадину, от которой до сих пор еле слышно, перешибая запах птичьего корма и перьев, веяло тревожным церковным запахом – возможно, что и ладаном.

– Это алтарь? – спрашивала Гуля. – Это... купель? Паперть?

Так исповедальня проделала челночный рейс, вновь причалив на окраине апортовых садов. И встала у той же самой слепой беззаконной стены, рядом с финиковой пальмой, выращенной из косточки.

В раннем детстве в ней любила прятаться дочь Ильи Айя, будто врожденной ее глухоты недостаточно было, чтобы отгородиться от мира, – Айя, кровиночка, вина и награда, его горькое счастье...

Но – нет, не о ней еще. Это так, к слову пришлось: просто Айя пряталась в исповедальне, как маленький Илюша когда-то прятался в стоймя стоявшем знаменитом плаще-шалаше – том самом, в котором влюбленный Зверолов спал зимой под окнами одной всеми забытой одесской балерины...

Дом Этингера

1

Да никакой балериной она не была! И не бывает балерин с такой грудью. Тоже мне хозяйство – балерина: полфунта жил на трудовых мослах. Нет, Эська заколачивала тапершей в синема, и заколачивала крепкими пальчиками, и востро глядела в ноты, читая с листа, а грудь у нее была... как две виноградные грозди («Песнь песней» в исполнении хора поклонников) – как виноградные грозди, созревшие свободно и сладко в ее неполные шестнадцать лет.

Спал ли некий Николай Константинович Каблуков под окнами ее дома? Вполне вероятно; да и кто бы пустил его спать в иное место? Много их околачивалось под ее окнами, любителей ноты переворачивать; возможно, кто и прилег с устатку.

Но в семье он запомнился: подаренный им кенарь по кличке Желтухин прожил ни много ни мало – да бывает ли такое?! – двадцать один год. Шутка ли? Двадцать один год, копеечка в копеечку, семья просыпалась под надрывную песенку «Стаканчики граненые», высвистываемую Желтухиным с такими фиоритурами, что любой тенор позавидует. Не мудрено, что эта песенка въелась в быт, нравы и эпос данного семейства.

Кстати, о теноре.

Изрядные голосовые достоинства (помимо прочего музыкального блеска) были присущи всем мужчинам «Дома Этингера», как говаривал сам Большой Этингер – Гаврила Оскарович, он же Герц Соломонович, но все тот же Этингер, хоть ты тресни. Так вот, немалые достоинства тенорового регистра демонстрировал и он сам, и его единственный, сгинувший в чекистском аду, но перед тем проклятый им сын Яша, и...

...и – забегая вперед – правнук его, тот последний по времени Этингер, «выблядок Этингер», в ком выдающиеся теноровые свойства воплотились в предельной мере: в гибком его, пленительном контратеноре, этом ангельском то ли стоне, то ли вое, то ли канареечной россыпи (столь странной в теле мужчины), – словом, тот «последний по времени

Этингер», которому аплодирует публика в разных залах мира.

Вообще, если уж мы заговорили о музыке и о Доме Этингера, то надо бы захватить пригоршню времени поглубже и пошире, насколько хватит глаз; полновесной октавой взять, черпнуть глубоким ковшом, в который угодил бы даже и Соломон Этингер, тот николаевский солдат из кантонистов, трубач военного оркестра, запевала и буюн, который всю жизнь утверждал, что его, десятилетнего мальчика, пойманного «ловчиком» где-то в местечке под Вильно и увезенного в телеге с такими же перепуганными еврейскими мальчиками на Урал, в живодерню кантонистской рекрутчины, спас только залиvistый дискант, впоследствии излившийся в тенор, странно высокий для человека столь могучей комплекции; спас, подкормил и в люди вывел: «Ох, кабы не мой соловей-соловей-пташечка!»

После двадцати пяти лет военной службы (напоследок он оттрубил и отпел Крымскую кампанию) Соломон осел в местечке под Полтавой и женился на дочери местного раввина. Хроменькая девушка была и болезная по женской части, но все ж раввинская дочь. Да и он, если трезво глянуть: солдат, конечно, хуже голя, невежа в райских куцах святых наших книг, но все ж георгиевский кавалер, да и сорок-то целковигов кантонистской пенсии от царя-батюшки тоже, поди, на земле не валяются.

И вот, случается ж такое чудо – мощь чресел библейских старцев! – прожив в бездетном браке десять лет, уже в преклонном возрасте ухитрился родить со своей хромоножкой глазастого и ушастого сынка Герцэле и обучить его...

...и обучить его не только игре на нескольких инструментах, но и способности к выдающейся мимикрии – во всем, в том числе и в такой мелочи, как перемена места жительства, привычного окружения и имени.

– Имена – вздор, – говаривал отставной николаевский солдат. – Я тебе на свист отзовусь. Когда нас, пацанов-кантонистов, крестил полковой батюшка, – (в баню загнали, якобы мыться, а после окатили всех холодной водой из шаяк), – мне имя дали, Никита Михайлов, и служил я под ним царю и России двадцать пять лет. «Отче наш» во сне отбарабаню. Ну так что ж? Какая в том беда Дому Этингера?

Стоит ли говорить, что сын его Герц – Гаврила – был, как и положено по закону, обрезан на восьмой день своей жизни, и, прислушиваясь к звенящему крику младенца, его папаша, запевала и буюн, одобрительно заметил: тенор, мол. И ведь в точку попал.

Но место в оркестре знаменитого Оперного театра города Одессы Гаврила Оскарович получил в свое время вовсе не как тенор, а как – поклон папаше-кантонисту – незаурядный кларнетист.

К тому времени он был удачно женат на Доре Маранц, дочери известного в Одессе биржевого маклера Моисея Маранца, члена правления кредитного общества и ловкого хлебного спекулянта, которого не могла разорить даже постоянная карточная игра. В приданое дочери, к нескольким недурным семейным драгоценностям, размашистый и громогласный папаша Маранц присовокупил шестикомнатную квартиру в новом доме на углу Ришельевской и Большой Арнаутской – великолепную фасадную квартиру в бельэтаже, со всеми новомодными «штуковинами»: электрическими лампами, паровым, но и каминным отоплением, ванной и туалетной комнатами и чугунной печью в просторной кухне, из которой деревянная лесенка взбегала на антресоль, в комнатку для прислуги.

* * *

Дора была женщиной изумительно стервячего нрава, зато обладала монументальным бюстом.

– Ге-е-ерцль!!! Где моя грудка-а?! – с этого начиналось каждое утро.

Обслужить этот бюст могла только знаменитая одесская портниха Полина Эрнестовна: каждый год она шила Доре Моисеевне специальный лиф, напоминавший бронированное сооружение со шнуровкой. Вот его-то Дора и называла «грудкой».

Каждое утро первый кларнет оркестра оперного театра Гаврила Оскарович Этингер, бывало, уже и одетый, и при бабочке, сжав зубы, шнуровал супругу, упираясь коленом в ее обширную поясницу. Он ненавидел «грудку», ненавидел ежеутреннее шнурование и ненавидел Дору. В те минуты, когда его сильные пальцы профессионального музыканта тянули шнуры и вязали узлы, он мечтал оказаться вдали от супружеской спальни и от Дориной отключенной задницы – приложив к губам мундштук кларнета, искоса поглядывать в ложу второго яруса, где в бархатной полутьме, смутно белея истомной ручкой на пурпуре барьера, маячит белокурая Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер, дочка антрепренера театра. Она всегда приходила на утренние репетиции, и ее тишайшее присутствие волновало сердца многих семейных оркестрантов. (Ну так что ж, скажем мы вслед николаевскому солдату, – какая в том беда

Дому Этингера?)

А вот о ком следует упомянуть особо, так это о Полине Эрнестовне.

О, эта дама заслуживает некоторой остановки в повествовании, своих пяти минут восхищения и оваций.

Бесподобно уродливая, одышливая, лохматая, с больными ногами, со страшными круглыми бородавками по всему лицу, Полина Эрнестовна была гением линии и формы. Обшивала она артистов оперного театра и одесскую аристократию. За работу брала дорого и несуразно: не за изделие, не за час – за день шитья.

Потому к заказчику приходила жить. И жила неделями, неторопливо обшивая всю семью. Но перед «работой» являлась с визитом загодя, дня за три, и, бывало, с самого утра и до полудня сидела с хозяйкой и кухаркой, обсуждая подробное меню:

– Значитца, оладьи у нас записаны на четверьг, файв-о-клок? – уточняла, почесывая указательным пальцем главную свою бородавку на лбу: черноземную, урожайную на конский волос, ту, что в профиль придавала ее отежнему лицу неожиданный ракурс устремленного к бою единорога. – Тогда в пятницу на *завтрек* – заливная рыба с хреном и с гренками. И смотри, Стеша, не передержи! В прошлом разе вышло суховато.

Заказчицы шли на все, благоговели, трепетали.

Портниха была богоподобная: ваяла Образ, создавала Новую Женщину.

В назначенный день, незадолго до завтрака, на квартиру к Полине Эрнестовне посылался дворничий сын Сергей, и оттуда, со швейной машинкой «Зингер» на спине, отдуваясь и тихо под нос себе матерясь, он отбывал *до квартиры* Этингеров. За ним на извозчике, с саквояжем на слоновьих коленях следовала сама Полина Эрнестовна.

Выкроек она не знала. Царственным движением руки, широким жестом сеятеля в поле набрасывала материю на стол, вынимала из чехла большие ножницы и – к черту мелки-булавки-стежки-прихватки! – на глаз, по наитию вырезала силуэт платья, затем молниеносно приметывала и *усаживала* его на фигуру. Эта неопрятная карга, своими бородавками пугающая малых деток, изумительно чувствовала форму.

Заказчиц и их робкие пожелания в расчет не брала: эдакий вздор, отрезной верх – при ваших ногах-колонках?! при вашем животе-подухе?! Не делайте мне головную боль! И отмахивалась – великий стратег, ваятель Фидий, единорог перед битвой. Вот так, так и так. Ну, пожалуй, плечики

можно поднять, чуток выровнять ваш горб, мадам Черниточенко...

Полина Эрнестовна сама изобретала модели, да что там – она была родоначальницей нового стиля: «долой корсеты»! Долой-то долой, добавим мы вскользь, но только не в случае Доры. Той она при первой же встрече заявила:

– Мы закуем тебя в латы, Дормосевна, солнце. Ты у нас будешь Орлеанской Девой, а не дойной коровой...

Не любила она две вещи: во-первых, возню с обработкой швов (оперные костюмы не нуждаются в мелких глупостях: выходит в «Онегине» дородная Татьяна в лиловом сарафане, сидящем на ней как влитой – и кто там из зала станет разглядывать, насколько тщательно обработаны швы?), во-вторых, крутить ручку «Зингера».

Ручку крутил кто-либо из домашних – обычно Стеша (кухарка, прислуга, приبلуда... но о ней позже, позже, в свое время). Если же какой-нибудь пирог или жаркое требовали неотлучного присутствия той на кухне – звали дворничьего сына Сергея; ежели и он отлучился от ворот, рекрутировали старшенького, гимназиста Яшу. А вот когда, бывало, и Яша усвистал, и Гаврила Оскарович на репетиции... так тут уж чего? Тут уж на ручку «Зингера» безропотно, что было ей не свойственно, наваливалась сама Дора и, тяжело колыхая незаурядными выменами, прилежно крутила, и крутила, и крутила, смахивая пот со лба, искоса любуясь бисерной стежкой двойного шва, выплывавшего на атласную голубую гладь очередной «грудки».

* * *

«Большим Этингером» Гаврилу Оскаровича за глаза почтительно называли все – коллеги, знакомые, соседи, жена, прислуга... Он и вправду был большим: два аршина двенадцать вершков росту, с красивой крупной головой, увенчанной весело рассыпчатым каштановым коком. На крышке концертного фортепиано в гостиной стояла фотография в серебряной рамке: он с Федором Ивановичем Шаляпиным в дни гастролей того в Одессе – два великана, в чем-то даже похожих.

Была во всем облике Большого Этингера некая размашистая элегантность, непринужденная уверенность в себе, доброжелательная порывистость эмоций. Музыкантом был до кончиков длинных, нервных, с приплюснутыми «кларнетными» подушечками пальцев, и все интересы жизни сосредоточены только на ней – на Музыке! При всей оркестровой

занятости преподавал в музыкальном училище по классу кларнета, состоял в попечительских советах трех благотворительных обществ, а кроме того, руководил хором знаменитой Бродской синагоги, куда на праздники и на субботние богослужения являлись даже и неевреи, даже и христианские священники – послушать игру немецкого органиста из лютеранской церкви, а также изумительные голоса, среди которых сильный драматический тенор Гаврилы Оскаровича вел далеко не последние партии.

Как известно, в начале двадцатого века Одесса была помешана на вундеркиндах. Помимо музыкального училища, в городе, как почки по весне, возникали и лопались частные музыкальные курсы. Чего стоил один только великий малограмотный Столярский со своей «школой имени мене», Петр Соломонович Столярский, часами стоявший перед детьми на коленях, ибо именно с такой «позитии» ему удобнее было наблюдать игру и исправлять ошибки.

Само собой разумеется, что детей своих, сына Якова и дочь Эсфирь, Гаврила Оскарович с детства приладил к занятиям музыкой: он всегда мечтал о семейном ансамбле.

Вообще, как все дети из приличных семейств, они, конечно, учились в гимназиях: Яша – в Четвертой мужской, на углу Пушкинской и Греческой, Эсфирь – в Женской Второй классической, угол Старопортофранковской и Торговой (образцовое, заметим в скобках, учебное заведение). Кроме того, до Яшиных пятнадцати лет в семье жила Ада Яновна Рипс, дальняя родственница из Мемеля, обучавшая детей французскому и немецкому; заполошная старая дева, подверженная приступам внезапной и необъяснимой паники, она покрикивала на них то на одном, то на другом языке.

Дора считала этот метод идеальным, *жизненным*:

– Главное, чтоб за словом в карман не лезли!

– Неглубокий же тот карман! – иронически отзывался на это Гаврила Оскарович. Тем не менее дети неплохо болтали на обоих языках, чего не скажешь о самой Аде Яновне относительно языка русского. Несколько ее выдающихся фраз вошли в семейный обиход, намного пережив саму эту, похожую на встрепанную галку, старуху в пенсне. «Уму *нерастяжимо!*» – восклицала она, услышав пикантную, радостную или горестную новость. Диагнозом чуть ли не всех болезней у нее было решительное: «*Это на нервной почке!*» Она путала понятия «кавардак» и «каламбур» («В голове у нашего Яши полный каламбур!»), «набалдашник» называла

«балдахином», гостей и домашних провожала пожеланием «*ни пуха, ни праха!*», а когда в семейных застольях галантный и насмешливый Гаврила Оскарович неизменно поднимал тост за здоровье «нашей дорогой Ады Яновны, великой наставницы двух юных разбойников», – она столь же неизменно всхлипывала и страстно выдыхала: «Я перегу их, как синицу – окунь!»

Но все это общее *так себе образование* (включая гимназии) отец рассматривал исключительно как домашнюю уступку жене, как несущественную прелюдию к образованию *настоящему*. Ибо Гаврила Оскарович Этингер не мыслил будущего своих детей без музыки и сцены, без волнующего сумрака закулисья, где витает чудная смесь пыли, запахов и звуков: дальняя распевка баритона, разноголосица инструментов, рыдания костюмерши, которую минуту назад примадонна назвала «безрукой идиоткой»... но главное, праздничный гул оживленной публики, заполняющей полуторатысячный зал, – тот истинно оперный гул, что, смешиваясь с оркестровыми всполохами из ямы, прорастает и колосится, как трава по весне.

Так что Яша *сел на виолончель*.

– Виолончель, – втолковывал сыну Большой Этингер, – это воплощенное благородство! Невероятный диапазон, потрясающий теноровый регистр, напряженная мощь звука... Да, из-за огромной мензуры на ней не звучит вся эта головокружительная скрипичная акробатика; да, виртуозные пассажи выглядят чуток суетливыми – вроде как дама габаритов нашей мамочки падает на руки партнеру в аргентинском танго. Но!

Эта неуклюжесть с лихвой окупается качеством тембра.

Никакие скрипичные «страсти в ключья» не сравнятся по накалу с яростным речитативом виолончельного *parlando*! И кто лучше виолончели создает эффект грусти? Ты можешь возразить: «А фагот?» Да, фагот потрясающе печалится. Но где ему, бедняге, взять красоту вибрации струнных! Нет, довольно Одессе батальона младенчиков-скрипачей, – заключал он, решительно прихлопывая огромной ладонью ручку кресла. – Все это мода и глупость, а вот хороший виолончелист, что в оркестре, что в ансамбле, всегда найдет себя на нужном месте.

Шестилетнюю Эсфирь, согласно этой практичной концепции, собирались посадить за арфу (арфа – вечная Пенелопа оркестра, прядущая свою нежную пряжу), и, надо признать, лебединый изгиб сего древнего

инструмента очень шел к кольчатой волне Эськиных ассирийских кудрей. Но девочка была такой крошечной, что не доставала до последних коротких струн. Тогда, делать нечего, отец отправил ее на частные фортепианные курсы Фоминой в Красном переулке, где обнаружился и расцвел один из главных ее талантов: девочка поразительно быстро читала с листа, цепко охватывая страницу многозвучным объемным внутренним слухом. Так что именно Эська оказалась тем чудо-ребенком в семье, на которого стоило ставить.

Честолюбивый Гаврила Оскарович с двойным пылом, отцовским и педагогическим, бросился – как в свое время его папаша-кантонист на редуты противника – на муштру новоявленного дуэта.

По вечерам весь двор, засаженный каштанами, катальпой и итальянской сиренью, слышал из окон квартиры в бельэтаже трубный рев Большого Этингера:

– Вступай на «раз и два и»! Не тяни! Это ж уму *нерастяжимо!* Виолончель в твоих руках – как музыкальный гроб, шарманка надоедливая! Ну, вступил же, тупица!.. – И далее – мерный стук трости об пол и одиночные вопли Яши, пронзительным дискантом протестующего против музыкального насилия.

* * *

Но, между прочим, недурной вышел ансамбль – «Дуэт-Этингер»: что ни говорите – отцовы гены, отцова выучка, да и музыкальные связи отцовы...

Спустя пять лет упорных занятий на первом концерте в Зале благородного собрания, что по Дворянской улице (помещение пусть небольшое, заметил Гаврила Оскарович, однако публика порядочная, все университетские люди), дети виртуозно исполнили довольно сложную программу – Третью, ля-мажорную сонату Бетховена для виолончели и фортепиано и виолончельную сонату Рахманинова, – заслужив аплодисменты искушенных ценителей. Сам трогательный вид этой артистической пары вызывал улыбку: долговязый Яша с долговязой виолончелью и малютка, едва достающая до педалей рояля фирмы «Братья Дидерихс»; улыбка, впрочем, при первых же звуках музыки сменилась уважительным и восхищенным вниманием.

Еще через год дети Гаврилы Оскаровича с успехом концертировали в разных залах Одессы: в Императорском музыкальном обществе,

в Русском театре, в Городской народной аудитории. Уже шли переговоры Большого Этингера о летнем ангажементе в Москве и Санкт-Петербурге, уже Полина Эрнестовна сшила для Эськи настоящую концертную юбку со стеклярусом по подолу, а приметанный Яшин фрак ждал последней примерки у мужского портного. Уже отец прикидывал, каким шрифтом набирать на афише имена и какие давать фотографии – когда приключилась эта беда.

Никто из тех, кто знал семейную жизнь Этингеров накоротке, кто хаживал к ним на обеды или заглядывал на чай, кто неделями гостил у них на даче, едва замечая тощего и очень застенчивого подростка-гимназиста, – никто не мог бы вообразить, что произойдет с этим юношей в самом скором времени.

А Яша переменялся внезапно, необъяснимо и необратимо. В Одессе про такое говорили «з глузду зыхав». Мальчик стал совершенно несносен: грубил матери, на кухне перед Стешей нес, размахивая длинными руками, пылкую ахинею о каком-то «всеобщем равноправии свободных личностей» и, случалось, исчезал бог весть куда на целый вечер, манкируя репетицией. Причем с ним исчезал и футляр от виолончели, в то время как сама виолончель оставалась дома, точно брошенная кокотка, стыдливо приклонив к обоям роскошное итальянское бедро.

– Кого?! – кричал Гаврила Оскарович, воздевая руки и всеми десятью артистичными пальцами вцепляясь в каштановый, с седой прядкой кок надо лбом. – Кого он в нем перетаскивает?! Падших женщин?!

Между прочим, это замечание не лишено было некоторых жизненных оснований: окна спален просторной шестикомнатной квартиры Этингеров выходили в большой замкнутый двор, куда одновременно были обращены окна самого респектабельного борделя Одессы, так что музыкальный «Дуэт-Этингер» репетировал под ежевечерние возгласы: «Девочки, в залу!»

Всех «девочек» юные музыканты знали в лицо, а встречая во дворе, вежливо раскланивались: при свете дня и без густого слоя пудры и помады внешность многих «девочек» требовала уважения к летам. С утра они обычно отдыхали, а к вечеру тяжелые малиновые шторы волновал бархатный свет ламп; там двигались томительные тени, развязно и фальшиво брнчало фортепьяно, а из отворенных форточек разносилось по двору:

В Одессу морем я плыла на пароходе раз...

Или:

Меня мужчины очень лю-у-убят,
Забыла я победам счет,
Меня ласкают и голу-у-бят,
В блаженстве жизнь моя течет...

Заблуждению по поводу Яшиных отлучек поддалась даже Дора, женщина недоверчивая и истеричная.

– Яша! – кричала она. – Меня убивает одно: неизвестность! Ты можешь сгинути на всю ночь, но даже из борделя отстучи телеграмму: «Мама, я жив!»

Ее рыдающему голосу вторил игривый и наглый голосок из-за малиновых штор напротив:

Все мужчины меня знают,
в кабинеты приглашают,
мне фигу-у-у-ра позволяет...

Шик, блеск, имер-элеган
На пустой карман!

Увы, какой там бордель! Яшу захватила совсем иная страсть, та, что в его боевых кухонных филиппиках перед оцепенелой в немом восторге Стешей именовалась «жаждой социальной справедливости» – во имя которой, твердил он явно с чьего-то чужого и лихого голоса, «в первую голову трэба устроить бучу повеселее».

Наконец, однажды ввечеру на квартиру Этингеров – в крылатке, в дворянской фуражке с красным околышем, «лично и между нами-с» – наведалься пристав Тимофей Семенович Жарков, культурнейший человек, большой любитель оперы и почитатель Гаврилы Оскаровича, да и сам бас-профундо в церковном хоре. И тут неприглядная и отнюдь не музыкальная правда о похождениях виолончельного футляра грянула зловещей темой рока, знаменитыми фанфарами из Четвертой симфонии Чайковского.

Яша, как выяснилось, перетаскивал в футляре какие-то гнусно отпечатанные босяцкие брошюры возмутительного анархистского содержания. «Их и в руки-то брезгуешь взять! Полюбуйтесь: от сего манускрипта пальцы все черные!» И противу должности и убеждений, исключительно из душевной и музыкальной расположенности к Гавриле Оskarовичу – столь почтенное, ко всему прочему, семейство, и такой-то срам, чтоб одаренный юноша, виолончелист, многообещающий, так сказать, талант, прибил к босоте и швали! К налетчикам! Ведь в этой бандитской шайке известные подонки: тот же Яшка Блюмкин, и Мишка Японец, и какой еще только мрази там нет!

– Вообразите, на Молдаванке, на Виноградской, у них школа щипачей, где эту голоту, шпану малолетнюю, на манекенах обучают!

– На... на манекенах?

– Так точно! Манекены с колокольчиками по карманам. Исхитрился вытащить портмоне, не зазвенев, – получи от «учителя» высший балл! Или по шее, коли не успел. Вот откуда себе вербуют хевру эти молодчики-анархисты. Вот с каким отребьем связался ваш Яшенька, дорогой Гаврила Оskarович...

Словом, пристав Тимофей Семенович настоятельно рекомендовал как можно скорее и скрытнее ото всех Яшиных дружков спровадить юнца куда-нибудь подале, к родне, под замок. И молчок. Так как *на анархистов имеется предписание*, а служебный долг – он, сами понимаете, голубчик Гаврила Оskarович...

Тимофей-то Семенович был, разумеется, встречен как родной, усажен в кабинете в удобное кресло (еще папаши-кантониста приобретение), ублажен коньячком и контрабандной сигарой и заверен наитвердейшим образом в том, что...

Последний солнечный луч из-за портьеры угасал в его правой платиновой бакенбарде, сплетаясь с сигарным дымом и чеканя печатку перстня на среднем пальце правой руки (левая была изуродована еще в октябре пятого года, когда анархисты «безмотивного террора» взорвали кофейню Либмана на Преображенской).

Гаврила Оskarович сам проводил пристава, минут пять еще что-то горячо обсуждал с ним вполголоса в полутьме прихожей, а когда за Тимофеем Семеновичем закрылась дверь, вернулся в залу с перекошенным лицом и впервые в жизни организовал выдающийся семейный скандал, потрясший Дом Этингера до основания.

И дело не в том, что в ход были пущены некоторые, много лет хранившиеся под спудом, неизвестные детям и Доре крепкие выражения

его покойного отца, николаевского солдата Никиты Михайлова. Дело не в том, что впервые в жизни Яша получил по физиономии отцовской рукой опытного оркестранта, и новому ощущению нельзя было отказать в известной свежести. Дело не в том, наконец, что Дора была названа «безмозглой коровой», а Эська зачем-то заперта в своей комнате до выяснения ее осведомленности о безобразиях брата.

Яше велено было собраться и наутро быть готовым к отъезду в Овидиополь, к двоюродному брату матери, на неизвестный срок. Гаврила Оскарович собственноручно запер до утра все двери и даже окна:

– Ты у меня узнаешь, паскудник, как декларации провозглашать! Манекены?! Колокольчики?! Освободительная чушь?! Ты у меня услышишь колокольчики в Овидиополе!

Не все, как выяснилось, не все замки запер. И той же ночью, не дожидаясь ни допроса в полицейском участке, ни бессрочного прозябания у дяди в пыльном захолустье, Яша – *ни пуха, ни праха!* – бесшумно удалился через окно кухни (и надо еще разобраться, вставляла Дора, какую роль в том сыграла Стешка!), из денег прихватив только семейную реликвию – «белый червонец», редкую монету из платины (хотя выбито на ней почему-то было «3 рубли *на серебро* 1828 Спб»), подаренную все тем же николаевским солдатом сынку Герцэле на бар-мицу.

В своем последнем «прости», бессвязном и бредовом, нацарапанном карандашом на листке из гимназического календаря «Товарищ», Яша объяснял свой поступок «освободительными целями и нуждами “Вольной коммуны”», а также писал о «горящем сердце Данко» (вероятно, какого-нибудь босняка-цыгана с Пересыпи), что «рассек себе грудь и вырванным сердцем озарил людям тьму!».

Словом, «шик-блеск, имер-элеган на пустой карман».

Взбешенный Гаврила Оскарович смял и выбросил жалкий листок в корзину для бумаг. А зря: никогда вы не знаете наверняка, в какие моменты судьбы припадают нелепые излияния вашего непутевого сына.

Хорошо, Стеша потихоньку вытянула из корзины и расправила листок, поставив на него холодный чугунный утюг у себя на антресоли. Ведь там на обороте Яшиной рукой был неосторожно записан дивный стих (вообще-то Константина Бальмонта, но Яша на этом не настаивал), относительно коего у Стеши имелись некоторые основания для ночных вздохов и сладкого сердцебиения:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздей венки свивать,
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!..

И далее в столь же неукротимом духе, аккуратно и до конца переписанное стихотворение, как ящерица хвост сбросившее подпись автора. Но ведь не это главное – тем более что Яша счел нужным сей шедевр усыновить, а псевдонимом взять солдатское имя деда: Михайлов.

Возможно ль такое, чтобы недалекая Стеша осознала необходимость сохранить пустобрехий листок, который через каких-нибудь пять-шесть лет послужит семье охранной грамотой в кровавой кутерьме бандитских налетов, в кипящей воронке революции и Гражданской войны?

А ведь и правда: спустя всего несколько лет охотников поживиться имуществом «буржуев» Этингеров встречала на пороге рослая Стеша с льняной косой вокруг головы и, подбоченившись, выставив перед собой пресловутый листок с уже известной фамилией, зычным, шершавым, не своим голосом покрикивала: «А ну, кто тут посмелей – грабануть дом Якова Михайлова?»

Но до всего этого еще предстояло дожить, а пока многообещающий «Дуэт-Этингер» распался.

В доме воцарилась угрюмая тишина, в которой тягучие, взхлеб, рыдания Доры (Яша был ее любимцем) причудливо вторили разбитному треньканью и вечерним призывам «девочки, в залу!», кружили по двору над деревянной галереей, над цистерной для дождевой воды, гулко аукались под низкой сводчатой подворотней и сквозь вензеля чугунной решетки ворот уносились прочь – на улицу, чтоб безнадежно угасать там, в кроне старой акации.

«Вж-ж-ж-жиу! Вж-ж-ж-жиу! Вж-ж-жиу-вжик!» – сумасшедшие хрущи прошивали воздух вспышками бронзовых крыльев.

Уже заполнялись дачи Большого, Малого и Среднего Фонтанов, уже двинулись туда поездами парового трамвая (в народе прозванного

«Ванька Головатый») и вагонами конки толпы гуляющих; уже в павильонах Куяльницкого и Хаджибейского лиманов приезжие и местные курортники погружали в «грязевые и рапные ванны» свои обширные зады, обтянутые полосатыми купальными костюмами.

Уже расцвели огромными медными лютиками вынесенные на террасы граммофоны, изливая где рулады Карузо, где страстный вой цыганского романса, а где забубенный тенорок популярного куплетиста. Уже варили в огромных тазах варенье по садам; веселые и праздные дачники уже репетировали домашние спектакли, а над купальнями витал задорный женский визг да скабрёзно похохатывали ломкие голоса гимназистов.

В фиолетовых тенях под платанами шла непрерывная кутерьма узорчатых солнечных зайцев. Девочки во дворах мастерили куколок-мальвинок: три бутона – голова и руки, а распутившийся цветок мальвы – колокол розовой юбки.

Но Эська давно забросила дворовые детские глупости.

Прошло два года с той ночи, как Яша сиганул в окно и совершенно пропал из виду семьи. Все это время девочка неустанно заливала тоску и тревогу родителей кипящими пассажами этюдов и упражнений, недетским чутьем понимая, что отныне миссия ее – не утешение (вялая ласка утешений еще никого не вернула к жизни), тут другое нужно: полный и сокрушительный реванш!

И вот, мимо лепных тугощеких ангелов на фасаде, меж бронзовых дев, озарявших фонарями подножие широкой лестницы вестибюля гостиницы «Бристоль» – самого роскошного, как писали газеты, отеля России, – Гаврила Оскарович Этингер сопровождал дочь на аудиенцию к известной австрийской пианистке Марии Винарской. В третий раз та гастролировала в Одессе, и Гаврила Оскарович через антрепренера театра договорился о прослушивании.

– Папа, – шепотом спросила Эська, глаза на позолоту невесомых чугунных листьев парадной лестницы, на сахарные груди скульптурных дев в округлых нишах, на сияющий атлас зеленых гардин, богемские каскады ослепительных люстр в высоких потолках, на малахитовые столешницы и раскоряченные ножки миниатюрных столиков в стиле ампир, – разве там, в номере, есть фортепиано, папа?

– Рояль! – отрывисто бросил вполголоса Гаврила Оскарович. – Она возит его с собой.

– Рояль – с собой? В багаже? Как панталоны?! – Девочка прыснула так, что на нее оглянулся мальчишка-рассыльный.

– Ничего смешного. Марии ведь нужно репетировать. Сама знаешь, как важен свой инструмент.

Большой Этингер волновался, сможет ли его застенчивая дочь показать себя во всей полноте таланта. Высокий кок надо лбом, сильно осеребренный анархистскими похождениями Яши, сейчас казался еще белее из-за темной крови, прилившей ко лбу и вискам.

На самом деле это только называлось «аудиенция у Марии Винарской». Все знали, что знаменитую пианистку во всех ее турне сопровождает супруг, профессор Венской консерватории, а точнее, Королевской Академии музыки и исполнительского искусства (*Akademie für Musik und darstellende Kunst*), артистический ее директор и член попечительского совета Марк Винарский. И вот к нему-то, профессору Винарскому, автору книги по фортепианной постановке рук, выдающемуся интерпретатору Шопена и создателю специальных этюдов для развития «шопеновской техники» – да, именно к нему, гениальному Марку Винарскому, Гаврила Оскарович привел на погляд свою тринадцатилетнюю Эську.

Та по-прежнему оставалась миниатюрной, так и не подросла за всю последующую жизнь: метр пятьдесят, и ножка – тридцать третий золушкин размер в придачу к вечной головной боли – где такие туфельки разыскать. Прежде заказывали у «Брохиса съ сыновьями» («во всѣхъ лучшихъ магазинахъ обуви европейской и азіятской Россіи»), потом остался «Детский мир», где вам выносили инфантильные бантики и пуговики или тупоносые мальчуковые ботинки с коричневыми солдатскими шнурками.

Однако при своем малом росте сия отроковица уже соразмерно оформилась, убирала кудри во «взрослый» узел на затылке, обнажавший фарфоровый стебель шейки, и по-взрослому умно и вежливо глядела на собеседника блестящими черными глазами, ужасно стесняясь лишь одного: предательски «вдруг вскочивших» круглых и тесных грудей.

И можно только вообразить, какое впечатление производила эта малышка, шпарившая Четырнадцатый этюд Шопена на беспощадной бриллиантовой скорости.

Ее маленькие руки обладали поразительной растяжкой и небывалой для девочки отчаянной силой. Иногда, доставая носком туфельки педаль,

она чуть не соскальзывала с рояльного, обитого кожей, табурета (высоту которого, прежде чем дочь села за инструмент, Гаврила Оскарович долго придирчиво устанавливал, подкручивая регулировочные маховики); подпрыгивала, как мяч, выплеснув на клавиатуру пену очередного кружевного пассажа; мечтательно замирала, выпустив из рук угасающий аккорд. Ее точеная головка с собранными на затылке в узел черными кудрями, мелко-кольчатыми, как бороды ассирийских царей, строгий профиль, который она рывком оборачивала то к одному, то к другому краю клавиатуры, чуть ли не ухом и щекой приныкая к клавишам на пианиссимо, а на фортиссимо швыряя аккорды куда-то под рояль; ее блестящие глаза, то сощуренные в щелочки, то расширенные как бы в ужасе на громовых каскадах, округлый детский лоб, покрытый испариной, и бешеная погоня по клавишам ее недетских, суховато-мускулистых кистей, – все излучало подлинность таланта. Гаврила Оскарович в паузах лишь глубоко переводил дух, мысленно посылая дочери утешающую сдержанную силу и молясь, чтобы ничто не помешало ей отыграть до конца приготовленную программу.

После первых двух минут ее игры из спальни вышла сама Мария: некрасивая, угрюмо-лобастая, как щенок, громоздкая женщина с тяжелым подбородком и маленькими, близко поставленными глазами такой ликующей синевы, что вся ее внешность тушевалась, оставляя только этот властный свет. Она вышла и молча простояла за спиной девочки до конца исполнения.

Завершив пьесу, Эська сняла руки с клавиатуры, оглянулась и нашла глазами отца. Папа сидел в кресле чуть поодаль, сцепив на колене кисти рук, даже пальцы побелели, а сам был очень, очень красен. И красив! Он улыбнулся ей и чуть заметно кивнул. Так у них было условлено: сигнал к продолжению.

Она отерла вспотевшие ладони о коленки и, выпрямив спину («перед началом всегда глубоко вдохни»), заиграла Тридцать вторую сонату Бетховена, сложнейшую...

И когда после раскаленного до минора первой части вылетела на вторую, с разреженным воздухом ее альпийских вершин, накрытых снежными ризами, с ее умиротворенно истаивающим «Lebewohl!» – «Прощай!» – последних вариаций, все бури и потрясения первой части, все земные обиды и оскорбления, и месть – Яшкин побег, безумие внезапных Дориных истерик, отцова печаль – все осталось в прошлом, а душа растворилась в беспамятной неге, в синих тенях, скользящих

по склону горы, облитому ледовым блеском.

И сливочным блеском сияла клавиатура, и черным плавником огромной акулы вздымалась поднятая крышка концертного рояля.

Высокая стеклянная дверь балкона была распахнута в кроны цветущих акаций; хрустальную вазу в углу распирает букет влажной рыхлой сирени такой пышности, что столик под ним казался робким, как олененок. В воздухе этой с роскошью обставленной залы чудесно слились морской солоноватый бриз, духовитая волна от цветущей акации за балконом, тонкий аромат цветов и терпкая горечь духов стоявшей за спиной у Эськи молчаливой грузной женщины. Ее безмолвное одобрение, волнение отца, его подрагивающие, сцепленные на колене пальцы, ручки, водовороты и водопады пассажиров, изливавшиеся у девочки из-под рук, – все обещало недюжинное будущее: вихрь сирени на иных бульварах, переполненные залы, черные фраки оркестрантов, акулы плавники лучших в мире концертных роялей, рукоплескания публики.

Где-то внизу, в порту, в синеве моря и неба длинным и тощим голосом занял пароход. И словно в поддержку ему, яростно жужжа, с улицы влетел сумасшедший изумрудный хрущ и, басовито и торжественно вторя финалу сонаты, проник в самую гущу сиреневого букета.

Мария подошла и положила на плечи девочке свои прекрасные тяжелые руки. И все задвигались, вздохнули, заулыбались и разом заговорили на трех языках. Профессор достал из кармана большой синий платок и, смешно двигая косматыми бровями, затрубил в него на ре-диез – он прослезился во время Эськиной игры.

Вдруг, явно волнуясь, заговорил на языке, похожем на немецкий... ах да, это идиш, поняла Эська, – секретный язык, на который переходит с мамой дедушка Моисей, если хочет, чтобы его не поняли внуки; и напрасно – понятно все до копейки, и все неинтересно! Оказывается, папа тоже может на нем говорить – да так быстро, перебивая профессора и тоже волнуясь.

Высморкавшись, профессор заявил, что на своем веку впервые после Марии (не правда ли, *херцлихь*? – и супруги переглянулись) услышал пианистку столь даровитую, с таким воздушным и в то же время властным *туше*; что он был бы счастлив учить эту талантливую «мейдэле» по месту, что называется, назначения, а именно, в Вене. Юный возраст не помеха в зачислении на курс в академию; как известно, и Моцарт, и Бетховен... да что там говорить!

Оказалось, что знаменитый Марк Винарский не всегда состоял

артистическим директором и членом попечительского совета Венской Академии музыки, а когда-то был шестым ребенком в бедной еврейской семье в местечке Жосли Виленской губернии; что после скоропостижной смерти отца мать покинула местечко и отправилась на заработки в Вильно, раздав детей по состоятельным семьям. Маленький Марк попал в семью местного врача – доброго бездетного человека, большого любителя музыки. Все это профессор Винарский пробубнил, то и дело сморкаясь, смущенно вставляя в свой немецкий – для Эськи, наверное, – колченогие русские словечки: «исполнитель пахнет, что вол!»

...тут, одурев от сирени, изумрудный хрущ поднялся в воздух и полетел в сторону порта, откуда потерянными гудками тянули в терцию – на ля– и на до-диез – свою песнь корабли пароходства «Австрийский Ллойд».

Эська рассеяннo улыбалась, кивала, что-то отвечала на вопросы взрослых. После Бетховена она всегда чувствовала изнеможение, как после долгой болезни с высокой температурой. Она, конечно, была ужасно рада, что аудиенция удалась; но одновременно ей не терпелось скользнуть с табурета, схватить отца за руку и поскорее утащить. Дело в том, что папа обещал повести ее в кондиторскую Фанкони, угостить мороженым со сливками. Эти двое, обожатели друг друга и оба преступные обожатели сливок, частенько заходили к Фанкони, где заказывали мороженое со сливками, пирожное со сливками, кофе со сливками и – специальным заказом – большую чашку сливок. Это был ритуал: когда дочь, блаженно жмурясь, отхлебывала из чашки мелкими глотками, отец, патетически воздев руки и потрясая ими, всплескивал тенором, так что официанты с улыбкой оглядывались на их столик:

– «Сердце полно жаждой мщенья! Мщенье и гибель всем врагам!»

Эська глядела на отца сияющими глазами. Она его очень любила. У папы были чудесные, серые в крапинку глаза в густых ресницах, победного рисунка брови, очень выразительный «таранный» взгляд: прежде чем он начинал говорить, уже было ясно, о чем он думает.

В тот миг, когда, устремившись с кресла вперед, точно собираясь прыгнуть с помоста купальни, сцепив перед собой сильные кисти (а выразительные большие пальцы нервно перекручивали невидимое веретено), он горячо втолковывал профессору что-то о «накопленном репертуаре» дочери, Эська припомнила некий синий с холодным румянцем день ранней весны, когда классная дама Рыгалина по кличке Влюбленная Вошь вела группу гимназисток на Дерибасовскую, в дом Сепича – запечатлеться в «Первоклассной фотографии Я. Блоцеровского,

придворного фотографа Его Величества Короля Румынского».

От снега, что выпал на рассвете, но к десятому часу уже раскис, пахло фиалками; холодный ветер с моря перебирал звенящие струны голых деревьев, попутно сгоняя с крыш тяжелые квадриги радужных голубей и посылая вслед им гроздя алмазных брызг; лошади волокли под пролетками гремучий цокот копыт по мостовой, и все звуки города ссыпались на бульвар, точно орехи на медный поддон.

Вдруг на другой стороне улицы Эська увидела отца: он выходил из чужого подъезда под руку с элегантной, высокой – под стать ему – дамой в чудесной шляпке с густой вуалью. Но Эська мгновенно даму узнала – по осанке: дочь антрепренера театра, Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер. Когда папа в детстве брал девочку на репетиции, она раза три оказывалась в ложе с этой изящной холодноватой дамой. И вот отец шел, прижимая к себе ее локоть, слегка наклоняя к ней голову, улыбался, горячился – в своем распахнутом сером пальто с бархатным черным воротником, в белом шелковом кашне, с кларнетным футляром в руке, молодой, слегка растрепанный и безумно любимый. Все в груди у Эски радостно, по-детски вскипело, предвосхищая возглас «Папа!» – но уже в следующий миг она торопливо отвернулась, громко задала какой-то дурацкий вопрос Влюбленной Воши, уводя внимание от красиво слитной пары впереди (отец мог и случайно встретить знакомую даму, не правда ли?), – и впервые в жизни подумала совершенно папиной присказкой, с папиной же интонацией: «Какая в том беда Дому Этингера!»

И молчок: ни слова – ни самому отцу, ни Яшке, ни Стеше, ни тем более матери.

Тихо улыбаясь, она покручивалась на рояльном табурете, не встречая в разговор взрослых. Знала, что отец подхватит, ответит, объяснит или возразит. Глядела на него с гордым обожанием, предвкушая пиршество под бело-зелеными полосатыми тентами на террасе Фанкони: мороженое со сливками, пирожное со сливками и отдельным заказом – полную чашку сливок.

Вдруг ее ужалила мысль: а не от чрезмерного ли обжорства сладостями так внезапно и больно выскочили эти противные сливочные сиськи?

* * *

Это был триумф Дома Этингера!

Яшина анархистская эпопея, омытая слезами и отчаянием Доры (вот уж кто готов был рассечь свою закованную в латы грудь и вырванным сердцем осветить возвращение блудного сына!), ее затворничество и мигрени, от которых по три дня раскалывался затылок, ее неприбранный вид и заброшенная «грудка» – все вмиг отошло на второй план. Все сбережения, накопленные тяжким трудом ее мужа-оркестранта, с абсолютным безрассудством были поставлены на кон. С болью в сердце была продана даже Яшина итальянская виолончель.

Старый картежник Моисей Маранц тоже рвался «финансировать заграничное обучение» любимой внучки, но его сомнительные предложения зять обошел вежливым молчанием. До осени, когда начинались занятия в консерватории, оставались считанные месяцы, и за это время надо было подготовить девочку к новой жизни, обшить с ног до головы в изысканном европейском стиле, сочинить и создать гардероб, который не посрамит и тамошнюю Кертнерштрассе с великолепием ее дорогих магазинов и разодетых модниц.

Немедленно с запиской к Полине Эрнестовне (ряд восклицательных знаков занимал целую строку) был послан дворничий сын Сергей.

Поскольку работа предполагалась срочная и ответственная, над меню просидели чуть не до полудня. На другой день с утра и до обеда, не отпуская извозчика, ездили по модным лавкам на Ланжероновскую и Дерибасовскую, в пассаж, в конфексион братьев Пуриц, а также в гранд-конфексион Максимаджи и Гуровича: отбирали материю, пуговицы, крючки-застежки, кружева и тесьму, дымку на вуали...

И уже после обеда великая портниха приступила к священнодействию.

Тут надо бы отметить, что лохматая людоедка обожала дочь Доры Моисеевны. С ее точки зрения, та являлась идеальной моделью: шить на девочку было сплошным удовольствием и чистым вдохновением. С ней не требовалось никаких хитроумных обманок зрения, дополнительных складок для впечатления и надставных плечиков для сокрытия. Эськина фигурка говорила сама за себя. Ее хотелось поднять на ладони к свету и любоваться пропорциями и линиями – собственно, тем, что в искусстве моделирования боготворила старая портниха. Вымеряя полураздетую, в одних панталончиках, девочку, Полина Эрнестовна таращила черные, как греческие маслины, глаза, приговаривая:

– Так бы и съела ее на завтрак!

(При этих словах Дора поеживалась и притягивала дочь к себе поближе.)

Набычив голову со знаменитой бородавкой во лбу – единорог перед решающим сражением, – Полина Эрнестовна рисовала на листках все новые головокружительные модели, вычеркивала те или другие детали, переносила с одного листка на другой рукав-реглан, отрезной лиф или воротник-хомут. Она колдовала, бормотала, фыркала и отбрасывала листки. Вновь приступала к работе, составляя списки на все случаи жизни: дорожные платья, деловой костюм, концертное платье, вечернее платье...

Повторим: она не знала выкроек и не употребляла профессиональных понятий, вроде «косой крой», «прямой силуэт» или «заниженная талия».

– Ото так... – бормотала она, – отсюда и вниз до жопки, а талию повыше... а грудку ослобонить... Шейку объять кружевцами, плечико – в фонарик... а юбку – вихрем...

Этот «венский гардероб» – единственное, что осталось девочке от европейских мечтаний, – служил ей всю долгую, долгую жизнь, ибо Эсфирь Гавриловна и в старости оставалась такой же хрупкой дюймовочкой, не поправившись ни на фунт.

«Венский гардероб!» – чуть насмешливое, но и любовное словосочетание означало в семье не только содержимое пухлого парусинового саквояжа, который проследовал за нею по десяткам разных адресов судьбы, но и многое иное: ее привычки, стойкость перед лицом трагических перемен, неизменное очаровательное восхищение мелкими и даже убогими радостями жизни.

«Венский гардероб!» – парчово-кружевная, муслиновая, атласная стопка вещей: и платье-«блузон», и платье-«робдестиль», или «чарльстон», и платье-«торсо», с удлиненным лифом и короткой юбкой, с кружевами валансьен, с черной бархоткой на высокой шее, а также блузки, жакеты, накидки и даже изящная, вышитая бисером шелковая театральная сумочка (серебряная пряжка в виде львиной морды) – и веер к ней, похожий на оперение жар-птицы...

А шляпка-тюбан? а любимая кокетливая шляпка-колокол (о, шляпка-колокол, бессмертный фасончик – в гладкой картонке устричного цвета, снабженная длинной заколкой для закрепления на прическе, со съёмной пипочкой на конце: шляпка заколота, пипочка завинчивается), и – бог ты мой, нет сил перечислять.

Все это в детстве интриговало последнего по времени Этингера, «выблядка Этингера», настолько, что, играя в школьном спектакле одновременно Себастьяна и Виолу в «Двенадцатой ночи» Шекспира,

он вытащил из старого саквояжа кружевную Эськину блузку с отороченным тесьмой лифом, воротником-стойкой и длинными манжетами, с рядом перламутровых пуговиц до локтя, а нацепив ее, пришел в такой восторг от собственного отражения в зеркале и совершенного преображения, что и в дальнейшем охотно использовал в своих целях детали «венского гардероба», уверяя, что подлинность этих «музейных шмоток» с их легкой лавандовой отдушкой помогает ему проникнуться образом.

Тут надо заметить, что Эську он изображал с особенным пристрастием: ее манеру говорить, тщательно отбирая слова, как бы разглядывая их, прежде чем озвучить; ее улыбку, бездумный пассажный пробег суховатых старческих пальцев по поверхностям столов и витрин; серебристый ежик ее подросткового затылка (горстку пепла, оставшуюся от угольного жара ассирийских кудрей), – добавляя к образу лишь одно: канареечную россыпь своего бесподобного голоса.

* * *

... В ином месте и в иное время безобразная старуха Полина Эрнестовна именовалась бы гениальным модельером. Ибо, как любой истинный художник, она интуитивно чувствовала, что, взяв от предыдущих завоеваний моды, дабы создать новый уникальный стиль. Венский гардероб грациозной девочки-подростка она безотчетно рассматривала как свой решающий выход на подиум европейской моды. И более того: оглядывая век минувший с того невидимого, но высокого подиума, который выстраивает одно лишь Время, мы со всей ответственностью рискуем заявить, что знаменитое «маленькое черное платье», якобы изобретенное в конце двадцатых в Париже пресловутой Коко Шанель, на самом деле было придумано великой Полиной Эрнестовной в 1913 году, в Одессе, в квартире Большого Этингера, в доме, что на углу Ришельевской и Большой Арнаутской.

(В последний раз Эська надела его в 1984-м, получая грамоту ЦК Комсомола Украины за самоотверженный труд в деле многолетнего музыкального просвещения молодежи.)

Рождению гениального замысла не всегда сопутствует всеобщее признание. Напротив, окружающие, как известно, принимают все новое и оригинальное в штывы.

– А это еще что? – недоуменно спросила портниху Дора, двумя пальцами поднимая со стола приметанный черный лоскут. – Рубашка?! Почему черная?

– Та не, то платишко такое. Выручалка, на все жизнеслуча́й.

– Платье?! – Дора онемела, продолжая рассматривать странное прямоугольное изделие, которое, кабы не цвет и плотная материя, могло бы сойти за наволочку. Видит бог, она благоговела перед гением Полины Эрнестовны, но старуха явно сошла с ума: разве в *этом* девушке можно показаться на люди?!

– Как же это – платье?! Такое... короткое?!

– Эх, Дормосевна, со-олнце, – протянула портниха. – За европейской модой не следишь. Кругом сейчас тенденции (она произносила: «тендентии»).

– Что за... тенденции? Что это значит?

– А то, что жизнь – она, значитца, суровая, а будет хуже; подбери, значитца, дама, свой подол и шуруй пешком до бульвару. Та ты не опасывайся: я пока подол маленько отпущу. Но только Эська потом его обязательно до колен подымет. И вот с этим платишком будет меня полжизни поминать: оно само такое – *никакое*, – и ты шо хошь на него накидавай: манто-шманто, шкурка лисы на плечи голяком... жакет опять же строгий, плус нитка твоих жемчугов. Вот и получится: и в аудиентию, и на концерт, и на коктейль-вечеринку.

– Какой коктейль? – стонала Дора, ладонями уминая боль в виски. – Какая вечеринка! Голые плечи?! Побойтесь бога, Полина Эрнестовна: девочка едет учиться!

Та отвечала спокойно:

– А вы, мадам Этингер, не желаете видеть дочь старше ее четырнадцати лет, не приведи господь?

Кто ж знал, что роковым этим словам, вымолвленным в недобрый час, суждено было сбыться так скоро?

Уютный хоровод мраморных колонн во внутреннем дворике венского кафе где-то в районе Хофбурга, куда в первый же день по приезде Гаврила Оскарович привел жену и дочь, Эська помнила всю жизнь. В тяжелые минуты, а их было предостаточно, она вызывала в воображении

жемчужные плафоны низко висящих люстр в колоннаде; балкончик в форме бокала во флорентийской галерее второго этажа, подпираемой двумя согбенными фавнами; гнутые спинки венских стульев, крахмальные скатерти, сбрызнутые радужными бликами от алых в золоте витражей арочных окон; и надо всем – купол высокой стеклянной крыши с опаловым облаком, в котором теснилось и переливалось солнце.

– Я угощу вас настоящим венским пирожным, мои прелестницы! – сказал папа и кивнул официанту, подзывая его к столу.

Папа пребывал в отличном настроении еще с того утра в отеле «Бристоль», когда от Эськиной игры прослезился великий Марк Винарский, и ни угрюмый бубнеж всегда утомленной, всегда недовольной и всегда нездоровой жены Доры, ни драматическая неизвестность с Яшей, ни колоссальные расходы на эту поездку, не говоря уже о будущих расходах на заграничное образование дочери («Ну что ж, а понадобятся деньги – так переедем в квартиру поменьше»), не могли поколебать душевного равновесия Большого Этингера.

Он торжественно зачитывал дамам меню, со знанием дела выясняя у благодушного толстяка-официанта состав кремов и соусов. Официант – это даже мама признала по-русски вполголоса – обладал адским терпением.

В конце концов заказали белого мозельского – выпить за успех будущей студентки, за ее победы; самой Эське – нечто землянично-прохладительное под мудреным названием, а на деле – обычное «ситро», лимонадную шипучку, что подают в буфетах на Николаевском бульваре; и три разных пирожных, чтобы друг у друга попробовать: «Эстерхазиторте», с орехами и кремом, ломтик круглого «Гугельхупф» и, по выбору девочки, известный венский «Захер-торте» – шоколадный, с любимыми ее взбитыми сливками.

Кто-то наигрывал неуверенный вальс на невидимом отсюда фортепиано – принужденно, будто заикаясь. Минут через десять направляясь в дамскую комнату, Эська прошла мимо тапера, из любопытства скосив глаза. Так и есть: старый инструмент рыжевато, как кобыла, масти, измученный многими поколениями залихватских брынчал. За клавиатурой – пожилой дяденька, весь какой-то скособоченный. Покатый лоб с длинными залысинами, мгновенные промельки языка по губам – он напомнил девочке варана из передвижного зверинца. Но пальцы! Восковые, скрученные артритом... ах, бедняга, бедняга! Даже немудреные пьески и песенки, вымученные им из желтоватых клавиш ветерана венских кафешантанов, должны были

доставлять старику настоящие страдания. Сердобольной девочке стало так жалко его! Она тут же сочинила ему судьбу: каморка под лестницей, распитие бутылки дешевого вина при одинокой свече в мятом подсвечнике и бог знает что еще... Минут через десять тапер закрыл крышку инструмента и удалился, надвинув котелок на скошенный лоб.

Принесли замысловато украшенные кремовыми вензелями и шоколадными розочками пирожные на больших белых тарелках, а в придачу – грациозный сливочник, полный первостатейных сливок, – папа такой милый, всегда все помнит.

Не притрагиваясь к пирожному, девочка порывисто поднялась со стула, смутилась, села, опять вскочила.

– Можно я поиграю, папа?

– Чушь! – раздраженно отозвалась мать. – Ты что, прислуга? Поди еще на кухню, вымой им посуду!

А отец улыбнулся и сказал:

– Вперед, доченька. Покажи австриякам класс настоящей игры.

И она подлетела к фортепиано, откинула крышку, замерла на миг, пострекозьи перебирая пальцами ванильный, коричный, кардамоновый воздух, – и заиграла «Музыкальный момент» Шуберта.

Гаврила Оскарович крикнул от удовольствия и откинулся к спинке стула.

– Умница! – прошептал он и, повернувшись к супруге: – У нее потрясающее чутье на стиль, даже на интерьер. В секунду поняла, что здесь требуется!

Она заиграла легко, вначале как бы шутливо, как бы между прочим, хотя все вокруг сразу ощутили пропасть между натужным бренчанием тапера и игрой этой неизвестно откуда взявшейся птички-колибри с блестящей черной головкой, в персиковом платье смелого, но безукоризненно элегантного кроя, так что и понять невозможно возраст его владелицы.

В ход пошли вальсы Шуберта, и вальсы Легара, и вальсы Штрауса-сына.

Сперва одна пара, а за ней еще две-три закружились в аркадах внутреннего дворика, и когда Эська доиграла и опустила руки, публика за столами, и компания минуту назад вошедших, да так и оставшихся стоять господ и дам, и офицер с клинообразными «вильгельмовскими» усами, утянутый, как дама в корсет, в мундир австро-венгерской армии, и группка студентов (один чудной такой, с красной шкиперской бородкой, лицо будто в огне) – все яростно заплодировали, а огненнородый

крикнул: «Браво!»

Тогда Эська, вынув заколку из волос и тряхнув рассыпчатыми кудрями, заиграла то, что казалось ей самым подходящим – и месту, и публике: миниатюры Крейсlera – сначала изящную, с налетом легкой танцевальной грусти «Муки любви», затем кипучую и пенную, как шампанское, «Радость любви» и, наконец, виртуозную, всю на пуантах, то крадущуюся за бабочкой, то разметающую нежные объятия любимую ее пьесу «Прекрасный розмарин».

Вообще, все это были перлы скрипичного репертуара, но Эська всегда с легкостью занимала у любого инструмента его шедевры, переключивалась, преобразовывала, украшала... и преображенными дарила своей любимой клавиатуре.

...Бог ты мой, сколько раз потом Крейсler выручал ее в сценах любви – не ее любви, увы, а иллюзионной, затертой просмотрами, рвущейся в пленке, надрывной любви синематографических див и лощеных красавцев с нитяным пробором в набриолиненной прическе.

Но, задорно улыбаясь поверх клавиатуры огненнобородому студенту в венском кафе, разве могла она даже на миг представить свои многочасовые обморочные экзерсисы в войлочном воздухе темного зала, где сопрягались вонь от самокруток, пороховой запах мокрых солдатских шинелей вперемешку с запахом дегтя от сапог, пьяная отрыжка расторговавшихся дядек с Привоза, одобренная сытным духом налузганных за день семечек.

Дымный луч киноаппарата буравил сизый столб над головами зрителей.

И она, со своим «потрясающим чутьем на стиль и даже на интерьер», шпарила «Трансвааль, Трансвааль, страна моя», и неперемный «Матчиш», и, конечно же, «На сопках Маньчжурии», и – куда от них деться! – «Амурские волны». Но когда омерзение подкатывало к горлу, а волна тоски накрывала с головой, Эська переходила на благородно-утонченного Крейсlera, иногда лишь разбавляя его безыскусной печалью «Полонеза» Огинского.

Кстати, именно «Полонез» она играла в тот вечер, когда один за другим шли сеансы новой ленты «Одесские катакомбы». И по завершении последнего, девятичасового, когда у нее хватило сил лишь опустить крышку клавиатуры, а подняться со стула уже никакой возможности не было, и, уронив мутную голову на сложенные руки,

она собралась забыться совсем чуток, на минутку, перед нею вдруг вырос и навис над инструментом огромный детина, бровастый и носатый, в отличнейшем кожаном плаще, и густым умиленным басом протянул:

– О-ой, какая пичу-ужка!

Она подскочила от ужаса: на днях банда пьяных дезертиров растерзала певичку в фойе синема, и люди еще передавали друг другу леденящие подробности, хотя удивить кого-то очередным зверством было трудно: город трясся и съезжился, заползая в подворотни и норы, где укрыться, впрочем, тоже было невозможно. Перестрелки, «эксы», безнаказанные убийства, самочинные «обыски» налетчиков бесчисленных местных банд... Шайки вооруженных солдат, отпущенных с фронтов ленинским «декретом о мире», громили завод шампанских вин и цейхгаузы; из тюрьмы на днях, говорят, бежали восемьдесят пять воров, каких-то «анархистов-обдиралистов», силой остановили трамвай на соседней улице и, раздев всех пассажиров до нитки, преспокойно сыпанули по сторонам. Другая анархистская, как говорил Большой Этингер, «шобла» сочинила и напечатала в «Одесском листке» манифест с угрозами «начать террор над местным населением за издевательства над ворами и тем заставить себя уважать!».

И вот, навалившись на инструмент, этакий-то детина в плаще смотрел на девушку, чему-то ласково изумляясь.

– Так это вы играли так прекрасно всю фильму? – спросил он.

– А вы думали – кто? – еле слышно спросила Эська.

– Я думал, это фортепьяно сам играет, – чистосердечно ответил он. – Механику, думал, завели. Очень как-то... безошибочно. А вот эту расчудесную мелодию: та-ам-тари-рара-там-та-рира-а – это вы сама сочинили?

– Да нет, – сказала Эська и устало улыбнулась. – Это «Полонез», сочинение композитора Огинского.

– Ага... Вот как! А такую песенку – «Стаканчики граненые» – играть умеете?

– Ну... если напоете, подберу и сыграю.

– Тогда вам не я напую, а вот он. – И, как фокусник, достал откуда-то, чуть не из-за спины, маленькую клетку едва ли больше пивной кружки, где резво прыгала, вертя головой и постреливая дробинками глаз, желтая птичка. Детина в кожаном плаще вытянул губы и, приблизив лицо к прутьям, как-то затейливо посвистал, втягивая щеки. Птичка замерла, две-три секунды прислушиваясь к звукам, и вдруг отозвалась чистым и таким переливчатым голосом, что у Эски дыхание занялось. –

Получите приз: маэстро Желтухин! – сказал человек в кожаном плаще уже не умильным, а решительным тоном, протягивая девушке клетку с канарейкой. – А заодно привет от брата Яши.

Она играла в венской кофейне, наслаждаясь восхитительным ощущением своей уместности в этом прекрасном мире. Встреча с Винарским была назначена на утро. Завтра, завтра она впервые переступит порог святилища, где ей предстоит учиться несколько наполненных и счастливых – она в это верила – лет.

Но все это завтра.

А сегодня она исполняла перед нежданной и простодушной публикой пьесы Крейслера, очень венскую по духу музыку сладостной эпохи *fin de siècle* – эпохи, не подозревающей, что за углом уже точит топор двадцатый, едва народившийся, безжалостный, смердящий мертвечиной век.

Она играла – птица-колибри под опаловым облаком в высоком куполе стеклянной крыши, – играла, почти не глядя вокруг, не чувствуя усталости, в счастливом подъеме предвкушая куда более головокружительное будущее, загадывая так далеко, как только в юности рискует загадывать непуганая душа...

В следующую минуту все оборвал беспомощный крик отца.

Ее несносная мать, упавшая головой на блюдо с пирожными, перевернутый сливочник, чье содержимое на белейшей скатерти смешалось с хлынувшей носом кровью, бегущий к телефону и опрокидывающий стулья официант, суматоха, карета «Скорой помощи»... и странное бесчувствие, и невозможность выдавить ни слезинки из распахнутых глаз: ведь все это происходит не с ней, и не с мамой и папой, а с чьими-то тенями в иллюзионной ленте, сморгнула – и кадр сменился на морскую гладь с легчайшим перышком белого паруса.

Вот только музыкального сопровождения к этой ленте Эська не взялась бы подобрать.

Впрочем, любую фильму из тех, что впоследствии крутились бесконечной каруселью перед ее глазами, она помнила гораздо яснее и подробнее, чем три страшных венских дня. В памяти застряли отрывочные нечеткие кадры: вот знаменитый венский хирург, светило и бог, рекомендованный профессором Винарским, ставит Доре неутешительный диагноз и настаивает на немедленной операции... обрыв ленты, свист и топот – и вот уже они с папой возвращаются из больницы «Бармхерциге Брюдер», по обе стороны бульвара оставляя плывущие

за спину в туман воспоминаний прекрасные здания «венского модерна».

Зато всю жизнь помнилось, как надоедливо лезли в глаза ее буйные кудри, ибо любимая заколка для волос, подарок брата на десятый день рождения (свернутая тремя кольцами змейка с глазами-гранатами), уплыла на крышке старого фортепиано в опаловое облако венского обморока.

Всю последующую жизнь Гаврила Оскарович упорно доказывал дочери, что сама операция по удалению опухоли у Доры прошла успешно. Еще бы не успешно – если вспомнить, что на нее ушли все собранные на Эськину учебу деньги. Просто Дора не проснулась после наркоза – это случается: судьба, рок, выбирайте что хотите, и не о чем говорить, мир ее праху.

Орлеанская Дева тихо удалилась из нашего повествования, отлетев на воздушных шарах своего непомерного бюста.

Всего этого Эська старалась никогда не вспоминать. Музыкой Крейсlera в уютном венском кафе закончились для нее отрочество, мечты, европейское образование, да, собственно, и музыка сама – вернее, та музыка, с которой душа ее была на равных в неполные четырнадцать лет.

И никогда больше она не притрагивалась к сливкам.

Дня через три в Одессу из Вены поездом возвращались очень тихая Эська с осунувшимся Гаврилой Оскаровичем. Дора следовала другим классом, в вагоне с другими услугами.

Вернувшись с похорон на Новом еврейском кладбище – где бурно заплаканный отец Доры Моисей Маранц, привалившись к зятю плечом, доверительно сообщил, что «разорен и истерзан, мой мальчик!», поэтому вряд ли сможет снабдить деньгами обучение внучки в европах («Боюсь, Герцль, сейчас не время на меня рассчитывать!»), и что-то еще про морской порт в Херсоне, сокращение хлебного вывоза из Одессы на сорок миллионов пудов зерна, про Дарданеллы, кои наверняка закроет султан, про ставки в бюллетене гофмаклера и черт его еще знает, какую бесстыдную нес и неуместную в этих обстоятельствах дребедень (видимо, проигрался вчистую), – вернувшись с похорон, Гаврила Оскарович прошел в супружескую спальню и первым делом увидел в кресле никчемную Дорину «грудку». Монументальное сооружение виртуозной высокохудожественной работы Полины Эрнестовны напоминало обломки выброшенного на сушу фрегата. По обломкам весело прядали солнечные зайчики от гуляющей под утренним ветерком голубой занавески.

– «Герцль!» – прошептал Большой Этингер. – «Где моя грудка, Герцль?..»

Сел на кровать и заплакал.

4

Морские кучевые облака дрожали и уносились в распахнутой створе окна отцова кабинета, которое надраивала Стеша. Она стояла на подоконнике босая, в ночной рубашке, в надетой поверх нее подоткнутой синей шерстяной юбке и, намяв в обеих ладонях по газетному комку, с двух сторон визгливо протирала вымытое стекло, навалившись грудью на раму.

Вот!

Вот тут мы нашли некий уместный зазор и для Стеши – встроить в наш рассказ, и без того похожий на лоскутное одеяло, еще и Стешин простой лоскут. Потому что обойтись без Стеши в нашем дальнейшем повествовании о Доме Этингера никак не выйдет.

Что поделат! Еще со времен запевалы-кантониста все члены этого незаурядного семейства, умея ловко попасть в общий тон любого окружения, вписаться в общество, легко и блистательно перенять внешние приметы чужого уклада, в сокровенной основе своего существования допускали подчас некоторую... двусмысленность, эдакое «но», или вовсе крохотное «однако», еле заметное «и все же», – обойти которые, не заметив или не споткнувшись, просто невозможно.

Подобно старому солдату, что носил имя Никиты Михайлова, но являлся им не совсем; подобно Большому Этингеру, при появлении на свет названному Герцлем, но не совсем им оставшемуся; подобно тому, как сын его Яша рожден был стать виолончелистом, но не совсем стал им, а дочь Эсфирь уехала в Вену учиться, но доехала туда не совсем – так, можно сказать, и Стеша была в их доме обычной прислугой. Но не совсем.

У Этингеров она пребывала с детства, лет с пяти; тогда у них только-только народилась дочь Эсфирь, пугающе маленький младенец («Гора родила мышь!» – развязно шутил легкомысленный папаша Моисей Маранц, раздавая карты для деберца, как называли в Одессе клабор).

Бедная Дора маялась с воспалением своей необъятной груди, в которой для ребенка не нашлось ни капли молока, в доме толклись доктора, кормилица, няня, прислуга, приходящая прачка, и каждый день, вдобавок к газовому отоплению, являлся протопить камин дворничий сын Сергей:

младенцу требовалось усиленное тепло.

И в этой-то парной суете и бестолковщине однажды утром в прихожей прозвенел звонок. Дверь, так уж получилось, нетерпеливо распахнул сам Гаврила Оскарович (он торопился на репетицию и уже натягивал в прихожей, азартно притопывая, галоши) – с кларнетным футляром в руке, в длинном сером пальто с черным бархатным воротником, в белом шелковом кашне, как обычно, до блеска выбритый и благоухающий одеколоном.

На пороге стоял оборванный старик с обгорелыми усами.

Муторно раскачиваясь, диким и одновременно умоляющим взглядом он смотрел куда-то в притолоку поверх каштанового кока Большого Этингера. В руке *обгорелец* держал цыплячью лапку до ужаса тощей девочки, тоже закутанной в какие-то несусветные шматы.

– Все померли, все, – раскачиваясь, бормотал старик. – Люди добрые, возьмите ее в прислуги, не то и эта помрет.

Тут произошло нечто странно-стремительное: девочка ящеркой скользнула в прихожую за спину оторопевшему Гавриле Оскаровичу, схватила веник за дверью и стала мелкими судорожными движениями подметать паркет.

– Постой... э-э-э... девочка, – растерянно пробормотал Большой Этингер. – Насколько мне известно, нам не нужна... у нас уже, кажется... есть прислуга.

Та продолжала истово подметать, не разгибая тощей спины, ребристой, как спина дракона.

Гаврила Оскарович обернулся к старику. Того и след простыл.

Спустя много лет, когда Стеша выросла и стала рослой, широкой в кости девушкой с льняными, очень мягкими и текучими волосами, которые, заплетя в косу, она выкладывала надо лбом, Гаврила Оскарович любил шутить, что, мол, Стешу к ним привел ангел-заступник всех погорельцев. Сама Стеша ничего, кроме большого огня, не помнила. Она даже не помнила названия села – а может, и не хотела помнить. Покойная Дора называла ее «запоздалой головой» и считала очень глупой. Но, во-первых, видит бог, Дора и сама философских трактатов не писала, а во-вторых, как на дело взглянуть: нырнуть-то в прихожую да в веник вцепиться так, что потом до вечера отцепить не могли, девчонка сообразила. Как сообразила намертво забыть имя своей деревни и даже собственную фамилию. Так что погодим с выводами. Добавим лишь, что одним из самых пленительных образов детства, потрясших ее

воображение, стал образ высокого красавца в проеме двери: с плоской черной коробкой в руке, в длинном пальто с поднятым бархатным воротником, в шелковом белом кашне вокруг шеи, удивленно поднявшего красиво изогнутые брови над добрыми, серыми в крапинку глазами.

По случаю появления в доме «вшивой деревенской худобы» Дора устроила скандал, мигрень с рвотой, обморок и слабость. Но отослать девчонку в сиротский приют все же поостереглась: Большой Этингер предупредил, чтоб, когда вернется после «Травиаты», девочка была накормлена, выкупана и успокоена спать. Почему он так уперся в этом случае – он, который никогда не вникал в «кухонные» дела дома, – было непонятно. Может, и вправду ангел погорельцев что-то в уши ему надул, в его музыкально чувствительные уши? Это Дору настораживало и слегка пугало. Но она всегда очень тонко чувствовала, когда ее мигрень сработает, а когда окажется вовсе бесполезной.

Вот так и получилось, что Стешу ни выгнать, ни отправить восвояси не было никакой возможности. Пришлось выправить ей приличные документы и записать все на ту же фамилию – ничего, от нас не убудет, приговаривал Гаврила Оскарович, какая в том беда Дому Этингера?

Было время, он носился с идеей девчонку образовать, дать какую-то профессию – например, костюмерши или гримерши (он мыслил только категориями театра, этого бутафорского, но такого гроз но-волшебного мира). Куда там! Стеша и вправду оказалась фантастически непригодной к любой учебе. Музыкального слуха у нее не нашлось ни на грош; считать и писать со страшными муками и скрежетом зубовным обучил ее старшенький Яша. Хотела Стеша только ставить тесто на пироги, томить бульон, жарить оладушки, чисто стирать, паркет надраивать до «медовой слезки» (и все это она уже в детстве делала гораздо лучше тогдашней прислуги, глуховатой старой каракатицы Лидии, выгнать которую ни у кого в семье много лет не доходили или, лучше сказать, не поднимались руки); а главное, Стеша хотела мыть и мыть, и высушивать-проветривать меж ладоней, и расчесывать гребнем, и бесконечно лелеять и выплетать, и венцом выкладывать мягкую льняную пряжу своих волос, словно и спустя много лет отмывала их от сажки давнего пожара.

Яша называл подросткую Стешу Лорелеей и громко декламировал с насмешливой гримасой, явно притворной: «Их вайс нихът, вас золь эс бедойтн...» И не зря: прозвище «Лорелея» имела также мраморная наядка в углу их несуразно огромной – метров в сорок – и несуразно роскошной ванной комнаты: мрамор, зеркала, погребальная ладья фараона

на бронзовых львиных лапах (папа шутил, что архитектор явно перепутал их ванную с тем же помещением у «девочек» в доме напротив). Неясно, для каких функций соблазнительная наядда приплыла сюда под водительством романтика-архитектора; впрочем, в раннем Яшином отрочестве кое-какую функцию за ней приметили: Дора обратила внимание на то, что мальчик подозрительно долго моется, после чего острые грудки наядды приходится то и дело начищать зубным порошком, так что Большому Этингеру пришлось, запершись с сыном в кабинете, провести недвусмысленную беседу грозным тоном, через каждые два слова строго тыча указующим перстом в окна дома напротив.

Словом, когда Лидия умерла, нанимать новую прислугу не понадобилось – *Стеша успевала*. Как-то так вышло, что она заняла место и горничной, и кухарки – а к чему еще одной бабе крутиться на кухне, когда *Стеша успевает*?

Рецепты многих своих кулинарных шедевров она сочиняла сама, не заглядывая в поваренные книги (лень было буквы составлять, уж очень мудрено там писали длинными словами, все мельтешило в глазах); и за этими рецептами к ней наведывались пожилые соседские кухарки, присланные вчерашними гостями. Когда старый Моисей Маранц – не последний, между прочим, в Одессе гурман – прихлебывал знаменитый Стешин супчик с куриными фрикадельками – крохотными, одна в одну, размером с большую пуговицу, – он после каждой ложки отирал салфеткой лоб и выдыхал: «Мама моя!» – фразу, какую произносил только в редкие моменты крупных карточных добыч.

Тихо и прочно Стеша проросла в семью, знала свое место – в комнатке на антресоли, куда из кухни вела деревянная восьмиступенная лестница, и, перебив после ужина посуду, замирала там, никогда не посягая на участие в громкоголосой, насмешливой, взрывчато-розыгрышной вечерней жизни семьи.

Взрослых, и даже Яшу, Стеша именovala по имени-отчеству; Эську (младенца, которого когда-то подтирала и нянькала) звала «барышней» и на «вы»; и, хотя так и не переняла Этингеровой легкости и блеска, образной остроты их речи, артистизма, иронии, была все же частицей Дома Этингера – малозаметной, но неотъемлемой и полезной, как впоследствии оказалось, ее частицей.

Как впоследствии оказалось, эта судьбинная «полезность» в свое время была явлена во всей библейской высокой простоте в виде некой белобрысой девочки с разными глазами. И тут предлагаем представить

себе Фамарь, терпеливо сидящую у дороги в ожидании Иегуды, родоначальника известного колена. У той ведь тоже хватило ума приберечь доказательства его прелюбодеяния – посох, кажется, или там перевязь? В нашей истории некий посох тоже имеется и тоже сыграет свою семейную роль – в надлежащее время...

Однако – стоп, ни слова больше, да и некстати это сейчас, когда окно дрожит на весеннем ветру и сквозь прозрачное стекло так тревожно и стремительно несутся в наклонную бездну неба морские кучевые облака.

...Эська сидела за ломберным столиком в двух шагах от Стеши и на уровне глаз видела на подоконнике босые Стешины ступни: крепкие, жилистые, с красными пальцами, с чуть набрякшими от напряжения голубоватыми щиколотками.

Эська писала письмо брату.

Как и подозревала покойная Дора, *эта мерзавка Стеша* была таки замешана в его делишки, знала, где он обретается, и сейчас, растроганная горем семьи, выдала Эське под страшным секретом – «и ни единым духом папаше!» – адрес Яши в Харькове. Собственно, там и адреса-то никакого не было. Писать следовало на Главную почту, да еще и на имя другое: не на Этингера и даже не на Михайлова, а на какого-то Каблукова Николая Константиновича. Ну, Каблуков так Каблуков, так даже лучше, пусть Яше совсем станет стыдно за все эти недостойные штуки.

Она намеревалась написать брату высокомерное и отчужденное письмо, сухо сообщив о скоропостижной смерти матери, но сидела над листом уже час, а высокомерие куда-то улетучивалось, фразы лепились довольно жалкие, хотелось плакать и ужасно хотелось Яшку увидеть!

«...а еще, – писала она, – вот уж верно говорят: пришла беда – отворяй ворота! – папа недавно возвращался после концерта и в темноте ступил в собачью кучку, ну и – помнишь этот скользкий желтый клинкер мостовой на углу Итальянской и Ланжероновской? – растянулся и повредил руку! Сначала думали, пустяк, растяжение связки – ан нет, все куда серьезнее, и доктор Киссер со станции медицинской помощи считает, что связка порвана, а выздоровление – дело дальнее. Пока папе установили в оркестре небольшой пенсион по болезни, но сезон, конечно, загублен, и он ужасно огорчен, прямо убит. Он бы мог преподавать, но даже думать не хочет: говорит, что педагог, не способный продемонстрировать ученику то, чего от него требует сам, – мошенник и пустобрех. Я предложила продать мамины драгоценности – те дивные кольца, еще от прабабушки, помнишь? – но он уперся и твердит, что подобные вещи сохраняются

в семье на совсем иные, какие-то “большие спасательные миссии”. И это уж прямо его фантазии! А ты же знаешь, какой он гордый человек! Как не мыслит своей жизни без музыки. Уверен и повторяет без конца, что на будущий год я непременно, во что бы то ни стало поеду к Винарскому в Вену. Все это грустно: на какие средства он рассчитывает?

Если б Стеша не выросла в семье (да и идти ей некуда, и ни к чему она не приспособлена), то и она сбежала бы от таких затруднений: все дни напролет ходит в одной и той же юбке.

Но ты не должен за нас беспокоиться. Тут у одной “девочки”, ты ее помнишь, рыженькая, Лида, разговаривает так забавно, “вавакает”, брат – механик в иллюзионе “Бомонд”, и он меня туда предложил – о, не смейся, пожалуйста, актерство тут ни при чем! – на предмет музыкального сопровождения новой американской фильма “Большое ограбление поезда”. Я сначала не могла играть: впечатление сильное, знаешь! Инструмент же совсем бросовый, разбитый и расстроенный. Садись, и вначале кажется – легкие деньги, но к вечеру руки свинцовые, спина раскалывается. Ничего, заработок, однако, недурной. Я потерплю. А еще, Яша...»

Она задумалась. Вдруг вспомнила дачу на Шестнадцатой станции, которую ежегодно они снимали, эту летнюю веселую жизнь со спектаклями и розыгрышами, с толпой сменявших друг друга гостей, и «вечерних», и тех, что оставались неделями; и закружил теплый ветер с Босфора, смешавшись с запахом чистого сухого белья на веревке и горячих камней чисто выметенного дворика; возникли перед глазами круг желтого света от керосиновой лампы на вечерней террасе, солнечный переполох листьев в виноградной беседке, слепящая синь неба в отрешках летящих облаков и слепящая синь моря в заплатках белой парусины...

Вдруг воссиял большой медный таз на огне: это в саду под яблоней Стеша колдует над вишневым вареньем. В самой середине густой багряной мягкости подбирается, подкипает крошечный вулкан лаковой вишневой пенки. И она, Эська – восьмилетняя, босая, в цветастом сарафане – стоит с блюдечком в руках, ждет своей порции сладкого – сладчайшего! приторного! – приза. А Стеша месит палкой в тазу вулканическое озерцо, испуганно покрикивая: «Сдайте назад, барышня, ну-ка! Обвариться можно сию минуту, не дай боже!» Но девочка не отходит, замороженно глядя на вулканчик в центре раскаленного багряного озера, облизывая губы, словно на них уже запеклась вожденная лиловая пенка.

И весь длинный летний день – шлеп и лепет, беготня, босая пересыпь маленьких ног по дощатым полам террасы – там за чаем папа демонстрирует гостям подарок, привезенный из Карлсбада дедушкой

Моисеем: трость с золотым, как говорит Ада Яновна, «балдахином» в виде оскаленной львиной пасти. Набалдашник, конечно, не золотой, а фальшивый, но особый, с сюрпризом: отвинчиваясь, львиная голова ощеривается коротким, но мощным клинком.

– Элегантная вещица, – замечает кто-то из гостей.

– Чепуха, блеф, декорация! – фыркает папа.

Он всегда фыркает при появлении деда – веселого, легкомысленного и рискованного человека с брюшком и курчавыми, как у Пушкина, рыжеватыми бакенбардами.

(Вот уж рискованного, да. Года два как после банкротства переехал в квартирку на четвертом этаже под крышей и все болеет, болеет...)

Вдруг она с необычайной ясностью услышала двойную вьющуюся нить родных голосов: вечерами на даче Большой Этингер с сыном пели дуэтом. Начинал отец без предупреждения, когда после чая наступала пауза, Стеша убирала со стола, мама переходила в бамбуковую скрипную качалку, обессиленно падала в нее и прикрывала глаза. И папа тоже, прикрыв глаза, будто издали начинал, с такой дорожной мечтательной грустью:

– «Од-но-звучно греми-ит ко-о-ло-кольчик... и доро-о-о...»

И томительно Яша подхватывал:

– «...И дорога пылится слегка-а-а...»

Дача на горе стояла, у самого обрыва, с террасы распахивалось море со своей безудержной переменчивой жизнью, с такими закатами, с таким багряным солнцем в багряных волнах. Два тенора взмывали и опускались, как два крыла, озаренные заходящим солнцем: – «И уныло по ро-вно-му по-лю... разлива-а-а...» А Яша:

– «...разливается песнь ямщика-а-а-а...»

Разные были тенора. У отца – глубокий драматический, очень чувственный, у сына – нежный и юный, переливчатый. Пели так только на даче, «на воле», где всё – как бы игра, понарошку, дурачество – лето... (Яша очень застенчивый был мальчик, чужих стеснялся.) Но сила чувств такая, что у обоих потом влажные глаза, и оба их одинаково прячут за небрежной улыбкой. Такая певчая пара была – казалось, тут не только домашнее, теплое, а что-то более глубинное, более мощное... голос рода, что ли... Вот оно, так ясно, так больно: закат, слабый рокот волн из-под обрыва, вспышки маяка вдали, а на террасе – круг желтоватого света от лампы. И два упоительно высоких голоса, взмывающих и парящих, как две чайки – над морем, над степью:

– «...и замолк мой ямщик, а дорога... предо мной далека, да-а-але-ка-а-а...»

Эське хотелось написать: «Яшка, возвращайся ты, ради бога, пожалуйста, Яшенька, вернись, мы с папой такие одинокие!» – но она упрямо поправила перед собой листок и продолжила: «Еще у меня появилась ученица. Внучка пристава Жаркова. Девочка, как говорила покойная мама, “запоздалая”, малоспособная, но старательная...»

В окне дома напротив раздернулись малиновые шторы, изнутри толкнули раму, высунулась растрепанная голова одной из «девочек».

– Во денек – шик! – крикнула она куда-то в комнаты. – Просыпайся, Ангеля!

Оттуда невнятно отозвался заспанный голосок, а другой, мужской голос густо прокашлялся и сообщил кому-то невидимому:

– Франца Фердинанда застрелили!

– Которого Фердинанда? Лысого? – донесся снизу, со двора, тонкий – сразу и не разберешь, женский или мужской – голос. – Кельнера с Ланжероновской?

– Та не, принца венхерского. О тут пишут: «Одна пуля пробила воротник мундира эрц... эрцхерцоха... и застряла ув позвоночнике. Другая пробила корсет херцохини и застряла ув правом боку... скончался в беспмятстве...»

– А стрелял-то кто?

– Какой-то Хаврила, тоже принц... не: Прынцып – то фамилие.

– Жид?

– А я знаю? Пишут, студент.

– Значит, жид...

Стеша кончила надраивать стекло, ставшее совершенно невидимым, бросила на пол газетные комки и следом спрыгнула сама, в середку солнечной лужи, упруго и весело шлепнув босыми ступнями о паркет.

Эська приподнялась, захлопнула окно и продолжала: «...Девочка старательная, хоть и туповатая, так что в первую голову думаю дать ей упражнения на беглость пальцев...»

Нет, Яша в то время никак не мог вернуться в родную семью. Яша был страшно занят: он и сам мог бы сыграть одну из главных ролей в киноленте «Большое ограбление поезда», и убедительнейшим образом сыграть, тем более что партнерами в этой умопомрачительной ленте у него были бы самые разные актеры: от Якова Блюмкина с его «железным отрядом революционеров-интернационалистов» до будущего батьки Махно в эпоху его третьего военно-политического соглашения с большевиками.

В Одессу Яша вернулся в незабываемые годы революционного разгула борьбы всех со всеми. Рассорившись и расставшись с другом Блюмкиным, он создал собственную боевую анархистскую дружину, которая входила в подпольный ревком, где каждой твари было по горстке – большевиков, анархистов, левых эсеров...

Вряд ли Эська узнала бы брата, столкнувшись с ним на улице или даже в подворотне собственного дома, где он, к слову сказать, не появился ни разу. Уже в то время он окончательно взял себе солдатскую фамилию деда, Михайлов, и вровень с фамилией полностью поменял облик – заматерел, оброс рыжеватой щетиной, вымахал до отцовской коломенской версты, полностью отринув отцовскую обходительность и щепетильность в вопросах морали. Видимо, Этингерова способность к мимикрии требовала перевоплощений в совсем иных декорациях эпохи.

А на бедность декораций в те годы актерам жаловаться не приходилось – кровавый, долгий, разрушительный шел спектакль: Одесса то становилась «вольным городом», то именовалась «Одесской республикой», то провозглашалась столицей «независимого Юго-Западного края». Казалось, сюда со всей простертой в безумии державы стекались отбросы, чтобы привольно гнить и бродить, вспухая язвами и вонью, изливаясь в Черное море реками крови и гноя. Бушлаты, гимнастерки, седой гармоникой сапоги, на Екатерининской – раздавленное пенсне в двух шагах от перевернутой мужской галоши...

В городе орудовали банды налетчиков и толпы вооруженных дезертиров; через него прокатывались гайдамаки, белые, красные, румыны, французы и сербы. Одних только анархистских союзов, федераций, групп и дружин насчитать можно было с десятков, и всем находилось дело: взорвать типографию, ограбить пакгауз, пристрелить прямо в ателье какого-нибудь фотографа с Большой Арнаутской – «буржуя, заживевшего на крови рабочего люда».

И тут уж Якову Михайлову с его боевой анархистской дружиной нашлось где развернуться. Он имел разветвленную сеть осведомителей, лично завербовал нескольких офицеров деникинской контрразведки, и –

артистизм всегда был присущ отпрыскам Дома Этингера – своих ребят посылал на задания в форме Добровольческой армии. Председатель ревкома товарищ Чижов воротил разборчивый нос от дружины Михайлова – его, видите ли, коробила сомнительная репутация этих «ребят», по большей части одесских налетчиков. Зато когда тот же Чижов был арестован контрразведкой – кто выкрал главу ревкома с тюремной баржи в порту? А когда некий Александров, присланный в Одессу из самого ЦК РСДРП(б), сбежал с кассой ревкома – кто выследил и выудил его прямо из ресторации, где вор и предатель гулял с компанией подвыпивших денкинцев? Яков Михайлов, о чьей жестокости ходили невероятные слухи. С провокаторами Яша расправлялся лично, и самые крепкие из его «ребят» предпочитали отлучиться покурить, дабы не слышать, что за звуки извлекает бывший виолончелист из человеческих жил.

17 февраля 1919 года дружина Михайлова взорвала штабной вагон с союзными офицерами. Тут Яша счел разумным исчезнуть и далее всплывал самым неожиданным образом, как поплавков в бурном потоке времени.

Помирившись с Блюмкиным, подался создавать с ним ревкомы на Подолье, возглавлял один из партизанских отрядов в тылу петлюровцев и, в отличие от друга, не попал к ним в лапы, а успел бежать в последнюю секунду, голыми руками задушив несговорчивого путевого обходчика, не пожелавшего отдать беглецу свою кобылу.

* * *

Впервые он дал о себе знать семье в тот вечер, в иллюзионе на Мясоедовской, когда после вечернего сеанса перед Эськой возник и навис над стареньким фортепиано детина в кожаном плаще, с кенарем Желтухиным в клетке.

– ...А заодно привет от брата Яши, – сказал детина. И эти слова оглушили, полоснули и распахнули Эськино сердце, как рану.

Вначале она подумала, что посланник – а детину звали Николай Каблуков (тот самый Каблуков, на чье имя она писала когда-то Яше длинное наивное письмо, оставшееся без ответа) – просто воспользовался родством товарища для личного удобства: может, переночевать надеялся, кто его знает. Однако Эська была весьма строгих понятий: домой привела, чаем, конечно, напоила, а вот ночевать – извините, сказала твердо,

это не в моих правилах.

Да и папе, как заметила она едва ли не с порога, гость почему-то не глянулся, хотя от кенаря папа пришел в неопиcуемый восторг: стал напевать отрывки из арий, пытаясь с ходу научить того сложнейшим модуляциям.

И тут гость, не присаживаясь, не сняв своего бронированного плаща, прочитал целую лекцию (вернее, это была вдохновенная баллада, так вибрировал и вздымался волной его голос) о том, что за диво дивное русская канарейка. «Соловьем разливался», – говорил позже Гаврила Оскарович с усмешкой.

Оказался Николай Каблуков страстным канареечником и *дителем* – ловцом певчих птиц. Впрочем, и лошадиником тоже. У его отца прежде, «до событий», был, оказывается, конезавод. «Между прочим, наши всегда на скачках призы брали; и у вас тут, на ипподроме Новороссийского общества...» В лошадях он понимал, любил их самозабвенно – поверите ль, ушел из конной бригады Котовского: не мог видеть, как губили там лошадей.

Стеша накрыла к чаю на ломберном столике в кабинете Гаврилскарыча (большой обеденный стол со стульями, с вензелями «ДЭ» – «Дом Этингера» – в изогнутых высоких спинках, остался в столовой, куда на днях вселилась семья какого-то портового начальника).

За чаем гость говорил много, охотно и вообще чувствовал себя как дома. Стешины знаменитые оладушки уплетал своеобразным способом: брал двумя пальцами целую, складывал вчетверо конвертиком и отправлял в рот, словно письмо опускал в прорезь почтового ящика. Стеша с минуту понаблюдала этот процесс, уважительным взглядом провожая плавное движение щедрой руки. Затем повернулась и отправилась на кухню – жарить следующую порцию.

– Страсть к лошадям – это у нас от предка-цыгана, – продолжал Каблуков. – Не простой был цыган, с тремя фамилиями.

– Следы заметал?.. – заметил Большой Этингер, со значением бросив на дочь свой говорящий «таранный» взгляд.

Эське же немедленно пришло в голову, что в ее семье тоже знают толк в смене имен, и она поспешила сойти со скользкой темы.

– А он заговорит? В смысле – птичка? – и кивнула на клетку с кенарем, который все прыгал и глазиком постреливал; и смутилась от того, как насмешливо, как ласково-снисходительно поглядел на нее Николай.

– Нет, – ответил он. – Увы, кенари поют, и этого вполне достаточно. Бывали случаи, когда они перенимали пару слов с хозяйского голоса, но это

должен быть особый голос, чьи вибрации совпадают с птичьими.

– Такой? – спросил папа, глубоко вдохнул и легко взял самую высокую свою ноту, и держал ее так долго и привольно, слегка улыбаясь глазами, развернув кисть правой руки ладонью вверх – приглашая гостя взять еще оладушку, – что тот даже рот разинул, будто примеривался ноту подхватить и проглотить. А Желтухин – тот страшно взволновался и пронзительно запищал, раскачивая клетку. Тогда папа, наконец, шумно выдохнул – как затекшую ногу переменял, – и все рассмеялись.

Но уже в тот первый вечер между отцом и Николаем Каблуковым произошла тяжелая сцена, которую и вспоминать не хочется: все дело в Яше, в его наглom поручении.

Каблуков называл его «деликатным» – видимо, чуял, что миссия не из простых, дело семейное... И как на грех, вначале случилась еще одна заминка: гость достал из нагрудного кармана френча и торжественно выложил на скатерть монету – тот самый памятный белый червонец, который Яша прихватил, покидая отчий кров через окно кухни. Станный парламентар, он будто предъявлял монету вместо белого флага. Гаврила Оскарович нахмурился, усмехнулся и промолчал. На червонец не глянул. И гостю при такой реакции хозяина помолчать бы, погодить с дальнейшим поручением. Но тот не разбирал хозяйских настроений, – человек сторонний, далекий от привычек и привязанностей Дома Этингера. Долил себе чаю из чайника, отправил за щеку целую сушку и, посасывая ее, невозмутимо продолжал с оттопыренной щекой.

Речь шла о трех книгах из семейной библиотеки – той, что положил начало еще старый кантонист, а продолжил собирать Гаврила Оскарович. Собрание было не так чтоб очень обширным, но отборным, большей частью музыкального толка: старинные клавиры, книги по композиции, по истории музыки, биографии великих исполнителей. Каждый фолиант помечен фамильным экслибрисом: могучий восторженный лев, чем-то напоминавший юного Гаврилу Оскаровича, с лапой на полковом барабане, а на том раструбом вниз – полковая труба. И просторной аркой над ними буквы-кубики: «Дом Этингера».

Было и несколько ценных еврейских книг. А три среди них – прямо жемчужины: «Карта Святой земли», составленная Якобом Тиринусом и изданная в Антверпене в 1632 году, Пармский Псалтирь XIII века и редчайшая редкость, гордость коллекции старого солдата – книга неизвестного автора с забавным названием «Несколько наблюдений за певчими птичками, что приносят молитве благость и райскую сладость», причем название напечатано по-русски, но сам текст внутри – на святом

языке. Весь изюм, однако, не в названии сидел, а в том, где книга напечатана: в личной типографии полоумного графа Игнация Сцибор-Мархоцкого – того вольнодумца, что еще в XVIII веке провозгласил в своих владениях на Подолии республику, чеканил собственные деньги, отпустил на волю всех своих крепостных и учредил у себя полную свободу всех верований. По свидетельству потрясенных современников, он разгуливал, облаченный в белую тогу, с венком на голове, и поклонялся богине плодородия Церере. А в домашней типографии печатал самые диковинные фолианты – в том числе вот и еврейские.

Эти-то бесценные книги и попросил у отца через своего порученца (скажем точнее, затребовал – просить он давно разучился) большой чекистский начальник Яков Михайлов.

Гаврила Оскарович пришел в неописуемую ярость.

– Что?! – крикнул он шепотом. – Ему наследства... наследства ему захотелось?! Да я ради образования своей прекрасной, своей наиталантливейшей... я... я их ради дочери не продал!!! Передайте этому негодяю!.. да нет, что там!..

Схватил червонец со стола и швырнул на пол, под ноги гостю. Вскочил и выбежал вон из комнаты, хлопнув дверью и топая так, что взволновалась и долго укоризненно качала подвесками любимая Дорина люстра.

Словом, чай тихонько допивали Эська с гостем вдвоем – если не считать Стеши, которая появлялась, чтобы добавить еще два-три кусочка колотого сахара на блюдечке (драгоценность!) или поспевшие оладушки. Она всегда, даже в голодное время, ухитрялась мастерить эти оладушки из самого бросового продукта, вперемешку с давлеными сухарями – а получалось восхитительно вкусно.

Каблуков же невозмутимо поднял червонец с полу и как ни в чем не бывало положил обратно в карман: мол, что ж поделать – на нет и суда нет, подберу-ка, чтоб не валялся. И сунул за щеку очередную сушку.

Так что, несмотря на душевный вечер, несмотря на жалостную и упоительную песнь кенаря про «стаканчики граненые», Эська вскоре выпроводила гостя на ночь глядя, с наилучшими пожеланиями.

Но Николай Каблуков никуда не уехал, а наоборот, стал ежедневно приходить в иллюзион на последний сеанс, дожидаясь Эськи. Очень полюбил «Полонез» Огинского, и если стремительное действие фильма не подходило под благородную польскую грусть милой его сердцу пьесы, Эська потом специально для него исполняла «Полонез» раза три подряд, в романтически пустом темном зале.

Они гуляли допоздна, чуть не всю ночь. На трамвае добирались до дачи Дунина, где с верхней площадки во весь дивный размах открывалась алмазная зыбь гаснущего моря, широкий угольно-малиновый закат. Вблизи у берега сновали лодки с рыбаками; подальше, волоча за собой четкий пенный след, проходил пароход какой-нибудь аккерманской или херсонской линии, а совсем вдали, на меркнувшем сизокрылом горизонте восходил дымок парохода или призрачной бабочкой повисал парус каботажного судна.

От дачи Дунина брели по берегу до Аркадии. Шли мимо «скалок» – пластов рыжего ракушняка, источенного прибоем, обросшего водорослями, с бесчисленными пещерками – укрытиями рачков и крабов. Над волнорезами вскипали барашки легких бурунов; рыба чешуя луны с наступлением темноты проблескивала в беспокойной волне.

Желтые всполохи маяка на Большом Фонтане равномерно обжигали черное глубокое тело воды, а в туманную ночь пронзительно кричала паровая сирена.

Николай скупно рассказывал про Яшу – в основном героические эпизоды, понимая, что сестре, да еще музыкантше, не стоит вываливать всей мужской революционной правды о брате.

Однажды – они гуляли на Приморском бульваре, где чуть не из-под ног стрижами вычиркивали мальчишки-разносчики с криками: «Одесский листок»!

«Одесская почта»! «Требуйте свежую “Почту”!» – и на каждом шагу попадались лавки менял, а буфеты шли один за другим, и всюду торговали пампушками и булочками, – она спросила:

– А вы, Николай? Почему остаетесь здесь, а не возвращаетесь к Яше?

Он улыбнулся и с ответом замешкался, и на мгновение она вообразила, что он выдохнет сейчас – из-за вас, мол, Эсфирь Гавриловна (позже, вспоминая эти дни и замкнутую улыбку в его на первый взгляд простодушных глазах, не могла простить себе доверчивой глупости).

Он сказал:

– Вы когда-нибудь вслушивались в птичий говор? Вон, голубки: они всегда начинают открытым звуком, а в конце проборматывают, заминают: «Якакразоттуда... якакразоттуда...» – И легко, но серьезно пояснил, и она видела, что он искренен: – Я, знаете ли, человек бездумный, бездомный, необязательный. Люблю сняться с места – вдруг; сам потом не знаю – что меня подняло. Проснусь утром и думаю – да что эт я тут задержался? скорей полечу-к дальше... Это от моего промысла такое беспокойство, понимаете? Я ведь – дитель, лошатник и зверолов. – И снова

улыбнулся абсолютно невиноватой улыбкой, и стал рассказывать, как пасутся в мгlistых потемках луга расседланные кони, позвякивая и мерно шурша травой, – с таким влюбленным лицом, что становилось ясно: никакой невесты ему не нужно.

Была в этом великане, при всей угрожающей стати и грубоватых чертах лица, неожиданная птичья легкость в поведке и птичья нежность: в разговоре, в телодвижениях. Несмотря на военный прикид и даже маузер в деревянном ящике-прикладе под полкой, он казался человеком из какого-то иного мира, не связанного с миром окрестным, насильственным, ежедневно предъявляющим права на твою душу и жизнь. Вдруг озадачивал каким-нибудь неожиданным наблюдением: уверял, что в Одессе выразительные водосточные трубы – смотрите-ка, вон одна, суставчатая, с обломком, и тот приставлен, как протез к колену. А та вон – как штанина, смятая в «гармошку».

Он ей нравился. Особенно в этом длинном плаще, что придавал ему полководческий вид: два ряда пуговиц, карманы-прорези, кожаный пояс с пряжкой и большой воротник под горло.

Однажды затащил ее в фотографию и уговорил сняться на карточку – а ведь она терпеть не могла всех этих ненатуральных поз! В центре большой пыльной студии громоздился желто-лиловый фанерный утес с проросшей у подножия пенной грядкой морского прибоя; над ним в полутьме что-то попискивало. Подняв головы, они обнаружили под потолком клетку со скучавшим кенарем. Николай умилился, потребовал клетку снять и за три минуты каким-то чудом – легкими нежно-вопросительными свистками – кенаря «разговорил». И упросил Эську сняться вместе с птичкой. Сетовал только, что это не великий маэстро Желтухин, а посторонний заурядный певец. Но девушка улыбнулась и ласково потянулась губами к птичке. Так карточка и вышла – ужасно манерная. Эська даже огорчилась: этакое дурновкусие!

– Хотите – забирайте ее себе, – сказала ему. Он и забрал.

Прижал к губам эту глупую карточку и положил в один из карманов бездонного своего плаща.

Она уже позволяла ему себя целовать – целовал он осторожно, будто прикасался к птенцу; звал ее уменьшительными именами смешным умиленным голосом. Перебирая ее пальцы, лежащие в его огромной ладони, изумленно растягивая:

– Па-а-альчики... – и, опуская глаза на крошечные и вправду обольстительно маленькие ее ступни в мальчиковых ботинках: – Но-о-

ожки... – Тогда она, сердясь и смеясь, сильно стискивала его ладонь, а он притворно ойкал.

– Я – пианистка, – удовлетворенная экзекуцией, объясняла Эська. – У пианистов руки, как у борцов.

И уже волновалась, когда к концу последнего сеанса не видела в зале высоченной, как башня, фигуры, отбрасывающей на экран угрожающую тень.

Понимала, что все стремительно катится к чему-то банальному, но такому остро-счастливому, с прерывистым дыханием, со слезами в горле...

...пока однажды днем в перерыве между сеансами не выскочила из иллюзиона купить у торговли пирожков «на перекус» – и вдруг не увидела этих двоих. Поначалу решила – вздор, случайность, глупое совпадение. Но уже знакомая ей слитность фигур (что это было давно-давно? – ах да, папа когда-то, в ее детстве, с некой прильнувшей к нему дамой, так очевидно прильнувшей, что – гимназистка, соплячка – Эська все поняла).

Они оказались замечательной парой, и заметно было, что гуляют не впервые: Николай Каблуков, дитель и лошатник, и рослая Стеша с платиновым блеском в промытых косах и таким белокожим лицом, такими наивно-победными карими глазами, что Эська, впервые увидев ее на улице со стороны, только ахнула: Стеша-то у нас – красавица!

Вот только не стоило ей тащить концертную юбку из «венского гардероба»: шикарно просторная на Эське, с вихревым шелковым шелестом, юбка Стеше была и коротка, и тесна, а крепкие и набрякшие Стешины щиколотки явно стоило прикрывать. К тому же стеклярус по подолу, благородно праздничный под концертными огнями, так дешево и плоско блестел на полуденном солнце.

Оставив торговке кулек с пирожками, Эська спокойно и решительно двинулась к ним наискосок через площадь. Увидев ее, Стеша окаменела, забыв вынуть руку из-под локтя дителя. У него же в бровях возник некий птичий переполох. Наверное, мелькнуло у Эськи, голубчики сочли, что *трудолюбивая малютка наяривает амурскую волну, не поднимая зада.*

Ну что ж: вечерняя возлюбленная всегда романтичнее дневной.

– А ну, снимай! – тихо приказала Эська. – Снимай мою юбку!

Сказала просто так, чтоб оконфузить, – ну не стала бы она, в самом деле, позорить эту дуреху посреди улицы. Но *запоздалая* Стеша, всегда странно почтительная к «барышне», побледнела дивной сметанной бледностью и принялась обреченно стаскивать с крепких ляжек тесную ей

юбку.

– Дура! – крикнула Эська, залившись краской, не глядя на Каблукова, щебечущего какой-то вздор. Впервые в жизни она так грубо обращалась со Стешей. – Иди домой, дура!

И не оглядываясь на этих двоих, не обращая внимания на вопли торговки, скрылась в дверях иллюзиона: любовь-морковь, а через пять минут начинался сеанс. «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне...»

* * *

Ту ночь девушки проплакали – каждая в своем углу. В то время квартиру Гаврилы Оскаровича еще не свели к одной лишь Эськиной комнате и Стешиной антресоли, хотя супружескую спальню Этингеров уже занимал шофер какого-то портового начальника, с женой и двумя шумными и толстыми мальчиками-близнецами Юркой и Шуркой, а в Яшиной комнате поселилась стенографистка Управления железной дороги со старой теткой. Просторную залу для приемов и смежную с ней столовую уже года три как отгородили стеной от остальных комнат и пробили новую дверь прямо во двор, на внутреннюю галерею. В кухне в разные углы втерлись три мерзких лишних стола.

За Этингерами остался кабинет, прибежище отца, смежная с ним Эськина комната да «на задворках» кухни – Стешина каморка, где она сейчас и рыдала – смачно, обстоятельно и вдумчиво.

Она стояла перед выбором и до рассвета должна была решительно определить своей *запоздалой* головой правильную дорогу. Ведь, откровенно говоря, была уже Стеша перестарком.

На улице вслед ей восхищенно свистели матросы, и делали разные пиковые замечания торговцы на Привозе. Дважды звал ее замуж сын дворника Сергей – новая власть назначила его управдомом и выделила комнату в полуподвале. Может, и стоило согласиться? Но кривозубый, хлипкий и одновременно толстощекий, с противным утиным носом и похабными глазками Сергей был так далек от образа высокого красавца в длинном пальто и белом кашне! Сравниться с тем мог лишь Николай Каблуков – не красавец, но великан и любезник.

На рассвете она притихла и забылась, почти умиротворенная: она выбрала Этингеров. С ними было понятнее и привычней, даже в нынешнее заполошное время, тем более что Коля за эти несколько дней

их внезапной любви ясно дал понять, что передвигаться по жизни предпочитает налегке – птичья, мол, натура. Говорил, что теперь в Туркестан подастся – с басмачами биться. А где он, Туркестан? – спросила Стеша. Каблуков не ответил, но стал увлеченно рассказывать, какие птицы водятся в тех краях и как в богатых лавках вешают там клетку с канарейками – для завлекательства людей.

А вокруг – зеркала, зеркала, и птичка видит в них себя, а думает, что это другая птичка. И поет ей любовную песнь.

Даже удивительно, насколько громила с маузером под полкой плаща предан такой малости, как канарейка!

Эська же плакала беззвучно и яростно, вжимаясь лицом в подушку, мокрую уже с обеих сторон. Тем более непонятно – как мог слышать ее папа. На рассвете он постучал и тихо вошел: в старой домашней куртке с брандесбурами поверх пижамы, по-прежнему красивый – глаза грустные, серо-крапчатые, растрепанная снежная прядь запорошила лоб.

Сел в кресло у постели дочери, включил настольную лампу и тихо сказал:

– Я так и знал, что ты втюрилась в этого прощелыгу, в ловца певчих птичек!

– Папа, оставь, – взмолилась гундосая Эська, щуря в свете лампы опухшие красные глаза.

– Кстати, – продолжал он, – с полки исчезли все три запрошенных Яшей книги. Это как три фамилии предка-цыгана, прости за метафору. Как думаешь – дитель сам украл или подговорил нашу бедную Стешу, задурив ей головку?

– Папа, оста-а-авь! – простонала дочь.

– Нет, позволь, я закончу, – возразил он тусклым голосом, баюкая левой рукой больную правую – та по ночам сильно его донимала. – Ты должна понимать, что перед тобой – большая дорога артистки, и свой талант ты обязана беречь и ограждать от этой быдлянкой жизни. Всю эту грязь и муть – смитье бездыханное, – их смоеет время, а тебе скоро в Вену...

– Папа, оставь!!! – взвизгнула дочь и кулаком принялась лупить подушку, приговаривая: – Вот тебе – Вена! Вот тебе – Вена! Вот тебе – Вена!!!

Он молча поднялся и вышел.

...А Яша в те годы уже перебрался в Москву, поближе к чудесно воскресшему (переломанному, но недобитому петлюровцами) Блюмкину. Тот взорлил неожиданно и пугающе ярко: из эсэра и анархиста – прямоком в начальники личной охраны и в секретари самого наркомвоенмора Льва Давидовича Троцкого! Приобрел столичный лоск Яков Григорьевич, оброс приятелями из артистической среды, сам, говорят, стишки пописывал, актрискам посвящал... Как-то успевал на всех фронтах – атлет, кутила и деляга, искусный надувала, неуловимый разведчик, беспощадной жестокости чекист, звезда московской богемы.

Но главное, там, в ВЧК, Блюмкин создал новый отдел – иностранный, внешней разведки, по сути – первую советскую шпионскую сеть за границей, и, едва добравшись до Москвы, Яша немедленно и жарко ворвался в вихрь этих лет: какое-то время крутился на орбите Блюмкина, даже уходил с ним в Персию, где под видом двух дервишей за четыре месяца они подготовили революцию в северных провинциях, свергли мятежного шаха и сколотили из сомнительных отбросов компартию, попутно провозгласив Гилянскую советскую республику.

Вообще, в те годы Яша редко навещался в Россию. Его немецкий и французский (ау, милая старая кляча Ада Яновна Рипс!) отдавали простецкой прямотой, отличавшей незамысловатый люд. Так что, устраиваясь механиком в какую-нибудь берлинскую автомастерскую или шофером в текстильную фирму в Цюрихе, Яша всюду выглядел уместно и органично. Как говорила покойная Дора – «за словом в карман не лез».

...Три дедовых книги, изобретательно добытых Николаем Каблуковым из кабинета отца при помощи Стеши, Яша вовсе не считал наследством. Наследство – любое – он презирал, в старинных манускриптах большого толку не видел. Эта, по его мнению, *местечковая ветошь*, эта *допотопная рухлядь* (а похожие книги собирали *товарищи* по всей России, потроша синагоги, навещаясь даже в закрытые фонды Государственной библиотеки) должна была послужить наиважнейшему делу: по заданию начальника ИНО ОГПУ Меира Трилиссера Яков Блюмкин был заброшен в Палестину под именем Якуба Султан-заде, торговца еврейскими древностями. Приторговывая антиквариатом, он в короткий срок должен был создать большую разведывательную сеть и боевое диверсионное подразделение: молодая и цепкая советская власть намеревалась хорошенько потрепать англичан на Ближнем Востоке.

Какое-то время Трилиссер – а он предпочитал Якова Михайлова «этому трепачу и позеру» Блюмкину – склонялся отправить их в Палестину

вдвоем, дабы Яша за Блюмкиным приглядывал. Но Михайлов вовремя учуял опасность и выкрутился: мол, ни иврита, ни арабского, ни фарси, на которых бегло говорил полиглот Блюмкин, он не знает; может провалить дело.

К тому времени, побывав с Блюмкиным в Монголии, где они помогали тамошним товарищам устанавливать советскую власть, Яша насмотрелся на выкрутасы дружка юности (без выпивки и наркотиков, к которым пристрастился в Афганистане, тот и дня не начинал) и вовремя отшатнулся. В отличие от хвастливого и упоенного собой Блюмкина, был Яков Михайлов угрюм и молчалив, взвешивал каждое слово, близкими друзьями и длительными сердечными связями не обзаводился. И после безобразной новогодней вечеринки в ЦК монгольской компартии, где перепивший Блюмкин блевал на портрет Ильича и призывал местных коммунистов пить за Одессу-маму, тем же вечером написал обстоятельное письмо Трилиссеру: подстраховался.

Яшу явно хранила судьба: очень вовремя он это письмо отправил и вовремя вновь расстался с другом мятежной юности – как раз перед поездкой того в Константинополь, перед его оплошной встречей с изгнанником Троцким.

Так что последующий арест Блюмкина и неожиданный, ошеломивший многих чекистов его расстрел («А ушел красиво, – одобрительно крикнув, рассказывал Яше один из *исполнителей*. – “Стреляйте, – кричал, – ребята, в мировую революцию!”») Михайлова не затронули ни в малейшей степени. Но многому научили. И в дальнейшем он мудро предпочитал заграничные командировки высоким назначениям в аппарате ГРУ.

И все же это изрядное чудо или просто Этингерова звезда, что Яков Михайлов уцелел аж до конца 40-го – и это в кровавых-то чистках, следовавших волна за волной, в калейдоскопической смене аппарата разведчиков! Возможно, высокое качество добываемой им секретной информации удерживало Центр от последнего шага. Во всяком случае, к тому времени уже были вызваны в Москву и ликвидированы большинство нелегальных резидентов, от которых и через которых шла информация о подготовке Германии к войне. Когда же Михайлов получил приказ срочно вернуться «домой», он недели три еще отбрехивался телеграммами о «чрезвычайной загруженности». Хотя уже прекрасно все понимал.

Спустя столько лет этот волк, гонимый тревожной памятью и обреченным предчувствием конца, решился напоследок повидать семью.

Хотя от семьи в те годы остались Гаврила Оскарович, *Городской Тенор*, да Стеша, *запоздалая голова*.

В Эськиной же судьбе случился тот самый танцевальный поворот на каблучке: ей предложили место концертмейстера у некой испанской танцовщицы – работа напряженная, гастрольная, приписанная к подмосковной филармонии, так что, месяцами пропадая из дому, она разъезжала по невообразимым маршрутам, о чем будет отдельный железнодорожный припев.

* * *

С Гаврилой же Оскаровичем произошла, увы, прискорбная история.

Кто бы мог подумать, что такое случится с умницей, насмешником, трезвейшим человеком, примером иронической уравновешенности мыслей и поступков! Но поскольку перемена происходила весьма постепенно, даже близкие поначалу не обратили внимания на первые странности в его поведении.

Началось с того, что Большой Этингер, как сказала бы покойная Дора, *вернулся петь*.

Стоит ли говорить, каким ударом для блестящего кларнетиста, тонкого музыканта, любимца всего оркестра стало расставание с Театром.

Тут жизнь рухнула, тут душа покатила в бездну растерянной тоски и полнейшей ничтожности – не говоря уж о постоянных муках при одной лишь мысли, что любимая дочь вынуждена зарабатывать на хлеб в презренном иллюзионе целодневным бренчанием, сопровождая суетливую дробную раскорячку этого фигляра, как его... Чарли!

И однажды, когда после рабочего дня Эська валялась на кровати, а по бокам от нее на складках клетчатого пледадохлыми рыбками валялись ее отработанные руки, Гаврила Оскарович вошел и, потупясь, сообщил, что, пожалуй, нашел выход из положения. Ты, надеюсь, не забыла, доченька, о моем голосе? Я ведь назубок знаю весь теноровый оперный репертуар. Да и романсов – сотни две. Что, если мне попробовать петь?

– Где петь, папа? – устало отозвалась Эська, не в силах пошевелиться. Но взглянула в убитое лицо отца и подумала: а в самом деле, почему бы и нет? Можно поговорить с директором. Пусть в фойе, где публика перед сеансом шатается, неважно. Дело не в деньгах, но чем-то занять его. – А знаешь, папа... отличная идея, правда!

Гаврила Оскарович оживился, прочистил горло и очень славно пропел

своим драматическим тенором арию Садко из одноименной оперы Римского-Корсакова, широко поводя рукой и свободно держа финальные ноты. Эська даже вяло плеснула ладонями, присев на кровати. Неплохо, неплохо, подумала она. И даже очень хорошо!

*Тут уместно напомнить – тем, кто запомнил, – что драматический тенор в диапазоне охватывает простор от ля большой октавы до до второй; что имеет он еще одно название – *di forza*, «сильный», и это объясняет многое: в частности, недюжинное его место в оперном репертуаре. Это для него, для драматического тенора, написаны партии героические, требующие голосовой мощи и ярких тембровых красок. Радамес. Зигфрид. Отелло. Хосе как-никак! Да, это страстные характеры, незаурядные личности – одним словом, люди, способные порвать с прошлым и перешагнуть постылую черту.*

Через три дня Гаврила Оскарович в отпаренном и отглаженном Стешей костюме с бабочкой, с восставшим серебристым, хотя и несколько поредевшим коком, исполнял перед публикой синематографа, явившейся на очередной сеанс, романс Чайковского «Средь шумного бала».

Эська, само собой, аккомпанировала. Добившись папиной занятости, она потеряла свои пятнадцать минут отдыха между сеансами, но была утешена оживленным папиным лицом, блеском в чудных крапчатых глазах и вернувшейся статье.

Теперь Гаврила Оскарович целыми днями репетировал, вспоминал теноровый репертуар, по утрам, как и положено, распевался.

Впрочем, пел он целыми днями: пел, прогуливаясь по коридору, пел, просматривая «Одесские новости», вокальным комментарием сопровождая какую-нибудь заметку «нашего корреспондента в Херсоне». На вопросы Эськи или Стеши как бы шутя пропевал подходящие по смыслу фразы из арий. Это было утомительно, но еще объяснимо: детство вспомнилось, мечтательно объяснял Гаврила Оскарович, так и слышу золотые переливы отцовского голоса.

Эська по инерции радовалась. Ну, это такой душевный подъем, объясняла она себе.

Душевный подъем, однако, должен был рухнуть в тот день, когда директор синематографа выставил на улицу обоих. У «великого немого» прорезался голос; старые ленты с серенькой моросью блеклого экрана слетали с репертуара, «Трансвааль» вышел из моды; двадцатый век в очередной раз выморгнул соринку из своего бездонного, чудовищно

выпученного, равнодушного глаза.

Эська вначале приуныла, но вскоре нашла концертмейстерские часы в одной из частных балетных студий. К тому же ей обещали место на кафедре вокала в реорганизованной консерватории. Она бегала по ученикам и, когда подворачивалась халтура, аккомпанировала певцам на летних площадках: в Александровском парке, на открытой галерее при ресторане на даче Дунина, в курзале на Куяльницком лимане.

Папа же продолжал распеваться.

«Приветствую тебя, мой дру-у-у-уг!» – пел он по утрам под дверью Эськиной комнаты.

Это нормально, это бывает у сангвиников, успокаивала себя дочь. Но зароптали соседи, и ропот нельзя было назвать кротким: люди отдыхают после ночного дежурства, чего козлом-то голосить без продыху? В милицию захотел, артист, ебена мать? Эт мы скоренько организуем.

К тому времени соседей прибавилось. Огромная ванная комната квартиры Этингеров раздробилась на целых три комнатки, а для собственно пролетарской гигиены остался тесный закуток с умывальником.

Мечтательную наяду «Лорелею» по просьбе жильцов навестил управдом Сергей и за небольшую мзду три часа отбивал и крошил киркой ее беззащитное мраморное тело. Долго на помойке валялись острые грудки и нежный конус живота, густо раскрашенный внизу углем дворовыми паскудниками; зато на месте Лорелеи освободился угол, немедленно отделенный ширмой для чьей-то тещи.

Ванну, величественную ладью на бронзовых лапах, превратила в кровать рыжая Лида, в прошлом «девочка» из заведения напротив, а ныне уважаемая подметальщица Потемкинской лестницы. Помимо самой ванны, в ее угодыя попало окно с витражом: красная морская звезда, застрявшая в зеленых водорослях; в это окно Лида влюбилась и мыла-протирала витраж чуть не каждую неделю, даже на Пасху, задорно вопя на весь двор:

– У нас бога нет, кроме Сталина!

Эська ходила по соседям, как побирушка, – объясняла, втолковывала про искусство пения, умоляла понять, выторговывала, обещала вечный покой после девяти вечера. Затем посадила папу перед собой – объясняла, втолковывала, умоляла понять, выторговывала, обещала... Он насмешливо улыбался, добродушно отмахиваясь большой ладонью.

Она устала от его душевного подъема; иногда ей хотелось крикнуть: «Папа, заткнись, наконец!»

Первой опомнилась Стеша. Однажды утром на кухне, задумчиво срезая кожуру с картофеля, она проговорила: «Это он на нервной *почке*». И Эська, набиравшая воду в эмалированный чайник, как стояла, так и села на табурет, а вода все бежала, бежала из крана... Почему, с горечью подумала Эська в тот момент, *почему она всегда умнее меня?!*

К папе был приглашен известный одесский психиатр Евгений Александрович Шевалев, причем на протяжении консультации Гаврила Оскарович несколько раз прерывал беседу, принимаясь петь, вроде бы шутя, похохатывающим тенором. На вопросы профессора отвечал, впрочем, толково, приветливо улыбаясь, но словно пребывая на оперной сцене, а лучше сказать, как бы играя в оперетте, где и диалоги есть, и речитатив встречается, но изюминка – это, конечно, вставные музыкальные номера.

– Вы спрашиваете, Евгений Александрович, о моем настроении по утрам? «По утра-а-ам, по утра-аам... когда со-олнце особенно я-а-арко...» И так далее.

Его уговорили «лечь подлечиться» в клинику на Слободке; всяко бывает, успокаивал профессор, утомление, сложный быт, трагические обстоятельства потери любимого дела, семейные потрясения, перемена жилищных условий. И не волнуйтесь, у нас там не только буйное отделение имеется, есть и весьма культурная публика, приятные собеседники. Отдохнете, поправитесь и думать забудете про все эти «траля-ля-ля!».

Два месяца Гаврила Оскарович пребывал, как сам потом говаривал, «в цитадели культуры», с присущим ему ироническим артистизмом изображая кое-кого из пациентов, да и самих докторов. Гулял по тенистой аллее больничного двора под кронами акаций, принимал порошки, проходил процедуры. И вышел даже слишком успокоенным; по точному замечанию Стеши – «стреноженным». Рассуждал здраво, но как-то неуверенно. Произнеся фразу, вопросительно поднимал на дочь свои чудесные серые глаза под высокомерно-победными бровями: правильно ли сказал? И Эська прокляла себя за такое папино лечение. Пусть бы пел, твердила она в отчаянии, – когда пел, он был счастлив, как Желтухин.

Кстати, за последние годы папа так привязался к Желтухину (тот оказался настоящим артистом: обожал публику, с удовольствием исполнял на бис «Стаканчики граненые», постреливая по сторонам бедовым своим глазиком), что часто, выходя на улицу, прихватывал кенаря с собой в походной маленькой клетке величиной с пивную кружку; а уж

в клинику – тут и гадать не надо, Желтухин последовал за хозяином скрашивать бестолковое и пустое время лечения.

В целом папино здоровье все же поправилось, у него даже появились два ученика-кларнетиста (расстарались бывшие коллеги по оркестру). И как раз с учениками он чувствовал себя как рыба в воде: грозно поднимал голос, или поощрительно увещевал, или, как прежде, на «раз и два и» стучал об пол знаменитой тростью «с балдахином», полушутя обещая «отвинтить эту штуку и заколоть кинжалом за фальшивую ноту!».

Короче, жизнь как-то шла и шла себе, шкандыбая вперевалочку, точнее (да простится нам досадная описка) – сверкая сполохами салютов во славу покорения Полюса, во славу мужественных папанинцев, во славу спасения испанских детей, во славу подвигов шахтеров, строительства заводов, колхозов, мартеновских печей, прокатных станов, и ДнепроГЭСа, и что там еще? – ах да: «Разя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет!»

* * *

Под старость, однако, Большой Этингер совсем съехал с рельсов, точнее, встал на свои особые невидимые рельсы, по которым помчался вдаль – но не вперед, а вспять, в детство, в домашние субботние застолья, когда отец пел своим колосющимся золотым тенором еврейские, русские и украинские песни.

Постепенно он и вовсе оставил разговорный жанр позади, в мелькнувших пейзажах минувшей жизни. Полностью перешел на пение. Пел, обращаясь к Стеше и редко теперь появлявшейся дочери; пел, ругаясь с соседями, пел, встречая на улицах знакомых, которые с грустным сочувствием выслушивали этот концерт.

Невозможно точно сказать, когда он заработал кличку Городской Тенор. Но заработал самым буквальным образом: уходил из дому с утра, возвращался вечером – сытый, бывало, что и выпивший (в портовых пивнушках угощали его пивом и колбасой грузчики-банабаки, моряки и докеры). Часто давал импровизированные концерты перед гуляющей в парке публикой.

Удержать его дома не было никакой возможности. Время от времени Стеше удавалось уложить его в психбольницу – там, по крайней мере, он был под приглядом. Ну не хватало у нее ни сил, ни времени бегать

следом за беспокойным стариком! К тому же она вдруг очнулась и в отсутствии большого дома и больших забот решила «сделать жизнь, как люди» – стала ездить кондуктором прицепного вагона на девятнадцатом трамвае. Тот шел от Шестнадцатой станции Большого Фонтана до Дачи Ковалевского, был однопутным, с разъездом возле остановки «Санаторий “Якорь”». И так ей это дело пришлось по душе: сиди себе, обилечивай входящих, за публикой присматривай – кто там зайцем тырится. А когда двери закроются, дерни скобу над головой – это сигнал ватману, водителю моторного вагона: давай, милай, трогай!

Связи в трамвайном парке ее выручили и к концу войны: знакомые помогли устроиться проводницей на поезд Одесса – Москва. В городе жрать было нечего, а так – дорога длинная, бывало, кто из пассажиров угостит, бывало, на станции перепадет то, другое... Однажды в Москве на вокзале удалось им с напарницей выторговать селедку, одну на двоих. И так ее съесть захотелось! Поделили пополам, бросив жребий: Стеше достался хвост, напарнице – голова. А селедка оказалась протухшей. Блевали всю дорогу обе кровавой рвотой. Стеше еще повезло, с хвостом-то. А вот напарница не выжила.

Она слегка огрузла, стала пышнее, ярче. Лыняная коса сияла над алебастровым лбом, удивительно благородным при столь «запоздалой голове». Постаревший Сергей – он превратился в осатанело злого управдома – уже не сватался (женился на молдаванке из села), но приставал по-прежнему: однажды вошел следом за Стешей в подъезд и пробовал прижать в углу. Она просто положила руку на его редкозубую пасть, из которой тошно несло махоркой и перегаром, и с силой отвернула к стене, да и пошла вверх по лестнице, не оглядываясь. Пока Яков Михайлов обитал где-то там, на столичных высотах, пока можно было, как оберег, твердо произнести его не блескуче-газетное, но крепкое имя, Стеша никого не боялась.

А Гаврилу Оскаровича люди и так не обижали.

Мальчишки, конечно, дразнили, посвистывали вслед, но никаких безобразий, боже упаси. Уж очень он представителен был и на вид вполне силен. К тому же, по-прежнему свободно и машисто шагая, так убедительно поигрывал тростью с горящим на солнце «балдахином», на *фортиссимо* обещая особо приставучим насмешникам догнать и «всадить клино-о-ок!!! в ваше трусливое се-е-е-ердце!!!», что желающих проверить не находилось.

Когда он появлялся на Привозе, торговцы из окрестных сел пересказывали друг другу его *доподлинную* историю: Городской Тенор, мол, – это знаменитый оперный певец, рехнулся с горя, когда его невеста, итальянка, певица, покончила с собой (прыгнула с обрыва – одни лишь круги по воде). С тех пор живет, безутешный, в катакомбах, питаясь отбросами, а в трости у него запрятан сверхточный пистолет. И если что не поём... Ну и все такое прочее.

Словом, Большой Этингер по-настоящему воспарил: он стал частью городского фольклора, как Дюк Ришелье, как броненосец «Потемкин». Как ссыльный поэт Александр Пушкин.

* * *

На все эти обстоятельства как раз и пришелся злополучный Яшин визит. Возвращение – ну, может, и не возвращение, а так, прогулка до ридной хаты – блудного сына. Как говорят в Одессе, не будем объяснять за картину художника Рембрандта, ее репродукцию выдали все.

Трогательной встречи, к сожалению, не вышло (тут приходится верить свидетельству Стеши). Безумный отец не «пал на шею» сыну, не ощупал дрожащими руками согбенную спину бродяги-чекиста.

В ошеломляющие моменты жизни в Доме Этингеров всегда повышался звуковой барьер: словно ангелы судьбы вразнобой продували трубы, готовясь пропеть солдатскую зорю Страшного суда. Но тут умолкли трубы, уступив звучанию отцовского драматического тенора.

И поскольку в оперном жанре трагические повороты сюжета подчас сопровождаются речитативом, и мы считаем уместным перейти на торжественный речитатив:

В тот высокий миг,
простерши руку оперным жестом,
Большой Этингер пропел свою главную партию:
взбираясь голосом все выше,
закончив в грозном исступлении – на фортиссимо!!! –
он проклял Яшу, блудного сына,
сына блудного своего, Якова, проклял он!
Проклял!

Итак, «Der verlorene Sohn», «Блудный сын» (между прочим, в точном переводе с немецкого название означает «потерянный», а точнее, «утраченный сын») – оратория Маркуса Свена Вебера, Германия, восемнадцатый век, сладостное немецкое барокко.

Старинную музыку последний по времени Этингер предпочитал петь в соборах и церквах. Он вообще любил созвучие темы и этического посыла произведения с антуражем места, а библейские и евангельские сюжеты так проникновенно сочетаются с витражами высоких стрельчатых окон, с резными дубовыми хорами, со всеми этими капителями, позолоченными листьями, контрфорсами, плавно восходящими в арочный свод, а главное – с недостижимой высотой церковного купола, куда взлетает и на ангельских крылах парит, планируя и замирая, голос.

...Одинокая лампочка-спот над зеркалом гримерного столика освещала только левую сторону лица. Он раздраженно привстал, дотянулся до выключателя правого спота: так и есть, не работает! По трудолюбию итальяшки сравнимы разве что с греками. И это – нация, на чьем хребте половина человечества совершила рывок из Средневековья!

Он гримировался в крошечной комнатухе, в притворе одного из чудес барокко – собора Санта-Мария-делла-Салюте, того, что едва не сползает в воду Гранд-канала со стрелки восточной оконечности острова Дорсодуро. Все переплетено, все любовно рифмуется и аукается в искусстве: эти многочисленные волюты – завитки колонных капителей – так мучительно схожи с завитками головок струнных, доведенных до немыслимого совершенства кремонскими скрипичными мастерами...

Вообще, с годами начинаешь осознавать, что городов, достойных твоей страстной любви, очень немного – все их по пальцам можно пересчитать: Прага, Венеция, Рим, Париж... Ну, Флоренция. Ну, Питер...

И отстраненный, невзрачный и грозный – и острый, как красный перец в глотке – Иерусалим.

В отдаленных приделах алтаря вполсилы разыгрывались музыканты. Все же здорово, что его антрепренер всегда выторговывает для него особое условие – отдельную гримерку: крошечное, размером с утробу платяного шкафа, неудобное и душное – но укрытие. Интересно, мельком подумал он, мягкой кистью набирая и стряхивая в коробочку избыток

пудры, когда же тебя перестанут волновать всяческие укрытия? Сколько лет безмятежной и безгрешной жизни должно пройти...

Он придвинулся к зеркалу, неестественно изогнув шею, чтобы свет левого спота осветил правую половину лица: подвести черным бровь, подпудрить щеку, обозначить кармином линию губ. Все должно гармонизировать с буклями пудренного парика и общим видом кавалера в костюме стиля рококо: длиннополый камзол, расшитый серебряными и золотыми нитями, дурацкие узкие кюлоты, за которые в Париже времен разгрома Бастилии можно было запросто повиснуть на фонаре, белые шелковые чулки и бальные туфли-лодочки. Помешались на аутентике! Впрочем, ему ли не приветствовать стремление взрослых людей поиграть в театр, заодно слушая серьезную музыку? Да и где побаловаться маскарадом, если не здесь – среди улочек, перехваченных обручами мостиков, словно корсетными дугами кринолинов; здесь, на уютных кампо, с обязательным в центре колодцем – *rozzo*; здесь, где отражения плывут и уносятся по воде – прообразу всяческих превращений и перверсий. И где еще столь органичен его голос – более высокий, сильный и гибкий, чем любое женское сопрано, странный поту сторонний зов, самой своей двойственностью порождающий сомнение и непреодолимое очарование перверсии?

Прозвенел первый звонок, есть еще время.

Итак, «Блудный сын», «Блудный сын»... В зеркале – расфуфыренное чучело. Другая крайность – в последние годы артисты все чаще позволяют себе выступать в незатейливой одежде, чуть ли не в джинсах. Но только не Этингер! Его концертный облик – раз и навсегда установленный канон: смокинг или даже фрак, белоснежная сорочка; под фрак всегда – туго накрахмаленная, сияющая манишка с раздвоенным ласточкиным хвостом; ну, и черная, редко – бордовая бабочка. Бабочку он в любых случаях решительно предпочитал галстуку: тот на поклонах свисает с шеи, как удавка снятого висельника, надо придерживать его на животе. К тому же бабочка больше идет бритому черепу античной статуи, в сочетании являя нечто декадентское.

Он приподнял голову, уже увенчанную бараньей шапкой парика, напоследок цельным завершающим взглядом охватывая готовый образ.

Дурацкий, в сущности, прикид: блудный сын – разве не в лохмотьях он (если уж мы говорим об аутентике) должен петь свою партию?

Далее мысли покатались по партии, перебирая, листая, возвращаясь и оставляя на полях партитуры незримые пометки.

За спиной беззвучно отворилась дверь, ранее скрипевшая от малейшего сквозняка, и вновь закрылась, впустив кого-то темного, слившегося с полутьмой гримерки. В зеркале над раззолоченным-рассеребренным плечом Блудного сына возникло лицо, освещенное слева, – кстати, похожее на его собственное незагримированное лицо, тем более что обладатель его тоже брил голову.

Певец застыл, окостенел... Бешенство, неуместное сейчас и здесь, хлынуло в горло, приготовленное совсем для иного. Черт побери!!!

Человек за спиной, чье умение двигаться бесшумно вошло в поговорку в среде его коллег, тоже молчал – доброжелательно и понимающе, даже слегка виновато. Оба они молчали секунд пять, всё друг о друге понимая.

– Нет! – наконец твердо проговорил в зеркало разодетый кавалер, играя желваками совсем не в духе куртуазной эпохи. – Дудки! Ни за что! Никогда больше. Иди, отчитывайся перед Гуровицем за разбазаривание средств на авиабилет и оставь меня в покое! Я частное лицо. Я певец. Я – Голос, понимаешь?!

– А что ты сегодня поешь? – мягко поинтересовался этот сукин сын. – Оперу? Тореадора?

– Господи, ты бы хоть в программку заглянул, – с ненавистью выдохнул последний по времени Этингер, не оборачиваясь. Говорили они, как и положено в проблемных местах, на английском. Шаули, при его восточной внешности продавца фалафеля, владел языком безупречно – давняя, попутно выцеженная в Иерусалимском университете степень по английской литературе. – Это оратория, а не опера!

– Что такое оратория?

Ну хватит! Немедленно оборвать этот мягкий натиск вкрадчивой пантеры. Прекратить с ним всякие препирательства и торговлю. Довольно с него Праги! Баста, я отработал, отработал, отработал! Я уже много лет никому ничего не должен.

– Во всяком случае, не то, что ты думаешь, – проговорил он с издевкой. – К оральному сексу это отношения не имеет.

– Приятно слышать, что ты еще не порвал с сексом, распевая этим бабьим голосом...

В дверь деликатно постучал служитель: пора выходить, скоро дадут второй звонок.

– Я буду ждать тебя в баре, на углу, сразу за мостом, – сказал Шаули примирительным тоном.

– И не дождешься! – Он поднялся из-за гримерного столика, расправляя манжеты. – Пропусти и отвали: мне надо сосредоточиться

перед выходом.

– Сразу за мостом, Кенар руси, – еле слышно нежно повторил Шаули на иврите. – Там такие пиздоватые куриные ножки на вывеске.

Придержал его за плечо в расшитом камзоле, что выглядело и вовсе по-отечески, – он был на голову выше артиста, – и добродушно по-английски добавил:

– Ты восемнадцатого поешь в Вене с Венским филармоническим, где концертмейстером группы альтов – пухленькая такая брюнетка по имени Наира, с кошерной фамилией Крюгер. Однако девичья фамилия ее – Аль-Мохаммади, и она – двоюродная сестра профессора Дариуша Аль-Мохаммади, главы администрации завода в Натанзе...

– Ну! и! что?! – отчеканил шепотом тот, кого Шаули назвал странным именем «Кенар руси».

– Ничего, – безмятежно отозвался Шаули, снимая руку с его плеча. – Хотел пожелать тебе успеха.

И уважительно посторонился, пропуская артиста на выход.

...Здесь толпились музыканты.

Концертмейстер оркестра Густав Шмиттердиц, нарушая дух благочиния, допотопным лукообразным смычком вдруг лихо изобразил inferнальный взлетающий пассаж, начало сольной партии концерта Брамса – видно, душа, замордованная высокой патетикой барочной музыки, потребовала страсти. Первый трубач, держа на вытянутой руке огромную, старинную, бог знает какого строя трубу, проигрывал арпеджижи, ухитряясь на меццопиано чисто брать высокие звуки.

Оба валторниста, едва не путаясь манжетами среди многочисленных, закрученных бараньими рогами добавочных крон-инвенций, старательно выстраивали квинты и терции, любуясь благородством густого оленьего тембра натуральных валторн, по сравнению с которым звук нынешней хроматической валторны – золотой краски Вагнера, Чайковского и Рихарда Штрауса – будто голос Элвиса Пресли после Карузо или Джильи.

Дама-гобоистка, приладив пищик к светло-коричневой бесклапанной дудочке аутентичного барочного гобоя, тянула жалобно-слезливый кантиленный отрывок соло.

К счастью, будучи истинным артистом, последний по времени Этингер умел перед выходом на сцену выкинуть все из головы; поэтому его черный человек в черной куртке и щегольском черном кепи на бритой башке, с иранским ядерным сюрпризом за пазухой, вмиг растаял, будто

мелькнул всего лишь туманным отражением в зеркале гримерного столика.

Прочь, прочь все зеркала!

В четверть голоса он пробежал ля-минорное трезвучие: все в порядке – диафрагма железно держит позицию, связки в полной боевой готовности. Сегодня он не разочарует публику, давно и сразу расхватывшую билеты на ораторию «*Der verlorene Sohn*» немецкого композитора XVIII века Маркуса Свена Вебера под управлением маэстро Альдо Роберти, известного специалиста по аутентичному исполнению старинной музыки эпохи Ренессанса и барокко.

Музыкальная репутация дирижера Роберти была непререкаемо высока – настолько, что в наш век сборных команд аутентиков (собрались-отрепетировали-сыграли-разбежались) он сумел добиться финансирования собственного коллектива «*Musica Sacrum*» – полного смешанного хора и камерного оркестра большого состава: четырнадцать скрипок, шесть альтов, четыре виолончели, контрабас, две блок-флейты, два старинных гобоя, два фагота, две валторны, две трубы (натуральные, само собой), литавры и, разумеется, клавесин. Когда возникала потребность в дополнительных инструментах, аутентисты из голландского оркестра маэстро Брюххена – кларнетисты и тромбонисты – почитали за честь сыграть в концертах «*Musica Sacrum*».

Хор коллектива выдрессирован безукоризненно: женщины, сопрано и альты, и мужчины, тенора и басы, звучали фантастически чисто и неправдоподобно однородно; порой даже не верилось, что поет не один человек, а группа. Основное внимание маэстро Роберти, в прошлом оперный дирижер, уделял репетициям хора, возложив ответственность за оркестр на концертмейстера, по совместительству профессора старинной музыки Академии города Бохума. Концертмейстер, герр Шмиттердиц, также наделенный правом отбора музыкантов, был требовательно-беспощаден, поэтому оркестр «*Musica Sacrum*», не выделяясь индивидуальностями, звучал по-немецки безупречно, хотя порой ему недоставало некоторой велеречивой патетики, необходимой итальянскому барокко.

Маэстро Роберти, как и положено специалисту по аутентике, славился изысканным выбором репертуара: из музыкального небытия он порой извлекал и доносил до своих поклонников – публики, впрочем, вполне специфической – достаточно редкие опусы, навеки, казалось бы, похороненные в архивах музыкальных библиотек и академий. Именно

таким, лет 80–90, а то и больше не исполняемым сочинением была оратория «Der verlorene Sohn».

Маркус Свен Вебер, полузабытый немецкий композитор, вдохновленный Иисусовой притчей в изложении евангелиста Луки, сам сочинил либретто, проявив при этом наряду с немецкой педантичностью недюжинный музыкальный талант и изобретательность: все комментарии, написанные в виде четырехголосных фуг, были отданы хору; партии четырех солистов предназначались для мужских голосов. Излагавшего сюжет «Хисторикуса», традиционного персонажа барочной оратории, пел баритон; Отца – естественно, бас; Старшего сына – тенор. Изюминка оратории, необычный замысел композитора заключался в том, что центральную партию Блудного сына должен был петь контратенор, самым нездешним тембром своим подчеркивая многозначность, двойственность и сакральность евангельской притчи.

...Раздался второй звонок. Словно невидимый звукорежиссер резким движением ползунка вниз убрал звук – музыканты, как по команде, смолкли: струнные перестали пикировать, духовые – дудеть, оркестр выстроился перед дверью церковного придела, готовясь выйти на сцену в навсегда определенном порядке и занять места за пультами. Они переждали хор, вышедший первым с противоположной стороны: сначала басы – на верхние ступени помоста, за ними тенора. На всех мужчинах-хористах те же дурацкие буклевидные парики и расшитые камзолы.

Последними вышли женщины, заняли нижние ряды помоста, – в напудренных, но выше, чем у мужчин, париках и расшитых серебром платьях фасона середины XVIII века: снизу широкий кринолин, сверху открытый, не стесняющий дыхания лиф. Все артисты хора держат перед собой открытые папки с нотами, похожие на карты ресторанных меню.

В левом приделе еще топчется упряжка солистов: наряженный в черный, с серебряной вышивкой камзол «Хисторикус» – Герман Шнюкк, некогда известный в Европе певец. В последние годы его специфически немецкий «пивной» баритон все реже привлекает внимание оперных дирижеров, так что он все чаще предпочитает выездную аутентичку. Старик в благородно-пурпурном камзоле, бас Луиджи Оттоленги (по слухам, принадлежит к некогда знатному роду итальянских сефардов), явно изживает певческую карьеру, да и партия Отца, честно говоря,

незначительна – чуть похаркать в углу сцены. А вот тенор Штефан Херля, восходящая румынская звезда, страдает комплексом недооцененного гения – еще не все агенты знаменитых европейских и американских театров по утрам ломятся в его прихожую.

Последнему по времени Этингеру пришлось дважды выступить с домнулом^[1] Херлей, и оба раза было забавно видеть, как это постное, якобы равнодушное лицо заливается алой краской, едва лишь контратенор берет первую ноту и зал опрокидывается на спинки скамей.

«Белым финнам, черным финнам и обосранным румынам захотелось русских пиздюлей!» – удивительно, что эта патриотическая детсадовская чепуха всплывает в памяти перед выходом на сцену.

Нет, это не детсад, спохватился он; это Барышня напевала, вот что! Она вообще привезла с фронта прорву всякой дребедени.

Из кабинета, расположенного в соседнем приделе, вылетел маэстро Роберти – суховатый живчик лет шестидесяти пяти, снедаемый духом неудовлетворенного совершенства. Трубно высморкался в сине-белый клетчатый платок, резко выдохнул: «Signori, con Dei!» – широким жестом пропуская солистов.

Венеция, туристическая Мекка Европы, самая концентрированная в мире эссенция всевозможной экзотики, концертно-музыкальной жизнью особо не славится: ну что провинциально-жалкий «Teatro La Fenice» по сравнению с расположенной неподалеку миланской оперой «Alla Scala» (как, добавляя две буквы, правильно именуют ее сами итальянцы) или даже с соседней «Arena di Verona»! Артисты мирового уровня сюда добираются довольно редко.

Поэтому огромный круглый зал Марии-делла-Салюте был на удивление полон. Три четверти слушателей – это, конечно, туристы, забредшие сюда от скуки, не пожалевшие пятидесяти евро за вход, хотя им вряд ли что-либо говорит фамилия не того, а этого Вебера. Но наверняка есть и ценители, они всегда попадают в любом зале.

Последние мгновения замшевой тишины вздохов, покашливаний, бумажного хруста конфетных оберток истаивают над неудобными деревянными скамьями и приставными стульями.

Вежливый всплеск аплодисментов на выход солистов – своего рода аванс, его еще надо отработать.

Маэстро Роберти взмахнул палочкой – и череда румяных бравурных аккордов в барочных камзолах торжественно распахивает кулисы, покрасоваться и раскланяться; началось оркестровое вступление...

Все как обычно: адажио в традиционном однобемольном ре миноре; до баховского клавирного шедевра композиторы барокко не рисковали забивать ключи обилием знаков. Струнные повели свою мелодию, навевавшую мировую скорбь, намекая на предстоящие печальные события притчи. Ту же мелодию-жалобу октавой выше повторил гобой, и еще несколько раз она вспархивала и всхлипывала там и тут, настойчиво напоминая о трагической и скоротечной сути жизни.

Затем, как в увертюре к «Дон Жуану», струнные рассыпали сверкающий искрами мажор второй части вступления, дружно проводя тему унисоном, перебрасывая мячик фугато, перекликаясь вопросом-ответом. Духовики – деревяшки и медь – подчеркивали срединными голосами аутентичные каденции: доминанта – тоника.

На ликующем аккорде – маэстро Вебер не чурался театральных эффектов – вступление оборвалось.

Клавесинист, ряженный, разумеется, в тот же камзол и парик, взял многозначительный си-минорный аккорд. «Сессо», природный звук клавесина, трение плектров о струны, идеально зависал в тишине под необозримым куполом Салюте: безмятежность, бестрепетность, бесстрастность, безадресность...

«Хисторикус» – баритон Шнюкк, явно радуясь пению на родном языке, скорбно-торжественно приступил к повествованию:

– «Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne...»

Подобно огоньку в сосновом валежнике, что метнулся по иголкам порыжелой высохшей хвои, вспыхнули альты хора с текстом комментариев к притче. Торжественно полетел «dux», первое минорное проведение темы в главной тональности:

– «У некоего человека было два сына: под образом этого человека подразумевается Бог; два сына – это грешники и мнимые праведники...»

Второе проведение темы, «comes» – как положено в свободной баховской полифонии, квинтой ниже – подхватили тенора, дабы передать мелодию группе сопрано, в то время как альты и тенора, идеально приглушив звук, выпевали противосложение. И только после сопрано тему в основной тональности повторили басы – мелодия хора зазвучала, как и требовали эти стены, могучим, будто опоры здания, четырехголосием. Да, контрапункт старик Вебер (или он не был стариком?) изучал весьма усердно. Хор резко замолчал, чтобы после нескольких аккордов клавесина вступил «Хисторикус»:

– «Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater...»

Ах, до чего все-таки не похожи скорбно-торжественные, исполненные сдержанным негодованием речитативы барокко на речитативы итальянского рококо у Моцарта, у Россини, где в сопровождении тех же аккордов «секко» мелодия сочится лукавством интриги, гривуазностью, порой и неприкрытыми намеками на эротику – а ведь, казалось бы, та же триада: тоника-субдоминанта-доминанта.

И снова побежал в глубине хора теноровый «дукс»:

– «Младший, более легкомысленный, еще не искушенный тяжелым опытом жизни...» – и тут же им «комесом» ответили сопрано.

..А вот и я, вот и я, Блудный сын (эту партию вообще-то часто отдают альту, но на сей раз им повезло: к ним залетела редкая и, скажем прямо, дорогостоящая птица). Ну-с, поехали...

Это всегда его звездный час: он подбирается, чувствуя мельчайшие мышцы лица, шеи, торса, живота; через секунду струя воздуха, опершись на мгновенно затвердевшую диафрагму, заденет рабочую часть связок, сформируется в головном резонаторе и повиснет в нужной, проверенной на репетиции, части купола, чтобы мощной волной серебряной лавы залить все пространство церкви Санта-Мария-делла-Салюте:

– «Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht». («Дай мне, отец, часть наследства, мне причитающуюся».)

Чертов затейник Вебер не придумал ничего лучше, чем начать партию контратенора с ре второй октавы!

«Vater!» – два слога попали на нисходящую кварту.

«Фа-таа!» – господи: терция с фа второй октавы! Еще бы: писано для гениальных кастратов, и мы можем лишь догадываться, как звучало их пение. Их быстрые партии петь невообразимо трудно, а медленные – практически невозможно. Небось улыбаются со своих призрачных хоров, наблюдая за его потугами.

Как обычно, всем напряженным телом он чувствует вздох публики; еще не бывало случая, чтобы зал не отозвался на первые звуки его голоса этим изумленным общим вздохом. Все читали в программке имена и роли, многие знают, что такое контратенор, кое-кто из публики так или иначе подготовлен к тому, что услышит, – все равно этот неперенный вздох, эта горячая волна, дуновение которой накатывает из зала и накрывает его самого, вливая в жилы пузырьки огненной эмульсии, остается самым мощным его наркотиком.

– «Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht», – выпевал он ламентацию Блудного сына, не подозревающего, к каким испытаниям в будущем приведет мягкосердечность отца.

– Вы, милый мой, наверняка в прошлой жизни были немцем – таким «т» и «д» не научить! – Вильгельм Рудольфыч, репетитор немецкого, ахал над его «неповторимым» немецким придыханием: ни в одном языке ничего похожего не сыщешь. (Впрочем, разве не восхищался на курсе его арабским произношением преподаватель сирийского и иорданского диалектов?)

– «Дас миа цуштьееет!» – подчеркивая мягкость «ш» и сколь возможно вытягивая «е» – именно «е», а не «э» мягко держал он, плавно филируя до пианиссимо ля первой октавы.

Последнюю фразу Блудного сына повторил гобой.

Эти церковные горные выси так берегут, так множат эхо давно отзвучавших голосов давно умерших кастратов. Ему всегда казалось, он чувствовал: там, вверху, под высоким куполом собора на его голос слетаются невидимые стаи потусторонних дискантов и фальцетов, и – божественная рать – сливаются в точнейший унисон, множа ангельский хор...

– «По закону Моисееву, – прокомментировали альты, – младший сын получал половину от того, что получал старший».

– «По закону Моисееву», – торжественно отозвались басы.

Снова после сухой россыпи клавесина мрачно вступил, сообразуясь с библейским зачином «и», «Хисторикус»:

– «Und er teilte Hab und Gut unter sie. («И отец разделил им имение».) Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. («И по прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно».)

Слова «дурьх мит Прассн», «через распутство» баритон Шнюкк пропел, вкладывая максимальное отвращение лютеранина-бюргера к дерзкому ничтожеству, посмеившему растратить добро, накопленное поколениями предков, на шлюх, приносящих мимолетную постыдную утеху.

Настал черед очередной фуги. Вступили басы:

– «Разделил им имение...» Продолжили тенора:

– «Собрав все, пошел: тяжела ему показалась опека отеческая...»

Альты подхватили противосложение:

– «Так человек, наделенный от Бога дарованиями духовными и телесными, почувствовав влечение к греху, начинает тяготиться божественным законом...»

И хор, пробежав каждой группой фугато «Дальняя сторона», вместе с мощным тутти оркестра, всеми группами грянул итоговое нравоучение:

– «...есть образ далекого отчуждения грешника от Бога, глубокого падения его нравственного».

Немецкое произношение хора было вполне приличным.

Две скрипки, блок-флейта и клавесин проиграли меланхоличную интермедию-менуэт, предвестницу печальных событий.

После речитатива продолжил «Хисторикус»:

– «*Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben*» («Когда же он всё прокутил, настал великий голод в той стране, и он стал нуждаться»).

Хор затянул негодующе:

– «Настал великий голод... Так нередко Бог посылает на грешника бедствия внешние, чтобы более образумить его...»

Вот она грядет, эта минута.

В юбилейных распевах контратенор божественен: от бесконечного каскада бриллиантовых фиоритур в жилах публики стынет кровь. Всю полноту чувств, вызванную праведной патетикой притчи, композитор вложил в музыку:

– «*Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten*» («И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней»).

На словах «ди Зёйе цу хю-у-у-утн!!!» мелодия взмыла вверх, до фадиеза второй октавы и там, словно поросычьим закрученным хвостом, затрепетала длинным верхним триллером, издевательским штопором ввинтившись на фортиссимо в пустоту воздуха.

Завершив трель, он ощутил движение единого в восторженном выдохе зала. Такой выдох возносится под купол цирка в миг, когда воздушный акробат эффектно завершает смертельно опасный трюк.

Маэстро Роберти, знаток и любитель эффектов, в этом месте чуть придержал прекрасно выдрессированный хор, и после секундной паузы сопрано и альты дружно грянули:

– «Пасти свиней – самое унижительное для истого иудея занятие...»

Басы продолжали стретту:

– «Так нередко грешник унижается еще более и доходит до самого бедственного состояния...»

Вновь зазвучал исполненный отчаяния голос Блудного сына:

– «Und ich begehrte, meinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie mich» («И я рад был наполнить чрево свое рожками, что ели свиньи, но никто не давал мне»). «Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger!» («Сколько наемников у отца моего пресыщаются хлебом, а я умираю от голода!»)

По мере усугубления страданий несчастного изгоя певец все больше обесцвечивал тембр голоса, уплотнял, придавая звуку почти потустороннюю бестелесность. Слова «унд ыхь фэрде-е-ербэ хиа им Хунга!» он пропел пианиссимо, без вибрации (какая, к чертям, вибрация, когда вот-вот копыта с голодухи откинешь?). Маэстро Роберти, оценив остроумный прием артиста, максимально приглушил аккомпанемент струнных – эффект оказался потрясающим. Но Блудный сын, приняв решение, чуть приободрился:

– «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: “Отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих”».

Хор начал новую фугу – традиционно, с альтов:

– «Не так же ли болен до потери сознания грешник, когда он объят грехом...» Глухо вступили басы:

– «Встану, пойду к отцу моему: решимость грешника оставить грех и покаяться...»

Противосложение продолжили тенора: – «Я согрешил против неба и пред тобою...» И стретту вновь пропели сопрано: – «Не достоин называться сыном...» Фугу закончил хор тутти:

– «В число наемников твоих... хотя б на самых тяжких условиях быть принятым в дом отчий».

«Хисторикус» продолжил свой поучительный рассказ, притча катилась дальше, дальше: и встал блудный сын, и пошел к отцу своему, и когда был еще далеко, увидел его отец и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его...

Близится кульминация: сложнейшая, невероятная, невыполнимая, единственная в жизни; растянутые в бесконечности, сжатые в горячий миг минуты пресуществления Голоса. И после слов «Хисторикуса» «Der

Sohn aber sprach zu ihm» («Сын же сказал ему») он напрочь выметает из головы сор обрывочных мыслей, чтобы во всем его опустелом теле не осталось ничего, кроме Голоса...

Тут, как везде в барочной музыке, композитор предоставил певцу много места для импровизации. В клавире в его партии сплошь и рядом обозначены лишь длинные ноты, вокруг них исполнитель создает свой рисунок, выплетаемый всей этой дивной живностью, прелестной канителью: шаловливо-прилежными трелями с форшлагами и нахтшлагами.

Медленно раскачиваясь, голос начинает свое вкрадчивое кружение вокруг длинных нот – удав в чаще лиан, – постепенно усложняя и увеличивая напряжение, всякий раз по-новому окрашивая тембр. После каждого эпизода инкрустация мелодии все богаче и изощреннее, голос поднимается все выше, выталкивая из груди вверх ослепительные шары раскаленного звука, воздвигая плотину из серебристых трелей, ввинчивая в прозрачную толщу собора восходящие секвенции, гоня лавину пузырьков ввысь, ввысь...

Так ветер нагоняет облака, пылающие золотом заката; он и сам неосознанно приподнимается на носки туфель и досылает, и досылает из-под купола глотки все новые огненные шары, что сливаются в трепещущий поток, будто это не одинокий голос, а сводный хор всей небесной ликующей рати, среди коей растворяется без остатка окаянная душа.

Три форте, выданные его легкими, диафрагмой, связками и резонатором, заполнили все подкупольное пространство церкви Марии-делла-Салюте, чтобы обрушиться на зрительный зал:

– *«Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße» («Отче! Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим»).*

Маэстро Роберти, как было условлено, остановил оркестр. И – полные легкие – певец пошел на головокружительный трюк, композитором не предусмотренный:

– *«Фа-а-та!»* – снова фортиссимо (если таким манером попробовать три форте, связкам конец) он взял ля второй октавы и чуть слабее повторил: – *«Майн фаа-а-а...»*, – и спустился на ре потрясающим по красоте портаменто, сфилировав звук на выдохе до трех пиано: – *«...та!»*

В такие минуты он не был ни израильтянином, ни евреем,

ни христианином; не был собой – последним по времени Этингером... Он не был никем, лишь голосом Неба и волей Неба – и это мучительное, тайное, сладостное чувство распирало грудь, давило в виски, грозя взорвать мозг и выплеснуться на невидимый нотный стан кровавыми брызгами освобожденных форшлагов.

Когда, смыкая связки, он форсировал звук в некой точке подкупольного пространства, он чувствовал то же, что и в поиске точки прицела: голос Неба и волю Неба. (Он предпочитал испытанный метод уничтожения объекта: выстрел в голову.)

Даже выдох зала не прозвучал – смертельную тишину разорвал гром аплодисментов.

Маэстро Роберти дернул уголком рта – высшая степень одобрения, главный трюк прошел блестяще – и слегка взмахнул палочкой. Лицо румынского тенора окаменело: спой он теперь свою партию, как Паваротти, такой успех ему и не снился.

А Блудному сыну можно было перевести дух, ибо дальше шла большая сцена между Отцом и Старшим праведным сыном, возмущенным безрассудством отцовского всепрощения. Румын вел свою партию довольно бойко: всё при нем, всё умеет. Года через три достигнет своего потолка. А вот бас Луиджи Оттоленги заметно помутнел буквально за последний год, с их совместного концерта в Риме.

Хор продолжал плести фугу об отцовском милосердии и об истинном благочестии, о прощенном грешнике, о Божьей любви к человекам...

Он бросил взгляд на скамьи: в третьем ряду справа, обмахиваясь программкой, сидел Шаули. Кепку он снял, но для любого постороннего глаза был, как и положено, затерт, замылен, практически невидим. Любой посторонний глаз просто оплывал его внешность. Ах ты, сторож брату своему, – мой черный человек, заказчик очередного реквиема по очередному ближневосточному князьку, озабоченному извлечением смертоносного ядра из брюха бешеной центрифуги.

(«Ядра – чистый изумруд!» – восклицала Барышня, выковыривая вилочкой нутро из орехов, которые он в детстве колол для нее прадедовым инвалидом-Щелкунчиком.)

У него – у последнего по времени Этингера – не было ни малейшего сомнения в том, что вместо запланированного после концерта великолепного банкета в «Гритти-Палас» с организаторами и спонсорами сегодняшнего спектакля его ожидает сомнительный перекус в паршивой забегаловке с «пиздоватыми» куриными ножками на вывеске.

Он даже предугадывал первую реплику, которую произнесет его друг, опустившись на стул и стянув с бритой башки черный кепи: «Едрена мать, Кенар: когда ты верещишь этим своим птичьим писком, небось все педрилы в зале мечтают тебя трахнуть?»

(Нет, не думать, не думать – прочь! Не думать, не вспоминать, как, тому уже много лет, на морской берег в Тартусе, где благоуханным вечером на веранде своей дачи пировал с гостями глава сирийской разведки генерал Рахман аль-Саидани, вышли два аквалангиста, и посреди застолья хозяин тюкнулся лицом в тарелку, и так никто и не выяснил, из чьей снайперской винтовки пуля – Шаули или его, Кенаря, – вошла ему точно в лоб.)

...Финал этой оратории необычен для барочной музыки: ни тебе грома оркестра и хора, ни тебе литавр и бешеного тутти струнных.

После пропетого «Хисторикусом» «дэр эрблиндете Фатер» («ослепший отец») следует поистине ангельское умиротворение, дуновение эфира, стон по утраченной душе.

И плачет голос Блудного сына, истекает нежнейшей любовью, и течет-течет, и парит-парит, затихая на пианиссимо, замирая на затяжном вздохе, глубже и глуше впечатываясь в войлок тишины, в мякоть облака; струйкой света – в растворенную взвесь золотого соборного воздуха – в небытие...

Вот оно: мгновение беспредельной тишины, миг любви и слезного слияния с Божьим замыслом.

И затем – грозовой разряд, треск и ливень аплодисментов!!!

А Эська разъезжала все предвоенные годы. Разъезжала так много, что когда засыпала на убитом матрасе железной койки, где-нибудь в утлой комнате Дома колхозника или в безликом номере провинциальной гостиницы, в ушах ее, то накатывая, то отдаваясь, стучали колеса железнодорожного состава.

Она аккомпанировала танцовщице, бешеной испанке с ослепительным именем Леонор Эсперанса Робледо, отчаянно смелой и до известной степени даже дикой, чье безрассудство распространялось на все, кроме самолетов – тех она до дрожи боялась. Так что колесили по трое, по четверо суток, а когда ездили на гастроли по городам Сибири, то и вообще неделями не видали ничего, кроме бешеного перебора шпал,

редких фонарей, кособоких деревянных домишек, дощатых сараев и бесконечной, угрюмо-зеленой полосы матерой тайги.

Разъезжали втроем: бешеную испанку сопровождал муж, известный испанист, профессор-этнограф Александр Борисович, угловатый нервный человек, который, собственно, и привез ее из Испании, из какой-то своей этнографической экспедиции.

Это все как получилось: однажды утром, во время занятий с вокалистами, позвонила в училище обезумевшая Надежда Ивановна Полищук, администратор филармонических программ, срочно-слезно вытянула Эську прямо с урока и чуть не зарыдала в трубку: мол, спасайте, Эсфирь Гавриловна, христом-богом прошу, а когда-нить и я вам пригожусь.

– Да что, что такое, кого спасать?

– Ну-тк, приехала с концертом испанка-танцовщица, а вчера ее концертмейстер – женщина полная, сильно в возрасте, та еще гипертоничка, – дуба тут нам преподнесла!

– Ка-а-ак?!

– Да вот так, пошла в гостинице помыться с дороги, а уж из душа ее всем персоналом выволакивали. А нам-то что делать? Билеты все проданы, аншлаг, вы ж понимаете – Испания, но пасаран, и я вас умоляю. Публика же сочувствует...

– Ну хорошо, – в замешательстве пробормотала Эська. – Но... почему непременно я?

– Та вы смеетесь? Там программа технически жутко сложная. Ну кто в Одессе, кроме вас, с листа читает, как сама сочинила?!

...Сыграла, конечно; программа не то чтоб особо сложная, – уж не Бетховен и не Лист. Но беглость чтения понадобилась. Эська слегка напряглась, шпаря на скорости все эти болерос-севильянос; на танцовщицу смотрела даже не краем глаза, а так, бликом зрачка, отмечая внезапные остановки или вихревые закруты алой с черными воланами юбки. Испанка оказалась не типичной: высокая, худенькая, пышные каштановые волосы с красноватой искрой, обжигающе-зеленые глаза – прямо ирландка какая-то. После концерта за кулисами налетела на Эську, стиснула в свирепых объятиях, бормоча как безумная: «Диос, Диос!!!!» – еле отбилась от нее.

А на другой день вечером явились прямо на квартиру, да с цветами: нарядная щебечущая испанка (ни словечка по-русски) и ее нескладный, несуразный, некрасивый, очень церемонный муж. Солидное деловое предложение вывалили с порога – не дождались, пока Эська цветы в вазу поставит. Она рассмеялась и с ходу легко отказала – что? кочевая жизнь?

чепуха! да и как бы она бросила своих вокалистов, беспомощную Стешу, нездорового папу? нет, это полное безумие!.. (Поиск вазы рассеянно продолжался, огромный букет заслонял крошечную Эську от гостей.)

Тогда они просто повалились в ноги – профессор метафорически, а испанка буквально: рухнула перед Эской на колени, стала ее руки ловить-целовать. Та ужасно испугалась, выронила букет, вырвала руки и, беспомощно ими всплескивая, заметалась по комнате.

– Что, что она говорит? – в смятении спросила она сумрачного мужа испанки. Тот криво усмехнулся, как бы со стороны наблюдая эту картину:

– Говорит, что покончит с собой. У нас, понимаете, если вы отвернетесь, летит к чертям огромная гастроль: Урал, Сибирь, Дальний Восток... – И добавил глуховатым голосом, явно преодолевая себя: – Мы вас, Эсфирь Гавриловна, просим о милости, о душевном подвиге. А я так просто умоляю – тут вся моя жизнь на кону. Это ведь не она должна на колени становиться, а я, именно я.

Эська ночь не спала, а когда поднялась с головной болью и совершенно безумным, ни в какие ворота не лезущим, безответственным легкомысленным решением взять за свой счет отпуск на три месяца, на время этой их чертовой, свалившейся на ее голову гастроли, – обнаружила, что Стеша на кухне уже выглаживает складочки и оборки «венского гардероба». Парусиновый саквояж на стуле в ожидании раззявил пустую утробу.

– Нет-нет, – буркнула Эська хмуро, запивая таблетку пирамидона вчерашним чаем. – Ничего такого банкетного не возьму. Там дело дорожное, бивуачное, мытарства всякие... грязные караван-сарай, черт бы меня побрал! К тому ж блистать на сцене должна она, а не я. Сложи две юбки попроще, ну, и пару блузок поскромнее.

* * *

Что поражало ее в испанской танцовщице – жизненное воплощение прославленного литературного типа. Это была Кармен в чистом виде, Кармен, что подзадержалась в утомительном для нее браке с Хосе. Удивительным также было и то, что Леонор Эсперанса и сама полностью отдавала себе в этом отчет, довольно часто цитируя Мериме в насмешливом обращении к мужу: «Ты настоящая канарейка одеждой и нравом! И сердце у тебя цыплячье...» Впервые услышав эту цитату на испанском и мысленно в несколько прыжков переведя ее на русский (в то время она понимала по-

испански уже гораздо лучше, но все же отнюдь не каждое слово), Эська скромно заметила, что дома у нее много лет живет канарейка по имени Желтухин и это отважная певчая птичка, которая дарит одну только радость.

Испанский она была просто вынуждена одолеть, хотя б на бытовом уровне, дабы вовремя предотвращать ежеутренние скандалы, когда на весь коридор гостиницы где-нибудь в Кинешме или Тамбове раскатывался вопль проснувшейся Леонор Эсперансы:

«Кофе! Я что, должна умолять о кофе?!»

Неизвестно, чем таким особо художественным прославилась испанка дома, не то в Арагоне, не то в Эстремадуре, – судя по ухваткам, накручивала румбу в каком-нибудь кафешантане. Оказавшись в Москве, довольно ловко сочинила себе разнообразную танцевальную программу из нескольких танцев, которые за неимением партнера исполняла *solo*. Во всяком случае, Эська, ранее считавшая фламенко чуть ли не единственным танцевально-вокальным выражением испанского духа, убедилась в существовании и горделивого пасодобля (Леонор исполняла его в костюме тореадора), и торжественной арагонской хоты, и плавной мунейры (которую, вообще-то, как объяснила Леонор, правильно танцевать под волынку), и даже страстного болеро, вращавшегося вокруг оголенного пупка танцовщицы. Ну и фламенко, само собой, – зрители не перенесли бы этой зияющей пропажи; фламенко, в котором Леонор играла взбесившейся красной юбкой, вначале раздувая неукротимое пламя, потом его неистово гася.

Публика, очень в эти годы *происпаненная* в своих симпатиях, сопровождала ее танцы ритмичными хлопками, восторженными выкриками и – в зависимости от культурного уровня зала – прочими *букетными* проявлениями восхищенной любви. Бывало, после концерта в артистическую уборную вносили безымянную корзину цветов, которую потом Леонор требовала возить за собой по всему маршруту гастролей до полного, пыльного и бесславного ее умирания где-нибудь в купе очередного поезда.

Этнограф мучился ревностью – на взгляд Эьски, тоже несколько литературной, но небезосновательной. Наезжая в Москву в коротких перерывах между гастролями, они жили на даче в Загорянке (свою квартиру профессор оставил жене и дочери). Испанка разгуливала по дому голая и голая выходила в сад, украшая себя листьями лопухов и развесив по золотым плечам золотистые гроздья винограда: фрукты ей присылал корзинами поклонник, некий крупный чин в Совнарком.

В минуты раскаленных раскатистых семейных скандалов она завораживала своей пластикой: все ее тело разворачивалось кольцами навстречу обидчику в яростно мелодичной, оскорбительной тираде, в которой змеиное жало языка поддерживал плавный выпад гибких рук, а презрительная упряжка трепещущих бровей неслась вскачь над ледяным зеленым пламенем глаз.

Этнограф сходил с ума от ревности.

Несколько раз на гастролях Эська попадала в сердце семейного тайфуна, когда интеллигентный Александр Борисович, доведенный женой до иступления, коротко и наотмашь бил испанку в лицо, так, что та падала на пол, картинно и удовлетворенно раскинув руки. Эська же вскрикивала, точно ударили ее, а не Леонор, и убегала куда-нибудь, и скрывалась по три дня – в гостинице, у случайных знакомых, или снимала комнату у старушки в частном секторе.

Репетиции прекращались, но перед самым концертом ее разыскивали. Являлись, держась за руки, дружные и веселые *молодожены* – Кармен с Хосе, – обнимали Эську, целовали и увлакивали с собой.

Собственно, тяжелый и вспыльчивый Александр Борисович со своей легкомысленной Леонор Эсперансой стали в эти годы Эськиной бродячей семьей. И если б для некоего умозрительного летописца ее скудной биографии понадобился символ, она таковой назвала бы немедленно: кипятильник! Ибо с утра до вечера Александру Борисовичу и Леонор нужны были прямо противоположные вещи. Ей – кофе, ему – отвар ромашки для больной почки. Ей – свиная отбивная, ему – овсяная кашка. Ему – тишина для сосредоточения над какой-нибудь статьей, ей же – музыка, гром и топот, треск кастаньет, папиросы и бутылка вина, а к вечеру напряжение всех мышц, чувств и нервов – и так до самой ночи, до непременно взрыва, до ее хохота, до его крика, до... хотелось бы написать «выстрела»; нет, всего лишь пощечины.

Однажды деликатная Эська решила на серьезный разговор с этнографом. Потом пожалела: выбрала не тот момент. Александр Борисович к вечеру часто бывал навеселе, много шутил и ничего не принимал всерьез. Вот и тогда, выслушав ее мягкие увещевания, горько ухмыльнулся и, перегнувшись через стол, сказал приглушенным голосом:

– Дурак я, Эсфирь Гавриловна! Вы видите перед собой отчаянного и жалкого дурня. Все дела у меня в загоне, жизнь запущена так, что страшно в нее заглядывать.

Они сидели на уютной, с цветными стеклышками в оконных

переплетах веранде дома писателей (некогда усадьбе каких-то сгинувших князей – то ли Голощекиных, то ли Щербацких), куда их на время турне по городам Ленинградской области (благо, не сезон) удачно пристроил всемогущий администратор филармонии Миша Туркис.

– Вот увидите: меня скоро вышвырнут из Академии. Умом я понимаю, как поступить, но сердцем смириться не могу. Воли нет. А знаете, что надо бы мне сделать? Отправить ее назад, в ее Эстремадуру, жениться на вас и зажить прекрасной и достойной нормального человека жизнью.

Эська, которая вообще-то уже давно считала точно так же, но никогда в жизни не позволила бы себе ни единого встречного шага, немедленно посмуглела розоватым румянцем, но сдержанно и благородно посоветовала ему не отчаиваться: с Леонор нужно только терпение, и тогда все наладится.

– Ничего не наладится! – грубовато оборвал ее этнограф.

* * *

С этой чокнутой парочкой и застала Эську война – в городе Кирове.

Этнограф бросился на призывной пункт, и – что явилось полной неожиданностью для обеих женщин – его таки призвали. Призвали, несмотря на астму, единственную почку и псориаз, чудовищно расцветший с известием о начале войны.

Дня два перед объявленной датой отправки эшелона он деятельно и даже как будто увлеченно приводил в порядок свои записи, разработки и статьи, раскладывал все по конвертам, надписывал адреса, по которым Эське следовало их отправлять (в последние лет пять она, со своей обязательностью и деловой опрятностью, превратилась еще и в секретаря этнографа).

В последний вечер перед отправкой профессора на фронт они втроем долго и задумчиво сидели в гостиничном номере за бутылкой вина, дружно пели испанские песни, мечтали, как все повернется после войны: надо полагать, разрешат гастроли за границей – ведь Испанию наверняка освободят от фашистов.

– Девушка, подари мне гвоздику твоих губ,
а я подарю тебе бубенчик... –

негромко затянула Леонор старинную серенаду «Клавелитос», ту, что обычно исполняла на бис. Пела, склонив голову к плечу, будто прислушиваясь к собственному голосу. Ее тонкая смуглая рука медленным стеблем проросла вверх, гибкая кисть вздрогнула и зажила отдельной жизнью – то безвольно сутулясь, то раскачиваясь змеиной головой, то резко распрямляясь, как распятая. Левой рукой она похлопывала по столу, размечая ритм:

Я подарю гвоздики, гвоздики моего сердца,
и если когда-нибудь я больше не приду,
не думай, что я разлюбил тебя...

Поднялась и закружилась, то прищелкивая пальцами в такт песне, то умоляюще протягивая к мужу обнаженные руки; выводила мелодию печальным контральто, на окончаниях фраз роняя голос до любовного полупшепота:

Когда я увидел впервые твои губы цвета вишни
и гвоздику в твоих волосах,
мне померещилось, что я узрел кусочек рая...

Эська перевела взгляд на застывшее лицо Александра Борисовича и поняла, что ей пора к себе.

Наутро после этого чудесного вечера Эська проснулась, села на кровати и, опустив босые ноги на пол, угодила в лужу давно остывшей крови.

Почему этнографу вздумалось резать вены у нее в комнате, в темноте, что случилось меж ним и испанкой ночью, почему он не решился разбудить Эську в черную минуту нестерпимого отчаяния и как умудрилась она не услышать его последних хрипов – все это осталось совершенно необъяснимым. В голове у нее был туман, ужас, бестолковщина – словом, «полный каламбур».

Потом она гонялась за бешеной Леонор Эсперансой – которая бегала по всей гостинице с кухонным ножом, громко обещая вонзить его себе в грудь, – договаривалась о похоронах и унимала вопли обезумевшей Леонор вослед гробу, утонувшему в недрах суглинистой ямы.

«...И если когда-нибудь я больше не приду, не думай, что я разлюбил

тебя...»

Затем полтора месяца они добирались в Москву, в надежде на помощь и покровительство высокого чина, что присылал когда-то Леонор корзины фруктов.

Высокого чина они на месте не застали – то были первые страшные недели войны, когда столичные начальники драпанули из Москвы в позорной панике. Но оказалась на месте и приютила их в коммуналке на Кировской Эська гимназическая подруга – она служила тихой архивной мышью в каком-то архитектурном учреждении.

На беду, Леонор заразилась в поезде тифом и недели три провалялась в больнице: металась, тараща мутные зеленые глаза и горячо выдыхая в бреду: «Александр! Александр!» – и что-то еще неразборчивое покаянным истерзанным плачем. Эта Кармен, как выяснилось, любила своего Хосе.

Главное же, во всей неразберихе и бестолочи Эська не могла добиться известий из Одессы: что с папой и Стешей, как они и где, смогли ли эвакуироваться? В эти примерно дни подруга получила от родителей какое-то беспомощное стариковское письмо, добиравшееся три недели, из которого ясно было только, что эвакуироваться из обезумевшего от страха города смогли те, у кого «литер», «бронь», «вызов» или деньги на бешеную взятку, но и это не всех спасало, потому что корабли подрывались на минах чуть не у берега; что Одессу бомбят, а бомбоубежищ не хватает, и пережидать налеты лучше всего в подворотнях; что немцы отрезали водовод из Днестра, воды нет, а жажда страшнее голода. Что многие соседи уже открыто говорят: мол, бояться нечего, немцы только жидов убивают, а людей не трогают.

Мучаясь неизвестностью, отлучаясь от истощенной Леонор только по необходимости, Эська в один из дней встретила в трамвае Мишу Туркиса, администратора филармонии, от которого узнала, что создан штаб фронтовых бригад при ЦДРИ.

– Как раз сейчас формируют коллективы, и вы успеваете, Эсфирь Гавриловна. Только явитесь завтра пораньше, к десяти, я словечко замолвлю, и ваш ансамбль внесут в списки и поставят на довольствие.

Так и завертелось.

Лысая после тифа, слабая и до жути худая Леонор Эсперанса Робледо, потрескивая кастаньетами в поднятых, тонких, будто ивовые прутьики, руках, вяло топотала каблуками спадавших с нее концертных туфель

по полу коммуналки на Кировской; очередная концертная бригада через неделю выезжала куда-то на Западный фронт.

Программы таких бригад сбивались на скорую руку по принципу сборной солянки: сценки, монологи, цирковые номера, чтецы-декламаторы и певцы с легким оперным и опереточным репертуаром (вот бы где процвел папа с его неумолчным пением). Ну и требования к артистам предъявлялись соответственно обстановке: собранность, мобильность, психическая устойчивость – выступать-то приходилось чуть не на передовой, а уж сценическая площадка подворачивалась всюду: под открытым небом на лесных полянах, на палубах военных кораблей, на аэродромах, в землянках, в медсанбатах и госпиталях.

Для Леонор из костюмерных недр филармонии был извлечен жесткий оранжевый «парик парубка», явно забракованный каким-нибудь танцором ансамбля украинских народных танцев, – другого не нашлось. И – странно, может, из-за парика, – ее густые, каштановые с золотом волосы никак не отрастали; Эська считала, что в ослабленном организме не хватает кальция. Собственно, они так и не успели отрасти, дивные волосы Леонор, но сейчас не об этом речь. Пока же Леонор вообще не снимала с головы дикой цирковой пакли – стеснялась, ненавидела себя лысую.

Поэтому до концерта командиры со словами «товарищ Робляда!» (так их языки, привычные к мату, невольно переименовывали иностранную фамилию артистки) обращались к Эске. Жгучие смоляные, с редкой проседью, кольца ее волос наводили на мысль об Испании скорее, чем «парик парубка» самой что ни на есть природной испанки Леонор Эсперансы.

Вот рояль пришлось сменить на аккордеон, это да, и, бывало, кое-кто из бойцов жалостливо предлагал маленькой и хрупкой Эске помощь в растягивании мехов, на что она только усмехалась, по-грузчицки вздергивая плечо с ремнем.

В скудости их театрального реквизита был даже некий стиль: занавес, хлипкий стул для аккордеонистки, лист фанеры для танцующей Леонор.

Иногда автобус или грузовик, привезший артистов в расположение какой-либо части, не доехав, останавливался прямо на дороге, по которой войска перебрасывались к фронту, и тогда спешно выбиралось на обочине место поровнее, раскладывался лист фанеры, артисты переодевались прямо там же, на траве, никого не стесняясь, и все эксцентрико-акробатические номера, все пластические этюды и танцы проходящие мимо бойцы наблюдали искоса, смущенно улыбаясь.

За два месяца, проведенных на Западном и Калининском фронтах, они проехали с бригадой тысячи километров и дали чуть не двести концертов. Всю жизнь потом, оформленная в рамочку под стеклом, на стене у Эськи висела грамота от военного командования: «Музыкально-танцевальному коллективу товарищам Этингер – Робледо за самоотверженную отличную работу на фронте в непосредственной близости от переднего края».

Странно, что больше помнились не дни, а ночи – они часто выступали вечерами и по ночам, в блиндажах, освещенных гильзами от снарядов с торчащими из них тряпками-фитилями.

Помнилось черное прекрасное небо в огненной сетке трассирующих пуль, в россыпи зеленых пугающих звезд.

Небо, обмелевшая к рассвету бездна стыда и нежности – бездна, что единственный раз они вычерпали вдвоем.

* * *

Ту последнюю ночь им выпало провести недалеко от Торжка, в здании бывшей школы, переоборудованной под госпиталь.

Концерты в госпиталях считались у артистов фронтовых бригад большой удачей: там можно было вымыться, по-человечески поесть и выспаться в нормальных койках на чистых простынях. И, что ни говорите, – бог с нею, с фронтовой романтикой, – выступать приятней на настоящей сцене в актовом зале, пусть даже весь он плотно заставлен рядами коек, а стоны раненых и бредовая матерщина заглушают ревуший басами аккордеон.

Вечером после концерта персонально для артистов протопили баню во дворе. Тесная банька, втискивались по трое, наскоро намыливались, понимая, что там, снаружи дожидаются своей очереди мужчины. Все равно – блаженство, роскошь, нечаянная радость.

Чуть не всю парную своими грандиозными дрожжевыми телесами заполнила Мария Онищенко, исполнительница романсов. Казалось, вся она обвешана мешками: мешки грудей, мешок живота, туго набитые мешки могучего крупа...

Худенькая и гибкая Леонор огибала Марию с танцевальной ловкостью, как в пасодобле тореадор огибает быка, как узкая фелюка огибает головное

судно китобойной флотилии. Эська же скорчилась в углу скамьи – полоскала в поставленной на колени шайке гриву ассирийских кудрей; никогда ничего не могла поделаться со своей несчастной застенчивостью.

– Дай помогу! – сказала Леонор, склонясь над ней. – Закрой глаза.

Подняла шайку с Эськиных колен и, будто всю жизнь мылась исключительно в русских банях, одним махом окатила ей голову водой.

Вытирались и одевались в малюсеньком предбаннике, истомно отдуваясь, задевая друг друга локтями и ягодицами, и Эська норовила побыстрее натянуть кофточку, что застревала и не раскатывалась на влажном теле.

В конце концов Леонор фыркнула, развернула ее лицом к себе и проговорила:

– Эстер! Почему ты забиваешься в угол, как хромая нищенка? Если б у меня была такая великолепная грудь, я б ее предъявляла вместо паспорта!

– Что она говорит? – поинтересовалась покрасневшая, влажная, вся в капельках пота, полуголая Мария. – Почему она сердится?

– Она не сердится, – смутившись, пробормотала Эська.

После ужина пожилая медсестра с усталыми глазами в набрякших веках повела их устраиваться на ночлег. И пока поднимались на второй этаж по широкой школьной лестнице, она виновато повторяла, приваливаясь то спиной, то боком к деревянным перилам, отполированным задницами многих поколений учеников:

– Девочки, дело такое, у нас коечный фонд не большой, а раненых полно. Вчера привезли два грузовика, позавчера три. А коечный фонд – совсем, совсем небольшой. Ничего, если двое на одну койку лягут?

– Эт за ради бога! – захохотала довольная, все еще красная, как пожар, Мария. Понимала, что к ней никто не попросится. – Кому со мной лечь охота, девочки?

– Просто у нас коечный фонд небольшой, – оправдываясь, повторила медсестра, – а раненых полно, прям катастрофа...

– Что это – «коэчни фонд»? – спросила Леонор.

– Нам придется спать в одной постели.

– Всем?! – в ужасе воскликнула та, и все женщины правильно поняли этот ее возглас и долго смеялись над оторопью бедной танцовщицы, громче всех – добродушная Мария.

...Эта испугавшая, озарившая ее, все в ней перевернувшая ночь стала единственной потаенной драгоценностью, которой она оставалась верна

всю жизнь.

Прильнувшее к ней горячее тело Леонор, от которой, вздрогнув, она вначале смятенно отпрянула... и к которой потянулась, едва могучий храп Марии Онищенко сотряс грядку стаканов на подносе. Благословенный храп – он обнес их узкую койку шумовой завесой ночного водопада, отделяя ее и Леонор от всего разом съезжившегося мира...

Со временем ее память навела на воспоминания об этой единственной ночи иконографическую резкость: на все непроизносимые касания, жаркий стыд, изумленное счастье, заикающийся шепот на испанском и на русском...

Позже, когда прямоугольник вызревающего окна стал тоскливо подтекать рассветом, остужая их общее сердцебиение и разлучая томительно переплетенные пальцы, Леонор отерла ее слезы ладонью и прошептала:

– Сегодня Великий четверг. Сегодня у нас женщины выходят в кружевных мантильях, в высоких гребнях, все в черном...

Ее дерзкий профиль на подушке, со слабым мальчишеским ежиком надо лбом, казался почти прозрачным на фоне зеленоватого неба в окне.

* * *

Под вечер их доставили на аэродром близ какой-то деревни – к тому времени Эська уже не запоминала названий сел и деревень, номера полков и обозначения родов войск; попробуй упомни все после пяти концертов в день!

Но везде их старались подкормить. Там, в летной части, на краю большой поляны артистов ждал уже накрытый стол – попросту дверь, снятая с петель и уложенная на врытые в землю бревнышки. Тушенка, хлеб, немного спирта и – настоящий сюрприз – только что сваренная, исходящая слезным паром картошка!

То, что летчики – элита армии, заметно было по командирам: она всегда мысленно отмечала это даже не словами, а чувством: с ними хотелось поговорить. В те мучительные дни ее тянуло поговорить с людьми, которых папа когда-то называл «нашим кругом», а она сердилась на его слова и требовала, чтобы он уточнил приметы этого самого «нашего круга». Теперь вот понимала.

И здесь тоже оказался лейтенант – некрасивый, с оттопыренными под фуражкой ушами, с небритым обезьяньим надгубьем, но такими

быстрыми и «говорящими» глазами, что все время хотелось на него смотреть, – да он и показался ей ужасно знакомым. Минут пять они коротко поглядывали друг на друга через импровизированный стол (лейтенант будто ждал, когда она заговорит первой); наконец, он слегка подался к ней и негромко спросил:

– Неужто изменился так, Эсинька?

Выждал две-три секунды, с улыбкой глядя на ее вспыхнувшее неуверенной улыбкой озадаченное лицо, и подсказал:

– Дача на Большом Фонтане. Репетиции «Двенадцатой ночи» в пустом дровяном сарае, а дрова мы выкинули. Я шута играл, потому что умел ушами шевелить. – Снял фуражку с лысеющей головы, приготовившись доказывать примером. Но она уже вскрикнула:

– Миша! Миша Сапожников! Господи, как же я сразу!.. а что?.. но почему же?..

И, волнуясь и заходясь от радостного смеха под взглядом сидящей рядом и ничего не понимающей Леонор, они с Мишей, некогда вихрастым толстым мальчиком, сыном владельца «Коммерческой типографии Б. Сапожникова», на Ришельевской, 28, принялись вперегонки перебирать имена, фамилии, чьи-то дурацкие шутки и дурацкие фокусы.

И на его словах:

– ...А что было делать? Я уехал к тетке в Белосток, там принимали... – вдруг забухали, залаяли неподалеку зенитки, из-за леса взмыли пять легких игрушечных «юнкерсов», на лету роняя козьи орешки. Летчики вскакивали из-за стола и, отрывисто что-то крича, бежали к самолетам.

Земля гулко дрогнула, еще, еще раз, вздыбилась и пошла ухать и корчиться в нутряном подземном и небесном гуле: все слилось – лай зениток, взрывы, стрекот пулеметов...

Один «юнкерс» снизился, на бреющем полете прочесывая из пулемета лес и аэродром.

И все произошло очень быстро, просто и непоправимо. Все заняло две-три минуты.

Леонор схватила ее за руку, и они побежали куда-то к черному лесу на окраине аэродрома, что возникал и снова гас пульсацией вспышек во взрывах снарядов. Они бежали, а картавый гороховый грохот догонял их, расстреливая землю вокруг и выдирая клочья травы с дерном. Вдруг Леонор остановилась, обернулась к Эське, словно забыла сказать что-то важное и вот вспомнила наконец, и непременно сейчас скажет! Яркий свет обезумевших ее зеленых глаз полоснул Эську по сердцу с ночной, разом пыхнувшей силой. Швырнув ее на землю – Эська

ударилась головой и спиной, на мгновение даже потеряв сознание, – Леонор упала сверху, прижав ее к влажной дурманной траве неожиданно властным, каким-то мужским телом.

Эська покорно лежала, открыв глаза в бурное небо высоко над плечом Леонор. Небо содрогалось и билось черным звездчатым скатом в сетях летящих снарядов. Никогда больше, даже в дни салютов, она не видала более праздничного, более упоительного зрелища.

Грохот и трескотня приблизились так, что изрешеченный свинцом воздух стоял вокруг них плотной стеной, изгвазданной зелеными шляпками алмазных звезд. И когда почудилось, что этот живой от движения воздух стал непроницаем, тело Леонор вдруг молча глухо сотряслось и вмиг обмякло и отяжелело. И мгновенно на Эську толчками хлынула горячая и тяжелая влага, как в ваннах на Хаджибейском лимане.

Так они и лежали до конца боя – Эська задыхалась под тяжестью Леонор, плаваясь в затекавшем под нее горячем соленом источнике...

Затем ее, окровавленную, вытаскивали из-под мертвой испанки, вцепившейся в Эську мертвой хваткой. Бритая, с распахнутыми зелеными глазами, с откатившимся в траву нелепым «париком парубка», та упорно не желала отпускать своего аккомпаниатора, словно вот сейчас собиралась еще разок исполнить на бис коронный номер их программы, изящный и гордый пасодобль.

С этого дня Эська обрила голову под мальчика – в память о Леонор Эсперансе Робледо; стала курить крепкие папиросы и курила всю долгую жизнь, лишь в глубокой старости, по настоянию внука, сменив их на сигареты.

До конца войны она разъезжала в концертных бригадах, аккомпанируя на аккордеоне артистам цирка, не гнушаясь ничем: эксцентрика, пластические номера, манипуляция.

И тому подобное.

Большой Этингер погиб 19 октября 1941 года – через два дня после того, как румынские войска заняли Одессу.

Вообще, к началу оккупации он пребывал в психиатрической лечебнице. И кабы сидел смирно там, где сидел, ничего бы с ним страшного не случилось: Евгений Александрович Шевалев всю оккупацию

прятал от гибели не только больных, но и здоровых евреев под видом сумасшедших, а соседи так привыкли к долгим исчезновениям старика, что никто бы его и не хватился.

Но Большой Этингер, под конец жизни став радостно-беспокойным и деятельно-распорядительным, умудрился бежать из закрытого отделения психушки и сбежал не один, а вместе с другим пленником – кенарем Желтухиным, с которым в последние годы не расставался ни на минуту.

Румыны, получившие Одессу в подарок от Гитлера, были похожи на цыганскую саранчу – ободранные, пыльные, в обмотках и по виду голодные; во всяком случае, когда гостеприимное население выносило им хлеб-соль на вышитых рушниках, они, гогоча, отрывали от караваев и жадно грызли хрустящие корочки.

Всеобщая регистрация евреев была объявлена уже на следующий день, и сразу начались облавы, аресты и грабежи квартир. К голодным румынским патрулям, которые немедленно окрестили «сахарными» (под видом поисков оружия те при обысках всегда прихватывали серебряную сахарницу), с энтузиазмом присоединялись свои местные мародеры – как не попользоваться соседским добром!

Румынский патруль на квартиру Этингеров навел управдом Сергей. Собственно, от квартиры оставались одна только Эськина комната да Стешина антресоль, которая из-за *пониженных нормативов потолка* жилой площадью не считалась; а вот поди ж ты, все обитатели дома да и весь двор с флигелями до сих пор именовали квартиру номер 6 «квартирой Этингеров».

Сергей и не скрывал от Стеши ни действий своих, ни намерений. В первые дни оккупации он вообще чувствовал себя именинником: молдаванка-жена – это был счастливый лотерейный билет. Румыны считали молдаван «своими»: и язык тот же самый, и раса одна, как гордо подчеркивал Сергей – «древнеримская»!

Накануне во дворе он догнал Стешу на крыльце подъезда и сказал в спину упругим веселым голосом:

– Ну что, досиделась у пархатых? От завтра их за мошну-то потрогают! А могла б в прибыли остаться, кабы договорились.

Она помедлила, не оборачиваясь, склонила голову к плечу и в тон ему легко проговорила:

– Да какая там мошна, все в голод пораспродали – жить-то надо было. Так, стаканы-чашки-свечки... У них только одна ценная вещь и осталась.

Но секретная, не догадаешься.

– Что за вещь? – вскинулся Сергей. У Этингеров он, кажется, все знал – с детства бывал в квартире, топил им печи, видел, что в голодные годы те, как и все, держались на честном слове, спустили на толкучке много добра. Втайне он считал, что у них и правда мало чего сохранилось, но «потрогать» и сам был не прочь, отчего не развлечься; а главное, Стешку проучить. – Интересные дела! Брильянт, что ли?

– Щас, в письменном рапорте доложусь. – Она брезгливо усмехнулась, что всегда его бесило. – А сам хрен найдешь. Но если поможешь, я те ту вещь за так отдам. За благородство.

– Ах, бла-аро-одство, – протянул он. – Я себе думаю! Смотри, не забудь. Сама знаешь: тебе тоже кое-чего побережь стоит. Кое-какую... ценную вещь.

Так что к налету Стеша была готова. Патруль с «со провождавшими» (при румынах крутились три бабы из общежития бывших детдомовок, что на Чкалова: рыбы-прилипалы, плыли вслед новым хахалям, хватая, что приглянулось из мелочовки) Стеша встретила в дверях. Стояла в штопаной шерстяной юбке и в потертой кацавейке, застегнутой на три уродливые матерчатые пуговицы. Истошно кричала:

– Сюда, господа-домнулы дорогие, берите жидовское добро! Вон, на стол все свалила, хватайте! Всю жизнь на них горбатила! Мне самой от проклятых ничего не надо!

– Эт верно, – вдруг подтвердил Сергей. – Степанида – трудовая русская женщина. С детства тут в прислугах.

Стол в Эськиной комнате был завален добром. В этой куче сверкал натертый Стешей до блеска бронзовый канделябр, сахарница, предусмотрительно наполненная сахаром, кое-что из посуды, две фарфоровые прелестницы, деликатной щепотью приподнявшие пышные юбки, шкатулка Доры с какими-то стеклянными, «под брильянты», побрякушками. Но самым изумительным было странное – поверх всего добра – инженерной мысли сооружение, вроде шатра, из каких-то пружин, шнуров и застежек, обшитое голубым атласом небесной красоты.

(Непрошенных гостей сооружение, возможно, и озадачило, возможно, показалось даже несуразным, но мы-то, вхожие некогда в Дорину спальню и наблюдавшие, как Гаврила Оскарович – во фраке и при бабочке, – уперев колено в женину поясицу, тянет шнуры и вяжет узлы на легендарной «грудке», – мы-то сразу узнали голубые латы Орлеанской Девы и можем лишь восхититься отчаянной Стешиной предприимчивостью, заставившей

случайно не выкинутый анахронизм украсить сей спектакль – то есть честно послужить семье чуть ли не тридцать лет спустя.)

Все было вмиг сметено в большое Этингерово одеяло и завязано в узел.

Пока солдаты рыскали по комнате, распахивая створки пустого буфета, бабы-детдомовки сдергивали с плечиков в шифоньере и бросали на пол какую-то одежду (и правда, бросовую, мысленно восхитился Сергей, – ах, Стешка, ну, постаралась!). А Стеша без усталости приговаривала-пристанывала: проклятые, проклятые жида, наконец свое получают, угнетатели!

Соседи вели себя по-разному. Кто в коридоре толпился – поглазеть, что там у Этингеров возьмут, – кто у себя в комнате заперся от греха подале.

Когда улов был завязан и взвален солдату на спину, второй румын, офицер, заглянул в кухню и мотнул головой в сторону антресоли.

– Спрашивает, что там, – торопливо наугад перевел Сергей.

Он считал себя знатоком румынского: знал с десятков молдавских слов и выражений, самыми убедительными из которых были «ду тэ ам пулэ!» («иди на хуй!») и «ду тэ ин кулэ!» («иди в жопу!»).

Стеша махнула рукой:

– Так то ж моя нора. И все в ней, как вот тая моя одежда...

Двумя пальцами грубой рабочей руки приподняла подол старой юбки и брезгливо этак посучила.

Румын скользнул по ней взглядом, уперся в льняную толстую косу на плече и, ухмыльнувшись, вдруг протянул руку и пощупал, словно примеривался – не унести ли и это добро из жидовской квартиры. И несколько долгих мгновений осторожно мял и гладил мягкую косу, как уважительно мнут в горсти дорогую материю в лавке колониальных товаров, любовался и вправду драгоценным отливом волос: утром – платина, ввечеру – белое золото. Наконец, с сожалением бормотнул что-то и отпустил. И Стеша глубоко вздохнула.

* * *

...Но для нее это оказалось лишь передышкой. Ибо в ту минуту, когда румыны с узлом в сопровождении Сергея спустились во двор, из арки навстречу им ввалилась небольшая толпа, которую с улицы загоняли

прикладами еще трое румынских солдат с гогочущим офицером. Тот ужасно был весел и, хохоча, все повторял: «Zoo! Zoo!!!» – вытирая умильные слезы.

И было над чем посмеяться: в группе задержанных по необъяснимой ухмылке судьбы оказался низенький человечек с такой же приземистой, как он сам, таксой, мальчик с кроликом в руках и – к онемелому ужасу Стеши, наблюдавшей из окна за уходящим патрулем, – Гаврила Оскарович Этингер собственной персоной, со своим легендарным, таким же поседелым, как хозяин, кенарем, беспокойно скачущим в клетке.

Большой Этингер попал в облаву недалеко от собственного дома, куда вообще-то и направлялся своим машистым, не сминаемым годами шагом, зорко поглядывая по сторонам и, как всегда, тихонько распеваясь.

Октябрьский солнечный день, тихий и неряшливый, заметал по углам багряные листья. Город замер в нерешительности, еще не понимая, чего от румын ждать. Только по Екатерининской прогрохотали один за другим два грузовика с солдатами.

Представительный, с седым горделивым коком надо лбом, в старом своем потертом пальто с бархатным черным воротником старик явно радовался прохладному синему утру; старик Желтухин тоже чувствовал себя недурно.

Повернув к дому, Гаврила Оскарович остановился. На углу странной кучкой теснилась группа людей – принужденно и испуганно. Среди них известными ему оказались офтальмолог Коган со своей любимой таксой, декан музыковедческого отделения консерватории Ольга Абрамовна Тесслер с внуком Эмилем (именно сегодня ему купили обещанного кролика) и, наконец, бледная Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер, которую – бог ты мой! – он не видел лет десять, и как же она, бедняжка, сдала!

К Ариадне Арнольдовне он, прочищая горло, и направился, совершенно игнорируя ситуацию. А она, увидев его, не обрадовалась вовсе, а, напротив, побледнела еще сильнее и, не прерывая нервной беседы с офицером, рассматривающим ее абсолютно арийские документы, принялась строить на лице какие-то дикие отгоняющие гримасы, пытаясь не допустить приближения Гаврилы Оскаровича.

Как?! Спустия столько лет она не хочет его видеть?! – Нади-и-ин, о неуже-е-ели!..

...Так и вышло, что, обернувшись на теноровые рулады и узрев

забавного старого еврея с канарейкой, смешливый офицер с воплем: «Zoo!!!» буквально согнулся от хохота пополам и, уже не обращая внимания на пылкую французскую речь Ариадны (бедняжка слышала, что румынский похож на французский и *пришельцы* его якобы понимают), велел загнать без разбора всех этих перепуганных клоунов во двор, который, собственно, и оказался двором Дома Этингера.

Далее все разворачивалось еще быстрее.

Неуемная Ариадна Арнольдовна (офицер уже склонялся отпустить ее восвояси) принялась горячо его убеждать, что бедный больной старик совсем безвреден и нуждается в присмотре родственников, и вот как раз, к счастью, его собственный подъезд, так что... видимо, досадила своими приставаниями настолько, что, закатив жовиальные глазки, офицер дал знак солдату прогнать надоедливую каргу. Тот, не рассчитав силы, смахнул старушку в сторону так, что она, не удержавшись на ногах, упала, да еще ударилась головой о водосточную трубу.

Это и послужило сигналом к тому, что впоследствии смешливый румын, в лицах изображая перед товарищами, называл «еврейской оперой». Рассказывая, умирал от хохота и махал руками, умоляя не перебивать, успокоиться, и останавливался, пережидая взрыв гомерического смеха однополчан, и тут же сам сгибался от визгливого бессильного хохота, припоминая, как «артист» величественно поводил рукой, будто настоящий певец.

Словом, когда прозрачная от старости Ариадна медленно, как палый лист, отлетела к водосточной трубе и опустилась на землю, вступил оркестр – неистовой гневной мощью запели медные и духовые:

– Подо-о-онки!!! – в бешенстве загремел Большой Этингер, кинувшись поднимать Ариадну Арнольдовну. – Гну-у-усные подо-о-онки!!!

Он гневно распрямился; его тенор, сохранивший благодаря ежеутренним распевам необычайную молодую силу, взмыл из колодца двора к синему осеннему небу; белоснежный артистический кок возвышался над притихшей толпой. Кенарь Желтухин, всегда подпевавший хозяину, залился одной из самых драгоценных своих арий. В окнах всех выходивших во двор квартир показались ошалелые, озадаченные, заинтригованные, злорадные лица. Так что ложки были полны и блистали.

С румынами тоже произошла некоторая заминка. Они растерялись: никто не ожидал подобных оперных сюрпризов от горстки евреев.

А Большой Этингер лишь разворачивался: наконец-то после долгого перерыва у него появилась публика! Одной рукой нежно прижимая к себе Ариадну Арнольдовну, другой вздымая клетку с кенарем, точно

полководческий жезл или бутафорский факел, что освещает путь заблудшим, он с воодушевлением перешел на арию Радамеса:

Сердце полно жаждой мщенья:
всюду слышен стон народа,
он к победе призывает!
Мщенье, мщенье и гибель всем врагам!

Этот неожиданный концерт мог бы длиться и дольше, ибо впечатлительный офицер, вполне вероятно, не чуждый культуре, явно заслушался по-прежнему сильным и свободным тенором старика, да еще в таком необычном сопровождении...

Но один из солдат патруля, кряжистый мужичонка с Этингеровым тюком на спине, заскучав, передернул затвор, и кенарь Желтухин – несравненный маэстро, легенда городского фольклора – умолк, снятый метким выстрелом.

Два-три мгновения прерванный Гаврила Оскарович ошеломленно смотрел под ноги, где в разнесенной выстрелом клетке валялась горстка окровавленных перьев.

Наконец, поднял голову, и великолепный его тенор зазвучал с невероятной, последней сокрушительной мощью:

– Уби-и-и-йцы! Кровавые уби-и-и-йцы!!! Невинную пта-а-а-аху загуби-и-и-и!!!

Грянула в оркестре гороховая россыпь барабанов, ухнули литавры.

Солист упал на колени и секунды две-три еще стоял так, на шаривая на земле клетку. Затем повалился ничком.

После чего румыны методично и весело перестреляли всю небольшую массовку этого поистине грандиозного спектакля.

Ариадне Арнольдовне фон Шнеллер, как и невинным таксе и кролику, пришлось разделить участь остальных.

В окне второго этажа на раме окна повисла, распятая ужасом, Стеша в грубой своей кацавейке, застегнутой на три матерчатые пуговицы. Она видела всю сцену, она досмотрела все до конца. Спуститься вниз и прибрать тело старика не могла: ей надо было остаться живой, во что бы то ни стало. Не ради себя.

Нет! Не ради себя.

Уж это она прекрасно понимала своей *запоздалой* головой.

А Большой Этингер... Что ж, старик свое прожил.

Годы его такие, что не обидно.

Белея снежным рассыпчатым коком, он лежал под водосточной трубой голова к голове с прекрасной Ариадной, проникновенной любовью его молодости; лежал, протягивая руку вслед откатившейся клетке с убитым маэстро.

«Ста-аканчики гра-анен-ны-ия упа-али со стола, упали и разби-ли-ся, разбилась жизнь моя...» – как высвистывал незабвенный кенарь Желтухин, и вслед за ним безмятежно напевал Гаврила Оскарович, он же Герц Соломонович, но все тот же Этингер, хоть ты тресни.

8

До Одессы Эська добралась только в конце сорок пятого. Ехала долго, с пересадками (составы шли через пень-колоду, переполненные демобилизованными военными), и сама себе не поверила, когда с чемоданчиком вышла на привокзальную площадь родного города и вдохнула такой знакомый воздух, к которому примешивалось что-то саднящее: запах легкой гари и прибитой дождями мокрой пыли на развалинах распотрошенных войной и людьми домов.

От вокзала села на едва ползущий трамвай, зачем-то вышла на три остановки раньше и пошла пешком, пытаясь унять сердце. Она уже знала, что папы нет, понимала, что, кроме Стеши, встретить и узнать ее некому, значит, и переживать так не стоит. А вот поди ж ты...

Вначале ей показалось, что двор изменился не сильно. Все так же висели чьи-то кальсоны на веревках, ни на сантиметр не сдвинулись ни старинная водяная цистерна, ни платан, ни кусты сирени, нынче уже голые, – все оставалось прежним. Ребятни только прибавилось. У открытых дверей их подъезда стояла белобрысая девочка лет пяти, обнимая белую кошку. Она странно пристально глядела на Эську. В девочке вообще было нечто странное – в кошке тоже. Замедлив шаг, Эська опустила чемодан на ступени. У девочки были разные глаза: один серый, в крапинку, очень какой-то знакомый, другой карий, знакомый тоже. И у кошки-альбиноса (как в кошмарном сне) тоже были разные глаза: один безумный голубой, с вертикальной соринкой черного зрачка, другой – зеленый самоцвет.

– Барышня... – вдруг проговорила девочка хрипло. Стиснула кошку

покрепче, повернулась и поскакала по ступеням вверх, крича: – Мама! Мама! Барышня приехала!

В дверях квартиры они и столкнулись. Стеша вскрикнула, всплеснула руками, Эська застонала от радости. Они аккуратно трижды расцеловались и обнялись (Стеша, робея, погладила барышню по колючей мальчиковой голове, не удержавшись от желания приласкать ее, как ребенка). И какое-то время обе никак не могли попасть в тон этой долгожданной встречи. Их разлука вмещала столько боли и новизны для каждой, что еще предстояло привыкнуть и к новизне этой, и к боли и осторожно преодолевать их изо дня в день.

Стеша засуетилась, первым делом бросилась «кормить с дороги» – у нее, как обычно, укрытые подушкой, лежали в миске теплые оладушки. Молниеносно застелила скатерть в Эськиной комнате, расставила тарелки, принесла из кухни заваренный чай...

И не дождавшись, когда барышня проглотит первый кусок, с затаенной гордостью принялась рассказывать, как ей удалось «сохранить обстановку».

Она и правда самоотверженно перетаскивала вещи и оставшуюся мебель Этингеров в эту комнату, едва их уплотняли очередными жильцами. Из столовой полдня, толкая и наваливаясь грудью, отдыхая через каждые два метра, привезла величественный буфет «Нотр-Дам» – с башенками, с ограненными вертикальными стеклышками в дверцах, с инкрустацией по карнизу: все слоновая кость, с резными гроздьями фруктов и цветов. Из Дориной спальни спасла круглый столик грушевого дерева, изящно присевший, застенчиво казавший из-под бахромчатой скатерти коленки трех полусогнутых ножек.

Из кабинета Гаврилскарыча, взломав ночью уже врезанный новыми жильцами замок, перенесла на спине нотный шкафчик, инкрустированный перламутровыми нотными знаками, и ломберный столик для игры в карты, который в детстве втайне был ее самой любимой вещью в доме.

Столик открывался двумя выдвижными досками, обитыми зеленым сукном веселого травяного оттенка, с ящичками для мела и карт (немедленно воспаряет над ним прозрачный и призрачный старик Моисей Маранц, раскладывающий карты для деберца). Когда игра заканчивалась и гости расходились, для Стеши наступали самые сладостные минуты. Выкуривая сигару, Гаврилскарыч досиживал вечер в своем кресле, а Стеша, набросив на плечи ему, сомлевшему в струях жемчужного дыма, шотландский клетчатый плед, неслышно суетилась рядом: отчищала

щеткой пепел с зеленого сукна, протирала тряпкой полированные ножи (медленно, тщательно – чтобы подольше побыть вдвоем). Наконец, Большой Этингер поднимался и уходил в спальню к Доре, а Стеша вдвигала доски внутрь столика, и он становился обычным небольшим столом.

Хорошо, что концертное пианино с канделябрами и старый французский гобелен над кроватью (мальчик-разносчик уронил корзину с пирожными, два апаша их едят, мальчик плачет – все на фоне афиши Тулуз-Лотрека) – прикипели к комнате барышни издавна, да и хрен бы она, Стеша, кому позволила даже на них взглянуть.

Да, было тесно! Да, пройти между напольными часами и креслом деда-кантониста можно было только боком. Но, продолжая жить в своей каморке на антресоли, Стеша каждое утро и каждый вечер отпирала дверь Эськиной комнаты, свирепо инспектируя – все ли на месте.

Она уплотняла «нашей» мебелью комнату в ожидании барышни. И вот та явилась.

С торжеством был извлечен из-под кровати и явлен пухлый парусиновый саквояж с «венским гардеробом», давно позабытым собственной владелицей. Вот, полюбуйтесь, барышня: ни одной вещи не продала! Все блузки, все юбки-платья, две гладкие картонки устричного цвета со шляпками внутри и даже с длинными булавками, теми, что шляпу прикрепляют к прическе, – вот они! (Сказала «к прическе» и окоротила себя, бросив очередной испуганный взгляд на мальчиковый барышнин затылок.)

В тот момент, когда Стеша суетливо перебирала перед ней полузабытые красоты «венского гардероба», ожидая похвалы и признательности, – и Эська, конечно же, ахала, благодарила, гладила Стешу по круглому плечу, – это «элегантное старье» показалось и трогательным, и смешным, и претенциозным, и грустным...

Но недели через две, когда осмотрелась и решительно положила себе «начинать жить», она принялась, усмехаясь, разбирать все эти позабытые за годы войны юбки и блузки, примерять и не без удовольствия бросать искоса взгляд на свою фигурку в зеркале – а ведь лет-то тебе сколько, «барышня»! в твои годы бабам случается уже и внуков иметь: выяснилось, что все вещи по-прежнему идеально подходят, все изумительно элегантны, а сшиты так просто на века.

– Полина Эрнестовна – вот кто порадовался бы такой сохранности, – задумчиво проговорила Эська, перебирая аккуратную цветную стопку вещей на кровати. Стеша немедленно отозвалась на это, что да, порадовалась бы и даже загордилась, кабы не сгубила вместе с одной своей старой клиенткой.

– Как?! – изумилась Эська. – Да я была уверена, что она умерла себе сто лет назад.

Нет, как оказалось, не сто лет назад, не такая уж, выходит, она была и старая в то золотое время, когда дамы трепетали от одной только возможности заказать наряд у великой Полины Эрнестовны. Вот в войну она да, была-таки уже древней старухой, сидела в инвалидном кресле, не поднимаясь. Но в чуланчике полгода прятала – да вы помните ее! – дочь кардиолога Файнштейна. Красивая девушка, но прихрамывала после полиомиелита. Их-то всех расстреляли, а девушка как-то вывернулась, спаслась и пришла к Полине Эрнестовне. И жила у той в чуланчике между коробками с пуговицами-нитками-тесью, пока соседка не донесла. Ну, само собой, за ними пришли и всех забрали – и девушку, и старуху, и заодно племянника Полины Эрнестовны, который все знал и кормил и тетку, и сиделицу. Старуху поленились тащить с третьего этажа, просто сбросили в пролет лестницы вместе с креслом, и все дела.

Они сидели за ломберным столиком уже второй час, и Стеша подкладывала барышне на тарелку нескончаемые свои оладушки, чай доливала – никак не могла подобраться к рассказу о гибели Гаврилы Оскаровича, сильно трусила.

Наконец, Эська отодвинула тарелку, накрыла своей сильной рукой Стешину наработанную руку и тихо, строго проговорила:

– Папа!

И Стеша обреченно выдохнула, закрыла ладонью глаза и монотонно, в нескольких конспективных предложениях все рассказала, не отнимая от лица мокрой ладони.

Эська, сгорбившись, долго задумчиво курила.

Она очень изменилась: внешне оставаясь такой же хрупкой, внутренне загрубела и отяжелела. Могла окатить каскадом крепкой брани. Но главное – ее подвижное тонкое лицо, в котором прежде отражались малейшие порывы настроения, словно бы отвердело, как будто она пришла к некоему определенному понятию о жизни и в коррективах уже не нуждалась.

Наконец, сильно вдавив окурочек в блюдечко, так что другим краем оно встало на дыбы, тихо спросила:

– А... Сергей, управдом? В какой он, говоришь, квартире живет?
И Стеша спокойно отозвалась:
– Не живет уже. Прикончили его.
– Кто? – удивилась Эська, подняв на нее свои глубокие, странно блеснувшие глаза.
Стеша помолчала и так же легко ответила:
– Да кто ж это узнает!

Но уговор-то он выполнил. После того как вывез со двора на подводе тела убитых, постучал в дверь ее каморки и, сильно дыша перегаром в приоткрытую на цепочку щель, спросил:

*– Ну?! Я свое соблюл. Давай, выноси ту ценную вещь.
Она молчала и была плохо различима в темноте своей антресоли.
– Чи брехала? – вкрадчиво продолжал он. – Смотри, Степанида, ты меня не крути... Видала, какой с Большим Этингером приключился романс? То-то. Поди вынеси!*

*Она сказала ему спокойно:
– Ты что, дурак, – прямо здесь, среди дня? Так просто ж ее не унесешь.
– А шо, така тяжелая? – сощурившись, спросил он. – Не крути, говорю! Пусти меня, ну-к!
– Не тяжелая, а заметная, – спокойно отозвалась она, почти невидимая, только лоб блестел от испарины, и запахом ее пахнуло из дверной щели: крахмальным, сдобным-оладушкиным. – Иди, Серега, не дури, я тебя сама навещу, ночью. Не ложись. И никому ни слова!
Он усмехнулся, отступил и сказал:
– Навести, навести... Я не ляжу! Я тя давно жду.
Много лет тя жду. Обожду и до ночи...*

...Ночью она ладонью толкнула его дверь – та откачнулась, и Стеша просто тихо вошла. Повезло, что семью он отправил к родне в деревню, подале от «всей этой заварухи». Вообще, если не считать смерти старика, ей сегодня страшно везло.

Сергей и правда ждал, хотя света не зажигал – горела только керосиновая лампа. Сидел за столом в сетчатой майке, в синих сатиновых бриджах – накачивался водкой. Удивительно, подумала она с усталым злорадством, до чего же он, при всей наглости, всегда ее робел. Постель тем не менее была подобострастно расстелена – и уголок одеяла загнут, во как! Дожидался.

«Вещь» она завернула в платок, а то б он сразу узнал. В театре, говаривал покойный Гаврилскарыч, любое действие должно быть подготовлено и подогрето фантазией зрителя.

Увидев ее, Сергей вскочил из-за стола, руки протянул – облапить. В полутьме камушками блестели его похабные глазки.

Она грубовато толкнула его обратно на стул, шикнула:

– Да погоди ты! Сначала дело... И не гляди, что это тебе знакомо.

Развернула платок.

– Тю-у-у! – протянул он. – То ж палка Большого Этингера...

– Па-а-алка! – презрительно передразнила она. – Шо ты понимаешь! Во-первых, не «палка», а трость. Главное же, тут балдахин – чуешь, из чего?

– Ну?

– Чистое золото!

Он откинулся, взгляделся в Стешу. Она и сама – статная, со своей не меркнувшей с годами льняной косой вокруг головы – казалась большой тростью с золотым «балдахином».

– Бреши, бреши...

– Говорю тебе, они все свои кольца выплавили, сама к ювелиру Лейзеровичу носила, и он прежний балдахин заменил новым – поди догадайся!

– А ну дай! – Он протянул руку, приподнялся. – Где там проба, гляну...

– Проба?! – Она негодуя отвела его руку и снова усадила на стул, придавив ладонью сутулое плечо. – Проба – эт зачем? Шоб все соседи, воры и гады навродь тебя, узнали? Сиди, говорю! Это не все... Тут тайник есть. Смотри! Щас удивишься.

С этими словами она деловито и плавно, под взглядом заинтригованного Сергея стала раскручивать «балдахин», который в тусклом свете керосиновой лампы и правда посверкивал убедительно. Знала, выучила назубок, сколько витков тот крутится в пазах, и еще секунды три, нависая над сидящим Сергеем, крутила и крутила вхолостую – готовилась.

Ей показалось, вся жизнь мелькнула за эти три секунды. «Девочка... нам не нужна прислуга», – сказал высокий красавец в белом кашне. «Мое доброе дитя...» – говорил старик, пряча мятое лицо в ее горячих грудях.

Плавно выхватив львиный клык из полой трости, она мощным коротким взмахом погрузила его в яремную ямку управдома. Тот откинулся, удивился (у него потом, у мертвого, были и впрямь

удивленные глаза), схватился обеими руками за позолоченный набалдашник и успел вырвать его из горла, захрипел и повалился на стол грудью, лицом.

Клинок был, конечно, «декорацией и чепухой», как справедливо говаривал Большой Этингер, но только до сегодняшнего вечера. До того момента, пока на своей антресоли Стеша не отладила его на точильном бруске с присущей ей запоздалой тщательностью...

Так же тщательно и споро, как убирала обычно дом, она прибрала все вокруг тела удивленного управдома, вытерла клинок о его бріджи, замыла водкой, обернула трость в тот же платок и ушла.

Впоследствии трость (элегантная вещица) и правда стала всего лишь «палкой» – Стеша превратила ее в швабру, прибавив поперечную деревяшку и преспокойно надраивая ею полы аж до отъезда в Ерусалим в конце восьмидесятых. Что касается золотого «балдахина» с его опасной начинкой, так он и посейчас, должно быть, сияет рыбкам и медузам где-то на дне – там, в районе Ланжерона...

Они сидели друг против друга третий час, и Стеша все рассказывала и рассказывала, перескакивая с одной знакомой семьи на другую, уточняя подробности гибели или спасения, предательства, мародерства, подлости или самоотверженного безумия спасителей.

Ни словечком не обмолвилась только про то, откуда взялась девочка, которую звала Ирусей. Та время от времени прибегала со двора, тиская все ту же безответную кошку, вставала столбиком у стола и открывала рот. И Стеша, почти не глядя, брала двумя пальцами воздушную оладушку и отправляла девочке в рот, а та, старательно прожевав, подпрыгивала и бежала играть.

– Стеша, – мягко проговорила Эська, дождавшись, когда девочка с кошкой в объятиях снова ускачет во двор. – Я так тебе благодарна – за все. И за... папу, и что вещи сберегла. За твою великую преданность семье. – Она сглотнула, помолчала мгновение и решилась: – Прости, что спрашиваю. И не думай, что осуждаю. Эта вот девочка – она твоя?

– Наша, – скупно отозвалась Стеша.

После чего, глядя глаза в глаза, обстоятельно поклялась барышне жизнью и памятью, что Ируся, как сказал бы сам Гаврилскарыч, *дитя Дома Этингера*. Так и выговорила – с истинно папиной домашней интонацией.

Далее обомлевшей Эське пришлось услышать очередной парафраз библейского сюжета с царем Давидом и пресловутой девицей Ависагой – сюжета, немало кормившего батальон живописцев разных эпох и народов.

Старик, мол, страшно мерз под старость, и она, Стеша... ну, словом, в холодные вечера укладывалась к нему – *погреть папашу*. Короче, берегла его, «как синицу – окунь». А Гаврилскарыч – он, конечно, под конец *головой совсем вознесся в небеса, пел и пел, как ангел...* но клянусь вам, барышня, еще вполне был мужчина.

– Погоди! что же это... – запинаясь, проговорила побледневшая, немало сконфуженная Эська. На миг показалось, что именно эта домашняя новость превратила ее, огрубевшую, сорокапятилетнюю, ничему не удивлявшуюся женщину, в прежнюю застенчивую гимназистку, что застучала отца у чужого подъезда под руку с юной любовницей. – Ты хочешь сказать, что эта вот девочка – моя сестра?

– Или сестра – наверняка не скажу, – так же обстоятельно, без тени смущения отозвалась Стеша, спокойно глядя на барышню. – Тут ведь и Яша бывал.

И вот здесь впервые развернуто – как оперное либретто – прозвучал Стешин рассказ о возвращении Блудного сына.

– Вы, может, не знали, барышня, а сейчас уже и причин никаких нет скрывать: ведь у нас с Яшей была такая красивая молодая любовь! Еще до всего, до всего... И на даче он ко мне каждую ночь бегал. И стихи – это ведь он мне писал, помните: «Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать!»

И тогда, в сороковом, пришел ночью... То ли отцова гнева опасался, то ли соседских глаз не хотел. Как в квартиру попал – неизвестно, может, дверь оказалась открытой: молодняк тут до ночи гуляет-шастает. Не исключено, что и ключ у него сохранился, кто знает.

Стеша услышала грузные шаги сначала по коридору, затем на деревянной лесенке на антресоль.

Отворилась дверь в ее каморку, и, пригибая голову (значит, помнил о низких потолках), вошел кто-то огромный, бородатый... Сначала она страшно перепугалась, чуть не крикнула – подумала: вот заберут ее, и останется Гаврилскарыч один, такой нездоровый, старенький... Вскочила, как была, в рубашке, простоволосая. А он шагнул к ней, провел по волосам ручищей и шепотом:

– «Их вайс нихът, вас золь эс бедойтн...» А волосы прежние, моя Лорелея...

И она узнала этот гимназический шепот, заскулила и вжалась в него со всей силы.

Короче, ночь Яша провел у нее, и это, барышня, была такая ночь, о какой любая женщина может только мечтать (при этих словах Эська с трудом удержалась, чтоб не поморщиться).

Наутро он выждал у Стеши на антресоли, пока соседи разойдутся, умылся на кухне, одеколоном сбрызнул шею... Видать, знаете, барышня, все ж таки робел перед встречей с папашей.

И правильно робел: старика чуть удар не хватил. Увидев сына, он поначалу не узнал его, а узнав, первым делом, конечно, запел.

Что там именно пел Гаврила Оскарович, спрашивать у Стеши было бесполезно. Прожив всю жизнь в столь музыкальном доме, со столь музыкально образованными людьми, она хорошо различала только песню кенаря Желтухина; но вот что отлично запомнила: вначале Яков Гаврилыч пытался что-то сказать, старался даже перекричать отца – все бесполезно. Так он тогда, знаете, барышня, взял и тоже запел.

– Кто запел? Яша запел?! – уточнила ошеломленная Эська.

Ну да, ну да... Хотите – верьте, хотите – не верьте, барышня. А как еще до папаши было докричаться? И вот когда Яков Гаврилыч запел – ох, ну и голосина у него, прям совсем как у Гаврилскарыча! – так тот, знаете, попритих вначале, стал вслушиваться, хотя и отвернулся. Потом, однако, оборотился, простер так руку, ну, вы знаете эти его картинные позы... и опять загремел.

Стеша вдруг оживилась и с грустной улыбкой спросила:

– А помните, помните, барышня, как пели они на даче дуэтом: «Однозвучно гремит колокольчик»? Помните, голоса-то их... как две чайки над морем?

Так вот, не дай вам боже, барышня, было услышать эти два голоса тогда. А я – слышала... Кровь стыла в жилах! Счастье, что соседей никого дома не оказалось! Очень было все громко. Руками размахивали, Гаврилскарыч, как на похоронах, рубаху на себе порвал, хорошую, почти новую, ни единой штопки на ней. А Яша плакал. И пели оба как оглашенные. Папаша гремел: «Проклина-а-а-аю!!! Проклина-а-аю!!!» А тот: «Оте-е-ец! Ты не знаешь, что пришлось пережи-и-и-ить!»

Так что она голову не прозаклала бы – чья получилась девочка: проклявшего или проклятого. А то, что проклятье отца сработало незамедлительно, тому сама была свидетельницей: Яшу взяли тут же, во дворе – она видела из окна – двое мужчин, таких себе хлюпиков, я вам скажу, барышня. Яков Гаврилыч мог разметать их, как воробьев, да и поминай как звали: до порта рукой подать, прыгнул в любую фелюку – и в Турцию! Но почему-то не разметал. Помолчал так с минуту и будто

покорился: опустил голову, достал наган и отдал. И пошел с ними со двора – шли тесно, что три друга...

Эська сидела, собираясь с мыслями. Спросила, как удалось сохранить ребенка от уничтожения и облав. И в ответ услышала, что Стеша всегда перед соседями выдавала «беляночку» за дочь одного молдавана, рабочего с завода сельхозмашин Гена на Пересыпи. Тот и в самом деле ходил к ней месяца три, пока не выгнала.

Она не стала уточнять, что все равно прятала удивительно тихую девочку у себя на антресоли вплоть до ночного свидания с Сергеем. Тот единственный ущучил, чья на самом деле Ируся: просто слышал однажды, как во дворе Большой Этингер пропел младенцу: «Доо-очь моя! Последыш моих чре-е-есел!» – сложил два и два, а с приходом румын шантажировал и терзал Стешу, пока не получил сполна – и за муки ее, и за страх, и за Ирусю, и за смерть высокого красавца с чудными серыми глазами.

Эська молчала, опустив голову. Потом неуверенно сглотнула и спросила:

– И все же, Стеша: ты ведь не девчонка, взрослая женщина. Я-то ничего в этом не понимаю, не привелось. Но разве такое нельзя почувствовать – от кого ребенок? Понимаешь, это... это для меня почему-то важно.

Та выпрямилась на стуле, спокойно взгляделась в осунувшееся лицо барышни.

– Да какая разница! – горячо спросила она с поистине Этингеровым достоинством. – Все одно – хозяйское.

Библейскому эпизоду (Давид с Ависагой) Эська не поверила ни на грош: белобрысенькая девочка с разными глазами, прижавшая к груди разноглазую, как в страшном сне, белую кошку, так отрешенно глядела на мир, что причислить ее к дому Этингера не было никакой возможности.

Поверить пришлось гораздо позже, спустя лет сорок, когда не по климату смуглый и, как говорила воспитательница, «мелкий мальчик» – и вправду миниатюрный, почти как сама Эська, – рожденный Ирусиной дочерью Владкой бог знает от какого иностранного студента, на детсадовском утреннике по кивку музработницы открыл свой воробьиный рот и с колокольчиковой нежностью и чеканной чистотой старательно прозвенел поддержанной песенкой про срубленную елочку,

вышибив слезы на глазах потрясенных родителей младшей группы детского сада.

– Прости меня, Стеша, прости! – забормотала Эська в торопливом замешательстве, сама огорчаясь своей бестактностью. – Конечно, Стеша, ты права. Ты так много сделала для нашей семьи... – И осеклась, пораженная новой мыслью: да ведь эта женщина, подумала, она и есть семья. А кто же еще? Не ты ж, бесплодное чрево, а вот она, она! Именно от нее, уже немолодой и грузной, завился поздний побег, и уже неважно, кто заронил в утробу этой Фамари долгожданное семя.

«Папа, не папа, – мельком подумала она со смиренной усмешкой. – Какая в том беда Дому Этингера!»

А Стеша распрямилась и, вздохнув, проговорила:

– Да. Вот еще... – Хотела что-то добавить, но, поколебавшись, просто вышла из комнаты и вернулась: в грубой кацавейке, застегнутой на три уродливые матерчатые пуговицы. – Вот, – и, тайно торжествуя, поворачивалась к барышне то правым, то левым боком.

– Что ты, Стеша? – недоуменно и ласково спросила Эська, мельком подумав, что эта женщина, выросшая в их семье, почему-то всегда умудрялась одеться самым нелепым образом.

А Стеша достала из портновской шкатулки ножнички и аккуратно и неторопливо, слегка наклоняя грудь над столом, взрезала перед недоумевающей барышней материю на пуговицах. На стол выкатились три знаменитых Дориных кольца, легко прихлопнутые грубой Стешиной ладонью: одно обручальное, все в мелких, но чистых бриллиантах, второе – с тремя небольшими изумрудами на золотых лепестках и третье – с невероятно крупной розовой жемчужиной; те самые кольца, которым Большой Этингер прочил когда-то большую искупительную судьбу.

– Боже... – выдохнула Эська и вскочила. – Родная моя! Как же ты... Как же вы тут... все это время – голод, война... Родная моя, милая моя!

И тут обе разрыдались, повисли друг на дружке, стискивая одна другую тяжелой хваткой, раскачиваясь и воя в два низких бабьих голоса.

* * *

Вот, пожалуй, и все – на данную страницу.

Впрочем... Тут следовало бы добавить, что *последний по времени*

Этингер – тот эксцентричный и нагловатый Этингер, которого даже его кроткая бабка в минуты гнева называла «выблядком» или «мамзером» (что, собственно, одно и то же), переодеваясь в своих опаснейших одиссеях, щедро использовал... даже не так: азартно и с присущим ему жестоким юморком *преображался, проживая характеры* ближних и далеких особей своего семейства, да и не семейства тоже. (К чему, например, терзать дух давно умершей героической старушки Ариадны Арнольдовны фон Шнеллер, вызывать ее аристократическое имя из небытия – и не просто вызывать, а присобачивать к паспорту, одной из тех фальшивых корочек, что пачками фабрикует какой-нибудь виртуоз из соответствующего отдела соответствующей легендарной организации?)

Но может быть, причудливая страсть этого типа – преобразаться в давно ушедших родичей – есть всего лишь трогательное стремление окружить себя неким эфемерным подобием большой семьи?

Вот один из парадоксов этой путаной истории: мы всё о «клане» да о «Доме Этингера»... В воображении читателя наверняка уж возникла величественная картина: седобородый патриарх, прародитель двенадцати колен, окруженный шумящей армией потомков. Между тем род Этингеров всегда – вы слышите? – всегда, как нитевидный пульс больного, держался на единственном отпрыске, единственной надежде не пропасть, не захиреть окончательно.словно некая нерадивая Парка, клюющая носом над пряжей, вдруг спохватится да и вытянет торопливым крючком едва не упущенную единственную тонкую петлю очередного поколения.

«Всегда на сопле висел», – утверждал *последний по времени Этингер*, субъект, мягко говоря, не сентиментальный.

Ну что ж – в конце-то концов все они существовали, все наполняли смыслом своих жизней имя рода, все подтверждали ту изначальную истину, что мы зависим от предков, от кровных, пусть даже и мимолетных связей, что все мы – хранилища жестов, ужимок, пристрастий, телесных примет своих пращуров. Что мы всего только слабые существа, несущие в жилах ток горячей незащитной крови.

...Но и этот артист, этот лихой человек мысленно частенько именовал – с издевкой, а то и с ожесточением – свое нелепое и жидкое, как пустой суп, семейство точно так, как давным-давно напыщенно и велеречиво назвал его еще старый николаевский солдат: «Дом Этингера».

То обстоятельство, что Ванильный Дед (старый казах, сторож с кондитерской фабрики, разносивший когда-то по редакциям ворованную ваниль в пробирках) приходится Гуле родным дедом, ошеломило Илью настолько, что он даже не постарался как-то замаять свою оторопь.

Старик, вельветовая половина его лица, подернутая рябью постоянного тика, – все настолько не вязалось с фигуркой Гули в вензелях скрипично-ледовых пассажей катка Медео, что Илья только беспомощно рассмеялся.

– Что, бедный? – участливо спросила его возлюбленная с едва уловимой насмешкой, перепархивающей с одной брови на другую. – Несуразная родня, а?

Ее *городская* семья, в отличие от изобильной сельской, заселявшей чуть не целиком большой и богатый аул, и вправду была не совсем типичной: недружной, нервной, малолюдной, с печальными историями, со сносками судьбы – внизу страницы, петитом, – что пролистываешь, не особо в них заглядывая. Впрочем, Илья, со своей рассеянностью к внешнему миру, не слишком интересовался всей этой родней: Гуля казалась да и была инструментом из другого оркестра.

Она выросла в дедовском доме, в семье своей тетки Розы. Ныне семья расплзлась, хотя упрямая и деятельная Роза всеми силами – фотографиями на полках и столиках, спортивными кубками в серванте и даже кепками и шарфами, свисавшими с рогатой вешалки в прихожей, – пыталась придать номинальной семье статус «отлучились на пару дней».

На деле все обстояло вполне банально: лет семь назад пробивной теткин муж уехал в Москву, на защиту диссертации по какой-то «перспективной» теме, а заодно, как уверял жену, «прощупать почву, зацепиться и вытянуть семью». Но судя по всему, щупал там не почву, а зацепился, по словам Гули, «за племянницу одного научного хмыря, своего руководителя». (Рассказывая, она умудрялась обводить карминным карандашом свои лукавые губы; сомкнула их, поцелуйно выпятив в зеркальце на скрипичном пюпитре, и добавила: «...Так что все оказалось

по теме диссертации».)

А спустя лет пять за отцом в Москву потянулись оба теткиных сына-спортсмена. Один играл ныне в столичном «Спартаке», другой... впрочем, на летопись жития другого у Ильи просто не хватило терпения.

Тем не менее многоступенчатая, как вавилонский зиккурат, сельская родня Гюзаль была уважена: тетка настояла на *настоящем казахском тое* в ауле, *настоящем кыз узату*.

– Чтобы уж проводы невесты были по всем правилам! Я ее как дочь воспитала и как дочь провожаю; и чтобы *беташар*, как *положено*... И не надо закатывать глаза, Илья! Вот увидишь, это торжественно и трогательно, как и любой народный обряд!

Надо признаться, *беташар* – ритуал обнажения перед гостями лица невесты – и вправду его взволновал, и был хорош, наверное, потому, что ослепительно хороша была невеста: когда взлетело над нею полотно из белой парчи, больно стало глазам от алебастровой белизны неподвижного, как на персидской миниатюре, лица (подруга постаралась, штатный гример телевизионных программ).

У обомлевшего, стоящего под градом конфет и монет Ильи в памяти на миг всплыл эпитет «лунолика» – который в детстве, при чтении «Сказок народов Востока», всегда раздражал и казался нелепым.

И в огромном шатре, расставленном посреди двора, напряженный и даже слегка оглушенный Илья, как и положено жениху, высидел во главе стола целое действо под цветистые, невыносимо длинные речи аксакалов.

Что касается свадебного пиршества, оно не посрамило ни родни, ни молодых.

Все традиционные блюда были тесно нагромождены чуть ли не друг на друге, и чьи-то быстрые руки ловко вытаскивали из-под локтей пустую посуду, тут же вставляя в лакуны аппетитной мозаики новые полные миски и новые тарелки, исходящие ароматным паром. Тут были и баранья сорпа, и хрустящие баурсаки, и жирный бешбармак, не говоря уже о конских деликатесах – казы, карта, и шужуке; а томленный в бараньем жиру лук, припущенный чесноком и специями, щедро заливал мясо и тесто.

Наконец, как корона на царственную главу, была на стол водружена *кой басы*, баранья голова, над которой в аулах долго и торжественно колдуют: и палят ее, и маринуют, а потом еще томят часами на слабом огне, после чего на огромном, как солнце, керамическом блюде выплывает она, оскаленная (ни дать ни взять – тенор, потерявший голову в миг, когда взято верхнее «до»), под нож самого почитаемого родственника, чтобы тот

под выкрики присутствующих острологов и собственные поучительные комментарии принялся кромсать ее, одаряя каждого из гостей заветным кусочком.

Задача не простая, политически деликатная.

«Нашу роскошную голову», как потом именovala ее гордая Роза, распределял один из Гулиных двоюродных дедушек, попутно восхищаясь ею, даже будто лаская: отрезая то ухо, то язык из оскаленной пасти, то выковыривая глаз или раздувшуюся ноздрю, наделяя изысканным лакомством каждого по возрастному или должностному достоинству. В конце патриархального ритуала были извлечены и розовыми слитками на блюде выложены бараньи мозги – настоящий деликатес.

Всего этого Илья никогда в рот не брал. К тому же, свадебное застолье, как обычно в аулах, сопровождал честный ядреный дух паленой шерсти и разноплеменного скота в загонах неподалеку, а в ночном воздухе густо сплелись, прорастая друг в друга, запахи кизячного дыма и пищи, что готовилась в казанах по ходу праздника.

Илья обреченно следил за раздачей, надеясь, что аксакалы разберут всю несчастную *поющую* голову и ему не достанется ни кусочка из этих дивных яств. Но, конечно же, досталось: жениху досталось баранье ухо, «дабы приклонял свое к жене – за советом и любовью», и до конца вечера он не знал, куда деть пожалованное сокровище; так и сидел рядом с Гулей, зажав его в кулаке. И позже, когда возвращались в город на машине ее троюродного брата, он опять не решился выбросить в окно свой трофей, брезгливо упакованный в конвертик носового платка, и лишь на ступенях собственного крыльца с облегчением скормил соседской кошке сей знак родственного уважения.

* * *

Вот тогда, на свадьбе, он и обратил внимание на угрюмое лицо с характерной отметиной, и память мгновенно предъявила пробирки, заткнутые жеваной газетной бумагой, – те, что Ванильный Дед разносил по девяти этажам редакционной башни.

– А между прочим... – тут Гуля подняла палец, словно приглашая мужа прислушаться к звуку невидимого камертона, – между прочим, дед – прелюбопытная фигура. Надо тебе как-нибудь показать его эпистолярный...

И в очередной чинный визит к *казахской* половине дедов «эпистолярный» был предъявлен.

Каждый такой визит являлся для Ильи небольшим супружеским подвигом, ибо надо было пережить утомительное и никчемное теткинo застолье, с безбрежным удоем чая с молоком, ненавистным еще со времен школьных ангин. Надо было выслушивать дурацкие Розины рассуждения обо всем на свете; не уклоняясь, подробно отвечать на ее выпрашивания о здоровье бабушки, «уважаемой Зинаиды Константиновны», которая, кстати, выбор внука не одобрила («она какая-то... непрочная!») и так ни разу и не появилась у новой родни.

Наконец, и это главное, приходилось созерцать во главе стола неперменного беспамятного Ванильного Деда, ради гостей принаряженного в белую рубашку и черный пиджак. Нижняя половина его тела – та, что под столом – выглядела не столь парадно: пижамные штаны на свободной резинке, для стремительного броска в направлении туалета.

Он сидел неподвижно, едва шевеля топорными пальцами рук, как-то бесполезно лежащих на фланелевых коленях, временами издавая короткое мычание, что могло сойти и за протест, и за понукание, и за звук удовольствия, ибо Роза с ловкостью жонглера бесперебойно вбрасывала в щель мычащего рта «вкусненькое»: румяный колобок баурсака или кусочек казы – конской колбасы, на которую Илья не мог смотреть без содрогания, мысленно гоня из памяти рыжую кобылу Абдурашитова с ее молящими каштановыми глазами.

Словом, в очередной визит к *казахской половине* дедов «эпистолярный» был Илье предъявлен – на кухне, тайком, с заговорщицкой ухмылкой.

– Почему тайком? – поинтересовался Илья, уставясь на штампованную открытку шестидесятых годов: восковая желтая роза прячет пчелу меж лепестков, сбрызнутых глицериновой росой. – Он что – шпион? это шифр? здесь продается славянский шкаф?

Они стояли в пустом углу (стол обычно выносили в столовую и там долго, в несколько упорных совместных атак раздвигали с мучительным скрежетом застрявших в пазах деревянных полозьев), и Илья меткими поклевками в нежную шею загонял жену – а она уворачивалась – к вазону с развесистым кустом «декабриста», выбросившим в этом году рекордное количество пунцовых клювиков.

Тут Гуля открытку перевернула и приблизила к его глазам. Грязноватая изнанка оказалась сплошь вывязана изумительно ритмичной, мелко-виноградной, прихотливой, как пение Желтухина Третьего, вязью на каком-то иностранном языке и косо прибита синим штемпелем с тем же

иностранным, но тупо казенным текстом.

– Потому что – тайна, – пояснила довольная загадочная Гуля. – Это единственная открытка, что вернулась. Чудо, правда? Музейная вещь. Я стянула и спрятала за часами. Видишь, штамп: «Адресат не найден»? Значит, Гертруда умерла, а Фридрих, видимо, уехал.

– А что за язык? – озадаченно спросил он. – Гертрудский? Принцодатский?

Тут в кухню заглянула Роза, велела нести еще урючного варенья.

– Немецкий, конечно, – бегло отозвалась его насмешливая жена. – Да там всего на столе достаточно! – это уже раздраженно-звонко тетке.

Она никогда не умела *рассказать* – как в детстве муштровала Илью бабушка: с самого начала, с обстоятельными отступлениями-пояснениями, с непременным возвратом к основному сюжету, со вспомогательными «в то же время», «итак» и «в конце концов»... Бабушка говорила, что когда-то риторика была предметом, изучаемым в гимназиях, и если маленький Илюша пытался захлеб вывалить ей разом все происшествие в буре восклицательных знаков, прежде всего холодно его осаживала: «Остановись. Вдохни. Подумай. А теперь – с самого начала, и фразу – до конца, и слов не пропускать!»

В детстве это злило и обижало до слез, до желания, сжав кулаки, топтать ногами, до отказа вообще произнести хоть одно слово, но постепенно приучило к порядку в мыслях и устной речи; порядку, возможно, несколько утомительному, но и завораживающему тоже. Гуля, во всяком случае, любила по многу раз слушать его истории, а в компаниях тормозила, требуя рассказать «про ту сумасшедшую бабку в троллейбусе, помнишь, с двумя парами бровей, и монолог ее из “Гамлета”, ну, пожалуйста, еще только разик, последний!».

Сама же любила огорошить двумя-тремя загадочными фразами и умолкнуть, ожидая наводящих вопросов, любуясь его недоумением, постоянно ускользая, улыбаясь длинными сердоликовыми глазами – светлый текучий мед, прозрачный янтарь в солнечном луче. Если же вконец надоедали расспросы, хитро спохватывалась: «Ой, заниматься!»

Он и двадцать пять лет спустя яснее всего помнил профиль жены с бледной щекой на подбороднике скрипки; взмах руки со смычком, резкий взлет, удар по струнам и шершавая оттяжка аккорда вниз; и сухой пробег пальцев по грифу.

Вся картина исполосована солнцем: воскресный полдень, теплый

дощатый пол веранды под босыми ногами. Сквозь отворенную дверь гостиной виден заповедный угол их комнатки: упавшая на пол подушка и край заезженной тахты с горбом сбитой простыни – они «валялись до самого обеда, как падаль!» (это бабушка).

* * *

Историю деда – звали того Мухан – Илья вытягивал из Гюзаль не меньше месяца. Потом сопоставил добытые эпизоды, связал обрывки в складный сюжет, записал даже кое-какие факты в записную книжку, слегка сожалея, что не потянет на создание художественного текста, но собираясь когда-нибудь, возможно, «сколотить материал к военной дате».

Это была одна из тех историй, что начинаются с события, «без которого ничего бы и не было».

Ничего бы и не было, если б некий немецкий коммунист, в середине двадцатых бежавший из Германии в СССР, не угодил в казахстанскую степь, где застрял и замер, оказавшись чутче к знакам судьбы, чем многие его товарищи по партии, в большинстве своем методично отстрелянные еще до начала войны.

Этот же зарылся, окопался на железнодорожном полустанке под Алма-Атой, устроился преподавать немецкий язык в местной школе. И, видимо скучая по семье, углядел среди учеников шустрого способного паренька, сына путевого обходчика, и посвятил тому все свободное время, остаток разочарованной, но по-прежнему деятельно пылкой души, а заодно свой немецкий язык (берлинский выговор), «язык Бетховена, Шиллера и Гете», который, впрочем, и так являлся одним из обязательных школьных предметов.

А талант к каллиграфии у пацана обнаружился сам собой, случайно, в процессе учебы; талант, скажем прямо, редчайший. И немудрено: писали в те годы пером да чернилами, с непременным лиловым нажимом тут, завитком там, с правильными округлостями и вытянутыми петлями, с наклоном да с потягом, с виноградными усиками, цепляющими ягодку соседней буквы, с крепкими сяжками твердых согласных, с запятой-головастиком, что и сама была произведением искусства. Мальчику это занятие очень нравилось, он нажимал, и округлял, и вытягивал, где нужно, и где нужно – скашивал... Фридрих Вильямыч вдохновился, приналег – развить талант, «вырастить гения»!..

Но после седьмого класса Мухан учебу забросил. Отец сказал: «Хватит штаны просиживать! Ты уже все выучил, сколько этой учебы мужчине надо?» Тот и пошел работать. К любимому педагогу, однако, заходил, если выпадала минута, возвращал одни книжки, забирал другие, еще не прочитанные. А говорить – о, только по-немецки, таков уговор! «Ихь вайс нихьт, вас золь эс бедойтн, дас ихь зо траурихь бин...»

И можно только восхититься четкой работой органов (или бдительностью директора школы): накануне войны Фридриха Вильямовича все же выволокли с полустанка, где он пригрелся и кое-как обустроился, приспособился к вольным ветрам степных нужников и надеялся тихо дожить в этом неудобном, с ледяными зимами краю, столь далеком от родного Потсдама, от виноградников, беседок и парковых аллей великолепного Сан-Суси и от Берлина, где на *Бисмаркштрассе*, восемь, оставались его родные.

Ученика, впрочем, вскоре выволокли тоже, чтобы, как и миллионы других парней, швырнуть в пехотную мясорубку самой чудовищной войны в истории народов.

Это был август сорок первого; к тому времени Мухан был женат и имел полугодовалую дочь Розочку.

Почему человек, свободно владеющий немецким языком, никого в это обстоятельство не посвятил ни на призывном пункте, ни позже? Почему никому не продемонстрировал чудес, выплывавших из-под его пера? Почему предпочел угодить в гущу взрывов и пулеметной трескотни, в ад оторванных конечностей, горящих танков и падающих самолетов, хвостатых от черного дыма, – короче, в реальность, весьма далекую от каллиграфии? Все это осталось для семьи загадкой.

Видимо, почерку Судьбы мозговитый парень доверял больше, чем циркулярам военных политруков.

Но поразительно и то, что, оказавшись на изнанке обстоятельств – такой, казалось бы, выигрышной изнанке, которая могла обернуться и совсем иной судьбой: угодив в плен в окружении под Киевом и попав в один из самых страшных лагерей на территории Польши, в Майданек, – он почему-то снова скрыл знание немецкого языка.

Что его и спасло. Его и еще троих заключенных.

По сути дела, спасли его немецкая педантичность и копировальная бумага.

Каждый день он убирал административный барак, драил там полы,

вытирал пыль со столов, выносил и выбрасывал корзину с бумагами.

– Понимаешь, – говорила Гуля, поднимая высокие «ласточкины» брови, как бы дирижируя ими для *убедительности*, – это у нас копировальную бумагу исписывали вусмерть, а фашисты ее использовали всего по разу, потом выкидывали – в мусорную корзину под столом. Оплешность, конечно, но дед говорил, что в конце войны немцы очень спешили, будто куда-то опаздывали: печи крематория дымили круглые сутки. И дед – у него было звериное чутье на опасность – стал втихую выуживать из мусорной корзины листы копирки и прочитывать их в бараке. Представляешь – иностранные буквы, шиворот-навыворот, по ночам, в темноте, с черной копирки?

– Как-то сомнительно... – бормотал Илья.

– Прикладывал осколок зеркала. Рисковал ужасно! Думаю, там, в бараках, стукачей хватало. В конце концов наткнулся на приказ о полной ликвидации лагеря в считанные дни. Тогда он организовал побег.

– Каким образом? Подробности! Майданек, как и все лагеря, отлично охранялся. Двойная проволока под током или что-то вроде...

– Ой, не знаю, отстань. – Она вздыхала, закидывая голову, тяжелым маятником раскачивая по спине гладкие, как вороново крыло, иссиня-черные волосы. Она быстро уставала от его дотошных расспросов и даже будто начинала скучать. – Может, подкоп? Дед всегда плачет, когда рассказывает, и мы его не мучаем. А сейчас он уже и не помнит ничего. Вроде бы один его товарищ до войны был инженером-электриком – дед говорил, гениальным, – и сообразил, как на время что-то там отключить... Думаю, все произошло как в фильмах, там же грамотные консультанты работают: колючая проволока, на ней – лоскуты кожи и куски мяса, тра-та-та-та-та – многих, конечно, постреляли... Удалось бежать деду и еще троим, и на каком-то хуторе их спрятали крестьяне, польская семья... Он говорит, самым трудным было – не нажраться одним махом. Они же в лагере были страшно истощены. Один из тех троих, кажется, как раз инженер, накинута на еду, съел жбан вареной картошки и умер у деда на руках от заворота кишок.

И опять – торопясь ускользнуть, вывернуться из-под указующего перста судьбы, Мухан предпочел пробираться дальше один.

Пробирался ночами, вооруженный лишь тесаком, украденным из сарая своего благодетеля, – тесаком, которым тот резал и разделял свиней. В одну из ночей, впрочем, ему удалось раздобыть оружие, прирезав кого-то, отнюдь не парнокопытного. Наконец, наткнулся на *наш* разведотряд.

Так и прибил к частям наступавшей Советской армии, с ними и дошел до Берлина. И вот там-то его немецкий язык (его берлинский выговор), если судить по открытке, весьма пригодился! Но в семье об этом узнали гораздо позже, в конце шестидесятых. А между возвращением Мухана с фронта и тем первым письмом из Германии в шестьдесят втором году было вот что.

Его забрали ночью в феврале 46-го трое равнодушных ублюдков в черных кожаных пальто. (Стояли сильные морозы, и один из «гостей», сорвав одеяло с маленькой Розы, похохатывая и постанывая от удовольствия, грел свои заледенелые лапы о спинку и грудь насмерть перепуганного ребенка.)

Бабка считала, что они были из СМЕРШа, и потом всю жизнь вздрагивала от неурочного стука в дверь, а спустя лет тридцать вообще вела настоящую подрывную партизанскую войну против установки в доме телефона. Она панически боялась ночных звонков.

В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего № 270 от 16 августа 1941 года, приравнивающего бывших в плену советских солдат и офицеров к дезертирам и предателям, дед был приговорен к пятнадцати годам исправительных лагерей и срок отбывал сначала на Колыме, где за первые пять лет переморозил все пальцы на руках и ногах; затем посчастливилось: перевели в Гурьев, «почти домой», говорила бабка. Была она простой женщиной из далекого казахского аула, по-русски умела плохо – только имя свое подписывать, дед выучил после свадьбы. Но при этом была в ней поразительная выносливость, гибкость и женское *чутье к жизни*.

– А как ее, кстати, звали?

– Умсын. Русские соседи звали просто Марусей, Марьей. В старости – «бабкой Марьей». Тихая, с кроткой улыбкой, но, знаешь, – сильная: пока дед воевал, своими руками построила домик. Месила глину, смешивала ее с соломой, лепила саманные кирпичи... В том домике было очень тепло зимой – так мама рассказывала.

(Гулину мать Илья не застал: она «умерла от сердца» за восемь лет до их знакомства на Медео. Все упоминания о ней сопровождались грустным движением руки или подбородка в сторону фотокарточки в серванте, на которой девушка в белом выпускном платье, очень похожая на Гюзаль, щекой приникла к дереву, обхватив пятнистый солнечный ствол тонкими руками. Звали ее Мадиной.)

Глина, глина, жирная гурьевская грязь... Раз в месяц нагруженная

сумками Умсын ездила с шестилетней Мадиной на свидания к мужу. Дочка семенила сзади, не выпуская из виду галоши матери, хлюпающие в грязи. Старшую девочку, Розу, Умсын оставляла дома: она была «слишком взрослой» для того смертельного финта, который они неизменно проделывали с младшей.

Трудно было назвать это «свиданиями»: тяжело и тесно ворочалась гудящая толпа, разделенная двумя рядами – сеткой-рабицей со стороны посетителей и железной решеткой со стороны заключенных. Глухая темная толпа мужчин с той стороны – поди узнай в серо-черной массе ватников мужа, отца или брата. Счастьем было опознать мелькнувшее за бритыми головами лицо или над тяжелым гулом и выкриками выделить взмывший родной голос; счастьем было просто осознать, что вот он, живой. Все еще живой.

И тогда Умсын решалась на немыслимое: приподнимала сетку-рабицу, и шестилетняя Мадина с карманами, набитыми папиросами «Казбек», ныряла под нее и бежала к той, другой решетке, за которой были руки, руки, руки в обтерханных рукавах рваных ватников; они выхватывали у нее папиросы, и разные голоса кричали ей «дочка!» на всех языках – русском, казахском, украинском, татарском, узбекском...

Охранник орал в матюгальник: «Назад, стрелять буду!» Молодой женщине только молиться оставалось: неужто в ребенка стрельнет!

А девочка неслась вдоль решетки и совала папиросы во все протянутые, жилистые, обвитые венами, трясущиеся руки несчастных героев несчастной войны, отбывавших второй плен на своей же родине.

– Да я совсем не боялась, – много лет спустя с мимолетной улыбкой говорила дочери Мадина. Гуле тогда было столько же лет, сколько маме в те ледяные поездки, и она ходила в музыкальную школу с черным скрипичным футляром в руке, в вязаной желтой шапочке и таких же солнечных варежках.

* * *

Вернулся дед в 55-м – «психический», осатанелый, еще с войны нафаршированный осколками снарядов, да к тому же больной туберкулезом.

Умсын его выходила.

– Бабушка просто завела стадо коз – сельская родня помогла. Поила деда молоком, ну и попутно заквашивала, делала творог, мягкий соленый

сыр, курт, иримшик. И продавала по округе. Тетя Роза говорит: мама своим дочерям дала «козье образование» – как-никак обе закончили университет.

– Постой... стадо коз?! Бабка Марья?! Круглое такое морщинистое лицо, коричневое от солнца? Тощая старушка в бархатной жилетке, белый платок на голове.

Пасла стадо в апортовых садах...

– Не знаю, я тогда еще не родилась. Слава богу, не помню, как дед бил ее смертным боем. У него же после всех лагерей что-то в башке сдвинулось.

Он еще и пил страшно, и гулял бесстыдно, открыто. Представляешь, сколько женщин после войны без мужиков осталось. Тетка на эту тему не любит распространяться, но ты обязательно спроси, как бабушка своими руками вырезала из дедовой спины осколки.

Это ее конек.

Да, Роза любила живописать сей героический эпизод – героический с обеих сторон. Повторяла: «Наживую, наживую вытаскивала!»

– Он стакан водки выпьет, ляжет лицом на лавку, намертво вцепится в нее. А мама вначале основательно так прощупает пальцами «операционное поле», даже ухом к его спине склонится, будто прислушивается к голосам осколков – где-то там, в самой глубине его тела... Затем накаливала на огне острый нож, каким в селе баранов режут, делала в спине надрез и щипцами вытаскивала куски железа!

– Но почему... – озадаченно спросил Илья, не уверенный, что подобный вопрос не рассердит тетку. – ...почему с этим в больницу было не поехать?

Та победно махнула рукой и воскликнула:

– Отец доверял только маме! К тому же у него невероятно высокий порог боли. Он потому и через колючую проволоку продрался: оставил на ней чуть не всю шкуру и пол-лица, но выдрался.

Высокий порог боли...

Слишком часто Илья слышал в их доме этот термин, явно выуженный из какого-то учебника: тетка работала школьным психологом и любила щегольнуть медицинским словечком.

Мысленно он продолжал называть старого Мухана Ванильным Дедом – ничего не мог с собой поделаться: все чудились в подрагивающих топорных пальцах пробирки с ванилью – рубль штука, – заткнутые жеваной газетной бумагой.

...Первое письмо из Германии пришло бог весть как – без марки.

Возможно, привез кто-то из туристов, а может, еще какой странный гонец, пожелавший остаться неузнанным, просто опустил его в почтовый ящик на калитке. Внутри была черно-белая карточка многолетней давности. Красивая блондинка (старомодная прическа, валики волос надо лбом) держала на руках мальчугана, такого же светловолосого, как и она, но раскосого, с высокими азиатскими скулами. На обороте карточки по-немецки написано: «Привет от Гертруды и Фридриха».

Что там и как у него произошло с этой немкой – а связь была, видать, не из походных, если он успел сыну дать имя любимого учителя (а может, совпадение?), – как взбрело ему в голову оставить ей адрес собственного дома и почему до сих пор она не писала и вдруг спохватилась – никто из семьи дознаваться не стал. Приняли к сведению факт: это ж надо, мол, – немецкий брат. Только как до него дотянешься? И, откровенно говоря, – зачем?.. Мудрая бабка Умсын один лишь раз взглянула на ту фотографию и, навсегда отодвинув ее от себя, просто сказала: «Что поделаешь, война».

А Мухан, вначале обескураженный, потом не на шутку взволнованный, взялся вновь за каллиграфию – и как только отмороженные пальцы его слушались! Открытки слал, иногда и посылки – благо, Берлин оказался восточным, *правильным*. Впрочем, после всех лагерей он ничего и никого уже не боялся. Как не боялся воровать ваниль с кондитерской фабрики. А бабку Марью – свою Умсын, что выходила его, спасла от медленной смерти, обезвредила минное поле его спины, собственноручно вспахав его раскаленным ножом, а главное, все грехи ему простила «с напуском-довеском» – свою Умсын продолжал бить отчаянно, от всего истерзанного сердца, так бить, что перепуганные дочери (сыновей, к сожалению, Марье не дал бог, и некому было отколошматить мучителя) обе бросались между ними, получая свое, и ох как получая, но все ж оттаскивая отца от матери.

– А Мадина потому и родилась такой больной, – вздыхая, говорила тетка Роза, – что он маму и беременную бил.

Всю историю уже можно было рассказывать при самом Мухане, не стесняясь и не понижая голоса. С угасанием памяти и жизни он все более успокаивался, часами сидел неподвижно – лишь по буро-вельветовой половине лица пробегала дрожь тика да иногда вырывались из горла рваные хриплые звуки, похожие на обрывки испорченной механической песни в недрах заводной птички.

Поэтому в семье удивились, когда дед стал уходить – вначале за калитку, потом и дальше. Однажды пропал на два дня, и вернул его

какой-то проезжий дальнбойщик, прихватив чуть ли не в Гурьеве.

А после смерти бабки Умсын его стали попросту запирасть: Роза работала в двух школах, Гуля в то время уже вышла замуж и переехала жить к Илье; сторожить сумасшедшего деда стало некому.

В конце концов он удрал через окно. Зима в том году стояла такая лютая, что в домах полопались батареи парового отопления. Хорошо, что в доме была еще печка, – Роза топила ее углем перед тем, как уйти на работу.

Никто из близких и предположить не мог, что полуживой старик в состоянии подняться на подоконник, вышибить стекло и выбраться наружу; и не только вывалиться из довольно высокого окна (правда, упал он в сугроб, наметенный под стенами), не только подняться, но и уйти со двора так далеко – следы вели к шоссе и там пропадали, – что никакие розыски не увенчались успехом.

Ушел и пропал. Навсегда пропал, будто улетел.

Илья, к тому времени медленно опоминавшийся от Гулиной смерти, принял известие об исчезновении Ванильного Деда вполне равнодушно; поразило только совпадение, сходство сюжетов: уход беспамятного деда так напомнил уход Зверолова, еще полного сил... Но гибель старого безумца представлялась столь ничтожной по сравнению с гибелью всего прелестного, нежного, еще не обжитого, еще не обиходного мира его любви, что к вечеру Илья о происшествии просто забыл (в те месяцы из его головы странным образом исчезали слова, люди и даже цепочки событий). Рано или поздно, скорее всего, весной, тело несчастного старика (который, к слову, и сам принес столько несчастий близким) должно было обнаружиться под каким-нибудь сугробом.

Но не обнаружилось.

И чем дальше, тем чаще Илья возвращался мыслями к этому странному уходу в пустоту, к вылету из запертой клетки, к пленной свихнувшейся птице, которая – как ни банально звучит расхожая эта фраза – смерть на воле предпочла теплу постылого дома.

Тут, пожалуй, вполне уместен выдох многоточия...

Но читатель явно успел отметить, что по всему роману у нас – как дикие птицы по ветвям какого-нибудь дерева, растущего на форзацах старинных книг, – рассажены певчие безумцы.

Это вынуждает признать некоторую склонность автора к сумасшедшим, безусловную к ним приязнь, порою и любованье, и даже –

да! – восхищение ими, как и возмущенное неприятие термина «душевная болезнь», которым люди издревле награждают носителей слишком яркого оперенья. Хочется возразить, что не болезнь это, а проявление дерзкого своеволия души, ее изумленного осознания себя, обособления себя от мельтешащей пустоты мира. По сути – доказательство самого ее, души, существования.

И положила руку на сердце: разве не стоит преклонить голову перед этим отважным неповиновением, перед увертливым скачком от загребущих лап судьбы, перед побегом – из самого замысла Божьего! – в непостижимую и неизбежную вечность тьмы?

2

Он совершенно не волновался за Гулю.

Честно говоря, втайне было досадно, что она подурнела, особенно к концу беременности. Илья злился, что это его так волнует; однажды, сильно смущаясь, оговорками намекнул в разговоре со знакомым психологом, соратником по канареечному делу, на свое *эстетическое нетерпение*, преобладающее над ожиданием отцовства, и тот все мгновенно свел к чему? (так тебе и надо!) – к *безматеринскому детству героя*:

– А ты, Илья, похоже, считал, что ребенок вылупляется как птенчик, из яйца?

Он говорил себе: смешно и стыдно так много об этом думать, точно это – навсегда. Ведь все вернется, причем очень скоро: и скрипичная линия бедер, и еле заметная перламутровая нить, сочленяющая – от пупка вниз – две половинки нежного живота, как соединяет еле заметный шов две склеенные половинки скрипки...

Сама Гуля была спокойно насмешлива к себе, к нему, к строгим окрикам бабушки, хотя быстро уставала и то и дело прикладывалась вздремнуть минут на сорок в странные часы – то среди утра, едва поднявшись, то в сумерках, как раз когда надо было собираться на концерт.

Часто повторяла:

– Ты, главное, не беспокойся. Все будет отлично.

У меня, как у деда, – высокий порог боли.

А он и не беспокоился. Однажды только был неприятно удивлен, встретив Гулину докторшу из женской консультации.

Та остановила его посреди улицы, стала приставать с расспросами

о здоровье Гюзаль и тоже почему-то уговаривала «не бояться», потому что «ваша жена – очень мужественная женщина».

– Что за чушь! – пожимая плечами, сказал он вечером Гуле. – Миллионы женщин рожают за здорово живешь.

– Конечно, чушь, – отозвалась она легко. – Не обращай внимания. Просто не думай об этом.

Но он впервые со странным смятением, как незнакомую, оглядел всю ее отекающую фигуру, тревожно отметив голубоватую бледность надгубья, капельки пота на лбу, отекающие лодыжки и мелкими рывками дышащую грудь.

– Но ты все же побольше отдыхай, – сказал тревожно.

– Какая-то она... *непрочная!* – вздыхала бабушка и качала головой.

А он... Ничего он не понимал в этих женских делах и боялся вдаваться. Может, и правда все было бы иначе, если бы над кромкой его младенческой памяти мягко округлилась теплая набухшая мамина грудь, ее родной влажно-молочный запах?

Иногда внезапным ночным кошмаром в полусне перед ним возникала головка новорожденного, кровавой торпедой разрывающая любимые покровы, и он вскакивал с колотьбой в груди. В последние недели опасался даже приблизиться к жене, просыпался от малейшего шороха и до рассвета тихо лежал на краешке их раскладной тахты, занимая смехотворно мало места; Гуля рядом ощущалась как вулкан, в любой момент готовый начать извергаться.

Вообще-то, рожать собирались по блату, в роддоме на улице Басенова. Они уже несколько раз на вечерних прогулках добредали до него, важно переваливаясь: двухэтажный охристо-желтый домик в просторном, немного запущенном больничном саду; родильный блок на первом этаже, палаты – на втором. Детей папашам традиционно показывали из окон второго этажа, а передачи в неположенное время роженицы поднимали в палаты на веревке. Словом, обычный районный роддом, ничего особенного, но акушеркой там работала Гулина подруга детства Сюзанка, веселая мулатка, рожденная украинской матерью от неизвестного *занзибара*: плюшевая круглая голова, ослепительный высверк улыбки и всегда припасенный свежий забористый анекдотец.

Именно Сюзанке он, как и было уговорено, позвонил среди ночи, когда, легонько тронув его за плечо, Гуля виноватым шепотом дунула в ухо: – Эй, гусары... Труба зовет.

И дальше все покатилося, как положено: сумка с ее вещами лежала,

давно собранная, так что нацепили необъятную шубу, на время одолженную у толстухи-соседки, замотали голову бабушкиным вязаным платком, и, стоя на коленях, Илья с трудом натянул на опухшие ноги жены сапожки, что купили в прошлом месяце – на три размера больше.

– Стойте! – крикнула проснувшаяся бабушка, на ходу натягивая халат на рубашку, как обычно, педантично застегивая сверху донизу все пуговицы. – А присесть на дорогу?!

Но присесть уже не вышло, так как необходимо было, сообщила Гуля, «бежать сломя голову». Дотянула!

Сюзанка примчалась к больнице на попутке примерно в то же время, что и они. Гулю уже «оформляли» (мерзкое слово!) в приемном покое, а Илье, терзавшему в руках лыжную шапочку, велели уходить.

– Как уходить?! – воспротивился он. – Но ведь как же... можно я только... можно я тут на стульчик присяду?

– Никаких стульчиков, папаша, вы что, особенный? Вы по-русски понимаете или вам по-казахски сказать?

Тут и влетела запыхавшаяся Сюзанка, сверкнула зубами, ткнула Илью в бок коричневым кулачком, и ему сразу стало спокойнее.

– Под окнами погуляй! – крикнула Сюзанка, уводя (навсегда!) его счастье, его теплую дрожь, лишь мельком глянувшую на него с беспомощной улыбкой и ничего на сей раз не сказавшую о высоком, высоком пороге боли, за которым и сгинула...

И все прошло прекрасно! Просто великолепно и даже не слишком долго: часа два он топтался на снегу под окнами родильного блока, пока за одним из них не возникла немо-хохочущая белозубая Сюзанка с поднятым и оттопыренным на ять большим пальцем. Она не имела права открыть окно, дабы не простудить рожениц, но форточку чуть приоткрыла, рявкнув басом:

– Девка! Роскошная! Раскосая! Три семьсот!

Кто-то там, внутри, видимо, сделал Сюзанке замечание, и она форточку захлопнула, выпятила запястье с часами и, тыча пальцем в циферблат, беззвучно проскандировала толстыми губами:

– Иди! Спать! – (Ладони лодочкой и под щеку.) – Утром, утром придешь!

Он и пошел. И минут сорок шел пешком, пружинисто подпрыгивая, как в детстве, сшибая друг о друга кулаки замерзших в перчатках рук,

совсем не сонный, совсем не уставший, обдумывая, как разыграть бабушку, вернее, – надо же! – прабабушку: ну что, сказать, ты говорила, она *не-прочная*? А вот родила... близнецов? Или сразу уж огорошить, что тройня? У Гули был такой большой живот, с нее бы стало... Сейчас все это уйдет, подумал с зашедевшим сердцем, – сейчас она снова станет грациозной, конькобежно-манящей, тонколодыжной, как олененок.

Бабушка не спала. Сидела за столом одетая, будто на выход, с выплетенной надо лбом косой, и он, разом забыв про все розыгрыши, выдохнул с порога:

– Роскошная девка!

Подбежал к ней, они обнялись – боже мой, они впервые обнялись по-настоящему! Он впервые увидел, как бабушка – строгая, по обыкновению, – оттирает слезы большими пальцами и отчитывает его за бестолковость: он ничего не мог рассказать, кроме того, что девочка! раскосая, видите ли! увесистая, понимаете ли!

– Да сколько, сколько ж кило?!

– Сюзанка что-то говорила, не помню...

– Да ты просто дурачок! – припечатала она и, вынув из буфета графин, налила ему и себе по рюмке вишневой наливки: – А то не заснем...

Но минут через сорок они, успев поссориться из-за выбора места для детской кроватки («Нечего заталкивать ребенка в вашу комнатушку, вот тут, за исповедальней, в уголку, тут и рядом, и от сквозняков в стороне»), все же разошлись по своим углам. Уму непостижимо, сколько всего надо было успеть купить для младенца завтра – да нет, уже сегодня, сегодня!

...А наливка оказалась крепенькой: пока он расслышал дверной звонок, пока нашарил ногами тапочки, пока приплелся в прихожую, по пути машинально проверяя пижамную куртку на предмет застегнутости пуговиц, он все еще не до конца проснулся, хотя рассвет уже залил окна веранды белесым зимним цементом.

На пороге стояла Сюзанка с каким-то серым, блестящим, как мокрый асфальт, лицом, странно искривленным умоляющей гримасой. Это лицо из ночного кошмара – африканская маска воина, пугающая врага, – обездвигило его. Все качнулось, и опрокинулось, и понеслось в сознании Ильи, вмиг ставшего пустотелым и мягким, хоть поднимайся в воздух и улетай отсюда к чертовой матери, но припечатанного к собственным тапочкам тем же белесоватым цементом так, что он и с места не сдвинулся, когда Сюзанка упала к нему на грудь, продолжая кривиться и рыдать,

широко разевая рот с ослепительными зубами. Она ничего не могла сказать.

– Кто это? Илья, кто так рано? – кричала из своей комнаты бабушка. Потом она, вероятно, появилась сама – все потом, потом, суетливыми тенями, обморочным топотом.

А он ничего уже не помнил с того момента, когда Сюзанкины зубы наконец сомкнулись, и, трясаясь и стуча ими в его плечо, она глухо выговорила:

– Скончалась... Она скончалась, Илья...

– Кто... девочка? – прошептал он, ничего не понимая и ничего не чувствуя, кроме тяжести Сюзанкиного тела.

А та зашла и стала сползать на порог, и он пытался ее удержать, ускользнуть от имени, которое она повторяла, стуча зубами, как на морозе (а и правда, мороз уже объял всю веранду, и это было плохо для канареек), пытался увернуться от догонявшего его, летящего на него любимого имени, скрипично-пассажного, канифольно-саднящего, вензелисто-ледового, *непрочного*, обреченного растаять... ах, он знал, что обреченного, всегда знал – так думалось потом, много лет спустя, ибо никогда он не переставал обдумывать историю своей несчастной, такой обаятельной, такой короткой любви.

3

Чего не простила ему Роза да и вся казахская родня – так это его отсутствия на похоронах Гюзаль на Кенсайском кладбище.

Но он и вообще не присутствовал нигде. Ибо распластанное на тахте бескостное тело, которое ворочал прибой мерно вскипающей боли, приносящий то звонко-насмешливый голос жены, то явственный запах ее кожи (что вчера еще, как щенок, он выуживал из укромнейшей ямки за ушком), то отдаленные канифольные звуки – смычка ли по струнам, коньков ли по льду, – это тело трудно было назвать существующим.

Спасительная таблетка, приплывшая на бабушкиной ладони, на время эту боль оглушала, замывая мутным течением милое лицо, погружая все вокруг в вязкий дурманивший ил. Бабушка плотно закрыла ставни на единственном в комнате окне, и он лежал во тьме этой импровизированной могилы на их с Гулей тахте, разделяя постылую тишину с ночной слепой бабочкой, шуршащей о слепое стекло.

На третий день бабушка отказалась дать ему очередную дозу благословенного забвения. Сухо сказала:

– Сдохнешь. Мне еще внука-наркомана не хватало.

И тогда его со всех сторон обнесло высоким порогом боли, переступить который у него – крупного, сильного и, в общем, уравновешенного человека – не оказалось сил.

Он продолжал лежать в затхлой темной комнате, протестующе вскрикивая, когда бабушка пыталась открыть окно.

Как-то так получилось, что в эти дни на правах друга дома у них обосновалась Сюзанка. Она являлась после смены в больнице, что-то пекла и варила, встречала соседей и знакомых, являвшихся в дом скорбной прерывистой цепочкой.

Предлагая чай или кофе («вам скока сахару?») – рассказывала «о нашем горе» охотно, с медицинскими подробностями:

– Она немножко подкрадывала, совсем немножко, не больше других. Дали окситоцина. Вроде кровить стала меньше, но началась тахикардия. И давление меньше восьмидесяти. Ну тут уж физраствор стали лить струйно, а ей еще хуже: задыхается, давление падает, тахикардия растет... Вызвали реаниматора. Он пока прибежал – она уже хрипит, и ясно, что отек легких. Он фонендоскоп приложил, говорит – да у нее митральный стеноз тяжелый! Как же дали рожать, почему не кесарили, это ж преступление! «Как – почему?! Предлагали ей, настояла сама родить!» Мне-то она: «Не говори Илье, не говори Илье! Не хочу с заштопанным брюхом ходить»... Ну, повезли в интенсивную терапию, стали вентилировать, то, се. Ничего уже не помогло...

Вообще, Сюзанка быстро пришла в себя, как только обнаружила, что обвинять ее или врачей и некому, и не за что: так, мол, случилось. Судьба. *Она так сама хотела.*

Сюзанка приободрилась, бросилась в семью со всем сердечным пылом – мол, кто, как не она.

(Месяца через три пыталась даже поддержать *детного* вдовца, явно предлагая заменить Илье прекрасное тело усопшей своим тугобоким, горячим, вероятно, энергичным снарядом. Впрочем, он не пустил воображения дальше ее белоснежных зубов, собрав все свое хваленое воспитание для сдержанного отрицательного полуответа-полумычания.)

Дней через пять его «великого лежания» утром в комнату вошла нарядно – в свой синий шерстяной костюм – приодетая бабушка и сказала, явно прощупывая почву:

– Ну, с богом! Вставай.

Он приподнялся на локте, непонимающе вглядываясь в ее лицо: что такое? о чем... – Ребенка пойдем забрать.

Он откинулся на умятую подушку. Да... там ведь был ребенок...

– Иди без меня, – сказал вяло.

– Так что, может, сдадим подкидыша в дом малютки?! – яростно выкрикнула она. Но опомнилась, взяла себя в руки. И уже спокойнее, суше проговорила: – Я встречалась с этой ее теткой, с Розой. Тебя она видеть не хочет, говорит: «Депрессия-шмепрессия, а жену по-человечески должен был похоронить». Своеобразный психолог, одно слово – школьный, но тут я с ней согласна: ты безобразно, непозволительно раскис! Надо взять себя в руки! А Роза... короче, забрать к себе ребенка она не против, но не сейчас. Не может с работы уйти – жить на что? Говорит – это уж потом, когда в ясли пойдет, ну и прочее. Так что делать нечего – возьмем пока к себе, подрастим. Я уже договорилась с Аидой, дочкой Абдурашитова. Там малышу два месяца, молока – залейся, будет и для нас ссезживаться. Правда, денег брать не хочет, вот беда. Говорит:

«Да вы что, тетя Зина, я с дорогой душой, для сироты ведь!...» Ничего, потом найду способ рассчитаться, в долгу не останемся.

Все это Илья слушал, как посторонний шум из окна, – не отзываясь.

Бабушка с минуту еще постояла, изучая длинное, безвольно и грузно простертое тело внука, и молча вышла.

Вернулась часа через полтора.

Опустила сверток в кроватку, приткнутую, как и планировала, к боку исповедальни, села рядом на стул и тяжело, задумчиво проговорила:

– Опять младенец...

Илья так и не поднялся со своей тахты взглянуть на ребенка (о, конечно же, не виноватого ни в чем... но виноватого, виноватого, виноватого! – в ее смерти).

Так и не смог переступить высокий порог боли.

* * *

Бедной старухе пришлось справляться одной со многим, не только с ребенком. Она даже канареек кормила, терпеливо ожидая, когда в большом организме внука накопится и начнет действовать подмога нового, добытого Разумовичем заграничного антидепрессанта, который Илья, слава богу, не отвергал, а послушно глотал по утрам, вынимая щепотью из бабушкиной ладони. Он стал уже выползать из своей норы не только по нужде, хотя отворить ставни еще не позволял.

Из своего убежища слышал, как бабушка внятным и взрослым голосом

разговаривает с младенцем – на редкость безмолвным, – мягко приговаривая:

– ...ай-я-а-а... ай-я-а-а...

Сам он к кроватке так и не приблизился. Пока, уверял себя. Все это пройдет, говорил себе, само пройдет, когда приглушится боль. Приступов боли, что накатывала волнами, охватывая левую часть груди и сжимая горло, он панически боялся: это было слишком похоже на смерть, какой он ее себе представлял. Неявным образом ребенок был с этими приступами как-то связан, поэтому, проходя в туалет или на кухню, Илья в сторону кроватки старался не смотреть. Потом, говорил себе. Когда-нибудь потом...

Наконец, однажды утром бабушка вошла и сказала прежним своим командным тоном:

– Ну, довольно, Илюша! Нельзя скорбеть о мертвой так, чтобы живых забывать, грех это. Давай, опоминайся! Хватит валяться, как падаль! Поднимись. Побрейся. Надо пойти...

– Куда...

– Ребенку имя надо дать.

Он молчал.

– Надо живой душе какое-то имя дать, ты слышишь?

Ответом ей было молчание.

– А то я не знаю, как и окликнуть ее, – добавила она внезапно дрогнувшим голосом. – Все «айя» да «айя». Совсем уж привыкла.

– Ну и назови, как привыкла, – отозвался он равнодушно.

– Как так? – опешила старуха. И вспыхнула, рассердившись: – Ты совсем спятил, Илья?!

Вышла, хлопнув дверью. Но к вечеру опять пришла. Присела на краешек тахты, нащупала своей жесткой горячей ладонью его вялую руку и властно сжала, как в детстве. Тихо проговорила:

– А знаешь... я все думаю, думаю... Кажется, есть такое имя.

– Какое?

– Да вот – Айя. Есть такое имя. В Библии, кажется. Или в Коране? Не важно. Я думаю: назвать, что ли, древним именем, чтоб она была... *попрочнее?*

Посидела еще, помолчала и, не дождавшись от него ответа, поднялась и вышла.

По ночам он стал выползать на кухню.

Варил себе кофе при свете уютного ночника, забавного гномика с лампочкой в желтом колпаке (купили его прошлой весной на ярмарке ремесел в Государственном музее, Гуля выбирала по цвету колпака). Выкуривал в форточку сигарету, безучастно разглядывая в черном стекле свое незнакомое острое клочкобородое отражение.

Впервые подумал, что надо бы сбрить эту мерзкую паклю, чтобы не чесаться, как шелудивый пес.

Впервые подумал, что через неделю заканчивается отпуск «по семейным обстоятельствам», милосердно данный ему главным редактором.

Впервые подумал о бабушке: «Бедная старуха...»

Бедная старуха, ну и досталось ей в эти недели – она и несчастный этот отпуск ходила вымаливать, и вымолила, и – целый месяц. Вот и ребенок... Ребенок! «Девка! Роскошная! Раскосая...» (Привычный спазм боли куснул сердце и отхлынул, как бы собираясь с силами для следующей волны.) Вот и ребенок на ее старую трезвую голову. Как там она сказала? «Опять младенец...»

Между прочим, при младенцах в доме не курят.

Он задавил окурок в пепельнице, ополоснул ее, поморщившись от резкого в ночи звука льющейся воды: не разбудить ребенка. Вдруг поймал себя на том, что ему удобно так думать, безлично: ребенок, младенец. Хм... А ведь это девочка, дочь. Дочь... Нет, какое-то чужое, иностранное для души слово. Не вникать: подрастить, отдать Розе, там ребенку будет хорошо. Сколько же это? Год, наверное? Это долго – целый год. Существо станет ползать под ногами, что-то там лепетать, мешать думать, читать и заниматься канарейками.

Утомительно, черт возьми, хлопотно. А бабушка в последнее время заметно сдала, поди, не молоденькая, да и ты – никчемн и вял, как инфузория, какой уж там ребенок... И сколько можно повторять, идиот: младенец ни в чем не виноват! (А эхом: виноват, виноват, виноват...)

Когда привычным маршрутом он наискось пересекал столовую, свет удивительно полной сегодня, какой-то оголтелой луны вычертил вертикальные прутья кровати, приткнутой к боку исповедальни так плотно и уютно, будто она была еще одной большой канареечной клеткой. И сквозь прутья этой клетки он вдруг заметил, как шевельнулась крошечная молочно-белая рука. Это испугало и озадачило: как, разве детей не пеленают туго-натуго в безличный сверток? Или он... она... сама

высвободилась? Ах да, Сюзанка что-то говорила о свободе движений. Новые веяния в педиатрии.

Он сделал несколько нерешительных шагов к кроватке и замер: на него смотрели.

Впервые в жизни он видел такого маленького и такого совершенного человека, смешно и трогательно одетого в явно большие ползунки, придержанные на ногах теплыми носочками, и теплую кофточку поверх еще чего-то светлого, плохо различимого. И это, безусловно, была девочка, не только потому, что выющиеся колечки слабых волос так по-девчачьи выбились из-под чепчика.

Овал лица был Гулин, нежно-дымчатый, продолговатый. А вот глаза – совсем не раскосые, нет. Его собственные глаза, в полутьме только не видно, какого цвета. Илья нерешительно склонился над кроваткой, не в силах оторваться от этих блестящих, спокойно открытых глаз, от внимательного и безмолвного взгляда ребенка.

Подумал в смятении: разве *они* умеют так смотреть уже? Почему она так пристально глядит мне прямо в глаза? Она голодная? Мокрая? Что, что я должен сделать? Разбудить бабушку? Но *она* ведь не плачет. И почему *она* не плачет – младенцы, кажется, должны непрерывно орать?

В странном смятении он исследовал маленькое лицо, будто выточенное какими-то миниатюрными и очень точными инструментами, разглядывал четко вычерченные губы, продолговатую каплю-выемку над верхней губой, крошечное, но такое подробное ухо в приоткрытом чепчике, мягкую переносицу и круглые, тонко вырезанные ноздри. Вдруг ощутил, что ему очень нравится на нее смотреть. Может, и ей нравилось смотреть на него?

Он долго стоял над кроваткой, замирая от странной робости. Потом решил и указательным пальцем коснулся ладони ребенка – на диво вылепленной, *настоящей* ладони, открытой, как морская звезда, – и та немедленно отозвалась, схватив его палец, что вызвало цепочку болезненных сердечных спазмов: в груди вдруг пошли взрываться бесшумные гранаты, и осколки их достигали самой глубины его существа. И пальцы мои, длинные, подумал он, ногти овальные. А ушки Гулины: с круглой мочкой...

Он был ошарашен этой завершенностью облика; всегда считал, что все младенцы на одно лицо и лет до пяти невозможно понять по глупому розовому блинчику, на кого похожи. Никогда не имел обыкновения, повстречав на улице знакомых гордых родителей, заглядывать в коляски, чмокать губами и восхищенно ахать. Всегда был демонстративно

равнодушен к детям и лишь сейчас с внезапной горечью понял, что все эти месяцы вовсе не ждал, вовсе не радовался скорому рождению своего ребенка, а просто эгоистично терпел, пока в его объятия не вернется любимая женщина.

Ты одинокий обездоленный выродок, сказал он себе, и неизвестно, кто в этом виноват или что виновато: возможно, и в самом деле – твое детство без братьев и сестер, без маминых слез, улыбки, шлепка. С одной лишь отстраненной переливчатой лаской канареечного пения.

Он не знал, сколько сидел так, упершись лбом в прутья кровати, глядя в блестящие, странно разумные, странно сосредоточенные глаза новорожденной дочери, что-то смятенно беззвучно шепча ей, чего не успел, не сумел, не догадался сказать жене за месяцы своего жалко-постыдного, а ее мужественного ожидания; за месяцы ее подвига.

И эти непроизносимые и непроизнесенные слова, этот немой разговор двух сирот – ее, еще бессмысленной сироты-новобранца, и его самого, привычно и застарело не заласканного, да еще со свежей кровоточащей раной в душе, – самый первый, самый сокровенный разговор Ильи с дочерью останется с ним, согревая и спасая даже много лет спустя.

Гораздо позже обдумывая их первую встречу, он удивленно припоминал невероятный свет луны, какого не видал ни до, ни после этой ночи. Луна жарила так, будто некий ангел-осветитель, в безуспешных попытках отчаявшись обратить внимание Ильи на дочь, пошел на крайний шаг, возможно, и на должностное преступление, врубив на предельную мощность тот Главный Фонарь, который издревле освещает судьбоносные ночные разговоры.

Вдруг девочка сморщилась и закричала. Неумелыми руками Илья сгреб ее, поднял и мягко привалил к плечу, стараясь, чтобы его колючая щетина не касалась младенческой кожи. Вся она уместилась в его крупных приемистых ладонях. Он вспомнил, как Зверолов качал в ладонях канарейку, и стал плавно колыхать дочь, слегка наклоняясь, как китайский болванчик, как большой китайский болван, прозевавший легкое струнное счастье своей единственной любви (пролетела она и, словно перышко, уронила ему на руки эту девочку), торопливым неумелым шепотом ее баюкая:

– Тихо-тихо-тихо... тихо-тихо, маленькая... тихо, моя птичка... тихо-тихо... Ай-я-а... Ай-я-а... Ай-я-а...

Со временем Роза смягчилась, и раз в две недели, в пятницу они перезванивались, договариваясь встретиться в городе: тетка забирала ребенка к себе на субботу и воскресенье.

Для Ильи это было нешуточным испытанием.

Если суббота проходила еще сравнительно спокойно (мысленно он расставлял вещи в расписании дня: вот она проснулась, его ранняя пташка, почистила зубы – как всегда, забыв или сделав вид, что забыла завинтить крышечку на тубе с пастой... Вот завтракает – Роза, надо отдать ей должное, хорошая повариха... Потом рисует или возится с какой-нибудь дурацкой мозаикой – школьный психолог лучше знает, чем занять трехлетнюю внучатую племянницу, тем более что сама в это время должна переделать кучу домашних дел, так что день, слава богу, проходит в безопасной тишине дома: стирка-глажка-готовка под шелест разрезаемых переводных картинок, под стук деревянных деталей совершенно неинтересного девочке конструктора, но она такая старательная, такая послушная) – словом, если субботу можно было пережить, то воскресенье было буквально начинено смертельными опасностями.

Например, вопреки его просьбам, Роза тащила ребенка в зоопарк, с годами ничуть не ставший привлекательнее; или того хуже – на базар, где с упоением, забыв про все на свете, торговалась, в то время как любой негодяй, любой гнусный мерзавец мог схватить ребенка и в секунду утащить... (Нет, Господи, нет, только не это!!! Не посылай мне эти картины, а ты – заткнись, замри, уйми свое кошмарное воображение!!! молчать!!!) Или просто малышка засмотрелась на какую-нибудь яркую штуку и отошла в сторонку, она любит вдруг направиться куда-то восвояси, а у тетки нет бабушкиного рефлекса: цепко держать ребенка за руку, не отпуская ни при каких обстоятельствах. И если так, эта толстая дура уже спохватилась и мечется по овощным-молочным-фруктовым рядам, и плачет, и зовет ее, но та ведь НЕ СЛЫШИТ!!! И стоит, мечтательно глядя на какую-нибудь горку гранатов, она же такая приметливая и наблюдательная. И стоит, и стоит до самого вечера, до темноты опустелого гулкого рынка. Нет, это невыносимо! Молчать, молчать, молчать!

Часов с трех дня он просто переселялся во двор – оттуда хорошо просматривалась улица и автобусная остановка, к которой раз в полчаса, вздымая сердце, подваливал автобус, начиненный, как порохом, вспухшим

ожиданием, и на миг призрак коренастой фигуры Розы подхватывал под мышки и снимал со ступенек отчетливый призрак маленькой фигурки в красном пальтишке. Но автобус (еще рано, слишком рано, успокаивал он себя) с урчанием отваливал прочь в облачке бензиновой вони – бездарный, никчемный, пустой, хотя и переполненный толпой пассажиров.

Он сидел со стопкой рукописи на том же старом, валком венском стуле, сто лет назад выбракованном из семьи обеденных стульев, грозящем когда-нибудь развалиться под столь увесистым седоком, все чаще поднимал голову от листов и все меньше понимал написанное.

Договаривались к семи (в восемь ребенок уже должен спать, уместив атласную щечку на цветастом подушкином боку), но Роза вечно опаздывала, да и автобус ходил так себе, и часов с шести вечера Илья это опоздание уже предвидел, уже планировал, уже ненавидел, воскуряя в себе какую-то особенную, неистовую слепую ярость. Без четверти семь! – она, конечно, не успела сесть с ребенком в нужный автобус... А вдруг что-то стряслось? Наверняка что-то случилось, и теперь она воет белугой, боясь позвонить! Да! Да!!! Недаром у него было предчувствие с самого утра!

Илья вскакивал и бежал в дом – звонить немедленно, обреченно, мужественно, переглатывая горькую слюну, стараясь крепче держать трубку у уха, готовый ко всему (*о, на сей раз он не позволит беде застать себя врасплох!*)...

Само собой, ему никто не отвечал.

Из своей комнаты, опираясь на палку, выходила бабушка (в прошлом году она ломала шейку бедра, к удивлению врачей поднялась в свои семьдесят шесть лет и теперь ходила с палочкой). Говорила:

– Ну что опять? Что ты сходишь с ума!

– Эта дур-р-ра!.. – рычал он прерывисто (*да, все уже случилось, все кончено, я стою тут, еще не зная, что все кончено, что я потерял своего ребенка*). – Эта школьная дура, которая не в состоянии вычислить время выхода из дома, чтобы сесть на автобус вовремя!..

– Вон, проехал, – говорила бабушка. Он бросал трубку и мчался за калитку, а навстречу, отдуваясь, шла располневшая, поседевшая Роза, крепко держа маленькую лапку семенящей рядом внучатой племянницы, и та уже отчаянно вырывалась из тисков, чтобы, топоча ботиночками, броситься к бегущему навстречу отцу, который шутовски приседал и оголтело вращал глазами – «как последний идиот», по мнению Розы.

У них была выработана своя обиходная мимика – когда он решительно, раз и навсегда отмел всю эту мельтешащую пальцевую, локтевую и кистевую суетню и стал просто яснее артикулировать, иногда выражая что-то глазами, бровями, покачиванием головы. Впрочем, дочь уверяла, что слышит его даже из другой комнаты.

– Как?!

– Не знаю. Кожей...

Тот *первый ужас* вползал в дом медленно и неотвратно, словно удав, занимая все больше места, располагая свои вспухающие кольца всюду, куда ни глянь, все туже затягивая смертный холод на сердце отца.

Первой – воспитательница в яслях:

– Вы проверьте ребенку слух, я окликаю ее, она не отзывается.

– Как не отзывается? Прекрасно отзывается!

– А я говорю вам, проверьте: в два года ребенок уже всюду должен болтать, а она только какие-то слоги мычит.

– Ну и что? Это бывает – из-за короткой «уздечки».

Ни в чем не повинную «уздечку» под языком подрезали (орущая брыкливая Айя, вспотевший Илья и над ними – невозмутимая врачиха с тройным припевом: «Болтать будет – не остановите!»). И долго виноватый отец с зареванной дочерью заедали мороженым эту пустяковую операцию.

Затем бабушка:

– Знаешь, Илюша... Сегодня меня угораздило вазу разбить, ту, синюю, и прямо у нее за спиной. Грохот стоял, как у Ниагарского водопада. Она даже не обернулась...

Он подкрадывался к дочери (ужас ворошил мягкой лапой волосы на затылке, удав раздувался, заглатывая и переваривая его надежду, любовь и боль) и негромко звал:

– Айя! – И она оборачивалась! С этим своим слегка удивленным и в любую минуту готовым улыбнуться драгоценным остреньким личиком. Он хватал ее на руки и ритмично подбрасывал, отвлекая ее, приговаривая: – Ай-я! Ай-я! Ай-я!

В конце концов сдался.

И Разумович отыскал какого-то дорогого, особенного специалиста-сурдолога:

– Медицина должна быть самой лучшей, то есть самой дорогой, *концецитаты!*

Сурдолог по фамилии Рачковский принимал не где-нибудь, а в совминовской больнице на улице Джамбула. И летним днем, все на том же девятом троллейбусе, в котором сейчас витали, мирно сливаясь и просвечивая сквозь кресла и кабину водителя, призраки двух безумных старушек его детства, Илья повез двухлетнюю Айю на консультацию. Оставшиеся до встречи двадцать минут отец с дочерью с пользой провели в прекрасном ухоженном парке больницы: посидели в беседке, видели двух воробьев, подравшихся из-за чего-то микроскопического, и чуть не поймали крупную глупую капустницу, доверчиво сложившую крылышки на косяке беседки.

Потом поднялись в лифте и разыскали нужный кабинет.

Далее, как это случалось в зловещие моменты судьбы, Илья окаменел, закуклился и просидел так всю проверку, до объявления приговора. Когда наконец дочь вернулась к его коленям и встала меж ними, опираясь ладонями и подпрыгивая, до сведения отца был доведен диагноз:

– Несиндромальная нейросенсорная тугоухость, левое ухо второй степени, правое – третьей.

Несколько невыносимых мгновений они с доктором молчали.

– Что это значит? – тяжело дыша, спросил Илья. – Господи, что, что это значит?! Скажите нормальными словами!

Доктор Рачковский (внешне он поразительно соответствовал своей фамилии: маленький, скособоченный то ли детским полиомиелитом, то ли другой какой болезнью, но с неожиданно быстрыми, как у прибрежного рачка, ухватками) посмотрел на него выпуклыми глазами и мягко проговорил:

– Успокойтесь, мой дорогой. Я... понимаю ваше смятение и вашу боль. Вы будете очень медленно привыкать к этому обстоятельству вашей – и ее, конечно, – жизни.

Он улыбнулся девочке и подмигнул ей, протягивая плюшевого зайца, чья засаленная потертость свидетельствовала о выслуге лет в этом кабинете. Айя скосила глаза на отца и от зайца отказалась, энергично помотав головой.

– По шкале нейросенсорной тугоухости четвертая степень – это уже глухонемые, – продолжал Рачковский. – Но она – не немая. Отнюдь. Со временем она наденет слуховой аппарат и, возможно, с помощью логопеда и вашей неперменной помощью будет прилично говорить.

– Ай-я-а... – мучительно выдохнул Илья.

И девочка мгновенно обернулась к отцу со своей милой улыбкой.

– Да-да, – согласился доктор. – Во-первых, она слышит вас руками –

ведь она все время льнет к вам, все время нуждается в тактильном контакте, не правда ли? Во-вторых, у вас очень низкий и внятный голос, бас. Понимаете, от звука воздух вибрирует, и эту вибрацию девочка ощущает и идентифицирует на подсознательном уровне. В-третьих, у вас отличная артикуляция, вы четко лепите губами согласные, не проглатываете слоги, договариваете слово полностью, а она, умница, уже явно определяет слово по губам. Так что вы, извините меня, просто идеальный отец глухого ребенка. Ведь такие, как она, очень наблюдательны и чутки; как правило, они отличные аналитики и незаурядные имитаторы. Короче, они приспосабливаются к этому миру своими средствами. Вы меня понимаете? Вы меня слышите? – мягко повторил он, заглядывая Илье в лицо. Тот поднял голову.

– А... может она слышать пение канарейки? – спросил он.

– Вряд ли, – ответил доктор, явно озадаченный вопросом. – Как бы это вам объяснить получше... Она скорее услышит Шаляпина, чем Лемешева. Кроме того, очень высокие звуки могут вызвать неприятное давление в барабанных перепонках, бывает, что кровь начинает волнами приливать к вискам. Но, скорее всего, высокий звук просто до нее не доходит – слишком слабы вибрации...

– Погодите, – остановил он Илью, когда тот поднялся и, как оглушенная рыба, с дочерью на руках стал пробираться между кушеткой и креслами к двери. – Вот я пишу вам телефон великого логопеда. Ольга Романовна Гельфанд. Она чудеса творит, на нее молиться надо, как на икону. Да стойте же! Послушайте!

Он высвободился из кресла, бочком подскочил к Илье, обнявшему дочь, совсем крошечную на его руках, и, быстро опустив тому в карман пиджака записку с важным телефоном, придержал его локоть – выше просто не доставал.

– Главное, вот что, – серьезно проговорил доктор, глядя в глаза Ильи огромными сквозь очки выпуклыми глазами. – Относиться к ней как к ущербному или как к нормальному человеку – ваш и только ваш выбор. – И суховаато добавил: – Впрочем, в дальнейшем ее можно будет определить в специальное учебное заведение с пониженными, щадящими требова... – Ни за что! – оборвал Илья.

– Но вы должны отдавать себе отчет, что здоровые дети жестоки и почти всегда...

– Спасибо, мы вас поняли.

Врач помолчал еще мгновение, не опуская руки и внимательно изучая

этих двоих, словно должен был выдать справку о некоем особом родственном сходстве. Затем кивнул с явно удовлетворенным видом и буднично произнес:

– Удачи!

* * *

Она и в самом деле не слышала пения кенарей, но *понимала* его, так как любила прятаться и играть в исповедальне. По сути дела, эта темная утроба – душная, с клубком сложных запахов – была первой *терра инкогнита*, куда Айя сбежала, сильно напугав отца и бабушку, когда целых полчаса они искали ее, трехлетнюю, по всему дому, во дворе и даже в сарае.

Ее манила таинственная населенность пахучей пещеры. Отец переоборудовал исповедальню в обучающий шкаф, с отсеками для одиночных клеточек, с вмонтированными динамиками для прокручивания фонограммы. Там трепетала живая, очень чуткая пленная жизнь, – жизнь обреченных на пение желто-зеленых птичек. В то время Айя не отдавала себе отчета в ощущениях, не понимала, насколько отличается от других детей, но чувствовала смутную связь с крошечными пленниками. Правда, каждого из них в конце концов папа извлекал из клетки, и, радостно трепеща радужным веерком распахнутых крыльев, они летали по комнате.

Отцовских канареек, их мельтешливое присутствие в доме она с рождения принимала как данность. Позже научилась *понимать их пение* (Илья давал ей послушать кенарей в наушниках – звук в них пробивался слабо, зато явственно проникал прямо в ухо).

В свое время Илья переоборудовал подвал в канареечный заповедник. Там содержались молодые самцы, которым на рассвете и в сумерках, когда сонные птицы лучше усваивают песню, он ставил обучающую фонограмму.

В исповедальне же содержались отменные солисты, «за которыми глаза да глаз!» – их Илья муштровал особо, готовил к конкурсам и относился к ним с поистине родительской тревогой. Например, там отбывал срок дерзкий молодой кенарек с черным хохолком и железным клювом, раздалбливающим все, до чего удавалось дотянуться.

– Назовем его «Дикий Крушитель», а? Смотри, это настоящий панк. У него и хохолок, как ирокез. И он всегда смотрит мне прямо в глаза...

Со временем Илья привык, что дочь часто прячется в исповедальне, и не волновался: в задней стенке там были просверлены отверстия для воздуха. К тому же, в отличие от бабушки Зинаиды Константиновны, требовавшей, чтобы Айя всегда была на виду и ни минуты не оставалась без дела («можно лепить из пластилина! можно рисовать! можно складывать конструктор!»), Илья, отлично помня себя в детстве, никогда не мешал дочери уединяться, никогда ее не теребил, не торопил, лишь исподволь послеживал за странноватыми, рассеянными, не всегда объяснимыми обычной бытовой логикой ее перемещениями по дому.

– Ее нужно развивать! – иступленно повторяла бабушка, стуча твердым указательным пальцем по столу, будто ставя точки под приказами. – Она отстраненная от жизни, непрочная, задумчивая, замедленная... Надо ее развивать!

– Она прекрасно развита! – парировал отец.

Случайным доказательством этого на первый взгляд самоуверенного утверждения оказались шахматы, которым Илья вовсе не собирался Айю учить. Просто по воскресеньям он играл в шахматы с Разумовичем – шахматистом тот был сносным, и этими ритуальными воскресными турнирами Илья пытался несколько смягчить запрет в доме на флейту. (Дело уже не в канарейках; в конце концов, занималась же Гуля на веранде – под сурдинку, конечно, и птенцы в подвале вряд ли могли ее услышать, но скрипочка все же звучала.) Нет, сейчас он опасался, что высокие звуки любого инструмента спровоцируют у ребенка головную боль.

Пятилетняя Айя уже неплохо говорила, и за это низкий поклон великой Ольге Романовне Гельфанд, уютнейшей толстухе с отменным чувством юмора и басом погуще, чем у Ильи.

Дважды в неделю вечерами они ездили к ней домой, на улицу *Патрислумумбы*. Типичный для Алма-Аты двухэтажный домик в любую погоду приветливо желтел в глубине двора, буйно заросшего скумпией. Поднявшись на второй этаж (площадка была с вечно вывернутой лампочкой), в темноте они нащупывали на косяке пухлой дерматиновой двери кнопку звонка, такого же басовитого, как хозяйка.

И вот уже издалека топали энергичные слоновьи ноги, и плита желтого электрического света увесисто падала из открытой двери, а бас-контрабас Ольги Романовны выпевал какую-нибудь новую смешную заковыристую скороговорку, сначала ме-е-едленно, потом все быстрее, наконец прокручивая ее перед изумленными и очарованными гостями мелькающим

карусельным колесом. И занятия начинались.

Уже через полгода девочка говорила, забавно копируя манеру отца, повторяя за ним целые фразы хрипловатым, картавым, затрудненно пропевающим гласные голосом. Конечно, по сравнению со звонким чириканьем дворовых детей ее возраста это выглядело достижением более чем скромным. Но она все понимала по губам, с сосредоточенным вниманием вглядываясь в лица и отвечая с небольшим опозданием, будто обдумывая заданный вопрос.

Всем, кроме отца и Ольги Романовны, да еще Рачковского, у которого они появлялись раз в три месяца, ее развитие казалось замедленным.

Во время шахматных вечеров Разумович – для опоры больной спине – усаживался в старое кресло с высокой спинкой, обитой потертым велюром.

Илья помещался напротив, оседлав низкий табурет перед журнальным столиком с клетчатой деревянной доской, уставленной фигурами.

Обеими ногами встав на перекладину табурета, Айя привычно обнимала отца за шею и прижимала грудью, животом, щекой к его широкой сутуловатой спине (так герои сказок, припав к земле, выуживают из ее глубин топот коня под долгожданным всадником). Время от времени она вглядывалась, выпятив остренький подбородок, и обозревала поле боя. Так она могла стоять очень долго, до конца партии, до очередной ничьей... Что извлекала она из отцовской спины, какие могучие соки любви перетекали в ее худенькое существо, питая и успокаивая его? Может, задумчивые отцовы помыкивания в ответ на карканье Разумовича: «Ах, ты так?! Тогда мы пошли ферзем, *конеццитаты!*» – являлись неким важным витамином, связующим ее сознание с окружающим миром?

Бабушка, недовольная «этой кретинской неподвижностью», то и дело пыталась оторвать малышку от отцовской спины и услатить куда-нибудь: в кухню за орехами, в свою комнату – за швейной шкатулкой:

«Ребенок должен двигаться!» Айя не реагировала на призывы и окрики, бабушка сердилась и обзывала ее «древесным грибком» и «липучкой», возмущенно добавляя, что если в таком возрасте ребенок смеет не слушаться взрослых, то она не ручается за будущее.

Однажды, проследив за рукой отца, нерешительно витающей над шахматным полем, Айя заговорщицки проговорила ему в ухо:

– Жейтва пешки?

Возникла пауза. Разумович поднял голову с выражением лица скорее испуганным, чем изумленным.

Три глубокие параллельные волны на его широком лбу (на них всегда хотелось поместить кораблик) взлетели к слабо оперенной пустоши черепа, гладко выбритый подбородок провис, обнажив слишком ровную грядку нижнего протеза. Глядя на Илью поверх очков, он спросил вполголоса:

– Я не ослышался?

– Нет, – отозвался тот, не шевелясь над доской, продолжая как бы обдумывать ход, хотя сердце его так неистово заколотилось, что он испугался, не ощутит ли дочь этот бешеный топот. Не оборачиваясь, словно боясь расплескать драгоценный груз на своей спине, он ровно спросил: – Ты считаешь, жертвовать пешку, моя птичка?

– Та, – отозвалась она, не отнимая щеки. – Я так и поступлю.

Этот день стал счастливейшим в его жизни.

Илья разом смел все мысленные преграды, которые так или иначе возводила его робость, страх за психику ребенка (не утомить, не нагрузить!) и страх за собственную психику, которая не вынесла бы жесточайшего удара, если б выяснилось, что глухота дочери лишь сопровождает другие тягости, коим он сопротивлялся давать название.

Сейчас он уже знал, что ясный взгляд ее внимательных глаз и обостренная чуткость мысли – не мираж, не фантазия, не упования его родительского сердца, а реальность. Да: ее надо развивать, но развивать лишь уверенность в себе, физическую приспособляемость к миру, бесстрашие перед ним. Ее надо развивать, да: чтобы она стала лучше всех, умнее всех, талантливее всех! Его дочь еще задаст всем вам жару!

Буквально за два вечера он заставил ее читать вслух, ревушим басом трижды повторяя сочленения слогов. Выяснилось, что глазами она уже давно читает. А он-то, идиот, думал, что она просто рассматривает картинки в книжках, которые читал ей на ночь! Теперь он заставлял ее читать вслух по несколько страниц, сердился, если она отлынивала, дважды они ссорились, что напомнило ему их с бабушкой прежние отношения. Зато чтение вслух невероятно подвинуло ее речевой аппарат, даже Ольга Романовна была изумлена, когда, вернувшись из Кисловодска, обнаружила, что Айя свободно выговаривает почти все буквы.

В тот же период, вопреки бабушкиным сомнениям, Илья определил дочь на занятия гимнастикой и фигурным катанием.

Проходили они в центре города, на стадионе «Динамо». И раза три в неделю, отпросившись в редакции, он забирал Айю из дома и вез на встречу с тренером Виолой Кондратьевной. Молодая, крупная, резкая

в движениях, буйно кудрявая настолько, что ее хотелось называть Васькой Буслаевым, с широкими мужскими ладонями, которыми она отбивала – как отрубала – в воздухе музыкальные доли ритма, – была грубоватая Виола невероятно добра и терпелива.

В первую встречу, когда Илья сразу честно предупредил о *некоторой особенности* дочери, она замешкалась с ответом, явно озадаченная. Наконец, сказала, прямо глядя ему в глаза, сдувая со лба спирали непослушных кудрей:

– Боюсь, ничего не выйдет... ведь она не услышит музыки.

– Вот за это вы не беспокойтесь! – категорично возразил он. Со своей природной деликатностью, с пресловутым *бабушкиным воспитанием*, он становился нетерпим, если кто-то сомневался в способностях его дочери. Виола Кондратьевна еще пыталась что-то возразить, машинально запихивая былинные русые кудри под шапочку; тогда в тихой ярости он спросил: – А если я заплачу вам в два раза больше?

Она вспыхнула и резко ответила:

– Вы не поняли: я не торгуюсь!

– Я тоже!

Она опустила взгляд на девочку: та с кротким и пытливым вниманием переводила глаза с отца на прекрасную тетеньку. Виола Кондратьевна вздохнула и сказала:

– Ну хорошо. Давайте попробуем. Занятия начнутся пятого, в понедельник.

И занятия начались, и уже очень скоро Виола Кондратьевна ставила Айю всем в пример – а чего там особо хвалить, когда все так просто: ритм музыки прокатывает волнами по всему телу, и *нормальному человеку* чувствовать его совсем не сложно!

Конькобежную премудрость девочка осваивала с какой-то упоительной легкостью. Казалось, ей легче выделять на льду все эти «флипы», «змейки» и «елочки», все эти «крюки» и «выкрюки», чем, захлебываясь впечатлениями, вечером рассказывать о них бабушке (та требовала подробных объяснений, будто и не обращая внимания на спотыкливую, врасстяжку, речь девочки: волнуясь или сердясь, та начинала выпевать гласные).

– Так, «ласточка» – это понятно. А «пистолетик»? Это как? – настаивала бабушка. – Нет, не показывай, а расскажи.

– Ну-у... простая вещь: ты са-адишься... одну ногу вы-итянула... и кру-у... кру-у...

- Хватит! Она устала! – обрывал Илья.
- Нет, пусть доскажет! Мне интересно. Я присела, вытянула ногу – и что?
- И крутишься!!!
- Не кричи. Не «крутишься», а «вра-ща-ешь-ся».
- Повтори.
- Вра-а... вра-аст... раст... шаюсь...

Летом фигурное катание заменялось гимнастикой.

И в этом заключались свои волнения: на маленькую Айю не смогли подобрать в магазине спортивную одежду. Пришлось бабушке сшить ей гимнастический купальник из простой ярко-голубой футболки, прихватив ее внизу и разрезав на плече – так было удобно влезать двумя ногами через горловину. (Свитера и майки всю жизнь выбирались по широкой горловине, потому что самое страшное на свете – продевать в отверстие голову: *застрянешь, и тогда всё: законопаченное безглазье.*)

Младшие дети плескались в лягушатнике – в большой бассейн ребяtiny не пускали, там осадисто бултыхались пожилые бегемотихи из группы здоровья (жуть совместного мытья в душевой после занятий: скользкие барханы задов и грудей пожилых дряблых теток отвращали ее не на шутку, так что по возвращении домой первым делом она приникала к стеклу книжной полки в папиной комнате, за которым, с сияющим бликом на скрипке, с победно поднятым смычком, матово светилась улыбчивая мама, снятая кем-то из однокурсников на выпускном экзамене.

(– А ты тоже сидел в зале, папа?

- Да.
- И смотрел на маму?
- Да.
- Это тебе она улыбается?
- Да, Айя. И тебе тоже.)

...Но главным, конечно, были зима, каток, высоченные – под небо – стадионные прожектора (катались по вечерам) и никогда не ругавшая даже последних неумех Виола Кондратьевна, красавица-раскрасавица наша кудрявая.

Щекотной лаской то лба, то щеки, то носа касались шальные снежинки; на погруженных в мутную темень трибунах (несмотря на желтые луны прожекторов, света не хватало) сидели нахохленные мамы, среди них терпеливо и гордо возвышалась сутуловатая башня: папа. Айя среди

остальных малышей каталась в центре поля (по кругу носились оголтелые бегуны на коньках) и все время косилась в сторону отца – видит ли он, как она сделала «риттбергер», а потом сразу «аксель» и почти без перехода снова «риттбергер»? Видел ли, как чисто проделала вращение на двух коньках?

И главное, видит ли, как одобрительно потряхивает Виола Кондратьевна головой и обоими кулаками – «Мо-ло-дец!»?

Взрослые девочки лет восьми-десяти катались в «настоящих фигурных» костюмах – синих, малиновых, желтых, с короткими пышными юбочками, отделанными каждая на свой лад, чаще всего искусственным мехом. А уж длинная молния на спине, изгибавшаяся на поясице серебристой змеей, – вот где настоящий спортивный шик! Ничего-ничего, говорил папа, вот мы чуток подрастем... Пока же Айя каталась в рубчатых в резинку рейтузах и свитере, зато в настоящей конькобежной шапочке – маминой, синей, с желтой полосой.

Однажды во время занятий на верхних ярусах стадиона установили пушки, поставили по два солдатика у каждой, и те стреляли, взрывая и взлохмачивая воздух, поднимая тугую волну, обдающую тело горячим ахом. Девочки визжали и ладошками закрывали уши, а Айя совсем не боялась: было очень весело. Пахло дымом и порохом, прямо над головами вырастали и раскачивались, как кобры на хвостах, страшные и великолепные струи фонтанов, кусты и деревья, пышные крапчатые звезды, которые, вскипая радужной пеной, быстро осыпались и стекали по черному гляncу неба ужасными осками чьих-то фантастических морд. И после каждого залпа на лед катка сыпались покрышки от ракет, похожие на огромную кожуру от арахиса. И дети бросались их подбирать.

После холодного воздуха катка – в духоту раздевалки, где сперто пахнет мокрой от снега одеждой и взмыленными после тренировки хоккеистами. Потом долгое возвращение с папой домой: сначала несколько кварталов пешком, до остановки автобуса, затем нудная тряска в тускло освещенном и набитом людьми салоне (вечернее послерабочее время), с одними и теми же пассажирами: например, с теткой-бегемотихой из группы здоровья. Она в нежно-сиреновом пальто и таком же берете, с сиреновой улыбкой на приторных губах. Ставит Айю между колен, «чтобы не затоптали» (папа очень доволен и как-то льстиво ее благодарит).

Тетка своими толстыми жабыми губами всегда спрашивает одно и то же: как тебя зовут, сколько тебе лет, слушаешься ли ты маму,

ну и прочие глупости. У девочки же перед глазами огромный вислый теткин живот в мыльной пене, поэтому она старается не прислоняться – и скорей бы домой, к маме за стеклом книжной полки, где насмешливо сияют чуть прищуренные глаза над скрипичной декой.

– Она тебе улыбается, папа? – И тебе, Айя.

А еще через год, преодолев внутренний запрет на милые воспоминания, Илья впервые повез дочь на Медео, и с этим овально-медовым, леденцовым, дух захватывающим словом в их жизни появилась ликующая тайна двух заговорщиков: счастливые острова воскресных дней, куда они не допустили бы никого: ни бабушку, ни Разумовича, ни даже славную Виолу Кондратьевну.

* * *

Для рядовой публики каток был открыт по воскресеньям с самого утра.

И словно для того, чтоб прозрачная свежесть воздуха, снежные пики гор и цветная мельтешня лыжных шапочек и курток казались еще большим праздником, добираться туда – по вечному условию сказочных сюжетов – было делом утомительным и долгим: от дома до улицы Абая-Ленина, с дальнейшей пересадкой на автобус номер шесть. Или до Центрального стадиона, а там, выстояв очередь вдоль металлических турникетов, с боем ворваться в один из автобусов, одолев толпу себе подобных. Автобусы шли всегда переполненные, зато без единой остановки – прямо на Медео.

А там уже начиналось счастье!

Высоченные заснеженные пики Алатау едва тронуты карамельно-розовым светом раннего утра, так что темно-зеленые ели на склонах и в мохнатых складках ущелий кажутся совсем черными. И ты в яркой толпе (и все какие-то веселые, энергичные) идешь, да чуть ли не бежишь – по лестнице вверх, к громадному катку, а там уже музыка ритмично колеблет и вихрит воздух над слепящей плоскостью льда, где хаотично или по кругу катается разношерстная публика.

Вдоль кромки катка они доходили до первой же лестницы на трибуны и устраивались на деревянной лавке. Илья быстро, ловко, чуть ли не «наизусть» шнуровал ботинки на ногах дочери – ботиночки недешевые, из того сорта вещей, которые бабушка именвала «безумием»: высокие

белые, из натуральной кожи, с мехом внутри (ничего, что они тяжелее, чем из искусственной, сказал знакомый продавец, зато на ноге сидят, как лайковые перчатки, – сами пощупайте!). Да и коньки были отменные: лезвия – с зубцами на носках, чтоб фигуры накручивать.

Теперь куртки долой – и на лед. Накручивать фигуры.

Выезжали вдвоем, держась за руки: Айя поначалу слегка терялась на безбрежном ледовом поле, трудно же без привычки: людей много, есть наглецы, что носят как оглашенные, на беговых коньках с длинными лезвиями, а ими запросто ногу можно пропороть, да и бегут в два раза быстрее, так и чувствуешь спиной резкие хищные штрихи.

Едет вся цветастая цыганская толпа против часовой стрелки, но есть и такие, кто прет всем наперекор, вроде заядлого старика в трусах, с большим голым пузом наружу, от которого все шарахаются, а ему хоть бы хны: едет-посмеивается, пузо почесывает – жарко ему... В центре вообще броуновское движение – люди роятся, как мухи над сахаром; так с верхних трибун все и выглядит.

Позже, приучая себя к ее самостоятельности, преодолевая тревогу и ежеминутный порыв вскочить и бежать за ней на лед, Илья оставался сидеть на лавке, постоянно держа дочь напряженным взглядом, так что к концу катания глаза утомлялись и закрывались сами собой.

И хотя на катке был огороженный детский уголок, Айя довольно быстро вышла на «взрослый простор», сразу вписывалась в движение – и летела!

Ей нравилось ощущение резкого разворота, когда вначале катишь лицом вперед и вдруг одним движением корпуса, плавным махом бедра крутанешься – р-р-раз! – и уже спиной толкаешь воздух. В такие моменты она телом *слышала* короткий победный скрежет и резкие штрихи беговых коньков за спиной.

И когда – упоенная собственной ловкостью, разгоряченная, с малиновым румянцем во всю щеку – подъезжала к забору, отец торопливо разверзал утробу рюкзака, доставая приготовленные бабушкой бутерброды и пирожки, развинчивая крышку термоса с горячим чаем. Нарочито пыхтя, комично изображая свое «уфф!», она ковыляла к нему, разводя колени, по лестнице вверх, плюхалась рядом, бесцеремонно выхватывала из руки бутерброд и впивалась в него зубами. И минут десять жевала, страшно довольная, усталая, голодная, мыча – «ку-у-усно!» – а глазом уже косила обратно – туда, на лед, времени ж мало, каждую минутку жаль!

День разгорался. Мощно синела ровная небесная твердь, как чисто

выметенный пустой каток. Горные цепи высоченных пиков, многослойно и остро зубчатых, как разинутая акулья пасть, больно сияли белизной. Под ними перекрахмаленной скатертью, присобранной и приподнятой во многих местах чьей-то гигантской щепотью, топорщились горы пониже. И вот там, в этих крахмальных складках, постепенно смягчались, удлинялись и расплывались тени дня. Небо слегка уставало, синяя твердь размягчалась, приобретая лимонный оттенок, а из влажных урочищ всплывали и разрастались нежные лохмотья опалового мха...

К концу народ расползлся. Сверкающее темя сахарной головы катка расчищалось от цветных мух.

Как ни жаль было отрывать дочь от удовольствия, Илья принимался звать ее – махал руками, грозил кулаками, изображал рассерженное топанье. Она смеялась или вообще делала вид, что не замечает его пантомим. Наконец, подъезжала, в последний миг тормозя перед заборчиком – утомленная, распаренная (отец озабоченно щупал изнанку свитера на спине), прерывисто дыша морозцем. Переобувалась и вскакивала на ноги, непременно пружинисто подпрыгивая много раз.

– Ноги легкие? – улыбаясь, спрашивал отец, отлично помня это чувство.

– Сейчас полечу! – раскидывая руки и кружась, кричала она.

И по-прежнему вдоль дороги стояли шашлычницы, воскуряя фиолетовый пахучий дымок (но мы – домой, домой! бабушка ждет к обеду!), и по-прежнему под мостом брэнчала льдом и камешками горная речка. Только не было Гули, и с угасанием солнца в воздухе гор меркло и угасало в его памяти плавное кружение синего платья на льду катка; синий волчок, чье острие до сих пор ночами вонзалось в сердце.

На обратной дороге в автобусе Айя, слегка чумная от кислорода, непременно засыпала, привалившись к отцу всем телом, сползая головой в его колени: довольно долго (пока годам к десяти не вымахала в приличную дылду) на пересадке он, жалея ее будить, выносил на плече и так стоял со своим драгоценным грузом на остановке, ожидая второго, городского автобуса до дому.

И после был еще тихий домашний вечер – пушистый хвост воскресенья, долгий-долгий, чае-варенье-варенье, переливчато-канареечный, шахматно-задумчивый, пасьянсовый вечер умиротворения всех богов.

Первые дуновения свободы – пока еще только мускульно-радостной,

пока еще под зорким приглядом отца – она ощутила в минуты, когда летела на коньках, кожей чувствуя ритмы музыки сквозь морозец и ветер, ожигающий лоб. От движения высвобождалась ее душа, летя навстречу приветливо распахнутому миру. В бесстрашии ее натуры, в бродяжьей цыганской тяге, что позже вспыхнула в крови солнечным пучком, выжигая в ее душе тавро ликующей свободы, содержалась, возможно, толика того ветра воскресных дней на Медео, с которым она породнилась в детстве. Того сильного ветра гор, что отвечивал поощрительные оплеухи, подгонял в спину и учил подниматься со льда.

К десяти годам это была крепкая, ладно сложенная девчушка с тугими икрами, мускулистой попкой, прямой спиной и довольно сильными тонкими руками. В ее повадке сквозила неуловимая мальчишеская милота́.

Уже было ясно – по размеру ноги, по кистям, вообще по пропорциям ее небольшого увертливого тела, – что очень высокой она не вырастет, ну и ладно. От матери она унаследовала овал лица с высокими скулами и острым трогательным подбородком и длинные ласточкины брови. Глаза были отцовскими, но не темными, а светло-карими, с зеленцой, что избирательно вспыхивала то в аллее яблоневых садов, то под зеленой кожей рассветного или сумеречного неба и всегда победно сияла в окружении леденцовых бликов катка.

Вьющиеся каштановые волосы, тоже отцовские, доставляли ей ужасную мороку, особенно на соревнованиях: как ни завязывай их, а выскальзывают и, своевольные, разлетаются, мчатся на ветру как бешеные, заматавая глаза и зализывая щеки.

А о том, чего стоила ей постоянная битва – это ежеминутное пробивание брони между собой и безжалостно звучащим миром, – свидетельствовали тяжелые провалы в сон, что случались время от времени и продолжались дня по два, по три: она падала без сил и засыпала, и все спала и спала, будто опоенная сказочным зельем, не отзываясь на тревожные прикосновения домашних, иногда что-то жалобно мыча на требования бабушки «не валяться, как падаль, а встать и, по крайней мере, выпить чаю!».

Ее школы, которую она ждала с радостно-таинственным нетерпением, Илья панически боялся. Игры с дворовыми приятелями в счет не шли – все это были дети и внуки старых соседей, почти что родственников; к тому же ее доброжелательность, открытая ясность душевных намерений, мальчишеская прямота и страсть к справедливости в играх всегда умирляли самых отъявленных забияк.

– Папа! Я чемпион по рельсе! – объявила однажды, и он ее понял.

С незапамятных времен на их улице существовала такая забава – чугунная рельса на врытых в землю подставках. И бревном служила, и козлом, и все физкультурные упражнения, все детские игры и все увечья происходили от этой рельсы. «Чемпион по рельсе» еще во времена его детства означало вершину ловкости. Означало, что его бесстрашная прыгунья легко оседлала дворовый Олимп.

А вот предстоящей школы – боялся. Он и свою-то ненавидел все годы учебы. Но мысль, что шесть или восемь часов его девочка будет обречена одна противостоять возможным насмешкам и издевательствам жестоких чужих детей, – эта мысль просто сводила Илью с ума. Некоторое время он даже колебался – не послушать ли давнего совета сурдолога Рачковского, не определить ли ребенка в «специальное учебное заведение с пониженными, щадящими требованиями», но в ярости задушил этот трусливый порыв.

Накануне первого школьного дня, когда новенький ранец со всей восхитительно пахучей начинкой из магазина «Канцтовары» уже стоял на полу около «рыдвана», доставшегося ей в наследство от Зверолова, Илья посадил дочь на стул перед собой, положил ладонь на острую коленку и твердо проговорил:

– Они жестокие, глупые, завистливые. Все! За редким исключением.

Его воспитанная бабушкой манера изъясняться, внятно и без лишних слов, в общении с дочерью обрела форму почти совершенную. Просто всю ее душевную отвагу, ее страхи и оборонительные приготовления он ощущал как свои. Сейчас ему не нужно было уточнять, кто такие безликие «они». «Они» – это был весь мир, другой мир: здоровый, ушастый, равнодушный, подловато-изворотливый, сбивающий на переменках с ног.

– Они не терпят, когда человек в чем-то... отличается от них. В компаниях, в классах, в группах – они всем дают клички.

– Я знаю, папа, – ответила Айя, с готовностью глядя в его лицо.

Всегда чувствовала – по выражению глаз, что ли, по мимике губ, – за какой его фразой последует продолжение, важное продолжение, которое надо принять к сведению.

– Скорее всего, и я думаю, непременно, – тебе дадут кличку «Глухая».

– Я тоже так думаю.

Он помолчал, крепко сжал и отпустил ее коленку.

Поднялся со стула, распрямил плечи и проговорил, легко улыбнувшись:

– Как только тебе там опротивеет, хотя бы и к концу первого дня, мы найдем другую школу.

Она улыбнулась в ответ, глядя на него снизу вверх:

– И там мне дадут другую кличку, папа?

* * *

Так вот же тебе, вот тебе, вот тебе! – торжествуя, повторял он то ли себе, то ли бабушке, возвращаясь домой после первого – спустя неделю учебы – знакомства с учительницей. И в сотый раз хвалил себя за «недопустимое легкомыслие и страусиную трусость», по словам бабушки, которая считала, что *о девочке надо предупредить заранее*: «Расставить все флажки, заставить их быть начеку, нагнать на них страху!» – и так далее. Ничего этого не понадобилось.

– Как глухая?! – потрясенно переспросила Фаина Равилевна, веснушчатая курочка-ряба с острым носиком-клювом и тревожными круглыми глазами. – Не может быть! Ни за что не поверю! Мне, с моим опытом... да не разглядеть такого?! – Она разволновалась до слез. – Почему вы меня не предупредили? Я бы ее на первую парту... и дополнительные занятия... – Зачем? – осадил он ее.

– Ну, н-не знаю... – Она растерялась. И впрямь – зачем? Эта первоклассница, в отличие от многих детей, уже бойко читала, хорошо писала, знала все цифры и *совершала с ними действия*. А главное, с такой готовностью и внимательной прямоотой смотрела в лицо учителю, не отвлекаясь ни на минуту, – большая редкость для ребенка в этом возрасте! Вот разве что с логопедом ей неплохо бы позаниматься, устранить кое-какие дефекты речи... И еще, что отличало эту девочку от остальных детей: она уклонялась от игр в группе, предпочитая общаться с кем-то одним, с доброжелательным вниманием глядя сверстнику в лицо. – Ей, вероятно, нужен особый подход? – Курочка-ряба с готовностью тряхнула головой, словно зернышко клюнула. – Может, освободить ее от какого-то урока? – Еще одно зернышко носом-клювиком.

Илья подумал и сказал:

– От пения, пожалуй...

...хотя сам пел ей с младенчества. Пел что попало, что в голову взбредет. Слух у него был малопопослушный, нечуткий, в свое время над его *петухами* и *рычками* еще Гуля посмеивалась. Но Илье казалось, что он должен – именно в память о покойной жене – *тренировать* в дочери чувство музыки. Вот и скрипку берег – в футляре, укутанную лоскутом синего бархата. (Зачем? Самому было трудно объяснить – зачем. Гулины слова вспоминались: мол, скрипка – ближайший родственник голосу, она способна обидеться на хозяина и отплатить ему – добром или злом.)

Одним словом, ему упрямо хотелось, чтобы Айя *тоже* слушала колыбельные. И она *слушала*, уже закрыв глаза, медленно перебирая пальцы его руки своими теплыми сонными пальцами.

А в колыбельные годилось все, как в походную уху, – и куплеты, что напевал когда-то Зверолов, и романсы, что так чувствительно и звучно исполняла сумасшедшая тетка в троллейбусе: «Опустел наш сад, вас давно уж нет...», «О, если б мог выразить в звуке...». Ну и, конечно, не обходилось без семейного: жалостно-раздольных «*Стаканчиков* *граненых*», по пленительной эстафете канареечных поколений перешедших к Желтухину Третьему, тоже артисту не из последних, который и исполнял их – о, если б мог выразить в звуке! – с особенным блеском.

* * *

...Спустя лет двадцать ей довелось опознать эту песенку по совсем чужим губам – в бухте острова Джум, в Андаманском море, где мало что изменилось за последние лет триста.

К тому времени она рассталась с Раулем, хотя его засаленные дреды и пегая борода Карабаса-Барабаса еще мелькали там и сям среди бунгало морских цыган, обитавших на восточном побережье острова в трех рыбацких деревушках. Этот проходимец шлялся по окрестным отелям и забегаловкам в надежде, что кто-нибудь из знакомых тайцев, которых он, как и многие живущие здесь иностранцы, держал за олухов, клюнет на его побасенки и раскошелится. И самое странное, что так оно и бывало – его ссужали деньгами, даже понимая, что назад не вернется ни гроша.

С африканером Раулем она познакомилась на одном из пляжей на юге Таиланда. В то время она носила на шее «анкх», большой коптский крест –

очень сильный драматический оберег, не терпящий поблизости присутствия того же знака. Так вот, у Рауля «анкх» был вытатуирован на плече. И надо было сразу понять, что два «анкха» должны держаться друг от друга на приличном расстоянии, иначе добром все это не кончится. Оно и кончилось большой дракой, после которой этот засранец добрых три дня провалился в чьем-то гостеприимном бунгало. Он не знал, как умело девчонка дерется: ей стоило только представить, что на ногу конек, тот самый, из детства, и удар становился точным и болезненным, тем более что работа в ночных пабах Сохо и Нью-Кроссгейт на юге Лондона научила ее, куда следует бить, когда имеешь дело с обдолбанным мужским быдлом.

Рауль, давно застрявший на местных островах, подрабатывал пиратом на своей «лонг тейл» – длинной тайской лодке. Нарядившись в костюм капитана Сильвера – треуголка, обтерханный кафтан, препоясанный толстым ремнем, кюлоты и заткнутый за пояс декоративный кортик (не говоря уж о непременной черной повязке на глазу), – возил туристов на отдаленные необитаемые островки, палить там костры, купаться и рыбачить; словом, предоставлял всем жаждущим «дикую и опасную свободу в непроходимых джунглях».

– Для пуцего антуража тебе следовало бы кого-то из них грабануть, перерезать горло да пустить на дно, – заметила ему Айя при первой встрече. – Если уж мы говорим о настоящей романтике.

Какое-то время все это ее страшно увлекало, да и количество нежданных типажей быстро пополняло коллекцию портретов для давно задуманной фотовыставки. Но очень скоро ей надоели и туристы, и костюмированные поездки, и вздорный характер нового сожителя. Надоело все! Она избила и прогнала Рауля, перестала брить половину головы (недели через две та оперилась мягким ежиком, зато на другой половине волосы отросли настолько, что закрывали глаз и щеку), извлекла пирсинг из ноздри, бровей и верхней губы, лишь одну оставив серьгу в левом ухе – ту, что из царской монеты, еще от Зверолова.

Сейчас ее девизом стало: «Художник самоценен и в эпатаже не нуждается!»

В разгаре был сезон дождей, деньги давно кончились.

Она жила в бунгало у Дилы – маленькой улыбчивой смуглянки, похожей на колобок, упакованный в алую блестящую парчу. Дила имела диплом каких-то учительских курсов, была грамотной и потому почиталась местными за женищину выдающегося ума. Айя ходила босиком и пробавлялась на гроши, которые сшибала игрой на бильярде с местными

полицейскими; те ей покровительствовали и даже прикрывали по доброй памяти, еще со времен ее нелегальных «пиратских» заработков с Раулем.

За ее плечами уже были Лондон, учеба в арт-колледже, участие в нескольких интересных фотовыставках, изнурительная пахота на Джеймса Баринга в его долбаном рекламном агентстве, три безумных любовных интрижки, одна попытка самоубийства, глупейшие побывки в полиции за – тошно признаваться – пьяные дебоши.

Наконец, она сбежала в Азию, где месяца три болталась по Вьетнаму, Камбодже и Лаосу.

Она мечтала когда-нибудь сделать грандиозную фотовыставку под названием «Человек Азии»...

Если иногда кто-то из симпатичных туристов или местных обитателей соглашался на ее уговоры посидеть («полчасика, не больше!»), – она предавалась любимейшему занятию: вконец умучивала модель, заставляя сто раз менять позы, расстреливая человека дробью кадров со всех сторон, обегая его, досылая выстрелы снизу, сверху, добиваясь настоящей прострации. И спустя минут двадцать такого позирования эта самая прострация наступала: человек спускал все защитные накопления, как карточный игрок – последние гроши, и сидел с очумелыми глазами, пустопорожним лицом и абсолютным отсутствием мысли: идеальное состояние для портрета.

Этот маленький остров, расположенный между Краби и Ко Ланта, можно было объехать на велосипеде (хотя по нему лихо разъезжали и несколько мототакси). Более всего он напоминал случайное пристанище Робинзона Крузо, и, если не считать нескольких отелей в стиле «кантри» и с десятком забегаловок, был немногочеловечен.

В бедном, пустом и тесном бамбуковом бунгало хватало места не только Айе (у добросердечной Дилы она жила бесплатно, «как дочь»), не только косой безумной старой деве Росе, гениальной поварихе, что в свободное от готовки время колотила по коже потертого барабана, заливаясь диким смехом, но и множеству самых странных личностей, которых выносил сюда океанский прибой.

Все это был немолодой потасканный сброд со всех уголков мира – иногда забавный, чаще неприкаянный, истерзанный жизнью и неизлечимо больной; люди, которых носит по свету с юности. Каждый являлся со своими невероятными историями, рассказанными – как в средневековых новеллах – у костра: «Когда я тридцать пять лет назад бродил

по Афганистану в самый разгар войны...», «Когда я двадцать лет назад возил гашиш из Африки в Глазго...» Каждый старался переплюнуть другого в перечислении ужасов, унижений, несчастий, людской несправедливости и пережитой боли.

Они исчезали, возвращались, оставались здесь подолгу, днем блуждая по острову, валяясь на белом песчаном пляже или просаживая последние гроши в дешевых пабах, вечером сползали на огонек к Диле. А она, колобок-коротышка, покачиваясь в гамаке, пела тягучие цыганские песни под барабанный треск, шлеп и рокот ладошек безумной Росы.

Вокруг костра стояла кромешная тьма, над головой вздымались и пересыпались звездные барханы, в воде бухты что-то мерцало – кажется, то был фосфор. В полнолуние вода становилась совсем прозрачной, и если опустить в нее руку, следом тянулся шлейф мерцающих искр.

Вся эта пряная экзотика, все эти лица уже были запечатлены камерой и больше Айю не интересовали.

Она не знала, что здесь еще делать. Восторг первых месяцев обжигания острова, как и блаженное чувство безопасности, испарился. Картины празднования, похорон и свадеб морских цыган залиты на диск компа и отсортированы. Этот кусочек суши, со своими пальмами и лианами, с белыми языками пляжей, вылизывающих блескучую синюю сферу неба-моря; простодушные местные люди со своими причудливыми бамбуковыми хижинами на ходулях; приморенные впечатлениями туристы, как блохи скачущие с острова на остров, – все осточертело, и она скучала: эх, были бы деньги...

Когда кончился сезон дождей, она стала выходить на берег и там бродила в ожидании паром из Краби.

Причала на острове не было, так что паром сбрасывал туристов недалеко от берега. Издали завидев его приближение, местные жители уже направляли к нему свои длиннохвостые, легкие и быстрые, как стрижи, лодки.

Айя надеялась на какое-то чудо: вдруг в одной из лодок окажется кто-нибудь знакомый, и можно будет перехватить денег на дорогу до Краби, а оттуда – на Бангкок или куда угодно, где есть цивилизация, выставочные залы, галереи, лаборатории для проявки и печати наработанных снимков.

Посреди уютнейшей бухты по пояс в воде сидела курчавая зеленая скала с макаронинами мокрых лиан на макушке, словно морская пучина

в результате природного катаклизма только что извергла чью-то гигантскую мятую башку со свалявшимися дредами. Айе нравилось изо дня в день смотреть на эту плюшевую дылду, она скучала без гор на горизонте, ей не хватало их для устойчивости и ориентира.

Стоял обычный для этой поры бесконечный райский день, предъявлявший наблюдателю все то, что каких-нибудь три месяца назад казалось Айе волшебным сном: сапфировые воды залива двигались, как весенний луг под свежим ветром; каракулевые облачка отзывались такому же белому песку длинных шелковистых отмелей. Искрящийся горизонт, голубые тайские лодки, высоко вознесенные гривы кокосовых пальм, а под ними несколько бамбуковых бунгало на сваях.

Невероятная тощица, хоть прыгай в море и плыви... куда-нибудь.

Она стояла, неподвижно вглядываясь в обморочную бесконечность воды: просто ступить и пойти, покатить на коньках по этой глади, как по льду, и долго катить, хотя бы до Краби. Так ясно представила эту картинку, что улыбнулась и хмыкнула: было бы здорово.

И буквально в ту же минуту из-за скалы в море показался человек с чем-то похожим на посох в руках, и человек – о, боже, так ведь это и выглядело! – стоял на волне, как Христос на водах галилейских, и довольно быстро двигался к берегу.

Она тряхнула головой, чтобы сбросить видение, и одновременно схватилась за камеру – та, как у любого профессионала, будь то охотник или фотограф, всегда была под рукой.

Ах, вот в чем дело, с облегчением поняла она: этот тип стоит на доске, отсюда незаметной. Как это называется – виндсерфинг, бодибординг? или что-то вроде...

Как внезапно он вынырнул из-за скалы!

Судя по всему, человек был совсем молод: росту невысокого, сложен аккуратно, даже грациозно. Мальчик, что ли? Его резная фигурка стоит на доске, руки ловко вращают двулопастное весло, огребая волну то справа, то слева.

Солнце било ему в спину, сияя нимбом над головой, выжигая жарово бликов вокруг доски. Ах, сколько золота! Прямо церковная утварь, а не кадр!

Была в этой картинке упоительная легкость слияния разных поверхностей: неба, воды, тонкого человеческого тела на фоне плюшевой, с лохмотьями мха, морской скалы... Да-да, так! Стой так, мальчик, стой, миленький... Она скомпоновала кадр, сняла. Еще раз. Какая воздушная

картинка: танцующая на воде стрекоза.

Теперь лицо взять крупнее...

Выждав минут пять, пока он подойдет ближе к берегу, она вновь скомпоновала кадр. В фокусе оказалось лицо отнюдь не мальчика – мужчины, и очень интересное лицо: жестокое и одновременно женственное. Умное и одновременно легкомысленное (будто коверный-эксцентрик на время взялся заменять актера, игравшего, например, Гамлета в сцене явления Призрака, и реплики страдающего принца путаются с цирковыми репризами).

Прожигающие глаза, молниеносные руки из тех, что, как говорит папа, «ловко вяжут узлы судьбы»... Этого человека, подумала она, никто не застанет врасплох, этот – всегда защищен. И, похоже, вовсе не так молод, каким кажется отсюда, с берега.

Стоп.

Она вдруг поняла, что видит это лицо не впервые. И поняла не в первый миг лишь потому, что в прошлый раз он был одет, да еще как одет – в дорогой модный костюм.

Врожденная, скомпенсированная, обреченная на острую зрительная память тут же и предъявила зал кафе в центре Вены, где Айя подрабатывала на кухне, по своей привычке сторонясь многолюдства. А в тот день обслужила столик только потому, что Шандор, официант, упрямил: ему позвонили из дому, что сынок упал на детской площадке и сломал руку, – Шандор помчался домой, а готовый заказ тем двоим вынесла Айя.

И скорее всего, быстро о них забыла бы, если б не примечательная внешность молодого: он был обрит наголо и похож на утонченного саудовского шейха, обработанного каким-нибудь Кембриджем или Сорбонной. Другой был стар, с клочковатой сединой вокруг бугристой плечи, с пристальными глазками битого жизнью кабана.

Конечно, к вечеру она перестала о них думать; мало ли какие посетители заходят в известное кафе в центре Вены – калейдоскоп самых невероятных лиц. Но буквально следующим утром, проходя мимо афишной тумбы, увидела лицо юного шейха на афише: в концертной бабочке и с бликом в улыбке – что-то такое он, оказывается, пел в Карлсكيرхе, какую-то кантату или еще что-нибудь не менее отстойное – короче, шизу зеленую...

Ну и ну, думала она, – столкнуться здесь, на острове, в чертовой дали от Вены, от Европы...

Ага, еще разик, вот так... Он классно сложен, этот шейх – тонкий,

ломкий, хрусткий... просто «Пастушок» Донателло. Жаль, нельзя раскрутить его на сессию снимков. Что-то не пускает ее – подойти, навязаться.

Ладно, вон уже и паром показался.

В последний раз она изменила зумом план: лицо идущего по водам оставалось неподвижным, лишь губы едва шевелились. Не иначе, кантату свою репетирует.

Непроизвольно она вслушалась... И тут ее как ледяным ветром ожгло. Нет, он не был защищен. Во всяком случае, не от нее, умеющей читать по губам. Потому что услышала она такое, от чего чуть не села прямо на песок.

В этих чужих, очень пластичных и легких губах профессионального певца бездумно кувыркался и нежился, то потягиваясь, то озорно подскакивая, ее родной-семейный куплетик – будто отцово дыхание донеслось: «Стакаанчики гра-ане-ны-ия... у-упа-а-али со-о стола...»

Высокие тополя в школьном окне: осенью желтые-желтые, как Желтухин Третий, в мае – сначала зеленоперые, сквозистые, потом облитые серебристым трепетом беспокойной лохматой листвы, от которой по парте мечутся ушастые солнечные щенки. И тенистая дорога в школу по тополиной аллее вдоль арыка – все камешки, все выбоины ее, и тот пышный сиреневый дым весной в конце аллеи, где выстроились высокие кусты сирени. Она любила эту дорогу.

И школу любила, и никто там ее никогда не обидел. Так только, однажды в седьмом классе волосатый, как орангутанг, бугай-второгодник, свалившийся к ним из другой школы, окликнул ее на перемене: «Эй ты, глухарка!» – за что в тот же день был отмечен на волейбольной площадке Сашкой Семякиным и Булатиком Ужкеновым.

Еще она обожала многодневные походы всем классом: летом – на Иссык-Куль, через Алматинское ущелье, или в Тургень, или на Большое Алматинское озеро – ледниковое, ледяное, дымно-голубое, как алмаз. Ходили в урочище Чимбулак, где смирные и густошерстные, как лохматые сумки, яки пасутся на лиловом поле цветущих горных хризантем. Весной можно пойти за подснежниками на «прилавки» и бродить там целый день: выйти на речку, сидеть на камне, глядя на искристую, струистую, пятнистую, как змея – от россыпи камушков на дне, – шкуру воды...

А россыпь золота листьев – осенью, в Ботаническом саду или в Парке двадцати восьми гвардейцев-панфиловцев: пружинно-ржавое золото под ногами, желто-канареечное – над головой, и все сливается вдали в мягкое сияние, с синей сердцевинкой неба на мушке жадного взгляда, всегда нащупывающего дорогу...

А дорога начиналась дома: больше всего Айя любила обстоятельное складывание рюкзака. Кофе всегда варил папа, и большой, круглобокий, как торпеда, немецкий термос долго держал и нежил чудесный напиток. Затем складывалась одежда – ветровка с капюшоном, свитер даже летом (в горах ночью холодно), вторая пара джинсов. Особенно тщательно проверялась обувь. Отец, у которого и самого была слабость к хорошей обуви, всегда покупал Айе лучшие кроссовки – полдела для хорошего похода.

Во всей этой подготовке уже зрело предчувствие дороги, зародыш ее, невидимое присутствие, которое росло в сердцевине души как на дрожжах. Дорога начиналась дома и могла начаться где угодно. Айя чувствовала, что неизбежность дороги может настичь ее в самых разных местах. Неизбежность дороги, потребность дороги, ее ритм, ее ветер – преодоление пути...

В походах их всегда сопровождал Климент Нилыч – муж классной руководительницы, беззаветный школьный активист, душа-человек.

Маленький, каракатый, с белоснежной скобой волос, стриженной надо лбом такой ровной полосой (словно бритвой срезано), что казалось, голова прихлопнута начищенной до блеска жестянкой. Был он фотограф-энтузиаст, и после каждого похода в фойе школы вывешивалась стенгазета с собственноручно наклеенными им снимками – смешными, памятными или просто умопомрачительно-пейзажными. Правда, его манера всюду влезать своей камерой посреди разговора или вперебивку песни у костра слегка раздражала, но был он добрейший дядька, все умел в походе, вечно таскал на горбу какие-то аптечки, колышки, разрозненный инвентарь для разных походных нужд, так что вездесущий его объектив ребята терпели.

За секунду до того, как нажать на спуск, Климент Нилыч кричал: «Момент!» Затем поднимал большой палец и самого себя хвалил: «Сила!» Само собой, дети переименовали его в «Момента Силыча».

Айя избегала его, так как Момент Силыч говорил трясучим тенорком, слегка заикаясь (а она в то время еще *выбирала* себе людей для разговора, пока не поняла, что тембр голоса и манера говорить – не самый

безошибочный критерий выбора).

* * *

В девятом классе, в конце июня, небольшой группой они шли на озеро Иссык – то, что выплеснулось почти полностью во время селя в 1963 году. Все равно там было очень красиво: гигантские ели, как стада зеленых лохматых яков, гуртом паслись на скалистых отрогах, осторожно спускаясь по склонам.

На привале, когда группа распалась – кто побрел собирать цветы, кто спустился к озеру, кто просто завалился вздремнуть в тенечке, – Момент Силыч отлучился по надобности, перед тем с превеликой осторожностью, как младенца, обустроив фотоаппарат на расстеленной куртке, долго сооружая и подворачивая для безопасности высокие борта.

Айя дождалась, когда он скроется за елями, подкралась к камере, осторожно подняла ее и приблизила к глазам видоискатель. Ей пришло в голову «сфоткать» физиономию кого-нибудь из ребят в минуту, когда тот не подозревает, до чего смешна его рожа (вот обалдеет Силыч, когда среди снимков обнаружит неизвестный ему кадр).

Но едва ее глаз приник к волшебному окошку, сквозь которое мир вдруг строго ограничился и в то же время как бы сгустился, углубился, вдруг став *картиной*, она замерла и все держала и держала у глаза этот миг, длила его в растерянном и восхищенном любовании.

В кадр попали три кедра – три богатыря – и спина наклонившейся за цветком или грибом Наташи Магометовой. Айя вдруг почувствовала, что хочет *оставить себе этот миг. Навсегда* (необоримая жажда власти над временем, ради которой, по сути, она и будет носиться по свету спустя каких-нибудь несколько лет).

В ту секунду, когда палец нажал на спуск, что-то эфемерное пронеслось в кадре: воздушно-пестрый сор, досадно запорошивший поле снимка. Она подняла голову: стайка аполлонов, протанцевав вокруг ели, поднялась еще выше и скрылась порхающим косяком.

Девочка аккуратно уложила камеру в гнездо из куртки и, пока не вернулся Момент Силыч, бродила неподалеку, то и дело оборачиваясь и посматривая на фотоаппарат в задумчивом волнении.

Дня через два (Айя еще не вернулась из школы) к ним домой нагрянул Момент Силыч. Был он торжествен, даже строг и всем видом изображал серьезные намерения. Илья, который в ту минуту был страшно занят

в подвале – рассаживал молодых самцов по клеткам, – удивился, обеспокоился, но все же предложил кофе. И пока молот зерна в ручной мельнице, пока топтался у плиты в ожидании, когда подойдет пенка, его волнение росло, набухая самыми невероятными предположениями, – еще бы: едва знакомый человек вваливается, с порога объявив, что дело касается «вывашей девочки».

Вернувшись в столовую с полной джезвой и керамическими чашками, он увидел, что фотограф сидит все так же прямо, с тем же грозным видом, положив на стол ладони, большими пальцами придерживая меж ними фотографию, точно та могла подняться в воздух и улететь. И молча, значительно, заговорщицки – глазами и подбородком – указывал на снимок. Что, черт возьми, панически пронеслось в голове у отца, может быть там зафиксировано?

На снимке – Илья мысленно сразу назвал его «Поклонение идолам» – высились три исполинских кедра, под которыми кто-то (не Айя, не Айя! – первым делом, и почему-то с облегчением) стоял на коленях в высокой траве, словно молясь божеству.

Илья как-то сразу успокоился и стал уже внимательней рассматривать тонкую, будто просвеченную солнцем девичью спину, мощные, зримо шевелящиеся ветви раскидистых кедров, брызги солнца на траве и кустах...

И – удивительно, как это удалось фотографу; видимо, снято мастером, а может, это какой-то трюк? – по всему снимку была рассыпана целая пригоршня крупных аполлонов с желтовато-белыми крыльями в черных и алых крапинах. Весь снимок – сквозистый, крапчатый, с густо перемешанными, танцующими бликами солнца, с танцующей стайкой аполлонов – был пронизан невыразимой красотой и грустью угасающего дня.

Так и не понимая, зачем ему предлагают изучить этот и вправду удачный кадр, Илья продолжал разглядывать фотографию. Трудно было отвести взгляд: в этом небольшом прямоугольнике была такая многозначная глубина и высота неба, такой осязаемый объем невозвратного мгновения...

– Ну, кы-как? – спросил фотограф. – Хороша фы... фы-оточка?

Илья поднял голову и посмотрел на него.

– Это не фоточка, – медленно отозвался он. – Это картина.

– Правильно! – с торжественным нажимом воскликнул Момент Силыч и забарабанил пальцами по столу, держа паузу, как заправский актер. – А автор ее – вы-ваша дочь!

Потом Айя приспособилась к его брызжущей пунктирной речи, и когда уж совсем они были накоротке – так, как могут быть близки только настоящий учитель и настоящий ученик, – она бесцеремонно заставляла его повторять то, чего не поняла. Если же сидели в темноте, проявляя снимки, и она не видела его лица (темнота – враг глухого) – просто клала руку ему на плечо, *прослушивая* замечания.

Он вел кружок фотографии в подвале Дворца пионеров на Березовского, недалеко от школы. Кроме Айи туда ходили еще двое, студенты художественного училища Миша и Ваня, великовозрастные бывшие пионеры, которые так и застряли навеки в лаборатории Момент Силыча. Время от времени они отпрашивались покурить, взбегали по ступенькам и пропадали на крыльце минут на двадцать. Деятельный Момент Силыч не мог остановить просветительский гон. Усаживался напротив Айи и громко (свято верил, что, если повысит голос, она *хоть что-то услышит*) говорил:

– Вот пы-первая заповедь фотографа: никакая деталь не может быть ценнее целого! Ты должна будешь учиться всю жизнь, как завещал вы-великийленин: сначала ты-техническая сторона, потом кыкомпозиция... уличная, репортажная съемка... А кы-когда ты ры-рыщешь в поисках кадра, тебе главное – что? не ты-терять ни секунды... Правильно снятый кы-кадр зависит от пы-равильно подобранной оптики и пы-правильно подобранной пы-ленки. Здесь в чем фишка? Помимо угла охвата есть пропасть ты-тонких градаций: стекло, например. Есть портретные, есть пы-пейзажные объективы. И оба не годятся для, возьмем, натюрморта... У профи – как? Никакого объектива с пы-переменным фокусным расстоянием – они заранее хуже самых пы-простых «фиксов». У профи кы-каждый объектив сидит на своем аппарате, все под рукой, все зы-заряжено, все готово к мгновенной съемке. И если гы-гребец на реке или птичка на дереве далеко, профи снимает с плеча другой аппарат, с длиннофокусным стеклом...

Он вскакивал и бегал, забывая, что каждую минуту для разговора обязан предъявлять ей лицо. Тогда она ладонью требовательно стучала по столу. Он останавливался, будто пес по команде хозяина «стоять!», и, бормоча «извини-извини», возвращался на место.

Через полгода занятий Момент Силыч снова явился «к отцу» – угрожающе серьезный, гремуче-деятельный, опять выбрав время, когда

девочка в школе, будто речь должна пойти о сугубо щекотливом предмете.

Отверг кофе, уселся за стол и заявил решительно:

– Вы-вот что. У меня ды-две новости: хорошая и пы-плохая. Кы-какую выбираете?

– Хорошую, конечно, – улыбаясь ответил Илья, уже все понимая про этого человека, чья личность, высказывания и даже заглазная кличка в последние месяцы буквально поселились у них в доме: «А вот Силыч говорит, что...»

– Ладно. Так вот: девочке пора пы-ереходить на сысредний формат, то есть на широкую пленку.

– Понятно, – сказал Илья, ничего не понимая. – Это хорошо. Что для этого требуется?

– Зы-занять деньжат, – ответил Момент Силыч. – Это кы-как раз ны-новость плохая. На девочке хорошо будет смотреться шведский «Хассельблад» или хотя бы японская «Бы-броника»...

После чего он расслабился, потребовал кофе покрепче и сы-сахару не жалеть и еще с полчаса громовым голосом – очевидно, Силычу казалось, что при глухой дочери и отец туговат на ухо, – распространялся «о плюсах и минусах», вроде проблемы выбора кадров, серийной съемки со скоростью, близкой к кино, что полезно при нестатичных сы-сюжетах...

Илья дважды варил ему кофе, стараясь поспевать за объяснениями – вроде того, что «с малого формата не все угадаешь, потому что в бы-большом формате снимок приобретает неожиданные ны-новые качества». И дважды – по звону ложки о стакан – отлучался к бабушке, которая ядовитым шепотом требовала «немедленно унять этого горлопана и зануду».

Потом из школы пришла Айя, и беседа завернула на новый круг – уже совсем Илье непонятный.

Фотоаппарат (пленочный, конечно же, только пленочный) – собирались купить на Барахолке – огромной нижней части города (не доезжая до кладбища на Рыскулова – и вниз). Больше этого торжища был только Бишкекский Дордой. Барахолка тянулась в необозримую даль: целый караван базаров, свободно переходящих один в другой, с названиями, годными для имен дорогих верблюдов: Рахат, Аль-Фараби, Болашак, Европа, Барыс-3, – страна чудес, где торговали с контейнеров, прилавков, табуретов, рюкзаков, досок, положенных на кирпичи, с расстеленных на земле газет... Место, где можно было купить всё, с серьезным видом увлеченно добиваясь мизерной цены. Можно было

купить и золотые украшения – вопреки распространенному мнению, что золото на базаре серьезные люди не покупают. Однако именно серьезные люди покупали здесь и золото тоже, уверяя, что на Барахолке оно в три раза дешевле, чем в городе. И чем дальше от дороги, тем ниже были цены, проще товар, грязнее и уже проходы между рядами.

Само собой, продавалось здесь и все, что относилось к фотоделу.

Дважды Илья с дочерью ездили на Барахолку и, сбивая ноги, обходили все круги ада, пока не впали в отчаяние: хорошая камера в любом случае стоила не меньше «Жигулей», даже подозрительная, даже явно ворованная... а *зы-занять деньжат* было решительно не у кого: толстосумы в друзьях семьи никогда не числились. Да и с чего отдавать – с бабушкиной пенсии? с мизерной зарплаты Ильи? с небольших доходов от продажи молодых самцов-кенарей?

Но тут (не было бы счастья, да несчастье помогло, и несчастье немаленькое) скоропостижно умер Ефим Портник, штатный фотограф газеты «Караван», классный профессионал, всегда обвешанный великолепной аппаратурой. Был он уже человеком очень пожилым, но поджарым и гончим, как и полагается настоящему фотокорреспонденту; казалось, Фиме сносу не будет. Но умер он в одночасье, упав прямо на редакционной летучке, не допив своего крепчайшего кофе, не докурив сигареты.

Илья не стал бы соваться на свежее горе к Фиминой вдове, но – неисповедимы пути слухов и связей городских – подсуетился, как всегда, Разумович, через всех знакомый со всеми. И Клара Григорьевна позвонила Илье сама и пригласила прийти; подчеркнула: с девочкой.

– Я вообще-то не хотела ничего продавать, – сказала она при встрече.

Они сидели у Фимы дома, в комнате, где все вокруг говорило о его профессии, о беспорядочной стремительности его хищного ремесла, а о Кларином горе говорили только темные круги под бессонными глазами на ее спокойном лице.

– Не хотела продавать. Так и жила бы со всем вот этим... будто он еще вернется. Но Разумович рассказал о вашей девочке, и... я не знала, Илья, не знала, и мне бы хотелось помочь. Словом, забирайте.

– Как – забирайте? – спросил он в замешательстве. – Но... я хотел бы знать цену... всему этому сокровищу.

– Берите так, – устало и спокойно проговорила она. И он возмутился, вскочил, она тоже поднялась, и минут пять они хватали друг друга за руки, спорили, оба сердились, и настаивали, и соглашались, и категорически

отказывались. Айя в это время, нисколько не смущаясь, осматривала шикарное фотохозяйство, разложенное на двух просторных, углом составленных столах. (Сразу выудила с полки и отложила в сторону две книги: «25 уроков фотографии» Микулина и справочник «Фотосъемка и обработка» автора с экзотической фамилией Яштолд-Говорко.)

В конце концов Илья Клару уговорил, настоял, что будет платить в рассрочку, небольшими ежемесячными суммами.

(Он и платил два года, и выплатил достойную, как считал, цену, а лет через пять случайно узнал *действительную* цену всем этим предметам – и ужаснулся. Но Клара Григорьевна к тому времени ушла вслед за своим Фимой, так что некому было ни доплачивать, ни даже вслед прокричать свою нижайшую благодарность.)

Так или иначе, Айя оказалась с богатым наследством на руках.

Оно включало: *крутой* автофокусный «Никон F5», превосходный советский «Киев 88» (содранный, как сказал Момент Силыч, заводом «Арсенал» со шведского «Хассельблада» один в один), раритетный увеличитель «Ленинград» с объективом «Индустар-50У», профессиональный «Беларусь» с системой тяжелых штанг и пружин и с особым столом, по которому ездит тубус увеличителя, если вращать колесико с ручкой. (Сооружение громоздкое, но качественное – еле втащили в дом, испугав бабушку. Та воскликнула:

– Еще одна исповедальня!

– До известной степени, – пробормотал внук.)

Ну и прочая обворожительная мелочовка: набор кювет для проявки-промывки и закрепления, старое фотореле в деревянном корпусе, с никелированными тумблерами установки времени, пинцеты для бумаги, бачки для проявки, фонарь для печати с набором цветных стекол и, наконец («Кому это нужно?» – удивился Илья), старый, с полусожженными полотнищами льна, глянецватель.

Проявитель и фиксаж пахли по-разному; фиксаж отдавал восхитительной кислятиной, похожей на запах старой грибницы.

Момент Силыч прибежал, целый вечер сидел, в упоении перебирая хозяйство, бегал по комнате и даже для него необычно много и бурно говорил; вдруг спохватывался и, крутнувшись на каблуке, вытаращивал лицо навстречу Айе, которая вовсе его на сей раз не слушала (она вообще со временем наострилась понимать, когда стоит обращать на Силыча

внимание, а когда нет).

– Эх, вот раньше... Небось помните, Илья, какие кыкамеры стояли в фотоателье: стационарные, большеформатные, на ты-треногах! Затвора вообще не было. Фотограф, как фы-фокусник, снимал с объектива крышку, делал такие изящные пы-пассы рукой, пока пы-птичка пролетала, и закрывал объектив. А качество тех старых снимков – не-прев-зойден-ное! Куда там нынешней технике...

Так в их жизнь вошли новые предметы, понятия, разговоры и даже окрас быта – то, что всегда сопутствует возникновению Страсти.

Бабушка к новому повороту событий отнеслась настороженно. Сказала:

– Две страсти в одном доме – многовато.

К тому времени она сильно одряхла, но еще ковыляла сама от кровати к туалету. Вечерами, принарядив (непременная перламутровая брошь у воротничка блузки), Илья усаживал ее в кресло в столовой, и, раскладывая пасьянс, она по привычке еще пыталась руководить ходом жизни *этих двоих упрямцев и неумех*. Под двумя страстями бабушка подразумевала и канареек, с которыми, впрочем, под конец жизни совсем свыклась – настолько свыклась, что часто просила Илью «выпустить Желтухина на подмости. Пусть исполнит, что ли, “Стаканчики граненые”...»

И тот исполнял. Желтухин был заслуженным *старкой*, воспитал не одно поколение артистов, свою пенсию заработал – Илья его больше не притемнял. Клетка в теплое время года стояла на широком подоконнике, на веранде, зимой перемещалась в столовую, на верхнюю крышку бабушкиного старинного бюро, и постаревший кенарь, склонив пегую головку, внимательным черным глазком сопровождал движения хозяина по дому.

Илья, вероятно, и сам чувствовал справедливость бабушкиных слов о несовместимости двух страстей. Поэтому вечерами и в выходные принялся расчищать во дворе сарай, выкидывая оттуда вековое барахло, вроде коричневых фибровых чемоданов, каких-то эвакуационных тюков, в которые никто не заглядывал десятилетиями, радиолы пятидесятых годов, проржавевшего дедова велосипеда 1949 года выпуска и несусветных довоенных тазов и кастрюль. Были и сюрпризы, вроде старого однорукого ватника – того самого, из которого тыщу лет назад маленький Илюша

со Звероловом выковыривали вату для канареечных гнезд.

Все это последовало в утробу дощатой беленой по мойки, и хорошо, что бабушка не видела сего кошунства.

За две недели сарай был расчищен, проконопачен по всем щелям, побелен, затемнен старыми одеялами и клеенками, оснащен специальным красным светом – одним словом, превращен в приличную фотолабораторию.

И сразу как-то все изменилось: новая неукротимая страсть дочери совпала с ее стремительным взрослением.

* * *

Первый цикл ее *рассказов* (как сама она именovala свои снимки) назывался «Ветер апортовых садов».

С него, собственно, и началась судьба ее как фотографа: две работы этого цикла были приняты на престижную фотовыставку в «Кастеевке» (Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева) – успех для начинающего фотографа невероятный, тем более что запечатлено на них было одно и то же, всего лишь перемещение слоев воздуха: белесовато-жемчужного теплого и голубовато-холодного, с кристальной ясностью каждой острой травинки.

Она и передала это движение через травинку: лежала в росе минут сорок, простудилась, кашляла недели две.

К тому времени (отец договорился) ей в газете перепали задания – сначала мелкие, вроде съемки-репортажа с какого-нибудь нудного детского праздника, потом кое-что посерьезнее. К фоторепортажу требовалось писать по несколько предложений: кто, что, по какому случаю. Она и писала: пространно, не слишком подсчитывая слова, вставляя свои замечания. Вскоре выяснилось, что у девочки неплохой стиль – легкий и внятный, с хорошо упрятанной иронией. Ее заметки и репортажи нравились главному, и он все больше ее нагружал, так что Илья даже беспокоился – не повредит ли школьным занятиям *эта беготня с дальнейшим просиживанием в сарае*.

Между тем он с наслаждением выслушивал и просматривал весь забавный улов, который дочь притаскивала к вечеру и вываливала перед ним из своего трала: все сценки и странные личности – все, что сама называла «типажным материалом».

– Завтра наделаю пробников с одной клевой теткой. Я ее давно

приметила. Это *банкетная тетка*: маленькая, лицо какое-то мышье, лапки скрюченные, зубов нет. Молчит, внимательно слушает речи-выступления. Потом на фуршете, пока все общаются, ходит-ходит вокруг стола и – цап-царап с тарелок то сырок, то огрызок огурчика... И до-о-олго – невероятно долго! – разжевывает, двигает деснами без остановки, мелет-мелет-мелет. А глазки-бусины мышастые так и рыщут по столу, и вся она, все ее существо – в поиске и жевании. Глаза – отдельно от нижней части лица... Я смотрю, смотрю, бегаю-снимаю, вытаращилась вся, смотрю – не налюбуюсь!

Тут вступала бабушка:

– Чем там любоваться! – негодовала она. – Пожилой человек, неустроенный, больной... Неприлично на такое пялиться!

– Как неприлично? – вскидывалась Айя. – Ты что, ба! Любить – неприлично?! Как можно такой типаж пропустить?.. Понимаешь, какая штука, – говорила она отцу, – движение в фотографии передать очень просто. Гораздо сложнее передать синхронность всех колесиков самокатающейся жизни. Или, например, вот – запахи. Я пытаюсь – пока не получается...

* * *

...Запахи, особенно запахи апортовых садов, она с раннего детства воспринимала своим обостренным обонянием как нечто сокровенное, личное, унаследованное по праву. Она и много лет спустя, в невообразимой дали от дома, стоя на берегу океана и глядя в слепящую синь, заряженную мощной стихией запахов: водорослей, рыбьей чешуи, мокрого камня, песка и просмоленных лодочных досок, могла без труда воссоздать в носовых пазухах *точный отпечаток многоструйной симфонии запахов сада, терпкий аккорд, в котором слились острый весенний запах старых тополей (палые ветви, кора, резковатая пыль); плесневелый дух грибницы после дождя; прозрачный аромат цветущих яблонь и несладкий и тонкий, но парящий над всем садом незабываемый апорт, его душистая кислинка.*

А сколько всего под яблонями растет – и пахнет, пахнет до одури: клевер белый и красный, на солнце млеющий до приторности; робкий и чистый завей одуванчиков – целые поляны их простирались вокруг; пыльный, старо-сарайный душок крапивы и подорожника, с его росой и улитками чуть не на каждом листе; сыровато-земляной, простодушный,

грустный запах лесных фиалок...

Где яблонь нет, там другие травы, степные – тысячелистник, зверобой, душица, – и пахнут они острее и вольнее. Колючий лиловый репейник – тот на ощупь неприветливый, а пахнет так нежно, так сладостно – медом.

А клубничные поля, с их волнистым запахом, вздымающим гребень до верхушек яблонь, а благородно-сдержанный, чуть клейкий аромат черной смородины, а малиновые поля – горечь самих кустов, и изысканный, жеманный – «на цыпочках» – запах самих ягод.

В терновниках и барбарисниках всегда пахнет паутиной: за нее столько всего зацепилось и нагревалось там, в упругой тишине неподвижного воздуха.

И совсем другие запахи жили в той части сада, где росли дикие сорта яблонь и груш – резкие, терпкие, диковато-птичьи. Там и птиц было много, потому как от жилья далеко и тишина необозримая...

Бодрые, веселые, спокойные запахи вокруг поливных установок – там всегда вода, поэтому много высоченной, зеленой и сочной мяты; вода ледяная, а вокруг все прогрето солнцем: горячая трава, раскаленные огромные камни, и надо всем витает прелестно-девичий (барышня-крестьянка) ягодный дух ежевики...

Осенью – дурманивший хор зрелых запахов: спелые яблоки, земля после дождя, мокрая палая листва, грибы.

А весной, едва просядет снежный наст, проявятся мышинные дорожки: паутина канавок, по которым мышиный народ рыщет-снует под снегом целую зиму...

* * *

Зимой она и стала уходить...

Поначалу просто убегала тайком на лыжах в самый дальний конец сада, где дубовая аллея и терновник, – встречать рассвет. И бабушка, и отец строжайше за прещали одной ходить в сад, да еще так далеко: мало ли какой гибельный шатун может туда забрести. Но это было так здорово, так вольно и никому не подвластно, что часто Айя еще затемно с лыжами под мышкой выскальзывала из дома, стараясь бесшумно отворить дверь веранды, затем скрипучую дверь калитки, вставала на лыжи и катила, катила по снегу, чтобы поспеть к той минуте, когда горячая горбушка новорожденного солнца выпрыгнет над пиками елей, разом окрашивая

в розовое и небо, и снег.

К тому времени участились ее ссоры с бабушкой, которые вскоре переросли в настоящие войны – с переменными атаками, потерями в живой силе, краткими перемириями. Старуха, сидящая в кресле и еле добредавшая до насущной цели в коридоре, все еще хотела руководить «детьми» и наставлять их. И если Илья по своему обыкновению снисходительно выслушивал указания, не перечая бабушке, то Айя каждым словом и действием отвоевывала еще пядь своей территории, еще вершок самостоятельности.

Знаменитое властное бабушкино «помолчи!» с этой девочкой не срабатывало.

Еще пятилетней она как-то спросила отца:

– А бабушка – твоя мама? – И на его задумчиво-отрицательное мычание: – А где твоя мама?

– Она... она умерла, – торопливо проговорил он, так как на пороге кухни, где они прикрепляли кормушки в двух новых клетках, возникла бабушка.

– А где ж ее портрет? – не отставала дочь, глядя ясными требовательными глазами. – Где портрет твоей мамы?

И тут своим коронным непререкаемым тоном бабушка крикнула:

– Помолчи!

Смешно и грустно сознавать: у Ильи от этого окрика до сих пор все внутри сжималось.

– Почему? – без малейшей заминки спросила Айя. И повернувшись к отцу, с недоумением: – Папа! Разве один человек может приказать другому: «Молчи!»?

...Бабушка настаивала на слуховом аппарате, твердила:

– Нечего колесо изобретать: люди с подобной инвалидностью всегда использовали усилители слуха. Кроме того, существует элементарная вежливость по отношению к окружающим.

Все это сильно Илью огорчало: и ненужные, неточные, безжалостные слова бабушки, и откровенная грубость Айи в ответ. Девочка была умна, насмешлива, как мать, умела уколоть не только словом, но и жестом.

– Кто инвалид? – вкрадчиво спрашивала она и кивала на бабушкину коляску. – Кто из нас двоих – инвалид?

Илья метался между обеими, любимыми, успокаивая одну, увещевая

другую, урезонивая каждую по отдельности.

Однажды после очередной стычки с бабушкой зареванная Айя спустилась в подвал, где он колдовал над смесями кормов для молодых самцов, и проговорила отрывистым умоляющим голосом:

– Давай убежим!

Он удивился, растерялся... отложил в сторону пинцет и плошечки, не знал, как относиться к этим ее словам. Разом сильно расстроился и поспешил это скрыть за усмешкой:

– Как это – убежим? Куда?

– Неважно! – серьезно ответила она, не желая обращать это в шутку. – Надо спасаться!

– Ты шутишь, – огорченно проговорил он с обидой за бабушку: подобные вещи даже в пылу ссоры недопустимо произносить. – А как же наша старушка? Она беспомощна, дряхлеет с каждым днем. Она скоро умрет, Айя!

– За ней Разумович присмотрит! – нетерпеливо отмахнулась дочь, перебирая ногами, как стреноженный жеребенок. – Он ей и так во всем поддакивает, как раб запроданный.

И вдруг воспрянула, вдохновленная какими-то своими мыслями или планами:

– Серьезно, пап! Давай скроемся. – Вдруг подалась к отцу, крепко обняла его, прижалась. – Бежать! – пробормотала заговорщицки. – Бежать от нее, папа!

– Прекрати! – крикнул он, снимая со своей шеи руки дочери. – Как ты можешь! Неужели не понимаешь, что... ты меня ужасно этим огорчаешь, ужасно! Ты что, совсем не привязана к... дому, к нам с бабушкой?!. Кроме того, существует жизнь: моя работа, твоя школа... мои птицы... Да нет! – и сам на себя осердясь, что позволил втянуть себя, и даже серьезно втянуть, в эти дикие рассуждения, воскликнул: – Бред и чепуха! Чтоб я больше никогда не слышал.

Но глухой и прерывистый, как дыхание беглеца, страх, задавленный, еще детский, связанный с той тетенькой с огромными безумными глазами, что бежала за ним по другой стороне улицы, жалко и неистово натываясь на прохожих, – этот страх нет-нет и сжимал его сердце. Он видел, как ускользает дочь – как отдаляется ее доверчивая душа, отвердевает характер; понимал, что она не готова ни на йоту поступиться тем, что считает для себя важным. Чувствовал, насколько она решительнее, смелее, прямее да и попросту сильнее его. Разве это хорошо, смятенно думал он, для девушки?

Ее прямо́та казалась чрезмерной. Опасной! Даже губительной.

* * *

Ранней осенью в десятом классе Айя пропала на два дня, причем без всякой причины, вроде очередной ссоры с бабушкой; исчезла внезапно, догадавшись, слава богу, попросить одноклассницу позвонить и передать отцу, что «вернется, когда ее дом потянет». Полумертвый Илья полночи бегал по городу, а вторую половину просидел – в плаще, в туфлях, с шарфом на шее, чтобы «в случае чего быть готовым» (к чему?), – у постели угасающей бабушки, мягко отвечая на ее отрывистые вопросы:

– Ты позвонил в милицию?! Надо объявить розыск, слушай меня, я знаю, что говорю! Ты еще пожалеешь! – и так далее, успокаивая и держась лишь на одном этом звонке одноклассницы, лелея надежду, что «дом потянет» дочь уже утром.

Однако вернулась она лишь через день, устало-увлеченная, с несколькими исцелканными пленками, кажется, искренне не понимая – а что такого ужасного в ее *очень нужной отлучке*? Она ж предупредила, что все будет хорошо, и вот, все хорошо – она дома!

И глядела с недоумением, улыбаясь впечатлениям от поездки, с каким-то вдохновенным жаром подробно рассказывая, как села в электричку наобум, нарочно не спрашивая направления, и ехала долго – «куда-то вдаль, короче»; как слезла «ты не поверишь – черт-те где!» и просто пошла по полустанку, снимая все подряд («Папа, ты не представляешь, какие кадры словила! Вот погоди, завтра проявлю...»); как попросилась на ночлег к официантке вокзального буфета («Милая такая тетка, две пленки на нее ушло – такие глаза бесшабашно-ласковые, а нос – как с другого лица: грозный, топориком. И щипы у нее *мировецкие* – пап, почему мы никогда щипы не готовим?»)...

И отец в горьком отчаянии не мог объяснить ей, в чем, собственно, ее вина, и – «Почему, ну почему “люди так не поступают”? Какие люди? И где пропечатано, как можно поступать, а как нельзя?» – и главное, в чем опасность такого бродяжничества по полям и по горам беззащитной юной девушки с дорогушкой камерой на шее.

Впоследствии она научилась в незнакомых местах доставать камеру не в первую же секунду, а хотя бы оглянувшись по сторонам. Но пришло это гораздо позже, после кражи в Риме, ночного ограбления в сумрачной,

с красноватыми бликами факельных шествий, Авиле, но главное – после страшного нападения в Рио, на темной и вонючей улочке фавелы, где Айю, сброшенную в сточную канаву, подобрала Анна-Луиза, в свои девятнадцать лет уже вся исколотая и изможденная, и где Айя все-таки выжила, провалявшись месяц в местном госпитале «Санмаритано» с тяжелым сотрясением мозга, переломами ребер и ножевым ранением в спину.

...Илья смотрел в милое, еще такое полудетское – а для него всегда полудетское – лицо Айи, отлично понимая, что она сознательно и даже наступательно расширяет границы своей свободы, великую битву за эту свободу ведет.

Глядел, сумрачно завидуя, страдая и втайне восхищаясь дочерью.

* * *

Слуховой аппарат они все же заказали, навестив для этого уже старенького Рачковского, который из больницы давно ушел, но все еще принимал пациентов частным образом у себя дома. Он-то решение одобрил (сам уже давно ходил со слуховым аппаратом).

– Ну вот, – сказал удовлетворенно. – Теперь ты услышишь многие звуки, которые были тебе не по карману. По большому счету, эта штука просто усилит всю страшную тарабарщину, которая нас окружает. Твоему мозгу, который шестнадцать лет ничего подобного не знал, предстоит адова работа: разобрать и разложить по полочкам звучащий мир. Главное, выделить из всего этого шума самое нужное: человеческую речь...

Они молча возвращались от Рачковского, и опять Илья боялся – видно, он обречен был всю жизнь чего-нибудь да бояться – этой новости в их жизни. Шел, держа дочь за руку, что-то мягко и убедительно говорил о масле, которым каши не испортишь...

Оказалось, еще как испортишь! Впервые надев аппарат, она просто пришла в ужас. Изумленное, ошарашенное, искаженное мукой лицо; необъезженная лошадка, на которую впервые накинута уздечка. Вынула аппарат, потрясла головой, словно пчел из ушей вытряхивала, и сказала:

– Боже, в каком вы все живете грохоте, папа!

Потом начались мигрени. Она терпела, шутила, что ее мозг, как компьютер, перерабатывает ту невнятную трескотню, которую она

слышит вместо речи, и выдает все варианты сложения звуков в слова, пока не выберет подходящий.

Потом стала отлынивать от этой тяготы. В конце концов аппарат был сослан в коробочку в ванной, откуда извлекался крайне редко, время от времени – если присутствие на очередном многолюдном сборище, вроде открытия выставки, невозможно было отменить.

* * *

Впоследствии, раздумывая над переменой в их жизни, Илья грешил на несчастные апортовые сады, поглотившие его дочь так надолго и, как считал он, до известной степени безвозвратно. Но растущий ком отчуждения, поистине снежный, собирался из множества самых разных событий.

Вот еще что выпало на этот мучительный период: история с летящим яблоком, брошенным с грузовика.

...Айе исполнилось лет пятнадцать, когда с подругой Милкой она гуляла по проспекту Аль-Фараби, объездной кольцевой дороге неподалеку от дома.

Их обогнал грузовик – обычный армейский грузовик с брезентовым верхом, в котором сидели четверо солдат на ящиках с апортом. Обогнав девочек, солдатики что-то приветливо прокричали, а один, высунувшись из-под навеса, перегнулся через борт и с силой кинул им огромное яблоко.

Этот роскошный, твердый, увесистый плод, обрета в полете дополнительную силу скорости, как маленький снаряд прилетел Айе прямо в левую грудь, нежно припухшую за последний год. От силы удара и от страшной боли, пронзившей левую половину тела, девочка упала и долго молча корчилась на асфальте, прижимая обе ладони к левой груди, будто клялась кому-то в вечной любви, а вокруг нее на коленках ползала перепуганная, плачущая от жалости Милка.

В последующие две недели Айя с отцом, уверенным, что у дочери сломано ребро, перебивали у нескольких врачей и дважды делали снимок. Ребра оказались целы, а мнения специалистов разделились, от «все пройдет» до мрачноватых прогнозов чуть ли не прогрессирующего паралича.

Тогда разъяренный Илья прекратил эти визиты.

Чудовищный разлапый краб синяка месяца полтора не сходил с кожи,

очень медленно выцветая перламутровыми тонами какой-то канареечной окраски, пока, наконец, не сошел вовсе. Но грудь...

Левая грудь потом всегда отставала от правой, всегда чуть запаздывала, доставляя этим Айе ужасные мучения и сомнения в своей женской полноценности.

Впрочем, никто из ее мужчин никогда не замечал разницы. Никто, кроме...

...кроме одного нашего общего знакомого, обреченного на невероятную наблюдательность вовсе не интимного, а скорее профессионального свойства...

– А эти милые разлученные грудки, – спросил он, поднявшись и набрасывая рубашку, чтобы выйти на палубу. – Они у тебя росли наперегонки?

И потрясенная его приметливостью, она села, рывком натянув на грудь простыню, расплакалась и вдруг одним духом рассказала историю о прилетевшем яблоке, хотя никогда никому об этом не говорила.

Он не стал отирать ей слезы, лишь медленно стянул простыню, полюбовался еще, склоняя голову так и сяк.

Восхищенным шепотком пробормотал:

– Амазонка!

Опять не позволил натянуть простыню, сдернул ее совсем и с небрежной уверенностью заметил:

– Они сравниваются... Когда наполнятся молоком.

И вот тут, будто не хватало других забот и сложностей, объявился Фридрих.

Сначала позвонила Роза, вечный провозвестник ненужной маеты.

В последние годы она приутихла, очень располнела, стала гораздо мягче – и к строптивой племяннице, и к ее бирюку-отцу. Вышла на пенсию и нянчила двух внучат-близнецов, которых ей подсудобил старший сын, отослав к матери свою жену с детьми – сначала «на лето», после оказалось – на неопределенный срок, «пока подрастут».

Обычно, попав на Илью, Роза требовала на ковер Айю (та давно уже избегала теткиных выволочек), и – мучительно-комическая ситуация: Илья

должен был служить заочным толмачом между двумя этими непростыми особами, в паузах вытаращивая глаза, высовывая язык, как загнанный пес, изнывая от желания бросить трубку и пойти по своим делам. Дочь стояла рядом, молча корчась от смеха. При известном усилии она могла приспособиться к колебанию мембраны и услышать тетку сама, но это обстоятельство они дружно держали в секрете: Роза была очень многословна, говорила утомительно высоким голосом и вообще «несла страшную ахинею».

На сей раз она не потребовала к телефону девочку, а сказала Илье:

– Слушай... Такое дело тут. Родственничек нагрязнул.

– И что же? – стараясь не раздражаться, спросил он, хотя раздражала его Роза точно так же, как и семнадцать лет назад.

В самом деле: почему он должен вникать во все визиты ее многочисленной сельской родни?

– Представляешь, это брат, который из Германии.

То есть из Лондона, он сейчас в Лондоне живет.

Она всегда ухитрялась звонить в разгар какого-нибудь срочного дела. Илья и сейчас с огромным удовольствием бросил бы трубку, оборвав невнятицу этой бестолковой бабы.

– Роза! – мягко проговорил он. – Пожалуйста, именно сейчас я немного занят. Скажи сразу и коротко, что ты хочешь, а то я как-то...

– Господи! – воскликнула она. – Ну что ты такой *бестолковый*! Я говорю о брате, которого мы в глаза не видали. Военный роман моего отца, ну! Помнишь, дед слал открытки одной немке?

Ах вот оно что... Военно-полевой роман Ванильного Деда...

Он вдруг вспомнил кудрявую вязь на обороте старой открытки и давно забытую фотографию молодой блондинки с белобрысым, но скуласто-раскосым мальчиком. Ага-а. Ария заморского гостя. Бедная замордованная Роза: тут и внучки тебе, и *неблагодарная* невестка, а теперь и новоявленного брата принимай-обхаживай...

Да нет, торопливо объясняла Роза, никакого беспокойства этот парень не делает. Он, между прочим, большая шишка в каком-то международном бизнесе. Что-то там с персидскими коврами. Сейчас их фирма выходит на Казахстан, и, короче, он вдруг вспомнил, что у него тут родня. Понимаешь, его мать, Гертруда, давно умерла, он тоже не мальчик. Видимо, потянуло к неведомой сестре и племянникам. Такие подарки привез, я тебе скажу... Представляешь, открывается дверь, и навстречу мне плывет ковер-самолет... Ну, в смысле... Ну, ты понимаешь... Красота неопишная!

Значит, Айе он приходится... кем – двоюродным дедом, да?

– Да-да, – нетерпеливо пробормотал Илья, подгоняя ее к сути звонка и заодно к его завершению, как пастушья собака по вечернему времени гонит глупую овцу в загон. – Так что он хочет, этот коверный дед?

– Ничего! Просто познакомиться с родней, пока все мы не передохли. Очень симпатичный парень, лет где-то за пятьдесят, но моложавый, подтянутый – приятно посмотреть. Знаешь, так странно: он похож на папину фотографию в молодости, еще до ранения. Папа ведь красавцем был. Я аж прослезилась. А в этом еще и пропасть западного шарма, и такая... немецкая основательность. И умен, по глазам видно!

«Умен, – подумал Илья чуть не с отвращением. – У тебя, как послушать, все умники и все с бездной западного шарма».

А она уже частила:

– Время, знаешь, идет, мы не вечные, все надо простить – все грехи наших родителей, и всем обняться! Вот я и подумала: соберемся у меня в воскресенье, а? Часиков в двенадцать. Он здесь всего ничего: неделю.

Этого еще не хватало, подумал Илья, – часиков в двенадцать! Потерять чуть не все воскресенье. Выдержать бесконечное Розино застолье – нужно обладать железными нервами и стальным желудком. И каким образом с гостем будет общаться Айя? Он наверняка едва лепечет по-русски и наверняка абсолютно ей не нужен – последний довод он привел в надежде увильнуть от поклонения немецкому ковру-самолету.

– Нет, что ты! – воскликнула Роза. – Ты удивишься: он по-русски так и шпарит, прямо поразительно! И практически без акцента. Он закончил МГУ, что-то там научное и всегда, говорит, всегда испытывал интерес к своим «русским корням». Русским! Ну, правильно, для них тогда все наши солдаты были русскими. Слушай, долблю тебе полчаса: отличный парень, душа-человек. Познакомься, не повредит. Может, и пригодится...

– Да чем он мне пригодится! – гаркнул Илья с уже нескрываемой досадой, вполне, впрочем, обреченной, ибо знал: и потащится, и будет сидеть, и потеряет, как обычно, целое воскресенье, да еще нажрется жирной, тяжелой для его печени вкуснотищей.

– Так, значит, договорились, детки? – не слушая, завершила Роза и, как это частенько с ней случалось в конце разговора, добавила на глупой старчески-слезливой ноте: – Все же родная кровь не водица...

...То, что родная кровь не водица, новый родственник (здоровяк-плейбой, широким лицом и седой шевелюрой походивший, скорее,

на преуспевавшего фермера из-под Хьюстона) продемонстрировал, едва увидел Айю, – простер обе руки, ахнул и головой покачал:

– С ума сойти, как похожа!

Далее, к изумлению Ильи, который искренне считал, что более всего дочь похожа именно на него, Фридрих заявил, что девочка – вылитый Гюнтер в юности.

Кто такой Гюнтер, ради бога?

– Мой сын, – охотно ответил гость. – Просто одно лицо, с поправкой на возраст и пол, конечно.

Почему же, сладко воскликнула Роза, почему ты не прихватил его с собой?! Расскажи – чем он занят, твой мальчик? где он сейчас?

На это Фридрих спокойно отозвался: в тюрьме. И будет занят там еще двенадцать лет, так как убил человека в вооруженном ограблении.

Над столом воцарилась тишина, которую нарушали драчкой за новый, подаренный гостем электронный автомобиль пыхтящие Розины внуки.

А он и вправду забавный мужик, подумал Илья.

Видимо, сходство девочки с его беспутным сыном произвело на Фридриха такое впечатление, что из оставшихся трех дней в Алма-Ате один он чуть не весь провел с внучатой племянницей: они ходили на выставку фотографий, где висели два ее «Ветра в апортовых садах», и потом до вечера гуляли по городу. А когда стемнело, в кабине фуникулера, всплывавшей над острыми пиками елей, поднялись на Кок-Тюбе, где с площадки открывался вид, как отметил гость, «из первейших в мире»: до кромки горизонта разлилось и шевелилось море огней со сверкающим утесом гостиницы «Казахстан», увенчанном рубиновой короной, с золотой змеей проспекта Аль-Фараби, с едва видимой, но ощутимо доминирующей над долиной громадой черных гор. И довершая картину, над этим праздничным кипением пульсировали красные огоньки пролетающих самолетов.

Там же случилась встреча Фридриха с одним человеком («моим давним московским другом»), которая показалась наблюдательной девочке странноватой. Они встретились так бурно, словно не виделись лет двадцать, но, переведя взгляд на Айю, тот вдруг кивнул и спросил:

– Племянница, которая фотографирует?

Откуда же он знал?

Он предложил Аие называть его «дядя Андрей», потому что, оказывается, в молодости знал и маму, и папу.

Но разговор этот завел не сразу.

Сначала они с Фридрихом долго обсуждали какую-то скучную абракадабру, какие-то контейнеры, какие-то химические названия. Айя перестала всматриваться в движение губ, отвернулась и стала любоваться сверкающим морем драгоценных горячих огней внизу, над которым холодно и надменно сияла голубая горная луна. Оживленно обернувшись, чтобы сказать Фридриху, что... в губах «дяди Андрея» она увидела вскользь брошенное:

– А девочка – красotka...

– То-то и оно, – отозвался Фридрих.

– Бедняжка...

И Фридрих, на полуулыбке:

– А ты полегче: мы фантастически понимаем по губам...

Вот тогда «дядя Андрей» сообщил Айе (преувеличенно, как дурак, выпячивая и кривя речь в толстых губах), что когда-то знал ее родителей.

– Такая веселая компания собралась, – сказал он. – Твоя мама была прелестной женщиной. Прелестной!

И что-то такое было в этих его неприличных губах, что Айя молча отвернулась.

А последний перед отъездом вечер Фридрих вообще просидел с девочкой в бывшем сарае во дворе, задумчиво разглядывая фотографии, выхватывая из косого кургана на длинном «верстаке» то один снимок, то другой, возвращаясь к уже рассмотренным портретам или натюрмортам, выставляя их перед собой в ряд, чертыхаясь восторженным шепотом и хватаясь за щеку, точно у него болел зуб, – и надо отдать ему должное, был совершенно искренен: такое восхищение подделать невозможно (так впоследствии растерянно объяснял себе Илья) – да и к чему?

Потом немецкий гость долго сидел у них за чаем («О, насчет чая, знаете, я совершенно русский, вернее, совершенный англичанин, то есть казах казахом: смело наливайте молока по самый край!») и рассказывал массу поразительных историй из области искусства ковроткачества; например, о знаменитом «Весеннем ковре» персидского царя Хосрова Первого, сплетенном в шестом веке в честь победы персов над римлянами.

– Представьте гигантских размеров ковровое полотно: 122 метра в длину, 30 – в ширину и весит несколько тонн! Но главное – узор: земля, вода, цветы и деревья – все выткано из золота, драгоценных камней и самоцветов. Говорят, когда ковер расстилали, по залу проносилось весеннее благоухание садов пленительной Персии!

Он словно бы и не замечал ревнивого раздражения Ильи, который ничего не мог с собой поделать: от этого златоуста с его учтивой благожелательностью, ненатужным юмором и великолепным откуда-то русским языком исходило не весеннее благоухание садов, а необъяснимая опасность, какие-то смутные будущие несчастья, и лучше бы он поскорее убрался в свой Берлин, Лондон или где там его нора, несмотря на его восхищение фотографиями, канарейками и антикварным бабушкиным бюро (немедленно были названы стиль, эпоха и век изготовления и попутно даны два отменных совета по очистке *доски*).

– Кстати, вы, конечно, знаете, Илья, что самыми заядлыми покупателями русской канарейки были именно персы, иранские шахи, да-да... Но, что весьма огорчительно, на Востоке был повсеместно распространен бессердечный обычай: бедной птичке удаляли глаза кусочком раскаленной проволоки – чтобы слаще пела. Да-да, ужасно... что поделать: восточный обиход.

Зато бабушке Фридрих очень понравился. Она уже редко выезжала в кресле к столу, с трудом держала чашку в дрожащей руке. А на сей раз, это ж надо, потребовала парадного выезда. Илья облачил ее в нарядную шелковую блузку (брошь на месте и благородно гармонирует с желтоватой сединой жидких косиц, все так же ровно выложенных надо лбом), набросил на плечи шаль и вывез к гостю; знакомство состоялось. Старуха была чрезвычайно оживлена, и точно бес ее обуял – расспрашивала и расспрашивала гостя, задавая все новые вопросы, вызывая на новые – отрицать невозможно – остроумные, замечательно законченные, точно отрепетированные истории, случаи и анекдоты.

Илья с самого начала приметил быстрый острый блеск в глазах дочери, не сводившей взгляда с лица Фридриха: она жадно впитывала все эти звучные книжные названия, все эти *Портобелло-роуд*, *Кенсингтон*, *Вест-Энд* и *Сити*, *Тегеран* и *Исфахан*... Он не мог ошибиться: этот лихорадочный горячий блеск всегда предшествовал ее вылетам из клетки.

Ах, новоявленный родственничек, сирена заморская... Он, конечно, просто не понимал, с каким играет огнем, а объяснить ему что-либо в присутствии девочки было невозможно. Но бабушка-то, бабушка! Маразм! – в бешенстве думал Илья. Уж она-то, ей-богу, должна понимать, что творит.

– Видишь ли, девочка моя, – проникновенно говорил Фридрих. – Талант – это не подарок небес. Это кредит с высокими процентами. Можно,

конечно, разбазарить его по мелочовке: фоторепортажи, местная газетка, то, се... Но если ты хоть немного этот свой талант уважаешь, то будешь пахать на него всю жизнь, и к концу дай бог убедиться, что ты хотя бы по процентам чиста. Ты ему всю жизнь обязана служить верой и правдой, как... как раб! Например, *обязана* получить настоящее образование! Сегодня, чтобы конкурировать с мастерами мирового уровня, в какой угодно области – в дизайне, в рекламе, в компьютерных технологиях, – необходимо постоянно быть в курсе, быть в тонусе, быть всюду одновременно. А образование нужно получать на Западе, не здесь.

По тому, как Фридрих раскраснелся, как говорил – все быстрее и сумбурнее, явно забыв, что стоило бы четче выговаривать слова, чтобы не напрягать так девочку, – было заметно, что он и сам увлекся. Витым черенком позолоченной чайной ложечки (ее Айе «на зубок» подарил Разумович, и с тех пор ложечка выдавалась только самым дорогим гостям) Фридрих, говоря, машинально чертил по клеенке, быстро обводя ее ромбовидные узоры, иногда спохватываясь и с досадливым выражением откладывая ложечку в сторону, точно опомнясь: да, узорчик простой, не персидский ковер, увы...

«Вдохновлен! – подумал Илья, чуть ли не с ненавистью глядя на гостя. – Озабочен судьбой провинциальной девочки».

– Отчего бы тебе не приехать в Лондон? – продолжал Фридрих. – У нас отличный арт-колледж, есть у кого поучиться. Там и выход на серьезные галереи, я бы тебя познакомил кое с кем из галеристов. У нас с женой приличная халупа, уж найдем для тебя чуланчик...

– Никуда она не поедет! – оборвал его Илья. – Здесь тоже есть, где и у кого учиться.

Господи, да откуда он взялся такой, с этими «халупами» и «чуланчиками» – энергично-усмешливый, наступательный, уверенный в каждом слове чужого языка?!

Почему в эти минуты перед глазами замаячило давнее, плывущее в жемчужном мареве лицо Земфиры? Почему Илья вдруг так ясно увидел ее, сидящую на камне поодаль от Зверолова, в чьих руках ловко и неотвратно скользили петли, петли, петли? Этого Илья не знал, но бегущие облака, и голая грудь Зверолова с оттиском верблюжьего копыта, и обморочное кружение света в листьях над головой, в клочьях облаков...

Нет, сейчас он и сам был зрелым, в возрасте, мужиком, сейчас уже не ахнул бы, как тогда, в подвале у Морковного; сейчас ничуть бы

не удивился той неравной любви.

Он догадывался, как незащищен любой человек перед подземной тягой, перед могучим биением кровавого пульса в висках, того, что смывает любые условности и любые соображения о правилах хорошего тона, о родственных связях, о разнице в возрасте и прочих достойных соображениях.

Резко повторил:

– Никуда она не поедет!

И вполголоса, отвернувшись от дочери и опустив голову, чтобы та не смогла прочесть его слов по губам:

– Вы что, не понимаете, что у нас случай не прогулочный?

– Она прекрасно общается! – приветливо возразил гость.

– По-русски. Но не по-английски.

– Приспособится! – И рукой махнул. – Это дело привычки. Юность – самый прекрасный трамплин к преодолению...

– Про что вы говорите, па-апа? – громко, растягивая гласные больше, чем обычно (признак волнения), спросила Айя. – По-че-му-у ты бормочешь мне назло?

– Не груби отцу! – отчеканила бабка.

– Я-а не спрoси-и-ла тебя-а-а! – в ярости пропела девочка и вскочила, с грохотом отставив стул. – Я саама, са-ама решу сво-ою-у жизнь!

Она взмахнула рукой, и на пол со звоном упал фруктовый нож – Илья не был уверен, что задетый случайно.

– О!.. Прощу меня извинить! – Фридрих в смущении поднял руки, как бы сдаваясь, – вальяжный такой добродушный медведь. При этом Илья мог поклясться, что никакого смущения гость не испытывал. – Сожалею, что послужил причиной ссоры. Айя! – серьезно и четко проговорил он, ловя ее взгляд. – Такое, конечно, следует обговаривать с близкими людьми. Твой отец прав.

– К тому же гражданам Казахстана затруднительно и дороговато порхать по заграницам, – добавил Илья, пытаясь сгладить конфликт. Впрочем, он совсем был не в курсе этих материй. – Вероятно, визы добывать – это...

– О, вот это – совершенная чепуха! – пожал плечами Фридрих. – Уж это совсем не препятствие, поверьте. У меня есть кое-какие возможности одолеть пограничные глупости за считанные минуты.

И дальше он постарался исправить минувшую неловкость,

чрезвычайно увлекательно – как сюжет триллера – продолжая рассказывать истории, и не только о персидских коврах – которые, кстати, ткали еще две с половиной тысячи лет назад, и, вы не поверите, тем же способом, что и сегодня!

...Когда вечером, переодев в ночное и уложив бабушку, Илья по привычке присел на краешке «рыдвана» в ногах у дочери, придерживая ладонь на ее щиколотке – так она лучше его *слышала*, – они долго молчали. Он видел, как взбудоражена девочка волшебным возникновением этого «окна в Европу», боялся взбаламутить того дракона, вернее, того скакуна, в которого она на глазах превращалась, едва вдали замаячит какой-нибудь мираж. Чувствовал: стоит сказать о Фридрихе что-то хорошее, как-то *уравновесить, обезболить* этот нервный вечер.

Вместо этого легко, оживленно проговорил:

– Представляешь, есть такая наука – нейроэтология. Она занимается нейрогенезом, в частности и у канареек. Мы сейчас работаем над этим с Мишей Никулиным из Института зоологии, а потом опубликуем совместную статью. Так вот, оказывается, в мозгу у канареек постоянно зарождаются новые нейроны, способные в некоторых случаях заменять старые. То есть в нервные сети все время включаются новые нейроны, и значит, канарейка способна разнообразить свою песнь в течение всей жизни. Таким образом, мозг пожилого кенаря...

Она молчала, слегка отвернув к стене голову. На их языке это означало одно: ей осточертели его канарейки, и она слышать не желает ничего об их идиотском пожилом мозге.

Он проговорил задумчиво:

– Все же его русский поразителен... Невероятно! Этого не должно быть.

– Почему? – спросила она, мгновенно повернув голову. – Тебе же объяснили: всю жизнь им занимался, интерес к корням... Московский университет, да и жена русская...

– Никакой университет не дает такого непринужденного владения языком, – возразил Илья.

– Ну и что? – спросила она.

– Ничего, – помолчав, отозвался отец. – Думаю, он много лет жил в Советском Союзе.

И долго еще сидел в ногах у дочери на краешке «рыдвана», ладонью чувствуя ее тонкую щиколотку. Когда она уснула, убрал руку и пробормотал самому себе:

– И вообще: если б не явное семейное сходство, я бы решил, что никакой это не Фридрих.

* * *

Недели через две пришел на имя Айи от Фридриха пакет, в котором оказался открытый самолетный билет в Лондон с коротеньким смешноватым письмом, в котором дорогая Айя («...моя дорогая девочка, моя сюрпризная внучка») была приглашена жить в его доме столько, «сколько понадобится ее таланту и судьбе».

Эта открытка и этот билет (вообще, вся эта проклятая диверсия!) – при всей осторожности Ильи, особенно в последние два месяца, когда, взяв отпуск по уходу, он преданно обслуживал умиравшую бабушку, и силы и нервы его были напряжены до предела, – послужили причиной первой настоящей сильной ссоры между ним и дочерью. Раз пять он громко перечитывал письмо, издевательским тоном повторяя: «Дорогая девочка! – И голосом нажимая: – *Его* дорогая девочка!!!» – бледнея на этих словах, стыдясь этого тона, мысленно приказывая себе унять и вновь потрясая листком, и презирая себя за возмутительные подозрения и ужасные картины, что возникали перед его глазами на этих, в сущности, невинных фразах, написанных сердечным пожилым человеком, ничего, кроме добра, не желающим внучатой племяннице...

Айя же в ответ плакала, *выпевая* невозможно оскорбительные тирады о его запертой жизни-клетке с канарейками и старухой-тюремщицей, о его трусости, боязни открыть окно и выпрыгнуть в нормальную жизнь.

– Твой дед уже выпрыгнул! – выдохнул он мстительно. И она немедленно отрезала:

– Твой тоже!

* * *

Вообще, с годами его характер портился. Он и сам понимал, что постепенно становится настоящим мизантропом и сам виноват в этом неприятном превращении. Не раз себе повторял, что сотни тысяч мужчин, случается, теряют жен, тысячи из них сами воспитывают детей, а у сотен бывает такая же беда с детьми, какая стряслась у него...

Но никто не ограничивает себя четырьмя стенами дома и работы,

канареечной перепиской и обучающей фонограммой в исповедальне. Да ты и сам посадил себя в клетку, говорил он себе в иные бессонные ночи, а теперь добиваешься, чтобы в этой же клетке рядом с тобой выросла и старилась твоя единственная дочь, ненаглядная твоя птичка.

Но бывали и хорошие дни, когда он убеждал себя, что все не так мрачно: вот, появились новые интересные знакомства в Институте зоологии в Академгородке, а весной он повезет на конкурс в Душанбе трех новых кенарей, и один – невероятный талант, да и два других уверенно ведут свою вполне оригинальную плановую песню; что в его переписке с канароводами и заводчиками разных стран зафиксированы поразительно интересные моменты, которые стоило бы систематизировать и, возможно, издать отдельной брошюрой. Что в специальных статьях на него и его опыт довольно часто ссылаются и что вот-вот он наконец сможет ездить повсюду – ведь его приглашают чуть не каждый месяц, – уйдет из газеты и сможет ездить, когда... Когда станет чуток свободнее.

Эту свою преступно вымечтанную на рассвете будущую свободу он мысленно отодвигал, стыдясь потаенных надежд: здорово устал за последние годы, когда бабушка, пересев в кресло, стала совсем слабенькой, но, верная себе, отказывалась от помощи посторонних *наемных* людей (произносила это слово с омерзением, точно речь шла о наемных убийцах), доверяя лишь рукам внука да еще Разумовича, своего преданного ученика, а тот в последние месяцы и сам сильно болел, даже флейту забросил...

Внешне за прошедшие годы Илья не сильно изменился: несколько пополнил, что благодаря его росту не слишком сказалось на фигуре, приобрел аккуратную благородную лысину в обрамлении припорошенных сединой выющихся волос, отпустил шкиперскую бородку, уже совершенно седую, и стал носить роговые очки, сквозь притемненные стекла которых его глубокие темно-карие глаза глядели еще многозначительней.

Женщины попроще назвали бы его «представительным мужиком» или «интересным дядькой»; те, что с *запросами*, именовали «интеллигентным мужчиной». За все эти годы у него были мимолетные связи как с теми, так и с другими. Из серьезных отношений – один лишь тяжелый и нервный роман с милой Виолой Кондратьевной, «нашим любимым тренером», которая искренне не могла понять, почему они, двое свободных, любящих друг друга людей, до сих пор не могут устроить свою судьбу и свой дом.

– Почему?! – вскрикивала она в сотый раз. И он терпеливо ей отвечал,

ласково вороша по-прежнему буйные, но уже поседевшие ее кудри (и она их не красила):

– Ну, Васенька... – (Он даже в постели называл ее «Васькой Буслаевым» – так, как давным-давно, еще в первую встречу, они с дочерью ее назвали.) – Я несвободный человек, Васенька, и ты это знаешь. Чуток подождем. – Опять-таки, мысленно подразумевая и мысленно отодвигая взросление дочери и бабушкин уход. И разрыв их был таким же тяжелым, нервным, прерывистым – с возвращением на два-три месяца, с бурным примирением, с возрожденными надеждами на будущее – и с окончательным финалом и телефонным ее плачем навзрыд.

И даже себе он не признавался, что истинной причиной его мужской отрешенности было давным-давно данное самому себе слово, что ни зубная щетка, ни «шампуньки», ни шелковый облепиховый крем, которым и он иногда пользовался зимой, если сильно обветривались губы, – словом, весь пестрый и милый вздор, принадлежащий дочери и щебечущими окликаками разбросанный по дому, – никогда не потеснится ничьим иным бабским барахлом.

Из-за того, что ночами по несколько раз он поднимался – *проверить* бабушку, переодеть ее в чистое, укрыть потеплее или дать горячего чаю (та пристрастилась к чаепитию глубокой ночью, говорила, что это «согревает нутро»), – его сон совершенно расстроился. Темными часами много думалось о жизни вообще, о том, что же все-таки с ним стряслось, и о дочери, о дочери, конечно же. О дочери...

Однажды вдруг пришло в голову, что, в сущности, он ничего не знал о своей жене. Куда подевались Гулины друзья после ее смерти – вся эта раскованная веселая орда, остроумцы и умельцы в любую минуту «сбацать» все, что душе угодно? Эта чудесная братия, что вваливалась гурьбой в кафе «Театральное» и просиживала там часами или со страшным хохотом облепляла поезд детской железной дороги в парке Горького (это развлечение почему-то считалось особым кайфом)?

Сейчас он уже не мог сказать, была ли его Гуля на самом деле талантливой скрипачкой или со временем превратилась бы в обычную училку соседней музыкальной школы, пополнила бы и огрузла, заодно и поглупев, как ее тетка Роза.

И лишь суховатое тело усопшей скрипки в черном футляре, обернутое в саван синего бархата, да еще его умница-дочь возражали этим ночным горько-меланхоличным мыслям.

Ранней весной одно за другим произошли два события: умерла бабушка Зинаида Константиновна, и почти сразу, будто бы торопясь догнать ее в пути, чтобы поддержать и составить компанию – там, где все равно предстаешь на суровый суд одиноким как перст, – скончался ее преданный ученик Разумович.

Их даже и похоронили неподалеку друг от друга – на Рыскулова. Будет удобно за могилами ухаживать, смиренно и деловито подумал Илья.

Он устал и был чертовски задерган – и в последние бабушкины дни, и с похоронами, что шли одни за другим: надо было помочь вдове Разумовича, Марине Владимировне, даме в быту совершенно беспомощной, учесть и устроить множество неотложных дел.

В тягостные дни бесконечного и мучительного бабушкиного умирания, осложненные еще тем, что старухе совсем отказало тело, но цепкий и беспощадный ум продолжал надзирать, а язык еще ворочался, давая указания, обвиняя и напоминая обо всех давних мелких обидах, – в эти дни Айя демонстративно пропадала из дому с утра до вечера.

Однажды отец с горечью сказал ей:

– Знаешь, это уже предательство! Ты не ее предаешь, а меня.

Айя долго смотрела ему в глаза, будто вдруг утратила способность *слышать* его и сейчас мучительно вдумывалась в шевеление отцовских губ.

– Нет, я тебя никогда не предаю, папа, – наконец сказала она.

– Куда ж ты уходишь все время? – спросил он в отчаянии. – Что ты ищешь?!

– Ищу... – И впервые странно, не в лицо ему глядя, а мимо, мимо, куда-то за окно, она пробормотала: – Я тебя освободить хочу. Помнишь, как в сказке: дойти туда, где спрятана душа Кощея?

И была так серьезна, что он содрогнулся и лишь рукой махнул ей: уходи!

– Где она?.. – стонала бабушка, высохшая, выбеленная, выдубленная годами и болезнью. – Где ее носит... проклятая кровь... Боже, как это мне напоминает... Если б ты знал, если б ты мог понять...

И ему хотелось крикнуть: «Так расскажи мне, наконец, объясни мне все, чтобы я *мог понять* всю мою жизнь, всю мою обрыдлую жизнь!!!»

Сидя у ее постели, время от времени воображал – *сценически*,

в лицах, – как в последние минуты скажет ей, умирающей:

– Где моя мать, ты ответишь мне, ужасная старуха?!

Где она?! Да была ли она вообще?!

Но ничего этого, конечно, не сказал. Наоборот – был очень нежен, до последней ее минуты делая все, что в таких случаях полагается делать заботливым сыновьям и внукам.

* * *

После похорон, рассеянно блуждая по дому и пока еще не зная, не понимая, что делать с огромной пустотой и долгожданной свободой, все еще привязанный к опустелой бабушкиной кровати невидимыми, но ощутимо прочными нитями привычки и бессонных бдений, он решил *уравновесить себя* – заняться запущенными домашними делами, например, для начала разобрать документы и фотографии в ее вечно запертом бюро (все же антиквариат, изящная вещь и все такое – старуха уверяла, что бюро принадлежало еще ее бабке, но, скорее всего, и это был миф) и передать его затем во владение дочери – а кому ж еще?

Ключ отыскался в кармане старого бабушкиного халата (где спрятана душа Кашея?), и потребовалась смазка и некоторое усилие, чтобы замок сработал; старуха не открывала бюро много лет.

На полках и полочках этого уютного шкафчика с откидной доской, пахнущего старым деревом, старыми бумагами и пролитыми сорок лет назад духами «Красная Москва», в полном порядке лежали перехваченные резинкой и надписанные по месяцам и годам фронтовые письма деда, бабушкиного мужа, до самой его гибели в марте 44-го (последним, сверху, было письмо командира); грамоты с бабушкиной работы советских времен и его, Ильи, школьные грамоты с первого по десятый класс. Кроме того, бюро оказалось набитым какой-то старой чепухой: программками давних спектаклей, поздравительными открытками, какими-то письмами от давних знакомых по санаториям... Были и три альбома с фотографиями, в том числе и старыми, с уютным коричневато-замшевым светом, с резными краями, обрамлявшими добросовестно запечатленный миг. А, вот и старинная одесская фотография неизвестной барышни с кенарем, так и не выброшенная после смерти Зверолова, – ну что с ней делать? да пусть лежит. Многие снимки были с *ампутированными членами*, отрезанными ровно, по линейке. Илья представил себе эту школьную линейку в руках бабушки: как она выравнивала ее, чтобы отрезать

ножницами и выбросить в мусорное ведро некое детское, а потом и юное, и молодое лицо, которое... много бы Илья отдал, чтобы увидеть ту, отрезанную...

Коробку с тремя колечками (серебро, финифть... ничего особенного – куда их? Айя такого не носит), ну и прочее мелкое достояние минувшей жизни он сгреб в деревянную шкатулку и снес в подвал – *к птицам*.

Там шкатулку обшарила Айя, сразу объявив, что лично ей от бабушки ничего не нужно. Но она готовила серию натюрмортов для весенней выставки «Голос старых вещей» и уже совершила рейд по соседским сараям, выудив где старый китайский термос, где металлическую кошелку для яиц, где круглый глазастый будильник и отлично сохранившийся приемник «Рига»... И кучу еще какого-то барахла сороковых-пятидесятих годов.

– А это что? – спросила она.

Илья обернулся и увидел, что дочь извлекла из шкатулки и рассматривает круглую... да, старинную царскую монету с двуглавым орлом.

– А, это от Зверолова осталось, – сказал он. – Валялась в его «рундуке». Красивая, правда? Есть в ней стиль...

Она согласилась.

– Это что – серебро?

– Похоже на то... Видишь, тут на оборотной стороне чеканка: «3 рубли на серебро 1828 Спб». Можно просверлить дырочку и носить как кулон, – добавил он.

– Лучше серьгой сделать.

– Ну уж и серьгой... Крупновата.

– Я заберу? – спросила она. – Да ради бога.

Затем ему пришло в голову почистить пожухлое дерево шкафчика и отлакировать – опять же занятие. Выдвинул все ящики, каждый промыл и протер тряпкой со скипидаром, умиротворенно посвистывая в тон старичку Желтухину, чувствуя, как новое, еще непривычное чувство покоя и благодарности – чему? жизни, вероятно, – постепенно, как робкий любовный озноб, проникает в душу. И когда перевернул и уложил шкафчик на бок, из щели между задней стенкой и одним из пустых ящиков показался уголок листа, за который Илья потянул, медленно извлекая из давней ловушки. Он бы машинально смял и этот листок и выбросил в корзину для бумаг вслед остальным «санаторным» письмам, если бы внимание не привлек странный, никогда не виданный почерк, и первые же на листке

оглушившие его слова: «...клинаю тебя горячо, глубоко, от всего моего сердца – насквозь!»

Почерк был бегущий, захлебывающийся, с неожиданным выхлестом высоких петель, хвостов и спинок у некоторых букв.

Илья стал читать, продираясь через все эти петли и отчаянный захлеб, холодея, веря, не веря, постепенно понимая, что держит в руках чудом уцелевший листок явно уничтоженного письма своей матери к бабушке. Письмо было написано, конечно же, безумным, слабым, но восставшим человеком, и яркая хлещущая боль стегала бы наотмашь любого, кто читал его, не только сына:

«...живу только верой, что тебе воздастся за все твоё зло, за то, что с детства топтала меня, искалечила душу, отняла ребенка, за мою тоску и горе, за всю твою великую подлость, жестокость и ханжество! А та моя последняя встреча с послушным тебе негодя...» – на этом все обрывалось – ужасно, безнадежно. Навеки.

Он сидел на низком табурете возле поверженного шкафчика и, как ему казалось, безучастно смотрел в окно на полыхающее облако скумпии у ступеней крыльца. Желтухин Третий изливался лучшей своей арией, чередуя одну за другой россыпи и смеющиеся овсянки, пересыпая их увертливой скороговоркой флейты, выворачивая на звонкие открытые бубенцы. А после крошечной паузы, хитро скосив на хозяина глазик-бусину, выдал залихватские «Стаканчики граненые».

Вот и все мое наследство, подумал Илья, сложил листок вчетверо и опустил в нагрудный карман рубашки. Но весь день тот жег его сквозь материю, и трижды Илья перепрятывал этот вопящий огрызок письма, чтобы, не дай бог, не нашла его Айя.

Подумал, усмехнувшись: ну вот... Я уж и сам стал «лакировщиком действительности»...

* * *

Дней через пять позвонила вдова Разумовича Марина Владимировна, попросила прийти, помочь. Она, как выяснилось, занималась ровно тем же, что Илья: разбирала бумаги. Станным и торопливым ему показалось это будничное желание вдовы «немедленно расчистить конюшни», как сама она и выразилась; «выбросить побольше барахла – знаешь, он всю жизнь

копил кучу ненужных вещей»...

(В эту минуту Илья вспомнил другую вдову – Клару Григорьевну, которой хотелось оставить все, как было при Фиме, словно тот вернется и станет проявлять вчерашние снимки... Вдовы, конечно, тоже разными бывают, подумал он.)

– Научную переписку я уже отобрала, – сказала Марина Владимировна. – Вдруг кому-то из коллег что-то покажется важным. Но там есть письма и открытки от незнакомых мне людей, и нет сил все это прочитывать: у меня, Илюша, что-то зрение совсем поплошало. Вот если бы ты взял на себя труд просмотреть... – И торопливо добавила: – Да и не старайся особо: если видишь, что «дела давно минувших дней» и чепуха поздравлений, – в мусор, в мусор! Мы и так за последние годы немыслимо заросли бумагами. Я давно говорю – к черту все эти дурацкие архивы! Некому их оставлять.

Сначала Илья решил выкинуть все, даже не проглядывая; но врожденная порядочность и опрятность в любых делах (бабушкино воспитание) взяли верх, он стал заглядывать в адрес-имя отправителя, пробегать глазами первую строчку...

...потом сокрушался, что многое все же выкинул гуртом, не глядя. Так мог и этот конверт выкинуть – с тонким листком внутри, с обеих сторон исписанным одним-единственным словом, вернее двумя словами, намертво сцепленными, как судорожные руки эпилептика: «Конеццитаты, конеццитаты, конеццитаты...» Мог бы выкинуть, если бы глаз не споткнулся о тот же характерный почерк, со странным выхлестом петель и хвостов, – словно буквы этих запертых слов, подобно узникам темницы, стремились набросить петлю веревки на трубу соседней крыши, закрепиться над бездной, найти опору и – бежать!

Все это, вкупе с тем, недельной давности листком, Илью ошеломило; показалось неким давним посланием лично ему, украденным посланием от матери; а теперь ищи-свищи объяснений, продолжения и развязки. «Как в романах Стивенсона», – подумал он, и продолжал сидеть, держа в руках на первый взгляд бессмысленный, но так много говорящий ему листок, в полной невозможности двинуться и даже отозваться на приглашение Марины Владимировны из кухни «сделать кофейный перерыв».

...Бессонная ночь, последовавшая за этими событиями (он даже и не ложился; просидел на кухне до рассвета, до первого сонного

попискивания канареек, до возбужденной птичьей перебранки за окном: «Влипли! Влипли!» – и в ответ: «Истриби! Истриби!», а после – размеренное, звонкое, троекратно отбитое отрешенным маятником: «Дней десять, дней десять, дней десять...»), – эта ночь стала бездонной утробой, переваривающей всю его жизнь.

Он размышлял: приходился ли Разумович ему отцом, стоит ли расспрашивать об этом вдову (решил, что не стоит); знала ли что-либо об этом обстоятельстве бабушка, а если знала, то... то как могла не только смириться с этим, но и взять Разумовича в союзники против своей несчастной дочери? Почему, наконец, оба они всю жизнь так упорно, так надежно и заговорщицки скрывали от него это обстоятельство – как двое убийц скрывают место захоронения своей жертвы?

Впервые он осознал, как странно родственно, странно близко всегда находился Разумович к их семье. Впервые припомнил ясно, со многими подробностями, как часто тот являлся в дом, нагруженный сумками «с разной там чепухой» («чепухой» оказывались дефицитные продукты, новый спортивный костюм для мальчика, рулоны туалетной бумаги и все остальное, что в разные годы жизни трудно было *доставать*, а Разумович это умел – он все умел, кроме как на флейте играть).

Итак, возможно ль, что бабушка сделала выбор в пользу... дефицита?! Нет, нет! Только не это! Тут что-то другое...

Впервые Илья подумал о своем отчестве – Константинович. С самого его детства в семье подразумевалось, что отчество у него – как у бабушки и Зверолова, и это правильно и очень здорово, что все втроем они такие ровные и рослые *константиновичи*. Когда Зверолов хотел за что-то похвалить мальчика, он говорил: «Наша порода!» А тут впервые Илья вспомнил, внутренне ахнув, что Разумович-то, господи, ведь Разумович у нас – кто? Константин Аркадьевич, вот кто... Отчего же, даже странно – отчего никогда это имя не отзывалось колоколом в твоей груди? Совпадение? Возможно, что и совпадение. Но тебе-то, с этакой-то *ничейной судьбой*, следовало повнимательней быть, подозрительней быть даже и к совпадениям!..

Искать свою мать он не стал – из-за природной своей нерешительности, медлительности, замкнутости и грусти. Но для себя, глядя на дочь, многое решил раз и навсегда. И спустя неделю после потрясших его находок, когда в очередной раз, черкнув уже привычную писульку: «Па! Не волнуйся – найдусь!», она пропала и вернулась через два дня, сильно обгоревшая под ранним горным солнцем, он посадил ее

перед собой и, с мучительной любовью глядя на высокие Гулины скулы, на карие, с зеленцой, охотничьи глаза под ласточкиными бровями, на облупленный под солнцем широковатый нос («моя азиатчина!»), тихо и решительно проговорил:

– Я хочу, чтобы ты знала, Айя: ты свободна. Ты навсегда и совершенно свободна. И хотя мне будет горько расставание, я пойму и... и приму твой выбор.

Весь этот вечер она была рядом. Долго толклась с ним в подвале у *птиц*, смотрела, как монтирует он на компьютере плановую песню для нового кенаря, рассказывала что-то смешное, все время ластилась.

Прощаясь на ночь, крепко его обняла.

А наутро исчезла.

А сейчас хотелось бы в двух словах отделаться от Ируси – белобрысой девочки с разными глазами, тискавшей лет около семидесяти назад свою любимую и тоже разноглазую кошку-альбиноса (ныне давно упокоенную с праотцами, как и некоторые из героев нашего романа).

От Ируси хотелось бы отделаться как можно скорее, беглым очерком обрисовав ее бледную и, в сущности, незначительную жизнь; незначительную, впрочем, только для нашего повествования.

В остальном все обстоит благополучно: Ируся и сейчас живет на пенсии в своем Норильске, или, как сама она пишет дочери и внуку – *доживает* («не жизнь, а сплошное мучение, скриплю потихоньку...»). Но уверяем вас, скрипеть она сможет, да еще в таком бодрящем климате, не один десяток лет.

Похоже, что Ируся, во всем столь отличная от Этингеров, унаследовала лишь Дорину страсть к поиску в себе разнообразных немочей.

Она с детства в этом поиске преуспела, вдумчиво исследуя собственное тело, заботливо, как опытная сиделка, приглядывая за каждым захворавшим органом, поощряя его к терпению и придавая бодрости духа.

Спросит ее мать с утра:

– Ирусь, шо эт мордаха у тебя малахольная?

А та ей в ответ умильно:

– Но-ожка плачет!

Немедленно Стеша бросается стянуть чулочек. Да: синяк на *щиколке* – это со вчера, об дверь ударилась. Другой ребенок и забыл бы давно, и помчался во двор доигрывать в салочки или в классики. Но только не Ируся, нет.

Причем ангины, простуды, ушибы, занозы и воспаления следовали друг за другом таким ровным строем, что возникало подозрение (во всяком случае, у Эськи, которую Ируся вслед за матерью звала Барышней), что девочка сама зорко послеживает, дружно ли строй шагает, не запаздывает ли кто, ровно ли отбивает шаг. Проходил синяк – на другое утро *плакал* следующий Ирусин подопечный: горлышко, ручка, спинка

и даже попка.

Барышня в таких случаях закатывала глаза и восклицала прокуренным голосом: «Герцль! Где моя грудка?» Стеша молча отворачивалась, ничем на это не отзываясь: страстно любила дочь, искала и находила в ней черты обоих Этингеров.

Во всем остальном послушней и скромнее Ируси не было ребенка. И ученицы старательней – тоже не было: грамоты из класса в класс, стенгазета, общественная работа (на классных линейках Ирусе доверяли *контроль за чистоту рук и воротничков*); и вечно она – ответственная дежурная, староста класса, комсорг, а по окончании школы – серебряная медалистка.

– И шо ж это ток серебряная по бедности?! отчего не брильянтовая? – ядовито спрашивала соседка Лида. Она подметала Потемкинскую лестницу, подбирая монетки, в том числе иностранные, и потому *имела престиж от жильцов за валютную должность*. (Заметим вскользь – только не от Этингеров, которые помнили ее «девочкой» из заведения напротив.)

– Я вас умоляю, Лидия Ивановна! – с достоинством отвечала Стеша на этот ничтожный демарш. – Будто секрет какой. А *пятый пункт!* Где вы у нас видали дать *аиду*^[2] золотую медаль!

Ну, пятый пункт или какой там еще, обсуждать не станем, а только музыкальных талантов, присущих этому самому *пункту*, и в частности, всем Этингерам, за Ирусей не числилось. Да и не то что талантов: элементарного музыкального слуха – и того, как говорила Эська, «у природы для нее не нашлось». А жаль: жаль, когда пустует свято-семейное место.

(К тому времени доцент кафедры вокала Эсфирь Гавриловна Этингер – худенькая, как подросток, с прямой спиной, седым ежиком на голове, в дыму вечно зажженной папиросы – занимала видное положение в жюри городских и республиканских конкурсов. Благодаря острому языку и неподкупно-тяжелому характеру она давно стала легендой консерваторского фольклора.)

Немузыкальная Ируся поступила в политех на химико-технологический и тем же аллюром – комсорг, редактор институтской стенгазеты, ленинская стипендиатка – на пятом курсе вышла замуж – благополучно, благовоспитанно, «с таблеткой анальгина за щекой» (это уже Эськино замечание, и мы не станем его комментировать).

Между прочим, была Ируся очень даже хорошенькой, *аккуратной* в чертах лица блондинкой, и самоцветная серо-каряя перекличка ее удлинённых глаз казалась, особенно при электрическом освещении, преддверием некой тайны, обещанием какого-то генетического избытка, неслыханного богатства клеток и молекул старинного рода, жадно выплеснутых в этом своем представителе. Во всяком случае, парней, влюбленных в два этих разных профиля, было немало.

А вышла Ируся за однокурсника – надежного, крепкого в плечах и шее, быковатого и хозяйственного парня из Николаева с фамилией для такой внешности неожиданной, подходящей скорее провинциальному актеру или начинающей поэтессе: Недотрога.

– Владислав Недотрога! – прокаркала Барышня после знакомства. Захотела, выдохнула дым через ноздри, как дракон, таранными струями и припечатала: – Жуть!

– А шо такое?! – возмутилась Стеша, которой Владик понравился своей основательностью, порядочностью, круглой рыжей головой на массивном туловище. – Человек фамилию не выбирает.

– Еще как выбирает! – возразила та, придавливая и покручивая в пепельнице окурки. – И уж нам с тобой это отлично известно. – Она вздохнула и небрежно закончила: – Поелику у нашей дуры нет никакого вкуса, она наверняка станет Ириной Недотрогой.

Та и стала ею, и, честно говоря, мы бы не осуждали столь категорично это заурядное обстоятельство. Ибо оно известно: муж – иголка, жена – нитка; куда иголка, туда и Ируся Недотрога.

И после скромной свадьбы (у невесты, умудрившейся простудиться в августе, *плакало горлышко*, но к памятнику Неизвестному матросу на Аллею Славы молодожены, как заведено, *съездили и возложили*, а свадебный стол – *весь двор наскрозь!* – зареванная и счастливая Стеша соорудила завидный: соседи обсуждали *до ноябрьских*) – так вот, после свадьбы молодые уехали по распределению аж в Норильск.

* * *

«Места, – писала Ируся в ежедневных, как утренняя зарядка, цветастых открытках, – *романтические*: здесь еще стоят пустые лагеря, обнесенные проволокой...» Раз в месяц приходили и подробные письма, которые от начала до конца способна была осилить одна лишь Стеша с ее героической любовью. Это были восторженные передовицы; из них можно

было узнать практически все об освоении минерально-сырьевой базы Енисейского Севера, о высоких позициях на мировых рынках *нашей* металлопродукции, о богатейшей истории предприятия «Норильский комбинат».

– Красота! – говорила Стеша, целуя письмо после завершения немислимых усилий по преодолению тундры мелко-кудрявистых, как карликовая береза, дружно-сплошных слов Ирусиных посланий, в производственный смысл которых особо не вникала, прозревая сквозь них все, что было необходимо ее материнскому сердцу: что дочь счастлива, мужем любима, устроена и зарабатывает бешеные деньги с северной надбавкой.

– Ужас, – отзывалась на это Эська. – Не удивлюсь, если образовательный ценз населения в тех страшных местах самый высокий в мире. Можно представить, сколько доживает там бывших зэков – всех этих академиков, профессоров, на худой случай – дирижеров симфонических оркестров...

С наступлением июня молодые, *скучая за Одессой*, приехали в отпуск домой – прогреться, загореть и, как говорила Ируся, «навитаминиться». Жили у Этингеров, объедались фруктами, попутно поглощая несметное количество Стешиных деликатесов (от которых не поправиться за всю жизнь умудрилась одна лишь Барышня, до сих пор свободно застегивающая на себе кружевную блузку из «венского гардероба»), и купались в горячих волнах Стешиной любви, слегка приперченных шипящим прибоем едких Эськиных замечаний.

На время их гостевания Эська перебралась в Стешину вековечную каморку на антресоли, где они спали валетом на древнем топчане, предоставив «нашим северянам» удобную комнату.

Рыжий Владик, судя по всему, стал ценным специалистом в цехе электролиза никеля, ибо говорить, рассуждать и спорить он мог только об одном – об электролизе никеля, – хотя обеим женщинам нечем было отозваться на эту острую тему.

«Грелись» молодые на всю катушку, загорая до обугленного мяса на плечах и спинах. Ездили в Аркадию, на Ланжерон, на станции Фонтана, где на буро-золотистых «скалках» в воде произрастали целые колонии мидий. Хозяйственный Владик прихватывал из дому кастрюлю и рис и – Геркулес с рыже-курчавыми плечами и грудью, в синих сатиновых плавках, завязанных на боку бязевыми тесемками, – входил в воду и отдирали от «скалок» крупные мидии. Прополоскав их в воде, тут же на пляже и варил вместе с рисом.

Мидии в кипятке раскрывались, краснели, рис булькал и вздыхал, набухая. Это варево, именуемое *пловом*, Владик с Ирусей обстоятельно съедали до последней рисинки, не обращая внимания на песок, поскрипывающий на зубах.

А уже перед самым отъездом втроем со Стешей дружно отправились на Привоз *делать базар* и до изнеможения («ой, ну мы ухря-а-апались!») ходили по огромным и гулким корпусам – молочным, мясным и рыбным, – по рядам между тачечниками с их рогатыми тачками, торгуясь, ругаясь, отходя и вновь возвращаясь к каким-нибудь помидорам, коим предстоял заворачивающий перелет в край вечной мерзлоты и северного сияния.

– Бабуся, а, к примеру, морковочка ваша почем?.. Та ты шо, бабка, а так, шоб взять?

Напоследок закупились «Куяльником».

Так называлась минеральная вода с Куяльницкого лимана, особо ценимая бесплодными женщинами за явления чудес *на предмет забеременеть*. Но сколько тех бутылок увезешь в Норильск!

Так вот, у входа на Привоз на расстеленной мешковине сидел перед горкой свернутых из газеты фунтиков старый еврей, подслеповатый задохлик с глоткой, трубящей, как иерихонская труба:

– Покупайте порошок – каждый сам себе Куяльник! – ревел он с земли на манер ветхозаветного пророка Илии, воздевая обе руки с фунтиками. В фунтике содержалась *жмэнька* некоего порошка, из которого, ежели ссыпать его в стакан и размешать *хорошэсэнко*, получалась та самая живая вода «Куяльник» – живая настолько, что не беременел от нее только последний идиот. Плати, бери-размешивай и хоть бочками пей. – Покупайте порошок – каждый сам себе Куяльник! – выкрикивал продавец. Его «инвалидка» – жестяная коробка на колесах – стояла рядом, как смиренная пожилая лошадь. Старик иногда и подвозкой подрабатывал, если у кого хватало храбрости или безумия в его таратайку лезть. – Каждый сам себе Куяльник, каждый сам себе курорт! – самозабвенно выпевал многотрубный пророк. – Покупайте-размножайтесь, вспоминайте дядя Юзя!

...И то ли чудодейственная вода сработала, то ли на время перестали у Ируси *плакать* жизненно важные для такого дела органы, а только вскоре она прислала жалобно-восторженное письмо, которое несентиментальная Барышня назвала «песнью торжествующего Куяльника»: Ируся забеременела, и с зачатия у нее уже *плакало* все, из чего состоит женский

организм.

Стеша тоже – от радости – проплакала всю ночь, Эська же отреагировала по-своему. Она сказала:

– Как все это некстати!

– Господи! – возмущенно выпалила Стеша. – Да как у вас язык не отвалится, Барышня!

На что та философски отозвалась:

– Пусть отвалится все, только не язык. – Подумала и со вкусом добавила: – Вот увидишь: очень скоро у мадам Недотроги заплачет каждая клеточка, и ребенка пришлют к нам заказной бандеролью навеки – «прогреться» и «навитаминиться».

Стеша в сердцах отмахнулась. Она-то была счастлива заполучить Ирусю вместе с мужем и ребенком и до конца своих дней варить, жарить и печь, и спать валетом с кем угодно на своем топчане, молясь на эту святую троицу. Но понимала, что Барышня смотрит на вещи иначе.

И знаете что? Барышня-то оказалась права. Толь ко в сроках немного ошиблась. Девочку прислали чуть позже, лет в шесть, ибо эта рыжуха...

Но – ша! пусть сперва появится на свет.

Начальство не отпускало Владика с производства, что-то там, как обычно, горело, план, как и положено ему, трещал по швам, а преданная и ответственная Ируся не пожелала оставить мужа в таких сложных обстоятельствах и *ехать рожать в свое удовольствие на всесоюзном курорте.*

Пришлось беспокойной Стеше впервые в жизни совершить грандиозное путешествие в недра полярной ночи (второе и окончательное путешествие в противоположную сторону – чуть ли не в Африку – она совершит перед смертью, будучи уже глубокой старухой).

С неделю до отъезда она керогазила с утра до вечера, не выходя во двор, – аж синий дым восходил под высокий потолок кухни. Даже Лида сказала:

– Мадам Этингер, вы шо – сказилися? Вы всех белых ведмедей положили там накормить?

Стеша на ответ не потратилась – силы берегла. Путь предстоял страшный, аж голова кругом: сначала поездом до Москвы (куда ее должен был сопровождать один услужливый и доверенный Барышнин студент), а там самолетом до Норильска.

Шесть часов в небе-то провисеть, а?! шутка?! Не до парка Шевченко прогуляться...

Это путешествие, вкупе с рождением вожденной внучки, осталось для Стеши вторым великим воспоминанием жизни. Во всяком случае, и много лет спустя она рассказывала о нем *последнему по времени Этингеру* с неиссякаемой силой свежего впечатления, а тот внимательно слушал, и казалось, этот странный мальчик мысленно вносит ее рассказ в какой-то свой секретный реестр.

– Молодежи та-ам!.. Одна молодежь, – рассказывала Стеша. – За мной там по улице Ленина толпы таскались: гляди, мол, гляди, какое чудо – бабушка приехала. Да еще в полярную ночь приперлась. Они вообще все шебутные там, молодые, горластые, друг к дружке ходят в гости целой компанией из дома в дом, всю ночь куролесят... Особо, я ка-а-ак вывалила на стол свою провизию – тут полный аншлаг с овациями! Там же у них что? В сентябре Енисей замерзает – значит, навигация накрылась. И хоть вешайся: в магазинах полный ажур – засохшая оленина, как доска в дачном заборе, ну и частичка в томате. Но притом в домах столы накрыты вкусно: и компоты варят, и пироги пекут... У меня Ируся на сносях, все тело у ней, у бедной, *плачет*, тут приходит с работы Владик и говорит: в цех сегодня капусту привезли, сколько брать? «Ну что, – говорю, – килограмма два бери?» – «Какие килограммы, вы шо, мамаша! У нас мешками берут, на всю зиму солят». И притаскивает огро-оо-мный мешок полумерзлой капусты, да и как встали мы с ним, да как пошла рубка, шо у твоих казаков – только ошметья по кухне летят. Заквасили в двух огромных двухведерных кастрюлях... А погоды там, я те доложу, – ну, жу-у-уткие! Морозище, ветра такие, не ухватишься за фонарь или ограду – запросто в тундру снесет. Меня там чуть под грузовик не затянуло. Чую – тащит меня ветрище, гонит-ворочает, перекидывает со всей моей комплекцией, как оладушку; не справляюсь с течением! Хорошо, шофер тормознул – увидал перекошенное мое лицо...

Там, в Норильске, Стеше повезло даже на легендарное северное сияние. Да не в тундре, куда ее молодежь уговаривала ехать «на пикник», а в самом городе.

Сначала по черному небу пронеслась прозрачная зеленая хламида, упущенная небесной танцовщицей, скакнувшей оленем через весь город... За ней бирюзовым неистовым парусом проплыла вторая. И тут как пошли прокатывать граненые волны, одна за другой, одна за другой: вспухают

и опадают, и вновь играют-переливаются гранями, истаивают, опять растягиваются ребристой радужной гармоникой... По всему небу разгулялись нежные всполохи всех оттенков синего, зеленого и желтого, а красный – так от бледно-алого до багрового – ледяное пожарище! Небо дышало, шевелилось, перетекало из одного цвета в другой, и все куда-то несло и несло, и не оторвать было глаз...

Стеша обмерла с первой минуты: вмиг накатил *большой огонь* из дальней памяти детства – огонь, что спалил половину села и принес ее на порог Дома Этингера, где ждал красавец с рассыпчатым каштановым коком и с высоты своего прекрасного роста улыбался ей серыми глазами.

И она, как и все вокруг, стояла, закинув голову в небо, беззвучно плача и молча благодаря судьбу за то, что довелось такое увидеть.

– Ну и на что это похоже? – спросила Барышня.

Стеша задумалась, пытаясь выбрать слова – самые пронзающие, самые мучительные слова, которые знала, но, к сожалению, не умела связать меж собой.

Замаялась, еще раз мысленно проверяя себя. Наконец проговорила:

– Это... все равно как Большой Этингер вдарит на кларнете.

* * *

Итак, в Норильском роддоме – разумеется, в страшных Ирусиных муках и всевозможных осложнениях – родилась крупная девочка темно-рыжей масти, которую мать назвала в честь отца – *Владиславой*.

(«Слишком много *славных недотрог*, – недовольно заметила себе Эська, покрутив в руках письмо, где подробно описывались послеродовые затруднения Ируси в важном процессе мочеиспускания. – И совсем не видать вокруг Этингеров».)

И ошиблась. Ибо девчонка, увидев свет вовсе не там, где обычно произрастали горячие темпераменты *других* ее предков, всем своим крепеньким существом как нельзя роднее и ближе оказалась к пульсации того горячего гейзера, который обычно подразумевала Барышня, произнося словосочетание «Дом Этингера».

А пройдемтесь по фасаду...

...Ибо дом, где некогда в бельэтаже, в квартире с каминами, витражами и мраморной острогрудой наядой, в уюте, задиристых перепалках, шумных застолях и музыкальных трудах проживало известное в городе семейство; дом, чей парадный вход обрамляли колонны, прежде белые, а ныне облупленные и испещренные похабными рисунками и словесами; дом с флигелем в глубине мощенного камешками-«дикарями» двора, со старинной цистерной для воды и водяной колонкой – дом этот стал неузнаваем.

Он похож на потрепанный штормами и выброшенный на сушу бриг, давно заросший сорняками и облепленный окаменевшими ракушками.

В своих ободранных стенах он укрывает потерянных и все потерявших, побитых и обугленных войной, ничем, кроме обид и стычек между собой не связанных людей.

В каждой семье было свое горе, свои убитые, расстрелянные, пропавшие без вести, сидевшие по лагерям.

Тут попадались бабки, пережившие оккупацию, семьи, бежавшие из окрестных сел от голода; наконец, вернувшиеся из эвакуации одесситы, ибо толпы эвакуированных стали медленно возвращаться-просачиваться, неделями тарахтя в мучительно неспешных поездах с Урала, из Средней Азии и прочих дальних мест, утрамбованных войной.

Вернувшись, они оседали всюду, куда удавалось поставить ногу, в самых неожиданных и не приспособленных для обитания человека местах. Сарайчики и всевозможные подсобные помещения считались очень приличным жильем. Подвалы шли за полноценную квартиру; за полуподвал могли убить. Зашивались досками подлестничные пространства – там можно было бросить на пол матрац и поставить табуретку с примусом. Отгораживалась часть лестничной клетки – лишь бы поместилась койка и все тот же примус, или чадающий керогаз, или допотопный «грец» – чугунный бочонок со слюдяным окошком, полным огненных вихрей...

Так что пройдемтесь по фасаду, ознакомимся бегло с кое-каким населением...

И начнем, пожалуй, с управдома Якова Батракова, что вселился с дочерью Анфисой в полуподвальную комнату вместо Сергея, еще в войну убитого неизвестными бандюками.

Была это странная до оторопи пара, хотя изумить кого-либо странностью или дикостью в то послевоенное десятилетие было трудно.

Анфиса – несуразная девица гренадерского роста с белым отечным лицом, в клетчатом платке на роскошных вьющихся волосах, в мужских ботинках на огромных ногах, всегда в каких-то ужасных, надетых одна на другую, криво застегнутых кофтах.

Во дворе, а тем паче на улице она появлялась крайне редко; если появлялась, то непременно в сопровождении отца. Вернее, тот являлся в сопровождении дочери: она плелась понурым прицепом вслед за мелким Батраковым, присобаченная к его лапке своей огромной вялой и бестолковой ручищей, безостановочно бормоча: «П’истали, п’оклятые!..» А сидя дома, с утра до вечера стирала и развешивала на штaketнике отцовы рубахи и свои задрипанные сорочки и юбки.

Сам Батраков был еще диковинней: тощий, но с брюшком, большеголовый, но с тонкой кадыкастой шеей, все свободное от пьянства время он либо читал (был записан в пяти районных библиотеках), либо трепетно ухаживал за цветами в игрушечном – метр на полтора – палисаднике, лично им благоустроенном и обнесенном штaketником. Видимо, он чувствовал себя настоящим хозяином дома, двора, одноэтажного флигеля во дворе. Когда бывал трезвым, обходил владения, там и сям поглядывая, подправляя недочеты, наказывая нарушителей порядка – или того, что он порядком считал.

– Стоять, вашу мать! – орал на мальчишек, застигнутых за кропотливым художеством на многострадальных колоннах подъезда, а те, конечно, бросались врассыпную. – Эт что за пыр-на-графия!!! Ух, и дам я вам прост-ра-ции!!!

Налимонившись, становился необычайно отважен и дерзок и тогда непременно выступал, по словам Барышни, с *выходной арией* «Жи́ды обсе́ли!».

Евреев во дворе было, конечно, достаточно, но главной мишенью управдома оказался хирург Юлий Михайлович Комиссаров, вселившийся с женой и дочерью в бывшую Яшину комнату, на удивление хорошо сохранившуюся – просторную, с камином, с веселыми купидонами по потолку, с бессмертной Яшиной деревянной лошадкой на колесиках, уже успевшей поката́ть три поколения коммунальной детворы. Лошадка стояла в углу, как в стойле, была самым старым жильцом квартиры, и ни у кого не поднималась рука ее выбросить – напротив, каждый отмечал: эх, делали же в России вещи! Карево-рыжая, с серыми яблоками на боках, с засаленной гривой из настоящего конского волоса и кожаной, в старых узлах, уздечкой... (Нет-нет, тпррру! – бог с ней, с лошадкой; этак мы никогда не вернемся к Батракову и Комиссарову.)

Так вот, едва грузчики, перетаскавшие мебель Комиссаровых, покинули двор на своем раздолбанном грузовике, Батраков явился к новым жильцам «проверить документики на законность вселения» и был вспыльчивым Юлием Михайловичем спущен с лестницы.

Напившись, управдом выходил в центр двора, под окна Комиссарова, крайне редко бывавшего дома, и дурным дискантом заводил:

– Комиссар, выходи-и! *Зухтер*^[3] нападение на караульное помещение!!! Кай Юлий Циммерман, выходи-и! Я те дам прост-ра-ции!

И за тюлевыми занавесями всплывали и колыхались, как утопленные, бледные лица жены и дочери хирурга. Наконец, однажды, разбуженный после двойного дежурства, вечно недосыпавший Юлий Михайлович – толстый, волосатый, взлохмаченный и больше похожий на забойщика с мясокомбината, чем на овечьего городской славой хирурга, – вылетел к Батракову, в ярости размахивая огромным Стешиным тесаком для рубки мяса (что на кухне подвернулось), и минут десять гонял управдома по двору, рыча:

– Р-р-распорю и не зашью!..

После чего Анфиса вывесила на штакетнике плохо постиранные отцовы кальсоны, и целую неделю трезвый Батраков мирно окапывал ноготки-маргаритки в своем палисаднике и в сетчатой авоське таскал из библиотеки тома Сухово-Кобылина и Мамина-Сибиряка.

Впрочем, уже через неделю жильцы не без удовольствия прислушивались к очередной арии управдома, одобрительно отмечая в ней новые фиоритуры:

– Кай Юлий Циммерман! Эт что за пыр-на-графия!!! *Зухтер* штык наперевес, я дам те прострации!!!

И стоявшая у окна Барышня с чашкой коричневого чая в руке (она давно к нему пристрастилась, убедив себя, что корица очищает мозги) задумчиво говорила:

– Мельчают солисты в этом дворе...

Кто там стоял за спиной Батракова, покровительствуя нелепому холую, неизвестно. Жильцы поговаривали, что есть где-то «рука» у этого *хабла и фармазона*. Возможно, то был миф, из тех, что возникают сами собой, как вообще в подходящей питательной среде зарождается жизнь; но кто-то же назначил его управдомом, со всеми его ноготками и маргаритками, пятью библиотеками и волоокой прачкой Анфисой.

Во всяком случае, именно он, Батраков, забивал и утрамбовывал вернувшимся людям все мыслимые щели и простенки дома,

и как утверждали осведомленные товарищи – «не задарма».

Что касается бывшей квартиры Этингеров, она оказалась бездонной и безразмерной. Она делилась, как инфузория-туфелька под микроскопом. И столкнувшись с незнакомым субъектом в длинном коридоре, увешанном оцинкованными лоханями, тазами и стиральными досками, никогда нельзя было знать – гость это, новый жилец или просто *интересный* чудак, перепутавший этажи или номер квартиры.

* * *

Не видим резона публиковать тут полный список квартиросъемщиков, тем паче что они то и дело менялись, то умирая, то разъезжаясь, то съезжаясь с родней. Упомянуть, пожалуй, стоит лишь о двух-трех штучных персонажах, из тех, что мелькнут разок-другой в нашем кино, и без того перенасыщенном мельтешением лиц, голосов, кулаков и грудей.

Например, тетя Паша с пышной белой бородой, ростом чуть выше стула. Занимала она чулан в кухне, который ныне тоже считался полноценной комнатой.

Тетя Паша была сновидицей («У каждого своя профессия», – философски замечала на это Барышня) – она во сне видала покойников. И свежих, и застарелых покойников, которым всегда есть что сказать живым – за деньги, разумеется. И они говорили: давали указания *за наследство*, мирили передравшихся на поминках детей, советовали, на ком стоит жениться, а кто – бросовый товар. Вся округа *знала за Пашин удивительный дар*, и бывало, на другое утро после похорон к ней уже стучалась вдова с отеком от слез лицом, вчера узнавшая о существовании *другой вдовы* своего покойного мужа, или понурый вдовец с какими-то бытовыми вопросами, типа – не скажет ли Клавдия, куда она захватила облигации последнего займа, что всю комнату он раскардашил, и без толку.

И тетя Паша, как правило, уже держала наготове ответ.

– Все покойники ходят через меня! – говорила она со сдержанной гордостью.

Тут нелишне добавить, что официально тетя Паша *сидела в будке*. Ее дощатый киоск «Пиво – Воды» на углу двух центральных улиц летом становился средоточием вожделений всех солнцем палимых. К нему устремлялись издали, влекомые мечтой о крюшоне, о двойном сиропе, малиновом или вишневом...

Вот здесь, пожалуйста, коротенький клип из далекого детства: стеклянные колбы с цветным сиропом, узорная тень от платана, выплеск ажурной пены на асфальт, и в тонкой и загорелой детской руке – «битон» с газ-водой. И над уличным шумом, поверх густо-зеленых крон возносятся в синее небо прерывистые, вздох, неугомонные трели трамваев...

Далее просто идем по жильцам: дядя Юра Кудыкин – бывший борец и налетчик, бывший моряк и ветеран двух войн, бывший мороженщик и зэк, а ныне рабочий сцены в Театре юного зрителя на Греческой – кристальной чистоты человек, душа общества, гениальный механик и злостный блядун, и нет таких прекрасных слов, какие нельзя было бы сказать о дяде Юре, и мы еще многое о нем скажем.

Затем – Инвалидсёма, мастер по ремонту швейных машинок, всегда в полосатой пижаме и сетчатой шляпе, в сандали на одной ноге (вторая нога, в толстом вязаном носке из козьей шерсти, перехвачена бинтом и потому похожа на бревно вареной колбасы). Считалось, что ходит он на костылях, но он, скорее, на них летал: делал три быстрых шажка, костыли взлетали по бокам – расступись, прохожий! – и лишь четвертый шаг поддерживал костылями, наваливаясь и обвисая на них всем телом: «Ой, эта болезнь у меня столько здоровья отняла!» Был он бо-о-о-ольшим предпринимателем, о чем тоже – в свое время.

...И наконец, Любочка – ныне старушка, а прежде – ого-го!

У Любочки биография хвостатой кометы, и ейже-богу, стоит на нее отвлечься, не пожалеете, ибо в шестнадцать годков эта гимназистка забеременела от антрепренера театра Анны Гузик и бежала с ним из дому, успев на пересадке в Киеве торопливо избавиться от груза чрева своего, после чего, к счастью (это она всегда подчеркивала благодарным голосом), детей у нее быть уже не могло.

– Основное различие между мной и католической церковью, – любила повторять Любочка, – в том, что она верит в непорочное зачатие, а я верую в порочное не-зачатие. Причем я верую крепко и деятельно, а она – кое-как.

Кстати, антрепренер крутился на ее орбите всю жизнь, несмотря на многочисленные ее замужества.

Точнее, возникал в самые трогательные и судьбоносные моменты жизни.

Любимую фразу Любочки: «Я сменила пятерых мужей, но любовник у меня всю жизнь был один!» – Эська, у которой не было ни мужей, ни любовников, отмечала с явным одобрением.

Словом, примчавшись из Киева в Петербург уже *налегке* (во всех смыслах, ибо по дороге потеряла и своего антрепренера), Любочка сняла комнату в пансионе «Летний сад», где жили еще две сестры из Витебска, обе социалистки, и некий молодой инженер, направлявшийся на работу в Аргентину, но застрявший в пансионе, едва его восхищенный взгляд нащупал зазорные прелести недавней гимназистки.

Это было утонченное общество.

На второй день пребывания в столице начитанная Любочка послала телеграмму в Баденвайлер Чехову и вскоре получила ответ от хозяина пансиона: «Жилец выбыл неизвестном направлении» – что, в общем, нельзя считать абсолютной ложью.

Молодой инженер увез ее в Аргентину, где какое-то время тщетно пытался создать с Любочкой хоть какую-то видимость семьи, но не преуспел, и в конце концов бывшая гимназистка написала все тому же антрепренеру покаянное письмо с призывом о спасении. Тот ответил ей телеграммой: «Люба вертайтесь здесь скоро будет лучше». Телеграмма датирована сентябрем 1917 года и послана из Москвы.

Она примчалась.

И угодила в стихию, в смерч, тайфун истории, в сердце коего, как принято считать, порхают бабочки, и уютно там обустроилась: вышла замуж за заместителя наркома тяжелой промышленности.

Преданный партии человек, замнаркома к первой же годовщине свадьбы – это был праздник 8 Марта – подарил Любе красную косынку и партбилет, который никогда не пригодился. А вот что таки пригодилось – это пятикомнатная квартира в Столешниковом, оставленная ей мужем после развода.

В моменты крушения любви Любочка травилась головками спичек, предусмотрительно запивая их молоком.

Однажды очнулась в объятиях известного дрессировщика.

Словом, была Любочка феерически беспечна и легка, всерьез ни во что не вникала. Никогда в жизни нигде не работала, вначале – как жена замнаркома, потом по привычке. Подружки, портнихи, косметички, мозолистки, маникюрши... Не оставалось денег на жизнь – продавалась комната. Когда все комнаты, кроме ее спальни и чулана за кухней, были проданы и деньги пущены на ветер, в ход пошли камешки и чернобурка, после чего много лет расставлялись ширмы и сдавались койки.

На худой конец, возникал новый мужчина.

Как-то так выходило, что была она знакома со всеми, всё про всех знала, знаменитостей не признавала, кумиры толпы в ее устах обращались

в пыль.

– Леонид Утесов? – спрашивала она. – В смысле, Ленька Вайсбейн? Он дальше всех на улице плевал сквозь зубы. Начинал в Зеленом театре. Вот город был! Вот была настоящая демократия! Любой фармазон мог прийти и сказать: «Хочу исполнить!» – «Пожалуйста, исполняй!» – Она брала паузу и небрежно добавляла: – Но Ленька Вайсбейн известен был тем, что дальше всех плевался.

Красивой она даже в юности не была – очень веснушчата, и нос как-то неудачно вмонтирован меж близко посаженными глазами. Но дьявольское обаяние окутывало ее недурную фигурку таким плотным облаком, что разглядеть веснушки или нос мужчины просто не успевали. Да: и голос был – как у опереточной примадонны: низко-напевный, волнующий и значительный, что бы там она ни несла.

Четвертый ее муж, изобретатель, человек мрачный и совершенный нелюдим, сделал ей предложение на другой день после случайного знакомства в чьем-то доме. Любочка, уж на что привыкла к экспресс-чувствам сильного пола, в тот раз и сама была поражена.

– Это когда ж вы, милый, успели так втюриться? – мягко спросила она. – Вы, помнится, весь вечер с опущенной головой просидели, косички из бахромы на скатерти плели...

– Голос, – кратко пояснил рационализатор, глядя в угол.

Сама она частенько повторяла не без кокетства:

– Я никогда не была хороша собой, поэтому, если уж мужчина застревал в моих сетях, я старалась, чтоб, пока он поднимается по лестнице, из квартиры доносился запах свежесваренного кофе.

Любочке было под шестьдесят, когда подруга пригласила ее на свадьбу дочери. Она явилась, критически оглядела многолюдное застолье... глазу не на ком было отдохнуть! Разве что жених... он был оч-ч-чень неплох: располагающая улыбка, смешливые глаза.

Часа через три она ушла со свадьбы. С женихом. Потом клялась, что не хотела, так само вышло. Этот жених, одессит по рождению и прописке, стал ее последним мужем, и с ним-то она вернулась в родной город с явным облегчением, тем более что верного антрепренера – друга, любовника, надежной опоры на всех виражах непростой ее женской судьбы – на свете уже не было.

Ян, новый и последний ее муж, оказался очаровательным человеком: добрым, легким и очень остроумным, типичным одесским «хохмачом».

Соседи Яна любили и уважали, и потому его внезапная смерть (он был младше Любочки лет на двадцать пять, и любой скандал, который сама же

затевала и сама успокаивала, та начинала словами: «Вот когда ты закроешь мне очи!..») – эта смерть потрясла всех.

Яна кремировали, и поскольку у Любочки все не доходили руки забрать его прах, дядя Юра Кудыкин сам съездил в крематорий куда-то за поселок Таирова, привез и вручил вдове красивую урну; после чего все соседи стали готовиться и чистить обувь: похороны и поминки по Яну могли стать большим культурным событием двора. Но шли недели и месяцы, а потом уже и годы... Не помогали даже сновидения тети Паши, в которых Ян слал Любочке убедительные и уже отнюдь не остроумные просьбы упокоить, наконец, его прах, а заодно прикупить земельки для собственной могилы.

Все улетало прочь, не задевая легкой ее головы.

Пузатенькая урна с прахом смешливого Яна так и осталась стоять у Любочки на изящном круглом столике у окна, составляя – надо отдать должное ее вкусу – интересный ансамбль. И все вокруг договорились уже *не трогать* вдову с ее большим и красивым горем.

* * *

Вечерами, когда хозяйки стряпали *харч на завтра*, вся кухня сияла огнями наподобие бальной залы: у каждого жильца был свой счетчик и своя лампочка над столом, и никто не хотел *одалживаться у соседей* электричеством. Когда за окнами темнело и прожекторный свет заливал пространство кухни так, что любая вещь, вроде оловянного половника, представляла уникальным экспонатом предметов быта, открывалась дверь, и в помещение медленно вплывала Баушка Матвевна – кроткая старушка, занимавшая пять метров, выгороженных от бывшей ванной комнаты Этингеров. Это были пять темных метров без единой щели света, с какой-то роковой технической невозможностью провести туда электричество, и потому день и ночь озаряемых огоньком двух-трех свечей. Дядя Юра Кудыкин, впрочем, уверял, что электричество в логово Баушки Матвевны провести – *как два пальца обоссать*, и даже сам он берется это сделать, просто та тратиться не хочет: старушка, говорил он, «скупа, как рыцарь». (И правда: стоило кому-то из детей подбежать к ней с задорным воплем: «Баушка Матвевна, дай конфетку!» – та мигом добродушно отзывалась: «Говна тоби!»)

Итак, старушка вплывала в ослепительное и ослепляющее пространство коммунальной кухни, ковшиком ладони прикрывая огонь

своей гордой пенсионерской свечи: она тоже не желала *одалживаться светом* у соседей...

* * *

Одноэтажный флигель выходил во двор застекленной верандой, высокая дверь которой была заколочена, а жилыцы в свои комнаты попадали через длинный, жутковато-темный затхлый коридор. За третьей справа дверью жили в тесном закутке Матрена («тетя Мотя, подбери свои лохмотья!») с сыном Валеркой.

Матрена мастерила бумажные абажуры диких расцветок и продавала их на Привозе. Когда партия была готова, всюду – по углам комнаты, на столе, на подоконнике, на шкафу и даже на кровати – вырастали бумажные пирамиды такой могучей и непредсказуемой радуги цветов, что случайный гость в дверях с непривычки отшатывался, как от оплеухи, и не сразу получалось освоиться в этих неистовых джунглях.

Вообще-то, происходили они, мать и сын, родом из Харькова, в Одессу угодили какими-то сложными послевоенными путями, потому и разговор их был пересыпан словечками харьковского диалекта: *сывка*, *ракло*, *раклица*; не куличи, говорили они, а *паски*, не мигать, а *блымать*; а если кто что проиграл, то, значит, *стратил*; и вешалка для одежды называлась по фамилии харьковского фабриканта, когда-то их выпускавшего, – *тремпель*. Если хорошего было в жизни гораздо меньше, чем плохого, тетя Мотя вздыхала: «Один рябчик – один конь». И когда в прятки играли, Валерка выкрикивал не как все дети во дворе, иначе: «Пали-стукали сам за себя!»

Барышня этого мальчика очень привечала, говорила, что он «настоящий», иногда обзывала диковатым именем Франциск Ассизский – за то, что весной он подбирал птенцов, выпавших из гнезд, и выкармливал их из пипетки, а если птенец не выдерживал заботы и помирал, то Валерка хоронил его в канавке за флигелем – там у него скопилось целое птичье кладбище.

В пятом классе Валерка был уже старостой кружка юннатов во Дворце пионеров, опекал кошек по окрестным дворам и держал дома двух черепах, Катю и Никифора, мечтая получить от них потомство. Каждую осень он укладывал своих черепах в спячку – это был торжественный ритуал с краткосрочными погружениями животных в теплую ванночку, – а весной так же научно и бережно извлекал их из картонной коробки к летней

жизни. Дух Божий, говорила Эська, витает всюду, даже и в нашем безнадежном дворе, когда из тени кошмарных абажуров выходит в мир святой, покровитель птенцов, кошек и черепах.

* * *

Когда уже и застекленная терраса флигеля была поделена Батраковым на пять гробовидных отсеков и заселена, как голубятня, стало ясно, что источник доходов исчерпан. Дом выжат, как лимон, инфузория-туфелька перестала делиться, дойная корова не даст больше ни капли молока.

Тогда Батраков обратил алчный взгляд на старых жильцов, еще с довойны окопавшихся в бывшей квартире Этингеров. В первую очередь – на двух женщин одноименной фамилии, по старинке нагло обсевших – каждая по штуке! – целых две комнаты. Антресоль? А что – антресоль? Это ж *щикарная* жилплощадь! И двое там вполне обустроятся, еще и место останется. А цельную залу (имелась в виду Эскина комната) – эту залу давно пора перегородить на три *щикарных* комнаты и вселить туда товарищей, которые тоже советское равноправие имеют...

Эська не испугалась, как того ожидал Яков Батраков, введенный в заблуждение звуками концертного фортепиано, истекавшими из окон ее стародевичьей обители, только очень удивилась, будто впервые Якова Петровича увидала.

– С довойны? – повторила она вслед за управдомом, который не полез нахрапом угрожать и выселять, а сначала аккуратненько напомнил мадам Этингер, что времена сейчас *не такие, чтоб жировать*, и у него имеются полномочия «сплотить» одиночных жильцов с прежней кубатуры на законные нормативы. – Пожалуй, да, с довойны... – Она задумчиво смерила взглядом тощую нагловатую фигурку на пороге комнаты. – До Первой мировой, Петрович... Так что иди, дружок, подрочи. А то как бы мне не пришлось искать мой наградной пистолет.

Эта фраза, брошенная вскользь (разумеется, никакого наградного пистолета у Барышни в помине не было), а скорее, военные фотографии, на которых тонкая, ремнем перетянутая в талии Эська смеялась в компании каких-то высших армейских чинов, произвела на лихоимца Батракова такое впечатление, что и спустя много лет никто на площадь старух не посягал.

...тем более что взамен убывшей Ируси у них довольно скоро возник

другой активный жилец, чья темно-рыжая, с гранатовым отливом гривка, завитая природой в мелкий упрямый баран, стала чуть ли не главной приметой квартиры.

Но идемте же, идемте дальше по фасаду – и если считать по окнам, небольшое, но главное по красоте витражное окно (в прошлом ванной комнаты) по-прежнему принадлежит Лиде, бывшей «девочке» из заведения напротив, ныне ядреной и бодрой старухе, исправно метущей Потемкинскую лестницу.

Окно она по-прежнему намывает на Пасху, только клич свой слегка изменила:

– У нас бога нет, кроме Ленина! – вызывающе кричит вниз, во двор, стоя на подоконнике и до последней капли отжимая тряпку цепкими руками душителя.

Лида варит самогон и, чтобы не привлекать чужого внимания звоном бутылок (окна-то открыты), разливает свое зелье в медицинские грелки – удобно и практично, особенно для докеров, основных ее клиентов; те легко проносят грелки на территорию порта. Однажды один из них, откупорив Лидин контейнер, жажнул стаканчик, шумно выдохнул и произнес фразу, ставшую в квартире исторической: «Как галошей закусил!» – в новой грелке самогон приобретал пикантный резиновый привкус.

Тут хотелось бы исполнить небольшое изящное каприччио о запахах одесских дворов и подворотен, о фиалковом ветре ранней весны, когда под деревьями и на газонах еще лежит дырчатый грязный снег, и новый плац – дня на три, потому что лето обрушивается внезапно; о благоуханном сиреневом сирокко поздней весны на станциях Фонтана, о бородатых запахах моря (водоросли, йод, свежерасколотый арбуз – причем зимнее море пахнет иначе, чем летнее, когда со стороны степей прилетает и вплетается в волосы и в кроны деревьев горьковато-пыльный запах трав).

Хотелось бы исполнить каприччио о цветущих акациях и каштанах, о платановом шатре над улицей Пушкинской, о том, как летними вечерами одуряюще пахнет со всех городских клумб цветками табака и только что политой землей.

Впрочем, о запахах Одессы писали многие, и писали приблизительно одно и то же: море, порт, рыба, рынок с его мясными и молочными рядами, акация и каштан, сирень и тополя...

Вздор: у Одессы запах нематериальный.

Над ней витает необоримое влечение к успеху, уверенность в победе и вечная надежда: «Пройдет и это, а Одесса пребудет всегда!» Возможно, местоположение этого города, крутой замес стихий (земля, воздух, море и даже огонь – поскольку море и горит, когда сжигают на нем пятна пролитой нефти) и есть та формула естества, что отличает родившихся здесь от нас, прочих грешных? Тот тонус душевных мускулов, который принято связывать с темпераментом здешних обитателей; некая певучая тональность речи, ничего общего не имеющая с национальностью?..

Есть в воздухе Одессы пленительная тяга, уверенно ставящая паруса души, неосязаемые частицы восторга, томительной страсти, творчества, риска и авантюры – нечто вроде испанских мушек, дамиана, мускуса, заразики или корня яира, что наполняют чресла желанием, поднимают дух и подвигают на поступки не обязательно благородные, но всегда эффектные. Так что искать материальные приметы в кипящей взвеси из морских брызг, летучих песчинок и опаловых бликов на перистых и кучевых облаках – искать приметы, отличающие Одессу от какого-нибудь Херсона, – занятие суетное и неблагодарное.

Впрочем, один материальный запах отличал-таки наш двор.

Наш большой двор, где дети играли в прятки, маялки, цурки и «штандер», где хозяйки развешивали белье и чесали языки, где каждый день вспыхивали и гасли скандалы, где на ходу разбирали вчерашнюю шахматную партию, сыгранную где-то в Цюрихе, или обсуждали недавнюю замену нападающего в «Черноморце», – этот двор звучал непрерывно: стуком костяшек домино, разновысокими голосами детей и взрослых, колокольчиком мусорной машины, забиравшей пахучие отбросы, по которым, как в сказке Андерсена, всегда можно было узнать, кто сегодня готовил рыбу.

Он звучал раскатистыми, зычными, хриплыми призывами старьевщиков, стекольщиков, точильщиков; лирическими и бодрыми вперевивку «песнями по заявкам радиослушателей» чуть не из каждого окна. Двор звучал мощно и легкомысленно, напевая и хмыкая, отхаркиваясь и громко прочищая нос, выбивая ковры, вытрушивая половики в парадном (невзирая на грозную надпись: «Не трусить!!!»). Двор звучал и звучал, умолкая лишь на два-три предраассветных часа, когда так сладко спать и так хочется тишины, но и ее может нарушить любой базлан, которому не спится, которому приспичило интересоваться за погоду у припозднившегося соседа:

– Шо? Дощь?

– Та не, грязь есть, но лично не идет...

Так вот, этот наш двор пропах плавящимся полиэтиленом.

Фирменный полиэтиленовый пакет с девицей, рекламирующей «Мальборо», доставлялся в Одессу моряками и шел на толчке по рублю. Подарить такой пакет на свадьбу молодым (конечно, в придачу к льняной скатерти или настольным часам «Янтарь») считалось хорошим тоном.

Инвалидсёма раздобыл где-то пухлый, как бревно вареной колбасы, рулон красочного полиэтилена с повторяющейся картинкой: полуобнаженная красотка призывно изогнула смуглое и гладкое мексиканское бедро. Он поставил дело на поток: нарезал заготовки, которые оставалось только спаять в пакет. Среди коммунальной вольницы были выбраны две надежные старухи (одной была сновидица тетя Паша, ростом выше стула и с пышной белой бородой, другой, чего уж там стесняться, – наша Стеша, потому как заработать копейку – дело нестыдное).

Инвалидсёма выдал девушкам паяльники с особой насадкой: на жале ее крепилось железное колесико с острым ребром. Через удлинитель, уходящий к *Инвалидсёме* в окно полуподвала, паяльник врубался в сеть, и старухи наметанным движением проводили колесиком по краям разомкнутого пакета. Право на бизнес было куплено у Батракова за десятку в месяц. За пару-тройку часов (в обед жарко, а вечерами темно) старухи умудрялись напаять целую кучу пакетов. И – воскурениями в храме пронырливых богов Левого Дохода – едкий удушливый запах плавящегося полиэтилена проникал в каждую щель, пропитывая висящие на веревках бюстгальтеры и кальсоны, заполняя двор и вызывая у жильцов надсадный кашель.

Сюда, в этот двор, к двум уже очень пожилым женщинам и приехала на неопределенный срок рыжая, с гранатовым отливом в крутых кольцах волос девочка с крепкими коленками, так и мелькавшими перед глазами, даже когда она вроде бы находилась в покое.

Гужевой транспорт Одессы доживал последние дни, погромыхая по бульжникам окраин. Завидев такую подводу, пацаны догоняли ее

и запрыгивали на край, привычно рискуя: осатанелый биндюжник мог и кнутом огреть.

Еще кое-где работали кузни – там подковывали битюгов, и в густеющих сумерках южной ночи глубина озаренной пламенем утробы казалась геенной огненной, где хмурые черти рвут и терзают ногу бедолаги-коня. Сгиб ноги тяжеленного битюга издали казался невероятно хрупким – вот-вот сломается.

Полуобнаженные парни, вылезгивающие на наковальне подкову из раскаленного металла, вгоняющие «костыль» с размаху в два-три удара, казались учениками косматого Вулкана.

Исчезали битюги и подводы, появлялись телевизоры и радиолы, стала модной заправка сифонов, и это был свой спектакль, достойный настоящего ценителя, особенно если не полениться и пойти к дяде Мише, что у клуба Иванова сидит: неторопливые движения его рук отлажены до механистичности, газ в стеклянный сифон подается мерными порциями, и ты зачарованно смотришь, как серебристой стайкой взлетают внутри и растворяются в воде жемчужные пузырьки. А пока до дому дойдешь, незаметно для себя самого половину сифона и выдуешь, даже если потом от отца по шее перепадет.

Еще вся Одесса, за редким исключением, мылась в банях, и каждый ходил в какую-нибудь свою, доказывая, что именно в ней – особо густой пар, или самый душевный банщик с отменными вениками, или «мама» – так распаренные мужики звали буфетчиц в банях на Молдаванке – готовит неотразимую тюльку... Вот она подплывает к столику, застланному клеенкой, склоняет к тебе полный стан (а прятать тугой живот, перетянутый фартуком, никому в Одессе и в голову не придет), преподносит твоей блаженной физиономии тесное декольте с выпирающими буграми дрожжевых грудей, улыбается и ласково говорит: «Ну, рассказывайте!..»

И разве это не самая приятная манера взять у клиента заказ?

Тут опять хочется отлучиться на поэтический жанр о помывке тела. На оду или даже на поэму, что кажется вполне уместным: воспевание банного ритуала, как и любое кружение вокруг голого тела, всегда содержит античную подоплеку, пусть и далекую от героики; что-то от Римской империи содержит, от ее культа обнаженной плоти.

В Советской империи в середине двадцатого века, при совершенном отсутствии эротики в надстройке, в базисе прочно присутствовал обиходный факт всенародного обнажения. Еженедельное «мытие»

до известной степени определяло сознание – банное-шаечное, парное-веничное, пиво-раково-креветочное сознание советского гражданина и советской гражданки. Общественный пар окутывал десятки миллионов простых людей крякающим блаженством – и сквозь него проступало осознание откровенной наготы твоего личного тела, и тела соседского, да и просто чужого, проплывающего в пару скользкого тела, как сквозь утренний туман проступает на садовой дорожке мраморное бедро или грудь внезапно встреченной статуи...

* * *

Отработав положенные три года по распределению, а потом еще три, «на заначку», наши северяне – по мнению и страстному ожиданию Стеши – должны были вернуться домой, в человеческий климат и нормальную жизнь. Но те рассудили иначе: в Норильске им, как ценным специалистам, выделили от комбината роскошную двухкомнатную квартиру в центре, да и на работе компания подобралась отличная, не соскучишься – все молодые, веселые, душевные. И перспективы для материального роста открывались шикарные... Короче, никакого резона возвращаться в «ваши клоповники» ребята, как выяснилось, не видели. Вот с девочкой – это да, проблема возникла немалая. В еженедельных телефонных разговорах, которые Стеша заказывала на центральном телеграфе, Ируся беспрестанно жаловалась, что дочка «страшная егоза, требует нечеловеческого внимания и столько сил отнимает, что – не поверишь, мама, – под вечер у меня плачет каждая клеточка, а ей хоть бы хны! К тому же без конца болеет – видимо, климат оказался не по ней. Так что, конечно, мама, было бы хорошо хоть на годик отправить ее к вам, оздоровить и... – она помялась и закончила: – ...может, как-то... угомонить?»

И Стеша, боясь поверить в такое счастье, заорала в трубку:

– Доця, да ты шо!!! Присылай, чем скорее!!!

Вот так и получилось, что буквально недели через две после этого разговора Владку из Заполярья привезла Ирусина сослуживица, которая очень кстати собралась отдохнуть-подлечиться в одном из одесских санаториев. Стеша лишь подъехала на троллейбусе к вокзалу, где милая женщина с явным облегчением и вымученной улыбкой («У вас такая активная внучка!») сгрузила девочку в жаркие Стешины объятия.

В первый же день, когда, совершив столь долгое и утомительное для шестилетнего ребенка путешествие, Владка наконец оказалась дома и – накормленная, выкупанная в тазу на кухне, переодетая в новое, желтое в чернѣй горѳх, платьѳце «с фонариками» – была, как примерная «доцѳ», выпущена на люди, она успела: украсть у Любочки кольцо с гранатом и подарить его на улице айсору-точильщику (в уплату потрясенной Любочке немедленно пошло одно из Дорѳных колец, неизмеримо дороже); рассказать управдому Батракову, что ее папа зарубил топором, разрезал на кусочки и закопал в вечную мерзлоту соседа дядю Борю («А если не верите, дядя, можно откопать и посмотреть – у нас с мертвецами ничѳ не случается, они как новенькие лежат!»); перезнакомиться со всеми во дворе, подговорить дворовую ребятню сбегать в порт, протыриться на корабль и «сплавать до куда-нить», а когда сие намерение было, слава богу, предотвращено добродушными подзатыльниками охранника в проходной порта – заменить плавание на трехдневный поход в катакомбы, и хорошо дядя Юра, проходя по двору, обратил внимание на подозрительно вдохновенные физиономии у всей компашки, готовой выдвинуться в путь, подверг суровому допросу искателей приключений и для острастки накомстылял по шее каждому – на всякий случай.

Короче, эта оказалась явно из Этингеров – судѳ по количеству вырабатываемой в минуту энергии.

* * *

В Барышниной комнате потолок расписан кудрявыми купидонами, сыпѳющими вам на головы цветы и фрукты из рѳгов изобилия. Лепка вокруг медальѳна люстры тоже кудрявая, надтреснутая и *обратно же* готовая *выпасть* кусками на головы. Роскошный наборный паркет – дуб и ясень (дубыясень) – чреват разбитыми и выпавшими плитками...

– Все в упадке, разрухе и подлости... – говорит Барышня.

Иногда она пускает Владку ночевать к себе в комнату, в свою шикарную кровать с никелированными шишками и двумя вздышливыми перинами, куда можно прыгнуть с разбегу и пойти на дно. Барышня маленькая, легкая как перышко – седой мальчишка! – и все время мерзнет, а Владка – крепенькая и плотная, и полыхает, как печка:

– Я тебя согрею, Барышня, пых-пых, закрой глаза! – и кладет той на щеки две горячие ладошки: – Ну? Пышно?! Горячно?! Ахает?

На стенах и на крышке концертного пианино у Барышни стоит и висит

множество фотографий в затейливых рамочках, а над кроватью французский гобелен: мальчик-разносчик уронил корзину с пирожными, два апаша их едят, мальчик плачет, все на фоне афиши какого-то Тулуз-Лотрека (*Тулузакрюка*).

На нотном шкафчике у нее стоит «последний Гарднер» – вовсе не человек, а причудливо изогнутая вазочка для фруктов: фарфоровая, сетчатая, с букетами фиалок. Есть балерина с туловищем, ручками и ножками из фарфора и пышной бархатной юбочкой для иголок и булавок. Это – «что румыны не унесли», потому что Баба спрятала. Есть еще куча интересного: например, ломберный столик для игры в карты. Он открывается, обнажая зеленое поле сукна, на котором мелом можно записывать все что угодно. Раньше там записывали «взятки», но означало это слово не то, что сейчас имеется в виду, когда во дворе говорят о Батракове.

Итак, дело к ночи. Свет выключен, Владка с Барышней лежат тихо-тихо. Короткий миг тишины, когда девчонка уже утомилась, а старуха еще не принялась храпеть. И тотчас же из всех щелей и углов на колесиках выезжают мыши. Их сотни и тысячи, их полчища, как в балете «Щелкунчик», они заполняют всю середину комнаты, но стоит пошевелиться, скрипнуть матрасом – и нет никого, как по мановению волшебной палочки.

У Барышни жутко интересно, да она и сама интересная: вспыльчивая, резкая, никогда не знаешь, в каком настроении проснется, но если уж настрой у нее милостивый или насмешливый, то ей можно задавать любые, самые дурацкие вопросы до бесконечности, и она будет отвечать и объяснять все подробно, пока не взорвется и не гаркнет, что «эта зараза... этот дар Куяльника! кого угодно переболтает и передолдонит», и не шуганет Владку да такой *даст прострации*, что подходить к ней пропадет охота на ближайшие три дня.

Однако самый интересный человек в квартире – дядя Юра Кудыкин.

Он занимает комнату, что когда-то была третьей частью бывшей ванной Этингеров. И в этой комнате можно сидеть без скуки целый год. Барышня говорит: «В комнате Юрки можно получить высшее техническое образование». Там мебели немного: узкая койка, три разных стула и стол. Но все стены обшиты стеллажами из простых досок, подобранных или украденных где попало, стеллажами, на которых... о, на которых гнездится *богатство человеческой мысли!* Здесь есть астрология, квадрант

и секстан, монокулярный пеленгатор на репитере гирокомпаса, навигационный транспортир, барометр-анероид, теодолит, дюжина биноклей, несметное количество разноцветной стеклянной посуды – от огромных бутылей до крошечных пузырьков таких причудливых форм, что оторопь берет; много старого золингенского инструмента: стамесочек, отверточек, ножичков, и все с фирменным клеймом – «лев на стреле»... Есть компас величиной с будильник, есть ржавая мина, подводные фонари, два лупоглазых водолазных шлема, штук восемь старых радиоприемников (все в рабочем состоянии) и ящики, ящички, банки и баночки с грудами гвоздей-шурупов и разных деталей к иностранным механизмам – например, игл для швейных машинок.

– Кто с фронта шмутки вез, – говорит дядя Юра, – кофточка-чулочка ажурные... А я – дело! – И про каждую вещь у дяди Юры есть рассказ и пояснение. Владка любит задать вопрос, но редко дослушивает до конца ответ – дальше несется, с новым вопросом. – Хорошая девочка, – говорит, улыбаясь, дядя Юра, – просто в ней три мотора.

Барышня считает, что дядя Юра – уникум. Судьба у него очень гремучая. На фронте он придумал ремонтировать трофейные немецкие автомобили, легковые и грузовые. Ремонтировал и ставил на колеса, *всё в ход приводил*, и весь штаб армии *ходил у него в подхалимах*. Он водил дружбу с маршалами, генералами и бандитами. В мирное послевоенное время где-то на задворках Молдаванки склотил подпольный цех по производству мороженого. Это было самое вкусное в мире «честное» мороженое, в каждой порции которого вы нашли бы и масло, и сахар, и шоколад... ну и прочие полноценные *ингредиенты*, чтоб не стыдно было от людей. А реализовали товар в разных точках города теткимоороженщицы.

По этому поводу дядя Юра *сел*, но сидел всего года три, так как придумал в тюрьме какую-то рационализацию, и благодарное начальство выпустило его по очередной амнистии.

Еще дядя Юра – *блядун*. Это говорит Баба – с одобрением. Ныне, конечно, не то, что прежде, когда ежедневно из его комнаты выходила, потягиваясь и поправляя прическу, каждый раз новая женщина, но и сейчас они иногда возникают, как валькирии, легкой тенью проносясь из комнаты в уборную, а дядя Юра, в это же время зажаривая на сковороде изобретенный им омлет с манкой – толстенный, как подошва водолаза, – привычно бормочет что-то о *терпящих бедствие голодных на любовь моряцких женах*.

Дядя Юра старый, как Баба и Барышня, но очень сильный: у него мускулы литые, как чугунные чушки, потому что в молодости он работал силачом в цирке, грудью гири отбивал. Сейчас он – рабочий сцены в ТЮЗе, таскает на спине моря, и горы, и дуб зеленый у Лукоморья, а они, хоть и фанерные, но все ж тяжеловатые. Главное, запросто может провести тебя на спектакль и устроить на приставном стуле. Владка с Валеркой, верным дружкой, сыном «тети Моти-подбери-свои-лохмотья», легко помещаются на таком стуле вдвоем. Садятся тесно, и мальчик обнимает Владку за плечо и крепко к себе прижимает, чтоб не свалилась в проход. Так и сидят, в-тесноте-не-в-обиде. А что? На каждого «приставняк» не напасешься, говорит дядя Юра. Они всё уже пересмотрели раз по пять, а «Остров сокровищ» – раз восемь. Валерке Барышня доверяет даже перламутровый лорнет прабабки Доры – старый-старый, с длинной прямой ногой, как деревяшка зловредного капитана Сильвера, ковыляющего по сцене с попугаем на плече.

Валерка подкручивает бронзовое колесико-поясок на талии лорнета, приставляет к Владкиным глазам и так держит, чтобы она рассмотрела артистов «вблизи»; сколь угодно долго держит, хоть весь спектакль; держит, даже если рука сильно устала.

Когда дядя Юра появляется где-нибудь, пусть и в кухне – он сразу распространяет вокруг себя беспокойство и энергию изменения, становится центром происходящего. Непонятно, как это делает. Иногда просто молчит и долго смотрит, скрестив могучие руки на могучей груди, да насмешливо цедит сквозь прокуренные желтые усы: «Ку-у-у-рицы...» – а бицепсы под сетчатой майкой вздыхают-шевелиются, так что их хочется пальцем ткнуть – может, сдуются?

На своем мотоцикле дядя Юра – если в приветливом расположении духа – катает мелкое дворовое население. И хотя Баба с Барышней запрещают Владке «искать на задницу приключений», дядя Юра подмигивает ей, с усмешкой бросает: «Курицы!» – сажает Владку позади себя и велит держаться насмерть, а потом долго-долго катает по городу, вернее, просто ездит с ней, как с рюкзаком за спиной, по своим делам, по разным адресам, и в центр, и на окраины, иногда разгоняясь так бешено, что рот забивается ветром, восторгом и ужасом, руки немеют, в пальцах покалывает, и кажется, вот сейчас оторвет тебя и закружит, и унесет прямо в море! Для Владки дядя Юра – как Гагарин.

Вот с ним-то она побывала и в кузне, и на Староконном, и на толчке, и на Привозе.

Разве что в баню на Молдаванку он ее с собой не брал. С дядей Юрой

Владка по-настоящему *развела* этот теплый, морской, с шершавыми стволами акаций и платанов город и горячо полюбила его, решительно позабыв все, что прежде было в ее коротенькой северной жизни.

* * *

Самыми уютными бывали зимние вечера, когда случался туман или промозглый холод загонял Владку со двора домой. Тогда дядя Юра затевал у себя чаепития, на которые приглашал избранное общество, «понимающих дам» – Барышню и Любочку (уже больную артритом, но все еще с непременным морковным маникюром на ломких узловатых пальцах).

Стулья предлагались гостям, хозяин сидел на кровати, а пронырливая Владка – бесплатный довесок – места не требовала. Он строгал бутерброды с сыром, выставял банку резинового повидла и колот трофейным щелкунчиком желтый, слюдяной на вид сахар, который Владка обожала: засовывала за щеки сразу по два куса и сидела в углу, хомяк хомяком, верхом на лупоглазом водолазном шлеме, подобострастно слушая дяди-Юрины байки. Он был единственным, кого девчонка не решалась перебить, чтобы *вставить свои пять копеек*, при ком вообще способна была усидеть на месте «скока хошь годов»: минут десять.

– У нас при штабе дивизии канарейка жила, – начинал дядя Юра. – Пела под баян гимн Советского Союза и сама себя хвалила: «Какая хорошая птичка!» – говорила, да так внятно, будто ключиком ее завели.

– Не бреши, Юрка, – отзывалась Барышня, грея о чашку всегда холодные руки. – Канарейки не разговаривают. Они только поют.

– А вот и нет, Гаврилна. Ошибочка твоя! Они могут говорить, но для этого нужно, шоб чей-то голос в унисон им соответствовал. Ту канарейку научила говорить Маруська, уборщица при штабе. Пискля такая, все сюсюкала: «Какая хорошая птичка!» – и досюсюкалась. Раз приходит, а канарейка, значить...

– А, знаю, знаю!!! – Владка вскакивала как ужаленная, перебирая ногами, точно сейчас сорвется с места и – вж-ж-ж-жик! – умчится прочь: – Я знаю!!! Раз приходят генералы, а уборщица в клетке сидит, а канарейка пол подметает!

* * *

Если Стешу Дора нарекла когда-то «запоздалой головой», то Владку она бы назвала «головой-торопыгой».

Все, что та делала или говорила, хотелось немедленно переделать и переговорить.

Каждое ее слово было лишнее.

За каждую вторую фразу ее хотелось прибить.

Воспитанию, которым обьяли ее (каждая по-своему) две старухи, Владка не поддавалась ни в малейшей степени, будто внутри у нее сидел маленький осатанелый тайфун, просыпавшийся именно в тот момент, когда более всего событиям и обстоятельствам требовались вдумчивая тишина, осторожность и внимание к каждому слову.

С самого детства ее распирала такая радость жизни, такое несокрушимое ожидание ежеминутных чудес, с которыми обыденность конкурировать не могла. Этот сгусток энергии уравнивался диким, необъяснимым и беспричинным враньем, враньем *не за ради чего*, просто так, без цели. Это было чистое творчество без претензий на гонорар, густая и красочная живопись сочиненного мира, который она вылепливала щедрыми ритмичными мазками. Да: этот неизвестно откуда взявшийся в девочке врожденный ораторский дар – способность к ритмической речи – вспыхивал и срабатывал в самые неожиданные моменты самым непредсказуемым образом («Хорошая девочка, просто в ней три мотора»).

Очень скоро Стеша с Барышней ощутили полное бессилие в вопросе обуздания и хоть какого-то управления этим мощным рыжим турбогенератором, а Барышня – та даже с удовольствием наблюдала, как, проводив до дверей учительницу, в очередной раз нагрянувшую со скорбной вестью о состоянии Владкиной успеваемости, девчонка врывается в комнату с победным кличем, будто минуту назад разгромила вражеское войско:

Не слушать Муфту!

Подлая свинья!

Она все врет, чтобы ей было пусто!!!

Я написала на контрольной все...

– ...но выросла капуста, – подсказывала рифму Барышня и, чиркая спичкой, оборачивалась к Стеше: – Иди и купи этому трибуну-главарю авиабилет в Норильск на восьмое число, ее все равно выгонят из школы. А в условиях Заполярья такие мужественные и правдивые люди очень

востребованы.

Владка на секунду замирала, приоткрыв рот и заворуженно глядя, как дым папиросы сизыми слоями окутывает морщинистое лицо Барышни, и спокойно интересовалась у туманного кочана капусты: – Почему на восьмое?

Она с горячим энтузиазмом ходила на парады со всем двором: воздушные шары, транспаранты, бумажные цветы и под конец дня – воодушевленные праздничные драки: вот та любимейшая среда, в которой она чувствовала себя своей до донышка. На ее кудрявую голову Стеша в детстве прикалывала украинский венок, и Владка давила *гопака* весь день до вечера, пока венок не сбивался и не повисал на ухе. Обожала огромные компании, любые дружные затеи, игры и *полезные дела на благо родины*; всегда с радостной готовностью выходила на школьные субботники и с упоением сажала деревья.

Когда в мае возвращалась китобойная флотилия «Советская Украина», Владка с толпой соседских ребят бежала ее встречать, и *проканывала* на причал, и весело толкалась среди нарядных моряцких жен и детей, крутясь под ногами потных и красных, с барабанными щеками духовиков, вопя и размахивая алым галстуком, когда серо-белая громада корабля-матки (вон-вон там, на палубе разделяют огромных китов!) вырастала, заслоня море и небо, и медленно швартовалась, как самый огромный кит, утробно подавая приветственные гудки, а за ней проходила Воронцовский маяк вереница маленьких, по сравнению с китобойцем, судов-охотников...

Еще со времен Ирусиного детства каждое лето снимали дачу у бабки Роксаны.

Домик на 12-й станции Фонтана, больше похожий на курень – две подслеповатые комнатки, беленая кухня с широкой печью и веранда, со всех сторон застекленная, с утра до вечера залитая солнцем, – торчал над обрывом, как корешок гнилого зуба. Зато – «у самого синего моря»! Собственно, на веранде и жили – завтракали, обедали и ужинали за столом, накрытым истертой, иссеченной ножами клеенкой, а вечерами вязали, писали письма или читали при свете голой продолговатой лампочки, неприлично торчащей прямо из стены.

Эту «дачу» с шаткой уборной во дворе снимали годами, хотя можно

было подыскать и попримечнее. Но Барышня любила летнее житье у бабки Роксаны, говорила, что та – «возвышенная душа». Где она эту возвышенность в бабке отыскала, никто не понимал. Правда, та действительно часами слушала «театр у микрофона» (в кухне была радиоточка), подперев кулаком щеку и утирая слезы под выдуманные коварство и любовь. Но иногда посреди нежной фразы или пылкого признания в любви вдруг выключала радио и говорила: «Піду к свиням», – во дворе у нее жил поросенок. И если Барышня интересовалась – что ж, мол, спектакль не дослушала? – бабка разводила руками и туманно говорила: «Нема жару!»

И лето проплывало под бубнящую песнями и восклицаниями радиоточку, как жаркий послеполуденный сон в стае радужных бликов.

Над двором – огромная крона сутулой акации. Во дворе – грохотущий ручной умывальник с ведром под ним и вытащенная в узорную виноградную тень кровать с набросанными перинами и подушками, чтобы дети бесились, валялись, ели фрукты. Каждый день Владку заставляли подметать этот проутюженный, прожаренный солнцем, выбеленный жарой и пахнувший сухим, снятым с веревки бельем, каменный дворик с опавшими листьями и принесенными бог весть откуда розовыми лепестками.

Худой базарчик, «два-три лотка и пять местных бабок», был на 10-й станции Фонтана – это так, прикупить для хозяйства по мелочи; ну, а серьезно «делать базар» ездили на Привоз. Первой там появлялась черешня, белая и черная, потом вишня, слива, абрикосы и прочий фруктовый рай. А еще в начале лета возникала непременно *пшён*ка – молодые кукурузные початки, обожаемые Владкой за то, что их можно долго подробно обгрызать, а потом еще выгрызать и догрызать острыми зубками сладкие корешки зерен. Ах, горячая вареная пшёнка! Сольцой присыпать, *кечик* масла кинуть – не едать вам ничего вкуснее! Баба наваривала полную кастрюлищу, уверенная, что на сей раз хватит до завтра. Куда там: к вечеру та оставалась пустой. А вот еще, если хотите, восхитительная летняя еда: вареные рачки. Ну, кто их не знает: мелкие креветки, отваренные в соленой воде; их по всему берегу в газетных кулечках продавали. Щелкали их, как семечки: спинку откусываешь, хитинчик выплевываешь, остальное выбрасываешь. И губы аж печет от соли, а остановиться трудно...

Ну а потом арбузы, виноград, дыни – это уже пик лета, его тяжелое, текучее, как свежий мед, солнце; сладкое изобилие степей...

Стеша, конечно, разворачивалась во всю свою кулинарную летнюю мощь.

Все перечислить нет никакой возможности, припомним главное:

неподражаемый ее *борщ на завтра* (ибо настоящую силу это волшебное варево набирает на второй день), чье благоухание перешибало все прочие запахи двора, включая ароматы нужника на задах огорода;

прозрачный, как горное озеро, бульон с фрикадельками (тот самый, вожделенный еще старым картежником Моисеем Маранцем, который после каждой ложки восклицал: «Мама моя!» и платком вытирал бисерный пот на лбу);

«куриные» котлетки из хека, перцы печеные, в слабом уксусе...

И не забыть бы жареную печенку и фаршированные яйца! И молодую картошечку с маслом и укропчиком. И кисло-сладкое жаркое с черносливом. И непременно вспомнить традиционную, но совершенно особенную у Стеши икру из «синих»! (Синенькие вообще пользовались особым почетом: сотэ, икра, жареные так и этак.)

А Ее Величество Курица?! Из курицы делалось минимум шесть блюд – и флагманом плывут куриные шкварки из кожицы с луком (предназначались только Владке, никому боле). Затем – котлетки из белого мяса, бульон из крылышек, горла и остатков *чего-ничего* на косточках, а отдельным перлом творения – *сбережэнная* кожа шейки, чтобы ее фаршировать, тушить и холить, не говоря уже о куриных *пульках*, заласканных такими соусами, о которых понятия не имеет никакой вам шеф-повар французского ресторана!

За неимением времени и сил *все это пережить*, пропустим целый перечень важных персон рыбного рая... Но карп... Карп, упитанный мужчина, облаченный (запеченный) в доспехи – от сметаны до томатного соуса! Ну, а уж котлетки из тюльки... А Стешина фаршированная рыба... Вспоминать о Стешиной фаршированной щуке невозможно даже на сытый желудок.

Ну, что вам сказать? Отдельным изыском шло варенье из мелких абрикосов, где вместо косточки *вкусившего* ждал сюрприз: четвертинка, и именно четвертинка, а не половина, ореха...

* * *

Дом стоял над крутым спуском к морю.

Владка ходить не умела – неслась с этого спуска, как ядро из пушки,

вся расцарапанная, ободранная – жуть как падала. Баба увидит новый ушиб или ссадину – ругается страшными словами, а сама плачет. Вот это было Владке странно: упала она, а плачет Баба.

Если мчаться с горы, быстро-быстро перебирая ногами, скорее всего, не упадешь, а просто врежешься в море, и оно все равно тебя затормозит: вода слишком густая для дальнейшего бега под парусами – густая сиреневая вода, в ней дружные вспышки бликов мостят дорожку вдаль, где под оседающим в море багровым солнцем вспухает и растекается огненная лава.

На огороженном участке стоит, накренившись в воде, *полуутонутый* ржавый корабль. Там очень мелко, по колено или по пояс. И живут там рыбы, не рыбы, хотя все-таки рыбы, они ведь и называются «рыба-игла». Пика острая такая, длиной с ладонь, толщиной с палец. Ловят ее ногой: прижимают к песчаному дну, захватывают пальцами и так, стоя на одной упорной ноге, осторожно подтягивают вторую, охотничью ногу с добычей, потом перехватывают рукой. Иглу можно засушить, увезти в город и пугать ею соседей – Любочку, например (дядя Юра скажет: «Девочка с большим юмором!»).

Хотя Любочку – нет, не надо, она добрая и в своей комнате разрешает трогать все-все-все без разбору, кроме пузатенькой вазы с коротким мужским именем. Как только тронешь пальцем ее прохладный керамический бок – просто так, для проверки запрета, – Любочка сделает страшные глаза, нахмурит наведенные карандашом морщинистые бровки, грозно вскинет высокий, как мачта, веснушчатый нос и скажет:

– Отойди, чудовище! Оставь Яна в покое!

И Владка сразу делает скучное лицо, оборачивается и произносит:

– Ша! *Вус трапылос?* – фразу *Инвалидсёмы*, которая ей страшно нравится за таинственность.

Мальчишки с окрестных дач ловят сверкающих изумрудных хрущей. Те сначала неподвижно лежат на ладони, как тяжелые драгоценные слитки, потом начинают щекотно перебирать мохнатыми колкими лапками. И если привязать их нитью за лапку и запустить на орбиту, они прожигают круги над головой, как взбесившийся вертолет. Улететь нельзя, а ярость и воля к победе швыряют их в воздух снова и снова.

А еще вокруг полно солдатиков – красных жучков с черным рисунком на спине, они живут в траве и в домиках из песка. Их можно посадить в спичечный коробок, привезти с собой в город и потом с толком использовать: например, напустить в чернильницу к училке ботаники,

за то, что она так смешно произносит: фактицки, практицки, систематицки... (Потом она преподавала еще и химию в старших классах, и Владка со своей феерической безалаберностью на всю жизнь запомнила фразу, с которой начинался учебный год: «Химия – наука о вэщэствах и прэвращэниях».)

* * *

...Раз в две-три недели на дачу пешком заявлялся Валерка, верный дружок, сын тети Моти-подбери-свои-лохмотья, и видимо, так уставал в пути, что *передыхал* дня три, ночуя на кровати под виноградом, заодно маленько подкармливаясь. Если оставался, утром утаскивал Владку на рыбалку «на камни» – было такое место, вернее, полно было таких мест, где большие плоские камни уходили в море, как следы великанских шагов. Перепрыгивая с одного на другой, можно было удалиться от берега метров на пятьдесят.

Никаких особых снастей для рыбалки не требовалось: по пути отламывали от кустов прутки, вязали на конце суровую нитку, к ней крючок и поплавков – удочка готова. Валерка уже тогда сильно вытянулся и худющим был, как прут для удилица. Но с камня на камень перемахивал ловко; становился на край и говорил:

– Сигай, отвечаю!

И отвечал: раза два вытаскивал недопрыгнувшую Владку из воды. Но чаще ловил прямо из воздуха, подхватывал и опускал на твердь.

Располагались на том камне, что поплотще и пошире. Валерка снимал рубашку, расстилал ее на холодном песчанике, ложился на пузо и принимался шарить длинной рукой в воде, собирал рачков. На них и ловили: нанизывали на крючок и забрасывали в море. Тяжелое колыхание зеленовато-прозрачной массы воды, близкое дно с шевелящимися крабами и морскими иглами, свежесть утреннего бриза, что кропит пупырышками руки, плечи, голые ноги...

Вставало солнце, камень быстро нагревался, вода темнела, попыхивая золотыми мальтийскими крестами. И уже скоро солнечные лучи, как сквозь увеличительное стекло, выжигали в макушках огненные узоры – закрой глаза, и поплывут они в черноте расписными оранжевыми кренделями; а в ведерке постепенно уплотнялась густая жизнь пойманных бычков.

Когда ослепительный день и сверкающая синь воды заволакивались в глазах жарким маревом, дети сматывали удочки и собирались в обратный

путь. Валерка прыгал с ведром в руке, *абы помяхше*, стараясь не выплеснуть содержимое: ведь Стеша потом из этих бичков и глосиков (так называли камбалу) наготовливала тонны вкуснятины: и блинки, и котлеты, и если просто целиком зажарить на сковороде обвалянную в муке рыбью личность, так ведь тоже – дурак откажется... И Стеша варила-жарила без устали, потому что знала: Валерка тогда меньше стесняется за добавку, чувствуя себя добытчиком, а не *нахлебкой на закорку*.

Большим достоинством отличался мальчик.

Однажды принес в подарок малиновый бумажный абажур, который мамке не удалось продать из-за цвета, дюже густого. Барышня глянула разок на это изделие и сказала:

– О, господи! – а Стеша что-то тихо и мирно ей возразила. Что касается Владки, та полюбила абажур мгновенно и всем сердцем: вкус у нее был в точности как у ее мамы-Ируси, широкий изобильный вкус без всяких яковов, она многому свое сердце распахивала.

Тогда Барышня хмыкнула и сказала:

– Ладно, пусть будет. Сколько оно провисит, то пугало... Мне б его ненароком папирсой не прожечь.

...что и случилось тем же вечером, и ей-же-богу, ненароком – просто Барышня при своем крошечном росте всегда так бурно жестикулировала! Что там абажур – она однажды ректору консерватории чуть глаз не выжгла. За эту ее оплошность Владке было позволено взять абажур в город, под успокоительный Стешин говорок: сколько оно провисит, то пугало...

Вы будете смеяться, но ведь висит сегодня абажур, аккуратно подлатанный-подклеенный дядь-Юрой, выцветший до декадентского устричного цвета, аж в самом городе Иерусалиме, у немолодой Владки в кухне; восхищает гостей, любителей ретро, и вполне там уместен, особенно по вечерам, когда включается электричество и за окном гаснут Иудейские горы, уступая место двойнику стильного абажура, под которым так уютно пить чай с кардамоном – довольно вонючий, неизвестно за что любимый Владкой.

И нет уже ни Стешы, ни Барышни, ни тети Мотиподбери-своилохмотья, и неизвестно, жив ли Валерка, доматывает очередной срок где-нибудь на зоне среди могучего лесоповала или отточенной финкой саданул его урка-дружок, – впрочем, это уже слова какого-то романса, которых во Владкиной башке понавалено видимо-невидимо. В ее музыкальной памяти всегда царил странный «каламбур» из репертуара Барышнинных

студентов-вокалистов и матерных частушек Валеркиных дружков, что возникали, как черти из табакерки, стоило ему вернуться после очередного «курорта».

Она производила впечатление гаубицы: пулеметная речь, бешеный напор рифмованных строк, мгновенная реакция в разговоре на любую тему: она отстреливалась подходящим «случаем из жизни», от которого собеседники *челюсти на пол роняли*, и неслась дальше, перескакивая через все препятствия. Это был коверный в идеальном воплощении.

Цирковое училище рыдало по ней горячими слезами.

Как это ни смешно и ни странно, школу она закончила: вытянула все та же общественная работа, некогда увенчавшая Ирусю, ее отличницу-мать, добавочными лаврами, а в случае Владки оказавшаяся спасательным кругом, буксиром, что с натугой тащил ее из класса в класс.

Аттестат выглядел жалко, но уж какой есть, надо радоваться, говорила Барышня, что она вообще научилась грамоте.

А вот это был уже обидный выпад со стороны жестокой старухи. Ведь вдобавок к ежеминутному выхлесту идей *по теме* и мгновенному их воплощению в стихах (что особо ценилось в срочных случаях посещений школы разными комиссиями) Владка еще и неплохо рисовала в стиле «а вот заделаем карикатурку к юбилею завуча».

Это были беззлобные и бесхитростные рисунки, обычно снабженные столь же простеньким четверостишием.

Вот типичный образец ее жизнерадостного творчества:

Директор орден получил! Разве это плохо?!
Чтоб он двести лет прожил и шел с нами в ногу!
И жена чтоб рядом шла, чтоб выросли детки
Под кипучие дела нашей пятилетки!

Мгновенной готовностью *исполнить* Владка напоминала пляжных художников, безотказно вырезающих маникюрными ножничками из листа бумаги профили желающих курортников.

Между тем годам к шестнадцати это была невозможная красotka такой неотразимой рдяной масти, с такими бесстыжими *кружовенными* глазами, с зефирной кожей, которую нестерпимо хотелось лизнуть, что Стеша то и дело порывалась сделать Ирусе «категорический звонок»: ну как старухам совладать с этой юной кобылицей, беспредельно свободной в любых своих намерениях? Впрочем, Стешин упредительный залп ни к чему не привел. Ируся проговорила утомленным досадливым голосом:

– Если б ты знала, мама, какие у меня анализы! – и сквозь помехи голос звучал последним приветом умирающей.

Одно успокаивало: Владку оберегал и сторожил Валерка, верный и благородный друг, покровитель животных, защитник слабых. Но и он никогда ничему не мог воспрепятствовать, если она что затевала.

Впрочем, и такое умеренное осторожное слово никак не подходит Владке. Разве может что-то затевать гейзер или вулкан? Он просто извергает кипяток, пар, огонь и лаву – и тогда уж близко не подходит ни единая человеческая душа. Неужто справедливца Валерку так обессиливала нежность?

Он сказал однажды – ей было лет четырнадцать:

– Ты меня только полюби, я за ради тебя сто человек убью!

Странное дело – любовь: Валерка красивый был, смуглый, как цыган, рослый, сметливый. И любил эту рыжую задрыгу так нескрываяемо, так честно, с такой надеждой на будущее, как дай вам бог любимой быть...

Нет. Не задел он ее никак, а напирать не хотел – уважал и берег ее безмятежность.

Казалось, она пребывает в постоянном горячечном поиске действия, что само по себе и было действием, даже если при этом ничего не производилось. Впрочем, иногда ее затеи неожиданно обретали материальные очертания. Какое-то время Владка изготавливала тушь. Да-да, «тушь косметическую» – тот самый позабытый ныне дефицит, при помощи которого дамы вооружались достойным «взмахом ресниц». Владка сама придумала варить тушь на чистом пчелином воске – ездила за ним на Новый базар или покупала на Привозе у продавцов меда. Варила тушь по собственному рецепту, разливала в спичечные коробки, выходила на толчок и бойко торговала: ей все было нипочем. «Щедрый дар Куяльника», – называла ее насмешница-Барышня. Ну и что? У нас в Одессе, говорил *Инвалидсёма*, не торгуют одни только слепые сифилитики.

Где только не продавались дефицитные вещи! На любом предприятии был уголок, куда забегали бабы. А женские туалеты, эти клондайки эпохи позднего дефицита! Одно слово – портовый город. Моряков на рейде зверская таможня шмонала так, что *мама не горюй*. Шмотки прятали и в переборках, и в брезентовых пожарных трубах, и в трюмах под ящиками. Но дорогих вещей моряки не привозили – невыгодно было. Их поставляли студенты-иностранцы, которыми Одесса кишела, как тараканами. Чулки ажурные на толчке шли рубликов по 12–15, что уж о прочем говорить! Привез джинсы на собственной заднице, толкнул за сотню – вот и живи себе чуть ли не месяц как человек.

Так что партия роскошной «махровой» туши расходилась за полчаса. В целях рекламы Владка приезжала не накрашенной и по мере торгов, энергично плюя в коробок, измазывала ресницы на правом глазу так, что те вырастали в индийское опахало. Поворачивалась в профиль и томно вытягивала шею, зазывно моргая: Нефертити! маркиза Помпадур! Дамы вскрикивали и выхватывали кошельки.

Назад Владка возвращалась трамваем, ни капельки не смущаясь и не обращая внимания на тех, кто оторопело пялился в ее лицо с одним лишь правым, оперенным угольно-черной тушью зеленым глазом, что сверкал, как драгоценная рыбка в аквариуме.

Вся Одесса пользовалась Владкиной тушью; ну, а щеточка в эпоху тотального дефицита у каждой женщины должна быть своя: плюнула-намазала, спрятала до следующей *ассамблеи*. Экономнее надо держать себя, дорогуша. А что: были такие, кто неделями эту красоту не смывал...

* * *

Сейчас уже трудно вспомнить во всех подробностях, каким ветром Владку задуло в художественный мир, как она попала в мастерские и как решилась – все же времена были не то чтоб пуританские, но аккуратнее, чем ныне, – позировать голышом.

Сначала просто согласилась «постоять» для подружки Соньки, студентки художественного училища.

И та за несколько сеансов (стоять неподвижно для Владки было хуже казни египетской) замастырила шикарное «ню». На экзаменационной развеске даже педагоги интересовались, где она раздобыла такую великолепную модель.

И не сказать, чтоб Владка была как-то особенно хрупка

или воздушна – нет, была она, как говорят в Одессе, «кормленая»; и не сказать, чтоб уж ноги какой-то сногшибательной длины (у одесситок отродясь не бывало длинных ног; маленькие изящные ступни – были, маленькие ручки – были, а длинные ноги – это ж некрасиво).

Спустя дней пять Владку разыскал известный скульптор Матусевич, принялся уговаривать *поработать*: у него в полном застое и пыли пребывала скульптура «Юность мятежная».

– А я вам буду платить, моя радость, – сказал он. – Шарфик купите, шмуточки, конфетки-грильяж. И дело благородное, и красоту вашу увековечим.

Владку же, само собой, прельстили не деньги и не смешное перечисление дурацких шарфиков-конфеток, а вот это солидное и уважительное «мы»: *поработаем, увековечим красоту* – словно в создании произведения искусства он приглашал и ее, Владку, принять деятельное участие.

Она согласилась, хотя совсем не представляла, как это станет завтра снимать лифчик перед чужим дядькой не врачом. Оказалось, ни перед кем ничего снимать не нужно: вот тебе ширма, из-за которой ты выходишь... нет, *восходишь* (три ступени вели на деревянный подиум типа эстрадки в каком-нибудь кафешантане), *восходишь*, как луна, – и прямоком на небосклон искусства. И вроде даже не голая, а *обнаженная*, а это слово обволакивает тебя, как *непелосом*, высоким художественным смыслом, так что стесняться и жаться нечего.

Тут заодно и выяснилось, что Владке совершенно по фигу, одетая она или нет. Держалась она с такой непринужденной доверчивой негой, точно была потомственной натурщицей, отпозировавшей двум поколениям обитателей знаменитого «Улья» на Монпарнасе. И хотя с трудом удерживала неподвижность в течение нескольких минут, а потом каждые четверть часа ныла и требовала перерыва «на чаёчек», творцы передавали ее из рук в руки ради вот этого момента полного паралича ваятеля или живописца, когда, обнаженная, она выходила из-за ширмы, бездумно двигая неподражаемо составленными природой членами, и, восходя на помост, была просто – римлянка, не замечающая рабов... А другие – те, кому она не досталась, – ходили смотреть, восхищенно цокали языками и качали головами.

Что у этой дуры было потрясающим, завораживающим – грудь. Античной красоты и формы, классических пропорций. Так что скульптор Маруся Мирецкая, которой повезло перехватить заказ на реставрацию кариатид в исторических зданиях центра города, форму их грудей

восстанавливала по Владкиным умопомрачительным сиськам.

Впоследствии, когда у Владки спрашивали, что она оставила на родине, та глупо и утомительно мелочно перечисляла все вещи, выброшенные из тюков лютой таможенной в Чопе, после чего добавляла: «И штук пятнадцать грудей на кариатидах», – по своему обыкновению, даже не в силах округлить умозрительное количество до четного числа.

* * *

Пестрая и разной степени трезвости компания, в которую угодила Владка, именовалась художественной средой, и, как в любой живой среде, в ней водились, творили, выпивали, мучились вопросами бытия и искусства разные сложные и попроще организмы. Среди них были и признанные художники, члены творческого союза, хозяева мастерских, участники официальных выставок и привычные насельники домов творчества. Но были и другие, кто называл себя «нонконформистами» – *за отказ участвовать в советском официозе и потрафлять партийным нормам советского искусства.*

Все это была публика колоритная и судьбами, и пристрастиями, а часто и обликом.

За одним тянулся шлейф семижёнства – и все жены дружили меж собой, обожая своего *единственного*, в четырнадцать рук вывязывая ему свитера и фуфайки. Другой в бухгалтерию Союза художников являлся исключительно со старым слепым ястребом на руке. Тот сидел, вцепившись в хозяина, и сдержанно булькал, наводя ужас на бюрократов.

Тот же Матусевич, когда выходил из запоя в завязку, был интеллигентен, эмоционально рассуждал о том, как важна оппозиция «мертвенной атмосфере застоя», убедительно доказывал, что талантливый и честный человек «не может творить в духоте советской тюремной камеры». Несколько экземпляров его рукописного трактата «Апофеоз тупика» постоянно циркулировали среди понимающих и доверенных людей.

Если же Матусевича закручивал стихийный вихрь протеста, а батарея бутылок под окном пугала даже коллег-художников, все речи о тупике духовности он заканчивал обычно тем, что мочился в умывальник, непринужденно сопровождая тугой звук струи прочими духовыми эффектами и удовлетворенно при этом поясняя:

– А сцѣйки без пердыки – шо свадьба без музы́ки!

Владка упивалась своей причастностью к искусству; ее переимчивость и артистичность расцвели на этих одесско-елисейских полях. На семнадцатый день рождения почитатели ее безупречного тела в складчину подарили ей гитару, и она очень быстро выучилась нескольким аккордам, как говорила Барышня, *уголовного свойства* – во всяком случае, ее репертуар поражал некоторой однобокостью:

Хоп, мусорок,
Не шей мне срок!
Машинка Зингера иголочку сломала...

бойко выпевала Владка скромным по диапазону и силе, но точным хрипловатым голоском.

Всех понятых,
По-олу-у-блатных,
Да и тебя, бля, мусор, я в гробу видала...

В то же время в ее лексиконе появились: «творческий импульс», «ритуал очищения», «культурная амнезия», «трансформация формы» и «минимализм тем». Да, и «ковровая развеска», конечно же: это когда из-за плотно, одна к одной развешанных картин не видать цвета обоев.

В какой-нибудь многолюдной коммуналке, в бывшей зале для малых приемов – сорокаметровой комнате с эркером и высокими потолками – удавалось развесить довольно много картин. И Владка была самым деятельным участником этих домашних вернисажей: помогала мебель двигать, стены освобождать, таскать картины и какие-то абстрактные коряги на подиумах. Она же, ввиду всем известной ее порядочности, *сидела на лотерее*: все, кто являлся на подобный вернисаж, сбрасывались по десятке, и когда набиралось рублей пятьсот, разыгрывали несколько работ вечно безденежных художников.

Летними ночами, бывало, ездили купаться на Ланжерон или в Аркадию.

Безлунная глубокая тьма, прогретый за день воздух, море светится

от каких-то невидимых рачков... И ты медленноходишь в пенный шорох прибоя и бредешь в тяжело вздыхающую, ласковую глубину, расталкивая волны коленями, животом и грудью. Наконец, погружаешься и, опустив голову, видишь свое тело, призрачно сияющее с головы до ног, и плывешь, плывешь, плывешь до изнеможения, оставляя за спиной и берег, и город, и, кажется, саму себя...

* * *

Валерка, верный рыцарь уже вполне печального образа (он, кажется, стал осознавать, а не только чувствовать Владкину *сердечную недостаточность*, некую песчаную мель вместо женской души, мель, на которой застревали все ее обожатели, по ошибке приняв бесшабашную дружелюбность за отклик совсем иного рода), – Валерка, мучась, все еще продолжал угрюмо взывать:

– Ты меня только полюби, я за ради тебя сто человек убью!

Он поступил в «среднюю мореходку» и, когда, красивый и смуглый, как цыган, проходил мимо соседей – в темно-синей своей «голландке» с пристегнутым на пуговицы полосатым воротником-«гюйсом», в бескозырке и клешах, метущих камушки двора, не было такой тетки или бабки, чтоб головой не покачала и не буркнула – мол, какого еще рожна той рыжей дешевке нужно? А громко сказать вслед боялись: Валерка за свою любовь мог и правда если не убить, то покалечить.

Между тем после известного вернисажа в квартире на Преображенской, куда Владка приволокла его причащаться искусству, а он, в своей форме, битый час простоял, как бельмо на глазу, перед картиной художника Никифорова (где обнаженная Владка оголтело мчалась куда-то на каменном льве), а потом на лестничной клетке отделал хамуру творца так, что та и сама недели две напоминала львиную морду, – стал Валерка попивать; не от горя, конечно, а так, от скуки. Раз два подрался в *экипаже* (общегитии мореходки) – и тоже из-за Владки. Пропуская занятия, таскался с ней по городу, придумав какие-то мифические опасности в случае, если его не будет рядом в нужный момент.

А через год его из мореходки отчислили, и он загулял уже по-настоящему; и однажды среди бела дня и при всем честном народе отбыл со двора в наручниках, зажатый меж двумя *мусорами*. Рыдающая тетя Мотя призналась Владке, что он с какими-то новыми друзьями «взял ларек».

– Что значит – взял? – наморщила Владка лоб.

– Та шо я, знаю? – плакала тетя Мотя. – И шо в том ларьке искать – календари та костяные гребни, ни то ще какую срань!

Напоследок она сказала обескураженной Владке, мол, Валерка велел передать, шоб ходила остору-ужненько... Волновался, мол, – кто щас обрежэт?

Но ходила Владка, куда хотела, появляясь в самых неожиданных местах. Не в Интерклубе, конечно, не дай бог – там ошивались гэбэшные проститутки, – но на танцплощадку в парке Шевченко зарулить вполне могла – от широты интересов. А уж бар «Красной», где просиживала штаны вся одесская богема, а уж кафе «У тети Ути», а уж летний ресторан на крыше морвокзала – о, все это были утопанные, усуженные, облюбованные места ее молодости.

Список ее знакомств был неохватным, многослойным, витиеватым и сложносоставным. В компании Владки можно было столкнуться с кем угодно. Она умудрялась дружить даже с Феликом Шумахером, районным сумасшедшим. Маленький, щуплый, с огромным носом, в шапке-ушанке и всегда с мятым алюминиевым, полным воды чайником в руке, он целыми днями бегал по городу, ездил в троллейбусах и говорил, ни на мгновение не останавливаясь, обо всем, что видел. Входил в салон с передней двери и представлялся:

– Я композитор, пишу стихи, могу достать фокстрот «Анечка».

Говорили, что Фелик – сын почтенных родителей, преподавателей политеха, а сынок просто неудачно переболел в детстве менингитом. Вежливый, милый, но не раз битый грубыми людьми, он уклонялся от близких знакомств.

Одной из немногих, кого к себе подпускал, была Владка. А та иногда просто так, от несметной душевной гульбы, брала его с собой «на прицеп», и это была картина – это была всем картинам картина: пламя огня, кудри вразлет из-под зеленой вязаной шапочки до бровей, шиковая походочка праздных ног, расстегнутое макси-пальто... а рядом, отставая на шаг, своим носом-форштевнем разрезая бульварные волны, с мятым чайником, полным воды, в шапке-ушанке семенит Фелик Шумахер.

В то же время она дружила с балериной оперного театра Ириной Багуц, была вхожа в два-три литературных дома и сама месяца три посещала литобъединение при каком-то клубе. При встрече чмокалась с известным пожилым архитектором и постоянно крутилась среди музыкантов, балетных и цирковых, и главное – среди художников, которые

ее любили за легкость характера и «безотказный свист»: пригласить в компанию Владку было все равно, что повесить над окном клетку с канарейкой, – гарантия, что гости не заскучают.

– Что такое старость?! – выкрикивала она поверх хмельного застольного шума. – Это когда уже не получается мыть ноги в умывальнике! – И первая заливалась таким искристым смехом, что не отозваться на него было невозможно.

Она, как Онегин, помнила все городские анекдоты, скабрзные и забавные случаи если не «от Ромула до наших дней», то уж за последние лет десять точно.

Правда, лепила все подряд:

– «Серп и молот – ритуальные предметы для обрезания!» – «Ну, серп – понятно, а молот для чего?» – «Для наркоза!»

Но тут уже успех зависел от степени алкогольного оживления компании.

(А выпить в Одессе было всегда: рядом Молдавия с ее винами-коньяками и с «Негру де Пуркаръ», поставлявшимся когда-то к столу английской королевы; Одесский завод шампанских вин – полусладкое, сладкое и мускатное. А настойки из фруктов, а знакомые деды из пригородов, что привозили вино канистрами! Ну, а сухим рислингом так просто мыли руки в холеру летом семидесятого.)

Нельзя сказать, что у Владки совсем не было никаких талантов. Самым неожиданным образом она оказалась *грамотной*. Да-да, и это был настоящий врожденный дар, ибо не стоит забывать: Владка не знала ни одного правила грамматики, книг не читала – то есть, по всем законам логики и практики, должна была остаться вопиюще безграмотной. Но внутри у нее, где-то в области диафрагмы, помещался некий природный справочник правописания русского языка. Во всяком случае, стоило кому-то поинтересоваться, как пишется слово, через «е» или через «и», Владка на мгновение опускала глаза, как бы вслушиваясь в подсказку, затем поднимала их и спокойно произносила:

«Через “е”». Запятые вообще ставила безошибочно – как снайпер выбивает десятку; и, между прочим, рассказывая свои дикие невероятные истории («...Захожу вчера в дамский туалет в Городском саду, а там в позе лотоса сидит пожилой индийский мужчина, лысый такой, в желтом сари, и огромной сапожной иглой зашивает чей-то лифчик. Смотрю – елки-моталки! – да у него у самого груди шестого размера!») – так вот, рассказывая свои истории, она очень точно расставляла смысловые паузы

и акценты; порой до самого конца не верилось, что все это она сочинила вот только что.

Барышня через знакомых устроила ее секретаршей к директору музучилища, и Владка быстро научилась печатать на машинке, разговаривать предупредительным голосом и «делать звонки». И хотя усидеть на месте в своем секретарском предбаннике долго не могла и потому все время болталась по коридорам, все же возникло впечатление, что со временем она угомонится и «выправится».

Даже Барышня была введена в заблуждение и однажды заметила, что, возможно, «из этого дикого мяса еще прорастет нечто человеческое».

Но любая служба, пусть и необременительная, была для Владки что клетка для птицы. Она выскакивала посреди рабочего дня и – на гигантских платформах, в джинсах-клеш или в мини-дальше-некуда, в кофташке-трикотаж-вырез-лодочкой, с чуть спадающим плечиком, с зелеными пластмассовыми клипсами в ушах, устремлялась неважно куда, совершенно не в состоянии объяснить, почему сорвалась с работы. Просто каждую минуту она ощущала потребность оказаться в двух или трех прямо противоположных местах, где без нее никак не обойдутся... Словом, «щедрый дар Куяльника»: «хорошая девочка, просто в ней три мотора».

Но если уж быть справедливыми до конца, надо упомянуть и о достижениях ее, о победах – например, о храбрых портняжкиных атаках, основанных, скорее, не на ремесле, а на идеях.

Вот по части идей Владка оказалась истинным бароном Мюнхгаузенom. Она и двадцать лет спустя в Иерусалиме пыталась пробиться со своими «открытиями» к секретарю какой-то научной комиссии при университете. Среди ее идей были: проект экскаватора, вгрызающегося с моря в сушу и прокладывающего каналы, и система самораскрывающихся перевернутых зонтов для сбора дождевой воды в безводной пустыне, а также трансляторы электронного шепота для отпугивания суеверных арабских террористов.

Так вот, машинную строчку ей еще в детстве – ради развлечения – показала Любочка. Владка забавляла ее своим энтузиазмом и решительным намерением освоить все вокруг. Сама Любочка ничего особенного не шила – так, простыню подрубить, шов застрочить, – но девочке все, что требуется для дела, показала: ногу вот сюда, крутим вот так, рукой легонько придерживаем здесь. А Владка, получив на пятнадцатый день рождения денежки от обеих бабок, от Любочки и от дяди Юры (она всегда

загодя объявляла всем, что подарки возьмет самым легким *бумажным способом*), помчалась на Староконный и привезла оттуда старинную пошарпанную машинку «Зингер». Само собой, совершенно *убитую*. Стеша от досады аж расплакалась: деньги этой обормотке выдали приличные, можно было и сапоги купить, не то что туфли... Барышня же в своей обычной манере возразила, что это прекрасно, когда человек верен себе и совершает заранее предугаданные поступки, пусть даже и безмозглые.

И только мастер по ремонту швейных машинок, старенький *Инвалидсёма* (Владка чуть не на собственном горбу приволокла его в кухню, где среди столов и шкафчиков приبلудной сиротой стояла в ожидании своей участи швейная машинка) – только он не стал торопиться с приговором. Бывалых людей, сказал он (а *Инвалидсёма* отсидел лет пять за активную предпринимательскую деятельность и потому справедливо считал себя человеком бывалым), трудностями не испугать.

Он взмахнул костылями, как старый ворон крыльями, и каркнул старческим фальцетом:

– Ша! Шо вы кипетитесь?! Плесните у рот компоту! Щас кинем бельмо – *вус трапылос* с той механикой...

Правда, осмотрев рухлядь, смущенно признал, что нужной деталью не располагает.

Дядя Юра, сложив борцовские руки на могучей груди, скептически наблюдал за хлопаньем крыльев этой старой птицы.

– Какая именно деталь, уж выдай шпионскую тайну, красавчик! – кротко спросил он.

И *красавчик* тайну выдал: именно та деталь, что абсолютно стершийся от безумной работы челнок.

Тогда дядя Юра молча ушел к себе и вернулся с синей жестянкой из-под индийского чая. Громыкнул ею перед носом *Инвалидсёмы* и сказал:

– Трофейные. *Кербл* – ведро.

И тот, откинув костыли, бессильно опустился на табурет.

Возился он, правда, целый день, дважды Стеша его кормила, трижды чай заваривала, но ведь починил, починил ведь «инструмент труда», несмотря на то, что дядя Юра, гордый и насмешливый, крутился рядом и давал ценные советы. Фирма веников не вяжет, приговаривал счастливый *Инвалидсёма*, мерно нажимая на педаль и прислушиваясь к ровному стрекоту машинки, – фирма делает гробы!

И лишь недели три спустя, *промежду прочим*, Владка рассказала, у кого и как купила на Староконном «Зингера». Какая-то пожилая тетка, совсем уже отчаявшись сбыть негодный товар (и справедливо: умные люди

знают, что запасных деталей к «Зингеру» у нас достать невозможно), все стояла и безнадежно взывала:

– Купите раритет! Историческая вещь! Принадлежала знаменитой модистке Заглецкой!

Ну, Владка и купила не глядя. Она обожала все знаменитое. И фамилия ей понравилась: Заглецкая! Модистка! Балы, менуэты-мазурки! «Полонез» Огинского!..

– Что-что?! – переспросила Барышня, проходя по кухне мимо Владки, которая как раз в эту минуту и рассказывала дяде Юре о сделке. – Что – Заглецкая? Это же великая Полина Эрнестовна! Боже, мой «венский гардероб»! Какой поворот сюжета! Да на этой машинке, знаете ли, музыку надо писать, астрономические вычисления делать! Это ж уникальная вещь, все равно что золотая карета императрицы Екатерины Великой.

Надо ее у Владки забрать к чертовой матери!

– Я те заберу, – добродушно отозвался дядя Юра. – Пусть строчит.

И Владка потихоньку освоила уникальный раритет и немного строчила. Придумала шить из мужских маек летние сарафанчики – «имер-элеган на пустой карман», называла их Барышня. Карман-то был не вовсе пустым, ее майки-сарафаны пользовались успехом у соседок и подружек, вот только деньги у Владки были с крылышками. Однако жили же как-то, жили...

Стеша говорила, что это Полина Эрнестовна с того света колдует-радует, что спасли ее «Зингер».

Впрочем, довольно скоро Владка и к «Зингеру» охладела.

* * *

Через год из тюрьмы вернулся Валерка.

Бешеная весна была: цветущий Приморский бульвар под ширью синего неба, с бегущей пеной облачного прибоя, учебный линкор на рейде, серые военные корабли вокруг маяка, томительное гуканье сирен...

Вернулся он чужим человеком. Сразу дал понять, что на Владку больше не претендует – был кавалер, да весь вышел, – хотя она прибежала в тот же вечер с бутылкой коньяка «Молдова»; подружкой она всегда была преданной. И Валерка пил, веселел, потом тяжелел, уклоняясь от настойчивых расспросов матери на тему планов дальнейшей жизни. Зато раза три обронил, рассказывая *за жизнь на зоне*, о том, как *честно все там, справедливо, по закону* – пусть и воровскому. Он заматерел, приобрел

тонкий лиловый шрам, тянувшийся из густого ежика до левой брови. Но руки, как и прежде, поражали благородством: тонкие выразительные пальцы, продолговатые ногти с белыми лунками... Да что ему, маникюр там *на кичмане* делали?

Раньше, мелькнуло у Владки, эти руки были *скромнее*. Может, и правда, у него там какая-то иная, шикарная жизнь?

– Валерк, – спросила она. – А татуировки есть у тебя?

– Есть, – помолчав, ответил он.

– Покажи! – воскликнула азартно.

Он нахмурился и стал еще смуглее от темной крови, прилившей к лицу. Стал медленно расстегивать ворот рубахи и вдруг отпахнул ее, обнажив безволосую сильную грудь. Там, вокруг левого соска аккуратно было выколото полукругом: «Владислава» – и лучи от каждой буквы, как от солнца.

Она ошеломленно молчала, впервые не нашлась, что сказать. Молчала, отвернувшись, и тетя Мотя, и со спины было видать, как провела она ладонью по лицу – слезы отирала. Валерка выждал пару мгновений и, не глядя на Владку, медленно, тщательно застегнул все пуговицы на рубахе.

И ни на какую работу устраиваться не стал, будто возвратился в отпуск из дальнего плавания: побудет на берегу, отдохнет-перезимует – а там и снова весна, и опять в море.

Время от времени к нему заглядывали довольно странные типы. Однажды двое темнолицых и щербатых (оба с пеньками бурых зубов в ухмылках изрытых физиономий) зажились целую неделю. Тетя Мотя варила-жарила, бегала за водкой и плакала не переставая. Целыми днями те пили с Валеркой, как-то темно разговаривали, не поднимая глаз, и бренчали на гитаре блатные частушки.

Владка запомнила одну, смысла которой не уловила:

Нас четыре, нас четыре, нас четыре на подбор:
Аферистка, чиферистка, ковырялка и кобёл...

И заходить к Валерке стала реже.

Барышня говорила:

– Загубили Валерку, нашего Франциска Ассизского. А какой парень был настоящий!

Владка слушала с недоумением – кто загубил, с чего бы? Кто такой

мог найтись, кого бы Валерка испугался? И плечами пожимала.

И даже в голову ей прийти не могло, что вот она-то и загубила. Именно она.

Месяца через два он опять сел, уже надолго, на три года. Во дворе говорили, что Валерка стал гениальным медвежатником, что для него *нет замка*, что любой заграничный сейф для него – как вон тот дощатый сарай со щеколдой...

Владка не вслушивалась. Ее никогда не интересовали дворовые сплетни. Она и сама никогда не сплетничала, никого не осуждала, никому не желала зла.

И если исключить постоянное ее бескорыстное вранье и вдохновенную праздность, можно сказать, что, в сущности, Владка была почти святой – во всяком случае, по совокупности грехов и прегрешений.

6

Тут мы подходим к самой сердцевине нашей истории, к тайне зарождения человеческого существа, ибо это поистине есть тайна великая: нет, не тот давно всем известный физиологический *click* природы, от которого мгновенно как оглашенные начинают делиться клетки, прорастать кровеносные веточки, проклевываться хрящики и мышцы и взбухать дрожжевой массой владыка-мозг, – а то великое «почему?», ответа на которое никто еще не смог найти.

Почему Владка с ее феноменальной безбашенностью и легкостью в знакомствах не забеременела от кого угодно из художников, боготворящих эти сочленения прекрасной плоти? От какого-нибудь поэта из литобъединения, от любого из сотен знакомых ей мужчин? От белого иностранного студента, наконец, – от какого-нибудь чеха, немца или югослава и бог знает от кого еще, не говоря уже о бедном Валерке?

Могла бы, конечно, могла – в легкости своей, в хорошем расположении духа, особенно после выпитой бутылки полусладкого вина в интересной компании... да мало ли!

И тогда, конечно, витиеватый наш сюжет поскакал бы совсем в иные степи, в поисках иных, так сказать, изобразительных средств.

Но Владка была, как ни дико это звучит, абсолютно целомудренна. Весь жар и грохот ее куда-то несущейся крови, тревога и волнение готовой взорваться сердечной чакры, весь мощный ход парадно выстроенных и устремленных в космос гормонов, короче, весь яростный пафос ее

созревшего и постоянно рифмующего тела – все уходило в гудок. Очень громкий, практически безостановочный, утомительный для близких и невыносимый для случайных пассажиров гудок. Она была похожа на музыкальный ящик в трактире, куда бросаешь мелочь, и он играет, играет, пока не захлебнется.

Понятно, что на ее любовь претендовали многие, иногда даже покушались:

– Я избила его носками! – И на недоуменно поднятую Барышней бровь: – Они были твердыми!

Иногда из товарищеского сочувствия к страдальцам она позволяла себя трогать и даже страстно ощупывать, от чего постоянно возникали недоразумения между нею и тем, кто ее великодушие неправильно понимал. Короче, все это не имело никакого отношения к... как бы это выразиться поточнее: к эротике? сексу? – обидно, что в русском языке нет почтенного слова, обозначающего это вековечное и увлекательное занятие, которое, видимо, Владку все же не слишком увлекало, если такая дикая красotka бродила по Одессе нераскупоренной.

– Зачем ты побила старичка? – пыталась понять Барышня, когда после очередного скандала Владка возникала в дверях квартиры в сопровождении милиционера (те слишком часто вызывались «сопроводить» ее, и не в отделение почему-то, а «к месту прописки», и затем, бывало, еще не раз наведывались осведомиться, все ли в порядке и нет ли каких жалоб на нее от соседей). – Он музыковед, профессор, приличный семейный человек... – И, выслушав пулеметную ленту оправданий, вранья, опять оправданий, да все в рифму, да очень громко, уточняла: – Тогда зачем позволять себя лапать? Ты понимаешь, идиотка, что существует логика отношений? Если у тебя нет намерения отдаться старому крокодилу, к чему допускать все эти незаконченные увертюры?!

– Он был красным и потным! – пускалась Владка в свой сивилий крик. – Он чуть не сдох!!! У него тряслись руки, и на плешь выпадала роса!

Милиционер (обычно это были мальчишки из окрестных сел) глядел на Владку со смесью священного ужаса и циркового восторга, тем более что подконвойные монологи всегда заканчивались ее благодатными слезами:

– И мне его стало безумно ща-а-алко!

...словом, к великому нашему огорчению следует признать, что у Владки была атрофирована некая душевная мышца, та сокровенная секреция, что производит мускус любовной страсти, который, в свою

очередь, источает аромат томления плоти и отвечает за позыв к продолжению рода. Так что продолжения рода вполне могло и не случиться, *последний по времени Этингер* вполне мог и не появиться на свет...

И тогда незачем было бы огород городить со всей этой историей.

* * *

Одной из несметного войска ее знакомых была медсестра Зинка, деваха из украинского села, рослая блондинка с шестимесячной завивкой – из тех, кого в народе называют «кровь с молоком». Это было банное знакомство (бывшие «Мраморные бани Буковецкого» в районе Нового базара). Мылись по субботам, и не в кабинке, а в общем зале, что и дешевле было, и пар там хоть ножом режь, и особо скрывать такие стати нет резона, а вода – она везде одинакова.

Жила Зинка с мужем и двухлетним сыном при клиниках ОМИ, в полуподвале под акушерской. Петька, муж, писаный был красавец: забойщик на мясокомбинате – ручищи, плечищи, синие глаза – уж красив! И вообще: красивая пара.

Для Владки Зинка была даже не подругой, а просветительницей: об *этих делах* говорила охотно, подробно и очень образно. Учитывая банный интерьер и откровенные костюмы беседующих, яркое выходило впечатление – «без вуали и сапог», как говорила Барышня.

О том, что появился у нее новый знакомый, Зинка рассказала сразу: студент медина, откуда-то с Востока, то ли из Ирака, то ли из Ирана, да какая разница... заграница! Чернявенький такой, симпатичный, с пронзительными глазами, по-русски только плохо говорит, но смотрит так, что кровь закипает – ах, как жгуче он на нее смотрит – не насмотрится! Владка хмыкала, сидя на лавке, ногу намыливала по всей длине.

В следующую помывку уже выяснилось, что «свершилось»: Зинка сошлась с чернявеньким – не то Махмудом, не то Мухаммедом, кто там в их именах разберется – короче, «Муха». И Зинкина любовь взметнулась яростным пламенем. Объясняла она эту бешеную любовь так:

– У Петьки – во! – показывала полруки до локтя, – и ничего! А у Мухи – во... – показывала полпальца, – а он им чудеса творит!..

Владка намыливалась, восхищенно качая головой, полностью, само собой, Зинкин выбор одобряя.

Месяца через два Петька был изгнан, сын отвезен в деревню

к родителям, а в комнате у Зинки, в полуподвале под акушерской началась какая-то непрерывная гульба с друзьями и сокурсниками новоявленного «Мухи».

– Ну, шо ты никогда не заглянешь? – спрашивала Зинка в бане. – У нас весело.

Она с каждым разом расцветала все ярче, еще чуток поправилась, и когда наклонялась над шайкой, ее тяжелые груди колыхались, и разгибалась она не сразу, что казалось естественным – трудно такую тяжесть великолепную поднять.

Ну, Владка и пошла в тот же вечер. А чего не пойти?

Компания, честно говоря, подобралась неказистая. Владка любила выразительную речь, ценила остряков и умниц, сама умела занять собой кого хошь, упивалась собственной застольной ролью. А тут публика толклась колченогая в смысле речевых достоинств. Оно и понятно: у большинства присутствующих русский был совсем убогим, да и у других особыми достоинствами не отличался.

Словом, недели две Владка там поблистала, попела песенок, припав к грифу гитары глубоким вырезом фасона «сэрцэ на двор», порассказала легион анекдотов и, заскучав, решила, что Зинка, пожалуй, лучше всего смотрится с банной шайкой в руках. Баста! Нечего бисер перед свиньями метать.

Поначалу она даже не заметила, что вокруг нее вертится такой же чернявенький, как Зинкин «Муха», и тоже – маленький, даже, можно сказать, миниатюрный, с красивыми черными глазами... ах, да много их крутилось вокруг нее – цветной вихрь, как их всех разглядишь?

Но на третий вечер он осмелел, подошел к ней и старательно проговорил:

– Ти красыви, как пэри в снэ.

– Выучил, молодец! – отозвалась Владка через плечо. – Давай, учи дальше, пэри!

И он стал учить! И, видимо, много слов в день заучивал, правда, без всякой связи их в предложениях. Но не особо этим огорчался, просто шпарил прекрасные эпитеты нежно-умоляющим голосом. И она сменила ракурс: повернулась к нему лицом. («Он пал поверженным!» – это уже потом Владка объясняла, то ли кому-то из подружек, то ли Стеше, то ли даже сыну – когда, лет тридцать спустя, вынуждена была с ним, с бешеным, объясняться на предмет зарождения его жизни.)

Она увидела, что обожатель ее – очень даже симпатичный,

чистенький, хорошо одетый паренек с учтивыми манерами. Руки не распускает, не нахальничает, место свое отсталое понимает. Пригласил на танцы. Отчего не потанцевать?

Она назначила ему встречу в парке Ильича, там, где в начале каштановой аллеи посреди большой квадратной клумбы, засаженной цветками табака и львиным зевом, громоздился *памятник ленина* – привычный, как небо и звезды.

В парке Ильича была неплохая танцплощадка, по вечерам там гремела музыка, работали аттракционы – подсознательно Владка помещала своего воздыхателя где-то в области проката настольных игр, pedalных машинок и лошадок.

Опоздала она, как обычно, чуть не на час, но ухажер стоял и ждал, как заблудившийся ягненок, маленький на фоне памятника. Совсем какой-то недомерок.

Когда она подошла, снисходительно сияя зелеными глазами, в цветастой распашонке и зеленой юбке-солнце, он кротко спросил:

– Почему ты нэ пришел ви сэмь часов, я готовил свой сэрге к семь...

И вот тогда ей стало его «ужасно ща-а-алко» – он был здесь таким чужим, потерянным, робким. И он *готовил свое сердце к семи*, бедняга, и стоял здесь, держа это самое чужое ей сердце в полной готовности. К чему, спрашивается?

– Ладно, – сказала она и рукой махнула. – Черт с ними, с танцами. Пойдем к морю, что ли. Погуляем.

...Как странно, что самый романтический эпизод Владкиной жизни – да что там! единственный, скажем прямо, эпизод подобного рода – не оставит на этих страницах ровным счетом никакого достойного описания. И чего там описывать: девушка не испытывала к внезапному избраннику никаких бурных чувств и уж точно никакого могучего влечения – того, что сметает на своем пути и так далее, – что могло бы послужить нам хоть каким-то подспорьем в объяснении этого идиотского, прямо скажем, ее поступка. Тут и досада, и злость разбирают: ну, мыслимое ли дело, чтобы главный герой романа был зачат так походя, так несерьезно – мимоходом, с кондачка, с шальной башки?!

Просто Владка была ужасно любопытна и деятельна, и любопытство ее давно подогревали Зинкины рассказы. Так что по пути на берег, где уже было темно, и (давайте-ка торопливо включим соответствующее освещение) одна лишь луна озаряла змеящуюся кромку

пенного, голубого в ночи прибоя, а в углублениях меж «скалками» зияли черные провалы и пахло нагретым песком и морской галькой, – прямо по пути в ее кудрявую голову пришла забавная мысль проверить наконец все эти истории. А что? Просто проверить. Ей не терпелось расстегнуть своему робкому спутнику штаны и поинтересоваться, что за такие чудеса эти «чернявенькие» вытворяют «во такусеньким» – тем более что до сих пор никакусенького в деле не видала.

В темноте она не увидала и не поняла ничего: все произошло так коряво и быстро, что можно было вообще усомниться в произошедшем. «Я так и знала, – подумала она мельком, – что все это глупости и размазня...»

И никаких чудес, разумеется, не обнаружила, кроме чугунного сердцебиения подопытного кролика – бешеного сердцебиения, ощутимого даже сквозь его синтетическую рубашку. Это действительно показалось ей чудом: его сердце грохотало так, что под Владкой, над ней и вокруг нее раскачивались берег, луна и прибой...

Вероятно, он был все же сильно в нее влюблен, потому что месяца через два ужасно плакал, расставаясь: его вызвали из дома телеграммой – там отец умирал, собирал сыновей для завещания.

– Да езжай ты, ради бога, – сказала Владка. Ей уже давно наскучило выслушивать его тарабарщину и жаль было обижать хорошего парня, который никак не мог понять, чем он так провинился, что его королева все время уклоняется от повторения волшебной ночи на берегу. – Ты ж вернешься?

– Я сделаю все силы! – пылко выкрикнул он, сжав обеими ладонями ее руку в кулак и тройным этим кулачком гулко трижды ударив себя в грудь. Вероятно, то была какая-то особая клятва по-ихнему. – Все силы! Но я имею три старших брата, два – ничего, один очень злая. Может не хотеть платить мой учеба. Может сказать: работать, работать, как ты младший...

И когда, совсем заскучав, она срочно придумала, что должна бежать по очень важному делу, и, дружески чмокнув его в щеку, действительно побежала с большим облегчением – вот тогда он вскрикнул и залился слезами, крича ей вслед, что будет готовить свое сердце к новому свиданию.

Или что-то в этом роде, она не помнила.

О своей беременности Владка узнала слишком поздно. Вот уж кто никогда не прислушивался к жизни собственного тела. Никогда она не вела подсчетов, не закрашивала красной ручкой три квадратика в каком-нибудь бабском календаре. Вообще об этом не думала – может, потому, что была очень здоровой и никаких недомоганий никогда не ощущала. Поэтому ее несколько озадачила оживленная жизнь в глубине собственного организма, толкучая брыкливая жизнь, к которой в конце концов она была вынуждена прислушаться.

Стоп! В этом месте возьмем паузу...

Не слишком ли избыльна наша история женским бременем производства дальнейших поколений? Не слишком ли дотошны описания, по сути дела, скучной физиологии зачатия и вынашивания человека? Или все же мы связаны тугой пуповиной сюжета с героями, что исправно появляются на свет не иначе, как «ab ovo», по словам римлян, которые понимали толк в полнокровной телесности: в рождениях и в смертях, в началах и концах... Да и надо же как-то ввести в повествование новое действующее лицо, и, боюсь, иного способа еще не изобретено.

Человек зарождается, вызревает, выпрастывается в этот мир, прорастает в него душой, и судьбой, и сладостной болью любви. А потом его покидает.

Покоримся же этому кругу.

Когда кинулись разыскивать чернявого парнишку, выяснилось, что никаких концов и в помине нет, что эта дурында не знает ничего: ни в каком учебном заведении обретался, ни из какой страны прибыл и в какую отбыл, ни тем паче его фамилии басурманской. Кругом-бегом ничего, как в худших сентиментальных фильмах. Да и зачем, говоря откровенно, его искать, эту незначительную личность?

– Ну, просто «Бедная Лиза», – сказала на это Барышня. – Одна надежда, что топиться не побежит и даже глазом не моргнет.

Сушая правда: Владка не притихла и бега не притормозила.

Однако упаковать это событие для такой обширной аудитории, как вся Одесса да и просто *наш двор*, – оно как-то требовалось. Как?

В квартире проживал только один специалист по непорочному зачатию: Любочка.

Она уже еле жила – древняя, скрюченная артритом, как ветка платана, что скреблась в ее окошко. И что хуже всего – почти глухая.

А посоветоваться Стеша желала втихую: дело такое, что орать-то незачем.

Потому, прихватив листок из тетради и карандаш – ну прям-таки сходка двух шпионов! – Стеша поздно вечером постучалась к ней в комнату.

Оглохшая Любочка, впрочем, отлично все поняла – то ли по губам научилась, то ли тема была захватывающая, то ли собственный опыт помог разобраться. Разговор Стеша вела осторожно, будто нащупывала каждое слово легкими шажками, хотя сама в то время уже ходила с трудом, правда, еще без палочки.

– Владка беременна, – сказала она, глядя Любочке прямо в слезящиеся, некогда яркие, а ныне тускло-серые глаза. Выждала паузу, убедилась, что событие понято однозначно, и продолжала: – Представляешь, она была в бане и... не туда села. В этих кабинках, знаешь, кто ток не моется, а дезинфицируют халтурно.

Ну, и...

– Степанида, – перебила ее Любочка. – Не советую эту версию. Люди все же не идиоты. Не стоит дурить им головы.

Стеша подумала и сказала:

– Ладно. Я выясню.

Назавтра постучалась опять, тяжело опустилась в кресло у окна, собралась с духом и проговорила:

– Я выяснила. Она шла по улице, на нее напали трое бандитов, затащили в подвал и изнасиловали. Она еле приплелась на работу и не помнит, как досидела до конца рабочего дня.

Любочка помолчала, вздохнула.

– Стеша! – сказала она. – Все же надо еще подумать. Эта версия мне тоже как-то не глянется. Она и никому не понравится.

Стеша прикинула и сказала:

– Правильно, золотая твоя голова! Ладно. Я выясню.

На другой день она выглядела увереннее: так школьник, которому подсказали решение задачи, призывно тянет руку, потряхивает ею и даже слегка подпрыгивает на скамье, молча и страстно умоляя учителя вызвать его к доске.

– Я выяснила! – объявила Стеша, почти ликуя. – Он погиб в Афганистане.

– О! – сказала Любочка. – Это то, что нам надо. Афганистан – это хорошо.

Тут следует пояснить, какими тропинками женщины добрили

до Афганистана, как возникла эта идея, как родилось полузапретное слово, страшно мерцавшее в советском воздухе того времени.

Стеша оплакивала Владку практически не переставая, не выходя в кухню, не готовя даже обеда, что вообще-то означало крушение мира. Ее удручал даже не сам факт, а то, с какими глазами она предстанет перед Ирусей, что скажет в оправдание: ведь не уберегла она, не уберегла внучку! Стеше представлялось, что Ируся немедленно примчится из Заполярья, дабы, как бог Саваоф, обрушить на головы нерадивых старух гнев, ужас и тьму египетскую... Когда появлялась Владка – которая, надо сказать, отнюдь не уменьшила высокоскоростные обороты своей жизни, ничуть не поблекла и не загрустила, – Стеша принималась плачущим голосом проклинать неизвестного подлеца и мерзавца, заодно костеря и внучку.

В конце концов даже необидчивая Владка не выдержала:

– Да почему, почему мерзавец? – выкрикнула она, вытаращив свои бесстыжие *кружовенные* зенки. – Никакой он не мерзавец. Он просто... просто Валид, вот и все!

– Кто-кто? – оторопела Стеша, перестав рыдать. – Инвалид?

Мгновение Владка смотрела на нее в замешательстве, затем лицо ее прояснилось, и она воскликнула:

– Да! Инвалид войны он, вот он кто! Герой за родину! Афганец!

– А еще будет лучше, – неразборчиво произнесла Барышня, вставляя зубы (эта священная ежеутренняя процедура производилась ею перед зеркалом и не всегда получалась с первого раза), – будет еще лучше, – четко повторила она, клацнув зубами, – если он в этом самом Афганистане взял да и своевременно погиб.

Это потребовало еще двух-трех мгновений. И Владка глубоко вздохнула с облегчением, и даже вдохновенно захныкала, с разбегу врезаясь в новость – в *Благовещение*, – как в детстве с разбегу врезалась в море:

– Да, он погиб... Погиб он, да! Красавец мой погиб, мой черноглазый со-о-ко-о-ол...

Странно, что на сей раз Барышня как бы даже и обрадовалась надвигавшемуся событию: может, считала, что пришел момент явиться на сцену жизни *последнему по времени Этингеру*? Она и впоследствии любила повторять, что выблядки – соль человечества, золотой его фонд. А вот Стеша убивалась, не стесняясь в выражениях, трусила написать Ирусе письмо, сидела грузным сиднем на табурете и от бессилия обзывала Владку то шалавой, то дешевкой, то проституткой, то *биксой* – подзабыв,

будем уж справедливы, некоторые эпизоды собственной жизни. Но перед лицом такого горя – кто может упрекнуть старуху?

– Да никакая она не шалава и не проститутка, – спокойно возразила Барышня. – Слишком большая честь.

И обняв зареванную Стешу – а это крайне редко случалось, раз в сорок лет, – погладила ее сильно поредевшие седые косы.

– Мелкая прошмандовка она, а больше ничего. – И добавила: – Да – и пусть, наконец, поменяет эту блядскую фамилию Недотрога. А то как бы в городской анекдот не угодить. Пусть наконец перепишется в Этингеров, там ей самое место. Там и не такие случались.

Помолчала и добавила задумчиво:

– Дом Этингера – он как море. В нем все растворится...

7

Наконец-то!

Наконец-то, спотыкаясь о редуты предков и дальних родственников, к концу первой книги нашего романа мы добрались, дотащились, доползли до появления Его – Главного Героя! Тут можно было бы произнести со всей торжественностью повествователя восемнадцатого века: пришло время герою выйти на авансцену нашей истории, к свету рамп (что звучало бы вполне естественно, если учесть, что по роду профессии ему довольно часто приходится выходить под свет этих самых вполне прозаических рамп, щуриться, рукой махать осветителю: крайний левый сними маленько, друг! а три правых чуток наподдай!) – словом, можно было бы как-то поэффектней обставить появление главного лица, если б этот прохвост, этот, будем откровенны, подозрительный и странноватый тип уже и так не мелькал в нашей истории где ни попадя, с присущей ему костюмированной таинственностью.

Единственное, что можем мы наконец сделать открыто и с изрядным облегчением (ибо никогда не имели склонности к тайнам и обинякам), – это назвать его имя.

Во всяком случае, то имя, что было дано ему при рождении.

...Хотя и тут не обошлось без некоторой «киксы», с точки зрения хорошего вкуса.

А какого еще вкуса можно было ждать от Владки? Она вообще хотела назвать мальчишку то ли Эдгаром, то ли Эрастом (Барышнин комментарий:

«Эраст-педераст»).

Помаячил с мягких обложек каких-то американских детективов некий не то Джеральд, не то Джеремя, но усоп, раскритикованный всеми роженицами в палате. Примерно полдня новорожденный прочмокал, с сомнением примериваясь к неподъемному для него богатырскому имени Руслан, сбросил его и далее щеголял лакированным именем Адик. Но когда Эська, под прикрытием белого халата проведенная в палату знакомой медсестрой, уточнила:

– Адик? В смысле – Адольф?! Я тебя задушу, паразитка! – Владка с готовностью тряхнула сваявшейся гривой:

– Может, в честь папы назвать – Владиславом?

Никак не реагируя на это идиотское предложение, которое могло прийти в голову только Владке (три Владислава Недотроги! три форте в финале!), Эська мельком глянула на туго запеленутый кулек с дитем и вдруг поняла, в честь кого должен быть назван младенец.

В конце концов, столько лет ждала память Леонор Эсперансы Робледо, лелеемая одним лишь ночным сердцебиением ее фронтовой подруги.

– Леон?.. – задумчиво спросила себя Эська. – Хм... Леон... В этом есть что-то: Леон Этингер... – И чуть громче: – Солист – Леон Этингер! – и тоном ниже, самой себе, не обращая на Владку ни малейшего внимания: – Недурно для афиши...

Всю жизнь проведя под бумажной сенью разнообразных афиш, звучание имени она привыкла пробовать на язык.

– Ну что ж, решено и подписано: Леон! А звать и по-человечески можно – Левкой...

...И не омраченная ни стыдом, ни совестью Владка пожелала закатить праздничный обед в честь рождения младенца Леона, причем не где-нибудь, а в ресторане «Киев» – для чего было отнесено в ломбард (и никогда уже не выкуплено) второе Дорино кольцо, а согласия на сей гешефт Владка ни у кого не спрашивала.

– Ну и молодец, – отозвалась невозмутимая Барышня на горестные Стешины рыдания. – Победить этот мир можно только неслыханной наглостью.

И шикарный получился обед, очень *богатый*, ибо смирившаяся и уже влюбленная в черногривого младенца Стеша, не доверяя искусству шеф-повара, нажарила штук сто воздушных блинчиков с бычками, а также сварила невероятных размеров говяжий язык, при жизни принадлежавший, видимо, не корове, и даже не быку-производителю, а какому-то

библейскому Левиафану. Она притащила его в хозяйственной сумке целым, подозревая, что частями его может раскрасить на кухне ресторанный обслуга. Говяжий язык горбился на блюде в центре стола пупырчатым утесом, благоухал перчиком и лаврушкой, и Стеша отрезала от него куски, наделяя каждого гостя, а язык все не кончался и не кончался.

Тетя Паша-сновидица пела под «Спидолу», принесенную дядей Юрой, «Койфен бублички» и даже танцевала (в меру возраста, конечно; все старики во дворе как-то сильно сдали за последнее время).

– «Одесса, мне не пить твое вино и не утюжить клешем мостовые...»

Дядя Юра в темно-коричневом костюме, с галстуком-бабочкой на все еще могучей шее, бормотал Владке в ухо:

– Посмотри на того седого господина за столиком справа, только незаметно, не пялся. Он пытался грабить меня в двадцать первом году в подворотне, на углу Старопортофранковской и Большой Арнаутской... А я парнишка мелкий был, но сильный уже тогда. Зубы с тех пор он, конечно, вставил...

– «Скрипач аидыш Моня, ты много жил, ты понял: без мрака нету света, без горя нет удач...»

Потом, когда все уже крепко выпили, Стеша подралась с *девочкой* Лидой за ее *невинное замечание*, что от черножопых завсегда получают уж такие красивые детки, такие красивые детки... Перед тем как вцепиться в жидкую пену Лидиных крашенных хной бывших кудрей, Стеша спокойно заметила – мол, женщина, у которой половина жизни прошла под крики «девочки, в залу!», может на старости лет отдыхать по хозяйству и полоскать свое окно, а заодно свой грязный длинный язык.

Кстати, по башке-то Лиде она шарахнула именно языком – говяжьим, тяжелым и скользким, как мокрый булыжник.

– «Рахилия, шоб вы сдохли, вы мне нравитесь!..»

А на Владку напал неудержимый хохот, и сквозь икоту она выкрикивала:

– Да он афганец, можете понять?! Герой-афганец, за Родину погиб!!! Гремели пулеметы, пушки били! Граната взорвалась – его убили! На радость всем врагам, на горе мне!

...и хохотала, хохотала, пока дядя Юра не подхватил ее вместе с давно орущим младенцем и не поволок в туалет – мыть *рыжую физию* холодной водой. И убеждал ее там, и горячо твердил в жалкое мокрое лицо, истекающее черной тушью собственного производства:

– Владка, ты – мадонна! Не слушай ни единую блядь: ты – мадонна!

И знаете что: ведь он прав. Если спокойно и здраво осмыслить историю с этим нелепым знакомством и юннатским соитием на пляже – без малейшей греховной страсти со стороны, так сказать, принимающей, – надо согласиться, что для Владки это был учебный эксперимент, бесстрастный опыт, зачатие непорочное.

Разве что понесла она не от Святого Духа и принесла не Спасителя. Ой, не Спасителя...

* * *

Вот опять надо описывать чье-то детство... Опять надо его любить – нового человека, рожденного из пены потока, что несет нас, нещадно колотя о берега повествования, не давая времени ни вздохнуть, ни отряхнуться.

А ведь надо его любить, деться-то некуда, сердце не каменное: как поводишься с его загаженными пеленками; да прислушаешься, постепенно привыкая, к странно звенящему голоску, задающему вопросы двум уже глубоким старухам и до оторопи легкомысленной женщине; как поймаешь себя на том, что торопишься скомкать проходную сцену, ибо ждешь не дождешься топота ножек по коридору коммуналки; да как обомлешь от песенки, спетой им на детсадовском утреннике так чисто, с такой молящей ангельской интонацией, что вся выстроенная для него благополучная биография покатится куда-то к чертям собачьим...

...Что касается песенки про нашу елочку, что срубили под самый корешок, главным образом от нее обомлела Стеша, медведицей сидевшая на детском стульчике среди прочих мам-пап. Удивить ее голосовой благодатью было трудно – все же выросла и жила среди таких-то голосищ, – а поразило вот что: это как же он, малёк такой, дома всё молчал?! Как же он свою самость-то драгоценную-горловую-сердечную прятал-укрывал! С чего это и почему решил так ее охранять, что ни бабка, ни мать, ни вострая Барышня ничего не ущучили... Вот те и малёк!

И по пути домой, когда, тяжело переваливаясь с одной слоновьей ноги на другую, она вела правнука, сжимая его цыплячью лапку в своей рабочей разбитой ладони, сердечно уговаривая повторить дома для Барышни и Владки «концерт», он даже не отвечал, засранец: глядел по сторонам, будто не с ним говорили.

И дома точно так же молчал, словно не о нем она рассказывала,

а о каком-то постороннем диве.

...Странно, что этот «малёк» чуть не с рождения строго различал – где, с кем и как себя вести, всегда поступая так, а не этак, в зависимости от обстановки, будто понятия «место» и «время» были изобретены нарочно для него или родились вместе с ним.

На музыкальных занятиях в детском саду петь *полагалось*, там ему петь *хотелось*. И он пел.

Он и вообще был страшно чувствителен к окружению и ситуациям, в которые попадал, и когда ему не нравились обстановка или люди, решительно действовал по своему усмотрению. Мог удрать и прибежать домой один, потрясая старух своей самостоятельностью. Дорогу запоминал, как кошка, – откуда угодно; номера трамвая или троллейбуса различал по очертаниям (ибо читать и считать в то время еще не умел). Мог прилюдно устроить такой тарарам, что Владка подхватывалась и из гостей, или с выставки, или даже из кинозала убегала с плачем, волоча сына по ступеням, потряхивая его и со злостью выкрикивая:

– Дрянь гремучая! Падла злючая! Рожа мрачная! Жизнь бардачная!

Позже, когда вполне осознал силу своих голосовых связок, мог взять и держать ноту такого сверлящего накала, будто где-то высоко врубили небесную дрель, и тогда уже не выдерживал никто в радиусе с полкилометра.

– Да спой же, мамынька, спой еще про елочку, шо ты говнишься! – умоляла Стеша, ибо ей обе не верили. Барышня парила крошечные ножки в тазу до прихода взыскательной педикюрши Сони – та всегда торопилась и с порога требовала «ни минуточки не терять!». А Владка шлифовала личность перед зеркальцем, боком присев на подоконник и болтая дивной ногой.

– Что за дела чудные, – бормотала Барышня, подливая в таз кипятку из чайника. – Дитя закукарекало?

– Ну, давай, Лео, – вставила полунакрашенная Владка с одним махрово-прицельным, а другим пока еще домашним и пушистым глазом. – Сделай им тут Робертино Лоретти!

И губы вытянула под карандаш «анютиными глазками», так что вышло – «Лоберсино Лоресси»...

Леон не отвечал, копаясь в своем картонном ящике, задвинутом под ломберный столик.

Кстати, интересно бы и нам заглянуть в этот ящик.

Ничего похожего на мальчишеские свалки машинок, рассыпанных частей пяти разномастных конструкторов, ослепшего калейдоскопа и разрозненных солдатиков – всего того, что хранят мальчишки в своем заповедном углу, – там не водилось. Леон всегда собирал что-то *из жизни*, для каких-то своих таинственных планов, о которых никому не докладывал. Это было странное собрание ни к чему не пригодных одиноких вещей «с характером». Например, он уволок у Барышни круглую шляпную коробку, где съёженной мышкой в уголку валялась черная вуалетка и от стенки к стенке ездил одноногий театральный лорнет с тремя отпавшими и грубо приклеенными пластинами тусклого перламутра. Еще там обитал старый серебряный наперсток, годный на чей-то толстый палец: Леон самолично выковырял его из щели в паркете, и не иначе, как великая Полина Эрнестовна уронила его лет семьдесят назад, в незабвенную эпоху сотворения «венского гардероба».

Если по воскресеньям кто-то из соседей брал его на Староконный, Леон всегда тратил там свой «кербл», пожалованный Бабой или Барышней, на старые, кустарно раскрашенные открытки или даже старые фотографии совершенно чужих, ни к селу ни к городу людей, в чьи лица вглядывался так же внимательно и подолгу, как в лицо Большого Этингера или в растерянное, под паклей рыжего парика личико Леонор Эсперансы Робледо.

И страшно любил эти свои «картинки»; сортировал их, перекладывал из одной папиросной коробки в другую. Главными среди них были: «Одесский портъ. Поклонъ изъ Одессы» – картонка, подкрашенная вручную штрихами красного и зеленого карандаша, – и чернобелая «Одесса въ снѣгу», где несколько дворников с метлами откапывали занесенную снегом театральную тумбу.

У дяди Юры он выклянчил три синих пузырька «из древней аптеки», у Любочки – одну серьгу с висюльками из синего бисера (вторая была потеряна в 1904 году в Киеве, в приемной у гинеколога).

На вопросы, что со всем этим барахлом он намерен делать, Леон отвечал, что станет директором Музея Времени, и каждый сможет прийти и посмотреть, как люди раньше жили. Но разговор поддерживал, только если видел, что собеседник и вправду заинтригован. Чаще никак не отзывался на вопросы и попытки гостей «подружиться».

Владка считала, что у сына уж-ж-жасно тяжелый характер, и однажды – ему было лет пять – даже повела его к знакомой тетке-психологине.

Но консультацию вряд ли можно было назвать удачной: все полчаса мальчик молчал, как немой, закрашивать картинки не пожелал, отвечать на вкрадчивые вопросы о том, кого он любит – не любит, и не думал.

– Ну почему, почему ты так вредничал, Лео?! – волоча его за руку по бульвару, вопила Владка. Он спокойно ответил:

– Не дергай мне руку, оторвешь. – И, помолчав: – Она очень глупая женщина. С такими говорить нельзя.

Чуть ли не с младенчества он четко разграничивал по ролям свое женское семейство и с каждой вел себя по-разному.

К Стеше, которую, как и Владка, звал «Бабой», относился снисходительно, с обескураживающей прямоотой. «Лепит, что хочет, – отмечала та не без гордости, – все думки выкладывает!» Искренне считала, что может угадать все его мысли. Но ошибалась. Никто не знал, о чем этот ребенок думает.

Мать обожал, хотя и совершенно игнорировал ее мнения, требования, вопли и даже слезные просьбы. Но когда зимой та растянулась во дворе и вывихнула ногу, плакал от жалости и просидел с ней всю ночь, держа на своих тощих коленках обмотанную бинтами и полотенцем кувалду ее ноги, ни за что не соглашаясь пойти спать. Вообще, был привязан к матери как-то иначе, нежели обычные дети. Всегда был равнодушен к ее байкам, вспыхивающим с такой ослепительной силой изображения, что все вокруг замирали и молча выслушивали всю эту чушь до победного финала. Все, только не Леон и не Барышня.

– Так много сумасшедших на дорогах, – начинала Владка спокойно, еще, видимо, не зная, куда заведет ее тема. – Хватаю я сегодня такси, опаздывала, – (это – Стеше, мимоходом, чтобы та не ругалась *за деньги на ветер*). – И водитель такой симпатичный попался, разговорчивый... Ну, едем, треплемся за жизнь. Вдруг видим: машина впереди страшно вихляет. И водитель в ней что-то говорит-говорит-говорит тому, кто рядом сидит, и все время руль бросает и руками размахивает.

В этом месте голос ее уже креп, уже, и сама увлеченная сюжетом, она мчалась на всех парах, подбрасывая в топку рассказа все новые детали.

– Я таксисту: «Ну-к, обгоним!» Обгоняем... Тот, в машине, все говорит-говорит-говорит, да так запальчиво, так злобно! Вдруг – р-р-раз!!! р-р-раз! – оплеуху пассажиру! И опять что-то говорит-говорит-говорит... И опять р-р-раз!!! – оплеуху, и бьет его, и бьет, и бьет. А машину, как пьяного, так и мотает по дороге. А несчастный, кого он лупит, – ма-а-аленький, только ушки видны. Ребенка бьет, думаю! Ах, падла!!! «Гони! – кричу таксисту. – Гони, мы его в милицию сдадим! Там ему дадут

прострации!» Обгоняем и видим!!!

Она выкатывала глаза, лицо розовело, гнев заливал его волной, малиновой, как абажур тети Моти, и тут же волна спадала, уступая место оторопи и цирковой паузе, сходной с той, что повисает в зале, когда фокусник за уши вытаскивает кроля из шляпы:

– А там – миш-ка плю-ше-вый пристегнут! Большой! Плюшевый! Мишка! И тот его лупит и лупит, понимаете?!

Тут крещендо шло, как говаривала Барышня, «до трех форте»:

– Лупит и лупит! Лупит и лупит!!! Понимаете вы или нет?! И в этот самый момент...

Леон понимал. Он понимал, что мать придумала всю историю от начала до конца. Она не терпела спокойствия и тишины, и если становилось скучно, вызывала в своем воображении поистине фантасмагорические картины, и выпевала их, как вышивала.

А Баба – та всегда велась на внучкины запевы-переливы и лишь в конце очередной саги приходила в себя, пожимала плечами и замечала:

– Ну, чистый Желтухин! И свистит, и щелкает, а в конце еще и руладу пустит! Так и ждешь от нее «Ста канчиков граненых»...

* * *

Единственным человеком, кого Леон воспринимал всерьез, была Барышня.

Когда они вполголоса перебрасывались двумя-тремя фразами (она никогда не сюсюкала, никогда не звала его уменьшительными именами, часто вполне добродушно величала «выблядком», а пребывая в хорошем настроении, могла торжественно именовать «последним по времени Этингером»), казалось, что эти двое, не сговариваясь, только друг друга считают ровней.

Вот кого Леон безоговорочно сопровождал куда угодно по первой просьбе, что тоже удивляло и Владку, и даже Стешу: ну какой интерес пацану в посиделках старых пердунов! Например, чуть не каждую субботу они отправлялись вдвоем в знаменитый дом с атлантами на улице Гоголя, на ужин к «Сашику» – утконосому долговязому старику в уютной бархатной куртке. Помимо «Сашика», его седенькой жены Лизы и не совсем нормальной пожилой их дочери Ниночки, которая на протяжении всего ужина с неутомимым ожесточением выстукивала по краю стола фортепианные пассажи, на ужин приплетались еще два

старичка и две старушки, и разговоры за столом велись исключительно на музыкальные темы. Леона здесь всегда хвалили: он был *неслышный*...

Словом, со Стешей Леон никогда не разговаривал о том, о чем мог поговорить с Барышней, и наоборот. А Владку вообще не удостаивал никаких обсуждений и рассуждений, никогда не докладывал ей о своих планах и настроениях. Но ни разу – ни разу! – даже совсем маленьким, не засыпал, пока где-нибудь в первом часу ночи не услышит цокот ее каблучков от входной двери по длинному коридору коммуналки.

Вот они все звонче, все быстрее, она врывалась, бросалась к его подушке, и измотанный страшным желанием спать мальчик проваливался в облако ее духов, в запах холодной с улицы щеки или шеи – уже уплывая в туманное озеро сна...

Он явно изучал их, своих женщин: задумчиво слеживал за передвижениями Стеши по кухне; внимательно наблюдал за лицом и руками Владки, сочиняющей очередную свою невероятную историю; проскальзывал во время урока к Барышне, что вообще-то строго запрещалось, но Леон умудрялся проникнуть в комнату беззвучно, за ее спиной. Забивался в угол и просиживал так полчаса, сорок минут, а то и час (в отличие от матери, даже маленьким он был способен сохранять полную неподвижность очень долго), неотрывно следя за студенткой, смешно разевающей рот. И порой так же молча, словно передразнивая, разевал рот, как бы запоминая движение лицевых мышц.

– Внучок ваш, Эсфирь Гавриловна, – пробормотал однажды студент-вокалист, собирая после занятий ноты в папку, – паренек не простой.

– Надеюсь, – парировала Эська. – Надеюсь, что не простой.

До какой степени внучок не простой, выяснилось довольно рано – Леону тогда исполнилось лет семь. Эсфирь Гавриловна была уже о-о-очень преклонного возраста человек: все же под девяносто – не шутка. Уже и глаза подводили, и правая рука тряслась так, что про аккомпанемент давно следовало забыть. Но в почетные председатели жюри конкурсов ее еще приглашали: ее огромный опыт и безукоризненный музыкальный вкус по-прежнему придавали вес любому серьезному музыкальному событию в городе.

Разумеется, за «старухой Этингер» присылали машину и двух студентов, которые потом препровождали ее обратно, с медлительной торжественностью – под руки с обеих сторон – втаскивая ступень

за ступенью по лестнице до самой двери в квартиру. Это не представляло особой трудности даже для девушек: в старости Эська так ссохлась (Стеша говорила: «скукожилась»), что превратилась в морщинистого седоголового гномика, временами даже трогательного – пока не открывала рта. И лучше было на язык ей не попадаться.

...Вернувшись однажды домой, Эська обнаружила у себя в комнате очень странную посетительницу, чем-то смутно знакомую, но подозрительно таинственную и почему-то в шляпке с вуалью. Сумерки уже погасили в комнате окна, так что Эська не сразу заметила миниатюрную фигурку в кресле, а увидев, от неожиданности так сильно вздрогнула, что чуть равновесия не потеряла.

– Вы... кто такая? – отрывисто спросила она, взглядываясь в молчаливую гостью.

– Я неизвестная незнакомка! – заявила та стеклянным голоском.

– Пошла вон! – каркнула неприятная старуха. Эська не любила сюрпризов, не любила неизвестных незнакомок и вообще боялась сумасшедших. Особенно в вуалях. – Что вам здесь надо? Какого черта вы эту тряпку нацепили! Я в милицию сейчас...

– Да ладно тебе орать, – из-под вуали отозвалась посетительница. – Я тебе сейчас ка-ак спою!

И полилась из-за «тряпки» беллиниевская «Каватина Нормы» с такой хорошей артикуляцией и так прилично интонированная, что Эська милицию звать не стала (да и как бы она это сделала, интересно предположить? В крайнем случае крикнула бы дядю Юру, если бы тот был жив. Но дядя Юра года два как умер от рака).

Выключателем она сразу щелкнула, и секунды две еще понадобилось, чтобы опознать кружевную блузку и серую габардиновую юбку из своего «венского гардероба», а заодно и шляпку, которую она лет сорок не извлекала из картонной коробки. Нащупав ближайшую думку на кровати, Эська с воплем швырнула ее в Леона...

– Ну, как я тебя сделал, Барышня? – Это было первым, что он ей сказал, сияя чернущими глазами и стягивая с кудрявой макушки Эськину шляпку.

И в этот момент произошло вот что: Эська впервые как бы со стороны увидела, насколько этот выблядок похож на нее саму, на маленькую Эську. Внутренне ахнула и, схватив другую думку, дослала ее вслед первой – впрочем, он все равно увернулся. Главное, в те минуты на нее впервые нашло: на днях ехать в Вену, там все договорено с Винарским, а папы все нет, и хорошо бы дать ему телеграмму, только

вот адрес, адрес...

Впрочем, это был лишь миг затмения, все сразу миновало, и уже минут через десять она рассказывала на кухне Стеше и Владке, как этот мамзер ее обмишурил. Шляпка! – вот почему сразу-то не опознала: она эту шляпку лет пятьдесят не доставала из коробки.

К его открывшемуся голосу она отнеслась холодно и даже враждебно.

– Никаких теноров! – отрезала. – Баста. Напелись! Плохая примета. К тому же, еще лет пять, и голос у него сломается. Если хочет музыкой заниматься – пожалуйста. Есть много замечательных инструментов.

– Арфа, например? – с подковыркой спросила обычно мирная Стеша, намекая на неудачный эпизод Эськиного детства, а также на маленький рост Леона.

– Например, кларнет, – отбила выпад Эська.

* * *

На том семья и порешила.

К сожалению, изумительный кларнет Большого Этингера бесследно исчез. «Румыны унесли», – говорила Стеша так, как говорят о цыпленке, унесенном ястребом, или о лодке с рыбаками, унесенной штормом в открытое море. (И если задуматься – где-то он сейчас, божественный инструмент, кто к нему прикладывает губы? В каком бухарестском шалмане наяривает на нем забубенный бессмысленный лабух? А может, и хуже: где-нибудь в селе под Констанцей или Тырговиште крестьянин размещивает им пиво в бочке?)

Словом, фамильный кларнет французской фирмы «Анри Сельмер» был потерян безвозвратно, но Григорий Нисаныч, духовик в музыкальной школе при консерватории, который только из уважения к Эсфирь Гавриловне согласился учить пацана (таких маленьких не брал), выдал мальчику казенный, старенький, в футляре из потертого папье-маше, но все же деревянный, а не эбонитовый кларнет с посеченными временем деталями корпуса и потускневшей никелировкой металлических рычагов и клапанов.

Был Григорий Нисаныч нежнейшим человеком, беззащитным в своей доброте, и, чтобы защититься от этого мира, в том числе от жестокого мира детей, выдавал себя за сварливца и деспота.

– Так: не таращиться, а запоминать. Буду бить и трепать как с-с-собаку! Что улыбаешься? Нравится кларнет? Ах, нравится, хулиганское твое отр-р-родье... Вот если когда-нибудь сможешь выдавить из этой дудочки звук, хоть отдаленно напоминающий кларнет твоего прадеда!.. Мой папа (между прочим, гобоист милостью божией) мальчишкой трижды бегал слушать кларнет Большого Этингера в экспозиции Пятой Чайковского. Какими басами тот пел! Ах, сердце – вдрызг!.. Так вот, эти басы у кларнета называются красиво: *шалюмо*, во как! Это – безотказное благородство, визитная карточка, голос чести. Потом – будем откровенны – октава у нас бледновата, пока не передуешь. Что значит «передуешь»? Я так и знал, брандахлыст несчастный, что все тебе надо разжевать! Молчи и слушай, и только попробуй не запомнить – распотрошу к чер-р-ртям собачьим! Вот клапан передувания, его открывают, чтобы перейти на третий обертон. И запомни: кларнет – единственная деревяшка, у которой передуют не на октаву, а на дуодециму... Ах, ты такого слова не слышал! А слову «хер» тебя дворовая шантрапа уже научила? Не сомневаюсь... А *гитэ халястрэ!*^[4] То-то бедная мадам Этингер валялась в ногах у Григория Нисаныча: вырвите малого идиёта из лап улицы!

По замкнутому лицу мальчика невозможно было понять, что он думает и как реагирует на выкрики и взлаивания учителя. С этим лицом он невозмутимо выслушивал всю цветистую предысторию вопроса, хотя кому, как не ему, было известно, что, во-первых, Барышня никогда ни у кого в ногах не валялась, и скорее небо упадет на землю, чем это случится, а во-вторых, ни в каких дворовых «халястрах» он в жизни не околачивался. Он вообще не выходил во двор, хотя Владка все время гнала его *поиграть и погулять с друзьями*. И никаких друзей во дворе у него не водилось, и они ему были совершенно не нужны.

– Слушай, пока я жив, *ферец*^[5]... если тебе так нравится кларнет, хоть знай, с чем эту дудочку едят... Дуодецима – это квинта через октаву, потому твой любимый кларнет называют инструментом квин-тиру-ющим... И «пустой звук», когда все дырки открыты, у кларнета си-бемоль – фа. Ну, а у кларнета ля, чей ствол на два сантиметра длиннее, – какой? Поработай *абисэлэ*^[6] мозгами. Правильно – ми! Не все с тобой потеряно, *ферец*... Так вот, запомни: стоит закрыть все дырки, прижать и открыть клапан передувания, как кларнет становится чистым бриллиантом! Это, конечно, если вставлен в нужный рот...

В общеобразовательной школе мальчик занимался с третьего на десятое. Не так кошмарно, как Владка, – этого типчика держали на плаву отличная память, умение слушать, не отвлекаясь, и выхватывать из объяснений учителя самую суть. Уроков никогда не готовил, и *за это*, как говорила Стеша, *горел*, хотя материал каким-то образом знал всегда.

Едва звенел звонок с последнего урока, он в нетерпении уже забрасывал в ранец все школьные *бебехи*. Предвкушал: сейчас прибежит домой, первым делом вымоет руки (Григорий Нисаныч настрого запретил касаться инструмента немытыми руками), откроет футляр, достанет из бумажного конверта одну из трех камышовых пластинок-тростей и, прикоснувшись к ней языком, аккуратно приложит к отверстию клюва-мундштука, прикрутив пластинку металлическим хомутом. Ну, а теперь вставить мундштук в бочонок, соединить верхнее и нижнее колено, в нижнее вставить элегантный раструб, а бочонок надеть на отделанный пробкой выступ верхнего... готово! И тогда... тогда, наконец (вот оно: «вставить кларнет в нужный рот!»), прикрыв покатость мундштука верхней губой, осторожно коснуться трости нижней губой и языком и – дунуть, рождая легкими, горлом, трахеей и тем, что бьется под левым ребром, томительно густую, серебряную ласку звука...

...Его лицо, необычно бесстрастное для ребенка, совершенно менялось, когда он пел в школьном хоре: блаженная нежность во всех чертах, губы округло-старательные, молящие, а голос выпекает благодарность всему вокруг...

Неплохой был детский коллектив, и не мудрено: школа специальная, слух чуть не у половины ребятишек абсолютный, в крайнем случае просто отличный. А для хорового пения особой силы голоса и не нужно.

Хоровичка Алла Петровна, одышливая старая дева, всю душу отдавала своей профессии, репертуар выбирала так, как выбирают невесту сыну: все классика, что ни вещь, то бриллиант. На Леона, едва тот на прослушивании открыл рот, набросилась, как людоед на мальчика-с-пальчик, чуть не проглотила с ботинками. Ахала, бледнела, руками всплескивала, бросая клавиатуру...

– Разве что ноги не целовала и в обморок не хлопнулась, – сообщила Владка, которая была свидетелем этого события.

И Леон стал солистом детского хора. Владка перешла ему одну

из блузок «венского гардероба» – белую, с черной бархатной ленточкой вокруг шеи, с нежнейшим пенным жабо цвета слоновой кости, на фоне которого смуглое лицо мальчика приобретало какую-то чеканную значительность.

Алла Петровна оборачивалась к публике и объявляла:

– «Ночевала тучка золотая»! Музыка Чайковского! Слова Лермонтова! Солист – Леон Этингер!

Нацеливала вздрагивающую палочку на двойной ряд сосредоточенных детских лиц, взмахивала...

Из шепотливой тишины под высоким потолком далеким хрустальным колокольчиком зарождалось:

– «Ночева-а-ала ту-у-чка... золота-я... на груди утё-о-оса... велика-а-на...»

(Леону, в то время совсем крошечному, под ноги ставили скамейку, чтобы из зала можно было если не разглядеть, то хотя бы заметить «солиста».)

Он вытягивал звенящий ручей мелодии, и ему казалось, что и сам он стоит на утесе – одинокий, как перст, легкий, как облако, готовый сорваться в широкую дугу полета. А хор, вздувавшийся волной за его голосом, – это шлейф, его полуопущенные крылья, и только от него зависит – от него, а не от жалкой палочки Аллы Петровны, – взмахнут ли крылья в полную силу, расправятся ли могучим шатром, вздымая его на бездонную высоту, или поникнут навсегда.

Именно в это время обнаружилось одно из уникальных врожденных свойств его дарования, для профессионального певца бесценное: он пел, мгновенно выучивая текст партии на любом языке – немецком, итальянском, французском... Но это-то дело нехитрое, особенно в детском возрасте, с цепкой детской памятью. А изюмина в том, что ни тени акцента в его произношении не смог бы заметить ни один природный носитель языка. Проверено: в разные годы весьма лестные комплименты на эту тему ему приходилось слышать от своих итальянских, немецких, латино-американских и прочих коллег.

* * *

Вот уж кто унаследовал фамильную страсть! Вот кто стал прямым

потомком Большого Этингера по родовой музыкальной ветви. Вот кто трепетал и возносился при первых же звуках и потому – ну согласимся же, наконец! – заслужил полушутливую Эськину кличку «последнего по времени Этингера».

Власть музыкальных звуков над этим мальчиком была поразительной, парализующей. Однажды он пропустил урок сольфеджио, простояв под дверью соседнего музыкального класса, откуда доносились звуки расстроенного, со сбитыми молотками пианино. Волнообразная мелодия речитатива (траурный, черного солнца ре минор), подобно приливу, вздымалась все выше и выше, разливая оцепенение по всему телу. Вот мерное похоронное шествие сбил растерзанный аккорд, и начались синкопы, от которых мальчика обуял ужас: перед ним разверзлось ледяное дыхание ада. И даже бодрый, истинно моцартовский, в духе ранних сонат финал не мог развеять впечатления от увиденной бездны. (Годы спустя, изучая строение музыкальных форм, он узнает, что этот старинный, родом из Испании, остигатный танец называется сарабандой.)

Дождавшись, когда из класса выпорхнула ученица, Леон бросился к ней:

– Что сейчас играла?

Девчонка (типичная отличница, нейлоновые бантики в косицах) фыркнула:

– А ты не знаешь? – И, взглядом скользнув по прижатому к груди кларнетному футляру – ну ясно, духовик, что с него взять! – снисходительно бросила, убегая: – Ре-минорная фантазия Моцарта...

...Время от времени Барышня брала Леона на оперные и балетные спектакли, и забавно было наблюдать этих двоих в ложе бенуара, где Барышня *держала абонемент*, – одинаково серьезных, одинаково молчаливых, перекидывающихся двумя-тремя скупыми фразами по ходу оперы.

Иногда дальнзоркая Барышня говорила:

– Нас лорнируют... – и действительно, издали им кто-то кланялся, и она благосклонно отвечала легкой рукой, а в антракте к ним в ложу непременно кто-то входил с приветствиями.

Однажды после «Севильского цирюльника» они зашли за кулисы к «Сашику». Леон давно знал, что этот старик, оказывается, «Сашик» – только для Барышни да еще для тех трех старичков, которые сто лет назад занимались с ним на фортепианных курсах Фоминой в Красном переулке. А вообще-то он блистательный дирижер Александр Аркадьевич Галицкий,

заслуженный деятель искусств СССР...

Так вот, «Сашику» в тот день исполнялось восемьдесят пять, и вечером в его квартире на Гоголя собиралась небольшая компания ближайших друзей, все тех же еле живых старичков: юбиляр терпеть не мог юбилеев.

«Сашик» стоял у бархатной кулисы огромной полупогашенной сцены, совсем иной, чем дома, – в прекрасно сидящем фраке, в белой рубашке с черной бабочкой, и его округлое брюшко забавно рифмовалось с округлым лицом в морщинах вокруг яблочек-щек.

Он еще не успокоился после спектакля и, нагруженный букетами (кто-нибудь, черт возьми, заберет у меня эти веники?!), порывисто договаривал что-то Барышне, скупно похваливая и щедро поругивая всех – оркестрантов, певцов, осветителей, рабочих сцены...

– Галина сегодня была не ай-яй-яй, – согласилась Барышня, и «Сашик» отозвался:

– Вообще-то, она нездорова. Но ведь и этот пройдоха Россини хорош: писал Розину для своей жены с ее редчайшим даже для Италии колоратурным меццо. Ты ж понимаешь, сегодня певицы – либо высокие меццо, либо колоратурные сопрано, с их жидким низким регистром! Так и поют – *мит а крэхц* [\[7\]](#)!

– Она не дотянула в арии, – вдруг вставил Леон, на которого, как обычно, никто из взрослых не обращал внимания.

«Сашик» запнулся (похоже, он вообще впервые услышал голос этого молчуна), выразительно вздернул бровь и глянул вниз, на черную кудрявую макушку где-то у него под животом. Спросил, пытаясь соорудить уважительное серьезное лицо:

– И где ж это она не дотянула, я вас умоляю, дорогой эксперт?

– А вот тут... – сказал Леон и – невероятно легко, полетно, звонкой прозрачной струей – вылил горлом сложнейшую фиоритуру из арии Розины. Звнящая птичья трель свободно взлетела над пурпурными ложами бенуара с их золоченой лепниной, к огромной притушенной люстре под знаменитым расписным потолком Лефлера и там еще два-три мгновения трепетала крылышками, прежде чем стихнуть.

После чего наступила тишина (публика уже покинула зал, а на пустой сумеречной сцене стояли только эти трое). «Сашик» свалил на пол все букеты и обеими руками схватился за бабочку на шее, точно она душила его и он хотел отшвырнуть ее прочь.

Так и застыл, молча глядя в упор – но не на мальчика, а на свою старую подружку. Наконец, увесисто проговорил:

– Эська, ты – свинья!

На что она отозвалась легко и по виду даже бездумно:

– Да, я свинья! Я свинья, потому что не знаю, где могила моего отца...

– А что, убивали только теноров?! – взвился «Сашик» и даже ногой в лаковой концертной туфле притопнул, на что Эська так же спокойно ответила:

– Нет. Еще канареек...

Весь диалог звучал вполне безумно для постороннего уха, но не для Леона, который, пропев самый сложный пассаж, стоял с прежним незаинтересованным видом. Барышня потрепала его сухонькой ладонью по макушке и добавила:

– Зато этот останется в живых. И больше певунов у нас не будет.

– Будет, – спокойно и уверенно произнес «Сашик». Взял своими толстыми мягкими пальцами Леоново ухо и медленно повел-закружил мальчишку по дощатому полу сцены, среди упавших букетов, втолковывая: – Вот! Здесь! Будешь! Петь! – как щенку, что оставил лужу.

И надо было видеть, как послушно, с алым удовольствием на физиономии, Леон, у которого авторитетов не было, следовал этому странному маршруту.

Потом они посмотрели друг на друга, будто узнавая, и оба засмеялись...

Через месяц Леон уже выходил в первом акте «Кармен», где прелестный хор мальчиков подражает сменяющемуся караулу драгунов; а еще через месяц оказался занятым в театре чуть не каждый вечер: пел в хоре во втором акте «Щелкунчика», пел маленькое соло в «Богеме»; в первом акте «Пиковой дамы» исполнял крошечную сольную партию командира, звонким голосом отдавая команды мальчикам, играющим в солдатики в Летнем саду. А вскоре «Сашик» поручил ему небольшую сольную партию в «Русалке», да какую! – партию девочки, дочери Русалки.

И Леона гримировали в *настоящей* гримерке: натягивали на голову роскошный золотой-кудрявый парик! И после спектаклей он купался в восторгах Барышних студентов и приятелей – ах, какой артист, а как в роль вошел, ни за что не скажешь, что это мальчик, а не девочка!

Но главным его выходом стала песня пастушка в начале третьего действия «Тоски» Пуччини, когда после коротенького, в несколько тактов, грациозного терцета виолончелей взмывает легчайший, серебристого окраса мальчишеский дискант. И после идиллической интермедии вступает кларнет с мотивом знаменитой арии Каварадосси...

Часто в зале – нелепо разодетая, неохватно грузная, в какой-нибудь не по возрасту яркой кофте – сидела Стеша. Вот кто сильно радовался успехам правнука! Она сидела рука в руке (как обычно, когда *не имела на что их деть*) и плакала...

На старости лет у нее развилась сильная дальновзоркость, поэтому вблизи ее окружал туман, и видела она только лицо смуглого мальчика на сцене, его маленький, подвижный, как у птенца, рот, то бубликом, то в бантик, то в улыбку, выпевающий такие ангельские трели, что под них сладко было умереть, не переставая благодарить Бога за все.

Она уже всю свою жизнь считала наградой: все, что в этой жизни было и есть. И даже то, что так и не узнала, где могила Большого Этингера, тоже считала определенной удачей – ведь все эти годы можно было перед сном представлять, как очнулся он в той телеге с мертвецами, да и бежал, и скрылся.

Можно было, презрев естественный ход времени, представлять себе его дальнейшую, безбедную и прекрасную жизнь где-то там, где не бывает ни старости, ни смерти.

* * *

А время бежало, и двор менялся, и годы пришли совсем унылые: старики, что так долго жили рядом под одной крышей, умирали один за другим. Прямо во время операции умер Юлий Михайлович Комиссаров, знаменитый хирург, бурно оплаканный своими пациентами. Умер в полной умственной тьме и паркинсоновой дрожи злосчастный Яков Батраков, а его старуха-дочь Анфиса дней пять скрывала его смерть, по-прежнему стирая и стирая его кальсоны и вывешивая их на штaketнике. И когда соседи, чуть ли не скрутив дуру-бабу, ворвались к ним в полуподвал, то увидели там такую нищету и грязь, что даже оторопели: неужто Батраков так и пропил все немеренные деньги, вытянутые им из жильцов?

Умерла Любочка, прихватив с собой за компанию мужа: это дядя Юра догадался положить в ноги к Любочке урну с прахом смешливого Яна, заждавшегося человеческой могилы. Юра и сам был уже очень слаб, но еще порывался встрять меж молодыми и «маленько, хотя бы по двору» понести гроб. Еще чуток смог выпить на поминках, а через месяц весь двор уже выпивал за упокой дяди-Юриной души... Зареванная Владка крикнула:

– Почему – за упокой?! Пусть она там летает весело, его душа! Дядь

Юра, слышишь меня?! – завопила она, задрав в небо двора кудрявую башку. – Ни пуха тебе, ни праха! – и захохотала, что всеми было списано на ее большое горе: уж какими друзьями были эти двое...

Сил у Стеши становилось все меньше, и почему-то казалось, что все меньше сил остается у целой окрестной страны. Страна разваливалась, как и Стеша, задыхалась, ковыляла с трудом, застревая на каждой ступеньке и пробуя отдышаться трудными хрипами.

Любую мелочь надо было «доставать» или «брать». Подсолнечное масло *брали* где-то за городом. Снаряжали всем двором племянницу тети Паши Зойку, нанимали в складчину машину, составляли список – и вперед. Шоколад *брали* огромными кусками у *дворнички* Маши – у той в Виннице дочь работала на конфетной фабрике. Ворованные в порту чай и кофе приносили по воскресеньям близнецы-докеры, внуки давно покойной Баушки Матвевны. Они же добывали где-то и рулоны туалетной бумаги, которая считалась лучшим подарком на праздники.

А Владка, вместо того чтобы устроиться наконец на приличную работу, продолжала гонять, как савраска, по каким-то своим идиотским затеям: что-то где-то покупала, потом «толкала» через каких-то «своих человечков», навар был копеечный, но дыму, бенгальского грохоту, скандальных разборок с теми самыми «своими человечками»...

Девка была, в сущности, неплохая, добрая, но такая шебутная! И такая... несчастливая. Стеше страшно было подумать, как мальчишка останется здесь с такой «каламбурной» матерью, как будет дальше учиться и на что они будут жить, когда обе пенсии растают вслед за старухами.

А на Ирусю не было никакой надежды: там, в этом *здоровом климате Заполярья*, скоропостижно, посреди производственного совещания умер здоровяк Владик. Видимо, сердце не выдержало нагрузки: столько лет быть главным инженером комбината – шутка ли, такая ответственность! Стеша грешным делом думала, что вот теперь Ируся уж точно вернется «домой», хотя что такое для нее «дом» теперь, спустя целую жизнь, затруднялась себе ответить. Но Ируся мечтания матери пресекла: сказала, что врачи категорически запретили ей менять климат.

– Да как же ты там будешь одна, без Владика, доця?! – заливаясь слезами, восклицала Стеша.

– Мама, – вздыхала Ируся, – если б ты знала, какие у меня анализы...

Внука Леона она любила по фотографиям. Хороший мальчик, но мелковатый. И смотрит как-то... затравленно; таких обычно обижают все, кому не лень.

Ируся, как всегда, попала пальцем точнехонько в небо.

* * *

Где-то в это время опять возник Валерка и объявил, что устал от зоны, вернулся, мол, навсегда, и баста, хочет пожить по-человечески.

Во дворе поговаривали, что Валерка на зоне – пахан, уголовный авторитет и все *порядочное общество* уважает его за строгость и справедливость, так что неясно было, от чего он так устал. Как обычно, Владка прибежала к нему, и они долго сидели, выпивали, и Валерка сначала убедительно доказывал, что человек рожден быть свободным, как ветер, а по мере опорожнения бутылки столь же убедительно доказывал, как все *там, за проволкой*, справедливо и толково – по сути, по разуму. Какие честные воровские законы, неукоснительные, уважительные для порядочных людей, не то, что здесь, в этом бардаке...

У него появилась подруга Сима, гораздо старше его – сошелся он с ней в благодарность за то, что она ухаживала за смертельно больной его матерью и не оставляла ее до конца. Сима работала раздатчицей в заводской столовой на «Январке», каждый вечер притаскивала в хозяйственной торбе разную еду из котлов, что Валерку страшно возмущало. Это ж воровство, Сима, говорил он. Что ж получается, говорил: не продукты, а КРАДукты! Где законы?! Ничего здесь не работает!

Но на сей раз, видимо, и вправду решился переломить судьбу: устроился грузчиком на станцию Одесса-Товарная. Со смен приходил полумертвым, но не от физической нагрузки (он казался и был очень сильным, хотя и тонким в кости), а от отвращения: сокрушался, что всюду воровство и бардак, закона нет ни где и никому. Ворье кругом, и все на воле.

В конце концов очень скоро он опять что-то натворил и снова сел. Сима сказала: это он нарочно. Уже не может тут быть.

...А Владка – что, Владка и дальше оставалась одна и несколько не тяготилась своим положением материодиночки. По-прежнему красивая, забавная, искрометная – если не вслушиваться в смысл ее историй, а просто следить за жестами и мимикой да глядеть во все глаза на эти краски: нежную зелень глаз, ржанные кудри с красноватой искрой, прозрачную кожу все еще гладких щек.

Словом, она, как и раньше, производила впечатление гаубицы,

но какой-то... бесполезной. Ничегошеньки не могла мужику предложить, и мужики это чувствовали, давно наградив ее стойкой репутацией «динамистки».

К тому же она утомляла даже на коротких дистанциях, что уж там говорить о целой длинной жизни. Семья ведь – не цирк, не Ка-вэ-эн, не игра «Шо-где-когда?».

Молодость ее шмыгнула за спину и притаилась там, полюбоваться: как Владка намерена дальше скакать – тем же аллюром или все же на шаг перейдет?

Но Владка свой азартный бег сменить на шаг не торопилась. Она скорее сменила бы дом, привычное окружение... Или даже страну.

8

Решение эмигрировать пришло ей в голову так же внезапно, как и все остальные идеи.

В то время друзья устроили ее в Музей морского флота. Должность была какая-то смутная, мелко-бумажная, неинтересная, но азартная и артистичная Владка, потаскавшись недели две по музею с экскурсоводами, однажды лихо заменила кого-то из них, заболевшего, и с тех пор время от времени «выступала» с яркой экскурсией: модели судов, древний якорь, романтика морских легенд и былей, украшенная собственными эмоциональными «фактами» из жизни пиратов.

Своей неподражаемой походочкой Владка плыла из зала в зал под парусами, уверенно жестикулируя, выдерживая эффектные паузы, простирая руку в сторону экспоната и щелкая пальцами над головой, когда требовалось перевести группу из одного зала в другой. Посетителям очень нравилась ее непосредственность. Курсанты мореходки тарасились и млели. Уже все чаще на группу заказывали именно Владиславу Этингер. Да ей и самой нравилось: место оживленное, народу вокруг навалом, и в центре – что главное. Тут тебе Приморский бульвар, там – Оперный с его шикарным цветником, за ним – Пале-Рояль.

В любой момент можно выскочить по делам.

Вот как раз по этим «делам» она и поцапалась с бабой из отдела культуры Горсовета. Та привезла номенклатурную делегацию из Киева, которую назначено было вести Владке, но той приспичило по пути на работу заскочить к подружке *по очень важному делу* (они примеряли

шмутки, привезенные из Польши), так что часа на полтора Владка опоздала.

Потом было разбирательство в кабинете директора, и *баба-горсоветка* вопила:

– Какие у тебя дела, шлендра протокольная! Какие дела, кроме захода с песней?! Байдыки бить – все твои дела!

Ну, и так далее. Невыносимо, оскорбительно, грубо.

Владка примчалась домой, топала ногами и рыдала, заявила обеим старухам, что всё! всё! всё!!! Не желает больше жить в этом дерьме! Уедет из этой гребаной страны, из этого гребаного города, уедет – не оглянется!!!

Миновало бы и это затмение...

Но тут Барышня, которая уже путалась в разных событиях, и бывало, что Стешу именovala *мамой*, а бывало, что на целую неделю вновь воскресала для нормальной жизни и беседы, – Барышня вдруг спокойно и трезво сказала:

– Конечно, ехать надо, если отпускают. Только не в Америку. Там даже Колумб ни черта не нашел, кроме индейцев. Надо в Палестину ехать.

– В Израиль, что ли? – огрызнулась Владка. – Что я там забыла?

– А что ты вообще помнишь? – осведомилась Барышня.

И тут Стеша вставила:

– В Палестину Яша переправил наши книги.

Возникла пауза. Владка с Леоном переглянулись, и та спросила:

– Какие еще книги?

– Гаврилскарыча книги, очень ценные, – вздохнула Стеша. – Фамильные, еще Соломона-солдата приобретение. Там на первой странице в уголку наша печать черной тушью: лев такой всклоченный, лапу на барабан положил, и труба перевернутая. И арка над ними золотая: «Дом Этингера».

– Гос-спо-ди, в каком бреду я живу с этими старухами!!! – завопила Владка, которая никогда в жизни не сняла с полки и не раскрыла ни единой книги из прадедовой библиотеки. – «Дом Этингера»?! Вот этот вот говенный дом?!

– Не, то в другом смысле, – поправила Стеша. А Барышня сказала презрительно:

– Хабалка! Выправляй документы в Палестину.

Туда мы еще кое-как дотащимся.

– А в никуда другое даже не поеду, – уточнила Стеша.

И тут можно Владке посочувствовать: старухи были обе неподъемные. Одной девяносто, другой аж девяносто пять. Но у Стеши, по крайней мере, мозги в порядке, хотя и двух шагов без двух палок она не сделает. А у Барышни такие видения, такие фантазии вдруг расцветали, на фоне которых Владкино трепливое вранье бледнело и казалось невинным лепетом.

То вдруг старуха объявит, что к ней завтра приезжает подруга из Испании и надо организовать встречу на вокзале. Даже деньги на цветы выдаст из своей пенсии. И бедная Владка полдня пытается добиться – номер поезда, время прибытия, перрон... пока не выясняется, что подруга – та самая легендарная тощая дылда в рыжем парике с фронтовой фотографии, в чью честь Леона называли... То прицепится, чтоб срочно звонить в Вену какому-то Винарскому, и пока разберешься, что это за Винарский и с какого года (с 1923-го), звонить ему уже бесполезно, так это можно и самой спятить!

Надежда была только на Леона. Ему исполнилось двенадцать, он все чаще выступал на большой сцене, весной ездил с хором в Москву на всесоюзный конкурс детских хоровых коллективов, пел в Колонном зале Дома союзов и «произвел фурор в столице» – во всяком случае, «поразительно сильный и чистый, с редким диапазоном голос юного одессита» был отмечен в каком-то специальном недельном музобозрении.

Алла Петровна с тревогой ждала мутации его «золотого голоса», заранее оплакивая «незаменимые утраты в репертуаре», раза два даже зазывала прямо на репетицию хора приятеля-отоларинголога, и тот – седой и мрачный, со звездой рефлектора во лбу – внимательно изучал широко разинутую драгоценную Леонову глотку, в которую с благоговейным трепетом пыталась заглянуть и Алла Петровна. Но сказать что-то определенное не мог. Плечами пожимал:

– Природа! Она сама знает – чем и когда ей петь.

За последний год мальчик очень повзрослел, стал и вовсе немногословен, но уже прислушивался к просьбам матери и выполнял их, если находил в том резон.

Именно Леон перетаскал в букинистический отдел книжного магазина дедовы книги, а особо ценные старинные клавиры Барышня распорядилась передать в дар консерваторской библиотеке – их все одно не разрешили бы вывезти.

Мебель, которую так страстно оберегала и сохранила во всех штормах двадцатого века истовая Стеша, пораспродали по соседям и знакомым,

а деньги Владка растратила на гулянки и проводы, которые начинались с утра и колбасились до вечера по всему городу. Мелкие вещи раздарила подружкам на память; легендарную швейную машинку Полины Эрнестовны отдала Валеркиной подруге Симе – та и шила прилично, и понимала, что за вещь ей в руки приплыла. Эськину комнату и Стешину каморку на антресоли (ошметки некогда великолепной квартиры Этингеров) «сдали» в ЖЭК. Что еще? Да все, пожалуй... Вот теперь и ехать можно: практически налегке.

И никто из них еще не подозревал, до какой степени *налегке* придется ехать.

Перед самым отъездом Владка затрусила по-настоящему – не потому, что осознала весь беспросветный риск своего шага, а потому, что накатила на нее *ужасная неохота* расставаться со всем вот этим своим-своим... Затея с отъездом представлялась ей теперь дворовым, из детства, «махом не глядя», когда, зажав свое мелкое имущество в потном кулачке, ты надеешься, что в кулаке приятеля окажется нечто полезнее.

Но Владка со своей головой-торопыгой никогда не выигрывала в подобных слепых менах, и об этом стоило бы ей помнить. Какого черта она психанула с той горсоветницей? Мало баб-начальниц в ее жизни было? Вагон и тележка! И, в конце-то концов, какого лешего она послушалась своих старух, безумную ветошь, и наострила лыжи на загадочный и жаркий Восток, в то время, когда *вся Одесса* ехала в богатую и вожделенную Америку?

До отъезда оставались недели две, и каждый вечер Владка усаживалась на кухне перед очередной бутылкой: подискутировать с невидимым оппонентом. Сидела, курила, доливая себе по чуть-чуть, быстро-горячо бормоча и вскрикивая, возражая и доказывая свою правоту явно кому-то определенному. Легчало, как правило, после второй рюмки: дрожащая в горле *жалость за город и молодость* слегка рассеивалась, и новая жизнь впереди принималась мигать огоньками реклам, зазывать шикарно одетыми манекенами в витринах, слепить солнцем над широкой набережной за частоколом рослых пальм... Последним успокоительным доводом всегда было море: Средиземное, блин!.. Ну, а Красное – плохо ли вам?! Сменим цвета нашей команды на более яркие...

– Ничего-ничего-о-о... – говорила начальнице Владка. – Еще посмотрим, поглядим еще, сука ты неохватная, кто и где байдыки будет бить!

В один из подобных вечеров набрела на нее совсем уж старенькая тетя Паша-сновидица. Из своего чулана она выползала теперь крайне редко и, судя по ровному храпу из-за двери, много спала в преддверии собственного перехода в область профессиональных своих интересов. Видимо, проводила нескончаемые совещания со всеми покойниками, коих когда-либо знала.

Ее пышная белая борода закудрявилась, зато на темени образовалась детская лысинка добродушного святого, сиявшая под ярким электрическим светом кухни, точно розовое зеркальце.

Увидев Владку, тетя Паша встала руки в боки, сурово оглядела это безобразие и припечатала:

– Квасишь! Знач, дрейфишь.

– Да чего там... – отозвалась хмельная Владка, разгоня ладошкой дым от сигареты. – Ну, немного разве. Так, чуток...

– А ты у покойников интересовалась: ехать – не ехать, шоб наверняка?

– У каких еще покойников? – отшатнулась Владка. Лысинка у тети Паши светилась, как нимб.

– Ну, к примеру, у афганца своего. Может, чего посоветует... Могу приснить; ему ж не все равно, куда его баба с дитем поперлась, драку на сраку искать.

Владка поперхнулась дымом, помедлила, пробормотала:

– Э-э... ну ладно! – И уверенней: – А что? В самом деле: пусть скажет мнение. Ему там виднее.

– Заказ принят, – через плечо сообщила тетя Паша и, удаляясь по коридору в уборную, повторяла: – Все покойники – все! – ходят через меня...

На другой день она появилась опять и доложила: новости хорошие. *Афганец* всё одобрил.

– Что – всё? – уточнила Владка, как обычно, мгновенно втягиваясь в тему, начиная домысливать и обсуждать детали, поправлять рассказчика, спорить-горячиться, обживая чужую историю как собственную комнату.

– Та всё, шо было, шо есть и будет. Такой веселый пришел, я аж зарадовалась. Веселый, чернявый, стоит под злым таким солнцем, лепешки продает...

– Как – лепешки?! – совсем уж удивилась Владка. А ничему удивляться-то и не следовало. Явления пророчествующих покойников в снах пышнобородой *веры-навлонны* ничем, собственно, не отличались от обычной динамики Владкиного вранья. Так что, поразмыслив как следует, она решила благоприятный сон принять к сведению. А что ж –

ну, лепешки, пусть. Это ведь хлеб? Намек, что с голодухи не помрем, значит...

И весь вечер пребывала в своем обычном *каламбурном* состоянии. Только перед самым сном мелькнула некая задумчивая мысль: а может, *парнишка* и правда уже покойник? Может, ему действительно *виднее*? И на каком, интересно, языке он с тетей Пашей беседовал?

Обе старухи тоже худо-бедно собирались, хотя личного скарба у каждой было немного. Знаменитый «венский гардероб» Барышня велела выкинуть на помойку вместе с парусиновым, пожелтевшим от времени саквояжем – кому в наше время нужно это старье, чтоб через границы его тащить! Но Леон категорически воспротивился. Заявил, что все вещи возьмет себе.

– Ты что, сбрендил? – засмеялась Владка. – Ты баба, что ли?

Он мог бы и не отвечать; он вообще очень редко что-то матери объяснял и никогда не оправдывался.

Но на сей раз ответил – по-своему:

– Им же много лет, – сказал серьезно. – Они жили-жили... среди людей. И привыкли...

Владка закатила глаза, издала нечто среднее между индейским воплем и погребальным стоном и крикнула:

– Господи, с кем я еду! Они все трое больные на голову! Да продуй ты свои оперные мозги!!!

Свою коллекцию старья (ко времени отъезда она вполне тянула на небольшую музейную экспозицию) Леон чуть ли не оплакивал. Такой хлам, повторяла сердобольная Стеша, его ведь и не отдашь никому. И торопливо добавляла, чтобы не огорчать мальчишку:

– Понимающих-то немного. Кому нужен старый будильник, Левка? Только в музей, да?

Владка фурией носилась от комнаты Барышни через кухню на Стешину антресоль, пинала собранные баулы, орала: «Выкинуть на хрен всё!!!» – и не было уже дяди Юры, чтобы сказать ей: «Я те выкину!»

Французский гобелен, что лет девяносто провисел над кроватью Барышни (мальчик-разносчик уронил корзину с пирожными, два апаша их едят, мальчик плачет, и так далее), Леон вырвал из рук старьевщика, которого Владка зазвала в квартиру и велела *забирать гамузом все шмутье*; вырвал и затолкал в парусиновый саквояж, к «венскому гардеробу», под неистовые Владкины вопли: «Сам, сам потащишь!»

Он и потащил. А лет двадцать спустя один из удачливых антикваров парижского блошиного рынка на Монтрё, признанный «Король броканта», крошечный эфиоп Кнопка Лю говорил ему: «Ты только свисти и назначь сам любую цену, я куплю у тебя этот гобелен и все равно на нем заработаю! Не улыбайся! Я понимаю: un vieux connard comme toi^[8] никогда не вдается в суть вопроса. Невежа, что с тебя возьмешь! Ты имеешь великолепный образец Пансю. Цени мою откровенность, хотя она и расточительна: я тебе объясню, как изготовляли такие гобелены. Сначала делали эскиз в натуральную величину, с учетом переплетения всех нитей, да? Потом в том же эскизе прорисовывался каждый стежок в долевой и поперечной нитях, да? Адская работа, называется “жаккардовый картон”, занять может и более тысячи часов... И лишь после того, как он был готов, на жаккардовом станке ткали пробный образец. Но! Долевую нить все равно натягивали вручную, да? И каждая нить крепилась отдельно...»

Леон шутливо отсылал его ладонью восвояси, хотя они были знакомы уже лет пять и выпили бутылок двести хорошего вина, и Кнопка Лю даже не подозревал, кому поставляет ценные сведения – и отнюдь не только по гобеленам – в самой легкомысленной приятельской болтовне...

...На те жалкие бумажки, что остались от всей проданной жизни, были куплены льняные простыни и пододеяльники, двенадцать зачем-то скатертей, дубленка с особой плотности мехом в подкладке (вероятно, для прогулок между пальмами широкой Тель-Авивской набережной), а также – главное стратегическое вложение средств – три картины известных одесских художников. Владка собиралась продать их на европейских аукционах «тыщ по двести зеленых каждую», но поскольку и в этом судьбоносном предприятии все сделала так, как привыкла делать («с пионерской зорькой в заднице», как говаривала Барышня), необходимого по закону разрешения на вывоз произведений искусства не оформила; вернее, хотела, хотела оформить, да как-то руки не дошли.

Был бы Валерка на свободе, поехал бы с ними до Чопа – всё, возможно, кончилось бы иначе. Но он сидел, а присланного им «верного человека» Владка безглаголиво отослала восвояси.

И зря...

Это было время, когда приграничную станцию Чоп распирали непереваренные толпы народу. Именно там друзья и родственники отъезжавших на ПМЖ покидали поезд.

Вагоны отгоняли на запасные пути, где таможня свободно потрошила уже бесхозных, бездомных, беспаспортных и бесправных эмигрантов перед процедурой смены колесных пар «с наших на не наши» для вполне символического *дальнейшего следования поезда по европейской колее*.

Толпы людей – и провожавшие, и челноки, – что сновали туда-сюда по своим торговым надобностям, неделями не могли вырваться из Чопа. Зал ожидания битком набит, кассы большую часть дня закрыты, буфет не работает, ни кофе, ни чая раздобыть невозможно. Целыми днями люди сидели на заснеженных рельсах – обессиленные, с опустошенными лицами. Выскакивали на привокзальную площадь в попытке хоть что-то купить, но быстро возвращались, боясь упустить момент, когда откроются кассы. Словом, «Полонез» Огинского, «Прощание с отчизной»...

К процедуре таможенной проверки Владка готовилась загодя и по-своему: она себя взвинчивала, раздувала пары, чуя глупой задницей, что с картинами сваляла дурака (по пути ее просветили соседи).

Она готовилась к бою, явно путая таможеню с одесским трамваем, где дралась неоднократно и делать это, отдадим ей должное, умела.

Картины же были шикарными, каждая – метр на полтора: одна – густо-алая, с тремя черными крестами на крутой горе (художник Никифоров собственноручно снабдил ее названием на обороте холста: «Восход над распятым Иисусом Христом»).

Вторая картина его же кисти демонстрировала легко узнаваемую обнаженную Владку, сидящую верхом на каменном льве (парафраз «Похищения Европы» Валентина Серова). Эту она собиралась оставить себе и повесить «в зале», абсолютно уверенная, что зала у нее будет в самом скором времени.

На третьей картине, художницы Юльки Завидовой, изображен был стол, где стояло блюдо с нарезанной дыней, вокруг которой сидели четверо гольбейновского вида господ с золотыми цепями на шеях.

Эти цепи спускались под стол и, обратившись в наручники, сковывали руки господ за спиной, так что те сидели с идиотскими улыбками, не способные дыню укусить. Гольбейновские господа – бог с ним, фантазия

художницы, но дыня изображена так доподлинно, что, по словам Владки, аж дух по всему вагону!

Словом, задолго до Чопа Владка изрядно себя накрутила и сейчас, мотаясь по вагону, пыталась накрутить остальных пассажиров.

Рита из соседнего купе с немногословным мужем Колей, мастером спорта по вольной борьбе, безуспешно пытались ее уговорить.

– Та шо ты парисся! – втолковывала Рита. – Сунь ребятам пузырь водяры, ну, коньяка пузырь... Они пару сумок глянут та и уберутся себе...

Это был совет умного и осведомленного человека, совершенно не годный для Владки.

Та уже галопировала со всех ног, не разбирая дороги; она была и всадником, и конем одновременно; она уже облачилась в стальные латы *ярости благородной* и бряцала восставшим впрок *человеческим достоинством*.

– Я не играю в эти игры! – кричала Владка на весь вагон. – Моя игра – свобода, воля, честь!

И доигралась: погранцы – трое неразличимых меж собой сиволапых молодчиков – после первой же ее вызывающей грубости велели вытаскивать на перрон все чемоданы и сумки – кранты, мол, досматривать будем всерьез, мало не покажется.

И не показалось...

Леон, напряженный и бледный, стоял на перроне рядом с матерью – прекрасно-алой, как закат на картине художника Никифорова, – и безнадежно пытался ее унять, хватая за руки. Когда запахло жареным и масштабы бедствия были явлены во всю ширину перрона, Владка протрубила такую зорю, выдав фонтан ослепительной брани, что остановить этот дурной-трамвайный скандал уже не было никакой возможности.

Погранцы взъярились по-настоящему и тоже материли *задрыгу-жидовку* на чем свет стоит. Та, само собой, не отставала, обещая *такую дать им щас прострацию...*

Уже и драка подкатывала, а точнее, очевидное избиение Владки – особенно после того, как парни разодрали листы картона, в которые картины были упакованы, и выкинули произведения искусства прямо на грязный снег. Назревала такая страшная история на снегу, что Леон сбегал за Ритиным мужем Колей, мастером спорта по вольной борьбе, чтобы тот Владку скрутил. И Коля (все же спортивная реакция – дело хорошее) мгновенно выскочил и за секунду до катастрофы, до того как Владка бросилась на таможенников с кулачками, схватил ее сзади

за локти, легко поднял и унес в купе, где запер, и она билась там о дверь, воя и выкрикивая свирельным голосом рифмованные непотребства, пока пограницы – уже за *принцип* – не повыкидывали из сумок абсолютно все в снеговую жижу перрона.

Вокруг вагона цепочкой выстроились автоматчики, не давая провожающим подойти к окнам.

Все это продолжалось так долго, что поезд в конце концов дернулся, и все уже досмотренные пассажиры, наблюдавшие из окон сцену погрома, завопили мальчику, чтоб прыгал скорее.

Леон успел подхватить одну из сумок – полупустую, где, как выяснилось потом, оставался лишь утрамбованный парусиновый саквояж с «венским гардеробом» да скомканный французский гобелен, принятый таможенниками за старую тряпку, – и взлетел по ступеням в вагон.

В купе у окна, держа на коленях огромный, как школьный глобус, давно уже ставший родным бумажный абажур, скорчилась бывший доцент кафедры вокала Эсфирь Гавриловна Этингер... Эська, Барышня, седой полоумный гномик.

А Стеша стояла у окна в коридоре, опираясь на обе палки и глядя на перрон, на уплывающие прочь разверстые сумки и чемоданы – на все, что осталось от прожитой жизни: подушки, скатерти, одеяла и несостоявшееся Владкино богатство: три великие картины, проткнутые каблуками таможенников.

Стеша не плакала. Просто смотрела и твердила сухим протокольным голосом:

– Это слезы, слезы, слезы...

* * *

...«*La-acri-mosa die-es illa*», «Полон слез тот день»...

Хор вступил на фоне сдержанных всхлипываний скрипок: «Лакримоза», восьмая часть моцартовского «Реквиема», первая ее фраза, идеально вписанная в широкую мелодию дважды повторенного такта.

– Это вам задание на зимние каникулы, – сказала преподавательница по музлитературе. – Просто слушайте, и все. Изучать будем серьезно, ребята, и долго, многого вы еще не поймете, так что просто слушайте

много раз, чтобы эта великая музыка была у вас на слуху. Договорились? – Но никто ее уже не слышал – и потому что звонок трендел, и потому что каникулы, и свобода на целых десять дней...

Кто об том Моцарте думает?

Но Леон – слушал и думал, тем более что, наряду с «венским гардеробом» и бумажным абажуром тети Моти, плеер с наушниками был единственным, что осталось во владении семьи после великого таможенного шмона в Чопе.

Все первые недели Леон ходил по Иерусалиму под «Реквием», не снимая наушников, даже когда к нему обращались на улице.

Лет пятнадцать спустя психолог конторы, молодой симпатичный парень, с которым он даже приятельствовал какое-то время, объяснил ему, что то была реакция ребенка на перемещение в чужую среду; «линия защиты».

Леон и защищался: слушал «Реквием», все части подряд, возвращаясь назад, щелкая кнопками и произвольно выбирая то стремительную фугу «Kyrie», то шквальный «Dies irae», то короткий, как клинок кинжала, ошеломляющий напором «Rex»... Лишь самое начало пропускал, «Introitus» – потому что боялся его.

А «Лакримозу», великую «Слезную», очень любил – за прерывистую нежность, за мужественную грусть, за – несмотря ни на что – упрямо мажорный финал.

Краткие вздохи, прерванные паузами, двигали мелодию поступенно вверх, и хор, переключаясь со струнными, всхлипывал: «Qua resurget ex favilla» («Когда восстанет из праха...»).

Линия мелодии поднималась и плавно опускалась: «Huic ergo parce, Deus» («Так пощади его, Боже...»). И возвращались всхлипы струнных, и классическая реприза молила о главном: «Dona eis requiem. Amen» («Дай им вечный покой. Аминь»), и нисходящие четверти с точкой звучали комями земли, брошенными на крышку гроба.

Стеша умерла в Иерусалиме спустя три недели после приезда.

Они успели недорого снять трехкомнатную квартиру в самом дешевом и до изумления замусоренном районе, в каком-то неуютно-сквозном, без двери, подъезде; успели записать Владку на курсы иврита, а Леона –

в шестой класс местной, перегруженной детьми школы, где он ничего не понимал, чувствуя лишь пустотный гул под ложечкой. Однако единственного из «русских» детей его не дразнили и не шпыняли: он был похож на всех «марокканских» мальчишек в классе, на улице, во дворе, и те несколько фраз, что успел выхватить из всеобщего ора на уроках и переменах, произносил в точности, как эти черноголовые горлопаны, – с *арабским* придыханием, от которого ему еще предстояло избавиться.

Стеша покинула этот мир, исполненная радости и покоя, – как ни странно это звучит.

Она вообще много радовалась под конец, становясь чем дальше, тем светлее и легче, хотя физически уже не в состоянии была передвигаться. Радовалась, словно выпавшая ей последняя дорога в Иерусалим была вовсе не случайностью, не Владкиной придурью, а наградой за какие-то тайные заслуги.

Она и рождение Леона считала теперь чуть ли не главной себе наградой. И никогда не сердилась, если он ее копировал, подтрунивал над ней или откровенно передразнивал. Да и он знал, что ничем ее не смутит.

Леон был единственным, кому Стеша накануне ухода рассказала о том, как убила управдома Сергея.

...Она лежала в третьей палате отделения внутренних болезней больницы «Адасса», что на горе Скопус, – подключенная к капельнице, с кислородной трубкой в носу. Леон сидел рядом, каждые десять минут дотошно проверяя, хорошо ли держится у нее на руке залепленная пластырем игла в дряблом шнурочке вены.

Они с Владкой менялись – та дежурила ночью, Леон (пропуская уроки) с утра до вечера, хотя уход здесь был на совесть и такого круглосуточного дежурства от родственников никто не требовал. Но они все равно не бросали Стешу ни на минуту, потому что носатый и спокойный, как слон, врач сказал: «Ей немного осталось, и наша задача – не дать ей страдать». Так что, пока Стеша хорошела под наркотиками, Леон сидел рядом, перебрасываясь с ней двумя-тремя словами, когда она – все реже – всплывала со дна своего туманного забытья. С собой у него были журнальчик-приложение к местной газете на русском языке и плеер, по которому он маниакально, как обреченный, слушал и слушал «Реквием».

В какой-то момент Стеша очнулась и знаками показала, чтобы он снял наушники. Глаза у нее были понимающие и ясные.

– Большой Этингер, – проговорила она с трудом. – Ему ТАМ хорошо. Он там поет, как птица, готовится меня встретить. Я сейчас видела... Не волнуйся, ему там хорошо, – повторила она со значением.

– А я и не волнуюсь.

– Вот и не волнуйся, Левка... Слышал, что управдома Сергея убили в тот день, как расстреляли Большого Этингера? Так вот, это за Гаврилскарыча. За него было кому отомстить.

– Партизаны? – спросил мальчик.

– Какие, к черту, партизаны, – тяжело дыша, презрительно отозвалась Стеша. – Гаврилскарыч был, слава богу, человек семейный. За него было кому отомстить.

– И кто ж это такой оказался храбрый? – насмешливо спросил Леон.

– Я, – ответила Стеша.

Она спокойно переждала, пока мальчишка, по-обезьяньи подпрыгивая, изобразит ее за пулеметом, с винтовкой и гранатой. И когда схватил в кулак большую круглую ручку с восемью стержнями и замахнулся на нее, дико вращая глазами, Стеша благосклонно проронила:

– Да... Вот так.

Он застыл:

– Ты его заколола? В сердце?

– Не. Вот сюда. – Приподняла руку, за которой потянулся шнур капельницы, и показала на горло, трепещущее от нехватки воздуха. – Я тебя научу когда-нибудь.

– Ба! Научи прям щас! – взмолился он. – Я завтра физрука убью.

– Хорошо, – отозвалась она. – Завтра утром покажу. Отдышусь только...

Но – не вышло, нет. Ранним утром – уже светало – Стеша отошла. В тот момент, когда она утихла, Владка требовала на стойке медсестер пластиковый стаканчик – напористым голосом, по-русски, точно речь шла о чем-то судьбоносном; о срочной операции, например.

Леон, самостоятельно приехавший на первом автобусе сменить Владку у постели Стеши, невозмутимо прошел мимо скандалившей матери, точно был с нею не знаком (обычная его манера), и направился в палату.

Интересно: столкнулся он при этом в дверях со Стешиной душой, что, испуганно оглядываясь, в эти минуты искала выход из дома страданий к устью широкой воздушной реки, что принесет ее прямо к Большому Этингеру?

Плюхнувшись в кресло рядом с койкой, минут пять он привычно сидел в наушниках. Но вдруг, ощутив пустоту над неподвижной грудью замершей Стешы, приподнялся и склонился над ней. Минуты две вдумчиво изучал потухшую радужку и восковые морщины милого лица... Спросил прерывистым заговорщицким шепотом:

– Ба! Ты... умерла?

И она впервые не ответила на его простой вопрос.

Так что тайны ремесла уничтожения людей – точнее, тайны мастерства, даже искусства – Леон постигал гораздо позже, в других местах и у других знатоков этого дела. Но перед тем, как применить известный прием, наивно обозначенный Стешей «вот сюда», неизменно выхватывал из бегущей памяти ее образ: на больничной подушке, с кислородной трубкой в носу, с пластиковым шнуром капельницы у горла.

...Барышня не спала, когда он вернулся. Сидела за столом на табурете, одном из двух, подаренных соседкой, и пила очень сладкий чай. В последнее время она клала в стакан (стаканы тоже занесли соседи – другие, с третьего этажа) не меньше четырех ложек сахара. Владка, совершенно спятившая после «трагедии Чопа» и с того дня считавшая потери, кричала ей:

– Что, хочешь заработать диабет?! Или проглотить за пять дней все наше пособие?!

– Баба умерла, – доложил Леон и в наступившей тишине сел напротив, за стол – дорисовывать дурацкий комикс в приложении к русской газете.

– Стеша... – проговорила Барышня и левой, не трясущейся рукой положила в чай еще ложку сахара. – Стеша... Эта женщина стала Домом Этингера. Она сберегла мамины кольца в голод, в войну. Она сберегла кольца Доры, Леон!

– И где же они? – спросил мальчик, закрашивая фиолетовым толстый нос пузатого идиота на картинке. Барышня присвистнула, вяло махнула рукой и жадно отхлебнула горячего чаю. Зима в том году была холодной, квартира не отапливалась, изо всех щелей неистово тянуло ледяным иерусалимским ветром.

– Там же, где белый червонец и папины книги, которые украла для Николая Каблукова она же... Говорю тебе: она стала Домом Этингера, во всем его противоречии.

Леон поднял голову. Он смотрел на Барышню серьезно, не отводя глаз.

О книгах разговор возникал каждый раз, когда старухи препирались. О белом червонце и Николае Каблукове тоже.

– Помню, как одна называлась: «Несколько наблюдений за певчими птичками, что приносят молитве благость и райскую сладость». Напечатана в типографии Сцибор-Мархоцкого, этого безумного графа, республиканца... Папа называл ее «Посвящение Желтухину». Ее легко узнать по экслибрису: полковой барабан, на нем перевернутая труба и лев под золотой аркой из букв «Дом Этингера». Если встретишь ее, Леон... – Хорошо, – сказал он.

– ...выкупи...

– Ладно, – сказал он.

– ...за любую цену, и не жмоться!

– Ну хорошо, хорошо.

Он давно уже научился разговаривать с такой Барышней: главное – не перечить. Книга так книга. О'кей. За любую цену.

Конечно же, он вспомнит эти ее слова, когда однажды в подвале лавки Адиль, присев над ящиком из-под пива, двумя пальцами вытянет из стопки разноязыких потрепанных томов некую старую книгу – потому лишь, что заметит на переплете кириллицу в старом правописании. А раскрыв ее, замрет над гривастым львом под золотой аркой из тяжелых букв «Дом Этингера» – и отвернется, чтобы Адиль не увидел его лица.

Конечно же, в эти минуты он вспомнит слова своей Барышни – «за любую цену», и конечно же, это будет как звук трубы, как властный порыв к действию. Но (он всегда славился скоростью и точностью принятия решений) мгновенно передумает, всё переиначив. Медленно улыбнувшись, достанет из нагрудного кармана куртки свой талисман: зеленый фантик от мятной карамели (где по кромке золотые буквы «Eucalyptus Lavagetti Genova») – этой конфетой много лет назад в аэропорту угостил уже беспмятную Барышню итальянский монах-францисканец, благочестиво назвавший ее «Белиссима!» – и ее морщинистое личико расцвело грустной улыбкой.

И старинная книга с закладкой-фантиком на восемнадцатой странице, двойной талисман (ах, ее надо бы с заглавной буквы писать: Книга! – если б заглавная буква уже не была отдана другой великой Книге), станет тем тайником, тем гениальным дуплом, через которое с ним будут общаться два его самых ценных агента.

Леон с Барышней долго сидели молча, ожидая, когда за ними приедут

и повезут на кладбище – хоронить Стешу. Они еще не знали, как здесь положено.

У него в наушниках стихла fuga «Kugie», сменившись третьим номером – «Dies irae», «День гнева».

И грянул хор, взметнулись копыта, во весь опор помчалась адская конница, развевая огненные гривы, и тысячи летящих стрел затмили солнце. Вихри Ада закружили в гигантскую воронку фигуры и лица, и голые жалкие руки, протянутые в мольбе. Рокот хора грозно перекатывал океанские валы, а поверх валов, в зияющую тьму небес взмывал леденящий вопль, слитный от ужаса голос хора: «Де-ень гнева!!! Де-ень гнева!!! «О, как все вздрогнет, когда придет Судия, который все строго рассудит!»

И сумерки заполняли комнату в ожидании Судии, и страшно было щелкнуть выключателем...

Вечером, часов в девять явилась Владка.

Ввалилась, затопала ногами, крикнула:

– Всё! Всё!!!

Побежала по холодной чужой квартире, всюду включая свет ударом кулака.

– Всё! Похоронили нашу Бабу!!!

Эти двое обомлели, ослепли, зажмурились.

Леон снял наушники и, проморгавшись, бросил тревожный взгляд на Барышню.

– Кто похоронил? – в напряженной тишине спросила та. Она уже во многом путалась, но твердо знала, что после смерти с человеком прощаются близкие, ждала и готовила себя к последней беседе со Стешей, с которой коротала длинную жизнь с самого своего рождения – с небольшим, но огромным перерывом на войну.

За часы ожидания, что прожили они сегодня с Леоном, она перебрала в своей оскудевшей памяти то немногое, что было живо: летние вечера на даче, блеск закатного моря и два тенора – две чайки, парящие над темно-синей водой. А еще – бесшумные движения юной Стеши, убиравшей со стола посуду; мудрой Стеши, библейской Фамари, для надежности запечатавшей в своем теле двойное семя Этингеров во имя сохранности и продолжения Дома... – Кто... похоронил?

– Я! – шмыгая носом, отозвалась Владка. – Здесь все это быстро: чики-чики! Обернули в саван, закопали и адью! Не шикарная процедура, скажу откровенно.

– Как! – слабо воскликнула Барышня. – Ты не дала мне проститься –

мне, которая... Ах ты, гадина, гадина!..

Два тенора парили над морем, кружили над морем, будто прощались, перед тем как навсегда улететь... Здесь тоже есть море, вспомнила она, здесь даже несколько морей.

– С кем прощаться?! – крикнула Владка. – С мертвым телом?! Простись с ней в своей душе...

Не произнося ни слова, Леон пристально смотрел на мать, будто изучал ее – с пугающе замкнутым, каким-то задраенным для любых эмоций лицом. Спасибо, что не в рифму, – только и было написано на этом лице.

Отвернулся, надел наушники и включил плеер на «Introitus», начале «Реквиема», которого боялся до смерти.

И распахнулась мертвенная равнина мессы, невыразимая тоска вечного плена...

Он знал, что сейчас начнется, и боялся этого, и покорно склонил голову, будто в ожидании топора.

Это позже он будет мыслить тональностями, музыкальными терминами и, всем своим существом следуя мелодии, про себя обозначать: «вводный септаккорд», «цепь синкоп-диссонансов» – все то, что станет для него прозрачным смыслом музыки, ее хлебом, ее наработанным, но вечно неутолимым счастьем... А пока его обнаженная душа скорбь звуков впитывала напрямую, без толкований и анализа – беззащитно, на ощупь, наотмашь...

Грядущего вступления басов он боялся до дрожи: грозного, потустороннего, неумолимого зова подземного мира – восстания мертвецов!

По затылку его проскальзывал ледяной сквозняк, он инстинктивно поднимал плечи и зажмурился, перед которыми вставали бородатые тени в длинных белых саванах, неумолимые стражи мертвенного света, повелители белесой пелены, пожирающей синь и золото солнца; и это означало конец пути, и мальчиком ощущалось как конец пути, хотя и было лишь началом мессы – ее каноническим «Introitus».

Не печаль и не скорбь, не предвкушение страха – это был ничем не объяснимый, не подвластный доводам рассудка ужас, от которого шевелились волосы на затылке и дрожь прокатывалась по спине. Завывание адских ветров, зловещий клекот, и в глубине его, как в порывах бури, звучали далекие голоса потерянных душ, и время от времени молящий голос: нежный, сильный, отчаянный голос Души сквозь угрюмый рокот

Ада.

Он чуял, он смутно догадывался, как можно спастись: самому стать Голосом Души. Вот этой неистойой серебряной трубой, пронизающей далекие и темные пространства. Все можно изменить, думал он, все переиначить, победить адский мрак звенящей горловой силой. Ему хотелось тотчас вступить в эту битву, с самой высокой – над мрачными низинами ледяного тумана – искрящейся ноты: «Я – Го-о-оло-о-ос!!! Я – Голос!..»

Да, да: стать Голосом, прорвать глухие пелены ненавистного тлена, вырваться к сини морского простора и отменить Стешину смерть да и свою смерть когда-нибудь – тоже...

Но сквозь навязчивый кошмар оркестровых всхлипов звучали безутешные голоса. И черное солнце Страшного суда прорезало клубни тумана, и минуту назад восставшая душа поникла, смирилась, приготовилась принять свою участь...

...Закрыв ладонями уши и зажмурив глаза, Леон молча плакал о Стеше, представляя, как в эти минуты в невозвратную даль ее увлекают бородатые стражи бескрайней равнины, где синь и золото гаснут, где душа цепенеет, мертвеет, погружается в тень – навсегда.

Конец первой книги

Книга вторая

Голос

Охотник

Он взбежал по ступеням, толкнул ресторанный дверь, вошел и замешкался на пороге, давая глазам привыкнуть.

Снаружи все выжигал ослепительный полдень; здесь, внутри, высокий стеклянный купол просеивал мягкий свет в центр зала, на маленькую эстраду, где сливочно бликовал кабинетный рояль: белый лебедь над стаей льняных скатертей.

И сразу в глубине зала призывным ковшем поднялась широкая ладонь, на миг отразилась в зеркале и опустилась, скользнув по темени, будто проверяя, на месте ли бугристая плешь.

Кто из обаятельных экранных злодеев так же гладил себя по лысине, еще и прихлопывая, чтоб не улетела? А, да: русский актер – гестаповец в культовом сериале советских времен.

Молодой человек пробирался к столику, пряча ухмылку при виде знакомого жеста. Добравшись, обстоятельно расцеловал в обе щеки привставшего навстречу пожилого господина, с которым назначил здесь встречу. Не виделись года полтора, но Калдман тот же: голова на мощные плечи посажена с «устремлением на противника», в вечной готовности к схватке. Так бык вылетает на арену, тараня воздух лбом.

И легендарная плешь на месте, думал молодой человек, с усмешкой подмечая, как по-хозяйски основательно опускается на диван грузный человек в тесноватом для него и слишком светлом, в водевильную полосочку, костюме. На месте твоя плешь, не заросла сорняком, нежно аукается с янтарным светом лампы... Что ж, будем аукаться в рифму.

Собственный купол молодой человек полировал до отлива китайского шелка, не столько по давним обстоятельствам биографии, сколько по сценической необходимости: поневоле башку-то обнулишь – отдирать парик от висков после каждого спектакля!

Их укромный закуток, отделенный от зала мраморной колонной, просил толики электричества даже сейчас, когда снаружи все залито полуденным солнцем. Ресторан считался изысканным: неожиданное сочетание кремовых стен с колоннами редкого гранатового мрамора. Приглушенный свет ламп в стиле Тиффани облагораживал слишком помпезную обстановку: позолоту на белых изголовьях и подлокотниках диванов и кресел, пурпурно-золотое мерцание занавесей из венецианской

ткани.

– Ты уже заказал что-нибудь? – спросил молодой человек, присаживаясь так, будто в следующую минуту мог вскочить и умчаться: пружинистая легкость жокея в весе пера, увертливость матадора.

Пожилой господин не приходился ему ни отцом, ни дядей, ни еще каким-либо родственником, и странное для столь явной разницы в возрасте «ты» объяснялось лишь привычкой, лишь отсутствием в их общем языке местоимения «вы».

Впрочем, они сразу перешли на английский.

– По-моему, у них серьезная нехватка персонала, – заметил Калдман. – Я минут пять уже пытаюсь поймать хотя бы одного австрийского таракана.

Его молодой друг расхохотался: снующие по залу официанты в бордовых жилетах и длинных фартуках от бедер до щиколоток и впрямь чем-то напоминали прыскающих в разные стороны тараканов. Но больше всего его рассмешил серьезный и даже озабоченный тон, каким это было сказано.

«Насколько же он меняется за границей!» – думал молодой человек. Полюбуйтесь на это воплощение респектабельности, на добродушное лицо с мясистым носом в сизых прожилках, на осторожные движения давнего сердечника, на бархатные «европейские» нотки в обычно отрывистом голосе. А этот мечтательный взлет клочковатой брови, когда он намерен изобразить удивление, восторг или «поведать нечто задушевное». А эта гранитная лысина в трогательном ореоле пушка цвета старого хозяйственного мыла. И наконец, щегольской шелковый платочек на шее – непременная дань Вене, *его Вене*, в которой он имел неосторожность появиться на свет в столь неудобном 1938 году.

Да, за границей он становится совсем иным: этакий чиновник среднего звена какого-нибудь уютного министерства (культуры или туризма) на семейном отдыхе в Европе.

Разве что левый пристальный глаз пребывает в вечной слежке за шустрым, слегка убегающим правым.

На деле должность Натана Калдмана была не столь уютной: он возглавлял одно из ключевых направлений в государственном комитете по борьбе с террором – структуре закулисной, малоизвестной и общественности и журналистам (как ни трудно вообразить это в наш век принародно полоскаемого белья), – в структуре, координирующей деятельность всех разведывательных служб Израиля.

«Работенка утомительная, – говаривал Калдман в кругу семьи. – Чем я

занят? Меняю загаженные подгузники. И хлопотно, и воняет, ибо все подгузники загажены, и все задницы просят порки, и никакого понимания со стороны *этих законодательных болванов...*»

Впрочем, напрямую он подчинялся одному лишь премьер-министру. Уже лет десять жаловался на сердце и поговаривал о своей мечте – уйти на покой.

Но знаменитый его жест – гуляющая по булыжному черепу медвежья лапа – жест, наверняка отмеченный в картотеках многих серьезных спецслужб, был совершенно тем же, что и много лет назад (облысел он совсем молодым, еще в эпоху легендарной охоты Моссада за верхушкой и европейскими связными «Черного сентября»).

– Что у тебя за блажь – тащить людей в это заведение? – пробурчал Калдман. – Центр города, проходной двор...

Не сговариваясь, они расположились по привычке, ставшей инстинктом: Калдман – лицом к входной двери, его молодой друг – по левую руку, чтобы сквозь надраенные до бесплотности стекла входных дверей видеть, что происходит на улице за углом, – максимальный сектор обзора. Встреча подразумевалась дружеской, никаких дел, упаси боже; что, мало у нас приятных тем для разговора? Во всяком случае, именно так вчера прозвучала фраза Калдмана по телефону. Подразумевалось, что в Вене они оказались в одно и то же время совершенно случайно, как уже бывало и раньше. Подразумевалось, что Вена – хороший город. Спокойный хороший город, а английский язык, на котором они говорили, естественно и ненавязчиво вплетен в туристическое многоголосье.

Снаружи парило, и беспорядочная, разноразовая, штиблетно-маечная, рюкзачно-кроссовочная толпа на небольшой площади томила на тихом огне.

На той же площади, в тени под красно-белым полосатым тентом, за столиком недорогого бара-закусочной сидел с развернутым номером свежей «Guardian» крупный мужчина ирландской масти, со слуховым аппаратом в рыжем ухе. То, что казалось излишком веса, являлось наработанным каучуком узловатых мышц. Слуховой аппарат был миниатюрным передатчиком – так, на всякий случай.

Никто бы не сказал, что он слишком часто посматривает на двери известного ресторана, куда его невозмутимый взгляд благополучно проводил сначала Калдмана, а потом и другого, молодого. Но Реувену Альбацу и не требовалось рыскать глазами по сторонам: «Дуби^[9] Рувка» знаменит был тем, что видел не только затылком, но любой, казалось бы,

частью неуклюжего с виду тела, нюх имел собачий, а опасность чуял так, как парфюмер чувствует в шарфике, случайно найденном за диваном, остатный запах духов прошлогодней любовницы.

И, разумеется, никакого отношения ни к нему, ни к тем двоим, что сидели в глубине ресторанного зала, не имела пантомима двух бронзовых атлетов, застывших у въезда в подземную парковку задолго до того, как двое мужчин засели в ресторане.

Бронзовые атлеты вообще проходили по другому ведомству и на площадь являлись вот уже две недели в рамках подготовки некоей операции, которую никто, упаси боже, не собирался доводить до логического конца в этом чудесном городе.

Ничего не торчало в их бронзовых ушах. Просто на шее у каждого пузырилось пышное жабо, где в складках можно было спрятать не только миниатюрный передатчик, но, если понадобится, и «глок» – так, на всякий случай.

В последние годы на улицах европейских городов встречается множество подобных живых скульптур.

– И если они такие шикарные, что имеют аж белый рояль, то почему бы им не потратиться на кондиционер в эпоху изменения климата? – поинтересовался Натан, промокая салфеткой борозды морщин на лбу. – В каждой паршивой забегаловке на рынке Маханэ Иегуда можно дышать.

– Зато здесь тихо, – заметил его молодой друг. – Тихо и культурно, особенно днем. А на Махан-юда от воплей торгашей можно рехнуться. На твоём месте я просто снял бы пиджак, – добавил он. – Если, конечно, у тебя там не две пушки под мышками.

Он поймал из рук пролетавшего официанта карты меню, одну сдал Калдману, как партитуру оркестранту, и уткнулся в свою, хотя уже знал, что закажет: форель на гриле.

Если б не модная трехдневная щетина, аскетичными тенями отчеркнувшая худобу смуглого лица, его можно было бы принять за подростка, обритого наголо перед поездкой в летний лагерь. И, судя по всему, ему совсем не мешала эта явная *легковесность* – наоборот, он подчеркивал ее, двигаясь со скупой грацией человека, немало часов уделившего когда-то изучению приемов «крав мага», разновидности жесткого ближнего боя, которая не оставляет противнику ни малейшего шанса.

«Ты бьешь один раз, – говорил его инструктор Сёмка Бен-Йорам. –

Бьешь, чтобы убить. Никаких “вывести из игры”, “отключить”, прочие слюни. Если целишь в голову, то уж в висок. Если в глаз – ты его выбиваешь».

Смешное имя – Сёмка Бен-Йорам, придуманное, конечно; бродяга, дзюдоист, обладатель десятого дана, каких на свете считанные единицы; сидя за столом, он поднимал ногу выше головы, и это выглядело фокусом. Кажется, ныне преподает на сценарных курсах в Тель-Авивской театральной школе, аминь.

И каждый раз надеешься, что все это осталось в прошлом.

Молодой человек отложил меню и оглядел полукруглый зал с рядом высоких арочных окон, с хороводом зеркально умноженных колонн, за каждой из которых можно исчезнуть, просто откинувшись к спинке кресла.

– Во-первых, – проговорил молодой человек с неторопливым удовольствием, – здесь бывал вождь русской революции Троцкий. Во-вторых, лет сто назад одна из моих любимых прабабок играла тут на фортепиано вальсы Штрауса и пьесы Крейслера. Я ведь рассказывал тебе, что у меня были одновременно две разные – абсолютно разные – любимые прабабки? Когда я здесь бываю, а я часто мотаюсь в Вену, меня тянет в это австро-венгерское гнездышко, как лося на водопой.

– Вообразить прабабку за белым роялем?

– Это был не рояль... – Он задумчиво улыбнулся, продолжая изучать карту вин. – Не рояль, а такое, знаешь, раздолбанное фортепиано с бронзовыми канделябрами, мечта антиквара. И тапер – заезженная кляча. Представь на месте этого зала внутренний дворик с галереей, вот эту стеклянную купольную крышу, и на крахмальных скатертях – красно-желтые ромбы от оконных витражей... И канун Первой мировой, и прабабке – четырнадцать, и если б ты видел ее фотографию тех лет, ты бы непременно влюбился. Это был счастливейший день ее жизни, преддверие судьбы – она часто его вспоминала. Затем век миновал, все здесь перестроили, витражи куда-то подевались, стены залепили зеркалами, как в восточной лавке... – Он поднял глаза на собеседника: – Кстати, ты знаешь, для чего в восточных лавках вешают зеркала?

– Ну-ну, – бросил тот с насмешливым любопытством, стараясь не смотреть на левое запястье: в его распоряжении сегодня времени достаточно; вполне достаточно и для болтовни, и для дела. – Давай, просвети меня, умник.

– Чтобы кенарь не чувствовал себя одиноким. Чтобы он пел любовные

песни собственному отражению.

Калдман разглядывал молодого человека едва ли не с родственной гордостью. Вот ведь *этому* никогда не нужны часы на руке. Как это называется: встроенное время? Чувство времени, тикающее в организме, даже во сне. Он и на встречу явился минута в минуту. С годами можно, конечно, в себе вышколить, но ведь у *этого* оно врожденное. Одно из его врожденных чудес, черт бы побрал его рыжую мамашу!

Ему идет дорогая одежда, думал Калдман, и он научился ее носить, он всему быстро учится. Все в тон, благородный песочный оттенок, никакого модного *китча*, вроде набивных пальм на сорочке, никаких золотых опознавательных штампов. Все прекрасно подобрано вплоть до светло-коричневых мокасин из тонкой кожи, вплоть до тонких носков в цвет костюму – *незаметность* превыше всего, хотя, к сожалению, именно он слишком заметен сам по себе. И с каких это пор рукава пиджака из тонкого льна мужики стали поддегивать до локтей, точно парикмахер перед мытьем головы клиенту?

Да: из своей рожицы арабчонка, какие толпами бегают по мусорным пустырям Рамаллы или Хеврона, он выпестовал, вылепил неповторимого себя: экстравагантного, нарочито утонченного – один этот бритый череп египетского жреца чего стоит! А ухоженные, как у женщины, руки, непринужденно-рассеянно держащие карту вин! Поглядишь – так ничего, кроме нотных партий или джезвы с кофе им не приходилось переносить с места на место... Гедалья уговаривает меня «отказаться от этого неуправляемого молодчика с авемарией в зубах». Гедалья не прав. Ценность *авемарии* в том, что она подлинна, как подлинный бриллиант. Ведь самое драгоценное в любой легенде – отсутствие таковой, ее полное растворение в реальной жизни. Да, он сумасброден и непредсказуем, любит неоправданный риск (то, что он выкинул в Праге, вообще не поддается ни инструкциям, ни осмыслению: выбрав наблюдательным пунктом ювелирную лавку, изображал перед продавцами чокнутую старушенцию да еще выторговал браслетик и даже, кажется, напоследок спел им арию Керубино – то есть сделал все, чтобы остаться в памяти навеки: солист! бурные аплодисменты!).

Да, несмотря на небольшой рост, его отовсюду видно за полмили, а не только из четвертого ряда партера. Его страсть к преобразованиям и перевоплощениям (что ж, и у той – сценические истоки), как и сам его голос, наводит любого знакомого и незнакомого на неверные мысли о его сексуальных предпочтениях. Но и это неплохо: это опрокидывает все

стереотипы о наших методах работы и, в конце концов, уводит от подозрений: ну кто с ним станет связываться, с таким заметным?.. И главное: как я был прав много лет назад, убедив Гедалью, что нашему «Кенарю руси» просто необходимо поучиться и пожить в России. А теперь – разве не чудесна строчка в его досье: «Выпускник Московской консерватории по классу вокала»? Разве не открывает его экзотический голос двери любых посольств, штаб-квартир, закрытых клубов и неприметных вилл, где происходят встречи, судьбоносные для целых регионов?

Да: дорогая одежда ему идет гораздо больше, чем грязная форма солдата спецназа после особо тяжелого задания, больше, чем затертые джинсы и потная футболка строительного рабочего в Хевроне, где однажды он арабом прожил три месяца в каменном бараке, ни разу не посетовав на суровые условия жизни.

Вообще, приятно видеть мальчика в зените благополучия.

Стоит ли его тревожить – в который раз?

Наконец явился молодой долговязый официант, с готовностью выхватил из кармашка фартука блокнот с карандашом...

...и Калдман не без удовольствия перешел на немецкий, домашний свой, родной – от матери и бабки – язык.

– Пожалуй, мы оба склоняемся к форели... Свежую форель трудно испортить, не так ли? Но прежде всего: что посоветует *Herr Ober* из вин – *Riesling* или *Grüner Veltliner*?

Его безукоризненное произношение ласкало слух: «s», звучащее как «з» в нормативном немецком, он произносил, как летящее «эс», подобно венским снобам, неуловимо растягивая следующую гласную: «саа-ген» вместо канонического «заген»^[10]. Это придавало гортанно бухающему немецкому вкрадчивое изящество.

– К форели я бы взял *вайс гешпритц*, – учтиво заметил официант. – Это наше домашнее белое, днем неплохо идет.

– Да-да, – поспешил вставить молодой человек. – Что-нибудь нетяжелое. Мне еще сегодня на прием...

Два-три мгновения Натан смотрел в спину официанту, огибавшему столики винтовым танцевальным пробегом. Наконец, отпустив эту извиняющуюся спину кружить по залу, повернулся к собеседнику:

– Вчера вечером нежданно-негаданно получил от тебя привет. Включил в номере «FM Classic» и попал на «Серенаду» Шуберта. И вроде,

слышу, контратенор, да голос такой знакомый! Не может быть, думаю, с каких это пор ваш брат поет романтиков? Но уж когда ты *сфилитовал портамента* с до-диеза на фа, у меня все сомнения отпали: кроме тебя, некому. Браво, Леон! Должен признаться, испытал высочайшее наслаждение.

– После «Серенады» шла «Баркарола»? – вскользь поинтересовался тот.

– Да-да. И тоже великолепно!

Леон удовлетворенно улыбнулся:

– Благодарю, ты мне льстишь.

Итак, Грюндль, старая сволочь! И двух недель не прошло, как вышел диск, а он (владелец студии и блестящий тонмейстер, чего не отнять) уже успел толкнуть запись на радио, авось не поймут! Ну да, «венская кровь» – чай, не немцы какие. Чего только не намешано в аборигенах «Голубого Дуная»: и легкомысленности французов, и очаровательной жуликоватости итальянцев («Поздоровался с румыном – пересчитай пальцы!» – фольклор-то одесский, а вот формула универсальна для всех гордых потомков Юлия Цезаря). Впрочем, в легкомысленности австрийков есть свои плюсы. К примеру, немец, пойманный на воровстве (что редко, но случается), упрется, как на допросе, и сколько его ни дави, не признается. А игривый Грюндль, дитя веселого Ринга, ежели его прижать хорошенько, вполне может и заплатить, лишь бы отстали. Ну и отлично, напустим на него Филиппа; в конце концов, это его агентский крест – давить прыщи на физиономиях жуликоватых продюсеров.

– Ты мне льстишь, Натан, – повторил он. – Я еще загоржусь.

«Загордиться» от комплимента Натана Калдмана было немудрено: подобные знатоки классической музыки даже в среде профессионалов встречались нечасто.

– Какая там лесть... Скажу тебе откровенно: я прослезился, как старый осел, столько чувства было в твоём полуночном пении. И когда понял, что это именно ты звучишь... очарованным небесным странником, далеким от подлой грязи этого мира... – Натан включил все «европейские регистры» своего голоса; клочок левой брови завис над косящим глазом. – Словом, я принял это как личный подарок. Ты, конечно, не мог знать, что я слышу тебя, лежа на гостиничной койке с геморроидальной свечой в заднице. В это время ты, скорей всего, благополучно дрых, или пил коктейль на очередном светском рауте, или ублажал очередную телку, а? – Он вздохнул и прибавил совершенно по-детски: – Если б ты знал, как я

люблю Шуберта.

– Кто ж его не любит, – покладисто отозвался Леон, то ли еще не учуяв подвоха, то ли просто не показав своей настороженности. Хотя насторожиться стоило: если старик затеял душевный разговор *о наших музыкальных баранах*, жди огро-омного сюрприза.

– Не скажи! – подхватил тот. – Велльпахер не последний в вашем деле человек, а в каком-то интервью признался, что Шуберту-Шуману предпочитает позднюю романтику: песни Брамса, Вольфа или Рихарда Штрауса.

– Так он же тенор, причем ближе к «ди форца». Контратенор в песнях Штрауса – злобная пародия... Ты бы все-таки снял пиджак? – заботливо повторил Леон. – Пока тебя удар не хватил. Похоже, он тесноват.

– Точно, я слегка поправился. И Магда отговаривала брать этот костюм. Но ты же знаешь мою слабость к почтенной благопристойности.

– Сними, сними. Наплюй на благопристойность.

– Кстати, все собирался спросить... – Калдман с облегчением выпрастывался из рукавов пиджака. – Нет ли у тебя в планах спеть «Der Hirt auf dem Felsen»?

– Что-о? Не смей меня. Господи, и придет же человеку в голову...

– Но почему нет! Музыка обворожительная, репертуар сопрано для тебя – как родной... – Натан бросил пиджак рядом на диван и лукаво вскинул косматые брови.

...а венчик седого пуха над лысиной – что нимб у святого, особенно на просвет, в янтарном ореоле от настольной лампы: такая пародия на боженьку, нашего кроткого боженьку, самолично отрывавшего яйца неудачникам, перехваченным по пути на дело...

– ...а в паузах подыграл бы себе на кларнете – очень эффектно!

– Оставь. Мой амбушюр сдох давным-давно.

– Не верю!

– Ну, может, поплюй я в дудку месяц-другой часиков по десять в день, что-то бы и восстановилось... на уровне второго кларнета провинциальной российской оперы.

И с внезапной досадой понял: Натан завел свою обычную серенаду о вечном-нетленном *перед делом!* И как у гадалки в картах, это всегда – к дальней дороге и проклятым хлопотам. Гляньте-ка на мечтательного людоеда: кого он хочет перехитровать? Карл у Клары украл кораллы, забыв про собственный кларнет? Нет уж! Нет, черта с два! На сей раз – кончено.

Он не ошибся: обежав взглядом просторно развернутый в зеркалах

и колоннах зал ресторана, постепенно заполнявшийся публикой (время обеденное, на официантов жалко смотреть, вентиляторы в недостижимой высоте потолка молотят лопастями душный воздух), Калдман проникновенно спросил:

– А ты замечал, насколько призрачен мажор в этих минорных пьесах – и в «Серенаде», и в «Баркароле»? Каким отзвуком нездешности он там вибрирует...

– М-м-м, допустим... – И нарочито безмятежным голосом: – Попробуй их булочки, они их сами пекут.

– Не задумывался – почему?

Ну, поехали... Барышня – вот кто был бы уместен за этим столом. Как и вся ее компашка во главе с незабвенным «Сашиком». Вот кого извлечь бы сейчас из вечности хотя б минут на десять. Проветрить и взбодрить, угостить форелью... Кстати, где эта чертова форель? Что-то сегодня они долгонько возьмется там, на кухне.

– *Ингелэ манс...* [\[11\]](#)

...а вот когда он переходит на идиш, тут караул кричи: несметная рать улетевших в дым поднимает свои истлевшие смычки и принимается оплакивать мир на бесплотных струнах... Господи, сколько можно извлекать этот старый фокус из одних и тех же до дыр протертых штанов!

– Певцу, *ингелэ манс*, следует напрягать не только связки, но изредка и мозги, – насмешливо-мягко продолжал Натан. – Все мелодическое обаяние Шуберта кроется в его сверхидее, или, как говорят сегодня, в его *обсессии*: в неудержимом влечении к счастью.

– Ну почему же непременно – *обсессия*? – миролюбиво возразил Леон. *Главное, не расслабиться и не попасть в расставленные сети.* – Стремление к счастью естественно для любого человеческого существа.

– Ха! Гляньте, кто это говорит, и попробуйте позлить его в ближайшей подворотне – таки вы из нее не выползете! Именно, что *обсессия*, навязчивое влечение, то, что Дант называл *il disio*! Я скажу тебе, откуда этот мучительный восторг у подслеповатого толстяка в прохудившихся туфлях...

– ...и в разбитых очках, что для Шуберта уж и вовсе означало финансовую катастрофу, – жалостливым тоном подхватил Леон. Он стал раздражаться. – Так откуда же мучительный восторг у этого бледного недоноска, влачащего голодную жизнь в камерке на нетопленном чердаке?

– А ты не иронизируй. Вспомни историю Европы того периода, – терпеливо продолжал Калдман. – Отбушевала Французская революция,

и за ничтожно короткий срок дважды сменились декорации: обезумевшая чернь снесла Бастилию, обезглавила венценосную особу и – «свобода-равенство-братство!» – запустила гильотину в бесперебойный режим работы. Не прошло и десятилетия, как Корсиканец замахнулся на перекройку мира. Коротышка заморочил даже гениального Бетховена, так что очарованный глухарь посвятил ему Третью симфонию...

– Натан, – что ты затеял, умоляю тебя, ближе к делу?

– Я призываю тебя вообразить эпоху!

– О'кей...

– Этот момент: стоило закончиться революционно-героическому кошмару, как маленький, никому не интересный обыватель остается наедине со своими горестями и мечтами. Есть такой немецкий роман: «Маленький человек, что же дальше?»... И вот тут-то – в тупой меттерниховской Вене, где торжествовали две сестры, тайная полиция и предварительная цензура, а невиннейший намек на вольномыслие пресекался на корню, – тут и выходит на сцену близорукий застенчивый толстячок, неприметный гений здешних мест. Он сбрасывает музыку с котурнов классицизма, чтобы – особенно в изумительных песнях – впервые с сочувствием взглянуть в обычного человека с его маленькими дешевыми радостями, с его печалью, и, главное, с мучительной страстью, которая ранит сердце, даже если... Послушай, ведь именно Шуберт, никто другой, распахнул клетку классического периода-восемьдесятка, чтобы оттуда выпорхнула гибкая вольная мелодия, отражая тончайшие порывы человеческой души...

Едва ли не в восхищении Леон уставился на увлеченного Калдмана. Он бы решил, что тот подзубрил текст из какого-нибудь учебника по истории музыкальных форм и стилей, если б много раз не бывал свидетелем подобных восторженных и складных монологов. И если рассудить здраво, что в этом такого странного: пожилой интеллектual, европеец до мозга костей, утонченный любитель классической музыки, завсегдатай концертов, а в молодости и сам недурной пианист всего лишь излагает одну из любимых своих музыкальных теорий о любимом Шуберте.

М-да, недурной пианист – пока некие злые дяди в сирийской тюрьме Тадмор (а было это году в семьдесят третьем) не попытались сыграть его правой рукой довольно фальшивую пьесу по добыче информации, правда, безуспешно...

Боже, как избавиться от привычки видеть длинные тени за каждой

фигурой, каждым жестом и каждым словом! Как забыть каменные заборы глухих рассветных улочек арабских городов, разгорающийся блик от восходящего солнца на крышке пустой консервной банки, перед которой ты шесть часов лежишь на земле в засаде, с вечным товарищем – пришитым к твоему брюху «галилем», – зная, что эта банка с этим бликом будут сниться тебе месяцами...

Как, наконец, избавиться от проклятой паранойи – всюду чуют бородатых стражей мертвенной мессы нескончаемого «Реквиема»!

– ...А душа-то его рвалась к счастью, – с мягкой грустью продолжал Калдман, подперев кулаком висок, – а молодая плоть требовала соития... Кстати, не исключено, что тот роковой визит в бордель, куда привел его друг-поэт, был у Шуберта первым опытом наслаждения. Подумать только: участь гения решила бледная спирохета! Знаешь, когда в его вещах звучит это неистовое и неизбывное стремление к счастью, у меня повышается давление и учащается пульс. Будто озоном дышу!

Блеснув глазами, Леон перебил с заботливой тревогой:

– В твоём возрасте это, пожалуй, опасно...

Калдман запнулся на миг, довольно хрюкнул и парировал:

– Свинья!

И вдруг изменился в лице: – Эт-то что ещё такое?

Между столиками с тяжелыми тарелками в расставленных руках – издали угадывались ломти форели, золотистые дольки картофеля и подрагивающие в такт шагам перья петрушки – пробиралась странная девица в слишком большом для нее жилете официанта, накинута на белую футболку, и в джинсах с прорезами такой величины, что те выглядели просто бесполезной тряпкой на бедрах. Левая половина черепа обрита, на правой дыбом стоит немыслимый бурьян скрученных в сосульки, причудливо раскрашенных прядей. И все лицо – ноздри, брови, губы – пробито множеством серебряных колец и стрел, а хрящи маленьких ушей унизаны колечками так плотно, что кажутся механическими приставками к голове. Все это придавало выражению ее и без того напряженного лица нечто затравленно-дикарское. Бубна ей не хватает, вот что, мелькнуло у Леона. Девочка нафарширована железяками, как самопальная бомба.

Добравшись, она с явным облегчением опустила тяжелые тарелки на стол (и удивительно, что не бросила по дороге: у нее был вид человека, готового кинуться прочь в любую секунду).

– Э-э... благодарю вас... – обескураженно пробормотал Калдман. – *Entschuldigung*, а что наш э-э... *Herr Ober*, тот, что принял заказ? Он покинул этот мир?

Она переминалась у стола и переводила сосредоточенно-мучительный взгляд с одного лица на другое, причем смотрела не в глаза, а на губы, будто пыталась расшифровать несколько немудреных слов, к ней обращенных. Наверняка немецкий не был родным ее языком.

Но едва Леон открыл рот, чтобы обратиться к девушке на английском, она проговорила:

– Его несчастье... сынок упасть... разломать руку... Позвонили бежать домой. Просил меня заменять-принести...

И голос у нее был *дикарский* – трудный, хриловатый, растягивающий слоги, инородный всем этим зеркалам, бронзовым лампам на столиках, мраморным колоннам с длинноухими фавнами в навершиях, белому роялю на каплевидной эстраде.

Видать, у них там и впрямь стряслось нечто непредвиденное, подумал Леон, если они выпустили из подсобки эту золушку. Да и непредвиденного не нужно: летнее время, наплыв туристов, жара. Старушка Европа задыхается.

– Хорошо, спасибо, – мягко и отдельно проговорил он по-английски, пытаясь поймать ее взгляд, цепко вытягивающий слова из его шевелящихся губ. – Тогда принесите и вино. *Уайн, уайн!* Мы заказали «вайс гешпритц».

Она с явным облегчением вздохнула, закивала всеми своими колечками и торопливо ушла – невысокая, тонкорукая, в мешковатой майке и бесподобном модном рванье на бедрах.

– Ну и дела! – с изумлением проговорил Натан. – Приличное заведение... и вдруг такое чучело.

– У нее милое лицо, – возразил Леон. – Если освободить его от всех вериг...

– Ну брось! Неужели тебе могла бы понравиться такая женщина?

– Нет, конечно, – отозвался Леон. – Просто я сказал, что ее можно привести в порядок.

– Любую женщину можно привести в порядок, если вложить в нее какое-то количество денег... Уф! Я даже на секунду напрягся: ты видел, как она смотрела на нас? Точно несла не обед, а бомбу.

– Думаю, у нее вообще проблемы с окружающим миром.

– И в ней есть что-то азиатское. Дикая монгольская лошадка.

– Я бы сказал, в ней что-то от фаюмских портретов: те же овалы чистых линий – если, конечно, отрешиться от железа.

– Не смеши меня. Тоже, поднабрался на светских приемах у французских интеллектуалов! Обычная девчонка с какой-нибудь вшивой азиатской окраины. Вот вам нынешняя свобода Европы! «Железный занавес» им, видите ли, мешал. А теперь получите всеобщий бедлам и распишитесь.

– А ты скучаешь по старым добрым временам незабвенной Штази? – вскользь полюбопытствовал Леон.

– Я скучаю по старым добрым временам доинтернетовой эры, – вздохнул Калдман, заправляя льняную салфетку за воротник рубашки. – Когда для кражи секретных документов из охраняемых помещений требовалось гораздо больше времени и усилий. Ты слышал о прошлогоднем деле в NDB?

Леон неопределенно качнул головой, сосредоточенно извлекая острием ножа мазок горчицы из фарфоровой баночки, разрисованной синими петухами.

– Швейцарцы, как обычно, предпочитают замять семейное дело, но поди замни в наше-то время полной проницаемости всех портков. Если коротко: грандиозная утечка секретных архивов. Терабайты информации, миллионы печатных страниц секретных материалов – важнейшие сведения, добытые разведками «Пяти глаз»...

– Есть подозреваемый?

– Да, некий «техник», якобы талантливый настолько, что имел «права администратора», то бишь неограниченный доступ к большей части сети NDB... Сюда совершенно не доходит дуновение от вентиляторов, Леон! – недовольно пробормотал Калдман, вновь осушая лоб салфеткой. – Мы на отшибе, поэтому нас игнорируют официанты. Боюсь, это самое неудачное место во всем зале.

– Но самое правильное.

– Да, – вынужден был согласиться Калдман. – Так «техник»... Работал там лет восемь и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Короче, паренек обчистил серверы, уложил в рюкзак жесткие диски и беспрепятственно их вынес из правительственного здания.

– Собирался продать?

– Не знаю подробностей, расследование ведет офис федерального прокурора Швейцарии, а ты знаешь, как они чувствительны, – слоны на пуантах! Вроде считают, что он не успел передать данные заказчику...

Калдман искоса поглядывал на собеседника, на его руки, небольшие и вправду изящные, как у женщины, на завораживающие их движения: дирижер плавно завершает музыкальный период. За этими руками можно

долго не отрываясь наблюдать: небольшой интимный спектакль в янтарном свете лампы Тиффани.

Несмотря на то, что Леон поддерживал разговор короткими точными репликами, Натану с каждой фразой становилось все очевиднее, что того не интересует ни кража секретных документов в NDB, ни вообще вся эта *их* возня. Глядя на Леона, трудно было избавиться от ощущения изрядного расстояния между ним и любым другим объектом: эффект перевернутого бинокля.

Надо сменить пластинку, озабоченно подумал Натан, пока он и вовсе не замкнулся. Не напирать, не торопиться... Впрочем, сегодня мальчик и на Шуберта не расщедрился. Он – сложный организм, и ты сам это знаешь. И, кажется, ему, наконец, надоели *все мы*. Все мы, *вместе со страной* и его собственной юностью. Как он сказал в прошлый раз? «Я – Голос!» – самым тоном подчеркивая дистанцию между ним, аристократом, и всеми нами, вонючими ищейками. Ах, ты – Голос, да еще с большой буквы? Пожалуй, это правда, и мне крыть нечем. Но подсуетись в последний раз для своей страны и своего народа – между тремя, слов нет, божественными руладами...

Он улыбнулся и заговорщицки подмигнул Леону:

– Слушай, а что твоя подружка из Лугано? Ее звали... – сделал вид, что припоминает имя, – ...Маргаритой, кажется? Ты привозил ее к нам на Санторини, года... полтора назад, да? Синеглазая кудрявая шатенка, очень стильная девочка, носик, правда, длинноват и сама высоковата, я имею в виду – для тебя. И, кажется, слегка комплексовала по этому поводу, я не прав? Но ходила в туфельках без каблуков, что говорило о ее серьезных намерениях относительно тебя. Мне тогда казалось, у вас *все идет на крецендо к торжественной коде*...

Леон промолчал, намазывая масло на ломтик булки. Наконец невозмутимо произнес:

– Мы с Николь сохранили приятельские отношения. Я всегда оставляю ей лучшие билеты, когда пою в Лозанне или Женеве.

Тут бы старшему и угомониться. Но он продолжал:

– Жаль. Я уж полагал, что ты удачно пристроен. Она ведь не из простого дома, я не ошибся? Из тех родовитых итальянских семей в неприметной вилле на тенистой улочке в центре Лугано? Уютная вилла со скромной вывеской мало кому известного, но ворочающего триллионами банка. А в подвалах сейфы, не открывающиеся веками... В начале девяностых туда ежедневно мотались курьеры с чемоданами наличных. Кстати, не их ли банк связан с семьей Ельцина?.. Ну, не злись,

не злись, *ингелэ манс!* Я просто любопытствую. Просто хотелось знать – кто завоевал сердце моего дорогого мальчика.

Леон поморщился – едва заметно, но так, чтобы Натан этого не упустил. С «дорогим мальчиком» старик явно переборщил. Или подзабыл за те полтора года, что они не виделись, как яростно охраняет «дорогой мальчик» все, что касается его личной жизни. Собственно, они там, в конторе, и отступились, когда стало ясно, что заставить его жениться, чтобы хоть как-то притушить странность этой одинокой фигуры, вечно окруженной *расстоянием*, как рвом с водой, так и не удастся.

Натан коснулся руки Леона своей широкой ладонью (на трех пальцах давным-давно отсутствовали ногти), и успокоительно, властно повторил:

– Не злись! Я отношусь к тебе, как к Меиру, потому и бесцеремонен, и лезу не в свои дела, и так же получаю по старой любопытной башке.

Тут надо было бы воскликнуть нечто вроде: *ну, что ты говоришь, я так ценю твое участие в моих делах*, – и прочее... Но молодой человек подчеркнуто уклонился от *душевных прикосновений* и взял небольшую паузу, употребив ее на то, чтобы извлечь из-под языка мелкую рыбью кость.

– Кстати, как Меир? – наконец спросил он. – Уже полковник?

Опять явилась кухонная замарашка, на сей раз в застегнутом жилете, с бутылкой домашнего белого в руке. Молча разлила по бокалам вино, преувеличенно осторожно наклоняя бутылку, обернутую салфеткой, провожая наклонную струю чуть вытянутой шеей...

...трогательной такой, едва ли не детской шейкой. Ау, девочка, вот и ты навсегда проплываешь мимо, удивленно подрагивая своим закольцованным лицом с фаюмского портрета...

Две-три секунды она неуверенно топталась у стола, пока Калдман не отпустил ее ободряющей улыбкой.

– Так истерзать собственное лицо, чтобы оно напоминало решето... – Он покачал головой. – Это ведь больно, разве нет?

– Не больше, чем вырванные ногти, – отозвался Леон, не глядя на руку Натана. Тот ничем не ответил на неожиданный выпад «дорогого мальчика», даже руку со скатерти не стянул, но, видимо, решил, что наконец выманил Леона из панциря и может приступить к следующему этапу. Во всяком случае, эта задиристая фраза, которую Калдман отметил еле заметной усмешкой, послужила своеобразным взмахом невидимой дирижерской палочки, после чего в легкой и ничем обоих не обязывающей беседе наступила длительная пауза. Впрочем, паузу было чем заполнить: форель оказалась изумительной – свежайшей, нежной, пряной...

...Такую вылавливают при тебе в ручье под деревенской харчевней «Даг аль а-Дан»^[12] на севере Израиля, недалеко от Рош-Пины. Сидишь ты за грубо сколоченным столом на дощатом помосте, перекинутом через настырное бормотание неугомонного ручья, а вокруг и под ногами бродят куры и петушки с такими радужными хвостами, будто их отлавливали по одному и раскрашивали вручную каждое перо. Декоративная порода, их разводят хозяева заведения – не для стола, а так, для забавы.

И в полдень всё в движении и кружении прыгучих сквозистых теней от виноградной кроны вверху, в солнечных хлопотах и свежем ветерке: прозрачные косы воды под дощатым помостом, босые шлепки подавальщиц, трех хозяйских дочерей-хохотушек, жареная форель, приплывшая к тебе на белой фаянсовой тарелке. И все вокруг – сладкое забытие, покой, плеск и щебет в знойной тишине: длинный шалфейный выдох Верхней Галилеи... Господи, неужели я когда-нибудь вернусь туда за своим именем...

Наконец Натан проговорил, обстоятельно, с неторопливым скупым изяществом отделяя ножом кусочки рыбы от костей:

– Да, Меир получил повышение, и серьезное повышение. Начальство, видишь ли, поощряет его личную Obsession: он ведь уверен, что в конечном счете мир спасется новой цивилизацией на другом технологическом уровне. Что касается меня, тебе известно мое мнение о «конечном счете», который всегда не в нашу пользу: шесть – ноль. В конечном счете все мы сдохнем, тем более что человечество прилагает к этому изрядные усилия. Но согласен – лучше позже, чем раньше. Короче, Меир одержим сверхидеей переброса всех наших войн в киберпространство. Замучил себя и всю семью. Пока не получил свою вожденную третью степень в Технионе, Габриэла и дети, а заодно и мы с его бедной матерью ходили по стеночке и боялись пукнуть!

Леон расхохотался и продолжал смеяться все веселее и заразительней.

– Ты чего? – поинтересовался Калдман, поневоле улыбаясь и любуясь его бесхитростным гоголом.

Жаль, что он так редко смеется. С его-то зубами, с этим счастливым высверком в ореховой смуглоте, с этим звенящим смехом небесного отрока! Любой другой рта бы не закрывал.

– Представил сейчас, как все вы построились у себя на вилле в Эйн-Кереме: ты с Магдой, Габриэла и близнецы, и даже малыш, и ждете навязку защиты докторской Меира, чтобы с облегчением выдать

дружный залп.

Натан, посмеиваясь, наблюдал за мгновенной сменой выражений на лице Леона – выражений, которые сопрягались, переливаясь одно в другое или одно от другого отталкиваясь. Все же поразительна эта его особенность: сочетать в лице два абсолютно не сочетаемых чувства, например, веселья и неприязни. Натан однажды наблюдал его при случайной встрече с Габриэлой, когда в едином выражении на лице вспыхнули ненависть и ликование. Впрочем, для этого были свои причины – тогда; ну, а ныне *дети* и вовсе не встречаются.

Он выждал еще пару мгновений и продолжал:

– Короче, сейчас Меир собирает дошкольников для грядущего *онлайн-Армагеддона*... Того самого, что эти *поцы* [\[13\]](#), газетные аналитики, называют «войной теней».

– Собирает дошкольников?!

– Ну, старшекласников, какая разница! Для меня все они – пришельцы, тыквоголовые, окольцованные... как вот эта девочка с *вооруженной мордашкой*. Короче, наш Меир пробил и создал новое подразделение, где эти юные хакеры, все – гении и специалисты в области взлома серверов, алгоритмов кодирования, отслеживания информации в цифровом потоке, короче, во всех этих милых затеях, – станут резвиться на полях сражений ближайшей кибервойны. Многие разработки настолько секретны, что о них даже нельзя упоминать, что, конечно, вовсе не указ нашим трепачам. На днях один деятель из кабинета министров в интервью чуть ли не «Таймс» порадовал *наших друзей* известием о создании нового вируса. Этот боевой червячок якобы не только считывает и передает информацию с жесткого диска, но и записывает телефонные разговоры в радиусе слышимости вокруг компьютера, и дарит желающим еще много всяких иных радостей. То есть на сегодняшний день мы имеем дело с неким совершенством вроде... ну, не знаю, – Венеры Милосской в мире искусства, уж не меньше.

– Я слышал кое-что, – скупно обронил Леон. – И все это – достижения школьников Меира?

– Во всяком случае, в последние недели у него торжествующий вид.

– Неплохо бы помнить, – заметил Леон с нейтральным лицом, – что эти штучки могут быть использованы не только против персов с их ядерными амбициями, но и против любого государства. Самыми уязвимыми могут оказаться именно самые развитые страны, а мы – в первую очередь. И изменили ситуацию как раз вот эти разработчики, вроде гениальных Меириных пацанов; эти маленькие боги с большим

электронным фаллосом. То, что раньше было доступно лишь сверхдержавам, сегодня есть в распоряжении чуть ли не каждого бедуина. «Новые вызовы современности» – кажется, это их *слоган*?

Он не любит Меира, с давней печалью подумал Натан, и надо признать, у него для этого есть все основания. Интересно, как *сейчас* расценивает Габриэла свой школьный выбор?

Как раз на днях, случайно оказавшись на их с Меиром половине дома в поисках очередной необходимой вещицы вроде маникюрных ножниц (которые с редким постоянством утаскивают для своих игр близнецы, а возвращать и не думают), Натан увидел на письменном столе Габриэлы диск с ораторией «Блудный сын» – той самой, где Леон своим крылатым голосом небесной дивы расписывает запредельные пируэты...

...и как всегда, едва он вспоминал Леона или слышал первые такты звучания его голоса, тот возник в темном углу кухни: смуглый ангел в белой тоге, страшно кудрявый, с запущенной гривой мальчик с картины Рембрандта. Он молча стоял, ухватившись тонкой рукой за набалдашник деревянных перил (эта картинка всегда – по цепочке – вызывала еще одно видение: крошечная больная мама в ночной сорочке – мама была смуглой). Оба видения двоились, перетекали одно в другое, неизменно вызывая краткое сжатие сердечной мышцы.

В тот вечер Натан вернулся с севера, с места крушения двух боевых вертолетов – двадцать семь парней, двадцать семь отборных наших мальчиков, драгоценный генофонд, сгоревший, перемолотый в страшное месиво... Он на ногах не стоял, нарочно топал ботинками, чтобы напомнить себе о земле, о семье, о доме. И о том ударе о жестокую твердь, что раскрошил их черепа и позвоночники.

Поднявшись на крыльцо, отворил дверь, и первое, что увидел, – этого кудрявого ангела в белом... Потом уже и остальных детей – наряженных кто во что горазд. Но этот стоял поодаль и сам по себе: отрок, что-то нашептывающий Матфею, – только не с золотистой, а смоляной гривкой, с крутыми, грязноватыми на вид кудрями.

– Аба^[14], мы репетировали, – торопливо сказал Меир. – Мы сейчас разойдемся, прости, уже смотрели по телику – ужас!.. а как же они столкнулись, аба... ведь приборы...

Он прошел мимо них, все еще топая грязными ботинками, к лестнице (Магда убила бы, ее любимая лестница, красное дерево, набалдашники дурацкие).

Что тут поделать, если Леон всегда нравился ему гораздо больше,

чем Меир. Нет, конечно, Меир – сын, поздний, единственный, ненаглядный сын, и любит Натан его, и гордится им, как дай боже любому отцу! Но вот это нравится... это такая хрупкая неуловимая штука. Это нравится, которому не прикажешь, которое не одернешь и в сейф не запрешь. Все очень сложно. Этот мальчик всегда нравился ему больше, чем родной сын, – странным сочетанием артистизма и замкнутости, способностью мгновенного и полного, на скаку «включения» в ситуацию, когда бесстрастность буквально скатывалась с лица, и такого же мгновенного «отключения», и тогда в его лице появлялось что-то от жестокой отрешенности дервиша. А сама его внешность – непонятно откуда? Посмотришь на его рыжую белокожую мамашу и поневоле задумаешься – уж не подкидыш ли этот Этингер?

Натан вздохнул и вновь заговорил о том, как молодеют – да нет, юнеют некоторые подразделения разведчастей. И это понятно: за последние двадцать лет методы работы спецслужб радикально изменились: сейчас все строится на технологиях тотального сканирования и фильтрации гигантских массивов информации. Мозги, мозги, молодые мозги, юное серое вещество, черт бы его побрал. Сегодня каждый желторотый засранец, каждый сопливый поц может беспрепятственно базланить, что *старой гвардии* пора в утиль...

– Иными словами: здесь больше не продается славянский шкаф и не висит клетка с канарейкой, – с чуть заметной иронией уточнил человек, чья кличка среди бывших коллег была, по определенным причинам, «Кенар руси».

Калдман доел, снял с воротника салфетку и аккуратно сложил ее на скатерти.

– У одного американского писателя есть книга о крестовом походе детей, – проговорил он. – В последние года два я ее то и дело вспоминаю. А вообще, ужасно хочется на покой.

– За чем же дело стало?

Старик помолчал, отодвинул тарелку с аккуратно обобраным форельным остовом, в котором было что-то от сухого осеннего листа. Задумчиво проинспектировал состояние лысины: на месте.

– Много думаю об Иммануэле, – сказал он просто. – Хотя сколько уже, как он умер, – лет пять?

– Семь в ноябре, – отозвался Леон и подумал: проверяет. Зачем? И сам прекрасно помнит, когда Иммануэль умер, и отлично знает, что я тоже помню. И не надоест же эта ежеминутная муштра и проверка всех вокруг.

И сразу же сам себе задал вопрос: а может, он и есть то, что он есть, только благодаря этим яростным волчьим резцам, неутомимо треплющим слабые загривки родных, друзей, подчиненных?

На миг вспомнил Натана таким, каким впервые увидел: с серым застывшим лицом, в мокрой от пота рубаше. Натан буквально вывалился из дверцы армейского джипа, подкатившего к воротам дома, вошел в гостиную и остановился, невидящими глазами обводя компанию примолкших подростков, среди которых был его собственный сын Меир. Они что-то репетировали своим только что – за завтраком – созданным театральным кружком, поэтому и нарядились в разное тряпье, которое Меир нашел в кладовке за кухней. Леону достался длинный грязно-белый балахон, в котором Меилов дед очищал от меда улы в своем кибуце, где-то в Верхней Галилее...

В тот день на учениях столкнулись два боевых вертолета, набитые отборными парашютистами спецназа. Натан, кажется, тогда был какой-то шишкой в Генштабе, и можно лишь представить, что для него лично означали эти обломки и эти тела. Он стоял в холле, в полной тишине, уставясь на них ослепшим взглядом раскосого быка, вылетевшего на свет из загона. Меир что-то залопотал (он всегда побаивался отца; кажется, и сейчас в острые моменты придерживает язык по старой памяти, так что сказочка про то, как вся семья ходила по струнке в ожидании защиты его диссертации, может развлечь кого угодно, только не Леона) – и отец, ничего не ответив, молча затопал вниз по лестнице в глубины их странного перевернутого дома.

– В ноябре будет семь лет, – невозмутимо повторил Леон.

– Точно, – отозвался Калдман. – Знаешь, мне его страшно не хватает... Не могу смириться с тем, как его похоронили – тихо-благопристойно, как... как обычного продавца фалафеля или какого-нибудь банковского пакида^[15]! – Он положил обе ладони на стол и медленно, тяжело развел их, двумя чугунными утюгами разглаживая крахмальную скатерть. – Это всё его семейка – дочь, сын... Мне кажется, под конец они даже стеснялись его. Мири позвонила мне буквально минут через десять после его кончины. Была уверена, что я стану «гнать торжественную волну» – это ее слова! – позвонила и попросила «тишины». Как тебе это нравится? «Тишины для Иммануэля»! Этот человек, громогласный всей своей жизнью, у собственных детей не заслужил ничего, кроме «тишины». – Он горько усмехнулся: – И не удивительно, это удел крупных личностей:

дети редко дотягивают до отцова масштаба и потому исподтишка мстят, когда старый лев оказывается в инвалидном кресле и уже не может, как прежде, перевернуть мир одной ладонью. Вот тогда они говорят: «Хватит, перестань, папа! Ты всё со своими идеями, папа... ты всё со своим прошлым, папа... хватит уже, папа!»

В его неожиданной запальчивости есть что-то сугубо личное, подумал Леон, будто он примеривает на свое не такое уж дальнее будущее некоторые сцены, прорабатывает ситуации, реплики... Предусмотрительность старого разведчика на домашнем полигоне.

Вслух он проговорил:

– Не преувеличивай. Никогда такого не замечал. При мне и Мири и Алекс вели себя вполне благопристойно. И как, по-твоему, его следовало хоронить – с воинскими почестями, на лафете, с оркестром и оружейными залпами? Какая разница, что делают с твоим телом после...

– Нет! – Натан прихлопнул по столу широкой ладонью с тремя обезглавленными пальцами. – Нет! Человеку, благодаря которому государство выиграло свою главную битву – за право быть! – не отдать того, что ему причитается? Не назвать его именем улицу, площадь, школу?!

– Не уверен, что Иммануэлю хотелось бы всего этого, – заметил Леон. – Вовсе не уверен.

Он вспомнил старика *уже на колесах*, но по-прежнему властного и действительно – громкоголосого («У меня луженая глотка!» – хвастливым тоном), в любом разговоре шутливо-острого. Вот кто не позволял и намека на сентиментальную пошлость, чувствительность или жалость – ни себе, ни окружающим. Да, под конец бывало, что он опять принимался рассказывать какую-нибудь свою давно известную историю, из-за чего Леон все их вызубрил наизусть; вполне возможно, что Мири или Алекс – престарелые его дети, со своими проблемами, болячками и нутьбой – когда-нибудь и могли сказать это самое *хватит, перестань, папа, уже все слышали эту майсу*^[16] *двести раз!*.. Но что правда, то правда: мир продолжал крутиться у колес его инвалидного транспорта не только потому, что алкал его миллионы. И два его преданных тайца, Винай и Тассна (*мои ужасные нубийцы*, называл он их фразой, вычитанной из какой-то дореволюционной книжки для юношества) всегда ненавязчиво и молчаливо присутствовали рядом для любых поручений. Их почему-то считали братьями, хотя они были очень разными: Тассна – высокий, жилистый и гибкий (его всегда хотелось назвать танцором, он и походку имел какую-то ритмичную, и, когда руки бывали свободны, постоянно прищелкивал пальцами, локтями покачивал, поводил плечами). Винай –

тот покрепче был, ниже ростом, молчалив и как-то слишком уж цепок: возникал перед тобой внезапно и предупредительно – для любых просьб. Да: для любых поручений и затей.

А как они готовили всю эту морскую разно-прелесть – прекрасно подменяя один другого, как жонглеры с кеглями. Оба великолепные повара, так споро-весело щелкали ножами и тесаками по разделочным доскам, будто чечетку отбивали. И такими ловко-точными, любо-дорого-движениями вбрасывали из ладони куски мяса на сковороду...

В их расчудесном меню было коронное блюдо: салат из холодной говядины. Подавался в широкой и плоской керамической чаше, непременно увенчанный произведением искусства: *луковой розой*, вырезанной Винаем из головки красного лука.

Считалось, что при них обо всем можно было говорить на иврите – они, мол, понимают только английский (хотя жили в доме Иммануэля последние лет десять). С ними, помнится, все говорили по-английски – прислуга, Мири и Алекс, все внуки Иммануэля и даже его молодая любовница – да-да, была и такая сомнительная фигура в парадоксальные последние годы старика. Недурная, кстати, фигурка, впоследствии *изгнанная в пустыню* из-за какой-то истории с кредитной карточкой Иммануэля... Кажется, она щедро оплачивала ею расходы своего возлюбленного альфонса, а может, и целого ряда альфонсов, уходящих в зеркальную перспективу. И старик переживал «предательство», как юный брошенный тореро, сидел, нахохлившись, в своем кресле и в один из приездов не постеснялся с горькой ухмылкой сказать двадцатитрехлетнему Леону:

– А что прикажешь делать, если я все еще мужчина? – чем привел того в восторг.

Плывать, конечно, на все похоронные ритуалы и тем более на признание политических заслуг. Вот слушать истории Иммануэля, пусть и повторенные слово в слово, всегда было радостью... Как и просто сидеть у огромных колес его гениального кресла, выписанного по каталогу фирмы одного безумного изобретателя, впоследствии прогоревшего: Иммануэль обожал новшества и наверняка был единственным, кто заочно купил этот дикий, космический по виду агрегат.

Свой дом в Савьоне он почему-то упорно называл «бунгало». В воображении Леона при слове «бунгало» возникала хлипкая приземистая постройка с камышовой крышей. Дом же Иммануэля, выстроенный им когда-то с горделивым размахом в стиле мексиканской гасиенды, хотя

и был одноэтажным, но с четырехметровыми потолками, четырьмя великолепными колоннами у входа, с гигантским холлом, чья стеклянная раздвижная стена выходила прямо в просторное, обсаженное старыми пальмами патио с необычно глубоким, как озеро, бассейном.

Сколько же вечеров Леон просидел со стариком у этого бассейна, глядя, как струя электрического света из холла колышется на воде, скользит по стволам, перебирая вееристые листья пальм! Между пальмами расставлены широкие низкие кадки с кустами любимой стариком лаванды («Твоя убогая лаванда, папа! Давно пора посадить тут цветы...» – и цветы были посажены сразу после смерти Иммануэля).

Запах воды, смешанный с запахом лаванды, лунный свет на плитах пола; чувство *настоящего дома* – то, что со смертью старика утрачено даже в мечтах.

В двенадцать ночи у бассейна возникал один из «ужасных нубийцев» и уносил старика на спине – огромное кресло застревало в дверях спальни. Бывало, являлись вдвоем, ровно в двенадцать – в этом они были неумолимы. Иногда Иммануэль, не оборачиваясь, раздраженно поднимал ладонь, как бы приказывая оставаться на месте, пока он не попрощается с гостем. «Ужасные нубийцы» молча застывали минуты на три – в этом было нечто постановочно-голливудское, – после чего вновь спокойно и настойчиво подступались к старику. Он называл это «передислокацией к ночному горшку».

– Ты останешься ночевать? – каждый раз спрашивал старик уже вполоборота. Маленькая веснушчатая кисть выразительно «крутит штопор». – *Цуцик*, почему ты никогда не останешься ночевать? Я бы хотел однажды с тобой позавтракать. Что у тебя за вечные привычки полевого агента? Неужели тебе охота мчаться на ночь глядя в Иерусалим? Тебя ждет там женщина? Только ради женщины я мог вскочить и лететь бог знает куда... Но Леон не оставался у него ни разу, это правда.

Впрочем... стоп! Однажды он вломился к Иммануэлю ночью – той ночью, когда не убил Владку, слава богу; не убил мать, а просто выбежал из дому, прыгнул на мотоцикл и, выжигая предельную скорость, чуть не за полчаса примчался к Иммануэлю. Тот уже лежал в кровати, но еще не спал – читал в свете настольной лампы. И даже не вздрогнул, когда Леон возник в дверях. Просто молча смотрел поверх очков, как тот шагнул в комнату, рухнул на низкий пуф напротив и мучительно выхаркнул:

– Я – араб...

Тогда старик улыбнулся (и эту улыбку забыть невозможно, она парит над всей жизнью: конопатая старческая улыбка, отменяющая вздор, пошлость и жестокость этого мира), помолчал, легонько кивая каким-то своим мыслям, и домашним уютным тоном, сминающим мотоциклетный надрыв, задумчиво проговорил:

– Так вот от кого она тебя родила...

Итак, два верных «ужасных нубийца» уносили старика на плечах... Прежде чем пересечь холл и по мраморным ступеням спуститься в ночной сад, изысканно подсвеченный фонариками, Леон несколько мгновений стоял и смотрел вслед этой процессии: в ней было что-то из обихода цезарей...

Когда они оставались вдвоем, Иммануэль переходил на русский. Великая штука – родной язык, говорил он, черт бы его побрал! Родной язык... его хочется держать во рту и посасывать слоги, как дегустатор слагает подробности аромата винного букета, лаская его послевкусие. Хочется ворочать камешки согласных между щек, а гласные глотать по капле, и чтобы смысл иных слов уходил глубоко в землю, как весенние ливни в горах...

Он по-прежнему много читал по-русски, поэтому сохранил язык, хотя говорил с небольшим акцентом, но говорил ярко, запальчиво, иногда неуместно-цветисто, немного книжно, пересыпая вполне культурный текст занозистыми харьковскими словечками и ругательствами: «сявка», «ракло», «раклица»...

Так вот, байки Иммануэля. Особенно та, молитвенно-бордельная, под летящим косым венецианским снегом:

– В ноябре сорок седьмого, суч-потрох, да! В ту осень ООН приняла резолюцию о создании государства: ноябрь сорок седьмого. Как топором по шее! И башка моя слетела к чертям – я был счастлив, суч-потрох! Мы с Шифрой тогда приехали из Лондона в Париж провести Алекса – ему исполнилось тринадцать, он учился в закрытом пансионе, который стоил нам кучу денег. Но я никогда не думал о деньгах. Я всю жизнь делал их, и порой делал из ничего, но никогда им не служил и не позволял, чтобы они как-то влияли на мое отношение к близким и друзьям, да и к себе самому. Короче, это был самый счастливый день моей жизни – когда я узнал, что у нас будет своя Страна... И сразу же тут началась бойня – арабы не могли допустить подобного оскорбления, мы были

как чирей у них на заднице – и не сядешь, и не вырежешь. А мы были голы и босы в своем торжестве, и чресла препоясаны ветошью... Ну, не совсем, конечно, ветошью – Хагана перед этим уже подсобрала оружия, но все оно было таким пестрым – и по калибрам, и по моделям, и по возрасту: финские «суоми», американские «томпсоны», британские «стэны» – их покупали у арабских контрабандистов или просто воровали с британских складов... Но этого было недостаточно! Арабская саранча прет со всех сторон, а у нас кривая берданка и фанерный грузовичок, суч-потрох! Плюс эмбарго на поставку оружия в наши края, которое поспешили наложить американцы, – лучше бы они в штаны себе наложили! А, скажу тебе, к тому времени я месяца три уже как был стерлинговым миллионером – благодаря той исключительной афере с закупкой хлопка в Египте. Я тебе о ней рассказывал? Так послушай еще раз, это просто менуэт, сарабанда, мазурка! В Палестине были текстильные предприятия, но не было пряжи. Зато в Египте было столько хлопка, что там не знали, куда его девать, хоть подтирайся им. Ну, а в Италии – ты следишь за пируэтом? – в Италии Муссолини перед войной создал мощную текстильную промышленность. Так что я сложил два и два, впендюрил в дело весь мой капитал – на тот день у меня было аж восемь тысяч фунтов стерлингов! – и запустил этот маховик: сырье из Египта в Италию, из Италии пряжу – в Палестину, контрабандой. Разворот, поклон, пары сходятся... Риск был колоссальный! Почтенные деловики смотрели на меня, как на олуха царя небесного, пальцами крутили у виска. Но уже в апреле сорок шестого я был тем, чем был, – коротышкой с миллионом в кармане. Правда, только с единственным миллионом, но это казалось огромными деньгами, и я сам себе выглядел королем и даже чуток попрос, а? А тут – своя Страна, и своя война, и своя кровь льется такой широкой рекой, что эта самая страна вот-вот захлебнется. Я был как одержимый: ехать, сражаться, суч-потрох!.. Но мне нашли другое применение. Мне позвонили ночью. Причем, не застав меня в отеле, обзвонили по цепочке всех моих знакомых и – это я узнал позже – прочесали все значные места, где я любил тогда бывать: в «Ля Куполь», и «Ле Дом» и «Ля Тур д'Аржан». Но накрыли меня в «Мерисе»... Это был один из самых шикарных ресторанов: в отеле «Мерис». Там подавали дивную рыбу – тюрбо, например, – ну, и омаров, лангустов и отличных устриц... Почему помню так ясно? Потому что встретил там Дали. Он любил останавливаться в «Мерисе» и частенько там же обедал – деньжата у него водились, папаша его был небедным человеком...

...Кстати, я рассказывал тебе, *цуцик*, что был на том знаменитом обеде

у Поля Элюара и Макса Эрнста, с которого Дали увел Галу? И Эрнст и Элюар в то время жили с ней – оба. Такие связи были не то что приняты, но как-то вполне проглатывались обществом. Дали был приглашен туда среди прочих и, отобедав, преспокойно увел Галу – навсегда.

Так вот, как только я заметил их в «Мерисе», мне стало интересно, что заказывает себе в подобных заведениях такой чокнутый оригинал. Между прочим, никогда не считал его хорошим художником. Он был шоуменом, клоуном, возмутителем нравов, но, в конечном счете, прежде всего расчетливым дельцом... Я поднялся и направился в мужскую комнату мимо их столика – я был страшно любопытен. Гала разделялась с устрицами, Дали ел йогурт! Ложечкой. Между прочим, к твоему сведению, йогурты во Франции появились с легкой руки некоего Исаака Карассо и поначалу продавались в аптеках – индустрия возникла позже, компания называлась «Данон»... Так вот, когда я вернулся из мужской комнаты, ко мне подошел официант и пригласил к телефону. Звонил Ицхак Бен-Цви, один из тех, кто тогда метался в Палестине от одной брешки к другой, пытаясь закрыть их чуть ли не собственным телом. Он был дико напряжен, усталый, взвинченный. Сказал: Иммануэль, срочно нужны деньги на закупку оружия. Русские дали добро, хотя прямые поставки из Москвы исключены. Оно пойдет из Чехословакии, оружие – частью трофейное, германских образцов.

Я подумал: что за дивная шутка нашего Боженки – дать нам в руки бесхозное нацистское оружие, чтобы мы сражались им за *свою страну*.

– У меня на счету только миллион, – сказал я. – Сколько вам нужно?

Он воскликнул:

– И ты спрашиваешь?! Есть миллион – значит, понадобится как раз миллион...

Я сказал ему, что не могу такие вопросы решать один и должен посоветоваться с Шифрой. И сразу же позвонил ей в отель. Она спала – она вообще не была любительницей ночных ресторанов и спать укладывалась рано.

– Шифра, сердце мое, – сказал я. – Мне необходимо снять со счета все наши деньги... Она спросила заспанным голосом:

– И для этого ты разбудил меня среди ночи? Ты что, забыл номер нашего швейцарского счета, Иммануэль?

Вот такая это была женщина – моя Шифра: благородство, широта и... и полное отсутствие ревности! Да! После войны Европа была просто огромной свалкой оружия, в большинстве своем трофейного, нацистского. Ходи и подбирай, только плати, конечно, плати и плати! В те годы я мог

любое дело прокрутить. Идеи распирали черепушку, а энергии было столько, что частенько я куролесил трое суток без сна, а на четвертые лишь удивлялся, почему кофе уже не слишком меня бодрит. И машина завертелась, и я был счастлив, суч-потрох! Я был в своей стихии! Знаешь, я втайне всегда считал себя человеком криминального сознания, не смейся! Так вот, моей задачей была режиссура: фальшивые документы, встречи с нужными людьми, покупка списанных посудин – этим мы промышляли в портах Греции... Та еще карусель крутилась: оружие из Чехословакии загружалось в югославском Сплите, экипаж сколачивали из итальянцев. Уже первый пароход вез в Тель-Авив шестьсот тонн оружия. Мы рассовали его по разным грузам в разобранном виде: в компрессоры, бетономешалки, катки... И Бог был на нашей стороне – Ему, видимо, до зарезу понадобился в личное владение этот клочок земли; как говорил мой харьковский дед, «иметь куда поставить ногу»... Это было дело, серьезное дело: первый же контракт – пять тысяч винтовок, двадцать пулеметов, пять миллионов патронов, даже два *почти* «мессершмитта»... Спроси меня: почему – *почти*? Просто они собирались в Чехословакии из разрозненных узлов от германских истребителей, и двигатели на них пришлось ставить менее мощные. Кроме того, я умудрился закупить в Великобритании четыре истребителя «бофайтер»! Спроси меня – как? От имени новозеландской кинокомпании: «Уважаемый сэр, для съемок фильма о подвигах новозеландских летчиков в войне на Тихом океане...» – до сих пор горжусь этой легендой.

Но однажды, не помню уже – почему, крупную партию винтовок, пулеметов и гранат я отправлял пароходом из порта Венеции. И был очень неспокоен: время зимнее, море опасное, а посудина – двести раз перелатанная халабуда. Имя ей было «Победительница Адель», ни больше ни меньше, суч-потрох, и выглядела она в точности как пожилая шлюха из нахичеванского борделя после урожайной ночи.

И вот я стоял на причале венецианского порта в пять утра, в длинном теплом пальто с поднятым воротником, и смотрел, как команда отдает швартовы и как, кренясь на волнах, «Победительница Адель» колченогой шлюхой удаляется в зимний туман лагуны. Пошел снег, а я забыл шляпу в отеле. В считанные минуты моя шевелюра (ты веришь, что когда-то у меня была недурная рыжая шевелюра?) осела под копной мокрого снега...

И когда, зарываясь носом в свинцовые воды лагуны, пароход скрылся из виду, я понял, что должен помолиться за его благополучное прибытие! Но до гетто было далеко, а тащиться через весь город к еврейскому Богу даже за таким важным делом... Я оглянулся и увидел, что на углу площади

служка в коричневой рясе с капюшоном открывает двери церквушки. И подумал – если Бог есть, он есть всюду. И вошел, и помолился, и – суч-потрох! трижды суч-потрох!!! – корабль таки дошел!

* * *

На эстраду скользнул пианист – узкий, как змейка, одетый в тон роялю: в белые джинсы, светлую майку. Даже волосы его, цвета густых сливок, выглядели, как подкрашенные. И незаметно, вначале *пианиссимо*, затем чуть настойчивей зазвучало попури из мелодий Гудмена, Бернстайна, Копленда – все меланхоличные и расслабляющие. В этом заведении музыка не должна была ни задевать, ни вторгаться в разговоры обедающих. Спокойный уютный фон, не более того.

Леон смотрел на невозмутимого, будто стерильного джазиста, развлекавшего прохладным дневным джазом ресторанную публику, а видел Дикого Ури, ударника в джазовом трио, что въеживал в крошечном клубе на задворках иерусалимского района Бако.

Религиозный еврей в традиционном прикиде, включая шляпу, лохматые пейсы, обширную дикую бороду, не знавшую бритвы, и свисавшие вдоль колен длинные нити нагрудного талеса. В дни, когда он «сидел на ударе», в двадцатиметровую комнату клуба набивалось столько желающих его послушать, что трудно было вздохнуть. Все стояли, потому что так втискивалось больше народу, – стояли впритирку друг к другу и ждали солоимпровизации Дикого Ури.

После длинного любовного изъяснения очень недурного саксофона Ури брал крошечную тревожную паузу... и вступал!

Главным плацдармом его летающих, грозных и хлестких, мягких и нежных рук был огромный барабан, который в наших краях называют «тарабукой». Что эти руки вытворяли! Гром и плеск, шепот и дробот, чечетка, шорох и ласка, и даже невероятное – звук льющейся воды, а также звонкие голоса птиц, сон, дуновение ветра, умирание последнего луча... И вдруг – шквал налетевшей грозы: удары безжалостного грома, треск падающих деревьев, столпотворение, вопли, битва в конце времен – и ослепительный конец света в медном ореоле двух грянувших друг о друга тарелок, которые Дикий Ури как бы отшвыривал от себя в неистовом прощании с миром...

– Ты чему улыбаешься? – спросил Натан.

– Да так... Вспомнил случай, когда Иммануэль молился в венецианской церкви за благополучный рейс «Победительницы Адели»... Если не ошибаюсь, после молитвы он отправился в бордель?

Натан хмыкнул.

– Причем можно поспорить, что сделал раньше. Мне он говорил: «Я так нервничал, доползет ли до наших палестин эта старая калоша... Необходимо было отвлечься».

– Я вот только не в курсе, – все так же, на улыбке продолжал Леон безмятежным тоном, – занимался он оружием в последние годы? Он ведь успешно вкладывал деньги в самые разные проекты, а? Были среди них... э-э... стратегические?

Интересно, подумал Калдман, почему он заговорил именно о стратегических проектах Иммануэля? Я ведь ни словом... Чертовское чувствовалище! Неужели сразу понял, что...

Вслух он сказал:

– А я бы не прочь выпить кофе, если удастся высвистать *нашу вооруженную девицу*. И впредь умоляю тебя навещать этот семейный мемориум без меня.

Леон засмеялся и поднял руку, пытаясь привлечь внимание кого-нибудь из запаренных официантов.

– Что касается оружия, – продолжал Натан, якобы отзываясь на вопрос, но, как обычно, уклоняясь от прямого ответа, – так оно и сейчас течет рекой, вот разве уже не совсем к нам, и нам уже не очень этого хочется.

– На днях заглянул в «Вашингтон пост» и читаю: «Мы озабочены тем, что оружие из Ливии и Ирана с угрожающей скоростью распространяется в Сирию, Египет, в Ливан, на Синай и в Газу...» – кажется, так. «Мы» – это ООН. Очередной доклад.

– ООН... пф-ф! – фыркнул Натан. – *Эти-то* перманентно в стадии «озабоченности». Такая рыхлая старая вдовица в Альцгеймере, не способная шевельнуть ни одной конечностью, даже когда вонючий сброд волочет по улицам Бенгази посла великой державы, на каждом углу насилая его, уже мертвого... Вот теперь западные говнюки нюхнули аромат цветочков милой их сердцу «арабской весны», к которой сами приложили лапу. Они еще не представляют себе ее зрелые яблочки. Впрочем, им уже и деться некуда: что бы они сейчас ни предприняли, конец один – гибель очередного великого, глупого, высокомерного и развращенного Рима...

Неплохо играет, а? – заметил Натан, кивая на рояль. – Но и он, бедняга, смотри, как потеет...

Леон улыбнулся, в который раз дивясь наблюдательности Натана. Пианист и правда потел и в паузах пользовался платком, тоже, кстати, белым. Доставал его откуда-то из-под зада, вытирал потный лоб и опять подсовывал то под правую, то под левую ягодицу, хотя мог положить и на рояль – это было бы куда приличнее. Сам Леон заметил манипуляции с платком под задницей во второе свое посещение кафе и в гораздо более созерцательной обстановке. От Калдмана же, в каком бы напряжении он ни был, никогда не ускользали движения, жесты и даже взгляды окружающих в радиусе нескольких метров.

– Вообще же, у нас все по-прежнему, – продолжал Натан. – Говоришь – «Вашингтон пост». Странно, что ты еще просматриваешь прессу. Не удивлюсь, если ты вообще перестал следить за новостями, после того как *похерил старых друзей*...

Выдержал паузу в ожидании реакции собеседника, не дождался и подхватил нить собственных слов:

– И правильно! Ближний Восток – гниющая куча падали. Персы в свое удовольствие фаршируют оружием «Хизбаллу» и ХАМАС, шииты по традиции режут суннитов и наоборот; саудиты, салафиты и «Братья-мусульмане» грызутся за сферы влияния в странах Персидского залива... Что еще? Так, мелочи: глобализация джихада, подготовка боевиков в каждой подворотне, каждая новая группировка объявляет главную богоугодную цель: стереть нас с карты мира. При этом в сирийской резне уже погибло втрое больше арабов, чем за все наши с ними войны, но, как говорила моя бабушка, «кому мешают ваши маленькие семейные радости?»... – Он вздохнул: – Ненависть, мракобесие и крошечный ужас. Видал вчерашнюю новость: чик-чик, и голова британского полицейского падает на травку ухоженного газона: «Я стригу свою траву уже триста лет, сэр!» – «А мы, сэр, отныне будем стричь ваши *гяурские бошки*»...

Калдман бросил взгляд на левое запястье, решив, что еще минутую другую можно отдать на *светские новости*. И тем же легким, светлым, слегка рассеянным тоном продолжал:

– Ну, и прочие приятные вести: медики «Аль-Каиды» в ближайшем будущем наострятя имплантировать *пентрит* в задницу очередному шахиду: взрывайся, родной, на здоровье. Талантливые ребята! Пентрит не в состоянии обнаружить ни один сканер в аэропорту. Вспомни покушение на главу саудовской разведки, на этого принца, как его, Мухаммада бин Наифа, к которому подослали молодчика с бомбой в жопе.

Или этот «рождественский террорист», что пронес бомбу в трусах? Я уж не говорю о персах, об их веселых центрифугах: при новом президенте Иран делает свою атомную бомбу с улыбкой, и он ее сделает, помани мое слово.

– Но американцы...

Калдман раздраженно махнул рукой:

– Американцы ни черта не понимают в персах и никогда не понимали! Персы – это две с половиной тысячи лет великой империи! Это не индейцы, продавшие Манхэттен за нитку бус. Персы торгуют коврами две тысячи лет! И чем их хотят купить эти западные дикари в смокингах? Сейчас, когда бомба есть у Индии, Китая, России и даже у проклятого Израиля, персы – и я их понимаю! – обуяны стремлением взять реванш в нашем регионе.

Он наклонился к Леону и внятно произнес:

– Персы не идиоты, а ядерная конфетка – их национальная идея! Всего-навсего – национальная идея... – Машинально obeжал взглядом зал и мрачно добавил: – А против национальной идеи не попрешь.

– Ну, положим, мы время от времени чешем их иранские пятки, – сдержанно возразил Леон. – Разве у них не гаснут лампочки в сортирах? А с научными их ребятами разве не происходят досадные оплошности?

Калдман растянул свою людоедскую пасть в широкую улыбку и дружеским тоном заметил:

– Я рад, что ты заглядываешь не только в ноты. Тем более что тебе передает заочный горячий привет наш главный чесальщик иранских пяток, твой дружок Шаули.

Вдруг вынырнул давешний официант: с расстроенным бледным лицом, но уже в униформе, уже на рабочем посту. И Натан вновь перешел на немецкий.

– Нам сказали, ваш сынишка... надеюсь, он не?... О, что вы говорите, *oh, es tut uns Leid für Ihren Bub*, бедняжка, бедняжка... Будем уповать на то, что в его возрасте кости быстро срастаются. И кто из нас вырос без переломов!

О да, и кому из нас не ломали пальцы в обычном слесарном инструменте под названием «тиски»...

– *Danke, Herr*, – растроганно проговорил официант, забирая тарелки, – *das ist sehr nett von Ihnen*^[17].

Заказали кофе: Натан, как обычно, двойной черный, Леон – капучино,

здесь его подавали с такой роскошной толстенной пенкой, покропленной коричневыми веснушками, что поиски собственно кофейной жидкости становились задачей до известной степени археологической. Ну и десерт, как без него.

– Может, довольно с нас? – спросил Калдман, с сомнением изучая картинки тортов и коктейлей в десертном меню. – Их пирожные выглядят устрашающе: Монблан в облаках.

Диабета у него еще не было, но уровень сахара уже перевалил за тот показатель, когда пожилой человек просто обязан призвать себя к порядку.

– Нет уж, – воспротивился Леон. – Игнорировать здешнюю выпечку – дурной тон! Возьми вот эту штуку: «Кардинал шнитте», это светлое тесто со взбитым воздушным кремом и прослойкой варенья. Грандиозное достижение европейской мысли. А я, пожалуй... Я, так и быть, остановлюсь на скромном «Апфельштруделе». Тоже неплох. Правда, моя любимая прабабка готовила его в пять раз вкуснее.

– Та, которая играла Крейслера?

– Не та. Другая. Более гениальная...

И долго, подробно обсуждал с официантом детали кондитории.

Слишком долго...

Нет, Калдман не торопился. Собственно, в данный момент он занимался наиважнейшим делом, ради которого на сутки прибыл в этот летний прелестный город, в этот трижды проклятый всею его семьей лучший город в Европе. Да: у Калдмана времени было хоть отбавляй. Но *этот... этот* в любой момент мог заявить, что его заждались в очередном чертовом посольстве, вскочить и смыться, и поминай как звали: жокей в седле, верткий матадор в миллиметре от бычьих рогов... Мобильные телефоны он любит примерно так же, как часы на руке. «Скайп» тоже не жалуется. В своей парижской квартире крайне редко снимает трубку телефона, уговорившись со своим оперным агентом о каких-то условных звонках – то ли два подряд, то ли один и три...

Короче, сильно тормозить не стоило. Стоило ковать железо, пока само оно еще не ощутило первых ударовковки.

– Ну, слава богу, кофе к нам прискачет не на монгольской лошадке, – сказал Калдман и мечтательно улыбнулся. – Кстати, помнишь, какой дивный кофе варили эти ребята, «ужасные нубийцы» Иммануэля... Я забыл, как их звали?

Все ты помнишь, подумал Леон, все ты помнишь, старый косой

комедиант с вырванными ногтями. Вслух невозмутимо произнес:

– Тассна и Винай.

– Да-да, причем и то и другое имя что-то означает?

– Тассна – «наблюдение», Винай – «дисциплина».

– Точно! – воскликнул Натан, прищелкнув пальцами. – Говорящие имена...

Подумал: «Ну и память у этого засранца! Еще бы – привык заучивать миллионы нотных знаков и миллионы иностранных слов».

– Наблюдение и дисциплина, да... После смерти Иммануэля они так растерялись, так были огорчены, что предпочли возвратиться домой, в Таиланд. Хотя могли наняться к кому угодно: семья Иммануэля дала бы им блестящие рекомендации.

– С чего бы им так расстраиваться? – пожал плечами Леон. – Они надеялись, что Иммануэль проживет еще сто пятьдесят лет? Он и так прожил мафусаилов век: девяносто восемь, человек может лишь мечтать о подобном.

Натан промолчал. Он умел выразительно и многозначительно молчать, так, что любой собеседник, любой подчиненный и даже собственный сын принимались судорожно инспектировать свою предыдущую фразу, мысленно паникуя – не допущена ли ошибка, пусть даже в интонации. Любой, только не Леон. Он был сыт по горло наработанными приемами Калдмана, которые даже Магда называла «штучками». Ведь Леон, в сущности, вырос у них в доме и уж там-то оставался ночевать бесчисленное количество раз, вплоть до той последней, той окаянной ночи, которая так и осталась Главной Ночью всей его жизни, черной настолько, сладкой настолько, что бедняга Шуберт с его неистовым стремлением к счастью имел шансы лишь на второе место.

На почетную серебряную медаль.

С рассеянной полуулыбкой Леон слушал прозрачные водовороты пассажей, струящиеся из-под рук пианиста... Тупик в разговоре. Темная подворотня. И дальше – пара мусорных баков.

Аккуратно промокнув уголки рта льняной салфеткой, Калдман будто невзначай спросил:

– А тебе приходилось петь в Бангкоке?

На что Леон резко вскинул голову (движение взнузданного жеребца), и – в ровном ресторанном шумке, в синкопах тихого джазового ручья – повисло между ними его оглушительное враждебное молчание.

Ай-яй-яй, незадача: хотел спросить как бы вскользь, а вышло в лоб.

Темная подворотня, мусорные баки... Этот чертов певун никогда не позволяет втягивать себя в чужие игры. Вот и сейчас его черные непроницаемые глаза будто держат оборону. Выждав пару мгновений, тем же чуть ли не элегическим тоном – пропадать, так с музыкой – Калдман продолжил:

– А хорошо бы выступить! Кое-кто готов тебе *аккомпанировать*. В любом дуэте важна чуткость и... *наблюдательность*, ты так сказал?

– «Наблюдение», – хмуро и озадаченно поправил Леон.

Вот оно что... Выходит, Тассна был нами завербован? И после смерти Иммануэля отправлен на место возможных будущих событий, если, конечно, еще пять лет назад кто-то мог предположить террористическую «активность» в таком-то раю, в идиллическом Таиланде. Странный выбор, честно говоря. Впрочем, если вспомнить, до какой степени Иммануэль доверял этим парням... Всегда доверяешь сильным рукам, на которые в старости опираешься изо дня в день. Добротная работа, ничего не скажешь. Интересно, эта вербовка... они ее провернули еще при жизни Иммануэля? И знал ли он? А может, и сам сыграл в пьесе некую роль – все же человек он был осведомленный, весьма осведомленный, хотя... хотя и очень старый. Что ж, в любом случае этот шаг оказался дальновидным, как показывают недавние события в Бангкоке; разве не с нашей подачи таиландцы перехватили троих ребят из иранского КСИРа – правда, те так бездарно обращались со взрывчаткой, что сами себя преподнесли на блюдечке. Вслух он заметил:

– Что значит – предусмотрительность... Тебя можно поздравить. Но я тут при чем? У вас там наверняка сидит оркестр, укомплектованный *высококласными исполнителями*. А я давно не в штате, у меня на три года вперед подписаны контракты на выступления, довольно плотное расписание в «Опера Бастий», куча записей на RFI...

– Не накаляйся, – улыбнулся Калдман. И помолчав, чуть ли не с нежностью: – Не накаляйся, *ингелэ манс*... Ты же знаешь – никто и никогда не посмеет ворваться без твоего согласия в твою налаженную жизнь. Просто... ведь и у тебя бывают отпуска? А ты, помнится, увлекался серфингом, яхтингом? И этим... дайвингом? И занял первое место в соревнованиях юных, этих самых... в регате?

– Третье, – поправил Леон. – Всего лишь третье.

– Ну вот, – подхватил Калдман. – А по нашим сведениям, на тамошних островах самые удобные для всех этих э-э... глупостей... побережья.

...После чего к ним выплыли две большие белые тарелки с такими

вавилонскими зиккуратами, что вздох застревал в горле восхищенного клиента.

– Ах, будь я проклят! – по-немецки воскликнул Натан, энергично потирая руки и подмигивая официанту, а заодно и Леону.

Идиотские компанейские ужимки. Перебарщиваешь...

Когда официант отошел, Калдман вновь взглянул на часы и мысленно кивнул самому себе: самое время приступить к делу. Отодвинув тарелку с великолепным сооружением кондитерского искусства, извлек из кармана брюк сложенную вчетверо газетную вырезку, расправил ее (маникюрными ножницами вырезал, кривыми, зачем-то отметил Леон мелковолнистую линию отреза) и другим уже тоном, совершенно другим – своим, а не пошло-бархатным голосом, проговорил:

– Прочти. *Забавно*. Из «Маарива».

Положил на стол и придвинул к тарелке Леона.

Тот молча пробежал глазами заголовок:

**«Израильская компания продавала шпионское оборудование
в Иран»**

Обычная газетная практика: прежде всего – заглавие-плевков, заглавие-пощечина, обухом по голове. Тоже профессия – журналистика: главное, проорать погромче, провизжаться, заблевать все вокруг, а там уж, в случае чего, и извиниться можно, даже компенсацию за клевету выплатить... Так, и что ж такого забавного мы толкнули нашим врагам?..

По сообщению новостного агентства NRG (со ссылкой на *Bloomberg*), в течение долгого времени израильская компания *Miracle Systems Ltd.* продавала оборудование в Иран. Речь идет о самом высокотехнологичном оборудовании, позволяющем следить за операциями в Интернете. Торговля между израильской компанией и Ираном проходила при помощи посредника в Таиланде. Товар поставляли в Бангкок, где сотрудники фирмы снимали с него все бирки и печати, свидетельствующие о том, что его произвели в Израиле, и переправляли в Исламскую Республику. Совет директоров компании *Miracle Systems Ltd.* заявил, что не имеет ни малейшего понятия, как оборудование фирмы попало в Иран.

Ну, что ж, контора пишет... Вполне вероятно, что данная компания – наш троянский конь, подстава для внедрения в Иран шпионского оборудования, из тех, что заражает иранские компьютеры трудолюбивым вирусом-осведомителем. В последние несколько лет – рутинная практика: все те же Меиоровы пацаны, их высоколобый вклад в рутинную битву.

В противном случае владельцы подобной фирмы уже давно бы отдыхали на удобных нарах... Леон поднял глаза, пробормотал:

– Недурно. Всюду жизнь... И что же?

– То, что шестьдесят процентов акций компании принадлежали Иммануэлю, – произнес Калдман, с хищным интересом уставившись на собеседника, хотя выражение лица у того почти не изменилось, лишь брови дрогнули:

– То есть?

– Вернее, все еще принадлежали. Он ведь, сам знаешь, не особо разбираясь во всех этих высоких технологиях, отлично разбирался в одном: в бизнесе. И приветствовал все новое, и вкладывал во все, что его удивляло или покоряло. Вспомни хотя бы его космическое кресло – оно разве что канкан не плясало. Вот так однажды к нему явились трое хиппи с идеями, он их выслушал и чуть ли не на другой день открыл под них фирму, которая очень скоро вышла на серьезный рынок и с каждым годом набирала обороты. А после смерти Иммануэля ее, понятно, со всем остальным капиталом унаследовали дети, которые ни ухом ни рылом ни в высоких технологиях, ни в бизнесе вообще, – что престарелый плейбой Алекс, привыкший жить на проценты с отцова капитала, что Мири с ее кураторством выставок этих недоделков-концептуалистов.

Придвинув к себе тарелку, Натан вонзил вилочку в бок роскошного торта.

– Ее последний проект – молитва нудистов на Мертвом море... Они даже ролик на Youtube выложили, не постыдились. Можешь сам посмотреть, зрелище убойное: толпа голых мудаков с болтающимися причиндалами поклоняются восходящему солнцу. Прочие отдыхающие, роняя полотенца, бегут в свои номера с перекошенными лицами. Называется *перформанс* «Ликование лучей» или что-то вроде этого. – Он пожал плечами и добавил: – Я, наверное, безнадежно стар. Мне по-прежнему нравятся Веласкес и Гойя.

Вилочкой отколупнув изрядный кусок торта, подцепил, отправил в рот, вдумчиво прожевал.

– М-м-м-м!!! – протянул, восхищенно покачивая головой. –

Перефразирую известное высказывание: «Вена стоит десерта!»

Вновь после перерыва у рояля возник пианист-невидимка, светло и меланхолично зазвучала гениальная «Summertime», давно ставшая расхоже-ресторанной.

– Но суть не в перформансе, бог с ним. Тебе известно: Иммануэль буквально до последнего дня держал в голове и сам курировал дела тех своих компаний, акции которых так и не решился продать. Так вот, после его смерти детишки решили к чертовой матери пустить по ветру все заботы. И тут весьма кстати, с неба или из-под земли, это уж как кому нравится, является новый репатриант, некий российский бизнесмен Андрей Крушевич, симпатичный такой господин лет за шестьдесят. Скупает на первом этапе сорок процентов акций и автоматически становится членом совета директоров. Порывался скупить и остальные акции и был недалек от цели – уж очень наследники желали освободиться от папиных затей... Ты не хочешь попробовать мой торт? – спросил Натан с неожиданно домашней интонацией, как будто они сидели на террасе дома в Эйн-Кереме и Магда только что внесла бокастый фарфоровый чайник с малиновыми розами. – Это действительно что-то выдающееся, райский вкус. Нет? Напрасно... Между прочим, господин Крушевич отнюдь не укладывается в образ мафиозного быдла. Он ученый, образованный человек, у нас развил бурную деятельность и даже баллотировался в Кнессет от одной из русских партий. Но едва грянул вот этот самый, – Натан кивнул на газетную вырезку, что сиротливым горбом валялась у тарелки Леона, – этот праздничный салют... Знаешь, случай – один из тех, что нарушает тщательно продуманные аферы: один наш парень, странствующий после армии по лаосам-гвинеям, увидел в неосторожно приоткрытой двери в багажном отсеке аэропорта две башенки из одинаковых коробок: одна со знакомыми бело-голубыми звездочками, другая *переодетая*, готовая к отправке в Тегеран. Вернувшись, позвонил другу в «Маарив», тот сразу же «запустил клеща»... И наш новый репатриант, без пяти минут член Кнессета, в тот же день сделал ноги без торжественных прощаний. Видно, сильно расстроился. Уехал здоровье поправлять – и, возможно, в какой-нибудь Пхукет, Ко Ланту, Краби или что-то вроде.

Ну, вот вам и Шуберт, Франц наш Абрамыч, вот вам и неистовое стремление к счастью, действующее как озон, вот вам и учащение пульса, и потусторонний мажор в миноре.

В который раз он ощутил тоскливое предвосхищение развития темы, в который раз испытал бессильную ярость пленника, упершегося лбом

в очередной тупик лабиринта.

– Получатель в Бангкоке тоже моментально растворился, – продолжал Калдман. – Ни офиса, ни сотрудников, ни документов. Фирма арендовала закуток в багажном отделении аэропорта, там же обрабатывали полученные коробки с оборудованием, *переодевали* их и отправляли дальше. Так вот, буквально на другое утро после выхода газеты все следы были заметены, все носы подтерты, все ширинки задраены, – на диво оперативная и тщательная работа. Судя по всему, тут действует некая прямая связь Израиль – Таиланд.

Калдман склонился над столом, слегка подался к Леону:

– Все это не ново. Помню классический случай, когда оружие, расфасованное по контейнерам, честь по чести запечатанное металлической лентой, исчезло по пути в Южную Африку на краткой дозаправке самолета, а к месту назначения прибыли в точности того же веса и в тех же контейнерах болты и шурупы. И что? Ничего. Фирма получила свои деньги по страховке. А дальше – как у Шекспира – тишина. Точнее, грохот пулеметных очередей и взрывы на улицах какой-нибудь колумбийской столицы. Или где-нибудь еще – тамошняя мафия, я уверен, нашла применение нашим «узи», «таворам» и «галилям»...

Он метнул острый взгляд на Леона, с напором произнес:

– Мне почему-то кажется, что Иммануэлю не понравился бы такой ход событий.

Эти его краткие и острые взгляды и сами по себе (из-за хищного левого глаза) напоминали пулеметные очереди. Во всяком случае, если у Леона и не возникло пока желания распластаться на полу, то отвести взгляд уже хотелось.

– Так и вижу его взбешенное лицо. И вообще: эта дерьмовая история для меня – личное унижение. Собственный провал.

Две-три секунды Калдман молчал, держа свою знаменитую говорящую паузу, которую, по условиям игры, должен был нарушить Леон. Но тот невозмутимо дожевывал кислую вишенку, добытую с вершины кондитерского монблана.

– А может, ты и прав, – сдержанно добавил Калдман (вновь мимолетный цепкий взгляд), – мертвым дела нет до унижений.

Да, я прав, ожесточенно подумал Леон, мертвым дела нет до унижений, а ты не втянешь меня в это чертово колесо. Я давно закончил ваши университеты, прошел вашу практику провалов и торжества и понял главное: я хочу быть подальше от того и от другого.

Неожиданно ему захотелось, чтобы у столика вновь возникла та

диковатая девица с окольцованным лицом, с густыми шелковыми бровями.

Зачем, зачем она их проткнула?! И если бы извлекла металл, если бы разоружилась – заросли бы дырочки в коже, или это лицо, собранное из нежных раскосых овалов, навсегда осталось бы меченным белыми оспинами шрамов?

Заодно интересно знать, на что тебе сдалась эта девчонка, что за тревожащая связь тебе почудилась между нею и самим собой?.. Как странно голос ее звучит – *упругий*, сопротивляющийся... Преодоление... чего? Угловатость жестов... Откуда эта необъяснимая схожесть между вами, какая-то опасность, обоюдная загнанность?

Изумившись этой мысли, столь посторонней всему разговору, всей трудной встрече с Калдманом, он тряхнул головой и спросил:

– А оборудование... ну, то, на чем специализировались ребята Иммануэля, – что оно собой представляет? И за какими операциями, говоришь, позволяет следить?

Натан откинулся к спинке дивана, остерегаясь спугнуть неожиданный интерес своего *сложного* собеседника. Помолчал, выбивая покалеченными пальцами на скатерти джазовый ритм звучащей мелодии. Лениво произнес:

– Да за любыми, в сущности, операциями: электронная почта, сайты, круг интересов и, главное, контакты. Нас ведь многие личности интересуют – например, те же охотники взорвать свою жопу в людном месте. Ну и еще кое-кто... Представь небольшие такие коробочки, напшигованные хитроумными чипами, которые позволяют... Только не спрашивай меня о технических подробностях. Если коротко: они многое позволяют, ингелэ манс.

Ну что ж, более или менее понятно. Вслух Леон спросил:

– И что... так-таки ничего не удалось зацепить в Бангкоке?

– Почему же... *кое-что* удалось, я же говорю: главное в нашем деле – *наблюдательность*... Господи, ну и духота!

Натан схватил салфетку и принялся обмахиваться ею, отчего его мясистое багровое лицо возникало в трепыхании белого льна – в этой картине чудилось нечто балетное, что-то от танца маленьких лебедей. Жаль, что он так перенапрягается, подумал Леон, так явно переживает. Интересно – решится на шунтирование? Магда вроде бы настаивала, он сопротивлялся... Как бы спросить поаккуратнее, он ведь ненавидит все эти медицинские *цирлих-манирлих*.

– Ты можешь сказать, что не такое уж сложное дело – найти концы и затребовать у тайцев выдачи Крушевича. И те с удовольствием пойдут нам навстречу – на черта им эта головная боль? Но есть в деле одна

запятая, один порожек, через который мы переступить не торопимся. Оттуда может потянуться нить, как Гедалья считает, в очень перспективном направлении. Именно поэтому пока не хочется трубить сбор. Понимаешь, когда мы вышли на Крушевича и стали копать всю историю купли-продажи акций злосчастной компании Иммануэля, секретарша вспомнила, что Крушевич однажды звонил из офиса и довольно нервно говорил по-русски – вероятно, не слышал, что девушка уже вернулась из кафе, куда он послал ее за гамбургерами. А может, просто не предполагал, что по-русски она чуть-чуть понимает. Ее привезли в раннем детстве, язык она знает плохо, но отличить русский от любого другого в состоянии. Разговора толком не поняла, да они наверняка и говорили-то, знаешь, как водится... Но уверена – по интонации, – что Крушевич был то ли раздражен, то ли встревожен. И дважды громко назвал собеседника «Казак». Думаешь, это кличка или фамилия?

– Может быть и тем и другим.

– «Казак»... – задумчиво повторил Натан, будто пробуя слово на язык. Потянулся к пучку зубочисток в крошечном фарфоровом стаканчике, вытянул одну и стал кропотливо освобождать ее от прозрачной обертки. – Казаки – разве это не украинцы?

Леон тронул ложечкой толстую матрасную пену на капучино в чашке, копнул чуть глубже. Он, как и Эська, любил сладости и откровенно предвкушал удовольствие, совершенно по-детски злясь, когда это удовольствие ему мешали получать. У него не было и тени сомнения, что Натан отлично знает, кто такие казаки.

– Не совсем. Это народ такой, сложился из разных этнических групп, как и все народы. Но сравнительно недавно. При царе были неплохими вояками, служили в основном в кавалерии. Было кубанское войско, донское, яицкое. Вольные люди, лихие рубаки... Нагайки там, папахи, сабли, прочий реквизит, обожаемый украинскими евреями, которых они порубали немало. С одним кубанским казаком я был знаком. Он преподавал у нас в консерватории. Между прочим, неплохой бас, но тоже – с нагайкой. Когда ты пытался ему возразить, что вот у Бетховена тут ясно указано, он взмахивал нагайкой и кричал: «Я здесь Бетховен!» – Леон улыбнулся воспоминанию. – Так что же, собственно говоря, вас насторожило? Мало ли кому человек мог звонить и с кем говорить по-русски. Вот если б вдруг он заговорил на суахили...

Последние минут десять Леон то и дело задерживал рассеянный взгляд на входной двери, и Калдман, заметив еле уловимое движение его

глаз, отнес это на счет нетерпения – закончить встречу, распрощаться, улизнуть. Поэтому энергичней приступил к сути дела.

– Видишь ли, – со значением произнес он, – уже несколько лет мы гоняемся за одной тенью. По некоторым признакам этот тип – ключевая фигура во многих сделках по продаже оружия распоследнему сброду в самых вонючих подворотнях нашего региона. Например, российские триггерные устройства, без которых не сладить бомбу для очередной славной *весенней демократии* у нас под боком, – они приплывают в какой-нибудь Ливан не по случайной цепочке. Не исключено, что сам он обитает где-нибудь в Европе, но материализуется в разных местах. Ты же знаешь, все эти агенты-оружейники ведут кочевую жизнь: их можно встретить где угодно. Такой вот аноним. Валькирия на ближневосточном небосклоне. Да и черт бы с ним. Мы и сами – оружейная держава и продаем этих конфет и пуговиц на семь миллиардов в год. Но недавно от него пахло ураном и еще кое-чем, из чего мастерят «грязную бомбу». А это нам уже совсем не понравилось. Знаешь, как в готических романах: появляется призрак, его сопровождает запах сырости и ледяной холод... Так и здесь. С одной стороны, «грязная бомба» – это, конечно, небольшой радиус действия. С другой стороны – одной такой пугалки, прилетевшей из Ливана в Хайфу, как ты понимаешь, вполне достаточно для серьезной беды... Не далее как вчера в бегущей строке новостей Би-би-си: озорники из «Аль-Каиды» где-то в глуши затрушенной Анголы напали на полицейский участок и *урановые рудники*, которые разрабатывает некий западный предприниматель. Что за предприниматель, сколько их там, этих предпринимателей... А главное – «Аль-Каида»! Которая спит и видит «грязную бомбу», много маленьких таких грязнуль, чтобы вытрясти душу не только из Израиля – из кого угодно. Недаром они распихали спящие ячейки по всей Европе... Ты, возможно, помнишь одну историю чуть не восьмилетней давности: провал попытки переправить партию урана из Танзании в Казахстан, где руду должны были обогатить, а затем из Актау – Каспием – в Иран? Но на границе Танзании один контейнер показался подозрительным, и отправка сорвалась.

– Казахстан? – с сомнением переспросил Леон.

– О-го-го! Еще бы. Второе место в мире по запасам урана, и они ежегодно наращивают добычу и обогащение.

– Хм... я думал, после закрытия Семипалатинского полигона они вернули России все атомные бомбы.

– Вернули, вернули... Однако в девяносто шестом в печати мелькнуло, что Казахстан тайно продал Ирану три советские ядерные боеголовки.

– Чепуха: возврат боеголовок проходил под международным контролем.

– Допустим. Возможно, тюлька. Но полигон практически не охранялся, и, скажем, плутоний, собранный где-нибудь в районе «Плутониевой горы» в пластмассовое пляжное ведро, вполне мог быть использован по назначению. Ты представь ситуацию: развал СССР, новые отличные возможности для контрабанды урана и прочего добра – цезия или того же плутония. Особенно если у заинтересованных лиц есть на месте давние завязки и институтские дружбы...

Леон сосредоточенно подбирал ложкой остатки ванильной пенки. Поднял голову:

– При чем тут институтские дружбы? Чьи дружбы?

– Пока не знаю. Но Крушевич учился на отделении ядерной физики в МГУ и после диплома получил направление в Курчатов, на Семипалатинский полигон. То есть каждого полевого тушканчика знает там в лицо и прекрасно осведомлен во всем, что касается урановой добычи в Казахстане.

Калдман вонзил зубочистку между двумя передними зубами, провернул ее с ожесточением.

– Ты решил что-то насчет шунтирования? – спокойно спросил Леон. Натан застыл с торчащей во рту зубочисткой, сломал ее, чертыхнувшись, вытащил и бросил на тарелку.

– Иди, поцелуйся с Магдой! – рявкнул он. – Вам что, не терпится усадить меня в инвалидное кресло?!

Уже не церемонясь, с силой отер потное лицо салфеткой, смял ее и бросил на стол. Помолчал, остывая, вроде бы злясь, как, бывало, злился на домашних, на деле же – деликатнейшим охотничьим чутьем предчувствуя ту самую *тягу*, что изменяет весь ход охоты... И точно: Леон отодвинул от себя тарелку с недоеденным десертом и нетерпеливо спросил:

– Ну, и что ты хочешь *от меня*?

И сразу же мысленно проклял свою торопливость, странный яростный азарт, гончую ненависть, что всегда охватывала его, стоило замаячить вдали давним теням мертвенной равнины мессы...

– Ничего. – Натан улыбнулся: старый косой людоед в предвкушении завтрака. – Чтобы ты отдохнул в Таиланде.

И, вновь отметив беглый взгляд собеседника на двери ресторана, уже иным тоном, скупыми фразами, как обычно говорил с подчиненными в кабинете:

– Мы думаем, Крушевич отсиживается где-то там. В Патайе.

Или на Ко Ланте.

– Какие основания?

– Тассна. Пристроен в фирму-кейтеринг, которая принадлежит французскому еврею из Ниццы: приемы-фуршеты, пикники, *корпоратив*... Тассна уверен, что Крушевич был на одном из приемов... на чьей-то яхте, возможно, на своей.

– Хм... Яхты имеют обыкновение уходить, приходить, – заметил Леон. – Становиться на якорь, сниматься с якоря... Название?

– «Зевс». Ходит под флагом Сьерра-Леоне, принадлежит какой-то торговой компании.

– Натан... – Леон пожал плечами. – Все это какой-то детский лепет. Что значит «Тассна уверен»? Он Крушевича видел? Опознал по фотографии?

– В том-то и дело: не видел, а *слышал*. Слышал, как женский голос из толпы гостей крикнул: «Андрей! Госпо-дин Крушевич!» И что-то там по-русски... Однако, учти, парень крутился как черт. Он ведь не гостем был, а работал, обносил столы. Выспрашивать, кто что крикнул, да еще по-русски, не мог. Дело не в этом. Мне не хотелось бы торопиться с Крушевичем. Меня беспокоит «Казак» – что это за фигура? Как и с кем связан? Именно за ним я вижу серьезную сеть – если, конечно, он тот, о ком я думаю, а не просто случайный знакомый Крушевича: такое тоже может быть... Во всяком случае, хотелось бы, чтоб вокруг этой парочки пока было тихо. Пусть думают, что натянули нам нос...

– Тем более что так оно и есть, – не церемонясь, отозвался Леон.

– Да-да... именно, *ингелэ манс*. Сам не знаю, почему прошу тебя приняться. Меня интригует этот тип. Прощупай тамошнее русское общество, ты это умеешь. Хочу, чтобы ты пошлялся там со своим гениальным слухом, универсальной внешностью и, главное, своим русским языком. Уверен, у тебя найдутся знакомства... Ты же не в штате. Ты у нас приглашенный солист. – Опять расцвел своей раскосой улыбкой и добавил: – И, главное, Леон, не увлекайся. Никто не требует от тебя джигитовки на мотоцикле. Мотоциклисты проходят у нас по другой ведомости.

Он подметил очередной ускользающий взгляд Леона, решил, что главное сделано, и удовлетворенно продолжил:

– Разумеется, там сидят и наши люди. Но у них другие методы работы, и мы бы не хотели, чтобы ты с кем-то сталкивался. Наоборот: даже если кто покажется знакомым, ты его... не узнай. – Он скупой улыбнулся и повторил: – Ты не в штате, ты приглашенный солист.

В эту минуту входная дверь открылась и некоторое время пропускала небольшую, но яркую компанию явно восточного образца: пять женщин, трое детей и двое мужчин. Все прекрасно одеты, женщины, несмотря на дневное время, увешаны золотом. Все смуглые и черноволосые. Тем более среди них выделялся высокий представительный блондин лет пятидесяти, со странно неподвижным, слишком симметричным, будто вырезанным по лекалу лицом.

Компанию встретили и сопроводили в противоположный конец зала к трем сдвинутым столам. Очевидно, семейное торжество, все заказано заранее.

Леон отвернулся от них и проговорил ровным, почти легкомысленным тоном:

– Знаешь, все жду – когда я начну петь во сне...

– Во сне... – повторил Калдман с недоумением. – В каком смысле?

– Ну, обычно человек совершает во сне то, чем занят наяву... Плотник строгаёт, парикмахер стрижет, портниха кроит или там вертит ручку швейной машинки. Все жду – наступит ли день, когда во сне я буду петь, а не подсекать бегущего человека, перебрасывать его через себя, ломать ему позвоночник или душить двойным нельсоном... Возникла пауза.

Официант, принимая заказ у восточной семьи за длинным столом, как дятел, склонялся к дамам. Сюда долетали звонкие голоса их детей, на которых матери шикали. Над всеми возвышался блондин с постной физиономией.

Натан прокашлялся.

– Боже упаси! – проронил он сочувственно. – Душить?! Человека?! О чем ты говоришь?..

Кто, черт побери, заставляет его душить человека, что за бред, для этого существуют другие люди... Ну да: это он «образно говоря»... Артист, эмоциональный человек, проклятый груз памяти...

Натан вдруг сильно устал. Не так, как бывало раньше в середине дела, в гонке интересов, в захлебе погони, – по-стариковски устал. Последние пару лет его донимали сердечные спазмы, о которых он боялся думать. Он уже не чувствовал прежнего гончего азарта в достижении цели, в тонкостях вербовки, в поэтапном составлении плана разветвленной операции.

Сорвалось, подумал Натан, не ощущая ни досады от неудачи, ни обиды на Леона, одну лишь пустоту и тихое нытьё в груди, слева, будто там сидел и поскуливал новорожденный щенок, напоминавший о себе

по ночам и в такие вот минуты усталости. Ну что ж, сорвалось – и довольно. Действительно, следует оставить его в покое. Пусть наконец все его таланты служат сцене и музыке: его голос, артистичность, реакция. Грациозная сила нападающей змеи...

– Знаешь... ты прав, – наконец выговорил Натан. – Мы в последнее время злоупотребляли твоей готовностью помочь, твоим дружеским чувством, а может, просто неумением решительно отказать старым друзьям... Забудь все, о чем мы тут говорили. Ты прав – и свободен.

Он хотел добавить – умиротворенным тоном, будто ничего не произошло, – что надо бы счет попросить, что вечером у него билет на органнй концерт в Карлскирхе, потом такси в аэропорт, а до того хорошо бы навестить еще одного человечка. Хотел категорически замять всю эту беседу, сердечно попрощаться и поставить, наконец, точку...

... о, не в их отношениях, конечно! – разве их отношения держатся только на деле? Разве не вырос мальчик у него на глазах, разве не кричала вчера за завтраком Магда, когда он так глупо обмолвился – вот, мол, передам от тебя привет Леону: «А я говорю, ты оставишь его в покое! Пиявки, безжалостные мясники, отпустите парня!» Магда... Странно, что за глаза она часто называла Леона сиротой. Это при живой-то матери! Впрочем, женщины такие вещи тонко чувствуют. Во всяком случае, первый кусок за столом следовал в тарелку Леона, а вовсе не Меира – тот всегда лучился здоровьем и полнокровным удовольствием, которое с детства получал от жизни.

Меир-крепьш никогда не нуждался в сочувствии.

Осталось позвать официанта и попросить счет.

– Знаешь... – проговорил Натан и спохватился: – Вернее, конечно, не знаешь. В семидесятых, когда СССР приоткрыл щель и оттуда потек «народ мой», улов ребят из Сохнута на венском перроне был до смешного мизерным. Советские евреи прямоком направлялись в Америку, кое-кто оставался в Европе, но все готовы были рвануть куда угодно, только не в Израиль. Кислая картина... А мы арендовали целый замок, Шёнау, где люди пересиживали между советским поездом и самолетом в Бен-Гурион. Аренда, охрана – затратная история. Ну, и решили вместо замка снять несколько пунктов передержки. Один такой открыли в восьмом бецирке, в Йозефштадте. Обычная квартира на Флорианигассе, семь. Контора тогда очень тщательно отслеживала появление в городе каждого человека с подозрительным типом внешности. Любого, вроде тебя, ингелэ

манс, – извини! – брали на мушку. Мне по службе приходилось бывать здесь время от времени.

Так вот, из окон этой квартиры как на ладони был виден подъезд дома напротив, Флорианигассе, десять, откуда в декабре тридцать восьмого года шуцманы-австрияки вывели мою мать Эльвиру с двумя детьми – четырнадцатилетним моим братом Эвальдом и мной, двухмесячным. Заметь: собственная квартира в восьмом бецирке, в Йозефштадте – мамино приданое... Это всегда был весьма респектабельный район, почем там жильё сегодня, представить страшно. Все чин-чинарем: мать тащила неподъемный чемодан в одной руке, меня несла в другой, Эвальд тоже нес чемодан, а в левой руке – роскошный, коричневой кожи футляр с отцовской скрипкой. Сам отец, бывший концертмейстер вторых скрипок Венского филармонического, участник Первой мировой, подпоручик Линцского королевско-императорского полка и кавалер боевых орденов, на тот момент уже благополучно сидел в Маутхаузене: через месяц после аншлюса повздорил с тубистом – главой оркестровой ячейки нацистской партии. Мать говорила, что у отца всегда был «вздорный характер и замашки подпоручика».

Едва зашли за угол дома, вахмистр шуцманов рванул у Эвальда футляр. Тот вцепился, дурачок, – отцову скрипку пожалел. Ну, и боров-вахмистр саданул пацана кулаком в грудь так, что отбросил на мостовую, а футляр со скрипкой, разумеется, отобрал. Между прочим, оригинал «туринского» Джованни-Батиста Гваданини – тебе приходилось встречать инструменты его работы? Он в этикетках именовал себя учеником великого мастера: «*alumnus Antonio Stradivari*». Эвальд говорит, когда отец разыгрывался зимой при открытой форточке, слышно было на другом конце улицы, так что, возвращаясь из гимназии, брат издали знал, дома ли отец. Сегодня такой инструмент стоит весьма приличных денег и продается только своим либо на серьезных аукционах...

...Судя по всему, восточная семья за длинным столом чествовала старую даму с излишком золота на шее, в ушах, на запястьях. То и дело кто-то из гостей поднимался, долго что-то говорил, прижимая руку к груди, затем подходил к даме и целовал ее в морщинистые щеки.

Высокий блондин тоже поднялся и тоже долго распинался с неподвижным лицом, при этом старая дама растерянно смотрела на него, точно силилась и не могла припомнить этого человека. Впрочем, он, как и все, подошел и расцеловал старуху в обе щеки.

– Да ты ведь слышал эту историю, – спохватился Натан. – Извини, конечно слышал: для нас все кончилось благополучно и относительно легко – скрипочка не в счет. Мать добралась с нами до Англии, а сразу после войны, в сорок пятом, мы приехали в Палестину. Правда, уже без отца...

Так вот, в квартиру на Флорианигассе, семь, попадала разная публика, и далеко не каждый день: бывали времена, когда из России в Вену прибывало сразу несколько поездов и авиарейсов, а к агентам Сохнута не подходил никто. Говорю тебе: советские евреи стремились в Америку – страну великих возможностей. Маленький заштатный Израиль, восточная провинция, крошечный островок в море арабской ненависти – он их пугал. У тех же, кого нам удавалось «выловить», был, как правило, затравленный вид. Они ни черта не понимали, ничего не знали. И с таким же затравленным любопытством глазели на красоты Вены – вот он, настоящий Запад! Иные даже опасались выходить на улицу: так и сидели в квартире до отправки в аэропорт. «Запад» видели из окна – угол дома, чистенькая подворотня, брусчатка, аккуратные мусорные баки во дворе.

Короче, летом семьдесят девятого, когда Советы выпустили максимальное число «отъезжантов», а мы, неудачливые рыболовы, сидели на бобах, попало туда, на Флорианигассе, семь, семейство из... как тогда назывался Петербург?

– Ленинград...

– Да, из Ленинграда. Муж, жена, двое деток и старушка-бабушка, интеллигентного такого вида дама, но удручена до невозможности. Молодые с детьми отправились гулять по городу, а старушка смотрит в окно на подъезд моего родового гнезда, и слезы текут у нее ручьями. Думаю: господи, ну, я бы рыдал – понятно, а она-то что здесь потеряла?

– Ты бы рыдал... – усмехнулся Леон.

– Именно! – подхватил Натан. – Вежливо спрашиваю старушку: *can I help you?* Та с трудом: «Их фарштэе нйт!» Перешел на муттершпрахе: что же так огорчило гнэдиге фрау? Радоваться надо: ее семья благополучно вырвалась из антисемитской страны, послезавтра приземлится на родине, и внуки не узнают ужасов тоталитаризма!

Старушка по-немецки еле-еле, больше на полузабытом идише, и то через пень-колоду: ах, молодой человек, я даже гулять с детьми не пошла, боюсь – увижу Вену, тут же слягу. Видела снимки этого самого Израиля – тоска, провинция, пальмы... Сыну-то плевать, начитался, молодой дурак, этого их Жаботинского. А я, между прочим, – кандидат искусствоведения, историк архитектуры, родилась и всю жизнь прожила на Фонтанке... И что

увидю в последний час – уродливые пыльные бараки?

Ну, стал я уговаривать: Израиль – страна красивейших пейзажей, колыбель западной цивилизации, подобно Греции и Риму... – Натан хмыкнул: – Скажу тебе откровенно: пейзажи пейзажами, а только у нас инструкция была: никаких отрицательных сведений. Да, так я ей говорю: своими глазами увидите места, описанные в Библии. Старушка, услышав про Библию, сердито отмахивается: «Генуг!» Это ассимилированное поколение, знаешь, они иудаизм ненавидели... Моя бабка, кстати, тоже. Ну... отмахивается от меня фрау историк архитектуры и в слезах раздраженно кивает в окно на «мой» подъезд: смотрите, мол, вот это – культура, это – западная цивилизация, а вы мне – «родина», про какую-то чуть ли не Уганду! Смотрю ее глазами: действительно, красиво – стиль модерн, первое десятилетие прошлого века... Ну как, думаю, объяснить бабке: когда из такого великолепного подъезда тебя в лучшем случае вышвыривают на улицу, когда ты вне закона и никто не спасет, когда жизнь твоих детей зависит от настроения и алчности какого-нибудь австрияка-щущмана, единственной мечтой поневоле станет свое государство – с любой, пусть самой уродливой архитектурой. И я, знаешь... я почему-то промолчал тогда. Подумал: старуха уйдет своим чередом, бог с нею и с ее архитектурой; молодые притерпят, все у них худо-бедно перемелется. А вот дети будут наши! – Он глянул прямо в глаза Леону и повторил: – Наши! Арифметика простая, парень...

И неожиданно для себя самого, порывисто подавшись к Леону и перейдя на придушенный хриловатый иврит, Натан проговорил, тыча изувеченным пальцем в стол:

– Просто я помню, как ты относился к своим агентам: все их проблемы ты брал на себя! И я был уверен, что этот вонючий финт с компанией покойного Иммануэля приведет тебя в бешенство! Я думал: ты ведь так был к старику привязан, ты не позволишь... Думал, захочешь раздавить слизняка сам! Ведь то, что у нас называется «хешб́он нэ́ф еш»^[18], – это единственное, что, в конечном счете, остается от человека. Да, это так же нематериально, как наш абстрактный Бог, и это, конечно, безумие, согласен – выбирать какое-то там достоинство, месть за покойного друга, который не может постоять за себя сам, и прочую муру, вроде благодарности за добро, сделанное тебе, мальчишке...

Леон опустил глаза на свои сцепленные на столе руки, медленно разжал их и аккуратно отодвинул тарелку с недоеденным десертом. Он безуспешно пытался сохранить невозмутимое лицо. Вот уж кто умел

доводить до белого каления, так это Калдман, – вот кто умел вытащить твои кишки, намотать на кулачище, напомнить о твоём собственном доме, тоже отнятом бог знает кем! И неважно, что ты понимаешь и видишь, как он это делает, да и сам когда-то много раз прибегал к подобным штукам; все это уже неважно...

Пытаясь совладать со своим бессильным бешенством, Леон процедил:

– В ближайшие недели у меня слишком плотный график.

– Неужели? – живо спросил Натан. – Выступления? Репетиции?

– Через три дня – концерт в Батуми.

– О! Что поешь?

Господи! Вот клещ! Вот же клещ проклятый!

– «Аве Марию» грузинского патриарха Илии Второго... – холодно ответил он, уже взяв себя в руки.

– Что ты говоришь! Сам патриарх сочинил музыку? Правда?! Брось: наверняка напел по телефону, а там уж грузинские музыкальные негры сбежались оркестровать, а? Не патриаршее дело – партитуры чирикать... – И с увлеченным интересом: – Ну, а потом? После Батуми?

– Потом начнутся репетиции «Алессандро».

– Отлично. И когда премьера?

– Четвертого сентября.

Калдман вздохнул и с облегчением произнес:

– Значит, в лучшем случае конец сентября...

В голосе его, однако, уже слышны были обычные командные нотки, уже отбивали чеканный шаг барабанные палочки. Он и не скрывал торжества: охотник, попавший в летящего тетерева; рыболов, подсекший крупную форель в тихом джазовом ручье...

– О деталях – ближе к делу, – он словно отмахнулся от чего-то незначительного. – Чуть позже получишь все фотографии, все материалы. – И, чувствуя внутреннюю потребность в завершающем аккорде – старый меломан! – подпустив чуток вибрации в свой «венский» задушевный тембр голоса, проговорил: – Даже если ты просто покрутишься по островам и потом напишешь эссе о впечатлениях путешественника (но без публикации в *National Geographic*), – это с лукавой улыбкой, – мы будем благодарны. – И твердо повторил: – Мы будем благодарны за любой твой форшлаг, *ингелэ манс*. За любую трель. Пусть даже и канареечную!

На этом деловой разговор был окончен.

И пока они высвистывали официанта и просили счет, пока

расплачивались и ожидали назад карточку (платил Леон: Натан в казенных расходах был щепетилен, а в личных на удивление прижимист – у каждого свои недостатки) – все это время говорили о музыке. Только о музыке:

– Да, литургию, причем разную, очень люблю. Готов примириться со всеми на свете верами. Многие у нас жалуются на крики муэдзина в рассветный час, а я признаюсь тебе, что и пение муэдзина мне нравится: и это ведь – глаза, обращенные к небу, не так ли?

Это тоже было импровизацией на вольную тему. Кое-кто из старых друзей еще помнил знаменитую выходку молодого Калдмана, лично расстрелявшего со своего балкона динамики на минарете соседней – через ущелье – арабской деревни, мухтар которой не пожелал удовлетворить просьбу местных властей убавить звук трансляции утренней молитвы. Это стоило Калдману больших служебных неприятностей, однако с тех пор песнь муэдзина его рассветный сон не тревожила.

– Но Шубертом ты меня пронзил, Леон! Всегда думал: твой специфический голос предназначен для, скажем так, чисто «котурного» репертуара – барокко, в крайнем случае классика. Но «Серенада»!.. Ты просто создан для музыки романтиков! Почему бы не замахнуться на «Winterreisen»? Хотя бы на «Мельничиху»? Дай старику помечтать! «Миньону» помнишь?

Леон хмыкнул и слегка – в четверть, да куда там, в одну шестнадцатую голоса, чтоб слышал только Калдман, – прошелестел-промурлыкал:

Kennst du das Land, Wo die Zitronen blühn?
Im dunklen Laub die Goldorangen glühn?^[19]

Натан прикрыл веки: дегустатор, вдохнувший редчайший аромат.

– Боже, какая модуляция – из ля мажора в до мажор – альтерированную верхнюю медианту... И это начало девятнадцатого века! Какой, к черту, Бетховен!

Компания за длинным составным столом перешла к десерту, и, значит, слишком задерживаться не стоило.

Леон терпеливо переждал, пока откроются мечтательно смеженные глаза Калдмана в бегемотьих складках набрякших век.

– И наконец, в-третьих... – пряча банковскую карточку в портмоне,

сказал Леон, как бы подхватывая упущенную нить разговора.

– Что – в-третьих? – рассеянно отозвался Калдман.

– Я назвал две причины, по которым затащил тебя в эту шикарную душегубку, – пояснил Леон с меланхоличной полуулыбкой на аскетическом лице египетского жреца, – Троцкий. Моя музыкальная прабабка. И в-третьих... Глянь-ка в зеркало за моей спиной, левее... да! Восточная компания за длинным столом. Мужчина между жгучих женщин... Не тот, что похож на одесского докера, – то господин Крюгер, австриец в десятом поколении, владелец сети прачечных по всей стране. Другой, деревянный блондин с пугающе симметричным лицом, как бы стянутым с арийской колодки. После нацистских бредней в понятие «ариец» обычно вкладывают неправильный смысл. Между тем известно, что настоящие арии – это именно персы, о которых так заботится Шаули...

И наблюдая, как отвердевает лицо Калдмана, как темнеют его глаза раскосого быка, вылетевшего из загона, Леон со злорадным удовлетворением добавил:

– Не стоит сверять с фотографией. Вы еще не знакомы с его новой внешностью.

– ...С-с-суккин сын!!! – восхищенно прошипел Калдман, ударив по столу покалеченной ладонью. – Как тебе удалось?

Леон потянулся к графину, вылил в бокал остатки воды, выпил и с едва заметной горечью проговорил:

– Ты забыл, что, помимо делишек вашей сраной конторы, я занят кое-чем еще и, когда не убиваю людей, веду жизнь приличного человека...

Тот поздний теплый вечер после премьеры «Блудного сына», совершенно безветренный (редкость в Венеции в начале апреля), – тот вечер, переходящий в ночь, которую они с Шаули провели за столиком паршивой забегаловки с «пиздоватыми» куриными ножками на вывеске, – он словно вчера миновал. Во всяком случае, Леон ясно помнил уголок набережной в проеме настешь открытой двери, горбатый мостик с каменными перилами, иконное сияние небольшой луны и черно-золотую от света фонарей воду канала, где то и дело в полной тишине возникала и скользила очередная припозднившаяся гондола, гордой грудью уминая сеточку слабых звезд на воде.

Оба они прилично выпили.

– До утра заживет, – повторял Шаули, – самолет только в девять.

Стояла оглушительная тишина, такая, какая бывает лишь в уснувшей Венеции, такая, что слышны были пузырьки воздуха в аквариуме,

где в ожидании завтрашней казни колыхался последний угрюмый лобстер.

Хозяин решительно порывался закрыть заведение, но Леон вновь выдавал отрывок из какой-нибудь арии, и всякий раз хозяин остолбенело замирал, благоговейно качая головой, – где-где, а в Италии, даже в третьеразрядных трактирах понимают толк в подобных голосах.

Шаули сетовал, что уже месяца два им ужасно не везет: ищут иголку в стоге Вены.

– Знаем точно, что он в Австрии, – говорил Шаули, – то ли в Вене, то ли в одной из альпийских деревушек неподалеку. По нашим сведениям, приехал с какой-то медицинской целью: на исследования, а возможно, даже для операции. Прочесали все клиники, кроме косметических, – ничего похожего! Единственная зацепка – двоюродная сестрица в одном оркестре, но выхода на нее нет...

(Подразумевал, что выход – вот он сидит, сокрушаясь, что в эти минуты мог бы пить отличное вино в зале приемов «Гритти-Палас», а не стопорить своими руладами хозяина «пиздоватых» ножек.)

– Поверишь, обшарили все, – говорил Шаули, – разве что фотографий не расклеивали и не давали объявлений в газетах: «Разыскивается выдающийся иранский ученый-атомщик профессор Дариуш Аль-Мохаммади».

А напрасно, ребята, вы игнорируете великую косметическую хирургию. Она сегодня чудеса творит.

Как раз профессор Дариуш Аль-Мохаммади, глава администрации завода по обогащению урана в Фордо, где на днях были запущены в строй три тысячи новых центрифуг, был извлечен Леоном самым рутинным способом – из постели.

Сделать это оказалось нетрудно: Наира Крюгер, концертмейстер группы альтистов Венского филармонического, давно посылала ему соблазнительные полуулыбки поверх медовой верхней деки своего дорогого инструмента. Правда, она вовсе не казалась идиоткой (несмотря на то, что уже в лифте, поднимавшем их в номер отеля, доверительно призналась, что, как и многие другие, считала его геем; и он, столь же доверительно, на ушко шепнул ей – как и многим другим – «проверим, детка?»), и все же она не казалась абсолютной идиоткой, потому он и не думал, что все произойдет так ошеломительно просто.

– Как тебе мой нос? – спросила она после несколько удивившей его бури. Он и не предполагал, как раскрепощена и шумлива (несмотря на то,

что в этом дорогом отеле не стоило бы оглушать постояльцев и прислугу) может быть в постели замужняя восточная женщина. – Как мой новый носик?

– Обворожителен, – отозвался он на зевке, мечтая, чтоб она поскорее оделась. До вечерней репетиции оставался еще целый час, и он собирался повести ее в бар и слегка напоить, прежде чем приступить к *разработке* на тему двоюродного братца. Вот уж на нос ее было решительным образом плевать. Вообще-то, и смотрел он вовсе не на нос. Он любовался неожиданным сочетанием в ее фигуре очень тонкой талии и очень полных бедер. Особенно когда она сидела на пуфике перед трюмо. Леон валялся на кровати, изрядно потрепанный ее кипящей страстью, и наблюдал тонкую спину с пышными ягодницами: это было похоже на изящный, плавно стекающий книзу кувшин работы иранского мастера. – Носик твой обворожителен.

Нос, на его взгляд, был ужасен: слишком короткий, неестественно прямой. То ли у хирурга полностью отсутствовало чувство стиля, то ли пациентка просто замордовала бедного австрийца требованиями «европейских пропорций». Ведь ясно, что при этих полукруглых, знойно поднятых бровях, при этих сладчайше вывернутых полных губах лицо требовало крупного носа с горбинкой – носа красавицы с персидской миниатюры, с каким наверняка произвела ее мать на свет божий. И еще раз повторил:

– Чудный милый носик, моя Психея. Но охота ж тебе лезть под нож мясника.

– Это что, – довольно проговорила она, высоко поднимая брови и припудривая лицо, еще не просохшее от любовной испарины, попутно бросая из зеркала многозначительные взоры на простертого Леона. – Это еще чепуха. Видел бы ты, как исполосовали моего кузена! Живого места на лице не оставили. Даже волосы в лысину вживляли. – Расхохоталась и добавила: – Такова жизнь: ты бреешь свою шикарную шевелюру, а другие целое состояние выкладывают, чтобы темечко художественно проросло... Я, знаешь, каждый раз вздрагиваю, как вижу его новое лицо, – не узнаю брата: чужой человек! Где мой любимый Дариуш, с которым мы играли в детстве! Через две недели празднуем в ресторане мамин юбилей, и кузен, само собой, тоже будет... Он обычно нигде не появляется, жизнь у него такая... сложная, но день рождения мамы для него – святое! И я опять себя готовлю, чтобы не ахнуть в первый миг.

...Далее оставалось только правильно поставить парус. Например, вытянуть из нее дату и время семейного торжества: умоляю, моя радость,

я появлюсь в Вене совершенным невидимкой, я ведь буду смертельно скучать. Только глянуть на тебя издали одним глазком, ты даже не заметишь (на торжество она, разумеется, собиралась с супругом).

Из ближайшего интернет-кафе он написал на некий призрачный адресок письмо Шаули: такого-то числа, мол, буду по делам в Вене и с удовольствием пообедаю с тобой, если по случаю окажешься там в то же время. Ждал подтверждения от друга, а получил – буквально к вечеру того же дня – подтверждение от самого Калдмана: окажусь, мол, как же, как же, окажусь по делам в Вене и отобедаю с удовольствием. Старый лукавец уже давно подчеркивал свой *консультативный, а не оперативный статус*, но ревнивым оком все еще посматривал за молодыми оперативниками. Опять же – давно не виделись, отчего и не пообедать?

И вот чем оно обернулось.

«...Жаль, я сидел не один, – объяснит потом Леон *пышной заднице*. – Зато любовался твоим носиком битых два часа».

А может, вообще ничего не говорить? Все равно этой интрижке уготована бесславная кончина. Просто сложилось так, что в ресторан он привел собственного свалившегося на голову дядю, надоедливо глуховатого старикана. Что поделать – все мы заложники семейных связей.

Он оставался за столом еще минут пять, выжидая, пока Натан – сутуловатый и все еще мощный (а со спины так и вовсе не старик) – неторопливо покинет ресторан, пройдет мимо «Дуби Рувки», все так же рассеянно листавшего газету, и *замутится* в толпе.

Затем легко вскочил и сам направился к выходу.

Толкнув дверь, услышал вопль из кухни:

– Ай-я!!! – вопль, что показался ему криком боли: так мог вскрикнуть человек, случайно порезавшись ножом. Но тот же голос через мгновение повторил за его спиной по-русски: – Долго я буду тебя звать?

Снаружи, на ступенях ресторана, с фотоаппаратом в руках стояла девушка, нашпигованная колечками, – та, что неумело их обслуживала вместо отлучившегося официанта. Кажется, она снимала толпу на площади.

Мужчина в белой куртке рабочего кухни, с закатанными по локоть рукавами, бесцеремонно опередив Леона, выскочил на крыльцо и хлопнул девушку по плечу так, что та вздрогнула и обернулась.

– Где ты болтаешься? Немедленно за работу! Когда! кончится! этот бардак, Айя?! – крикнул он прямо ей в лицо. – Когда?!

Выругался в сердцах и вернулся в помещение.

Она негромко, словно самой себе, ответила по-русски:

– Когда ты сдохнешь...

И принялась свинчивать с камеры огромную, как телескоп, явно дороговую линзу *Canon*...

Леон удивленно покрутил головой и спустился на несколько ступеней. Значит, русский – вот родной язык этих пробитых колечками губ.

Мы по-прежнему строим вавилонскую башню, подумал он, – и по-прежнему без особого успеха.

«Дуби Рувка» лениво поднимался ему навстречу. Легко задев Леона трубочкой свернутой газеты, извинился по-немецки и вошел в ресторан. Сейчас займет их освободившийся столик или причалит к стойке бара, и за профессора Аль-Мохаммади с этой минуты можно не волноваться: он будет присмотрен. Профессора станут передавать из рук в руки, дабы с ним – таким красивым, таким арийцем, таким выдающимся ученым – не случилось беды прежде времени. Вот только жаль виртуозной работы австрийского хирурга: Аль-Мохаммади не успеет вернуться к трем тысячам работающих центрифуг, как не успел вернуться из Праги к себе в Натанзу Моджтаба Аль-Лакис, – *Ал-ла иера-а-ахмо!..* [\[20\]](#)

Два бронзовых атлета тоже покинули свой пост и нырнули в подземную стоянку, где им наверняка предстояло преобразиться в нечто гораздо менее блестящее и заметное. И то сказать: сколько может человек, пусть даже обученный, пребывать в неподвижности?

Леон стоял на нижней ступени ресторанного крыльца, готовый двинуться к особняку французского посольства – тут недалеко, двенадцать минут ходу. Он любил приходить вовремя даже на никчемные и утомительные приемы; никогда не знаешь, кого там встретишь и чем может обернуться очаровательный вздор жены помощника атташе по культуре. Стоял и наблюдал броуново движение толпы на площади, все еще обьятой усталым солнцем.

Надо натравить Филиппа на Грюндля, опять подумал он. Припугнуть старую сволочь, пригрозить, что не станем больше у него записываться. Да, именно так – сокрушительный ультиматум: денежки на стол!

Что касается сегодняшней встречи – что ж, *они* полностью использовали свой шанс. Вообще-то, он был уверен, что *зацепить* его можно только через Владку, любимую его пошлую мамку. Правда, Владка была сейчас тоже *изгнана в пустыню*, и хотя время от времени

предпринимала истерические попытки вернуться, не скоро еще вернется; отбудет свой срок на полную катушку. И вот, надо же, как они его *зацепили*, злодеи! – через давно покойного Иммануэля. Нет, все-таки нельзя обрастать болью, пусть даже болью памяти. Надо латать и законопачивать все свои бреши. Его девиз – никаких привязанностей! – был самым мудрым и выстраданным достоянием. Самым драгоценным завоеванием его собственной философии. И все же Натан его достал. Достал в тот момент, когда всерьез и окончательно Леон приказал себе обрубить все связи с прошлым, закопать все виды ненависти, зализать все раны и пуститься в тот путь, который в конце концов приведет лишь к колыханию звука, к натяжению голосовых связок, к полету голоса, к единственной любви – Музыке...

Натан Калдман в эти же минуты своим грузным военным шагом отмерял плиты широкого тротуара, рассудив, что до *безопасной квартиры* может добраться и пешком, не сахарный. Машина понадобится Рувке, когда тот досидит на *торжестве* и решит *сопроводить профессора*.

А он, Натан, – не сахарный, он пройдет. По крайней мере, немного собьет возбуждение, охватившее его в ту минуту, когда он понял, кого на сей раз сервировал им Леон на белом блюде, в изысканном зале ресторана. И вновь мысленно проследил весь сегодняшний разговор, в течение которого тот блестяще провел свою *музыкальную* партию, ничем себя не выдав. Ты – потрясающий, ты – прирожденный охотник, черт бы побрал все твои сердечные и прочие занозы, *ингелэ манс!*

Хорошо, Магда, мысленно сказал он жене, я даю тебе слово, Магда, это – в последний раз! Ты права, надо оставить мальчика в покое. Я клянусь тебе, Магда, когда он добудет для нас этого самого «Казака» – он и вправду станет *частным лицом*, как сам любит повторять, хоть это и полная бессмыслица. Видела бы ты, как пыхнули его горячие глаза, когда он услышал, что проделали с компанией Иммануэля! В этих глазах была жажда древнего ритуала кровопролития, Магда, – не менее сладкая цель, чем какое-нибудь до третьей октавы, взятое его бесподобным голосом. Но – хорошо, пусть он станет настоящим *говенным частным лицом* и пусть поет до ста двадцати на здоровье! Ты права, Магда, с моей стороны это *безнравственно*: в конце концов, почему я должен рисковать им больше, чем собственным сыном?

Натан Калдман полагал, что Леон недолюбливает его сына Меира. Он заблуждался: Леон Меира ненавидел. Ненавидел и считал главным

источником зла в его, Леона, распроклятой жизни.

Меир, Леон, Габриэла...

1

...А какими дружками были!

Это все Меир: он обеими руками подгребал к себе поближе тех, кто, по его мнению, нуждался в его помощи, защите, подсказке, проверке и даже в его школьном завтраке. Когда по утрам заспанная мать в халате поверх ночной сорочки (она всегда трудно просыпалась) мастерила ему на кухне бутерброды, он – бодрый, порывистый – выскакивал из ванной с зубной щеткой, поршнем ходившей во рту, и кричал:

– Ма-ам! Жратвы побольше, о’кей?

А что делать, если на переменах нужно обсудить с кучей народу уйму проблем? Времени нет по буфетам бегать! Он расстилал салфетки на парте, вываливал подножный корм для своих оленей – налетай, ребята! Ну, и после занятий, тут и гадать не нужно, каждый божий день уж двоих-троих на обед непременно притащит: столько всего недоговорили, недообсудили...

Такой мальчик, вздыхала Магда, общественник. Никакого покоя...

И – дым коромыслом, и споры, и гогот, и музыка, и репетиции очередных придуманных им сценок – веселый ор до позднего вечера! Басок Меира перекрывает все окрестные звуки, кажется, даже, и рев осла по ту сторону ущелья, и колокольный «дом-бум» из монастыря Святого Иоанна по соседству. И так – до прихода отца, который один умел взглядом усмирить весь этот дом-бум, со всеми его обитателями, гостями и животными.

И лишь тогда народ расходился и наступала суховатая тишина, в которой из родительской спальни вначале доносились покашливание и шуршание газеты, потом внезапно взревывал, опадал и вновь нарастал вертолетным рокотом храп старшего Калдмана. Наконец, по каменному полу процокивала коготками любимица Магды – белая крыса Буся, шмыгала в свою кладовку и шебуршила там до утра.

Меир с детства был центром любой компании, ее естественной осью: рослый, увалистый, в отрочестве смахивавший на грузчика. Впоследствии «изросся» – возможно, потому, что с восьмого класса ринулся в стихию

тхэквондо, где, как сам объяснял, «не попляшешь – не лягнешь» и «ноги – всему голова». К десятому классу вытянулся и стал верзилой, в отца, а ростом так еще выше (эти дети быстро нас обгоняют) и по характеру, уверяла Магда, гораздо приятнее: проще, дружественней, улыбчивей... Да о чем говорить! Меир был душа-человек, магнит, к которому в школе причаливали все по очереди и скопом.

Он и Леона выудил чуть ли не из-под парты.

* * *

В школу при университете – эта семейно-кастовая теплица и называлась «Приуниверситетской», и действительно славилась высоким уровнем обучения – Леон угодил случайно. По месту жительства.

После смерти обеих старух они с Владкой вынуждены были переехать из замызганной и разбитой, протекавшей зимой и до обморока накаляемой летом, но все же большой трехкомнатной квартиры в бедняцком районе в жилье гораздо меньшее, но...

Но вначале надо бы рассказать о том, что случилось с Владкой.

А с Владкой вот что случилось: покупая в понедельник в супермаркете помидоры и картошку, она познакомилась с Аврамом.

У них с Леоном каждый день был помечен определенными покупками. Устраиваться на работу Влада, как всегда, не торопилась, поломойствовать по людям – чем зарабатывали многие репатриантки и поумней, и пообразованней ее – не кинулась. А деньги они с сыном получали небольшие: пособие матери-одиночки да «детские» на Леона, совсем уже гроши. Не разгуляешься, и это еще мягко сказано.

Леон пытался подработать: устроился в продуктовую лавку за углом разносить заказанные по телефону покупки. «Зарабатывать будешь, как бог!» – уверял хозяин. Но судя по тем грошам, что приносил мальчик после нескольких часов беготни, бог тоже был изрядным лохом. Получка Леона складывалась из чаевых, то есть из упований на людскую совесть. К тому же он не брал денег у старух, инвалидов и брюхастых религиозных женщин, изможденных ежегодными родами. Зарабатывал дырку от бублика, зато приобрел немало полезных сведений о свинской природе человека – существа, сработанного доверчивым боголохом явно спуща рукава.

– Представляешь, – рассказывал он вечером Владке, – поднимая

на пятый этаж без лифта два чугунных пакета, кило по сто каждый, ни черта от пота не вижу; доползаю, ставлю у двери, звоню... Звоню и звоню... никто не открывает! Вроде как хозяйка отлучилась. Ну, что делать! Не буду ж я там торчать до вечера. Оставляю пакеты, спускаюсь до нижней площадки и слышу: наверху тихо-о-онько открывается дверь, пакеты втаскивают в дом. Это она стояла и ждала, чтоб мне надоело звонить и я ушел. Три шекеля чаевых сэкономила!

А уж после того, как однажды Владка в один присест разметала их пособие, угостив приятельниц обедом в одном из самых дорогих ресторанов («Ну, проголодались! ну, скучно было до ужаса!»), тринадцатилетний Леон, расколов пару стаканов и пригрозив матери полицией, взял дело в свои руки: отнял у Владки банковскую карточку и чековую книжку, составил строгое расписание покупок (по понедельникам, как было сказано выше, покупались четырнадцать средних помидоров, трехкилограммовая сетка картошки, две булки и дюжина яиц) и ежедневно выдавал ей точную сумму на расходы, плюс автобусная карточка на курсы иврита, где вот уже год Владка царила, как примадонна на подмостках сельского клуба, развлекая учащихся, да и учителя, своими несусветными рассказами:

– Я смотрю – а у тетки четыре титьки! Это бывает, называется «атавизм». И она что: она носила два лифчика, ясно? В два ряда. Так и выходила на пляж. А что делать, а войдите в ее положение: фигурка у нее в остальном была совсем неплохая...

Так вот, покупая в понедельник помидоры и картошку (повторим мы в третий раз), Владка познакомилась с Аврамом.

Приметил он ее давно, с тех пор как она стала закупаться в этом дешевом супермаркете, который (после сверочного рейда по окрестным магазинам) Леон назначил для покупок. Собственно, Аврам и был владельцем данного заведения, многодетным вдовцом, сентиментальным восточным человеком с наливным грустным носом, влажными, как маслины, черными глазами и тяжелой связкой ключей на поясе.

Он подошел к кассе, лично просчитал Владке небогатый улов, лично сложил его в пакет и сопровождал Владку до квартиры, где уселся пить чай за колченогий стол. Сам же и заварил этот чай, неодобрительно качая головой и что-то бормоча про дешевую заварку – купленную, между прочим, в его собственном магазине.

Разлив чай по чашкам и выложив на клеенку свои большие чистые руки многодетной матери, Аврам немедленно посватался к Владке.

– Ты женщина с ребенком, – сказал он. – Кто тебя возьмет, кроме

меня?

Владка расхохоталась. Во-первых, ее давно смешил рисунок на этой клеенке: размноженные по диагонали крупные сливы-близнецы, до оторопи напоминавшие лиловую задницу. В сочетании с заботливыми руками Аврама сливы-задницы почему-то произвели на Владку гомерическое впечатление. Во-вторых, она уже проходила параграф учебника под названием *запад-есть-запад-восток-есть-восток* и урок не то чтобы выучила (к учебе она, известно, была малопригодна), а просто не собиралась ходить во второгодницах. Она расхохоталась и долго не могла уняться при виде натруженных рук, задумчиво ласкавших клеенку с лиловыми задницами.

Аврам не обиделся. Он спокойно выждал, когда эта красивая рыжая женщина отсмеется, допил чай и налил себе еще.

Потом обошел квартиру, обстоятельно осматривая каждый угол, вкрутил лампочку в кладовке, где с самого их приезда теснилась крошечная тьма и для того, чтобы отыскать босоножки, надо было светить фонариком. Затем, как заправский кузнец, подковал ногу стола-инвалида обнаруженным в кладовке деревянным брусом, и стол наконец перестал шататься.

Тут из школы вернулся Леон, и Аврам пришел в восторг.

– Это же наш мальчик! – воскликнул он. – Наш мальчик, «парси́»^[21]! Почему ты не сказала, что твой муж был из наших?

– Мой муж, – с достоинством отозвалась Владка, плавно выходя замуж задним числом, – погиб в Афганистане. – И поникла вдовьим лицом.

– *Зихронó леврахá!*^[22] – тихо воскликнул отзывчивый вдовец.

И добрый Аврам ненавязчиво и безвозмездно вошел в их домашний обиход, в их проблемы, в их безденежье, в эмигрантские одиночество и неприкаянность.

Нет, он был человеком практичным и к тому же обременен большой семьей; он не собирался вешать себе на шею эту пусть и роскошную, но довольно бесполезную женщину с ее пусть и очень симпатичным, но чужим пацаном; так, приносил время от времени помятую банку хорошего кофе или слегка продранную коробку стирального порошка, бутылку оливкового масла с поцарапанной этикеткой или пакет мороженой фасоли... а что? вещи полезные, конь дареный, большое спасибо... Но своим многодетным сердцем Аврам обнимал изрядную часть этого неустроенного мира, искренне пытаясь сделать его разумнее и пригоднее для проживания.

Для начала он совершил то, что никому до него не удавалось: погнал бездельную Владку на работу.

– Хватит шлаться по ульпанам, – сказал он. – Ты и так уже много лишнего болтаешь на нашем святом языке. Надо зарабатывать хоть небольшие деньги, но в приличном месте. Я тебя устрою.

Сказал и сделал! «Приличным местом» оказалась резиденция главы правительства.

Так уж случилось, что начальником охраны этого серьезного заведения работал свояк Аврама, Нах' ум. И путем трехминутной беседы с начальником по уборке, через фирму по найму рабочей силы Нахум договорился, что с завтрашнего дня Владка выйдет на работу – заведовать тряпками, швабрами и ведрами, а также канистрами с моющими средствами, выдавая их сплоченному взводу сменных уборщиц, немолодых женщин с лицами сотрудниц Эрмитажа. Перетрудиться на подобной ответственной должности было невозможно.

Во-вторых, Аврам переселил их в другую квартиру и, что гораздо важнее, в другой район, объяснив главный принцип существования человека в западном обществе: обитать ты можешь в любой подсобке, любом сарае, любом подвале – но в хорошем районе.

– А что такое хороший район? – подхватил он и сам же себе ответил: – Это приличная публика. И значит, хорошая школа.

В обычной городской школе в районе иерусалимских трущоб Леон уже освоился. Половина учеников седьмого класса охотилась за косячками, четверо нюхали «коку», многие подворовывали. И все поголовно курили – это считалось само собой разумеющимся. Курить Леон попробовал в первый же день, но сразу и бросил: ему не понравилось першение в горле и удушливый запах дыма в носоглотке. (Всю жизнь «горловые страхи» преобладали у него над стремлением к любым удовольствиям.)

Учителя в этой школе менялись со скоростью кадров в рекламном клипе; чуть дольше задержались математик, гигант с громовым голосом, перекрывавшим лавину визга и воплей на уроках, и шепотливая историчка, сразу после звонка впадавшая в нирвану, чтобы до конца урока тихо дрейфовать за своим столом, как тюлень на льдине.

Но Владке школа нравилась. Однажды она случайно завернула туда во время большой перемены, пришла в неопиcуемый восторг и с тех пор повторяла:

– Коллектив дружный! Ребята веселые, звонкие! Чего еще? Очень хорошая школа!

Что касается Леона, он всерьез подумывал бросить учебу и устроиться куда-нибудь, где платят такой мелюзге, как он, хоть мизерные деньги. В пекарню «Энджел», например; там и воровать не нужно – там булки после смены за так выдают.

При всей его самоотверженной экономии их банковский счет пребывал в глубоком обмороке.

Лучшей школой в Иерусалиме и одной из лучших в стране считалась университетская теплица с профессорами-преподавателями и отборными ребятами из состоятельных интеллигентных семей. Попастъ в нее было непросто. Вот разве что живешь ты за углом и, согласно закону, приписан к данной школе «по месту жительства», а значит, ни одна чистопородная *мам* и из родительского комитета не посмеет морщить холеный носик и чинить препятствия твоему воссоединению с отпрысками элиты общества.

В тяжелой связке ключей, что болталась у Аврама под брюхом, изрядный вес занимали ключи от жилого дома, некогда перестроенного его отцом из огромного каменного ангара, в котором еще прадед держал самую большую в окрестностях Иерусалима кузницу. Квартиры – их было четыре – Аврам сдавал, подкапливая на приданое дочерям, – уж больно район замечательный: тут тебе университет, тут тебе Кнессет, тут вот концертный зал и музыкальная академия имени Рубина; тут – оглянись только! – все удовольствия, что можно просить от жизни.

А при доме подсобка была в полуподвале, «печаль и ветошь давних дней», по словам самого Аврама: квадратное помещение метров в тридцать, где от многих поколений жильцов копился брошенный или забытый при переезде хлам. Эту самую подсобку Аврам давно планировал пустить в оборот: переделать в квартирку и сдавать, например, студентам – те, как известно, могут жить и в конюшне, и в мусорном баке, и в почтовом ящике. Его большое торговое сердце не позволяло вселить туда Владку с Леоном за просто так – да и с чего бы? Но за уборку двух подъездов... почему бы и нет? Подумаешь, работа для здорового парнишки – дважды в неделю мокрой тряпкой по ступеням пройтись!

И Леон ухватился за предложение обеими руками: в их бюджете высвобождались приличные «квартирные» деньги. Чем черт не шутит – может, удастся вылезти из долгов и даже платить за музыкальную школу? Тем более что специальная музшкола при академии Рубина тоже находилась чуть ли не за углом. Вот о чем тосковал он безутешно: о театре, о кларнете, о милом ворчуне и охальнике Григории Нисаныче. Короче,

о Музыке.

* * *

Подсобка выглядела ужасно: затхлая, пропахшая пылью и плесенью, с двумя окошками на лестничный пролет, сизыми от корки застарелой грязи. Полуподвал, заваленный ящиками, узлами и обломками старой мебели.

Но Аврам привел двух рабочих-арабов из своего супермаркета, и те буквально за день расчистили помещение, выкинув на помойку столетнее барахло. Леон деятельно им помогал и поживился керосиновой лампой с дымчато-сиреневым стеклом, фонарем с винного завода «Кармель Мизрахи», медным подсвечником и машинкой «Ремингтон» с четырьмя выломанными буквами. Еще ему достался сине-бархатный альбом с фотографиями членов какой-то разветвленной семьи конца девятнадцатого столетия: галстухи, банты, оборки, трости, шляпы и шляпки, бороды и пейсы, кудряшки на алебастровом лбу. И круглое стеклышко в глазу добродушного пузатого старикана в хромовых сапогах.

Но главной добычей стали на диво сохранные лаковые дамские туфельки на медных пуговичках и помятый котелок времен Британского мандата на Палестину – смешная круглая шляпа, в которой физиономия Леона, когда он нахлобучивал котелок на голову, менялась до оторопи.

Его внешность всегда решительно менялась от любой, даже незначительной детали, не говоря уже о таких штучках, как парик или приклеенные усики. И дело не в деталях, не в одежде или прическе, а в самом Леоне: прикидывая на себя чужую шкуру, имя и легенду, он полностью преображался внешне. Менялись даже походка, наклон головы, манера говорить; появлялись новые жесты, которые, надо сказать, он всегда тщательно продумывал...

Владка окинула взглядом улов своего «барахольного» сына и носком туфли, как дохлую крысу, пошевелила круглый фонарь на полу.

– Большой на всю голову! – заключила она. – Хламидиоз тут развел, прям как в Одессе...

Те же рабочие побелили стены, поставили две гипсовые перегородки, приволокли газовую плиту, унитаз и душевую кабину, разом превратив полуподвал в крошечную, но уютную полуторакомнатную квартиру

с кухонным уголком. А Леон уже сам вдохновенно отдраил оба полукруглых окошка – да, маленьких, но не лишенных некоторого переплетного изящества; отдраил их до чистоты божьего хрусталя, так что сам залюбовался. И Аврам явился, осмотрелся, растрогался – и совсем уж расщедрился: велел поставить две батареи, так что потом, холодными иерусалимскими зимами в полуподвале всегда было тепло.

Еще там обнаружилась арка в стене, которая никуда не вела, – стрельчатая ниша в полметра глубиной. Леон сам навесил внутри полки и очень красиво расставил все свои трофеи: «ремингтон» в центре, по бокам – фонарь и лампу. А одно из платьев Барышниного «венского гардероба» – самое изящное, кремовое, с кружевами *валансьен* и с черной бархоткой – повесил на плечики и на стенку; и к черту идиотские Владкины замечания.

Полуподвал сразу очнулся, зажил и превратился в уютное обиталище: то ли каюта корабля, то ли семейная часовенка.

В эту симпатичную сумрачную берлогу перекочевала и кое-какая старая мебель, собранная Аврамом у жильцов: лично ходил по квартирам на предмет «отдайте чего не жалко хорошей женщине с ребенком». Владка на это фыркнула: «Стыдобища!» – но милостиво приняла еще очень приличный секретер, кушетку, на которой Леон проспал до самого своего отъезда в Россию, и кое-что из утвари, среди которой обнаружились даже пять гарднеровских чашек с тремя целыми и двумя чуть треснутыми блюдами.

– Живите! – сказал Аврам и, будучи склонным к библейскому ощущению мира и связи поколений, добавил: – Гарун аль-Рашид тут не поселился бы, а вам подойдет. Живите, и пусть настанет в судьбе Леона день, когда он с улыбкой вспомнит эту скромную обитель, лежа в шезлонге у бассейна на своей вилле.

(У самого Аврама на вилле в Бейт-Вагане бассейна не было. Он не одобрял все эти бесстыжие глупости и не поощрял дочерей к прилюдному обнажению тела: хочешь мыться – мойся, для того существует душ, не говоря уже о микве.)

...И за этот вот царский дар, за университетский ботанический сад неподалеку, за вежливых и приветливых соседей, за бетховенскую Тридцать вторую сонату, обожаемую жильцом из верхней квартиры, за столетнюю пинию у подъезда, за птичий щебет в ее райской кроне по утрам только и требовалось, что дважды в неделю набрать воды в ведро, раскатать ее с верхней площадки, сгребая шваброй вниз, затем отдраить

каждую ступень вручную и, как говорила Стеша, «внагибку», отжать тряпку покрепче да пройтись разок всухую.

Невелика плата за крышу над головой.

Все же удивительно, как этот замкнутый мальчик – такой хрупкий на вид, выросший в столь же странного и хрупкого молодого человека, – никогда не избегал физической нагрузки, никогда не ломался под гнетом большого веса или длительных тренировок и среди бойцов своего взвода был известен тем, что тяжелейшие марш-броски молча и упорно пропахивал с шестидесятикилограммовым рюкзаком за плечами, из-за которого не видать было головы. А доволочив до базы отбитое свое тело, не валился на койку прямо в ботинках, а плелся в душ – смыть пот, грязь, песок и кровь, – после чего надевал наушники и отгораживался от друзей-командиров и прочих раздражителей внешнего мира собственной непробиваемой броней: Музыкой.

Невелика плата за жизнь.

2

Девочка вся была длинненькой, ломкой, страшно подвижной – стрекоза! На высокой шейке голова с кучеряво-каштановым, дрожащим облаком волос. И надо всем этим – впереди всего, в глубине всего, из самой глубины – глаза: сине-серые, зелено-синие, фиолетово-черные при электрическом освещении...

Да, она была похожа на стрекозу, что надолго не присаживается ни на лист, ни на ветку или цветок, а парит, зависая в воздухе, трепеща крылышками и разглядывая мир огромными прозрачными глазами.

Девочку-эльфа звали Габриэла – очень подходящее имя для таких синих глаз, таких длинных ног и рук, таких золотисто-каштановых волос.

Леон уже неделю смотрел на нее со своей задней парты, и на уроках смотрел, и на переменах, никуда не выходя из класса, досадливо ерзая, когда вид на нее заслонял высокий, толстый и добродушный мальчик с именем-вымпелом: «Меир!» – это имя неслоь отовсюду, его знали все, он всем был нужен, даже высокомерным старшеклассникам, а на переменах становился вершиной утеса, с высоты которого, как с горы Синай, раздавался голос, уже сломавшийся в нестойкий басок.

К тому же этот громила приносил из дома кучу вкусной и дорогой еды, которая уничтожалась его друзьями мгновенно. Леон такой еще

не пробовал. Они с Владкой по пятницам позволяли себе только курицу – пятница была днем *скидок на птицу* в супермаркете Аврама.

В тот день, когда на большой перемене человек восемь сгрудились вокруг Меира и, азартно работая челюстями, выслушивали его мнение о школьной музыкальной группе (дрянь, настоящая дрянь и останется дрянью, если мы не возьмем дело в свои руки!), Леон торчал на задней парте, с которой открывался потрясающий вид на фигурку Габриэлы, явившейся в школу в белых шортах и синей майке. Сзади на шортах были пришиты косые карманы с «золотыми» заклепками – по одному на каждую половинку обаятельной попы, так что та казалась забавной рожицей, – а на майке по-английски написано: «Ты впечатлен? Я довольна. А теперь отвали!»

Он даже не услышал, когда Меир, заметив его с высоты своего роста, крикнул:

– Эй, а ты чего под стол спрятался? – не понял, что это к нему относится.

Габриэла обернулась и сказала:

– Он не спрятался, он просто ма-аленький... – и показала, какой именно: на кончике указательного пальца, будто блоху поймала.

Леона изнутри как кипятком ошпарило. Но внешне он никак не отозвался на слова мерзкой девчонки, так и сидел, разглядывая компанию с невозмутимым видом завсегдатая греческой таверны.

– И иврита не понимает, – добавила Габриэла и прыснула.

– Нет, почему, я сразу понял, что ты – самовлюбленная дура, – отозвался Леон. – Тем более что это видно за километр.

Иврит у него к тому времени был не хуже русского. Не только потому, что врожденная (и тренированная хоровичкой Аллой Петровной) четкая артикуляция речи производила впечатление абсолютного владения языком, но и потому, что с каждым человеком он говорил с тем ритмом фразы и той интонацией, которых требовали обстоятельства, психологический тип собеседника и цель разговора.

Девочка ахнула и подбоченилась, колыша копной золотисто-каштановых волос – овца, деревяшка, глупая длинноносая цапля! А Меир рассмеялся и сказал:

– Да он еще меня перерастет, хватит на человека пялиться, вы что – очумели? И оставьте человеку сэндвич, эй, Бени, слышь, дай человеку

пожрать!

Вот каким он был, наш Меир: добрый, справедливый, умный – душа-человек!

И Леон не успел оглянуться, как его дружески извлекли из-за парты, и уже через минуту он жевал булку с листом вкуснейшей бастурмы внутри и участвовал в обсуждении жгучей проблемы: как переплюнуть выпендрежников из школы в Рамат-Эшколе – у тех давно был приличный музыкальный ансамбль. Он старался не смотреть на Габриэлу, дав себе клятву, что возненавидел ее, возненавидел до конца своих дней... боковым зрением ловя синие брызги искристых взглядов, от которых невозможно было увернуться, как от шрапнели.

В этот день после уроков он впервые очутился у Меира в Эйн-Кереме – обаятельном богемном пригороде Иерусалима, с туристическим гомоном ресторанов, баров и галерей на двух центральных улицах; с задумчивым гулом монастырских колоколов, с лесистыми склонами глубокого ущелья и с неожиданной деревенской тишиной сонных переулков и тупиков, что заканчивались коваными воротами в каменном заборе, за которыми – в зелени винограда и олив, среди выплесков желтых, красных и белых цветков гибискуса – пряталась скромная старая вилла, укрывшая в подоле под горой еще два своих этажа.

Впервые Леон оказался в доме Калдманов: в чудесном, распластанном по склону горы доме, встроенном в две горные террасы так, что из одной комнаты в другую вели – как ноты на нотном стане, до-ми-сольдо – полукруглые ступени.

Тогда-то он впервые увидел и Магду, и та показалась ему старухой, маленькой и щуплой, с аскетичным лицом: впалые щеки, всегда чуть сдвинутые брови, над которыми идеально ровно, как черта под некой запретной мыслью, отрезана челка, сильно пробитая сединой.

А потом уже Магда не менялась. Во всяком случае, и через десять, и через двадцать лет она оставалась немолодой сухощавой женщиной в тесном шлеме седых волос.

Словом, они ввалились к Меиру, и тот, свесившись над перилами, что плавной дугой уходили куда-то вниз, как в трюм корабля, крикнул:

– Ты где, ма-а-ам? Все ужа-а-асно голодные!

И на его зов откуда-то из-под горы по этой дуге стала медленно восходить женщина: сначала показалась седая макушка, затем голубая

блузка, джинсы на тонких юношеских бедрах, легкие ноги в спортивных тапочках... вслед за которыми со ступени на ступень прыгал белый комочек с длинным розовым хвостом: крыса Буся, что, как матрос по снастям, лихо взобралась к Магде на левое плечо и отлично устроилась там, рассматривая компанию черными бусинами глаз.

Магда молча пересчитала детей, машинально прикидывая, распечатывать ли вторую пачку «бурекасов» или одной будет достаточно, и наткнулась на взгляд незнакомого мальчика – настороженный, сумрачный, чужой. Удивленно подумала, что ее великодушный сын-нараспашку уже и арабчат на улицах подбирает.

– Это Леон, мам! – торопливо пояснил Меир. – Он у нас новенький и, представляешь, как повезло, – играет на кларнете! Так что группа есть: я – гитара, Леон – кларнет, Габриэла – клавесин, а Ури – ударные.

– Здравствуй, Леон, – ровным тоном отозвалась Магда, вместе с легким голубоватым облачком доставая из морозильной камеры пачки с пирожками. (У такого салютного Меира такая морозильная мамаша, мельком заметил мальчик.) – И где же твой кларнет?

Леон пожал плечами, не зная, рассказывать ли про то, как валялись на перроне станции Чоп их вывороченные баулы.

– Его у меня нет, – легко пояснил он. – Остался там... в Союзе.

Господи, подумала Магда, кого только не приносит к нам из того самого «Союза»... Интересно все же, откуда он – из Махачкалы? Из Дербента? Как попал в нашу школу? Неловко спрашивать. И... может, он путает кларнет с какой-то их национальной э-э-э... камышовой дудкой?

Вслух произнесла тем же ровным, прохладно-приветливым тоном:

– Ну что ж, вашему ансамблю только солиста не хватает. Или солистки. – И улыбнулась: – Может, ты заодно и поёшь, Леон, а?

– Я пою... – после некоторой заминки, потупившись, отозвался смуглый мальчик, этот «мелкий восточный мальчик», из тех, что по приезде в страну сразу же попадают у штатных психологов в графу «социальный случай», в школе грешат наркотиками, страдают наследственными болезнями, а будучи призванными в армию, пополняют собой контингент военных тюрем. – В общем, я... да, немного пою.

Впоследствии Магда часто вспоминала этот миг. И хотя с тех пор много раз слушала Леона в разных залах и даже умудрилась попасть на его дипломный концерт в зале Консерватории (когда с Натаном оказалась в Москве на конференции по вопросам борьбы с терроризмом), она при первых же звуках его голоса неизменно ощущала одно и то же:

дыбом восставшие на руках волосы, блаженную слабость, озноб моментально замерзшей кожи лица – как в ту минуту на кухне ее дома, когда неухоженный, несуразно и неряшливо одетый и, кажется, давно немытый мальчик (должно быть, дома экономят воду) глубоко вздохнул, расправил плечи, слегка устремился вперед, и все пространство дома затопило серебряной струей хлынувших звуков «Каватины Нормы»:

– «Ca-a-a-as-ta di-i-iva! Casta diva inarge-e-enti...» – с таким подлинно итальянским произношением, таким безмятежно молитвенным голосом, что Магда лишь нащупала спинку стула и опустилась на него, не чувствуя ослабевших ног, не сводя глаз с этого – о, теперь-то она увидела! – ангельской ясности лица...

Что было потрясающим в этой сцене – кроме голоса мальчика, разумеется, – застывшие чуть ли не в священном ужасе лица остальных детей. По крайней мере, лицо Габриэлы Магда будет помнить всегда: бледное лицо Габриэлы с горящими, как от затрещин, щеками; лицо ее будущей невестки Габриэлы, матери ее внуков; женщины Габриэлы, виноватой во всем.

...И всю жизнь Леона с Магдой связывали особые отношения, которые не касались ни Меира, ни Натана, ни Габриэлы.

Например, при всей своей нелюбви к электронной почте, Леон время от времени слал Магде коротенькие – в пять-шесть иронических фраз – отчеты о прошедших концертах, а она отовсюду, где бы ни оказалась, присылала ему открытки с видами каких-нибудь Афин, или Стамбула, или Санторини. И он писал в ответ: «Магда, ты – последний на земле человек, который шлет почтовые открытки, написанные рукой, и я целую эту руку, пусть и на расстоянии...»

В семье считали, что «это ужасно трогательно», и давно перестали над ней подтрунивать и дразнить ее и Леона. Между этими двумя разными во всем людьми сохранялась многолетняя, необъяснимая, но верная душевная связь, за которую оба они упорно держались.

Все знали, что за глаза Магда называла Леона «сиротой», – после того родительского собрания, где впервые увидела победительную, веселую, трепливую и щедро накрашенную Владку. Вернулась домой и сказала Натану: «Этот мальчик – сирота».

– Просто ты привязан к старухам, – как-то сказала ему Габриэла. – К старикам тоже, но главное – к старухам. А Магда заменяет тебе двух твоих бабок. Да ты и сам старичок, мой малыш. – Габриэла всегда знала, как цапануть его побольнее, как крутануть и выщипнуть кусочек сердца,

чтобы оно кровоточило и болело подольше.

Но он чуял в ее слегка презрительных словах правду. Да, он всю жизнь скучал по Стеше и Барышне. Не тосковал – глупо тосковать по людям, прожившим такую неохватно длинную жизнь, – а именно скучал, искренне повторяя себе, что они тоже по нему скучают – там, на мертвенной равнине бесконечной мессы... Часто напевал «Стаканчики граненые», что перед смертью бормотала себе под нос уже полностью спятившая Барышня. Да, он скучал по ним. И, вероятно, потому так доверчиво и крепко, с первой же встречи привязался к Иммануэлю.

* * *

...И дело не в группе, не в кларнете, не в признательности за то, что Иммануэль оплатил покупку инструмента и подарил главное: возможность учиться; всего-навсего вернул Музыку.

Никто не упрекнул бы Леона в неблагодарности: он принимал участие во всех благотворительных концертах Иммануэля, которые время от времени тот устраивал в своем «бунгало», собирая весьма достойные суммы – то на жизнь какому-нибудь очередному страдальцу, лысому после химиотерапии, то на психологическую реабилитацию каких-то несчастных женщин, битых мужьями, то на покупку трех собак-поводырей для слепцов, почему-то выпавших из бюджета общества слепых.

В такие дни из Савьона в Иерусалим присылали машину с шофером – за Леоном и «верным Гришей», что аккомпанировал всем сборным сосенкам домашних концертов. Безотказному «Грише» было за семьдесят. Заслуженный деятель культуры Адыгейской АССР и действительно хороший пианист, он скучал по своим брошенным студентам, радостно откликаясь на любое приглашение помузицировать.

На «верного Гришу» можно было положиться в любую погоду, при любом насморке и прочих «форсмажорных» обстоятельствах.

(Это он научил Леона правильно выходить на поклон: «Не кивай, как понурый ишак, только чуть наклони корпус... еще глубже... и еще... А теперь резко выпрямись и – правая рука на сердце – улыбайся! непременно улыбайся!»)

Благотворительные концерты Иммануэля были для «верного Гриши» настоящей отдушиной, праздником, к которому он готовился загодя и потом долго и бурно переживал: и поездку в роскошном лимузине, и «прием гостей» – в просторном холле, на фоне открытого «бехштейна»

(подлинного берлинского «бехштейна», привезенного в Палестину в начале века, отделанного светло-коричневым буковым шпоном, – непревзойденного «бехштейна», чей дискантовый регистр рассыпался хрустальными колокольчиками); и само выступление перед отборной публикой. В холле на пластиковых стульях, взятых напрокат, свободно рассаживались человек пятьдесят (и что это были за люди!). Ну, а после концерта гостей ждал сервированный в патио изысканный обед с отменными винами, непременно горячим блюдом и фирменными «пирожками от Фиры» (уф! – с горохом и чесночком!), – которые можно было умять штук восемь за один присест, глазом не моргнув.

Да, незабываемые вечера у Иммануэля...

* * *

Дело в том, что Магда приходилась Иммануэлю родной племянницей, дочерью единственного его младшего брата Михаила, майора разведки, погибшего в Синайской кампании 1956 года. Так что Иммануэль не только любил Магду, но и баловал ее больше, чем собственных детей, даже когда она выросла и вышла замуж. В семье считали, что Магде он не может отказать ни в чем – тем более в таком пустяке, как покупка инструмента для одаренного («Нет, Имка! – не одаренного, а гениального!») мальчика.

– Ладно, – добродушно отозвался дядька. – С гениальностью погодим. А кларнет – отчего не купить, пусть дудит, цуцик.

– За музыкальную школу согласился платить Натан, – торопливо вставила Магда.

Иммануэль захохотал и покачал головой:

– Натан? Платить? Хотя бы *груш*^[23]? Этот скряга? Ну, видимо, рак на горе пёрднет... – Отсмеявшись, добавил: – Ладно, не терзай его. Уж как-нибудь на уроки способному пацану я тоже могу отстегнуть. *Гурнышт*^[24]!.. Ну так привези его сюда, этого *шмоцарта*... И кларнет – его ведь нужно покупать с дельным человеком. Ты хоть знаешь, откуда его берут и с чем едят?

– Кларнет? Или дельного человека? – усмехнулась она.

Дельный человек нашелся, далеко не ходили. Звали дельного человека, как по заказу – Станислав Шик, он преподавал в музшколе при академии Рубина. Так что все сложилось. Втроем с Магдой и Шиком они

отправились в шикарный музыкальный магазин на улице Бен-Иегуда выбирать кларнет. Выбирали долго – и видно было, что Станислав получает колоссальное удовольствие от всего процесса, заставляя мальчика брать в руки то один, то другой инструмент и извлекать звуки в разных регистрах.

Смотр начали, понятно, с недорогих: не стоит тратить большие деньги на начало, заметил Станислав. Ну, пусть и не совсем начало, и все же, после такого большого перерыва...

Но у Магды, видимо, были свои резоны. После двух-трех пассажей она спокойно осведомлялась – а что есть еще, подороже? Вот этот? Покажите... Выслушивала, чуть склонив седой шлем волос к левому плечу, будто у нее там привычно сидела ее любимица Буся, выпрашивая печеньку из кармана, и столь же неторопливо просила показать... вон тот, да-да, я понимаю, что он еще дороже.

В сумочке у нее лежал открытый чек, подписанный Иммануэлем, который велел «не корчить из себя бедных родственников и не покупать ведро дерьма на повидло».

В итоге потрясенный Станислав, перепробовав пару немецких «альбертовских» кларнетов и несколько французских, известной фирмы «Buffett», остановился на прекрасном японском «Yamaha». А на обратном пути к «Опелю» Магды, минуту назад невозмутимо выписавшей продавцу огромный чек, только и повторял:

– Ну, парень... ну, знаешь, парень... это тебе не!.. Да ты просто какая-то Синдерелла, парень!

Сам же Леон впервые за все время в Иерусалиме чувствовал даже не счастье-восторг, не блаженную невесомость, как предполагал еще утром, а странный и глубокий покой, точно вернулся наконец домой после долгого-долгого странствования. И уверенность чувствовал – в себе, в своих руках. В необъятном пространстве звуков, что раскинулось где-то между его затылком, ушами, носоглоткой и легкими.

* * *

И в ближайшую пятницу Магда привезла Леона к Иммануэлю, по пути заглянув с ним к своему парикмахеру Моти – тот был самый дорогой и модный мастер в Иерусалиме. Моти, сероглазый красавец из Барселоны, изысканный педрила с романтическим шлейфом любовных драм, одна из которых (самоубийство его последнего возлюбленного) потрясла «весь

Иерусалим», увидев Леона, остолбенел.

– О-о-о!!! – стонал Моти, перебирая смоляные локоны мальчика, напряженно сидевшего в кресле. – Уничтожить это богатство, Магда, друг мой?! Погубить Рафаэля?! О, жгучий отрок Рафаэль! Их даже завивать не нужно – бархат и агат, ночная волна в лунном луче... Я завью их в сотню косичек и подниму в узел на затылке – это будет сенсация!

Магда поймала испуганный взгляд Леона в зеркале, успокаивающе подмигнула.

– Нет, я отказываюсь от убийства образа, Магда, друг мой!

Указательным пальцем сощелкивая с сигареты пепел в высокую бронзовую пепельницу на цаплиной ноге, она сухо велела:

– Покороче, попрличней, и вымой ему как следует голову, Моти, мы торопимся.

Нормальные брюки и блейзер тоже пришлось купить новые, так как шмотки Меира были несоразмерно «цуцику» велики.

И он предстал перед Иммануэлем – с кларнетом в руках, в таком вот приглаженно-благоухающем (мерзкими парикмахерскими лосьонами) виде, стриженный, как черная болонка. Вырасту – обрею волосё наголо, к чертовой матери, в отчаянии думал он.

– Никто не просит тебя целовать руки благодетелю, – сказала Магда, паркуя машину у забора, за которым восставала и выплескивалась на каменный гребень колючая цветная поросль. – Но в двух-трех достойных словах – поблагодари. Он того стоит.

Заглушила мотор и вышла из машины.

Они открыли калитку в воротах и очутились в саду – совсем ином, чем у Калдманов, не сосново-оливковом, а пальмовом, засаженном миртовыми кустами; поднялись по каменным ступеням в огромный, как театральное фойе, увешанный картинами и заставленный странными скульптурами холл с роялем и минут пять еще бродили, заглядывая во все двери, «по оставленной шхуне в поисках капитана», как сказала Магда.

Наконец, обнаружили его у бассейна в просторном патио, с двух сторон обнесенном крыльями дома.

И у Леона просто не оказалось возможности ни подобрать, ни вымолвить слова: из плетеного кресла, стоявшего к ним спинкой, показалась рука, пальцы щелкнули, а маленькая веснушчатая кисть крутнулась, подманивая гостей.

Они подошли, и Магда со словами:

– Дом нараспашку, все по-прежнему в стиле «ограбьте меня уже кто-

нибудь, ради бога!», – склонилась и поцеловала в макушку кого-то там, кто сидел в кресле и даже не был виден из-за высокой спинки. Та же рука потянулась к низкому плетеному столику, ловко плеснула из бутылки «спрайт» в два бокала, а зычный голос приказал:

– Пить!

И дальше говорил только старик, а Леон, вытянувшись перед ним влюбленным солдатиком, кивал, или мотал головой, или смеялся забавным словечкам старика и его неожиданному – посреди иврита – и потому особенно смешному русскому «суч-потрох!» – когда тот удивлялся, возмущался или явно что-то одобрял.

Потом Леон играл на кларнете и по просьбе Магды спел, не чувствуя никакого стеснения, до ужаса боясь только одного: что Магда сейчас прервет его и скажет: «Ну, довольно, пора нам возвращаться...»

Но и она, видимо, чувствовала себя здесь как дома и не собиралась уезжать; принялась уверенно хозяйничать на кухне, разогревая обед. И втроем они очень вкусно пообедали совершенно домашней едой: куриным супом с лапшой, котлетками с гречневой кашей, оладьями со сливовым джемом – будто Стеша готовила.

Тогда еще у старика не было ни Тассны, ни Виная, шкандыбал он сам, опираясь на палочку; весь огромный разлапистый дом убирали приглашенные филиппинки, а обеды готовила Фира, репатриантка из Молдавии, с которой, кажется, он заодно и жил.

– Как, ты сказала, фамилия этого цуцика? – спросил Иммануэль Магду чуть позже. – Хм-м... звучит элегантно. *Наш* немецкий вариант. Был такой религиозный мыслитель – Фридрих Кристоф Этингер, Германия, восемнадцатый век. – И вздохнул: – Чего только мы не подцепили, шляясь среди них... Хотя, глядя на *этого* Этингера, я б не удивился, услышав фамилию Хусейни или Муграби.

– Если б ты видел его мамашу, – возразила Магда, улыбнувшись, – ты бы решил, что самое подходящее ему имя – О’Брайен или О’Хара.

* * *

Станислав Шик был Леоном доволен: тот быстро восстановил уровень, с которого прервались занятия с Григорием Нисанычем, и хорошо продвигался. Педагогом Станислав оказался умеренным, корректным, чудес не требовал и сам особых чудес не предъявлял. Свою речь пересыпал уважительными «голубчик», «милый» и «парень, это никуда не годится,

повтори, пожалуйста!».

А Леон скучал по нежному хамству Григория Нисаныча, вспоминая, как наливалась вишневым соком груша его вислого носа, если ученик фальшивил, и как колотил он Леона по спине мягким волосатым кулаком и орал: «Звук!!! Где твой хер-р-ровый звук?»

Через месяц Леон уже участвовал в первом своем благотворительном концерте в доме Иммануэля, вполне прилично исполняя под аккомпанемент «верного Гриши» концерт Людвиг Шпора. Кажется, в тот вечер собирали средства на строительство хостеля для солдат-одинок.

Впоследствии Леону приходилось бывать на самых блестящих приемах и светских раутах в самых великолепных особняках, дворцах и театрах. И он вполне отдавал себе отчет, насколько «попрошайские посиделки» у Иммануэля вышколили его, сызмальства выучив непоказным приличным манерам, умению приветливо и неназойливо завязать беседу и столь же изящно ее закруглить, когда течение этой беседы становится для тебя нежелательным; ответить на вопрос, не пускаясь в долгие объяснения, и вскользь поинтересоваться тем, что остро тебя занимает. Приучили к мелким, но полезным умениям и знаниям – вроде того, какой нож чему на столе предназначается, когда удобнее расстелить салфетку на коленях, а когда лучше заложить ее за воротник, и как поухаживать за дамой, сидящей справа, и что ей рассказать, чтоб ее вздорный лепет не мешал слушать чрезвычайно важный разговор двух неприметных господ напротив.

Его унаследованное от Эськи «чувство стиля» было отточено и доведено до совершенства в открытом всем ветрам доме невзрачного крапчатого старичка среди выдающихся полотен и скульптур.

У Иммануэля собиралась старая израильская аристократия: легендарные генералы с задубелыми лицами пожилых кибуцников; научные гении с недостающей на рубашке пуговицей; два лауреата Нобелевской премии в каких-то областях химии или физиологии; выдающаяся актриса Камерного театра Фанни Стравински с мужем, о профессии и должности которого никто ничего не знал или многозначительно помалкивал; неприметный, неразговорчивый, весь пружинистый и каучуковый человек со смешным именем Сёмка Бен-Йорам, которого все так и называли: Сёмка.

Бывали там известный скульптор Тумаркин, и дирижер израильского симфонического оркестра Зубин Мета, и скромный, с внешностью учителя

ботаники, специалист по ядерной физике, под чьим недреманным оком вырос таинственный реактор в пустыне. Был еще сухонький мальчик, вечный Питер Пэн, старый юрист и выпускник Сорбонны – бывший генеральный прокурор, бывший министр юстиции, член комиссии ООН по правам человека и советник Президента по каким-то каверзным вопросам (Иммануэль говорил про него: «Хаим? Это гигант, гигант, старый поц!»), и наконец, солисты израильской оперы – все многоцветье голосов, что не гнушались перед гастролями по Южной Америке или Северной Италии обкатать часть программы на таком вот «домашнем полигоне».

Иммануэль, веснушчатый хитрый гном с вечно прищуренным правым глазом (зрелая катаракта, которую он решил не оперировать: «Все равно завтра подышать!»), возникал в центре любой группки всегда в самый разгар спора, перекрывал любой разговор своим зычным «заявительным» голосом, обращая в шутку любое мнение, предъявляя «личное свидетельство», вытаскивая из своей необъятной биографии то такой эпизод, то такую встречу, то судьбоносный спор шестидесятилетней давности.

– Эти три подонка – я имею в виду Ибн Сауда и двух его шпионов, Джека Филби и Аллена Даллеса, – они и вырыли ту выгребную яму на Ближнем Востоке, из которой все мы сегодня хлебаем помой. Филби и Ибн Сауд насадили американские нефтяные корпорации, сделали их хозяевами, а помогал им этот адвокатишка Даллес, суч-потрох, американский шпион! – координировал действия американской разведки на Ближнем Востоке. Эта тройка и заказывала музыку, а дирижировали нацисты, потому как доходы Даллеса были завязаны на Германии, и всем это было известно. Эти трое сколачивали террористические группы и посылали их сюда, и предавали всех и всякого, кто имел с ними дело... Даллес! Однажды я столкнулся с ним на каком-то приеме в Лондоне и выплеснул чашку кофе на его белоснежную грудь. Больше меня туда не приглашали, но рубашку я ему испортил навеки... Ха! Ватикан... Ватикан сейчас более всего озабочен вопросами выживания всей конгрегации... В конце шестидесятых они попросили моей помощи в подборе картин современных мастеров для их коллекции и однажды пригласили на обед... Ну-у, это был странный обед: бумажные салфетки, стол без скатерти, металлические вилки и ножи... Я удержался от замечаний, конечно. Но разве христианское смирение в том, чтобы не иметь приличного платка – высморкаться, суч-потрох?..

...Когда, много лет спустя, где-нибудь на приеме в посольстве

Испании или Франции Леон обводил взглядом публику, отмечая то лицо знаменитого комика, то широкие плечи олимпийского чемпиона, то профиль шоколадной фотомодели, то парочку явных резидентов под прикрытием дипломатических должностей, он всегда с грустным удовольствием думал: «У Иммануэля бывало круче...»

* * *

Уже и не вспомнить, когда Иммануэль впервые сам позвонил Леону – будто обычное это дело, будто каждый день звонил пожелать доброго дня – и велел приехать «вот сейчас, да-да, именно, и инструмент прихвати».

Леон ужасно взволновался: минут через пять он должен был выйти из дома на репетицию оркестра музыкальной школы, но, услышав голос Иммануэля в трубке, решил все немедленно отменить и ехать. Забормотал, что, конечно, сейчас же выскочит... на автобус до станции, а там в три часа есть автобус до...

– Оставь этот караван выючных верблюдов, цуцик, – нетерпеливо оборвал Иммануэль. – Вызови такси и езжай прямо ко мне, я заплачу. Хочу тебя кое-кому показать.

Леон схватил кларнет, выскочил и сразу поймал такси. Водила попался лихой и наглый, и, несмотря на дождь, подрезал и обгонял всех на горных виражах, так что долетели минут за сорок, и пока мчались, Леон пытался угадать, кому там он должен *показаться*, фантазируя и представляя себе чуть ли не Лучано Паваротти собственной персоной (и ничуть бы не удивился).

Но под навесом в патио сидел рядом с Иммануэлем такой же мужичок-боровичок, как и сам хозяин, неприметный и какой-то... *допотопный*, которого Иммануэль слегка насмешливо звал то Амосом, то Пастухом. Для Леона это оказалась странная и совсем неинтересная встреча, страшно его разочаровавшая (пропущенной репетиции было жаль).

Иммануэль попросил его сыграть, и он заиграл что-то из недавно выученного, потом его попросили спеть... И хотя мальчик в то время уже избегал петь этим надоевшим ему «бабьим» голосом, за который его все время дразнила неумная Габриэла, и устал ждать, когда наконец придет и минует природная ломка и новенький, еще неуверенный, как птенец, его тенор (или даже баритон?) раздвинет голосовые связки, как прутья клетки, и вылетит на волю, – он не смог отказать Иммануэлю и послушно запел свое коронное, из «Нормы», что всегда повергало в трепет тех,

кто слышал это впервые.

Он пел, равнодушно отмечая, как с первыми звуками меняется выражение лица у неприметного мужичка, как складывает тот ладони домиком и, подперев им крошечный колющий подбородок, задумчиво рассматривает рябоватую от мелкого дождика воду бассейна. И когда Леон умолк, мужичок пробормотал, не поднимая глаз на мальчика:

– М-да... очень похоже... – И повернувшись к Иммануэлю: – Знаешь, что мне это напомнило? Нашу канарейку в Вильно, до войны. Мама выпустила ее из клетки, когда всех нас уводили в гетто. Сказала: *пусть хоть кто-то из семьи будет на воле.*

– При чем здесь гетто?! – вскричал Иммануэль. – И здесь не Вильно. Ты хоть понял, с чем имеешь дело, Пастух?!

И тот опять сложил ладони, как пастор перед молитвой, и задумчиво произнес:

– Пока не вижу, чем это может пригодиться. Разве что внешность...

Пастух действительно пас, и овечки его были особенного рода, а отправить на пенсию семидесятилетнего Амоса не решился бы ни один из руководителей конторы.

Дело было вовсе не в количестве его заслуг перед страной (большинству из них суждено было оставаться под грифом секретности еще добрых полсотни лет), а в том, что заменить его было некем.

На протяжении многих лет раза два в неделю Пастух отправлялся на работу в министерство просвещения, где давно числился штатным психологом, получая за эти полставки весьма неплохую зарплату. Год за годом на правах сотрудника минпроса Амос объезжал школы и интернаты, детские сады и молодежные лагеря и выискивал, выискивал, выискивал...

Главный интерес в «овечках» для него представляло все, что так или иначе могло пригодиться разведке в недалеком будущем, включая странные особенности, вроде полного отсутствия у ребенка каких-либо талантов, кроме невероятной памяти, мгновенно и совершенно бездумно глотавшей мегабайты информации, или способности у какой-нибудь в остальном самой обыкновенной девчушки мгновенно совершать в уме никому не нужные – в наше-то компьютерное время – громоздкие арифметические действия.

Не говоря о главном: кадровики самого секретного батальона израильской армии, солдат и офицеров которого называют «мистаарвим» – «псевдоарабы», – батальона, выполняющего

спецоперации в густонаселенных арабских кварталах, – к отбору курсантов приступали с прочтения тощих папочек, скрупулезно подготовленных Пастухом. Он, блестящий и опытный арабист, знал все деликатные особенности обманчивой игры генов в бурливой крови аборигенов Ближнего Востока. Евреи, приехавшие сюда из Марокко, Йемена или Туниса, из Алжира, Турции, Сирии или Египта, переодетые в галабию, с куфией на голове, ничем внешне не отличались от арабов на базарах Каира, на улицах Дамаска или в переулках и тупиках палестинских деревень и лагерей беженцев.

В виртуозных операциях этого легендарного батальона, помимо тщательной подготовки, глубокого изучения языка и диалектов, жестов и привычек, походки, мимики, родственных обычаев и клановых пристрастий, следовало учитывать множество других мелких деталей: у арабов Иерусалима могли попадаться и голубые глаза (вечный след крестоносцев с их Иерусалимским королевством), у арабов египетских нередко встречался вздернутый нос; йеменцы отличались тонкими чертами лица.

Щедрый поток репатриантов из бывшего СССР, хлынувший в страну в начале девяностых, Пастух воспринял как дар божий. Еще ни одна «алия» не была столь пестрой. Советские мамки, сами того не ведая, привезли с собой для Амоса настоящие сокровища – своих мальчишек, которых в Москве и Харькове, Одессе и Ленинграде называли одинаково, «детьми фестивалей», хотя отцами их вовсе не были участники Международного фестиваля молодежи и студентов, прошедшего еще в хрущевские времена. Мало кто удивлялся, если где-нибудь на сцене детского сада в Виннице гопак в украинском национальном костюме отплясывал очередной негритенок или арабчонок с хорошим русским именем Коля, Андрюша или Миша.

Сказать по правде, папка Леона, заведенная на него в тот день, когда Пастух впервые увидел мальчика у Иммануэля, долгое время оставалась почти пустой. Вот разве что внешность... Пастух был уверен, что в крови мальчика с таким изысканно-«европейским» именем наличествует добрая толика той самой нужной нам крови... Голос? Да-да, он отметил и голос, – удивительный, конечно... Но какой разведке мира, скажите на милость, может пригодиться оперный голос? Разве что в далекой перспективе, и только если из пацана выйдет толк, а это совсем необязательно: голос – штука хрупкая, ломкая, изменчивая...

Спору нет, человек мало-мальски известный, не говоря уж

о знаменитости, легко проникнет в частные дома или штаб-квартиры организаций, куда заказан путь подозреваемому в связях с разведкой. Мальчик может вырасти в такой вот бриллиант... а может и не вырасти: работа сеятеля, наша работа, быстрых плодов не приносит. Но иногда, бывает, взойдет дивный злак или какой-нибудь совсем экзотический цветок... Голос? Хм... пожалуй, голос...

Вернувшись от Иммануэля, Пастух вынул из ящика стола пустую картонную папку с унылыми канцелярскими завязочками, вложил в нее исписанный лист, закрыл, завязал...

А на лицевой стороне написал кодовое имя – то, что первым в голову пришло, навеянное пронзительным воспоминанием детства. Имя, которому суждено было пристать к маленькому и худому, очень замкнутому мальчику, голосистой птахе, встреченной Пастухом сегодня у Иммануэля.

Странное имя: «Кéнар русí». «Русская канарейка».

* * *

Однажды – ему было лет пятнадцать – Леон спросил у Магды, зачем нужна Иммануэлю вся эта возня с концертами, привозными стульями, столами и обедами, на которых он чуть ли не с шапкой в руке собирает деньги для *страждущих овец*, когда он может запросто выписать чек и через минуту забыть и о проблеме, и об овечках.

Это была суббота, а накануне Леон, как обычно, остался ночевать – у него давно было свое место за столом на семейных пятничных ужинах у Калдманов. Все уже разошлись по своим делам: Натан у себя в кабинете что-то бубнил в телефонную трубку, Меир умчался на занятия по тхэквондо. За столом припозднились Леон и Магда, и, конечно же, Буся, – она сидела у Магды на левом плече, выпрашивая свой «десерт». Продолжая говорить, Магда вытаскивала из кармана домашней куртки крошечные печенюшки, не поворачивая головы, поднимала руку и ждала, когда Буся с величайшей осторожностью возьмет рыжее колесико обеими лапками, поразительно напоминая руки новорожденного. Вдумчиво, не отвлекаясь – как ребенок – она его огрызала: сначала по краям, потом, внимательно оглядев, отправляла огрызок в крошечный рот и сразу всплескивала пустыми ручками, как домохозяйка, у которой подгорел пирог.

Выдав Бусе очередное подношение, Магда серьезно сказала Леону:

– А ты сам не догадываешься? Иммануэль занимается воспитанием.
– И кого же он воспитывает? – удивился Леон.
– Общество, – ответила она без тени улыбки. – Наше молодое неотесанное общество. Он не может иначе. Иммануэль – просветитель по своей сути.

По-настоящему Леон понял это и оценил лет десять спустя, в тот день, когда Иммануэль пригласил его в Хайфу на торжественную церемонию передачи своей коллекции картин и скульптур в дар университету.

Впервые Леон увидел всю эту великолепную коллекцию, развешанную по стенам трех больших залов.

К тому времени Иммануэль успел изрядно натаскать Леона в том, что называл обобщенным словом «искусство»; в любом разговоре – о политике, о еде, о морали, о женщинах, о путешествиях – он рано или поздно съезжал на любимую «художественную ноту». Любая пикантная сплетня (а он обожал их и любил повторять, что «сплетни – кровеносная система общества») непременно приводила к очередному воспоминанию: «Кое-что похожее в тридцать шестом году произошло с Пикассо – этот суч-потрох меньше всего заботился о репутациях своих женщин...» Но и сплетня в конце концов завершалась пространством объяснением: истории картины, манеры художника, его принадлежности тому или другому направлению. Иммануэль, прирожденный просветитель, никогда не упускал момента поучить «цуцика» видеть, слышать и чувствовать. И если спустя лет пятнадцать тот мог на выставке ли, на аукционе или где-нибудь на вечеринке вскользь обронить что-то о *свойственной Сезанну цветовой архитектонике*, этим он был обязан Иммануэлю и только ему.

– Вот этот рисунок... читай подпись... громче! Правильно. Я купил его в двадцать девятом году в Париже, в одном занюханном ресторанчике, где столовались молодые художники. Ресторан – по сути, это была домашняя столовка – держала пожилая пара неисправимых добряков; они не могли отказать всем этим голодным оборванцам. Готовили так себе, зато обеды стоили плевые деньги, впрочем, и тех у богемной шушеры не водилось. Кое-кто пытался продать свои рисунки. Ходили меж столиков, предлагали купить... Жалкое зрелище – за столами-то сидели такие же нищие. Часто они расплачивались рисунками или картинами за еду. Там на полке резного буфета лежала большая серая папка со всей этой сомнительной «валютой», я любил ее просматривать. Один рисунок – наверное, когда-то им расплатился за обед очередной оборванец – очень

мне нравился; я и сам в то время был чертовски юн и перебивался с кваса на воду, но в конце концов решился и купил его. Знаешь, почему? Хозяин сказал: «Тот парень был похож на еврея, и как-то... истощен, и вскоре умер то ли от пьянства, то ли от туберкулеза». Вот этот самый рисунок... Я называю его «Моя Мадонна» – видишь, длинный стебель шеи – как струя, что льется из наклоненного кувшина?.. а эти пустые глаза, в которых одновременно божественное *ничто* и сотворенный Им мир, весь прекрасный проклятый мир?.. Тридцать франков, суч-потрох! Читай еще раз имя. Громче, громче! Это гибкое, длинное, как атласная лента, имя, которое просто не могло не стать знаменитым. Произнеси еще раз своим ангельским голосом.

– Модильяни!!! – орал осатаневший Леон. И насмешливо выпевал виньеточным арпеджио: – Мо-дии-иль-я-а-ани-и-и!

– То-то же, Модильяни... Через три года это имя стало известным. И я буквально заболел этим делом: разыскивать, рыскать, раскапывать, открывать!.. Одно время был одержим молодым Де Кунингом. Вон он – над торшером работы Джакометти: видишь, как закипают краски на холсте? Смотри и прочувствуй мощь этой звериной мошонки! Я вложил в него приличные деньги, снял ему мастерскую, оплачивал материалы – кисти, краски... Он тратил чертову пропасть этих красок! Я спрашивал: «Ты что, жрешь их?!» Сидел и часами смотрел, как он работает. Меня завораживала неистовая ярость, с которой он ляпал краски на холст. Они отлетали от мастихина и падали вниз, на газеты, которые он стелил, чтоб не испачкать пол, – строгая хозяйка ругалась... Два дня наблюдал, как наслаиваются случайные куски краски на листы случайных газет, и когда он собрался выкинуть сей пестрый мусор, сказал: «Постой, Виллем! Подари мне эти сраные позавчерашние новости». Он усмехнулся, сказал, что я сумасшедший. Протянул смятые комки. Я расправил их, заставил его расписаться на каждом и стал ждать. – Иммануэль усмехался: – Один лист у меня выпросила Жюстин, моя тогдашняя секретарша, неумная птичка, седлавшая меня каждый раз, когда посетитель покидал офис... Через три года Де Кунинг был уже на олимпе, и Жюстин продала свой газетный лист за восемь тысяч долларов – учти, это были совсем не те восемь тысяч, что сейчас. А я... я подождал еще три года и продал на аукционе каждый из трех этих листов по 25 тысяч. Просто я умел видеть, цуцик. Понимаешь? Я умел видеть.

На дарственную церемонию в университете Иммануэля, уже сидевшего в кресле, привезли Тассна и Винай. Леон примчался

из Иерусалима на мотоцикле. Ходил по залам, смотрел. Был потрясен: оказывается, многого не видел раньше. Несколько скульптур Джакометти, три картины Эрнста, две картины Де Кунинга, яркие полотна Реувена Рубина. Большой, аскетичный по цвету Магритт и маленькая, всего сорок на тридцать, но прелестная работа Миро. И Робер Делоне, и лирический кубист Хуан Грис...

Он подошел к старику, опустил руку на его сухонькое и скособоченное плечо, прямо спросил:

– Тебе не жаль? – имея в виду отнюдь не денежную ценность этих сокровищ, просто зная, как Иммануэль привязан к каждому рисунку или скульптуре.

– Очень жаль, суч-потрох! – живо отозвался довольный старик, похлопывая по руке Леона, лежащей у него на плече. В тот вечер Иммануэль просто купался в потоках удовольствия, которое, как обычно, сам же себе и организовал. – Потому я и позабылся о своей коллекции. Вот теперь она останется в полной сохранности. И, что важнее всего, – на людях.

3

Что касается Владки – она расцвела.

Насмотревшись на развернутые лозунги манифестантов у резиденции главы правительства, покрутившись среди людей и поглотив изрядное количество поучительных житейских историй, Владка уяснила главную двигательную силу местной политической жизни: ор, кипеш и судебные преследования.

Она сколотила и возглавила комитет афганских вдов и матерей, растянув меха своей гармоники до самых душераздирающих нот. Это было точным попаданием характера в температуру кипящего гейзера; удивительное слияние личного темперамента с гражданским рельефом общества. Нужная краска, вставленная в нужное место фрески. Пронзительное верхнее до во всеобщей какофонии.

Короче, Владка развернулась во всю ширь своей неиссякаемо кипучей натуры. Она как бы вернулась в свой двор с его дружной коммунальной жизнью, с беготней по улицам и дворам, со встречами флотилии «Советская Украина» в Одесском порту. Кстати, в Хайфский порт на демонстрацию портовых рабочих она тоже съездила: «поддержать товарищей по борьбе».

Вообще, очень скоро без Владки не обходилась ни одна мало-мальски приличная забастовка или демонстрация.

Она складно и бойко, с раскованными и убедительными жестами, вещала на иврите готовыми телевизионными фразами, так что журналисты израильских СМИ, всегда, как осы, облепляющие подобные группы протеста, все чаще брали у нее интервью на фоне очередного палаточного лагеря. Она была чрезвычайно, как говорят здесь, «аттрактивна», то есть зазывно-колоритна: речь ее состояла преимущественно из воззваний и обвинений «израильской политической элиты» в коррупции, равнодушии и бездействии. С готовностью выхватывая микрофон из рук подоспевшего журналиста, Владка устремляла в камеру взыскующий взор своих *кружовенных* глаз, и... при первых же звуках напористого и звонкого голоса матери Леон морщился и выключал телевизор.

Чуть ли не в первые дни вступив на работе в профсоюз, Владка очень скоро подвизалась на разных общественных должностях и поручениях; в составе каких-то *комитетов* встречалась с политиками и членами администраций, *выдвигала требования* и *держалась общей линии*... К тому же она затесалась в одну из леволиберальных партий, довольно худосочных, и даже вошла в какой-то там партийный список, угрожая сыну, что скоро станет депутатом Кнессета. Но на выборах ее партия («Слава Аллаху!» – пробормотал Леон) не прошла электорального барьера, так что в перерывах между демонстрациями, переговорами и ночными бдениями в палатках протеста Владка продолжала выдавать тряпки и моющие средства все тем же сильно постаревшим от физического труда женщинам с лицами докторов искусствоведения.

Но главное, с Владкой произошла разительная внешняя перемена: она обрекла себя на какую-то чудодейственную интернет-диету, за полгода потеряла килограмм двадцать и помолодела так, будто задалась целью выскочить замуж (что, как нам известно, не соответствовало ее реальным запросам и целям).

Кроме того, она купила самокат, запальчиво доказывая сыну, что все «деловые люди» добираются сейчас на работу именно так – не отравляя воздух бензиновыми выхлопами (кажется, в каком-то палаточном лагере она брательна и с «зелеными», этой чумой современного мира). И с рюкзачком за плечами, в джинсах и маечке, с велосипедными зажимами на штанинах лихо раскатывала – золотое руно на самокате! – вписываясь в местный гористый ландшафт с такой электрической точностью, что собственный сын озадаченно глядел в окошко полуподвала на то, как,

оттолкнувшись ногой, его уже зрелая, мягко говоря, мамаша на всех парусах летит вниз по улице.

* * *

Однажды, сдавшись на уговоры Иммануэля «...приволочь сюда мать, ты что – прячешь ее?!», Леон повез-таки Владку в «бунгало» на один из благотворительных вечеров. По дороге, не стесняясь «верного Гриши», умирал ее тычками, одновременно шепотом умоляя «ради бога, молчать весь вечер».

Много лет с ужасом вспоминал *эту ассамблею*; месяца два уклонялся от участия в концертах, пока не решил, что впечатление от Владкиной «гастроли» несколько сгладилось. Но он ошибался: Владка всегда и на всех производила неизгладимое впечатление.

И дело было не только в ее неостановимом и невероятном вранье, которое она звонким голосом вываливала поверх бокалов и салатниц, оглядывая гостей торжествующими зелеными глазами. И даже не в этой повадке портовой шалавы обеими ладонями истомно поднимать с шеи и протряхивать меж пальцами густые пряди рыжих волос, демонстрируя всем желающим свои ослепительные подмышки...

На вечер к Иммануэлю впервые был приглашен знаменитый израильский писатель, уже третий сезон штурмовавший нобелевский комитет своим главным романом. С собой он привез гостью, переводчицу-японку, – грациозную женщину лет за сорок, с лицом цвета морской раковины. Переводчица жила у него вторую неделю, напряженно работая над романом. По словам писателя, «вкалывали днями и ночами». Его можно понять, заметил на это Иммануэль, – не знаю, как там она переводит и насколько хорошо знает иврит, но особа прелестная.

Впрочем, очень скоро – при помощи Владки – обнаружилось, что ивритом Кумико-сан владеет очень даже неплохо.

– О! – воскликнула Владка, уперев взгляд в эту миловидную женщину – та, приветливо улыбаясь, сидела как раз напротив. – Да это же тайская принцесса, а? Я ее знаю! Мы принимали ее в канцелярии! У нее такие зубки острые, выступающие... Приглядитесь, когда рот откроет. Она этими зубками все понадкусывала. Даже деревянные ложки надкусила! А они же все-все буддисты, вы знаете? Все сидят в позе лотоса. И эта сидела, не поднимаясь, потому что ноги кривые, как у кавалериста, – вот обратите внимание, когда привстанет. Последите! А у нас

в резиденции – как? Кого принимаешь, так себя и позиционируешь. И все служащие – все, понимаете? – садятся в позу лотоса: прием так прием! Мы вообще всех встречаем по полной программе, соответственно ихним национальным традициям. Японцев встречаем в кимоно. Индийцев – в сари... клянусь! У нас в резиденции даже консультант имеется по правильным жестам и обычаям. Страшные деньгищи получает!

Нобелевский соискатель склонился к Магде и тихо спросил:

– О какой резиденции идет речь?

И та, с состраданием глядя на помертвевшего Леона, так же тихо отозвалась:

– О резиденции главы правительства...

А «тайская принцесса» вполголоса – чтобы не мешать Владкиному рассказу, – с самурайской невозмутимостью попросила писателя:

– Передайте мне, пожалуйста, вон тот пирожок, Давид. Хочу понадкусывать здесь все, до чего дотянусь.

И тот принялся ухаживать за гостьей.

А Владку уже несло в открытое море – как всегда, когда она чувствовала интерес окружающих. Тем более что постепенно в разных углах стола разговоры стихали, и взгляды обращались на рыжую сирену.

– Поза лотоса – это не проблема. Вообще-то, лучше всего она получается после клизмы, корпус становится гибче. Но я-то в нее свободно сажусь, я вообще ужасно гибкая. Внимание, демонстрирую...

Она вскочила, оттолкнула стул, так что тот опрокинулся набок, уселась на ковер и дальше вела рассказ, задрав голову, весело прищелкивая пальцами, поводя плечами, вскрикивая и хохоча.

– Но кто может так долго сидеть! Только тренированные. У остальных старых задниц ногу немедленно сводит судорогой. И вот, представьте, сидим мы все в кружок на полу: премьер-министр, спикер Кнессета, глава банка Израиля, охранники и я. И тут у меня ногу сводит судорогой. Я хватаю вилку и принимаюсь тыкать в ногу – чтоб отмёрла! Сажу и вонзаю вилку в ногу с криком «Банзай!».

Леон поднялся и тихо направился в комнатку, что отдавали артистам под гримуборную. Там он с ледяным отчаянием сложил инструмент, незаметно прокрался по коридору в холл и покинул дом Иммануэля – как считал, навсегда.

А очень довольную Владку поздним вечером привезла Магда, но в каморку к ним спускаться не стала – видимо, понимая, что творится с мальчиком.

Заехала за ним на следующий день и чуть ли не силой увезла в Савьон.

Леон всю дорогу молчал, а Магда рассказывала про Греческие острова, про Санторини, где когда-то Натан вытащил из моря тонувшего мальчика и его отец, богатый местный обувщик, каждый год теперь отдает им на лето небольшой домик на горе:

– Дом белый, с синими ставнями на окнах и синим куполом – такие домашние небеса. И с огромной террасой, вплывающей в море, – всю жизнь на ней можно просидеть, глядя на парусники, лодки-пароходики, на огромные лайнеры... – Потом легким голосом, как бы вскользь, сказала, что Владка вчера, конечно (ну, ты же все сам понимаешь, мой милый), всех *скандализировала*, но это ровным счетом ничего не значит: умеи дистанцироваться, ты уже для этого достаточно взрослый. Кстати, единственный, кто от нее в восторге, – это Иммануэль.

Иммануэль действительно был в восторге и минут десять говорил только о Владке, широко и шкодливо улыбаясь.

– Она изумительная! – восклицал он, взмахивая короткими ручками. – Она такая живая, настоящая актриса... Ей просто нет равных! – И перейдя на русский, непосредственно Леону, вполголоса: – Вся эта история с погибшим солдатом – она ее, конечно, придумала, уж прости меня, цуцик. Но много бы я отдал, чтоб узнать, от какого че гевары она тебя родила. – И головой покачал, и повторил на иврите для Магды: – Ах, какая женщина! Жаль, что я для нее старик.

– Ну, будет тебе кокетничать, – отозвалась та.

А ведь права была, кокетничал: стоит вспомнить молодую любовницу-воровку в конце его жизни.

4

В этот дом, распластанный по склону горы, спускаться надо было, как в глубокую воду, – задержав дыхание.

Лет тридцать назад Иммануэль выкупил в Эйн-Кереме для Магды, в то время выпускницы архитектурного колледжа, неудобный, чуть ли не вертикальный участок горы, поросшей соснами, тамариском и корявыми оливами, с развалинами старого арабского дома. «Ты у нас вроде бы архитектор, – сказал, – давай, строй себе жилье, хоть и вверх тормашками; готов оплатить эксперимент».

И Магда бросилась строить свое зачарованное гнездо на скале. А то, что это «просто какой-то птичий насест», Иммануэль сказал ей сразу, едва взглянул на проект. Позже раза три приезжал смотреть, как движется

стройка.

– В этом что-то есть, *мейделэ*^[25], да... в этом парении над ущельем, в беготне вверх-вниз... Пожалуй, первые лет пятьдесят тебя это будет забавлять... – и, выписав очередной чек, уезжал, озадаченный, но и восхищенный ее идеями.

От развалин Магда сохранила несколько старых мощных стен, фрагменты пола, мощенного винно-красной плиткой, три каменные арки и – над кухней – висевший на честном слове и лоскуте синего иерусалимского неба каменный купол. Подперев его двумя круглыми колоннами, она прорубила в нем два окна, впуская солнце днем и звездную россыпь ночью, и кухня воспарила невесомой ротондой и всегда была новой – из-за небесного спектакля в потолке: то бегущие облака, то графика распластанного в сини коршуна, то огненный прочерк падающей звезды, то водопады зимних дождей.

Свое гнездо Магда вылепила на двух длинных – вдоль склона – горных террасах, открыв из каждой комнаты стеклянную стену на противоположный лесистый склон и на закат, что пылал сквозь кисею мохнатых сосен, затем багровел, сгущаясь до сизого пепла, и наконец угасал...

Одним из ежевечерних аттракционов были горные косули, маленькие и грациозные: возникнув на тропке соседней горы, они замирали, услышав Меиров посвист, два-три мгновения с любопытством таращились на людей, после чего ныряли в заросли боярышника и исчезали за стеной кипарисов, тамариска и алеппских сосен.

По обе стороны дома над ущельем повисли два широких рукава: увитая виноградом деревянная терраса с длинным столом и пирамидой пластиковых стульев для большой компании гостей и оранжерея под высокой застекленной крышей.

Там Магда, влюбленная в кактусы, выращивала причудливые экземпляры этих пришельцев: угрожающе-кособоких, с толстыми колючими лаптями, с хваткими осьминожьими присосками и цветками таких бесстыдных любовных форм и расцветок, что гости (а всех безжалостно волокли смотреть очередную расцветшую «новость») толклись вокруг, цепляясь за колючки шелковыми шарфами и подолами платьев, смущенные, очарованные, чуть ли не соблазненные, не в силах покинуть эту красоту.

Когда гора напротив угасала, как и белая стена кладбища монастыря Сестер Сиона справа, как и золотые купола Русского Горненского монастыря слева, на «гостевой» террасе наступало время ежевечернего

чаепития: оживали круглые желтые фонари, приобщаясь к лунному клубу; из ущелья, даже на пике июльской жары, поднималась ночная влага, будоража пахучее царство лаванды, шалфея, мирры и тимьяна, и какой-то мелколистной горной травки, затоплявшей окрестности приторным медовым ароматом, так что после особенно глубокого вдоха возникало желание облизнуть губы.

Время от времени там, внизу, происходило какое-нибудь молниеносное яростное сражение невидимых сил, с дикими взывами враждующих сторон – то ли шакалий захлеб, то ли кошачий боевой клич, то ли лай пастушьего пса.

В траве шуршали, шмыгали и попискивали мелкие бесы: дикие скальные кролики с длинными ушами, фенеки – длинноногие местные лисички с острыми мордочками, ежи и змеи. Каждое лето две-три змеи непременно заползали в дом, и в диком переполохе, стоя на стуле с драгоценной Бусей на плече, Магда вызванивала поимщика-змеелова из специальной службы. И разговоров потом хватало на неделю.

На их упрямо вздыбленном участке скалы было несколько чудес.

Во-первых, сразу, как войдешь в калитку, в земляных лунках, заботливо оставленных при мощении «верхнего дворика», росли два деревца, обсыпанных мелкими лимонами, такими желтыми, что их солнечные брызги даже в хмурый день вызывали счастливый вздох, а также раскидистый гранатовый куст, к концу августа буквально обсиженный небольшими, но ярко-пурпурными и очень сладкими плодами (особо тяжелые падали, и в их расколотой улыбке сверкали с земли малиновые зубки), из которых Магда давила сок, превращая его потом в свою фирменную «колдовскую наливку».

Но главным богатством – на «нижнем дворе», куда выходила стеклянная стена гостиной, – была старая корявая шелковица, царь-дерево, приносящее такие сладкие черные ягоды, что нижние ветви дети обрывали, не дожидаясь объявленного Магдой сбора урожая, после чего дня три ухмылялись черными пиратскими губами. Эта роскошная, истомленная сладостью крона ежегодно в середине июля становилась прибежищем целой стаи ярких оливковых птичек величиной с желудь; не обращая внимания на людей, они ныряли и кувыркались в блаженно-плодовом нутре, лакомясь и перечиркиваясь скандальными голосами.

Леон, принятый в семью после первой же взятой им ноты, часто оставался у Калдманов ночевать в забавной келье, напоминавшей Стешину

каморку в Доме Этингера. И попасть в нее тоже можно было только из кухни, откуда три узкие ступени вели к низкому – словно бы для Леона делали – проему в натуральную скалу, оставленную Магдой в ее первоизданном виде: широкие сланцевые щеки пористого известняка со склеротичными лиловыми прожилками. Эта естественная пещерка была обнаружена в процессе строительства и довыдолблена в глубь скалы «на всякий случай»: кладовка и приют «для своих», для домашних непритязательных гостей, вроде приятелей Меира.

– Они ж дырявые, как швейцарский сыр, наши Иудейские горы, – любила повторять Магда. – Отсюда легенда, что в конце времен все мертвые попадут в Иерусалим, где воскреснут и будут судимы Мессией. Как попадут? – подхватывала она, намазывая масло на свой уныло диетический хлебец, попутно выдавая кротко ожидавшей Бусе ее печенюше. – А вот так и попадут: перекатываясь в ожерелье подземных пещер.

Кладовку Магда называла «Бусина нора»: там, в углу между стеной и этажеркой, стояла корзина, утепленная старыми полотенцами. Но среди ночи, бывало, Леон чувствовал, как мягкий комочек забирается под одеяло, чтобы согреться у него в ногах: топчется, принаравливается, сворачивается клубком, и обоим становилось теплее.

Деревянная складная кровать в «норе» всегда стояла разложенной и заправленной. И все небольшое пространство было полно легких раскладных вещей, вроде брезентовых походных стульев в виде сложенных зонтов, какие носят с собой на этюды художники. В углу вырастала ажурная легкая башня вставленных одна в другую плетеных корзинок, корзин и корзинищ для сбора грибов, ягод и тутовника, а также крепкая и кряжистая бамбуковая этажерка, снизу доверху загруженная бутылками домашних наливок из всего, что росло по склону этого почти вертикального «имения».

И бывало, в старших классах Меир с Леоном допоздна засиживались в «норе», договаривая, доспоривая, решая и подписывая приговоры самым насущным преступлениям и промахам человечества, втихомолку подливая в бумажные (чтобы не звякнуть) стаканчики наливку из очередной Магдиной бутылки, раскупоренной пиратским налетом. После возлияний задвигали ее в самый дальний угол, давно хранящий тайны подобных алкогольных преступлений.

Леон был уверен, что ближе Меира у него человека нет. Магда – она,

конечно, тоже. И Иммануэль. Но есть ведь сокровенные рассветные мысли и сны, и *следствия этих снов*, которые понятны лишь такому же бедолаге, как ты. Такому же – по возрасту, силе воображения и мощи неукротимой внутренней бури, что треплет тебя круглые сутки, даже по ночам, вышвыривая из постыдно томительного сна – обессиленного, в противной липкой луже, и все же облегченного хотя бы на день...

– Брось! – смешно морща нос, говорил Меир вполголоса. – Что за страдания в наше радостное время. Хочешь, познакомлю тебя с *правильными* девочками?

Леон знал, что Меир *дело говорит*. Но ни о каких правильных девочках он без панического ужаса слышать не мог. И вообще: ничего *правильного* не могло быть в этой области безумия, носящего длинное, несколько манерное женское имя, которое в течение суток он повторял – и вслух, и шепотом, и мысленно, и просто беззвучно шевеля губами, лаская языком и небом – сотни, тысячи раз: Г-а-б-р-и-э-л-а-а-а-а...

* * *

К концу восьмого класса она некрасиво изменилась: подурнела и стала какой-то несуразной – будто развинтились и разболтались все винтики и шурупы, скреплявшие конструкцию ее тела, прежде такого легкого, слаженно-стремительного. Руки и ноги вытянулись еще больше, коленки стали крупными и как-то нелепо стукались, мешая друг другу при ходьбе, нос укрупнился, а подбородок в сравнении с ним казался детски-маленьким. К тому же, испортилась кожа ее фарфорового лица, и воспаленная карточка прыщиков вскакивала то на носу, смешно его удлиняя, то на щеке, то на подбородке. Губы вспухли и капризно выпятились, на них то и дело возникали какие-то нарывы, и тогда лицо становилось несчастно-брюзгливым. Да и характерец ее, и без того вздорный, стал совсем невыносим.

Меир, ухмыляясь, втихомолку называл Габриэлу «уродиной» и относился к ней как к избалованному недоростку – но бережно. Он по-прежнему был старше, серьезней и великодушней всех. И по-прежнему отвечал за всех скопом.

Леон не замечал в ней никаких изменений. Габриэла была незыблемой драгоценностью, перлом творения, который, впрочем, можно, а порой даже нужно было слегка поколотить, – чтоб не слишком дерзила. А дерзила она через слово и первой распускала руки, а Леон отвечал, так что они

беспрестанно дрались, и ссорились, и снова дрались, даже на уроках, даже у Меира дома, на вполне мирном обсуждении какого-нибудь насущного вопроса. Им ежеминутно хотелось коснуться друг друга с силой, наотмашь, сжать, ощутить друг друга через удар, через тугой физический отклик.

Магда помалкивала, наблюдая за этими двумя подростками, искрящими даже при взгляде друг на друга.

– Эти сумасшедшие дерутся, как маленькие! – жаловался Меир матери – он постоянно их растаскивал. – Ну за что ты ее ненавидишь?! – восклицал он. – Габриэла, дикая кошка: разве можно так бросаться на несчастного мальчика!..

Впрочем, и он вскоре обнаружит причину и исток этой ненависти шиворот-навыворот. Этой ненависти, что была не чем иным, как изнанкой яркой, искристой, как синие глаза Габриэлы, неистовой физической тяги друг к другу.

Перед десятым классом, в конце лета вернувшись из Прованса, где провела с родителями и сестрой два месяца на какой-то вилле с романтическим именем «Модест», Габриэла явилась в класс совершенно преображенной: она вдруг *всем телом* изменилась, будто природа спохватилась и кинулась исправлять то, что напортачила: вновь подкрутила гайки и винтики, отполировала смуглым румянцем кожу, долепила и огранила по какому-то музейному римскому образцу черты ее лица, добавив аквамарина в глубокую синеву глаз, а волосы взбила совсем уж невообразимо сияющим облаком и, довольно причмокнув, завершила картину последним штрихом: двумя ямочками на лукаво округлившихся щеках. Словом, новая Габриэла разила наповал.

Леон за лето тоже сильно повзрослел. Все каникулы от полудня и до поздней ночи вкалывал официантом в ресторане «Дома Тихо»; многому там научился, гибким угрем проскальзывая меж столиками на кухню и обратно, поспевая брать заказы, разносить подносы с тарелками-бутылками-бокалами, ловко перестилать скатерти, встряхивая их одним движением; низко склоняться к карте меню в руках клиентки, советуя в качестве гарнира взять... вот этот вид красного риса, сегодня он на редкость удался.

Там же, на каменной террасе «Дома Тихо», с ним приключилась странная история, впервые заставившая взглянуть на себя со стороны.

Весь вечер он обслуживал большую религиозную семью, состоявшую

из кузенов, дядьев и двоюродных бабушек-дедушек. Крутился вокруг них как заведенный, надеясь на хорошие чаевые: клиенты были американцами. Вот где пригодился его английский! Весь вечер он рта не закрывал: советовал, отговаривал, смешил, поддакивал и даже напевал.

Среди прочих с краю стола сидела пара супругов: он – пожилой, с окладистой седой бородой, в черном традиционном прикиде ультрарелигиозного раввина. Она – пышка лет тридцати пяти, с быстрыми карими глазами, прелестным рисунком полных губ и очень белыми, очень ровными, как бусины, зубками, которые она показывала всем подряд – от престарелого мужа до юного официанта. Когда важный толстяк – видимо, глава их клана – попросил у Леона счет и уже надел свою черную шляпу, «Белозубка», как назвал ее про себя Леон, вдруг легко коснулась пальцами его локтя и попросила показать, где здесь дамская комната.

– Внутри, по ступенькам и направо, мэм.

– Не могли бы вы меня проводить, я вечно блуждаю?

– Конечно, мэм, с удовольствием...

И – тонкий, в своей униформе: черная рубашка, черные брюки, длинный белый фартук на бедрах, – пригласительно оглядываясь через плечо, пригласительной же улыбкой невольно отвечая на улыбку ее совершенно девичьих приоткрытых губ, лавируя меж другими официантами и посетителями, поднялся по ступенькам и завернул направо, где в прохладном уютном закутке с двумя *разнополюми* дверьми по сторонам произошло следующее: Белозубка вдруг подалась к нему, приблизив к его лицу свое, с бисеринками пота над верхней губой, и, жарко дрожа перед ним горячим воздухом, пробормотала:

– Боже, как ты красив! Ты хоть знаешь, как ты красив, мальчик! – схватила его ладонь, что-то в нее вложила и скрылась за дверью дамской комнаты. А Леон ввалился в комнату напротив, открыл холодный кран и минуты две, склоняясь над раковиной, одной рукой бросал в лицо пригоршни холодной воды, пытаясь понять, что сейчас произошло. Поднял голову, исподлобья уставился на свою мокрую физиономию в зеркале. Ну и рожа, подумал. Во влип! А тетка – та просто трёхнутая. Надо Меиру рассказать... С некоторой опаской разжал левый кулак: в нем оказалась новенькая пятидесятидолларовая банкнота – американские чаевые, поразившие его воображение; подарок феи-Белозубки, трёхнутой тетки, дай ей бог здоровья... Он вспомнил бисеринки пота над верхней ее приоткрытой губой и вдруг запоздало ощутил такой мощный спазм внизу живота, что охнул и опустился на корточки. И отсиживался еще минут пять, пока, по его расчетам, американская компания не покинула террасу

кафе.

За лето он вытянулся и достиг своего предела – ста шестидесяти трех сантиметров, но все еще оставался ниже Габриэлы на полголовы, и теперь уже навсегда.

Всю жизнь он подбирал себе женщин ее типа: высоких, откровенно выше его, синеглазых, с легкой копной каштановых тонких волос. Увидев, дурел, терял голову, преследовал, не давал передышки, задаривал подарками, напирал... пока не одерживал победу. Словно эта девочка раз и навсегда отпечатала в глубине его естества свой нестираемый, ничем не вытравляемый образ. Точно так же, как любая гроза, любой далекий рокот неба с незабываемой яркостью воскрешали в его памяти ту ночь в доме на склоне горы – ту Главную Ночь, что стала талисманом, уроком и ужасом его юности, да и всей его жизни.

Что касается Меира...

К десятому классу всей школе было известно, что Меир – настоящий математический гений, будущий лауреат международных премий, надежда отечественной науки. На олимпиадах он побеждал студентов хайфского Техниона, участвовал в каких-то университетских проектах и даже в одном закрытом армейском, о котором важно помалкивал, напуская на себя вид государственного мужа. По сути дела, Меиру Леон был обязан тем, что в школе его перетаскивали из класса в класс. Меир, друг, самый близкий и преданный человек в мире, всегда поспевал со своей помощью в последнюю минуту, порой целыми страницами переписывая за Леона контрольные по точным дисциплинам.

– Эх ты... Кларнет ибн-Кларнет... – добродушно говорил он, тихо подвигая к нему драгоценные листки за спиной педагога.

Впрочем, была область, кроме музыки, где Леон не только не нуждался в помощи, но явно опережал многих сверстников: языки. Они просто вливались в него через макушку и растекались внутри головы, разделенные чистыми ручьями по отдельным, не сообщающимся резервуарам с надежными клапанами. И когда открывался клапан одного резервуара, захлопывались клапаны всех остальных. Так, неожиданно и жадно он заглотал английский – буквально *заглотал*, ибо включал телевизионный оперный канал за ужином и слушал-смотрел, едва пережевывая куски булки с сыром, запивая, вернее, заглатывая их молоком из стакана.

Обеда не было никогда: Владка готовить не любила и не умела, вечно

околачивалась по каким-то своим заседаниям, после которых бурно, с куском бублика за щекой, пересказывала сыну события, щедро украшая их виньетками собственного изготовления:

– И после того, как она это говорит, он хлопается в обморок – бэмц! Глаза закатились, тело дергается, ширинка расстегнута, и там – украденное ПОРТМОНЕ!!!

Обеды иногда приносил сердобольный Аврам, особенно по воскресеньям – остатки семейного субботнего пиршества, кулинарные изыски дочерей. Не особо вдаваясь в каноны сервировки, Аврам складывал в одну кастрюльку четыре рыбные котлетки, несколько ложек вареного риса с изюмом, приличный обломок творожной запеканки. Являлся, ставил кастрюльку на стол, садился рядом, выложив на клеенку большие чистые руки, и говорил Леону:

– Ешь немедленно, я должен забрать кастрюлю, она не из дешевых. Отложи в тарелку для мамы. А теперь ешь, я хочу видеть, что ты сыт. Загребай ложкой все подряд, так даже вкуснее. Что ты морщишься! Что плохого могут приготовить ручки Сары и Мири, Дворы и Пнины, и маленькой Шайли – она взбивала яйца?! Нет, ешь прямо сейчас, я должен вымыть кастрюлю...

Так вот, американский музыкальный телеканал транслировал оперы с самых знаменитых мировых площадок; спектакль предваряли подробные лекции. Понизу кадра шли титры на иврите, и глазам Леона приходилось бегать по цепочке слов, как-то договариваясь с жадным слухом.

Через месяц, неожиданно для самого себя, он не только объяснил двум пожилым туристам из Англии, как пройти к Стене плача, но, вызвавшись их проводить и за эти полчаса подружившись, целый день бродил с ними по Старому городу, совершенно свободно болтая и понимая новых своих знакомых практически полностью. В девятом классе он иногда поправлял учительницу в специальных музыкальных терминах, благодаря тем же лекциям и передачам уже другого телеканала, британского.

И дело было не в запасе выученных слов; в любых языках, кроме русского, иврита и арабского, он использовал довольно скромный словесный багаж. Но лишь только открывал рот и произносил две-три фразы на том же английском, никому и в голову не могло прийти, что этот парень родился не в Бостоне или каком-нибудь Стэнфорде.

Однако самыми поразительными были у него успехи в арабском – в языке, не очень, мягко говоря, любимом учениками. Язык сложный, изысканный, множество синонимов (одно только слово «любовь» можно передать десятками слов); письменность витиеватая, почти как японские

иероглифы. Арабский язык школьники выбирали дополнительным к английскому не из любви, а с прицелом на будущее, особенно мальчики: в некоторых спецподразделениях армии знание арабского сильно помогало продвигаться в военной карьере.

Леон же в арабский просто влюбился: готовя устный ответ по теме, выпевал фразы, очень точно интонируя в каждом слове; ведя рассказ, использовал по два-три прилагательных к каждому существительному, хотя учитель его об этом и не просил.

В арабском он парил, упивался, молился, цитировал суры Корана... Ну да, говорил преподаватель, усмехаясь и качая головой. Известный эффект: музыкальный слух, по всей видимости, абсолютный... В арабском это большое подспорье.

И не то чтоб он так уж вызубривал правила грамматики-фонетики, все эти гортанные согласные, огласованные *фатхой*, *дамой* или *касрой*... Просто, когда открывал рот и, полуприкрыв глаза, произносил что-нибудь из Корана – в классе наступала заинтересованная тишина, будто сейчас, после полагающегося вступления, Леон приступит к рассказу о похождениях зачарованного багдадского купца.

Иногда он и сам задумывался над тем, как интересно у него устроена башка: взять хоть эти «резервуары» с языками – запечатанные амфоры с драгоценными винами. Каждый напиток имеет свой вкус: терпкий или сладковатый, пряный, с фруктовым или травяным послевкусием... Завершая фразу, ты собираешь языком последние капли, растворяя в себе последний отзвук смысла. Для каждого языка у него существовало гармоническое соответствие, и чтобы перейти с языка на язык, нужно было прислушаться... приклонить свое ухо, как говорят мудрецы восточных сказок, к глубинной сути самого себя; перейти в другую тональность. Стать *иным* совершенно.

* * *

Мутация его упрямого голоса наступила невероятно поздно, в шестнадцать с половиной лет, и прошла стремительно и бурно – всего за три месяца, когда разговорный его голос упал на целую октаву и *вышелушился* в баритональный регистр. Ошеломленный и обрадованный этим превращением, Леон вдруг разболтался: непривычно много для самого себя говорил, с удовольствием прислушиваясь к тому,

как в глубине каждого произнесенного слова распускается мужское ядро. Нащупывал новые тембры: восклицаний, смеха, протяжного зова. Знакомился с новым собой. Наконец, осторожно попытался петь в новом регистре, но при этом ощутил такое неудобство, точно в горло ему вставили крошечную шарманку, которую ежеминутно хотелось выблевать.

Все предыдущие годы он ждал, когда, сбросив линялую шкурку мутации, его новый голос взметнется теноровой птицей в «настоящем мужском» диапазоне. Вместо этого в горле возник какой-то шерстистый посредник, обойти которого не было никакой возможности.

Леон пришел в отчаяние.

– Я потерял голос! – сказал он матери. На что Владка отреагировала со свойственной ей легкостью:

– Да и хрен с ним. Ты что, всю жизнь собирался птичкой чирикать?

Нет, конечно, голоса он не терял – в том смысле, какой придают этому профессионалы. Но петь мог только все тем же идиотским опостылевшим бабьим сопрано, что при его внешнем, столь же стремительном возмужании становилось уже посмешищем, приемом пародиста.

Когда оставался дома один, он все-таки пытался петь на прежних голосовых ощущениях. Ему так хотелось петь! Голос, запертый в своей тесной тюрьме, в груди и гортани, все время рвался наружу, и Леон, делая вид, что прочищает горло, позволял ему выпорхнуть на волю в виде какого-нибудь разбойного доминант-септаккорда, в виде короткой распевки, иронической трели. После чего вновь загонял в клетку.

Что же делать, что делать, что делать?.. Он метался, раза три ночью горько плакал, вдавливая лицо в подушку, чтобы Владка не услышала.

Потерю голоса – вернее, потерю мечты обрести *другой, настоящий голос* – он воспринимал чуть ли не третьим своим – после потери Стеш и Барышни – сиротством. И ни с кем этим горем поделиться не мог. Даже с Меиром. Даже с Магдой.

Наконец, смирился. Что ж, бывает, сказал он себе мужественно. Случается с очень многими великолепными детскими голосами. Дар божий уходит, растворяется в тусклом мужском баритоне. А даже если и не растворился, если по-прежнему звенит и заливает мощью весь подъезд так, что изумленный сосед сверху, любитель Тридцать второй Бетховена, робко стучится с просьбой «повторить еще разок... Спасибо, детка, ты большой талант!» – что с того?! Не станет же он, запуская утром *газонокосилку* по островкам своей будущей мужской щетины, пищать, как в детском саду: «В лесу родилась елочка»? *Воображаю, что скажет Габриэла!*

А Габриэла постоянно что-то *говорила*, и подчас ровно противоположные вещи в течение одного дня. Например, ей надоела их группа, хотя ни одна школьная вечеринка без нее уже не обходилась.

Вообще-то, настоящую славу группе принес Ури, который оказался прирожденным ударником. Его манила любая поверхность. Меир говорил, что, даже снимая крышку с кастрюли, Ури мгновение раздумывает: налить в тарелку суп или шваркнуть по ней половником. Его руки ни секунды не могли пробыть в покое. На уроках он беззвучно ласкал и пришлепывал крышку парты, на переменах выбивал дробь на собственных коленках, груди и животе, а уж если ему доставалась тарабука... тут весь мир застыл в ожидании, когда его ладони, костяшки и подушечки пальцев пустятся в многоуровневый, многозвучный и многоступенчатый разговор, бурно, взхлеб, выплескивая целые монологи и умолкая лишь для того, чтобы уступить место нежному, пылкому, томительному голосу кларнета в руках Леона...

Меир и Габриэла старались подтягиваться за этими двумя, иногда ужасно мешая, сбивая с ритма, забывая, где и когда договорились вступать.

В конце концов на вечеринках ребята перестали скрывать, что хотели бы слушать Леона и Ури «без группы поддержки». Однажды Леон составил часовую программу, целую джазовую композицию, и они с Ури выступили дуэтом. И это был оглушительный успех, тем более что на время концерта Леон вымазался самой темной крем-пудрой, которую удалось достать в отделе косметики «Суперфарма», превратившись то ли в Эллу Фитцджеральд, то ли в Иму Сумак, и в паузах между игрой на кларнете выдавал такие рулады, что даже учителя и директор валились со стульев от восторга и хохота.

Меир тоже очень радовался – поздравлял, обнимал обоих, кричал:

– Это просто грандиозно, грандиозно, правда, Габриэла?

Та ответила: – Да, ничего – для школьного вечера...

А еще через неделю Меиру пришло в голову сколотить такую бродячую труппу – «Новый Глобус» («А что, можно летом разъезжать в машине по всей стране: договариваемся с домами культуры и кибуцами, запикиваем реквизит в мамины корзины...»).

Не мелочась, взялись за Шекспира: «Двенадцатая ночь, или Что угодно». Не всю пьесу, конечно, так, парочку сцен. Репетировали все там же – у Меира, на глазах Магды и Буси, под шумок таскавшей у Магды

печенье.

Оливию, разумеется, играла Габриэла, герцога – Меир; Леон отдувался за двоих: за Себастьяна и Виолу. Ури был на подхвате и отвечал за мелкие роли и звуковое сопровождение, явно злоупотребляя ударными; и еще две плотвички из класса крутились под ногами – подпевалки Габриэлы, ее преданная клака.

Магда пожертвовала в реквизитный фонд спектакля свой роскошный испанский веер. И, величаво овеивая им прекрасное лицо, раскрывая его на груди, Габриэла произносила текст – как считала правильным, чуточку в нос:

– Что вы, сударь, я совсем не так бессердечна! Поверьте, я обязательно велю составить опись всех моих прелестей: их внесут в реестр и на каждой частице и принадлежности наклеят ярлык с наименованием. Например: первое – пара губ, в меру красных; второе – два серых глаза и к ним в придачу веки; третье – одна шея, один подбородок... и так далее. Вас послали, чтобы оценить меня?

На что Леон-Виола, подавшись к Оливии слишком близко, отвечал:

Я понял вас: вы чересчур надменны.
Но, будь вы даже ведьмой, вы красивы.
Мой господин вас любит. Как он любит!
Будь вы красивей всех красавиц в мире,
Такой любви не наградить нельзя^[26].

Вот когда впервые он приволок на обозрение публики «венский гардероб» Барышни в его родном парусиновом саквояже. Не забыл ни шляпки с вуалью, ни сумочки с защелкой в виде львиной морды.

Магда была очарована. Оживилась, как девчонка, разложила вещи на столе и на стульях, развесила на плечики, расправляла кружева, ахала и восхищенно качала головой:

– Она была такая грациозная крошка, твоя Барышня! Береги эти сокровища, Леон. Когда-нибудь продашь их в музей за весьма приличные деньги. Леон сказал:

– Еще чего! Они привыкли жить со мной. Я иногда дома их ношу, чтобы не скучали.

Габриэла зашлась от хохота и, задыхаясь, повторяла:

– О-о, представляю!.. Наша певчая птица в оборках и кружевах... Какие перышки! Какой носок!

А Магда, не обращая на нее внимания, серьезно попросила мальчика:

– Надень, а? Вот это платье.

– Это уже не налезает, – с сожалением сказал он, тоже не глядя на Габриэлу, всем своим видом показывая, кому посвятил этот сюрприз, притащив свое драгоценное наследство. – Вот блузу и юбку, пожалуй, сейчас накину...

Скрылся в ванной и...

И когда дверь распахнулась, в проеме стояла девушка в кружевной блузке с несколько коротковатыми рукавами, в плиссированной юбке, в шляпке с вуалью, с сумочкой в руке... Босая.

– Господа, – прозвенела она жалобно-нежным голоском. – Прошу извинить мой вид... Мне посчастливилось скрыться от грабителей.

Габриэла завизжала и заявила, что сейчас описается. Меир просто лег на пол, умирая от смеха. А Магда серьезно смотрела на новоявленную девицу, на то, как угловато-изящно та двигается по кухне, как стеснительно-дерзко смотрит из-под вуали, как закладывает за ушко выбившуюся прядку на виске и говорит-говорит не переставая этим звенящим, таким естественным, таким органичным образом голоском.

«Он не притворяется, – подумала Магда. – *Он просто стал этой девицей...* Так, значит, вот что имел в виду Шекспир в этих историях с перевертышами и переодеваниями. А я думала, это театральная условность».

Вечером, вынимая из рук уснувшего Натана газету, она нечаянно разбудила его, и пока тот ворчал и ворочался, уминая подушку и удобней пристраивая голову, говорила полусшепотом:

– Знаешь... сегодня дети репетировали Шекспира, и Леон переоделся в наряды своей прабабки, которые чудом сохранились... И он так легко, так органично двигался, девушку играл – просто поразительно! У него даже *шея меняется*. Понимаешь? Наклон головы, глаза такие кроткие... Настоящий артист!

– М-м-м... артист, кларнетист, певец...

– И очень ранимый... и влюблен в эту маленькую мерзавку Габриэлу...

– ...Ранимый... Магда, я хотел бы немного поспать.

Когда муж, погасив свою лампу, уже похрапывал, Магда сказала самой себе:

– Удивительная семья, которая вся уже *только в нем одном*.

Помолчала и добавила шепотом:

– Последний Этингер...

* * *

– Ты обратил внимание, что они не уточняют, где, собственно, работает Натан и что он делает? – спросила Габриэла.

Они сидели на лужайке, что возле Бельгийского дома, в Ботаническом саду университета. Прямо в траве сидели: какой-то особенной, мелкокружевной, шелковой на ощупь травке, с круглыми крошечными листочками. Школьные рюкзаки валялись рядом.

Это был третий их совместный (и тайный) побег – последние денечки одиннадцатого класса, кошмар контрольных и экзаменов, идущих плотно сомкнутым строем, римской «свиньей».

Месяц назад утром столкнулись у дверей школы, молча глянули друг на друга, будто впервые увидели, и так же молча, не сговариваясь, повернулись и пошли прочь... Шли по разным сторонам улицы, искоса держа друг друга в поле зрения. А отойдя на приличное расстояние, бросились бежать в университетский парк, где провалились на травке до вечера, впервые открыто и жадно осматривая, оглаживая и ощупывая друг друга – пока только взглядами.

В Бельгийском доме шла какая-то конференция. В патио, окруженном чугунной, крупно кованной решеткой, толклись группки участников с одноразовыми стаканами и тарелками в руках.

– И что же он делает? – спросил Леон почти машинально, укладываясь на спину в тайной надежде, что, как и в прошлый раз, она склонится над ним и станет сорванной травинкой тихо водить по его лицу, по закрытым глазам, доводя до обморочного блаженства, но своего лица не приближая. Сам же он не смел ни коснуться ее, ни придвинуться ближе, хотя все его изнурительные ночи в последнее время были заняты составлением судорожных стратегических планов: протянуть руку, якобы нечаянно задеть ладонь... и так далее, по возрастающей сложности, до апогея неисполнимого счастья. И все это – после нескольких лет драк, тычков, пинков и прочего мучительства; после того, как однажды он чуть не вытряс из нее душу – схватил за плечи и в ярости мотал по школьному коридору, пока Меир не вызволил ее из «этих железных лап».

– Что-то секретное. Так мама говорит.

Она вывернула руку локтем вверх и сосредоточенно уставилась на узорные отпечатки травы с прихлопнутой бедной мошкой

на предплечье.

– Сдуй! – брезгливо морщась, приказала Леону, сунув локоть к его лицу. Тот принялся дуть. Перед его носом под тканью белой маечки дышал двуглавый рельеф ее недостижимой таинственной груди.

Леон уже знал, что Магда училась в одном классе с матерью Габриэлы, что в юности они были подружками, но позже почему-то разошлись. Еще он неуловимо чувствовал, что при Габриэле Магда всегда как-то *тщательнее* разговаривает, точно обдумывая каждое слово. Не так, как обычно разговаривает с Леоном, за их завтраками на кухне.

– Ты, конечно, знаешь, что он был в плену? – Габриэла сорвала травку, поднесла к его губам, и вот тут полагалось закрыть глаза... но он широко раскрыл их и рывком сел:

– Как – в плену?

– Ну да, у сирийцев. Года два, что ли... Давно, сто лет назад. И его обменяли – *задорого*. Бог знает, *что именно* за него отдали. – Она вздохнула и спросила насмешливо: – Ну что ты так вскинулся, малыш? Бывает. У нас это бывает, а?

Прищурилась, будто усмотрела там, в мирном патио, откуда невнятно доносился шумок разговора освобожденных узников конференции, что-то очень интересное, и ровным голосом добавила:

– Они отбили ему яйца.

И грубая взрослая простота, с какой это было сказано, оттолкнули его от Габриэлы почти физически. Он даже отодвинулся.

– Ну, когда он вернулся, в таком, понимаешь ли, плачевном виде... то да се, психиатры, урологи... Короче, наши врачи, конечно, славно поработали, но это заняло приличное время. Подсчитай – когда у Магды родился Меир...

Все это было невыносимо слышать и особенно невыносимо – слышать от нее.

– Зачем мне считать? – дернув плечом, огрызнулся он. – Делать мне больше нечего.

– А просто интересно. Она же старуха. Ей его *всунули* из пробирки!

– Замолчи! – крикнул Леон. Он вскочил на ноги, Габриэла осталась сидеть, чуть откинувшись, опершись на обе руки, глядя снизу нестерпимо синими, темно-синими среди зеленой травы глазами, по-прежнему насмешливо щурясь, точно речь шла не о трагедии, а о чем-то непристойном.

– Могу объяснить, как это делается, – не унималась она.

– Не хочу слышать! И не хочу говорить с тобой о Магде, поняла?

– И все это время она ждала, как понурая ослица, – задумчиво проговорила Габриэла, отведя взгляд. – Ждала, когда ее оплодотворят. Ждала, ждала... а годы шли... – Она хмыкнула: – Я просто сделала бы *это* с кем угодно да и родила ему хоть кого.

– Как – с кем угодно? – поразился Леон. – Ведь это Магда.

– Магда, Магда! – передразнила она. – Вот именно, что Магда. Тоскливый синий чулок. Верная зануда. Еще немного – и они бы вообще остались без детей. – Она помолчала и легко махнула рукой: – Не стоит копаться в этой семейной куче. Вряд ли он часто дарит ей супружеские радости. Больная семья. Образцово-больная...

– Откуда ты все это знаешь? – процедил Леон в брезгливом бешенстве.

– Знаю-зна-а-аю! – пропела Габриэла, поглядывая снизу вверх и явно им любуясь. Сидела, задрав ногу на ногу, носок белой спортивной тапочки покачивался, как бы сокрушенно кивая ее словам. – Мне, например, не все равно, будет ли меня нормально трахать мой будущий муж, – добавила она с тем же невозмутимым прищуром. – Будь ты хоть герой-инвалид, хоть секретный агент ноль-ноль-семь и всякая такая мура, а будь добр...

Голубая змейка вены пересекала загорелую лодыжку над белой кромкой обуви, что качалась перед Леоном, как ветка с запретным плодом. И с бессильным возмущением он понимал, что никогда не сможет повернуться и уйти, что бы там она ни несла; что он готов стоять так до вечера, не двигаясь, не отрываясь от смуглой косточки с голубой жилкой, от тонких рук, прищуренных синих глаз; от сводящих его с ума безжалостных губ.

* * *

Она будто ждала от него ошибки, за которую могла бы наказать; подначивала, насмешничала, обижала – тонко и умно, не так, как раньше, – по-женски. Когда хотела позлить, называла *малышом*, зная, как переживает он из-за разницы в росте. Да он еще и выглядел подростком, и, находясь рядом, она была похожа на его старшую сестру – развитую, уверенную, ироничную. Она постоянно провоцировала и дразнила.

– Не распускай руки, – предупреждала она, как бы невзначай положив теплую ладонь сзади на его шею. – Попробуй только руки распускать! – И материнским тоном: – Я проверяю – не вспотел ли ты на сквозняке, малыш...

И он бесился.

К концу июня, как раз ко всей этой экзаменационной мясорубке, требовавшей невероятного напряжения, Леон уже был близок к помешательству и думать мог только о Габриэле, мысленно повторяя и пережевывая все *удачные минуты* их встреч, разговоров, касаний, поцелуев (они уже целовались, когда у нее бывало настроение)...

И о том, *как* она его поцеловала на днях – как бы пролетая мимо, но все же задержавшись снять нектар – *рассеянный язык в поисках друга*... Отклонилась и насмешливо спросила:

– Боже, что я там забыла, а, *малыш*?

И тут наш Меир, *наш душа-человек*, объявляет, что есть удачная идея: отпраздновать окончание этого долбаного года. Как это где? У нас, по-настоящему, без предков. Те намылились на какой-то концерт аж в Хайфу и даже заказали там номер в отеле, чтобы ночью не пилить назад. Так что – ура, свобода, заветные бутылочки из «Бусиной норы»... А сама Буся, будем надеяться, не настучит. И главное – втроем, *по-семейному*. Обойдемся без дублирующего состава, а? И даже – ой, пожалуйста, – без Ури: он же всех перебарабанит. Вечер в духе старого доброго блюза. Расслабимся... Что мы, не заслужили?!

– А родители в курсе и разрешили оторваться, – добавил Меир. – При условии, что дом не разнесем.

Он действительно припас несколько дисков «старого доброго бродвейского блюза» – Гершвин, Копленд, Уайлдхорн – и, кажется, всерьез решил «оторваться», чтоб все было «как полагается у взрослых людей». Даже травки где-то раздобыл. По очереди они приобщились к радостям свободы, валяясь на тахте в гостиной и передавая друг другу косячок, который на Леона ничуть не подействовал (видимо, все из той же носоглоточной брезгливости он не затягивался по-настоящему).

Несколько бутылок Магдиной фирменной настойки были торжественно вынесены из «Бусиной норы», раскупорены и выставлены на стол. И Меир стал азартно накачиваться, будто задался целью напиться вдрызг. Видимо, у него это тоже входило в программу «полного отрыва». Сначала он танцевал с Габриэлой, потом один, заплетающимся медвежьим танго. Но после того как локтем чуть не сбил с полки любимую мамину фигурку саксонского фарфора, Габриэла приказала ему лечь вот тут, на тахту, и не рыпаться. Меир с готовностью распростерся, изображая падишаха, и велел «своим одалискам» развлекать его танцами. А, сказал Леон, сейчас устроим шоу! И началось настоящее безумие: Леон сбегал в спальню, залез там в шкаф, вытащил длинный шелковый халат Магды

с безумными черными розами по голубому полю. Скинув рубашку, мгновенно переоделся и предстал перед владыкой: соблазнительный, тонкий, в чалме, сооруженной из там же найденной кашемировой шали. И пустился отчебучивать танец живота, поддавая бедрами, страстно поглаживая растопыренными пальцами грудь и живот, томно вращая глазами и всячески изображая исступленную страсть. Габриэла, вообще-то не очень пластичная от природы, хохотала, как безумная. Она оседлала распростертого Меира и, одобрительно покрикивая, подсакивала у него на животе в такт Леоновым коленцам так, что даже здоровяк Меир кричал и выл, прося пощады. Когда Леон – полуголый, в расстегнутом халате, пошел колбасить вокруг тахты, извиваясь угрем и маша длинными широкими рукавами, они с Габриэлой уже смотрели друг на друга поверх Меира долгими влажными взглядами. Габриэла, скользнув с тахты, то и дело бегала к столу и обратно, по приказу «владыки» доливая в бокал следующую порцию наливки...

Вдруг Леон с Габриэлой оказались на виноградной террасе, куда вышли «подышать», и, в полной уверенности, что Меир уснул, долго там целовались в темноте, как сумасшедшие, отлепляясь только чтобы вдохнуть и вновь ринуться друг на друга, смешно сталкиваясь носами и лбами. Габриэла раздвинула халат на груди Леона и принялась гладить и массировать его грудь.

– Ух, как сердечко у тебя тарахтит, малыш! – и вдруг сильно и властно сжала его левый сосок, будто взяла душу в пригоршню.

Но наш Меир, наш Самсон, наш несокрушимый Портос – он был не из таковских, чтобы его свалила рюмочка или паршивый косячок. Дурным рыком поверженного сатрапа он велел им вернуться, пока не обезглавил обоих, к чер-р-р-ртовой матери!

И они вернулись и, переглядываясь поверх опрокинутого навзничь падишаха, все доливали ему спиртного, приподнимая крупную рыжую голову, вливая в ненасытную пасть еще рюмочку, и еще одну...

Меир уже не ворочал языком, а движения Габриэлы становились все ленивее, и все медленнее поднималась ее ладонь по Леоновой спине. Раз за три, проскальзывая позади Леона, она прижималась к нему всем телом, будто кто перцовый пластырь на спину лепил. И раз за разом все дольше длилась невероятная сладость теплого прикосновения к его спине ее груди и бедер...

...Вдруг они увидели – нет, просто почуяли, – что Меир наконец уснул.

Габриэла выключила музыку, и наступила тишина: строгая, исчерпывающая, четко поделившая ночь пополам. Кончилась игра. Стало слышно, как гроыхнуло и неразборчивым басом пророкотало небо.

– Странно, – сказала Габриэла. – Гроза, в это время? Что-то несусветное...

Он ждал, молча глядя на нее поверх распростертого на тахте друга, не делая ни шага навстречу. Почему, почему он никогда не мог поступить с ней как мужчина? – этот проклятый вопрос мучил его всю жизнь. Да потому, отвечал себе сам, что ты и не был мужчиной – тогда.

– Ну, все, – добродетельным и даже каким-то будничным тоном сказала она. – Расходимся спать.

Быстро нырнула вниз и процокала по лестнице каблучками (никогда не упускала случая стать выше его еще на пять сантиметров). Дверь в спальню, отведенную Габриэле на эту ночь, захлопнулась коротко и внятно. Мягко и картаво провернулся ключ.

Леон стоял, как болван, не в силах понять: что это было, что она затеяла? Какой знак ему подала – чтобы спускался за ней? чтобы не смел приближаться? чтобы знал свое место – рядом с Бусей, в «норе»?

И, вконец истерзанный своей мучительницей, всеми этими танцами, взглядами, поцелуями, коварными томительными прикосновениями, поплелся к себе, в «нору».

Он лежал в утробе скалы, как мертвый, ожидающий воскресения, и мысленно перекатывался из кухни в комнату и вниз, в спальню, где лежала Габриэла. Слушал гроыхания грозы – слишком странной, слишком поздней летней грозы; содрогания неба совпадали с содроганиями его крови.

Он лежал на спине, на складной кровати, и его подбрасывала и сотрясала тугая сила то ли грозы, то ли собственной крови, пока наконец не вышвырнула прочь. И едва касаясь босыми ступнями пола, он выскользнул в кухню и вылетел в темный коридор, где через три шага столкнулся с Габриэлой – тоже босой, тоже к нему бегущей, тоже – с клочущим сердцебиением.

Молча вцепившись друг в друга, они стояли и дрожали – босые на холодном каменном полу, под грозным полетом рваных туч в двух огромных купольных окнах в ротонде, губами жадно пробегая и ощупывая друг друга в шорохе дождя и ночи, боясь застонать, валкими шажками подвигая один другого, пока не притазились четырехногой гусеницей в спальню, не рухнули плашмя поперек широкой хозяйской кровати...

В крошечной тьме за стеклянной стеной возникла раскаленная проволока молнии, на долю секунды впечатав черные пики елей и сосен в алюминиевое небо. И сразу грохнуло так, что показалось: дом сейчас отвалится от скалы и полетит в пропасть. Габриэла вскрикнула и обхватила Леона руками, ногами, прижавшись всем телом, как испуганный детеныш обезьяны.

Гулко рухнули на крышу бурные потоки, заливая огромное окно во всю стену, и это было – как вход в пещеру, занавешенный дождем, за которым принялся отбивать удары колокол соседнего монастыря.

Шум крови сливался с шумом дождя и был ритмом, биением пульса в телах, не стихшим, когда уже и колокол стих, и после вкрадчивых, неукротимых, пугающих его самого попыток проникнуть в нее, он вдруг в отчаянии (нет, никогда ничего не получится!) ударил ее всем телом и сам застонал с ней в унисон от жгучей боли и жгучего блаженства, понимая, что – *очутился*, – чувствуя набат пульса во всем теле – божественное сладостное стаккато, что охватило и повело их слитные тела и вело до конца, до мучительной вспышки грозовой кровеносной плети в окне за мгновение до громового разряда – *ее разряда*, – который он ощутил в медленном содрогании ее тонкой спины, заключенной им в охапку...

Все остальное (кажется, она бегала в ванную – стирать и развешивать *оскандаленную* простыню, а его шуганула как-то по-женски, не глядя махнув отсылающей ладонью) – все остальное, и главным образом его возбужденные рваные диалоги с самим собой – все продолжалось в «норе», куда он заполз уже один, уже *иной*, чем прежде.

Гроза, уютно погромыхая, медленно уходила дальше, на Иерусалим, Леон же продолжал говорить с Габриэлой новым своим голосом, с новой требовательной интонацией – как разговаривал с Владкой, когда хотел втемашить ей в голову нечто важное. «Ты понимаешь, что теперь мы – навсегда?» – строгим шепотом спрашивал он Габриэлу, и тут же улыбался в темноту, и опять что-то строго ей говорил, а она что-то отвечала, вроде как Владка: «Ну ты и зануда, Лео...» – стихали шорохи, где-то шлепали по плитам чьи-то босые ноги, и все это было уже в блаженном сне, что выпрастывался из грозы на чистое-чистое небо. Навсегда. Навсегда. Навсегда...

...Разбудил его Меир – ласково, даже как-то... жалостно. И легко, точно они играли очередную сцену в какой-нибудь постановке их несбывшегося бродячего театра.

Тронул за плечо и мягко проговорил:

– Просыпайся, *малыш*...

Ничего особенного в том, что Меир его будит, не было. Обычное дело. Тот всегда вставал ни свет ни заря и – эгоист несчастный! – никогда не упускал случая вытащить из-под головы друга подушку. Ничего особенного, кроме слова «малыш» – так дразнила Леона Габриэла и никогда не говорил Меир. Почему Леона подбросило и он сел на кровати, озираясь, точно искал и не находил Габриэлу?

– Ну что... – так же грустно и сострадательно проговорил Меир, старательно пряча торжествующую улыбку победителя. – Что, *малыш*... Ночь любви закончилась не в твою пользу. Хотя ты и постарался меня напоить – думал из игры вывести, а?

Леон, ошалевший, сидел на кровати, все так же озираясь, уже понимая – ничего не понимая! – что в его жизни случилось что-то непоправимое.

– Габриэла?.. – выговорил он хриплым шепотом.

– Габриэла спит в моей кровати, – усмехнувшись, просто сказал Меир. – Она захотела выбрать, понимаешь? Сравнить и выбрать. Это ее право. И выбрала меня – извини...

Меир, душа-человек, как обычно, взял на себя самое тяжелое: объяснение с соперником. Великодушно повиниться, даже если и не считал себя виноватым (какого дьявола они его напоили! счет изначально был не в его пользу), но все равно уж: повиниться, подвести черту и остаться друзьями.

Меир, душа-человек, так и не понял, с кем имеет дело.

Много дней и даже недель спустя, думая о том, что произошло, Меир прежде всего вспоминал удар змеи, что однажды летом ужалила отца на террасе. Та тоже, свившись в тугой комок, молниеносно взвилась всем телом и ударила метко в цель.

Для Леона это была точно взятая нота: головой – в солнечное сплетение. Меир согнулся, охнул и завалился на кровати.

– Ты что... – просипел он. – Ты что, совсем одуре...

Поднялся и вновь упал, уже на пол, сбитый с ног таким же точным ударом головой в подбородок.

И тут тело Меира просто вспомнило тренировки, вспомнило *отдельно от него* – в конце концов, его же учили чему-то! «Ноги – всему голова»... Там, в «Бусиной норе», развернуться было негде, но Меир вскочил и ударом ноги долбанул Леона, отшвырнув к стене. Тот сильно приложился головой, отключился, поплыл... Тогда Меир сгреб его в охапку, выволок

наружу, протащил через весь дом к открытой террасе – вот уже тут было вполне просторно – и, чувствуя только одно – ледяную ярость, – пошел чесать ногами чуть ли не вслепую; натренирован был... Он не слышал визга проснувшейся и прибежавшей Габриэлы, не услышал, как (чудо!) к дому подъехала машина и вернувшиеся раньше времени (не спалось на гостиничных матрасах) Натан с Магдой ринулись в дом. Он не слышал ни воплей матери, ни окрика отца. Он бил, выбрасывая ноги, издавая боевые хэканья и взвои, словно демонстрировал все приемы, которые знал; с каждым ударом сталкивал Леона все ближе к невысокому барьеру террасы, где склон обрывался круто вниз, и остановлен был только отцом: тот налетел и отшвырнул сына прочь. Но Меир опять вскочил и кинулся добивать, так что Натану потребовалась еще пара увесистых затрецин, чтобы отрезвить *этого бойца*.

После чего Натан взвалил на плечо бесчувственного Леона и тяжело поднялся с ним в гору, к машине.

Габриэла пряталась в оранжерее, за огромной кадкой с веерно распахнутой пальмой *хамеопс*, среди колючек проклятых кактусов. Она была потрясена и заворожена страшной *всамделишной* дракой, в которой Меир *убил из-за нее* Леона. Сидела на корточках, в одних трусиках, трепеща от ужаса и вины, пригоршнями закрывая дрожащие грудки, ясно сознавая, что за эту ночь поднялась в цене и что главной валютой в этих торгах явилась не ее красота, не она сама, а эта вот убийственная драка, это преступление; впервые в жизни неуловимым женским чутьем она поставила знак равенства между преступлением и любовью. Она дрожала, плакала, бормотала... торжествовала.

И только угадав шорох шин отъехавшей машины, выбралась из своего колючего укрытия, бочком проскользнула мимо орущих друг на друга Магды и Меира («Ублюдок!!! Ублюдок!!!» – «Мама, он первый напал *ни с того ни с сего!!!*» Меир багровый был, потный, взъерошенный, но тоже почему-то очень торжествующий), юркнула в комнату, кое-как накинула одежду и, путаясь дрожащими пальцами в пуговичных петлях, выскочила за калитку.

...Весь день Натан провозился с Леоном: первым делом повез его в пункт скорой помощи, где добродушный и невозмутимый *русский* хирург, приговаривая «отлично, отлично», послал парня на рентген, подтвердивший перелом ребра и сотрясение мозга. Затем, все так же меланхолично-одобрительно бормоча, наложил несколько швов, смазал

йодом все ссадины и кровоподтеки – живого места там не осталось – и предложил отправить Леона в больницу. Но тот, хотя и рвало его, и на ногах он не стоял, попросился домой, и Натан привез его, уложил, укрыл и сидел в ногах кушетки, пока испуганная, как потерянный ребенок, Владка носилась кометой по комнате, вскрикивая: «Не понимаю – не понимаю!» и «За что, за что-о-о?!» – словом, часа через полтора пришлось ее спровадить, тем более что вечером она должна была выступать на пресс-конференции комитета афганских вдов и матерей, и пропустить это *значительное событие* означало *подвести серьезных людей*.

Больше всего Натана беспокоило молчание парня. Тот делал вид, что спит, на вопросы не реагировал. Может, и в самом деле спал – все-таки по просьбе Натана ему вкатили неслабую дозу какого-то успокоительного коктейля. Разумнее всего было укрыть его потеплее – уж больно колотило его и подбрасывало – да и оставить в покое. Но Натан все сидел у Леона в ногах, время от времени выдавливая какие-то слова, казавшиеся ему *правильными*... Вот тогда впервые он назвал его «ингелэ манс», «мальчик мой», и в его голосе было непритворное сочувствие и смутная вина. Что вспоминал он – собственное калечное тело? Собственное унижение, страх и ярость?

Он порывался сказать Леону, что это, увы, бывает – когда мужики дракой завоевывают женщин... такая вот паршивая штука, да... Что Габриэла – она, конечно, хорошая девочка, но ты увидишь, что встречаются и получше. Что со временем он, Леон, научится выигрывать не ростом, не весом и не силой, а *талантом* – чего ему-то не занимать, потому что стоящие женщины, сынок, влюбляются не в деньги, не в красоту и даже не в ум, а в *талант*, который их завораживает, как дудка крысолова; когда-нибудь ты это почувешь, как кобель чует запах течки...

Натан сидел в ногах бесчувственного Леона, и ему казалось, что это его *опять* били, поддавая ногами под дых, и под ребра, и в пах... Сидел, понимая, что надо бы сейчас как-то поддержать парня, объяснить, доказать ему, что...

И вместо всех убедительных слов произнес:

– Ингелэ манс... Этих баб никто никогда не поймет.

Он вернулся домой поздним вечером – мрачный, молчаливый, очень уставший; сказал жене:

– Успокойся. Это олени бои... Просто мальчики выросли.

– Ты спятил? – возмутилась Магда. – Ты видел этот ужас? Еще секунда, и он бы сбросил Леона в пропасть!

– Да, – удовлетворенно отозвался Натан. – Мой сын умеет драться.

– Твой сын – негодяй! – крикнула она.

– Нет, – спокойно возразил муж. – Он подрался из-за женщины и отбил ее.

Угрюмо подмигнул жене и добавил:

– Похоже, Габриэла досталась нашему Меиру.

– Этого-то я и боялась, – бросила Магда и отвернулась.

Своей сильной ладонью с искалеченными пальцами он погладил ее по спине – властно, окликающе, как давно гладил, на заре их жизни, *еще до всего...*

– Все пройдет, – успокоительно проговорил он. – Они помирятся.

Она молча покачала головой.

Эта женщина многое чувствовала лучше, чем ее опытный, умный, перенесший плен и страдания муж.

* * *

Недели через три Леон разыскал подвал на улице Жаботинского, где спортивная школа снимала тренировочный зал для ребят, записанных в группы восточных единоборств. Группу «крав мага» – жесткого ближнего боя – тренировал Сёмка Бен-Йорам.

И Леон пришел, и полтора часа отсидел, неподвижно горбясь, инстинктивно оберегая еще не зажившее ребро, отстраненно наблюдая, как Сёмка увалисто кружит на полусогнутых вокруг двоих парней, как подныривает, пружинисто приседая, чтобы следить за проведенным приемом, как покрикивает:

– Ступни параллельны!.. Вес тела на обе ноги!.. Локти согни!.. Я сказал, локти согни! Ладони открыты, защити голову!.. – И останавливал, хлопая в ладони: – Стоп-стоп-стоп! – и обоим тяжело дышащим противникам: – Еще раз показываю технику: из фронтальной позиции выдвигаем левую ногу вперед, так? небольшой шаг на переднюю часть ступни, так? И – следи, Шрага! – разворачиваемся справа налево, правое плечо резко вперед и! – ударное движение кулаком по прямой. Шрага, ты понял? Еще одно объяснение, и ты отчислен. Я не попугай. Так: заняли фронтальную позицию... пошли!

По лицу Леона невозможно было понять, нравится ему это занятие или оставляет равнодушным. Он безучастно смотрел на прыжки, кувырки, захваты... Жизнь раскладывала перед ним на своем прилавке новые товары: выбирай не хочу. Все, что составляло суть и радость его жизни, – музыка, вечера у Иммануэля, Габриэла и дружба с Меиром, милый дом над ущельем, «Бусина нора» и поздние завтраки с Магдой – все казалось далеким, чужим, погасшим и затоптанным, как вчерашний костер, – навсегда...

Когда взмыленные ребята закончили тренировку и поплелись в душ, Сёмка подошел и сел рядом с Леоном на широкую низкую скамью, потрепал его по жесткому плечу.

– Не думал, что ты сюда забредешь, Музыка! – сказал он. – Ну? Я зачем тебе понадобился?

Не поворачивая головы, Леон глухо выговорил:

– Научи меня убивать.

Сёмка ладонью повернул его лицо к себе, заглянул в эти глаза, безмолвно истекающие горячей смолой. Помолчал. Не стал ничего уточнять и расспрашивать. Похлопал по спине и сказал:

– Через месяц придешь. Пусть у ненависти выйдет срок годности.

* * *

С сентября Леон перешел в другую школу и еле-еле дотянул до конца года, сдав экзамены на аттестат зрелости по самому сиротскому минимуму. Зато весь этот последний школьный год упорно и даже истово бегал на занятия к Сёмке, и тот сначала сдержанно его похваливал, потом явно выделял, а потом, уже не скрывая одобрения, цокал языком и, если запаздывал к началу тренировки, звонил Леону и просил его «начинать с ребятами».

Леон уже получил первую повестку в армию и, когда Сёмка поинтересовался, намерен ли он пополнить ряды музыкантов *нашего почтенного армейского ансамбля*, скривился и что-то неразборчиво фыркнул, дав понять, что презирает подобное будущее. В анкете предпочтений он отметил самые тяжелые боевые части, включая «мистаарвим» – если уж бог дал такую рожу и такое произношение, *субхана раббийаль-азим...* Странно, думал он, – а я ведь так на Барышню похож. Вспомнил ее коронное: «Какая в том беда Дому Этингера!» – и выкинул все дурацкие мысли из головы.

Сёмка еще посоветовал «понырять» – мол, это отлично развивает дыхалку, а дыхалка – она в любой ситуации пригодится. Дал телефон своего друга, инструктора в эйлатском яхт-клубе.

– Только не дайвинг, – предупредил. – Там ты нагружен снаряжением, баллонами с воздухом – самосвал под водой... Проси его поучить задержке дыхания. Это фридайвинг, свободное погружение: маска, ласты и ты сам наедине со своим телом и всем, что там, под водой, встретишь...

И целый год дважды в месяц Леон добирался на попутках в Эйлат, а там до одурения нырял под приглядом Эли Волосатого – такая уж была фамилия у этого гладкого, шоколадного от загара гиганта с литыми мускулами человека-амфибии.

Он делал успехи, Леон, – это было необходимо ему позарез, чтобы справиться с собой, своим *плюгавым* ростом, своей тонкой костью, своим проклятым писклявым голосом детсадовского солиста.

И то ли природный объем его легких был отменным, то ли духовой инструмент сделал свое дело, но очень скоро он научился задерживать дыхание на полторы, на две минуты, с каждой тренировкой добавляя еще по две-три-пять секунд к личному рекорду, под водой зачарованно глядя на стайки жемчужных пузырьков, вылетающих из губ...

В эти месяцы в его сны проникла морская глубина: медленные длинные караваны водорослей, бесконечные змеистые их волны, влекомые подводным течением. Величаво развернулись причудливые замки кораллов, сиренево-оранжевые, губчатые, пещеристые, из укромных впадинок взмывали текущие стада серебристых, розово-черных полосатых рыб. Во сне пришла такая невесомая свобода тела, такая светлая радость парения, каких на земле он не чувствовал никогда.

Ну почему же – не чувствовал...

Лет через пятнадцать его коронные задержки-ферматы из репертуара легендарных кастратов, идущие не от дирижера к солисту, а наоборот, когда дирижер ловит желание певца продлить ноту и порой до обморока держит для него гармонию в оркестре, жадно ловя переход на коду, – будут потрясать и публику, и музыкальных критиков. После премьеры «Семирамиды» Николы Порпори в парижской «Опера Бастий», где он пел арию Миртео и почти на две минуты застопорил оркестр на невероятном, текучем, искрящемся алмазными всполохами си, а на исходе выплеснул в зал целую стаю серебристых рыбок движением груди и обеих рук, и зал «Опера Бастий» загрохотал и смял все течение

спектакля, и долго раскачивался и выл свое «браво!!!», а грудь Леона ходила счастливым поршнем, некий молодой и остроумный критик написал в «Ле Монд де ля Мюзик», еженедельном приложении к «Ле Монд», весьма лестную рецензию, припомнив там «затейников-кастратов, вроде Фаринелли, Виченци, Ауэрбаха или Валларди, которые подобными задержаниями на одной ноте, причем не на самой высокой, а чуть выше рабочей середины (прохвосты!), убивали публику наповал, доводя впечатлительных дам до нервного потрясения и удушья. Ведь не секрет, – писал он, – что некоторые экзальтированные слушательницы и слушатели специально задерживали дыхание на подобных сверхдлинных ферматах вместе с солистом. В театре Генделя в Лондоне случались регулярные обмороки именно по этой самой причине – для чего всегда наготове был лакей со специальной нюхательной солью в кисете: он ходил по рядам и приводил в чувство самоудавленников от оперы... Леон Этингер не позволяет себе жульничать на удобных “вышесредних” нотах, он “гвоздит” в высокой тесситуре, на пределе диапазона, и это, конечно, связки и мастерство, но еще и чудо невероятно развитых и умело расходуемых легких. Это не просто “вокально-техническое сочетание”, это настоящее психотронное оружие! Не забывайте, что со времен написания барочной музыки “камертон” подскочил вверх, так что си того периода относительно нашего с вами си выглядит бедным родственником...»

И далее автор рецензии остроумно замечал, что «при подобном исполнении обмороки в зале обеспечены, а вот летальные исходы – это уж на совести блистательного артиста. Не скрою, – так он заканчивал статью, – я бы с удовольствием отправил к праотцам столь изысканным способом пару-тройку ныне здравствующих политиков».

* * *

А Эли Волосатый к тому же оказался земляком-одесситом, фанатом парусных лодок, и сам владел подержанным швертботом, который беспрерывно чинил и латал. Энтузиаст морского спорта, он был главным вдохновителем и организатором ежегодных регат юниоров в Эйлатском заливе. Леон сначала опасался выходить с ним в море – не потому, что боялся глубокой воды, просто на волнах, даже слабых, его укачивало. Но в один прекрасный день, поддавшись на уговоры Эли («Эх ты, Одесса-мама!»), переступив борт и прыгнув в лодку, уже не упускал возможности

еще и еще раз это испытать: соленый мокрый ветер, солнечные жгуты на плечах, шипучие брызги в лицо и горящие, вспухшие от напряжения ладони...

– Это тебе не лыжи, – говорил Эли. – На лыжи прыгнул и помчался. Здесь ты физически устаешь, устаешь как мужчина: узлы вязать, поднимать и настраивать паруса, все учитывать: состояние ветра, как вошел в поворот. Ты должен владеть своим телом и мозгами, понимаешь?

В июне Леон участвовал в своей первой регате юниоров и занял третье место. Эли утверждал, что это прорыв, а для первой регаты (она проходила с хорошей, но короткой волной) – вообще отлично.

Но Леону всего было мало, он всюду жаждал реванша, признания профессионалов, первого места во всем – словно та, годовой давности драка с Меиром, вернее, его, Леона, *гибель* в глазах Габриэлы, превратили все его существо в некий смертоносный снаряд, выпущенный на орбиту длиною в целую молодость.

5

Подслеповатые пуленепробиваемые окошки, в них – отверстия для стрельбы. Бронированная приземистая машина, в солдатском просторечии – «рыцарь». Обычное средство доставки бойцов к месту проведения операции. Такой вот катафалк, благослови его Аллах; прибежище вооруженных до зубов пилигримов.

Все в полном снаряжении: бронежилеты застегнуты, ремешки касок подтянуты, винтовки заряжены и под рукой. Все остальное – гранаты, патроны, нож, пакет первой помощи, рация – расфасовано по кармашкам «броника». Не балетная пачка этот бронежилет. И даже не смокинг.

Трясемся по колдобинам, умявшись на длинных лавках вдоль стен, и кое-кто по пути умудряется тихо подремывать, хотя дороги здесь – как Стешина стиральная доска, и той заднице, что не поместилась на лавке и трясется на ящике с боеприпасами, можно посочувствовать. В данном случае это задница Леона.

В кабине трое: водитель, командир и сержант-навигатор с целым хозяйством на коленях – карты, аэрофото... Но это на всякий случай; все и так вызубрено наизусть: «Район операции каждый из вас должен знать лучше, чем содержимое собственных трусов!»

Вот распахивается задняя дверь, и ты вываливаешься во тьму, не на страницы «Тысячи и одной ночи» – хотя острый новорожденный

месяц на небе упал на спину и хочется почесать ему животик, – а в полный сказочных звезд арабский город Шхем, кузницу местных талантов.

– Квартал нагревается! Квартал нагревается, торопитесь, ребята!

В рации – напряженный голос полковника. Он в машине командования, откуда наблюдает за операцией. Если «работа» пойдет не по плану, будут вызваны прикрытие, огневая поддержка или медики. А операция длится долго, уже минут пятнадцать. Отгремели шоковые гранаты, дверь дома выбита, «действующее» звено ворвалось внутрь и прочесывает комнату за комнатой. Дом «запечатан» со всех сторон: Леон и Туба держат на мушке дверь и окна, Зимри прикрывает тыл. Там, внутри, Шаули с ребятами, ищут добычу – ту, что разведка преподнесла им на блюде. А Шаули – детина не маленький, Леона всегда мучит мысль, что тот – отличная мишень. Впрочем, сейчас никаких мыслей, а только – ночь, как лезвие ножа, винтовка и «акила», прибор ночного видения. И минуты, что тянутся невыносимо долго.

Здесь каждый дом буквально нафарширован оружием, а потому в любую секунду жди пения металлических пчелок или треска автоматных очередей. И спящий район – окрестные улочки Шхема, на одной из которых в доме родственников засела гадюка из ХАМАСа, – действительно постепенно просыпается. Нет, никто не зажигает света в домах, не слышно криков. Просто кожей, обостренным нюхом ты ощущаешь близость смертельного жала. Кожей чувствуешь температуру ночного, закипающего ненавистью воздуха: он и вправду *нагревается...*

Молодчик, которого им сегодня предстоит свинтить, тоже наверняка вооружен. Вообще, он мужик серьезный: прошел не один тренировочный лагерь, послужной его список внушителен и заслуживает доверия: взрыв армейского джипа у КПП Рафиях (двое погибших, двое раненых), подготовка диверсантов, взорвавших рейсовый автобус Тель-Авив – Эйлат (пятеро погибших, семнадцать раненых), ну, и еще десятка два заслуг в том же роде. Разведка пасет его уже года полтора, но он чрезвычайно осторожен: ночует в разных местах, чаще всего в каких-нибудь бункерах, близко никого не подпускает, кроме трех братьев и шурина. И вдруг – *удача! Наша удача:* младшая сестренка выходит замуж. Родственные отношения у арабов – дело первостепенной важности.

А район мы разворошили, вот-вот запылывает...

Леон прирос к прицелу, готовый «расцеловать улицу» при первом же ее вздохе.

Тот же голос в наушниках:

– Ребята, торопитесь! Время кончается!

И вдруг – взвинченный тенор Шаули, уходящий в фальцет:

– Взят!!! Готов! На антресолях прятался, сука! Внимание, выводим!

В проем двери бойцы выталкивают «джонни» – он в наручниках, глаза завязаны – и бегом волокут к «рыцарю». И разом черное дыхание ночи взрывается беспорядочной и ядовитой отрыжкой автоматных и ружейных выстрелов.

Справа, слева, справа, слева, поверху, понизу... пули провизгивают в миллиметре от каски, бронежилет, как было сказано выше, – не балетная пачка... Солдаты бегут к машине, звено за звеном, стреляя во все стороны: источник огня в этом тайфуне вспышек и треска засечь невозможно. Вот уже «рыцарь», родненький, и дверцы открыты, и пока солдаты запрыгивают внутрь, Леон – замыкающий – останавливается и лупит во все стороны так, что гильзы разлетаются веером. Напоследок вышибает фонарь на столбе, и округа погружается в спасительную темень. Доброй ночи тебе, мирный Шхем!

Все уже внутри, с уловом; водитель рвет с места, «рыцаря» бросает вперед, и он прыгает, как рысь, и мгновенно набирает скорость.

Ну, вроде всё... Неплохо порыбачили. «Джонни» сгружен на скамейку, как мешок, привалился к стене в неудобной позе, тяжело дышит, скалится. Стонет...

Еще не свыкся с мыслью. Ничего, привыкнешь, миляга. Вот сейчас сдадим тебя серьезным ребятам, уж они пощупают твою нежную промежность, уж они порасспрашивают кое о ком, вопросов у них к тебе накопилось достаточно.

А у нас главное – что? Потерь и раненых нет.

– Курить – умираю... – мечтательно произносит Шаули.

* * *

...С этим круглолицым, бровастым, с нежными ямочками на щеках, очень высоким и очень тощим *парси* они столкнулись еще в *ба́куме* – на базе распределения новобранцев. Переодевались рядом в только что выданную новенькую форму. Размеры – ужасающе разные, до смешного. Этим двоим вообще вряд ли стоило показываться вместе: эстрадная пара комиков. Легкая добыча армейских остряков.

– Я – *парси*, – доверительно сообщил Леону верзила.

– А я – *руси*, – усмехнувшись, ответил тот.

– Да иди ты! – удивился Шаули и произнес пылкую фразу на каком-то незнакомом языке.

– Не понял...

– Это я на *фарси* сказал, на нашем языке, – что ты похож на меня, как брат. У меня дома говорят на фарси, – пояснил Шаули. – Вот попади мы с тобой в Тегеран...

– ...давай не надо, – отозвался Леон.

– Или в Тебриз...

– Знаешь, а не пошел ты...

И на перекличке встали рядом, не обращая внимания на иронические взгляды, и попросились в одну часть. И дальше уже практически не разлучались, ни на базе, где протаранили весь курс молодого бойца, ни на следующих ступенях изматывающих учений, когда в пустыне спали просто в вырытых ямах в песке, жрали одни лишь консервы из боевого пайка вперемешку с песком, пили воду с песком, скрипели песком на зубах, плевались песком, дышали песком и падали в него, в абсолютной апатии к голоду, жажде, ударам, ожогам и собственной крови и вони.

– Эй, Леон! Сигарету хочешь?

– Не курю.

– Что так? Болеешь?

– Не, пел когда-то. Курево горлу вредит.

– Ты – пел?! А что ты пел, Леон?

– Да всякое там... из классики.

– Что это – классика?

Леон молчит, улыбаясь в темноту.

Они распластались на земле посреди пустыни, измочаленные тренировками и стрельбищами. Пухлая тьма щупает твоё лицо омерзительно холодными мокрыми пальцами. Воздух полон какими-то шорохами, шевелениями, щелчками и вздохами, но тебе уже все равно, кто там ползает, прыгает, подбирается или жалит: сил едва хватает на то, чтобы дышать, не до бесед по душам. Лучше не отвечать, притвориться, что уснул, да ты и уснешь через мгновение – просто выпадешь в мутный обморок забытья.

– Ну... как тебе объяснить.

Леон приподнимается на локте и выдает в студеную тьму пустыни длинную звенящую трель... и ещё одну, октавой выше. И – в абсолютной тишине занявшегося дыхания в глотках полутора десятка солдат – третью залиvistую трель, штопором восходящую в алмазное небо...

И когда на рассвете сержант поднимает их на первую пробежку, Леон просыпается с готовой кличкой «Кенарь». А армейская кличка – это вам любой резервист подтвердит – прикипает к твоей заднице на всю жизнь, будь ты потом хоть генеральный директор консорциума, хоть глава банка Израиля, хоть даже премьер-министр.

* * *

Конечно, он знал, что Габриэла и Меир поженились.

Старшие Калдманы, робко нащупывая к нему «обратную дорогу», даже прислали приглашение на свадьбу, на которое он не отреагировал. Было бы странно заявиться туда и бродить одному с рюмкой-тарелкой среди нарядных родственников и гостей, любоваться на сияющую пару под хупой и слушать все эти *посвящаешься мне по закону Моше и Израиля...*

И рукоплескать, когда жених раздавит ножищей хрустальный бокал в память о разрушенном Храме.

Нет уж, без меня.

Ему казалось, что он научился *отгонять Габриэлу*. Во всяком случае, армия сильно этому помогла, а череда своих девочек, с которыми так славно было проводить увольнительные, вполне его убедила, что уж с руками-ногами и попками у них все обстояло примерно так же, как у Габриэлы.

Леону казалось: встретить он ее сейчас, мог бы и мимо пройти, а мог бы и остановиться поболтать. Подумаешь, дело житейское: ну, оказались случайно в одной койке в сильную грозу...

...Как это ни смешно, в день, когда он столкнулся с ней на Центральном автовокзале в Тель-Авиве, тоже хлестал дождь, первый в этом сезоне. Небо раскатывало басовитые картавые арпеджио, что, впрочем, заглушалось обычными шумами этого гигантского здания: музыкой, голосами, ревом автобусных двигателей, непрерывной рекламой и объявлениями по местному радио.

Он ждал свой автобус на Иерусалим в отличном настроении: впереди ждали огрызок пятницы и целая суббота, еще и утро воскресенья, если встать пораньше. Он давно научился обстоятельно раскладывать все свои отпускные часы и минуты по уютным полочкам, смакуя каждую и каждую посвящая замечательным *не армейским, а личным* делам.

По пятницам здесь крутились, сновали, бежали к автобусам, на ходу жуя питы с фалафелем, целыми компаниями сидели в кружок на полу со своими винтовками сотни солдат. За двадцать минут можно было встретить кого угодно из друзей, знакомых, однополчан. Леон и не удивился, когда на его плечо легла чья-то рука. Он даже не в первый миг обернулся, потому что запихивал в рюкзак вылезавший рукав форменного пуловера. А когда обернулся...

– Я ужасная, да? – спросила она, улыбаясь.

Он сказал:

– Да. Ужасная.

Она была прелестна: сарафан на бретельках открывал округлившиеся плечи, обнимал ее под упруго наполненной грудью. И так же упруго была наполнена под грудью нежно-бирюзовая легкая ткань сарафана. Глаза сияли, волосы стали еще пышнее.

– Смотри, какой огромный живот! – сказала она, упирая кулаки в поясницу и поддавая бедрами, словно предъявляя ему особое свое достижение. – И это только начало. Представляешь, что будет дальше? Это ведь близнецы!

– Я в восторге, – буркнул он, забрасывая на плечо рюкзак.

– Слушай, – сказала она, – покорми меня, а? Такая глупость, я утром сменила сумочку, и в той, другой, остался кошелек. И я без *груша* в кармане, раздетая, несчастная, в дождь... И ужасно есть хочу! Тебе не в напряг? – И свойски подмигнула: – Подкорми беременную тетку!

И ему ничего не оставалось, как, пропустив свой автобус, завести ее в кафе «Арома» на том же этаже и купить тост с сыром и помидорами, бутылку диетической колы. Пришлось сидеть за столом напротив, пока «беременная тетка» с отменным аппетитом поглощала свой обед. Он сидел, вытянув праздные руки на столе, и, чтобы не смотреть на Габриэлу, оглядывал зал и потоки пассажиров, что напирали друг на друга, просачивались сквозь толпу, текли, спешили, гомонили, ругались, целовались на ходу...

И все же боковым жадным зрением следил за ней. Откусывая от тоста, она наклонялась над столом, и полная грудь являлась за ненадежной резинкой сарафана, как дорогое украшение на витрине. Всякий раз он поспешно отводил глаза, как бездомный нищий перед той же витриной.

– Меир служит при аналитическом отделе Генштаба, – сказала она с оттопыренной щекой. – Натан говорит, это колоссально – в его возрасте. Но сам и пальцем не шевельнул, знаешь, эти его паршивые принципы...

Но Меир предложил одну гениальную штуку, и они все отпали и забегали вокруг него, как ошпаренные крысы... Какую-то безумно важную штуку для одной супершпионской программы. Что-то там с алгоритмом, предсказывающим различные события с точностью до восьмидесяти процентов.

– Угу...

– Меир же гений. Настоящий гений.

Он молчал, рассматривая религиозную семейку: двух совсем юных родителей, успевших наклепать троих ребятишек мал мала меньше. Это правда. Меир – гений.

– А ты что? Стреляешь?

– Стреляю помаленьку...

В сущности, это тоже была чистая правда: как раз на прошлой неделе он закончил специальные снайперские курсы, где отстрелял чертову пропасть патронов, так что указательный палец не чувствовал и не узнавал из прикосновений ничего, кроме гладкой металлической поверхности ружейного цевья, а ключица ныла от дружеской отдачи выстрелов. И когда, сверив мишени, командир одобрительно присвистывал и буркал что-то о «глазомере», Леон мысленно усмехался. Каждому не объяснишь, что в цель он попадает *горлом*; механизм один: взять точную ноту. Он демонстрировал лучшие результаты. Прошло столько времени с той проклятой ночи, но он по-прежнему должен был все делать лучше всех.

Габриэла вдруг потянулась через стол и накрыла его руку.

– Я уже забыла, какие у тебя потрясающе красивые руки, – нежно проговорила она, перебирая его пальцы. И он не мог их отдернуть, чтобы не ставить себя в идиотское положение истерика и недотроги. – Знаешь, – сказала она спокойно и просто, как о чем-то бытовом. – Я ведь долго с собой разбиралась после той ночи.

– Замолчи, пожалуйста! – воскликнул он, отшатнувшись, будто его ударили под дых. – Пожалуйста!

Господи, избавь меня от этой пошлости!..

И вмиг ощутил, что ничего не изменилось, ничего: он задыхается, когда смотрит на нее, он дышать не может, и та ночь навсегда останется главной и безысходной, отвратительной, уродливой; самой прекрасной в жизни. Как молния, наотмашь секущая стеклянную стену.

– Нет, погоди, – терпеливо возразила она. – Ведь все в прошлом. Я сразу хотела объясниться... ну, объяснить тебе. Никто ведь не думал, что ты так резко, необъяснимо оборвешь... нашу дружбу, все наши отношения... Как будто они ничего не стоили! Ты оказался ужасным

эгоистом и сволочью, Леон! Меир... он, знаешь, готов был сам идти к тебе мириться. Но Магда сказала... ну, это неважно. Она, ты ведь не знаешь, была в шоке, потому что Меир случайно убил Бусю, эту ее обожаемую мерзкую крысу. Ну, что ты смотришь? Да, тебе ведь было *не до того*. Меир ее просто тогда... затоптал. Ну, случайно, я говорю же: случай-но! И Магда плакала. И уверяла, что Буся *кинулась спасать тебя и погибла, тебя защищая*. Представляешь этот маразм?

Она заторопилась, глядя на его болезненно застывшую гримасу, на то, как он поднимается, подхватывает рюкзак, винтовку... Торопилась достать его жалом, видя, что жертва ускользает.

– Ты сам виноват: тебе нужно было дожидаться, пока я выберу по-настоящему. Я ведь была дурочка, девчонка... Для меня это была тогда... такая игра, новая, увлекательная. И... Меир – такой большой, крупный парень... А ты – мальчик, невесомый, трепетный и... новичок, как и я. А у Меира, я знала, уже были женщины. И мне захотелось попробовать – как это, когда большое опытное тело... такой вес, настоящий мужчина...

Он вскочил и пошел вдоль скамеек к линии перрона, уже не слыша ее голоса, бормоча: «Гадина... гадина... гадина...» Выбежал – беспамятный – в холодный, секущий лицо и руки дождь, на ходу запрыгнул в отъезжавший до Нетании автобус – совсем другое направление, ему ведь в Иерусалим. Драгоценный день потерян. Но представить себе, что он должен ехать с ней в одном автобусе, рядом сидеть, чувствуя теплое бедро, слушать подлые речи... Вскочил в чужой автобус, лишь бы скрыться – от ее живота, ее синих глаз, округлых плеч и тяжелой прекрасной груди. От быстрых ласковых рук и безжалостно разящего языка.

От этой «беременной тетки».

От девочки, которая, видимо, никогда его не отпустит.

* * *

И снова – чертова пустыня, песок и раскаленные камни, и градусов сорок в тени. И тренировки, уже другие, *продвинутые*, марш-броски с полным снаряжением и всеми видами оружия, которые твой взвод использует в боевых действиях, а это и твоя винтовка, и пулеметы, и РПГ, и двадцатилитровая канистра с водой. Дистанция – восемьдесят километров. И когда, с трудом передвигая ноги, уверенный, что ты уже сошел с ума и вся твоя жизнь тебе привиделась, а настоящим было всегда только это: пустыня, винтовка, дорога по краю горы, с полусотней

килограммов на горбу, с большим раскаленным болтом в башке, вбитым где-то между затылком и ушами, когда уже завершаешь дистанцию – тут командир приказывает расправить носилки и выбирает самого крупного бойца – обычно это Шаули, черт бы побрал долбаного бегемота! И, сменяясь под носилками, из-за пота, заливающего глаза, не разбирая дороги, ты волочешь «раненого» еще километров десять, а он знай покрикивает:

– Давай-давай, Кенарь! Прибавьте ходу, ребята, а то я сдохну, кровью истеку! Или просто обосрись...

Но наконец все подразделения разъезжаются по своим базам, получают «свое» оружие, и тогда...

И тогда начинаются тренировки «настоящие», как будто до сегодняшнего дня они репетировали «Танец маленьких лебедей». Перед ними возникает *инструктор военных действий* Надав – приземистый, на вид коряво-цепкий и лысый, как булыжник. С безжалостным взглядом душегуба, встреченного в лесу. И тут ты понимаешь, что все интересные уроки по «крав мага» с Сёмкой Бен-Йорамом были – так, некоторым ознакомлением, чистилищем, преддверием ада; что Сёмка берег тебя, дурака, дабы ты не наломал дров. А вот сейчас начнется то настоящее, что превратит тебя в боевую машину. В чудовище. В убийцу.

– Никаких разговоров! – говорит Надав. – Молчать, не думать, исполнять на автопилоте. Буду бить. Избивать, как собак. После спасибо скажете.

На первом занятии он сломал о спину Шаули три деревянные палки. Из Леона вышиб дух минут на пять.

– Не думать! Делать! Бить! Никаких чувств, только инстинкт!

И снова, и снова Надав ставит их в пару с Шаули: удар, удар, обманный в голову, апперкот под дых. Шаули переходит в нападение, и значит, главное сейчас – закрыть голову от чугунных его кулаков. Левая! правая! левая! правая!.. Пот заливают глаза, грудь ходит ходуном, перчатки весят килограмм по двадцать. Господи, это кончится когда-нибудь?! Удар левой, блок, двушка руками... серия ударов Шаули, тот бьет прямой ногой, отбрасывая Леона из клинча... Отскакивает и снова пробивает ноги Леону; тот удерживается, атакует, сближает дистанцию, ныряет под руку и проводит серию ударов ногами...

– Хорошо! – кричит Надав. – Хорошо, стоп! Сто-о-оп!!!

Они отскакивают и стоят, качаясь, еще не понимая, что бой остановлен, готовые снова ринуться друг на друга. Наконец, обнимаются,

стягивают перчатки и, спотыкаясь, бредут к бутылкам воды, составленным пирамидой в углу тренировочного зала. И хлещут, и хлещут ее, закинув головы, не вытирая ручьев, бегущих по горлу на грудь и живот, и никак не могут вволю напиться.

И оружие превращается в продолжение руки, головы, тела: вошел в стойку, стреляешь, перезаряжаешь, стреляешь сидя, стоя, лежа... бежишь и стреляешь. Ты не человек, ты машина, ты зверь. Бросаешь гранату, влетаешь в дом, стреляешь, стреляешь, стреляешь. Ты должен убить и выжить. Убить врага и выжить сам.

По ходу тренировок взвод покидают ребята – тот, кто сломался, кто устал, кто «больше не может». Молча собирают рюкзаки и уходят – в другие подразделения, где «человечнее», то есть легче. Хотя б немного, но легче, и не так страшно, и не так часто теряешь товарищей в бесконечных ночных операциях.

– Кенарь, знаешь, я не осуждаю, – говорит както вечером Шаули. Он лежит, закинув руки за голову. Длинные его ноги, как всегда, вылезают за края любой койки. – Я их понимаю, Кенарь. Ты перестаешь быть человеком. И уже не веришь, что когда-нибудь опять им станешь. Я бы и сам ушел, чтобы не рехнуться. Но не могу. Доказываю.

– Кому? – еле ворочая языком, спрашивает Леон, уплывая в сон.

– Старшему брату. Он в «Сайерет маткаль»^[27] был и очень, слышь, Кенарь, меня достал, такой долбоеб! Очень я его люблю. Так чтобы он не выпендривался, слышь... – Шаули вздыхает, молчит с минуту и вдруг спрашивает: – Кенарь, а ты можешь петь нормальным голосом?

Леон хмыкает:

– Н-нет. Не получается... Не могу.

– Но ты же еще на этом играешь... на саксофоне?

– На кларнете.

– Ну, неважно... ты же все равно мог бы, как принц, эту армию трахать и в рот и в жопу! Какого черта ты паришься в этом аду?

Леон долго молчит и, когда Шаули уже похрапывает, говорит самому себе:

– Доказываю. И засыпает.

И во сне проверяет – хорошо ли двигается затвор, и во сне заполняет магазины, и мягко вставляет патрон, чтобы при стрельбе не заклинило. И тщательно мажет маскировочной краской лицо и руки, чтоб не блестели, потому что (это он помнит даже во сне) блеск – главный

враг снайпера. И во сне он идет по дну ущелья в полной тьме, чтобы не спугнуть дичь, и занимает огневую позицию, и лежит, лежит, лежит, ожидая своей мишени, врага своего – чтобы его убить... И когда тот возникает на тропинке, с винтовкой в руках, Леон ведет его прицелом, держа красный огонек на груди, в ожидании команды Надава. И во сне она звучит, эта команда, и он жмет на спуск, и передергивает затвор, и снова стреляет, на таком расстоянии вдруг замечая, что ведь это он сам! разве так бывает? Так кто же я? снайпер? террорист? их общая жертва? – и падает под собственными пулями...

И до рассвета прыгает с крыши на крышу притертых друг к другу арабских домов в лагере беженцев, и швыряет шоковую гранату, и следом за ней дымовую, и сквозь черный шлейф крутящейся дымовухи видит пламя выстрелов и бьет туда, точно, горлом – ноту берет... и вжимается в стену, когда над плечом вгрызается пуля в бетон, отщелкивая брызги штукатурки... А после снова идет и идет по ущелью, и видит, как он же выходит из дома в арабской деревне, и, лежа за уступом горы, стреляет в того себя, и передергивает затвор, и снова стреляет. И вновь передергивает затвор, и стреляет – для верности.

Снайперскими пулями, что, попадая в твое тело, распускаются внутри, как цветок.

«Расаса кнас алати тусибук, туздахиру дахлак каалзухара...»

* * *

Весь последний армейский год оба они, и Леон, и Шаули, держались на мечте: после демобилизации месяца на три закатиться куда-нибудь на соленый-перченый край света. Не в Европу, конечно, – что там делать, в тихой заводи; как быть с накопленным в крови вулканом адреналина? Где взять ежедневную наркодозу смертельной опасности? Если уж ехать, то в Тибет, в Индию, в Гималаи, в Перу – как многие солдаты боевых частей израильской армии.

– Продираясь сквозь джунгли, вырубая дорогу топориком, вступать в схватку с вождями людоедских племен, – говорил Шаули. – Или хотя бы вши подцепить – экстрим есть экстрим.

Чтобы скопить на билет из плевой, в сущности, армейской зарплаты, Шаули даже бросил курить – временно, конечно. Злой ходил, как черт, на все огрызался. Но, в конце-то концов, для чего нам, разведчикам, воля дана?!

На что невозможно не тратить – на девчонок. Выходишь в увольнительную, ведешь ее в бар – коктейль, закуска, все путем. Ее же потом завалить хочется. Это, конечно, уважительные расходы. Но все равно к концу службы должны были собраться *нехилые бабули*. Главное – на билет скопить, а там уж можно устроиться на любую работу в какой-нибудь паб или отель, повкалывать месячишко – и дальше пошел, с котомкой за плечами. Что такое тамошняя физическая нагрузка после наших-то марш-бросков, после наших-то изящных армейских ридикюлей вместе с рацией и прочими *кружевами*!

– На Филиппины поедem... – мечтательно говорил Леон. – Там есть классные места для фридайвинга. Остров Миндоро... Пляжи белые-белые... Научу тебя нырять, ты оценишь, что такое настоящий кайф.

– Скажешь, больший кайф, чем трахать Оснат?

– Больший, – убежденно говорил Леон. Об Оснат, девчонке Шаули, он знал только понаслышке: его ревнивый друг, истинно восточный человек, в этом деле никому не доверял, и меньше всех – Леону.

– Ну, давай, Кенарь... пой, – просил Шаули после какой-нибудь особенно тяжелой операции, вроде очередной «соломенной вдовы» – как на армейском сленге именуют засаду со всем вытекающим из нее *балетным дивертисментом*. – Давай: что там еще, на Миндоро?

– Там коралловые рифы.

– Как у нас в Эйлате?

– Лучше. Есть такой риф – Талипанан. Глубина метров тридцать. Возьмем их местную лодку, *банке* называется, с бамбуковым навесом. Можем прямо в ней и жить. Главное: ты налегке – маска, ласты, легкий костюм... Никаких баллонов, никакой тяжести. Ты – это просто *ты*, понимаешь? Погружаешься в другой мир, сливаешься с ним, и на две-три минуты – на сколько легких хватит – ты просто рыба. Такая рыба глазастая. И никакой другой жизни у тебя не было и нет. Скользишь вдоль рифа, оплываешь его, а под тобой – морские звезды, голотурии... полосатые змеи...

– Эй, Кенарь, не спи, пожалуйста, а? Тошно мне, Кенарь... Видал, как взорвалась у Цвики башка?..

Оба умолкают.

Цвика погиб на задании позавчера. Случайное стечение обстоятельств, не хочется вспоминать. Он был в «действующем» звене, шел с Леоном и Шаули, первым вбежал в дом и схлопотал свою пулю. Вчера его хоронили на военном кладбище, молча давясь слезами при виде матери и сестер. Нет, о Цвике – не надо. Не стоит сейчас о Цвике. Надо спать.

К тому же в любой момент может влететь в казарму Шимон с воплем: «Тревога! Минута – готовность с полным снаряжением!»

– Ну, давай, Кенарь... дальше пой: голотурия, морские звезды. Может, и акулы там есть, а ты скрываешь?

– Акулы... водятся, да, – на зевке, с усилием продолжает Леон. – Шаули, ты бы снял свои прошлогодние носки, а? Так воняют – нет сил...

– Завтра дома постираю. Гони дальше: акулы. Настоящие?

– Ну-у... не игрушечные. *Черноперые акулы*. Только ты им на фиг не нужен. Не дергайся, они тебя и не заметят.

– Но ножичек взять придется? Нож «коммандо» возьму, он приемистый такой, удобный. Что там еще?

– Скаты есть.

– Скаты... Это опасно?

– А улицу не опасно переходить?

– Ну, дальше.

– Ну, плывешь, паришь... ме-е-е-дленно, пла-а-авно...

– Не засыпай, Кенарь! Не будь таким гадом... Расскажи про голубых буйволов.

– Да я не сплю, с чего ты взял. Буйволы – не голубые, обычные. Просто картинку видел в Интернете: буйволы на Миндоро. Запряжены в повозку, низкую такую, деревянную. И сами – мощные, низкие, темно-серые. А вот рога голубые, да – как два полумесяца...

– Не засыпай, Кенарь! Умоляю, не засыпай...

* * *

...С Филиппинами, однако, не вышло. Где-то в январе после увольнительной Леон забыл дома банковскую карточку, а к следующей увольнительной она уже была чиста, как вода в районе рифа Талипанан.

Сначала он пробовал ругаться со служащей банка «Апоалим», чей банкомат не хотел выдавать ему какой-то несчастный полтинник, выстоял очередь к окошку, заставил девушку проверять по компьютеру счет.

– Ты слишком громкий, – заметила девушка, прощелкав на клавиатуре номер счета и заглянув в экран. – Слишком громкий для своих накоплений. У тебя там двадцать три шекеля.

– Как... двадцать три? – пробормотал Леон, мгновенно вспомнив шкодливо-сокрушенное Владкино лицо, когда он искал сегодня карточку

и нашел совсем не там, где оставил.

Повернулся и молча вышел из банка.

Свидание с милой девушкой по имени Лимор пришлось отменить. Он не мог допустить, чтобы девчонка угощала его на свои, на девичьи.

Такие дела: просто мамка у него была – изобретательница.

– Ну, давай, рассказывай, – мягко предложил он ей, вернувшись через час со своего незадавшегося свидания, чистенький, отглаженный, выбритый и пахнувший недешевым одеколоном. – Во всех подробностях. Ничего не пропусти.

Владка вдохновилась, заторопилась, тряхнула кудрями, задрожала ресницами, замелькала руками. Ничего не понять. Он взял ее двумя пальцами за щеки и, не давая двинуть головой ни вправо, ни влево, тихо велел:

– Рассказывай, где деньги.

И она, испуганно таращась, шепеляво доложила, что речь идет о ее гениальном изобретении, самом гениальном – об изобретении века, «оно обогатит безводную страну!». Понимаешь, у нас ведь, если дождь, то раз в году, и он бесполезно уходит в землю. И я вот чего: надо вдоль шоссе по всей стране выстроить такие столбы, на них – перевернутые металлические зонтики. Начинается дождь – опа! – зонтик открывается, и внутри собирается вода, которая по водостоку стекает в искусственное водохранилище. Все гениальное просто!

Она попыталась высвободить голову из железных тисков его пальцев, но ей это не удалось.

– Где деньги? – повторил сын, уже с любопытством глядя на эту удивительную женщину, которая приходилась ему родной матерью.

– Но... Лео... любое изобретение нужно оформить профессионально.

Он молча ждал, не давая ей дернуться. И, обреченно понимая, что провисит в этих тисках до второго пришествия, Владка конспективно закончила:

– Нужен чертеж. Заказала Гуревичу. Он главный конструктор... харьковс-с...с-специалисту надо платить.

Леон тряхнул Владку, коротко осведомился, каким именно способом она умудрилась вытянуть всю сумму, весьма приличную, ведь ПИН-код... и сам же спохватился: недавно он снимал при ней деньги (что интересно, ей же на жизнь), и Владка – фамильная сообразительность! – просто высмотрела и запомнила эти четыре цифры.

Престарелого хмыря Гуревича он трясти не стал, черт с ним.

Позвонил Шаули, коротко, не вдаваясь в детали, объяснил ситуацию: матери нужны были деньги на одно важное дело, подыщи кого-то из ребят, езжайте без меня...

Шаули, настоящий друг, бодро сказал:

– Да не очень и хотелось, честно говоря! Я как раз собирался сказать – ну его, этот детский сад: акулы, скаты, рифы... Надо и жизнь когда-то начинать. – И добавил (даже по телефону в голосе была слышна улыбка, с этими двумя ямочками на щеках): – Наконец-то закурю! Прямо сейчас, Кенарь!

Леон только Иммануэлю сказал правду. И то не сразу, а лишь когда старик поинтересовался, купил ли уже *цуцик* билет в свое эпохальное путешествие и когда собирается *выйти на тропу*. Тогда Леон изобразил Владку – в действии, в подробностях, в жестах...

Иммануэль выслушал рассказ о Владкином изобретении с явным удовольствием, даже с каким-то коммерческим интересом. Заметил:

– Потрясающая все-таки женщина! И, знаешь, *если вдуматься*, в этом что-то есть, в этих ее перевернутых зонтиках...

А через день позвонил Шаули с новостью, что «Эль-Аль» набирает парней, демобилизованных из спецподразделений, – сопровождать полеты под видом обычных пассажиров. Представь: сидишь ты в кресле, элегантно харчишь на халяву это самолетное дерьмо, и если какой-нибудь чокнутый *мехабель* ^[28], возжелав стюардессу, потащит ее по проходу, ты лениво достаешь из обеих подмышек стволы и элегантно палишь во все стороны... Нет, серьезно: работа фартовая, бабки нормальные, армейские характеристики у нас – ой-ой-ой. Ну и братан порекомендует. Он уже год как летает.

Да, все сложилось на удивление гладко, и, *если вдуматься*, – как могло быть иначе? Не для того они жрали песок в боевых пайках, спали в ямах в пустыне, учились продавливать пальцами щитовидный хрящ и на лету штопать пулями брюшко стрекозы, чтобы какая-нибудь *административная* крыса могла отклонить их ослепительные кандидатуры!

* * *

И дальше судьбе не пришлось особо стараться: связывать маршруты, суетиться по поводу случайных встреч. В конце концов, и Натан, и Амос-

Пастух, и даже сам Гедалья летали туда-сюда, бывало, что и вместе. И однажды в аэропорту Бен-Гурион, между двумя полетами – на Барселону и на Париж, – когда Леон со своим студенческим рюкзачком (в котором привычно и даже уютно спал короткоствольный «узи») стоял в очереди в буфет, из-за стола неподалеку выскочил, как черт из табакерки, не замеченный им в сутолоке Натан, облапил его, потряхнул и потащил за столик, где сидели еще два унылых по виду старпера: сильно облысевший Пастух в сером свитерке под дряблую морщинистую шею и еще один, еще более неприметный пенсионер с неподвижным взглядом ящеричных глазок, всегда смотрящих в *пространство между* (позже выяснилось, что эти снулые глазки высверливают в тебе дырки почище любого сверла).

Даже Леон со своей памятью на лица не сразу опознал в нем молчаливого супруга знаменитой актрисы Камерного театра, ныне покойной Фанни Стравински. И не мудрено, что не опознал: после смерти Фанни ее муж перестал появляться на «благотворительных посиделках» у Иммануэля.

Натан и Амос называли его Гедальей, хотя кто знает, какое имя было у него в ходу в разные периоды жизни.

Выдернув Леона из очереди, Натан усадил его за стол, всучил свой сэндвич с тунцом-яйцом-огурцом, налил в свой же бокал колу и, явно искренне радуясь (что было Леону чертовски приятно), говорил старичкам:

– Рекомендую этого парня на всё, везде и всюду! Это отменный материал, слышишь, Гедалья? – И Леону: – Ты что, демобилизовался? И что, никуда не закатился? Ай, молодец! Дурацкая потеря времени – все эти экспедиции за мандавошками. У нас тоже есть чем заняться.

Пастух Амос добавил, помешивая ложечкой сахар в кофе:

– И мандавошки свои имеются.

– А у нас с Магдой внучки-близнятки, ты слышал? – говорил Натан. – Мы в них втюрились по уши, как дураки. Такие забавные, рыженькие – в Меира, и синхронные, как два стэписта. Их Габриэла по-разному одевает, чтобы различать. А ты куда собрался? – И сразу спохватился: – А-а... понял-понял: *летаешь помаленьку*. Ну, как же я рад тебя видеть, парень! Скажу Магде – она сомлеет от счастья.

– Передай ей привет, – проговорил Леон, неожиданно и сам растроганный встречей. Столь же неожиданно для самого себя добавил: – Передай, что... очень по ней скучаю, – и в ту же минуту подумал: а правда, как же я соскучился по Магде!

– А где служил, парень? – спросил вдруг этот неприметный,

со взглядом варана, замершего на камне в ожидании добычи. У него оказался неожиданно певучий, драматически сильный голос.

Леон ответил. И тот вдруг перешел на арабский:

– *Кан сабан? Хал ирхакук шабабна?*^[29]

Голос подходит языку, подумал Леон, прямо муэдзин на минарете. Помедлив, по-арабски же ответил:

– *Наам, лакина ирхакнахум актар*^[30].

Натан горячо сказал:

– Гедаля, ручаюсь тебе: какой язык в него вложишь, на том он через неделю и запоет.

– Постой, – вдруг произнес Амос, до этого молча и как-то незаинтересованно допивавший свой кофе. – Запоет... А я ведь уже видел тебя, парнишка, а? У Иммануэля. – И повернувшись к тому, кого Натан называл Гедалей, тихо проговорил: – В жизни бы не подумал, что он так изменится. Маленький был, кудрявый, глазастый. И пел.

– Пел? – подняв белесые, будто молью проеденные брови, переспросил Гедаля.

– Я даже на папке тогда написал: «Кенар руси».

– Почему «руси»? – еще больше удивился тот, разглядывая Леона, смущенного, что его ощупывают, как коня на ярмарке, – спасибо, в зубы не смотрят. Взглянув на часы, Леон вскочил, заторопился. Самолет без него уж точно не улетит, но надо и совесть иметь.

– Телефон запомнишь, Кенарь? – спросил вдруг Гедаля. Быстро произнес семь цифр и, не повторяя, властно по-арабски добавил:

– Во вторник позвони. Есть что тебе предложить.

Когда он размышлял о тех годах своей жизни, что начались после специализированного курса на одной из секретных баз – курса, включавшего многие странные дисциплины (не говоря уже об углубленном арабском, все пять групп диалектов), ему казалось, что артистическая биография его тогда и забрезжила; тогда, а не гораздо позже, после окончания консерватории, когда он подписал договор с Филиппом Гишаром и получил свой первый ангажемент. Разве что случайные зрители и партнеры по постановкам, даже и подыгрывая, не знали его настоящего имени и не считали нужным рукоплескать.

Разве что игра его проходила вдали от света рампы; разве что грим он накладывал с особой тщательностью, ибо небрежность гримера могла обернуться выпущенными кишками; разве что гораздо вдумчивей подбирал для роли костюм. Да и не грим и не костюм это были, а он сам; сам он, Леон, но – *другой*, с целой гирляндой других имен, с четками в руках, с куфией на голове, напевающий под нос мелодии арабских песен.

Бывало, на два-три месяца он становился тем *другим*, кто истово постится в Рамадан, молясь среди таких же, как он, мужчин, привычно повторяя: «*Аллаху акбар-субхана раббийаль-азим, Сами, а-Ллаху лиман хамидах, раббана ва лакаль-хамду...*»; тем, кто за весь день может съесть одну питу с хумусом, и то лишь вечером; кто каждое мгновение настороже, ибо сюда явился из Иордании, проник через мост Алленби и идет к дальним родственникам в Рамаллу. К дальним родственникам, никогда его не выдавшим...

* * *

Однажды у него случилось нечто вроде нервного срыва.

Третий месяц он работал на стройке в Иерусалиме, где бок о бок с ним простыми рабочими трудились два связанных «Исламского джихада», готовившего к еврейским праздникам серию взрывов в центре города. Звали его в тот период Джавад Абу Зухайр, жил он в Восточном Иерусалиме, в большой *хамулке*^[31], в разветвленной и многодетной семье Бургиба.

В один прекрасный день он явился к ним из Аммана – отпрыск огромного клана Зухайр, с запиской от своего двоюродного деда, Нури Абу Зухайра, с дивно вырезанными старинными нефритовыми четками в подарок главе рода Бургиба. И обосновался в комнатке с младшим сыном, пятнадцатилетним Саидом, бесхитростным улыбчивым дауном, который стал ему настоящим *братом*, и даже много лет спустя, вспоминая о нем, Леон ужасно скучал по его безгрешной улыбке, по его внезапным слезам, посвященным вздору, выдумке: «Это правда было? Ты видел сам?» По вечерам Леон рассказывал ему «истории из жизни» – в основном оперные либретто, приспособленные под здешний антураж: «Аиду», «Чио-Чио-Сан», «Отелло»... Мальчик спрашивал:

– Ты никогда-никогда не уйдешь? Ты останешься со мной навсегда?

(Ну что ж, говорил в таких случаях инструктор Лео на, в нашей работе случаются травмы самого разного рода...)

Так вот, о травмах.

Ежедневно добираясь из Азарии на стройку сначала пешком, а затем автобусом, он случайно познакомился с девушкой Надей, репатрианткой из Тюмени.

Несколько дней подряд, оказываясь в одном автобусе, просто смотрел на нее, а она – на него. И вдруг она сама заговорила. Все это было совершенно лишним, но девчонка так обаятельно постреливала голубыми глазами, стеснительно ему улыбаясь... И робко, осторожно он ответил ей на очень плохом иврите. Забавно, что, пребывая в шкуре Абу Зухайра, он думал на арабском, и когда приходилось говорить на иврите, с трудом подбирая слова. (Русский же на эти три месяца просто *перестал знать*. Проходя мимо двух беседующих по-русски репатриантов, *слов не понимал*.)

Дня через три они с Надей уговорились встретиться в центре Иерусалима. Довольно нервная и никчемная вышла прогулка, оба – по разным причинам – то и дело оглядывались по сторонам.

Но в тот же вечер, в поставленном на ремонт молодежном пабе в «Иерусалимских дворах», на потертом плюшевом диване, заваленном всяким барахлом, у них случился мгновенный бешеный роман – со слезами, объятиями и, наконец, с расставанием, потому что она «не могла продолжать с... ну, ты сам понимаешь, Джавад... меня никто не поймет – ни родители, ни брат, ни друзья. Мне же в армию скоро... я же... Я всегда буду помнить тебя, Джавад!» И так далее.

И у него в глазах дрожали слезы (арабы легко плачут), и если эти слезы наворачивались при весьма незначительном усилии, то что сказать о сердце, которое сжималось и ныло уже совсем не по заказу? Почему? Потому что она «не могла продолжать с... ну, ты сам понимаешь, Джавад, – кто ты?..»

Впрочем, еще раз три они встретились.

У нее была мягкая славянская внешность, чудесные загорелые ноги бегуны в уже не модных «римских» сандалиях с такими длинными и замысловатыми ремешками, оплетавшими длинные икры, что она ни разу их не сняла (*морока потом распутывать*); короткая синяя юбочка, похожая на форменные юбки его одесских соучениц, и смешная майка на одной бретельке. Одежда по минимуму, да и тело по минимуму: птичка, худышка, нежные подростковые лопатки. Но при угловатой сдержанности она быстро достигала своей тайной жгучей радости, которую боялась обнаружить и потому больно прижималась губами к его губам, гася низкий стон. И – вскакивала, торопливо оправляя юбку, целовала его и виноватой походкой

(длинные, тесно оплетенные *древнеримские* ноги) выскальзывала под строительными лесами на улицу. А он оставался: взбешенный, взвинченный, разочарованный и неудовлетворенный. Долго добирался пешком в Азарию, в комнатку к своему милому дауну Саиду. И потом полночи не мог уснуть, пялясь в окно на перемещение звездных облачков вокруг бычьего пузыря луны, в ожидании рассветного грозного зова муэдзина.

Незадачливый арабский парень, которому нет места в *их* мире.

* * *

Он потерял счет этим опасным спектаклям, зато и много лет спустя помнил клички своих агентов, тайники и места встреч.

За несколько лет он успел поработать и в следственном отделе, и в арабском, и в отделе контршпионажа. Занимался ликвидацией нескольких главарей ХАМАСа и «Хизбаллы», и вряд ли кто из журналистов – будь то западные, арабские или даже израильские СМИ – мог предположить, что пресловутый «черный мотоциклист» – бич божий, мелькавший до выстрела или взрыва то в Алеппо, то в Хан-Юнисе, то в районе Баб аль-Табанэ в Триполи и затем бесследно растворявшийся в воздухе, – это один и тот же человек, способный перевоплотиться в подростка, одного из тех оборванцев, что торгуют на перекрестках упаковками цветных фломастеров, синими баночками крема «Нивея» и прочей расхожей дрянью, производимой в секторе Газа.

Шаули, с которым они теперь виделись от случая к случаю (тот – через брата – попал в *другое ведомство*), говорил, что Леон «огрубел», стал «слишком подозрительным» и имеет такой вид, будто каждое утро «допрашивает собственную задницу».

Он прекрасно знал, на чем держится его дело: на везении и риске. Знал, сколько стоит подслушанное слово, сомнительное сведение, что поневоле оборачивается точным предсказанием; пустяковая зацепка, которая может потянуть за собой целую цепь разгадок. Знал, что ничем нельзя пренебрегать: даже враньем, чепухой, которая так похожа на правду и потому вполне может правдой быть. Знал, что такое благодарность за намек, за ленивый кивок подбородком в сторону переулка, куда юркнула

черная тень, – вдоль лавок, глухо задраенных на ночь рифлеными жалюзи. Знал, что ничего нельзя сбрасывать со счетов. Знал, что потеря «джо», агента, – это удар, но и доказательство.

Он рисковал своими лучшими агентами. Он рисковал собой. Он просто шел туда, где было страшно и опасно, чтобы рассеять сомнения, – ибо меньше всего верил в преданность агента.

Среди его агентов были и охочие до денег рисковые голодранцы из окрестных деревень, и уголовники, взятые с поличным (этих он вербовал под угрозой многолетнего заключения), и отъявленные головорезы из террористических банд, которых он умел принудить к сотрудничеству, используя разные *методы давления*: и шантаж, и угрозы, и кое-что похуже – особенно если ситуация подходила под определение «тикающей бомбы»...

Впрочем, среди агентов попадались и настоящие перлы.

* * *

Таким был Адиль, старик-антиквар, инвалид с сухой рукой. Вернее, не сухой она была, а детской – утлая доверчивая ладошка, которую он охотно подавал для рукопожатия. И глядя в сильное морщинистое лицо, в умные и жесткие глаза видавшего виды человека, ты принимал в свою руку эту детскую ладонь... Он любил повторять с ухмылкой:

– Стараюсь соответствовать имени^[32].

Адиль достался в наследство от Арье Таля, когда тот ушел на повышение. Перед тем как представить их друг другу, Арье сказал Леону:

– Учти, Адиль – мое сокровище. Умен, наблюдателен, умеет связывать между собой даже будущие события. И работает с нами не за страх и не за выгоду.

– А за что? – спросил Леон, которому еще не попадались агенты с благородными мотивами предательства собственного народа.

Они стояли недалеко от Дамасских ворот – два американских туриста, охочих до экзотики: рюкзаки, соломенные шляпы за пятнадцать шекелей, фотоаппараты на шее, шорты, сандалии...

– Ну, во-первых, он торговец и антиквар, и хочет, чтобы туристы и коллекционеры имели возможность живыми добраться к нему в лавку и таковыми же ее покинуть. Во-вторых: лет пятнадцать назад ублюдки

из «Исламского джихада» убили (просто растерзали – «за нескромное поведение») его племянницу, дочь покойной сестры. И в-третьих: ты хоть знаешь, сколько лет эта самая лавка стоит на этом самом месте? – Арье поднял палец и назидательным тоном продолжал: – С начала прошлого века! И держали ее на паях двое дружанов-соседей: старый еврей из Галиции и дед нашего Адила. По семейному преданию, ни разу не поссорились из-за выручки. Редкий случай. Кстати, были в числе тех первых антикваров, что дружно распродавали лоскуты древних свитков Кумрана британцам и шустрой ватиканской своре... Ну, пойдем. Сейчас увидишь настоящий антикварный магазин – не лавку занюханную. В таких можно аукционы проводить.

Между прочим, даже после того, как Адиль был пристроен в *нежные руки Леона*, Арье нет-нет да заглядывал в лавку – просто выпить чашку кофе, просто посмотреть новые поступления монет. Говорил:

– За все эти годы Адиль воспитал во мне коллекционера...

Когда Леон впервые попросил у Адила разрешения порыться в старье, в подвале, тот удивленно спросил:

– Зачем тебе?

Его просторный, вызывающе западный магазин со стеклянными прилавками и витринами выгодно отличался от затхлых и темных арабских лавок, цепочкой своих узких комнат ввинченных в утробу Христианского квартала. Вход в главную залу открывала старинная каменная арка из сложенных вперемешку темно-розовых и желтоватых камней.

И товар был первоклассным. Знался Адиль, конечно, и с «черными археологами» (как все без исключения антиквары Старого города), но в основном торговал предметами старины, с сертификатами от департамента древностей.

В высоких витринах вдоль стен были разложены, расставлены, развешаны и искусно подсвечены крошечными лампочками-спотами старинные монеты, медные и бронзовые кумганы и блюда, серебряные канделябры и *ханукии*, украшения из римского стекла, из настоящих и поддельных – на любой вкус и цену – камней. В огромных медных чанах по углам можно было целыми днями копать в поисках ценной серебряной бусины позапрошлого века. В дальней комнате лежали и стояли рядами ковры – иранской, афганской, друзской и индийской работы. По углам и в каменных нишах были расставлены кресла и кофейные столики, инкрустированные перламутром и слоновой костью. И, конечно же, отовсюду зеленовато-голубыми, желтыми, вишневыми бликами празднично сияла под электрическим светом иранская керамика

со своим вечным «рыбьим» мотивом, отчего казалось: по полкам, меж расставленных ваз, кувшинов и голубок-светильников в вечном плаваньи скользит стая цветных длиннохвостых рыб.

Были и редкие книги – в витрине, за спиной у хозяина.

Он восседал на засаленных подушках, в старом кресле с высоким резным изголовьем, как раз против двери, чтобы видеть каждого, кто возникает под старой каменной аркой.

Всегда ласково предлагал чашечку кофе: по левую руку от него стояла электроплитка, и кофе он варил сам – настоящий, турецкий, густой, как патока. Неспешно разливал в керамические чашки, наклоняя джезву, цепко сидящую в детской ручке, следя за ленивой струей, не прекращая при этом виртуозный и неторопливый торг, в конце концов выгодно сбывая очень дорогой товар.

– Мне торопиться некуда, – добродушно замечал он. – Товар мой не портится, только растет в цене. Через неделю будет стоить на три доллара дороже...

– Зачем тебе хлам? – удивился Адиль. – Поверь, ничего стоящего я там не держу – слишком сыро.

– Просто интересно, – признался Леон. И был совершенно искренен: *барахольщик, больной на всю голову.*

– Как хочешь, – пожал плечами старик. – Но слишком часто тут околачиваться... Меня ведь каждая собака знает.

– Ну, насчет этого не беспокойся, – отмахнулся Леон. И с тех пор являлся в лавку в таких невероятных обличьях, что самого Адилья оторопь брала. Он вытаращивал глаза на какую-нибудь развязно ему подмигивающую американскую туристку с рюкзаком за плечами, или на арабского парнишку с куфией на шее, или на въедливую седую аргентинскую стерву в роговых очках. Но чаще в лавку заглядывал отец Леон, любитель древностей, францисканский монах из монастыря Сан-Сальваторе.

Старье, «некондицию», лом и негодную ветошь Адиль годами, десятилетиями сносил в подвал, куда из «задней комнаты» магазина вела низкая металлическая дверь, завешенная большим сюзанае друзской ручной работы. Спускаться в подвал надо было осмотрительно – глубокий и гулкий, в древности он принадлежал церкви крестоносцев и, возможно, оказался бы еще глубже, пусти Адиль туда археологов с их лопатами. Но в подвал ныряли совсем другие личности.

Откидывался край друзского сюзана, приоткрывалась металлическая дверь, и по железной лесенке спускались Рахман или Кунья – смотря кого из своих «джо» хотел видеть Леон или кто подавал знак – просьбу о встрече.

И «джо» сидел в промозглом собачьем холоде (да же в июльскую жару), на ящиках с потрепанными книгами или на кофейном поцарапанном столике, потерявшем товарный вид лет тридцать назад, или на стопке плиток иранской керамики, в ожидании, когда отворится дверь и возникнет Леон – порой в самом странном образе.

Кроме рясы францисканского монаха, в его гардеробе имелись две абайи: темно-зеленая, с цветастой вышивкой на груди и по подолу, и лиловая, украшенная бисером (обеими он очень дорожил), а также хиджаб, целомудренно прикрывавший нижнюю половину лица: походка походкой, а щетина, как ни выбривай ее, кожу грубит...

Да, подвал старой лавки Адиля...

Потом Леон пытался уверить себя, что *чувствовал*: его туда *вело и тянуло*... Чепуха, конечно. Просто понадеялся выпросить у Адиля очередную мятую кружку, старые четки с поцарапанными бусинами, да бог его знает – какое-нибудь старье, которое всю жизнь обожал. Копиться в том подвале могло только барахло, дрянь, никчемные отбросы: уж Адиль-то свой товар отсеивал самым скрупулезным образом. Но тогда как он мог сослать в ящик эту книгу – неужели русский шрифт попутал? Неужели внутрь не заглянул? Неужели не понадеялся сбыть товар – а ведь там, черт возьми, и год проставлен: 1800-й! Или подделкой счел, да еще и странной подделкой: на обложке – кириллица с ятями, внутри – иврит. И, главное, каким образом, каким чутьем нащупал Леон в полутьме, сквозь решетку ящика из-под пива, этот потрепанный корешок? Чудо, наваждение!

Он взлетел по ступеням из подвала, юркнул в угол «задней комнаты», заваленной рулонами ковров, и включил еще одну низко висящую лампу. Присел на корточки – и замер над гривастым львом под золотой аркой из тяжелых кубических букв: «Дом Этингера».

Да-да, Барышня, сказал он ей пересохшим горлом, «за любую цену», – и потому, что редкость и гордость коллекции николаевского солдата Соломона Этингера, и потому, что название милое-дурацкое: «Несколько наблюдений за певчими птичками, что приносят молитве благость и райскую сладость», и потому, что напечатана в типографии полоумного графа Игнация Сцибор-Мархоцкого – вольнодумца-деспота, светоча врученных ему Богом малых народов, в родовом его уделе – в *государстве Миньковецком*. Господи, как тут не рехнуться...

В комнату заглянул Адиль, и Леон неторопливо поднялся, развернулся к старику и показал корешок.

– Я у тебя там, внизу, наткнулся... вот на это, – спокойно проговорил он.

– А, да, – отозвался старик, мельком глянув на книгу. – Курьез, ошибка переплетчика. Без начала, без конца... Не знаю, кому уже предложить, забросил ее совсем.

– Откуда она у тебя?

Адиль улыбнулся, покачал головой, подумал. Бывало, прежде чем ответить, он застывал на мгновение, как бы прислушиваясь к мыслям и намерениям: стоит или не стоит говорить. Умен был и осторожен чрезвычайно.

– Не помню. Может, от деда?.. Он в начале прошлого века был знаком с одним типом – Якуб Султанзаде его звали, купцом представлялся. Мутный человек, подозрительный... Торговал еврейскими книгами и какое-то время жил в доме дедова компаньона. Дед считал, что он шпион: говорил на многих языках, по-русски тоже. Исчез внезапно, не попрощался... Дурное воспитание, или кто ему хвост поджег? Дед потом всю жизнь плевался, когда его имя упоминал.

Леон помедлил, погладил корешок. И, будто минуту назад не горел страстным желанием выкупить фамильную реликвию «за любую цену», достал из кармана куртки свой охранный талисман (никогда с ним не расставался; выходя из дому, перекладывал из одного кармана в другой: тот зеленый фантик от карамели, от монаха-францисканца подарочек Барышне... «Белиссима!» – сказал монах, протягивая беспамятной старухе конфетку, и ее морщинистое личико расцвело грустной улыбкой).

Достал и вложил между восемнадцатой и девятнадцатой страницами.

– Адиль? – спросил. – Пусть она постоит тут на полке?

Тот *взрослой* своей рукой поднял джезvu с огня, аккуратно склонил черную струю в одну чашку, затем в другую. Придвинул чашку к Леону и коротко сказал: – Пусть стоит.

И два года семейная реликвия Дома Этингера служила идеальным «дуплом» для его сообщения с двумя лучшими агентами – Куньей и Рахманом. Если агент просил встречи, зеленый фантик от карамели перемещался с 18-й на 20-ю страницу. Фантик, вложенный на 30-й странице, означал опасность. Смертельную опасность: ибо тридцать дней – «*илошим*» – душа умершего пребывает среди нас.

Именно на тридцатой странице, на смертельной опасности оставался сплющенный временем, прилипший к странице зеленый фантик, когда Леон, не веря своим глазам, медленно, как во сне, вытянул книгу из ряда прочих букинистических диковинок, любовно выстроенных хозяином на средней полке книжного шкафа. Вынул, до последней секунды надеясь, что это всего лишь удивительное совпадение, другой экземпляр, уникальный близнец его книги. Открыл – и уперся в тяжелые кубические буквы экслибриса «Дома Этингера», а быстро листанув страницы, обнаружил и чудом сохранившийся фантик от карамели...

(Все было сосредоточено в этой книге: его семья, его судьба, его память, его риск и ненависть; его любовь...)

Впрочем, его любовь в ту минуту стояла рядом, как обычно, положив руку ему на плечо – так она слушала его, когда не видела его лица. Беда была в том, что слышала она не только речь; эти чуткие руки слышали и учащение пульса, и, кажется, даже мечущиеся мысли. И потому, ошеломленная внезапной бурей в его крови, она инстинктивно сжала пальцами его плечо.

– Да-да, – раздался за спиной голос хозяина дома, уважаемого лондонского дома, откуда Айя в свое время сбежала, как сбегала отовсюду. – Вы обратили внимание на этот потрясающий экземпляр? Я купил его в Иерусалиме, в Старом городе, несколько лет назад. Помнишь, Айя, старика антиквара с уцербной рукой? Меня, знаете ли, привлекло забавное сочетание: на обложке шрифт русский, а внутри – то ли иврит, то ли арамейский. Жаль, что мы с вами никогда не узнаем, что там, в этой книге...

Но Леон уже знал – что там, в этой книге. В книге было последнее доказательство, за которым он пустился в путь, начав его с острова Джум в Андаманском море. Последнее доказательство, неотвратно связанное с любимой рукой, что испуганно вцепилась в его плечо своими чуткими пальцами...

Нет, никто и никогда не мог бы купить эту книгу, пока жив был Адиль.

Книга исчезла в тот день, когда его убили. И по тому, как грамотно была сломана у старика шея, как тщательно выбрано время – послеобеденного затишья в лавке, – Леон понял: Адиля убрали. Убрали те, кто проследил за Куньей и Рахманом.

Хотя безутешная Самира, старенькая жена Адиля, считала его смерть несчастным случаем: в конце концов, человек, имеющий только одну настоящую руку, вполне мог оступиться на лестнице и упасть, хоть и знал

эту лестницу как пять пальцев своей больной руки. Самира давно уговаривала его либо построить нормальные каменные ступени, либо вообще заколотить дверь в этот проклятый подвал. «Так и лежал там, – плача повторяла она, – подвернув под себя свою бедную детскую ручку...»

Леон обнял несчастную старуху левой рукой (на правом боку под рясой она могла почувствовать старину «глока») – кроткая душа, монах-францисканец, отец Леон...

В этом обличье он раза три бывал у них дома, и Самира знала его только как отца Леона, сицилийца, знатока-нумизмата из монастыря Сан-Сальваторе.

* * *

Рахмана и Кунью, двух своих самых ценных агентов, он потерял через несколько дней после смерти Адиля.

Этим двум братьям не было цены: с их наводки были перехвачены несколько смертников с поясами, начиненными взрывчаткой, расстреляна колонна грузовиков с оружием для ХАМАСа, один за другим уничтожены лидеры трех группировок, запускавших ракеты по югу страны.

Погибли братья страшной смертью, как это водится в здешних краях. Их выкрали, вывезли в Газу и там убили.

В минутном видеоролике, выложенном на всех новостных сайтах в Интернете, демонстрировалось, как их волокут по улицам – уже мертвых, но еще пригодных для надругательств. И вместо лиц у них было кровавое месиво, не было лиц, так что Леон, вновь и вновь запуская ролик и влипнув в монитор, не мог различить, кто из них Кунья, а кто Рахман.

Вновь и вновь заставлял себя смотреть, как волокут на веревке их тела, как безвольными макаронинами тащатся по земле голые ноги – Куньи? или Рахмана? – с обоих стянули джинсы; как озверелая толпа смыкается над мертвым телом, топча его, возбужденно и яростно возясь над ним, выкрикивая проклятья.

Он и сам сидел и выкрикивал арабские проклятья, и плакал. Он был бледен, пожираем ненавистью; он был *брат убитых* и желал только одного: убивать, убивать, убивать!

* * *

– Он нужен мне целеньким, – почему-то полусшепотом сказал Леон Рону Вайсу.

Капитан Вайс командовал операцией по задержанию Исмаила Раджаба, на счету которого было много чего, в том числе убийство двух солдат-резервистов, заблудившихся на своем «жучке» в Шхеме. Их просто разорвали на части, буквально, физически *разорвали*, и Леон вертелся ужом и не спал несколько суток, перетряхивая всех своих агентов. Трижды сам, переодетый, наведаясь в кое-какие лавки, забегаловки, гаражи и парикмахерские Шхема. Дважды (дородная пожилая тетюшка в темно-серой абайе) покупал баранину в мясной лавке, принадлежащей дяде Раджаба: придиричиво перебирал куски мяса, постреливая по сторонам глазами из-под платка. Долго сидел – старый, слепой, полубезумный – в кофейне возле дома, где, по данным «прослушки», иногда ночевал шурин Раджаба, его самое доверенное лицо; сидел, перебирая четки, ошалева от кофе и *наргиле*, бормоча рваным голосом перепутанные суры Корана... Пока наконец не собрал все сведения в *нужный букет*.

Операция, как обычно, была размечена по этапам, руководил ею опытный боевой офицер. Можно было не волноваться, но на сей раз Леон просто сходил с ума.

– Ты понял, Вайс? Он должен быть у меня в руках целым, испуганным и непорочным, как невеста. Я, – и голосом подчеркнул это «я», – буду его женихом. «Гряди же, мой суженый!» Я раздену его сам, волосок за волоском, мышца за мышцей, ноготь за ногтем...

– Кенарь, – проговорил Вайс, медлительный, как удав, и глянул исподлобья: – Иди, проветрись. Мне не нравится твое настроение. Мы просто солдаты. Мы делаем свое дело, ясно? А ты потом сделаешь свое. И не танцуй тут вокруг нас, уйди. Мои ребята должны быть собраны и спокойны.

– Я поеду с вами! – вдруг сказал он. – Хочу сам все видеть.

– Ну и видь. Сиди в командной машине. Не понимаю – ты же в любом случае получишь этого ублюдка. – И, нахмурившись, уточнил: – Это он кровавые пятерни в окне показывал?

– Он.

Фотография, на которой пьяный от крови Раджаб демонстрировал в окне собравшейся под домом толпе свое красноречивое участие в «разделывании туш» (руки баскетболиста, протянутые в ожидании мяча), была снята шустрым французским журналистом, аккредитованным в Рамалле, и обошла все средства массовой информации, заставив кое-кого

из западных политиков обронить свое смущенное и брезгливое «ай-ай-ай», так что уже несколько недель незадачливый журналист отсиживался в каком-то подвале, спасаясь от народного гнева, и все приносил и приносил оттуда испуганные извинения «палестинским борцам за свободу».

Но еще кое в чем Раджаб сыграл не последнюю роль: Леон полагал, что это благодаря ему, связному группировки «Хазит амамит», были выслежены, раскрыты и выкрадены Кунья и Рахман, это он, по сути, выкинул их толпе на растерзание; так что, пока собирались и анализировались технические и агентурные данные, разрабатывалась и планировалась операция по захвату, Леон не спал и рыскал, как голодный волк, учуявший сладостный запах свежатины.

И как голодный волк, подроспел к той минуте, когда ребята вытаскивали добычу из логова. Упитанный молодой телец, в накинутаой на голое тело белой рубашке, в наручниках, в повязке на глазах, споткнулся о высокий порог дома и заскулил щенком, потирая босой ступней другую, ушибленную ногу.

И тут Леон потерял себя.

Запрыгнув вслед за солдатами в боевую машину, пробрался в угол, где на скамье сидел пленный, и с волчьей улыбкой спросил:

– Как настроение, приятель?

Тот отвернулся, бормотнув арабское ругательство. Напуган, удовлетворенно подумал Леон, чувствуя, как разливается пьянящее тепло по венам. Еще как напуган!

– *Саба-а-а-ба...*^[33] – пробормотал он.

Все прекрасно, повторял он себе, все идет как по маслу, впереди большая работа. Он собирался просить у начальства разрешения на *специальные методы допроса* – иными словами, уж он постарается, чтобы судьба Куньи и Рахмана, как и участь погибших резервистов, хотя бы в ничтожной мере отозвалась мяснику – и не в тюрьме, где начнется санаторный срок этого борова, а в ходе следствия.

Пока возвращались на базу, Леону казалось, что он совсем успокоился (он потом и на допросах показывал – будто задался целью усугубить свою вину, – что был совершенно спокоен и «ни на минуту не терял контроля над своими действиями»).

Разве что кровавые пятерни в окне и озверело счастливая рожа, случайно вырванная из карнавала смерти французским журналистом, никак не уступали место ни единой другой мысли, ни единому намерению или желанию, подавляя все его естество. Мельком он подумал, что с утра

даже воды не пил и совсем не помнит, когда и куда забегал отлить. Видел только пятерни в окне – кровавые медузы; видел, как лежит на дне подвала мертвый Адиль, подвернув под себя *детскую ручку*; как на веревке волокут по земле тела Куньи и Рахмана, их голые ноги, как макароны – по земле. И чувствовал, что это не их, а его рвали на части, волокли, топтали, насиловали...

Но и подобные эмоции он давно научился в себе подавлять, обязан был подавлять в силу профессии.

А в какой момент он вдруг ощутил *кровавое наводнение* в груди – трудно вспомнить. Просто внезапно почувствовал, как в горло из сердца поднимается кровь, захлестывая, затопляя ненужный ему, никчемный здесь голос (*господи, как я тут оказался? что я тут делаю?!*); ощутил, как отказывают внутренние шлюзы, исправно служившие ему последние годы; как горло наполняется и захлебывается кровью, и все уже становится щель, через которую можно дышать... Да, он *нахлебался* и вот-вот закашляется, выблевывая литры *чужой крови*... Еще не хватало напачкать прямо тут, в машине, на глазах у ребят.

Перебравшись поближе к «джонни», он жадно оглядел сгорбившуюся на скамье фигуру. Сдавить пальцами щитовидный хрящ – и гадина враз обмякнет. И сделать это незаметно: ребята расслабились, многие дремлют – солдат любую минуту ловит. Нет! убивать его и глупо, и преступно: за Раджабом десятки имен, сидят в нем, как в матрешке. Эту матрешку мы и будем развинчивать, спускаясь все глубже, извлекая сведения медленно, верно, азартно, артистично – до самого последнего, самого драгоценного, самого потаенного неразъемного малыша, что прячется даже не здесь, а где-нибудь в Бейруте, Дамаске или Тегеране. Нет, убивать Раджаба нельзя. Так что же? Этот молодчик с торжествующими лапами баскетболиста будет жить дальше, заочно учиться в Открытом университете, трахать на свиданиях жену и плодить себе подобных?

За последние минут двадцать пленный успел немного прийти в себя, уже не дрожал крупной дрожью, хотя непрерывно что-то бормотал себе под нос. Может, уговаривает себя, что самое страшное позади и в тюрьме его ждут почет среди товарищей, приличная жратва, спортзал и прочие увеселения, а при благоприятном раскладе года через три – ну, пять, – как и сотни других, его обменяют на тело очередного растерзанного израильтянина, и он выйдет на свободу. И будет, как прежде, готовить смертников, взрывать и убивать, рвать на куски человечину и бегать с автоматом...

Кровь поднималась, запруживая горло, уже нечем было дышать.

Нет, сказал он себе. Только не это. Только не как прежде...

Адиль лежал, подогнув под себя детскую ручку... и ноги их волочились по земле, как макароны...

Нет, парень. Вот бегать ты уже не будешь.

– *Мад риджлака, Раджаб*^[34], – мягко проговорил Леон.

Арестованный встрепнулся, повернул голову на голос – такой братский, такой родной.

– *Наам?.. риджл?*^[35] – *Риджл!*

Ничего не понимая, тот слегка выдвинул вперед босую правую ногу.

Кровь поднялась к гортани, булькая уже так, что Леон едва мог говорить.

– *Баад шуайе*^[36], – заговорщицким, чуть ли не интимным шепотом приказал он, завороченно глядя на белевшую в темноте ступню. Застыл: змея перед броском. И молниеносно-мягко выхватив винтовку из рук дремлющего рядом солдата, прикладом нанес два страшных удара, дробя кости этой ступни, сладостным воплем выблевывая освобожденную кровь сердца, сливая этот вопль с диким визгом арестованного и с визгом тормозов застопоренной машины.

* * *

Из тюрьмы его вытащил Натан.

Многие недели, пока длилось дознание и шли допросы свидетелей, пока юридический советник *конторы* составлял рекомендации для отдела полиции, курирующего дела сотрудников спецслужб, с Леоном, отстраненным от должности, мало кто из коллег стремился встретиться и поговорить.

Все были здорово обескуражены. Не то чтобы этакий «упс!» не мог произойти там, где люди вынуждены копать в дерьме с утра и до утра; всякое случалось в их работе... Но, похоже, именно от Леона никто не ожидал такой дикой выходки (или, как обронил Натан, «настоящего идиотства»). От Леона, который отлично знал правила игры и неукоснительно им следовал, играя безупречно, даже с неким артистическим азартом.

Кто угодно мог слететь с катушек, объяснял Натан расстроенной Магде: солдатики, разгоряченные операцией, сопротивлением «джонни»,

возможностью потерь среди своих, – те, конечно, могли слегка *помесить* задержанного, такое случается и списывается на «ход операции». Но серьезный оперативник?!

– Ке-нарь?! – недоверчиво уточнял кто-нибудь из коллег или начальства, услышав эту неприятную новость в первые дни дознания. Свалить такого дурака? выплеснуть *свое личное* в таком важном деле, как работа с арестованным, вербовка, высасывание из него всей подноготной родственных, дружеских и боевых связей? Не-ет... кто угодно, только не он!

Среди коллег Леон считался мастером агрессивной вербовки, артистически проводимой мягчайшим и убедительным голосом, пробегавшим за время допроса весь интонационный спектр, от ласковой свирели до мертвенного *шалюмо*. Именно он-то и был убежден, что физическое насилие – не лучший метод допроса; куда действеннее насилие психологическое.

Уж Леон, наш *Кенар руси*, сам как две капли воды похожий на всех этих арестованных *мухаммадов*, был особенно хорош со своим ровным, доброжелательным, а если требовалось, и сердечным арабским, со всем этим привычным...

– ...Сними-ка с него наручники и принеси нам кофе, пожалуйста. А ты расслабься, Ахмад, никто здесь не собирается тебя калечить. Смотри, Ахмад... в жизни все имеет свою цену. Весь вопрос в том, станем ли мы друзьями... Твой брат хочет работать в Иерусалиме, мы можем выдать ему пропуск на работу... Мама твоя болеет, да? Что-то с желудком, верно? Мы можем поместить ее в приличную больницу в Маале-Адумим. Ей хороший уход не помешает, правда? Ну, и немного денег тебе самому тоже не помешают, а? Хорошая невеста – недешевое удовольствие... Это если мы будем друзьями... Да ты пей кофе... бери вот вафли... И расслабься. И подумай хорошенько. Ведь если мы не договоримся, боюсь, брат твой может попасть в нехорошую историю, это легко устроить. А мама...

И если бы кто-то, прижав ухо к двери, вслушался в два голоса, беседующих на столь одинаковом арабском, отличить следователя от арестованного он смог бы только по смыслу реплик.

Конечно, именно Натан, и никто иной, приложил изрядные закулисные усилия к тому, чтобы статья приговора выглядела достаточно мягко, чтобы приняты были во внимание *то и это*, и состояние *аффекта*, и депрессия после потери ценных агентов, и длинный послужной список блестяще выполненных операций, и рекомендации шокированного, но все еще горой

стоящего за него начальства...

Тем не менее Леона («временно, временно, не вешай нос!») отстранили от дел, не говоря уж о том, что в ближайшие месяцы ему предлагалось поработать на пользу общества: санитаром в тюремной больнице, откуда три месяца спустя его выудил мрачный Натан, при встрече первым делом мстительно заявивший:

– Ничего, не сахарный, на чем-то надо учиться...

* * *

Тюрьма «Маасиягу» находилась в Рамле, так что из Иерусалима Леон каждое утро добирался *до места* на мотоцикле: *ничего, не сахарный*, само собой. Но однажды после работы случайно столкнулся с Ури, своим однокашником, тотальным ударником, которого в первую минуту просто не узнал: Ури «вернулся к вере», но в каком-то ее *барабанном воплощении*. Он сколотил «Ансамбль истинно верующих» – таких же, как он, чокнутых молодых хасидов, и вчетвером они снимали пятикомнатную квартиру в Лоде, где по ночам изучали каббалу, дрыхли до обеда, а вечерами выступали в разных заведениях, порой сомнительного свойства – в ночном клубе для геев, например.

Одевался Ури в соответствии с полным религиозным протоколом: черная шляпа, черные засаленные штаны, спущенные под брюхо самым рискованным образом, мятый перекошенный талес поверх несвежей рубашки. Он располнел и отрастил страшенную густую бороду Карабаса-Барабаса.

– Не мешает? – поинтересовался Леон, кивнув на заросли, из которых торчал костистый нос и сверкали алчущие ритма тревожно-птичьих глаза.

– Я под талес пропускаю, – пояснил Ури, неумными пальцами выстукивая синкопы на собственном тугом животе.

Они зашли в бар, на крошечной сценке которого через полчаса Ури должен был «бить-колотить», выпили по коктейлю – и Леон просидел там до часу ночи, не отводя замороженного взгляда от нежных, грозных и опасных рук Дикого Ури, творивших страсть и ужас, ласку и любовные вздохи на натянутой коже обычной тарабуки. Это был шквал налетевшей грозы: удары безжалостного грома, треск падающих деревьев, смертельная битва в конце времен и блаженный конец света в медном ореоле двух грянувших друг о друга тарелок, которые Дикий Ури как бы отшвыривал от себя в неистовом прощании с миром.

Назавтра Леон перебрался к каббалистам, в их шумную, веселую и довольно нелепую общагу. Выгода от перемещения была огромна: в бензине, во времени, в отсутствии оголтелой Владки. Главное, до известной степени он стал невидимкой: каббалисты-хиппи не обращали на него никакого внимания, сослуживцы и приятели оставили в покое.

Предоставленный себе и новым обстоятельствам, Леон мыл полы в тюремной больнице, возил белье в тюремную прачечную, перестилал постели и выносил утки за теми, кого вчера еще допрашивал с пристрастием. И, казалось, навеки пропах тем особо ядреным запахом дезинфекции, которую практикуют в тюрьмах, казармах и домах престарелых.

* * *

В конце концов позвонил Натан и грубоватым тоном, каким говорил обычно, если «имел пару хороших новостей», назначил свидание – просто подъехал к тюрьме после работы. Когда Леон вышел из ворот и приблизился к машине, Натан оторопел: в общаге каббалистов тот запустил смоляные кудри и жесткую угольную бородку, преобразившую его так, что, даже опознав Леона, озадаченный Натан не сразу открыл навстречу дверцу.

– У тебя так стремительно волосня прет, – заметил Натан, когда тот плюхнулся на соседнее сиденье. – Самсон, да и только.

– Да, – скупой отозвался Леон, не глядя на него. – Еще немного – и обрушу на себя своды тюрьмы.

Они и поговорили там же, в машине, отъехав от ворот метров на триста. Добрую весть, *добытую с некоторыми специальными усилиями*, Натан выкладывать не торопился; в сильном замешательстве разглядывал бледное лицо, картинно обрамленное кипяще-смоляными кудрями, и слушал скудные ответы, которые Леон едва выцеживал.

– Ты как-то... опустил, – хмуро заметил Натан. – Почему бы тебе не побриться? Возьми себя в руки, Леон. В чем дело: ты потрясен, уничтожен? Кем – собой, системой? Организацией? Только не делай вид, что перепутал *контору* с филармонией и теперь оскорблен в лучших чувствах: *они фальшивят!* Что, собственно, произошло? Ты сорвался и покалечил подонка. Так он же вообще не должен по земле ходить! Да, это – нарушение, превышение, недопустимое такое-сякое, преступное эдакое-такое... и хватит уже! О'кей, ты отбыл наказание. Вернее,

наказаньице. И скажи спасибо, что весь твой голливудский шик обошелся без объектива очередного говнюка-журналиги. Тогда бы вообще никто не отмылся, включая твое начальство.

Он вздохнул, опустил покалеченную руку на колено Леона.

– Похудел, истощен... Ты что, не жрешь ничего? Посмотри на себя. Судя по тому, что я читал в твоём деле, за последние месяцы ты курировал уйму операций, мотался бог знает куда, брал на себя бог знает что и занимался несколькими делами одновременно. Ты просто вымотан до икоты. В общем... Помимо того, что можешь обернуться и послать тюрьме прощальный привет, я договорился о... некоторой передышке. Считай, об отпуске. Потом, позже обсудим кое-какие возможности... э-э... смены декораций. Пока отдохни, съезди куда-нибудь на неделю. В Эйлат, скажем. Поваляйся, что ли, на пляже. И побрейся наконец, оперативник! Ты что, шиву сидишь?^[37]

Ну, шиву или не шиву, а от каббалистов он добирался домой в тот вечер как был – заросший, лохматый, одичавший и настолько напоминавший тех, кого ловил и допрашивал, что удивительно, как это полиция не остановила его по дороге в Иерусалим.

А дома ждало вечное испытание: отсутствие жратвы и «каламбурная» Владка. Но все-таки это был дом – все та же крохотная квартирка в полуподвале, заполненная жизнью по самые окошки.

Владка открыла дверь на его два коротких и длинный, взвизгнула, повисла у него на шее, ущипнула за задницу, потрепала за бороду, за ухо, запустила пятерню в его и правда львиную гриву и – не спрашивая, как и что, – побежала звонить какой-то подружке, оставив стоять разинутой посудомойку (Леон купил ее полгода назад, и Владка относилась к ней ревностно, как ребенок к новой игрушке: загружала, разгружала, нажимала кнопки...).

В холодильнике Леон обнаружил последнюю баночку йогурта, открыл ее и уселся за откидной столик, который сам придумал и сам привинтил к стене. Слыша, как Владка в разговоре несколько раз назвала его имя, машинально прикрикнул:

– А ну уймись!

Когда-то, в самом начале работы, он прикрутил под Владкой фитилек, просто и незатейливо пообещав, что прибьет, если она с кем-то станет обсуждать, где он, когда приходит-уходит и вообще кто он такой.

– А кто ты такой? – с испуганным интересом спросила она, вытаращив глаза.

Он ласково сказал:

– Никто. Сынок твой Левка.

– Левкой тебя называла Баба, – возразила Владка.

– Вот и ты называй, – отозвался сын. Один из его паспортов, самый надежный и используемый, был изготовлен на имя Льва Эткина.

– Я сынок твой Левка, работаю в аэропорту на досмотре багажа. Такие дела.

Что делать сейчас, завтра и через неделю, он не знал. Во что превратилась его жизнь и почему он стал специалистом по отслеживанию, преследованию и убийству плохих парней, по допросам, обманам, вербовке, ликвидации, переодеваниям и выстраиванию смертельно опасных ходов и ситуаций, он мог бы объяснить со всей убедительной и ясной силой (он умел убеждать, в том числе и себя) – только не сейчас. Сейчас не хотелось.

И ради самой благородной цели, ради подписанной и пропечатанной небесной гербовой печатью справки, выданной на исполнение трижды заслуженной и четырежды благородной казни, – все равно не хотелось.

С чего ты взял, что в этой бойне останется нетронутым твое страдающее музыкальное нутро? С чего ты взял, что не захлебнешься в этом кровавом круговороте? Где твой кларнет, парень? И почему ты так давно не брал его в руки?..

Стоп, сказал он себе, тормозим. Мы это обсудим на днях. На днях, понял?

– Лео, – возбужденно спросила Владка, положив телефонную трубку. – Ты знаешь, что это: манда?

Он поперхнулся йогуртом, откашлялся, невозмутимо отправил в рот следующую ложку, бормоча:

– Неплохо, неплохо...

– Да нет, я имею в виду: знаешь, где это находится?

– Ну... догадываюсь, – отозвался он.

– Ты там бывал, а?

Отставив недоеденный йогурт, Леон молча воззрился на мать. Она невозмутимо глядела на него своими кружовенными глазами.

– Тебе побриться надо. И помыться. Ты прям как убийца: страх и ужас. Я в смысле... это ведь где-то у нас, да? Город или кибуц?

– А! – Он вновь принялся за йогурт. – Тогда ударение на первом слог:

Ман' да. Кфар-Ман' да. Это арабская деревня в Галилее.

– Так это ж здорово! – с энтузиазмом воскликнула Владка. – Тогда ведь можно его отыскать, ага?

– Кого? – морщась, уточнил сын. Он терпеть не мог этой ее манеры строить разговор с заднего крыльца.

– Твоего отца, дура-аха... – улыбаясь, пропела мать, метнулась к посудомойке, принялась загружать ее грязной посудой, накопленной за неделю. Она всегда копила. – Просто сегодня по радио услышала и вдруг ка-а-ак вспомнила: он же называл деревню! На страну, *понимаешь*, тогда внимания не обратила, не до того было. А вот это название прямо врезалось в память, потому что он мне на танцах его сообщил. Мы танцевали медленный танец, и я спросила, откуда он, собственно, родом, и сквозь музыку – там так грохотало! – он крикнул: «Манда!» Я ему: что-что?! Он уже громче: «Ман-да!» Так ему даже пригрозили, что выведут за сквернословие. А правда: неприлично как-то звучит, смешно, а?..

...Мгновение спустя она обернулась на его молчание и выронила ложку. Вернее, положила ее мимо посудомойки, попятилась, локтем задела бокал, из которого Леон только что выпил воды, и бокал упал набок, покатился и хряпнулся в раковину, где рассыпался на мелкие осколки.

У сына было окаменелое лицо. Страшное лицо.

– Чё эт ты? – поинтересовалась она. – Лео, ты чё? Живот болит?

Леон смотрел на мать так, словно минуту назад впервые увидел эту дикую женщину и не может понять, каким образом и зачем она тут оказалась.

– Ты хочешь сказать, – наконец проговорил он ровным, любезно-бесстрастным тоном, каким говорил на допросах с убийцами, – что родила меня от араба?

– Выходит, так, – бодро отозвалась она.

Этого его тона она побаивалась. Было уже несколько случаев, когда она понимала, что сейчас он ее убьет. Может убить. И тогда он непременно бил что-то важное и нужное. Вот самокат ее раскурочил – саданул со всего размаху об стенку. А эта стенка – ей что сделается? Натуральный камень в метр толщиной... А однажды схватил нож и изрезал себе руку – сильно, швы даже накладывали. То, что сын – человек опасный, она знала с самого его детства. Но никогда еще у него не бывало такого лица: одновременно отрешенного, даже не телесного, а будто вырезанного из какой-то твердой блестящей породы дерева, и страдальческого.

Его всегда интересовали странные реакции человеческого организма. Шаули, который лет с двадцати пяти, возжаждав знаний, принялся жадно глотать и переваривать разные курсы и степени в университетах – причем в разных университетах, – недавно «брал» курс по психологии и рассказывал много интересного про механизм так называемых «неадекватных реакций». Например: что это было там, в армейском «рыцаре»? Что произошло с безупречным механизмом его, Леона, высокомерного спокойствия на допросах? А вот сейчас: почему после кошмарного Владкиного признания он ощутил только полный покой – светлый и страшный, глубоководный покой; должно быть, такой настигает ныряльщика, решившего больше не возвращаться наверх... Чувство, что ты не имеешь отношения к самому себе, что ты покинул границы собственного тела и смотришь на себя, такого-то, с таким-то именем, откуда-то сверху? Ощущение, близкое к обмороку.

Ты выходишь из дома в арабской деревне и, лежа на горе, стреляешь в себя снайперской пулей, что раскрывается в тебе, как цветок. И слышишь внутри шум чужой, враждебной крови, что прокачивается по твоим венам и артериям, поднимаясь к самому горлу, и надо скорей отворить вены и выпустить из себя до капли все отравленные душной ненавистью потоки. И мелкие, как стайка рыбок – случайный подводный сор, – мысли: где-то в неофициальной биографии Фета (да, именно Фета, с чего бы?) читал о потрясении, какое испытал он, ярый антисемит, узнав (мамочка призналась на смертном одре, мамочка, высокий образец русской женщины), что отцом его был курляндский еврей, то ли мелкий торговец, то ли еще что-то такое... ужасное.

И Фет был уничтожен, раздавлен и документы о позорном своем происхождении велел положить с собой в гроб.

Но вот что любопытно с точки зрения той же проклятой психологии: вы нос-то свой, Афанасий Афанасьич, никогда прежде не видали – до мамочкиного признания? Ну, а вы, вы-то, Леон мохаммадович, или хусейнович, или как-вас-там-еще, – вы, последний по времени Этингер, видали свою рожу? И что ж вы себе насчет этой самой рожки насочиняли, а? Какую такую средиземноморскую, чуть ли не сардино-итальянскую, чуть ли не испано-португальскую романтическую отцовскую легенду невзначай придумали? Да так еще придумали, что никогда ни единого вопроса Владке и не задали – а почему? На всякий случай? Чтобы она ненароком не вывалила вам неудобной правды? Да она ее и сама не знала – мадонна с младенцем, святая душа...

Ее надо убить, сказал себе Леон, медленно вращаясь в тихом гуле подводной раковины. Просто убить. Эту гадину. Сейчас же. Чтобы никто *далее* не узнал.

Мать стояла, спиной опершись о кухонный шкафчик, как всегда, глядя на сына с доверчивым ожиданием праздника: вечный его ребенок, врушка, актриска, изобретательница; любимый зеленоглазый, потенциально опасный сюрприз.

– Значит, ты не нашла в Одессе никакого иного занятия, – медленно произнес он с ледяным отчаянием (по краю сознания метнулось: диалог оскорбленного отца с дочерью-шалавой), – кроме как путаться с арабской швалью...

Владка сказала просто и сильно:

– Он не шваль! Он был очень хорошим. Нежным и робким. Говорил: «Почему ты всегда опаздываешь, ведь я готовлю свое сердце к семи!» И если б у него не умер отец, все было бы по-другому! – Она была абсолютно уверена, что говорит истинную правду, которую к тому же сыну хочется услышать. – Но он уехал и не вернулся. Говорил, старшие братья строгие. А если б вернулся, мы поженились бы, вот.

...Вы «поженились бы, вот». И тогда я родился бы и вырос в каком-нибудь Шхеме или Рамалле, и взрывал автобусы, и в меня стреляли бы снайперскими пулями, что распускаются в теле, как цветок.

Он схватился за щеку, будто зуб заболел, и промычал, покачиваясь:

– Боже, тебя надо убить, убить... Тебя ж надо просто убить!

(В эту минуту она не сомневалась, что сын вкладывает в данное слово не переносный, не эмоциональный, а вполне обиходный и прямой смысл, наработанный им таким же обиходным – и тоже простым, как она подозревала, – действием.)

– Это тебя надо убить! – запальчиво крикнула она с потрясающей своей готовностью к отпору. – Я тебя сколько раз просила ставить бокалы в *псудомойку*! Вот я бокал из-за тебя разбила!

Он секунд десять смотрел на нее и вдруг истерично расхохотался, и хохотал долго – до слез, до икоты.

Наконец опомнился. Некоторое время неподвижно сидел, сосредоточенно глядя в угол.

– Что с тобой стало, Леон? – спросила мать, с недоумением разглядывая диковатое, обросшее, в пугающе спутанных космах лицо сына. – Что с тобой стало... в том аэропорту?

Он глухо проговорил:

– «Мандуш асаль анду аль-атиль»^[38]. – И, усмехнувшись: – Впрочем... Какая в том беда Дому Этингера... Да? Вскочил и выбежал прочь – от греха подальше.

* * *

Блоха, заблудившаяся на изнанке ковра: узор тот же, но узелки, узелки... ни черта не разобрать. Вот такой блохой он был, таким ему помнился короткий и тошнотворный период его жизни перед отъездом в Россию: мутный водоворот никчемных дел и бессмысленных шатаний, дурной аттракцион кривых зеркал, невнятица-бормотня, тяжелый сон...

Только Шаули, простодушный друг, к которому он переехал «пожить» на неопределенное время, но избегал говорить о своих делах, уходил из дому по утрам и пропадал до позднего вечера, а иногда и возвращался под утро, – только лицо Шаули осталось в памяти естественным: ни притворного сочувствия, ни натужной приветливости. Впрочем, в тот период Шаули и сам был чертовски занят в одной операции, то и дело исчезал, а вернувшись, просто заваливался спать, ничего не рассказывая и не объясняя. Друг с другом они общались короткими бытовыми фразами или оставляли записки: «Хорошо бы хлеба купить», или: «Хумус кончился».

И еще – Иммануэль.

В тот поздний вечер, когда небритый, обросший, нечесаный, провонявший специфическим запахом заведения Леон примчался к нему на мотоцикле и, ворвавшись в спальню, прямо с порога всё вывалил, старик глянул на него поверх очков и невозмутимо предложил... выпить.

– Seriously, – сказал добродушно, всем своим уютно-вечерним видом отменяя смысл короткого слова, только что выхарканного Леоном с такой горечью. – Налакайся, как свинья, и отлежись у меня денька три.

Велел ему принести из бара бутылку коньяка, но тотчас передумал и послал на кухню за водкой: – Жаль на твою дурь тратить приличный напиток, – пояснил чуть ли не весело. – И помоги одеться, – приказал, – если уж свалился на голову среди ночи. Мои ужасные нубийцы терпеть не могут этих карнавалов с внезапным переодеванием. Они считают: уж лег так лег, старина! Дрыхнут, наверное...

«Карнавал» с поэтапной сменой пижамы на брюки и халат, с осторожным перемещением иссохшего старика в кресло (обиходные

действия внутри разумного и милого сердцу Леона миропорядка) немного его успокоили.

– Жаль, что ты не алкаш, – заметил Иммануэль, наливая водку в белую чашку, из которой обычно запивал лекарство. – Это ведь благословение божье – забыться.

Вообще-то, Леон любил мягкие коктейли, как любил когда-то рюмочку Магдиной вишневки или сливянки; в барах проводил иногда по несколько часов, сидя над одним бокалом. Водки терпеть не мог, но сейчас послушно выпил, потому что с детства слово Иммануэля было законом. Глотнул с омерзением, содрогаясь своим драгоценным горлом.

– Нет, – покачал головой Иммануэль, наблюдая эту позорную картину. – Не дано тебе, малый, такого счастья. Не заберет и не поможет, это уж очевидно. Проклятая, трезвая еврейская голова!

И когда Леон вскинулся (с лицом, искаженным отвращением и мукой) в попытке вновь *выговорить* свое *новое естество* (как недавний вдовец к словам «моя жена», запинаясь, непривычно добавляет «покойная», сам не веря тому, что произносит его язык), Иммануэль поморщился и раздраженно поднял ладонь, останавливая его:

– Этот вздор настолько выбил тебя из седла, цуцик? Мне... – и, чеканя каждое слово: – ...досадно – это – видеть!

За годы в их отношениях сложился свой языковой протокол: наедине друг с другом они говорили по-русски. Иногда Иммануэль перескакивал на иврит, если речь заходила о каких-то забавных израильских типах, историях или сценках (он называл это «местным колоритом»). Но любой важный разговор наедине вручался одному лишь посреднику: русскому языку. И тогда Леон чувствовал, что между ними протянута особенная, проникновенная родственная связь.

– Кровь?! – презрительно воскликнул старик. – Недалеко бы мы ушли, выцеживая свою дутую чистокровность сквозь сито всех гетто, погромов, крестовых походов и костров инквизиции. Нет, парень: *кровь сознания* – вот что имеет значение. Вот что нам удалось сохранить и взрастить в поколениях. Такой сорт мужества: помнить, не расслабляясь и не размякая на *душевный отклик чужого*, ибо он тоже – вздор и дым; он тоже – до первой увертюры партайгеноссе Вагнера...

В дверях появился Тассна – то ли не спал, то ли проснулся от голосов. Ревниво нахмурился, застав старика уже в кресле, одетым, да еще с бутылкой спиртного.

Налив себе водки, Иммануэль движением руки остановил протестующего «нубийца» и выпил из своей «лекарственной» чашки

просто и легко, не закусывая.

– Эх, вот бы так помереть: с последним глотком водки в желудке, – заметил он. Снял очки и, щурясь, принялся задумчиво разглядывать Леона, как незнакомца. – Видал, как надо мной трясутся мои нубийцы? Боятся потерять работу, когда я откину хвост. А я ведь очень скоро его откину. Поэтому позволь я договорю – на всякий случай. Вот ты мне сейчас – о крови, в которой ты заблудился. Удел чистокровности! Хо, это слишком просто, цуцик. Для нас – это слишком примитивно. Это как плыть по течению: родился, принадлежал, упокоился с миром. Это для баварского крестьянина с перышком на шляпе. Нет: бесстрашие – *принять* долю, и больше того – *приговорить* себя к этой доле. Бесстрашие перед своим одиночеством, *высокомерие одиночества – сквозь тысячелетия улюлюканья, насилия и подлой лжи...* Готовность продолжать путь с одним попутчиком – с самим собой, и даже Богу не позволить обзавестись атрибутами, дабы не поддаться искушению нащупать его бороду и пустить в нее слюни. Вот это – наш удел. Так что утри сопли и пошел в душ – от тебя разит черт знает чем.

Обернувшись к Тассне («если уж ты сам явился, парень!»), старик принялся давать ему указания – что там поджарить и какую на скорую руку соорудить жратву для этого странного и очень позднего ужина или очень раннего завтрака – цуцик, видимо, одурел от голода, надо его покормить.

– Да, и салату принеси, того, из холодной говядины. Одарим гостя луковой розой Виная.

И когда Леон направился к ванной, Иммануэль крикнул ему в спину:

– После в бассейн непременно! Мы сегодня воду меняли. Поплавай, отмокни, я на тебя полюбуюсь – красивый ты, как... суч-потрох! А потом поужинаем.

Минут через десять Леон – в полотенце, накрученном на бедра, – вышел в патио, где старик все еще командовал Тассной, сердился, что-то доказывал. Кажется, требовал добавить в соус горчицы или сахара. Но Тассна оставался невозмутим и несокрушим в своем поварском достоинстве. К тому же сахар старику не полагался из-за диабета. Как и водка.

Тут же присутствовал заспанный Винай; видимо, решил, что без него не справятся.

Нечего сказать, устроил переполох этот поздний гость.

– Я не нашел там плавок, – сказал Леон.

– Какие плавки, плюхайся так! Аллах тебя простит, а баб мы

не держим.

– Хочешь, покажу, сколько могу жить под водой? – неожиданно спросил Леон, снимая и отбрасывая на кресло полотенце.

– Валяй.

– Засекай время! – крикнул тот, вдохнул и ушел под воду.

Невозмутимый Винай следил, как в толще воды подсвеченного и просиненного голубой плиткой бассейна плавно кружит сильный гибкий угорь, то зависая в неподвижности, то устремляясь вперед, то свертываясь в клубок и вращаясь в медленном танце. Иммануэль велел подвезти коляску к бортику и смотрел в воду с нарастающим напряжением. Трижды кричал:

– Bravo! – сначала с восхищением, затем с тревогой и, наконец, все сильнее вцепляясь в ручки кресла: – Ну, bravo же, вылезай, суч-потрох! Я верю, ты отрастил жабры!

Еще три-пять-шесть невыносимых секунд Леон дал на заключительный аккорд. И лишь когда Иммануэль завопил:

– Хватит, идиот! – выбил тело вверх, хватанул ртом, гортанью, легкими воздухом, еще, еще (маленько перебрал, это правда), подплыл к бортику бассейна, подтянулся и, шумно дыша, лег на него грудью, щекой, бессильно разбросав руки.

– Ты что, спятил?! – брызжа слюной, крикнул старик. – Еще секунда, и мои нубийцы прыгнули бы тебя выволакивать.

По виду обоих этого не скажешь, подумал Леон. Тассна повернулся к брату и что-то негромко сказал ему по-тайски.

– Переведи, – попросил Леон Винай.

– Тассна время засек: семь минут тринадцать секунд, – улыбаясь, отозвался Винай по-английски. – Говорит, ты как рыба в ручье на нашем острове. В тебя хочется воткнуть багор, вытащить и зажарить.

На ужин они как раз и подали жареное филе амнона с какими-то приправами, которые привозил из дому Винай. (Тот вообще довольно часто отлучался: кажется, у него осталась дома то ли больная мать, то ли больная сестра. Во всяком случае, Тассна научился управляться со стариком один, тем более что с годами тот все больше усыхал, превращаясь в тщедушного ребенка.)

Кроме рыбы и салата, как всегда украшенного восхитительной розой из лиловой луковицы, «ужасные нубийцы» подали фирменный напиток из апельсина с клюквой, который можно было пить канистрами; Леон

заглотал чуть ли не целый литр и ожил.

Они сидели за раскладным столом у кромки бассейна, и хотя ночь стояла душная, влажная, пропитанная запахами жасминовых и миртовых кустов, неукротимо разросшихся в том году по периметру патио, от свежей воды поднималась волна прохлады, и сам бассейн, пронизанный золотыми струями электрического света, казался голубым кристаллическим кубом на гигантской витрине какого-то вселенского ювелира.

– Отпусти ребят, – сказал Леон. – Я сам тебя уложу.

– А знаешь, что я заметил? – задиристо спросил Иммануэль. – Ты не слишком жалуешь моих ужасных нубийцев.

– Глупости, – возразил Леон. – Напротив, я им благодарен: они так нежно за тобой приглядывают.

Да, «нубийцев» он не любил. Переходил на русский, когда они появлялись. Просил Иммануэля никогда в их присутствии не заговаривать о его работе. Да они ни бельмеса в иврите, говорил тот и даже обижался: был привязан к своим незаменимым «сиделкам». Леон упрямо считал, что постоянно звучащий в доме иврит за все эти годы мог бы осилить кто угодно. Но к чему искать смысл и подоплеку в летучей смене тональностей, в такой изменчивой материи, как симпатии и антипатии?

Он не любил «ужасных нубийцев». Не любил, и все. И сейчас настоял, чтобы Иммануэль отправил их *отдыхать* – ведь они действительно тяжело работали в этом доме.

Леон сидел за столом в банном халате Иммануэля и старался слушать старика. А тот, оседлав любимого конька, все говорил и говорил, и это была милосердная для Леона возможность помолчать; блаженная пауза, свобода вдоха. И он молчал, время от времени судорожно втягивая влажно-пахучий воздух; дышал глубоко и часто, будто слишком долго пробыл под водой – не в буквальном, в каком-то совсем ином смысле, – а сейчас его выбросило наружу с пружинной силой, и можно просто молчать и жадно дышать миртовым воздухом ночного сада, прикрывая клапан над свищем пронзительной боли, над неотвязной мыслью, что *все кончено* (что, что кончено?!), что мать уже не будет матерью, Владкой, его неразумным ребенком (точно, зачиная его, она обязана была подать прошение в какую-то специнстанцию), что вся жизнь уже не может быть прежней.

Здесь он дышал, слушал, не слушал, рассеянно кивал, глядя, как в струе желтого света – от лампы, зажженной в холле, – подрагивают, колеблемые слабым ветерком, сабельные листья старой пальмы.

– Вот в чем парадокс, – говорил старик, расправляя салфетку на коленях. – Отдельный интеллеktуал может гордо отрешиваться от своей веры и своего народа, провозглашая надмирность; может, как Пастернак, страстно проповедовать идею полного растворения, может всем своим существом служить культуре, языку, искусству народа, в среде которого родился, вырос и живет. Такая самоустановка порой свидетельствует о силе духа, о характере человека, об оригинальности таланта. Отпадение от общины и духовное одиночество (возьми великого Спинозу) могут вызывать сочувствие, могут даже восхищать – особенно когда влекут за собой проклятия, плевки в спину, анафему со стороны соплеменников. Но совсем иное дело – народ в своей целокупности: суть народа, тело народа, его пульсирующее и вечно обновляющееся ядро. Тогда ассимиляция – самое страшное, что можно любому народу пожелать. Тогда ассимиляция – растворение, исчезновение, назови как угодно – совсем не воспринимается доказательством силы или характера народа, наоборот: это свидетельство слабости, импотенции, истощения духа, одним словом – невозможности *продолжать быть*. Помнишь, в пророчестве Эзры есть и такое: народ, мол, ослабнет до того, что не смогут всем скопом зарезать петуха? Это всегда следствие каких-то ужасных геополитических катастроф: войн, эпидемий, изгнания с земли предков, истончения генетической материи рода; попросту – вырождения... Разве может восхищать судьба исчезнувших Древнего Рима или Египта? Свидетельства мощи их цивилизаций – да, весьма поучительны и прекрасны; но кто согласится разделить подобную судьбу?

Леон давно научился определять, когда Иммануэль совершенно серьезен и искренен и по-настоящему увлечен ходом своих мыслей. В такие минуты старик не следил за тем, чтобы «цуцик» брал попробовать то и это, и не прерывал свою речь, дабы спросить, согласен ли Леон, что Тассна готовит «суси» лучше любого долбаного японца? Короче, Леон прекрасно чувствовал те минуты, когда Иммануэля нужно внимательно слушать и помалкивать – вне зависимости от того, согласен ты с ним или нет. Сейчас старик говорил с какой-то страстной убедительной силой – не только для «цуцика», стоящего в начале пути, но и для себя, чей путь пройден. Это была выношенная всей его жизнью правда, подведение самых важных, самых сокровенных итогов.

– Отсюда наше брезгливое презрение к выкрестам, к их предательской истовости, – продолжал он. – Отсюда. Ведь своей частной судьбой, своим

частным уходом они – пусть на мельчайшую долю, на какой-то атом, микрон, какие там есть еще невидимые глазу частицы и величины? – ослабляют *тело народа*, предавая даже не саму общину, а память предков; пусть и задним числом предавая могучую *волю быть* своего народа, разодранного на части, выдернутого с корнем из своей земли, отринутого всеми за какие-то мифические вины, но сохранившего главное: память и *кровь сознания*. Главное – память. Могучий корень общей генной памяти, уходящий в тысячелетия... Ты можешь возразить – но как же личность? Что есть личность, которая всегда противостоит общине?..

...Обрывки этих разговоров, смысл отдельных фраз будут и дальше неожиданно всплывать в памяти Леона, настигать его в самые неудобные минуты жизни – будоражить, раздражать или, напротив, помогать. Наступит время, когда он будет всерьез задумываться то над одной, то над другой мыслью Иммануэля, будет спорить с ним, отрицать, удивленно соглашаться...

Но в те минуты, когда сидел у бассейна в банном халате старика, рассеянно поддевая вилкой кудрявые остатки луковой розы на тарелке, – в те минуты Леону было не до рассуждений. Может, потому он и ухватился за неожиданную мысль Иммануэля, вначале показавшуюся такой нелепой; за его предложение, а скорее, задумчивое предположение...

За попытку найти выход.

– Тебе надо уехать, – сказал старик внутри какой-то фразы, внутри незаконченной мысли, потянувшись – через запятую – к плетенке с хлебом.

Леон застыл над тарелкой, вопросительно на него глядя.

– Куда? – спросил, помолчав.

– К чертовой матери. Неважно. Послушай меня, цуцик. Тебе надо поступить сейчас так, как испокон веку поступали наши предки: смени шкуру, сбрось эти лохмотья. Сейчас лучший выход: выпрыгнуть из повозки и бежать в другую сторону от своей колеи – как можно дальше; так далеко, насколько хватит сил. Кстати, мне никогда эта твоя колея не нравилась.

– Не вижу, чем бы я мог заняться, – пробормотал Леон, пожимая плечами.

– Ты?! – с презрительной силой воскликнул старик. – Ты не видишь, чем бы тебе заняться, кроме как ловить за яйца арабов?! Может быть, ты еще подашься в телохранители к пузатым нефтяным царькам где-нибудь в Кении или Замбии – говорят, наши ребята после армии нанимаются к ним сплошь и рядом?! Что с тобой случилось – у тебя украли кларнет?

Ты разлюбил музыку? Ты больше не музыкант? А кто ты тогда?

И перегнувшись через стол, экономно застланный дешевой одноразовой скатертью, зависнув над тарелками с остатками рыбы, старик внятно проговорил:

– Поезжай учиться музыке. Куда потянет – в Лондон, в Париж. В Москву. Выбирай.

– В Москву? – переспросил Леон с неуверенной улыбкой.

– Чего ты лыбишься?

– Да так... Вспомнил, как в детстве наш хор выступал в Колонном зале Дома Союзов. И я солировал.

– Вот и поезжай в Москву, – отозвался Иммануэль, спокойно откинувшись в кресле. – Если я хоть в чем-то понимаю, там сейчас интересно. С удовольствием оплачу этот вираж, я люблю американские горки. – И взглянул на Леона исподлобья: – Готов платить, чтобы ты вынырнул на поверхность и вдохнул наконец воздух. Сегодня я был впечатлен твоими идиотскими забавами, с меня довольно. Знаю, о чем ты думаешь, – ворчливо продолжал он. – Да, *контора* держит крепко, и твоя идея не понравится. Несмотря на то, что ты отчебучил, и на то, что тебя следовало бы выкинуть на улицу, эта идея никому там не понравится. Но ты будь тверд, потому что тебе до зарезу нужно смыться – поверь, в этих делах я понимаю, я и сам смывался не раз. Например, от женщин. Не хочу в душу лезть, но ведь у тебя и на этом фронте *есть от кого бежать*, а? И мой совет тебе, цуцик: мать оставь в покое, она ни в чем не виновата и ничего тебе не должна. Не смей ее казнить. Она и к пятидесяти мозгов не нажила, а уж в юности... представляю, что это была за огненная комета!

Он помолчал, то ли ожидая реакции Леона, то ли намеренно выдерживая паузу. Наконец проговорил, почему-то понизив голос:

– И еще совет, последний. Не выкладывай каждому встречному *тайну рождения Железной маски*. Даже если тебе кажется, что это убедительный аргумент... в пользу чего бы то ни было. Не открывай левого бока никому, даже друзьям. Особенно друзьям. – Он хлопнул по столу легкой старческой ладонью: – А насчет *конторы*... Предоставь это мне.

* * *

Но и после разговора с Иммануэлем он медлил, ни на что не решаясь. Это был странный отпуск – он просто шлялся по Иерусалиму, не зная, куда

себя деть.

В те дни ему на улицах, в пабах, на рынке попадались люди, с которыми он был когда-то знаком, но давно их не видел, давно не встречал, даже слегка подзабыл. Например, хозяйка их первой иерусалимской квартиры или лавочник – тот, что тринадцатилетнему Леону обещал заработка бога... Леон-то с тех пор зарабатывал неплохо, а вот бедняга бог, судя по всему, по-прежнему пребывал в вечном и глубоком «минусе».

Встречая полузабытых людей, Леон говорил себе, что это в порядке вещей: когда без дела болтаешься по городу, да еще по такому тесному и домашнему городу, как Иерусалим, рано или поздно рискуешь столкнуться нос к носу с собственной физиономией. И все же в глубине души воспринимал этих людей посланцами, а встречи – неким *прощанием*.

То ли с городом, то ли с самим собой.

Особенно его задело нежданное свидание с *главным посланником* – с Аврамом.

Однажды вечером Леон просто застал его у Шаули. Гость сидел на кухне за столом, а Шаули заваривал чай и нарезал пирог – и то и другое Аврам, как обычно, притащил из своего супермаркета.

– Ты... как ты меня нашел? – спросил Леон, застыв от изумления в дверях кухни. – Где ты адрес достал?

Аврам лишь укоризненно усмехнулся:

– «Но никто не говорит: где Бог, Творец мой, Который дает песни в ночи?...» Ты что, думал, один *парси* не узнает, где *ба Арэц*^[39] живет другой *парси*?

Шаули (по некоторым признакам, он был не в восторге от ситуации) суховаато объяснил Леону: его отец в молодости работал с младшим братом Аврама на стройке в Холоне, что, вообще-то, ничего Леону не объяснило.

Зато Аврам, прямодушный и благородный, как библейский посланник, с места в карьер объявил Леону, зачем, собственно, его разыскивал. Правда, все-таки дождался, пока Шаули смоеется, вежливо сославшись неважно на что. Потом Леона беспокоило: не попросил ли Аврам его с самого начала очистить сцену? И чем это объяснил, и насколько Шаули осведомлен? (Никогда этого так и не выяснил.)

Зато Аврам, выхлебав свой чай, пропотев и налив себе еще, задушевно и грустно сказал:

– Щенок! Как ты смел так поступить с матерью!

И едва Леон понадеялся, что Аврам не знает *подробностей* и что

Владка ему нагрузила вагон и тележку своего фирменного вранья, как тут же и выяснилось: именно в этот раз – единственный в своей жизни – его мать принесла в большие и добрые ладони Аврама чистую правду, омытую слезами ее *кружовенных* глаз. И теперь тот протягивал эти ладони к Леону, потрясал ими, закрывал ими свои прекрасные, ничуть не потускневшие от времени глаза-маслины, разглаживал скатерть на столе, качая плешивой головой:

– Как ты смел назвать «швалью» целый народ?! Разве у араба не та же кровь, не то же сердце, не та же боль?! И даже если мы лютые враги на этой земле, даже если мы пытаемся высудить у Всевышнего наследие праотца нашего Авраама – разве нам следует друг друга презирать?

...Ну, и так далее, и тому подобное, в самом возвышенном тоне. Смешной толстяк – лучший человек из тех, кого Леон встретил в жизни, – продолжал декламировать ему, похолодевшему (если она Авраму все выложила, этак она каждой кошке в подъезде объявит, от кого у нее сыночек), вечные, прекрасные и пустейшие идеи свободы, равенства и, без сомнения, братства:

– Может, ты вообще брезгуешь нами, восточными людьми? – подозрительно спросил Аврам, оборвав свой гуманистический монолог. – Может, тебе противны и мы, *парси*, которые...

Тут Леон застонал и поступил единственно возможным образом: обнял эту благородную добрую тушу, погрузился лбом в широченную мягкую грудь и уперся в круглый живот, прогремевший в ответ связкой ключей, где висел ключ и от их полуподвала, за который – надо отдать Авраму должное – они забывали платить ему уже много лет.

И хотя Леон обещал толстяку «прийти и повиниться, и ноги матери целовать», никуда он, конечно, не пошел и ничего не целовал: перетопчется, зараза. Но в одно прекрасное утро, дождавшись, когда Владка вырулит из дома и отбудет в вечно неизвестном направлении, вошел в квартирку, вытащил из шкафа кларнет, пробежался по регистрам, выдул несколько пассажей. Подумал с волнением: будто губ от мундштука не отрывал! И вдруг почувствовал такой прилив сил, такую радость, такой взрыв освобождения и надежды... Спасибо, Иммануэль, спасибо тебе!

Вытянув из-под кушетки чемодан, быстро и экономно, чувствуя себя вором, побросал в него кое-какую одежду, застегнул и уже направился к двери – но вернулся с порога.

Где-то в глубинах шкафа мирно спал саквояж с «венским гардеробом» Барышни. Оставлять его было опасно: Владка запросто могла выкинуть

«старье» в очередном приступе *расчистки жизни*. На раскопки ушло еще минут десять, и вот уже упакованы и сложены в бессмертный саквояж были Барышнино платице (кружева валансьен), Барышнин гобелен и две старые фотографии: подарившая Леону имя таинственная испанка Леонор в дурацком «парике парубка» и юная трогательная Эська с кенарем. («Знаешь, когда Николай Каблуков испарился, я пошла в фотографию и забрала вторую карточку, – сказала она. – Просто хотелось убедиться, что мне ничего не приснилось».)

Так Леон и отбыл к Шаули – свободный, собранный, с кларнетом в руках. Шаули спросил:

– Ты ко мне с приданным? – но в душу лезть не стал. Как и любой профессионал в своем деле, он обладал некоторой неспешной мягкостью.

Оба они были кое-чему обучены, и хотя принадлежали разным *конторам* и после командировок заполняли разные бланки расходов, сдавая их в разные бухгалтерии, были верными работягами и умели многое: красть, обыскивать помещения, не оставляя ни малейшего следа; подбирать ключи к замкам, переснимать бумаги; когда надо – убивать, когда надо – бежать и прятаться. Друг другу близки были, как никто, и предпочитали зря *не мусорить*.

А наутро позвонил Натан, сказал: надо встретиться, *ингелэ манс*, поговорить начистоту, подбить бабки. В конце концов, добавил он, я думал, мы достаточно давно знакомы, чтобы тебе действовать напрямую, а не через Иммануэля. В голосе слышна была если и не обида, то уж наверняка досада (позже стало ясно – почему: как раз в те дни Натан прилагал усилия, чтобы, используя дымовую завесу скандала, перетащить Леона в свое ведомство).

И откладывать не стали, тем более что Натан сразу предупредил: «начистоту» – значит, говорить придется с самим Гедальей. Прямо у него в кабинете.

И снова Леон почувствовал то самое: близость перемен, воздух иной жизни, штормовой натиск *Музыки, моей музыки, от которой я так далеко почему-то бежал...*

И все уже крутилось, он уже узнавал по Интернету даты вступительных экзаменов в Московскую консерваторию, опять много занимался со Станиславом Шиком – готовил программу...

Иммануэль кратко и сухо вато объявил, что положит на его счет «некоторую сумму – на обучение и жизнь, и не частями, а целиком, а то я откину хвост, и мои детишки вряд ли признают тебя родственником.

Думаю, тебе должно хватить и на жизнь, и на толику удовольствий. Это твой шанс, лови его... И – халлас^[40], суч-потрох!»

Все еще было неясно, зыбко, непривычно, но уже так близко, так близко! В ушах пел кларнет, а горло сжималось от желания выпустить на волю парочку звонких трелей.

– Итак, – сказал Гедалья, подождав, когда закроется дверь за секретаршей, что принесла на сиротском пластиковом подносе три чашки отличного кофе. – Итак, Натан считает, что ты будешь хорош в России. Что тебе там медом намазано. Что там тебе самое место...

Леон молчал. Почему за Гедальей, как за Владкой, всегда хотелось *переговорить слова*? Хотя это были два во всем диаметально противоположных типа.

Пространство стола между Леоном и Гедальей казалось пустынным, бескрайним, *специально непреодолимым*.

Леон знал эти приемчики, сам использовал в работе и плевать на них хотел. Натан сидел чуть поодаль, в низком кресле, перекинув ногу на ногу, якобы комфортно раскинувшись, якобы не вмешиваясь, но своего раскосого бычьего взгляда с ситуации не спуская; следил за течением разговора, был сдержанно зорок: Гедалья славился неожиданными вспышками.

– *Но мы не работаем в России*, – продолжал тот своим высоким певучим голосом муэдзина, уперев взгляд ящеричных глазок куда-то между Леоном и Натаном. – И, *откровенно говоря*, я иначе представлял твое будущее. С твоим арабским, с твоими, *откровенно говоря и несмотря ни на что*, блестящими и многоплановыми данными... – И вдруг, оборвав себя, резко выплюнул: – Чего тебе дома не сидится?

– Гедалья! – подал голос Натан, легко постукивая по ручке кресла пальцами целой, не калечной руки, будто передавал коллеге и сопернику некое зашифрованное сообщение.

– Я думал, с твоими задатками, – не обращая внимания на позывные Натана, упрямо продолжал Гедалья, сверля своим набрякшим взглядом припущенные жалюзи на окне, – ты пригодился бы и здесь. *Откровенно говоря...*

Еще парочка *откровенно говоря*, и его речь была, в сущности, завершена. Ни грамма откровенности между ними быть не могло.

Леон молчал, тесно сцепив сложенные на груди руки: *не открывай никому левого бока*.

– Ладно! – сказал Гедалья и вздохнул. – Я ничего не понимаю в музыке. Фанни – та понимала... Ладно! Езжай, учись, бог с тобой. Хотя,

убей меня, не возьму в толк, почему не учиться дома. Но мы никого насильно не держим, это против наших правил. К тому же я не смог отказать Иммануэлю.

Вот и произнесено ключевое слово. Имя ангела-хранителя, скрюченного годами и артритом.

И когда Леон уже приподнялся – завершить, наконец, это мучительское расставание с прежней жизнью, Гедалья, тоже приподнявшись (неужели все-таки пожмет на прощание руку?), оперся о стол костяшками и проговорил:

– Вот и все. Тебе остается только сделать паспорт. Твой *российский* паспорт.

Леон дернулся чуть ли не инстинктивно – как от щупалец спрута, что тянулись к нему через стол. Вопросительно обернулся к Натану.

– Гражданство восстанови, – уточнил Гедалья. – Пока они лавочку не прикрыли.

– Я собираюсь учиться музыке, – сдержанно возразил Леон. – Всего лишь музыке. И под своим именем.

– А нам твоё имя не мешает! – раздраженно прикрикнул Гедалья. – Имя подходящее, удобное. Кому надо – немец, кому надо – француз. А может, и поляк... А скорее всего, просто одесский еврей с заполярной историей.

– С какой?! – ужаснулся Леон.

– Пойдем. – Натан хлопнул его по плечу, поднимаясь. – Все объясню.

И в *шварменной* неподалеку, – с удовольствием, по-простому, двумя пальцами подбирая с картонной тарелки выпавшие из питы кусочки жареной индюшатины, – *объяснил*: тебе придется всего-навсего забыть об Израиле, где ты никогда не бывал. Погоди, не мотай башкой! Никто от тебя ничего не хочет, ты собирался отчалить – отчаливай. Но мы видим смысл в том, чтобы тебя немного «почистить». Вернешься ты или не вернешься – дело десятое, но нет никакого смысла для твоей музыкальной биографии волочить *туда* всю твою здешнюю жизнь. А Одесса...

– Да кто меня помнит в той Одессе?! Там умерли все, кто меня близко знал! Или рехнулись. Или разъехались.

– Ну, и отлично, и очень кстати... «Род проходит, и род приходит...» Да и ты их смутно помнишь. Ведь ты в девяностом уехал в Норильск, к своей бабушке Ирине, где и вырос, такие дела... Она жива еще, кстати? Превосходно. Сматывай туда недели на две, погуляй, подсобери

воспоминаний. В Норильске тоже люди живут – и играют на кларнете. И ведут кружок в Доме культуры. В Москву прилетишь из Норильска, по своему российскому паспорту. Все это, разумеется, *на светском уровне*; глубоко зарываться в дебри этой легенды не стоит, времена не те. И не мне тебя учить, как там держаться. Не думаю, что ты будешь часто сталкиваться с земляками-норильчанами. Вряд ли кто уличит тебя в недоскональном знании городского транспорта...

– Для чего это все? – воскликнул Леон. – Для крючка?! Я же сказал, что хочу забыть обо всем. Натан! Я! Хочу! Забыть! – И жестко добавил: – Всех вас!

– Забывай на здоровье, – невозмутимо отозвался Калдман, отправляя в рот кружок лилового лука, но не донес, и тот упал на брюки, и Натан, чертыхаясь, принялся тереть пятно салфеткой. – Забывай! А когда чуток остынешь, поразмысли как следует. И сам поймешь, что новую жизнь – не только там, но и везде – лучше начинать с чистого листа. – Вытянул салфетку из салфетницы, аккуратно вытер руки. Вскинул на Леона свой знаменитый «всеохватно панорамный» взгляд: – На что тебе, кларнетист, все это хозяйство? – Широко повел рукой; и в щедро очерченное ею поле угодила и круглая физиономия продавца-курда, самозабвенно напевающего под нос восточную мелодию (при этом длинным острым ножом он срезал с бруса янтарной швармы тонкие ломти индюшатины), и подваливший к остановке автобус, откуда, белозубо хохоча, выпорхнули две девочки-эфиопки, и голенастая старуха в возмутительно мятых шортах и маечке, ведомая белым лабрадором на поводке, и трое велосипедистов, на лету оживленно перекрикивающих друг друга. – Отлично ты проживешь без всего без этого...

И хотя он ничего больше не добавил, Леон понял, что Натан имел в виду: и его полубезумную мать, и его армию, и странные последние годы, так много вместившие: охоту и риск, любовь и смерть, одиночество, ненависть, лицедейство, предательство... И милый дом, распластаный на горе.

И Меира с Габриэлой.

...О, вот укромное местечко за углом от курилки, и никого нет – редкая удача! Можно чуть-чуть «подуть» перед уроком. Все равно скоро прогонят. Духовиков всегда шугают, уж больно бьет по ушам близкая звучащая

«дудка».

Леон раскрыл на облупившемся подоконнике футляр, извлек кларнет и вполсилы пробежал весь диапазон инструмента – от мертвенного «шалюмо» до ярчайшей свирели третьей октавы. За окном уже которую неделю висело войлочное небо, откуда с разной степенью щедрости сыпала ледяная крупа. Он приступил к долбежке паршивейшего места из первой части концерта Вебера: два легато, два стаккато. Горло с утра слегка заложено (никак не приноровится к этому климату), к тому же из курилки тянет ненавидимым запахом курева...

Он прокашлялся, прочищая легкие, и негромко пробежал голосом доминант-септаккорд, легко достав вторую октаву. Голос, как скакун, застоявшийся в конюшне, рвался вылететь на волю, еще, и еще, и еще выше...

– Минутку, юноша!

Ну, вот и все. Сейчас погонят.

Леон уже встречал в коридорах «консы» этого невысокого, но осанистого старика с вьедливыми голубыми глазками под вздыбленными бровями. Преподаватель вокала. Его имени-отчества Леон не знал, фамилии тоже, только кличку, и та была выразительной: «Рыло». Его появление всюду сопровождал некий повышенный звуковой фон: то он ругался с кем-то, то на весь коридор нотации кому-то читал, то просто втемяшивал прописные истины в чьи-то подвернувшиеся под руку пустые головы. А уж когда рот открывал, спутать его было ни с кем невозможно: поставленный в «раньше время» *голос-не-тетка* напряженного тембра, то и дело соскальзывающий в благородное негодование. Среди студентов (да и преподавателей) этот человек имел стойкую репутацию мизантропа. Ей способствовала какая-то легенда, которой Леон тоже не знал, так, слышал мельком, да и бог с ним – чужие дела: вроде совсем молоденьким начинал «Рыло» драматическим баритоном чуть ли не в Большом или в Мариинке, потом в пятьдесят втором загремел по какой-то политической статье и гремел до самого низа лестницы, где, поцапавшись с начальником БУРа, отсидел по полной концертной программе: и действительно, по концертной – в лагерях тоже была своя самодеятельность. Но северный лесоповал – не самое благоприятное для голоса место. Так что с певческой карьерой было покончено. А склочный характер не пустил выше должности старшего преподавателя.

Студенты-вокалисты не любили его за грубоватую прямоу,

но сумевшие удержаться вспоминали потом с благодарностью: школу, говорят, давал отменную – ту самую, которой некогда славились Москва и Питер.

– Это вы сейчас пропели пассаж?

Грозный, однако, дяденька... А, вспомнил, почему «Рыло» – это от Рылеева. Но опять же, по непрямой ассоциации. Не фамилия Рылеев, а имя-отчество – Кондрат Федорович. Вот так.

– Спрашиваю: вы пропели пассаж?

Леон сокрушенно кивнул, ожидая гневную нотацию за нарушенный покой курильщика.

Сейчас незадачливый духовик задрожит и скроется в неизвестном направлении.

Для обучения и вообще для вживания в Россию он выбрал самый простой и расхожий образ: скромный провинциал-духовик, слегка ушибленный столицей, нам вашего не нужно, нам выучиться да и вернуться восвояси... Разговаривал он с легким уклоном в одесский говорок, сыпал тамошними анекдотами: знай нашу ах-одессугород-мой-у-моря, который никакой Норильск из человека не вышибет.

Ну и, конечно, простейшее чувство юмора: что вы хотите – духовик. И внешность: короткая, почти школьная стрижка полубокс и соответствующие шмотки, купленные на рынке у вьетнамцев (а все равно – дороговизна!).

Короче, все как полагается, а там видно будет. Спешить некуда, времени навалом, первый курс. Для этого незамысловатого паренька он скинул возраст на пять лет. Мог и на десять.

Деньги Иммануэля берег благоговейно: так Стеша перед походом на Привоз укладывала рубли-трешки в носовой платок, заворачивала конвертиком и подкалывала булавкой за изнанку лифчика. Леон снимал комнату в квартире еще с двумя духовиками-алкашами из Гродно. Блочная девятиэтажка на Звездном бульваре, мечта провинциала.

– Так. Еще раз спрашиваю у внезапно отупевшего: это вы пропели пассаж?

– Да-да... извините, Кондрат Федорович. Я уже ухожу.

– Стойте! Стоять, я сказал... Соблаговолите повторить! Ну, что устались на меня, как баран! Я сказал: повторить пассаж!

Леон, недоумевая, пропел еще раз доминант-септаккорд, любопытства ради задержавшись на нем и даже чуть усилив звук.

– А теперь на тон выше. – Насупленные брови топорщатся, как небрежно приклеенные, бульдожьи брыли подрагивают, голубоватые мешки под пронзительными глазками (Барышня называла такие *кошёлками*) изобличают приверженность зеленому змию... И внимательно слушает, набывчившись, склонив голову к правому плечу. Интересно, что ему надо? – Еще на тон выше!

Леон старательно и удивленно раз за разом раскатывал извилистую лестницу в небеса. *Лестницу Якова, по которой всю ночь поднимались и спускались ангелы.* Это было бы смешно, если б не доставляло такого удовольствия ему самому. И он «разгулялся», уже не думая о нарушенной тишине, раскатывая и раскатывая звенящие пассажи.

Ехидно-сосредоточенно глядя – не на Леона, а в окно, мельтешащее невесомым снежным пухом, – «Рыло» бормотал:

– Невероя-а-атно: еще и купол идеальный, судя по тембру... И чертовская природная эластичность. Так лихо-ровненько проскочить с микста на фальцет... а ведь такому научить почти невозможно!

Сурово кивнул на кларнет в руках Леона:

– Какой курс?

– Первый.

– Тэк-с. – Старик чуть откинулся, изучая Леона. – Слушайте, юноша. Слушайте и старайтесь запомнить. Сейчас я распишу вам вашу судьбу, и будь я проклят, если это не то, что вас ожидает. – Косматые брови внезапно вздыбились, глаза округлились от необъяснимого гнева: – Еще четыре года вы будете плевать в свою визгливую дуду, а затем зарабатывать эмфизему, просиживая штаны в оркестре, – кстати, не имея возможности лишнюю пару этих штанов купить! Зато на пенсию выйдете на целых пять лет раньше – если, разумеется, не выгонят или не сопьетесь.

Переминаясь с ноги на ногу, Леон машинально нажимал и отпускал клапан передувания: студент-провинциал благоговеет перед преподавателями, так что стой-переминайся. Встряť посреди гневной тирады неудобно, да и собеседник так колоритен, так напоминает одновременно и покойного Григория Нисаныча, и незабвенного Гедаľю...

Достав из кармана колпачок, Леон прикрыл мундштук кларнета. К чему старик клонит, угадать невозможно.

– А между тем, юноша... Между тем вы носитель редчайшего дара! Ваши голосовые данные – алмаз, и до бриллианта ему совсем недалеко. Если работать, разумеется, и много работать. Часто пробуете петь?

– Бывает, – пожал плечами Леон. – Пел в хоре музыкальной школы, потом... Потом перевели в оркестр.

О своей короткой и яркой карьере в Оперном театре Одессы он решил промолчать. Разговор получался неожиданным, Леона будто встряхнули. А к чему нам волнения и страсти? Уймись, беспокойное сердце... – Первым дискантом пел?

Леон кивнул.

– Короче, юноша! – решительно резюмировал старик. – У вас явный и яркий контратенор. Хотя слышали, что это такое?

То ли потому, что старик так возвышенно произнес это слово, с рокотом в глубине, с приподнятым «э» на гребне (контрратэ-энор!), то ли потому, что диагноз поставил по нескольким пассажам, пропетым, в сущности, спустя рукава, играючи, Леон смутился. Все в нем всколыхнулось: его потерянный и необретенный голос, его ожидания, разочарования, странная «осторожная» ломка, словно природа не желала расставаться с мальчишеским тембром – текучим кипящим серебром...

– Но... это ж вроде, а я...

– Ах да! Ка-ане-е-шна! – Старик расхохотался саркастическим оперным смехом. Кажется, он просто не умел разговаривать нормальным тоном. Любая реплика у него звучала на неестественном подъеме, как «люди гибнут за металл!». – Да, конечно! Вот что мы знаем, вот что мы слышали: смешное и стыдное слово «кастрат». А вы, разумеется, полноценный мужчина. Какое невежество, молодой человек! – И вдруг закричал на весь коридор, отчего проходившая мимо студентка шарахнулась и помчалась прочь испуганной козулей: – В ножки мне валитесь, в ножки! В моем лице с вами судьба говорит! – И дух перевел, обеими руками прилаживая за уши вздыбленные остатки клочковатых волос. – Контратенор, юноша, – редчайший дар, подарок того самого упраздненного бога, и достается он, может, одному на миллионы!

Вцепившись в рукав свитера, бесцеремонно потащил Леона к самому окну, словно в белесом свете бурно повалившего за стеклом снегопада хотел как следует взглядеться в этот диковинный экземпляр. И действительно: вглядывался, изучал, рассматривал, поворачивая Леона и так и сяк; даже бесцеремонно пощупал ему шею жестом отоларинголога. И все время казалось, что он ужасно сердится.

– Думаете, римские папы не разбирались в музыке? Как бы не так! Именно католики первыми поняли, насколько пронизан грехом сам тембр женского голоса, как велико в нем плотское начало, как довлеет над ним детородный механизм, насколько *не место* этому дьявольскому искушению в храме! Дискант кастратов, они считали, быстрее достигнет ушей Всевышнего... Ах, улыбаетесь, невежда, вам смешно! Не могу видеть эту

похабную, всезнающую улыбочку! – Кондрат Федорович не на шутку рассвирипел, хотя Леон всего-навсего любовался им, вспоминая своего Григория Нисаныча, забыв стереть с лица улыбку воспоминания. – Небось думаете, певцу-кастрату причиндалы отрезали целиком? – запальчиво выкрикнул он.

(О боже...)

– Так, дурачина вы этакий, готовили только евнухов для гарема! – гремел старик. – В цивилизованных странах мальчикам с чистыми сильными голосами делали небольшую операцию – перерезали сосуды, в крайнем случае раздавливали тестикулы.

(О боже, боже! Бегите прочь, случайные студентки!)

– Для Средневековья смертность была относительно низкой – процентов двадцать пять, не более... (Не более?!)

– Зато у выживших тембр голоса не менялся, а связки росли – вместе с легкими. И голос был фантастически сильный и бестелесный одновременно: так могли звучать лишь ангелы! Да-да, до весьма преклонного возраста эти певцы сохраняли регистр от тенора до сопрано, охватывали голосом четыре октавы, а объем легких позволял им держать ноту гораздо дольше обычных певцов. А теперь представьте: диапазон и длительность ноты плюс невероятная гибкость и пленительный резонанс голоса. Да они были богами сцены! Самыми влиятельными фигурами в опере! Больше, чем теноры, больше, чем *primo uomo*, *prima donna*!

Кондрат Федорович воздел руки и потряс ими чуть ли не в молитвенном трансе:

– Великий Моцарт преклонялся перед певцами-кастратами! Джованни Манцуоли давал ему уроки пения! Именно для Манцуоли Моцарт написал две свои первые итальянские арии – «*Va, dal furor portata*» и «*Conservati fedele*», и они ошеломляли красотой и необъятными возможностями голоса!..

Господи, да как он сохранил на своем лесоповале такой темперамент, такое поистине итальянское горячее естество, из года в год глядя на дымные небеса и сизые снегопады? Как он вообще сохранился? Кто его прислал сюда, в этот закуток, в ту минуту, когда я слегка прохаркался...

Ловчик, вдруг подумал Леон, во все глаза разглядывая своего искусителя, освободителя и – предчувствовал – поработителя своего; он – ловчик, из тех, что отлавливали мальчиков, вроде моего прапрадеда Соломона Этингера, на нескончаемую рекрутчину и царскую службу... У Леона почему-то забило сердце, и снег в окне, за спиной старика, повалил стремительней и гуще и казался ризами, укрывавшими всю его,

Леона, прошлую жизнь. И вновь он слушал, не слушал, онемевшими пальцами перебирая клавиши кларнета, чувствуя только одно: вновь раздвинулся оперный занавес судьбы, и вот уже его выход, и партия выучена назубок, и разогреты связки, и голос рвется наружу: «*Ca-a-a-asta di-i-iva! Casta diva inarge-e-enti...*»

– Да, фигура у них, конечно, развивалась несколько женоподобная, но для знаменитых певцов – не только Средневековья и Ренессанса, но и эпохи барокко – это была относительно небольшая плата за славу, богатство и успех у дам. Да-да, молодой человек! Мужской механизм работал у них вполне исправно, среди дам высшего света было даже модно иметь интрижку с кастратом: ощущения те же, что с нормальным любовником, а нежелательных последствий никаких! Вы, конечно, понятия об этом не имели...

Леон кивнул, не в силах сдержать улыбку слабоумного. Он пошел бы сейчас куда угодно за этим стариком, в одну минуту снявшим заклятие с его непозволительно, постыдно высокого голоса, столько лет томившегося взаперти. Он бы немедленно ринулся за этим очередным в его судьбе стариком («Ты любишь стариков, да ты и сам старичок, *мой малыш*»).

– Кстати, как прикажете величать?

– Леон. Этингер.

– Ах, вот оно что... Послушайте, Леон Этингер. Перед вами и в самом деле стоит судьба в образе занудного старикашки. Кларнетистов в мире сотни тысяч. Вряд ли вам светит что-нибудь иное, кроме провинциального симфонического оркестра или захолустной оперы, где двадцать восемь спектаклей в месяц и мизерная зарплата заставят либо спиться, либо сдохнуть от тоски. Поверьте, не одно десятилетие я учу петь здешних кретинов и бездарей. У вас звук, опёртый от природы, что само по себе феноменально, невероятная полетность голоса, очень теплый, «шоколадный», «масляный» тембр. А главное, такой верхней форманты я не встречал ни у кого и нигде. У вас смыкаются только те части связок, что нужны контратенору. Это даст и мощь, и гибкость, бо́льшую, чем у самых высоких женских колоратур, и в то же время подлинную ангельскую бестелесность, о которой я вам битый час твержу тут, возле вонючей курилки. А какой фантастический репертуар! Музыка Средневековья и Ренессанса – ладно, согласен, это на любителя. Но вся музыка барокко: Гендель, Бах, итальянцы – Господи, спаси и помилуй! И учтите, практически никакой конкуренции: контратенор – редчайшая и очень дорогостоящая птица!

Он, казалось, и сам устал от восклицательных знаков, что рассыпал в своей речи, как композитор-романтик рассыпает направо и налево свои взволнованные каскады. И когда Леону почудилось, что уставший старик уже завершил свою обольстительную лекцию, Кондрат Федорович вдруг собрался, приподнялся на цыпочки, потрянул головой так, что задрожали мешки под глазами, и закричал:

– Нужно работать, работать не покладая рук!!! До проклятий самому себе за каторжную жизнь!!! Знайте: каторга для вас – дорога на Олимп! Эта дурацкая дудка, – он брезгливо кивнул на чудесный и дорогуший кларнет Леона, – туда не приведет.

Отыграв коду, спустился наконец с котурнов греческого трагика и совершенно спокойно проговорил:

– Запишите телефон. Есть на чем почиркать? Это недалеко – здесь, на Патриарших. Большой Козихинский переулок...

– ...коммуналка? – спросил Леон, записывая адрес. И Кондрат Федорович рассеянно отозвался:

– В общем, да... Приходите вечером, послушаем записи, посмотрим ноты... Если есть у вас хоть капля мозгов, Леон Этингер, а вам по имени-фамилии положено их иметь, то вы поразмыслите над тем, что я вам сейчас говорил.

...«В общем, да» – это была коммуналка, во всяком случае, лет двадцать назад, когда Сонюра, как и другие девочки и мальчики остальных восьми семей, проживавших в огромной квартире в Большом Козихинском, гоняла по длинным коридорам и общей кухне, часто забегая в комнату к «дядь-Кондраше» угоститься карамелькой, потренькать по клавишам старого фортепиано. Потом Сонюра выросла, вышла замуж за программиста Мишу, гения электроники и бизнеса. И разбогатев на своей компьютерной программе геологического поиска чего-то там, они не стали переезжать ни в Лондон, ни в Бостон, ни в Сидней, ни еще куда-нибудь – Сонюра любила свой район, свой дом в Козихинском и своего уже старого и больного «дядь-Кондрашу». А потому, любовно и аккуратненько расселив всех жильцов бывшей коммуналки, оставила старика доживать у себя под боком, в его же прежней комнате – все с тем же фортепиано, но уже без карамелек по причине грозного диабета. Квартира была перестроена в духе самых изысканных зарубежных архитектурных новинок и являла собой пугающие просторы супердизайна, с крохотным островком прежней комнаты «дядь-Кондраши», где все стояло, лежало и тренькало точно так же и там же,

что и двадцать лет назад, и куда совсем не каждого приглашали «послушать записи и посмотреть ноты»...

...Так в его замысловатой судьбе возник еще один любимый старик, еще один громокипящий дряхлый ангел-алкаш (а более близкое общение предъявило в лексике уважаемого бывшего зэка Кондрата Федоровича такие сильные выражения, с которыми сравниться могла лишь арабская брань – а ту, понятно, у Леона не было возможности предъявить, хоть подчас и подмывало). Словом, вот так и началась подлинная страда в исконном понятии этого слова: упоительная страда работы, *страдание от осознания несовершенства, предстоящего долгого пути*, ватная усталость-немота после бесконечных репетиций; вечное теплое питье, запреты, молчание, жесткий график жизни; погоня за упущенным временем, распевки, снова репетиции, разъезды по захолустью с «Агитбригадой» студентов Московской консерватории, первые выступления в концертах-«нарезках», в сольных концертах класса Кондрата Федоровича, первый настоящий успех...

В те годы на Пятницкой существовало теневое элегантное кафе «для своих» – «*The Phantom of the Opera*», «Призрак оперы». Изысканное меню, соответствующий антураж – этак чуток Ла Скалы: позолота, красный бархат, хрустальная люстра... Но рояль на подиуме стоял настоящий, и звуковая аппаратура была по тем временам отменной. В качестве музыкального фона посетителям предлагалась опера, опера и только опера во всевозможных ее преображениях, под разными соусами. В моду вновь входили кроссвер-версии: оперные арии под аккомпанемент современных и даже рок-обработок. Для начинающих вокалистов это был клондайк, великолепный плацдарм для начала карьеры, ибо в кафе наведывались именно те, кто решал судьбу будущих оперных звезд. Их слушали, высматривали, знакомились: какой курс? второй? А не хотели бы вы, молодой человек, попробовать себя в нашем проекте? Кроссвер «Дидоны и Энея» Пёрселла в стиле рок. Возьмите визитку, звоните, я буду рад...

Леон даже вначале выглядел там экзотической орхидеей, тем более что вскоре с удовольствием и облегчением выпростался из гнусной шкурки духовика-провинциала: избавился от одесского говорка, от школьной стрижки, обновил гардероб и снял квартиру поближе к центру.

К нему подходили после каждого выступления, предлагали, зазывали, штурмовали... не подозревая, что постоянный и непреклонный отказ –

не выкрутасы избалованного «золотого мальчика» («Да он просто чокнутый! Виктюк предлагал восстановить под него “Мадам Баттерфляй”, вы знаете? Тожe отказался!»), совсем не выкрутасы, а вынужденное послушание, творческое заточение под неусыпным взором голубеньких глаз его строгого тюремщика.

И будто посланы они были друг другу аккурат на то время, когда один учил, а другой учился, ибо к концу пятого курса уже смертельно больной Кондрат Федорович успел – из больницы, по мобильнику Сонюры, неотступно сидевшей при «дядь-Кондраше», – вызвонить из Парижа своего давнего знакомого, оперного агента Филиппа Гишара, с которым лет десять назад свела судьба, когда тот впервые приехал в Москву на конкурс вокалистов, удить свою первую рыбку.

– Приезжай, – прохрипел в телефон истаявшим голосом. – Ты жаловался, что у тебя контратеноров нет. А у меня мальчик... диплом пятнадцатого июня... редкой чистоты и силы голос... и дышалка бесконечная... и грандиозная программа... не пожалеешь...

«Мальчику» в том году исполнилось тридцать три года, хотя внешне он, как и Эська когда-то, по прежнему производил впечатление отрока.

* * *

Но вот уж кто производил впечатление лотарингского барона (кстати, предки его и вправду были лотарингскими баронами), – вальяжный красавец и гурман Филипп Гишар: трубка, холеная, черная, с яркой проседью эспаньолка, белоснежный воротник слегка мятой, но очень дорогой рубашки, да и костюм то ли от «Армани», то ли от «Босса», и все с подчеркнутым небрежным артистизмом: нам, людям творческим, что «Армани», что дерюга...

Впрочем, когда после ужина в ресторане отеля «Марко Поло» Леон доставил перебравшего Филиппа в номер, элегантный дорогой пиджак (в начале вечера аккуратно снятый и повешенный на спинку стула, но потом многожды оброненный и подобранный Леоном: на ступеньках ресторана, в вестибюле гостиницы, в лифте, в коридоре) и впрямь больше напоминал дерюгу, чем пиджак от «Армани».

Но вначале было знакомство.

Представить их друг другу было уже некому – увы, не успел Филипп Гишар к похоронам Кондрата Федоровича, тот ушел за неделю до выпускного экзамена. А потому после дипломного концерта Филипп сам разыскал Леона за кулисами, сам предложил встретиться:

– Говорите по-французски? Нет? Английский? Отлично. Почему бы нам не поужинать у меня в отеле? Цены там не студенческие, но я приглашаю, месье Этингер, разговор нам предстоит долгий и серьезный...

Потом Леон гадал, почему Филипп выбрал именно этот ресторан – дорогой, подвальный, декорированный под сумрачную пещеру, где нагловатый официант, долго щелкая непослушной зажигалкой, наконец возжег перед ними свечу, без которой Леон, не терпящий никакого, даже тонкого намека на дым, вполне обошелся бы. То ли барон хотел пустить пыль в глаза, то ли с самого начала предполагал расслабиться и потому выбрал наикратчайший путь от стола к постели.

В первые минуты Филипп показался слегка церемонным и даже чопорным. Несколько обязательных слов похвалы: не в моих правилах скрывать впечатление и вообще кривить душой – это сильный старт, месье Этингер. И вот эта русская песня... как ее: «Ах ти, но... чэ-энка», да? Та, что вы пели «а капелла», – она вообще выше всех похвал. У нас о подобном тембре голоса принято говорить «разливает маслом и рассыпает жемчугом». Что? Да-да, плавкий, без переходов и швов, «масляный тембр» в сочетании с филигранной колоратурой в подвижной технике: что ни нотка, то жемчужинка подскакивает при падении... В каких-то пассажах вы мне напомнили неподражаемую Терезу Берганцу...

Леон был несколько напряжен и, как оно бывало в подобных случаях, слегка замедлял движения, улыбку, ответы и потому выглядел слишком хладнокровным. Невозмутимо выслушал комплименты и подобрался, когда Филипп принялся излагать ему основные принципы «нашего альянса».

– Я бы хотел кое-что пояснить, Леон, – говорил Филипп. – В век популярности оперного бизнеса без агента (думаю, вам это уже известно) не может обойтись ни один, даже самый именитый музыкант, а тем более новое имя, никому еще не известное. Агент рыщет в поисках «аудишнз», прослушиваний в театрах или оперных проектах, составляет контракты, представляет вас и ваше «резюме», выгрызает гонорары, обворовывает вас... шучу! Словом, это человек, которому вы доверяете себя, свою карьеру, свою жизнь и свой желудок. Кстати, вы – *diva*? Э-э... я хотел сказать, вы гей?

– Нет.

– Почему?

Леон расхохотался, удивился и спросил:

– А что, без этого никак?

– Непривычно... Так о чем я? Да: среди нашего брата уйма проходимцев, так называемых «черных агентов». Это мерзавцы, которые начинающих певцов нанимают рабами на галеры. Понимаете, нет? Ну, заставляют подписать так называемый «эксклюзивный контракт», и ты в кандалах и не можешь дернуться ни вправо, ни влево. Такие говнюки не считаются ни с вашим голосом, ни с будущей карьерой, им плевать, больны вы или здоровы... Главное для них – *easy money*, срубить бабло... Я понятно объясняю? Это надо растолковать?

– Не беспокойтесь.

– Так вот, я не из таковских.

По мере того, как Филипп ввинчивал в свою речь крепкие словечки, а Леона отпускало напряжение, разговор оживился; говорили по-английски, и видно было: француз приятно удивлен, что этот «русский певец» (на русского певца впрочем, похожий примерно так же, как на солдата японской пехоты) свободно владеет столь необходимым в «нашем бизнесе» языком международного общения (а вот увидите, перейти на французский вам будет проще простого).

Филипп и сам прекрасно говорил по-английски, время от времени вставляя парочку-другую французских оборотов, немедленно и не без удовольствия их переводя – буквально и очень топорно. Заказывая водку (и непременно черную икру, и непременно осетрину, и непременно солянку, и да, обязательно «русский салат», у вас его называют почему-то «оливье»), повернулся к Леону и доверительным тоном сообщил:

– Мы говорим: «Blanc sur rouge, rien ne bouge; rouge sur blanc, tout fout le camp», – а переводим так: «Белое после красного – все тихо, а красное после белого – все полетит вверх тормашками», то есть сблюем! – И захохотал: – Французы любят, чтобы их считали знатоками – не всего, но обязательно чего-то. Вы что, заказали бифштекс?! Это неправильно. Заказывать в Москве бифштекс – все равно что в Париже заказывать щи или пельмени...

Словом, разговор созрел, наливался спиртным и вился, как лоза французского виноградника, прерываясь то появлением официанта, то проходящей мимо столика дамой, чью фигурку, походку, прическу Филипп почему-то считал себя обязанным отметить и прокомментировать.

Леон, полагавший, что французы пьют только хорошее вино

или хороший коньяк, к тому же умеренными дозами, с изумлением наблюдал, как Филипп уже в третий раз заказывает «Зеленую марку». Поймав внимательный взгляд Леона, тот пояснил:

– Лечусь. Вчера немного отравился на барахолке... в этом вашем... парке... Каску искал.

– Каску? – осторожно уточнил Леон, ничего не понимая и даже слегка паникуя, что идет время, а знаменитый оперный агент, вместо того чтобы говорить об опере, о деле, о контракте, о планах на будущее, кажется, опять ищет глазами официанта – заказать еще порцию водяры. К тому же, его раздражало, что Филипп то и дело раскуривает свою короткую трубку, даже не спросив, как к этому относится собеседник, затягивается и оставляет ее на блюде, услужливо подставленном официантом, и она лежит там на боку, уютно курясь омерзительным дымом.

– Вот именно, каску. – Филипп выразительно покружил трубкой над головой. – Знаете, француз непременно должен иметь хобби, это называется *mon violon d'Ingres*, «моя скрипка Энгра». Был такой знаменитый художник, о'кей? Обожал играть на скрипке и очень плохо это делал. – Он присосался к трубке, отложил ее на блюдечко и взмахнул обеими руками: – Так вот, «моя скрипка Энгра» – это каски всевозможных армий, начиная с наполеоновских времен. У меня их штук триста! Сейчас ищу каску японской пехоты, и не просто, а одной редкой серии, выпущенной в сорок третьем году... Умоляю, месье Этингер, если вдруг увидите каску японской пехоты!..

Леону вдруг показалось, что он сидит с безумной Барышней за столом в их первой раздолбанной квартире в Иерусалиме. И никаких двадцати лет не прошло.

– Обещайте купить мне каску японской пехоты, если вдруг увидите! – умоляющим тоном воскликнул лотарингский барон, принимая из рук официанта очередную стопку, не дожидаясь, пока ее поставят на стол. – За любые деньги!

– Обещаю, – отозвался Леон и, не поднимая головы, сказал официанту по-русски, ровным тоном: – Больше водки не приносить.

Тот нагло улыбнулся и развел руками:

– Но желание клиента у нас...

Леон поднял на него черные беспросветные глаза и повторил своим особенным, вводящим в оцепенение, мертвым голосом:

– Водки не приносить...

– Хорошо, – потеряв улыбочку, тихо сказал парень.

– О чем это вы говорили? – поинтересовался барон.

– О каске японской пехоты.
– Кстати, как у вас характер – собачий?
– Н-не думаю...
– Вы – расхлябанный, эгоцентричный сукин сын, понятия не имеющий о времени?
– Э-э... я бы не сказал.
– Вы некоммуникабельны, требовательны, истеричны, жадны? Напиваетесь как свинья?
– Послушайте, месье Гишар...
– Ну да, сейчас вы заявите, что я подписываю договор с ангелом.
– Сейчас я заявлю вот что: уберите из-под моего носа эту вонючую трубку. Никакого договора я пока с вами не подписываю, вы мне не нравитесь. И заодно, с самого начала – какой процент от моих гонораров переключает в ваш карман?

Филипп с удовольствием хрюкнул:

– Тридцать. И скажите спасибо. Это ничтожно мало за мое слово, которое я даю за вас интендантам европейских театров, и за мою голову, которая, фигурально выражаясь, полетит с плеч... – ...даже в каске?

– ...даже в каске она полетит с плеч, если «мой певец» по любой, самой уважительной причине подведет театр! Особенно на начальных этапах карьеры, когда я приношу кота в мешке и выпускаю его на подмостки. Если вас переедет поезд, вы должны собрать с рельсов расчлененные останки, привинтить голову к туловищу, выйти на сцену и запеть.

Он откинулся в кресле и спросил, ехидно улыбаясь:

– Вы пробовали петь, когда больны?
– Вот уж нет! И не собираюсь.
– А всяко придется, милый вы мой. Второй состав артистов – дорогое удовольствие для любого театра. Чаще всего на проекте работает только один состав, если, конечно, это не «Метрополитен» и не Большой, где загорают по три состава. Что касается гонораров, то я так скажу: забудьте мифы о богатстве оперных певцов. Вы же пока не Паваротти и не Филипп Жарусски, о'кей? Нормальный певец в штате театра – скажем, в Германии – получает зарплату в пять кусков евро минус очень паршивые налоги, что-то около двух тысяч. И ты, как долбаный попугай, годами пашешь в театре, не видя собственного члена. Однако сразу оговорюсь, что контратеноров в штат театра не берут – не так уж много для них работы в репертуаре, а премьера – это всегда событие, для нее нужна еще парочка громких имен – типа того же Жарусски или Ценчича, о'кей? Так что себе

дороже. Лучше всего – летать фрилансером, петь концерты, но для этого нужно быть известным в оперных постановках. Вот такая дилемма, дорогой мой. Так что начало вашей карьеры для меня будет ознаменовано сплошными убытками.

– Я понял, – сказал чрезвычайно довольный Леон. Беседа выравнивалась, они *нащупали друг друга*. – О’кей, вы очень бедны. Я, пожалуй, уплачу за ужин...

Так они просидели часа три, и даже Леон, расслабившись, порядком выпил, что крайне редко с ним случалось; но возбуждение после дипломного концерта, его явный успех и явно огромное впечатление, которое он произвел на Филиппа (тот сидел в первом ряду и во время исполнения Леон смотрел на него не отрываясь; видел, как дрогнули у француза губы и заблестели глаза, когда Леон запел «Жертву вечернюю» Павла Чеснокова), – все это приятно будоражило, сообщало непривычную легкость, бесшабашность, свободу. Ему хотелось обнять Филиппа, дать ему в морду, нахамить, облобызать... А Филипп (уже в номере, куда первым делом Леон затребовал крепкого чаю, и принес его очень смирный теперь мальчик из ресторана), Филипп – тот вообще пел соловьем, проклинал все на свете, жаловался на нищенскую жизнь, обещал небо в алмазах...

Странно, что ручка Montblanc Meisterstück с золотым пером, которой после извлечения ее из кармана трижды потоптанного пиджака они подписали договор в номере отеля «Марко Поло», не выпадала из рук у обоих; и странно, что этот договор благополучно действовал, процветая и обрастая дополнительными соглашениями, на протяжении уже нескольких лет.

– Конечно, было бы здорово иметь тебя в Париже, под собственной задницей, – бормотал Филипп. – Этак не налетаешься! Первые пару недель пожил бы у меня, потом снимем тебе какую-нибудь вонючую нору... Какую-нибудь собачью будку. Я надену на тебя ошейник и буду выводить на газон – поссать...

– Только убери ты, ради бога, свою вонючую трубку! Мои связки...

– Плевал я на твои связки!

* * *

«Вонючая нора» – «собачья будка» – подыскалась месяца через полтора на тихой рю Обрио в Марэ, излюбленном квартале сегодняшней богемы. Квартирка небольшая – две комнаты, кухня размером с половник,

зато просторная ванная, в которой хоть плавай, хоть распевайся. Как сказал удовлетворенный Филипп, “*pied à terre*” – есть куда ногу поставить. И не только ногу: недели три спустя чудесный случай привел Леона на авеню де Ламбаль, где на последние деньги Иммануэля после бешеной торговли со скупердьяем-хозяином был куплен антикварный, десятих годов прошлого века гамбургский «стейнвей» – на конусообразных ножках, «распухших в коленных суставах», отделанный светло-коричневым шпоном, с двухсторонним логотипом, выполненным на клепе золотой готической вязью: «*Steinway & Sons New York Hamburg*».

Приглашенный через неделю после перевозки настройщик, старый польский еврей, все два часа работы удрученно вздыхал: рояль звучал по-стейнвеевски потрясающе – мягко и одновременно мощно, особенно басы и средний регистр, однако, несмотря на панцирную раму, строй держал не ахти как, и, вопреки клятвенным заверениям антиквара в «идеальной сохранности инструмента», в правой части резонансной дека, отвечающей за дискант, оказалось несколько незаделанных трещин.

В первые же дни Филипп организовал два-три прослушивания («Не стоит бросаться, вывалив язык, на все амбразуры; мы явились завоевать, а не поднимать лапу на каждый куст»), и Леон подписал скромный контракт с музыкальной редакцией радиостанции RFI, при которой уютно существовал ансамбль старинной музыки, а также – что было уже несомненной удачей и даже, по словам агента, «победой» – годичный контракт с «Опера Бастий», расположенной очень удобно, в двадцати минутах ходьбы от дома.

Леон въехал в квартиру, прибил на стенку Барышнин гобелен, вытянутый из парусинового саквояжа, и немедленно принялся за работу над партиями: арией Духа из оперы Генри Пёрселла «Дидона и Эней» и арией Оттона из оперы Монтеверди «Коронация Поппеи».

Натан не сразу возник, через год.

Дали на травке погулять, думал позже Леон с горькой усмешкой.

Он уже стал привыкать к Парижу: к мелким белым плиткам станций его старого метрополитена, к желтоватой щели рассвета между штор, к изящному узору чугунных решеток, что «по колено» высоким окнам старых муниципальных домов на рю де Риволи; к маленькой забегаловке

на площади Бастилии, где готовили блинчики из гречневой муки и подавали яблочный сидр и куда он непременно заходил после репетиций и спектаклей. Его рука привыкла отпирать ключом калитку в тяжелых, деревянных, утыканных шляпками стародавних гвоздей воротах бывшей конюшни, а ноги привыкли взбегать по ступеням кружевной кованой лестницы на третий этаж. Он привык к Исадоре, консьержке-португалке в их доме: она подрабатывала уборкой и раз в неделю прибиралась и у него в квартире.

Он уже свел знакомство с Кнопкой Лю – крошечным эфиопом, антикваром, бывшим пиратом, приговоренным к пожизненному и «вышке» чуть ли не всеми морскими державами. «Король броканта», неутомимый барыга Кнопка Лю порой искал с Леоном встречи лишь ради того, чтобы поговорить по-русски, ибо в свое время закончил филфак МГУ.

И, конечно же, – заядлый барахольщик, «больной на голову!» – в свободные от репетиций и концертов дни Леон пристрастился к парижским «брокантам» и «вид-гренье» – в Монтрее, у Ворот Клиньянкур, в Рюэе и даже у Сен-Жерменского дворца, – где за год успел приобрести: фонарь – из тех, что в старину вешали на дышло кареты; дуэльный пистолет «лепаж» с надписью на граненом стволе «Оружейник Короля и Герцога Орлеанского»; литую чашу для причастия, которая звенела, как ксилофон, и папиросную машинку со странным названием «moscovite».

Экспонаты для будущего Музея Времени подбирались медленно и со вкусом.

Он привык и к своему аккомпаниатору Роберту Берману.

Сушеная треска лет семидесяти пяти, тот был невозмутим и непристойно брезглив: после дружеского рукопожатия доставал салфетку и, даже не стесняясь, вытирал руки прямо на глазах у смущенного коллеги.

На первой же репетиции Леон был ошеломлен: Роберт играл от сих и до сих, оборвал работу на полужапе, встал, закрыл ноты, опустил крышку фортепиано и хладнокровно проговорил:

– Итак, до завтра.

Кивнул на прощание и ушел.

Леон пригласил Филиппа на ужин.

– Слушай, а вот этот наш Роберт Берман, – спросил осторожно, когда уже принесли десерт, – превосходный аккомпаниатор и милейший человек... Филипп расхохотался:

– Что, вытирал руки гигиенической салфеткой после твоей грязной

лапы?

Леон сдержанно возразил:

– Боюсь, он вытирал руки после моей грязной *еврейской* лапы. Он что, антисемит?

– Вполне возможно. Как и некоторые евреи. Не обращай внимания. После того, как его мама-немка в начале войны нашла четырехлетнему сыну желтую звезду на курточку и самолично отправила его в Терезин, у него несколько испортился характер.

– Как это – звезду? Что за бред! Почему?!

– Потому что отец его был евреем.

– Но... господи боже святой!.. – Леон уронил руки на скатерть. – Она что – чокнулась?

– Нет, и Роберт ее понимает и полностью оправдывает: это следовало сделать, иначе все равно донесли бы соседи. И Роберт выжил, потому что все-таки был наполовину немцем – видимо, таких боши приберегали на закуску. Но, сам понимаешь, не спешит дружески поделиться за чаем, что пережил в концлагере и откуда у него эта странная брезгливость. Ну, что ты вытаращился? Доедай свой мусс. Не понимаю, как человек может быть так привязан к вкусу вульгарной ванили!

Леон медленно вернулся к десерту.

– И с мамочкой его всю жизнь связывали нежнейшие отношения, – благостно добавил Филипп.

– А с отцом?

– С отцом тем более, потому что он благополучно сгинул в крематории того же культурного заведения в первый же месяц... Тебя устраивает расписание ваших встреч?

– М-да... вполне.

– Мне кажется, я все учел. Берман – профессионал в самом полном смысле этого слова.

– М-м-угу...

– Ну, и отлично. Доедай, и я хотел бы обсудить условия нашего контракта с испанцами. Я выбил из них пять тысяч, ты можешь мною гордиться. Да, вот еще что: я заплачу за этот ужин. Если ты будешь угощать всех, к кому у тебя есть вопросы, ты скоро вылетишь в трубу.

* * *

Натан позвонил в начале марта.

Сиротская парижская весна струилась дождями, изредка извлекая голубое зеркальце из-под подола грязноватых туч.

Вначале Леон даже обрадовался: родной голос в трубке, возможность передать Владке тряпочки *со своим человеком*. (Время от времени он подкупал для нее что-нибудь из серии *недорогой парижский шик*.) Ну и вообще, он тосковал по Иерусалиму.

Спросил:

– Ты один или с Магдой?

И Натан легко ответил: один, один, и буквально на пару дней, по личному делу.

И что совсем уже Леона расслабило и успокоило, – Натан напросился в гости. Ну, в самом деле, что нам опять сидеть в забегаловке, за казенной скатертью, как птички на заборе! Хочу увидеть, как ты устроился, Магде рассказать. Она умирает от любопытства.

Явился он не один, а с неким *Джерри*, шатеном среднего возраста и *среднетрамвайной*, сказала бы Владка, внешности, в котором Леон – по некоторым повадкам, по походке, по тому, как тот придержал дверь и, прежде чем захлопнуть, бросил взгляд на лестничную площадку, – опознал *нашего* человека. Мой дальний родственник и приятель, представил его Натан. Ай, бросьте! – как говорили в Одессе. Никаким тот не был ни *Джерри*, ни родственником, ни, разумеется, приятелем – слишком для этого самого «приятельства» молод и слишком предупредителен.

И Леон расстроился, даже напрягся; мельком подумалось: а как иначе могло быть? Неужто, идиот этакий, ты тешил себя иллюзией полной от них свободы?

А ведь как на радостях расстарался: приготовил лососину в щавелевом соусе, отварной картофель, на закуску – горячий козий сыр в салате. По средам и субботам в их районе по трем ближайшим улицам разворачивался продуктовый рынок. К тому времени – то ли Стешины гены проснулись, то ли пример Филиппа возымел действие – Леон все чаще приступал к духовке на своей кухне, особенно в свободные от работы дни.

Приятель и родственник довольно скоро их покинул, и часа два они с Натаном просидели на крошечной кухне, тепло и оживленно болтая о чем угодно: о парижских ресторанах, о недавней забастовке рабочих сцены, из-за которой «Люцию де Ламермур» пришлось исполнять в концертном варианте (совсем обнаглели эти профсоюзы!), о нравах певческой братии в «Опера Бастий», о репертуаре другой, старой «Опера Гарнье», где сегодня поют веселые толстые итальянцы да истеричные румыны... И склонившись над столом, почему-то понизив голос, Натан спросил:

– Слушай, у француженок по-прежнему упругая маленькая грудь? Ты заметил? Мордашка может быть довольно кислой, но фигурка, но грудь!..

Натан был чертовски импозантен: коричневый твидовый пиджак, шелковый платок цвета бордо на шее – щеголь, старый европеец, даже не знакомый с тем угрюмым раскосым быком, что, вернувшись домой, вечерами заваливался «на минутку вздремнуть»... Господи, да Леон наизусть знал все его ухватки, походку, рокошующий храп с колеблемой в руках газетой, эту жесткую усмешку, когда по любому поводу Натан *резал правду* («ничего, не сахарный!»).

Он разгуливал по квартире, выглядывал в окна, хвалил все, на что падал взгляд. Пришел в восторг от каретного фонаря, прилаженного под потолком в прихожей. Присел даже к роялю, пробуя что-то изобразить, но сразу же снял руки с клавиатуры:

– Нет, кончен мой концерт. Каждому – свое. – И обернулся, подмигнул Леону: – Все же, как ни крути, существуют две марки роялей экстра-класса, а? Гамбургский «стейнвей» и берлинский «бехштейн» – помнишь, стоял у Иммануэля в холле? Говорят, в конце войны американские ВВС разбомбили склад с деками фирмы «Бехштейн». Не случайно, а по личной просьбе главы дома «Стейнвей». Хотя два эти дома находились в довольно тесном родстве. Но бизнес есть бизнес. Так-то. И после этого фирма «Бехштейн» прекратила существование.

– Ну, хорошо, – проговорил он, поднимаясь из-за рояля. – Я доволен. Я очень тобой доволен, *ингелэ манс*... Проводишь меня до метро?

Почему бы тебе такси не вызвать, спросил Леон, поздно уже, и дождь накрапывает. Но Натан обронил: мол, по Парижу и пройтись всегда приятно, особенно в твоем симпатичном районе; воздуху, мол, совсем не вижу... или что-то в этом роде.

И вот тут Леон все понял и мысленно обматерил себя за лопоухую наивность. Разумеется, никаких «личных дел» (без Магды! в Париже!) у Натана не было. Скорее всего, эта поездка – обычная инспекция резидентур. Или необычная. Опытный разведчик в подобной ситуации всегда предпочтет *по делу* говорить на воздухе. Нормальная предусмотрительность: откуда знать, кто и с какой целью мог нафаршировать жучками уютную квартирку его молодого друга?

Оба надели плащи, молча спустились по лестнице, вышли из подъезда и одновременно подняли воротники: дождь настойчиво покалывал лица

и руки, но было еще довольно тепло, даже приятно, если учесть, что редкие прохожие занавешены зонтами и озабочены, как бы в лужу не ступить. Вполне освежающая прогулка по тихому району.

Натан вдруг заговорил – мягким и каким-то благодушным тоном: все прекрасно, я доволен, я тобой очень доволен. Чудесная квартирка, очаровательное место... и выглядишь ты прекрасно, и как жаль, что я угодил в те дни, когда спектакля нет, но в следующий раз непременно...

И все кружил и топтался вокруг этих «прекрасно», «чудесно» и «непременно»...

– А рояль – так просто блеск: все же, согласишься, лучше «стейнвея» ничто не звучит.

И видно было, что не рояль у него на уме.

Когда пересекали последний тихий переулок по направлению к людной рю де Риволи, Натан внезапно остановился у витрины химчистки, тускло освещенной изнутри ночным алюминиевым светом. В полутемном аквариуме тесной группой соглядатаев молча висели на вешалках две шубы, два плаща и целый взвод пиджаков.

Натан бросил беглый взгляд по сторонам и спросил:

– Послушай, *ингелэ манс*... а среди певцов встречаются мусульмане? – И уточнил: – Тебе приходилось с ними сталкиваться?

– Ну что ты, – пожал плечами Леон. – Религиозные люди редко попадают в мир оперы – это же не только музыка, это театр, кривляние, богомерзкое занятие. – Он задумался и припомнил: – Хотя Филипп рассказывал: один талантливый тенор, то ли чеченец, то ли абхаз – кстати, его подопечный, – отказался встать на колени перед актрисой. Мотивировал тем, что в его семье и в его религии перед женщинами на колени не падают. Выглядело это дико, ну, и дирекция, само собой, расторгла с ним контракт. – Он усмехнулся: – Бедный Филипп был очень зол и, кажется, даже платил неустойку из собственного кармана.

– Ну да, – отозвался Натан, поворачиваясь и продолжая медленный прогулочный ход по переулку. – Да, конечно, как я не подумал...

И дальше таким же мягким ровным тоном конспективно сообщил, что сейчас *твой друг парси* очень уверенно входит в одну чрезвычайно важную операцию. Торговую, подчеркнул он.

Леон промолчал, но с силой втянул в себя воздух. Какого черта ему нужно знать, чем там занят Шаули в *конторе*? Оставьте меня в покое с вашей торговлей!

– Очень важный торговый проект, связанный с персидскими коврами. Я хотел вот о чем попросить тебя...

– Нет, – мертвым голосом ответил Леон. Остановился и всем телом развернулся к Натану. Проговорил внятно, тихо, начиненный тонной взрывчатки: – Я тебе благодарен за все, Натан. За детство. За участие в судьбе. За то, что отпустили. А сейчас все позади, и я – артист. Я – частное лицо. Я просто голос!

– Да, – спокойно, мягко и, кажется (они стояли между двумя фонарями, и свет, рассеиваясь, не дотягивался до лиц) – кажется, даже с легкой улыбкой ответил Натан, ничуть не смутившись и не задержавшись с ответом ни на мгновение, будто заранее знал, что скажет Леон, и через запятую продолжил его же речь: – Да, ты артист, и ты голос, ты у нас парижанин со «стейнвеем», и все позади, и так не хочется оглядываться отсюда, со славной рю Обрио, на неудобный, муторный опасный Иерусалим. Он *где-то там*, вдали от «Опера Бастий». Где-то там дети рвутся на куски прямо у ворот своего садика. «А меня оставьте в покое, я свое отбарабанил».

После этой увесистой оплеухи он перевел дыхание и так же спокойно заметил:

– Обрати внимание, я не говорю: «ты – израильский офицер» и все прочие штуки, на которые нам обоим плевать, оставим это отделу пропаганды. Я не напоминаю, что ты резервист и твои сограждане-мужики в положенный срок оставляют семьи, работу и все свои астмы и геморрои, чтобы опять взвалить на себя это чертово бремя. Это мы оставим другому ведомству. Просто я знаю, что тебе не все равно, когда дети рвутся на куски у ворот своего садика. Иначе ты не попал бы *в ту историю*. Я видел тебя, я отлично тебя помню, когда ты не брился, точно в доме твоём траур. Нет, *ингелэ манс*, тебе не все равно, и твой голос тут ни при чем.

Натан снова перевел дух, будто долго взбирался по крутой лестнице и слегка подустал, задохнулся.

– Никто не собирается посылать тебя в поле, – примирительно добавил он. – Просто иногда, в свободное время ты можешь пошляться среди них *в правильном виде*, навестить парочку их культурных центров, вроде тех, что в районе Рюэя или Бельвиля, зайти в мечеть, послушать новости, *их новости*... Задать два-три пустяковых вопроса *на правильном* и – блестящем твоём! – языке... Мне тебя учить не нужно.

Он развернулся и продолжал идти, монотонно бубня:

– Они распахали свои ячейки по всей Европе, и рвется уже всюду, и попадают на эти рогатины все, без разбора вероисповеданий и гражданской принадлежности, но кто им считает! Конечно, мы поддерживаем какие-то связи и с британцами, и с итальянцами,

и с французами, но... – И вновь раздраженно остановился. – Ты же знаешь, все нужно делать самим. Разве можно кому-то доверять! Силовые структуры подчинены политике, а европейские политики не отвечают ни за что, кроме своей комнатной собачки. И к дьяволу все объяснения, оправдания и реверансы, к дьяволу! У нас исторический опыт: в свое время мы остались одни против СС, гестапо и всех прочих. И принимать еврейских беженцев согласилась одна страна – одна! – Доминиканская Республика, хотя Рузвельт нам «симпатизировал». И главное...

Он глубоко вдохнул, и Леон подумал: это сердечное, он просто не может долго ходить. (Так Стеша в старости то и дело останавливалась, будто припоминая нечто важное, и маленький Леон терпеливо пережидал, когда можно будет тронуться дальше.)

– ...Главное в том, что *они* очень стремительно продвигаются по всем направлениям. «Хизбалла», например, уже располагает несколькими «дронами» – беспилотниками германского производства, купленными за границей через подставные иранские фирмы, вполне невинные: мебель, модный торговый дом, ковры-антиквариат или еще какая-нибудь элегантная хрень, напрямую связанная с Корпусом стражей Исламской революции... Тот парень, Джерри – ты уже понял: я привел его, чтоб тебе показать. Он человек нашего Шаули; познакомит тебя с парой *занимательных* историй, покажет кое-какие фотографии и примет любые твои соображения. Просто мне жаль, что твои блестящие мозги сейчас посвящены исключительно оперным партиям. Свяжешься с ним вот по этому телефону...

Наморщил лоб, припоминая, и быстро, четко продиктовал номер. Леон подумал: *мозги у него бегают быстрее, чем ноги...*

– Он скажет, где можно встретиться; есть пара безопасных квартирок... Ну, не буду тебя учить, ты все прекрасно знаешь сам. Если найдешь нужным с кем-то его познакомить или просто кивнешь в нужную сторону, за все будем благодарны... Постой: это что – уже моя станция?

...Вот тогда в его жизни возник другой Париж (а он подозревал, что их было множество) – тот Париж, что все время строится и все время бастует; тот, где из одной точки в другую можно попасть тысячью муравьиных тропок, где, кроме «основного» метро и линий RER, есть огромная старая «кольцевая ветка», которую просто бросили после войны, и теперь на ее станциях растут кусты дикой малины и другие полезные травы. Эти станции можно назвать не «наземными», а «неземными», ибо рельсы бегут как бы над городом по чужунным мостам

позапрошлого века и с улиц видны лишь мосты, а как проникнуть туда, знают немногие. И по этой дороге летним днем можно обойти Париж и не встретить ни одного человека...

Он открыл в этом новом Париже сотни запахов, но понял, что все их связывает водяная стихия Сены или Марны и что пахнут эти реки по-разному. Да и сама Сена пахнет по-разному: в Шатийон-сюр-Сен, где выходит на поверхность, она выносит запах каменных пещер, но уже через сотню метров к нему примешивается запах рыбы и водорослей, мокрого дерева, ржавчины шлюзов...

Он обнаружил, что есть предутренний Париж – особый мир, в котором жгут костры из ящиков или играют на этих ящиках в азартные игры; что есть еще «водный» Париж со своими убийствами, подпольными казино, борделями и просто обычным жильем, где на палубах барж, катеров и корабликов увидишь собачью конуру, деревце в кадке и даже клетку с канарейкой...

– Это уже моя станция? – спросил Натан. – Ну и отлично! Так, собственно, в главном мы договорились...

И, конечно же, ни в какое метро спускаться не стал, а подхватил его на серебристом «Пежо» все тот же родственник Джерри, подкативший сразу, едва они подошли к краю тротуара. Прежде чем сутуло нырнуть на переднее сиденье, Натан обнял Леона и, улыбаясь, проговорил:

– Но как же я рад, что повидались! Может, встретимся не по делу, а просто где-нибудь в милом месте? Ты выезжаешь, у тебя ведь бывают отпуска?

Леон хмуро пробормотал, что работы сейчас выше крыши и за год он никуда не выбрался, кроме как в Бургундию, к Филиппу.

– Кстати! – оживился Натан. Он уже сидел в машине и договаривал из приспущенного окна: – Почему бы тебе не приехать к нам на Санторини? В августе мы всегда там. Магда любит говорить «наш домик», и это смущает друзей. На самом деле у нас вполне просторно – знаешь, старый добрый греческий дом, четыре спальни. И все при нем: виноград, маслины, оливковое масло, домашнее вино от соседа... Ей-богу, приезжай! – И, сделав крошечную, но от того не менее весомую паузу, добавил на прощание: – Дети налетают туда в начале июня и сидят целый месяц, а мы с Магдой – в августе. Предпочитаем отдыхать одни, без кагала. – И многозначительно повторил (Джерри уже медленно тронул): – Совершенно одни! Будем рады тебя принять, а уж Магда... ну, ты и сам знаешь...

И следом – буквально дня через два – прилетело радостно освобожденное письмо от Магды, в котором она писала о том, как соскучилась, как счастлива будет показать ему «наш чудесный остров и нашу Периссу». Далее шло изысканно-подробное, как только Магда умела, описание острова:

«...Берег со стороны Кальдеры – это огромный провал в форме баранки, в центре которой – вулкан. Там нет спусков к воде, и публика заселяет отели ради вида, за который можно отдать последний *груш*: синерозовый закат с помарками парусников прямо на огненном брюхе солнца. Солнце валится в море так плавно-стремительно, что кажется, в минуту соприкосновения с кипящей водной гладью из-под раскаленной туши по сторонам брызнут фонтаны.

С другой стороны острова – пологие и пустые в июне пляжи с черным, крупным вулканическим песком (каким-то, знаешь, «гомеровским»; здесь вообще Гомер удобно устроился). И горы довольно пологие, спускаются тюлениями к водопою; в одной из них, прямо под нашей террасой, я, плавая, развела небольшой, прелестный, круглобокий, как амфора, грот с водой по пояс и с такой акустикой, точно миллионы лет он ждал тебя и твоего голоса – воображаю, что это будет, и мечтаю услышать.

Главная «аттракция» здесь – прогулочная набережная, похожая на все набережные маленьких курортных городков по всему Средиземноморью, – деревья, скамейки, закат... Не жлобская-торговая, а нежно-греческая, с открытыми террасами таверн, глядящих на никогда не скучное, синесиренево-бирюзовое море.

От набережной к главной улице вьются нити переулков, куда автобусам уже не въехать, а потому свежих туристов ссаживают прямо на дороге, и они покорно ползут к своим пансионам, треща чемоданными колесиками, как насекомые.

Обстановка самая домашняя – в этом вообще очарование греческих островов: гостиниц и пансионатов немного; вокруг всё дома и домики – во дворах виноград, столы с колченогими стульями, детские велосипеды, мячи, горшки и непременно сумрачная старуха в черной одежде, с клюкой – мать хозяина на страже порядка и приличий. А за забором в бурых кустах пасется коза с козленком. И повсюду бегают свободные и ленивые, как древние философы, смеющиеся псы.

На острове нет пресной воды, из крана идет паршиво опресненная, и пить надо привозную. Так что с садоводством – не ах... Но много

вездесущих олеандров, тамариска и мирта, и вечерами такой одуряющий запах кустов, опоясанных, как мантией, морским бризом, что хочется застыть и остаться так навсегда.

Неподалеку от нас под горой притулилась уютная церковка, и по утрам в воскресенье вся деревня под колокольный звон спешит на службу. Молодежь одета как попало, могут и в шортах прийти, даже девицы; но старые гречанки, принаряженные, красиво причесанные (головы в храме не накрывают), строги и благородны, как встарь, и, как положено, – в черном. Говорю тебе: Гомер – всем здесь племянник, брат, муж... ну, и немножко бог.

После службы худой, как подросток, пожилой батюшка сидит на табурете у калитки церкви и беседует с паствой или просто отдыхает. В ста метрах за церковью – многолетние нескончаемые раскопки: ранневизантийская базилика V века, возведенная на месте дома, где (о, иссохшая рука Истории и ее бесконечные вложения конверта в конверт, с еле различимым или вовсе неразличимым адресом; археологическая «матрешка») – где в IV веке провела последние годы и умерла святая Ирина.

В ее честь остров и назван.

Посылаю тебе пару снимков: закат над Кальдерой, трогательные церквушки с синими куполами в городке Ия и наш променад в синих сумерках. И вот еще – восход над Периссой, с туманом на вершине горы и с солнцем, всплывающим над монастырем Профитис Илиас.

Ровно шесть утра: никогда и нигде я так рано не вставала.

Магда».

* * *

И в конце августа Леон приехал на Санторини, где провел три дня – сине-розовых, блестящих, каких-то бесконечных, истаивающих в пурпуровых закатах, – любясь и собаками, и козами, и всем, чем угощала гостя счастливая его приездом Магда; наблюдая сухопутных греческих черепах с треугольной головой и купольным рельефным панцирем древесно-шоколадного цвета; купаясь в круглощечком высоконёбом гроте, утром и в полдень пронизанном косыми солнечными столбами, так что казалось, некое рачительное морское божество на всякий случай подпирает его изнутри.

И каждый вечер он чинно прогуливал Магду по набережной,

заканчивая маршрут в одной из таверн, где, как уверяла она, хозяин варил лучший кофе в ее жизни. Кофе был совершенно такой же, какой варила Магда у себя в кухне, не лучше и не хуже.

В первый же вечер после прогулки она накрыла на террасе стол, и втроем они долго смотрели, не притрагиваясь ни к вину, ни к маслинам, как меняется море: сначала жемчужно-серое, потом густо-синее, с пурпурным отливом; в греческих закатах, негромко отметила Магда, всегда присутствует эта розово-малиновая нота в синей гамме... Затем море исчезло в плотной тьме, и наконец, бледная эгейская луна затеплилась в центре мира, отделив десятину скудного света для пугающе гигантского дракона внизу, что ворочался и шипел, попыхивая мрачной золотой чешуей.

Натан был тих и молчалив и, несмотря на полный покой, островную благодать и волшебные виды, время от времени поглаживал левую сторону груди: значит, прихватывало.

Магда ушла в дом и вынесла трехрожковый подсвечник; вставила три толстых деревенских свечи, достала из короба долговязую деревенскую спичку, чиркнула ею и помножила огонек на три... Не отводя глаз от этих уютных огоньков, Леон, вначале негромко, потом все полнее и ярче запел – сюрпризом, ничего не объясняя, – со всеми скачками, мелизмами и знаменитым своим до третьей октавы вверх:

Sa-ale, ascende l'uman ca-a-antico,
Varca spazi, va-rca cie-eli,
Per ignoti soli empirei,
Pro-fe-ta-ati dai Vange-eli...

Он пел, и дрожащие лепестки свечей вытягивались в струны, клонились и замирали на длинных нотах; бились, как плакальщицы в греческой трагедии, когда он поднимал голос, вбрасывая его в небо, в море и вновь ловя полуоткрытыми губами. Магда неподвижно слушала, опустив глаза и сжав губы. Когда Леон закончил, так и не подняла глаз и, кажется, дух не перевела. А Натан, наоборот, оживился:

– Какая красота, боже мой, *ингелэ манс!* Что это было, почему не могу угадать?

Леон сказал, улыбаясь:

– А между тем ты прекрасно знаешь, что это. Помнишь, во втором действии «Тоски», во время разговора Скарпия со Сполета за сценой звучит

далекий религиозный хорал?

– Да убей меня, не помню ни черта.

– Вспомни: хорал с эфемерным сопрановым соло, будто с небес. Он обрывается на таком болезненно неразрешенном септаккорде – в тот миг, когда Скарпия подходит к окну и его закрывает... Никто не обращает внимания на этот фрагмент, а зря: это просто сокровенный перл. И история прелестная – Филипп привез из Луки. Оказывается, эта штука, кантата «Inno di Gloria», была написана молодым Пуччини еще на третьем курсе консерватории: просто курсовая работа, представляешь? А слова написал его приятель Микеле Коньоли, тоже композитор, но совершенно бездарный. К концу обучения этот Коньоли уяснил себе положение вещей и, особо не унывая, открыл в городе мясную лавку, в которой, кстати, и сегодня успешно торгуют его упитанные потомки. А слова кантаты поразительные, сакральные – бог знает, откуда их взял этот мясник! Но вот что интересно: Пуччини писал вовсе не для сопрано, а для контратенора – был такой у него приятель, Риккардо Бруни, влюбленный в него, красавца. Не знаю, чем там дело кончилось, но позже Пуччини подарил этот фрагмент страстной Тоске – у него даром ни одной ноты не пропадало. И вот уже сотню лет эту кантату терзают драматические сопрано... Короче, Филипп вернулся из Луки обезумевший, вцепился в меня мертвой хваткой, орал, что мы просто обязаны «убрать сопрановое мясо, этот гудок паровоза, что вырвался из туннеля!», заменить его «на легкость серебра контратенора», и что это будет «эффект разорвавшийся бомбы», и «открылась бездна, звезд полна». Ну, и сейчас я готовлю программу для концерта – буду петь «Inno di Gloria» с хором Бориса Тараканова.

Минут пять еще оживленно рассказывал, что вдохновенный Тараканов тащит его с кантатой в Москву, что партию цифрового соло-рояля наиграл им когда-то подвыпивший Андрей Гаврилов, и получилось чудесно, и что эту музыку хорошо слушать в наушниках, тогда вся изысканная фактура как на ладони, – говорил и говорил, обращаясь к Натану, стараясь не показать, что заметил слезный блеск в глазах Магды... Вдруг она порывисто его перебила:

– А о чем эти самые сакральные слова, можешь перевести?

– Ну-у-у... очень приблизительно. Вернее, очень буквально, а это всегда убивает волшебство, правда? Примерно так: «Восходит ввысь песнь человеческая, стремится сквозь пространства в небеса, сквозь одинокие безымянные миры...» – как-то так, в общем. И ничего это не передает! Ничего...

– Просто надо слышать твой голос, – согласилась она. – Тогда

ясно все. А больше ничего и не требуется. Все это – о любви.

Леон с силой потянулся, сцепил на затылке руки замком.

– О нет, – заметил он, глядя туда, где драгоценной чешуей переливалась во тьме шкура морского дракона. – В конце концов, все мы поем любовные песни собственному отражению. Так называемая «любовь» – вздор и слякоть, Магда; ничего она не стоит в сравнении с «одинокими безымянными мирами».

...В последний перед его отъездом вечер они вышли прогуляться по набережной, и Магда – по-прежнему легкая, прямая, но совершенно уже седая – сухо проговорила, что хочет (давно хотела) что-то ему рассказать. Они дошли до «своей» таверны и уселись за деревянный столик у стены, над которым висела огромная карта Греции со всеми островами и на ней – самодельная клетка, где бойко прыгала канарейка. Дочка хозяина принесла им кофе, и Магда, достав сигареты (по этому он определил, что разговор пойдет непростой, она обычно старалась при нем не курить), затянулась и спокойно, как-то протокольно, будто говорила о давней знакомой, которую не слишком жаловала, сообщила совершенно ошалевшему Леону, что больше жизни любила одного человека (не Натана, жестко уточнила она), точка.

– Вернее, не точка, а запятая, – восторженно добавила она другим тоном, глядя не на Леона, а куда-то в проем двери, за которым открывалось море. – Потому что происходило все это, когда Натан был у сирийцев. Именно во время этого бесконечного кошмара. Ты, конечно, знаешь, что делают с пленными эти звери? Ведь сирийцы – звери, в отличие, скажем, от египтян. И я, конечно, молилась, чтобы Натан вернулся или чтобы умер, но главное – чтобы перестал страдать. И одновременно боялась его возвращения. Потому что тогда только и начались бы ужас и страдания моей жизни.

– А... потом? – пробормотал Леон подавленно.

– Потом, – спокойно продолжала Магда, затягиваясь сигаретой и покручивая двумя пальцами круглую керамическую чашку из-под кофе, – потом началась война Судного дня, и мой возлюбленный погиб на второй день войны, на Голанах... Так я поняла, что предателей и шлюх наказывают особым образом: их собственная задница остается при них – чтоб было по чему хлестать себя розгами всю жизнь.

Канарейка в клетке металась как оглашенная, захлебнулась писком, замерла – и вдруг залилась трепещущей телефонной трелью, так что оба они, и Магда, и Леон, невольно вскинув головы, минуты две выжидали,

не прольется ли сверху еще какая-нибудь весть.

Магда вновь принялась крутить чашечку, поворачивая ее с боку на бок, высматривая густые кофейные разводы по стенкам.

– А через год Натана выменяли, и он вернулся – не человек, а какое-то месиво. И мы прошли кучу операций, и ходили по угольям костра, боясь прикоснуться друг к другу, как два давно разлученных, отвыкших от нежности старика. Иногда по ночам я просыпалась и принималась искать его по всему дому, и находила где-нибудь на террасе: он лежал на полу, свернувшись калачиком. Просто он так привык, валяться на полу – *там*, понимаешь?

Она глубоко вздохнула, отбросила ладонью со лба седую ровную прядь.

– Но в конце концов победили судьбу. И тогда родился Меир... Почему я решила тебе это рассказать? – спросила она, будто очнувшись, и, вскользь: – Надеюсь, ты понимаешь, чего мне это стоило... Чтобы ты не смел *так говорить о любви* – она не вздор и не слякоть! Чтобы не смел из давней глупости одной юной паршивки выстраивать трагедию всей своей жизни! Чтобы ты знал, каким бывает *настоящее предательство*: это когда твоего мужа пытаются, а ты в это время задыхаешься от счастья в объятиях единственно любимого человека.

Она помолчала, подняла на него пристальные, требовательные глаза и добавила, усмехнувшись:

– И ничего. Продолжаем жить...

– Но ведь Натан... он не знает? – выдавил Леон, не поднимая на Магду глаз.

– Зато я знаю! – отрывисто и жестко отозвалась она. – Знаю за двоих.

Когда подходили к дому, она остановилась и, прежде чем ступить на лестницу к террасе, робко коснулась его руки:

– Ты презираешь меня? Ты никогда больше к нам не приедешь?

Он растерялся, смутился... Вдруг подался к ней и впервые неловко ее обнял. Впервые проговорил, сам удивленно вслушиваясь в детскую правду этих слов:

– Я тебя очень люблю, Магда!

* * *

И через год приехал на Санторини с Николь – милой, мягкой,

несколько вяловатой девушкой, единственной наследницей в почтенном роду итальянских банкиров.

Они познакомились в Женеве, на банкете в честь основания какого-то трастового фонда (кажется, именно ее папаша и дядья были среди столпов этой миллиардной вселенной), и через два дня она позвонила ему уже в Париже, даже не скрывая, что приехала ради него, из-за него и к нему.

– Я не заказала отеля, – сообщила с патрицианской простотой богатой наследницы. – Ведь твой диван раскладывается?

Николь была влюблена в него, как в негасимую птицу-феникс; на концертах и в опере всегда сидела в первом ряду, бледнела на самых высоких нотах так, что лицо становилось фарфоровым, и это было заметно даже в полутьме зала; задерживала дыхание на ферматах, едва не падала в обморок... И после поклонов, когда занавес сползлся, сталкиваясь и шевелясь, – робко, как в святилище, входила в гримерку, первым делом касаясь его плеча или руки, словно удостоверяясь, что он – не бесплотный Голос, а реальный человек, раздетый до пояса, вспотевший, усталый и возбужденный, умело и быстро снимающий салфетками грим и желающий только «жрать, жрать и спать! с тобой!».

И тогда выяснялось, что столик «У Прокопа» (любимый, под портретом Жан-Жака, где тот, в полосатом кафтане и с треуголкой под мышкой, чуть выставив ногу, спесиво поглядывает на полное блюдо улиток внизу) уже распорядительно ею заказан, и ее крошечный, такой удобный в парковке двухместный «Мерседес-Смарт» ждет их – «тут два шага». И все предусмотрено, и думать не о чем.

А кто еще, кроме Николь, мог терпеть его молчание на протяжении всего утра (немота – гигиена связей), когда на простейший вопрос «тебе сделать тосты?» следует лишь рассеянный хмурый кивок? Жениться мне, что ли, на этих пыльных семейных сейфах, думал он иногда.

Когда на следующий год в конце августа у него вдруг обнажилась вольная неделя, он написал Магде, что мечтает приехать. И в ответ – буквально через полчаса, словно она проверяла почту именно в ожидании письма от Леона, – получил призыв заглавными буквами: «ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО!»

Тогда он осторожно осведомился, не будет ли наглостью, если его подруга Николь... она еще ни разу не бывала на греческих островах... И в ответ столь же молниеносно: «Добро пожаловать, Николь!»

Магда оставалась верна себе.

...И вновь был накрытый на террасе стол, и беспокойный трепет огня

в светильнике, бесплотная эгейская луна, бесконечно восходящая над морем. И голос Леона. Сначала он пел вполсилы, не желая разрушать мягкость этого упоительного вечера с тишиной его жемчужных сумерек, пропитанных миртом и жасмином.

На сей раз решил побаловать *свою публику* неаполитанскими песнями (не так давно записал диск у Грюндля в Вене, и тираж допечатывался уже дважды). Распевшись, пел щедро, не экономя голоса, почти не делая перерыва, одну за другой, полнозвучно оплетая простор такого близкого моря. Спел уже чуть не целую программу – и *Serenata Napoletana*, и *Attimo per attimo*, и *Curre Curre Guagliò*... Уже нащупал руку Николь, собираясь потянуть ее с террасы в их комнату, где ждала расстеленная кровать, пахнувшая лавандой. Но едва умолкал, как Магда – душераздирающе робко, почти шепотом – просила: «Еще, еще...» – и после короткой паузы, почти вздоха, Леон снова пел, на самый конец приберегая бессмертную «Вернись в Сорренто!»...

...Затихнув на последней ноте, растворенной в воздухе, заметил – как почти всегда бывало – в глазах у Магды влажный благодарный блеск. И на сей раз потянулся через стол, накрыл ее маленькую суховатую руку своей и нежно проговорил:

– Магда? Все хорошо...

– Над морем всегда поется нечто протяжное, – задумчиво сказал Натан. – Диктат стихии...

Вдруг из теплой глубины одесского воздуха (это даже не память: что-то звучит в голове, что за тенора, чьи это голоса?) сюда, на террасу, прилетела мелодия, которую напевала Барышня, уже безумная; Леон лишь подхватил ее, не без удивления вслушиваясь в собственный голос:

– ...Однозвучно греми-и-и-ит... ко-олоко-о-ольчик... И доро-о-ога пылится слегка...

И полным голосом запел, любовно вплетая звуки в два далеких и отчего-то родных голоса, что бесплотно звучали у него внутри, окликая мечтательной тоской:

– ...И уныло по ровному полю... разлива-а-ается пе-е-еснь ямщика-а-а...

Это тенора были, и его голос – самый высокий – догонял *тех двоих*, парил над ними, тайно переключаясь, взмывая над террасой, над притихшим морем, то ныряя вниз и распластываясь над волной, то вновь взмывая и затихая в искристой звездной выси. Когда окончательно на *pianissimo* растворился в шорохе моря, Магда медленно и удивленно проговорила:

– Я ее помню: ее папа любил, эту песню... Они ее пели с Иммануэлем, называли «русской»: «Русская песня». – И вновь ее глаза блеснули в свете свечей: – Откуда ты знаешь ее, чертов суч-потрох?

Поднялась и вошла в дом.

Спустя минут двадцать, когда босой, в халате, накинутом и подпоясанном «на живульку», он вышел из ванной, чтобы сразу шмыгнуть под одеяло к Николь, его в коридоре перехватила Магда. Она была просто сама не своя: смущенным полупшепотом сообщила, что совершенно случайно...

– Прости, ради бога, Леон, так получилось! Я... понятия не имела и, конечно, ни за что бы не допустила! Но это был Натан, он взял трубку. Сейчас признался: утром звонила Габриэла. И он... ты не представляешь, как я злюсь!.. короче, он проговорился, что здесь ты. А Габриэла... ты же знаешь: становиться на пути ее желаний – это как в тайфун попасть... В общем, она заказала билет и примчится сегодня ночью. Говорит, давно хотела тебя повидать, школьная дружба не стареет... – И оборвала себя, в ярости тряхнув седой челкой: – И прочая бестактная пошлость! Ты очень сердишься?

Леон почувствовал краткую острую боль внутри, будто сердце прижгли сигаретой. Помолчал мгновение, спокойно поцеловал Магду в щеку и сказал:

– Ради бога, не делай из всего трагедию. Время идет, жизнь катится, я давно обо всем забыл. Тем более что завтра утром мы все равно вылетаем в Париж.

– Как! – ахнула она. – Ты обещал пробыть целую неделю!

– Да-да, – отозвался он, – прости, пожалуйста. Сейчас звонил Филипп: он считает, что мне надо вернуться к репетициям пораньше. – И все убедительнее, потому что немедленно внушил сам себе, что просто обязан уехать: – Продюсер там нервничает и просит артистов быть загодя.

И даже Магда, умница и великий конспиратор Магда не почуяла ни малейшего напряжения в его голосе.

Как бы там Габриэла ни лелеяла свои хотения, Леон больше не собирался с ней сталкиваться.

Он был уверен, что, прилетев среди ночи, Габриэла проспит до полудня. А в восемь (все еще будут спать) они с Николь тихонько и вежливо покинут гостеприимный кров Калдманов. Николь, пожалуй, удивится, но, как всегда, не станет вытягивать из него правды. Удобный характер. Все прекрасно устроится. Он даже успеет, если встанет пораньше, распеться и поплавать в любимом гроте под скалой.

И хотя всю ночь не сомкнул глаз, утром – Николь еще дремала, обеими руками подмяв под себя подушку, – бесшумно выскользнул босиком на белую террасу, перелез через балюстраду и козьей тропкой спустился к морю. А там, раздевшись донага и чалмой накрутив на голову свои белые купальные трусы, проплыл под низким портиком пещеры и медленными гребками достиг отдаленной, еще сумеречной, слабо мерцающей стены грота. Воды здесь было ему по пояс...

Стояла рассветная неподвижная тишина, заполненная легчайшим плеском и лепетом мелкой волны. В проеме входа видно было, как все сильнее накаляется макушка ближайшей горы, из-за которой вот-вот покажется малиновый диск. Тихое блаженство заповедного рая – и сумасшедшая акустика.

Чуть слышно он приступил к распевке в середине диапазона, и солнечные слитки в воде и на стенах у самого входа заволновались в водовороте замирающих звуков.

Чтобы разогреть голос и «прокачать» акустику помещения, он брал обычно не Генделя, и не Барбарини, а фрагменты более позднего тенорового репертуара, просто поднимая их на кварту вверх. Часто использовал середину финальной арии Каварадосси из «Тоски» – вздернутое вверх «о доль-чи ба-а-чи-и-и...» – конечно, бомба для связок. Но именно это давало целую серию нужных эффектов в верхней тесситуре. А уж в акустике грота...

Закрыв глаза, еще не в полную силу он запел.

Постепенно голос просыпался, постепенно он *находил* диафрагму, торс, чувствовал, как одновременно резонирует звук в макушке и в самом дне; пропускал звук сквозь себя, насаживал на себя, как на шампур, – от затылка до мошонки... И вода набухала в паху, в водовороте звуков, ласкала его, бархатом текла между ног, бархатом текла в утреннем трепещущем голосе... Непередаваемое, переливчатое счастье...

Он пел, не открывая глаз, поднимая и поднимая голос, разворачивая его, натягивая парусом, вливаясь голосом в переливы эха, блискучие тени и солнечную паутину воды на стенах; успокаивая самого себя, а затем и голос успокаивая, постепенно сводя звук на пианиссимо... Вот так, Габриэла! И никаких гроз, Габриэла, и никаких молний. Только покой, и Голос, и утренний рейс в Париж.

Когда угасло эхо последнего невесомого звука, он услышал плеск и резко обернулся.

В солнечном проеме грота по пояс в воде стояла Габриэла. Странно,

что он мгновенно узнал ее в контражуре. Господи, он совсем забыл, как она прекрасна: сильное гладкое тело, молодое и зрелое – в солнечных слитках отражений воды.

Она выбрала самый открытый купальник, с жаркой ненавистью подумал он, понимая, что опять незащищен, всегда незащищен перед нею.

– Бесподобно! – проговорила она спокойно и властно. – Голос Орфея выманил Эвридику из Аида... Привет, малыш! Тебя легко выследить. Ну, дай же тебя рассмотреть, если уж я настигла редкую птичку спустя столько лет.

Он молча смотрел, как она приближается: медленно-устремленно, сильными гребками отметая воду от бедер. Приблизилась. Насмешливо проговорила:

– В этой чалме ты похож на шейха Ибн Сауда. Можно тебя потрогать? Милый мой, мо-о-окрый, пугли-ии-ивый, ну, здравствуй...

Она ладонью коснулась его груди, провела по ней дугу и вдруг хищно сжала, как много лет назад – будто взяла сердце в пригоршню.

– Что тебе нужно! – хрипло спросил он, отпрянув.

У нее было мокрое лицо, синие отчаянные глаза, и в них – жадность, неумолимая властная жадность тела.

– Ты слишком далеко уплыл! – сказала она отрывисто. – Слишком далеко от меня... все эти годы... Я ночью глаз не сомкнула, хоть беги к тебе, как тогда. Я... не могу! – И зубы сжав, чуть ли не с ненавистью: – Не могу без тебя жить!

И все защитные сооружения, что выстраивал он против нее годами – весь его Париж, и музыка, и Николь, и все пестрое, исполненное боли прошлое, – разом рухнули. Он перехватил ее руку, рванул к себе, стиснул и прошипел в такую близкую высокую шею:

– Ты бросишь Меира!

– Нет, – пробормотала она. – Это глупо! Но *тебя* я никогда больше не брошу, никогда!

Он оттолкнул ее и рассмеялся: да, это была она, Габриэла; это была она, в своей неукротимой жажде испробовать то и это, и ничего не пропустить, и владеть всем сразу.

– Медуза Горгона! – крикнул он, и эхо прокатилось от стены до стены, повторяя и, возможно, узнавая древнее здешнее имя. Габриэла следила за ним темными, фиолетовыми от воды, огромными глазами. Волнистые мокрые волосы облепляли плечи и грудь – ее скульптурные, великолепные плечи. И все же было в ней что-то жалкое.

Набрав воздуха, Леон на фортиссимо выдал распетым раскатистым

голосом:

– Ме-е-еду-у-уза! Гор-го-о-она-а-а!!! – И зло, с облегчением рассмеялся: – Убирайся, пока я тебя не утопил прямо тут, к чертовой матери.

Но она качала головой, кружила в воде, пытаясь до него дотянуться.

– Заскучала, да? – все еще смеясь, с издевкой бросил он.

– Да! да! иди ко мне...

– Надоело большое тело Меира? – ...Милый, любимый, потерянный мой... – Ты, похоже, притомилась от груза?

– Боже, да иди же ко мне, дурак... ты же любишь меня, эта твоя девочка – жалкая моя копия...

– А как же – чувствовать на себе вес? Или он чересчур поправился?

– Молчи...

– ...Приличный вес нормального мужчины... – ...Господи, заткнись!

– ...А теперь от скуки тебе захотелось сожрать меня, малыша-кузнечика, да?

Она бросилась на него, ударила наотмашь по лицу и, как безумная, продолжала бить и бить – по щекам, по плечам, по груди, как когда-то в отрочестве; билась в воде, точно большая белая рыбина, – плача, скалясь, мотая мокрой головой. Толкнула его к скользкой стене грота и вдруг всем телом повисла на нем, как утопающий, будто спасти умоляла. И – жадно, вздохнув, тяжело дыша – они набросились друг на друга, бормоча неслыханные оскорбления, отталкивая и не отпуская друг друга, прижимая к себе, оскальзываясь, сообщая стаскивая мокрые, тугие тряпки с ее тела... И наконец, тяжело ударил колокол в обоих телах, и бил, и гудел в воде, в ушах, в груди, раскатываясь древним эхом в солнечной пещере, солнечным громом в крови, пока Габриэла не закричала прерывистым голосом, вцепившись обеими руками в его плечи, пока не оттолкнулась, не откинулась на спину, не осталась бессильно лежать на воде, как всплывшая утопленница, глядя в солнечный потолок грота широко открытыми глазами.

А Леон, отирая ладонями мокрое от слез и брызг лицо, вдруг увидел в ослепительном проеме входа чью-то уплывающую прочь спину.

«Николь», – подумал с полнейшим равнодушием.

– Это Магда, – выдохнула Габриэла, проследив его взгляд. – Шпионка! Догадалась, куда иду... Плевать! Мне уже на все плевать...

Но то была Николь – судя по ее заплаканным глазам и молчанию всю обратную дорогу, в аэропорту и в самолете. (После приезда они

расстались, не выясняя отношений, – удобный характер; а может, вековые замки на фамильных сейфах вырабатывают в наследниках чувство собственного достоинства?) Или все же то была Магда?

На какое-то время они прекратили переписку, и были моменты, когда ему до ужаса хотелось не просто написать, а позвонить ей и напрямую спросить о главном – особенно после той встречи с Шаули в Париже, когда его друг, приехавший по торговым делам (о, если б ты видел, какие завораживающие узоры попадаются на тебризских коврах! Иногда, знаешь, в их узорах до мельчайших подробностей зашифровано все: карта местности, количество строений, дорога к цели), вскользь сообщил новость: у Меира, мол, на днях родился сын. И Леон оцепенел, застыл, испытав физическую сердечную боль, целую бурю абсолютно противоположных чувств, так что на секунду ему показалось, что он раскрыл и обезоружил себя.

Вот тогда он и решил позвонить Магде – и будь что будет. Потерять Магду было невыносимо.

А тут она и сама прислала электронное письмо – без единого слова, но с вложенной фотографией. Письмо было озаглавлено «наш новый внук», предназначалось целой армии знакомых и друзей, разослано всем, чье имя значилось в списке электронных адресатов...

Три дня Леон не мог заставить себя щелкнуть на иконку вложенного фото. Три дня ноутбук стоял распахнутый: гильотина в ожидании повинной головы. Он просто не знал, что станет делать, если увидит на фото смуглого черноволосого младенца. А что станет делать Меир? Габриэла? Натан с Магдой?

На третий день вечером, вернувшись после премьеры – измотанный донельзя, мрачный, ибо, по его мнению, провалил партию и изгадил весь спектакль, – он решительно присел к ноутбуку и, оскалившись, как от внезапной боли, щелкнул по снимку в письме Магды.

На расцветшем экране рыжий улыбчивый Меир (очень располневший за последние годы) держал в огромных ладонях невероятно маленького, но уже явно рыжего новорожденного сына.

– Так-так, – сказал себе Леон, пытаясь понять, что испытывает: ненависть? смятение? злорадство? отмщение и полную свободу, наконец?

А может, неизбывную ревность, тоску и окончательную потерю Габриэлы?

Так и сидел, пришибленно улыбаясь, отстукивая ногтями по столу рваный ритм случайного мотивчика.

Глядел сквозь экран навыворот – туда, где давняя гроза хлестала по небу

кровеносной плетью незабвенной молнии:
– Так-так, значит... так-так... так-так...

Остров Джум

1

Она подошла, спросила по-русски:

– Можно тут приземлиться?

Сняла с шеи камеру (как из хомута выпряглась) и положила на стол, за которым Леон сосредоточенно выклевывал из баночки вишневый йогурт.

Он не отвлекся от своего занятия. Неторопливо отправил в рот очередную порцию, поднял недоуменные глаза и, слегка разведя руками – в левой баночка, в правой ложка, – смущенно проговорил:

– *Sorry, I don't understand Thai.*

– Да ладно тебе, – удивилась она. – Я видела, как ты пел «Стаканчики граненые».

Плюхнулась на скамью напротив и, подперев кулаком подбородок, с оживленной улыбкой уставилась в его непроницаемое лицо.

– Не пугайся, никакой мистики: просто я глухая.

Привычным пояснительным жестом ладони взметнулись к ушам и упорхнули в стороны:

– Глу-ха-я! Читаю по губам.

Он по-прежнему смотрел на нее с вежливым недоумением.

Она слегка смутилась, подумала – может, и впрямь почудилось? Соскучилась по отцу, давно не слышала русский, ну и... показалось. И перешла на английский:

– О'кей, все в порядке. Значит, ошиблась. Просто эта штука сильно приближает, когда нужно, – она кивнула на свой *Canon*. – Я фотограф, сняла вас на той смешной доске... для серфинга, да? Вы как бы на воде танцевали, хороший кадр.

Он приветливо улыбнулся, кивнул. Спросил:

– Вам заказать кофе? – О, пожалуйста!

Разумеется, он ее узнал: профессиональная память плюс привычка *раздевать* – развинчивать любую внешность, мысленно снимая грим, украшения, кепки-шляпки-очки-парики или, как в ее случае, – полтонны железа, без которого ее лицо выглядело беззащитным, но и бесшабашным (юный вольноотпущенник). К тому же ее хриловатый *упругий* голос

застрял бы в памяти не только у человека с абсолютным слухом.

С прической тоже произошла благоприятная метаморфоза: вместо омерзительного цветного бурьяна слева колосился короткий густой посев, а с правой стороны свешивались, закрывая половину лица, отросшие темно-каштановые пряди, которые она поминутно закладывала за ухо, свободное от колец-жерновов-цепочек-булавок. Тогда обнаруживалась единственная серьга – затертая монета, по виду подлинная, старая...

И брови прекрасные, вот что, подумал он: сильные крылья над ясными до донышка, улыбчивыми глазами. *Впрочем, видали мы доверчивые лица с ясными глазами...*

Свободная красная рубаша, раздуваемая бризом, казалась единственной тряпкой на ее теле. Позже выяснилось, что есть еще и шорты, но лучше бы их не было.

Позже выяснилось, что есть и сандалии, но ходила она босиком.

Память мгновенно воспроизвела ту же девушку на крыльце венского ресторана: в драных джинсах, с той же камерой в руках – заторможенную, угрюмо пожелавшую кому-то там «сдохнуть».

Все это было чертовски интересно.

Во-первых, он не любил дважды спотыкаться о случайных свидетелей его передвижений, слишком хорошо зная, как легко подобные случайности организовать. Во-вторых, его ошеломила легкость, с которой издалека, в невнятном бормотании губ, в движении на волне девица опознала «Стаканчики».

Да-да, камера отлично приближает, глухая читает по губам, но чтобы так сразу *увидеть* замшелый семейный куплетик столетней давности, его надо, по крайней мере, с детства на языке катать; знать так же хорошо, как он, *последний по времени Этингер*. А это просто немыслимо.

Тогда кто она такая?

– Два кофе, пожалуйста, – бросил он официанту, а девушка торопливо добавила:

– И что-нибудь еще, ладно? – Кивнула на блюдец, где лежала половина не доеденного им рогалика: – Вот что-нибудь такое... – И повернувшись к нему, доверчиво: – Можно?

– Разумеется, – любезно отозвался он.

Они сидели на террасе единственного в этих местах питейно-закусочного заведения с претенциозным названием «Молодая луна». В сущности, это был крошечный филиал островного мини-маркета – небольшое бунгало, обычное для любого тропического рая: стены, столы

и лавки – вездесущий бамбук, поверху нахлобучена камышовая крыша. Здесь можно выпить кофе, заказать спиртное, даже пообедать, а заодно купить цветастые купальные трусы, пляжные шлепанцы, соломенную шляпу и полотенца диких расцветок. А если вдруг вам взбрело в голову «повидать красоты тайских морей», то вот на полке для этого запечатанная в пластик дешевая маска с частенько негодной трубкой.

Все остальное было настоящим: широкая полоса белого песка ленивой дугой опоясала бухту, со стороны воды простеганную стежками небольших курчавых скал. Посреди бухты расселась плюшевая глыба, облитая глазурированной патокой влажной изумрудной растительности. Солоноватый бриз скользил по серебристой шерстке волн и улетал к ближним холмам, перебирая там перистые гривы гибких раскачиваемых пальм. Все это блистало и переливалось таким разнообразием оттенков сине-зеленого, что можно было до скончания века сидеть на этой террасе, наблюдая, как причаливают к берегу длиннохвостые, с брезентовыми тентами тайские лодки, как, наспех закатав штанины, выпрыгивают из них туристы и местный люд и бредут по мелководью к отмели.

– А еще я знаю, что вы певец, – продолжала она, улыбаясь. – Только фамилии не запомнила. Леон... и что-то такое почему-то немецкое, да? В противоречии с лицом.

Он молчал, демонстрируя ей располагающую, но и выжидательную улыбку. Непробиваемую улыбку серого волка.

– Ох, простите... Понимаю, как странно выгляжу! – Она всплеснула руками. Руки необычайно общительны: оживленные парламентареры между ней и окружающим миром, гораздо гибче, покладистее, чем ее неуживчивый упрямый голос. Руки порхают, ластятся, спрашивают, укоряют, демонстрируют, дублируя чуть ли не каждое слово. – Сейчас объясню: я вас чуть-чуть обслуживала – в ресторане, в Вене, вспомните...

Он поднял брови, сокрушенно покачал головой.

– Ну да. – Она слегка смутилась. – Я была совсем в другом образе: тяжелый панк, а? Много-много колечек, из ноздри к уху цепочка, крашенные дреды на полголовы... К тому же я все время была там как сонная муха – знаете, глухому трудно в незнакомом языке. Ну, вспоминайте! Я еще накинула огро-омную жилетку Шандора, официанта, и принесла вам рыбы... и вина... и что-то еще. Вы сидели с пожилым дядькой, совсем неинтересным, кроме того, что он смотрел разом во все стороны, не повернув головы... Послушайте, может, у вас и сигаретка найдется?

– Ни в коем случае. Буду вынужден вас задушить, – так же приветливо

отозвался Леон.

Она зачарованно и в то же время озадаченно следила по его губам за каждым словом.

– Ну... ладно, придется оздоравливать атмосферу. – И, слегка закинув голову, короткими выдохами вытолкнула из горла отрывистый смех. Смех был странным: глуховатым, удивленным, отчужденным от ее лица. Но совершенно непритворным. – Мне тогда ужасно захотелось вас поснимать: таинственный шейх из «Тыщи-одной-ночи». И руки выразительные: ваш кулак на краю стола сжимался и разжимался, как пульсирующее сердце. Если снимать через этот кулак, то смысл снимка... ну, неважно. А голова была обрита наголо. Изысканный декадентский череп идеальной формы. Я еще подумала: он так лысину нивелирует. А вам, оказывается, волосы очень даже идут. Нет, честно!

Мг-м... Что мы имеем? Феноменальную наблюдательность. Все подмечено: кто как смотрит, кто где сидит, кто во что одет, форма черепа, беспокойная рука как деталь образа... Ай да золушка, ай да кухонная замарашка! Неясно только, зачем все это выкладывать «объекту» от чистого сердца.

Официант принес кофе и на блюде рогалик, который девушка схватила еще до того, как блюдец коснулось стола, и мгновенно жадно запихнула за щеку.

– Просто, по совпадению, – продолжала она с полным до неприличия ртом, – в тот же день я проходила мимо театральной тумбы и увидела афишу с вашим портретом. Какой-то музыкальный классический пафос, да?.. У меня отличная память на лица! Я их столько наснимала в своей жизни. А имена – тут стоп машина. Имена – не очень. Но Леон ведь? Правильно?

– Правильно, – помедлив, произнес он. И очень приятно ей улыбнулся.

Тут произошло следующее: она кивнула на огрызок его рогалика и спросила:

– Вы будете доедать?

– Н-нет, – озадаченно сказал он.

– Я доем тогда, о'кей?

Схватила и слопала.

– Вам заказать что-нибудь поплотнее? – спросил он, с интересом ее разглядывая.

– Неудобно вас разорять, – с сомнением проговорила она. –

Понимаете, торчу на пляже, караулю паром. Боюсь пропустить – вдруг знакомых увижу. Мне нужно в Краби. Осточертело здесь до ужаса. А башлей ни копы, причем давно. Так что полтора дня я не ела. – И вострепенулась: – Могу вернуться к Диле, конечно. Я у нее в бунгало живу, в деревне. Дила накормит, она страшно добрая, но...

Леон подозвал официанта и заказал суп «том-кха», который и сам любил, – легкий и в то же время сытный. Вряд ли ей стоило наедаться после длинного поста. А он видел, что голодна она всерьез – по тому, как глотала.

– Выпьете что-нибудь?

– Вы такой щедрый! Спасибо, не надо. Я, когда выпиваю, стерженею. Ну, обижаюсь, ищущу оскорблений, в драку лезу... Я лечилась: наркотики, знаете? Но сейчас полный порядок и ни гугу. Нет, выпиваю, само собой, – я много работала в барах по всему свету, так что... Но не сейчас. Мне сейчас интересно с вами поговорить. А то упьюсь и буду валяться кучей! – Она опять хохотнула, будто удивилась собственному смеху и тому, что может выкинуть, сама за себя не ручаясь.

Так... Интересная у нас получается встреча, милая барышня. Что ж, бывают и совпадения. Почему бы девице, летом подрабатывающей в венском ресторане, спустя несколько месяцев не оказаться здесь, на острове? Почему бы ей и не быть фотографом? Судя по ее виду и вообще, по всему, она отчаянно мотается по миру. Есть такие любители вечной экспедиции в поисках пятого угла, обычно – люди невыносимые... Вполне возможная, дурацкая нечаянная встреча. Если бы не «Стаканчики».

Это было второе его появление в Таиланде, переполненном туристами, перенасыщенном запахами, изнемогающем от липкой пряной духоты. Даже себе Леон не признавался, что второй этот приезд вызван разочарованием и полным провалом первого набега: ничего не удалось ему нащупать. Все обстояло именно так, как и говорил Натан: никаких следов деятельности подставной фирмы Крушевича, переправлявшей оборудование Miracle Systems Ltd. из Бангкока в Иран. Да и самого Крушевича будто унес океанский прилив.

Всю неделю Леон болтался по клубам, ресторанам, дорогим спалонам и круизным парходикам, популярным среди местных «русских», где можно самым неожиданным (и самым ожидаемым) образом увидеть знакомое лицо. Он был чрезвычайно общителен, мил и даже болтлив – у стойки бара, на палубе, среди танцующей толпы. Вытянул

из собственной биографии и гальванизировал кое-какие российские знакомства, обнаруженные в Бангкоке. Одно знакомство дипломатического рода: помощник атташе по культуре посольства России. Страстный меломан, двоюродный брат баритона Кости Каменцова из «Стасика» (как в столичной тусовке называют театр Станиславского и Немировича-Данченко). Гриша. От Гриши перепало приглашение на бесполезную дипломатическую вечеринку (коловращение гостей, топтание на палубе яхты с бокалом в руках, любезное зубоскальство и безуспешные расспросы на предмет – кого еще из приятных русских людей можно встретить в этих широтах); все кануло во влажную и пахучую морскую тьму.

На другое, вполне симпатичное и давнее знакомство он возлагал некоторые надежды. Ирина Владимировна, супруга представителя крупной российской компании, большая поклонница «вашего головокружительного дара, Леон!». Умница и светская львица – ее квартира на Кутузовском в свое время стала для Леона перекрестком самых неожиданных маршрутов и связей. На вопрос о каком-нибудь петрепетровиче или самсон-самсоныче всегда отвечала с обстоятельным юморком, не вникая в причины интереса собеседника к персоне. Удобный и, главное, деликатнейший источник. На Ирину Владимировну ушел целый вечер воспоминаний. Очаровательный вечер: в свое время она была завсегдатаем московского кафе «Призрак оперы». А вы помните, Леон, что... а вы помните, как... – про себя он называл такие связи «знакомством нежного свойства», и вовсе не потому, что венчались они романом (его никогда не привлекало внимание зрелых дам). Но милые тонкие комплименты, выслушивание историй о... о чем угодно, хоть и об удобрениях для орхидей на ее даче; крошечные, ни к чему не обязывающие сувениры, обычная любезность милейшего молодого человека («Вас прекрасно воспитала ваша мама, Леон!») – все это недорого стоило, но иногда приносило самые благодатные плоды. На сей раз не принесло ничего.

Леон долго и остроумно рассказывал о своем оперном агенте: большой чудак, истинный француз, потомок лотарингских баронов, собиратель военных касок и хозяин поместья в Бургундии, из окон которого он в бинокль высматривает на поляне под домом белые грибы... Изображал Филиппа с придуманным биноклем в холеных руках, сильно утрируя; прости, Филипп!

Ирина Владимировна трогательно хохотала в нужных местах. Тонкое ухоженное лицо, упорная борьба хорошего косметолога с беспощадным

возрастом, грусть в понимающих все глазах... Так и прижал бы эту стареющую голову к своей груди. (Это все та же твоя давняя тоска, милый, тоска по другой матери...)

И никакого Андрея Крушевича – ни тени Крушевича, ни дел его, ни следа его на песке длинных ослепительных отмелей...

Леон аккуратно следовал совету Натана «не искать контактов и не выходить на связь с «нашими штатными артистами». Однако в один из этих дней, вопреки всем указаниям, разнюхал адрес кейтеринга, где работал Тассна (в центре Бангкока, в районе Си Лом) и часа два проторчал в забегаловке напротив с бокалом местного пива «Singha» – дожидаясь, когда тот появится. И дождался. Тассна не изменился ни на одну морщинку – все такой же поджарый, мускулистый, пружинистый (а ведь ему явно под сорок? или даже под пятьдесят?). Неужели ему интересен этот кейтеринг, даже если он там старший в смене?

Боясь потерять тайца, Леон шел за ним несколько кварталов практически след в след, в плотной толпе, текущей в пахучем, густом и липком воздухе, пропитанном гарью и выхлопами бензина, слабой, но вездесущей вонью из решетчатых канализационных люков, рыбным духом из дверей недорогих ресторанов и запахом лемонграсса из косметических и массажных кабинетов. Шел мимо лавочек, вываливших на тротуары свое платяное, продуктовое, рыночно-рыбное нутро, мимо дверей дискотек, клубов и баров, мимо торговки ананасами, старух с ногами борцов сумо, замотанных в традиционную юбку-штаны, мимо круглосуточных магазинов «севенэлевен», мимо лавки ритуальных услуг с выставленными в витрине изумительно красивыми (розово-золотыми и бирюзовыми) гробами; мимо зазывных табличек «body to body massage», мимо салонов, где работают слепые массажисты – подлинные виртуозы мышечно-костяной клавиатуры человеческого тела.

Шел, пока Тассна не завернул в парикмахерскую, где прозаически подстригся минут за двадцать. И лишь после этого Леон случайно столкнулся с ним на ближайшей автобусной остановке.

При беглом взгляде тот Леона не узнал, пришлось ахнуть и взять его за плечо. Тассна отпрянул, взгляделся, оторопел, бросился обнимать, повторяя: «Цуцик!!! Сучпотрох! Суч-потрох!» Прослезился, вспоминая старика. И Леон прослезился – он всегда легко подхватывал чужую интонацию, как любой звук в любой тональности: просто на миг стал кудрявым тринадцатилетним «цуциком», сжимающим в руках трость

великолепного кларнета, подаренного ему щедрым и насмешливым конопатым гномом, светлая ему память. Да-да, пусть ему будет хорошо там, где нас еще долго не дождутся...

И до ночи они просидели в какой-то забегаловке неподалеку, где, уверял Тассна, отлично готовили рыбу. Рыба была неплоха, но сам Тассна на кухне у Иммануэля готовил ее лучше, о чем Леон прочувствованно ему и сообщил.

Он никогда не задумывался, что побуждало его менять выверенный план, пускаться в обходной маршрут, задерживаться ради двух-трех необязательных вопросов к ночному портю или рабочему кухни. Для него любое такое движение было сродни тяге к изменению тональности, чувству, не имевшему названия, – некоему позыву, что напоминал музыкальную интуицию опытного импровизатора.

Леон и сам не знал, почему так настойчиво стремится к встрече с «ужасным нубийцем» и чего, собственно, от нее ждет.

Расспрашивать тайца о яхте, где тот встретил (вернее, не встретил) Крушевича, допытываться, почему Тассна не пытался разыскать среди гостей господина со столь замысленными чертами лица (притом что для тайца один «фаранг»^[41] похож на другого), Леон права не имел: Тассна, скорее всего, отчитывается перед «куратором» из конторы и, уж конечно, не должен знать о связях «цуцика» с данным заведением.

Кроме того, у «цуцика» были свои привычки и методы прощупывания агента – вне зависимости от того, считают ли в конторе этого парня «заслуживающим доверия» лишь потому, что десять лет тот мыл Иммануэля, кормил его и ухаживал до последнего его вздоха.

Тассна рассказал кое-что о своей жизни: приходится крутиться. Он – старший в смене, зарплата – чуть больше, чем у рядового рабочего кухни. Гроши. Так что по ночам он подрабатывает (только не удивляйся) танцором в массовке, в популярном шоу «DJ Station». Это (опять-таки, не удивляйся) ночной клуб для геев.

– Кстати, знаешь, как танцоры убирают складки на талии и бедрах? Дарю патент: надеваешь колготки, а сверху просто заматываешь себя широченным скотчем.

– Здорово! – восхитился Леон, у которого сроду никаких складок на талии не было. – А как Винай?

О, Винаю повезло: устроился поваром к одному бизнесмену. Ты же знаешь, Винай – хороший повар... Да он кем угодно может быть: сиделкой,

медбратом, охранником... Мы давно не виделись. Мотается сейчас с шефом по всему миру – тот без него ни шагу.

Тот без него ни шагу. (Но – ни малейшей заминки в ответе. Чистая правда? Или вызубренный текст?)

И опять же, Леон не смог бы внятно растолковать, почему при тех или иных случайных словах, безадресном взгляде, рассеянном жесте внутри вдруг слабо отзывался некий камертон, будто тайный настройщик давал едва слышимое ля его тончайшей интуиции.

– Еще бы, – мягко подхватил Леон. – Я-то помню, как старик цеплялся за вас обоих, за своих «ужасных нубийцев»... И когда Винай отлучался... а он ведь часто отлучался, да? – старик выглядел потерянным и как бы одноруким: ему почему-то вы оба были нужны... На этих его словах Тассна будто спохватился:

– Ну, а ты здесь какими судьбами?

Леон предъявил одну из самых беспечных своих улыбок (прежний доверчивый «цуцик»):

– Господи, да теми же, что и все! Моя девушка все уши прожужжала твоим Бангкоком.

Тассна поморщился, фыркнул:

– Да никакой он не мой! Сумасшедший дом, столпотворение туристов, жара, вонючка... Просто работа здесь есть, вот и толкусь, кручусь по «грошам», как заведенный.

(Молодец, уважительно отметил Леон, молодец, «ужасный нубиец»! Весьма убедительный и душевный вечер, комар носа не подточит. Никто, глядя в честные твои глаза танцора и старшего в смене, не заподозрит ни куратора от конторы, ни увесистых «грошей», ради которых ты здесь крутишься, в том числе и в ночном гей-клубе...)

– Я-то родился в настоящем раю, – мечтательно обронил Тассна. – Маленький такой островок, Ко Джум. Уверен, ты даже не слышал, где это.

Почему название островка, где энное количество лет назад родился столь важный деятель тайского общепита, засело в памяти и не давало покоя? Этого Леон тоже пока не понимал. Провожая глазами удалявшуюся спину Тассны, подумал: хорошо бы выяснить, откуда вообще у Иммануэля взялись «ужасные нубийцы»; хорошо бы навести справки о некоем бизнесмене, ценителе поварского искусства Винай...

Но по возвращении не счел нужным выйти на связь ни с Натаном, ни с Шаули. Встретился с Джерри и попросил передать «шефу» о полной,

увы, неудаче «отпуска». Докладывать о встрече с Тассной не стал: не то чтобы ходил на цыпочках, исполняя директивы начальства, но после скандала с его «пражской выходкой» предпочитал не задевать ничьих профессиональных амбиций.

Ему не в чем было себя упрекнуть – он сделал все, что мог и считал нужным сделать.

Но месяца через полтора попросил Филиппа кое-что сдвинуть в расписании, перенести одно прослушивание, отменить другое – словом, выцыганил недельку свободы и вернулся в Таиланд.

Ты отдыхаешь, сказал он себе; на сей раз – действительно отдыхаешь. Никаких Бангкоков! Никакой толкотни на занудных посольских и благотворительных приемах.

Приятный островной маршрут: небольшой катерок, снующий от рифа к рифу, подводные красоты «Акульего пика» – вкрадчивые актинии, текущие стада серебристых рыб, бесстыдно растопыренные синие морские звезды, зеленые, алые, бежевые акропоры. И такая невесомая свобода тела, такая радость парения...

Еще в Париже по Интернету он снял удобный пенишет, маленький круизный кораблик, передача которого в пункте проката в Ао Нанге заняла едва ли минут сорок: выписав чек в залог, он получил лоции и карты засад (глубин-рифов-мелей), и крепыш-инструктор, поплавав с ним минут двадцать, вручил бортовой журнал с традиционным «приятного плавания, сэр!».

Вот он и плавал от острова к острову, помалкивая, давая голосу полный отдых, ныряя в районе рифов, причаливая на ночь к берегу, иногда, вот как сегодня, катаясь на доске, которую обнаружил в одном из шкафчиков. В безопасных – то есть глубоких – местах слегка расслаблялся (разумеется, вначале убедившись, что нет других кораблей по курсу): привязывал штурвал страховочным ремнем и минут десять валялся тут же, на узком диване.

Одинокое плавание оказалось довольно утомительным отдыхом.

Зачем все это ему понадобилось – он, черт его дери, пока не понимал.

Девушка набросилась на еду и какое-то время молчала.

– На вас приятно смотреть, – задумчиво, абсолютно искренне проговорил Леон. – Даже обидно, что я не голоден.

Ее лицо с едва заметными, еще не зажившими белыми шелковинками от пирсинга в нежном загаре было таким свежим, так проблескивали

искрами на солнце каштановые брови, отзываясь и кумачу рубахи, и аппетитной, исходящей паром золотистой гуще в тарелке...

– А супец мировой! – бормотнула она по-русски, жадно глотая ложку за ложкой.

– Простите?

– Говорю: суп очень вкусный! Спасибо!

– На здоровье, – вежливо отозвался Леон, обдумывая ситуацию.

Никто не мог знать, что накануне он решит зарулить на островок, упомянутый Тассной. Не сидела же она здесь наобум три месяца, поджидая его на пляже.

Наконец она доела, вытерла салфеткой губы, обстоятельно высморкалась и подняла на него глаза. Поймала его взгляд – и изменилась в лице.

– Вы ведь... угостили меня просто так, а? – спросила, хмуря брови. – Я не должна... отрабатывать? Вы ведь не приняли меня за пляжную бабочку? Я не по этой части!

Он улыбнулся:

– А вы и без спиртного в бутылку лезете... И поднял руку, подзывая официанта.

– Пойдите! Вы уже уходите? – взволнованно спросила она. – Я... я вам так благодарна. Хочу вот попросить: можно вас поснимать?

– Нет, – сказал он.

– Но!.. – И сникла: – Понимаю, да... Хотя ничего не понимаю! Очень жаль... – И засуетилась, явно ища повод задержать его – на минуту, на две: – Хотите глянуть, как получились снимки – там, на воде?

Схватила камеру, поискала кадр, нашла и протянула ему:

– Возьмите в руки, а то отсвечивает. Не уроните!

Он никогда не интересовался художественной фотографией. Нет, конечно, в свое время он прослушал несколько лекций и умел пользоваться крошечными специальными *штуками*, вроде зажигалок и авторучек, которых и фотоаппаратом-то не назовешь. Но изображения тех или иных людей интересовали его лишь в просмотровом зале *конторы* и только с опознавательной, аналитической точки зрения.

Он принял камеру из ее осторожных рук, мельком подумал: картинка, всплывающая из темной глубины фото-экрана, – всегда кружение наливного яблочка по серебряному блюдечку.

Даже на таком невыигрышном поле видно было, что кадр изумительный – сине-золотой, сквозь ажурный гребень прибоя: грациозная

фигурка, танцующая в центре залива на фоне косматой горы... Усилие удержать равновесие на доске схвачено виртуозно: легкий наклон чечеточника.

Какой я... маленький, подумал он привычно. Впрочем, это снято издали.

– Я еще поработаю над ним, – удовлетворенно заметила она, наблюдая за его реакцией. – Это будет стрекоза в слитке золота.

Следующим кадром выплыло его лицо: крупный план в бисере брызг, с округленными в песне губами, резкий очерк скул и орлиного носа, прищуренные глаза: черные искры среди зеленых бликов волны. Отличный кадр! Он никогда не видел себя *таким* и сейчас был поражен и стремительной силой этого лица, и той хищной ловкостью, с какой она выхватила из восставшей волны незаметный и в то же время значительный миг его бытия.

Подумал в растерянном восхищении: «Да она мастер! Не трепло, не барахло, а – мастер».

– Как это убить? – спросил он. – На что нажать?

Она ахнула и отшатнулась. Взглянула с таким презрительным отчаянием, точно он предложил убить ребенка. Нет, она не подслана. Сыграть это лицо, в котором отражаются малейшие перепады настроения, сыграть эту даже не открытость, а беззащитную распахнутость миру – скотскому миру, который, судя по всему, успел изрядно ее помять? Нет, невозможно. Неуместно мелькнуло: зачем она сняла свои доспехи? С ними хоть как-то была вооружена.

Она вздохнула, протянула руку и молча выщелкнула снимок.

– Не понимаю, – заметила угрюмо. – Вы что, так не любите свое лицо? Или, наоборот, так его цените? Должна сказать, тот ваш портрет на музыкальной афише... он так себе, мастеровитое ничто, просто глянцева карточка. А здесь вы живой... *были живым* – таким горячим, морским, в соленых брызгах, таким... классным! И пели что-то мне родное – так показалось. Я чуть с ума не сошла... Прямо как Желтухин!

Он едва не выронил камеру.

Аккуратно и медленно перенес ее на стол.

Принялся вытаскивать из внутреннего кармана плавок обернутые в пластиковый мешочек деньги – не поднимая головы, делая вид, что с трудом извлекает застрявшую купюру.

Затем долго, не глядя на девушку, изучал принесенный официантом счет.

Долго отсчитывал бумажки.

Наконец, поднял голову и с улыбкой произнес:

– Вы меня пристыдили. Что ж, готов позировать, если это нужно искусству. Только недолго.

– Ура! – Она схватила камеру, отскочила на шаг и сразу преобразилась: рысь на ветке, в засаде, в ожидании добычи.

– Только не здесь, пожалуйста.

Он рывком поднялся со скамьи и двинулся прочь от бара, туда, где гладкоствольный часток кол кокосовой рощи уходил в курчавый крутоворот зеленого склона: мангровые заросли с веерными выхлестами арековых и ротанговых пальм. Выше по холму взбирались мощные стволы янга и такьяна, перевитые тропической путаницей лиан.

– Сделайте пару снимков такого... тарзаньего плана, ладно? – не оборачиваясь, прищелкнув пальцами, обронил он. – Если хотите, могу на пальму забраться.

Она нагнала его, тронула за руку. И когда обернулся, мягко проговорила:

– Я глухая, шейх. Ни черта не слышу, о'кей? Когда на губы смотрю, понимаю речь.

– Извините, – сказал он. – Ради бога, простите меня, я идиот.

– Ничего, – она махнула рукой, и они пошли рядом по песку. – Мало кто сразу ко мне приноравливается.

Пока шли, она безостановочно оживленно говорила – возможно, чтобы преодолеть его (так натурально изображенное) смущение.

– Здесь, конечно, классно: простор, покой, приливотлив, такой бесконечный тропический дурман, хранилище застывшего времени... Я сняла рассказ, так и назвала: «В отсутствие времени».

– Рассказ?

– Ну, цикл фотографий, потом могу показать: море, горы, огромный непроницаемый день острова... Люди тоже бесхитростные – я имею в виду здешнее население, ну, морских цыган. Не слишком жалуют туристов, боятся перемен. У них до сих пор электричества нет, одни только масляные лампы. Их деревни – там, на другой стороне острова, а я живу у Дилы... Она самая уважаемая, потому что грамотная... А во-он лодку видите, голубую с черным драконом? Это я расписывала. Я им тут и стойку бара расписала, меня за это кормили целую неделю. Еще придумала каждый день на закате лепить фигуры из песка перед входом в бар, туристов приманивать. И коктейли им обновила – я ж в коктейлях спец. Выручка сразу подскочила. Но потом мы подрались с одним человеком прямо там, среди столиков... – Несколько выразительных движений неугомонных

рук – и картина потасовки мгновенно нарисовалась в воздухе и какое-то время удивительным образом длилась и даже развивалась, озвученная дальнейшим объяснением: – Расколотили кучу стекла, случайно задели пожилую даму... Будь это в Бангкоке, я бы загремела в Лад Яо месяцев на шесть. Но здешние полицейские – хорошие ребята, мы с ними шары гоняем. – Поймала его недоуменный взгляд, рассмеялась и пояснила: – Бильярд!.. В общем, обошлось штрафом, но на него ушли все оставшиеся деньги.

Они миновали последнюю лохматую хижину на сваях, с приставленной к ней деревянной, криво сбитой лестницей, прошли кокосовую рощу и вступили во мшистую влажную густотень, изрешеченную огненно-фиолетовыми солнечными пулями. В кипящей дрожжевой духоте кишмя кишела мелкая суетливая жизнь: звенел двухструйный ручей на боку скалы, зудели тучи насекомых, какие-то лакированные кусты исходили неумолчным стрекотом, и всю эту бурозеленую папоротниковую кашу дробили, прорезали, выжигали пронзительные крики невидимых обезьян.

Под ступенчатым каскадом огромных ленивых листьев на все лады вскипала и вновь опадала многоголосица густого леса.

Здесь Леон молниеносно обхватил девушку, привалил к себе и локтем пережал горло.

Через две-три секунды ослабил удавку, выждал, пока девушка перестанет кашлять и хватать ртом воздух, и, приблизив губы к ее исполосованной солнцем щеке, вкрадчиво спросил по-русски:

– Так кто ты?

– Айя, – пробормотала она.

– Глухая, да? И читаешь по губам?

Она молчала. Если бы кто-то со стороны заметил эту пару, просто отвернулся бы, чтобы не смущать влюбленных.

– И потому сейчас мы так славно беседуем, когда ты прижата ко мне спиной, а я едва шепчу?

Она проговорила сдавленно, но спокойно:

– Вибрация диафрагмы. Я чувствую колебания груди.

– Отлично. Итак, Желтухин. И «Стаканчики гранения». Слишком много совпадений. Откуда? Быстро! Или будешь валяться тут с перебитой трахеей.

– Иди к черту, – сказала она, – кретин! Отпусти меня! При чем тут Желтухин! Это наш кенарь.

Он крутанул ее, сжал в тисках ее руки, не отрывая взгляда от лица.

– *Ваш* кенарь? – тихо спросил он. – Желтухин – *ваш* кенарь?

Глаза у него были как горячая смола, просто текли в тебя, прожигая, разливаясь по всему нутру. Но *другим* своим зрением (никогда не могла назвать это чувство, но доверяла ему безоговорочно) она увидела в этих глазах растерянность и даже смятение. И, легко выдернув руки, крикнула:

– А чей еще?! Твой, что ли? Желтухин – это династия артистов. Еще от дяди Коли...

Отвернулась и – вот бесстрашная задрыга! – назад пошла, туда, где за частоколом кокосовых пальм стояло сине-зеленое море. Он догнал ее в два прыжка, мягко удержал за руку:

– Дяди Коли... а фамилия дяди Коли?

– Да пошел ты! – сказала она и вырвала руку. Заплакала, повернулась и побрела, не оглядываясь.

Он опять нагнал ее, властно взял за плечо:

– А фамилия дяди Коли – не Каблуков ли?

Тут уже она споткнулась, попятилась, как оглушенная, опять подалась к нему, спрашивая что-то ошеломленными руками, вытаращив глаза, еще влажные от слез. И стояли они близко-близко, молча друг на друга уставясь, не зная, что еще сказать, о чем спросить, как нащупать первую ступень лестницы, разбегавшейся в две такие семейные дали...

Они были одного роста, а когда у вас на одном уровне глаза, ничего не остается, как все время в эти глаза смотреть, выживая из них звучащий, карусельно крутящийся мир.

В ухе у нее качалась-покачивалась старая монета. Леон коснулся ее, слегка повертел в пальцах, взвешивая. «Папа просто швырнул ему под ноги эту монету, Яшкины отступные, – услышал он голос Барышни. – И Каблуков преспокойно поднял ее и положил себе в карман».

Все точно: неказистая, а тяжеленькая. На одной стороне затертый двуглавый орел, на другой чеканка: «3 рубли на серебро 1828 Спб». Только не серебро это, вот в чем штука: чистая уральская платина, и отполировать ее не мешает. Вряд ли девчонка голодала бы и караулила на пляже паром, если б знала, что носит в ухе.

– Так вот как выглядит «белый червонец» Соломона Этингера, – пробормотал Леон, улыбнувшись. – Мое, между прочим, наследство.

– Но-о ведь та-ак не быва-ает... – пропела она.

– Не бывает, – согласился он.

Уж он-то отлично знал, что *так* не бывает. Его на курсах учили, и он вызубрил назубок, что *так* – не бывает. Разве что один шанс на миллион.

И уж конечно, не в подобных обстоятельствах. Не на острове Джум в Андаманском море. Не с глухой девицей, читающей по губам. Не «Стаканчики граненые», и не царский червонец в ухе, и не четыре поколения, кричащие ему сквозь весь двадцатый век: все доподлинно, все так и есть, вот так все и бывает...

Странный это роман, где Он и Она встречаются друг друга чуть ли не в конце; где сюжет норовит ускользнуть и растечься на пять рукавов; где интрига спотыкается о нелепости и разного рода случайности; где перед каждой встречей громоздится высокая гора жизни, которую автор толкает, подобно Сизифу, то и дело оступаясь, удерживая вес, вновь напирая плечом и волоча эту нелепую повозку вверх, вверх, к эпилогу (где всех нас, бог даст, встретит знаменитое верхнее до), – обреченно тащит ее, вопреки здравому смыслу и законам сюжетосложения, озираясь по сторонам и безудержно оплакивая тех, кто из повозки выпал.

Странный это роман.

Они истоптали изрядную часть пляжа, вколачивая в него вопросы-ответы и те вопросы, на которые ответов не было, вернее, искать их надо было сообща, и они искали: останавливались, отгребали ребром босых ступней площадку мокрого песка, и Айя, присаживаясь на корточки, веткой рисовала то и это (например, улицы их алма-атинской окраины или диковатое сооружение – дубовую исповедальню, превращенную в «обучающий шкаф»: вот тут папа сделал отсеки для клеток, по углам вставил мини-динамики – объясняла и опять расспрашивала, поднимая на него карие с зеленцой глаза и хмуря шелковые брови:

– Ты что, не знаешь, как кенарь разучивает плановую песнь?

– Немного знаю, – улыбаясь, отвечал он, – по себе...

Леон уже понял, что для проникновения в это лицо, в эти глаза, для ее отклика, для *свободной проводимости звука* нужно лишь коснуться ее, взять за руку или положить ладонь на плечо. А когда она была рядом, прикосновение становилось единственно логичным, практически неизбежным, ежеминутным... необходимым, наконец. И потому неизбежно и ежеминутно она присутствовала на расстоянии жеста. А лучше всего было просто смотреть ей в глаза, беззвучно вышивая губами слова.

– Откуда у тебя такое имя?

– Айя? Не знаю, кажется, бабушка придумала. А что, не нравится?

– Да нет, вполне годится...

С тобой так легко разговаривать, сразу призналась она, тебя понимать

легко – движения губ легкие, четкие. Даже голос будто слышу.

– Я и есть Голос, – сказал он. И пояснил: – Певец же. Внятная артикуляция.

– А балерина? – вдруг спрашивала она. – Ну, под чьими окнами дядя Коля спал зимой в своем знаменитом кожаном плаще. Ты ей кем приходишься?

– Какая балерина! – фыркнул он. – Балерин с такой грудью не бывает. Это Барышня, Эська. А еще была Стеша... Были Большой Этингер, Дора с ее «грудкой», испанка Леонор... И все это – Шекспир, Гомер и Софокл, и тень отца Гамлета...

* * *

– Ну ладно, – проговорил он наконец.

За три часа безостановочной, бурной, то и дело отпрыгивающей в детство, перебивающей друг друга, ветвящейся по родным городам и улицам, по самым-самым родным лицам двухголосой речи (изрядно его утомившей, ибо под прямым, душу вымогающим взглядом этой девушки надо было исхитриться и не выложить всю подноготную своей биографии, а нести привычную *служебную чушь*) – за эти три часа Леон, кажется, досконально выучил улицы ее детства, апортовые сады, каток Медео, «папины методы обучения канареек» и «папины воспоминания о дяде Коле»... Интересно, что ж она по всему свету бежит от такого замечательного папы?

Все это свалилось ему на голову неожиданным хлопотным наследством, и бог знает почему он считал себя обязанным... да нет, просто *повязанным* с этой странной глухой девушкой. С этой *канареечной родственницей*.

Например, сейчас мучительно думал, как лучше поступить: дать ей денег на паром до Краби, а там, на самолет... куда? (Видимо, в Лондон, отозвалась она, хотя и не хочется; может, в Бангкоке тормозну, там у меня друзья; может, мотнусь в Алма-Ату, отца проведать...) Или все же рискнуть и взять ее на борт пенишета, а завтра подбросить до Краби – тем более что вечером ему и самому вылетать оттуда же в Париж? Доставить ее самолично, чтобы уж быть уверенным... в чем, между прочим?

Человек по натуре замкнутый, давно и с успехом затоптавший в себе любые сантименты, он безуспешно допрашивал себя: ну что ты к ней привязался? Что еще хочешь вытянуть из глухой бродяжки? Согласен,

встреча двух потомков одной канарейки, да еще на острове в тропической глухомани – это удивительно и трогательно, это чистый Голливуд. Но взгляни на ситуацию трезво: на что тебе со всем твоим хозяйством дался этот *трудный* случай?

В конце концов он предложил ей выбирать самой, отлично понимая, что потакает этим себе, себе...

– Конечно, с тобой! – горячо выдохнула она. – Куда угодно! А куда? Давай совершим кругосветку!

И без малейшей паузы обрушила на него историю о каком-то своем бывшем возлюбленном (а число им – легион, подумал он с неожиданной для себя горечью), который «полуяпонец-полуамериканец и очень творческий человек, знаешь!» – давно бороздит океан на маленьком паруснике, а однажды причалил к такому острову, Тикопия, где на коленях приносил дары вождям четырех племен, чтобы те позволили ему бросить якорь...

Кого она напоминала? Владку – целой горой цветистых бредней, вываленных на него за три-четыре часа. Разобраться бы, насколько эти бредни далеки от реальности. Впрочем, он был так впечатлен подлинным червонцем Соломона Этингера, что волей-неволей приходилось учтиво реагировать и на остальное.

– Увы, – сказал он. – Кругосветку придется отложить. Подброшу тебя в аэропорт и куплю билет до Лондона.

– Ура, – отозвалась она разочарованно, но покладисто.

По длинному берегу они дошли до деревни – большой и утоптанной поляны с двумя десятками бамбуковых курятников на сваях, под чубатыми крышами из сухой травы, – где состоялось трогательное прощание с добродушной кубышкой Дилой в платье из такой блескучей, алой с золотом, парчи, что Леон, человек театральный, аж крикнул от удовольствия: интересно, какой затейник догадался одарить старуху этим венецианским великолепием!

Из курятника Дилы был извлечен тощий, грязноватый, явно выдавший виды рюкзачок Айи, и пока перед хижинкой происходило надрывное прощание (а из дебрей курятника с воплями выскочила еще одна косоглазая нимфа и кинулась Айе на шею), Леон сидел на пне, разглядывая совсем уже театральную декорацию: бунгало, поднятое на развилку могучего дерева. Кто там живет – не местный ли колдун? И как вообще забираются люди в это жилище? Вот кому не страшны никакие приливы. Так это здесь,

что ли, родились и выросли «ужасные нубийцы» Иммануэля? Или в соседней деревне? Приступать сейчас с расспросами к Диле при таком наблюдательном свидетеле, как эта девушка, было бы крайне неосмотрительно. Да и какая разница, где они выросли? Хотя, конечно, интересен путь от дикого местного бунгало в развилке дерева к великолепному «бунгало» Иммануэля в Савьоне...

Наконец Айя с заплаканными глазами предстала перед Леоном и объявила, что можно двигаться:

– Дила – просто ангел, мы так рыдали обе!

– И вот за этим помойным мешком мы сюда топали?

Именно, отозвалась она, это не мешок, а специально обученный рюкзак. Открыла и показала: два отделения. Вот тут – аппарат и линзы, здесь – новейшей модели ноутбук, «мое сокровище, мой дорогой Фото Иванович Шоп»...

Пока шлепали назад, Леон выслушал длинную практическую лекцию по кадрированию и обрезке снимков. Удивлялся. Кивал. Восхищался... и вообще, дал ей свободу фотографического волеизъявления: он обожал профессионалов в любом деле и всегда уважительно терпел их косноязычные словоизвержения. Впрочем, *эта* была, надо признаться, повострее многих, а когда рассуждала о своем деле, вовсе не казалась подростком, как на первый взгляд.

– Сначала увидь что-то! – говорила она, взрывая мокрый песок пальцами босых ног. – Все зависит от остроты взгляда: способен ты выхватить натуру из гущи или нет: лицо, жест, смысл сцены... Конечно, ядро нашего дела – репортажная съемка. Тут никуда не деться: да, девяносто процентов снимков уходит в брак. Но те, что остаются... Это всегда секундный роман: увидел, влюбился – и человек даже ничего не почувствовал, потому что от «полюбил» до «расстались» проходит мгновение...

– А у тебя всегда проходит мгновение от «полюбила» до «расстались»? – насмешливо уточнил он, и она нетерпеливо и дурашливо отмахнулась.

– Будущий кадр – это чистая интуиция. Он сначала – нигде, в воображении. Я нашариваю внутренними щупальцами его границы, отбрасываю лишнее. Подношу камеру к глазу, вижу картинку в видоискателе... Мозг в это время пашет, как компьютер: что попадет в зону глубины резкости, что окажется размытым фоном. И затем: резкость, спуск! – как пуск ракеты.

В такой репортажной съемке, подумал Леон, довольно опасной (ибо не каждому громиле понравится нацеленный на него фотоглаз), ей, должно быть, помогает природное обаяние: навстречу летит вопросительная улыбка, молчаливая просьба «щелкнуть?» – и лица смягчаются, громила приосанивается и вытаскивает из крокодильей пасти манильскую сигару...

* * *

Здесь пляжный закат напоминал платье кубышки-Дилы: то же алое золото в воде, в огненном смерче закрученных штопором облаков на смятом небе, в объятых жаром курчавых горах, в трагическом спуске на воду солнца, зиявшего входом в огненный туннель. Спектакль, поставленный неистовым режиссером без единой капли художественного вкуса. Ежевечерняя истерика тропической природы.

– Это остров со мной прощается, – заметила Айя, – в тон моей рубашке...

– Хочешь, щелкну на память? – предложил Леон.

Она покачала головой, нахмурила роскошные брови и сказала, кивнув на свою камеру:

– Мильён штук закатов...

От пенишета она пришла в восторг. Тот и вправду попался на редкость удачный: почти новый, с двумя каютами, кормовой и носовой, и при каждой – душевая с галюном. И кухня довольно просторная (насколько это возможно на такой плавучей «хрущобе»), и все при ней: холодильник, плитка, в ящиках чего только нет, от штопора до рюмок (за «интерьер» с Леона содрали еще двести долларов, и дело того стоило). Главное, осадка у судна – всего 85 см, и значит, даже на мелководье можно подойти близко к берегу. Удобно, когда ты не связан с портовыми понтонами: причаливай, где душа просит, – в лесу ли, на берегу реки, на морском побережье. Вбил кувалдой железные колышки, привязал канатом кораблик, как козу – пастись, а сам – на свободу: гуляй, ужинай, спать заваливайся...

Леон оставил пенишет там, где кокосовые пальмы на тонких ногах спускались к миниатюрной заводи, отделенной от моря бурыми, щекастыми, в мокро-зеленой щетине камнями, по которым карабкались какие-то юркие и корявые морские обитатели. Одна пальма (ориентир и «якорь») так наклонилась к воде, что путаница ее корневого клубня

наполовину вздыбилась над песком.

К плавучим домикам он стал приглядываться, едва оказавшись в Париже. «Плавучий Париж» – вообще отдельное пестрое государство: баржи-рестораны, баржи-театры, и жилье, и притоны... Единственная морока – место для «прописки» такого романтического обиталища. Сегодня застолблен и обжит каждый кусочек берега Сены. Леон лично знал двух артистов кордебалета, которые мечтали за копейки избавиться от катеров, доставшихся в наследство.

– Да здесь можно годами жить! – заявила Айя, дотошно обшарив и осмотрев все отсеки.

– А люди и живут, – отозвался Леон, – причем издавна. Пенишет – это же от «пениш», «баржа». Когда вся промышленность работала на угле, хозяева барж были таким отдельным народом во всех странах. Плавали, зарабатывая на перевозках угля, там же и жили.

– А вот это колесо с рожками, значит, – штурвал... Дашь порулить?

Щелкнула тумблером на пульте управления, и тут же загорелась лампочка и раздался комариный писк.

– Ой, что это?

– Выключи, это подкачка дизеля! – прикрикнул он. – Не смей ничего трогать!

Но через минуту сжалился и показал пост управления: тут все довольно просто. То, что «колесо», – то штурвал, да, а это приборная доска: тумблер зажигания, рядом – сектор газа, вот этот рычаг – «вперед-нейтралка-задний ход»... Ну, и спидометр, показатель расхода топлива, «автопилот», эхолот, GPS...

– Ты не хочешь... – У него чуть не вырвалось: «...помыться?» – и, ей-богу, судя по затрапезному виду и солоноватому запашку, душ ей бы не повредил, да и рубаху эту революционную недурно бы простирнуть. Но он запнулся и спросил: – Не хочешь перекусить? – Вспомнил, как она заглотала суп на террасе бара.

На Краби он запасся толковыми и вкусными консервами, вроде утки в вине с белыми грибами, несколькими сортами сыров и сухарей, кофе, шоколадом и даже двумя бутылками бургундского, которое за последние годы в Париже полюбил и иногда позволял себе – разумеется, не в дни концертов или спектаклей.

– Да нет... – Она засмеялась: – Неужто я так отощала?

Он сделал вид, что пристрастно ее осматривает. Даже, взяв за плечи,

прокрутил перед собой полным кругом.

– Не знаю... Вдруг раньше ты пышкой была?

– Никогда! – твердо возразила она. – Это не мясо, это жилы и мускулы! Во-первых, я все детство на соревнованиях по фигурному, а потом, в Судаке, целое лето зарабатывала брейк-дансом на набережной – вообще стала каменная. А потом пасла коров, там тоже нужна силища – кнутом щелкать. А еще у меня был цирковой эпизод в биографии: я боролась сдохлым удавом – знаешь, какой тяжелый! Если повесить на шею – это как колесо от грузовика.

Он вздохнул и покачал головой: как все это знакомо! Будто домой вернулся.

– Не веришь?!

Она метнулась к рюкзаку, извлекла ноутбук, открыла, нащелкала что-то и подтянула линейку громкости. Грохнула ненавидимая Леоном ритмичная долбежка брейка, сотрясая кораблик почище шторма.

– Но ты же?.. – крикнул он, подразумевая «не слышишь?»...

– Волновая природа звука! – крикнула она. – Ритм!!!

Вылетела на палубу, деловито оглядела пяточок свободного места...

...и тело ее взметнулось, упруго мелькнуло в воздухе, сделав кульбит, в котором и обнаружились белые драные шорты, кругло закрутилось на полу, перевернулось на живот, рухнуло на растопыренные ладони, заскользило клубком, выбрасывая в сторону ногу, руку, ногу, руку... Она заюлила на полусогнутой ноге, вытянув другую, пружинисто поскакала опять на обеих ладонях, заскользила, волнисто извиваясь, пунктирно, коротко обрывая свои движения, переступая растопыренными ладонями по невидимому стеклу перед лицом... Чах! Чах! Чахи-чах! Хоп-кульбит! Хопкульбит!

Когда музыка оборвалась, она так и осталась стоять на руках, с мокрой от пота жарко-алой, спавшей на лицо рубашкой, уставясь на Леопа двумя упругими грудками.

За ее спиной тлело желтое вымя заката; пылающие облака истекали горячим небесным молоком.

«Совершенная оторва!» – подумал он, вдруг ощутив, как соскучился по своей безумной матери. Та тоже порой позволяла себе выскочить из душа голяком и, гаркнув: «Не смотреть!!!» – рвануть к шкафу за чистым полотенцем.

Пружинисто отпрыгнув на ноги, девушка выпрямилась с торжествующим видом. Даже не слишком запыхалась.

– Блеск! – искренне выдохнул он, выставив большой палец.

Ну что ж, брейк-данс тоже оказался правдой. Видимо, и задохлым удавом дело не станет.

– После такой разминки, – уже не опасаясь обидеть, заявил Леон, – человек нуждается в помывке. Вон там, за кухней, твоя каюта, при ней душ и горшок. Это важно! На корабле самое опасное место – галльюн. Моется забортной водой: открываешь клапан, подкачиваешь воздушным насосом и спускаешь воду. Покажу, как пользоваться. Там полотенце, мыло, то, се... У тебя есть во что переодеться?

– Не-а, – сказала она. – Все барахло осталось у Дилы. Даже не стоило забирать, там такая рвань... У тебя найдется какая-нибудь футболка или чё-нить? Шорты или там... трусы?

Он перебирал в чемодане отпускное барахло (за последние годы обзавелся целым шкафом весьма недешевых шмоток и, бывало, перед тем как надеть, бормотал: «Мой венский гардероб!») и думал: шляясь по свету с такой дорогушей оптикой и ноутбуком последней модели, девица могла бы занять хотя б одно приличное платье.

В конце концов выдал ей белую футболку с надписью «Камерный оркестр Веллингтона» и тренировочные синие трусы, в которых обычно бегал по утрам. Пересидит в этом, пока стирает и высушит свое тряпье.

Она отправилась в душ, но сразу же вернулась, чем-то озабоченная:

– Ага, вот еще... – пробормотала. – Ты не мог бы мне одолжить свою бритву?

– Нет, – сказал он. – Как и зубную щетку.

– Зубная щетка – ерунда! – Она смущенно отмахнулась. – А бритву... мы ее потом могли бы протереть э-э... гигиенической салфеткой.

«Мы»! Очень мило.

– А в чем дело? – спросил он. – Выкладывай.

– Понимаешь, – торопливо объяснила она. – Я боюсь, как бы... Там, у Дилы, много разной публики ошивается. Неплохие ребята, хотя есть ужасные типы. А у тебя тут все сверкает. Ну, и, в общем... я бы хотела обрить башку. Под нуль. На всякий пожарный.

– Вши? – прямо спросил он.

– Ага, – с облегчением, чуть ли не весело отозвалась она. – Голова с утра чешется, сил нет.

Ну, поздравляю, подумал он, злясь на себя самого, поздравляю! Какого черта ты ее сюда приволок? На хрена тебе вообще сдалась эта бродячая фотопозма? Нет, друг мой, ты сейчас поменяешь концепцию и деликатненько выпроводишь ее на берег. Свою платину из ее ушка

выдирать, конечно, не станешь, наоборот, отвалишь энную сумму – в память о «стаканчиках граненых» и прочих фамильных нежностях. Пусть Барышня порадует на небесах. Пусть девочка купит себе приличные штаны и рубашку.

Вдруг он вспомнил, как однажды приволок арабские вшей из трехмесячной «командировки» в Хеврон, из того самого рабочего барака, где спал на каком-то тряпье, а однажды утром вытряхнул скорпиона из строительной каски. Вспомнил, в какой ужас пришла Владка, – боялась прикоснуться к сыну, даже когда он с хирургическим тщанием выбрил себя всего, с головы до ног, превратившись в пасхальное яичко.

– Стой там! – буркнул он. – Иди сюда!

Огляделся, достал из-под мойки пустой мусорный бак, перевернул и поставил посреди камбуза.

– Раздевайся!

– Совсем? – деловито осведомилась она. – У меня под шортами ничего...

– Совсем! – рявкнул он. Смягчившись, пояснил: – Все это выкинем. Погоди-ка... – извлек из ящика и развернул пластиковый мешок: – Бросай все сюда.

Второй мешок расстелил на перевернутом баке, готовя импровизированное парикмахерское кресло.

Она стащила через голову красную рубаху, стянула шорты – глядя ему в лицо доверчиво и прямо, как смотрит новобранец на врача армейской медкомиссии.

Старательно отводя глаза, он шарил в несессере среди ванной мелочовки, искал безопасную бритву... Ага, есть. И ножницы. И крем для бритья, отлично...

Ну, что она тут топчется так откровенно, да еще уставилась на меня? Гос-с-с-споди, вот бесстыжая девка! Тоже, нашла себе бр-р-р-ратика!

И вдруг – будто оплеуху себе отвесил: да ведь у нее нет выбора! Она должна видеть лицо, чтобы тебя понять. Она не выбирает эти лица, – понял, ты, болван?

– Так. Села ко мне спиной...

Она развернулась, как солдат по команде «кругом», – узкие бедра, мальчишеские плечи... Уселась, обеими руками вцепившись в края

мусорного бака.

Он глянул на ее спину и обомлел: чуть ли не от самого затылка вниз, под левую лопатку уходил длинный, бело-розовый на золотистом теле шрам.

Он замер с бритвой в руке и так стоял, не сводя глаз с этого тонко заштопанного следа чьего-то ножа.

– Ты что-то говоришь? – тихо спросила она.

Он опустил руку на ее плечо и сказал:

– Нет. Ничего.

Молча намылил ей голову и ровно, точными движениями стал снимать полосы густых каштановых волос: неважно, отрастут еще... Будто самого себя брил.

* * *

Впервые она обрилась наголо, перед тем как смыться из Лондона ко всем чертям.

Ее лысая башка оказалась последней каплей в отношениях с Еленой, женой Фридриха. Та просто чесалась от ненависти (и не пыталась этого скрыть), когда девчонка заявлялась посреди какого-нибудь приема или «уютного вечера». «Уютный вечер» – жанр, особенно любимый Еленой, – означал особенно бездарную тусню пятнадцати богатеньких мудаков из ее обычного окружения вокруг приглашенной знаменитости, вроде какого-нибудь российского телеведущего.

Впрочем, Елену можно понять: у «казахской шлюхи» и впрямь была та еще манера вонзиться в гостиную – посреди благолепия – пьяненькой или подкуренной, да еще со своей вечной камерой, выводящей «тетю» из себя.

– Прекрати щелкать каждое мое слово! Не смей снимать, я сказала! Посмотри на себя в зеркало: ты катишься в лапы к дьяволу!

Ей бы подошла миссия проповедника в дебрях какого-нибудь Сомали, и если б ее съели туземцы, озверев от одного лишь ее постного экологического голоса, их можно было бы поздравить с переходом на здоровую органическую пищу, ибо Елена Глебовна питалась, одевалась и подтирала свою изысканную задницу исключительно продукцией органического производства (здесь Айя обычно издавала губами непристойный звук).

Единственным приличным человеком в особняке была Большая Берта, хотя и та не сразу приняла Айю. Наоборот: зыркнула своими голубыми, как синька, глазами в крахмальных, без ресниц, веках, поджала губы и сказала, будто выплюнула:

– Noch ein Kasache!^[42]

Фридрих расхохотался.

– Не обращай внимания, – сказал он Айе в первый ее вечер в Ноттинг-Хилле. – Большая Берта монументальна и непрошибаема – как в своих привязанностях, так и в ненависти. Она к тебе привыкнет.

Кстати, прозвище «Большая Берта» (в честь знаменитой немецкой мортиры 420-миллиметрового калибра) дал ей именно Фридрих, еще в детстве. Ее выдающийся костистый нос и впрямь напоминал дуло гаубицы. А рост! А зад, под который всегда требовалось двойное сиденье!

Старуха же (когда Фридрих родился, она не старухой была, а маленькой девчонкой, приемышем, седьмой водой на киселе) всегда именовала мальчика не иначе как «Казах». Не могла простить ему происхождения. Хотя и обожала, хотя и знала (была заикающимся от страха свидетелем, забившимся между буфетом и кладовкой), что солдат Мухан спас Гертруду, застрелив своего лейтенанта. Тот уже валял ее по полу кухни, правой рукой пережимая ей локтем горло, а левой расстегивая свою ширинку. Он так и утих, трижды подпрыгнув, с тремя пулями в спине и с расстегнутой ширинкой, заливая распростертую и полузадушенную Гертруду красивой малиновой кровью... Кстати, надо бы выяснить у Большой Берты, куда они дели тело этого самого героического лейтенанта? Стащили ночью по лестнице и вывалили в ближайшее озеро? Айя любила ошарашить старуху каким-нибудь таким вопросиком.

Короче, вынянчив мальчика, Большая Берта, фантастической своей преданностью напоминавшая сторожевого пса, ни разу не упустила случая невозмутимым тоном произнести в самой невообразимой ситуации – например, посреди «уютного вечера»:

– Der Leutnant, das wäre besser. Immerhin ein blonder, mit einem menschlichen Antlitz, kein Schlitzauge...^[43]

О, Берта, Большая Берта... Целая поэма – эта старуха.

Ладно, проехали. Проехали всю их долбаную жизнь в дорогом Ноттинг-Хилле.

Первые три года, прожитые в Лондоне, казались ей отдельной жизнью, полной воспоминаний...

Лондон был мышцей, что сжимала и душила, но иногда и отпускала, и город вновь представал свободным, веселым и заманчивым, особенно если всю ночь колбаситься по барам и пабам Сохо с их потрясающими рожками.

А в первую ночь в доме Фридриха и Елены Айя смотрела в окно на странное желтое небо, затянутое низкими облаками. И долго ее не покидало ощущение искусственности всего, что ее окружало, – будто находишься не на улице, а в каком-то павильоне, выстроенном для съемок фильма из диккенсовских времен: узкие улочки, переулки, подвалы... Даже на Темзе, с ее простором, с широкими выхлестами ее мостов, с остриями башен, с гигантским колесом обозрения, в первое время – особенно на закате – Айе казалось, что она попала в открытку. Но потом пришло лето, и над цветными антикварными лавками на Портобелло-роуд поплыли по синему небу розовые облака, и серый город напился красками – ярко одетые, раскованные люди сидели за столиками кафе, попивая кофе и «пиммс», а по округе там и тут разворачивались овощные рынки, где краснощекие английские фермеры приветливо улыбались в объектив ее фотоаппарата и даже помахивали широкой ладонью.

Словом, это был отдельный жизненный перегон.

Весь ее путь от апортовых садов был помечен такими перегонами, и каждый отличался от предыдущего абсолютно всем: людьми, обстоятельствами, жильем, небом и облаками, а потому вначале очень ей нравился – новизной.

Но по мере того, как живая жизнь перекачивалась в «рассказы», в здоровом чреве этой жизни неизбежно заводились тараканы и мошки скуки, а потом шевелились черви тоски и отвращения. Жизнь загнивала, ее хотелось вышвырнуть в мусорный бак и начать совершенно иной «рассказ»: пересест в другой поезд, корабль, самолет; встретить новых людей; сбрить волосы, проколоть вторую ноздрю, покрасить кармином половину лица; косячком разжиться, наконец.

Лондон она покидала дважды.

Выкатившись из «органического рая» Елены Глебовны, Айя устроилась на работу в «Блюз-бар» («живая музыка в стиле “блюз” весь вечер к вашему удовольствию!») в самом злочном районе Сохо. Это было классно! Она научилась отрывисто и громко разговаривать по-английски, наострилась читать по губам так же хорошо, как и по-русски, отпускать шуточки и подмигивать посетителям. Англичане любят

таскаться по барам и пабам, так что через месяц-другой Айю знал весь район, у нее появилось много приятелей и друзей, вроде Эми, которые не во всем соответствовали понятию «приличные люди». Елена Глебовна таких на порог не пускает.

С Эми и ее старшим братом Алом они снимали квартиру в подвале под «fast food chicken shop». И все бы ничего, но Эми (она была менеджером бара, где все они вкалывали) страшно пила, бедняга, а контракт на съем квартиры был записан на Айю. К тому же их надули с электричеством, так что жили они при свечах, без отопления и без горячей воды. Все равно было интересно и здорово, пока хозяева бара не уволили Эми, и однажды, потеряв ключи от дома, та, озябшая, пьяная и в расстройстве (дело было в декабре), принялась ломиться в квартиру, подвывая, разбегаясь и всем телом наваливаясь на хлипкую дверь, которую в конце концов и вышибла. Соседи вызвали полицию, и первое посещение участка (приезд rigs совпал с возвращением Айи из колледжа, поэтому, не вдаваясь в объяснения, скрутили обеих и поволокли в машину, по пути поддавая в спины для бодрости духа), – это посещение произвело на девушку сильное впечатление. Жаль, фотик не успела взять, повторяла она: такие чудные рожи маячили что по ту, что по эту сторону «обезьянника»!

Потом брат Эми испарился, и Айя тянула на себе все квартирные расходы и ждала, когда истечет срок аренды. А пока они с Эми продолжали жить без отопления, при свечах и с дверью, снятой с петель и сдвинутой вбок.

Когда стало совсем невмочь, Айя сбежала (смылась, слиняла, улизнула, укатилась, как колобок: я от папы ушла, от Желтухина ушла и от Фридриха ушла, а от вас, упыри поганые, тем более уйду). С неделю примерно днем болталась по городу, а по ночам, после закрытия бара, тайно проникала в помещение – у нее имелись ключи, хозяева ей доверяли.

Хорошие, уютные были ночки: спала она на диване у камина, укрываясь тремя снятыми со столов скатертями; если просыпалась, наблюдала мышинный футбол: маленькие существа из сказок Гофмана гоняли по полу фисташковые скорлупки. В старинной церкви неподалеку бил колокол (по телу мягко прокатывались длинные воздушные волны, одна за другой), и росла внутри, набухала такая нестерпимая тоска, какой Айя сроду не испытывала. Однажды ночью, по-воровски подкравшись к дверям бара (ключи наготове), увидела, как дикая лиса пытается носом открыть крышку мусорного бака. Крышка не открывалась, и, ужасно злясь, лиса царапала ее, широко разевая пасть.

Снимок дикой лисы, оскаленной в тщетном усилии над крышкой мусорного бака, стал последним в том «рассказе» о Лондоне.

Она подсчитала всю свою наличность – «докуда хватит», – кое-что одолжила, продала все, что получилось продать (кроме фотика, конечно), и утром уже болталась по Хитроу в ожидании рейса на Рио-де-Жанейро – «красивое имя, высокая честь»...

Это был ближайший по времени самолет, и в нем – единственное свободное место.

* * *

– А ночью ты не плывешь?

Бритая наголо, в его белой футболке «Камерный оркестр Веллингтона», в его спортивных трусах она была похожа...

...да на меня она похожа, вот на кого, понял Леон. Тем более, что и сам, принимая душ, решительно обрил голову: все равно скоро на сцену – парики, шлемы, грим; барочные видения, золотые колесницы, шелковые тоги и тюлевые крылья кордебалета... – Ночью люди спят, – сказал он.

После всех наглядных инструкций – как действует на судне душ и смыв в гальюне и чего ни в коем случае делать нельзя, дабы не *свалить «титаника»*, – после ее переспрашиваний, уточнений и путаницы пришлось плюнуть на оставшиеся *цирлих-манирлих* и самому проследить за ее помывкой – что она, в отличие от него, перенесла просто и покладисто, как трехлетний ребенок: «закрой глазки, чтобы мыло не попало».

Сейчас они сидели на камбузе и ужинали уткой и сыром. Собирая на стол, он хотел открыть бутылку бургундского, но вспомнил о пьяном разгроме в баре (сейчас у него уже не было причин ей не верить) и заменил вино виноградным соком.

На экране компьютера, распахнутого на крышке кухонного шкафа, беззвучно проплывали виды какого-то ночного – судя по архитектуре, испанского – города.

– Это Лиссабон, – заметила Айя, мельком глянув на экран.

– А ты, похоже, землю трижды обошла, как Вечный Жид?

– Почти. Мы с моей подругой Михаль месяца три шатались

по Испании. Немножко поработали, сколотили копейку и просто гуляли: каждый день – город. Однажды за завтраком, в Севилье дело было, она говорит: а слабо в Португалию махнуть? И мы собрались в пять минут.

...Собрались-то в пять минут, зато потом долго добирались на перекладных через все деревни Эстремадуры – на автобусах, попутках, чуть ли не на телегах. А когда добрались, разверзлись хляби небесные – страшный, просто тропический ливень...

Они вбежали в первый же ресторанчик на руа Мария да Фонте и под смешливыми взглядами молодых красивых официантов отряхивались на пороге, как бродячие псы, потом присели за столик у окна и попросили – бр-р-р-р! – кофе погорячее.

В окне мотало и гнуло высоченные деревья, растущие вдоль улицы. Вдруг все замерло, будто в преддверии Слова Господня, – и каменным обвалом, с беспощадной мощью рухнула на мир серая плита воды. Айя смотрела на Михаль, на ее милое некрасивое лицо с неправильным прикусом; та улыбалась в ответ, и они сидели так, бесконечно долго, обсыхая, грея ледяные ладони о чашки, словно были одни-одинешеньки.

Когда наконец вышли на крыльцо, вместо мостовой бурлила, катилась, крутилась бешеная река под уклон улицы; невозможно было и помыслить в нее войти.

Они стояли на ступенях под козырьком, взявшись за руки, – пришлые бродяги посреди вселенского потопа, свободные, бездомные, юные и сильные этой свободой и юностью, – и ждали, пока стихия успокоится. А дождь все лил, лил, и они все стояли и стояли, совершенно одинокие в чужом городе. Рука Михаль озябла и превратилась в ледышку, и Айя время от времени подносила ее ко рту, дышала на нее, согревая...

В конце концов ресторан стали закрывать, переворачивать на столы стулья, мыть полы. И тогда один из официантов – тех, смешливых – снял обувь, засучил брюки до колен и по очереди перенес обеих на спине на «другой берег», к автобусной остановке...

– Где-то была фотография, – сказала Айя, – надо поискать: Михаль на спине нашего доброго Харона...

– Возьми еще утки, – сказал Леон. И положил в ее тарелку мяса.

Со стороны бунгало-бара, опоясанного гирляндами весело прыскающих крошечных лампочек, слабо доносились блюзовые всхлипы; их вспарывали скандальные крики обезьян из влажной путаницы джунглей, звон цикад, какой-то беспрерывный стрекот и редкие истерические взвои –

фон, в который вплетались мерные тяжелые удары волн о песок и плеск волны о борта пенишета.

И все подминала под себя восходящая царственная луна – лимонный прожектор в зыбучих барханах звездного песка.

– А спать мы будем вместе? – спросила она тем же нейтральным тоном, каким интересовалась сортом сыра.

Он поспешно и категорически отрезал:

– Нет.

– Почему?

– Потому что ты не пляжная бабочка, а я не взыскиваю с женщины платы за тарелку супа и провоз до Краби.

– Ясно, – отозвалась она. – Это благородно.

...Двумя словами превращая меня из идиота в мудака...

Минуты три ели молча.

Он опять подумал: когда она молчит, возникает шизофреническое ощущение, будто я ужинаю в компании с *другим* собой.

Впервые в жизни рядом с женским существом он чувствовал полное, спокойное и какое-то домашнее равенство. Хотя, если вдуматься: какой покой может быть рядом с подобным беспокойством – с этой бродяжкой, у которой на каждый случай припасена безумная история из собственной биографии?

– У тебя есть жена?

Она задавала вопросы внезапно и прямо, после чего взглядом упиралась в сердцевину его губ в ожидании такого же прямого ответа.

Он помолчал, пожевал и проглотил кусок сыра, непринужденно и убедительно ответил:

– Есть.

– Врешь, – спокойно отозвалась она.

Он хмыкнул, прикидывая достойную отповедь наглой девчонке.

Но она перебила:

– И женщины у тебя давно не было. Я же чувствовала твои руки, когда ты меня брил и... потом, когда мыло с меня смывал... Ты умирал, как хотел меня. И сейчас ужасно хочешь. Разве нет?

Он страшно разозлился, тем более что она была права. Заставил себя спокойно долить сок в ее чашку.

– Допивай. Как бы там ни было, – твердо проговорил он, завершая этот милый ужин, – сейчас ты отправишься в свою берлогу и прекратишь морочить мне голову. А завтра я отвезу тебя в аэропорт.

Эту девицу, в ярости приказал он себе, собирая со стола и складывая

в мойку посуду... эту чертову вшивую провидицу!!! ты будешь держать подальше от своего хера, понял?!

...Вначале она даже задремала – судя по тому, что ей снилась какая-то чепуха. Усталость последних дней скулила в каждой мышце тела, которое молило только об одном: о неподвижности. Усталость, вкусный ужин, чистая койка в каюте-шкатулке... Айя успела подумать: этот загадочный человек, столько сил прилагающий, чтобы держать себя в узде и ни в коем случае не показать... этот человек, Леон – неистовый, резкий, напряженный и в то же время беззащитный под своей кольчугой, особенно когда...

...и вот уже ехала в поезде, в общем вагоне, – тем утром, когда сбегала из дома, – а на скамье напротив нее сидели трое мальчишек лет семнадцати: Ленька, Генька и Генька.

Они были близнецы, Евгений и Геннадий, да просто – «Генька-Генька», а с четвертым би-боем группы AfroBeat парни рассорились и разодрались еще в Алма-Ате и теперь ехали в Судак без номера четвертого.

Минут через двадцать оживленной трепотни обо всем, что в голову придет, они предложили Айе войти в «четверку крутых би-боев». Самым ударным номером программы у них была «синхронная четверка». Передними запускали близнецов Геньку-Геньку, и те отчебучивали ювелирным ходом один в один каждое движение – убойный был номер, публика обалдевала и хорошо отстегивала: люди же ясно видят, – никакого фуфла, ребята наяривают дай боже!

Айя с восторгом согласилась и тут же в туалете коротко остриглась маникюрными ножницами чуть не под корень – когда вышла, мальчишки ее не сразу признали: она была вылитым парнем. По прибытии в Судак примерно с неделю они ее натаскивали, заставляя десятки раз повторять «бочку», «гелик», «свечу» и «черепашку». (В свою программу ребята щедро напихали трюки и штуки из разных танцев и стилей – от сальсы и рок-н-ролла до капоэйры и даже кунг-фу.)

И после «курса молодого бойца» бросили в дело.

Каждый вечер на набережной Судака, в виду зубчатых башен старой генуэзской крепости «знаменитая четверка би-боев» отжигала нечеловечески.

Они стали – «звезды набережной»; на них собиралась уважительная толпа, так что сборы получались – грех жаловаться.

Ходили они в больших синих футболках с длинными болтающимися рукавами и в черных мешковатых штанах – рабочая одежда брейк-дансера.

Ужинали всегда в «Чебуречной» – там группе давали скидку за постоянство, – а ночевали в палатке на пляже, в спальных мешках.

Это было самое счастливое лето в ее жизни.

Она всем телом слышала море, удары волн о берег, тарахтенье моторок, даже гудки паромов; слышала, лежа в спальнике с Ленкой, куда однажды забралась на рассвете. Ленка и стал ее первым, очень простым, очень честным и душевным парнем. Он всегда делил деньги поровну, всегда сам покупал одежду на всех, заботился о каждом – лепил Айе горчичники на спину, когда простыла...

(Сейчас она иногда жалела, что в одну из ночей ушла, не попрощавшись; жалела, потому что в Ленке, при всей его незамысловатости, была какая-то застенчивая сдержанная нежность. И жаль, что не осталось «рассказа» об их чудесной «четверке крутых бибоев» – диск с этими снимками пропал в Рио вместе со всем остальным, в старом рюкзаке, унесенном бандитами.)

Просто уже надвигалась осень, и, сидя в «Чебуречной», ребята горячо обсуждали, куда податься зимовать: в палатке по ночам становилось холодно.

Айя же совсем заскучала и злилась, что приходится скрывать эту скуку от остальных и отплясывать надоевшие танцы, в трехсотый раз повторяя навязшие в ногах-руках фортеля. Никогда не могла и не хотела стреножить эту свою вольную тягу; вставала и уходила – прочь, и дальше, и дальше катилась, пока не упиралась в новую жизнь, в совсем другие лица, совсем другие пейзажи.

Однажды, когда мальчики уснули, она легко и бесшумно выбралась из спального мешка, быстро сложила свой рюкзак с фотоаппаратом, вышла на дорогу с поднятой рукой – бесстрашная тонкая фигурка с рюкзаком, в ошпаривающем свете желтых фар. Добралась на попутке до Феодосии и села в первый же поезд, который ехал... да она никогда особо и не интересовалась направлением поездов. «Встань и иди...»

Тук-тук... тук-тук... тук-тук... В окнах тянулись рассветные кадры Крыма, жизнь мчалась вперед, вновь набирая обороты, становясь глазастой, яркой, жадной, стремительной... рассказливой!

Тук-тук... тук-тук... тук-тук... – радостно прокатывалось по телу.

Открыв глаза, она поняла, что это ритмичное «тук-тук» – просто

переплеск воды о борта катера, который называется забавным детским словом «пенишет».

В двух овальных окнах под потолком каюты слезилось близкое граненое небо в ломовых безумных созвездьях. Опять забыла, как что называется. А ведь Ричи показывал и рассказывал о каждом. Ричи, бывший наркодилер, сам наркуша и конченный человек, месяцами жил у Дилы, скрываясь от закона и медицины. Астроном по образованию, когда-то, лет сто назад, он окончил Беркли и трепетно относился только к звездному небу.

...Она вспомнила весь минувший день, *неприступного шейха*; радостно взмыло внутри: уеду, уеду отсюда! – это было главным. Но мысли опять закрутились вокруг непонятого человека. Вот ведь что получается: никакой он не шейх. Родным с детства кажется – может, потому, что ужасно похож на ту девицу со старой коричневой карточки, в платье с кружевами, с черной бархоткой на шее; и та, оказывается, вовсе не была балериной, но, видимо, что-то значила для дяди Коли, раз он всю жизнь хранил ее карточку.

Айя *прислушалась* и своим безошибочным чутьем поняла, что *этот* ни капельки не спит в своей каюте. Совсем, мучительно не спит...

Больше всего на свете ей хотелось *отдать концы, отчалить, провалиться в черную полынью сна...* здесь, на безопасном семейном кораблике...

Она даже испугалась, что после всех этих тягучих недель и бессонных ночей на нее может навалиться знакомый с детства и неотвратимый, как приступ болезни, трехдневный свинцовый обморок-сон. Сон-защита, сон-занавес, друг, но и враг – в зависимости от того, где и с кем он ее настигал. И наваливался порой так некстати, и скручивал по рукам-ногам, пеленал, как младенца, заворачивал, погружал в забытие...

Больше всего на свете хотелось спать. Но она вновь *прислушалась* и ощутила – дрожь его желания, безысходную пустоту его ожидания, надежду, перекрученную отчаянным, волевым, дурацким жгутом. Вздохнула, поднялась и босиком к нему пошлепала.

...Он услышал этот легкий шлеп, замер и напрягся, ничем не выдавая своего бодрствования. Но когда она возникла в проеме открытой двери, он растерялся: черт возьми, эта нудистка явилась в чем мать родила – прямо Гоген, тропическая простота нравов. Однако на пороге застряла – видимо, за ужином он нагнал на нее страху. Стояла, оплетая собой низкий косяк, в темноте похожая на лысого мальчика, и смотрела на койку,

где во тьме смутно белела простыня, и Леон под ней – надгробным барельефом.

Наконец кашлянула и проговорила хрипатым со сна голосом:

– Не притворяйся, ты не спишь. Я тебя очень чувствую. Я вообще жутко чувствительная. Понимаешь, отсутствие одного органа компенсируется развитостью других. У меня это зрение и что-то еще внутри, назвать и объяснить не умею, просто оно есть.

Он продолжал лежать, не двигаясь, ничем на ее слова не отзываясь, руки за голову. Ситуация идиотская, сказал он себе. Довольно обидно девушке, даже лысой, торчать в голом виде невостребованной. И оборвал себя: нет и нет! Перетопчешься. Утром отвезешь ее в...

– Я только темноту ненавижу, – сказала она. – Темнота – враг глухого. Наверное, она как-то замедляет звук. – И вдруг спокойно, легко проговорила: – Я понимаю, ты брезгуешь. Но, знаешь, я чистая. Никогда не болела разной там... дрянью. Когда в Рио, в фавеле, меня изнасиловали и изрезали два ублюдка, я очнулась в госпитале после наркоза, и первой мыслью было: они меня заразили. Но пронесло. Просто повезло, понимаешь? А потом у меня был выкидыш. Михалька, моя подруга, сказала: какое счастье, ты бы не вынесла – родить этого проклятого ребенка и видеть, на кого он похож, и думать, куда его пристроить... А я очень плакала тогда – от жалости и горя. Я вообще не считала, что этот ребенок – *проклятый*. Это ведь был бы *мой* ребенок, только мой, и он ни в чем не виноват, правда? Я бы его все равно любила...

Он молчал – а может, что-то говорил? – в темноте она не видела лица.

Нет, он молчал, не мог проглотить ком в горле, лежал, пришибленный. *Кто ее послал ко мне* (пытаясь проглотить этот ком), *зачем мне все это слышать с моей долбаной биографией, суки, суки, с-с-суки!!!*

– Просто по ночам бывает так страшно... Ну, я и прикинула: может, пустишь меня полежать рядом, все равно ж ты не спишь? Просто полежать. – И вдруг встрепенулась: – Ты, наверное, думаешь: если у меня на голове вши, то и *там* тоже? Это неправда, но если хочешь, я и *там* побрею.

Он чуть не взвыл от физической боли в груди. Господи, сколько же ее топтали, били-резали, и что ж надо было сотворить с этой девчонкой, если... Откинул простыню и сказал отрывисто:

– Ныряй!

Она увидела, как взметнулся край простыни, бросилась к нему, юркнула в постель, доверчиво растянулась рядом – вероятно, впервые

за эти месяцы не на полу в курятнике у Дилы, не на пляже, а в согретой живым существом постели.

– Ой, тепло-о... – пробормотала. – Ты горячий, как грелка.

Обняла его за шею и сразу *услышала нутряной вой* такой натянутой струны, такой натянутой – только тронь! Подумала – вот бедняга...

– Вообще-то, – буркнул он, слегка отодвигаясь (уже побежденный, уже беспомощный, уже катящийся в сладко пульсирующую бездну), – учти, я не привык к этим к-коммунальным братским постелям... Боюсь, не смогу выглядеть э-э... джентльменом.

– Я уже чувствую, – сказала она безмятежно и просто, как волна, окатила его ладонью от горла вниз, легко и нежно огибая препятствия.

От неожиданности он подскочил и заорал:

– Смирно лежать!

– Почему? – шепнула она, встав на колени и бережно укладывая его назад, как мать – проснувшегося с плачем ребенка. – Ну почему... почему...

И, как волна, накрыла его с головой покрывалом из тысячи пальцев и губ...

Его оглушила глубокая и полная тишина, точно он нырнул в расщелину рифа и продолжал погружаться все глубже, рискуя не вынырнуть никогда.

Лишь безмолвная нежность глубинного течения ворочала его и ритмично качала, и, тихо его обнимая, шевелились бескрайние поля змеистых водорослей – так долго, так томительно долго, так бесконечно долго, так ненасытно долго, что он не верил собственному телу. И, как бывало под водой, на исходе задержанного, запертого дыхания, на взлете невесомого тела, пропарывающего слизистую стихию с легкими, исполненными умирающим воздухом, он испытывал мощный всплеск эйфории, наркотический транс улетающего сознания, блаженный экстаз перехода из бездны в бездну...

Самым потрясающим было: ее руки, их прикосновение; их легкое касание. Эти руки говорили, спрашивали, слушали, убеждали, склоняли, требовали. Они вытягивали, извлекали из его тела только им внятный смысл, исторгнутый спаянной сиамской глубиной; несколько раз он пугался, не услышит ли она его мысли, которых, впрочем, и не было, как не бывало их на глубине...

Раза три он поднимался на палубу, где ровно и свежо тянуло ветром

и под бледнеющим сводом мерно катились серебряные гребни по черной акватории. Гребень скалы неподалеку округлился двумя кучерявыми холками, двумя няньками, баюкающими в седловине-колыбели лимонную луну.

Я сошел с ума, смятенно думал он, отирая ладонью пот, катящийся по груди, я спятил, это во сне творится, так не бывает – и вновь возвращался к ней, уже засыпающей, будил, тормозил, погружался и плыл, выплывал, уходил, настигал, задышался, выныривал...

Ночь казалась бесконечной, невесомой, безмолвной; кажется, они не сказали друг другу ни одного слова, а мускулистая ловкость и совершенная, родственная слаженность их тел существовали сами по себе и были разумеющимися в любом повороте, слиянии, скольжении и обморочном спазме наслаждения, так что раза три он ловил себя на диком ощущении любовных объятий с самим собой...

Под утро Айя уснула – внезапно и окончательно, будто навсегда. Только что ладонь была отзывчивой и властной на его бедре – и вот уже вяло скользнула вдоль тела. Она откинулась на подушку и всем существом в один миг ушла в темную воду рассветного сна. Кончилась ночь.

Он освобожденно вздохнул, – раб, отпущенный на волю; господин, отпустивший на волю любимого раба, – поднялся и накинул рубаху на тело, взмыленное, как у скакуна на последнем фарлонге дистанции. Оглянулся на койку.

Айя спала, откинув голову на подушку.

Минут десять он неподвижно стоял над ней, будто получил задание на запоминание. Отметил, что левая грудь чуть меньше правой – не явно, а вот как у близнецов бывает, когда второй ребенок, в точности такой, как первый, более робок и всегда, во всем как бы догоняет старшего. Моя амазонка... А брови изумительные, *ласточкины*, опять подумал он; и когда закрыты глаза, в лице проступает нечто античное и царственное – лицо с фаюмского портрета.

Он укрыл ее простыней, помедлил, добавил тонкое одеяло – рассвет принес свежую тягу ветра – и поднялся на палубу.

Минут пятнадцать стоял там, остывая, проникаясь наступающим утром, глядя, как сизое небо с каждой минутой выпивает из моря синие соки дня. По горам стекал зеленый шелк рассвета. В отдалении – пунктир ом – шли на лов рыбацьи лодки, под навесами виднелись черные головы. На пустом берегу бесхозными тушами громоздились островки камней – как утопленники, выброшенные волной на берег. Черная масса густой

поросли на холмах, с вымпелами высоких пальм, замерла, притаилась... И только лампочки над входом в ночной бар продолжали вяло пульсировать – видимо, их забыли выключить.

И опять он не понимал, что делать дальше со своей жизнью. Эта бродяжка, столь на него похожая внешне, была благородней, чище и в сто раз трагичней его, как бы он ни лелеял свои душевные порезы и прочие царапины. Она была настолько значительней его, что попросту не уместилась бы в его жизни – в двух ее столь разных ипостасях: в кропотливой работе и жестком расписании артиста – и в его тайной, многоликой, обоюдоострой *охоте*, куда он не собирался пускать никого.

Она, со своей неукротимой тягой к передвижениям, просто сникнет, заставь он ее торчать хотя бы год в его парижской квартирке. Спустя неделю – ну, месяц – она выскользнет на рассвете из дома по рю Обрию, и тогда – сказал он себе – тогда уже твоей смертной тоски ничем не перешибешь. Да ты просто не вынесешь *такого поражения* – во второй раз. Ты околеешь.

Значит, решено: благодари судьбу за эту ночь, не заслуженный тобою щедрый подарок. И отвези эту девушку на Краби.

Он спустился и дотошно обыскал ее рюкзачок. Поразительное убожество, если не считать великолепной камеры, двух линз и новенького ноутбука с набором съемных дисков. Полнейшая нищета. Два паспорта, британский и казахстанский, *два веселых гуся*, перехваченные резинкой. И такой же конторской резинкой перехвачена парочка тощих селедок – ее старые коричневые сандалии. Впрочем, вот еще завалялись в очередном кармашке затертые водительские права на имя Камиллы Робинсон – самого подозрительного вида, с самой замыленной на свете фотографией. Подобрала потерянные? Стянула у бедной Камиллы?

Странно, она ведь рассказывала о своих выставках в каких-то галереях, о работе в каком-то рекламном агентстве... Видимо, все это было в прошлой жизни, и она здорово пообносила, пока болталась по азиатским задворкам шарика.

В самом маленьком кармашке рюкзака он обнаружил сложенную раз в восемь давнюю, частично распавшуюся на сгибах, отправленную в Лондон телеграмму: «Скончался желтухин третий тчк грустно тчк папа». У Леона мелькнула мысль, что он и сам позаботился бы о такой старой телеграмме, если б посылал на задание своего «джо». Зачем-то по привычке дважды пробежал глазами адрес отправителя и, хотя сразу приказал себе выкинуть из головы – никаких зацепок, никакой тебе

пощады, сукин ты сын! – разумеется, намертво запомнил.

И, как она, внезапно обессилев, прилег рядом «на минутку» – одетый, готовый сразу же вскочить, умыться, включить дизель, вытянуть колышки и, оттолкнувшись багром от камней, отчалить... И провалился в сон.

Когда часа через три открыл глаза, в тонированные окна пенишета уже ломилось солнце. Айя спала в той же позе и, кажется, могла так проспать еще очень долго, если б дали. Нет, пора ее будить, с сожалением подумал он, и когда, моргая и щурясь, она села, уронив на колени простыню, спросил, улыбаясь:

– А эти милые разлученные грудки – они у тебя росли наперегонки?

Вот тут она и расплакалась... Рывком потянула на грудь простыню и вдруг одним духом рассказала историю о прилетевшем из солдатского грузовика яблоке – впервые рассказала: оказывается, никто прежде не замечал.

Он не стал отирать ей слезы, лишь медленно стянул простыню, полюбовался, склоняя голову то так, то эдак. Опять не позволил натянуть простыню, сдернул ее совсем и со спокойной уверенностью заметил:

– Они сравниваются... Когда наполнятся молоком.

* * *

Уже в открытом море поддался на ее уговоры и дал порулить, показав, как тормозить в воде: плавно сбросив обороты дизеля, перейти на «нейтралку», после чего дать задний ход – и вновь на «нейтралку». Просто, куда проще, чем в автомобиле.

Велел не трогать красную кнопку корабельного гудка на приборной доске – сигнал тревоги. И когда убедился, что она неплохо справляется, успокоился и раза три даже отходил минут на пять. По крайней мере, не нужно было привязывать руль, чтобы мчаться в галюн отлить, – что ни говори, большое удобство. Эх, забыть бы сейчас обо всем и – безумие, конечно! – вправду махнуть с ней куда-нибудь подальше вдвоем. (Любой случайно вспыхнувший в памяти миг минувшей ночи вскипал у него в груди какой-то горько-веселой, пьянящей, горячей лавой, что растекалась и отзывалась в каждой мышце.)

– Так что там сдохлым удавом? – спросил он, стоя у нее за спиной, обнимая ее и заодно приглядывая за постом управления. От нее пахло его собственным одеколоном, которым она щедро с утра попользовалась

(вообще, девочка неплохо освоилась в парфюмерных закромах его скромного несессера). Надо ей купить в аэропорту какие-то приличные духи, отметил он.

– Что ты там вынюхиваешь у меня за ухом? – поинтересовалась она. – Ты меня сейчас задушишь.

– Так я же удав, – отозвался он, – хотя идохлый. А кстати, что с ним произошло, почему трагический исход?

– «Пресытился днями своими», – серьезно пояснила она. – «Ушел к праотцам». Нет, правда: старый был просто. После представления сразу засыпал, просыпался перед следующим. Когда-то был ого-го, в молодости чуть не удавил Макса, дрессировщика, много лет был главным номером программы, ты бы видел его: огромный красавец, медово-янтарный, изумрудные соты по всей шкуре, плавный, мощный, коварный... «Борьба с удавом» номер назывался. Макс изображал Лаокоона без сыновей. Потом удав постарел, вот и все. Знаешь, наверное, и с людьми бывает: в конце концов мечтаешь, чтобы все тебя оставили в покое и перестали с тобой бороться.

– А где все это происходило? На Северном полюсе?

– Почти. В Эдинбурге, мы там гастролировали. Цирк «Орландо». Ну и, сам понимаешь, в Шотландии удавы не на каждом дереве живут. Макс от горя чуть сам не подох. Во-первых, жалко, близкая душа. Во-вторых, к черту гастроли... Что делать? Так он придумал держать удава в холодильнике на верхней полке, чтобы не засмердел. Чтоб каждый вечер – на арену, как ни в чем не бывало.

– Мечта любого артиста – оставаться на публике после собственной кончины, – усмехнулся Леон.

Он не без удовольствия отмечал, как точно она отзывается его репликам, с каким ненатужным юмором вставляет там и тут словцо, будто со стороны наблюдает ситуацию... и как же ему замечательно с ней – *оказывается, не только ночью*, – и как странно, что при таком диковатом образе жизни она совсем не похожа на безумицу.

– Но однажды Макс запил, и Кирюша, директор труппы, предложил мне его заменить – опасности, мол, никакой, никто тебя не проглотит. Только тяжелый покойник, сволочь. А было эффектно: выходит девушка в блестящей тунике и начинает ворочать на хрупких плечах кольца удава – его перед спектаклем тоже покрывали таким грим-блеском. Короче, гастроли прошли нормально. Никто из публики ничего не заметил. – Она повторила задумчиво: – Никто не заметил. В жизни тоже: кое-кто продолжает карьеру Лаокоона, делая вид, что удав еще живой. Знаешь, –

продолжала она, с удовольствием ощупывая ладонями штурвал, – классная штука – такое вот маленькое послушное судно. Это ж бог знает куда можно укатить! Я никогда еще на таком не плавала.

– А на каком плавала? – уточнил Леон с улыбкой, предвкушая очередную сказку Шехерезады.

Ему нравилась ее манера рассказывать. Барышня говорила: «Интеллигентный человек принимает тебя не по одежке (одежка – вздор!), а по речи». Исходя из этого, Айя вполне могла оказаться беглой аристократкой: за ее манерой говорить и рассказывать чувствовалась семейная муштра «старой школы» – видимо, бабка потрудилась: правильные ударения, выдержанные паузы... И только руки-беглянки все рвались что-то подтвердить, что-то исправить, добавить, украсить... украсть.

– Я плавала на арабской рыбацкой лодке! – гордо и спокойно проговорила она.

– Что-что?! – Он засмеялся и ткнулся носом ей в ухо.

– Я работала евреем на арабской лодке в Газе, – повторила она серьезно. – Давно, когда еще Газу контролировали израильтяне.

Он умолк и глянул сбоку в ее профиль: Айя старательно ровно держала штурвал, старательно прямо смотрела перед собой. При этом совсем не была напряжена. А то, что она не способна ничего выдумать, уже было ясно.

– Не понял, – сказал он. Хотя, конечно, знал: в те времена пограничный израильский патруль действительно не выпускал в море арабскую лодку без еврея, так что многие арабские рыбаки нанимали искателей приключений, безработных репатриантов и туристов на период лова. Это она ему в точности и растолковала. Довольно выгодно: день работы – сто шекелей, да еще рыбы немного. – Вот как. Значит, ты и там успела побывать, – небрежным, почти безразличным тоном заметил он.

Она потерлась бритым затылком о его щеку и сказала:

– Ага... Я же тебе рассказывала о Михальке. Она родом из кибуца на севере Израиля. Мы с ней в Бразилии встретились, она там после армии гуляла, и так подружились, что потом уже всюду были не разлей вода. И когда она к себе умотала, я скучала, скучала по ней... Потом взяла билет и прилетела! Свалилась на голову. Думала, дней на пять, а прожила там полгода.

– Почему? – спросил он нейтральным тоном.

Она помолчала. Пожала плечами:

– Да просто! Просто там хорошо... Очень мое место, особенно

Галилея. Немного похоже на Алма-Ату, тоже горы кругом... Короче, сначала я работала в кибуце у Михаль, на птичнике, потом перекочевала в один сельскохозяйственный кооператив под Ашкелоном – собирала там виноград, укладывала в ящики...

* * *

Да, жгучая работенка была, с избытком витамина D. Торчишь на солнце до полного обугливания шкуры...

Однажды они с ребятами сидели на мешках под натянутым зеленым тентом – под ним кисти крупного зеленого винограда казались небывалыми плодами, раскрашенными каким-нибудь Гогеном, – рвали руками свежие теплые питы, принесенные студентом Гошей из ближайшей лавочки, макали их в банку с тхиной и заедали виноградом – не худший обед на свете. Вот тогда кто-то из ребят лениво сказал, что арабы ищут еврея в лодку. И то ли к тому времени она объелась виноградом и ее на рыбное потянуло, то ли понадеялась, что в море легче жара переносится... Записала на использованном проездном номер какого-то моби́льника, к полудню о нем забыла, а вечером нашла выпавший из правой туфли проездной и позвонила.

Семья арабских рыбаков из Газы, жила морем. Их было семеро братьев, дружных, молчаливых.

Заправлял всем отец, старый Халед, беспрекословный авторитет у сыновей. Он и улов распределял, как разделил свой огромный четырехэтажный дом: этаж – женатому сыну, пол-этажа неженатому. И был очень строг: велел довольствоваться лишь одной женой и держаться подальше от ХАМАСа. Изъяснялась с ними Айя немного по-английски (они знали пару-другую слов), через неделю стала чуток по-арабски понимать: слово там, слово тут... А что там особо понимать: «сеть» – «масида», «бросай» – «итарахи», «вытягивай» – «исхаби», «помоги» – «ис'ади»; «ты – хорошая девушка» – «интишаба мниха»...

В море выходили с шести утра через контрольно-пропускной пункт Эрез. Там к ним сразу подходил катер военной полиции: проверка документов. И тут пригодился старый, но годный Михалькин паспорт – она когда-то его теряла, получила новый и вдруг обнаружила пропажу в прошлогодних джинсах. На фотографии они были не то чтобы сильно похожи, но однотипны: обе стрижены под мальчика, обе с пирсингом,

причем в одних и тех же местах: бровь, ноздря, нижняя губа. Этот пирсинг и сбивал с толку; в черты лица никто особо не всматривался. Да Айя вообще изображала глухонемую, а уж шляпа с полями на ней всегда была нахлобучена по самые брови...

И разверзлась вокруг такая ядреная, захлеб, синева, что кожа становилась оранжевой: блеск нестерпимый, синий безжалостный блеск.

Лодка у них метров семь была, палуба открытая. Рыбаки бросали сеть, в которую попадалась вначале всякая шелупонь – крабы, мелкая рыбешка. Если впереди по носу появлялся косяк рыб, его обходили сетью. Бывало, что шел локус – это, считай, везучий день выпал: локус – рыба большая, дорогая, до метра в длину, и весит пятнадцать, а то и двадцать кило. Но и сардины – тоже удача.

Иногда выходили в ночь целой флотилией в пять-семь лодок. И это уже совсем другой лов: надо застыть, замереть и выждать. Поэтому все укладывались спать прямо на палубе. На носу факелы горят, пламя мотается на ветру, как огненная тряпка с траурной каймой. Черная гладь моря, и на ней – огни, огни... Может дождь припустить, и тогда вода вскипает седой дрожью... Лежишь на корме, накрывшись с головой какой-нибудь курткой, и одним глазом видишь, как за кормой пузырится вода от мотора. Вокруг фосфорическое, дьявольское свечение моря, на тебя катят фиолетовые валы, и ты лишаешься прошлого и забываешь, что там случилось с тобой пять, десять лет назад. И какие такие апортовые сады были в твоей жизни. Одно только чистое могучее море, волны, сильные фигуры молчаливых рыбаков. А еще – летучие рыбы! Огромные крылья! Выскакивают перед лодкой на метр-полтора и летят над водой метров сто. Ловишь их голыми руками, а они тебе влетают то в голову, то в живот...

Когда она рассказывала, ее пылкие руки, и сами похожие на летучих рыб, не удерживались на штурвале, взлетали, мелькали, кружили, охватывая целый мир – волны, рыбаков, старые чиненные сети. Леон, стоя у нее за спиной, то и дело перехватывал штурвал.

– Не устала? – спросил он. Почему-то захотелось, чтоб она ушла от его опасных берегов, вернулась в мирное Андаманское море, рассказала о чем-то другом. Ему вообще неуютно становилось от этих рассказов, будто он боялся что-то еще услышать о ней, что, как вчера ночью, могло вывести его из равновесия.

Почему этой девушке так легко, с первого слова удавалось проникнуть в глубину его всегда запечатанного нутра, почему он не мог и не хотел

уклоняться от этих болевых касаний? Почему с минувшей ночи ему так хотелось вновь и вновь, нащупав тонкую нить ее шрама, разглаживать его, будто неутомимыми прикосновениями можно навсегда растворить беду в беспамятстве счастья?

Он уже высчитывал время пути, сознавая, что они все ближе к расставанию. И не понимал – не понимал! – почему она ни словом об этом не обмолвится. Не спросит ничего, не попытается выяснить и дознаться. А вдруг, сказал он себе с внезапной тревогой, вдруг она молчит именно потому, что уверена: отныне они – *навсегда, навсегда?*.. Как и ты был уверен – там, в милом доме, распластанном на скале, в ночь, исхлестанную плеткой молнии, когда лежал в «норе», самому себе улыбался и повторял это самое *навсегда, навсегда?*..

Он стоял за ее спиной, прижавшись щекой к бритому затылку, обнимая ее, не только ради *проводимости звука*. Все его существо сейчас тянулось вжаться в нее и никуда не отпустить: *навсегда, навсегда...* Стоял и думал: как странно разбегались, приближаясь друг к другу, ниточки дорог – его и этой девушки. Ниточки судьбинных шрамов, заштопанных такими разными иглами.

А она вроде и не тревожилась, и не грустила перед расставанием. Казалось, любое слово – о чем бы то ни было – вызывает очередной эпизод ее пестрой и плотной жизни, такой многослойной и обоюдоострой, будто все байки и рассказы Владки кто-то собрал воедино и заставил его прожить их за одни только сутки, вместе с Айей. Он просто не мог ей не верить: ни одна разведка в мире не могла бы все это сочинить и утрамбовать в единственную жизнь, да еще такую молодую. Никому бы в голову не пришло соединить все истории в одну судьбу, да и зачем? И рассказывала она спокойно, улыбочиво, с точными скупыми замечаниями, с уточнениями – вскользь, но в самое яблочко. И потому он ей верил: Желтухин их повязал, дядя Коля-Зверолов и «Стаканчики граненые»...

* * *

Пенишет они сдали на удивление гладко: уже причалив, дружно, в четыре руки прибрали на судне, выбросили мусор, Леон за три минуты уложил свой чемодан, а Айе в ее рюкзачок и складывать-то было нечего.

На дорогу он выдал ей свои лучшие итальянские джинсы, которые сидели на ней как влитые, голубую майку и темно-синий свитерок

с круглым вырезом под шею. («Это все мне? Даришь?! Нет, правда?! Какой ты добрый...») – все это – лучась от благодарности, так что хотелось биться головой об стенку.) В Европе, куда она якобы намеревалась лететь, температуры сейчас были довольно унылыми.

– Надо бы тебе обувь купить по погоде, – озабоченно заметил он. Она глянула на свои ноги в пляжных сандалиях, пошевелила большими пальцами и засмеялась.

В аэропорт добирались на автобусе и всю дорогу молчали, хотя держались за руки, как дети. И руки уже не скрывали ожидания разлуки: переплетались, спорили, умолкали в томительной ласке и вновь, оживая, панически сплетали пальцы в нерасторжимый замок.

Неужели она решила избавить его от всех своих внезапных, как выпад шпаги, «почему»?

Она – беглянка, твердил он себе в холодном отчаянии. Это болезнь, забыл, как называется, но она вроде неизлечима... Не дай себе пропасть: ты сдохнешь, обнаружив однажды пустой дом. И не однажды, а через месяц, самое большее – через год! Это в море легко, на кораблике, под зелеными звездами, среди кудрявых башковитых гор. Она такая сложная, с грузом всей ее жизни. Ты просто не вытянешь! Так скажи себе, наконец, что ты – артист, ты – Голос и себе не принадлежишь. Ты знаешь по своим хмурым утрам, по нервному молчанию в дни спектаклей: не всегда хочется ежеминутно предъявлять свое лицо даже самому любимому человеку; не всегда хочется, чтобы тебя обнимали даже самые любимые руки.

Совсем некстати он вспомнил, как после спектаклей к нему в гримерку прокрадывалась Николь, двигаясь, как в наркотическом трансе, и когда он, усталый или не в духе, резким движением плеча сбрасывал ее вкрадчивую ладонь, только виновато улыбалась: о, настроение артиста – это такая тонкая вещь... Уверяла, что даже ночью ее преследуют волны его голоса. Подумал: Айя?.. Она ведь никогда, никогда не сможет услышать ни одной моей ноты. И – задохнулся; и презрительно, будто вслед самому себе, плюнул: хорош гусь!

– Тебе нужны еще деньги? – спросил он. И она воскликнула, воодушевленно раскрыв глаза:

– Что ты, шейх! Ты и так на меня потратил все нефтедоллары Саудовской Аравии...

В аэропорту у касс она замялась, выбирая направление. Может, к отцу

смотаться? Давно не виделись... Или в Лондон? В рекламном агентстве Джеймса Баринга ее примут с распростертыми, но такая скука...

– Купи мне билет до Бангкока, – сказала наконец, – а там увидим. Тормозну у друзей на недельку-другую, подработаю. В крайнем случае перехвачу у них денег до Лондона...

(Нет, ни в какой Лондон она не собиралась: слишком нервной была ее последняя тамошняя неделя; слишком быстро приходилось ей сматываться из паба через подсобные помещения; слишком хорошо она помнила суровое лицо Большой Берты, возникшей, как скала, в кухонной пристройке, где Айя набирала в ведро кубики льда, и отрывистую немецкую речь, в которую Айя мучительно и обескураженно всматривалась... Слишком впечатлили ее пожелание Берты «никогда больше не возвращаться в этот дом!» и ее «Наи аб, Mädel!», «Девчонка, улепетывай!» – и жесткая рабочая рука, оставившая в ладони девушки пятьсот фунтов – огромные, между прочим, деньги для Большой Берты!

Нет, вот уж в Лондон Айя совсем не собиралась...)

Леон вытащил из банкомата тысячу долларов по сотне, свернул трубочкой и молча запихнул ей в карман джинсов. Она поймала его руку в своем кармане, прижала к паху, что обожгло его, напомнив о минувшей ночи. (О минувшей ночи он думал каждое мгновение, все неотвязней, все заполошней, чувствуя холодок внизу живота, как бывало в детстве перед выходом на сцену.)

– Зачем, зачем?.. – твердила она, пытаясь всучить ему деньги. – Я и так тебя разорила!

– Не пори чепухи, – сказал он мрачно. – У меня навалом денег. Я их горы напел.

И она благодарно рассмеялась своим медленным хриловатым смехом:

– Тогда – гуляю!

В ней ни капли этих условных светских рефлексов, подумал он (Николь, наследница гигантского состояния, за любой подарок непременно чмокала в щеку). И с удивлением отметил, что *эта* вообще не слишком щедра на – как это Барышня называла? – «зализы бакенбардов». А на людях так вообще очень сдержанна.

До выхода на посадку ей оставалось часа полтора, и она оживленно повторяла: «У нас куча времени!» В толкотне аэропорта она еще больше замедлилась, вообще не спускала глаз с его губ, чуть забегаая вперед, когда

шли рядом. Видимо, прикосновения помогают ей *слышать* собеседника только в спокойной обстановке, догадался он; господи, как же она работала в этих самых барах, где дымная пелена, толкотня у стойки и каждый требует своего напитка? Как она работала в венском кафе, плохо понимая немецкий? И вообще, чего стоят ей эти постоянные усилия *быть как все*, сколько мужества, сколько силы ей требуется, чтобы...

Надо *скоренько* посадить ее в самолет, оборвал он себя, слышишь, ты, говнюк? – тебе надо *избавиться* от нее во что бы то ни стало, не то у тебя неизбежно возникнет второй «синдром Владки», а тебе, с твоей жизнью, не хватало только ответственности за еще одного трудного ребенка.

– Правда, слушай, у нас еще куча времени!

– Ну, тогда пойдем, Вечный Жид, покормим тебя перед дорогой...

Он завел ее в кафе, усадил за столик и отлучился в туалет.

Когда вернулся и не увидел ее там, где оставил, – испугался так, как в жизни не пугался, даже в самые страшные моменты своей, мягко говоря, *не кабинетной* карьеры. У него просто свело живот от страха – забавная реакция человека, собирающегося избавиться от случайной девицы, с которой провел единственную, хотя и – да! – восхитительную ночь.

Вдруг увидел ее возле стеклянной витрины-этажерки в углу зала, вернее, себя увидел: джинсы, майку, бритую голову. Она выбирала десерт. И вновь накатило жутковатое чувство: будто он должен куда-то отправить самого себя, проститься с самим собой, от себя – отречься.

– Я заказала тебе «Апфельштрудель», правильно?

Он стоял и смотрел на нее во все глаза.

– ...потому что ты заказал его в Вене. Я видела, помню...

Потому что я заказал его в Вене, да... Вот кто стал бы моим идеальным агентом: невероятная наблюдательность, великолепная визуальная память, отличные мозги, умение читать по губам...

Никогда, ни за что в жизни! Лучше услать ее на Северный полюс, пусть пингинов там фотографирует. Пусть борется сдохлым удавом.

– А себе взяла фруктовое мороженое...

Она села за стол, вытащила из рюкзака свой ноутбук, обстоятельно устроилась...

В этом кафе на отшибе аэропорта было спокойнее, чем всюду, и довольно малоллюдно.

– Слушай, ты ведь так и не видел мои *рассказы*! – воскликнула она. – Даже обидно. Хочешь глянуть?

– Ну конечно, давай посмотрим, – без энтузиазма. Ему сейчас

не до фотографий было.

Ноутбук свой она содержала в идеальном состоянии. Принцип матрешки: на рабочем столе несколько папок, в них, как ульи на пасеке – множество ячеек, в которых роились – видимо-невидимо! – цветные и черно-белые пчелки-снимки, при увеличении выплывавшие на экран в тонких черных рамках.

– Классная у тебя штука, – заметил он.

– Навороченный, – сдержанно согласилась она. – Подарок Фридриха. Он меня так в Лондон заманивал, во второй раз. Ну... что бы тебе показать? Вот, смотри – заготовки к выставке «Человек Азии».

По экрану помчались-понеслись цветные пчелки (или стаи пестрых крошечных рыб, выпархивающих из губчатых складок кораллового рифа); проносились быстро-быстро, словно она, Айя, на такой скорости могла что-то разглядеть и выбрать. И действительно, выхватила из вихря некую смысловую опору, начало темы... Остановилась.

– Только не умри от ужаса, – предупредила. – Это я снимала здесь, на Пхукете. Их ежегодный веганский фестиваль, Тхесакан Кин Че. Они десять дней не едят ни мяса, ни рыбы, зато ходят босиком по раскаленным углям и шляются по улицам в таком виде, что можно сдохнуть, если нервишки не в порядке. Калечат себя, как только могут. Прокалывают лицо и тело всякими немыслимыми штуками. Ты бы в обморок упал!

Леон улыбнулся: видимо, у нее сложилось свое мнение о его чувствительности.

– А ты не упала...

– Я – профессионал, – возразила она без улыбки. – Могу и казнь снять, не моргнув. Просто буду думать о ракурсе, об освещении, о глубине зоны резкости. Хотя сблевать иногда очень даже хотелось. Потрясающие увечья! Ну, смотри... Можешь закрывать глаза, когда будет страшно.

Она щелкнула по первому снимку, и на экран выплыло истекающее кровью лицо, проколотое шампурами так, что черты лишь угадывались за металлическим частоколом: щеки, губы, брови, уши – гигантское подобие оцетинившегося ежа.

– Ого!

– Ну, это цветочки. Там дальше такое...

И действительно, вслед покатились, выплывая и заливая экран потоками крови, картины чудовищных самоистязаний: в дело шли иглы, копья, топоры, мачете и даже пилы. Откровенно, ясно, рвано – чертовски

больно смотреть.

– В Европе это должно иметь грандиозный успех, – сухо заметил Леон. – Ты прикасаешься объективом к открытой ране.

– Еще бы, этой выставки давно ждут в галерее «Jetty».

– Отчего же ты?..

Она сердито мотнула головой, не потрудившись ответить. Нахмурилась. *Лондон. Недостижимый Лондон.* Внезапно захлопнула папку.

– Нет, не то, погоди! Наоборот хочу. Глянь лучше вот это: мои спасители...

И поплыли по экрану светлые доверчивые улыбки даунов – и молодых, и пожилых людей.

– Это тоже коллекция? – удивился Леон. – Ты их специально разыскивала?

– Да нет, конечно. Просто однажды в Лондоне, когда мне было ужасно хреново, ну... совсем плохо, понимаешь, и я даже думала, что лучше бы мне... Но папа, он бы не пережил... Короче, я пошла и нанялась на фабрику по производству мороженой пиццы. Подвальный цех: как спустишься – сначала такой полумрак, с улицы не сразу освоишься. Но главное, вижу – все мне приветливо улыбаются. Другой мир в этом кошмарном городе, понимаешь? Подземный мир улыбок. Спасительный Аид. Минут через пять разглядела, что все они поголовно – с синдромом Дауна. И мне стало так смешно, и так грустно, и так с ними... уютно. Ну, а назавтра пришла с фотиком и нащелкала их. Там, понимаешь, все были счастливые. А я – больше всех. Потому что спасает только работа. Только твое дело. Вот. Этот рассказ называется «Улыбка спасителя».

Он сидел и смотрел на экран, с которого ему доверчиво улыбался даун Саид из Азарики... Вот еще Саид, и опять Саид, и опять его улыбка: «Ты всегда мне будешь рассказывать интересные истории?» – что, в общем, объяснялось довольно просто: общими характерными чертами внешности людей, больных этим синдромом.

И опять подумалось: откуда ты взялась, мучительница, для чего обрушилась на меня с этими своими фотографиями, своими историями, своей пронзительной судьбой, с этими убийственными «почему»? И почему, почему, почему мы с тобой оказались так странно, так многострунно, так невыносимо связаны!

У нее совершенно менялось лицо, когда она сидела напротив экрана и гоняла снимки, как голубей, вспугивая их нетерпеливой рукой или – нежными прикосновениями «мышки» – разглаживая тот или этот... Щеки

втягивались, очерк скул становился аскетичным, взыскательно направленный взгляд сгущался до остроты пера. Ничего мягкого, ничего юного тогда не оставалось в ее лице: жесткий требовательный прищур профессионала.

Циклы снимков она называла «рассказами», и, как в библиотеке, каждый лежал под своей обложкой и помещался на определенной полке – огромная библиотека, созданная в ее странствиях по свету. Настоящее богатство, подумал он. Невероятно!

Им принесли заказ на пластиковом подносе, но Айя нетерпеливо отодвинула его от компьютера.

– Обидно... хочется многое тебе показать, а время тикает... Ну, вот, островные сценки, тоже на две хорошие выставки: Дила в гамаке, песню поет... Кажется, гамак качается, да? Я ракурс поймала: у нее рот открывался в такт движению гамака. Главное, ее охренительное платье – как чешуя в свете луны. И луна качается, смотри, как удачно снято – через сетку гамака: плененная луна. А здесь у меня мильён кадров с Праздника ушедших предков.

– Похоже на первобытную оргию, – заметил он. – Ночь, факелы... Какие-то камни...

– Это кладбище, надгробные памятники. А ритуал прост, как дискотека: все танцуют и все вусмерть пьяные. Так они предков поминают.

– Они случаем не каннибалы? – хмыкнул Леон. Она засмеялась:

– Да что ты, это же морские цыгане, очень мирные люди. Народ «шао-лай».

– Так они что, не тайцы? – Он подался ближе к экрану, пробормотал, рассматривая: – Да, другой тип лица... Черты острее, прямой разрез глаз.

– У Дилы две версии их происхождения, – пояснила Айя. Она на дикой скорости пролистывала десятки репортажных кадров, выводя на экран лишь некоторые, на ее взгляд, особенно выразительные. – И обе мне нравятся. По одной версии, они прибыли из Малайзии лет триста назад. По другой, их предками были португальские пираты. Эта эффектнее, да? Я так и назвала рассказ: «Морские цыгане, потомки пиратов»... – И самой себе под нос: – Здесь еще куча работы, сырой материал, из которого...

– Но они буддисты? – неожиданно перебил Леон, вдруг вспомнив Тассну.

– Нет, мусульмане, – отозвалась Айя. – Но такие, стихийные. У них до сих пор все в кучу свалено: семейные духи, Аллах, Будда, племенные

божки...

– Ах, мусульмане, – повторил он. Отправил сообщение в некий умозрительный бокс, где хранились не только факты, но и догадки, и подозрения, и даже смутные тревожащие тени мыслей.

Итак, Тассна с Винаем вовсе не тайцы, а морские цыгане. И вовсе не буддисты, а мусульмане... Это пикантно: в доме Иммануэля, куда являлся цвет политической, разведывательной и прочей элиты Израиля... Это пикантно! И с какой стати все решили раз и навсегда, что они не понимают иврита? И где хранились их молитвенные коврики? Или они не молились?

Придвинув к себе чашку с кофе, он разорвал пакетик с сахаром, всыпал, помешал ложкой, продолжая гоняться за напряженной и ускользающей мыслью.

– Значит, вот как, хм... Заба-а-авно...

– Нет! – сказала Айя. – Не хочу это – на прощанье! Я тебе лучше... – И помедлила, мысленно перебирая свои богатства. – Знаю! Вот что я тебе покажу. А ты угадай, где это.

И опять по экрану снизу вверх пузырьками воздуха взлетали целые стайки желтых папок, начиненные сотнями снимков-икринок. Наконец движение замедлилось: нужная папка была найдена.

– Вот! – торжественно проговорила девушка и щелкнула по конвертику.

Он мгновенно узнал это место – не только потому, что трудно отыскать более волнующее в христианском мире сооружение, но и потому, что многие годы его окрестности были служебной вотчиной Леона. Да он и в темноте узнал бы каждый закуток, каждую щербатую колонну и истертую ступень в Храме Гроба Господня; кстати, как и лицо едва ли не каждого монаха и священнослужителя.

– Этот рассказ называется «Опоры света», – сказала Айя.

Одна фотография этого *рассказа* была лучше другой – уже готовые к выставке, обработанные в фотошопе. И правда: опоры света, ибо снято солнечным утром и в полдень, когда световые столбы косо падают в гулкую утробу храма. Мощный луч из верхнего окна под крышей пронзает высоту, вернее, глубину бездонного колодца времени, и в этом луче, вылепленная солнцем и тенями, – темная фигура монахини, ограненная светом с левого бока. Ее ослепительная щека в обрамлении черного головного платка, трагическая линия нижней губы, изломанная бровь.

Он сидел рядом, глядя в экран, – ничего не говорил, только тихо

сжимал левую ладонь Айи, лежащую на его колене.

Да, он знал здесь каждый закуток, помнил многие лица, узнавал их на снимках: вот абиссинский монах Шуи в своей высокой темно-красной феске торопится по рассеченному солнцем переулку, к двери в придел эфиопской церкви. Вот безжалостно высветлена ветхая лестница над дверью Храма, забытая каким-то рабочим лет пятьдесят назад. Вот горящая серебром на солнце невесомая борода армянского священника, ветхими пальцами перебирающего страницы толстого фолианта. Вот путаница желтых язычков прерывистого пламени тонких свечей в круглом шандале у входа в Кувуклию...

Айя глянула на него лукаво и требовательно:

– Ну, догадался, где это?

Он собирался сказать «Понятия не имею...», но удержался, вспомнив о ее приметливости (тот самый «Апфельштрудель» в венском кафе много месяцев назад)...

– Ясно, что храм. Но необычный. Может быть... в Иерусалиме?

– Точно! – радостно воскликнула она. – Это одно из самых богатых на рассказы мест на земле – Храм Гроба Господня. Я прожила там дней десять.

– Где? – не понял он.

– В Храме, – просто ответила она. – Братство фотографов, понимаешь? Это как солдатское братство. Просто один иерусалимский монах, грек Георгиос, – очень неплохой фотограф. У него есть пара уникальных снимков на «Фликре». Мы и познакомились там, я выложила свои работы, он мне написал. И когда встретились в Иерусалиме, подружились. Ходили по Старому городу, охотились вместе... И он разрешил мне остаться в Храме на ночь. Знаешь, в первую ночь я полчаса сидела одна в Кувуклии... Это было так странно! Мне чудилось: какие-то голоса пробиваются ко мне, именно ко мне – сквозь мою глухоту, будто она – частичка молчания вечности. Как будто... она была мне пожалована, моя глухота, – ну, вроде привилегии у дворян, (ты не смеешься?), – пожалована, как титул, для более глубокого погружения, что ли... погружения, как... у ловцов жемчуга... – Ее говорящие руки захлебывались в словах, замирали в паузах, задумывались над тем, что она хотела сказать, бессильно падали на колени. – Уф! нет, не смогла объяснить! Лучше просто *смотреть рассказ*... Вот, на рассвете я снимала молитву греков и после – молитву армян. Смотри, это было даже смешно: они притащили компьютер, расчистили тот шандал, где горят свечи за здоровье и упокой.

Поставили на него комп, наладили скайп – и стали петь!

– А почему здесь написано: «Молчание Голгофы»? – спросил он и осекся: конечно, *молчание*... У нее же все происходит – в молчании...

А ваша минувшая ночь, кретин ты этакий, – разве она не произошла в молчании, ваша единственная прекрасная ночь, – в упоительном, бесконечном и исчерпывающем молчании двух непрерывно беседующих тел...

Он опять вспомнил, что сейчас она исчезнет, растворится в толпе; сейчас ее выметет ветром из его жизни. И за мыслью немедленно последовал гулкий обвал где-то внутри – он называл это место «поддыхом». Нет, это черт знает что, подумал он в яростной досаде на себя самого – ты что, сдурел?

– А вот этот рассказ называется «Тишина восточного базара», – сказала она. – Могу только вообразить, какой там стоит гвалт – по плотности воздуха: он такой... густой, как студень; густой от запахов специй, мяса, рыбы, хлебов... людских выдохов и, конечно, голосов, криков, зазывов, стонов и проклятий. Там арабские торговцы чуть не силой в лавки затаскивают: «Наташа, Наташа!» – все русские женщины у них «наташи», даже если говоришь с ними по-английски. Как-то чувствуют. Они вообще ушлые.

Перед ним проплывали, мягко подталкиваемые ее рукой, цветные лоскуты снимков – так кошка или собака носом подталкивает своих детенышей.

Стена с рядом распятых арабских платьев, вышитых золотыми и разноцветными нитками – болбочущие цвета, перебивающие друг друга, как голоса кумушек. Белая чашечка с засохшей на дне кофейной гущей, забытая на каменном столбе: еле заметны буквы древней латыни, выбитые чьей-то рукой две тысячи лет назад: «Стоянка десятого римского легиона...»

Глаза старика-раввина: все лицо в тени, а глаза попали в резкую полосу света от полуприкрытых ставней – пронзительный, невыносимый взгляд, переживший воинов того самого десятого римского легиона.

А вот отдраенной медью горят тарелки на голубой стене: столовка грека Косты на одной из кривых и узких улочек Старого города. Затрапезное заведение, одно из многих, если б не экзотическое библейское блюдо, которое там подают: голубь, фаршированный рисом и кедровыми орешками... Едали, не раз едали у Косты его фаршированного голубя...

– Постой! – вдруг сказал Леон. – Верни предыдущую...

Снова на экран выплыл серебряный чан, доверху заполненный мелкозернистым, узловатым, колючим крошевом разномастных вещей: янтарные, коралловые, бирюзовые, чернено-серебряные бусины, агатовые четки, кованые заколки, крошечные медные светильники, цепочки, кресты и подсвечники, и маленькие бронзовые ханукии. Под фотографией надпись, как он сам бы назвал: «Музей минувшего времени».

– Нет-нет, еще до этой... Там, где в разных руках – две одинаковые монеты.

– А-а! – протянула она одобрительно. – Это моя любимая. Если ты оценил, покажу *в настоящем виде*.

И вывела на экран тот же снимок, но в черно-белом варианте.

– Ты уже понял, что не каждая фотография имеет право стать черно-белой? – уточнила она. – Говорят: «Глаза не врут». На самом деле – врут отлично! О человеке врет все: одежда врет, прическа, даже лицо. Но руки – в последнюю очередь. И если на портрете «выключить» цвет, то с ним автоматически уходит все неважное, ненастоящее. И проявляется суть человека.

Леон молча рассматривал изображение на экране. В данную минуту ему было плевать, цветное оно или черно-белое. Ему вообще было не до художественных достоинств. Он знал эти руки: и левую, сильную, мужскую, рабочую, со вздувшимися венами, и вторую – детскую, беззащитную, навсегда оставшуюся *в минувшем времени*... В каждой лежало по совершенно одинаковой старинной серебряной монете.

– Знаешь, в чем соль этого фото? – спросила Айя и сразу же ответила: – В том, что это руки одного и того же человека.

– Да неужели... – пробормотал Леон, мгновенно покрывшись испариной: значит, не ошибся.

– Ну да! Постой, покажу исходник... Я ведь работала над снимком: *отсекла ему руки*. Вообще, это была впечатляющая встреча, знаешь... Ну где же эта чертова папка... А, вот!

Она щелкнула, погнала по экрану множество крошечных заплаток – как стаю пестрых рыбок в расщелине рифа. Чуть замедлила их бег, удовлетворенно произнесла:

– Вот она. Поймала...

Леон молча впился глазами в фотографию.

Конечно, она разительно отличалась от того окончательного «рассказа», который из пойманного мгновения уже перешел в область искусства. Но ценность *этой* фотографии была в другом: в дате. Снимок

был сделан за день до убийства Адилья.

Живой, обходительный антиквар, взвешивая на ладонях, демонстрировал некоему импозантному господину (а тот заинтересованно слушал) две одинаковые серебряные монеты. Адиль любил этот фокус: вначале объяснить, как отличить фальшивую монету от подлинной, а после непременно уточнить, лукаво прищулив глаз, что в наше время фальшивая стоит дороже подлинной, будучи раритетом подделки двухтысячелетней давности.

Выразительную сценку портила, частично заслоняя, чья-то случайная смазанная фигура: крепкая спина в джинсовой рубашке, такой же крепкий затылок.

– Теперь понятно, – легко проговорил Леон, рассматривая знакомые витрины магазина, морщинистое лицо Адилья, его хитроватую улыбку, столь идущую хитрой детской ручке. – А кто это рядом с... торговцем?

– Так это же Фридрих. – И поскольку Леон недоуменно промолчал, она укоризненно воскликнула: – Я тебе рассказывала: Фридрих, мой немецкий дядя, вернее, дед... Он как раз тогда оказался в Иерусалиме, и я его прогуливала. Он обожает эти лавочки, ювелирки, антикваров... Готов шляться по всем свалкам до второго пришествия. А в той лавке мы вообще провели чуть не полдня: даже кофе пили раза три. Роскошная лавка была! Старичок, понимаешь, и коврами торговал... А Фридрих... это ж его тема – ковры.

– Я думал... – после паузы медленно проговорил Леон, преодолевая неистовый порыв тряхнуть ее, посадить перед собой и *допросить* по всем правилам. – Ты, кажется, говорила, что он немец? А внешность у него... не то чтобы слишком немецкая. Что-то восточное – в глазах, в скулах.

– Ну, он же и казах, – спокойно отозвалась она. – Наполовину. Как и я.

В гуле аэропорта возникла звуковая плешь. Просто у Леона заложило уши, на мгновение он оглох от смысла этого слова, от его простого очевидного смысла, от догадки...

– Ка...за-ах? – медленно переспросил он, выпрастывая свою ладонь из-под ее руки, пытаясь унять взмыв дикой смеси ликования и отчаяния.

– Ну да, это длинная семейная история, – сказала она, словно отмахивалась от давно надоевшей чепухи. – Дед, война, немка там, в Берлине... их безумный роман. Такой телесериал, только взаправду. Ну, и родился Фридрих, который потом-потом, сто лет спустя, разыскал нас. В Казахстане...

«Разыскал нас в Казахстане...»

– ...Казахстан – второе место в мире по запасам урана, и они ежегодно наращивают добычу и обогащение...

– ...в девяносто шестом в печати мелькнуло, что Казахстан тайно продал Ирану три советские ядерные боеголовки...

– ...Крушевич учился на отделении ядерной физики в МГУ и после диплома получил направление в Курчатова, на Семипалатинский полигон...

– Казах... – повторил Леон завороченно. И, добивая тему, спросил: – Как же ты говоришь с ним? По-английски?

Она невесело усмехнулась, дернула плечом:

– Я с ним давно уже ни по-каковски не говорю. После одного происшествия... Но вообще-то, знаешь как он чешет по-русски! Как мы с тобой. Он же учился в Москве – давно, конечно. Ну, у него и жена русская. Елена...

Вот, собственно, и все, что требовалось узнать.

Секретарша в офисе компании Иммануэля утверждала, что Андрей Крушевич говорил по-русски, называя собеседника «Казак». Девочка просто ослышалась, обозналась. Казак-Казах... Казах-Казак...

Да какая разница! От тебя требуется лишь поскорее сообщить кое-кому эту новость, пустить кое-кого по следу. Ты сделал огромное дело, и ты – частное лицо, ты – артист, конец маршрута...

Откуда же это обреченное чувство потери? А вот откуда: оказывается, хитрый лис, ты в глубине своих подлых потрохов все же надеялся удержать при себе эту свою глухую находку! Вернуться, разыскать, схватить и бежать... Вот только – где вы оба укроетесь?

Зато теперь ты здраво осознаешь, что просто обязан отвалить из ее жизни. Ты и так слишком близко подобрался к жерлу вулкана. Слышишь? Вы с ней, с твоей глухой канарейкой, сейчас на равно опасном расстоянии и от Казаха, и от конторы...

Когда Айя собралась погнать цветных рыбок дальше, Леон рукой накрыл ее ладонь.

– погоди, – сказал он. – Мне нравится эта картинка. Так много деталей, столько... всяких диковинок. Хочется рассмотреть. Ты не могла бы мне ее подарить?

– Да ради бога, но в этой много мусора. Эта не имеет художественной ценности.

– Ну да, да: «не каждая фотография достойна стать черно-белой». А мне как раз интересен цветной мусор бытия. Я человек банальный и тоже обожаю барахло.

– Так что, перекинуть ее тебе? Давай адрес.

– Запиши сюда.

Поколебавшись, он достал из кармана флешку – такой крошечной Айя еще не видала. Она восхитилась, покрутила ее в пальцах, сказала: «Похожа на лекарственную капсулу, хочется проглотить!» (он удержался и не ответил: «Для того и сделана»), вставила в ноутбук, и... И лавка Адиля со всем добром и коллекциями антиквариата, меди, золота и серебра, с книгой о сладостном пении райских птиц, помеченной экслибрисом Дома Этингера, с закладкой-фантиком на странице смертельной опасности, с двумя разными монетами в разных руках покойного антиквара и с ценнейшей фотографией Казаха (да-да, Казаха, а не «Казака» – вот для чего старая изуверка-судьба заставила тебя сделать крюк на маленький остров, вот для чего предъявила эту девушку, вот для чего, старая сука, окунула тебя в тишь и глубину ее объятий, а сейчас отпихивает тебя от нее ногой, как шелудивого пса, поскольку отныне твое дело – десятое) – лавка Адиля вмиг перекочевала в мини-капсулу Леона, чтобы через считанные часы пуститься в свое стремительное плавание, размеченное лоцманами *конторы*.

– И тогда уж и другую?.. – спросила Айя. – Настоящую, а то мне обидно. – И перенесла на флешку черно-белые руки Адиля, в которых он, возможно, в последний раз держал две монеты императора Веспасиана.

* * *

– Что... пора? – чуть ли не весело спросила она, заметив его взгляд на табло рейсов.

Как она ориентируется во времени? – отрешенно подумал он, который время чувствовал селезенкой или чем-то там еще внутри. Объявлений она не слышит, часов у нее нет. Наверное, все продала за тарелку супа на чертовом райском острове. И мысленно беспомощно заметался: ей надо было купить все, все – она не одета, необута...

Объявили выход на посадку. Они выскочили из бара и направились в зал отлета, где на контроле ручной клади с пластиковыми шайками (напоминавшими банные, только дырчатыми) теснилась довольно длинная очередь.

– Так я пошла? – легко спросила она, взглядом ощупывая его лицо, его губы. Выждала секунду и сказала: – Ну... было классно, правда?

– Выучи какое-нибудь другое слово! – в тихом бешенстве на себя, на нее, бог знает на кого еще процедил он, не двигаясь.

И она с облегчением бросилась к нему, с силой обняла, толчками выдохнула в ухо:

– Спа! Си! Бо! Шейх!

Отбежала на пару шагов и сразу вернулась.

– Слушай... – неуверенно проговорила она, перетаптываясь с рюкзачком за плечами. – Не в моих правилах вешаться на шею, но, может, ты просто не догадался дать номерок телефона – иногда эсэмэску отобью?

Он покачал головой, вымученно улыбаясь.

– Нет? – пораженно уточнила она. – У тебя, у дурака, нет телефона? Ну... ну тогда мэйл? Привет-привет или что-то вроде... раз в году?

Он продолжал молча стоять, не двигаясь. Если б сейчас она подалась к нему, как минуту назад, он бы сгреб ее в охапку и бросился куда-нибудь на край света, где их не достали бы ни *контора*, ни Фридрих-Казах... Сердце его колотилось как бешеное, как на чертовой глубине, на исходе последнего дыхания.

– Айя-а-а... – выдавил он.

Кто, кто придумал тебе такое имя: имя-стон, имяболь, имя-наслаждение... Ай-я-а-а, радость моя, чудонаходка, мой глухой фотограф, мой мастер дивных рассказов, мой бритый затылок, мои грудки-наперегонки... Да черт побери! черт меня побери!!!

Она сосредоточенно глядела, как едва шевелятся – от боли – его губы. Кивнула.

Сказала:

– Понятно.

Повернулась и пошла.

Даже не плакала. Просто приняла эту подлость как должное.

Как еще одну подлость на своем пути.

* * *

Он купил в киоске глянцевую открытку с видом очередного белого пляжа на Ко Ланте, неотличимого от пляжа на Патайе; выбрал самую большую, с самым чистым полем для письма на обороте. По давней привычке он предпочитал обходиться без мобильного. Электронной почте

не доверял никогда, а уж телефоны аэропортов наверняка прослушивались. Старая добрая почтовая весточка от довольного жизнью туриста – скорее всего, пожилого оригинала, предпочитавшего такой вот милый привет престарелой подруге всем достижениям безликой цивилизации «новой эпохи». Дойдет она быстро, дня за два – в аэропортах почта циркулирует отменно. Вот именно: старая добрая весточка сделает свое дело и в то же время подарит ему день-два на обдумывание.

«Дорогая Магда, вот и я пишу тебе открытку – что для меня, согласись, случай экстраординарный...»

Писал он по-английски, неразборчиво и очень мелко; ничего, Магда наденет очки и – сквозь паутинку нарочито корявого почерка – догадается, что *это письмо* предназначено вовсе не ей. А там уж тот, кому следует, разберет сигнал и выйдет на связь.

«...Очередной отпуск в пленительном Таиланде, особенно встречи с природой и людьми потрясли меня настолько, что сейчас я, навидавшись тайцев, пожалуй, не отличу казака от казаха – прости за каламбур, – особенно если ныне казах обитает – о наш перепутанный мир! – например, в Лондоне...»

И так далее, еще несколько фраз, вполне, на посторонний взгляд, бессмысленных или банальных, вроде упоминания о «прекрасных рынках Востока», где можно увидеть все, что душе угодно, «вплоть до настоящих персидских ковров, которым так фанатично предан твой супруг»...

Сейчас надо было уберечь Айю, не дать им нащупать ее безжалостными лапами. Скрыть ее, увести от нее их интерес, как лиса уводит преследователей от норы. И все это время – пока выбирал открытку, пока сочинял письмо, пока выводил неразборчивый текст – он напряженно думал, как это сделать.

Запечатывать послание в конверт не стал – вернее дойдет; кому интересны отпускные излияния очередного туриста на захватанной картонке. Написал адрес и опустил открытку в почтовый ящик.

Все! Разматывайте клубок сами, катите его от Лондона... хоть до Тегерана, только ее не трогайте.

Что касается меня, – я чист перед конторой, перед памятью Иммануэля, перед чертом-дьяволом и, кстати, перед Филиппом, которому больше не придется переносить даты репетиций и сроки контрактов. Баста! Вот уж этой поездкой я сыт по горло.

Затем бездарно слонялся по залам аэропорта в ожидании своего

Я в самолете. Куда-то лечу? Да, в Бангкок, из Краби... от Леона. Что-то случилось с ним в аэропорту, что-то произошло. Ужасные страдающие глаза... Губы, сведенные отчаянием.

Она вяло поднялась, споткнулась о свой рюкзак на полу, нагнулась, чуть не упав от крутнувшихся перед глазами кресел, выпрямилась и закинула рюкзак на плечо, пережидая приступ головокружения.

Надо же, как заснула: самолет пуст, и только две растерянные стюардессы квохчут над ней: похоже, она испортила им, бедняжкам, ланч.

Она тронулась по проходу, вяло извиняясь, роняя «сорри» и «тэнкс» куда-то под ноги. Этого еще не хватало – рухнуть тут в отключке.

Сейчас один путь: добраться до «халабуды» Луизы и Юрчи и там залечь, как обычно, дня на три. Был там за индийской ширмой закуток с убитым матрасиком – в их вонючем сквоте, пропахшем старыми пивными банками, забытым мусором в кухонном ведре, противомоскитной жидкостью и ароматическими свечками, которые так любит возжигать Луиза.

Видимо, время пришло. Плати опять за свое *быть как все*. Не забудь только отцу эсэмэску отправить: «Я в порядке здорова целую». А там – спускайся, узник, в гулкое подземелье бездонного сна.

Она дотащила до остановки, где уже стоял готовый к отправлению автобус в центр города, как часто случалось в ее жизни – с единственным свободным местом и, конечно, в самом конце салона. Она пробралась, забила в угол. Сейчас важно вообще не закрывать глаза, ни на минутку. Потерпи, потерпи... Доехать до конечной, пересесть на рейсовый кораблик... А там уж рукой подать. Можно даже долларов не менять: напоследок Леон выгреб из своих карманов все баты, оставив себе только мелочь...

Леон. О нем больно думать. Что-то с ним стряслось – еще раньше, давно, очень давно. Кто-то его изранил, обидел, наказал, предал... Женщина? Нет, не только. Но женщина – корень, глубокий корень. Ухватись и вытащи, упрись покрепче. Нет сил... Не закрывать глаза!!! Да – женщина; потому что все его тело – недоверие и нерв. Легкое, сильное, щедрое тело... Что с ним сделали? Кто его покалечил?

Все равно ни до чего не додуматься – сейчас, на исходе дыхания, с трудом карабкаясь к тонкой щели света...

«Халабуда» Луизы и Юрчи – огромный тайский дом, типичный в этих

краях «баан тай»: все открыто и закрывается лишь деревянными ставнями, второй этаж сдается несметной семье китайцев-нелегалов. Время от времени кто-то из них попадает в тюрьму за нарушение паспортного режима или потому, что их ловят с фальшивыми корейскими паспортами, которые они покупают за бешеные деньги в надежде перебраться в Америку. Две-три их женщины говорят по-русски, потому что лет пять прожили в Иркутске, торгуя пуховиками на тамошних рынках. Навострились: «большая», «маленькая», «деньги хоросы, малькие»...

Дом стоит на канале, довольно вонючем; стаи прожорливых комаров, стойких и к химии, и к ароматическим свечам, составляют некую ядовитую компоненту липкого, тягуче-влажного воздуха. Что касается нижнего этажа, там с людьми братаются крысы, ящерики, пауки и полчища тараканов. Ко всему этому быстро привыкаешь: ничего не поделать, климат. Всем надо жить. Тараканы здесь даже по улицам бегают, разве что в автобусах билета не берут.

С Луизой, полуузбечкой, полуукраинкой из Ташкента, Аяя познакомилась года два назад. Луиза позировала ей для целой серии «ню», заказанной одним богатым тайским коллекционером. Фантастического благородства тело, снимать можно любое движение наугад: ни капли нарочитости, ни грамма вульгарности – целомудренность в каждом жесте, цвет кожи – чистый перламутр. Идеальная модель для какой-нибудь «Весны» или «Юности»...

Луиза прошла долгий путь от «белой проститутки» (работала не на улице, а при дискотеках и знала английский язык – типичная «фаранг пудиль», «белая женщина») до «мамы-санки». «Мама-сан» – так называют здесь сутенерш.

Взлет в ее карьере начался, когда она встретила Юрчу. В то время он крутил баранку такси и развозил девочек по клиентам. Таксисты в Бангкоке – первые люди в блядушном бизнесе. Знают, где снять комнату на час, где, и как, и почему связать товар с покупателем. Они сговорились, сколотили своего рода концерн с извозом – и дело пошло.

Юрча – тот в свое время тоже проделал некий путь от «супервайзера» по работе с русскими на ювелирной фабрике, до... до того, чем он стал: беспробудным наркушей, выносящим из дома все, что зарабатывали «девочки» Луизы. Он уже отсидел в Лад Яо за торговлю наркотиками, таблетками (в простонародье «Яба» и «Яха»), привыкание к которым наступает мгновенно, и сейчас доживал на шее у Луизы.

Впрочем, был у него еще один вид заработка: он вырезал деревянных кукол в гробу. Деревянные человечки (сантиметров двадцать длиной)

лежали в гробу со скрещенными на груди руками, с плоским оторопелым лицом. Некоторые туристы покупали эту дрянь, принимая ее за тайский народный промысел: что-то вроде духов тайского дома.

Разумеется, можно было не тащиться в их гнусное логово, а снять номер в каком-нибудь недорогом пансионе – ведь она сейчас при деньгах. Повесить на двери табличку «не беспокоить» и – отчалить... Но она слишком хорошо представляла себе, что будет, когда горничная на третий день подозрительной тишины забьет тревогу. А третий-то день – он самый тяжелый, когда обезвоженная, истощенная, часто обмочившаяся, она только начинает шевелиться, выплывая на поверхность жизни. И тогда ее уж точно сдадут в полицию, а там иди доказывай, кто ты и с какого бодуна беспробудно валяешься в номере...

Кроме того, за последние полтора года у нее выработался целый свод правил унесения ног, уматывания, или, как это назвала Большая Берта, улепетывания: не оставаться дольше чем на день в местах, чьи адреса имеются в справочниках; не появляться в чужих домах в такие дни, как эти, когда нет возможности мгновенно сорваться с места и исчезнуть; отключать телефон и обрывать любые связи с миром, когда ты беззащитна и слаба.

Хорошо, положим, ощущение охоты за ней – навязчивая идея последних полутора лет. Но лучше потакать навязчивой идее, чем плавать в канале холодным трупом, не так ли?

Нет, пусть с тараканами, с гадкими ароматическими свечами суеверной Луизки, пусть с дохляком и педиком Юрчей, но все же в укромном углу, за деревянной ширмой: пережить свою краткую смерть, а там уже думать, что делать дальше.

* * *

До «халабуды» она добралась на рейсовом кораблике, уплатив два бата, из последних сил простояв всю дорогу торчком, чтобы не распластаться у людей под ногами.

Вошла во двор, заваленный всяким хламом, но с непременным «домиком духов» в зеленом уголке, увитом кладбищенскими бумажными розами: Луиза как губка вбирала в себя местные верования и обычаи. Она приносила в домик сладости и цветы, воскуряла там свечи – просила

Будду о милостях. Когда Юрчу посадили, ездила во дворец Изумрудного Будды на поклонение, потом с истовым благоговением повторяла: «И помог! Помог!»

Все же везло ей сегодня: сквот стоял пустой, с незапертой дверью. Хозяева никогда не запирали дом – из него уже нечего выносить. Но теперь, когда Айя дотащила сюда свой рюкзачок с камерой, дорожными линзами и ноутбуком, любому желающему очень даже было чем поживиться. Так что, войдя, Айя первым делом плотно прикрыла дверь и огляделась в исполосованной щелястым светом полутьме.

Ее убитый матрасик, заваленный кучей тряпья, благополучно дожидался за складной деревянной ширмой в углу кухни. Сколько бедолаг, таких же случайных и бездомных, как она сама, ночевали тут, пока она болталась на острове?

Она прикрыла глаза, и тут же цепочкой покатилося: белые отмели, алое золото в воде, бунгало доброй Дилы, мелкая волна о борта пенишета и болевым всплеском – Леон.

Что-то мучило ее, не отпускало, не давало покоя. На кораблике в ту жаркую бесконечную ночь она ни разу не вспомнила о... Фридрихе... Но какая тут связь: Леон и Фридрих?

И – замерла от внезапной мысли: там, в лесу, когда железным локтем он пресек ей дыхание, – он ее пугал? или убивал? А их спасительные общие «Стаканчики» и общий Желтухин – что, если б их не было? Она осталась бы лежать там, в лесу, на острове, как он обещал – «с пробитой трахеей»? Так кто же он, который умеет так трудно любить и так легко лишать жизни?

И, наконец, беспомощно, отгоняя эту мысль, но и сдаваясь ей: Леон – бандит? Как и Фридрих, как... Гюнтер?

* * *

Бабушкино было слово – смешное, допотопное, из времен какого-нибудь нэпа; бабушка Зинаида Константиновна, уже сидя в инвалидном кресле, комментировала окружающую это кресло жизнь. Вокруг апортовых садов какие-то ново-лихо-богатые люди скупали и ломали старые мазанки, вроде их милого старого дома. И бабушка называла этих людей «бандитами», что ужасно смешило и Илью, и Айю. Ну, какие же они бандиты, говорил Илья, нормальные предприниматели, вроде твоего

отца, у которого, как выяснилось, был конный завод.

Ты никогда ни черта не понимал и ни черта не поймешь, в сердцах отвечала бабушка. Помнишь, как сгорел дом у Потаповых, сразу после того, как они отказались его продавать? Граница всегда проходит там, где человек готов лишиться кого-то жизни. Для этих пред-прини-мателей жизнь человеческая – легче канареечного пуха: дунул и отмел. Потому что они – бандиты!

Забавно, что вспомнила Айя это слово в такой момент, когда все остальные слова будто вымело из головы: когда она стояла и смотрела на лист бумаги в открытой пластиковой папке, где ровным столбцом слева выстроились наименования предметов, от которых волосы вставали дыбом, а против них таким же ровным столбцом выстроились цифры, количества и цены: мирный дебет-кредит, бухгалтерский учет Костлявой.

Гораздо позже Айя поняла, что ее проклятая наблюдательность, ее, как говорил папа, «неумолимая глазасть» в доме Фридриха должна была замереть и ослепнуть. «Казахской шлюхе» могли спустить многое – гашиш, марихуану, пьянки-блядки... Но только не этот взгляд профессионала, привыкший выхватывать из ситуации, из разговора, сцены, картинки самое существенное и характерное.

Взять, к примеру, появление Гюнтера – того самого непутевого сына Фридриха, которому вроде полагалось еще много лет мотать срок за убийство. И вдруг он как ни в чем не бывало возникает в холле, открыв дверь своим ключом.

– Привет, – сказала она. – Ты кто? – Да по тому только, как он весь подобрался, надо было заподозрить неладное.

В те первые дни в Лондоне Айя еще довольно плохо читала по английским губам. Многое дополняла по смыслу, медлила перед тем, как ответить.

– Привет, – повторила она. – Я – Айя...

– А-а... племянница? Та, что всюду мотается без руля и компаса? – Он расслабился. – Та, что по губам читает? Полезная особа! – И навстречу Большой Берте, выглянувшей в холл, крикнул что-то по-немецки (потом Айя восстановила смысл по двум-трем понятным словам): – Старуха, дай пожрать хоть сэндвич, нет времени ждать.

– Noch ein Kasache der herumkommandiert!^[44] – каркнула Большая Берта, вразвалочку отбывая на кухню.

– А ты разве не в тюрьме? – спросила тогда Айя.

(Бабушка говорила: ты сначала всегда подумай – может, и не стоит рта открывать.)

Гюнтер замкнул лицо, помолчал. (И ни капельки он не был на нее похож, ни капельки – что это Фридрих придумал! Была в нем такая кряжистость, присидчивость, как у борцов, высматривающих слабое место противника.)

Усмехнулся и протянул:

– В тюрьме-е? Ну, можно и так сказать...

И впоследствии они едва ли перемолвились друг с другом двумя словами – она и этот ее таинственный дядя, возникавший редко и внезапно и так же внезапно исчезающий из дома. Полуночный угрюмый человек, ни с кем не здоровался, ни с кем не прощался. С Фридрихом и старухой говорил по-немецки, с Еленой, кажется, вообще не разговаривал – так, отрывисто, сквозь зубы, пару фраз. Никогда не сидел за столом со всеми. Большая Берта носила ему еду наверх, в его комнату, всегда запертую – был он дома или в отлучке. Тот еще типчик.

Довольно скоро Айя обнаружила, что у Фридриха имеются на нее какие-то свои коммивояжерские планы, связанные с Казахстаном – Алма-Ата, Актау...

Буквально через неделю после того, как начались занятия в арт-колледже и на нее с немым ошеломляющим грохотом обрушились язык, люди, музеи, галереи, картины, фотография – тысячи шевелящихся губ огромного чужого города, – и, слегка оглушенная, она балансировала на краю этого бурлящего вулкана, с жадным восторгом вбирая пульсирующую столпотворень, но и защищаясь от нее тоже, – в один из этих дней за завтраком Фридрих сообщил ей каким-то сюрпризнодорожным, но и неотменимо-разумеющимся тоном, что в понедельник ей предстоит дней на пять «сбежать домой» – два дня побыть с папой, а потом (легким тоном) дня на три смотаться в Актау по одному делу, подробности позже...

Неотрывно глядя в его ускользающее лицо, она спросила удивленно и прямо:

– Зачем?

– Я тебе позже дам инструкции, – так же легко ответил Фридрих, уводя взгляд и сосредоточенно цепляя вилок кусок артишока из салатницы.

Ей не понравилось слово «инструкции» и не понравилось, что ее куда-то намереваются посылать. Она не пешка. К тому времени все ее существо – ее тело, мысли, глаза – привыкли к абсолютной свободе. Прежде чем возникнуть в Лондоне (она наугад позвонила Фридриху

из Эдинбурга и услышала радостное: «Где же ты, девочка, куда пропала? Конечно, приезжай!»), Айя года полтора носилась по таким заковыристым маршрутам, что если б на бумагу нанести все ее пути-дороги, получился бы рисунок почище узора персидского ковра. Да она тысячу раз сбежала бы из любой золотой клетки, если б хоть на минуту ощутила чью-то направляющую волю. Ни за что!

– Вряд ли, – проговорила своим трудным упрямым голосом. – У меня сейчас нет времени.

– Ну-ну, моя радость, – улыбнулся Фридрих. – Не верю, что тебе не хочется повидать папу.

Она спокойно отозвалась:

– Когда захочется, я тебе сообщу.

Елена бросила вилку на тарелку – видимо, с изрядным звоном, поскольку на пороге столовой возникла Большая Берта с каким-то отрывистым залпом в немецких губах. Фридрих махнул ей рукой, отсылая, а Елене сказал:

– Так. В чем дело?

И она, еще не привыкнув к тому, как легко девушка понимает по губам и по лицам, как точно прочитывает намерения и мысли, выпалила:

– Я тебя предупредила, что это опасный вариант.

На что тот мягко (легкое презрение в губах и подавленное бешенство в карих глазах) отозвался:

– Заткнись, дорогая.

И какое-то время тема разъездов не возникала.

Ей следовало сразу же убраться из этого дома или уж не замечать всей странной тамошней жизни, всех этих посетителей (Фридрих их называл «деловыми партнерами»), что являлись за полночь; всех этих персонажей, вроде громы с детским именем-кличкой «Чедрик», что неотменимо присутствовал где-то вокруг Фридриха, а ночами шлялся по дому, как сторож с колотушкой, и можно было умереть от страха, выйдя из комнаты в туалет и столкнувшись с ним в коридоре. Выглядел он так, будто, прежде чем выпустить его на люди, некто взял и переломал в его облике все: нос, скулы, челюсти, подбородок. Все было асимметричным, перебитым, склеенным и зашитым, все хотелось подровнять и исправить. Говорил Чедрик по-немецки, но сам вроде был сирийским другом, понимал и русский, и английский. В этом доме вообще бытовали-сосуществовали несколько языков, один подхватывал другой и плавно переходил в третий...

Подразумевалось, что Чедрик был кем-то вроде дворецкого-охранника-сторожа и мальчика на побегушках. Он всегда встречал посетителей, деликатно снимая с них плащи-дубленки своими устрашающими ручищами восточного джинна. Но однажды, спускаясь по лестнице, Айя так и застряла на верхней ступени: она увидела, как Чедрик обыскивает двоих чуть ли не в дверях холла; обыскивает буквально, по-настоящему, обхлопывая грудные клетки и промежности. И, надо признаться, гости, судя по их виду, необходимость обыска принимали.

Большая Берта:

– Die sind alle Kasachen, Kasachen, Kasachen!^[45]

Старуха, конечно, была с большим «казахским» приветом, однако надо признать, что среди посетителей и «деловых партнеров» Фридриха и впрямь довольно много было мужчин с восточной внешностью.

Что касается Берты, уже месяца через два Айя понимала по ее сумбурным морщинистым губам изрядную толику немецких слов, так что из первых рук трижды выслушала историю с убитым русским лейтенантом, с его бесполезно расстегнутой ширинкой и с солдатом Муханом, казахом, который «спасти-то спас, но позже и сам на нее залез, ишь, поганец! А все потому, что дед моей Гертруды, старый Фридрих, чему-то там учил его в казахской норе и адрес в него с детства вбил, наш адрес в Берлине: Бисмаркиштрассе, восемь... И тот вроде пошел искать наугад – он, видишь, уважал и любил старого Фридриха. И пришел вовремя, тут ничего не скажешь. И пистолет его стрелял метко. И по-нашему он говорил как родной, хаять не стану. И когда родился этот мой “маленький казах”, он назвал его тоже Фридрихом, уважил память старика, значит, не врал...»

Весь дом в Ноттинг-Хилле был устлан дорогими персидскими коврами – отличная реклама фирмы Фридриха. Да и не реклама – просто обиход. Обстановка дома действительно отличалась изысканным ориентализмом. Никакого чиппендейла, никакого бидермайера, никаких «истинно английских» дубовых панелей. Арабески, оттоманки, инкрустированная слоновой костью и перламутром мебель, большая коллекция первоклассной антикварной меди и бронзы с блошиных рынков Европы, Стамбула и Тегерана. Короче, восточный «винтаж». Ну и ковры, ковры... Ковры в великолепном просторном кабинете Фридриха с арочными окнами во двор...

– Ну тебя с твоей неумолимой глазастью! – говорил папа.

Айя заметила, как загибается угол ковра под секцией широчайшего – во всю стену – книжного шкафа в кабинете Фридриха. Вернее, то были книжные полки, сделанные на заказ, под коллекцию букинистического добра, собранного Фридрихом по разным странам. Одна секция еле заметно приподнята над полом, на сантиметр выше остальных. Угол ковра под ней сбит и слегка загнут, как бывает, когда через ковер все время переступают в... другую комнату, например. Бред, конечно. Какая комната – там, в книжных полках?

* * *

То, что комната существует, Айя обнаружила по чистой случайности, года три спустя. Она давно оставила дом Фридриха и Елены и появлялась так редко, что впору было забыть, как туда добираться.

К тому времени в ее жизни уже были странствия по Южной Америке, Испании, Ближнему Востоку; «случайная» встреча с Фридрихом в Иерусалиме и возвращение в Лондон; восстановление в арт-колледже и участие в нескольких выставках, благодаря которым два-три известных журнала купили у нее кучу снимков и заказали целую серию «рассказов». Она сама предложила тему: «*Charm of Persia*»... Фридрих был в восторге: еще бы, такая реклама его коврам!

Вот из-за ковров-то Айя и оказалась в тот день в их проклятом особняке, и всего-то требовалось – отвести глаза, повернуться спиной к распахнутой двери кабинета, из которого в то суматошное утро Фридрих выскочил на крики Большой Берты.

Крики неслись с улицы, где буквально перед домом на старуху наехал велосипедист.

Ничего страшного не произошло, кроме того, что велосипедист, столкнувшись с громадной задницей немецкой мортиры, упал со своего велосипеда и сломал руку («*Er hat sich auf mich gestürzt, dieser Kasache!*»^[46]).

Судя по тому, что одновременно со второго этажа по лестнице скатилась огненноликая Елена (клубничная маска во все лицо), а из кабинета выбежал Фридрих, можно представить, какую Большая Берта выдала канонаду из всех орудий – орала так, что, помчавшись на вопли, Фридрих оставил дверь кабинета распахнутой.

Он к Большой Берте был страшно привязан.

Айя в это время крутилась в соседней с кабинетом гостиной, на время

превратив ее в студию: строила натюрморт из медной и бронзовой утвари, собранной по углам и закоулкам дома.

На полу в просторном эркере ленивыми удавами лежали рулоны ковров – новая партия, доставленная с центрального склада в Тегеране. Обычно партии завозились прямо на склад магазина-галереи в Мейфэре, но на сей раз Фридрих попросил привезти ковры домой: Елена хотела выбрать что-нибудь новенькое и «деликатное» для своего кабинета. Ковры привезли и сгрузили в нижней гостиной.

Вот Айя и крутилась там, с удовольствием расстилая то один, то другой (все нежнейших расцветок – такими коврами застланы столы на картинах Вермеера), любуясь каждым, ахая и колеблясь – какой выбрать фоном для меди: зеленовато-розовый, с мелко-серебристой вязью, или палево-голубой, с синими лилиями по кромке.

В этот момент и стряслась драма: наезд несчастного велосипедиста на гранитную задницу Большой Берты. Звукового оформления Айя, само собой, не слышала, но по тому, как весь дом в одну секунду пришел в движение, по тому, как внезапно распахнулась дверь кабинета и оттуда вылетел обезумевший Фридрих, поняла, что происходит нечто потрясающее.

Вот и надо было повернуться спиной к распахнутой двери кабинета и к тому, что в этой двери она вдруг увидела: отъехавшую вбок секцию с книгами, оказавшуюся проемом...

Завороженная открывшимся кадром, она подошла и замерла на пороге комнаты.

В сущности, это был огромный сейф, в данный момент открытый. Внутри ровной клавиатурой встроены в стенку с десятков сейфов поменьше.

Ну и вали отсюда, сказала она себе, это ведь нормально для делового человека такого масштаба, как Фридрих, – иметь в доме сейф, где он хранит... А что, кстати, хранят в таком монстре – деньги? золото? ковры? При нынешней банковской системе, при виртуальном перемещении капиталов и акций – что особенного можно прятать в этих стальных тайниках, кроме каких-нибудь украшений Елены, которые она держит совсем в другом, маленьком сейфе в спальне? Бриллианты и жемчуга она, как и все, хранила в банковской ячейке.

Но момент, но обстановка, но – кадр! – Айю очаровали. Это был шик, антураж голливудского боевика на тему ограбления банков: сейф,

да какой! – настоящая потайная комната! Наверняка там шифры, и коды, и прочая дребедень... Блеск! А если еще совместить нос Большой Берты и ее неохватную задницу со всей этой сверкающей кнопочной картечью! Ее голубые фашистские глаза на фоне стали!

Выходит, это сюда Фридрих заводил некоторых «деловых партнеров», подумала Айя. Заводил, чтобы... что? Боже, ну что такого таинственного может быть связано с дурацкими восточными коврами? Дурацкая бумажная документация, приход-расход, годовой оборот, дебет-кредит?..

На краю письменного стола лежала пластиковая папка, которую Фридрих бросил, выбежав на вопли Большой Берты. И Айя склонилась над папкой – просто из любопытства...

Вначале все это показалось ей какой-то тарабарщиной, но спустя минуту смысл организовался, как шахматная композиция на доске. Именуя девушку «безбашенной казахской шлюхой», Елена Глебовна ошибалась: та всегда внимательно смотрела новостные передачи, каждый день читала в Интернете ленты новостных агентств, а химией когда-то увлекалась всерьез – из-за фотографии, – так что в тему худо-бедно въехала: оружейная сделка.

В левой колонке этой восхитительной ведомости значились названия ракет и систем наведения, пистолеты-пулеметы, штурмовые винтовки, снайперские винтовки, гладкоствольные ружья «ремингтон», а также названия кое-каких химических веществ – труднопроизносимых, но явно смертоносных.

И ни одного ковра, хоть обыщись.

Перевела взгляд на соседнюю колонку: цифры были убийными.

Он оказался настоящим великолепным «бандитом», этот ее замечательный двоюродный дедушка.

...Когда, тихо матерясь по-русски, Фридрих вернулся с улицы (объяснение с полицией, втаскивание в дом туши Большой Берты, вызов такси для поломанного велосипедиста), Айя по-прежнему крутилась вокруг своей инсталляции, выбирая нужный ракурс для первого снимка в «рассказе».

Фридрих вошел в кабинет (она спиной чувствовала и представляла, как деловито он там возится – вкладывает смертоносную папку в ячейку, запирает, перебирая кнопки клавиатуры, закрывает толстую дверь огромного своего сейфа, беременного взрывами, ядовитой отравой

и ужасом сотен тысяч или даже миллионов людей), но минут через пять вышел.

Она повернулась и навела на него объектив.

Он сказал в объектив:

– Могла бы выглянуть в окно интереса ради – что там приключилось с несчастной старухой. Все-таки ты удивительно равнодушна. И перестань щелкать мне в лицо, что за хамство!

Она отщелкала несколько кадров этого настоящего его лица, опустила фотоаппарат и сказала: – Фридрих! Ты бандит?

Ты сначала подумай, ты подумай сначала, – может, не стоит рта открывать?

Но она не дала себе труда подумать – и потому оцепенела от ярости, когда Фридрих наградил ее полновесной затрепиной. Эта затрепина горела на ее щеке дней пять – так Айе казалось. И дело не в том, что он поднял на нее руку – подумаешь, оплеуха: к тому времени ей доводилось и раздавать, и получать вполне чувствительные удары, кисейной барышней она не была, а уж недоτροгой ее бы никто никогда не назвал. Что могло ее удивить или задеть после трехдневной комы в бразильском госпитале?

Но и выкатившись из особняка в Ноттинг-Хилле, она оскорбительную сцену с Фридрихом считала безобразной, но все же семейной разборкой. «Меня папа никогда пальцем не тронул!» – мысленно орала она. Иными словами, Фридрих оставался для нее родственником.

Она и продолжала бы считать его родственником, даже послав к черту всю эту компашку, даже после того, как неизвестные мерзавцы расколошматили ее фотик, выудив его из рюкзака, оставленного в подсобке паба. Она так плакала, стоя над растоптанными на полу линзами. Нет. Ничегошеньки она бы не поняла, ничего – дуреха, балда, простофиля!

Если бы не эпохальный визит Большой Берты.

О-о-о!!! Большая Берта! Дорогая моя, героическая толстая задница!

Старуха явилась прямо в паб – и как она адрес разузнала, и как решилась прийти, как умудрилась исчезнуть из дому, откуда отлучалась только в ближайший супермаркет?

Айя онемела, когда увидела Большую Берту: беспомощная глыба в допотопном плаще рейхсфюрера СС, та стояла в сизых клубах сигаретного дыма – гигантская сова в сполохах синего света, среди обдолбанной молодежи чужой страны.

Айя выбежала из-за стойки бара, взяла старуху за руку и увела в кухню. Смешно, первой мыслью было: Фридрих прислал Большую БERTу, хочет помириться «с девочкой»... Идиотка наивная!

Вот тогда и выяснилось, что старуха немного петрит по-русски. Ну конечно: все восточные немцы изучали в школе обязательный русский язык, да и Фридрих за годы второго брака дома говорил с Еленой только порусски. В бурном потоке русско-немецких слов, который Айя пыталась разобрать, переспрашивая, уточняя, останавливая БERTу – удостовериться, что все поняла правильно, – прояснились некоторые интересные обстоятельства.

Старуха просто изобразила всех в лицах:

Елену: «И ты отпустил ее, кретин?! После всего – ты ее отпустил?!»

Фридриха: «Заткнись. Не вмешивайся! Это моя семья».

И опять Елену: «Это не семья, а подобранная тобой с помойки казахская шлюха, которая в конце концов продаст всех нас не задумываясь!»

Старуха замолчала и сурово сказала по-немецки:

– Девчонка, улепетывай куда глаза глядят! *Na! ab, Mädel!*

– Вот еще, – отозвалась Айя. – Подумаешь, говно...

И тогда, вцепившись ей в руку так, что потом на большом пальце синели следы от ногтей, косноязычно, в волнении смешивая немецкие и русские слова, Большая БERTа сообщила, что слышала разговор Елены и Гюнтера... Елены и Гюнтера? Ты что, БERTа?! Они же друг друга терпеть не могут! Ни разу не видала, чтоб они беседовали.

То-то и оно, согласилась старуха. Она спустилась ночью в кухню за снотворным и с лестницы слышала их разговор. Бывает, добавила БERTа, эти люди заключают перемирие, если надо убрать кого-то, кто мешает обоим.

– Как... убрать? – ослабев всем телом, спросила Айя. – В каком смысле?

И Большая БERTа, ворочая русские слова, как камни, сообщила:

– Елена говорить к Junge^[47]: «Надо девку умолкать. Она опасный». Еще сказать: «На Фридрих не слова. Пусть отдыхать старый кретин. Будет потом данке от него».

Затем Большая БERTа просто и откровенно сообщила Айе, что лично ей в целом плевать, кто из них кого прихлопнет: да, так уж получилось, что Junge вырос ублюдком и убийцей – так его воспитал проклятый брат его матери, тот, у которого «мальчик» годами ошивался где-то там,

на востоке... Но вот своего Казаха, своего Фридриха Берта любит, а он почему-то привечает девчонку – видно, так уж устроена казахская половина его сердца. Поэтому Берта не хочет ничьей крови. Пусть будет тихо в этом проклятом доме.

И она твердо повторила по-немецки:

– *Hau ab, Mädel!*

А перед тем как уйти, схватила руку Айи своей жесткой лапой и оставила в ней несколько бумажек, оказавшихся потом не чем-нибудь, а пятьюстами фунтами – о как! Потопталась, ничего больше не добавив. Тяжело развернулась в дверях – немецкая мортира, и – кадр из семидесяти семи фильмов – молча вышла в желтый туман ночного Сохо.

* * *

Опустившись на матрас, Айя медленно сняла рюкзак с драгоценной оптикой, бережно, как ребенка, уложила его в изголовье, забросала кучей тряпья. Успела подумать: хорошо бы... пару слов... папе... ...и медленно повалилась навзничь.

Вечером явился злой и безденежный Юрча.

Ему не удалось раздобыть ни черта, а двух гробовых кукол хозяин лотка не взял – мол, он еще тех, прежних, не продал. Сказал: Юр-ча, почему бы тебе не попробовать сделать что-то другое, повеселее?

И тот мрачно возразил, что другого делать не умеет.

Луиза была уже дома, стряпала на старой газовой плитке.

– О-о! – удивился Юрча, обнаружив некоторую перемену в обстановке: деревянные крылья ширмы Луиза расставила так, чтобы полностью укрыть матрасик и того, кто на нем обосновался, от посторонних глаз. – У нас гости, а? Надеюсь, с подарочками?

– Не трогай ее, – откликнулась Луиза, пробуя губами острое рыбное варево в кастрюльке. Она и вкус перенимала быстро, и готовила очень острые тайские блюда, называя это «пет ник ной», «слегка перченное»; Айя никогда не могла у них есть, а Юрче хоть бы что, жрал все подряд. – Не трогай, я сказала! Опять залегла, бедная девчонка. Я чуть не споткнулась об нее, аж вскрикнула, а она уже тью-тью. В отключке.

Юрча задумчиво стоял над спящей, разглядывая ее с пристальной обстоятельностью.

– Это как эпилепсия, – объяснил он то ли себе, то ли Луизе. – Только

тихая. Приодета однакыж, а? Знач, при деньгах. Дорогие шмутки, смотрю... Слышь, Луизка? Жалко, шмутки дорогие: она ж все равно обоссется. Давай снимем джинсу, пусть так валяется. Потом скажем – ты обоссалась, детка, пришлось выбросить.

– Юр-рча... – угрожающе пророкотала Луиза, надвигаясь на него с ложкой в руке.

– Да ла-а-адно, – протянул он. Но от Айи не отходил, все разглядывал, не решаясь приступить к обыску. – А где ее камера? – спросил он вдруг. Луиза повернулась, уставилась на него с усталой злостью:

– Ты чего это? Тебе прошлого раза не хватило?!

– Так она ж – смотри, валяется, как тюлень. Любой бы нашарил и забрал. Мало ль кто сюда сунулся.

– А я говорю – тебе прошлого раза не хватило?! Не помнишь, как она тебя отпиздила, идиот, когда ты ночью полез ее технику вытаскивать? Да она за свой фотик кого хошь на куски порвет. Ну-к, отошел от девчонки, гад!

Юрча молчал, по-прежнему разглядывая девушку.

– «Суай»... – бормотнул он задумчиво, полагая, что Луиза его не слышит. – Красивая... Тока с ней и не побалуешься: неинтересно. Она ж как мертвяк, как вон моя кукла в гробу...

Но Луиза услышала. И захохотала:

– Побалуешься?! Эт ты – побалуешься? Чем? Пальцем? Или носом? Иди, жри суп, пока я не передумала.

Но Юрче было невмочь отойти от матрасика. Прямо медом ему там было намазано. Чужал что-то, ох, он что-то чуял. И не ошибся! Когда китаянка Киу позвала Луизу и та на минуту выглянула во двор, Юрча решился: хищно склонившись, перевернул девушку на бок, пыхтя, сунул руку в один карман джинсов, в другой... перекатил ее, как куклу, на живот – и замер, нащупав небольшую выпуклость в заднем кармане.

Через мгновение он выпрямился – багровый, ласковый, с бегающими глазами, зажав в кулаке доллары, свернутые рулетиком, – юркнул от ширмы прочь и тоненько, скороговоркой зачастил, чтобы услышала вернувшаяся Луиза:

– Ага, ну и пусть спокойно спит девочка. Это болезнь такая, а, Луизка? У кого – наркота, у кого – выпивка. А у этой – сонный запой.

– Точно, – отозвалась она. – Садись, жри суп, пока горячий.

– Та неохота, – тем же возбужденным тенорком выпалил Юрча. – Я, это... я, Луизка, щас вернуся. Скоро!

И бочком выскочил в открытую дверь.

Рю Обрио, апортовые сады

1

В Париже никогда он не ощущал знаменитого «запаха Парижа», о котором так много всего написано и пропето; зато по возвращении откуда бы ни было всегда носом чуял приближение города – уже после Фонтенбло с его придорожными папоротниками, чей бушующий аромат перешибает даже загазованность трассы.

Он чуял Париж, в котором струя поднебесная сливалась со струей преисподней, а запахи кофе, бетона со строек, мокрого асфальта, дымов из фабричных и больничных труб, смешавшись с аппетитными дымками жаровен, стелились где-то в самых нижних слоях могучего течения этой воздушной реки...

Еще в те дни, когда его французский был ограничен русскими словами-исключениями «жюри, брошюра, парашют», Леон где-то у Андре Мальро выудил мысль о том, что культуру нельзя унаследовать, ее можно только завоевать. И сам был из породы завоевателей, ошеломляющих своей стремительностью.

Уже месяца через два после приезда заставил Филиппа перейти на французский, неумолимо требуя, чтобы тот дословно – даже когда сильно спешил – переводил трудные обороты и идиомы.

Мгновенно освоился в своем квартале Марэ, избранном и любимом парижской богемой, разузнал, где на рю де Риволи прячется последняя лавочка с нормальными, не туристическими ценами (ибо, как известно, по мере движения к парижской мэрии, а потом к Нотр-Даму или, наоборот, к Лувру стоимость бутылки воды вырастает до стоимости коньяка).

Он полюбил и обжил окрестности своей улочки Обрио (скорее переулка: не больше ста пятидесяти метров, три десятка домов), соединяющей две улицы подлиннее – Святого Креста Бретани на юге и Белых Плащей – на севере. С удовольствием проборматывал имена окрестных улиц и переулков, словно бы оттачивая на них произношение: *рю де Розье... рю дю руа де Сисиль... рю дез Экуфф... рю Павэ... рю Сен-Поль... рю де Блан Манто...* и наконец, самая трудная для неповоротливого языка в узко выпиленном французском горлышке (черт-те что, почти

скороговорка): *рю Сен-Круа де ля Бретонри!*

Метрах в двухстах от дома начинался еврейский мини-квартал, ныне заповедник, где сефарды постепенно вытеснили ашкеназов: сыновья портных и сапожников стали врачами и адвокатами, перекочевали в кварталы побогаче, а на месте ресторанов, где когда-то подавали фаршированную щуку и гусиные пупочки, открылись забегаловки с фалафелем и швармой. В восьмидесятых по округе стали селиться голубые, и сейчас чуть ли не на каждом доме гордо реял вездесущий радужный флаг гей-нации.

* * *

С таксистом он расплатился у метро и дальше пешком пошел по рю де Риволи.

Старая неистребимая привычка: подойти к дому исподволь, глянуть за угол – что да как у ворот. До сих пор предпочитал переждать, если там стоял невинный фургон электрической компании или прачечной.

Он уже не оставлял клочков бумаги и кусочков ваты в дверных петлях, но по запаху на лестнице всегда мог определить марку выкуренной сигареты, а до появления в его жизни аккуратистки Исадоры, консьержки-португалки, убиравшей у него по средам, считал полезным оставлять пыль в самых неожиданных местах квартиры: например, на раме первой-классной копии сезанновского пейзажа (классический двойной багет, массивная доска с выпуклым плетением бело-золотых «бурбонских» лилий), где в идеально выпиленном тайнике лежали паспорта: израильский, на имя Льва Эткина, украинский – в честь незабвенной Ариадны Арнольдовны фон (!) Шнеллер («Слушай, Кенарь, я все понимаю, и мои ребята сделают тебе ксиву хоть на Мефистофеля, но стоит ли так выдрючиваться?» – «Дурак ты, Филя, хотя и гений. Это абсолютно реальная дама»), а также чистый бланк швейцарского паспорта – на всякий случай.

С квартирой ему повезло, платил он недорого: тысячу двести евро в месяц.

Дом был спокойным, респектабельным. Окна гостиной и спальни выходили в тихий задний дворик, мощенный мелкой галькой, где в больших деревянных кадках тихо мокли под дождем или радовались солнышку карликовые остроперые пальмы. И жильцы, грех жаловаться, были вполне приличными людьми: пожилая пара бывших

железнодорожных служащих, старая дева, сотрудница научного отдела университетской библиотеки, балерина на пенсии... Ну, и парочка голубых, без которых здешний дом считался бы *пуританским и чопорным*.

Он прошел с полкилометра по рю де Риволи, миновал торговый дом «Базар дель Отель де Вилль», свернул на рю дез Аршив, затем на рю Сен-Круа де ля Бретонри, где было полно заведений: лавочки со всякой всячиной, магазин головных уборов, химчистка, крошечный бар, парикмахерская для голубых (там, впрочем, не гнушались стричь представителей другой, презренной части человечества); магазин одежды и известное кабаре «Point Virgule» («Точка с запятой»), где по вторникам и четвергам выступали мимы и сатирики-пародисты.

Оказавшись на своей пустой в этот ранний час улице, Леон неощутимо для себя подобрался и достал из кармана куртки связку ключей, среди которых затаился и тот, в чьем невинном брюхе дремало небольшое, но умное выкидное лезвие.

Калитка в старинных дубовых воротах открывалась в бывший конюшенный двор, ныне крытый и превращенный в вестибюль, где в любое время суток янтарными шарами горели кованые светильники, отражаясь в красном кирпиче пола.

Как гулко в рассветной тишине звучат шаги в этих старых бугристых стенах...

Гранитным булыгам стен, сложенных лет этак триста назад, противоречила витая лестница с вензелистыми чугунными перилами: владелица дома, вдова архитектора, вдоволь порезвилась на перестройке, выудив из чертежей покойного (и беззащитного) мужа идиотские сочетания архитектурных стилей.

В противоположном углу холла, несмотря на раннее утро, приоткрыта дверь в квартиру консьержки: желтая полоса электричества над порогом.

Неужели ждала его – так рано?

– С приездом, месье Леон!

– Привет, Исадора.

Круглое опрятное лицо, смуглая здоровая *средиземноморская* кожа, милые темно-карие глаза в лучиках морщин (*мой тип* – подсознательное доверие, симпатия, уютное ощущение родни. Вот оно опять: тоска по *другой* матери).

– Как там моя берлога? Не сгорела?

– Все хорошо, месье Леон. Я вчера убирала и, как вы просили, купила сыр, хлеб и молоко. Все в холодильнике.

В холодильнике... А вот в доме Филиппа, в Бургундии, сыры, окорока и сухие колбасы не знают никакого холодильника, а хранятся в погребе или, обернутые в специальные холщовые тряпочки, живут в шкафу: «чтоб дышали». Хлеб тетка Франсуаза держит в полотняных мешочках. Сначала это удивляло, потом привык...

– Благодарю, моя радость. Сколько я должен?

– Не торопитесь, прибавите к плате за уборку в другую среду.

Исадора живет в Париже много лет, по-французски говорит бойко и довольно грамотно, но иногда путает слова.

Он стал подниматься по лестнице. Вот лифта нет, это минус. Впрочем, в ближайшие лет тридцать, будем надеяться, сей досадный недостаток...

– Месье Леон! Месье Леон!

Он наклонился над перилами.

Исадора стояла посреди холла, закинув голову.

– Вас тут спрашивал молодой человек. Я, как вы велели, сказала, что вернетесь только завтра. Все правильно?

– Очень хорошо. Что за человек, как выглядел?

Она наморщила круглый лоб, виновато улыбаясь:

– Как вам сказать... Возраст, пожалуй, средний. И внешность такая... средняя...

Все правильно. Описание любого резидента любой разведки мира.

И вздохнул: потому-то они и не отпускают тебя, мой милый: ну на кого ты похож? Артист, диковинный педерастический голосок – знаете, из этих гомиков... *Квартал Марэ...*

Значит, Джерри. Можно представить, как его треплет контора, если он решил проверить, не вернулся ли я раньше времени.

Тем более стоит поторопиться.

Открыв дверь квартиры, он, не снимая туфель, прошел к телефону и набрал номер. Рановато, но старичье, как известно, встает ни свет ни заря. Еще один старик в его жизни – из тех, за кем он гонялся во времена оны, кого допрашивал и упекал за решетку. Из тех, в кого стрелял пулями, что распускаются в твоём теле, как цветок.

Когда-нибудь твоя коллекция стариков пополнится тобою же... «Да ты и сам старичок, мой малыш...» Трубку сняли довольно скоро.

Леон гаркнул:

– Старина Лю! Да здравствует бессмертное учение Маркса! Вива Че Гевара! Вива мудрый Мао! Вива...

В трубке прохаркались, просвистели что-то носом, весело хрюкнули, и наконец густой шершавый бас увесисто пробухтел:

– Это ты, *мон шер Тру-ля-ля*? А я тебя искал дня два назад... звонил-звонил... Молчок – что ночью, что утром. Ну, думаю, мой Тру-ля-ля повесился на вожжах, которые я удачно ему впарил.

– Что-то интересное? – спросил Леон.

– Так, кое-что. Чучело броненосца на истлевшей бархатной подушке и кабинетный перегонный куб в футляре из крокодиловой кожи.

– Броненосец будет собирать пыль, а перегонный куб мне разве что на рояль ставить, – сказал Леон. – Слушай, Лю, дело есть. Мы могли бы увидеться?

– Когда?

– Да прямо сейчас.

Кнопка Лю пошлепал губами, порычал, произвел еще множество *думающих* звуков.

– Я сегодня на «Монтрёе», – сказал он. – Шарло, добрая душа, купил место на два дня, пускает меня под свое крылышко. Буду там в полдень.

– Сможешь отлучиться на часок?

– Если угостишь.

– Само собой. Помнишь тот рыбный ресторанчик, штурвал на голубой вывеске? Там подают неплохие *mouilles*... Годится?

– Ну, пусть *mouilles*, – покладисто вздохнул Лю.

Кнопка Лю, крошечный эфиоп, антиквар, «Король броканта» – бывший пират, бывший марксист, бывший русский филолог...

Непутевый сын одного из эфиопских князьков, в молодости Лю увлекся учением Маркса, стал «революционером-интернационалистом», учился – сначала в МГУ, затем в различных «центрах подготовки» от Афганистана до Ливана. Овладев в равной степени марксизмом и «калашниковым», гонял на бронекатере вдоль всех берегов Карибского бассейна, собирая деньги «на революцию», не забывая и себя, грешного. Когда постарел и «работать» стало невозможно, купил подходящие документы, перебрался во Францию под новым именем и попросил политубежища.

Эту свою ослепительную биографию Кнопка Лю, разумеется, рассказывал далеко не каждому. Просто он считал своего Тру-ля-ля невинным пришельцем из страны оперного барокко. Однажды, в начале знакомства, потрясенно осознав, с каким бездонным источником информации имеет дело, Леон провел Кнопку Лю на спектакль в «Опера

Бастий», где раза два, согласно роли, выехал на авансцену на сверкающей золотом троянской колеснице, заработав у эфиопа прозвище «Тру-ля-ля» и заняв в его воображении место на картонном облаке с голубой каймой.

Русская речь вызывала у бывшего пирата благоговейный трепет, а то и слезы радости – если к тому времени он был прилично (не без помощи и за счет Леона) подогрет.

Во Франции старый террорист вел трогательную трудовую жизнь «кочевого профессионала», антиквара, неустанно рыщущего по всем развалам, помойкам и «плюсам» в поисках настоящих жемчужин.

– Хватит, – говорил он, – хватит морей; сейчас меня укачивает от одного вида компота в банке.

Мечтой его был магазинчик, который кормил бы на старости лет. Но тяжкие вериги свирепых налоговых законов... Магазинчик оставался мечтой, а Лю пробавлялся по рынкам и аукционам; иногда покупал законное место на каком-нибудь «броканте» (часто именно на «Монтрее») и торчал там пару дней под тентом на складном стульчике, после чего перекочевывал дальше.

До встречи оставалось часа два – вернее, два часа семь минут. Вполне достаточно, чтобы добраться до метро «Porte de Montreuil». Правда, по пути надо было еще заскочить в фотоателье.

Леон снял куртку, сунул ноги в домашние тапочки, поколебался – нырнуть ли в душ или лучше сварить кофе? – и выбрал, разумеется, кофе. Вот уж кто не станет придирчиво рассматривать своего Тру-ля-ля на предмет свежей рубашки или тщательно выбритого подбородка – старый негритос, бородавчатая жаба, ночной нетопырь, кровосос и бандит, изощренный ценитель прекрасного.

Леон любил свою кухоньку, крошечную, как Кнопка Лю, и подозревал, что эфиоп именно потому так уютно себя здесь чувствовал. Несколько раз тот был торжественно приглашен на обед к Леону. Подлинный «стейнвей» произвел на него неизгладимое впечатление. «Стейнвей» – и гобелен Барышни, тот, что он безуспешно торговал у Леона уже несколько лет.

...Черета привычных, успокаивающих домашних движений: открыть старую аптечную фарфоровую банку (куплена у Лю), запустить в нее серебряную ложку с таинственным кудрявым вензелем (куплена у Лю), выгрести зерна первосортного «Карт нуар классик ан грен» и засыпать их в древнюю кофемолку (куплена у Лю)... После чего минут пять с хрустом и треском усердно проворачивать ручку, разбивая утреннюю тишину дома

по рю Обрио...

А вот у Филиппа в Бургундии живет на кухне настоящая советская кофемолка – он купил ее в свой первый приезд в Москву. Шума от нее – как от залпа батареи ракетных минометов, а ценность в том, уверяет Филипп, что в ней можно молоть микроскопические дозы всяких специй (округлив глаза: «Только не кофе, боже тебя сохрани!») – за что ее и держат на второй полке прапрадедова буфета...

Кстати, достопочтенный Юг Обрио, в честь которого выстроились домишки по обеим сторонам данной куцей улочки, – довольно занимательная фигура. Он был (извлечено из Интернета) «прево» – градоначальником Парижа в четырнадцатом веке, при Карле Пятом. Построил два новых моста, приступил к строительству Бастилии, но в конце карьеры попал в жуткий переплет из-за евреев: ввел для них какие-то микроскопические поблажки в городской свод законов. Само собой, церковь не дремала и, обвинив Обрио в потакании врагам Христа, в жидовской ереси и прочих грехах, засадила его в кутузку. Новый «прево» отменил поблажки евреям, но заодно повысил налоги всем остальным. А вот это уже не понравилось народу, и народ восстал: толпа горожан, вооруженных вилами, топорами и дрекольем (что там еще из *вооружения* имелось у *народа?*), ворвалась в тюрьму, освободила мэтра Обрио и призвала его стать во главе бузы. Можно только вообразить (об этом Интернет молчит), как ошалел бедный господин градоначальник, не виноватый во всей этой кутерьме. Он бежал на юг Франции и просил защиты у Папы, который посоветовал ему уйти в монастырь – временно, до рассмотрения дела. Но вышло, как всегда – навсегда, ибо потрясенный Обрио вскоре испустил дух в том же монастыре, наверняка проклиная евреев, с которых все и началось.

А с ними всегда так: начинаешь с мелких поблажек, а заканчиваешь новой мировой религией...

Густая благоуханная струя ныряет в чашку севрского фарфора (синяя с золотом, два ангелочка смотрят в зеркальный овал, куплена у Лю), и немый-небрый жилец квартиры присаживается за столик (восемнадцатый век, куплен у Лю) размером с поднос в рабочей столовке судоремонтного завода города Одессы. Над столиком висит на стене декоративная тарелка, посвященная образованию Антанты, – куплена,

разумеется, у Лю...

Усмехнувшись, Леон обвел взглядом кухню, краем глаза (в открытый проем двери) зацепив и половину гостиной (дверь налево), и любимый альков спальни (дверь направо).

Если составить список вещей и вещей, приобретенных за эти годы у Лю – в поощрение, в неявный обмен на какие-нибудь сведения по... по самым разным вопросам и персоналиям, – то можно считать, что «Музей времени» на сегодняшний день прилично укомплектован.

Да ты, дружок, и сам мог бы купить место на «Монтрёе» и, попыхивая сигаретой или трубкой, торчать в дождь и в зной на тамошней площади, торгуя изысканным барахлом.

Так вот, если составить реестрик приобретенных товаров... Минутку, минутку... припомним-осмотримся. Итак: элегантный дубовый «кейс» – бочонок позапрошлого века, в коем крестьяне носили на работу домашний сидр (железные ободки украшены витиеватыми кузнечными клеймами и фамилией хозяина); вот он стоит, на холодильнике; крошечный дамский браунинг с инкрустацией из слоновой кости – валяется в выдвижном ящике шкафчика в прихожей; японский чайный прибор «Сацума» со сценками из домашней жизни самураев (настоящее чудо, фабрика закрылась в 1902 году) – выставлен в спальне, на прелестном комодике ар-деко, купленном НЕ у Лю; пасхальные яйца работы гвианских каторжан (точнее, «яйцо в яйце»; китайцы вырезали их из кости, каторжники – из твердых корней) – куплены у Лю и подарены Филиппу в честь заключения потрясающего пасхального же контракта с Берлинской оперой; чеканные вазы из снарядных гильз (траншейная работа Первой мировой) – выставлены на балкон в ожидании цветов по случаю очередного концерта-премьеры; и наконец, разрозненные вещицы «домского» хрусталя и северского фарфора, ну и всякие мелочи, вроде дорожной птичьей клетки из меди, размером с пивную кружку, не купленной, а полученной в подарок от щедрого Лю на прошлогодний день рождения.

А бежать уже пора, ой как пора...

Он включил компьютер, перенес два фотокадра с крошки-капсулы на обычную флешку, поставил чашку в раковину (мыть уже нет времени), накинул куртку, переобулся и уже на пороге привычно оглядел квартиру – то, что захватывал глаз.

В изголовье широкой тахты в алькове красовался натянутый на подрамник Барышнин гобелен (мальчик-разносчик уронил корзину с пирожными, два апаша их едят, мальчик плачет, все на фоне афиши

Тулуз-Лотрека, ни за что не продам, даже с голоду). Рядом на плечиках висело ее столетнее платице: кружева валансьен, непобедимая прелесть – давно, даже ради шутки, на него не налезало...

Все хорошо, заткнись, не думай! Не думай, понравилось бы здесь той девушке или нет. Понравилось бы или нет? Ее здесь никогда не будет, ты своими руками отправил ее в безымянный, безликий и безадресный круговорот толпы.

* * *

От метро «Porte de Montreuil» пройти по улице пару минут, пересечь по мосту кольцевую автостраду, а дальше – вон и кишит она, муравьиной гигантской кучей разливается по площади, затекая в окрестные улицы и переулки, – базарная кутерьма. Раскладные столики под разноцветными грязноватыми тентами, фургоны с открытыми дверцами. Здесь можно блуждать до прихода Мессии, перебирая тряпье, рассматривая старье, утомляя глаз километрами расстеленного, расставленного, разложенного или просто кучами наваленного в картонные коробки барахла.

Фургон Шарло – соседа, приятеля и партнера Кнопки Лю – удачно причален на углу, совсем неподалеку от рыбного ресторанчика. В сущности, если занять столик на улице, можно наблюдать за покупателями. Но Лю договорился с Шарло, и тот, добрая душа, обещал присмотреть за его столиком. Так здесь принято: все мы люди, и каждому, бывает, до зарезу нужно отойти – то кофейку выпить, то, наоборот, отлить.

Так что разместились в помещении.

Лю уселся, тотчас развязал свою странническую котомку, тканную из вороха каких-то тряпочек, и, соорудив обычную рожу (смесь таинственности с вороватостью), запустил внутрь беспокойную лапку. Результаты этого слепого поиска отражались в гримасах: ужас, что забыл, отчаяние, надежда, облегчение: вот оно! Обычный спектакль, никогда не надоедавший ни самому Лю, ни Леону. Старик, вообще-то, обладал прекрасной памятью и никогда ничего не забывал, если не напивался.

Наконец из котомки был извлечен на свет божий длинный, чуть не в локоть длиной, ржавый железный штырь с неровными гранями, сходящимися в конус. – Как, по-твоему, что это?

По-моему, это профессионально состаренный кусок железа с помойки.

– М-м-м... похоже на костыль для подковы, но слишком велик.

– Невежа, плебей! Как можно не угадать гвоздь от подлинного римского распятия!

– Ну, извини, – миролюбиво отозвался Леон. – Не опознал. Меня еще ни разу не распинали... Ты хочешь мне его впарить?

– Не впарить, а, благородно сбавив цену до неприличного минимума, подарить за сто пятьдесят евро. Знаешь, где это откопано? Под стенами Иерусалима. Может, этим гвоздем самого Иисуса конопатили! И, между прочим, сколько, по-твоему, дерут сионистские ублюдки с любителей-археологов, желающих копнуть чуток там и сям? Двенадцать тысяч ихних денег за две недели! Леопольд разорился, бедняга.

– Проклятые кровопийцы. Видимо, опасались, что Леопольд прикарманит все находки? – весело предположил Леон.

– Так он же не сам копал! Леопольд только оплачивал, ты же знаешь, он человек широкий...

Да уж, судя по всему, дружок Кнопки Лю Леопольд... бесфамильный (фамилия не была произнесена никогда, даже в состоянии сильного подпития) был человеком широким. Внук миллиардера – так утверждал эфиоп. Но – кризис, война, оккупация; дети миллиардера потеряли состояние, и внуку остались только флакончики от королевских духов да пряжки от королевских нарядов. Но этот человек обладал цепкой памятью на предметы роскоши и был настоящим экспертом в мире *потребления объектов «люкса»*. Для него торговля антиквариатом стала увлекательной игрой: он легко отыскивал жемчужины в настоящих помойках и – по оставшимся от родителей связям – выходил на достойных покупателей-коллекционеров. В конце концов, после многолетней карьеры антиквара с бесконечными ее взлетами и падениями Леопольд продал «торговую марку» каким-то американцам и принял замечательно денежное предложение от некоего арабского бизнесмена, владевшего крупной фирмой по торговле гобеленами и коврами. И уже несколько лет Леопольд, о котором Леон слышал столько уникальных историй, но ни разу его не видел, болтался на других континентах, представляя фирму своего босса то в Бейруте, то в Эр-Рияде, то в Тегеране...

В сущности, ради Леопольда и была назначена эта встреча: Леопольд был агентом Шаули, его «идеальным французом». Именно он добывал информацию на месте – по наводкам, сообщенным ему таким странным кружным путем, – и виртуозно делал свое дело, не догадываясь, что через цепочку агентов работает на израильтян.

– Так берешь? Могу продать в рассрочку, я тебе верю...

– Нет, извини. К чему мне эта семейная памятка? Тит распял на стенах Иерусалима до хрена наших ребят. Флавий пишет, что римские солдаты вынуждены были скручивать тела евреев в самые невероятные позы, так как «не хватало места для стольких крестов, и не хватало крестов для стольких тел». Убери подальше эту чертову железяку, Лю, она действует мне на нервы.

– Хорошо, – подозрительно быстро сдался Кнопка Лю, укладывая ржавый штырь на дно своей котомки и между тем продолжая шарить внутри. Видимо, в заглавнике имелось кое-что почище гвоздя от распятия.

Тут подоспел официант, и, как и было намечено, оба заказали «мидии с фритом» под светлое бельгийское пиво. Облегченный, честно говоря, вариант для старого пирата, но не хотелось, чтобы Кнопка Лю накачался прежде времени.

– Я все забываю, что ты – нежное создание, мон шер Тру-ля-ля, и падаешь в обморок при виде рогатки. Хорошо! Но вот от этой... от этого чуда, от восхитительной вещицы... ты не сможешь отказаться!

Порылся и извлек какой-то сплюснутый и потрескавшийся от старости кожаный мешок размером с небольшой ридикюль. Похож на мех для вина, хотя маловат и весь обвит какими-то веревками и крючками.

Несколько мгновений Лю с торжествующим видом держал «восхитительную вещицу» над столом:

– Уж это ты, надеюсь, опознаешь? Если нет – грош тебе цена как антиквару.

– Сдаюсь окончательно, – отвечал Леон, отстраняясь от стола и давая официанту расставить приборы и открыть бутылки с пивом. – Ну, давай, за встречу!

(Последние слова произнес по-русски. На простых фразах, которые казались ему привычными репликами из московской молодости Кнопки Лю, он переходил на русский язык, чтобы доставить старику удовольствие.)

– Мешок для сбора мочи! – выпалил тот с сияющей физиономией.

Леон поперхнулся пивом.

– Посмотри на эту красоту... на это великое достижение гуманной человеческой мысли. И затем представь: бал, многочасовые менуэты, контрдансы, сарабанды и как там еще что называлось – это уже по твоей части. А теперь представь очаровательных девушек и дам, которым до своего милого фаянсового горшка с розочками надо ехать и ехать

в тряской карете...

– Постой... Ты хочешь сказать, что на балу герцогини-виконтессы мочились вот в это приспособление – кстати, убери его, пожалуйста, со скатерти.

– Именно! Смотри, какая сложность, сколько крючков и застежек, как хитроумно крепились веревочки под юбками, чтобы ни капли не пролилось... – Лю поцеловал собранные в пяточок коричневые пальцы и нежно прижал мешок к морщинистой щеке, заросшей седой щетиной, точно собирался вздремнуть. – А что делать?! – воскликнул он, отнимая щеку от мочесборника, как от любимой подушки. – Куда бежать? Под каким кустом садиться – все озарено ежеминутными фейерверками! Поднимать все фижмы, все слои нижних юбок с кружевами – замучаешься! И нет такой доброй души во всем дворце, кто пустил бы тебя на свой горшок!

– Ну, хорошо, но все же... ах, убери, убери, ради бога, сейчас еду принесут! Все же не понимаю: как это болталось между ног, особенно когда наполнялось... бр-р-р! – ведь это мешало... пируэтам?

– Так медленные же танцы, старина! – в восторге заорал Кнопка Лю и голосом подчеркнул: – *Поэтому* – медленные танцы. Говорю тебе: менуэт, контрданс и хрен знает что еще по твоей части! Ты только вообрази, как скользили шелковые ляжки вокруг этой штуки... Пятьдесят евро – и он твой! Можешь мочиться в него, не сходя со сцены, – у нас ведь тоже кое-что болтается и иногда наполняется, если повезет... В конце концов, можешь подарить любимой девушке – она умрет от счастья.

– Ладно, отложи куда-нибудь, я подумаю, – сказал Леон, потягивая пиво, машинально перекатывая и согревая во рту каждый глоток.

А купить надо. Надо купить это хитроумное сооружение и подарить Филиппу. Не следует оставлять Кнопку Лю совсем уже без прибыли...

– У меня к тебе дельце, – непринужденно обронил он. – Кстати, довольно близкое к э-э... гвоздю распятия. Мне предложили монету императора Веспасиана. – Подделка! – фыркнул Кнопка Лю.

– В том-то и удача, что подделка, – согласился Леон. – И очень дорогая. Так как подделали ее во времена, когда она была в ходу. Когда подделке две тысячи лет, она уже артефакт, согласись.

Он помедлил. Вытащил из внутреннего кармана куртки один из снимков, что отпечатал по пути в фотоателье, – черно-белый, с двумя одинаковыми монетами в разных руках Адила. Аккуратно выложил на стол перед эфиопом:

– Посмотрим, сумеешь ли *ты* определить, которая фальшивка.

Лю взял фотографию, слегка отдалил ее, всмотрелся.

– Черт! Что ж ты не предупредил? Я оставил дома свои *нюхательные* очки!

(Он называл так свои очки с какими-то особыми, как уверял, линзами, которые позволяли «вынюхивать» подделку.)

– Ничего, надень обычные и рассмотри получше.

Он терпеливо ждал, пока Кнопка Лю заведется по-настоящему. Ждал момента, когда камера сможет «отъехать», предъявив ту, другую фотографию, на которую, возможно, Леон возлагал сегодня слишком много надежд. А прояснить кое-что нужно было именно сегодня, пока не дошла открытка, брошенная в почтовый ящик в аэропорту Краби.

– Монеты, скажу тебе... одна в одну, – бормотал эфиоп, то приближая, то отдаляя карточку. – Работа отличная. Но... нет! Чтобы точно определить, нужно своими глазами увидеть: взвесить, осмотреть через лупу... – Он снова приблизил фотографию к своему бугристому, как пемза, носю: – Между прочим, этот приемчик настораживает: тебе демонстрируют ее на ладони взрослого и на ладони ребенка, чтобы сбить впечатление: вес, размер. Говорю тебе: мошенничество!

Вот ты и попался...

– Это рука одного и того же человека, продавца-антиквара, – сдержанно возразил Леон и достал из кармана второй снимок. – Просто он калека. Я просил увеличить руки с монетами – для тебя, чтобы взгляд сосредоточить. Но если тебе интересно... вот весь кадр целиком.

Кнопка Лю умолк, всматриваясь в карточку. Леон попросил сделать ее довольно крупным форматом, но не настолько, чтобы это выглядело нарочито и вызывало подозрения.

– Это где – в Каире? Или в Бейруте? Хороший магазин.

– Да бог его знает, – рассеянно отозвался Леон. – Монету мне предлагает... вот этот мужик. – Щелкнул ногтем по фигуре «дяди Фридриха». – Он коллекционер. Купил там обе и теперь меня заботит... ну, ты сам понимаешь опасения бедного лоха: не втюхает ли мне этот дядя жалкий подлинник вместо подделки.

Кнопка Лю уткнулся в фотографию, вдруг быстро отложил ее – и что-то в нем изменилось: в руках, во взгляде, в лице.

– Закажи мне еще пива, – велел он, наклонясь над своей котомкой и что-то суетливо там перебирая. – Должен же я раскрутить тебя на приличную сумму.

– А ничего, что наклюкаешься? – озабоченно спросил Леон. – Тебе же до вечера тут крутиться.

– Давай-давай! – прикрикнул старик. – Не беспокойся обо мне. Я неразбавленный ром знаешь как заглатывал! Оп! И в брюхе... Это ты, Тру-ля-ля, нежный птенчик, фарфоровое горлышко... Что ты понимаешь в настоящей выпивке!

– *Не понимаю ни черта*, – смиренно согласился Леон по-русски и подозвал официанта.

А тут и мидии принесли в большой керамической плошке: целую гору темно-синих ракушек, дразнивших оранжевыми язычками в распахнутых голубоватых створах. Все, как положено, щедро посыпано свежей петрушкой.

Кнопка Лю жадно вылакал еще кружку пива и, наоборот, как-то вяло отнесся к еде. Фотографию он отодвинул на край стола, а Леон – тот и вообще словно забыл о ней.

– Вкусно, а? – спросил он, подмигнув эфиопу. – Это правильные *mouilles*. Некоторые любят южный вариант, знаешь, когда в огромной сковороде жарят картошку с луком, потом на минутку бросают туда же *mouilles*... Тоже неплохо, но, между нами говоря, это шаг к варварству. Лишает блюдо главного компонента – сока!

– И где же ты встретил *того мужика*? – вдруг спросил Лю, не отрывая глаз от кружки, в которой пиво убывало так быстро, словно в доньшке была трещина.

– В отпуске, в Таиланде, – легко обронил Леон, расправляясь с мидиями. – На круизном кораблике. Разговорились, он показал снимок на «айпаде»... Почему ты не ешь? Не нравится? Ей-богу, неплохие *mouilles*! Но вот я готовлю их по-настоящему – под белым вином, со сметаной, с сельдереем... У меня есть даже особая такая кастрюлька, и крышка у нее специальная.

– Леон... – медленно проговорил крошечный эфиоп, не поднимая от пива глаз. От волнения у него посерело лицо.

– ...И лучше всего использовать эльзасский рислинг... Если вино не очень кислое, лимонного сока можно капнуть. А для вкуса, – вдохновенно продолжал Леон, – для вкуса я добавляю ложечку «*фюме де пуассон*» – так это просто объедение! Когда-нибудь приглашу тебя на...

– Леон, – повторил Кнопка Лю, положив, как на допросе, обе корявые лапки на скатерть. Голос требовательный и одновременно жалобный: – Я тебя *заклю́ю аю всеми бо́г ами!* – (это по-русски), – я тебя просто умоляю, мон шер Тру-ля-ля! Никогда не имей дела с этим мужиком. Держись

от него подальше. Хрен с ними, с монетами! Плюнь.

– А в чем дело? – *Изображаем удивление, тем более, что оно вполне натуральное.* – Ты что, знаешь его?

– Да закажи мне что-нибудь покрепче, ты, птенчик голосистый! – рявкнул Кнопка Лю. – Это ж просто издевательство. Эй, гарсон!

И минуты через три уже накачивался принесенным «Алокс-Кортон» 2007 года, быстро одолевая бутылку. Леон терпеливо ждал, слегка ошарашенный – он не надеялся на столь откровенную и бурную реакцию. Он вообще ни на что почти не надеялся, просто, зная некоторые подробности бандитской молодости Кнопки Лю, представляя несусветный круг его *профессиональных* знакомств, делишек и связей, посчитал целесообразным...

– А ты, кстати, на каком языке с ним говорил? – спросил Лю, прищурясь. Его *mouilles* на тарелке лежали нетронутыми.

– На английском, конечно. Он из Лондона.

Тот фыркнул, схватил бутылку и долил себе вина.

– Да он по-русски говорит, знаешь... не мне чета!

– Неужели! – ахнул Леон. – Ты что, сам слышал?

– Дело не в том, что слышал, а в том, где я это слышал! – сказал вспотевший и уже фиолетовый то ли от спиртного, то ли от волнения эфиоп.

– Ну, где? – лениво спросил Леон.

– *У тибья на ба-ра-дье!*

– Очень остроумно. Умираю со смеху.

Сделаем вид, что обиделись, с Лю это работает безотказно: всем своим крошечным сморщенным существом он умоляет, чтобы его любили...

Преимущество привычки садиться лицом к входу – в том, что видишь изрядную часть площади перед забегаловкой, видишь людей, проходящих мимо навесов и фургонов, привычно контролируешь пространство. Однако почти не видишь в контражуре бурую взволнованную физиономию Кнопки Лю, хотя день с утра облачный и по освещению ровный.

– Послушай, Тру-ля-ля... Мой дорогой Тру-ляля... Если я о чем-то предпочитаю молчать, то это ради твоего же спокойствия. – Язык у него уже заплетался, и было совершенно непонятно, каким образом он собирается вести дела. Надо полагать, продажи на сегодня закончились. – Но я не буду молчать! – Он грозно поднял голос.

– Тихо! – шикнул Леон. – Вспомни, как из-за тебя нас обоих выкинули из бистро.

– Молчать мне не требуется, – послушным шепотом повторил Кнопка Лю. – Потому что все это уже – достояние истории. Господи... Видел бы ты, что творилось году этак в семьдесят седьмом в каком-нибудь тренировочном лагере под Сидоном! Кто только их не проходил, эти палестинские *центры подготовки*! Я туда угодил... ну, скажем, по молодости. Азарт, коммунизм, «калашников» – ты не представляешь, как я с ним сросся! Иногда просыпаюсь от какого-нибудь ужасного сна, вскакиваю и готов палить во все стороны... а на мне одни старые кальсоны. Да что тебе рассказывать. Ты только игрушечные пистолеты в руках и держал, а? Короче, в этих лагерях я встречал *таких* головорезов из *таких* организаций... очень крепких в те времена, пока им не накостыляли. Были у меня приятели из итальянских «Красных бригад», из немецкой «Баадер-Майнхофф», была тройка-другая иранцев из «Революционной гвардии»... Ну и всякой твари по паре... Потом, в восемьдесят втором, израильтяне погнали их из Ливана, но это – пото-ом... А тогда – ух, было весело! Ты, конечно, ни черта не слыхал про это времечко, да тебе и неинтересно, серебряный голосок: *плюнь и растъери*! В те годы ребята из ООП гуляли на всю катушку: захват самолетов с заложниками, взрывы пассажирских самолетов – короче, сплошной праздник! Летишь на каникулы к бабушке, и вдруг бабах! – и бабушка внука уже не увидит. И кого только по миру не убивали, и чья только кровь не лилась... Нет! – Он бормотал, обращаясь уже не столько к Леону, сколько к себе самому, к своей кошмарной неискупленной молодости. – Нет, я старый человек, я больной человек в штопаных кальсонах, меня интересуется северский фарфор и вот изящный мешочек для сбора прелестной дамской м-м-м... мочи.

То есть, с горечью подумал Леон, по-прежнему снисходительно улыбаясь старому бандиту, произошло самое страшное: Лю нахрюкался, как последняя свинья, и ты ничего не сделал, чтобы это предотвратить. Можно платить и топтать отсюда. А его затолкать в фургон, чтобы проспался, черный дурень! Впрочем, встречу не назовешь совсем уж неудачной.

– Смотри, не блевани, – заметил он, внимательно приглядываясь к Лю. – Советую тебе хоть что-нибудь съесть.

И выждав минуты три, пока эфиоп вяло ковырнет вилкой и отправит в рот содержимое ракушки, спросил наудачу:

– И где же болтался тот парень, который такого страху на тебя сейчас нагнал? Среди «Красных бригад»? Или среди ребят ООП?

– Он не болтался! – возразил Лю. – Он был инструктор. Знаешь такое слово: ин-струк-тор? Полагаю, относился к одной из подсоветских

разведок... Возможно, к Штази. Ты говоришь – британец! Кой там черт – британец! Немец – он немец и есть, с головы до ног немец. Я околачивался там два сезона, перебивался в охране. Я там, мой милый, такие сцены видел – мне до конца жизни хватит на все страшные сны. Я однажды видел, как они допрашивали женщину, она была черкесской, но работала на израильтян. Красавица! Княжна! У нее была зубоврачебная клиника в Бейруте, на чем-то там она прокололась... И не дай тебе бог...

– И с кем же он по-русски говорил? С русским инструктором? – перебил Леон, уже не заботясь ни об интонации, ни о своем образе Тру-ля-ля на картонном облаке в золоченой колеснице; заботясь лишь о том, чтобы вытянуть из старого эфиопа все, что тот в состоянии проблеять.

– Да не-ет, в том-то и дело. Тот был иранец. Они друг перед дружкой хлестались в русском мате – кто больше знает. Дружок его, иранец, Бахрам... Да-да, и не только дружок. Этот был женат на его сестре.

– Вот болван ты, Лю! Что ж ты zenки залил! Кто женат? На чьей сестре?

Кнопка Лю вдруг выговорил четко и рассудительно:

– Казах. На сестре иранца Бахрама... Они были свояки, родня, и оба учились в Москве... И ты прав, больше пить не надо.

– Казах? Заговариваешься, старина. Он же был, говоришь ты, немец? При чем же тут казахи?

– П-понятия не имею... Его так Бахрам называл. А как его звали по-человечески... не-не помню!

– Пойдем, отконвоирую тебя до фургона, – сказал Леон, вкладывая купюры в книжку поданного официантом счета. Пристально осмотрел пьяненького Лю, как рачительный хозяин, прикидывая, можно ли вытянуть из него еще хотя б одно дельное слово, и пустил последний шар в лузу: – Но сейчас он уже очень пожилой человек, почтенный бизнесмен. Все в прошлом. Штази разогнали. А он торгует коврами.

Лю, который уже приподнялся со стула, рухнул на него опять. Почему-то эта реплика Леона произвела на него гомерическое впечатление. Он ржал и плакал от смеха, просто лег грудью на стол. Попытался вытащить салфетку из салфетницы, чтобы утереть слезы, и не попадал пальцами в прорезь. Леон вытащил целую пачку и сам утер ему физиономию.

– Ковры... ковры... – не унимался эфиоп. – Штази разогнали? Таких людей не разгоняют! Такие люди, как он, и вдруг – ковры?! *T'es con ou quoi?*^[48] Коврами торгует Леопольд, чистая, щедрая душа, знаток и мудрец. Но Казах? Который на моих глазах лично пытал женщину, выворачивая ей руки в суставах? Ну да, пожалуй... эта его фирма для того и украшена

коврами, чтобы... Да знаешь ли ты, что в некоторых странах «калашников» дешевле курицы?! – Он забормотал, пытаясь налить себе в кружку еще две-три капли вина из пустой бутылки: – Система запираения затвора, сборка механизмов – гениальное изобретение... А мой любимый РПГ? Нет, ты в этом ни черта не сечешь, моя певчая птаха, тебе и понимать не нужно... Просто в нашем мире есть кое-что, чем раньше я очень даже промышлял по глупой молодости лет. А сейчас – нет. Сейчас только – вот он, мой добрый и нежный...

Достал и прижал к щеке мешок для сбора мочи – странно, что помнил о нем и не выпускал из рук. Что значит – профессия, уважительно подумал Леон.

– В смысле – бах-бах? – спросил он, целясь в антиквара указательным пальцем.

– Не только бах-бах... – тот подмигнул и головой покачал. – Тебе это знать не стоит, мон шер Тру-ля-ля! Не только бах-бах, а еще то, что поднимает на воздух целые кварталы... если постараться вложить в игрушку бо-о-ольшую погремушку... А уж если такую погремушку где-то сильно захотят, а кое-кто сможет достать для нее начинку... Да ты хоть представляешь, кто сейчас его свояк Бахрам? «Бахрамчик» – он его называл, Казах то есть. Да, Бахрамчик. Большой человек.

– Генерал? – уточнил Леон, встряхивая Кнопку Лю. – Министр?

Тот снова согнулся от смеха, щекой припав к скатерти на столе.

– А ты при встрече спроси Казаха по-русски, ладно? И спроси, чем он сейчас торгует, кроме ковров... «Занаве-е-еь ковром свой альков... свой бесстыжий грех и младую кр-р-ровь...» Слишком много оружия, слишком мало войн, – бормотал он. – Слишком много железа на нашей небольшой планетке...

...и далее нес уже нечто вовсе неудобоваримое и был совершенно бесполезен.

Леон притащил его чуть ли не на себе к фургону, где кроткий Шарло, взглянув на маленького, вусмерть пьяного эфиопа, предложил поднять того в фургон – «пока не отойдет».

Что и было сделано ими сообща, с некоторым добродетельным усилием и не вполне добродетельными комментариями. Шарло – задастый француз лет пятидесяти пяти, добряк, усач и остроумец, любил крепко выразиться.

– Да... – спохватился Леон, уже отойдя от фургона, но через минуту вернувшись. – Я у него сегодня купил кое-что. Передай вот полтинник, когда проспится.

По пути домой ему дважды привиделся бритый затылок Аи: на входе в метро (принадлежал юноше с мольбертом) и на рю де Риволи – она брела, пошатываясь, в обнимку с каким-то старым наркоманом (когда обогнал, нарисовались два мирных педика).

Бывает...

Но его неприятно задела собственная реакция: оба раза сердце вспархивало к горлу и там трепетало крылышками, как канарейка, тело же бросалось в погоню практически без всякой команды мозга, который в это время крутил ручку бешеной счетной машинки, вычисляя варианты: «Она в Бангкоке пересела на парижский рейс... она разыскала адрес – каким образом?!..» – и тому подобное жалкое бормотание безутешного ушибленного нутра.

Да ты что, мой дорогой Тру-ля-ля, сказал он себе голосом Кнопки Лю, *t'es con ou quoi?*

Слегка примирил с жизнью только вечер, который Леон провел в своем любимом, *ласкательном* кожаном кресле с заботливой подставкой под ноги (единственная, кроме тахты, современная вещь в квартире), обсуждая с Филиппом по телефону новые предложения. («Я сказал им – Дюпрэ?! Нет, увольте: это должен быть мощный эксклюзивный контратенор с репертуарным спектром “от барокко до рока”, а не очередной лучезарный мудак, у которого амбиции выше компенсации, но фа второй октавы – уже трагедия... И если вам не по карману Этингер, то...»)

Затем они продуктивно поругались насчет репертуара для предстоящего конкурса оперных певцов Королевы Елизаветы в Брюсселе и всласть посплетничали о недавнем секс-скандале в администрации Кембриджа, где вскоре Леону предстояло петь – в Часовне Кингс-колледжа.

Все это были насыщенные, азартные, волнующие, очень важные для него темы и интриги.

– Ты какой-то... не такой, – в конце концов сказал Филипп. – Какой-то пристукнутый. Отпуском доволен?

– Бургундия лучше, – помолчав, ответил Леон. – Следующий отпуск проведу у тебя в Жуаньи.

– И не пожалеешь, – отозвался Филипп.

Уютный вечер, уютный желтоватый свет старинной лампы

(на фарфоровом основании, орнамент «Цветущая сакура», 1880 год, состояние отличное, куплена у Лю), наконец-то своя, своя, своя жизнь... И внезапный промельк вкрадчивой мысли: а приняла бы всю эту жизнь она, с ее фотоаппаратом, с ее грязным рюкзачком, с ее гордой беззащитностью? И настырное, обжигающее воспоминание о нити длинного шрама – от затылка до левой лопатки.

* * *

С Джерри он встретился на следующий день; позвонил ему из театра, из кабинета администратора.

– Руди, это я! – сказал легкой будничной скороговоркой. – Ну, партитуру я приготовил, как и обещал, могу передать сегодня после спектакля, если потрудишься дождаться меня у служебного входа.

И Джерри, он же Руди, он же какой-нибудь Ицик или Арье, *потрудился* дождаться Леона после спектакля.

Время от времени Джерри появлялся на его спектаклях и концертах без всякой договоренности. Приходил, честно покупал билет, высиживал до конца. Интересно, что это – любовь к музыке? проверка безопасности? невинная слезка за каким-нибудь меломаном? *ориентация на местности?*

Встречаясь всегда только по делу, о музыке они не говорили; в общении Джерри был таким же... средним, как во всех остальных своих приметах. Профессионал, аккуратный исполнитель, хорошо обученный служака... Леон терпеть его не мог – из-за одной только его привычки: разговаривая, он тошнотворно трещал суставами пальцев.

Джерри дождался Леона на служебном входе, и, отъехав от «Опера Бастий», минут двадцать они проговорили, сидя в серебристом «Пежо».

– Поскольку операция находится в стадии активной разработки, меня, скорей всего, спросят, кто твой источник, – проговорил Джерри, пряча обе фотографии и флешку в дипломатический кейс, – и можно ли ему доверять?

Тут Леону следовало бы спокойно пояснить, что источник совершенно надежен и у него, Леона, есть свои причины пока держать его в тени. Вместо этого он по-дурацки вспылil и заявил, что не служит в конторе, не получает у них зарплату, все свои передвижения оплачивает сам и потому отчитываться ни перед кем не намерен. Их дело – брать или не брать сведения из его рук!

– Да ладно тебе, *ахи*^[49], – удивился Джерри. – Чего ты раскипятился?

– Извини, – буркнул Леон, открывая дверцу машины. Но закрыл снова и, чуть подавшись к Джерри, проговорил: – В *конторе* знают, что всех своих людей я таскаю вот здесь: в нагрудном кармане. Никто из них меня еще не подводил. Но и я их на торги неставляю. Довольно того, что я подарил вам Леопольда. Передай Натану все именно так и в том порядке, в каком я тебе изложил.

Вышел из машины, хлопнув дверцей, но вновь рывком ее открыл и сказал в полутьму салона:

– Джерри, давно хотел тебе сказать: кроме центральной кассы в «Опера Бастий» есть еще одна – за углом. Открывается за полчаса до спектакля. И там за двадцать евриков можно купить билет на приличное место.

2

С некоторых пор его брезгливый аккомпаниатор Роберт Берман стал пить у него кофе и вообще появляться на его кухне. Внимательно следил, как Леон моет чашку специальной губкой, как, достав из шкафчика чистое полотенце, протирает ее, наливает из джезвы крепкий густой напиток, что затопляет квартиру горьковатым ароматом превосходного кофе. Наконец, принимал чашку из *грязных лап* Леона и с некоторой опаской оглядывал ее со всех сторон. «Печенье? Нет, не надо».

– Где оно у вас стоит? – спросил сегодня подозрительно. – В шкафу? В закрытой, надеюсь, банке? – И поколебавшись, рукой махнул: – Давайте! – будто бесшабашно решил купить акций на полмиллиона или, наоборот, продать фамильный замок.

Давно прошел период, когда они медленно и неприязненно притирались друг к другу. Иногда срывались, дважды серьезно ссорились, и их долготерпеливо, осторожными челночными визитами утихомиривал Филипп, виртуоз дипломатии. Однажды они расстались на два месяца, и Леон честно пробовал приноровиться к другому аккомпаниатору, интеллигентной молодой даме, такой любознательной, такой разговорчивой и... ужасно разговорчивой, черт бы ее побрал!

То, что сейчас Роберт сидел бочком за миниатюрным столиком на этой кухне и позволял налить себе кофе, Леон считал своей личной заслугой. Он приручал Роберта, как приручают диковинную птичку, случайно

усевшуюся на открытую форточку. И дело того стоило: Роберт был бесподобным музыкантом, чутким, сдержанным, умеющим по-своему ограничить голос исполнителя.

Поначалу Леон заманил его на свой «стейнвей», а впервые оказавшись в квартире на рю Обрио, Берман с удивлением отметил:

– А у вас, надо сказать, довольно чисто.

«Довольно чисто»! Признаться, тощий комплимент чистюле Исадоре, после уборки которой можно спокойно поднять с пола бутерброд, упавший маслом вниз, и продолжать его есть!

И с тех пор они репетировали только на рю Обрио – благо добираться Роберту было удобно, по той же ветке метро.

Одно время Леон мучительно размышлял о Роберте – о немецком мальчике с желтой звездой на курточке, – невольно сравнивая его с собой. Осторожно думал о слиянии вражьих кровей в одном нерасторжимом сердце, о предательстве двоих, безответственных, влюбленных, преступно слившихся в продолжении жизни, бездумно выпустивших в запутанный жестокий мир таких вот жертвенных кентавров... Тогда он вспоминал Иммануэля и думал о дележке наследия Авраама, о мужестве выбора, об одиночестве, о стремлении ни жертвой не быть, ни орудием мести. Не восходить на костер. Не заносить нож. Не выпускать пулю, что рано или поздно распустится цветком в твоём же теле.

– Хм... неплохо, – одобрительно заметил Роберт, пробуя печенье. – И такие маленькие... Где вы их покупаете – в кондитерской?

– Нет, тут у нас в булочной, за углом, – рассеянно отозвался Леон и подумал, как удивился бы Роберт, а пожалуй, и содрогнулся бы от отвращения, узнай он, что эти крошечные печенюшки Леон покупает в память о белой крыске Бусе.

– Так вот, знаете, Леон, – проговорил Роберт, осторожно, как пинцетом, вытаскивая двумя нервными, крахмально чистыми пальцами очередную печенюку из вазочки, – мне кажется... у меня такое ощущение... что вы не вернулись из отпуска, где вы там были – в Индии?

– Что? – удивленно переспросил Леон, вдруг поразившись беспощадной точности, с какой этот странный, погруженный в себя человек («где вы там были – в Индии?») определил его состояние. Именно: не вернулся.

Нет уж, сказал он себе в ярости. Ну-ка подбери сопли! Тоже мне, страдания на нервной почке!

Через неделю на приеме в посольстве Италии он встретил Николь, которую не видел года полтора.

* * *

Он любил этот особняк на рю де Варенн, его сдержанно-элегантный фасад, великолепие семицветного мрамора парадной лестницы. И сколько раз ни бывал там, перед тем как уйти, непременно обходил все доступные посетителям залы, любуясь гобеленами и стеновыми панелями *буазери* восемнадцатого века, привезенными из шато де Берси. Раза два в году Леона приглашали выступить здесь на изысканных приемах, где всегда бывала публика, в большинстве своем искушенная в музыке. И он всегда особенно придирчиво выбирал репертуар, советовался с Робертом, менял решение в последний момент, волновался, продумывал прикид.

Кстати, выбор репертуара зависел и от того, где проходили концерты: в Музыкальном зале с его интерьером в стиле Людовика Пятнадцатого, с копиями картин Франсуа Буше и *гротесками* на панелях, или в Сицилийском театре, с лепным потолком в стиле рококо, декоративным фонтаном и обилием зеркал – просто лавиной зеркал, водопадом зеркал, изливающих свои прозрачные воды даже с лепных потолочных падуг. Празднично разворачивая интерьер, эти зеркала добавляли объема воздуху и свету, создавали целую вселенную звуков, множимых поразительной акустикой.

В этот раз он выбрал для выступления Третью песню Леля из «Снегурочки» Римского-Корсакова – во-первых, своей весенней капельной текучестью она перекликалась и звенела в зеркальном воздухе Сицилийской залы; во-вторых, на подобных приемах, где бывало довольно много россиян, он часто выбирал что-то из русской музыки, подчеркивая истоки своей *школы* и тем самым вписывая себя в плеяду русских контратеноров, в последние годы заслуживших на Западе восторженное признание.

Он заметил Николь, когда, выпевая последнее:

– «Ле-е-е-ль мой, Ле-ель мо-о-ой... – подержал гласные – широкое, синевато-сизое, морозное «е-е» и глубокое, грудное, пурпурное «о-о-о», любуясь и сам переливчатой шелковой изнанкой округлого звука, перед тем

как залихватски, с бубенцами, съехать с ледяной горки: – Лё-ли-лё-ли-Лель!»

И, переводя дыхание, пока звучал завершающий проигрыш Роберта, взглядом выхватил из толпы лицо и фигуру Николь, такую знакомую – по ее обреченной очарованной застылости: его голос явно действовал на нее по-прежнему.

Он отвел глаза, улыбался, кланялся, наконец ушел со сцены и минут десять спустя (его номер завершал концерт) появился среди разбирающих бокалы гостей. Вина здесь всегда подавали отменные.

Взглядом он выудил Николь из толпы и подошел к ней со своим *непринужденным белозубым фасадом*. Она вспыхнула, оставила на круглом мраморном столике тарелку и бокал с вином, в волнении быстро прожевывая кусочек, что успела откусить... Он так рад ее видеть... И она, она тоже... так рада... видеть... Нет. Да. Конечно. Послушай, это правда, что ты пел на дне рождения принца Эдинбургского и Его королевское Высочество наградил тебя титулом «Мистер Сопрано»? Господи, я бы умерла от счастья... Тебе так идет этот винный смокинг... глазам и вообще – лицу, всему, и так сидит... ты неотразим! А голос – он стал еще лучше. Не иронизируй. Я тебе не стану зря льстить, особенно теперь – просто незачем. Но он стал еще лучше. В нем появилась какая-то отстраненность сверкающего гибкого лезвия...

– О как! – с насмешливым удовольствием отозвался Леон, склонившись к ее руке, прикоснувшись губами... Вот уж *эта*, невольно сказал он себе, прекрасно слышит твой голос и не только *слышит* его... Ей просто не надо объяснять, кто ты такой и чего ты стоишь.

Ну, у нее-то – спасибо, все хорошо, все в порядке. Она *взяла* в университете Лозанны курс по истории моды и сейчас одержима идеей нового модного дома. Знаешь, неожиданно эту затею одобрили и отец, и дяди, и дали под это некоторый капитал – хотя у нее есть, конечно, и свои деньги. Но они такие добрые, правда? Пока дали немного – миллионов пять, шесть... А там уже все зависит от нее – от предприимчивости, деловой хватки. В данный момент идут переговоры с потрясающе перспективным дизайнером из Франкфурта. И – голова кругом: надо готовить совсем новых манекенщиц, шить весеннюю коллекцию, думать о настоящей рекламе... ведь в наше время только агрессивная реклама...

Ну, чудно, чудно... значит, немного, миллионов пять, шесть...

Минут двадцать они проболтали о том о сем, с бокалами в руках, после чего, разом их отставив, вместе покинули суету и толкотню. Долго гуляли по набережным, продолжая трепаться о забавных пустяках,

перебирая оперные сплетни... не касаясь только одного: как провели друг без друга эти полтора года. Впрочем, он слышал (непроверенные слухи), что у Николь был роман с колумбийским дипломатом и дело уже неслось к торжественному финалу, но в последний момент все распалось, увяло, засохло...

Она шла рядом, иногда чуть забегаая вперед, чтобы видеть его лицо, и выражение синих глаз напоминало ему, как и раньше, Габриэлу, но кроткую, притихшую и трепетную Габриэлу, какой та никогда не была. (А другую, бродяжку, бритый затылок, грудки-выскочки... другую, ту, которой ежеминутно надо предъявлять лицо, чтобы... о ней не вспоминать! цыц! не вспоминать!)

– ...Еще у нас новость: папа купил старый прекрасный дом в Портофино. Не бывал там? Это рай: крошечная тихая бухта, горные виражи, благословенная Лигурия... (Помнишь такую старую песенку «Love in Portofino»?) Чудесный дом на скале, середина девятнадцатого века, и в отличном состоянии – только плитку в зале пришлось переложить. Наш дизайнер гонялся, как фанатик, за подлинной плиткой этого завода и нашел ее, представь, в одной деревушке под Миланом – тоже в старом доме, который папе пришлось выкупить... Но плитка – позапрошлый век! – легла, как родная.

Леон шел и улыбался, подхватывал ее под локоть, если, пятась и глядя ему в лицо, она рисковала наткнуться на дерево или оступиться.

– Я это к тому, что ближе к лету... Мы могли бы... Ведь это полезно для голоса – теплый морской воздух?..

И он все улыбался, улыбался...

Потом они привычно свернули в знакомом направлении и, так же непринужденно болтая, в конце концов оказались на рю Обрио... А там уже совсем просто: не зайдешь ли выпить кофе, в такую холодину?

– Ну, от твоего кофе кто откажется!

...И часа через полтора самым естественным, почти супружеским порядком они очутились у Леона в постели, в его гостеприимном алькове, как бы раздвинувшем две стены, чтобы принять в свое лоно широченную тахту под Барышнинным гобеленом. И чудно провели время (как всё же она много щебечет... И этот непрерывный репортаж в ухо – что именно она ощущает, «когда ты вот так проводишь... о, боже, да! да! это восхити-и-ительно...»).

Он лживыми блядскими пальцами гладил ее ухоженную спину без шрама. Под этим тончайшим слоем жирка, подумал с остервенением, запрятаны такие миллионы... И, конечно, ей надо бы замуж, пора уже,

пора: через каких-нибудь лет пять она превратится в щедрую телом итальянскую матрону...

Прекрати сравнивать двух женщин, гад, ты что – выбираешь материю на костюм?

Утром они уютно, совсем по-супружески позавтракали (уж Николь-то отлично ориентировалась у него на кухне), после чего он проводил ее до метро. Нежно поцеловались на прощание; правда, он ускользнул от ответа на вопрос о следующей встрече... дорогая, созвонимся! (И Николь затуманилась: слишком хорошо знала, что поймать эту рыбку «на звонок» практически невозможно.)

Она еще напонила что-то о пользе морского воздуха для его голосовых связок... и ты не представляешь, между прочим, какое симпатичное общество собирается там зимой... Где-где – в Портофино! Ну-у-у, ты уже забыл, я тебе вчера рассказывала? *Love in Portofino*... Можно прекрасно время провести: образованные люди, коллекционеры, умницы – всё наши соседи и всё *наши клиенты*... Кстати, и россияне есть, так что скучно тебе не будет...

– Ну, грандиозно!.. – нетерпеливый чмок в холодную щечку, перед тем как отправить девушку в жерло подземелья...

Всё наши клиенты... и россияне есть (короткая глухая тема рока в басах у валторны).

Вот и прекрасно, бодро говорил он себе, шагая по рю де Блан Манто в сторону дома.

Да, она щебечет и закатывает глаза, но она не задала тебе ни одного беспокойного вопроса. И если бы ты убил на ее глазах человека и стал бы запихивать труп в дымоход, она опять же не задала бы ни единого вопроса, наоборот – пособила бы, попутно восхищаясь твоим голосом. Вот и отлично! Вот все и стало на свои места! Да она просто прелесть, настоящая мечта такого говнюка, как ты! Вот возьми и женись на ней!

– И женюсь! Ей-богу, женюсь.

Так он твердил себе, подходя к воротам дома номер четыре по рю Обрио, пока не обнаружил, что запальчиво говорит все это Айе – ее лицу, ее прямому взгляду, упертому в сердцевину его губ. Ее хрупкому голубоватому затылку, доверчиво и послушно склоненному под бритвой в его руке. Ее мальчишеским лопаткам со шрамом, опасно ускользающим влево, ее упрямым грудкам-выскачкам, ее чудному чуткому телу, ее бездонному молчанию, и главное – ее разрывающим душу рукам.

Он говорил и говорил ей, обвиняя ее – в предательстве! Как она смела – повернуться и уйти! Как смела там, в аэропорту, не броситься к нему, не встряхнуть, не завопить, не залепить оплеуху!!! Да он ей просто безразличен, вот и все, она полагала дальше эсэмэски рассылать и рассказывать следующему *попутчику* что-нибудь вроде: «Один мой знакомый, певец, но *классный* парень...» Вот именно; она ведь сама сказала: «раз в году», она сказала...

Открыл калитку, стал подниматься по лестнице.

– Николь? – буркнул в отчаянии. – Да какая там мечта, господи: у нее руки вялые и топорные... И эта патока влюбленного взгляда и этот язык, преследующий в твоём несчастном рту отзвуки драгоценного голоса, чуть ли не в глотку к тебе забира...

Отомкнул замок, кулаком долбанул дверь в квартиру, в прихожей уперся в зеркало и исподлобья – в собственные, темные от боли глаза:

– Придунок, уже признайся, что ты извелся! Скажи уже хоть самому себе, что ты – пропал, что ты ее потерял. Искать ее сейчас – это ветра в поле искать. Где она болтается? В Бангкоке? В Лондоне? В Алма-Ате? На острове четырех вождей, которым на коленках приносят дары в обмен на разрешение встать на якорь? Еще на какой-нибудь помойке?!

Он перемыл посуду, оставшуюся с вечера (вспомнил, как Владка всегда копит посуду по нескольку дней). Стирку запустил... Сварил себе кофе и встал у окна спальни с чашкой в руке. Маленький дворик будто осиротел – из-за дождя, из-за мокрых камней-голышей, по которым под легкий уклон бежали струйки, затекая под два деревянных вазона с грустными пальмами...

Сейчас хорошо оказаться в Бургундии у Филиппа, в его доме двенадцатого века, где стены – как в бункере и с улицы ни звука не проникает, где одно окно выходит на древнюю крепостную площадь с кафе, магазинами и рынком на одном пяточке, а другое окно – на поля, ржавые холмы с виноградниками, зелено-золотые леса с кабанами... Где от печки идет жар, а старая тетка Франсуаза лечит кашель теплым вином с корицей, и это напоминает причастие...

Если выпадала теплая осень, Леон с Филиппом дня два колесили по старым лесным дорогам, где встречались руины, оставшиеся со времен нашествия сарацин. Ночевали в палатке на лак дез Анж, озере Ангелов, варили суп в солдатском котелке из Филипповой коллекции армейской утвари времен Первой мировой. Болтали о чепухе, стреляли по мишеням

из старого «кольта», распугивая кабанов, куниц и прочее зверье... Леон старательно «мазал», время от времени получая утешительные комплименты: «Старина, ты вполне прилично палишь!» (однажды только потряс Филиппа, по рассеянности навскидку выстрелив и убив пробежавшего зайца).

К вечеру над озером поднимался туман до самых облаков, и окрестности тонули в этом густом холодном вареве. Над головой медузами ползли голубые и желтые пятна – свет автомобильных фар на далеком шоссе отражался неизвестно в чем, но моторов не слышно было, лишь шорохи леса да плеск воды...

Там неподалеку от озера – деревушка Дило, где на въезде пасутся коровы, а на выезде, если двигаться к Сен-Флорентену, можно встретить косулю на опушке леса. По пастбищам шныряют лисы, а свои жилища устраивают в заброшенных крестьянских сараях. Ни почты нет, ни лавки, до ближайшей «цивилизации» – минут двадцать езды по довольно скверной дороге.

В теплый сине-зеленый, золотой осенний денек хорошо там проснуться пораньше, прихватить двустволку, корзину и отправиться в лес. По дороге непременно встретишь школьный автобус или соседа на тракторе – старого польского ветерана. Этот милый старик поприветствует тебя, обсудит урожай цикория. Если его старуха (маленькая, но монументальная бургундка) в этот момент соединяет ржавый двухколесный прицеп с трактором, то и она включится в разговор, поддерживая одной рукой тяжеленный прицеп. Так и будет стоять все время беседы. А узнав, что ты ждешь на ужин друга из Парижа, старик подарит тебе ногу косули, подстреленной утром, пока ты просыпался и пил кофе.

В конце концов ты бросишь у них двустволку и наберешь грибов на два дома. А вечером, к приезду Филиппа, замаринуешь косулю ногу в скисшем вине с чабрецом, нажаришь белых грибов с картошкой и луком, растопишь камин...

И аппетитные запахи кухни смешаются с дымом трубочного табака старины Филиппа... Но то – осенью...

Кофе он допил.

Впереди расстилалась суббота – бескрайняя, плоская, городская; промозглая, как сама тоска. Тянула за собой такое же воскресенье.

Стоя у окна во двор, невидящим взглядом упершись в осточертелую кадку с пальмой, Леон медленно и с чувством, как поэтическую строку,

продекламировал, роняя по одному слову:

– «Скончался. Желтухин. Третий. Тычыкы. Грустно. Тычыкы. Папа...»

Адрес отправителя (дурацкий адрес: «Экспериментальная база») цепко сидел в проклятой памяти.

* * *

В самолете он продумывал несколько версий своего появления в Алма-Ате.

Первая: я представитель питерского издательства... ммм... например, «Аничков мост», специализируемся на выпуске фотоальбомов. Несколько работ вашей дочери привлекли внимание нашего э-э-э... консультанта по проектам... безуспешно разыскиваем... и поскольку я случайно по делам оказался в ваших краях... не могли бы вы сообщить номер телефона вашей...

А откуда ты мой адрес узнал? Обыскал ночью невинный рюкзачок моей глухой девочки?

К черту! Версия вторая: я, знаете ли, был в Таиланде, оказался на тамошнем знаменитом *weekend market* и познакомился с вашей дочерью. Но вот незадача: она записала номер своего телефона на пачке сигарет, которую я случайно...

Ах, случайно... А мой адресок-то у тебя, – снова – откуда? Обыскал ночью рюкзачок моей глухой девочки?

Ну ладно... Вот самый пристойный, хотя и ужасно уязвимый вариант: столкнулись на полудиком острове, немыслимая встреча, Робинзон и Пятница, блокбастер! Я – это я, певец, *последний по времени Этингер*. В моей семье... чуть ли не четверть века услаждал своими трелями... короче, представьте: Одесса, Гражданская война, дружки-товарищи, головорезы Яков Михайлов и ваш, простите, дядя Коля Каблуков. Я впечатлен и потрясен: канарейки, Желтухин, «Стаканчики граненые»... Ваш адрес мне сообщила ваша дочь. Но вот номер ее телефона я потерял... Да, *потерял*, так бывает, к черту детали, а просто...

...а просто, смилуйтесь, Илья Константинович, на колени встаю, как последний оперный мудак: дайте любую наводку, если знаете! Потому что я, как выяснилось, подыхаю без вашей глухой девочки!

То-то же... га-алу-у-убчик!

Прихватил же ты в последнюю минуту смешную клетку-кружку для одинокого странствующего кенаря – *в подарок папаше...*

Прилетел он налегке – чего там, шмыг-шмыг на денек; с рюкзаком, с которым обычно ездил к Филиппу в Бургундию.

Самолет прибыл затемно, еще не рассвело, он быстро прошел через паспортный контроль, предъявив свой российский паспорт, и вышел в зал прилета... к неожиданной толпе.

Подавляющая часть «встречавших» оказалась лихими извозчиками – все смуглые, узкоглазые, нахальные, явно пригородные: в трениках с пузырями на коленях, в черных куртках «под кожу». На приезжих бросались с воплями: «Брат! Братишка! Такси нада? Такси едем?» – пытаюсь на ходу вырвать из твоих рук багаж: *типа – сервис...*

Он выбрал кого поприличнее – пожилого, с явным радикулитом в полусогнутой фигуре. Небрежно адрес буркнул, двумя словами пояснив, как ехать (посмотрел в Интернете). Не любил за не *тутошнего канать*. Сторговались, сели в старый помятый «фольксваген» двадцати лет от роду, поехали...

В потерянном свете редких фонарей мелькнули невнятные домики в деревьях по краям дороги, но после поворота ухнули куда-то во тьму, сменившись разбитым широким трактом без разметки и указателей; какая-то разбойная ширь, степь, безнадега... И едва возникла и окрепла уверенность, что в этой тьме тебя вовсе не в город везут, а *завозят*, чтоб ограбить, зарезать и выкинуть из машины, как вновь последовал поворот, и в завязи рассвета – новая красивая дорога, фонари, опоясанные цветочными корзинами, текущие спины холмов, а впереди, прямо перед тобой, неожиданным взмывом – горы. Серо-синие, остропиковые, припорошенные снегом, недосягаемые горы...

Красивая дорога (судя по карте, Восточная объездная), плавно влившись в проспект Аль-Фараби, ввела в город, и некоторое время машина ехала между еще притушенных, но великолепных зеркально-новеньких небоскребов, а горы оказались слева, и между тобой и горами практически ничего уже и не было, и дорога поднималась вверх, вверх и вверх... Как-то это называется, *она* говорила... «прилавки»? Во всяком случае, та самая Экспериментальная база уже не существующих апортовых садов явно находилась в предгорьях, в верхней части города. И они продолжали подниматься, уносясь к горам, обретавшим все более четкие силуэты на фоне заголубевшего неба.

На одном повороте вниз он углядел уходящую вниз роскошную березовую аллею, тоже знакомую по ее рассказам и рисуночкам на мокром песке. Вообще, странно было видеть, как пространство ее детства

постепенно собиралось и терпеливо, хотя и довольно стремительно, разворачивалось перед его глазами.

Наконец остановились. Он расплатился, взял рюкзак и вышел.

Город лежал внизу, широко, вольно раскинувшись, неожиданно для Леона – царственный. Прекрасный город, сказал он себе. Прекрасный...

Улочка, где оставил его радикулитный водила, оказалась уютной и какой-то пригородной: старые телеграфные столбы, заросли сирени и богато инструментированный собачий лай, так, что хотелось постучать дирижерской палочкой по какому-нибудь забору и крикнуть: «Внимание! Попрошу с первого такта после паузы!»

Справа громоздился во дворе новый *шикарный* особняк: замысловатые крыши, башенки, бронзовые флюгера.

Но ее домик...

Домик был какого-то забыто-станичного вида: беленый, с синими деревянными ставнями, и калитка не заперта, и никакого звонка – видимо, он на двери. А дверь на застекленную веранду тоже не заперта и даже приоткрыта. Ну что прикажешь делать: войти? – и что? Раннее утро, неудобно. Погулять?..

Нет: его уже тащило таким властным ветром... Не до приличий было, не до *версий*. Словно вот сейчас на сцену, и всё – всё равно, и всё – изумительно, всё плевать: сейчас решится. А вдруг она там, в двух шагах от тебя?

Как-нибудь уж слова найдутся, решил он.

Вдруг обнаружил розетку звонка, прибитую ниже человеческого роста. И как толкнуло: это отец *для нее* низко прибил, в ее детстве, да так и осталось. Она подбегала – ранец за плечами, коньки в мешочке, шапочка набекрень, давила пальцем на кнопку, но самого звонка *не слышала*. (Или слышала? или что-то как-то она все же слышала – *не только когда ее ладони свободно раздвигали твою грудь?*)

Он позвонил, подождал, опять позвонил, холодея при мысли, что его прилет сюда может оказаться вполне бесполезным, что ее отец не обязан сидеть дома в ожидании неизвестных посетителей. И уже по привычке прокручивал все варианты подобного фиаско, уже перебирал планы – как поступит в этом случае... Но тут за стеклом веранды стал вырастать – как оперный Мефистофель из подпола на сцене – высокий, с залысинами, грузный мужчина. Руки – в одноразовых перчатках, и обе заняты. В одной – мешочек, в другой – пинцет. Отец, конечно, отец – с первого взгляда. Видимо, из подвала явился: она рассказывала, что *в подвале у папы целая*

птенческая лаборатория.

– Простите, не сразу звонок услышал, – сказал хозяин и вопросительно умолк.

– Илья Константинович... – Леон поднялся на ступень крыльца, потом на вторую. – Я так волнуюсь и так долго объяснять, кто я, что проще сразу меня впустить.

– Так, пожалуйста, входите, – ответил тот, но не сразу, а два-три мгновения спустя, будто ему, как и его дочери, требовалось время, чтобы понять и, главное, принять информацию.

Повернулся и вошел в дом, Леон за ним, сразу окунувшись в плотный птичий воздух, пощелкивание, посвистывание, *картавые разговорчики*, что доносились отовсюду, обволакивая дом переливчатым коконом... Миновали веранду с развешанными по стене полынными вениками, коридор, дверь в кухню (*вот высокие пороги, на которых она любила сидеть в детстве, вот печка, рассевавшая обоюдокруглым брюхом разом на обе комнаты, все узнаю, узнаю, узнаю...*) и вошли в гостиную.

Леон остановился на пороге.

Вот это да! – восхитился мысленно. – Вот это птичий Вавилон, треличий-свирелистый, овсянистый воздушный пирог!

Во всех углах комнаты громоздились пирамиды канареечных клеток, а у глухой стены могучей резной волной застыло нечто величественное... из второго круга Дантова «Ада» – видимо, то, что старательно, с узористыми подробностями рисовала прутиком на мокром песке Айя: дубовая исповедальня из ташкентского костела, наследство дяди Коли Каблукова. В этой комнате, подумал Леон, наверное, десятилетиями ничего не меняется: круглый стол с «парадными» стульями; нечто вроде топчана; огромная пальма в кадке, лохматой башкой в потолок; умятое-размятое кресло с цветастой подушкой под поясницу и очень неплохое, явно старинное бюро, которое сильно бы понравилось Кнопке Лю.

Наверное, летом, подумал он, эти два просторных окна загружены листвой по самую макушку, в них и сейчас густая графика ветвей, и потому в комнате всегда горит люстра, а в углу над столом чудесно теплится высокий торшер с цветастым (таким же, как подушка в кресле) матерчатым балдахинном.

– Я, знаете, немного занят сейчас, – просто сказал хозяин. – Я у птенцов в подвале. Недавний приплод, рассаживаю по клеткам. Но если вы согласны подождать минут десять, то после мы бы могли...

– Конечно, конечно! – воскликнул Леон.

– ...позавтракать и выпить чаю. Я сам еще не удосужился.

И пошел из комнаты – странноватый, слегка заторможенный сутулый человек, так легко оставлявший в своем доме незнакомца. Но в дверях обернулся – рывком, пружинисто, всем телом, будто неожиданно вспомнил важное. Спросил:

– Моя дочь? С ней все в порядке?

Чем просто оглушил Леона.

– Илья Константинович... – пробормотал он. – Я полагаю... Я уверен, что в данный момент она...

...В данный момент ты понятия не имеешь, где она обретается.

– ...надеюсь, что она вполне благополучна.

...Если можно назвать благополучной девушку с подобным шрамом на спине.

– Я как раз привез вам от нее подарок, – заторопился Леон, – и привет.

Расстегнул и развязал рюкзак, выгреб со дна, из-под тощей стопки вещей, медную птичью мини-карету:

– Забавная, правда?

А заодно привет от брата Яши.

Илья Константинович молча разглядывал гостя, как бы вынуждая его держать на весу изящную кружевную вещицу.

– Нет, – наконец проговорил он. – Не забавная. Тут что-то не то. Вряд ли ей пришло бы в голову что-то мне передавать. И к канарейкам она довольно равнодушна. К тому же дня три назад я получил от нее записочку на телефон. И никакой клетки, никакого привета. И никакого вас... Я скоро вернусь, – спокойно заключил он. – У вас есть минут десять на коррекцию: кто вы и что вам нужно. А чай получите при любом раскладе.

...Вернулся он и правда довольно скоро, но не в столовую, а в кухню, где сначала бухтел-бухтел, пока не щелкнул, электрический чайник, потом звякали разные поверхности – фарфоровые, деревянные, металлические. Мягко и сытно ухнул в ведро влажный ком старой заварки. Затем отвинчивались крышечки на банках, с шелестом вываливались из них конфеты. Наконец с подносом в руках, высоко переступив через порог, явился хозяин.

Леон уже сидел за столом, виноватый и озадаченный.

– Вам ложка парадная, гостевая, – расставляя приборы, заметил хозяин. – Подарок Айе «на зубок». Друг семьи подарил... Ну, не важно. Пожалуйста: вот хлеб, масло, сыр... Если привыкли – молоко. Это по-казахски. Так, с чего начнем? Я черный заварил, вы не против? С утра дает

энергию...

– Илья Константинович, – проговорил Леон, пытаясь взглядом поймать вежливо-уклончивый взгляд хозяина. – Простите меня за невинное вранье. Клетку я привез вам в подарок. Клетка хорошая, с парижской барахолки, не отказывайтесь. Может, в ней какой-нибудь очередной Желтухин совершит путешествие?

Илья поднял голову:

– Позвольте, а откуда...

У него, у хозяина, были хорошие глаза – темнее, чем у Айи, иронично-вопросительные, в мягких подушках тяжелых век.

– И поскольку вы не обязаны верить на слово такому подозрительному лгуну, для начала продемонстрирую наглядно, кто я. Понимаете, до известной степени я тоже... кенарь. Не верите?

Он откинулся к спинке стула, вдохнул...

Этот фокус везде срабатывал безукоризненно. Но то, что произошло в доме после визитной залиистой трели гостя, обескуражило его самого: десятки крошечных певчих глоток после ошеломленной паузы подхватили запев и засвиристели, засвистели, раскатили свои бубенчики по множеству серебряных дорожек...

– Ах, бож ты мой! – воскликнул Илья Константинович, всплеснув тяжелыми большими ладонями. – Диверсия, караул! Вы певец, что ли?!

Леон кивнул, глядя на него смеющимися глазами.

– А голос-то, голос... прямо и не знаю: что это – сопрано? Откуда такие птичьи трели? Это и не тенор, а...

– ...Контратенор, – подсказал Леон. – У меня контр атенор. Очень высокий голос от рождения. Такой вот нонсенс природы. Мое имя – Леон Этингер.

Он достал из нагрудного кармана куртки твердую картонную обложку, точно собирался предъявить визитную карточку. Но извлек из нее старую коричневатую фотографию с обломанными зубчиками по краям.

– Вам эта карточка знакома?

Эська на фото (высокая шейка, черная бархотка, кружева валансьен, победная юная прелесть) по-прежнему тянулась губами к кенарю на жердочке.

Илья как глянул, так и ахнул. Помолчал, прослезился. Отер большим пальцем оба глаза и взволнованно спросил:

– Вы из семьи Желтухина Первого? Леон опять молча кивнул.

Ну и дальше покатилося...

И чай остыл, и снова был заварен, пока «известная одесская балерина»

превращалась в Эську, в Барышню и исполняла «Полонез» Огинского – тот самый, над которым до конца своих дней сморкался и плакал Зверолов; и прекрасный и плодородный Стешин дух слетал на скатерть, чтоб через Леона свидетельствовать о героической гибели Первого Желтухина (значит, не в бозе почил, тихо заметил Илья, – погиб смертью храбрых).

Ну что ж, вот, значит, и познакомились...

А комната была прекрасная. Соразмерно-просторная, приветливая, и дубовая громада исповедальни не портила ее, а как бы освящала и делала необыкновенной, значительной. За окном пылало и плыло облако огненной скумпии, а в комнате ей отзывалась могучая пальма, выращенная когда-то из косточки. Где-то там, неподалеку, но недостижимо восходили, расстилались, длились ныне вырубленные апортовые сады, куда на лыжах Айя бегала встречать рассвет. Где-то там, на горизонте, но волнующе близко леденисто млели в утреннем солнце снежные пики гор, и совсем рядом бежал проспект, на котором из армейского грузовика ей в грудь прилетело большое яблоко... Вот, значит, где она выросла.

– Однажды в конце осени, – рассказывала она, – за год до бабушкиной смерти, по саду прошел трактор, повалил все яблони: опрокидывал их ударом в грудь. Но их не прикончили, не выкорчевали. И весной эти поваленные яблони зацвели. И лежали рядами, цветущие, как молодые убранные покойницы, – их потом так и вывозили оттуда, в цветах. Такое сладостное благоухание было разлито в воздухе – невероятное, в последний раз! И так покорно и прекрасно дрожали-колыхались бело-розовые ветви, полные цветов... Мы с папой стояли и смотрели им вслед, держась за руки. Вот это было страшно – эта похоронная процессия... Теперь на их месте – микрорайон Алмагуль, – добавила она. – В смысле, «Цветок яблони».

– Да. Но все-таки: при чем тут моя дочь? – спросил Илья Константинович точно как Айя: неожиданно и прямо.

И разом ушли легкость и артистизм, умение вывинтиться из любой щекотливой закрути. Ушли слова. Леон вдруг обнаружил, что ничего не способен сказать сейчас этому человеку, ее отцу, кроме правды.

– Дело в том... – проговорил он, с трудом выуживая слова из внезапно пересохшей гортани, – дело в том, что мы повстречались – там, на острове. Знаете, как судьба... А потом я ее потерял.

– Это бывает, – спокойно заметил Илья Константинович. – Она обычно сама всех с удовольствием теряет. Не хочу вас огорчать, но вот уж кто – не канарейка. Вот кто – птица свободная.

– Нет! – горячо возразил Леон. – Тут точно я виноват, я один. А ваш адрес – это вообще единственное, что от нее осталось. Ну, я и прилетел сюда, к вам, какой-то... оголтелый. И на один день всего: у меня самолет назад через пять часов. Просить прилетел: дайте мне, ради бога, ее телефон. Верните мне вашу милую дочь.

И тут произошло нечто, Леоном не предвиденное. Этот по всем признакам мягкий, сочувственный человек (Айя говорила: «Папа вообще никому не может отказать, он потом мучается») твердо и спокойно возразил:

– Она не милая. Айя – трудная, своевольная и резкая. И если не сочла нужным оставить вам номер своего телефона, значит, так тому и быть. Извините, я давным-давно не правлю поступков своей дочери.

Леон отставил чашку, поднялся из-за стола.

Я к вам из Парижа летел! Я вам... я же все объяснил... я вас умолял!!! – все это он вопил, не переставая, – само собой, молча, внутри. Вслух сказал:

– Должно быть, вы правы, Илья Константинович... Ну что ж. Благодарю за чай.

Подобрал свой рюкзак и пошел к дверям.

– Постойте, – окликнул Илья. Лицо у него было спокойным, доброжелательным, будто они погоду сейчас обсуждали. – У вас же еще времени навалом. Не хотите моих птенцов посмотреть? А потом я вам такси вызову.

Леон даже растерялся, усмехнулся мысленно: не предложит ли он мне еще – в шахматишки, после этакой затрецины? Все равно самолет, мол, не скоро.

– Вам неинтересно? – спросил Илья.

– Ну почему же... – выдавил Леон. И пожал плечами. – Отчего же...

Они спустились в подвал – замечательно оборудованную и освещенную лабораторию, царство клеток и клеточек, мешков и мешочков, каких-то коробок с кормами... Тут же в углу стоял офисный стол с компьютером, принтером и факсом. И кругом лампы, радиаторы, встроенная вентиляция – солидное хозяйство. Минут пятнадцать хозяин все это ему демонстрировал со сдержанной гордостью.

Бред какой-то! Да он не понимает или не хочет понять...

– В год развожу не более тридцати птенцов, знаете ли, – говорил

Илья. – Каждый «студент» требует индивидуального подхода. Можно, конечно, иначе к этому отнестись. Мой знакомый канаровод во Франции – тот занимается цветными породами – разводит птиц сотнями! У него все это производство в отдельном доме, несколько тысяч птиц. И работников несколько, и уход-кормление конвейерно-поточные. Это не по мне...

Бред, бред, похмельный сон!.. Неужели так и уеду – ни намека, ни зацепки, как фрайер какой-нибудь?

– Да и вообще, с певчими породами все гораздо сложнее: довести до конкурсного уровня «маэстро» очень трудно, дай бог, если получится в год – одного. Два – это уже редкость, большая удача. Потому у меня самцовые клетки – видите, в закрытых шкафах. В этом необходимость сохранения песни-голоса... Шкаф – это чехол для инструмента. Чтобы не портился.

– Так что же кенарь – всю жизнь в шкафу, в темноте должен сидеть? – неприятно удивился Леон. Его даже передернуло: надо же, какая жестокость!

Илья Константинович неумолимым тоном ответил:

– Пока нужно поддерживать конкурсные, то есть учительские, кондиции – *будет сидеть...* Некоторые со временем зарабатывают «пенсию», – добавил он. – Мой выдающийся Желтухин Третий в конце жизни несколько лет жил свободно, на воле. Пел в свое удовольствие. Я, впрочем, занимаюсь выводением таких певцов, которые безо всякого притемнения могли бы петь. Но... традиции *лучших песен* требуют жесткого обучения.

А ведь верно: традиции лучших песен требуют жесткого обучения.

Вначале Леон еще пытался подавать голос, что-то спрашивать. В другое время и в другом месте, а главное, с *другим объектом* он непременно придумал бы что-то дельное. Да и ничего особенно придумывать не нужно, все просто: где тут у вас туалет, Илья Константинович? А там, наверху, возле кухни. Так я поднимусь на минутку...

И вот тебе, ради бога: разыскать хозяйский мобильник труда не составит – обычно он на виду. А там уж выудить ее эсэмэски... простейший финт.

Почему же проделать такую элементарную штуку здесь, с *ее отцом* ему казалось немыслимым?

Канарейки, их «отучение», их голосовые кондиции ему, честно говоря, порядком надоели. Он поинтересовался, сколько стоит хороший певец, да как их провозить (в сигаретных пачках, в мешочках на теле, усыпляя

невинную птичку), да как наказывается контрабанда певчих птиц...

Выслушал долгие рассуждения о критериях исполнительского мастерства, етти его так и этак!

– Вот вы – профессиональный певец, – говорил Илья Константинович увлеченно, – наверняка участник многих конкурсов. Так?

– Да, – сдержанно подтвердил Леон. – И участник, и лауреат... «Стоимость» артиста на нашем рынке должна быть подтверждена каким-то количеством международных дипломов.

– Вот я и говорю, – подхватил тот. – На конкурсах, присуждая премии «человеко-певцам», жюри исходит из каких-то определенных критериев. В нашем деле, наисложнейшем...

Наисложнейшем. Ишь ты. И ни слова о ней, о том, что я прилетел, как пылкий птенец, на несколько часов в этот город и чуть ли не на коленях тут перед ним!!!

Вот сволочь бессердечная!

И уныло себя поправил: не сволочь, а замечательный отец. Ты-то сам из-за своей, будь она у тебя, дочери, не то что на порог не пустил бы или там завтраком кормить и канарейками душу вынимать, – ты, милый мой, палил бы из двух стволов в любого *соискателя* прямо с порога. Уж признайся.

Надо было уходить. Но он все не решался попросить хозяина оборвать страстные канареечные чаяния и вызвать такси. Впрочем, минут пятнадцать-двадцать в его распоряжении еще было.

– А чем вы их кормите – есть какие-то особые корма или так – пшено-овес? – спросил Леон *с увлеченным видом*. Он всегда предпочитал разговор с любым собеседником завершать своим активным участием. Впрочем, Илья Константинович настолько царил и парил в этом подвале, что здесь-то все эти фокусы были без надобности.

– Ну, это огромная тема, знаете. Что называется – на пять лекций и десять конференций. Кстати, подобные конференции в Интернете вполне проходят. В целом так: если есть хорошая сурепка и свежее канареечное семя, то можно не заморачиваться: все необходимое птице есть в этих двух видах семян. А остальное: чуток зелени, фруктов, минералки, творога... ну, там, орехи, мед... Некоторые наши ветераны, люди упрямые, моют в горячей воде любой зерновой корм, потом сушат его в матерчатых мешочках на батареях...

Он замешкался, будто вспомнил нечто поучительное.

– Но... между прочим, вот *остросюжетная* специфическая деталь –

вам-то, при вашей профессии, *безопасная*: в кормах для канареек случаются такие добавки, из-за которых у людей может возникнуть страшная аллергия. Чуть ли не смертельная.

– Вот как? – Леон изобразил вежливое удивление. Ему уже надо было спешить.

– Не у всех. Только у тех, кто имеет дело с ураном и всеми его производными.

– Как?!

Леон очнулся, будто в грудь толкнули, встряхнули, приподняли и твердо поставили на ноги.

– Как вы сказали, Илья Константинович?

Тот развел руками:

– Я и сам понятия не имел, пока совсем недавно не пришлось наблюдать – вот тут, прямо на том месте, где вы стоите, – страшнейший приступ у одного моего знакомого. Он прямо на глазах у меня весь заплыл, стал розовато-желтым... потекли из глаз слезы, изо рта – слюна... Я кричу: «Андрей! Андрей! Что с тобой?..» А он и ответить не может... А мужчина крупный, я его по лестнице сам и не выволоку... Ну, я – наверх, к телефону, «Скорую» вызывать. И представьте, так ошалел от страха, что и фамилию его – между прочим, знакомую с молодости! – вспомнить сразу не могу. А они ведь фамилию первым делом спрашивают. У меня в руках трубка ходуном – как представлю, что он тут вот, внизу у меня кончается... А в памяти: «Крошин!.. нет, Крушин!.. нет, Кошевич!» А фамилия-то его – Кру-ше-вич... Андрей Крушевич. Чуть не полжизни у нас в Семипалатинске проработал. С молодости его знаю, с молодых компаний, но он всегда для меня был – Андрей, и все. Ну, ничего, приехали, откачали. Но он полежал-таки в больнице с неделю, что ли...

– Вот как... хм... надо же... – помолчав, произнес Леон. – Удивительно. Прямо удивительно!

Прокашлялся, наклонился и развязал рюкзак, словно ему там что-то срочно понадобилось... опять затянул горловину, выпрямился... Он был ошеломлен, даже подавлен тем же неотвязным ощущением подстроенного сюжета. Как на острове Джум и потом в аэропорту, когда на экране ноутбука сменяли друг друга фотографии; и еще когда Кнопка Лю застыл и замельтешил при виде фотографии Казаха. Все тот же вопль протестующего нутра: *этого просто не может быть! Так не бывает!*

– Кто бы подумал, – ровным голосом заметил он. – Интересный факт...

– Просто я удивился, – добавил Илья. – Андрей ведь к тому времени

давно здесь не работал, Семипалатинск закрыли, дела давно минувших дней. Неужто работа с ураном и всякими там стронциями-цезиями спустя столько лет дала о себе знать? Но, возможно, он продолжает всем этим заниматься за границей, все же – профессия... Сюда приехал для встречи с другом молодости, с которым учился в Москве. А тот оказался нашим... родственником – в жизни все так бывает переплетено! И... почему-то Андрей решил, что тот остановился у меня. Но поскольку я этого самого немецкого родственника терпеть не могу... – Илья смущенно усмехнулся. – Не могу ему простить... Впрочем, неважно, вам это все ни к чему. Извините, что заморочил голову. Пойдемте, уже вызову такси. Пора.

Они поднялись из подвала, Илья Константинович стал звонить. Медная, мягко сияющая в луче солнца круглая клетка-кружка с парижской барахолки по-прежнему стояла на столе среди чашек, масленки и сахарницы.

Значит, аллергия, чуть ли не смертельная... Простенький тест матери-природы. И доказывать ничего не надо: из глаз слезы, изо рта слюна – виновен!

Итак, решайся. Быстро.

– Илья Константинович... А что, если, очарованный вашими рассказами, я взял бы да и купил у вас себе «подголосок»? Какого-нибудь бойкого молодого кенаря. А? Ей-богу, посмотрел сейчас, послушал вас – и прямо вдохновился. Вы умеете заманивать в свое царство! Назвал бы его в память о семейной истории Желтухиным... каким там? Четвертым.

– Пятым! – воскликнул Илья Константинович. – Четвертый – вон, в исповедальне у меня сидит!

– Ну, Пятым. Говорите быстренько – сколько запросите. А клетка – пусть будет эта, я ее потом вам переправлю.

– Пойдите... ну и напор!.. – Илья растерянно развел руками. – Вы меня огорошили. И сейчас такси приедет, тут их станция недалеко. Они ждать не любят. А я ведь должен все объяснить, научить... дело непростое. Целая лекция!

– Пустяки, – отозвался Леон. – Говорите – сколько? Сто? Двести? Пятьсот евро?

– Да бог с вами, я подарю... в честь знакомства. В честь героя и храбреца Желтухина Первого. Пойдите здесь, у меня есть трое перспективных, по его линии, выберу лучшего, с семейной песенкой. Подождите!

Он схватил клетку, выбежал из комнаты, крикнув с веранды:

– Если будут сигналить – придержите, скажите, что добавите пару монет!

Леон остался стоять посреди комнаты. Вот и удобная минута. Где там мобильник уважаемого Ильи Константиновича? А птичку можно выпустить полетать в аэропорту. Кстати, вовсе не факт, что здешняя таможня их выпускает, а французская – впускает...

Айя, Айя... куда ж ты меня ведешь! Или, напротив, строго не пускаешь. И почему все так намертво с тобой связано? И почему в твоём доме я не могу, не умею действовать, как в любом другом месте с лёгкостью бы действовал.

Он быстро достал из портмоне три сотенные бумажки, подложил их под телефонный аппарат: пригодятся, при таком-то затратном хозяйстве.

С улицы просигналила машина, и, выйдя на веранду, Леон мгновенно «включил интонацию», простецки осадив голос:

– Друг! Погоди чуток, а?

– Чего там годить! У меня вызова один за другим!

– Вызова коллегам передай, не пожалеешь, – отозвался Леон. – В накладе не останешься.

Снизу поднялся запыхавшийся Илья Константинович: в одной руке медная походная клетка с молодым кенарьком – желтый прыгучий вымпел за красноватой медью витых прутьев; в пригоршне другой руки – какие-то пакеты.

– Вот, – сказал, преодолевая одышку. – Авантюра, конечно же, безумие! Смотрите, не погубите птицу, сразу же, сегодня... нет, уже завтра, к сожалению, – обратитесь в общество канароводов. Вам все объяснят. А пока коротенько...

И уже на ходу, по дороге к машине, давая краткие указания и засовывая в карманы куртки Леона мешочки с кормом:

– Это поилка, в красной коробочке, пинцет – на первое время. Но главное, идите к профессионалам! Не пускайте на самотек!

Леон принял клетку, в которой глазками-бусинами бойко постреливал по сторонам Желтухин Пятый, пожал теплую, мягкую большую ладонь, исполненную какой-то бесконечной, уютной птичьей ласки. И, оглянувшись на суровый профиль водителя в окне машины, отрывисто проговорил:

– Илья Константинович, напоследок... Я об одном прошу. Только напишите ей: Париж, рю Обрио, четыре. Париж. Обрио. Четыре. Запомните? Ведь это можно?

– Это – можно, – засмеялся тот. – Это, конечно, можно...

И когда Леон уже сидел в такси, бросив под ноги рюкзак и придерживая на колене клетку с кенарем, Илья поднял над головой сцепленные замком руки и, потрясая ими, несколько раз крикнул:

– Идите к профессионалам! – страстным, грознозаклинающим тоном, каким проповедник произносит: «Покайтесь!»

3

На сей раз все было просто: никаких предварительных звонков, никаких пируэтов вокруг да около, никакого порученца Джерри. Ни свет ни заря явились – парочка гусей – пролетом из Женевы.

В половине шестого утра властно и басовито гуднул дверной звонок. Леон вскочил и двумя легкими прыжками оказался у двери. Он догадывался, кто там, – Шаули, вот кому никогда не требовались консьержи, чтобы проникнуть в дом: любые калитки, любые ворота и двери, любые замки сами собой открывались при его приближении. И все же, прикинув к глазку, Леон два-три мгновения изучал обоих, словно кто-то мог так искусно их загримировать, что он обознался бы. Стоят суровые мужчины в плотных серых плащах, лица – как обычно в дверных глазках – кирпичнощекие да лопатолобые; глаза-пуговицы и грудь колесом.

Значит, всполохнулись. Значит, всерьез пошло. Значит, двое на одного.

Вздохнул и открыл дверь, молча впуская гостей – заспанный, с отеками со сна веками.

– Надень трусы, мальчик, – сказал Шаули.

– Иди на фиг, – буркнул Леон. Повернулся и пошлепал в душ.

Минуты три сквозь шум воды ничего не было слышно, потом в приоткрытую дверь ванной внедрилась густобровая круглая башка, на щеках – галантные ямочки:

– Кенарь, в какой банке кофе?

– Господи, ну вы можете пять минут потерпеть, я уже выхожу!

– Ладно, не груби, – добродушно отозвался Шаули. – Люди с поезда.

Леон выключил воду и в наступившей тишине услышал глуховатый голос Натана в кухне:

– Не заводи его, у него сегодня длинный рабочий день...

– У меня тоже, – насмешливо ответил Шаули.

Вот интересно, ведь сказано *просто так* – откуда же всегдашнее

ощущение, что Натан досконально осведомлен во всем, и даже в его, Леона, расписании?! У него и правда на одиннадцать назначена деловая встреча на RFI, потом репетиция с Робертом, потом щекотливые переговоры с типами из Кембриджа, где в скором времени он должен петь в часовне Кингсколледжа небольшую, но довольно сложную программу, а вечером – участие в благотворительном концерте. (На редкость бестолковые организаторы, Фонд инвалидов детства: дважды меняли площадку, трижды перекраивали программу, и уже хочется послать их подальше, но... пресса, телевидение, общественный резонанс... больные дети, наконец.)

В последние дни он печенкой чуял, что из *конторы* могут нагрянуть в любую минуту, но не думал, что это произойдет столь молниеносно. Видать, с его возвращения из Таиланда на полную катушку запущены были все мощности; вполне возможно, у них накопилось достаточно материала, чтобы сопоставить факты, сделать выводы и планировать операцию. Хотя существует и крошечное допущение, что заехали *они* просто по пути из Женевы, где на судьбоносных переговорах незримо сопровождали упорно движущийся к цели ядерный обоз фанатичных иранцев.

Жаль, что сегодня навалились, думал он, ожесточенно растираясь полотенцем. Именно сегодня хотелось бы выспаться. В такие пасмурные дни голос просыпался не сразу, капризничал, увязал в вате, норовил просочиться в песок...

Следующие полчаса он варил гостям кофе, а потом они по очереди принимали душ – в отель раньше двенадцати не сунешься. Натан плохо выглядел: серое усталое лицо, одышка и какое-то замедленное безразличие в жестах. У Леона сердце сжалось нехорошим предчувствием, и он подумал: ну почему, почему бы тебе не отвалить из конторы? Сколько лет Магда упрашивает...

Пока Шаули плескался и фыркал в роскошной – не по чину и не по квартирке – ванной комнате Леона (который и сам именовал ее «залой парадных приемов»), они поговорили о Магде: как там она и что новенького в ее оранжерее. Велела передать, что скучает, сдержанно добавил Натан, мечтает опять зазвать тебя на Санторини – помнишь, как пел нам тогда, на террасе?

Нет уж, спасибо, наплавался я в ваших семейных гротах...

– Конечно, когда-нибудь приеду, – покладисто отозвался он.

Кто его на днях зазывал в морские дали? Николь, чистая душа.

К черту! К черту все на свете моря...

– А угадай, кто у нее опять на плече? Правильно, опять Буся, хотя (ты не поверишь) – существо совсем иного характера: требовательная, капризная, нет той ангельской кротости, что в незабвенной первой Бусе. Помнишь? Но тоже предана хозяйке, как сторожевой пес. Я ей говорю: Магда, в следующей жизни ты должна стать дрессировщицей крыс, – продолжал Натан, прихлебывая кофе. Вторая чашка с утра – не слишком ли? Но Леон промолчал.

Он принес из спальни давно приготовленный для Магды подарочек: футляр для очков – конечно же, не магазинный, а *этаким винтажный*: страусова кожа, золотое тиснение с обеих сторон. Поверху – изящные продолговатые лилии, на излоде – силуэт мчащейся кареты.

– Тонкая работа, – проговорил Натан, задумчиво рассматривая вещицу. – Как всегда, твои подарки тютелька в тютельку: на прошлой неделе отвалилась крышка ее старого очешника. Помнишь, раньше Магда говорила, что ты колдун, а сейчас даже привыкла. Не хотела покупать новый, представляешь? Как чувствовала. – И, помолчав: – А матери ничего такого не передашь?

– Бог с тобой, – усмехнулся Леон. – Она либо выкинет «это старье, в которое сморкались все сифилитики Парижа», либо подарит арабчонку, который вместо меня теперь подъезды моет. Нет, – он легко махнул рукой. – Владке я просто перечисляю деньги – на счет Аврама, а он уже покупает все, что нужно, от трусов до зубной пасты.

И Натан в очередной раз вспомнил давние слова жены: «Этот мальчик – сирота...»

Леон щепотью приподнял с клетки кухонное полотенце, и сразу же заворочался и стал прохаживаться низами, то и дело меняя тональность и силу звука, «балуясь» и высверкивая голосом золотники тонких звучков, юный Желтухин Пятый. Он уже дней пять обживал новую, достаточно просторную для одинокого жильца клетку. Леон еще не привык к тому, что квартира прошита-простегана блескучими стежками птичьего голоса, раздражался и не понимал, зачем привез это чудо *в перьях*, поддавшись странному порыву...

– А! У тебя новый жилец! – удивился Натан, а Шаули, вернувшись из душа, так обрадовался птичке, что стал насвистывать, пульсируя свежесбрившими втянутыми щеками, выдавая ямочки и являя собой сладкий образ *субботного папули*.

– Между прочим, в Иране урановую руду добывают в городе

под названием Кенар, – сказал он, отсвистав и наигравшись. – Это на севере, в провинции Мазендеран, в Бабольсере.

– Между прочим, раньше в шахты спускались, прихватив канарейку в клетке, – добавил Натан. – Они же чувствительны к метану...

На это Шаули отозвался известной байкой о *фюрере* и о его любимой канарейке, чью кончину тот оплакивал горючими слезами.

– То была порода «бельгийская горбатая», – неожиданно подтвердил Натан. – Если не ошибаюсь, горб создавался так: жердочку, где сидела птичка, подвешивали слишком высоко, и со временем у канарейки вырабатывался такой изгиб спины и шеи, который придавал песне особенный тремор. Эту породу выводили бельгийские евреи. После войны она сошла на нет – в отсутствие заводчиков.

После этой реплики все трое в чинном молчании, нарушаемом замечаниями о погоде в Женеве, о толкотне в парижском метро и о репертуаре «Опера Бастий» на ближайший месяц, позавтракали гренками с сыром и сардинами из банки и выпили еще по чашке кофе...

– А вот сейчас – пройтись по утреннему воздуху, – сказал Натан, грузно поднимаясь, хотя после бессонной ночи в поезде ему следовало бы отлежаться часа два – как говорил Кнопка Лю, за *пъечкой*.

Но они поднялись, оделись и так же чинно спустились по лестнице в холл, продефилировав перед глазами удивленной Исадоры:

– Бонжур, месье Леон! Я не знала, что у вас гости.

– Да, родственники из Одессы...

Оба церемонно поклонились (учтивость провинциалов): *бонжур, мадам... бонжур, мадам...*

Снаружи дул довольно противный ветер. Невидимый регулировщик в пухлом ватиновом небе то и дело разворачивал вспять колонны несущихся облаков; те сталкивались, громоздились друг на друга, расплзались, и тогда в случайную прореху выпадало еще не солнце, но сноп лимонного утреннего света.

Выйдя из дома, они свернули на рю Сен-Круа де ля Бретонри, а затем на рю дез Аршив, по которой неспешно двинулись в сторону Сены. Натан прекрасно знал Париж. Когда-то, в молодости, прожил здесь года три, отвечая за безопасность израильских миссий в Европе.

Он грузно шагал рядом с Леоном (Шаули слегка отставал – не потому, что тротуар был слишком узок, просто Шаули заменял рыжего Рувку, который *по делам* еще оставался в Женеве) и негромко отвечал на расспросы Леона о «женевской урановой тусовке». Америка пойдет

на все, чтобы не сталкиваться с Ираном, говорил Натан, и не потому, что американцы наивны или недалёковидны. Просто грядет мощный исторический сдвиг, который мир за всей истерикой с Ираном не хочет замечать, а может, и вправду не замечает. Америка уходит с Ближнего Востока. Америке надоели войны; она воевала во Вьетнаме, потом в Корее, потом в Ираке, потом – дольше всех стран – воевала в Афганистане. Ну и хватит. Они пока этого не артикулируют, добавил он. Но уже действуют...

Он пожал плечами, и снова в этом жесте просквозило то же: усталость и едва ли не равнодушие.

Еще лет пять – и Америка перестанет нуждаться в арабской нефти, отрывисто говорил Натан. Вот они и хотят замириться с Ираном; не потому, что боятся его бомбы – чушь! – и не потому, что стараются ради Саудии или Израиля. Ради нас они никогда не старались и стараться не будут. Нет, Америка аккуратно обстригает последние ниточки, последние связи, а там – повернуться спиной, и закрыть дверь, и оставить вонючий котел Ближнего Востока его безумцам: пусть варят там свое дерьмо, миллионы своих трупов. Все они – Америка с Канадой, Латинская Америка и тем более дряхлая Европа, замученная собственными мусульманами, все они – бывшие игроки, все уходят с политической сцены. Остаются Иран, пожираемый амбициями, со своими мечтами стать хозяином на Ближнем Востоке, Китай и Россия. А мы... Мы остаемся один на один с этой безбрежной тьмой, вот и вся правда. Вернее, не вся...

Он вздохнул и поднял воротник плаща.

– Третья мировая война... кто только не расписывал ее сценарий! Но проходить она будет не между западным и третьим миром, а внутри третьего мира, между его странами, анклавами, окрестностями, дворами и подворотнями, начиненными оружием по самые яйца. Нас ждет бесконечная и безысходная бойня, которая уже в этом столетии просто снесет западный мир – попутно, по ходу действия, как сносит хижину какой-нибудь ураган «Катрина». Так вот жирная мамка во сне задавливает младенца. Они задавят этот мир, как котенка, понимаешь? Со всеми его соборами, операми-тенорами, бахами-шубертами, леонардами и сезаннами...

– Ты... очень мрачен сегодня, – заметил Леон.

– Смотри, как стремительно меняются времена, – продолжал Натан, вроде и не слыша его слов. – Это даже завораживает: Саудовская Аравия покупает бомбу у Пакистана. Атомные бомбы уже *покупают*. Завтра какой-нибудь миллиардер сможет сам купить бомбу у Пакистана. Или у Северной

Кореи, которая таки нуждается в деньгах...

Они миновали Отель-де-Вилль, здание мэрии с целым батальоном статуй знаменитых граждан на фасаде, среди которых в мраморном покое стоял незадачливый Юг Обрио, и дошли до набережной Сены.

– Если направо, а потом по мосту д'Арколь на остров Ситэ и там мимо Нотр-Дама, окажемся у «Shakespeare and Company». Леон, знаешь эту букинистическую лавку?

– Еще бы, – отозвался тот. – Сколько денег там оставлено! Нет, пошли налево, по рю Лобо, там с моста Турнель отличный вид и народу меньше.

...С моста Турнель действительно открывался чудесный вид на оба острова – Сен-Луи и Ситэ с Нотр-Дамом, чьи каменные ребра напоминают полусложенные крылья птеродактиля.

– Потрясающе, а, Шаули? – не оглядываясь, меланхолично заметил Натан. – Вот этот памятник святой Женевьеве, обрати внимание... Знаешь, кто его автор? Ландовский – тот, кто делал статую Христа в Рио.

Парси промычал сзади что-то неразборчивое. Все трое стояли, не начиная разговора, облокотившись на парапет моста и глядя вниз, где мутные бутылочные воды несли барашковую бежевую гривку мелкой волны.

– Насчет того мутного тайца, – наконец проговорил Натан. – Как там его звали... Тассна? Ты оказался прав. Наша ошибка... Бедняга не дотанцевал на своей дискотеке, случайно свалился в канал... Жаль. Но это бывает, когда танцуют в обе стороны... Так что сейчас мы проверяем все его сведения, особенно насчет Крушевича – то, что удалось из него вытянуть... перед этим неудачным падением.

На миг перед глазами Леона возникла фигура Тассны, за которым он так долго шел по улицам и переулкам Бангкока, его походка профессионального танцора, стремительная и расслабленная, ритмичное движение локтей, прищелкивание пальцев... А ведь как искренне тот прослезился, вспомнив о старике: «Цуцик! Суч-потрох!!!» «Одно не исключает другого», – любил повторять Иммануэль... Одно не исключает другого? Гендель в часовне Кингс-колледжа не исключает мертвого тайца в грязных водах канала.

– И все же, откуда вообще взялись у Иммануэля эти двое? – помолчав, спросил Леон.

– Слушай, кто сейчас вспомнит, столько лет прошло. Ни Мири, ни Алекс ни черта не в состоянии сказать. Скорее всего, знакомые порекомендовали. Знаешь, как бывает: старики умирают, хороших сиделок

передают из дома в дом... Эти два брата будто из-под земли выскочили, и в самый нужный момент, когда Иммануэля парализовало.

– И куда же делся второй *брат*? – спросил Леон. – Винай? Кстати, они были очень разными, эти *братья*, и второй довольно часто отлучался до дому.

– А почему ты так о нем волнуешься? – насторожился Натан. – Тот *танцор*, похоже, и вправду ничего конкретного не знал. Возможно, *интересуясь*, мы недостаточно усердствовали. Но – сам понимаешь: мы не дома.

Леон пожал плечами, промолчал... В данный момент он не смог бы объяснить, почему исчезнувший Винай так часто всплывает в его мыслях. Ведь пресловутая интуиция музыкального импровизатора – не причина?

А главное, меньше всего ему сейчас хотелось приближаться к острову Джум.

– Ну ладно. – Натан повернулся спиной к прекрасному виду и локтями оперся о парапет.

– Не знаю, стоит ли говорить, до какой степени мы тебе благодарны, – пробурчал он. – Ты невероятно нам помог, просто – как дверь открыл, так что мы уже могли сунуться к *нашим друзьям* в Берлине и Лондоне. Не бог весть что, но и там, и тут какие-то свои человечки имеются: глянуть в картотеки, вытянуть старые рапорты двадцатилетней давности, показания обвиняемых или свидетелей на процессах. Ну, и свои силы задействованы, само собой. Сегодня картина несколько прояснилась. Хочешь подробности, кто он – твоя добыча, твой Казах?

Еще бы, мрачно кивнув, подумал Леон. Еще бы мне не хотелось услышать о «нашем дяде Фридрихе».

– Тогда зайдем куда-нибудь, где не так дует. Ты нарочно выбрал самое ветреное место в Париже, не считая Эйфелевой башни? Где здесь, черт возьми, можно сесть и выпить чашку кофе?

– Опять кофе?!

– Цыц, – отозвался Натан беззлобно. – Мне не хватает еще одной Магды на берегах Сены. В Париже я хотел бы вырваться из госпитальных условий.

– Тут рядом есть забегаловка, на углу Сен-Жермен и Кардинала Лемуана. Наверняка уже открыта. Хозяин – симпатичный парень, зовут Амокрэн.

– Араб?

– Бербер.

И пока шли по направлению к ничем не примечательной забегаловке

с напыщенным именем «Ле кардинал Сен-Жермен», Натан с Шаули препирались о происхождении берберов. Натан утверждал, что они потомки «карфагенян и прочих филистимлян и финикийцев, населявших Северную Африку до новой эры», а Шаули комично таращил глаза и спрашивал, действительно ли Натан уверен, что финикийцы и филистимляне – это одно и то же? Похоже, недавно он *брал* очередной курс в Открытом университете – то ли по этнографии, то ли по истории Древнего мира.

Они вошли в кафе и, лавируя меж пустыми по утреннему времени столиками (лишь за двумя в разных концах зала сидели, нахохлившись над первой чашкой кофе, два сизых от недосыпа студента), пробрались в дальний угол, где вдоль всей стены тянулся лиловый бархатный диванчик, а перед ним – ряд одноногих круглых столиков. Здесь можно было выпить чашку кофе, проглотить сэндвич и сидеть часами, не привлекая к себе внимания. В обеденное время тут подавали два-три горячих блюда из самых простых: бифштекс с картошкой, цыпленок, жареная рыба...

– Вот и хорошо, – усаживаясь и разматывая шарф, вздохнул Натан. – Как бы дождь не ливанул, а, Шаули? Сядь-ка вот тут, напротив, Леон. Чтоб я лицо твое видел.

Он расстегнул и снял плащ, аккуратно свернув его на диванчике этакой посылкой. Сдержанно и конспективно, почти невозмутимо заговорил:

– Итак, твой Казах. Фридрих Бонке. Фамилия материнская, хотя родился – в Берлине, в сорок шестом – от советского солдата, действительно казаха по национальности. Учился в Москве – ядерная физика. Уже тогда был завербован Штази и в Москву на учебу направлен, полагаю, для налаживания связей со студентами из стран Азии и Африки – скорее всего, в Штази рассчитывали, что впоследствии это поможет получать информацию о развитии ядерных исследований в этих странах. Кличка «Казах», как ни странно, – семейная, шутливая. Но прижилась везде, главным образом в Штази. Талантливый парень: артист, игрок. Сильный игрок. И задание свое выполнил на двести процентов.

Натан поднял на Леона серые глаза в набрякших мешках тяжелых век. Как обычно: правый изучал твою физиономию, левый *следил за ситуацией*.

– Ты добыл имя дружка его московской молодости: Бахрам. Я ошалел, когда услышал. Знаешь, о ком речь, *ингелэ манс*? Это Бахрам Махдави, тот высокопоставленный офицер КСИРа, заместитель министра обороны, генерала Бороджерди, за которым мы два года охотимся – о чем,

естественно, не вопим на весь мир... В последний раз пытались выкрасть его в Стамбуле, но неудачно. Так вот. В молодости Казах не только свел с ним дружбу, но и женился (твой источник прав) на родной сестре Бахрама Лале. Та родила Казаху сына и умерла молодой от какой-то особо стремительной формы рака – вроде что-то с вилочковой железой, иногда случается у женщин после родов. Сгорела буквально за три месяца. Но с Бахрамом Казах всю жизнь связывали тесные деловые отношения – не говоря уже о мальчике: все же для Бахрама тот – сын покойной сестры, умершей в молодости. Бахрам очень детолюбив, у него у самого четверо сыновей... Мальчик по большей части рос в дядином доме, с двоюродными братьями, так что можно вообразить, как он близок всей этой *мишпухе*... Но Казах... О, это хитроумный Улисс! Вот уж кто танцевал и с левой ноги, и с правой, и во все стороны. В восемьдесят пятом его перевербовали британцы, и до падения Берлинской стены этот шустрый парень процветал в двойных играх, в которых сам черт себе рога бы обломал. Даже в тройных: кое-какие услуги он оказывал и КГБ, дружков молодости у него и там было достаточно. Ну, а «гэбня», от которой традиционно зависели «кадры», что в вюнсдорфской штаб-квартире ГСВГ, что на красногорском урановом руднике, свой интерес знает. И если им для бизнеса нужен немец, то они, конечно, пригласят «своего». Не из шишек, к которым прикован интерес общества, и не из тех «вторых», чьи подписи в политических досье... А вот курировать вопросы «безопасности» по транспортировке какого-нибудь саксонского урана вполне мог и Фридрих Бонке...

– Крученный тип, – заметил Леон.

– Погоди, это лишь начало...

Натан, видимо, мерз. Достал свернутый шарф, вновь накрутил на шею, энергично потер ладони, согреваясь, хотя в кафе было достаточно тепло. И говорил он монотонным мерзлым голосом, так что моментами – особенно когда снаружи ускорила и громче зазвучала жизнь – приходилось напрягать слух.

– Третьим мушкетером был у них, как ты догадываешься, Крушевич. После университета получил распределение в Семипалатинск. Талантливый ученый, безупречная карьера. Стал одним из самых осведомленных лиц в том, что связано с казахстанскими атомными делами: проблемы урановой добычи, хранение атомных боеголовок... Ну, а дальше известно: развал Союза, падение Стены... Тут достаточно вспомнить, что все «плутониевые» скандалы, как правило, связаны с банальными кражами из обнищавших советских НИИ. Там этого плутония в удобных таких свинцовых контейнерах, чтобы ставить «радиоактивные метки»,

было навалом. Через Европу это добро шло транзитом... Но! Исчезновение ГДР, люстрация, прочие *неприятности и неудобства*... В какой-то момент Казах почувал, что из *Дойчланда* надо делать ноги. И тут пригодились англичане, на которых к тому времени он поработал достаточно...

Заспанный и встрепанный парнишка – один из племянников или сыновей хозяина – принес им кофе наконец. И пока он расставлял чашки, Натан тем же ровным будничным тоном сокрушался, что вот зонт забыли в поезде, а это трагедия: где его тут купишь? (*И правда: где ты в Париже отыщешь зонтик?*)

Когда парнишка скрылся за дверью в кухонный отсек, Натан продолжал через запятую после *трагедии с зонтиком*:

– Но в Лондоне Казах всплывает самым надежным – матримониальным – путем. Женится на разведенной жене одного из тех бизнесменов, которые в свое время быстро разобрались с бесхозным добром распавшегося Союза, хапнули и разумно укрылись за стенами британского правосудия. Какая-то Елена, и черт с ней. Впрочем, вполне возможно, эта дама тоже не чужда кое-каким серьезным структурам. Разведясь с бизнесменом, унесла в клюве неплохой особнячок в Ноттинг-Хилле: ничего особенного, но *row house*, три этажа, позади уютный дворик с качелями, все как полагается... Там они и живут по сей день. Казах достаточно умен и осторожен, чтобы не афишировать всего капитала. Молодец, не полез в какой-нибудь загородный замок, во дворец в Белгравии или в Челси... Но – ты следишь за развитием трех линий? Где мы оставили Крушевича? У разворошенного перестройкой ядерного хозяйства? Как раз тогда, когда появились отличные возможности для контрабанды урана и прочего атомного добра. Так вот: нет никаких данных о том, что Андрей Крушевич был связан с КГБ – хотя такая заметная фигура в Семипалатинске... ясно, что за ним аккуратно приглядывали. И все-таки данных нет. Но как раз в эти годы – в начале девяностых – Бахрам Махдави, там, у себя, удачно вписывается в некий политический альянс и всплывает в самых верхах армейской элиты. Он вытаскивает Казаха, создает ему легенду и обеспечивает *делом* – помогает открыть крупную фирму по продаже иранских ковров. Разъезжай себе по миру, открывай филиалы в любом месте – почтенный, международный, изысканный бизнес...

– Классическая подставная фирма, – продолжил Леон тем же тоном, – через которую за все эти годы переправлено и продано оружия на десяток региональных войн...

– Именно. Перечень сделок, провернутых этой святой троицей,

поверь мне, – поэма: срочные поставки оружия, долгосрочные сделки, участие в транснациональных корпорациях, сотни миллионов комиссионных, выплаченных правительствам нескольких стран, секретные счета в небольших *семейных банках* в Цюрихе и в Лозанне... – Он перевел дух, неторопливо допил свой кофе. – Но мы не можем гоняться за всеми на свете подставными фирмами. Нас интересуют *наши ближние* войны и то оружие, что идет в подпол к нашим соседкам – «Хизбалле», ХАМАСу... Нас волнует, что творится за забором. Например: в любой момент Иран может ссудить «Хизбалле» «грязную бомбу» прямо из белых ручек Крушевича через ковровую фирму Казаха...

Натан вздохнул и задумчиво покрутил в руках пустую чашку из-под кофе, разглядывая ее донце, точно собирался гадать на гуще.

– Раньше для бодрости мне довольно было трех чашек в день, – усмехнувшись, заметил он. – Теперь могу заливать в себя литрами, и только спать от него тянет... Так вот: поначалу мушкетеры действовали не слишком удачно: несколько попыток контрабанды радиоактивных веществ провалились – в прессе мелькали невнятные сообщения, и как-то странно и сразу все гасло. Провалилась попытка подкупа казахстанских властей – речь шла о полутора тысячах тонн урана. Может, поэтому в двухтысячном году Крушевич перебрался к нам – видимо, полагал, что у нас то ли уютнее, то ли безопаснее...

– ...Или полезнее, судя по удачной афере с фирмой Иммануэля.

– Да, тут они порезвились у нас под носом в свое удовольствие. Кстати, у тех беспилотников, что «Хизбалла» запускала из Бинт-Джебейль, подозрительно знакомые камеры и система управления... В общем, тут есть чем заняться, что *послушать*; без работы наши ребята не останутся. Но главное, есть все основания думать, – медленно проговорил Натан, тщательно подбирая слова, – что в ближайшие месяцы они готовят поставку серьезной начинки для «грязнули». Вот только откуда они ее доставят в Бейрут, пока неясно. Где тот порт, та укромная гавань, та романтическая бухточка и та мирная яхта какого-нибудь почтенного бизнесмена...

Вдруг он закашлялся и, пытаясь расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки, долго путался пальцами в петельке, пока не расстегнул. Успокоился, высморкался, аккуратно отодвинул от себя пустую чашку.

– Самый темный силуэт в этом деле... как думаешь, кто?

– Сынок, – мгновенно отозвался Леон.

– Верно! – с удовольствием воскликнул Натан. – Соображаешь, *ингелэ манс!* Шаули, он соображает, наш Кенарь, а?! Сын Казаха, он же племянник

Бахрама. Гюнтер – и это, в сущности, все, что пока нам известно. Абсолютная тень, гениальный конспиратор – все в ореоле секретности. Мы даже не знаем, как он выглядит. Вернее, знаем несколько абсолютно разных его описаний, до анекдота: в одном случае – татуировка на правой кисти, в другом – никакой татуировки. Большую часть жизни Гюнтер провел у дяди, вернее, курсируя между дядиным домом в богатом пригороде Тегерана и отцовской семьей – к тому времени Казах женился, и большой теплоты в отношениях мачехи и пасынка не наблюдается. Так что главная фигура в этом пазле – дядя Бахрам. Тут иранские дела, персидская нота... Узор персидского ковра. Парень, конечно, с молодых ногтей посвящен делу. Полагаю, у него есть и имя соответствующее, и паспортов предостаточно. Дядя – это уже ясно – целенаправленно готовил Гюнтера по своему ведомству. Шаули считает... – Натан кивнул: – ...Шаули?

Тот спокойно отозвался:

– Уверен, что Гюнтер и есть тот секретный координатор по связям КСИРа с «Хизбаллой», который нас давно интересует.

Вновь к ним подошел парнишка-официант, осведомился, не нужно ли чего принести. Натан попросил очередную чашку кофе, а Шаули, который всегда и в любое время суток был «не прочь перекусить», заказал сэндвич с тунцом.

– Но тебя все это уже не касается, – решительно заявил Натан, когда отошел официант. – Повторяю: мы тебе очень признательны. А дальше тебе даже задумываться об этом не стоит. И вот что, *ингелэ манс...* – Он положил тяжелую ладонь на столик, ставший от этого еще миниатюрнее, – я хочу, чтобы ты почувствовал себя свободным, наконец. Совершенно свободным. Я дал слово и себе, и Магде, что это дело будет последним, с чем мы к тебе обратились. Ты и так много сделал для нас. Знаю, ты и слышать не захочешь, но... поверь, мы найдем случай отблагодарить тебя как следует. И довольно, и хватит!

Хм. Трогательный и для Натана необычно пылкий монолог. Ария Индийского гостя. Неужто и вправду прощается?.. Неужто и вправду отпустят?.. Даже грустно: куда я дену паспорт Ариадны Арнольдовны фон (!) Шнеллер? А седой паричок? Пойду в нем на прием куда-нибудь – в российское посольство, например?..

Он искоса глянул на Натана: что это – усталость? Сочувствие к замордованному спецслужбами артисту? Или просто рокировка в шахматной партии?

Через минуту выяснилось: рокировка. Поднявшись из-за столика и выяснив у официанта, где туалет, Натан вдруг повернулся к Шаули, который с аппетитом молча доедал свой сэндвич, будто полтора часа назад не слопал на кухне у Леона целых шесть гренок с сыром, и сухо проговорил:

– У меня – всё. Может, у тебя есть к нему какие-то вопросы, Шаули?

И неторопливо, слегка прихрамывая, двинулся к двери с картинкой, изображавшей хлыща в котелке и с тросточкой.

Не успел Леон опешить от этого служебного преображения (какие такие вопросы, черт подери, – после всего, что он им сообщил, да после этого оперного прощания – что за тон, что за два следователя?!), как увидел скромненько выложенную на стол фотографию Айи, крупный план. Она стоит в полупрофиль, что-то там кому-то объясняя, наверняка на какой-то выставке – возможно, и на своей. Слегка растрепанные выющиеся волосы до плеч, каких он у нее не видел. Прямой взгляд, напряженно выуживающий смысл из движения губ собеседника.

Прихватив фотографию, Шаули пересел напротив, на место Натана. Совершенно непроницаемое, совершенно безразличное лицо; то есть плохо дело.

– У меня-то что... вопросов, собственно, немного, – с ленцой проговорил Шаули, дожевывая последний кусок. На Леона глаз не поднимал (плохо! совсем плохо!). Лишь на фото кивнул: – Ты эту девушку, Кенарь... встречал где-нибудь?

– Не помню, – вызывающе холодно ответил тот.

– С твоей-то памятью на лица? Не смейся меня.

– Ну, возможно, какое-то беглое знакомство... из тех, что забываются через минуту.

Шаули перевел на фотографию печальный взгляд. Так смотрел Аврам, когда Владка выступала перед ним с очередной своей идиотской историей.

– Лицо хорошее, – сказал он, помолчав. – Необычное. Нет, через минуту не забудется... – И, подняв на Леона глаза, сумрачно, мягко, сочувственно спросил: – И не забылось, а?

Неторопливо достал из внутреннего кармана плаща другую фотографию, при взгляде на которую Леона захлестнуло бешенство: лицо Айи в тот момент, когда, прощаясь в аэропорту, она бросилась ему на шею.

Ракурс: его затылок, ее голова у него на плече: зажмуренные глаза, крепко сжатые губы, чтобы не заплакать. Две бритых головы. *Прощание двух беспризорников.*

– Красивая девушка, хотя волосы идут ей больше, – так же мягко добавил Шаули. – И жаль, что глухая.

Уже всё знают, уже всё разнюхали. С-суки!.. А на что ты, собственно, надеялся? «Контора веников не вяжет – контора делает гробы».

– Вы следили за мной! – процедил Леон, бледный от ярости.

– Мы просто тебя *проводили*, дурак, – поправил Шаули. – Заботясь о твоей безопасности.

Несколько мгновений они сидели, молча глядя друг другу в глаза. Наконец Леон перевел дыхание и проговорил:

– Отлично. Премного благодарен. А теперь закроем эту тему.

– Вот он, твой источник, который ты так оберегаешь. – Шаули постучал ногтем по фотографии. – И мы просто восхищены – как, где, откуда ты ее добыл? Ведь эта встреча не может быть случайностью, а, Кенарь? На острове? В джунглях? Это же не опера «Аида», а? Насвисти кому другому: внучатая племянница Казаха, племянница Гюнтера, девушка-фотограф... Это ведь ее фотографию ты переслал? И ты, конечно, лучше всех понимаешь, какая за ней бездна информации – только приступись.

Он аккуратно спрятал обе фотографии во внутренний карман плаща. Внятно и тихо добавил:

– Она нам нужна, Кенарь. Время не терпит, а она может знать, хотя бы намеком, откуда выйдет груз для «грязной бомбы» «Хизбалле»...

– Она ничего не знает! – выкрикнул Леон, не обращая внимания на то, что помещение уже заполнялось народом и лучше было бы сейчас отправиться дальше, в кружение по каким-нибудь мостам и бульварам.

Шаули скептически улыбнулся.

Леон даже не заметил, как вернулся из туалета Натан, присел боком на том же диванчике, ссутулился: пожилой человек, старик, мечтающий лишь об одном – прикорнуть в теплом углу.

Добрый следователь, который несколько минут назад так трогательно отпустил его на волю. Навечно... Значит, они требуют от него сущий пустяк: отдать им Айю в разработку, а там уже как дело пойдет... Что и говорить, агент идеальный: уникальная способность читать по губам, тысячи кадров, которые можно из нее вытянуть.

Например, фото Гюнтера. Ну, а если она человек с другой стороны, если настолько предана дяде... тогда – что ж, из нее можно вытянуть сведения другим путем, не так ли? Мы это умеем и не должны тебе объяснять: разведка – дело жестокое.

– *Ингелэ ма-анс*, – певуче проговорил Натан, с состраданием глядя на Леона. – Ты понимаешь, во что влип? Будь это обычный постельный рейд, я бы сказал тебе – молодец, ты неподражаем. Но по тому, как ничтожно мало, как подозрительно мало – для нас! – ты из нее выудил... Из нее, которая жила в доме Казаха, а значит, и Гюнтера видала, и, вполне вероятно, выполняла какие-то их поручения... По тому, как тщательно ты ее прячешь – от нас! – я просто за тебя испугался! Дело даже не в том, что ты подставляешь под удар и себя, и всех нас, и всю предстоящую операцию. Но скажи мне: ты что – влюбился в эту глухую девочку?

Леон с силой втянул носом воздух, прикрыл глаза... и неожиданно улыбнулся – своей *фасадной, сценической* улыбкой:

– Во-первых, я понятия не имею, где она сейчас, – со злорадным торжеством заявил он, мысленно благословляя свою *возмутительно непрофессиональную, музыкальную интуицию*, не пустившую его в аэропорту броситься за Айей в толпу пассажиров. – Даже не знаю, в какой она стране. У меня нет ни телефона ее, ни электронной почты. Мы расстались... К вашему сведению, – добавил он, через столик подавшись к Шаули, – она не вполне нормальна! Она одержима постоянной переменой мест. И никто, даже она сама, не знает, в какой момент ей захочется сорваться и исчезнуть.

– Он взбесился, – тихо обратился Шаули к Натану. – Ты видишь? И он врет самому себе.

– Хорошо, Леон, мы тебе, конечно, верим, – примиряющим тоном сказал Натан и положил руку на приплясывающее колено Шаули. – Значит, придется нам самим как следует ее поискать.

– Какого черта! – вдруг воскликнул Шаули. – Натан, почему ты не говоришь ему главного: за ней ведется настоящая охота. Это чудо, что девушка еще жива! Видимо, у нее чертовская чувствительность к опасности. Вполне вероятно, что ее «внезапная перемена мест» – это просто замечание следов. – Он повернулся к онемевшему Леону. – Что, что ты уставился? Ты хоть знаешь, что на нее уже нападали в Рио, в фавеле, и оставили валяться в грязной канаве? Это было гораздо раньше и,

возможно, не имеет связи с нынешней охотой... А может, имеет – этого нельзя исключить. Нельзя исключить, что Гюнтеру сразу не понравилась новая родственница.

– Откуда?.. – вымолвил Леон, поднимаясь из-за стола с непреодолимым желанием бежать... только куда, куда? чувствуя холодную тошноту и нутряной страх, как в аэропорту Краби, когда не увидел Айю там, где ее оставил. – Откуда... с чего вы взяли?..

Откуда, черт побери, у проклятой конторы на нее нарисовалось целое досье буквально за считанные недели?!!

– Оставь, – устало буркнул Натан. – И сядь, чего ты вскидываешься, как беременная истеричка...

Он дождался, пока Леон опустится на стул, и повернулся к Шаули:

– Не терзай его. Просто объясни, что ее фотографию опознала Михаль Ривлин из аналитического отдела. Она сидит на обработке данных, – пояснил он Леону. – Как глянула, так и ахнула. Даже всплакнула. Девочки болтались вместе месяцев пять по азиатским задворкам, когда Михаль после армии *расслаблялась*. Когда человек все время в пути и все время перебирает лица своим объективом – неудивительно, что ее знают множество самых разных людей в самых разных местах и странах. Так что Михаль кое-что прояснила насчет твоей... *протезе*: ее лечение в госпитале, потом лечение от наркотиков, бесконечные скитания по самым странным маршрутам, какие-то бродяжки укрытия, ночлежки и чуть ли не норы в поле. Она прекратила переписку где-то год назад, и в последнем письме был намек, что она чего-то боится. Если за ней действительно охотятся все это время и она до сих пор жива, то я бы не глядя взял ее к нам в штат. Чуткость, и правда, дьявольская, невероятная! Поистине – профессиональная беглянка: она везде и нигде. Фотографии в *Pinterest* и на *rbase.com* подписывает только *никнеймами*, – тоже толково... Леон! – Натан развел руками: – Неужели ты не понял, что она скрывается уже много месяцев? Ничего не почуял? Не заподозрил? Ты что, *ингелэ манс*, окончательно сбрендил из-за ее красивых глаз?

И опять Леон рывком поднялся, точно собираясь немедленно кинуться прочь, но остался стоять, сосредоточенно рассматривая туфли, слегка раскачиваясь с пятки на носок.

– Зачем? – спросил он. – Почему они ее ищут? Она правда ничего не знает... Она абсолютно чиста, она... она *другой* человек.

– Может, сняла кого-то или что-то, не думая о последствиях, – пожал плечами Натан. – Судя по тому, что у нее уже выкрадывали камеру со всеми дисками...

– ...и значит, ничего не нашли! – отрывисто перебил Леон. Постоял еще мгновение, так же странно покачиваясь, будто выбирая, в какую сторону упасть. И вдруг, не прощаясь, бросился на улицу.

– Куда это он? – растерянно пробормотал Шаули, тоже поднимаясь. Натан удержал его за рукав, потянул обратно.

– Оставь его.

– Что значит – оставь? – вспылил тот. – Мы кто – мальчики, что ссорятся из-за игрушки?

Натан вздохнул, придвинул к себе чашку уже остывшего кофе, высыпал в нее упаковку сахара и принялся размешивать.

– Между прочим, – проговорил он, – я вспомнил: на месте этого кафе когда-то в семидесятых был известный бар «Le Thélème». В феврале семьдесят пятого тут застрелили братьев Земмур, известных гангстеров. Они были алжирские евреи, приехали в Париж еще в пятидесятые и занялись делом: шантаж, вымогательство, грабежи... Четверо братьев, могучие ребята. Их перестреляли, как куропаток, среди бела дня, прямо тут, в кафе, списав всё на счетах с итальянской мафией, на дележ сфер влияния и обычную криминальную грызню. На деле это была операция парижской полиции, так-то. Подумать только, почти сорок лет назад. Мы тогда приехали небольшой группой на одну совместную с французами операцию... Впрочем, неважно, для молодого поколения все это – история Древнего мира. Ты уже *брал* курс по истории Древнего мира? Я помню столько дел, Шаули, мальчик, что мне самому неудобно дальше занимать место...

Он замолчал, вынул ложечку из чашки, аккуратно положил ее рядом с блюдцем.

– Какое место? – подозрительно хмурясь, спросил Шаули. – В конторе?

Натан презрительно фыркнул, отпил из чашки. Не ответил.

– Рано или поздно они ее прикончат, конечно, – сказал он. – Видимо, она что-то видела, знает, сфотографировала... Нет, Шаули, мы не можем сейчас заниматься ее поисками. Мы не можем всюду держать своих людей. А жаль. Очень жаль. Знаешь, я почти весь вечер разглядывал ее снимки в Интернете. Они от всех отличаются, они узнаваемы, в них стиль есть. Девочка чертовски талантлива.

Тут Шаули опять завелся и долго с возмущением говорил о том, что Кенарь давно позволяет себе опасные и необъяснимые *закидоны*, прет на рожон, и сегодняшнее Натаново «отпущение грехов» запоздало годика этак на три-четыре; еще до случая в Праге, когда Леон так опасно, хотя

и виртуозно, конечно, в своем артистическом духе... но совершенно эгоистично, недопустимо и не-про-фессиональ-но, наплевав на группу... солист, мать твою!..

...И бухтел, и бухтел, сведя к переносице мохнатые брови, сминая салфетки, искоса поглядывая за стеклянную стену кафе – не вернется ли Леон, слегка проветрившись.

Наконец, сцепив на столике руки, проговорил чуть ли не умоляюще:

– И скажи ты мне откровенно: вот уж выбрал так выбрал. Она даже не услышит его голоса!

– Мне казалось, ты всегда над его голосом подтрунивал, – спокойно заметил Натан.

Не отозвавшись на это замечание, Шаули упрямо и горько повторил:

– Никогда! Никогда не услышит его голоса...

* * *

Собрался он за десять минут – просто накидал в чемодан, что под руку подвернулось: понятия не имел, сколько времени может занять эта поездка. Достал из тайника в раме оба паспорта, любимый седой паричок, извлек из кладовки за кухней коробку с гримом и еще кое-какими *штуками* для изменения внешности – виртуозные изобретения *визажистов* конторы...

Пока он даже не понимал, в какую точку мира возьмет билет. Отложил обдумывание на дорогу до аэропорта.

Позвонил Исадоре и попросил заглянуть: здесь эта чер-р-ртова птичка, я должен рассказать вам, моя радость, как ее кормить, поскольку...

– Хорошо, месье Леон. Я сейчас отведу внука, а потом непременно к вам зайду. Вы так часто стали уезжать...

Собравшись с духом, позвонил Филиппу: я должен тебе кое-что сказать... Только не волнуйся! Я все возьму, все расходы... Подожди, не кричи! Поверь, именно эта отлучка... она мне смертельно необходима...

– Я от тебя отказываюсь, – орал Филипп, задыхаясь, – я сыт по горло, мне не нужна эта головная боль! Я отнесся к тебе, как к сыну!.. Мое слово!!! Моя репутация!!! Летит к черту важнейший – для твоей же карьеры! – ангажемент в Лондоне! Я прокляну тебя! Ты что, думаешь, это шутка? Так посмейся! И это вытворяет человек, которого *Diena* называет «одним из пяти такого рода голосов в мире»?! Это человек, выступавший в королевских домах Европы, чья запись хранится

в Британском национальном архиве рядом с уникальной записью последнего кастрата двадцатого века Морески?! Это человек, которого снимали для фильма о Фаринелли?! Да ты просто спятил, ты променял профессию черт знает на что...

Леон тихо положил трубку. В ушах еще звенело от бешеных воплей его несчастного агента.

Он прав: я спятил.

В дверь позвонили: Исадора. Милая, услужливая и обязательная Исадора. И так быстро: наверняка торопилась отвести мальчика и вернуться, как обещала. Что бы он делал без нее...

Леон вышел в прихожую и, не глядя в глазок, распахнул дверь.

То была не Исадора.

Интересно, как она проникла в дом – ждала у ворот, чтобы какой-нибудь жилец отпер калитку?

Но эта мысль пришла ему в голову только ночью, когда Айя уже спала на его плече, своим мягким ежиком щекоча ему подбородок, а он все нащупывал и выглаживал беспокойными пальцами шелковую ниточку тонкого шва под ее левой лопаткой, будто на ощупь подбирал особенную мелодию, будто верил, что неутомимыми прикосновениями может разгладить этот шов и навсегда растворить беду в беспомысленности счастья.

А в ту минуту, когда, не глядя, он распахнул дверь, и Айя – в модном плаще цвета морской волны, в воздушных кольцах белого шарфа на плечах, в строгих осенних туфлях на каблучке, с дорожной кожаной сумкой на колесах – встала у него на пороге...

...в ту минуту она была элегантна и чужевата. Она была напряжена. Она была – недоступная рекламная красotka, ибо чуть тронула лицо косметикой: немного пудры, немного туши на ресницах, бледно-лиловая помада на дрожащих губах.

Скользнув ладонью по стильному каштановому ежику на голове, робко спросила:

– Так лучше?

И поскольку он молчал, нерешительно переступила порог квартиры, перекатив за собой сумку, сделав к нему шаг, другой...

– Тихо! – шепотом приказал он, строго на нее глядя. Обойдя ее,

выглянул наружу, затем обстоятельно закрыл за ее спиной обе двери, дотошно проверяя все замки и засовы; наконец повернулся и со стоном, с силой стиснул ее сзади обеими руками.

И она разом откинулась к нему всем телом, обмякла внутри этого неистового кольца и заплакала-запричитала.

Монотонно повторяя шепотом:

– Тихо... тихо... тихо... тихо, – он принялся медленно, подробно, бесконечно перебирать губами ее затылок, шею, волосы, шею, уши, плечи, затылок, продолжая сжимать ее (дохлый удав) – не отпуская, не давая отстраниться, не позволяя расторгнуть с такой силой вымечтанное объятие.

Тут за его плечом кто-то прокашлялся, прочищая горло, будто извиняясь за *маленькое беспокойство*... Пульнул вверх серией коротких свистков, залился длинной звонкой трелью. И – удивительно чисто, безыскусно, сердечно – Желтухин Пятый впервые завел свои «Стаканчики граненые», красуясь мастерством, закидывая клювастую желтую головку, обрывая себя и вновь принимаясь залиvisto щелкать и петь.

...Из-за голубых холмов, из мечтательного далека, из немоты небытия вытягивал и вил еле уловимую «червячную» россыпь: стрекот кузнечика в летний зной.

Начиная с низкого регистра, постепенно, будто в гору поднимаясь, выводил песню на запредельные трели с замирающей сладостью звука; трепещущим горлом припадал к тончайшей тишине. С филигранной точностью вплетал тему в нужное колено; после короткого нежного вздоха выдыхал «кнорру» – полный и круглый, как яблоко, звук, завершая его низкими, нежно-вопросительными свистками. Переходил на «смеющиеся овсянки», с их потешными «хи-хи-хи-хи» да «ха-ха-ха-ха», подстегивал себя увертливой скороговоркой флейты.

И лихо выворачивал на звонкие серебристые бубенцы, а те удалялись и приближались опять, и вновь удалялись: «Дон-дон! Цон-цон!.. Дин-динь!» – колокольцы в морозном воздухе зимнего утра...

Будто старинная почтовая тройка кружила и кружила в поисках тракта и никак не могла на него набрести.

Конец второй книги

Книга третья

Блудный сын

Посвящается Боре

Невероятному, опасному, в чем-то даже героическому путешествию Желтухина Пятого из Парижа в Лондон в дорожной медной клетке предшествовали несколько бурных дней любви, перебранок, допросов, любви, пыток, воплей, рыданий, любви, отчаяния и даже одной драки (после неистовой любви) по адресу рю Обри, четыре.

Драка не драка, но сине-золотой чашкой севрского фарфора (два ангелочка смотрят в зеркальный овал) она в него запустила, и попала, и ссадила скулу.

– Елы-палы... – изумленно разглядывая в зеркале ванной свое лицо, бормотал Леон. – Ты же... Ты мне физиономию расквасила! У меня в среду ланч с продюсером канала *Mezzo*...

А она и сама испугалась, налетела, обхватила его голову, припала щекой к его ободранной щеке.

– Я уеду, – выдохнула в отчаянии. – Ничего не получается!

У нее, у Айи, не получалось главное: вскрыть его, как консервную банку, и извлечь ответы на все категорические вопросы, которые задавала, как умела, – уперев неумолимый взгляд в сердцевину его губ.

В день своего ослепительного явления на пороге его парижской квартиры, едва он разомкнул наконец обруч истосковавшихся рук, она развернулась и ляпнула наотмашь:

– Леон! Ты бандит?

И брови дрожали, взлетали, кружили перед его изумленно поднятыми бровями. Он засмеялся, ответил с прекрасной легкостью:

– Конечно, бандит.

Снова потянулся обнять, но не тут-то было. Эта крошка приехала воевать.

– Бандит, бандит, – твердила горестно, – я все обдумала и поняла, знаю я эти замашки...

– Ты сдурела? – потряхивая ее за плечи, спрашивал он. – Какие еще замашки?

– Ты странный, опасный, на острове чуть меня не убил. У тебя нет ни мобильного, ни электронки, ты не терпишь своих фотографий, кроме

афишной, где ты – как радостный обмылок. У тебя походка, будто ты убил триста человек... – И встрепенувшись, с запоздалым воплем: – Ты затолкал меня в шкаф!!!

Да. В кладовку на балконе он ее действительно затолкал, – когда Исадора явилась наконец за указаниями, чем кормить Желтухина. От растерянности спрятал, не сразу сообразив, как объяснить консьержке мизансцену с полураздетой гостьей в прихожей, верхом на дорожной сумке... Да и в кладовке этой чертовой она отсидела ровно три минуты, пока он судорожно объяснялся с Исадорой: «Спасибо, что не забыли, моя радость, – (пальцы путаются в петлях рубашки, подозрительно выпущенной из брюк), – однако получается, что уже... э-э... никто никуда не едет».

И все же вывалил он на следующее утро Исadore *всю правду!* Ну, положим, не всю; положим, в холл он спустился (в тапках на босу ногу) затем, чтобы отменить ее еженедельную уборку. И когда лишь рот открыл (как в песне блатной: «Ко мне нагрязнула кузина из Одессы»), сама «кузина», в его рубаше на голое тело, едва прикрывавшей... да ни черта не прикрывавшей! – вылетела из квартиры, сверзилась по лестнице, как школьник на переменке, и стояла-перетаптывалась на нижней ступени, требовательно уставясь на обоих. Леон вздохнул, расплылся в улыбке блаженного кретина, развел руками и сказал:

– Исадора... это моя любовь.

И та уважительно и сердечно отозвалась:

– Поздравляю, месье Леон! – словно перед ней стояли не два обезумевших кролика, а почтенный свадебный кортеж.

На второй день они хотя бы оделись, отворили ставни, заправили измученную тахту, сожрали подчистую все, что оставалось в холодильнике, даже полузасохшие маслины, и вопреки всему, что диктовали ему чутье, здравый смысл и *профессия*, Леон позволил Айе (после грандиозного скандала, когда уже заправленная тахта вновь взывала всеми своими пружинами, принимая и принимая неустанный сиамский груз) выйти с ним в продуктовую лавку.

Они шли, шатаясь от слабости и обморочного счастья, в солнечной дымке ранней весны, в путанице узорных теней от ветвей платанов, и даже этот мягкий свет казался слишком ярким после суток любовного заточения в темной комнате с отключенным телефоном. Если бы сейчас некий беспощадный враг вознамерился растащить их в разные стороны,

сил на сопротивление у них было бы не больше, чем у двух гусениц.

Темно-красный фасад кабаре «Точка с запятой», оптика, магазин головных уборов с болванками голов в витрине (одна – с нахлобученной ушанкой, приплывшей сюда из какого-нибудь Воронежа), парикмахерская, аптека, мини-маркет, сплошь обклеенный плакатами о распродажах, brasserie с головастыми газовыми обогревателями над рядами пластиковых столиков, выставленных на тротуар, – все казалось Леону странным, забавным, даже диковатым – короче, абсолютно иным, чем пару дней назад.

Тяжелый пакет с продуктами он нес в одной руке, другой цепко, как ребенка в толпе, держал Айю за руку, и перехватывал, и гладил ладонью ее ладонь, перебирая пальцы и уже тоскуя по *другим, тайным* прикосновениям ее рук, не чая добраться до дома, куда плестись предстояло еще черт знает сколько – минут восемь!

Сейчас он бессильно отметал вопросы, резоны и опасения, что наваливались со всех сторон, каждую минуту предъявляя какой-нибудь новый аргумент (с какой это стати его оставили в покое? Не пасут ли его на всякий случай – как тогда, в аэропорту Краби, – справедливо полагая, что он может вывести их на Айю?).

Ну не мог он без всяких объяснений запереть *прилетевшую птицу* в четырех стенах, поместить в капсулу, наспех слеplенную (как ласточки слюной лепят гнезда) его подозрительной и опасливой любовью.

Ему так хотелось прогулять ее по ночному Парижу, вытащить в ресторан, привести в театр, наглядно показав самый расчудесный спектакль: постепенное преображение артиста с помощью грима, парика и костюма. Хотелось, чтоб и ее пленил уют любимой гримерки: неповторимая, обворожительная смесь спертых запахов пудры, дезодоранта, нагретых ламп, старой пыли и свежих цветов.

Он мечтал закатиться с ней куда-нибудь на целый день – хотя бы и в Парк импрессионистов, с вензелистым золотом его чугунных ворот, с тихим озером и грустным замком, с картинным пазлом его цветников и кружевных партеров, с его матерыми дубами и каштанами, с плюшевыми куколями выстриженных кипарисов. Запастись бутербродами и устроить пикник в псевдояпонской беседке над водоемом, под картавый лягушачий треп, под треск оголтелых сорок, любуясь плавным ходом невозмутимых селезней с их драгоценными, изумрудно-сапфировыми головками...

Но пока Леон не выяснил намерений *друзей из конторы*, разумнее всего было если не смыться из Парижа куда подальше, то, по крайней мере,

отсидеться за дверьми с надежными замками.

Что там говорить о вылазках на природу, если на ничтожно малом отрезке пути между домом и продуктовой лавкой Леон беспрестанно озирался, резко останавливаясь и застревая перед витринами.

Вот тут он и обнаружил, что одетой фигуре Айи чего-то недостает. И понял: фотоаппарата! Его и в сумке не было. Ни «специально обученного рюкзака», ни кофра с камерой, ни этих устрашающих объективов, которые она называла «линзами».

– А где же твой *Canon*? – спросил он.

Она легко ответила:

– Продала. Надо ж было как-то к тебе добраться... Башли твои у меня тю-тю, спёрли.

– Как – сперли? – Леон напрягся.

Она махнула рукой:

– Да так. Один наркуша несчастный. Спер, пока я спала. Я его, конечно, отметелила – потом, когда в себя пришла. Но он уже все спустил до копеечки...

Леон выслушал эту новость с недоумением и подозрением, с внезапной дикой ревностью, ударившей набатом в сердце: какой такой наркуша? как мог *спереть* деньги, когда она спала? в какой ночлежке оказался так вовремя рядом? и насколько же это *рядом?* или не в ночлежке? или не наркуша?

Мельком благодарно отметил: хорошо, что Владка с детства приучила его смиренно выслушивать любой невероятный бред. И спохватился: да, но ведь *эта* особа врать не умеет...

Нет. Не сейчас. Не вспугни ее... Никаких допросов, ни слова, ни намек на подозрительность. Никакого повода к серьезной стычке. Она и так искрит от каждого слова – рот открыть боязно.

Свободной рукой обнял ее за плечи, притянул к себе и сказал:

– Купим другую. – И, поколебавшись: – Чуть позже.

Честно говоря, отсутствие такой весомой приметы, как фотоаппарат, с угрожающими хоботами тяжелых линз-объективов, сильно облегчало их передвижения: перелеты, переезды... исчезновения. Так что Леон не торопился восполнить потерю.

Но скрывать Айю, неуправляемую, издалека заметную, не открывшись перед ней хотя бы в каких-то разумных (и в каких же?) пределах... задача была не из легких. Не мог же он, в самом деле, запирасть ее в кладовке на время своих отлучек!

Он ужом вертелся: понимаешь, детка, не стоит тебе одной выходить из дома, здесь не очень спокойный район, много шляется разной сволоты – сумасшедшие, маньяки, полно каких-то извращенцев. Никогда не знаешь, на кого наткнешься...

Глупости, хмыкала она, – центр Парижа! Вот на острове, там да: один сумасшедший извращенец заманил меня в лес и чуть не задушил. Вот там было о-о-очень страшно!

– Ну хорошо. А если я просто тебя попрошу? Пока без объяснений.

– Знаешь, когда наша бабушка не хотела что-то объяснять, она кричала папе: «Помолчи!» – и он как-то сникал, не хотел старуху огорчать, он же деликатный.

– В отличие от тебя.

– Ага, я совсем не деликатная!

Слава богу, она хотя бы к телефону не подходила. Звонки Джерри Леон игнорировал и однажды просто не открыл ему дверь. Филиппа водил за нос и держал на расстоянии, дважды отклонив приглашение поужинать вместе. Две ближайшие репетиции с Робертом отменил, сославшись на простуду (вздыхал в трубку бесстыжим голосом: «Я ужасно болен, Роберт, ужасно! Перенесем репетицию на... да я сам позвоню, когда приду в себя», – и, похоже, небу следовало упасть на землю, чтобы он *пришел в себя*).

Ну, а дальше, как дальше-то быть? И сколько они смогут так отсиживаться – звери, обложенные опасным счастьем? Не может же она торчать с утра до вечера в квартире, как Желтухин Пятый в клетке, вылетая погулять под присмотром Леона по трем окрестным улочкам. Как объяснишь ей, не раскрываясь, странное сопряжение его светской артистической жизни с привычной, на уровне инстинкта, конспирацией? Какими отмеренными в гомеопатических дозах словами рассказать про *контору*, где целая армия специалистов считает недели и дни до часа икс в неизвестной бухте? Как, наконец, не потревожив и не вспугнув, нащупать бикфордов шнур в тайный мир ее собственных страхов и нескончаемого бегства?

И вновь накатывало: насколько, в сущности, они беззащитны оба – два беспризорника в хищном мире всесветной и разнонаправленной охоты...

– Мы поедем в Бургундию, – объявил Леон, когда они вернулись домой после первой хозяйственной вылазки с чувством, что совершили кругосветное путешествие. – В Бургундию поедем, к Филиппу. Вот отпую спектакль тринадцатого, и... да, и четырнадцатого запись на радио... – Вспомнил и простонал: – О-о-о, еще ведь концерт в Кембридже, да... Но потом! – увлекающим и бодрым тоном: – Потом мы обязательно уедем на пять дней к Филиппу. Там леса, косули-зайцы... камин и Франсуаза. Ты влюбишься в Бургундию!

За туманную кромку этих пяти дней боялся заглядывать, ничего не сообщал.

Он вообще сейчас не мог соображать: все внимание его, все нервы, все несчастные интеллектуальные усилия были направлены на то, чтобы ежесекундно держать круговую оборону против своей возлюбленной: вот уж кто не заботился о подборе слов, кто забрасывал его вопросами, не спуская требовательных глаз с его лица.

– А как ты узнал наш адрес в Алма-Ате?

– Ну-у... Ты же его называла.

– Врешь!

– Да это простейшая задача справочной службы, клещ ты мой ненаглядный!

Как-то выходило, что ни на один ее вопрос он не мог дать правдивого ответа. Как-то получалось, что вся его крученая-верченая, как пороссячий хвост, проклятая жизнь была вплетена в замысловатый ковровый узор не только личных тайн, но и совершенно закрытых сведений и кусков биографий – и своей, и чужих, – на изложение которых, даже просто на намек он права не имел. Его Иерусалим, его отрочество и юность, его солдатская честная и другая, тайная, рискованная, а порой и преступная по меркам закона жизнь, его блаженно растворенный в глотке, гортанно перебирающий связки *запретный* иврит, его любимый *богатый* арабский (который он иногда прогуливал, как пса на поводке, в какой-нибудь парижской мечети или в культурном центре где-нибудь в Рюэе) – весь огромный материк его прошлого был затоплен между ним и Айей, как Атлантида, и больше всего Леон боялся момента, когда, отхлынув естественным отливом, их утоленная телесная жажда оставит на песке следы их незащитно обнаженных жизней – причину и повод задуматься друг над другом.

Пока спасало лишь то, что квартирка на рю Обрио была до краев

заполнена подлинным и насущным сегодняшним днем: его работой, его страстью, его Музыкой, которую – увы! – Айя не могла ни прочувствовать, ни разделить.

С осторожным и несколько отчужденным интересом она просматривала на «Ютьюбе» отрывки из оперных спектаклей с участием Леона. Выбеленные гримом персонажи в тогах, кафтанах, современных костюмах или мундирах разных армий и эпох (загадочный выплеск режиссерского замысла) неестественно широко разевали рты и подолгу так застревали в кадре, с идиотским изумлением в округленных губах. Их чулки с подвязками, ботфорты и бальные тапочки, пышные парики и разнообразные головные уборы, от широкополых шляп и цилиндров до военных касок и тропических шлемов, своей неестественной натужностью просто приводили в оторопь нормального человека. Айя вскрикивала и хохотала, когда Леон появлялся в женской роли, в костюме эпохи барокко: загримированный, в пудренном парике, с кокетливой черной мушкой на щеке, в платье с фижмами и декольте, обнажавшем слишком рельефные для женского образа плечи («Ты что, лифчик надевал для этого костюма?» «Ну-у... пришлось, да». «Ватой набивал?» «Зачем, для этого есть специальные приспособления». «Ха! Бред какой-то!» «Не бред, а театр! А твои “рассказы” – они что, не театр?»).

Она старательно пролиستала пачку афиш, висящих за дверью в спальне, – по ним можно было изучать географию его передвижений в последние годы; склонив голову к плечу, тихо трогала клавиши «стейнвея»; заставила Леона что-то пропеть, напряженно следя за артикуляцией губ, то и дело вскакивая и припадая ухом к его груди, будто стетоскоп прикладывала. Задумчиво попросила:

– А теперь – «Стаканчики граненые»...

И когда он умолк и обнял ее, покачивая и не отпуская, долго молчала. Наконец спокойно проговорила:

– Только если всегда сидеть у тебя на спине. Вот если бы ты басом пел, тогда есть шанс услышать... как бы издалека, очень издалека... Я еще в наушниках попробую, потом, ладно?

А что – потом? И – когда, собственно?

Она и сама оказалась отменным конспиратором: ни слова о главном. Как он ни заводил осторожных разговоров о ее лондонской жизни (подступался исподволь, в образе ревнивого любовника, и видит бог, не слишком притворялся), всегда замыкалась, сводила к пустякам, к каким-нибудь забавным случаям, к историям, произошедшим с нею самой или с ее безалаберными друзьями: «Представляешь, и этот детина,

размахивая пистолетом, рывкает: живо ложись на землю и гони *мани*! А Фил стоит как дурак с гамбургером в руках, трясется, но жалко же бросить, только что купил горячий, жрать охота! Тогда он говорит: “А вы не могли бы поддержать мой ужин, пока я достану портмоне?” И что ты думаешь? Громила осторожно берет у него пакет и терпеливо ждет, пока Фил рыщет по карманам в поисках кошелька. А напоследок оставляет ему пару фунтов на проезд! Фил всё потом изумлялся – какой гуманный попался гангстер, прямо не бандит, а благотворитель: и от гамбургера ни разу не отхарчил, и дорогу до дому профинансировал...»

Леон даже засомневался: может, в *конторе* ошиблись – вряд ли она бы выжила, если б кто-то из *профессионалов* поставил перед собой цель ее уничтожить.

Но что правда, то правда: была она чертовски чувствительна; мгновенно реагировала на любое изменение темы и ситуации. Про себя он восхищался: как это у нее получается? Ведь ни интонации не слышит, ни высоты и силы голоса. Неужели только ритм движения губ, только смена выражений в лице, только жесты дают ей столь подробную и глубокую психологическую картину момента? Тогда это просто детектор лжи какой-то, а не женщина!

– У тебя меняется осанка, – заметила она в один из этих дней, – пластика тела меняется, когда звонит телефон. Ты подбираешься к нему, будто выстрела ждешь. А в окно смотришь из-за занавеси. Почему? Тебе угрожают?

– Именно, – отозвался он с глуповатым смешком. – Мне угрожают еще одним благотворительным концертом...

Он шутил, отбрехивался, гонялся за ней по комнате, чтобы схватить, скрутить, обцеловать...

Два раза решился на безумие – выводил ее погулять в Люксембургский сад, и был натянут как тетива, и всю дорогу молчал – и Айя молчала, будто чувствовала его напряжение. Приятная вышла прогулочка...

День ото дня между ними вырастала стена, которую строили оба; с каждым осторожным словом, с каждым уклончивым взглядом эта стена становилась все выше и рано или поздно просто заслонила бы их друг от друга.

* * *

Через неделю, вернувшись после концерта – с цветами и сладостями

из полуночного курдского магазина на рю де ля Рокетт, – Леон обнаружил, что Айя исчезла. Дом был пуст и бездыханен – уж Леонов-то гениальный слух мгновенно прощупывал до последней пылинки любое помещение.

Несколько мгновений он стоял в прихожей, не раздеваясь, еще не веря, еще надеясь (пулеметная лента мыслей, и ни одной толковой, и все тот же ноющий в «поддыхе» ужас, будто ребенка в толпе потерял; мало – потерял, так его, этого ребенка, и не докричишься – не услышит).

Он заметался по квартире – с букетом и коробкой в руках. Первым делом, вопреки здравому смыслу и собственному слуху, заглянул под тахту, как в детстве, дурацки надеясь на шутку – вдруг она там спряталась-замерла, чтобы его напугать. Затем обыскал все видимые поверхности на предмет оставленной записки.

Распахнул дверцы кладовки на балконе, дважды возвращался в ванную, машинально заглядывая в душевую кабину – словно Айя могла вдруг материализоваться там из воздуха. Наконец, бросив на стиральной машине букет и коробку с булочками (просто чтобы дать свободу рукам, готовым смять, ударить, отшвырнуть, скрутить и убить любого, кто окажется на пути), выскочил на улицу как был – в смокинге, в бабочке, в накинутом, но не застегнутом плаще. Презирая себя, умирая от отчаяния, беззвучно повторяя себе, что у него наверняка уже и голос пропал *на нервной почке* («и черт с ним, и поздравляю – недолго музыка играла, недолго фраер танцевал!»), минут сорок он болтался по округе, отлично сознавая, что все эти жалкие метания бессмысленны и нелепы.

На улицах и в переулках квартала Марэ уже пробудилась и заворочалась еженощная богемная жизнь: мигали лампочки над входом в бары и пабы, из открытых дверей выпархивали струйки блюза или утробная икота рока, за углом по чьей-то пухлой кожаной спине молотили кулачки и, хихикая и всхлипывая, изнутри этого кентавра кто-то выкрикивал ругательства...

Леон заглядывал во все подвернувшиеся заведения, спускался в полуподвалы, обшаривал взглядом столы, ощупывал фигуры-спины-профили на высоких табуретах у стоек баров, топтался у дверей в дамские комнаты в ожидании – не выйдет ли она. И очень зримо представлял ее под руку с кем-нибудь из этих... из вот таких...

В конце концов вернулся домой в надежде, что она слегка заблудилась, но рано или поздно... И вновь угодил в убийственную тишину со спящим «стейнвеем».

На кухне он выхлестал одну за другой три чашки холодной воды, не думая, что это вредно для горла, тут же над раковиной ополоснул

вспотевшие лицо и шею, заплескав отвороты смокинга, приказал себе уняться, переодеться и... думать, наконец. Легко сказать! Итак: в прихожей не оказалось ни плаща ее, ни туфель. Но чемодан-то в углу спальни, он...

Да что ей чемодан, что ей чемодан, что ей все на свете чемоданы!!! – это вслух, заполошным воплем... А может, она ускользнула, почуяв опасность? Может, в его отсутствие сюда явился какой-нибудь Джерри (по какому праву Натан приволок этого типа, подарив полную свободу появлений в моей частной жизни, – черт побери, как я их всех ненавижу! бедная моя, бедная гонимая девочка!).

...Вернулась она в четверть второго.

Леон уже разработал стратегию поиска, стал собран, холоден, знал, где и через кого раздобудет оружие, и был полностью готов к любому сценарию отношений с *конторой*: шантажировать их, торговаться с ними, угрожать. Если понадобится, идти до последней черты. Ждал трех часов ночи, чтобы первым делом нагрянуть к Джерри – *правильным образом...*

И вот тогда в замке простодушно и обыденно крякнул ключ, и вошла Айя – оживленная, в распахнутом плаще, с букетом пунцовых хризантем («от нашего стола – вашему столу»). Ее щеки, надраенные ветерком, тоже нежно-пунцовые, так чудно отзывались и хризантемам, и полуразвязанному белому шарфику на белой шее, а широкий разлет бровей так победно реял над ее *фаумскими* глазами и высокими скулами...

Леон призвал все силы, всю свою выдержку, чтобы спокойно снять с нее плащ – руками, подрагивающими от бешенства; сдержанно коснулся губами леденцовых от холода губ и не сразу, а целых полминуты спустя спросил, улыбаясь:

– Где ты была?

– Гуляла. – И дальше охотно, с шутливым удовольствием: представь, облазила все вокруг и обнаружила, что года четыре назад меня сюда приводили в студию к одному фотографу. Может, ты с ним знаком? Он работает в таком размывающем стиле типа «романтизм», загадочный полет в рапиде. Мне-то лично никогда не нравились эти трюки, но есть любители подобного застарелого дерьма...

– Ты, верно, забыла, что я просил без меня не... – всё еще улыбаясь, оборвал он.

И она, тоже улыбаясь в ответ:

– Может, стоит на меня уж и колодки надеть?

После чего оба заорали, спущенные с поводков, сблизив разъяренные

лица, будто собираясь сшибиться лбами.

Он орал как резаный, чуть не впервые в жизни (вот где дремал до поры до времени *повышенный звуковой фон Дома Этингера*: в потайном ядре его страхов, выпущенных на свободу), наслаждался: можно выораться всласть, стены бывшей конюшни вынесут пронзительную сирену разъяренного контратенора, а эта *глухомань* все равно ни черта не услышит; можно выорать весь минувший страх за нее, бешенство и ненависть (да, да, ненависть!!! – как он мог, безумец, окончательно спятивший на *этой помойной оторве*, представить себе, что *контора*... да нет, его друзья, его соратники! – могут переступить с ним черту, которую!!!!..)

Айя выпевала, оплетая собственное лицо плеском обезумевших ладоней:

– Я-а-а уе-е-еду-у-у!!! Я-а не в тюрьме-е-е! Не в тюрьме-е-е!!!

Он тихо произнес, четко выговаривая:

– Ни пуха, ни праха!

Ушел в спальню, хлопнул дверью, рухнул на тахту лицом вниз.

Через пять минут, отгрохотавших в его висках, она вошла на цыпочках, легла рядом и стала тихо гладить его плечи несусветными своими руками – гладить, перебирать, танцевать и вышивать пальцами. Прокралась ладонями под свитер, переплела руки у него на животе, вжалась грудью в его спину, сказала хрипло, гундосо:

– Не прогоняй меня...

Он взвыл, перевернулся, взвился над нею...

...и так далее...

Но не эта очередная – исступленная, упоительная, горькая, сладкая – ссора оказалась переломной в их первых мучительных днях.

Перелом наступил чуть позже, под утро.

Впоследствии, вспоминая эти минуты, он мысленно произносил: «Хамсин сломался» – как говорят обычно в Иерусалиме, когда вся тяжесть пустынного ветра с мутной взвесью песка, с его трехдневным мороком и тоской, с его удушьем в вязком плотном воздухе внезапно дрогнет; прогнетса и освободит стрелу невидимая тетива, неизвестно откуда потянет налетевшим ветерком. Провеется воздух, становясь все прозрачнее и свежее – и вдруг рассеется обморок и тлен, как не было их, и певуче округлятся застывшие гребни волн Иудейской пустыни, а фиолетовый шелк туго обтянет далекие призывные груди Иорданских

гор.

Она уже засыпала, и он почти заснул, и другой бы не услышал, что там она бормочет на выдохе, но он своим тончайшим слухом уловил и эти несколько слов:

– Гюнтер тоже... – бормотнула она, – те же уловки...

Леон открыл глаза: будто ткнули кулаком под ребро; перестал дышать... Тихо обнял ее, чтобы и во сне она его *услышала*, легко и внятно шепнул:

– Кто это – Гюнтер? Твой бывший *хахаль*?

Она открыла глаза, два-три мгновения испуганно глядела в потолок... вновь опустила веки и – в полусне, жалобно:

– Нет, Фридриха сын... *Нох айн казахе...*

И уже до утра Леон не заснул ни на минуту. Встал, оделся, долго сидел в кухне, не зажигая лампы, то и дело вскакивая и высматривая в окно предрассветную, погруженную в сонный обморок улочку, монастырскую стену напротив, желтую в свете навесных фонарей.

Вошел и постоял в гостиной. Свет уличного фонаря лепил на крышке «стейнвея» рельефы двух серебряных рамок с фотографиями: юная Эська с бессмертным кенарем и послетифозная, в рыжем «парике парубка» Леонор Эсперанса. Глубокий и тайный колодезь, что-то запретное, смутное, нежное (он говорил себе: *политональное*) между двумя этими давно минувшими лицами – бездна, из которой извлечены были его имя и образ.

Он повторял себе, что дольше так тянуться не может, что бездействие и обоюдное их молчание смертельно опасны, что время не ждет: их непременно выследят, если не мясники Гюнтера, то уж за милую душу – *острые следы конторы*.

И неужели, жестко спросил он себя, неужели дела *конторы* ближе тебе и дороже, чем твоя – наконец-то встреченная – твоя, твоя женщина?!

Нет, моя жизнь не станет вашей мишенью. Никаких уступок! И Айю вы не получите!

И уже знал, что способен на все: сопротивляться, пружинить и ускользать. Если понадобится – лгать и шантажировать. Если придется – убивать...

Утром был готов к разговору.

Долго стоял под душем, запрокинув лицо, будто вспоминая, для чего вообще сюда забрался. Тщательно, не торопясь, побрился, натянул тонкий

черный пуловер и черные джинсы – любимый рабочий прикид, в котором обычно репетировал (хотя знал, что ждет его отнюдь не репетиция, а один из решающих в жизни *выходов*). Глянул в зеркало и отшатнулся: лицо какое-то костяное, диковатые гиблые глаза... Мда: герой-любовник, иначе не скажешь.

Айя все спала. И пока готовил ей завтрак, Леон напряженно размышлял только над тем, как проведет их двухвесельную лодочку в фарватере опасной беседы, с чего начнет этот немыслимый разговор, что *сможет* рассказать, а что *должен* скрыть. О чем будет ее умолять, какую отсрочку выпрашивать.

Он готовился к разговору. И все же – *как это отныне всегда между ними будет* – опоздал.

Она вышла из спальни – тоже полностью одетая. Так стеснительная гостя для любого прошмыга по коридору облачается чуть ли не в парадный костюм, включая перчатки и шляпу.

Он поднял голову и опешил. И она растерялась, увидев его одетым, выбритым, напряженным: оба вышли друг к другу, как переговорщики в судьбоносном процессе между двумя государствами.

– Ты... что это? – озадаченно спросил он. – Куда собралась?

– А ты куда? – в ответ спросила она. И стояли оба, как тогда, на острове – чужие, но одного роста, незнакомые, но с одинаковым выражением в глазах; настороженно оглядывали друг друга – два беспризорника в опасном и враждебном мире.

И разом она побелела, будто в эту минуту узнала и решительно приняла какую-то безысходную весть.

– Присядь, – сказала. – Леон, я тебе... несколько слов. Не могу больше...

Молча сели друг против друга за столик величиной с поднос в столовке Одесского судоремонтного. И Айя заговорила, запинаясь, умолкая, выпаливая по два-три слова, не помогая себе, как обычно, руками-певуньями, а пряча их на коленях, заталкивая между колен и под столом ломая, выкручивая пальцы, заставляя их молчать.

– Я поняла, что должна уехать, – сегодня, сейчас... Подожди, дай сказать, а то... а то я заплачу раньше времени, я же плакса. Родной мой... видишь, как все у нас получается... Молчи! – вскрикнула высоко, болезненно, будто палец прищемила. Неожиданно для себя заговорила быстро, сосредоточенно, задыхаясь и торопясь: – Вот я уже как бабушка моя... Но я просто не имею права подставлять тебя, это подло. Погостила

у тебя, отдохнула, измучила тебя совсем... Спасибо тебе! А дальше буду сама, пока получается, а не то... тебя убьют вместе со мной.

Она прерывисто вздохнула, не сводя с его лица страдальческих, недоуменных глаз.

– Но не только это... Вот ты, мой хороший. Я ничего про тебя не знаю, не понимаю, я совсем в тебе запуталась, только подозреваю во всем, потому что научена, затравлена, однажды уже убита. И потому, что видала их, *таких, как ты*. Ты что-то прячешь в своей жизни, надежно, тщательно прячешь. Может, и не свои секреты, скорее всего, не свои, иначе ты бы так не упорствовал, не ускользал от меня, не запирал решетки-двери и замки не навешивал. Не знаю, как это называется, – ну, подскажи, помоги мне – *шпионаж*? Ох, прости, благороднее: *разведка*, да? Хорошо, не важно. Просто я сыта по горло *такими людьми*. Ты похож на одного типа – повадка, привычки, скрытность: туда не иди, телефон не бери, убью, если рот откроешь. *Нох айн казахе...* И неважно, что ты еще и Голос. Я говорю о сути, о повадке: человек может быть кем угодно – ученым, бизнесменом, художником, певцом. Но приходит минута, когда он... когда *такие люди, как ты и он*, мягко ступают и сдавливают другому горло. Молчи, ради бога, молчи!.. Невыносимо, если ты опять начнешь изворачиваться!

По ее лицу уже катились слезы, свободно и обильно, и она их не отирала, будто слезы эти не имели к ней и к тому, что она говорит, ни малейшего отношения. Так в доме продолжается обыденная жизнь, когда снаружи по стеклу бегут и бегут струи дождя.

– Или не горло, а что там? Глаза выдавить? Нож всадить? Наверное, это нужно кому-то – ну, там, странам, народам, правительствам, очередному богу... Видишь, я даже не спрашиваю подробностей, не до того мне. Я давно убегаю и убегаю, иначе меня убьют...

Она опять выдохнула с мучительной натугой, горько усмехнулась и покачала головой, рассеянно проводя ладонью по лбу, стирая детское удивление в бровях:

– Все время думаю, какого лешего я сюда приволоклась – за тыщи километров, в то же логово – ну, может, наизнанку, – но с теми же правилами игры? Пока летела, все допрашивала себя: зачем, зачем ты это делаешь, дура? Глупой бабочкой – к тебе.

И сосредоточенно хмурясь, будто пытаясь дознаться – у него, у самой себя:

– Как меня угораздило тебя полюбить? Не влюбиться; мне втюриться в живописную рожу – плюнуть раз. А вот нет же: так нестерпимо полюбить – как нарыв в сердце, и невозможно жить, когда отнимаешь

руку... Пстой, не перебивай, не путай меня, и так кавардак в башке. По порядку: не хочу притаскивать к тебе свою смерть, не хочу тебя подставлять. У тебя наверняка *свои дела в этом бизнесе* – тоже какие-нибудь контракты, фрахтовые ведомости, грузовые перевозки. Вся эта тайная возня, связанная с очередной дерьмовой бомбой? Или с чем-то вроде? Какие-нибудь многоходовки оружейных концернов, поставки чего-то там, только в другие регионы? Я ошибаюсь? Ну, в общем: чтобы люди друг друга взрывали, стреляли, выжигали... и на всякий случай убить того, кто случайно сунул нос в эту вонючую кучу. Но ты еще и поешь! Поешь прекрасным женским голосом – наверняка убийственно прекрасным, если столько людей им восхищаются. Жаль, не могу услышать. Поешь, как сирена, – так, что забывается боль? Как ангел смерти ты поешь, да, Леон? А я...

Он вскочил и отшвырнул стул...

Бросился – в книгах читал, на сцене видел, сам проделывал – в ролях! – но не подозревал, что такое может случиться с ним *наяву*, и не представлял, что в жизни это выглядит так нелепо, не грациозно, унижительно – *бросился к ногам*: то есть рухнул на пол и вцепился в ее колени, сильно сжал их обеими ладонями, щекой прижался, зажмурил глаза.

Сердце бухало в ее колени, как пенный прибор.

– Нет, нет, – отрывисто и глухо бормотал он, – нет, Айя, не получится от меня убежать. Посмотри на меня! – Вскинул голову, взял ее лицо в ладони: – Я тебе сейчас не все могу сказать. Сейчас. Да тебе и не нужны подробности. Ты права: проклятые игры... Но я тебя убивать не да-ам!.. Я этого не!!!.. Я потому и согласился, потому и преследую их... Слушай меня! Ты мне веришь? Не веришь. Хорошо, не верь. Не верь мне! Только никуда от меня ни на шаг. Ни на шаг! Это – единственное, о чем прошу. Обещай мне!

Она молча смотрела на него жадно-подробным взглядом, словно по жилочкам перебирала все его лицо, как снимок форматировала, отбрасывая несущественное, вытягивая выразительные черты, усиливая светом рельеф.

– Ты вот сказала: я убил триста человек. Нет уж, теперь ты помолчи! Помолчи, потому что ты... права, да. Ну, не триста, но... я понимаю тебя... Когда ты спросила меня: *Леон-ты-бандит*, у меня все внутри обвалилось. Потому что я... да, я убивал людей. У меня была такая жизнь, я был солдатом, понимаешь? Не могу всего рассказать, но – хорошим солдатом,

а потом – хорошим охотником и сторожевым псом, и ищейкой, и волкодавом... да просто волчарой! Слишком много людей надо было спасти, при этом – именно – убивая других. Есть такой библейский закон – убить убийцу. Убить его прежде, чем он успеет отнять чью-то жизнь. Так убивают скорпионов, ядовитых змей, заползших в дом. Так жизнь моя сложилась, понимаешь, такое непростое место, где я вырос. Послушай, любовь моя, это долго рассказывать. И дальше мне нет ходу, не имею права: «кирпич»! Настанет время, и ты будешь знать обо мне все, все!.. да ты и сейчас все знаешь – поджилками, поддыхом, сердцем, грудками своими, – иначе не приехала бы, ты же такой человек... от-вра-ти-тельно трудный! Но ты со своей вреднучей дотошностью – ты уймись пока, а? Пока только пойми, что всё наоборот: я с теми, кто охотится за этими вот торговцами смертью, за спекулянтами тел, разорванных на куски... Правда, для нас с тобой сегодня все еще сложнее, еще зловещее, и я не могу пока объяснить тебе – почему. Когда-нибудь – надеюсь, скоро – я все тебе расскажу. Пока только прошу: не думай обо мне *так* – не запускай свою мысль в этот ужасный штопор. Пока просто: ни шагу! никуда! от меня... чтобы мы оба остались живы. Я понятно объяснил?

Она молча кивнула, хотя все, что он бормотал, ловя ее руки, вытаскивая их из ее намертво сведенных колен, прижимая ее ладони к своему лицу и не пытаясь ни поцеловать ее, ни обнять, – все было дико и необъяснимо. Но ей не слова были нужны, а вот это его измученное лицо, смятое болью, – как там, в аэропорту, когда она ничего не могла понять, и все было наперекосяк: настоящее его лицо за мутными словами-заслонками.

Он вскочил, подхватил с пола и твердо поставил стул, придвинул к ней тарелку, вывалил из сковороды горку остывшей яичницы.

– Ешь вот, я приготовил. Ну все, все, больше ни слова, ешь! – Оседлал стул, уставился, будто лично хотел проследить, как она станет глотать и жевать. – Постой, я посолить забыл! – схватив солонку, нервно принялся взбивать ею воздух над тарелкой.

Господи, какое облегчение...

– Ты пересолишь! – крикнула она, хватая его руку.

И оба вскочили и над этой неудачной, этой прекрасной яичницей судорожно обнялись, что-то бурно и бестолково продолжая договаривать, перебивая друг друга, хватая друг друга за руки, за плечи, торопясь объяснить, что... невозможно, понимаешь... я не все волен тебе...

– А я тебе – все, все расскажу сейчас до капельки и навсегда!

– погоди, не части, дослушай... Ты только знай, что если запрусь,

то это – не мое. А то мое, что и твое, это... Айя, пойми, у меня же, кроме тебя...

– ...нет, я тебе только хотела сказать...

– ...это я тебе хотел сказать, моя любимая!

И все было почти как там, на острове, когда она произнесла: «Желтухин», а он сказал: «Дядя Коля Каблуков», – и весь мир извергнулся салютом двух жизней; только там этот захлеб был скорее изумлением, небывалой встречей, увлекательным сюжетом, вроде «Сколько-то там тысяч лье под водой», не то что сейчас, когда каждая клеточка проросла острым ростком обоюдной боли, и опасно тронуть...

...и залечить все можно только прикосновением губ, только осторожным пунктиром диковато-пугливых поцелуев-вопросов, и отчаянных, решительных поцелуев-ответов, и поцелуев-оборванных монологов, и поцелуев-догадок, поцелуев-окликов, поцелуев-признания, и наконец, поцелуев-молчания...

Долгого, долгого молчания... давно опустевшей кухни.

Через час Леон – собранный, пружинистый, коротко задающий вопросы – по мнению Айи, нелепые или очевидные, – уже видел всю кошмарную картину последних месяцев ее жизни.

Все просто, понимаешь, торопливо, с облегчением, с огромным увлечением, даже страстно объясняла она, вскакивая, мотаясь по комнате и *договаривая* детали вновь отпущенными на волю руками. Надо просто четко следовать правилам.

– Каким правилам?

– Как, ты не знаешь? Вот смотри: никогда не садись в первое такси – только во второе, а лучше в третье. Никогда не лови попуток. Все время меняй места ночлега, еще лучше – все время будь в дороге, в толпе, в автобусе, в поезде, среди людей... Выходи почаще из автобуса, пересеживайся, возвращайся... Хорошо, когда магазины большие и насквозь – с несколькими входами: можно выскользнуть. В кармане куртки или в рюкзаке всегда иметь два головных убора – красный берет и... и какую-нибудь серую косынку. Зашла в туалет, нацепила берет, черные очки и... Вообще, это забавно, какое-то время мне даже... ну, не то чтобы нравилось, а как-то... держало в тонусе: неожиданно менять планы, даже если никому о них не говоришь. Тебя приглашают на выставку в Суррей, ты пишешь: «Спасибо, непременно буду», садишься в поезд и едешь в... Ричмонд – просто так, погулять; только не оставаться на месте, всегда выбирать третий путь. Необъяснимость действий, спонтанность решений –

то, что *они* не могут просчитать. Если посылаешь папе эсэмэску – сразу вырубай мобилу и уезжай... Еще полезно сим-карты менять. Порвать все связи, не отвечать на звонки, на мэйлы... Я даже с Михаль прекратила переписку, а я знаешь, как люблю Михаль!

Она задумывалась и затихала, вспоминая, и он не торопил ее. Спыхватывалась и чуть ли не хвастливо перечисляла еще какие-нибудь свои бог знает откуда почерпнутые *методы ускользания*:

– А, вот еще, забыла: у меня есть водительские права на имя Камиллы Робинсон, украла у девчонки в студенческом хостеле, до сих пор стыдно, но по ним можно кое-где передвигаться. Жаль, в самолет с ними не пролезешь... Но в какой-нибудь пансион, в какую-нибудь ночлежку – плюнуть раз... А вообще, всегда полезно напроситься к дальним знакомым из другой жизни. И в совсем чужом или подозрительном месте надо обязательно делать «куклу». Понимаешь?

– Нет.

– Ну-у... Просто не ложись в ту постель, что для тебя приготовлена. Кладешь туда рюкзак, шмотки, полотенца... Художественно камуфлируешь, как бы человек с головой укрылся.

– А сама...

– А сама – как получится. Однажды всю ночь просидела на подоконнике за занавеской. Но он был довольно широким, подоконник.

– Послушай, мое сокровище. Откуда ты всего этого набралась?

Она недоверчиво смотрела на него, высоко подняв свои полетные брови, искренне удивляясь:

– Да ты что! Я, когда поняла, что меня ждет, – после той встречи с Большой Бертой, – скачала из Интернета все шпионские романы и выучила все правила, как уходить от погони. Я тебе отбарабаню все методы слежки за объектом: правильная *наружка* – это всегда бригадой. Иногда преследователи идут «гуськом» – обгоняя объект, как бы передают его друг другу; или по обеим сторонам улицы идут... А есть еще метод «коробка» – когда «закрывают» все входы и выходы в здании. А есть «провокация» – это когда объекту демонстрируют агрессивную слежку. Короче, в романах все есть, на любой случай: писатели ведь тоже консультируются со специалистами, это же ясно.

Это ясно. Это просто сойти с ума – вот так-то, ночью, на подоконнике за занавеской. Да, крепкий орешек твоя драгоценная глухая приبلуда...

Сейчас он понимал, почему она не побоялась причалить к нему

на острове – к нему, незнакомцу, *нох айн казахе...* «Стаканчики граненые» – вот был пароль. Он, Леон, был «своим», из детства явился, из отцова гнезда – посланец Желтухина. И потому так доверчиво подошла и заговорила по-русски, домашним языком, с домашними интонациями, будто к отцу обращалась. И ела из его рук, и так бурно, так много говорила, что даже показалась болтушкой...

А теперь представь, что она пережила там, в лесу, когда ты завел ее в чащу и сдавил ей горло. Какие мысли мелькнули в ее голове? Господи, затоптать бы это подлое воспоминание...

А она все тормозила его и требовала, чтобы он еще, еще спрашивал, готова была рассказывать, объяснять, уточнять подробности, описывать приметы внешности, характерные жесты, повадки, походки, словно дождалась наконец той минуты, когда ее природная наблюдательность, ее острый глаз и незаурядное умение сопоставлять обрывки случайно «увиденных» слов, обобщая, вытягивая общий смысл, окажутся не то что востребованными, а жизненно необходимыми – для Леона, для нее самой, для их будущего. Впервые за эти месяцы разомкнулся железный ошейник, защелкнутый у нее на загривке; впервые она чувствовала себя защищенной; чувствовала, что не одна. Бросалась к Леону, обеими руками энергично и азартно трясла за плечи:

– Ну, спроси еще, спроси, что хочешь!

Он же, наоборот, пытался ее расслабить, успокоить, чтобы затем неожиданным вопросом-крючком выдернуть из памяти то, о чем она, возможно, забыла упомянуть, или подсознательно боялась тревожить, или считала неинтересным.

Леон уже не был уверен, что *Гюнтер* добивался ее смерти. Припугнуть, чтобы не повадно было лезть куда не просят, это – возможно...

Он уже знал весь маршрут ее передвижений, все места, где она нанималась подработать, все ее контакты, всех знакомых, приятелей, обидчиков и врагов. С каменным лицом, со сжатыми челюстями выслушал историю убийства в *Рио* (как она это называла) – не настаивал, сама захотела все рассказать, и видно было: столько раз описывала, проговаривала это себе самой, столько прокручивала, выжимая трагедию досуха, что вслух получался протокольный перечень ужасных минут: сорвали фотоаппарат, поволокли, и когда она лягнула в мошонку того, огромного, жирного, другой – мозгляк, усики ниточкой – ударил сзади по голове. И больше ничего – до всплывшего медленной мутной луной

плафона дневного света в палате, после трех дней черной комы.

В конце концов она с облегчением повалилась на тахту, выдохнула с протяжным стоном и потянулась, закинув руки за голову. Устала, вывалила все до доньшка, не оставив за душой ни крошки, ни запятой, ни единой заначки в прошлом. Даже про старого балбеса Рауля рассказала, не забыв татуировку его – коптский крест. Расписала сердобольную Луизку с ее ароматическими свечами, «девочками» и всепрощающим Буддой в уголке двора. Юрчу-ворюгу изобразила, с идиотскими его деревянными мертвецами... Ей было легко, спокойно, даже весело; от бури вываленных слов, от прерывистого дыхания, от порывистой жестикуляции слегка звенело в голове, и хотелось разом перечеркнуть несколько лет своей жизни, все напрочь забыть – и ни капельки не жалко! Вот бы такую таблетку изобрели... А теперь бы заснуть – сладко, уютно, и спать, и спать, как в детстве, на «рыдване» дяди Коли-Зверолова, чувствуя только папины руки, когда он укрывает ее сползшим на пол одеялом...

Леон вышел на кухню, вымыл яблоко, вернулся и протянул Айе. И молча глядел, как с хрустом она оттяпала огромный кусок и с удовольствием жевала, по-детски тараща блестящие, не просохшие от слез глаза. Дождался, пока она догрызет все до черенка, улыбнулся и мягко проговорил:

– А теперь с самого начала...

Часа через полтора он раскопал ту давнюю встречу на вершине горы Кок-Тюбе, где Айя с Фридрихом повстречали «дядю Андрея».

– А девочка – красotka...

– То-то и оно.

– Бедняжка...

– А ты полегче: мы фантастически понимаем по губам...

– Твоя мама была прелестной женщиной. Прелестной!

– Понимаешь, хотя они и встретились случайно...

– погоди, – остановил он ее. – Не торопись. Вот теперь о «случайно» и о Фридрихе.

Неистовые подземные сплетения многолетних корней... Он расплетал их с той же вкрадчивой и трепетной осторожностью, с тем же хищным азартом ищейки, с каким распутывал когда-то сложнейшие змеиные клубки террористических ячеек где-нибудь в Рамалле или Шхеме. Засыпал Айю вопросами, останавливал, возвращал к уже сказанному, поворачивал

прежний вопрос неожиданной стороной, озадачивал, огорошивал, обращал внимание на противоречия. Встречала ли она, Айя, еще когда-либо Крушевича? Может быть, в Лондоне, в доме Фридриха? Присутствовала ли когда-нибудь Елена на встречах с его «партнерами» или была всего только женой, мало осведомленной в делах мужа? Видала ли Айя что-то еще, кроме пластиковой папки из сейфа в кабинете Фридриха, и не помнит ли, кто, кроме Фридриха, подписал документ?

На тех, многолетней давности допросах он бывал неутомим и беспощаден, сейчас же с тревогой всматривался в лицо уставшей Айи, то и дело напоминая себе: довольно, надо дать ей передышку, но понимая, что на передышку у них просто нет времени.

Он осторожно, мягко подбирался к главному – к имени, что со страхом она пробормотала ночью, а за все часы этого изнурительного распутывания связей и встреч лишь упомянула вскользь раза три, – возможно, потому, что редко с ним сталкивалась? Или потому, что инстинктивно старалась отодвинуть от себя эту темную личность? Она почти не говорила о Гюнтере, а у Леона были свои соображения пока не заикливаться на этой теме. Слишком многое предстояло раскапывать, слишком важна была любая информация об этом человеке, которого, судя по всему, Айя по-настоящему боялась.

– Ой, знаешь... – Она встрепенулась с озабоченным видом, села по-турецки на тахте, слегка привалилась к стене; из-за ее плеча выглядывала лукавая рожица мальчишки-апаха на Барышнинном гобелене. – Погоди-ка... молчи-молчи... мысль одна крутится, насчет Крушевича... – И довольно щелкнула пальцами, ухватив воспоминание за хвост: – Однажды они сидели перед телевизором...

– Кто – они?

Отмахнулась:

– Ну, Фридрих и Елена... Бывают такие вечера, когда они не грызутся, а как шерочка с машерочкой... Я сидела у них за спинами, крутила в ноутбуке одну идейку рекламы кофейного напитка – вкалывала тогда в агентстве Баринга... Лица обоих видела в зеркале над теликом. Они смотрели новости. У них дома вообще новости крутят весь день, не выключая, – то Си-эн-эн, то Би-би-си, то немецкие, то российские программы. Какое-то безумие, как будто с них кто-то мониторинг требует. Я и не думала за ними шпионить, просто сидела, мозги ломала над чертовой рекламой... Но иногда застревала взглядом на Елене. У меня, знаешь, когда-то была мысль сделать ее портрет, *настоящий портрет*:

бывают моменты, когда она вдруг теряет над собой контроль, – ну, если в бешенство впадает или чему-то сильно удивляется. У нее так порочно и жалостно отвисает нижняя губа... и тогда она просто копия одной нашей соседки: та была клептоманка, из магазинов водку под кофтой выносила. И когда ее ловили – ну там, милиция, то-се, акт составляют, – она кричала: «Ой, сирота я, сирота-а-а! Ой же ж как меня обидеть легко-о!» – и губа точно так отвисала... Ну, не важно. Короче, они лениво перебрасывались словами, так что *читать* их было нетрудно. И я случайно... Понимаешь, я правда не собиралась подслушивать, зачем мне... В общем, Фридрих сказал: *Андрей участвует в какой-то операции российским экспертом*. Так и сказал: «Андрей – консультант, он ведь там все знает». И еще: «МАГАТЭ?! Ну, эти болваны могут отдыхать». В общем, как я поняла, на Семипалатинском полигоне проводилась какая-то секретная операция – сбор плутония, что ли. Якобы собрали чуть не двести кило. И Елена говорит: «Ничего себе, аппетитный кусочек». А Фридрих ей: «Мда, если учесть, что на бомбу достаточно килограмм двенадцать плутония-239, он же плотнее, чем уран». И Елена: «А что, эта пропасть денег?..» – дальше что-то неинтересное, и я перестала *слушать*... Но вот про Крушевича помню. А он ведь правда специалист?.. – И с интонацией старательной ученицы: – Это хорошо, что я вспомнила?

Леон сказал:

– Ты моя умница. Ты – самая вострая, самая приметливая... самая-самая. А сейчас сделаем перерыв... угадай, на что!

Не та ли это совместная операция Казахстана, России и Америки, на которую потрачено 150 зеленых лимонов, частью по программе Нанна-Лугара, частью – напрямую из Лос-Аламоса, так называемая Программа совместного уменьшения угрозы, проведенная тем не менее почему-то втайне от МАГАТЭ? Сейчас можно только предполагать, какую выгоду извлек наш выдающийся эксперт-атомщик из своих «консультаций» и как под шумок пожился плутоном, добытым и значенным до нужного момента и переправленным по частям – но куда, куда-а-а? – чтобы поплыть напрямик в Бейрутский порт из какой-то там бухты? И в таком случае: как здесь задействован Фридрих или, скорее... Гюнтер?

Леон выжидал, когда можно будет вскользь ненавязчиво произнести имя Гюнтера – пожалуй, единственное, что его сейчас интересовало. Нет, неверно: интересовало многое. Например, зачем вообще Фридриху понадобилось вытаскивать в Лондон встреченную в Алма-Ате внучатую

племянницу, девочку с такой обременительной особенностью, как врожденная глухота? Что, собственно, она, с ее умением читать по губам... Стоп! Может, дело именно в этом?

Спросил у Айи напрямую.

Она серьезно ответила:

– Нет. Нет... Он, конечно, пытался меня как-то приспособить – вначале... Ну, как это там называется: курьер, связной, да? Но когда я взбрыкнула, оставил тему, махнул на меня рукой. Бывает же так в семье – неудачный бесполезный ребенок, куда его? Но Фридрих меня не прогонял, даже когда я сбрендил и жутко колобродил – знаешь, все эти выверты левой британской богемы... С удовольствием ходил со мной на соревнования по фигурному – я до сих пор люблю смотреть – и на выставки с моим участием. По фотографиям давал какие-то советы, вполне дельные – у него, между прочим, отличный вкус. И если б не Елена, которую трясет, стоит мне появиться в доме... Знаешь... – Айя помедлила, будто мысленно проверяла то, что собиралась сказать: – Думаю, Фридрих меня просто любит.

– То есть? Влюблен? – нахмурился Леон.

– Да нет, ну – любит, привязан... Такая вот странная родственная симпатия. Он ведь тоже – «сирота». Ванильный Дед... его отец, которого он никогда не видел, да и вообще, вся эта неведомая казахская тема – она его страшно интригует. Я для него такой вот сколок родни со степного полустанка, которую он никогда не имел. И потом, Фридрих не лишен сентиментальности. У него когда-то давно умерла молодая жена, остался сын-малютка. А тут я, и тоже сирота, *тоже малютка*, да еще со своей несчастной глухотой...

Она обхватила колени, насупилась, будто сосредоточенно вглядывалась в себя. Тряхнула головой:

– Нет, не знаю, не знаю! Запуталась я, к черту их всех! Но разыскал же он меня в Иерусалиме и вытянул опять в Лондон – зачем? Я для него совершенно бесполезна, и Гюнтер был против моего возвращения, знаешь, он буквально взбесился! Я *видела* их разговор из окна гостиницы. Фридрих вышел купить английские газеты в арабской лавке через дорогу, а Гюнтер выскочил следом, остановил его, да так грубо руку на плечо, прямо дернул! И говорит: «Что за блажь с этой девицей, *fater*, ты совсем спятил на старости лет?..» Ну и бла-бла-бла. Говорил по-немецки, а я в нем не очень, многое восстановила потом по смыслу. Фридрих спиной стоял, не видела, что он там ответил.

Вот оно и названо – имя. А теперь – осторожней... на пианиссимо:

не вспугни, не зажми ее, не взвинти ее страхи...

Леон выждал пару мгновений.

– А что, Гюнтер был с вами в Иерусалиме? – спросил мягко, незаинтересованно.

– Да, у него там были какие-то дела, что ли, встречи...

– И жил в той же гостинице, что и Фридрих?

– Нет. Откуда-то приехал. Может, с побережья? Был очень легко для Иерусалима одет, и почти без вещей, и на другой день исчез, а значит, я думаю...

А значит, наблюдательная моя умница, значит, приехал не из-за границы и ошивался где-то у нас под носом. Где же? В какой личине? По каким документам? И уехал в тот день, когда был убит Адиль, мой лучший «джо», мой антиквар, мой друг...

Быстро вытянув из ящика письменного стола ноутбук, Леон молча отыскал фотографию с лавкой Адила, щелкнул мышкой, увеличивая кадр. Вот он, антиквар, с хитринкой посматривает на того, чье лицо мы не видим. С самого начала Леона беспокоило именно это: Адиль демонстрировал монеты Веспасиана Фридриху, но смотрел-то вовсе не на Фридриха, а на того, кто стоит к нам спиной (такой тревожно знакомой спиной!), досадно заслоняя часть кадра. Понятно, почему Айя с ее художественным чутьем отсекала *ненужный сор*, в конечном варианте оставив только выразительные руки старика-антиквара.

– Подойди сюда, цуцик, – тихо позвал он и сам удивился: откуда у него вырвалось это «цуцик»? Откуда мгновенный спазм в горле, будто она маленькая и беззащитная и хочется обеими растопыренными руками от всего ее оградить? Значит ли это, что Иммануэлю тоже хотелось оградить тщедушного пацана – «свистульку с серебряным горлышком», как иногда он называл Леона? – Слышь, цуцик? Иди-ка сюда!

Когда подошла, привлек ее к себе на колено, обнял за талию и навел мышку на кряжистую спину, крепкую шею и плосковатый затылок неизвестного на экране.

Силуэт очертил:

– Это Гюнтер?

– Ну да, – спокойно отозвалась она. – Я потому и сняла сзади, пока он не видел. Он же чокнутый, его фотографировать нельзя. Однажды расколошматил мою линзу, самый лучший объектив! Вырвал из рук, бросил на пол и раздавил тремя ударами каблука. А когда я полезла в драку, так небрежно, неуловимо пнул меня, я два дня отлеживалась. Большая Берта орала, как паровозный гудок: «Свинья! Проклятый выродок!» – хотя

обычно называет его «юнге», «мальчик». Кажется, в доме только один человек его не боится – старуха. Она вообще никого не боится.

Айя помолчала и неохотно добавила:

– Папа считает, что все трое – Фридрих, Гюнтер, а заодно и я – унаследовали кое-что от Ванильного Деда. Вот кто опасность нутром чуял! Он в плену сидел в немецком лагере, убирал там комендатуру, ну и воровал из мусорной корзины листы использованной копирки. Прочитывал в бараке все их приказы. Представь: иностранные слова, да шиворот-навыворот, да по ночам, в темноте, с черной копирки. Наткнулся на приказ о ликвидации лагеря и организовал побег... Папа говорит, он мог стать гениальным разведчиком, а стал настоящим зверем, бабушку Марию избивал чуть не до смерти. Но у Ванильного Деда были война, контузия, два лагеря... а вот его потомки сами себе ищут и создают «битву и бурю». Так папа говорит.

– А отец... он все знает?

– Конечно! Все-все!

– Господи, как же он живет...

И задумчиво добавил:

– Это он потому и не выдал мне твоего телефона...

Айя улыбнулась:

– Он бы под пыткой меня не выдал. Зато через минуту после твоего отъезда написал мне: «Был Желтухин Первый. Хорошо пел». И твой парижский адрес.

– А... этот Гюнтер... послушай, он... действительно так на тебя похож?

– Что ты! – Она фыркнула. – Я даже не понимаю, зачем Фридрих это придумал, – может, на новую родню «работал», усилить родственное впечатление? Или самому почудилось что-то такое... в детских чертах. Да нет, Гюнтер похож на торговца-туркмена или на турка, хозяина шварменной. Или на пакистанца. В общем, он даже на Фридриха не похож. Видимо, на мать, та была откуда-то с Ближнего Востока. И одевается нарочито по-простому, «моя-твоя не понимай», и строит из себя такого... гастарбайтера. Если кто случайно видел его в доме, принимал за садовника. Хотя Гюнтер – очень образованный человек, закончил Тегеранский университет. У него специализация какая-то необычная, Фридрих говорил – семитские языки, что ли...

– Семитские языки?! – воскликнул Леон.

– Если я правильно помню, – неуверенно проговорила она. – Я в этом не очень... Что-то там... в Африке, да?

Да, детка. В том числе и в Африке... Такая вот экзотическая группа языков, среди которых, представь, – ам харский, тигринья, новоарамейский, мальтийский... Ну, и арабский. И, между прочим, иврит.

Леон перевел взгляд на спину и затылок Гюнтера на фотографии. Почему эта спина кажется... слишком свободной, что ли? Ненагруженной... Что, что связано с этой спиной, что перетаскивала она, эта спина, эти плечи в твоей памяти, и почему никак не получается прорвать плену?

2

Однако перед Филиппом пришлось раскрыться. Не слишком откровенно и никакого напряжения – ни в голосе, ни в *наших профессиональных планах*; все на *меццо-пиано*, все светски-оживленно: так и так, моя новая знакомая из Таиланда, погостит недельку-другую. Облегченный отпускной вариант.

Для осторожного приятного ужина он выбрал хорошо знакомый ресторан в самом центре квартала Сен-Жермен.

Ресторан «Вагенэнде» был для Леона своеобразным талисманом: здесь они с Филиппом раза три проводили на редкость удачные деловые обеды и ужины с людьми, от которых так зависит «наш оперный бизнес». Здесь и кухня была отменная, но прежде всего с порога покорял интерьер: изысканный модерн, никакой проклятой современности.

Благодаря зеркалам, опоясывающим стены и оплетенным лианами красного дерева в стиле *pouille*^[50], просторный зал пребывал как бы в плавном кружении. Все арабески, овалы, вензеля, витражи и фарфор, благородные бронзовые люстры и овальный потолочный плафон работы Пивена (неброские, но удивительно чистые тона) – все сливалось в праздничный аккорд.

В начале прошлого века тут крутились в запарке официанты сети ресторанов быстрой кухни «Бульоны»; потом дело было перепродано и попало в руки семьи Вагенэнде, которая на протяжении чуть ли не всего двадцатого века самоотверженно оберегала изысканный интерьер от веяний эпохи. В шестидесятых чуть не разразилась катастрофа: некие деловые люди пытались выкупить ресторан под супермаркет. Тогда на защиту основ поднялась парижская элита, всё благородные едоки: генерал де Голль, Андре Мальро... надо ж было где-то по-человечески ужинать! Короче,

ресторан отстояли.

Публика бывала здесь разношерстная, не чопорная, и атмосфера оставалась уютно домашней. А официанты – что редкость в Париже в наши дни – приятно удивляли учтивостью и расторопностью.

Меню мероприятия соответствовало стилю задуманной Леоном ознакомительной встречи: ничего торжественного, не помолвка же это; очередная пассия, милая тайландская гостья... Никаких фейерверков, но плотный ужин по полной программе, то есть, как говорила Стеша, «триста целковиков (местных целковиков, разумеется) отдай не греши».

Филипп появился, когда Айя с Леоном уже сидели за столом, рассматривая карту вин. Филипп был великолепен, благоухал дорогими духами, и хотя заявил, что еле приполз после трудного дня, его аккуратно зачесанные височки и ухоженная эспаньолка с неизменным белоснежным клинышком по центру, точно этот кот ел сейчас сметану и с ложки натекло на бороду, наводили на мысль, что по пути в ресторан Филипп все-таки навестил своего парикмахера.

Высокие стороны общались на английском. И первым (спасительным) этапом встречи стала оживленная инспекция книжки меню. (Филипп: «Ни одной книги не читал с бóльшим увлечением! Я голоден как волк, так что приготовь толстый кошелек, мой милый...») Наконец выбрали: на закуску – утиный печеночный паштет, к нему по бокалу белого полусладкого «Монбазияк».

Для Айи Леон заказал *quenelles de brochet*, кнедлики из щуки, зато себе и Филиппу, зная мясные предпочтения своего друга, взял коронное местное блюдо: *tete de veau*, телячью голову, под которую хорошо идет красное «Жеврэ-Шамбертэн» – подхалимаж, легкий кивок в сторону любимой Филиппом Бургундии.

Вообще, Леон был осторожен, как никогда, предупредителен «на обе стороны», галантен, в шутках на редкость беззуб, боялся сказать лишнее слово, так и сверкая своими антрацитовыми глазами то на того, то на другую, подхватывая нить разговора, торопливо смягчая ершистые реплики Айи, старательно подбрасывая натужные нейтральные темы вроде разговоров об искусстве фотографии и красотах Таиланда. Искренне полагал, что свою партию в спектакле «очередная любовная гастроль» исполняет легко и естественно.

Дождавшись, когда Айя уйдет в дамскую комнату, Филипп сказал:

– Обидно, что ты считаешь меня полным кретином, старина.

И в округленные недоумением глаза Леона:

– Глухая... Ни капли интереса ни к твоему гениальному голосу, ни к музыке, ни к опере. Ни единого пересечения с твоей жизнью. Ничего не скажешь, идеальная пара для оперного певца.

– Филипп!

– Подожди, я не закончил.

Филипп достал трубку и неторопливо, в угнетенном молчании Леона стал ее набивать, затем раскуривать.

– Мордашка у нее симпатичная, и сложена хорошо, но худа, как ободранная кошка. И почему она все время оглядывается, как кошка на крыше: за ней кто-то гонится?

– Филипп!!!

В ярости Леон бледнел, наливаясь внутренним жжением.

– Вот-вот, еще одно мое слово, и ты дашь мне в морду, правда? – добродушно и задумчиво продолжал тот. – И после этого ты что-то лепечешь об «отпускном варианте», «легкой пассивности» и «недельке-другой»? Посмотрел бы на себя: ты же вылизываешь ее каждым взглядом, как корова – новорожденного теленка! Ты истекаешь вожделением, несчастный недоносок... Нет, Леон, увы, мой диагноз суров: тяжелая злокачественная любовь и, видимо, с летальным исходом – имею в виду идиотский брак по идиотской страсти. Я не прав?

Леон молчал, комкая салфетку.

А как вчера он выбирал ей одежду для этого ужина! Как выразительно обтекает ее фигурку чудесное шелковое платье цвета вишневой пенки, с тонким бордовым ремешком на талии, со свободным двойным хомутом круглого воротника, из которого вырастает гибкая шея лани. А ее певучие брови – чуткие, дерзкие, шелковые... А удивительные отзывчивые глаза, которые под бронзовыми люстрами немедленно приобрели цвет золотистого ликера и так и мерцают вишневыми искорками... А как ее ножкам идут высокие каблуки новых ботильонов (в Одессе такие звались «катеринками»)!

Филипп протянул свою успокоительно мягкую руку и накрыл ею бешеный кулак Леона:

– Не терзай салфетку. Просто я вижу, что с тобой стало за эти недели, и каким ты вернулся оттуда, из этого проклятого Таиланда, и что успел наворотить. На данный момент я счастлив, что она приехала, и значит, контракт с Лондоном останется в силе. Я ей готов руки за это целовать! Но ты же выжат ею досуха, болван ты этакий, – чем ты петь станешь? Так что прошу лишь об одном...

Тут вернулась Айя, и одновременно – как и полагается, до десерта –

приплыла в руках официанта большая тарелка с разными сортами сыра. Все сосредоточились на выборе: недурное средство для остужения «бешеного мавра», как частенько называл Леона Филипп. Дама выбрала не слишком пахучий «Фурм-д'Амбер»; мужчины остановились на более крепком «Мюнстере».

Несколько минут заняло спасительное обсуждение десерта: выпечка, торты и прочий сладостный разврат, пояснил Филипп, – сильная сторона здешнего меню.

– Если вы еще не пробовали «Плавучий остров», дорогая, непременно возьмите! – горячо советовал он Айе. – Это что-то невероятное: круто взбитые белки, плавающие в сладком английском соусе.

– Не бери ни в коем случае, – грозно предупредил Леон. – Сам он терпеть эту бурду не может.

В конце концов все единодушно сошлись на профитролях под горячим шоколадом.

И можно бы считать, что (с некоторыми осложнениями) первое знакомство закругляется изысканным шоколадным пирuéтом, но тут Филипп решил обсудить предстоящий концерт в Кембридже и деловые встречи в Лондоне (взрывоопасная тема, которую Леон отодвигал на самый последний момент).

– Ты, конечно, возьмешь свою гостью в Англию? – приятно улыбаясь, спросил Филипп с едва заметным ядовитым *форшлагом* в конце вопроса (*о, воображаю, это будет самый утонченный ценитель в зале*).

Айя изменилась в лице: даже не кошка на крыше – пантера над обрывом.

– Чего я там забыла? – мрачно бросила она, дернув плечом.

Филипп опешил. Кажется, он считал эту девушку обитательницей островных джунглей, а поездку в Лондон – таким манящим призом для очаровательной обезьянки.

– Как?! – воскликнул он. – Лондон! Британский музей, музей Виктории-Альберта, жемчужина...

– Зат-кнись! – процедил Леон по-французски, в ярости уставившись на Филиппа. – Ради бога, заткнись! Она провела в твоей жемчужине не лучшую часть жизни.

– Ты же не предуп... я же хотел... – Филипп бормотал растерянно и раздраженно. – Так объяви темы, на которые я могу с ней говорить, – сколько их: две? три?

– Я не понимаю французского! – выпалила Айя по-русски, вскинув

подбородок.

Леон сказал, глядя в ее глаза цвета золотистого ликера:

– Я люблю тебя. Знаешь, что я сделаю, когда мы вернемся домой? Сначала я расстегну твое...

– Но я же не понимаю по-русски! – сокрушенно воскликнул Филипп и развел руками.

– Идите вы к черту оба, – вздохнул Леон. – Устал от вас.

И все трое вдруг расхохотались...

– И отпустите меня отлить, ради бога, – взмолился Леон, – нет сил терпеть, карауля вас, драчливых баранов!

Вернувшись из туалета, он застал чуть ли не идиллию: Филипп рассказывал коронные «брючные байки» своего отца, известного дирижера Этьена Гишара. В молодости тот был недурным скрипачом и до войны активно гастролировал. Более всего в этих старых байках Леона изумляла их схожесть с гастрольными историями музыкантов какой-нибудь Адыгейской филармонии – в свое время ими во множестве сыпал «Верный Гриша», а позже Леон и сам любил порадовать компанию анекдотами из собственной концертно-студенческой биографии.

– И вот он приезжает в Ментон – а год, скажем, тридцать пятый, тридцать шестой, – селится в самом изысканном местном отеле на шестнадцать комнат, идет на репетицию, затем обедает, отдыхает. А перед выступлением открывает наконец чемодан, который ему всегда складывала мама, – чтобы переодеться в концертный костюм. И с леденящим сердце ужасом обнаруживает, что мама забыла положить концертные брюки! Кошмар! Тогда все было строго: музыканты выступали только во фраках. Брюки черные, с лампасами: атласной такой продольной полосой по шву. Что делать? Выход один – бежать вниз, в ресторан, одалживать брюки у какого-нибудь официанта: по странной моде того времени, официанты носили точно такие же брюки с лампасами...

Леон, вероятно, в пятидесятый раз слушал эту историю – и с неизменным интересом. Филипп был незаурядным рассказчиком: ни одного лишнего жеста, ни одного лишнего слова, и притом – полнейшее ощущение чуть ли не экспромта:

– Итак, папа рысью бежит в ресторан и обнаруживает, что именно в этом заведении официанты одеты не так, как всюду, к тому же странно гордятся своей формой – брюки и жилетка в тонкую белую полоску! Ну, делать нечего, времени нет, воскресный день, все магазины закрыты. Папа натягивает штаны какого-нибудь Шарля или Мишеля, опрометью мчится в концертный зал, где играет сложнейшую программу в брючках

пошлого альфонса. Все прошло блестяще, публика доброжелательна – аплодисменты, корзина цветов... Наутро папа завтракает в том же ресторане и читает отзыв на свой концерт в местной газете. Рецензент разливается соловьем: звук, интерпретация, техника, музыкальность, ансамбль с оркестром! А в самом конце: «Кроме того, молодой солист привез нам из Парижа новую столичную моду: элегантные брюки, и не черные, а в деликатную полоску!»

Ну что ж, все идет прекрасно, можно успокоиться. И передохнуть, так как за этой байкой идет другая, но с теми же забытыми брюками – у Филипповой мамы, судя по всему, был явный комплекс вытеснения, связанный с нижней частью тела своего супруга. В этой второй истории блестящий Этьен Гишар выступал в Лионе с каким-то вокалистом, и тоже, как на грех, в воскресенье, так что на сей раз пришлось им выходить на публику попеременно: певец дотягивал последнюю ноту, вбегал за кулисы и сдирал с себя штаны. А Этьен уже стоял наготове: в подштанниках и со скрипкой, молниеносно эти штаны натягивал и выскакивал на сцену. И все бы ничего, но певец был выше ростом, и брюки его на Этьене собирались гармошкой. Кроме того, им не удалось вместе выйти на поклон, хотя публика хлопала очень долго.

– ...Я и сам терпеть не могу Лондон, – говорил Айе коварный Филипп, попыхивая трубкой, протягивая через стол свою мягкую руку потомственного дирижера и как бы уминая, вылепливая толстыми пальцами тонкие пальцы Айи. – Разве он сравнится с Парижем... Антикварная лавочка, индийская лавочка, величественный табачный ларек, грандиозная телефонная будка... А их национальная кухня – о, пощадите мой желудок! А-а-а-а!!! – (Это Айя перехватила и сжала его руку.) – Ох, дорогая, у вас совсем не женская, такая сильная рука!

– И шея сильная, – добавила она. – Знаете, сколько весит фотоаппарат с большой линзой?

– А сколько весит дохлый удав! – подхватил Леон.

* * *

Дома им все же пришлось объясниться:

– Понимаешь, радость моя...

– Только не называй меня своей радостью, как эту консержку, а то я решу, что ты – Филипп.

- Хорошо: моя мегера, мой идол, моя худющая страсть – так лучше?
- Я не худая, я в теле...
- О-о-о, да! Сейчас начну вытапливать этот жир!
- Пусти, перестань меня хватать, говори, что хотел...
- Сначала кофе сварю, ты не против?
- Мне не кофе, а чай...
- Да ты просто *нох айн казахе!*
- Ага, и с молоком...

Они просидели на кухне до глубокой ночи. Он доказывал, убеждал, уговаривал, рисовал дивные картины, высмеивал ее страхи, описывал дом главного редактора какого-то музыкального издательства, с которым должен был в Лондоне встретиться: якобы там в кухне, над старинной печью всегда сушатся серые залатанные кальсоны... Она сначала смеялась, потом плакала, опять смеялась его шуткам. Наконец на выдохе смеха согласилась «поехать в этот чертов Лондон». Он поздравлял себя с выигранной битвой, вспотел от напряжения, как дровосек, – хоть рубашку выжимай.

Затем, уже обсудив все детали поездки, они минут пять умиротворенно целовались над пустыми чашками...

...после чего она объявила, что все-таки нет, никуда с ним не поедет:

– А вдруг я столкнусь там с Фридрихом? Елена таскается с ним на всякую музыкальную... – И вовремя запнулась – значит, собиралась нечто *сказануть: музыкальную чушь? музыкальную хрень?* Да уж, сейчас ей, бедняге, придется придерживать язык на кое-какие темы.

Леону следовало бы просто утащить ее в постель – *ночной кенарь дневного перепоеет*. Но он устал, разозлился и, как это прежде бывало на допросах, от упорного сопротивления *объекта* повел себя еще мягче: надо захомутать эту кобылку; хватит, натанцевались.

– Ты не только столкнешься с ним, – скупно улыбаясь, *совсем иначе улыбаясь*, проговорил он. – Ты напишешь ему и напросишься в гости.

Она молча уставилась на эту улыбку. Так он смотрел на нее *там, на острове*, перед тем как заманить в лес. Испуганным шепотом спросила:

– Зачем?

У Леона в заначке имелось по крайней мере три убедительных ответа и три разных улыбки на подкладку, но, беззвучно рисуя губами слова, будто их кто-то мог подслушать, он сказал:

– Не знаю... – что было, во-первых, чистейшей правдой, а во-вторых, единственно верным в эту минуту ощущением и единственно родственным – ее внезапным птичьим перелетам.

Ему не нужен был Фридрих. С Фридрихом, и очень скоро, разберутся другие. Гюнтер – вот за кем он охотился: неуловимый Гюнтер, племянник генерала Бахрама Махдави, вероятный секретный координатор по связям КСИРа с «Хизбаллой». В доме Фридриха возможен шанс выудить какие-то сведения о маленькой неприметной бухте, о частной почтенной яхте, чьей конечной целью будет Бейрутский порт... Именно в доме Фридриха могла их ожидать вольная. В сущности, в Лондон Леон ехал за выкупом. Он задумал этот обмен с конторой еще в тот день, когда Айя, сидя на его колене, подтвердила присутствие Гюнтера в Иерусалиме в день убийства старика-антиквара. Что ж, если на то пошло, мы не чураемся торга: я вам сына, Гюнтера, или как там его еще зовут, а вы мне – покой и волю. То есть Айю. Конечно же, Айю.

– Воображаю, – она усмешливо тряхнула головой, – как мы сваливаемся туда прямо на день рождения Фридриха.

– А когда это? – встрепенулся Леон.

– На другой день после твоего концерта в Кембридже.

Леон вскочил и заметался по кухоньке, вылетел в коридор, встал в дверях спальни, уставился на Барышнин гобелен, словно пересчитывал, все ли пирожные в наличии или их уже слопал негодник-апаш. Нет, не все, не все пирожные он слопал, в радостном возбуждении буркнул Леон, кое-что оставил тебе на закуску.

Вернулся в кухню и вновь уселся за столик – странно спокойный, чем-то донельзя довольный.

– Там собирается большая компания?

– Да нет, в основном его пожилые дружбаны, из этих: «мой адвокат», «мой врач»... И еще какой-нибудь заезжий хмырь из *ВИПов*, в модных туфлях с шипами, вокруг которого выплясывает Елена. Человек семь, десять. Во всяком случае, Большая Берта все эти годы справлялась сама, никого не нанимали. Она неплохо стряпает и терпеть не может готовую еду, которую, знаешь, теперь принято покупать, «чтобы в доме не воняло». А когда Елена пытается что-то вякать, кричит: «Еда не сразу становится говном!» К тому же Гюнтер, если он в Лондоне... Вот кто готовит – пальчики оближешь!

– А Гюнтер всегда приезжает на день рождения Фридриха?

– Не обязательно... Но когда может – приезжает. Эта дата – она и день смерти его матери, такое вот совпадение. Ну, и в этот день он старается быть с отцом. Хотя за столом с гостями никогда не сидит. Я же говорю –

его в доме не чувствуешь, он как призрак. Леон! – Айя поежилась, умоляюще проговорила: – Не стоит туда соваться. Я боюсь их, Леон!

– Чепуха, бродяжка моя, – нежно отозвался он, хотя в губах его и промелькнуло неуловимо опасное выражение. – Чего тебе бояться? Я буду рядом.

– Нет, погоди. Я просто не понимаю, зачем тебе этот глупый риск! – И недоуменно усмехнулась, покачав головой: – Ну, в роли кого я тебя притащу – даже если решусь сунуть туда нос? Знакомьтесь, это мой... кто ты мне – бойфренд?

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга – несколько протяжных мгновений, которые все длились, аукаясь в их глазах, властные и одновременно робкие осязаемые, как прикосновения.

– Жених, – коротко и тихо сказал он. – Годится?

Она помедлила... Спросила безразличным тоном:

– Это такая... концертная версия?

Тогда, отсчитав три гулких удара в висках, чувствуя, как что-то мягко всхлипнуло и покатилося в невозвратную глубину груди, он спокойно ответил:

– Это предложение руки и сердца, если ты не против.

Она не шелохнулась. Сидела, по-прежнему всматриваясь в его губы, недоверчиво улыбаясь, будто он случайно оговорился, просто *не мог произнести такого*, и оба это понимают. Только брови ее ласточкины дрожали, не снижая изумленной высоты.

Наконец она вздохнула, поднесла обе ладони к лицу, точно собираясь напиться, вдруг нырнула в них лицом и заплакала.

И беззвучно, неиссякаемо плакала все время, пока Леон скупно объяснял, ребром ладони размечая на столике этапы опасного разговора: именно так – дорогой Фридрих, никогда не стала бы надоедать тебе случайным знакомством. Но это для меня – слишком серьезный шаг, а ты, несмотря на все наши разногласия, у меня тут единственный родственник. И не то что благословения жду, просто считаю необходимым представить тебе... и так далее.

...беззащитно улыбалась, кивала и плакала.

Слезы у нее всегда были наготове, так близко, так благодатно близко; к ее резкому и сильному характеру никакого отношения не имели. И хорошо, что Леон это сразу понял: просто природа заботилась, чтобы в отсутствие слуха самый важный инструмент ее существа – ее глаза, ее пристальный лучистый взгляд – постоянно омывался сокровенной

природной влагой.

Он и сам не знал, почему решил превратить эту, в сущности, недолгую поездку в путешествие, для чего придумал изрядную часть пути проделать на машине, через соборный сумрачный Амьен, через гобеленовый переливчатый Аррас и простеганный каналами Брюгге... Переночевать в Брюсселе, в каком-нибудь неприметном пансионе, а утром сесть на «Евростар» – до Лондона.

Не самый удобный, не самый быстрый способ попасть из Парижа в Лондон, но Леону хотелось «проветрить девочку». Хотелось расслабить ее, хоть немного снять то чудовищное напряжение, в котором она жила последние месяцы, да и последние недели их новой, обоюдоострой, взрывчатой, неистовой жизни вдвоем.

Одиноким кенарь, он поглядывал на себя как бы со стороны. Утром изумлялся, если, проснувшись, слышал, как в ванной льется вода. Сквозь сон себя спрашивал: это Владка приехала? И ярким всплеском – нет, не Владка, но некто вроде... Улыбнувшись, потягивался, перекашивался, блаженно распластывался на постели, руки разбрасывал, проводил ладонью по ее еще теплой подушке... Время от времени прислушивался к себе: когда уже он начнет раздражаться? Когда захочется на часок закрыть за ней дверь, с воздушным поцелуем вослед? (Любимая присказка холостяка Филиппа: «Старина, знаешь, что такое вечность? Это промежуток времени между минутой, когда ты кончил, и минутой, когда за ней захлопнулась дверь...»)

А вот и нет, старина. А вот и нет. И странно, и так ново: возможно, именно звуковой вакуум, этот кокон полнейшей тишины, в котором она существует, дарит ему, Леону, удивительную свободу выплеска. Он ловил себя на том, что дома стал громко хохотать, а в минуты их бенгальских искристых ссор с наслаждением кричал, чувствуя потом легкость в груди, словно таял, испарялся окаменелый кусок льда, наращенный всей жизнью. Выорался (Одесса-мама, насмешливо говорила Айя) – но будто вены отворил. Грозовые разряды, погромы хивающие где-то там, высоко над головой, и все – мимо, мимо... Здесь только свежесть, и разреженный воздух, и музыка, никому не досаждающие его колоратуры, волнами взмывающие к потолку... Так что, может, ты и прав, дорогой мой

Филипп: «идеальная пара для оперного певца»?

Когда все пройдет, думал, надо сразу купить ей фотоаппарат – видел, как она мается, как вдруг сощуривается, откидывая голову, как замирает на миг и раздраженно прищелкивает пальцами: кадр упущен. И бросается к компьютеру, сосредоточенно перебирает что-то там, «обстригает» кадры, выстраивает, дорабатывает уже готовое. И сидит, уставясь в экран, нетерпеливо подтанцовывая коленкой, будто застоялась в стойле и сдерживается изо всех сил, чтоб не разнести стены конюшни.

Да, пора ей камеру купить...

Леон плохо представлял себе, во что выльется его и впрямь диковатый план посещения «Казаха». Просто чуял, что если и существует для них обоих возможность вылететь на свободу, то кроется эта возможность в опасном доме Фридриха Бонке.

Вот ты опять со своей идиотской интуицией, говорил в свое время шеф. А ее просто не существует. Разведка – дело скучное: анализ ситуации и фактов, помноженный на кровавый опыт других.

Что и говорить, чистая это правда, но... как передашь покалывание в кончиках пальцев, предвосхищение смены тональности, неизбежное нарастание музыкальной темы в ушах и во лбу, над бровями? Как растолкуешь осязаемое приближение кульминации? Как опишешь головокружительный восторг в ожидании всегда неожиданного финала?

* * *

Своего автомобиля Леон не держал: никчемушный след – куда ехал, где стоял, где заправлялся... На одолженных-то колесах приватность куда как больше.

Он понимал, что толковей всего добираться на поезде прямиком из Парижа в Лондон: в толпе пассажиров и затеряться легче, и, как ни странно, легче заметить и отследить «хвост». Но толпы он не любил, если только это не публика в зале, и по старой снайперской привычке предпочитал, чтобы вокруг расстиралось некоторое хорошо просматриваемое пространство. А если хотелось передвигаться, не слишком привлекая к себе внимание, никогда не снимал машину в фирме по прокату. Просто шел в гараж на соседней улице, к Жан-Полу, двадцатипятилетнему гению механики и автомобильного дела, совал пару

сотен в его мозолистую лапу и брал на нужное время любой из трех его автомобилей. Те были всегда на ходу и всегда в приличном состоянии. А самым прекрасным было то, что влюбленный в цвет и линию неудавшийся живописец Жан-Поль – эстет чокнутый – едва ли не каждый месяц перекрашивал своих коней просто так, для настроения. И вот это Леону нравилось больше всего.

– Хочешь «Пежо»? – спросил Жан-Поль, умудряясь ковырять в носу пальцем, перепачканным в машинном масле. – Я его недавно *перезелтил*. Он сейчас как солнышко на дороге.

– Ммм... Не люблю дорожную полицию.

– Тогда «Рено-Клио» бери, он все еще темно-синий.

– Отлично, морские цвета успокаивают.

Складывались долго и канительно – будто на месяц уезжали. Выяснилось, что у них кардинально разный подход к дорожной экипировке: Айя предпочитает свободные руки и минимум веса («Я так привыкла; с меня довольно аппаратуры»), Леон, напротив, для «неожиданной погоды» и «разных поворотов сюжета» любит запастись лишним пуловером, лишней рубашкой и лишними туфлями. А фрак, черт его дери! А смокинг?! Черный – это само собой, а хорошо еще один, *на всякий случай...*

По этому поводу стены бывшей конюшни вновь сотрясали вопли, губительные для голосовых связок певца, но такие сладостные, поддержанные такими трелями вездесущего Желтухина...

– Нет, подожди, – оторопело спрашивал Леон над раскрытым чемоданом, с концертными туфлями в руках, – ты собираешься ехать с одной парой джинсов?!

– Но у меня же одна задница, – спокойно возражала она.

– Женщина! Может, ты и трусы берешь в одном экземпляре?!

– Я могу ехать вообще без трусов – ты будешь только доволен...

– А платье! Твое новое обалденное платье!!!

– Прекрати руководить моим гардеробом, Одесса-мама...

Когда чемодан уже стоял в прихожей, дом был прибран, холодильник опустошен и мусор вынесен, пригласили Исадору для подробных консультаций на предмет кормежки и выгуливания Желтухина Пятого. Португалка уже дружила с желтым наглецом и кавалером – тот строил ей куры и закатывал серенады. Не волнуйтесь, месье Леон, я все поняла: тут вот корм, водичку меняем каждое утро, и выпускать полетать,

Она вздохнула:

– Да-да, аллергия, – отрешенно произнес Леон в наступившей паузе, застывая, каменея и даже вроде как покрываясь инеем. – Как я мог забыть... Аллергия, да... Это замечательно!

– Исадора! Радость моя! Простите! Все отменяется! Мы забираем кенаря с собой!

– Поехали-поехали-поехали с оре-е-ехами... – выпевал Леон полупшепотом. – Канарейка за копейку... чтобы пела и не ела... Карета по-одана, маэстро, карета по-одана...

Айя наблюдала эти внезапные сборы в замешательстве.

– Ты с ума сошел? – осведомилась она нерешительно.

– Месье Леон – большой оригинал, – пояснила Исадора обескураженной Айе. И улыбнулась: – Настоящий артист!

– Мы будем ехать долго-долго, моя любовь, – сказал, – через Амьен, Аррас, Брюгге... В Брюсселе непременно выпьем пива в одном славном подвальчике.

– В Брюсселе? Пиво? – недоуменно уточнила она, смешно ворочая головой в его ладонях, как ребенок в завязанной шапке-ушанке, все еще не понимая его возбуждения, его праздничного волнения, только чувствуя, что эта их дорога – начало чего-то важного, возможно, очень опасного, но почему-то необходимого Леону.

И ничего на сей раз не спросила, что само по себе было невероятно.

Тут выпал зеленый, и они выехали из переуллка на рю де Риволи.

* * *

В Амьене погода еще крепилась, не давая воли слезам, хотя пейзажи равнинной Пикардии никого бы не развлекли и не порадовали: унылый горизонт, как по школьной линейке, туманы на голых полях, безликие коробки промышленных блоков. И над всем – пелена утреннего неба, сквозь которую изредка процеживался парафиновый луч. Только бы не дождь, заклинала Айя, в дождь так скучно ехать...

Но в Амьене дождь их еще не настиг. Загнав машину на муниципальную парковку, они под пасмурным небом пошатались немного по центру, прошлись по берегу сонной и тихой Соммы, отыскивали кафе как раз напротив собора Нотр-Дам и уселись за столик на улице.

– Он странный, да? – Айя кивнула на собор. Она сидела, вытянув и скрестив ноги в джинсах, все еще похожая на мальчика, хотя мягкий ежик ее волос уже стал завиваться на висках и затылке. – Какой-то неуравновешенный.

– Он самый большой во Франции, знаешь? – отозвался Леон. – Акустика изумительная, я пел здесь раза три. И внутри такой светлый текущий воздух – от витражей. Хочешь, зайдем?

Айя хмыкнула:

– Думаешь, я его не снимала, этого монстра? Я месяца три работала на один модный журнал, торчала здесь на фотосессии с этими идиотками... – И, перехватив его взгляд: – Ну, с этими, моделями. Кстати, их менеджер предложил мне *попробоваться*, уговорил напаялить какие-то их супермодные тряпки, поставил меня на дикие платформы, каких я сроду не носила, – клоун на ходулях! – и пустил пройти по площади... Ахал и закатывал глаза. В общем, я послала его к черту. Снимали здесь и в Генте, на фоне тамошнего собора. Но этот мне нравится больше. Он такой огромный, неловкий, какой-то... стеснительный: одно плечо выше, другое – ниже...

– И эта готическая роза в груди, как крупный цветок в петлице...
– Слишком тщательно сработана, – заметила Айя. – Каменный ажур этих соборных роз...

...А какую изысканную розу вырезал из красной луковицы «ужасный нубиец» Винай... Куда он все-таки делся? Какому бизнесмену готовит сейчас свой тайский салат из холодной говядины? Господи, на что тебе сдался Винай, если уж даже в конторе равнодушны к его судьбе? И к чему твой беспокойный слух все танцует и кружит, все обшаривает тревожными щупальцами закоулки твоей же памяти?

Официант принес кофе.

– Амьен здорово порушили во время войны, – сказал Леон, отвлекая себя от навязчивых мыслей. – Потом его лет двадцать восстанавливали – ратушу, собор, Амьенскую башню, практически весь район Сен-Льё... Реставрация – всегда чуть-чуть помесь Диснейленда с кладбищенским памятником.

– А еще не люблю эти парадные шеренги святых над порталами. Выстроились, лица постные, у каждого – послужной список чудес. Знаешь, вот в Страсбурге... – Она оживилась, подалась к Леону, и руки мгновенно взлетели к лицу, готовые ассистировать. – Там статуи собора, те, что уцелели, перенесли в «крытый мост», и представь: ангелы и химеры за грязными решетками КПЗ... Сразу меняется все! Вот что значит деталь как рычаг события. Заключение ангелы... Я сделала целый рассказ. Потом покажу тебе пару снимков. Там есть один юный ангел – папа говорит, на меня похож. Умора, кому сказать...

Он смотрел на ее лицо, все собранное из плавных и чуть раскосых овалов, и думал, что Илья Константинович прав: она и есть – заключенный ангел, всегда замышляющий побег. Ангел, запертый в пожизненную одиночную камеру глухоты. Его, Леона, собственный заключенный ангел со связанными крыльями...

Тут первая капля дождя упала ей прямехонько на нос, другая на скулу, скатилась к подбородку крупной слезой. Айя поежилась и засмеялась, отирая кулаком щеку, погрозила грязноватому неряшливому небу.

– Ну, началось... – вздохнул Леон. – Пойдем к машине?

– Постой, у меня тут кофе еще на семь глотков.

Сняла со спинки стула его джинсовую куртку и накинула на голову. Так и сидела, торопливо допивая свой кофе.

И тут Леона прошибло. Вдруг он понял, кого так мучительно она все

это время напоминала. И почему при взгляде на нее то и дело возникают: слепящий свет, голубое покрывало, длинные послеполуденные тени от высоких монастырских стен и тишина каменных прохладных залов... Конечно, вот оно: Палермо, Музей изобразительного искусства, картина Антонелло да Мессина – «Мария Аннунциата»...

Он приходил туда дважды и оба раза – ради Марии. Подолгу стоял, нащупывая интонацию, меру, тембр... В те месяцы работал над несколькими барочными ариями, посвященными образу Девы. Много не чувствовал, во многом сомневался... Странно – почему вдруг решил продираться к своим открытиям через иное искусство, через живопись?

Николь сначала иронизировала, потом слегка сердилась – по-своему, конечно, мягко улыбаясь: «А если я стану ревновать?..» Да-да: голубое покрывало, широковатый нос, высокое чело с благородными бровями – мальчишье лицо из плавных раскосых овалов, и все вместе подчинено единому замыслу. Глаза с припухшими верхними веками ускользают, не смея на тебя взглянуть; щепоть левой руки придерживает на груди покрывало, а правая слегка приподнята: то ли Мария потянулась остановить того Невидимого, кто ее покидает, то ли ощупывает воздух перед собой, еще не веря в произошедшее... И странное ощущение, что эта девушка никого не слышит... Вернее, слышит только жизнь внутри себя.

«Леон, ну что ты прилип к этой картине! Ты меня поражаешь... Странные пристрастия...»

Та волшебная поездка на Сицилию – семейная вилла на вершине горы, многослойная синева моря, поутру блещущего серебром, – несколько безмятежных дней, когда он был близок к тому, чтобы произнести те самые слова, которых Николь ждала три года и не дождалась. Те слова, что открыли бы ему ослепительные своды высших сфер: возможность дорогостоящих рекламных турне, грандиозных «промоушнз» и прочих современных трюков для мгновенного вознесения певца на вершину международного музыкального олимпа.

Короче, те самые слова, что так просто, почти без выражения, он сказал на своей кухне вот этой глухой девушке с его джинсовой курткой на голове; этой девушке с широковатым носом, сосредоточенным взглядом из-под припухших век и ласточкиными бровями, на которые он готов смотреть не отрываясь всю оставшуюся жизнь.

– Вот теперь идем, – бросила она, снимая с головы куртку и перекинув

ее через плечо Леона.

В Аррасе дождь уже покропил мостовые, оставил крупные оспины на лобовом стекле машины, так что ужинали поближе к стоянке, в каком-то неинтересном ресторане – просто чтобы отсидеться и передохнуть. Вообще каждые километров пятьдесят Айя предлагала где-то «посидеть», придумывала разные нелепые предлоги, как ребенок, оттягивающий возвращение с прогулки домой. Волновалась – не устал ли он? Неужели ее настолько пугало приближение Лондона?

На въезде в Брюссель они угодили в кошмарную пробку. Доползли до Гранд-плас и долго тыркались по окрестным переулкам в надежде урвать местечко для машины. Наконец повезло: на одной из парковок виртуозно втиснулись между двумя микроавтобусами и под ровным, жестким, но все еще терпимым дождем нырнули в подвальчик, в обещанную Леоном пивную, название которой «Сегсueil» переводилось просто и грубо: «Гроб». У них и в витрине наглядно расположился скелет – в роскошном гробу со снятой крышкой, непринужденно свесив кости бывших рук по краям своей узкой обители.

Внутри псевдотаинственной крипты в мерцании свечных огоньков накачивалась пивом веселая публика. Скамьями служили, разумеется, гробы. Музыку крутили, разумеется, «Реквием» Моцарта.

– Забавное местечко, – заметила Айя, – хотя и выпендренное.

– Но пиво первоклассное, – возразил Леон.

Он уже не боялся музыки «Реквиема», как это было в детстве. Но с первых тактов «Introitus» по-прежнему мороз продирает его по хребту, и распаивалась мертвенная равнина мессы, а сердце сжималось в невыразимой тоске чьего-то вечного плена. Какого черта я приволок ее именно сюда, подумал Леон, как обычно на какие-то мгновения забыв, что Айе совершенно все равно, что там лепечут, шепчут или изрыгают динамики.

Они заказали по кружке пива, как-то невзначай разговорились с соседом по столику, бельгийцем, автомехаником.

– Я в молодости подрабатывал в этой пивной, – сказал он и кивнул куда-то в угол: – В гробу лежал вон там, изображал покойника...

– Врет, – по-русски заметила Айя.

– Да нет, просто тяжеловесный бельгийский юмор. У французов есть куча анекдотов про бельгийцев, как у русских про чукчей.

Бельгиец, словно угадав, о чем идет речь, вставил:

– Зато у нас авторуты ночью освещены, не то что у французов:

влетаешь в чертову задницу и думаешь – да что они, на фонарях экономят? – И довольно захохотал: – А им просто свет не нужен. Они с наступлением темноты самовоспламеняются!

* * *

Когда собрались выходить и сунулись наружу, дождь уже расхлестался вовсю. Накрывшись курткой Леона, добежали до стоянки, за две минуты вымокнув насквозь. Влезли в свой «Рено-Клио», включили печку... которая, как выяснилось, не работала. Сволочь Жан-Поль, ругнулся Леон, отирая мокрыми ладонями мокрое лицо, не предупредил! А надо было «Пежо» брать, желтое солнышко, тот хоть поновее...

Грохот дождя по жестяному навесу стоянки перекрывал все звуки, даже гомон и гул колоколов. А еще ведь предстояло искать ночлег, какой-нибудь отель неподалеку, влезть под горячий душ, переодеться в сухое...

– Как там Желтухин? – озабоченно спросил Леон, оборачиваясь. – Не помер, бедняга?

– Не знаю, молчит... Господи, папа тебя прибил бы! Зачем ты потащил кенаря в Лондон, можешь сказать наконец?

– Это подарок Фридриху.

– Что?! Да послушай... птицы – совсем не по его части!

– А вот это мы увидим, – буркнул Леон.

Выехали из крытой стоянки под обвал дождя, заколотившего в лобовое стекло машины остервенелыми кулаками. Леон запустил дворники на предельную беготню и воскликнул:

– Потерпите, птицы! Я знаю, где мы заночуем! – И повернулся к Айе: – В замке! Хотите в замок, принцесса?

– Смотри на дорогу, умоляю, – отозвалась она, стуча зубами. – Что ты еще придумал, что за замок...

– Скорее поместье. Для классического замка там нет оборонительных укреплений – ну, рва с водой, подъемного моста, чего еще? Дальнобойных мортир на стенах... Но галерея для менестрелей в дубовом зале и поворотный круг, такой, чтоб развернуться четверке лошадей, – это есть. И камин, в котором можно гулять по утрам, если пробить железную заслонку.

Леон и сам не знал, почему вспомнил про замок. Тот вдруг восстал в памяти во всем своем неуклюжем и неухоженном великолепии.

– Это недалеко, во Фламандском Брабанте, – торопливо пояснил он, –

на пути в Лёвен... Прелестный шато, благородная романтика, бесконечные коридоры. Под ноги только надо смотреть.

– Зачем под ноги?

– Чтобы в колдобину не угодить.

– Он что, на реставрации, этот замок?

Ее простодушный вопрос почему-то привел Леона в восторг. Мгновенно перед глазами возникла милейшая чета Госсенс, его давние знакомые, Шарлотта и Марк (длинная цепь приятельств, украшенная *дуолями-триолями* побочных музыкальных связей и дружб) с целым выводком то ли пятерых, то ли шестерых очень музыкальных отпрысков. Этот караван замыкал ослик, баловень семьи, круглый год пасущийся на чудосочном газоне перед внушительным, хотя и обветшалым парадным въездом в замок.

Оба, и Марк, и Шарлотта, время от времени перехватывали пару преподавательских семестров в университете Лёвена. Марк был политологом-славистом, Шарлотта хуже того – специалистом по музыке барокко. В длинных перерывах между университетскими заработками семья жила на пособие по безработице. Замок достался им в наследство – кажется, родители Шарлотты каким-то боком приходились родней королевской семье. Таким образом, простые и непрехотливые Госсенсы угодили в безнадежную социальную ловушку: получить муниципальное жилье владельцам замка, даже многодетным, – трудновато. Чинить все это бывшее величие Фландрии ни у них, ни у короля денег не было. Замок все больше ветшал, ценнейший узорный паркет (дуб и липа, палисандр и дусия) рассыхался и вздыбливался, неутомимый жучок точил мощные балки стен и кессонных потолков; в зимней оранжерее под дырами в стеклянном куполе чахли простуженные пальмы, сена на газоне для ослика явно не доставало, так что бедная животина перебивалась шоколадом.

Когда проваливались полы на одном этаже, семья перебиралась на другой.

Но одну из спален в бесконечных коридорах замка хозяева привели в удовлетворительный вид и сдавали непрехотливым путешественникам («Тоже грош, какой-никакой», – говорила Шарлотта). Года два назад Леон провел у них три безмятежных летних дня между двумя концертами – в Брюсселе и Брюгге, скармливая ослику все, что выносил после завтрака, весьма щедрого для такого скромного пансиона.

– Там есть огромная спальня, – сказал он, правой рукой растирая

заледеневшие в мокрых джинсах колени Айи. – Такие перины, ах и вах! А у меня есть принцесса, которую я с упоением уложу на горошину...

– Смотри на дорогу, не трепись! – воскликнула она, трясаясь от холода и обнимая себя обеими руками. – И руль держи! Если мы еще перевернемся...

Но они не перевернулись, хотя и проблуждали добрых часа полтора под обложным дождем. Ночь захлебывалась в могучих струях воды, раскачивала, трепала машину, обрушивала водопады на лобовое стекло. И Леон, и Айя совершенно окоченели, нахохлились, успели дважды поссориться. Кроме того, стрелка индикатора топлива уныло клонилась вниз, настойчиво намекая: подкормите лошадку...

Наконец нужный указатель вспыхнул в свете замызганных фар; оба они дико вскрикнули, свернули, еще раз свернули – на сей раз прямо в распахнутые ворота шато, которые никто никогда не закрывал. Въехали между двумя облупленными кирпичными колоннами, на каждой из которых грузно восседал нахохленный каменный грифон с фонарем в клюве, и покатили по воющему от штормовых порывов парку. Деревья раскачивались, как толпа безумных фурий. Впереди на холме мрачно громоздилась зубчатая туча, густо заштрихованная ливнем, – это и был замок. Слава богу: в трех окнах хозяйского этажа горел свет. Здесь поздно ложились.

Леон проехал длинную, в рытвинах, подъездную аллею («Если у них и в комнатах такие ямы, – пробормотала Айя, хватаясь за что попало – за колени Леона, за спинку сиденья, даже за руль, – то лучше уж в машине заночевать»), свернул к западному входу и прогудел тремя протяжными сигналами – больше шансов, что хозяева услышат полуночных гостей: дверной звонок мог быть испорчен.

И правда, через пару минут дверь приоткрылась, из нее выпал столб желтого света, в котором возникла долговязая мужская фигура. Приспустив боковое стекло, Леон крикнул:

– Марк! Принимай несчастных, хочешь или нет!

Марк в ответ что-то приветливо и бодро гаркнул, хотя по интонации Леон понял, что в пелене дождя гостя тот не узнал. Но к гостям здесь привыкли и принимали в любой степени опьянения, безумия, обнищания и влажности. Возможно, сказывалась славистская закваска Марка: в молодости он года три ошивался в Ленинграде, якобы одолевая аспирантуру, а на деле борясь за чьи-то права и с опасностью для жизни провозя в замурзанном рюкзаке и за ремнем джинсов запрещенную литературу.

Прихватив с вешалки в холле старый клеенчатый плащ, Марк сбежал по ступеням к машине и тут лишь узнал Леона: сквозь потеки дождя на стекле Айя видела бурные, судя по губам, восклицания по-французски.

Леон выскочил и врезался в его пылкие объятия. Затем они извлекли из машины Айю, клетку с обморочным Желтухиным, с головой укутали их в плащ, так что старая пыль, прибитая дождем, сразу же забилась в волосы, глаза и ноздри, и потащили эту странную фигуру (Марк крикнул по-русски: «Инсталляц девушка с папигайчик!»), обнимая с двух сторон, неуклюже взбираясь по ступеням к двери. Когда ввалились в холл, всех троих – и Айю, несмотря на плащ, – можно было вешать на просушку над камином, если бы тот работал. Но он не работал уже несколько лет – по запрету пожарной службы.

Здесь горела одна-единственная лампа где-то в горних высях потолка, освещая высокую резную дверь парадной залы (темный дуб, щедро отделанный бронзой). А дальше простиралась великая тьма гигантского холла. Светя под ноги фонариком, хозяин провел гостей к подножию величественной (даже в этом скудном свете) мраморной лестницы, и, оставляя мокрые следы на протертом ковре, они стали подниматься в жилые покои семьи – великое восхождение к престолу увядшей королевской славы: миновали галерею для менестрелей, несколько переходов с плавными полукружьями мраморных перил. Наконец Марк толкнул дверь третьей или четвертой справа по коридору комнаты, откуда хлынули свет и тепло, и гости вдруг попали в ярко освещенный, благоуханный, кофейный, шоколадный, хлебный, жарко натопленный рай.

Кухня была прямо-таки королевского размаха: в центре над пылающей чугунной печью сияла обитая красной медью огромная вытяжная труба-геликон, которой вторила надраенная медь развешанной по стенам кухонной утвари. В углу пришепетывал современный газовый камин с тихой бурей голубых огоньков за стеклом. Все это сливочным блеском отражал и множил прекрасно сохранившийся старинный кафель стен. По шоколадным плиткам пола гонял на трехколесном велосипеде четырехлетний малыш, огибая мраморный разделочный стол, за которым примостился с ноутбуком старший сын лет семнадцати. А из глубокого потертого кресла уже выпрастывалась навстречу гостям толстуха Шарлотта (опять восклицания, объятия, быстрая, как полет стрижа, французская речь под писк обалдевшего – уже от тепла и света – Желтухина).

Леон извлек из дорожной сумки две бутылки бордоского «Saint-Emilion». Из холодильника приплыли сыр, маслины, какой-то буро-

томатный салат в пластиковой коробке, и главное – ура! – багет и масло, и баночка не то варенья, не то джема. Тут же был снят с гвоздя за дверью необъятный флисовый хозяйкин халат, и, дважды в него обернутая, Айя утонула в кресле Шарлотты, готовая тут же заснуть... и заснула! Но минут через пять ее растормошили, придвинули вместе с креслом к столу, сунули в руки пузатую фаянсовую чашку крепкого чая с толикой лимонного ликера – от простуды. И затем оставили в покое.

Все трое – Марк, Леон и Шарлотта, – судя по бешеной артикуляции и ежесекундному смеху в запрокинутых лицах, были увлечены оживленной перепалкой; Леон, кажется, даже принимался петь. В теплом воздухе плыли ароматы чая, кофе, душистого лимонного ликера, разогретого в печке багета. Пацан на велике нарезал вокруг стола опасные круги, не обращая внимания на окрики взрослых.

Айя прикрыла глаза, отплывая все дальше в блаженном озере тепла и света, ничего не желая, кроме как сидеть здесь и сидеть, утонув в пушистом коконе хозяйского халата. И если б ей сказали, что она останется в кресле до утра, она была бы абсолютно счастлива. И полагала, что так оно и устроится.

Но минут через сорок, когда оба ребенка – и большой и малый – были отправлены спать, Айю опять растормошили, всучили клетку с уснувшим Желтухиным, потащили из кухни. Прихватив фонарик, Марк пошел сопроводить их до «апартамента».

И вот эта дорога была едва ли не длиннее их дороги сюда из Брюсселя. Возможно, потому, что шли в темноте, за скудным лучом электрического фонарика, обходя опасные выбоины в паркете. Под ногами на все лады всхлипывали и крякали прогнившие половицы. То справа, то слева их обгоняли зловещие тени, лежа бегущие по стенам, где, как в теневом театре, выростала гигантская клетка с нахохленной тенью Желтухина и уплывала к черным балкам потолка. Луч фонаря выхватывал пузырящиеся останки обоев позапрошлого века – тисненные «флёр-де-лис», золотистые «бурбонские» лилии с прорезами красного кирпича.

Айя чувствовала себя внутри какого-то барочного романа: бесконечные коридоры этой сюрреалистической коммуналки (вереница дверей справа, вереница – слева) казались сном, наваждением, чередой кадров из позабытого старого фильма о призраке замка. Летучих мышей тут не хватало. Впрочем, в других крыльях замка, возможно, водились и они.

– Сколько тут комнат? – спросила она, тронув Марка за руку.

– На этаже? – спросил Марк, обернувшись.

– Нет, вообще, в замке?

Он рассмеялся, будто она спросила о количестве птиц в здешнем парке, тоже взял ее за руку и ласково сказал:

– Кто ж их может сосчитать, дорогая. Здесь веками достраивалось то и это, потом еще какое-то крыло, и еще пристройка, и еще башенка... И кому понадобилась бы эта статистика?

Нужную спальню сам хозяин отыскал с третьей попытки: вначале сунулись в комнату с пыльной тушей старого рояля среди обломков стульев и оттоманок, затем нырнули в какую-то, судя по высоким книжным стеллажам, библиотеку, трижды в коридорах шарахались от зеркал, с амальгамой, изъеденной, как тело прокаженного: зловещие рожи, что глядели оттуда, оказывались их собственными лицами, подпаленными светом фонарика...

Наконец, одолев очередное колено этого сновиденного коридора, Марк завернул за угол, издал охотничий вопль, толкнул дверь и, нащарив выключатель, щелкнул.

Здесь ожили и люстра, и два прикроватных бра. Выплыла – на подиуме, как сцена в кафешантане, – огромная, с резным изголовьем, с жеманным кисейным пологом дубовая кровать, идеально застеленная белоснежным бельем. У стены напротив – такой же дубовый заковыристый шкаф, типа исповедальни из ташкентского костела, длинная скамья с высокой спинкой и комод, на который и была немедленно водружена клетка с притихшим от страха и качки Желтухиным.

Ничего лишнего в этой комнате не было, кроме грандиозного кресла с такой же резной листовенно-желудевой спинкой чрезвычайной высоты и строгости – кресла, явно перевезенного в опочивальню из зала королевского суда.

Это был блаженный конец пути, их ночлег, их райская обитель...

Марк, несколько смущенный лоцман, улыбнулся Айе и сказал:

– Надеюсь, дорогая, этот наглец не посмеет вас тревожить, и вы проспите ночь, полностью откинув копыта. – И Леону: – Старина, весь этаж в вашем распоряжении. Ты еще помнишь, где ванная?

– Да, тут недалеко, – ответил Леон, – километров пять. Но...

– Но горячей воды сегодня нет, – покладисто завершил Марк, вручая им фонарик, как букет фиалок – лампочкой вверх; после чего бесстрашно канул во тьму. И откуда-то (из какого камина?) докрикнул с дружеским смешком: – Только снимите обувь, когда полезете в кровать! И сами

виноваты, предупреждать на... – Дальше эхо заструилось ему вслед, уползло, шурша вслед угасающим шагам.

– Он что-то сказал? – спросила Айя.

– Ничего хорошего, моя бедная принцесса. Пойдем все же, попытаем счастья в этой проклятой ванной?

Минут десять кротовых блужданий под шуточки Леона, что метки надо бы ставить, как Том Сойер – на стенах пещеры, потребовались, чтобы разыскать ванную. Нашарили выключатель – и сиротский свет одинокой лампочки явил им стылое великолепие мраморных площадей.

– Вот это да-а-а... – прошептала зачарованная Айя. – Где кончается сия бальная зала? И где обещанная галерея для менестрелей?

Действительно, огромное до оторопи помещение можно было запросто принять за что угодно: зал конгрессов ООН, главную площадку Карнеги-холла... Одинокая лампочка – высоко, в небесах потолка – не в силах была зажечь и умножить огни в подвесках хрустальной люстры. В этом жидком, как спитой чай, свете (Барышня такой чай называла «пишерс»^[51] и требовала, чтобы экономная Стеша немедленно заварила свежий черный прямо в ее стакане) торжественными ладьями плыли вдоль стен две глубокие, обшитые красным деревом мраморные ванны. Из оскаленных пастей бронзовых львиных морд торчали бронзовые краны.

От всего веяло холодом склепа: от бугристых стен (те же обои «флёр-де-лис», темные, как кожа христианских мучеников), от огромных высоченных окон с бархатными портьерами, от мраморного столика, от кокетливого новенького биде и шаткого унитаза шестидесятих годов прошлого столетия, с подвесным бачком и свисающей на цепи фаянсовой грушей. Когда окоченевшей рукой Айя открыла кран, из него полилась струйка ледяной воды.

Так что из всех предметов этой блистательной залы они решились почтить вниманием только унитаз, после чего пустились в обратный путь мрачными катакомбами коридоров, трижды обознавшись на тех же поворотах: сначала уткнувшись в тусклый бок давно онемевшего рояля, потом сунувшись в библиотеку.

Сколупнув только обувь, и то по наказу Марка и из уважения к трудам хозяйки, в постель заползли одетыми, не сняв ни свитеров, ни джинсов («Ночь любви отменяется, и меня не осудит даже изголодавшийся подводник», – бормотал Леон), обнялись покрепче и закопались под одеяло, как в сугроб, выбивая зубами мелкий зуммер.

Посреди ночи Леон не выдержал, вскочил, сорвал одну из портьер

и накрылся с головой пыльным бархатом давно усопших королей...

* * *

...который утром оказался истинно королевским: винно-красным, ликующим, неумирающим, и курился мириадами веселых пылинок, облекая силуэт спящей на боку Айи.

Плита солнечного света, косо вывалившись из высокого окна, лишенного ночью гардины, падала на обои цвета топленого молока или старой кости – местами они потемнели до умбры жженой, но сохранили грубую текстуру дорогих обоев позапрошлого века: все тот же рельеф «бурбонских лилий», благородная труха поблескивающей в утреннем солнце позолоты.

Сейчас комната выглядела светлой и просторной; всюду – на столбцах балдахины, карнизах и дверцах шкафа, на высокой спинке прокурорского кресла – весело лепетали резные дубовые листья, пересыпанные ядреными желудями.

Изголовье кровати, сработанное искусным резчиком, являло собой кавалькаду пышнотелых нимф, окру живших разнузданного сатира. Видимо, лет триста назад сей игривый барельеф служил хозяевам замка чем-то вроде возбуждающей картинки из «Плейбоя».

Вместо сорванной гардины голубело небо, усердно протертое вчерашней бурей, а откуда-то снизу (чудесное наваждение? ведь это не может быть записью?!) – поднимались «Дунайские волны» в живом исполнении симфонического оркестра – конечно, малый состав, но и того хватит, чтобы согнать ослика с его газона.

Откуда оркестр? Ну да, в прошлый раз Марк рассказывал о своем друге, дирижере местного городского коллектива: тот конфликтует с кем-то из администрации концертного зала, и потому по выходным дням Марк пускает оркестрантов репетировать в замке...

Музыка, несмотря на «волновую природу звука», не могла разбудить «принцессу на горошине», закутанную в портьеру, в одеяло, одетую в джинсы, майку и джемпер: слишком надежно упаковано это чуткое тело. Айя крепко спала: пунцовая щека, наложенная за ночь, даже на взгляд излучала жар.

Он тронул губами горячую бархатную щеку в ореоле золотых пылинок... не дождался ни единого движения в ответ и принял

за осторожные раскопки, бормоча:

– Безобразие... это археология какая-то... это какие-то римские колесницы, рыцарские латы... чертов пояс верности...

На последнем этапе раскопок она шевельнулась, заскулила сквозь сон, захныкала, выпуская из губ медленные:

– Н-ну-у-у... н-н-невежливо... дайте ребенку поспа-а-ать...

Как это – поспать, возразил он, терпеливо выкапывая ее из-под слоев старых пыльных портьер, разворачивая, распеленывая, как мумию, я археолог, у меня плановая расчистка местности. Шеф, у меня *персонал простаивает*, можете убедиться... И тихо, вкрадчиво высвобождая из-под завала белья, одежды и гардин ее горячее – обожжешься! – тело, ахая при обнаружении очередного *артефакта*, выцеловывая его и бормоча: «Герцль, где моя грудка?», приговаривая: «Вот старшая... а вот младшая... а вот и старшая... а познакомьтесь: моя младшая...»

– Боже, как строго на нас смотрит призрак прокурора из того кресла... Нет, только глянь на эту порнографию у тебя над головой... Слышь, нимфа?! Открой глаза. Если б у меня был такой... *персонал*, как у этого с-с-сати-и-ира-а-а... я бы пере... пел всех сопрано во всех королевских... – ... вдруг умолк, прислушиваясь к музыке, будто ожидая сигнала...

– Ну?! – учащенно дыша, выдохнула она; глаза уже открыты (светлый текущий мед, прозрачный янтарь в солнечном луче, зеленоватый, с вишневыми искрами): – Ау, персона-ал?!

И его разбойничий глаз, смола горячая, близко-близко к ее губам, а голова в профиль – к окну:

– Постой... это «Дунайские волны»... вступление... вот... вот сейчас...

И они накатили, эти волны, стремительные, жаркие, с качельными крутыми взлетами властного ритма, с этими божественными отяжечками (внезапными – для людей непонимающих), с кружением комнаты вокруг королевской кровати, с опасным (на раз-два-три) поскрипыванием полога над головой, с яростным лучом солнца, прожигаящим два тела на ветхом, но, черт побери, пурпурном, и значит, все же королевском бархате гардин... И несло, и кружило течение умопомрачительного вальса, всем составом оркестра внизу подхватывая и уверенно подводя *неудержимо вальсирующую пару* к заключительному аккорду финала...

– Стыдно признаться, – (это уже Леон, выравнивая дыхание, с академической миной на все еще разбойном лице), – но подобная упоительная сцена впервые проходит у меня в живом сопровождении симфонического оркестра. И надо сказать, в этом качестве с вальсами

вряд ли что сравнится!

Несколько месяцев спустя она будет бесконечно прокручивать в памяти несколько драгоценных кадров этого утра, каждый раз так больно обжигавших ее, что даже отец замечал что-то в лице и говорил: «Ну, прошу тебя... прошу тебя... просто не думай! Старайся не вспоминать...» Но она все крутила и крутила свои неотснятые кадры: вот они бегут (весь этаж в нашем распоряжении!), голые беспризорники, свободные от всего мира, бегут по бесконечным коридорам в ванную, такую же холодную, но уже залитую солнцем сквозь переплеты высоких, прямо-таки церковных окон; вот, запрыгнув в мраморную ладью и включив краны, поливают друг друга ледяной водой и вопят от холода, как дикари, от счастья вопят, от солнца, а потом Леон с остервенелым рычанием растирает всю ее обеими ладонями до пылающей, как от ожога, кожи и, завернув в халат, взваливает тюком на плечо и несет – «С ума сошел, во мне аж сорок восемь кило!» (видела бы она, пушинка, как в марш-броске он таскал на носилках Шаули...) – и несет чуть ли не бегом обратно в спальню, где проснувшийся Желтухин Пятый, путешественник и златоуст, закинув головку и раскрыв клюв, встречает их такой залиистой серебристой «овсянкой», что кое-кто из присутствующих мог бы и позавидовать...

* * *

А какой горячий шоколад подавали здесь на завтрак, какие воздушные рогаики!

– Жюль приносит из булочной, – пояснил Марк, словно они должны были знать и неизвестного Жюля, и эту булочную. – Масла не жалейте. Джем вот, клубничный-малиновый... – И добродушно добавил: – Жрите, жрите, голодранцы влюбленные. Мы слышали, как вы орали...

И еще часа полтора они сидят в этой кухне, залитой солнцем и богато оркестрованной медью (никогда бы отсюда не уезжать, тем более в этот проклятый Лондон), и, судя по ритмичным волнам, охватывающим тело тугими кольцами, музыка внизу все звучит, так что, беседуя, Леон и Шарлотта громко шевелят губами в споре. Что-то о Вагнере... какой-то мужской хор в финале... «Неизвестно, у кого он спер эту тему. А что? В то время плагиатом не брезговали. Вспомни: Беллини запросто воровал

мелодии у своего учителя Россини и одновременно, сука, писал на него доносы! А Вагнер... кстати, и с “Полетом Валькирий” есть некоторые сомнения у понимающих людей... Нет, я не потому, что он зоологический антисемит! Но согласись, что мелодические линии этих оперных сцен не свойственны вагнеровскому мышлению. Согласись!» «Ты хочешь сказать: “А был ли Вагнер?”». «Я хочу сказать, что он стибрил эти великие темы неизвестно у кого...»

Видимо, оркестр внизу играл именно Вагнера, тот самый мужской хор... Когда спор с Шарлоттой зашел в тупик, Леон вдруг подскочил к Айе, сорвал ее со стула, подхватил и увлек к окну. Толкнул приоткрытую створу и запел с вызывающим видом:

Der Gna-ade Heil ist dem Busser beschie-eden,
er geht einst ein in der Seligen Frie-eden!^[52]

...простирая руку картинным оперным жестом туда, где за каменными плитами двора осели от времени каретные сараи и давно опустелые конюшни с покосившимися башенками; где в огромной синеве утреннего неба купались отблески утра, а в пенном прибое легких облачков широким парусом двигалось умело поставленное облако; где на ближних холмах теснились еще прозрачные деревья замкового парка:

Hallelu-ujah! Hallelu-ujah! Hallelu-ujah!

Прижатая к нему всем телом, Айя задохнулась, чувствуя глубинную работу живых мехов, и, положив ладонь на грудь Леона, удивленно спрашивала себя: неужели это не бас? – такая резонирующая мощь вздымалась изнутри.

Зато звуковые волны, что накатывали снизу, из парадной залы, вдруг оборвались, и на террасу под окно высыпал состав всего оркестра – все одеты кто во что горазд, в джинсах и свитерах, в пиджаках и куртках. На запрокинутых лицах – изумление, восторг, веселая оторопь; и когда Леон умолк, струнники застучали тростями по декам – аплодисменты оркестрантов... Он слегка кланялся в высокой раме окна, поводил правой рукой, как бы разворачивая сердце к слушателям, левой по-прежнему тесно прижимая к себе Айю.

Наконец они собрались и, чтобы не отвлекать музыкантов, сбежали – по величественной мраморной лестнице, застланной дырявейшим на свете ковром, мимо мозаичного панно, где потускневшие рыцари Круглого стола с кубками в руках по-прежнему чествовали короля Артура, мимо застенчивых улыбок мраморных нимф, мимо грандиозной, прямо-таки соборной двери в залу парадных приемов...

Огибая кадки с чахлыми пальмами, прошмыгнули в оранжерею с дырами в стеклянном куполе и черным ходом выскочили в ослепительное утро, после чего минут пять еще искали свою машину, к которой их в конце концов привел – величавой походкой дворецкого – старый вежливый ослик.

– А что такое «аллилуйя»? – спросила Айя, когда они уже выехали из ворот, оставив позади мрачных грифонов в наверху въездных колонн. – Знаю, что молитвенное заклинание, но что означает само слово?

Леон помедлил и сказал:

– Оно означает: «Славьте Господа!»

– На церковнославянском?

Еще одна крошечная пауза:

– Нет. На древнееврейском.

И улыбнулся этой своей непробиваемой улыбочкой, подмигнул ей и нажал на газ...

Но и об этом она вспомнит гораздо позже.

Единственно, что раздражало его в Англии, – их пресловутые рукомойники с пробкой в сливе и двумя кранами, с ледяной водой и с кипятком: постояльцу почтенного заведения предлагается ловить обе струи и смешивать их в пригоршне, отдергивая руки, как лягушка лапки. Не брезгливые, впрочем, могут набрать в раковину воды и плескать в физиономию в свое удовольствие...

В остальном любил он и лондонскую публику, на редкость сердечную, и лондонские залы, и все это вычитанное из книг, сегодня почти мифическое *невозмутимое британство*... Когда оказывался здесь, накидывал, если позволяло расписание, еще день-два – на Британский музей, на концерты, а порой и на бездельное шатание куда *потянет* и с удовольствием глазел на каких-нибудь болванов, важно топающих

зимой в сланцах на босу ногу, а летом, наоборот, изнывающих от жары под шерстяными шапочками.

Ему нравилась и мгновенная смена здешней погоды – от проливного дождя до блеска яркого солнца, будто кто-то гигантский, вселенский смаргивал слезу и вновь таращился беспечной сферой голубого ока на британскую столицу. Нравились баржи и кораблики на Темзе, золотые отблески огней прибрежных баров на ее тягучей, как патока, воде; протяжные гудки и запах речного тумана...

Нравились чудесные летние парки с шезлонгами на каждом шагу, уютные старые пабы и то, что в центре Лондона можно обнаружить старый дом с садом, качелями и с каким-нибудь двухсотлетним буком, под которым жильцы спокойно жарят шашлыки и кол баски.

Как раз в один из таких старых домов, разве что без мангала под деревом, Леон предполагал наведаться.

Но накануне еще предстояло отпеть пару номеров в вечернем концерте в Кембридже, в знаменитой Часовне Кингс-колледжа.

* * *

Репетиция была назначена только одна и на утро, так что, прибыв на Паддингтон в вагоне «Евростара» в 8.45, они сразу угодили в нетерпеливые объятия встречавших, коих было трое (Леон пробормотал: «Вечная тройка военного трибунала»). Принимавшую сторону возглавлял и нещадно мордовал некий Арсен, доверенное лицо Филиппа в Англии – тот называл его «мой лондонский мальчик». «Мальчику» было за шестьдесят, но он всегда, в любое время года выглядел так, будто собрался на танцы где-нибудь в Буэнос-Айресе: щегольской, белый в полоску, костюм, остроносые белые туфли, платочек здесь, платочек там и неперменные дымчато-сиреневые очки в сиреновой оправе. У Арсена была страшная судьба мелкого бизнесмена, попавшего в мясорубку большого грязного бизнеса в начале 90-х где-то в Воронеже. Дикая судьба: убийство бандитами дочери-подростка, пытки в милиции, затем одиночная камера в тюрьме и что-то еще подобное, о чем он сам никогда не распространялся, но описывал в стихах. Да-да, и, говорят, очень неплохих стихах, по которым можно было восстановить цепочку чудес: освобождение из темницы фараона, перемещение в Лондон, воссоединение семьи... Леон не знал подробностей биографии этого, как говорил Филипп, «современного святого великомученика», потому что стихов не читал

вообще никогда и никаких. Но знал, что ушлый Филипп давно выдал Арсену большую генеральную доверенность в Англии.

Итак, Арсен представлял в этой троице интересы Леона и Филиппа; двое других представляли администрацию Кембриджа: пожилая полная дама русского происхождения и председатель какого-то там студенческого то ли совета, то ли комитета, не первой молодости парень («Называйте его Рик, он простой и свойский и к тому же, хи-хи, бывший хиппи»).

Встреча была ликующей, с ненужным и обременительным букетом цветов, несмотря на то что, как заподозрил и не ошибся Леон, все трое переругались, ожидая певца на перроне.

Кажется, больше всего их изумил Желтухин в своей медной карете: «О-о, какая птичка милая – это такой попугайчик?» «Нечто вроде». «Вы его из Парижа везли?!» «Да, это мой талисман: он вступает в паузах и держит ноту, пока я отдыхаю». Дама («Ольга Семеновна, но вы зовите меня просто Оля») округляла большие доверчивые глаза, потом спохватывалась и мило хихикала. «А ваша... э-э... спутница?» «Это тоже мой талисман. Она глухонемая, знаете, очень удобно для певца. Вы понимаете жесты глухонемых?» Испуганно-огорченные глаза: «О, нет, к сожалению...» «К тому же понимает она только по-казахски. Вы говорите по-казахски?» «Ой, н-нет, простите!» – И вновь – испуганно-виноватые глаза и мгновение спустя – понятливое хихиканье.

– Ну, поехали, поехали! – возопил Арсен. – Промедление смерти подобно! – У него была слабость к высокому штилю и командным замашкам. Филипп говорил: «Имеет право: биография страстотерпца, помноженная на советско-бандитское прошлое». – Нам бы до пробок успеть!

Нет, не успели: тащились и тащились, мечтая добраться хотя бы к началу репетиции, – уже не до освежающего душа. Впрочем, в конце концов все успелось и все устроилось.

Еще в поезде Леон предупредил Айю:

– Они пишут, что им «удалось ухватить» комнату в гостинице Кингс-колледжа... Сам колледж – ты бывала там? – действительно прекрасен: пламенеющая готика, башенки, щиты с гербами, каменные химеры, витражи и мрамор, все как полагается. Но комната будет наверняка с раздолбанными кроватями, заржавелым душем и отсыревшей стенкой в ванной. Да: и не иди на поводу их идиотских ритуалов – ну, там, нас пригласят ступить на газон: ходить по траве простым смертным почему-то запрещается, можно только профессорам и их гостям. Принципиально – не топчи травку. И ради всех святых, не поддавайся

на уговоры кататься на их дурацкой плоскодонке!

Все это их ожидало: и величественный замок Кингс-колледжа, и – перед башнями ворот – статный служитель в черной мантии с лиловым шарфом, свисающим ниже колен, и двор с первостатейным газоном размером с футбольное поле, и грандиозный собор, где вечером Леон должен был петь... Старая добрая Англия.

Навстречу – по диагонали через лужок – к ним направлялся меланхоличный пожилой парень в мятых брюках и оттянутом на локтях свитере.

– Ступите! Ступите на газон! – ликующим шепотом простонала Ольга Семеновна. – Какая удача, что мы встретили Стивена! Именно профессор Грэдли подписывал вам приглашение, значит, вы имеете право! Немедленно ступите на газон!

Неугомонные и радушные Оля и Рик повлекли их осматривать знаменитую обеденную залу. И было чем любоваться: стрельчатые потолки, витражи и гобелены, портреты королей и ректоров с неумолимыми лицами, старинные лампы над длинными рядами дубовых столов... Мрачноватая баронская пышность, неслышный шелест академических мантий.

Впрочем, дальше по коридору можно было расслабиться в другой столовой, видимо, для гостей – в комнатенке с пластиковыми столами, за одним из которых сидели два бородатых господина и, оживленно о чем-то споря, заглатывали серые макароны.

А номер оказался в точности таким, каким его описал Леон, все было на месте: две заботливо сдвинутые уютские кровати, заржавелый душ, застиранные полотенца и отсыревшая стена в ванной комнате.

– Молодцы! – сказал Леон с лукавым удовлетворением в голосе. – Только так и можно отстоять незыблемые ценности британской короны.

Арсен умчался, и можно было не сомневаться, что до вечера его ждет нескончаемая карусель самых неотложных дел («Интересно, когда он пишет свои пронзительные стихи?»). От остальных милых опекунов повезло ускользнуть лишь на время репетиции, когда Айя просто отсыпалась в номере. Но после полудня «наших гостей» вновь объяли радушным вниманием, потащив гулять по городку.

Ранняя весна (дымный солнечный свет, перламутровые стружки перистых облаков на слабой голубизне) уже окатила нежной зеленью буки, ясени, липы и дубы старинного студенческого городка. Неугомонными стрижами летали велосипедисты с корзинами на багажниках. В витрине магазина дамской одежды медленно крутились три безголовых манекена

на крюках – как туши в мясной лавке. Похожие на вертела шпили церковью пронзали облачную карусель, и в воздухе висел постоянно угасающий гул колоколов, мечтательный и стойкий, будто одна колокольная передавала другой дежурство по небу.

Бывший хиппи, а ныне, как выяснилось, физик-теоретик, заведующий одной из ведущих лабораторий Кембриджа – но все равно в сланцах на босу ногу, – потащил их кататься по реке Кем на знаменитой кембриджской плоскодонке. Леон пытался элегантно отвертеться: а если я упаду в воду и промочу свой голос? Грозно округлял глаза, исподтишка показывая Айе кулак. Но та прямо-таки вцепилась в это предложение, и вся компания потащилась по переулкам вниз, к лодочной станции. По пути добрейшая Ольга Семеновна – у нее были милые отзывчивые карие глаза, такие добрые, что пропадало желание дурачить ее шуточками, – торопливо втемняшила им *сведения и факты*: понимаете, соревнования и катания на плоскодонках – это важная часть кембриджской жизни! И важное противостояние с Оксфордом. Тамошние идиоты гребут, понимаете ли, сидя, зато мы стоим на корме и управляем лодкой с помощью шеста...

Она все время говорила это «мы», и хотелось расспросить, откуда она родом, в какой советской школе училась (он представлял ее на торжественной линейке, девятилетнюю, пухленькую, в белом переднике, ногти немилосердно обкусаны: уроки музыки, непременно «Полонез» Огинского...).

Тут и выяснилось, что Рик в гребле – настоящий ас, бывший капитан команды Кембриджа. Когда Ольга, опираясь на руку Леона, грузно опустилась на скамью, Рик, мягко оттолкнувшись шестом, послал лодку вперед, и по неширокой и неглубокой реке они поплыли под мостами, вдоль зеленых берегов, мимо старых ив, низко склоненных к воде, мимо лугов с пасущимися лошадьми, накрытыми не просто попоной, а целым одеянием, со штанинами... Леон сказал: «Смотри, лошадь в лиловой пижаме!» «Ага, – отозвалась Айя, – у меня есть несколько рассказов о лошадях, которые...» – проплыли, проплыли... В воздухе по-прежнему дрожал, умирая, колокольный гул, что напомнило Леону дом-бум колоколов монастыря Сент-Джон в Эйн-Кереме.

Наконец все затихло. В тишине только мерно вздыхала река шепотливым плеском...

Вдруг где-то возникло и стало нарастать: «Ха-ал ли-луйя! Ха-аллилуйя!..» Изумительное хоровое пение чистейшего тона разлилось по воде, растеклось по воздуху... «Ха-а-аллилу-у-йя!..»

Рик и Ольга завертели головами, ища ближайший собор или церковь с отворенными окнами: музыка была явно литургической, звучала мощно и стройно...

– Да нет, это где-то здесь, на воде, – сказал Леон. – Псалом «Super flumina Babylonis»...

Вот и тебе подарок, вот и тебе привет – именно здесь, в пятнах солнца на медленной воде...

Вскоре из-под арки каменного мостика выплыли одна за другой три плоскодонки, каждая опасно нагружена целым взводом парней – с ними-то Леон и репетировал утром в Часовне: калифорнийский юношеский хор в полном составе.

Голоса над водой звучали фантастически чисто:

...Si oblitus fuero tui, Jerusalem,
oblivioni detur dextera mea.
Adhæreat lingua mea faucibus meis,
si non meminero tui;
si non proposuero Jerusalem in principio lætitiæ meæ. [\[53\]](#)

– Не напелись пацаны, – улыбнулся Леон и сам же не выдержал искушения, страстного требовательного зова, и когда лодки поравнялись, вежливо расступаясь, чтобы не столкнуться, послал высокий и сильный свой, как тетива натянутого лука, голос поверх дружных полудетских голосов:

– Ха-а-аллилуйя! Ха-а-аллилуйя!

Хористы узнали его, лодки придержали бег, образовался некоторый затор. Пассажиры на других плоскодонках не пожелали уплывать, очарованные неожиданным бесплатным концертом щедрой капеллы.

– Халлилуйя-Халлилуйя! Ха-а-а-аллилу-у-уйя!..

И когда над водой растворился последний звук псалма, со всех сторон взамен цветов полетели аплодисменты, и «браво!», и восторженный женский крик.

И этот, и этот неотснятый кадр остался в памяти Айи навсегда: ажурные каменные мостики, зеленые луга с исполинскими тюльпанами, задумчивая лошадь в лиловой пижаме, едва оперенные дымчатые ивы на медленной реке, длинный шест в руках бывшего хиппи, с усердным лицом продвигающего плоскодонку по течению...

И лица румяных американских парней, с безмолвно ликующей «Аллилуйей» в губах, над безмолвно благостной водой...

* * *

Леон переодевался к концерту, тщательно, через носовой платок выглаживая отвороты фрака походным утюжком, с которым не расставался в поездках. Утюжок Айя видела впервые, и ее рассмешили точечные движения заправского портного.

– А мое платье погладишь? – спросила она лукаво.

– Конечно, – отозвался Леон.

– У тебя хорошо получается...

– Все лучшее, что я умею в этой низменной жизни, досталось мне от Стеши! – произнес он высокопарно. – Тащи свое платье...

И пока выглаживал вытачки-складки и подол, она обняла его сзади, уперлась лбом в его затылок...

– Я в детстве так жила – у папы на спине, на его огромной звучащей спине, это был мой дом, моя родина... Он играл в шахматы с Разумовичем, а я на нем висела. Иногда папа вставал и шел на кухню – со мной, как с обезьянышем...

– У тебя замечательный отец.

– Можно я останусь жить на твоей спине?

– Конечно, можно.

– Но как же ты станешь петь, *последний по времени Этингер*?

– На октаву ниже...

– Ты знаешь, что тебе очень идет фрак?

Он уже стоял одетый, отстраненный, окидывая и словно бы выпрямляя, выстраивая себя взглядом в узком длинном зеркале шкафа: поднимал и опускал руки, оттягивал книзу раздвоенный хвост манишки, будто примерял новый фрак у портного.

– Ты в нем такой стройный... даже высокий!

– Не смейся мою манишку...

– Ей-богу! Ты мне не веришь? Когда-нибудь, когда разрешишь, я сниму целый рассказ: «Голос». Начнется он так: ты голый распеваешься в душе – еще *домашний голос, росток голоса* в бедном теле...

– В бедном?! Это еще что за новости?

– ...а закончится – ты во фраке, в белой манишке, в бабочке...

под сводами собора на фоне органных труб. И тогда уже Голос – повелитель, Голос – ветер и буря, судный Глас такой...

Она помолчала и проговорила трудно, хриповато:

– Ты... ужасно красивый!

Леон расхохотался и воскликнул:

– Не произноси больше этой фразы, ради бога! Мне кажется, у тебя растут усики...

– Что-о?!

– Я это слышал от одной американки, с усиками. Мне было лет пятнадцать, я подрабатывал официантом, обслуживал их столик. Она притерла меня в углу возле дамского туалета. И чаевые сунула – целых пятьдесят долларов.

– Да ты что!

– Да... У нее были капельки пота над верхней губой, усики в росе... И произнесла она нечто вроде, насчет моей божественной красоты...

– О-о-о! А ты?.. – с восторгом допытывалась Айя.

– Кажется, от ужаса я кончил прямо там, с подносом в руках... А теперь живо одевайся, говорю в последний раз, потом отлуплю как сидорову козу!

* * *

Леону доводилось петь в некоторых церквах и соборах Англии, и он ценил здешнюю акустику – она была безупречной. В этих величественных зданиях, как правило, не требовалось «подзвучки» микрофоном, при которой акустика становится сухой и напряженной, теряя драгоценные обертоны, стреноживая полет голоса.

В Часовне же Кингс-колледжа, где он дважды пел на концертах Королевского музыкального общества, акустика была просто изумительной, благородно-бархатной: придавала его «звону в верхах» огранку бриллианта.

Да и сам длинный зал грандиозной Часовни, черно-белые плиты мраморного пола, благородные и скупые по цвету витражи, стрельчатый потолок, зависший на тридцатиметровой высоте скелетом диковинной окаменелой рыбы, и главное, великолепный орган с крылатыми ангелами, трубящими в золотые трубы, – все это подготавливало ликование Голоса, чуть ли не евангельское *введение во Храм*.

Сегодня Леону предстояло исполнить партию альта в баховской мессе

B-moll «Dona nobis pacem» на латыни и – что особенно он любил – «Dignare» Генделя.

Уже предвкушал благородную поступь органа, что сдерживает – благословляя! – моление рвущегося к небу голоса.

...Всегда смаковал эти гулкие покашливания, шелест нотных партий, приглушенные шаги последних, крадущихся на цыпочках к своим местам слушателей... Два-три мгновения волнующей тишины, и вот уже протяжная мощь органного вступления торжественно и грозно раздвигает золотые ризы:

– Di-igna-a-re, Do-omi-ine...

Три слога: первый скачок, секста вверх, плавное опадание на секунду... воля, простор, неимоверная благая ширь Господнего деяния – и струи пурпурных лучей хлынули, затопляя голубой, леденцовый, ало-желтый воздух собора.

Его мощный, гибкий и все же, как положено в духовной музыке, слегка потусторонний голос, мастерски сфокусированный, повисает в нужной точке пространства. Возможно, это и было секретом его удивительной власти над воображением публики: он всегда умело находил эту акустическую цель, внедрялся, прорастал и распластывался своим крылатым голосом, распространялся, овладевая всем воздухом, всей скрытой мощью собора, покрывая им огромные внутренние пространства...

– Die isto sine peccato nos custodire...

Лапидарный Гендель, по мнению знатоков соотносящийся с Бахом как Бетховен с Моцартом, здесь, в «Dignare», превзошел себя. Каноническая гармония отброшена, и от чуда модуляций на протяжении нескольких тактов под остинатные удары мурашки бегут по коже, будто вглядываешься в химеры Нотр-Дама.

– Miserere nostri Domine, miserere nostri!

Разве думал прагматик Гендель, уравновешенный мастер золотого, почти закатного барокко, что этот пустячок – чуть меньше двадцати тактов – спустя почти три века превратится в мировой шлягер!

«Dignare»... Не зря в старину давали классическое образование: латынь, пусть в объеме гимназического курса, латынь – жаргон медиков, теологов и юристов, золотая латынь, которую, как говаривала Барышня, попутно прикарманили итальянский, испанский, французский, да и английский с немецким... А вот попробуй найти аналог –

споткнешься! «Dignare»... «Удостой» – как в классическом переводе? Вряд ли. Скорее – «Сохрани в достоинстве, Господи, избавь от искушений».

– Miserere nostri Domine, miserere nostri!

Хорошо жилось тогда, в XVIII веке: чуть что – помилуй, Господи!.. А нам сегодня кого молить, у кого защиты искать?

– Fiat misericordia tua...

Его голос взбирается вкрадчиво молящим «Miserere!» все выше, все выше, как бы испытывая публику, вручая ей еще более высокую ноту своего беспримерного диапазона:

– Do-omine, super nos, quemadmodum speravimus in te... – как бы предлагая ступить вместе с ним на эфемерную лестницу, уходящую в такую запредельную высь, откуда не всегда и вернуться получается, *лестницу ангелов*, достойную, пожалуй, лишь легчайших шагов господних посланников, что снуют и снуют над головой спящего Якова, где-то там, где вырос и жил сам Леон:

– In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum.

Запрокинутое лицо Айи в зале... зачарованное – не пением, конечно, а чем же? Всем этим великолепием? Витражами, внутренним убранством Часовни? Да вот же оно, то лицо, на крайнем слева витраже, голубой лишь накидки на голове не хватает. Вот она, Мария Аннунциата, что встретила в Палермо, на холсте, в тот день, когда, сдавшись упорной мягчайшей осаде, он уже готов был сказать Николь слова, которых так долго она ждала – и не дождалась... Не дождалась! Что же остановило его? Предупредительно поднятая строгая ладонь: погоди, не торопись, угадай меня, узнай меня – вылови – на острове, в пропотевшей красной рубашке, со шрамом под лопаткой, с Желтухиным в истории угрюмой семьи...

Молящее «Miserere!» все исступленнее, все настойчивее вздымается и рвется к небесам, распахивает невидимые божественные кулисы: сначала пурпурные, кровеносные, струйные, наполненные самым низким тембром диапазона, затем солнечно звонкие, складчатые, ликующие переливы среднего регистра, затем полетно-лазурные, упоительные, выше которых, кажется, даже мечта, даже сон не взмывают... И наконец его бесплотный, невесомый, самый прозрачный его *белый голос* раздвигает последнюю невидимую завесу и растворяется в китовых ребрах гигантского потолка...

После концерта организаторы пригласили солистов и кое-кого из гостей на ужин в ресторан где-то на окраине городка: заведение, декорированное под деревенскую харчевню, предлагало здоровые мясные радости – запеченные свиные ноги, здоровенные стейки, рыбу, зажаренную целиком, с хрустящим картофелем. Здесь было дымно, тесно и шумно, весело наяживал, путаясь под ногами и задевая колени и локти сидящих, ансамблик-троица, скрипка-флейта-гармонь, и Леон, возбужденный, или, как говорила Барышня, «вздернутый» после концерта, приобнимал Айю какой-то *невидящей*, по-прежнему *концертной* рукой... Он еще не вернулся к ней, всем существом еще стоял там, под органными трубами, и она – неожиданно для себя – так смешно, нелепо ревновала и злилась, не понимая, как ей вести себя в этом частоколе чужих лиц и рук, чужих восхищенных губ и глаз, обращенных к ее Леону, посягающих на него. А он, разгоряченный, непохожий на себя, обольстительный, *женственный*... как он отдается этим восхищенным глазам и губам, так предательски им отзывается, впивая мед и патоку комплиментов, льнет к ним, продолжая обнимать Айю *невидящей* рукой...

На него налетели сразу несколько человек: утренний Арсен, в другом уже, голубом, но таком же легкомысленном костюме танцора танго, кто-то из университетских преподавателей, любителей-меломанов, какой-то важный достопочтенный сэр – учредитель фонда (он слышал Леона впервые и прилип к его правому боку, как мидия, так что хотелось его отлепить и закинуть подальше в невидимое море). Все эти послеконцертные контрдансы и экосезы были для Айи обескураживающей новостью. А Леон, похоже, чувствовал себя как рыба в воде и лишь иногда, спохватываясь, слегка приваливал Айю к себе и машинально накладывал в ее тарелку еще одну ложку какого-нибудь дурацкого салата, даже не замечая, ест она хоть что-то или сидит – чужая, пришедшая. Глухая...

У Айи не было ни сил, ни желания ловить гримасы, жесты и перепевы разных губ. Она устала. Она впервые побывала на концерте, да еще в таком подавляюще огромном соборе, впервые ощутила невероятную отдаленность, пугающую бестелесность Леона, когда ей казалось, что он уплывает под парусом органных труб и больше к ней не вернется; когда уже не верилось, что только вчера в их жизни был упоительный бег нагишом вперегонки по коридорам замка. Сегодня она впервые ощутила энергию его напряженных губ и языка, совсем иначе напряженных, чем в минуты любви... впервые пережила мгновения, когда чудилось – сейчас, на могучем выдохе, он поймет с оголенной ясностью: бремя профессии, да еще *такой* профессии несовместимо с бременем *такой*

любви... И когда все закончилось и она осталась сидеть на скамье в опустелом соборе, одна, уже не веря, что он вернется прежним, Леон вдруг появился внизу: прекрасно-концертный, юный, одинокий, встревоженно озираясь и обшаривая взглядом ряды скамей. И она вскочила с безумным воплем, а он припустил к ней, как мальчишка... Сейчас ей хотелось лишь одного: склонить голову на его плечо в строгом фраке и закрыть глаза; а лучше утащить его, обвить всем телом, проникнуть в него каждым росточком, каждой клеткой кожи. Но напротив, весело чиркая глазами в ее сторону, сидел высокий, худой, длинноволосый молодой человек, не желавший отпускать внимание Леона ни на минуту. И она сочла нужным приглядывать, чтобы у Леона все было хорошо, – вдруг этот парень чем-то ему нужен? Она не догадывалась, что именно Леон был нужен парню до зарезу, так нужен, что тот говорил и говорил, заглядывая в глаза певцу, а попутно улыбаясь и Айе:

– Подумать только: сегодня все искусство барокко кажется настолько уравновешенным, а ведь в семнадцатом веке под этим словом подразумевали чуть ли не «варварскую готику». Да совсем недавно Бенедетто Кроче в своей «Истории итальянского барокко» утверждал, что «историк не может оценивать барокко как нечто положительное», что это – «выражение дурного вкуса»!

Леон что-то отвечал, такое же заумное, что-то про *сознание современного человека, у которого в бэкграунде есть и Освенцим, и Хиросима, и пронзенные башни-близнецы*, так что любое барокко покажется чуть ли не музейным выражением чувств. Тот засмеялся и покрутил головой:

– Но, маэстро Этингер, ваше исполнение было далеко от музейного! И весьма далеко от уравновешенного. Я, знаете ли, сегодня вряд ли засну... Это удивительное сочетание в вашем голосе ангельской отрешенности и какого-то... не могу подобрать точного слова: дьявольского искуса, чуть ли не греха – чего-то преступного, обольстительного... простите, если вас это задевает... – И никак не отставал, и приглашал-соблазнял Леона... Какой-то там блудный сын или что-то вроде. – Я слышал диск с вашим «Блудным сыном», – торопливо продолжал он, – это стало для меня настоящим шоком! Я был под впечатлением недели две и, знаете... в одну из ночей вдруг меня осенило: а что, если иначе оркестровать эту ораторию? Добавить в нее голос мальчика, а? Чистый безгрешный альт. Вы же с вашим бесподобным *совратительным голосом* будете – знак греха, падения, душевной низоты... А в финале – дуэт этих двух голосов, как сама адская амбивалентность человеческой натуры, как два крыла

падшего ангела, где – и высота, и страшное падение в бездны порока...

– Мерси, – насмешливо-любезно отозвался Леон. – Значит, мне вы уготовили все самое ужасное, а какой-нибудь семилетний засранец, только что из подгузника, воспарит таким белоснежным ангелом? Симпатичная идея, ничего не скажешь...

А тот вроде и не слушал возражений певца, всплескивал длиннопалыми мосластыми руками, отбрасывал со лба длинный чуб, уговаривал, уверял:

– Но трактовка, согласитесь, оригинальная... Совершенно новый взгляд на тему. Все мы знаем эту притчу в евангельском варианте, у Луки. А ведь есть хасидская версия притчи, и там – послушайте, послушайте, это страшно интересно: там рассказывается, что в чужих странах блудный сын *забыл родной язык*, так что, вернувшись в отчий дом, не смог даже попросить слуг позвать отца. Тогда он в отчаянии *закричал!* И слепой старик-отец узнал его голос. Понимаете? Я представляю, как он – нет, вы, вы, маэстро! – запоет страшным голосом! Что?.. Нет, это я сам придумал, сейчас. И непременно воспроизведу этот крик! Представляю ваш потрясающий по силе голос грешника, припавшего к родному порогу! И – вопль, леденящий вопль отчаяния: внезапное *tutti* всего оркестра или хора, громкий аккорд на уменьшенном трезвучии! Помните, Масканьи в финале «Сельской чести» после бабьего визга: «Они убили кума Турриду!» – передает общий хоровой вопль в до мажоре? Между прочим, – понизив голос, заметил он, – метафора встречи отца и раскаявшегося сына в еврейской литургии связана с наступлением Нового года, когда всюду трубят шофар – ритуальный рог. Так вот, звук шофара символизирует и голос Блудного сына, как голос всего народа, взывающего к Небесному отцу в надежде на прощение...

Айя почему-то чувствовала – плечом, ладонью, гуляющей по колену Леона, что ему хотелось бы завершить этот разговор. Потянувшись к его уху, спросила:

– Кто этот зануда?

И он, слегка повернув к ней голову, беззвучно по-русски выплел губами:

– Композитор, очень талантливый, уже известный и, как полагается, – немного чокнутый.

Она кивнула и сказала:

– Очень хочется стать блудной дочерью. Может, смоемся?

Леон немедленно оборвал разговор с длинным занудой, извинился, поднялся и, чем-то отбредываясь, пожимая кому-то руки, кому-то кланяясь,

кому-то улыбаясь, с кем-то прощаясь, припадая к чьим-то щекам, рукам и плечам, стал отступать, увлекая за собой Айю. Вот еще остановка:

– Рик, старина, сегодняшняя прогулка по реке – незабываема! Вы разрешите позвонить вам когда-нибудь по сугубо физическому вопросу? Благодарю, потому что...

Наконец вышли на волю – в накрапывающий дождик, в желтоватое электрическое небо, исчирканное проводами и шпилями, загруженное зубчатыми стенами университетских башен, между которыми обезумевшим призраком неслась бледная луна. Темные улочки были затоплены мощной сладостной волной весенних запахов, мокрой травы, набухших почек – и они долго гуляли, немного заблудились, вышли к реке с витающими над ней легкими прядями тумана. Останавливались перед афишками, наклепанными на острия высоких чугунных оград, прочитывая их в свете фонаря и смешно выворачивая наизнанку фамилии лекторов и исполнителей (Леон так лихо присобачивал дикие имена и окончания к почтенным фамилиям, что Айя даже ослабела от хохота). Он то и дело строго вытаращивал глаза и говорил, что «перед Лондоном надо хорошенько выспаться».

Но, оказавшись в номере, продолжал колобродить, мотался из угла в угол, не снимая фрака, натываясь на кровати, очень много говорил, словно бы недопел, недовысказался там, когда стоял под органными трубами... Сидя в постели, Айя молча следила за его передвижениями, терпеливо ожидая, когда он утомится.

– Я украл яблоко! – вдруг вспомнил он, остановился и запустил руку в карман висевшего на стене плаща. – Хочешь? – Присел на кровать и протянул: – Кусай! А между прочим, то, что предлагал сегодня Вернон... ну, этот, хмырь лохматый, симпатичный псих, – то, что он предлагает сделать с «Блудным сыном»... это не лишено, знаешь, некоего пронзительного смысла...

И лишь когда они, откусывая по очереди, доели довольно вялый плод, Леон с каким-то сожалением стянул фрак, медленно снял рубашку, расстегнул и стащил бабочку – совершил обратные действия предложенного ему утром преображения Голоса, *до роста в бедном теле...* Разделся и лег, и она обняла это *бедное тело*, тихо поглаживая кончиками пальцев, чтобы *после своей музыки* он переключился на другой объект – на нее. Нежно поглаживала горло (вот здесь он живет, этот его таинственный голос? отсюда, что ли, растет?), грудь, медленно, томительно перемещая руку все ниже, вытанцовывая на его животе па-де-де своими балетными пальцами...

Вдруг, перехватив ее руку, Леон поднес ее к губам, поцеловал и уложил легкой рыбкой к себе на грудь, и ладонью прихлопнул... И Айя поняла, – рука ее неугомонная поняла: от его груди исходил покой до конца излитого чувства. Такой глубокий покой, что невозможно, бесполезно и даже грешно было его баламутить.

В тот вечер она впервые осознала, что у нее есть грозная соперница – Музыка; что после концертов (не всех, но тех, которых особенно ждет, перед которыми почему-то сильнее волнуется), он бывает настолько истощен – не физически, а душевно, – что на обеих его попросту не хватает; не хватает той могучей волны, что и в любви, и в искусстве выносит на гребень вздоха к вспышке ослепительной свободы. И впоследствии никогда не обижалась, чувствуя в нем это святое опустошение – куда полнее, чем после ночи любви... А с годами научилась понимать и предугадывать – гораздо чутче даже его самого – такие вот ночи; научилась принимать его потребность в одиночестве. И тогда молча прихватывала подушку и необидчиво уходила на кушетку в его кабинете: ей ведь с юности было абсолютно все равно, где приклонить голову...

Она приподнялась на локте и задумчиво проговорила:

– Сегодня было красиво. Ужасно красиво...

Он не сразу отозвался, не сразу понял ее – ведь в музыке сегодня было так много красивого; а сейчас она и сама была так волнующе красива в свете одинокого фонаря за окном, что мягко лепил тусклым золотом ее плечи, шею, ключицы и грудки-выскочки, придавая им целомудренное, чуть ли не иконное сияние.

Она пояснила:

– На концерте. Знаешь, была какая-то великая гармония между ритмами гигантских витражей, стрельчатых сводов этого устрашающего потолка и... ритмами музыки.

– А ты разве, – неуверенно спросил он, – неужели ты?..

– Я чувствовала шелест органных выдохов по телу, как дыхание кашалота, – торопливо объяснила она, – тяжкий, мерный, какой-то... преисподний зов в груди собора. И вдруг как подхватит, как... унесет к потолку! Такой ветер – кругами – внутри Часовни. И ты – в центре этой безумной спирали.

– А... мой голос? Хотя бы чуть-чуть...

– Нет, – сказала она честно. – Просто ты сам: одинокая душа в адском

молчаливом вихре; как Желтухин в буре.

– И всё?.. – прошептал он.

– И всё, – повторила она спокойно.

Он лежал на спине, а она пальцем рисовала у него на груди вензеля, безмятежно улыбаясь. Вмиг он вспомнил своего дауна Саида, доверчивое лицо, благостное неведение своей ущербности: «Ты всегда мне будешь рассказывать интересные истории? Ты останешься со мной навсегда, будешь моим братом?» Сердце вскрикнуло, будто кто-то сжал его в горсти, захлебнулось такой болью, что горло перехватил спазм рыдания, совладать с которым не было возможности. И он – вот стыдоба – рванул с кровати («черт, съел что-то!»), заперся в ванной и, до упора запустив холодную воду из крана, сотрясался над хлещущей струей в неудержимых молчаливых горловых спазмах, ополаскивая лицо холодной водой и без конца повторяя: «Бедная моя... бедная моя... бедная...»

5

Приютом странной семейки (он, она и *канарейка за копейку, чтобы пела и не ела*) Леон выбрал скромный *bed and breakfast* в центре Лондона, на тихой полукруглой площади, в окружении таких же маленьких гостиниц и небольших уютных сквериков с университетскими теннисными кортами. Гостиница, скорее пансион, принадлежала пожилой супружеской паре итальянского происхождения. Здесь был вышколенный персонал – молодые ребята из Латвии и Литвы, а небольшой холл каждое утро встречал постояльцев ошеломляющим ароматом лилий, ибо огромный свежий букет всегда стоял в высокой напольной вазе. Все уютно и неназойливо, три звезды и, что важно, три сотни подобных гостиниц по всему Лондону и его предместьям – запаритесь отлавливать Камиллу Робинсон с супругом и «попугайчиком»...

* * *

Подписание контракта в *English National Opera* (как же был горд Филипп, добыв его, горд, как курица, снесшая золотое яйцо, – и надо признать, это яйцо таки заманчиво поблескивало с разных сторон) – должно было состояться днем и занять часа полтора, включая ланч с директором и двумя спонсорами проекта.

На дружеский визит к кальсонам Энтони Олдриджа, известного музыкального критика и декана Королевской академии музыки, в сущности, хватило бы и часа. И этот визит состоялся и немало порадовал и Леона, и Айю, так как обещанные исторические кальсоны по-прежнему идиллически сохли на веревке над кухонной плитой.

Энтони Олдридж жил в Найтсбридже, одном из очаровательных мест старого Лондона, в старинном особняке на Монтпельер-сквер, некогда принадлежавшем кому-то из композиторов восемнадцатого века – то ли Уильяму Бойсу, то ли Томасу Арну.

(«Впервые слышу об этих достойных пацанах», – невозмутимо отозвалась Айя на воодушевленный рассказ Леона.)

Музыкальная и прочая публика посещала Энтони Олдриджа еще и из любви к истории отечественной музыки: по уверению хозяина, четырехэтажный дом бурого кирпича в георгианском стиле, с обязательным садиком вокруг могучего каштана, с XVIII столетия сохранился нетронутым.

Дом, который посещали Клементи, Мендельсон, Бриттен и еще с десятков звезд музыкальной вселенной, нехотя разворачивал перед гостями свои полутемные тесные комнаты с обоями «Уильям Моррис», с коричневыми, будто облитыми яичным желтком картинами, со старинным клавесином, письменными столами английского ампира, скрипучими лестницами, нелепыми тупиками и странными, никуда не ведущими переходами. Весь он был пропитан тусклыми запахами старого дерева, просмоленных балок потолка и сгоревших в камине дров. Тяжелые бронзовые люстры на корабельных цепях висели так низко, что даже Леон умудрился здесь дважды набить себе шишки. Запутанная топография жилища была притчей во языцех и у гостей, и у хозяев: «Если вы хотите в конце концов вернуться домой из ознакомительного похода по одной из страниц истории музыки, – говаривал Энтони, – вам следует вначале хорошенько изучить схему этажей и переходов». Схема была остроумно вывешена в подслеповатой прихожей.

Леон бывал здесь примерно раз в году, за компанию с Филиппом (тот притворялся с Энтони, хотя за глаза называл его «старым ослом»), и при всей своей отменной памяти помнил только гостиную с некрашеным деревянным полом и с камином в стиле «Джеймс Уайат» и – по коридорчику направо – кухню с вышеупомянутой чугунной печью и непременно над нею кальсонами. Отдельным аттракционом гостю предлагался обязательный визит в туалет: по преданию, там водилось какое-то музыкальное привидение.

Пока в гостиной Леон с хозяином обговаривали программу мастер-классов в Королевской академии музыки, Айя отправилась в свободное плавание по всем этажам, лесенкам, аркам-переходам и каморкам полутемного дома, мысленно чертыхаясь в яростной тоске по фотику: обнаружила пропасть невероятных вещей, например, огромную хромую царь-шарманку, расписанную грехами и ужасами в стиле Босха, а также старинный дамский манекен с оторопелым личиком без скальпа и ампутированной выше колена ногой.

На обратном пути заглянула и в туалет, милую викторианскую комнатку с веночками резеды на обоях. На подиуме урчал допотопный унитаз с высоко подвешенным, словно бы вознесенным на некий умозрительный олимп фаянсовым бачком.

Когда собралась выйти, обнаружила, что заперта, и минут пять ломилась в дверь, пока не сообразила, что это не козни пресловутого привидения, а проделки Леона. Она притихла, и он мгновенно отпер, рванул на себя дверь, выволок Айю в темный коридор и там облапил, дыша коньяком и приговаривая:

– Музыкальный моментик... пьеса Шуберта...

– Ты с ума сошел?! – прошипела она, отбиваясь и смущенно оглядывая коридор поверх его плеча.

– Никого нет! – сообщил он, сверкая в темноте своими ослепительными зубами. – Мы брошены на произвол привидений. Англичане, как известно, эксцентричны: даже из собственного дома уходят, не попрощавшись.

Выяснилось, что «старый осел Энтони» и правда вылетел из дому посреди разговора, внезапно вспомнив о каком-то срочном деле, так что еще минут сорок гости пили чай на хозяйской кухне, угощаясь яблочным пирогом (который сами и принесли), наперебой предлагая версии на тему вечнозеленых кальсон: «У него их две пары, он стирает их по ночам, деля с семейным привидением... Нет! Это мемориальные кальсоны Мендельсона: он оставил их здесь, обделавшись после встречи с...»

Именно яблочный пирог вкупе с распитой на двоих бутылкой дешевого хереса, обнаруженной в одном из хозяйских шкафов, окончательно их помирил.

...А ведь не разговаривали целое утро – пока на электричке ехали из Кембриджа в Лондон, устраивались в отеле и затем подземкой добирались до дома Энтони Олдриджа.

Вернее, она с ним не разговаривала: нарочно отворачивалась, чтобы не видеть его лица и не отвечать на вопросы, руку отнимала – рыцарь, закованный в латы своей глухоты. Но старый георгианский дом, и трогательные кальсоны над плитой, и туалет с привидением, и бутылочка трофейного хереса, распитая в отсутствие странного английского джентльмена... Словом, Айя не то что перестала сердиться, но смягчилась, повернула к Леону лицо, повела своей роскошной бровью – приняла Леона к сведению.

Дело в том, что на рассвете, еще из студенческой кельи в Кингс-колледже он самовольно послал с ее телефона короткую записку Фридриху. Для начала прощупать почву: «Фридрих, я в Лондоне. Можно связаться с тобой?» Спустя минуту (да что он, не спит в шесть утра?) телефон завибрировал – будто от ужаса или нетерпения. Пришло сообщение: «Дорогая моя девочка непременно появись! Жду-целую! Фридрих».

– Отлично... – пропел Леон, озадаченно глядя на краткое, но столько вместившее послание.

Да это же восхитительно, вы только вдумайтесь: «дорогая моя девочка»... его дорогая девочка... и «жду», и «целую»... Что это значит? Расчетливое заманивание? Но даже и тогда текст был бы другим. Значит, все эти «девочки» и «целую» были в обиходе их отношений?..

Ну, проснись только... только проснись! Тебе придется объяснить убедительнее, чем раньше, эту «дорогую девочку»...

И сидел голяком на краю уютной кровати, искоса рассматривая безмятежно спящую «его девочку», пока не задубел, как ледышка, так что холодный душ спартанской гостиницы даже не показался ему чудовищным английским издевательством.

А она, проснувшись, впала в ярость: да как он смел распоряжаться ее личным телефоном, пока она спала?! Да, договаривались, но у него нет никакого права без ее ведома!!!.. Даже в руки брать ее личные!!!..

«Фу-ты ну-ты, Манька-Карамель», как говорила Стеша.

И опять: «Я не-е в тюрьме-е-е, гра-ажданин нача-а-альник!»

Зато он на сей раз был невозмутимо холоден: просто объясни, мне очень важно – какие на самом деле отношения вас связывали. Мне важно, понимаешь? От этого зависит вся моя концепция...

– Па-ашел к черту со своей ка-анцепцией!

Что ж, коротко и ясно. И очень громко для гостиничных покоев Кингс-колледжа. И – хмурое молчание всю дорогу, и вздернутое плечо, и грубо отнятая рука... *Мегера, стерва, глухомань!*

Мог ли ты когда-нибудь себе представить, чтобы так ныло сердце от одной лишь идиотской мысли, что они, что у них... Когда-то было это – с Габриэлой. Но – дядя, где твои семнадцать лет?!

* * *

В Лондоне Леон предпочитал азиатскую кухню. Так что на Шарлотт-стрит выбрали маленький корейский ресторан. Наугад зашли, перехватить по сэндвичу.

На аперитив тут подавали соджу разных вкусов – дынный, лимонный, арбузный...

Рослый официант с непроницаемым лицом и короткой толстой косичкой на затылке принес большую бутыл темного стекла и принялся за обычный спектакль: скупым вращательным движением крутнул ее, потряхивая, откупорил и, уважительно сжимая в обеих руках, отлил чуток в бокал, после чего наконец разлил настойку в две специальные стопки для соджу.

Чем-то он похож на... Виная, думал Леон, провожая взглядом широкую спину молодого человека. Сочетание хватки и расторопности?.. Нет, не то, другое тут, другое...

Вдруг с удивительной четкостью, зрительной и звуковой, с целым павлиньим хвостом запахов летней левантийской ночи – мирт, жасмин и лаванда, которую старик обожал, – возник тот поздний ужин с Иммануэлем, перевернувший всю жизнь Леона. Желтая струя электрического света в голубом кристалле бассейна, шевеление над головами мощно оперенных опахал двух старых пальм и удивительно живое лицо очень старого человека в инвалидном кресле напротив.

– ...Я не говорю об оправдании убийства, я не о том... Слушай, цуцик, в конце концов, это действие имеет только один древний очевидный смысл: отнять у божьего создания жизнь, подаренную отнюдь не тобой. За это человек несет несмываемую каинову печать. Но! Есть ситуация, при которой убийство человека оправданно и даже вменяется в обязанность мужчине: если тебя преследуют.

Леон усмехнулся:

– Ну, кто меня преследует!

– Погоди, жизнь большая... – невозмутимо отозвался Иммануэль. – Я имею в виду преследователя, библейского «родэфа». Это положение юридически разобрано в наших святых книгах тысячи лет назад. Ничего нового ни под луной, ни под солнцем, ни вот под этим фонарем. Там ясно и просто сказано: «Убей родэфа – преследователя, который жаждет твоей крови. Убей его прежде, чем он успеет обрызгать руки твоей кровью». Собственно, этим ты и занимался – не в личном смысле, в более высоком. Надеюсь, до личного смысла дело у тебя никогда не дойдет. Надеюсь.

Как долго они ужинали в тот день и о чем только не говорили – если время от времени в памяти по разным поводам всплывают обрывки давнего спора... Будто там, над бассейном в доме Иммануэля, был составлен черновой набросок целой жизни, длинный перечень главных законов, единственный неотступный путь – по рваной кромке боли, – что никогда не давал Леону свернуть в сторону.

Он поймал себя на том, что, не отвечая Айе, разглядывает целый взвод больших бутылей на полках за спиной бармена. На каждой значилась фамилия постоянного клиента; однажды уплатив за целую банку, они держали ее тут же, в ресторане, от раза к разу опустошая.

– Прости. Что ты сказала?

– Ах, ты еще и глухой! – спокойно отозвалась эта язва. И жалостным, детски-канючьим тоном: – Я спрашивала тебя, жмотина: *а супец?*!

Она обожала супы; обед не считался обедом, если его не предваряла тарелочка с пахучим озерцом, исходящим слезкой пара. Леон вскоре даже перестал ее спрашивать, какой бы суп она хотела, так как отвечала она одно и то же, умоляющим тоном голодного беспризорника: «Погорячее!»

Расторопный официант понатаскал на их стол дюжину мелких плошек со всякой всячиной: корешки, травы, овощи... Разве что камушков, змей и сушеных скорпионов тут не было. В круглое отверстие в столе насыпал углей, поставил в них керамический черный горшок, и минут через пять заказанный супец, придуманный лично Айей, уже весело кипел: она азартно тыкала пальцем в плошки, сочиняя рецепт, дирижируя варевом, ахая и восклицая, в последний миг хватая руку повара с уже занесенной над горшком щепотью.

Молчаливый повар-бармен-официант невозмутимо добавлял в горшок все, что она велела.

– Колдовское зелье, – с восторгом повторяла Айя, – сейчас

попробуешь, что за чудо!

– Ну и как? – подозрительно спросил Леон, глядя, как с осторожным предвкушением она отправляет *в путь* первую ложку.

– Блаженство! – шмыгая носом, отозвалась она. Лоб ее мгновенно покрылся бисеринками пота. – Попробуй!

Леон попробовал и поперхнулся.

– Х-харакири без ножа, – он шумно *задышивал* огонь во рту. – Разве корейцы практикуют харакири? Надо спросить у повара. Кроме тебя этот дьявольский супец может хлебать только огнедышащий дракон...

Леон не ел слишком острого: он был воспитан, как говаривал сам, *на деликатной Стешиной вкусовой сюите, богато оркестрованной мелодическими обертонами сухофруктов, кисло-сладких мелизмов, взбитых сливочных форшлагов и ореховых подголосков.*

Между тем вездесущий Фридрих со своим письмецом старого сатира сопровождал их и в дом английских композиторов, и в корейский ресторан, незримо и надоедливо ерзал между ними, пил вместе с ними волшебную дынную настойку, хлебал с Айей невыносимо острый ее супец.

В конце концов Леон не выдержал:

– Ну хорошо, – сказал, сосредоточенно глядя в свою стопку, проклиная себя, что опять заводит эту шарманку, но не в силах заткнуться. – Хорошо, пусть это будет твоей тайной. Я понимаю, твоя личная жизнь... да, я не имею права на...

Она засмеялась, ложкой подхватила последнюю лужицу супа, отправила в рот и сказала:

– Господи, и с этим он с утра таскается, барахольщик! Вот дурак! Ну и последний же ба-ал-ван этот последний по времени Этингер! – Подперла кулаком щеку и смотрела на него в упор своими смеющимися блестящими глазами, не остывшими от горячего цунами корейского супца. Охала и повторяла: – Ну и дура-ак же мне достался...

А ему в грудь разом хлынуло какое-то птичье попискивающее счастье, под столом он накинудся на ее коленки, и она отпихивала его руки, повторяя:

– Ой, отстань, псих, истерик, синяя борода... Ты опрокинешь горшок! Прекрати, сейчас нас выведут!

– Супец! – сказал он. – Отныне кличка твоя будет – «Супец»!

И вновь, как совсем недавно, когда в одинокой беспомощной тоске мысленно обшаривал гигантские пространства в поисках этой глухой бродяжки, Леон чувствовал, что пропал, погиб, нелеп, смешон и связан...

И при этом счастлив, как последний дурень.

Когда, расплатившись, они поднимались по ступеням к выходу, Леон вдруг сказал:

– Погоди минутку!

Метнулся вниз, к барной стойке, и по спине его она видела, с каким увлечением он толкует о чем-то с барменом, за что-то платит и толстым красным карандашом выписывает на свеженаклеенной этикетке большой бутылки: *Etinger...*

– Я купил нам личную именную бутылку дынного соджу, – сообщил ей, когда они пешком возвращались в отель.

– Господи, зачем это?!

– Не знаю, – честно отозвался Леон. – Как-то вдруг захотелось. Будем время от времени приезжать, приходить сюда и выпивать.

Айя пожала плечами и заявила, что он чокнутый, что в Лондоне она намерена появляться не чаще чем раз в столетие, и «тогда этой бутылки нам хватит лет на пятьсот»...

* * *

Вернувшись в отель, они выстроили стратегию предстоящего разговора с Фридрихом: никаких записочек, никаких умолчаний, никаких прошлых обид и заноз; ты сегодня в другом социальном статусе, ты вообще – *другой человек*. Все сумасбродства – крашенные дреды, кольчуга на лице, рваные джинсы и наркотики – все к черту уплыло, все забыто. Сегодня ты вернулась в Лондон с женихом (именно, с женихом!) и, пользуясь тем, что... короче, там видно будет – вперед!

Сам набрал домашний номер особняка в Ноттинг-Хилле – он шел ва-банк. Из недр артистического реквизита был извлечен самый гибкий, самый доверительный, самый респектабельный голос:

– Господин Бонке?.. Добрый день! Ваш номер мне надиктовала ваша племянница Айя – вот она сидит рядом и передает вам нежный привет.

(Она не сидела, а валялась тут же на кровати: лежала на животе, искоса, из-под локтя наблюдая за Леоном, и по тому, как побелели костяшки ее пальцев, вцепившихся в подушку, было ясно, как она волнуется.)

Голос Фридриха в трубке – неожиданный: довольно высокий, но приятный и совсем не старческий. Да-да, он понимает, что Айя

попросила кого-то набрать номер, и благодарен неизвестному посреднику за эту любезность.

– В данном случае не кого-то, – с юморком в голосе (*и тепла, тепла побольше, ты разговариваешь с будущим родственником!*), – не посредника, а своего жениха.

– О-о! Да что вы! – Шуршание, переключивание трубки из руки в руку, прикрытая ладонью мембрана и шипение в сторону: «Ты же видишь, что я разговариваю!» – Какая приятная новость, и так удачно, что именно сегодня...

– Дорогой Фридрих... могу ли я вас так называть?

...Это ничего, что мы перебиваем старших, мы же волнуемся, чутки порывистости и нетерпения артисту не повредит: артист еще молод, избалован вниманием публики...

– Дорогой Фридрих, Айя всегда так тепло говорит о вас и очень переживает, что досадные обстоятельства...

...Голос Фридриха что-то пытается, но мы не дадим, наш доброжелательный напор, свойственный эмоциональной натуре, простителен артисту... Именно: ты избалован успехом и глуповат, прости господи. А теперь имя, имя, и дальше уже ходу нет:

– Да, я же забыл представиться, вот невежа: мое имя Леон Этингер, я оперный певец, и если вы любите оперу, возможно, когда-нибудь...

– Боже мой! Лена, Лена! Ты не представляешь, с кем я говорю!.. – И торопливо: – Это я жене, вот кто безумный оперный фанат. Но главное: мы же слышали вас в Венеции! Ведь вы пели в этом соборе, как его?.. Такой огромный, круглый, на стрелке острова... господи, надо же, вылетело из головы – название во всех путеводителях! Меня жена потащила, а я, грешным делом, невольник чести в этом вопросе. Сопrotивлялся, конечно, но куда в Венеции вечером пойдешь! И уж на что без слуха, но ваш голос... это, знаете, сильное впечатление! – Он говорил без умолку и, видимо, вправду был озадачен и поражен...

...Чем же? Совпадением? Сочетанием несочетаемого? Странностью нашего союза? И как ни крути, вот уж действительно удача – этот «Блудный сын» в Венеции! Сколько сюрпризов ему уже принесла оратория забытого Маркуса Свена Вебера!

И прав Натан, прав: как драгоценна подлинность факта, как тверда реальная почва, как точна музыкальная тема: ни единой фальшивой ноты. Ах, какая удача – Венеция!

– Вот уж сюрприз! – не успокаивался Фридрих; его странное возбуждение казалось Леону преувеличенным: да, приятное совпадение, достойная партия девушке с проблемной, мягко говоря, юностью и проблемным грузом настоящего... Но не слишком ли радуется этот дядя... впрочем – дедушка, дедушка! – Слушайте, моя жена просто сойдет с ума от счастья! И я так рад, что Айя... кстати, как она, моя дорогая внучатая племянница?

– По-моему, прекра-асно, – Леон раскатал интимный смешок в самом низком своем регистре, – а иначе разве я предложил бы ей руку и сердце!

И оба рассмеялись: дуэт мужского смеха, каждый со своей подспудной партией. И тема Фридриха... Острый, проникновенный слух его собеседника улавливал тончайшие обертоны в волнующей партии этого несколько растерянного солиста.

Сейчас уже у Леона не было никакого сомнения, что угасающий самец на другом конце провода в бешенстве, в ревности и одновременно в ожидании встречи с «дорогой девочкой». В эти минуты он уже не сомневался, что «двоюродный дедушка» (вздор, тот был мужиком в расцвете сил, когда впервые увидел пятнадцатилетнюю Айю, да и сейчас не так еще стар!) все эти годы был безнадежно в племянницу влюблен и попросту разумно держал себя в узде.

Что, что его сдерживало: упрямый и неуправляемый характер девушки? Защитительная целостность глухоты – священная плева этого кокона беспощадной природы? А возможно, именно в своем добровольном отречении от нее Фридрих ощущал себя так называемым порядочным человеком? Ее отец Илья Константинович – вот кто должен был сразу учуять эти нечистые токи и наверняка учуял, недаром даже перед чужим человеком обронил что-то о своем неприязненном отношении к «немецкому родственнику»...

А ты бы?.. – спросил себя Леон. – За свою дочь порвал бы любого в куски! И будем надеяться, оперный ты отелло, что предусмотрительная природа в твоём случае распорядится снисходительно, послав тебе не дочь, а парня, на которого ты и внимания обращать не...

– Но звоним мы, собственно, вот почему. Айя помнит, что сегодня у дяди Фридриха день рождения, и просит пожелать ему...

– Ка-ак! Но разве вы не навестите нас вечером? – Искреннее огорчение в голосе. – Да я и слышать не хочу! У нас сегодня совсем небольшая компания... только свои, домашние... парочка друзей. Я тут недавно

перенес операцию – так, ерунда, запчасть сменили к моторчику, на шумные приемы пока не настроен. Но Айя... Айя – она-а... особая тема, и...

Да, по некоторым вибрациям в его голосе, которым Фридрих, между прочим, отлично владел, чувствовалось, что Айя – тема особая. Поддержим, усилим, подкрутим часовой механизм, пусть потикает в твоих висках и ревность, и изумление. (Леон на секунду прикрыл глаза и с внезапным волнением подумал: вот ты, дядя, еще увидишь ее сегодня, увидишь!)

Минуту-другую отвел на традиционные пируэты: нам не хотелось бы врываться в узко-семейный... И слышать не желаю, мы же без пяти минут родственники! Будьте добры, никаких отговорок, не огорчайте мою жену: вечером мы вас ждем, и точка!

Ну, в таком случае, конечно, мы принимаем... и *до-ми-соль-до*... да-да, часов в семь... да, разумеется, она помнит адрес... и *ре-фа-ля-до* *диез*... Ну, так до вечера?

...Еще несколько ровным счетом ничего не значащих легких арпеджио и – мажорный аккорд с утопленной в басах темой рока...

Трубка положена на рычаг.

Айя вскочила с кровати, молча принесла из ванной полотенце, молча вытерла ему лоб, шею, даже грудь в расстегнутой рубашке.

– Пожалуй, я душ приму, – проговорил он. – У меня ведь подписание контракта, причем важнейшего, черт побери!

Ни о каком «важнейшем контракте» ни мозг его, ни чувства в данную минуту знать не желали.

– Но каков его русский!

– Я тебе говорила, – отозвалась она, бледная, притихшая и почему-то худенькая такая в этом махровом гостиничном халате.

– ...Каков русский... – задумчиво повторил Леон. И кивнул на клетку, в которой лениво попискивал Желтухин Пятый: – Пусти полетать этот «подарочек». У него сегодня премьера...

Улица была типичной для Ноттинг-Хилла: *terrace houses*, длинные блоки, разделенные на секции сравнительно узких четырех- и пятиэтажных домов: выпяченные, как пивное брюхо, эркеры, ступени к высокому крыльцу парадного входа, полукруглые оконца мансард, губные гармошки коротких дымоходов на крыше; ну и традиционные

«коммунальные садики» позади дома.

Но особняк Фридриха и Елены был чуть глубже утоплен в зеленой поросли кустов и стоял наособицу, завершая полукруг улицы. Позже, оказавшись внутри дома, Леон догадался: кто-то из бывших хозяев просто объединил два коттеджа в один, что дало неожиданный внутренний простор помещений, с улицы незаметный.

С улицы, как и говорил Натан, ничего вызывающего: четырехэтажный дом, выкрашенный в приятные цвета, кофе со сливками. На проезжую часть смотрят два просторных эркера со старыми стеклами в желто-лиловых медальонах. Изящный кружевной портик над входной дверью с двумя белыми колоннами, полуподвал, образованный веками поднимавшейся мостовой, и умильный, крошечный, чисто английский палисадник, огороженный низкой кованой решеткой... Хороший вкус, достойные деньги, проросшие в благопристойную жизнь благополучной лондонской прослойки.

Помолвленная пара тоже выглядела благопристойно, даже немного официально; чуть официальной, чем следовало для семейного вечера: «Видишь, ты спрашивала, к чему мне еще серый костюм, пиджаком обзывала. А на такой вот случай ничего лучше не придумаешь».

Ее-то он одел в «Хэрродсе» – а где же еще? – попутно выяснив, что она ни разу (!) не бывала внутри культового универмага.

– Как?! Прожив в Лондоне столько лет, не заглянуть в это грандиозное сельпо, где продается все, от самолета до живого крокодила?!

– И что б я там покупала: какое-нибудь модное дерьмо за пять тыщ фунтов?

Романтический памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду при первом же взгляде окрестила «Рабочим и колхозницей» – Леон чуть не помер от смеха там же, на эскалаторе...

И уж он покуражился – и над Айей, и над продавщицами модного дома «Nina Ricci», медленно перебирая модели на вешалках, щупая материю, заставляя принести то и это, заглядывая в примерочную, где раздетая и босая Айя перетаптывалась на коврике, почему-то не решаясь послать Леона к черту. Передавал ей то черную юбку, то голубую блузу, то какую-нибудь легкомысленную «фигарошку»... И, окидывая «модель» мимолетным и отстраненным взглядом, непрерываемым тоном бросал:

– Снимай. Не годится...

– Ну почему, почему – не годится?! По-моему, нормально...

– Я сказал – снимай. А зеленое платье не уносите, мэм, мы его еще не примеряли... – И, отдернув тяжелый занавес на кольцах, вбрасывал на руки Айе очередную тряпку: – Держи тремпель!

– Что?!

– Тремпель! Вешалка. Харьковское словечко, имя фабриканта. Не веришь – спроси у дяди Коли Каблукова...

Наконец одобрил платье серовато-жемчужного то на с коротким пиджачком: никаких вольностей, подол чуть выше колен, на ногах – классические лодочки. Выволок Айю из примерочной, одернул сзади пиджачок, сдул пылинку с воротника, огладил плечи, слишком подробно принялся расправлять складки на груди, попутно получив по рукам.

– Я как... референт президента фирмы по изготовлению пластмассовых контейнеров, – заметила она, втайне с удовольствием оглядывая себя в зеркале, уходящем к лепным гирляндам потолка и чуть удлиняющем фигуру; костюм уже не хотелось снимать никогда. – Слишком чопорно, нет?

– Точно, – отозвался он, окидывая ее оценивающим, каким-то отстраненным взглядом-махом. – Это нам и нужно. И чтобы это впечатление разбить, мы украсим тебя изумрудными сережками.

– Это еще зачем?! – возмутилась она. – Только деньги на ветер, с ума сошел!

– Цыц, – задумчиво обронил Леон. – Именно: изумрудные сережки, небольшие, но недешевые. Подарок жениха... Ее надо убить.

– Кого?! – испугалась Айя.

– Твою врагиню, – ответил он ласково, но с такой улыбочкой, что ей стало зябко. – Эту гадину Елену.

– Леон, послушай...

– Молчать!

И сережки были куплены в ювелирном магазине на Портобелло-роуд, и что поразило Айю – именно такие, какие Леон ей расписывал по пути: трогательные изумрудные слезки в окружении мелких, но чистых бриллиантов. (Более всего ее изумляла стрелковая точность и скорость, с какой он выбирал вещи и их оплачивал: пришел-увидел-оплатил.)

Впрочем, когда она *прочитала* цену товара в губах продавца (серьги оказались антикварными, первая половина девятнадцатого века), они с Леоном чуть не подрались прямо там, в магазине. Она хватала его за руки, подпрыгивала, пытаясь вырвать у него банковскую карточку...

– Впервые вижу, – заметил высокий лысоватый продавец, меланхолично наблюдая за этим боем быков, – чтобы девушка так

сопротивлялась подарку.

Леон, победно улыбнувшись – как улыбался Исадоре наутро после водворения Айи в доме на рю Обрио, – пояснил:

– Это моя невеста.

– О, понятно, – отозвался тот невозмутимо. – Мисс примеряет должность охранительницы семейного кошелька.

Но именно эти серьги (и изумрудный ремешок к платью, и такой же – к новым часикам) придали ее слегка официальному облику строгое и нежное очарование, и пока пешком они возвращались в гостиницу, Леон раз пять останавливался, разворачивал Айю к себе, щурился, окидывая всю ее фронтальным, продленным, влюбленно-собственническим взглядом (одесский негодант с супругой по пути в синагогу Бродского), щелкал пальцами и говорил себе: «Да! Изумительно!»

* * *

– Будь естественной, улыбайся – ты показываешь жениху ностальгические места своей юности. Два окна на втором этаже – чья это комната?.. Ага. А на третьем?.. Ясно...

Минут двадцать они потратили на «небольшую прогулку» по узкой дорожке позади дома. Капитан Желтухин попискивал, восседая на жердочке (матрос в «вороньем гнезде»): радовался легкой качке и узористому бегу теней сквозь прутья клетки, которую несла Айя. Клеточка убога, не для дарений, да... Ничего, сошлемся на иногородность: «сами мы не местные».

Искоса, не поворачивая головы, Леон осматривал коттедж, наполовину укрытый узловатыми ветвями старого бука. Надо полагать, летом с улицы дом полностью скрыт за густой листвой. Калитка садика наверняка заперта, высокая поросль кустов зажелтевшего дрока естественным забором отсекает частное владение от прохожих.

Прогулочным шагом они обошли квартал и наконец поднялись на крыльцо под чугунно-вязаный, будто пером каллиграфа писанный портик парадной двери. А как горят на солнышке начищенной бронзой почтовый ящик и почти интимная розочка с сосочком звонка!

– Подожди... – Айя перехватила руку Леона, уже готовую жать на кнопку. – Скажи только: какого черта мы носимся с кенарем? Зачем, что ты задумал?

Он нежно пробежал пальцами по ее щеке, подмигнул... А лицо чужое-

чужое... и все мышцы напряжены и приведены в состояние боевой готовности: значит, опять будет лгать и изворачиваться. Ей захотелось протянуть руку и с силой провести по его лицу, разминая, разглаживая эту лукаво-холодную маску.

– Воительница моя, амазонка... ты обещала быть незаметной.

– Я боюсь тебя! – выдохнула она. – Ты сейчас такой, как на острове. Что у тебя на уме, кому там собираешься горло сдавить? – И взмолилась: – Леон! К черту их всех, уедем отсюда куда хочешь, немедленно и навсегда.

Он резко втянул воздух сквозь сжатые зубы, отвернулся, а когда вновь повернулся к ней, она увидела в его лице такую подавленную ярость, такое презрение, что отступила на шаг.

– Хорошо, – ровно проговорил он с этой ледяной улыбочкой. – Мы сейчас уйдем. А ты и дальше – скрывайся, садись в третье такси, меняй береты на платочки. Делай «куклу» и живи по водительским правам Камиллы Робинсон. И так до конца жизни или пока не убьют... Послушай, детка, может, тебе это нравится? Может, это твой допинг, а я напрасно суечусь, лишая тебя развлечений?

Она молча опустила голову, и он молча ждал, не помогая ей ни словом, ни движением. Разглядывал ее незаинтересованно, как прохожую, – черные беспросветные глаза скупающего хищника.

Он знал эти приступы тошнотворного страха перед последним шагом в пустоту, в зыбистую трясину опасности, сам проходил не раз, когда мысленно крался вслед за своим «джо», посланным в пульсирующий язычками огня, набухший ненавистью район действия... Страх Айи ощущал всей кожей, всеми нервами; ужасно за нее переживал, но ничего поделать не мог: она должна была справиться сама, решиться, принять это сражение как свое.

Ну, вот она молчит, и между ними – тысячи километров. А ведь она не произнесла своего «да» на его тихие слова – там, в кухне на рю Обрио. Она только плакала, а ее слезы – это просто божья роса.

Он предпочел не знать (и никогда бы не спросил), что там она себе говорит, как себя ломает; просто понимал, что вот сейчас, на этом крыльце, за эти две минуты между ними все и решается...

Вдруг она подняла к нему лицо, горестное и одновременно решительное, и по глазам, по губам он понял, что выиграл.

– Ты глянь, – сказал, – вон больная ворона кряхтит.

Айя обернулась. На чугунном копье ограды парка через дорожку

сидела взъерошенная ворона и натужно вытягивала шею, будто пыталась что-то сказать; клюв разевала – длинный и острый, как хирургический пинцет, явно неможилось птице...

Когда – уже сама – Айя решительно потянулась к дверному звонку, Леон перехватил ее руку.

– Нас могут рассматривать из дома... – сказал он, улыбаясь одними губами. Взгляд его – горячая смола – растекался по каждой ее жилке. – Поцелуй-ка меня, ворона... веселей!.. Вот так.

Когда приблизились ее губы, пробежал по ним невесомым шепотом:

– Ничего не бойся, просто будь рядом.

Она молча кивнула. Уходящее солнце скользнуло по ее лицу последней волной, плеснув тихого золота в виноградно-янтарную зелень глаз.

Леон отстранился, большим пальцем мазнул по ее скуле, убирая слишком густо положенный тон темной пудры, беззвучно проговорил на легкой улыбке:

– Супец! Я на тебя надеюсь.

Она кивнула.

– Это – наш с тобой шанс, и другого не будет.

И опять она послушно кивнула.

– Теперь – звони!

Открыл им тот самый описанный ею восточный джинн с перекореженной физиономией, с удивлением в когда-то задранной, да так и рассеченной брови, с черной жесткой челкой, придававшей этому дикому лицу нелепо женское выражение.

Чедрик – телохранитель, привратник, прислуга, порученец и черт его знает, кто еще. (Леон вновь поразился острой наблюдательности Айи, тому, как точно она описывает внешность, осанку, повадки человека. Опять мелькнуло: если б не было этой *бат-левейха*^[54], ее бы следовало придумать.)

При виде Айи Чедрик молча вытаращился, хотя явно был предупрежден.

– Что, бульдозер, не узнал? – спросила она. – Давай обыщи нас, бифштекс рубленый!

Это она незаметной обещала быть. Хорошенькое начало...

Но по выражению понурой физиономии громилы понял: все правильно, молодец, *казахская хулиганка!*

На ее хриловатый голос в прихожую вышел Фридрих, и – мысленно сказал себе Леон – «занавес поехал»...

Он любил эти первые мгновения распахнутой сцены – всегда похожие на первое обнажение желанной женщины, когда ты жадно охватываешь взглядом всю ее, такую новую, неожиданную и все же страстно ожидаемую. Сцена обнажена, и необходимо подметить на лету все мельчайшие детали, и все уже неважно, ибо вот твой выход, действие мчится, ты посылаешь свой первый звук, первую ноту, первую фиоритуру... А взгляд все мечется, вибрируя и вбирая попутные детали, ибо ток действия еще не захватил публику настолько, чтобы сосредоточить внимание на самом главном: на собственно твоей партии в сложнейшей партитуре.

В фокусе его как бы раздвинутого увертюрой взгляда оказался Фридрих, сильно постаревший с того дня, как Адиль демонстрировал ему монеты Веспасиана: поредевшая волна зачесанных назад седых волос, нездоровое скуластое лицо с желтоватой кожей. Но все еще подтянутый, плечистый, крупный мужчина; да, к семидесяти, и все же – не старик пока. Не старик! И так небрежно-ловко сидели на нем темно-синяя вельветовая куртка свободного кроя, приятно перекликаясь с яркой сединой, и такие же свободные вельветовые брюки, и бледно-голубая рубашка с расстегнутым воротом. Правду сказал, мысленно отметил Леон: никакого протокола, домашняя вечеринка, почти семейный ужин.

Что сильно мешало сосредоточиться – избыточность этого яркого дома, избыточность во всем, начиная с прихожей, с ее пестрящего, черно-белого, как в голландских домах, шахматного пола; с двойных витражных панелей, сейчас разведенных по сторонам, так что полукруг лестницы, оббегающей холл, увлекал взгляд дальше – к витражам площадки второго этажа.

В проеме открытой двери за спиной хозяина просматривалась часть гостиной: и там уже взгляд притягивал и завораживал рисунок персидского ковра на полу – редчайшей красоты и сложности, так что казалось кощунством по нему ступать. Цветовая гамма этого поразительного ковра (через минуту выяснилось: простертого от стены до стены) была настолько изысканна и строга и в то же время насыщена десятками оттенков розового, бежевого и доминирующего синего, что если бы в комнате этой совсем не оказалось мебели, при такой полной и напряженной жизни цвета внизу она бы вовсе не казалась пустой. Но мебель была, и под стать ковра: виднелся фасад явно антикварного буфета в персидском стиле (красное дерево с бронзовыми вставками и перламутровой россыпью инкрустаций),

обитая синим шелком оттоманка, тонконогой газелью присевшая на ножках; восьмигранный торшер в стиле Тиффани...

Там же проплыла чья-то полосатая мужская спина, женская рука с бокалом (искры колец едва ли не на каждом пальце). Но это – там, там, в гостиной (сценическое действие разворачивалось, мчалось одновременно в нескольких регистрах, в оркестре вихрилось несколько разных тем); здесь же, в холле, хозяин с застывшей улыбкой смотрел на новую, совершенно иную, *нежно-персидскую Айю* (как точно подобраны ее сегодняшние цвета, браво, мельком похвалил себя Леон, – жемчужно-серый в одежде, и изумруды под дымчатую зелень глаз, и даже эта бледность кстати, и перламутр ее побелевших от напряжения губ).

Леон своим цепким взглядом буквально узоры по лицу Фридриха вышивал, видел, что «Казах» поражен, повержен, что глаз от внучатой племянницы не в силах оторвать, на спутника ее даже не глянул...

Да: все угадано верно. *Твоя проклятая интуиция.*

И не стоит так яриться, парень, можешь лишь посочувствовать мужику и втайне его даже благословить: возможно, лишь благодаря этой его слабости Айя еще жива.

Она же при виде Фридриха инстинктивно отпрянула к Леону, опустив и заведя за спину клетку с Желтухиным. Все это – в круговерти считанных секунд, которые все длились, как длился взгляд хозяина дома, вначале заметающийся, затем растерянно зависший над собственной гостеприимной улыбкой.

Стиль – радушные родственные объятия – явно был продуман заранее: шагнув к девушке, Фридрих осторожно обнял ее, огладив плечи, скользнув ладонями к хлястику пиджачка; сплел пальцы у нее на талии и чуть привалил к себе, приговаривая:

– Вот и хорошо, вот и правильно, и пусть все наше плохое останется в прошлом...

При этом ритуал знакомства с женихом ни на йоту не пострадал: большая доброжелательная рука в руке Леона (мягковата для персонажа из воспоминаний Кнопки Лю; впрочем – недавняя операция, да), нужный градус улыбки на пороге гостиной, уже густо населенной голосами на едва слышимом фоне – черт побери, что за демонстративный книксен, что за дурной тон! – на приглушенном фоне неаполитанских песен в его, Леона, исполнении. Довольно старая запись, но из удачных:

«Dalla terra dell'amo-o-o-re... Hai il cuore di non torna-a-a-are?»

Интересно, кто из них решил, что певцу будет приятно накачиваться

спиртным под собственное верхнее «до», прикрученное до пианиссимо?

Вот она, эта комната, где когда-то Айя возилась со своими так и не завершенными «Снами о прекрасной Персии». Дверь в кабинет Фридриха сейчас надежно закрыта – и это понятно, к чему демонстрировать сугубо профессиональную жизнь хозяина? Еще одна дверь... куда? Вероятно, в столовую, и там что-то звякает, кто-то шаркает, двигают стулья, накрывают стол к семейному ужину... Откровенно и приятно пахнет едой, что редкость в современных лондонских домах подобного уровня; в этом томлении нежного бараньего мяса угадываются ароматы специй Старгородского рынка Иерусалима. (И как сердце захолонуло: сейчас бы в харчевню старого Косты, да голубя заказать, фаршированного лесными орехами!)

В камине, облицованном иранской керамической плиткой (как знакомы иерусалимскому глазу эта лазорево-бирюзовая гамма, эти мотивы, коими переполнены арабские лавки Старого города: всадник с луком и колчаном стрел, конек-горбунок вздыблен, шея бубликом; охотник с соколом на сгибе локтя; пестрые стаи пузатых базедовых рыбок с вуалями хвостов; и – довольно редкий мотив – нежно-лимонный кенарь в кусте жасмина), – в камине, несмотря на теплую погоду, по синтетическим поленьям перепархивают голубовато-белесые огоньки встроенной газовой установки. Приятным пригласительным полукругом расставлены перед огоньком четыре низких викторианских кресла со стегаными спинками. Вся противоположная стена тесно – впритык – закрыта высокими книжными шкафами с затемненными стеклами в частых переплетах.

И глаз уже одобрительно выхватывает несколько бюстов работы Рубийяка на шкафах: Мильтон, Шекспир... Наполеон... и сумрачный горбоносый Данте в остролистом частоколе лаврового венка. Паросский мрамор, старомодный кабинетный шарм.

Так и тянет туда – пробежать глазами, прощупать корешки, извлечь книгу, полистать, вновь поставить на полку – к чему это? совсем не ко времени...

Обилие всюду уместных разнообразных и разнонаправленных ламп, угольков-огоньков, торшеров, спотов – чуть не на каждом шагу, целая световая клавиатура, предназначенная для неторопливой мелодии уютного быта, для удобной жизни сугубых индивидуалистов, привыкших к ежеминутному освещению передвижной личной капсулы.

Дальняя прозрачная стена гостиной раздвинута, и, спустившись по нескольким ступеням, можно перейти в застекленное пространство

с плетеными креслами и диванами, подвесными люльками, круглыми восточными столиками и витыми металлическими стульями; в прекрасно спланированный, мягко освещенный дневными лампами зимний сад, наполненный зеленоватым, каким-то волнующим подводным светом, что доплескивает сюда, в звучащую гостиную, ко всем прочим ее дуновениям и ароматам (еды, духов, приятной мебельной полироли), травянисто-цветочные, чуть душноватые, чуть влажноватые запахи оранжереи.

Вот из какого дома улепетнула его любимая. Вот что она сменила на бродяжьи ночлеги, барные стойки, грязные бокалы в раковинах, непотребную одежду и полную свободу выбора партнеров, пейзажей и кадров... А ему, Леону, так нравился этот дом, так близки были вкусы хозяина, так притягивали взгляд подлинники персидских миниатюр на стенах, и захватывающая повесть сказочного ковра на полу, и старинные вещицы куда ни обернись; так очаровывал облик этой ни на что не похожей гостиной, струящейся синим сирийским шелком, какой продают в одной знакомой иерусалимской лавке, – сирийским шелком, из которого шьются облачения церковных патриархов и жилетки звезд мирового шоу-бизнеса.

Вряд ли тут развлекал кого-то Гюнтер. И все же Леон наводил резкость на каждое лицо, каждую фигуру, следуя за хозяином, представлявшим гостей.

Итак: в викторианских креслах с бокалами в руках – пожилая чета, из тех супружеских пар, которые при знакомстве даже представляются слитно: Джейкоб-и-Герда, например, или там Мэри-и-Джеймс. В данном случае она – типичная старая спортсменка из вечнозеленых *рюкзаков и альпенштоков*: крупные зубы, выскакивающие в улыбке, мужские носогубные складки вокруг решительного рта, ровная линия мужской стрижки над широким огнеупорным лбом, мужское рукопожатие... Ее симпатичный полноватый коротышка-муж, бурый ус моржовый: угрюмое лицо, голубые рачьи глаза и такая щетка усов – хоть пол ею подметай. Оба олицетворяют закон – компаньоны крупной юридической фирмы.

А зимний сад в этот миг дарит нам еще одну немолодую пару, которая переступает порог гостиной, взявшись за руки, как первая в мире райская чета. Эти – зубные щетки в пластиковой упаковке – как-то слишком промыты и даже продезинфицированы: выбеленные глаза, накрахмаленные

брови, перекрахмаленные волосы... Норвежцы, учредители и вдохновители какой-нибудь организации-мироносицы, из тех, что снаряжают в плавание очередной гуманитарный, хорошо вооруженный кораблик «Свобода Газе!» – алые паруса под флагом капитана Сильвера.

Далее: погруженный в кресло и уже изрядно нагруженный спиртным румяный твидовый верзила – ноги протянуты аж до каминной решетки. Этот – явный британец, явный не-Гюнтер, что-то невысокое в МИДе, но, вероятно, *очень нужное в бизнесе*.

Наконец, еще один господин с внешностью ресторанный саксофониста где-нибудь в Сочи, в межкурортный сезон: стоит, опершись локтем о каминную полку с целым выводком фарфоровых книксенов, фижм и вееров. Этот – наоборот, очень живой и очень южный, но и его виноградные усики под носом-кеглей, полосатый приталенный пиджак и джинсы на ножках, тоже напоминающих виноградные усики, никак не могут принадлежать Гюнтеру. И точно: саксофонист оказался «главой нашего тегеранского отделения, автором книг по истории персидских ковров»...

– И мой сегодняшний утренний сюрприз: моя внучатая племянница Айя со своим... э-э-э... другом, под чье божественное пение мы, собственно, и... О господи! Как это понимать!? Сразу два певца?!

Ага, замечена клетка, вдруг поднятая Айей высоко, как фонарь в ночи, и в ней – желтый огонек бойкого кенаря.

– А это подарок дяде... – жизнерадостно улыбаясь, объявил Леон, принимая клетку из руки Айи и обнося ею гостей широким полукругом. – Прямоком из Алма-Аты, из «птичьих яслей» великого канаровода Ильи Константиновича.

Минуты три ушли на оживленные замечания гостей и некоторое замешательство Фридриха:

– Но... это, наверное, как-то мудрёно – ухаживать за ним?

– Да что вы! – весело отмахнулся Леон. – Это чистая радость! Вам ли не знать, с вашей *персидской темой*...

Так – естественно и эффектно – Желтухин Пятый был представлен обществу и в своей медной карете водружен на каминную полку, всем видом и сутью переключаясь со стилем этой комнаты.

И, словно подтверждая слова Леона о *персидской теме*, великий кенарь востепенулся, вычиркнул две-три задиристых фразочки, вдруг свободно и щедро пропел светлую овсянку и сразу перешел на горную: начал в низком регистре и постепенно потянул вверх, вверх, замирая

в непереносимой сладости звука. Было в его пении что-то родственное таинственным узорам ковра и простодушным мотивам на керамических плитках камина, благородным сюжетам персидских миниатюр на стенах и пленительным мини-сюжетам на глади сирийского шелка...

Вдруг кенарь залился такой чистейшей конкурсной трелью, такую руладу закрутил и длил ее, длил, выводя и вывязывая петли и кренделя, – голубчик, златоуст, потомственный солист! – что оцепенелая публика была окончательно покорена. Аплодировали от души, клетку обступили, дивились маленькому, но такому подлинному артисту, просовывали пальцы сквозь медные прутья: «Можно спинку погладить?»...

– Подумать только: какой голосище в мизерном тельце!

– Как и положено в таком доме – райское сопровождение ужина, – заметил специалист по коврам.

– Ну, не зря же клетку с канарейкой на Востоке исстари вешали в лавках и кофейнях.

– Хотя именно эта порода – *русская канарейка*, – любезно подчеркнул Леон. – И экземпляр из отменных. Полюбуйтесь, как подхватывает... – Вполголоса подпел Желтухину, демонстрируя, как тот развивает, рассыпает-расцвечивает тему и – замирает, постреливая черными дробинками глаз, в ожидании следующего вызова, следующей темы для вариаций. Две-три минуты артист и кенарь будто мячиком перебрасывались музыкальными фразами, и вились, и вились два голоса, беседуя, сплетаясь-расплетаясь.

Гости пребывали в полнейшем восторге, а Фридрих даже вышел в холл и крикнул куда-то на верхние этажи:

– Лена, где же ты? Пропускаешь такой номер: два кенаря – кто кого!

Но по голосу было слышно, что не в своей он тарелке: чем-то озабочен, даже подавлен...

* * *

Елена спустилась чуть позже («Ну, никуда еще вовремя не явилась, даже в собственную гостиную!» – это Фридрих на улыбке, но довольно раздраженной улыбке: видимо, гости, хотя и были «своими», толклись здесь уже минут сорок, и уж кому следовало их развлекать, так это хозяйке).

Елена оказалась бывшей красавицей. Впрочем, нет, не бывшей: высококлассная работа хирурга дорогой лондонской клиники была,

как и полагается, практически незаметна. Разве что легкая приподнятость в натянутых скулах, веках и подбородке сообщала ее лицу слегка патетическое выражение (которому соответствовал и голос – высокий, бедноватый оттенками, слегка назойливый). Вероятно, в молодости это славянское лицо с задорным носиком и глазами цвета патоки было проще, мягче... милее, что ли. Сколько ей? На вид – тридцать девять, следовательно, лет пятьдесят пять. Бездетна; и это совсем другая тональность...

На пороге гостиной она чуть развела полноватые руки (не стоило так уж их обнажать), словно собираясь обнять всех разом, но никого не обняла; атласной щекой, впрочем, осторожно приложилась к мятым щечкам обеих пожилых дам. Знакомство с Леоном было отмечено целым спичем, посвященным... ну, *это пропустим, обычные комплименты средне-бывалых любительниц оперного жанра, и, гос-с-споди, кто бы выключил наконец его неаполитанские, ни к селу здесь ни к городу, рыдания:*

*Ma non mi lascia-a-are,
Non darmi questo torme-e-ento!
Torna a Sorre-e-ento,
Fammi vive-e-e-ere!*

...Подняв палец, как бы предлагая прислушаться к улетающему ввысь и тающему его голосу, Елена заговорщицки улыбается:

– Леон, вы оценили?

Что тут ответишь... Ручку, ручку поцеловать, вот так, и на мгновение прижать ее к левому лацкану пиджака...

Но вот на Айе глазик хозяйки пыхнул, ох как пыхнул, хотя с самого начала Елена старалась ту не замечать и даже держаться к ней спиной:

– Как же это вы умудрились познакомиться! И с каких это пор Айя посещает концерты! – Это Леону, интимным тоном, да еще по-русски; подкожная инъекция капельки яда: – Уж мы-то с вами в курсе наших семейных проблем.

Леон подумал: гадина. Гадина!

– Айя, – мягко окликнул он, привлекая к себе девушку и изливая на нее сияние всех артистических рамп: – Пр продемонстрируй Елене Глебовне мой подарок, убедись, что это был правильный выбор.

И перехватив оценивающий и холодный взгляд Елены, мысленно усмехнулся: *славный одесский выпад, правда, Барышня? Славный одесский*

выпад по пути в синагогу Бродского.

А скосив глаза на свою бродяжку, восхитился: как прекрасно она держится, как выигрышно демонстрирует украшение, наклоня голову на косульей шее (вот тут они и мелькнули на тропинке в Эйн-Кереме – запятнанные солнцем, в густом сосновом аромате... прочь, милые, прочь!), и как идут ей новые серьги; да ей все чертовски идет: эти глаза с их сложной зеленовато-ореховой гаммой немедленно отзываются всему, что ни поднесешь: вот сейчас вспыхивает под ласточкиными бровями травянистая зеленца, зато вишневые искры золотого ликера исчезли напрочь.

Судя по всему, светской жизнью в этом доме ведала супруга. Во всяком случае, с ее появлением все оживилось, подтянулся и выстроился общий ход беседы, в водоворот небольшой группы гостей было умело вброшено несколько расхожих тем, и все заговорили: «Вы считаете, он пойдет на это безумие?.. А как это отзовется...» «Какие там теледебаты! Да мы скоро перейдем на кулачные бои при обсуждении годового бюджета – а что, вот в японском парламенте...» «Страшный ураган у берегов брахманутры, видели во вчерашних новостях? Ужасно: просто, понимаете ли, плывут в океане дома...» «...И я не понимаю, почему это у одного государства может быть ядерное оружие, а другому запрещено?» «Фантастическое зрелище, что-то невероятное: она танцует на осколках стекла...» «Это какой-то фокус!» «Нет-нет, любому предлагается подняться на сцену и разбить вдребезги настоящее зеркало. Говорят, в Малайзии это такой вид танцевального искусства...»

Предзастольный шумок постепенно разогретой гостиной...

Che bella co-osa una giornata di so-ole, «Как ярко светит после бури солнце...» – где-то там, на террасе прекрасного дома в Санторини над морщинистой синевой залива пел его голос песню, посвященную Магде, песню, растворявшую боль и горе ее жизни... Un'aria sere-ena dopo la tempe-esta!

По молчаливому кивку Елены Глебовны Чедрик принялся за коктейли и аперитивы – в углу гостиной стояла небольшая консоль с дружной порослью разновысоких, разностильных и разнопузатых бутылок, ведерко со льдом и стеклянные кувшины с соками. Леон вышел в прихожую, извлек из своей сумки бутылку аквитанского «Saint-Esteph» девяносто пятого года...

– Ох, уж эти францу-узы (спасибо-спасибочки)! – Елена Глебовна приняла бутылку; тональность голоса – лукавая милота. – Эти патриоты отечественных вин...

– Ну, я вообще-то не француз, – уклончиво возразил Леон, – но винно-французский патриот, да.

– А вот мы поклонники вин и-таль-ян-ских! – отчеканила она. – И не просто итальянских... – И Чедрику: – Налей мистеру Этингеру нашего...

В руках громилы возникла темная бутылка без этикетки, и через мгновение Леон уже пробовал-смаковал, катая во рту глоток... да, отличного белого. Тосканское? «Санджовезе»?

– А вот и нет! – торжествуя, воскликнула Елена с ухмылкой на славно отделанных устах. – Гадайте, гадайте, ну-ка...

Подтянулись крахмальные викинги, припали к бокалам, включились в гадание: «Верментино?» «Альбарола?»

– Боско? – предположил *твидовый мидовец* из кресла: значит, еще держал марку, не все еще плыло перед глазами.

Хозяйка наслаждалась бестолковостью горе-дегустаторов. Наконец приподнятым голосом произнесла заветное имя:

– *Пигато!*

– А я даже и не слышал о таком, – добродушно заметил морж-адвокат.

– И правильно, этот сорт винограда растет только у нас! Местная достопримечательность... Попробуйте!

Порубленным и сшитым на живульку громилой Чедриком Елена управляла полностью и молча, одними бровями: «подай», «налей», «убери», «сгинь!».

– Да, чудесный вкус... очень легкое вино... должно быть, в жару хорошо идет. Но не под мясо?

– Абсолютно справедливо, оно хорошо только под легкую лигурийскую кухню.

Как только Леон поймал тональность напыщенной болтовни Елены Глебовны, он немедленно прилип к ней и вил, и вил прихотливую ниточку разнотемного щебетания: как удачно подвернулись эти итальянские вина, вот по ним и поплывем. Что это значит – *наше вино?*..

Он и задал этот вопрос невинно-оживленным тоном (*певец в восхищении*):

– Вы что, сами выращиваете виноград?

Елена оживилась, усмешливо заметила, что не совсем, конечно, *сама*,

не буквально *сама*, но... тут ее перехватили, и повторять вопрос, как-то вытягивать *местность* было не с руки. В сущности, хорошо, если *пункт назначения* так и не будет назван, – когда потом об этом разговоре станут напряженно вспоминать, перебирая каждую произнесенную фразу...

Смена тональности: а что там с ремонтом вашей яхты, дорогие Мэри-и-Джеймс? Мне порекомендовали одного подрядчика с Гамбургской судовой верфи...

Впрочем, тема вин никак не оставляла кружок гостей, и в конце концов все разъяснилось: и симпатяги Джейкоб-и-Герда, и Мэри-и-Джеймс, мирноносцы под черным стягом *Веселого Роджера*, владели фермами и виноградниками – одни в Тоскане, другие под Миланом, где знаменитые виноградники Ольтрепо-Павезе. Заповедный круг знатоков, винно-масонская ложа... Несколько минут увлеченного обмена опытом по самым насущным темам: как подвязывать, подрезать, подкармливать, бороться с паразитами... Какие субсидии дает государство владельцам виноградников...

– А у нас ведь еще и склоны крутые! – горячо подхватила Елена. – У нас ведь не Тоскана! На наших террасах надо быть горным козлом, чтобы выращивать виноград. Спасибо, построили эту монорельсовую дорогу, хоть не на горбу тащишь...

Итак, у нас – не Тоскана... А что же? Где эта монорельсовая дорога и сколько их на бескрайних горных террасах Италии? Можно вообразить, как эта скроенная из лоскутов собственной кожи дамочка тащит на округлом плече корзину с виноградом. Что-то из итальянской живописи девятнадцатого века? Не помню, прочь...

– Я не видел, чтобы его продавали в винотеках... Впрочем, я не любитель ходить по винотекам...

– Нет-нет, пигато раскупают на сувениры. Но в маленькой уютной trattoria вам всегда подадут графинчик домашнего.

Опять небольшой водоворот реплик винно-посвященных. Надо вклинуться, нельзя упускать тему. Откуда это местоимение – наше, у нас... Где же это – у нас? Если не в Тоскане...

– Надо же! – воскликнул Леон. – И я-то считал себя ценителем, пока не угодил в настоящий клуб знатоков, и вот уже чувствую себя каким-то второгодником...

– Милый мой, – отозвалась очаровательная хозяйка, – просто в моем лице вы видите осатанелого фаната Италии, итальянской кухни, итальянской музыки... А то, что мы впервые услышали вас в Венеции, дорогой Леон, для меня это – особый знак.

В вашем лице... в вашем лице, прекрасная Елена Глебовна, я вижу лишь завистливую злобу, с которой ваши глаза с искусно подтянутыми пожилыми веками поминутно мечут картечь в мою любимую, – кажется, именно вы однажды бестрепетно предложили Гюнтеру «умолкать девушку»?.. За что поплатитесь – да, вы, вы, Елена Глебовна.

Te si' fatta 'na veste sculla-ata,
nu cappie-ello cu 'e na-astre e cu 'e rose...

*«Ты купила платье с глубоким декольте, шляпу с розами и лентой...»
Какая мука, дешевка – эти разговоры под переливы моего голоса... Но ведь неприлично и грубо – подойти и выключить мою обслуживающую неаполитанскую функцию? И толчком в сердце – Айя! Совсем брошена мною, бедняга... Глаза мечутся от одного лица к другому, губы безотчетно слегка шевелятся...*

– ...И я совершенно помешана на виноделии! У меня вон, гляньте-ка – целая полка специальных книг!

Елена взяла Леона под руку и потащила к тесному книжному царству противоположной стены, где в одном из шкафов и правда целую полку занимали пестрые винные справочники, каталоги выставок, альбомы и прочее пьяноведческое хозяйство. Вытянула один из ряда:

– Тут как раз о лигурийских винах, о нашем пигато...

Так-так... значит, Лигурия – морское побережье, известное огромным количеством бухт и романтических гаваней, и в каждой может ожидать свой тайный груз мирная яхта какого-нибудь почтенного бизнесмена...

– Никогда не случалось там бывать, – попутно солгал Леон на всякий случай.

– Неужели? – весело удивилась хозяйка. – А вот другие тенора не обходят своим вниманием наши края!

– Лена, ну что ты, в самом деле, навалилась на человека со своим винодельческим хобби! Он уже явно одурел от твоего энтузиазма...

Это Фридрих, радушный хозяин. Минуту назад окучивал моржа-и-альпинистку, до того что-то вяло обсуждал с румяным мидовцем... Но, развлекая гостей, то и дело поглядывает на «дорогую девочку» и раза три уже подходил к ней (довольно близко, черт побери!), и приобнимал за плечо, и что-то говорил, слишком приблизив лицо: да-да, для ее же удобства, конечно... А та, несмотря на дикое напряжение, держится

молодцом, моя умница, хотя по тому, как еле заметно растягивает гласные, как крутит головой, пытаюсь удержать в поле зрения, проследить, ухватить мимику всех персонажей и собеседников, видно, насколько она, в сущности, несчастна в этом доме.

А главное, Желтухин, оставленный гостями, примолк, несмотря на мои неаполитанские призывы, и едва слышно попискивает в своей походной клетке, но Фридрих – в полном порядке. Неужели наживка закинута напрасно, и бедный кенарь совершил свое эпохальное путешествие вхолостую? Неужели Илья Константинович ошибся и своим аллергическим приступом в подвале «птенческой лаборатории» Крушевич обязан вовсе не канарейкам?

– Допусти уж и меня к артисту, – добродушный Фридрих, добрейший дядя Фридрих, многоопытный «Казах», хитроумный тройной агент... Он что-то чувствует? Настороже? Желает прощупать жениха? – И мне охота похвастаться своей коллекцией... Вы должны оценить, Леон, – если вам хоть раз приходилось попасть в лапы к какому-нибудь букинистическому совратителю...

– Еще бы! Однажды я...

– ...тогда вы меня поймете! Я и вообще помешан на антиквариате...

– Ну, оказавшись у вас дома, не заметить этого просто невозможно.

– Да, я и в ковровый бизнес угодил теми же тропками... Но книги, знаете, – это нечто особенное... это моя страсть! Шрифты, гравюры, обложки, затхлость застарелой пыли, запахок старой бумаги... Вам Айя, конечно, рассказывала о моем отце – простом казахском парнишке, который был просто выдающимся каллиграфом? Так что это – наследственное.

Интересно, что в разговоре с Леоном «Казах» предпочел перейти на русский. И говорит свободно, четко, «вкусно», не замыленно... Значит ли это, что русский ему роднее и приятнее английского? Или это знак уважения к Леону, знак особенной доверительности, вовлечение, так сказать, в круг семьи? Или попытка на сей раз во что бы то ни стало удержать возле себя Айю, окольцованную птицу...

Взяв Леона под локоть, Фридрих потянул его к соседнему шкафу.

– Основная коллекция у меня не здесь, и не только фолианты, между прочим. У меня инкунабулы есть, даже несколько папирусов!.. Но и тут кое-что имеется...

Открыл дверцу, наугад вынул первую попавшуюся книгу... затем еще и еще, и вправду – жемчужины!

Пальцы его крупных, красивой лепки, рук чуть подрагивали, когда он

касался корешка и переворачивал страницы. Да: это страсть, это истинное. Так прикасаются к телу любимой женщины.

– ...Позвольте, это... пятнадцатый век? Я не ошибся?

– А как же: басни Эзопа в переводе Генриха Штайнхофеля. – И нежно провел ладонью по развороту. – Аугсбург, 1479 год... А вот это... – потянулся и снял с верхней полки, – легендарный «Ганц Кюхельгартен», первая книга Гоголя, один из считанных оставшихся на свете экземпляров. Николай Васильевич в отчаянии от уничтожительной критики скупал собственные книги и уничтожал. По секрету: цена этого экземпляра на аукционе может дойти до полумиллиона долларов... Вообще, знаете, одно время у меня была страсть – покупать именно первые книги будущих классиков. Представьте, как на заре прошлого столетия вы лениво прохаживаетесь вдоль полок книжного магазина где-нибудь на Невском, не обращая ни малейшего внимания на имя «Владимир Набоков». Сборник стихов «Горний путь», всего пятьсот экземпляров, автору – 17 лет... – Фридрих вытянул из ряда книг тоненькую брошюру...

В какой-то момент глаза Леона безотчетно и беспокойно стали перебирать корешки на третьей полке сверху – так нащупывают гармонические ходы на клавиатуре, гармонические ходы, которые жаждет воплотить слух. Фридрих говорил и говорил, увлекаясь все больше, отмахиваясь на оклики жены: «Ну, понеслось, ну, теперь он не оставит человека в покое... Слышь, прекрати душить Леона книжной пылью! Он – артист, музыкант, а не книжный червь, можешь ты понять или нет!»

И Леон на это, с любезной полуулыбкой:

– Вы ошибаетесь, Елена Глебовна, я такой же чокнутый барахольщик, как ваш супруг...

– ...Уж не стану демонстрировать моих «лилипутов», – торопился коллекционер. – Взгляните только на миг: вот эта сантиметровая крошка, в ней молитва «Отче наш» на семи европейских языках! Послушайте, Леон, вы должны прийти к нам просто так, вечером, я покажу вам рукописи Томаса Манна – у меня целая тетрадь, сплошь записанная его рукой, из второй части «Иосифа и его братьев»... Есть несколько листов черновиков Шиллера! Есть и курьезы...

Тут Леон выдернул взглядом из строя книг серый безымянный корешок – вот она, тональность! Смутно волнуясь, может быть, слишком поспешно спросил:

– Вы позволите? Кажется, что-то примечательное...

– Да бога ради... Это как раз то, о чем я говорил.

Леон потянул на себя потрепанный том, который с готовностью вывалился прямо к нему в ладонь и так уютно в нее лег, точно узнал родную руку.

...Он держал в руках прадедову книгу, напечатанную в типографии полоумного графа Игнация Сцибор-Мархоцкого, книгу-курьез, без начала и конца, ошибку переплетчика, а может, придурь вольнодумца-деспота, благодетеля малых сих в государстве Миньковецком... На обложке – старинной кириллицей со всеми причиндалами дореформенной орфографии – дурацкое название: «Несколько наблюдений за певчими птичками, что приносят молитве благость и райскую сладость».

Следы скольких же пальцев хранит переплет этой книги, и среди прочих – его прапрадеда, николаевского солдата Никиты Михайлова, и прадеда его, Большого Этингера... Отпечатки Яшиных пальцев и пальцев Николая Каблукова... Следы жестких рук Якова Блюмкина, купца-разведчика Якуба Султан-заде, отпечатки осторожных пальцев умного антиквара Адиля, коснувшегося этой книги в последние минуты своей жизни...

А вдруг это случайное совпадение, в смятении подумал Леон, невероятный близнец книги, уникальный второй экземпляр?..

В эту минуту (повезло, повезло!) Елена Глебовна, подавляя в голосе явное раздражение, отозвала супруга для решения какого-то внезапно возникшего вопроса – хотя, казалось, для хозяйственных нужд под рукой у нее всегда имелся бугай Чедрик.

И предоставленный себе на считанные мгновения, все еще удерживая на лице светскую полуулыбку, Леон неторопливо раскрыл книгу. Как во сне, уперся в тяжелые кубические буквы экслибриса «Дома Этингера»: гривастый лев, трогательный символ его романтического и бестолкового семейства, второе столетие сидел на задних лапах, властно положив переднюю на полковой барабан.

Где я... что со мной... Почему позволяю всем этим выползкам безнаказанно бродить по проклятому дому под нереальное звучание моего собственного голоса? И где, черт возьми, мое оружие, чтобы положить сейчас здесь всех до единого, кто имеет отношение к...

Все с той же светской полуулыбкой умеренного интереса ко всему, что его окружало в интересном доме Фридриха и Елены Бонке, Леон

листанул книгу до страницы *смертельной опасности*, где и встретил милый сплюснутый фантик от карамели, бог знает сколько лет назад подаренный Барышне францисканским монахом; фантик слегка прилип к старой шероховатой бумаге, чудом зацепившись для свидетельства... Какого свидетельства?

Все было сосредоточено в этой книге: его семья, его судьба, его память, его риск и ненависть; его любовь...

Его любовь в эту минуту подошла и положила на плечо ему невесомую руку так тихо, что Леон вздрогнул, – перед этой чуткой рукой он был совершенно беззащитен: эта рука *слышала* не только речь, но и учащение пульса и, кажется, даже мечущиеся мысли. И ошеломленная внезапной бурей в его крови, Айя инстинктивно сжала пальцами его плечо.

– Да-да, вы обратили внимание на этот потрясающий экземпляр, – послышался за спиной голос вернувшегося Фридриха. – Причудливая штука, правда? Я купил его в Иерусалиме, в Старом городе, несколько лет назад – помнишь, Айя, старика антиквара с ущербной рукой, который совсем заморочил нам головы этими своими монетами? Меня, знаете ли, привлекло забавное сочетание: на обложке шрифт русский, а внутри – то ли иврит, то ли арамейский... Жаль, что мы с вами никогда не узнаем, что там, в этой книге...

А вы бы за переводом к сыну обратились, уважаемый господин Бонке, к сыну, который, не правда ли, специалист по семитским языкам...

Впрочем, Леон уже знал, «что там, в этой книге». В книге было последнее доказательство, за которым он пустился в путь, начав его с острова Джум в Андаманском море.

Так кто же из них успел подать сигнал – Кунья? Рахман? Сам Адиль, когда понял, кто перед ним стоит и зачем, угрожая оружием, приказывает спуститься в подвал? Сейчас это уже значения не имело, ибо убийца заметил движение антиквара и, прикончив старика, хладнокровно прихватил книгу, перед тем как покинуть лавку...

Остается узнать, кто именно сломал шею Адилью, кто пустил по следу Куньи и Рахмана убийц – «Казах» или Гюнтер, который так вовремя оказался в Иерусалиме и так искусно, так изящно вывел из строя видеокамеры, которые могли бы свидетельствовать о преступлении... Так Гюнтер? Или все-таки «Казах»?

Невозмутимо захлопнув книгу, Леон поставил ее на место.

– Ну, Фридрих, чего же мы ждем, – нетерпеливо окликнула Елена. – Все в сборе и все голодные!

– Да я и сам проголодался! – с удовольствием подхватил тот. – К столу, пожалуйста, прошу...

Он распахнул обе створки двери из гостиной в столовую, где посреди комнаты, обставленной шедеврами искусства восточных резчиков – витринами и буфетами с коллекцией посуды и мелкой скульптуры разных стран, стилей и эпох, – стоял просторно раздвинутый накрытый стол.

И правда, по-домашнему все было – никаких строгостей, никаких претензий на соблюдение сервировочного этикета, но все со вкусом и все, разумеется, антиквариат, никакой штамповки – такой разброс, такой свободный размах разностильного уютного быта! Леон и сам так уютно и по-домашнему накрыл бы стол: тут и «Веджвуд», и «Беллик», и целая флотилия изящных графинчиков английского серебра под водительством флагмана – высокого кувшина для домашней наливки, великолепного экземпляра «шинуазри»: горлышко – гофрированный раструб, а вместо ручки – крылатый дракон, когтистыми лапами вцепившийся в края кувшина: вольная фантазия мастера на китайскую тему.

По всему столу расставлены были закуски в керамических плошках иранской ручной работы. Издалека угадывалась изящно составленная композиция из стаффордширских фарфоровых статуэток (небольшая компания в стиле «рождественский вертеп» – все персонажи «Принцессы Турандот»).

А в центре стола, в ярко-желтой керамической бадье, аппетитно и празднично, слегка растрепанной горкой красовался Главный Торжественный Салат...

Леон приблизился, не веря своим глазам:

...кропотливо вырезанная из красной луковицы роза с нежными, как губы девушки-подростка, лепестками – луковая роза украшала тайский салат из холодной говядины.

Ну что ж, сказал он себе, а в ушах уже пела, уже стремительно неслась, множа голоса и подголоски, нарастающая тема тревожной страсти и яростного возбуждения, что ж, блюдо распространенное; возможно, каждый повар просто обязан завершать данный популярный салат этой канонической розой. К тому же хозяева вполне могли заказать еду в соседнем тайском ресторанчике.

О нет... в этом доме – по всему видно – готовую еду не заказывают...

Леон собирался сесть рядом с Айей (ему нужна была ее рука,

предупредительная рука-лоцман на его колене), но усадили их друг против друга; значит, приходилось надеяться лишь на движение ее бровей, на еле заметное шевеление губ. Фридрих – Леон это чувствовал, даже не глядя, – глаз не сводил с племянницы. Он сидел во главе стола, а возле Леона села хозяйка дома, и после первого же тоста – вполне традиционного, за здоровье именинника – от *наших виноградарей*, что так жгуче Леона интересовали, повернула в сторону оперы. В свое время она наверняка закончила музыкальную школу, во всяком случае, музыкальные термины вворачивала густо и почем зря. Надо отдать ей должное – была в курсе музыкальной жизни Лондона, следила за расписанием фестивалей, за репертуаром театров, отлично знала все залы, их достоинства и недостатки («Вам уже приходилось петь в *West Road Concert Hall*? Там на удивление прекрасная акустика, даже в последних рядах слышно изумительно!»), довольно метко судила об исполнителях. Очень огорчилась, что ничего не знала о концерте в Часовне Кингс-колледжа: «Я непременно приехала бы!» «Не расстраивайтесь, Елена Глебовна, этот концерт наверняка мы повторим осенью. Я лично вас приглашу...»

Посыпались тосты: с норвежской стороны – за крепость здоровья дорогого Фридриха: ох, как оно необходимо при такой интенсивной жизни; затем на редкость уместный тост уже бессильного приподнять зад мидовца – «за тонкий вкус... и шир... широч-ч-чайшие познания *нашего умнейшего Фрица* в областях... – (задумался ненадолго и рукой махнул), – да во всех, к едрене фене, областях!» – опрокинул стопку, и все засмеялись...

Гостей Фридрих потчевал хорошими бренди и водками, сам же скупой прихлебывал сухое красное (единственное, что позволили врачи после операции). Вокруг стола никто не суетился – лишь Чедрик возникал изредка, но вовремя, унести-принести – из столовой лестница вела вниз, в полуподвальный этаж, в кухню, где он и затихал, как и положено джину, в бессловесной готовности к вызову.

Все уже прилично накачались и досыта напробовались закусок, хотя Фридрих время от времени патетически восклицал: «Помните о баранине!» Неаполитанские песни пошли по второму кругу, и Леон, криво улыбаясь, сказал Елене Глебовне, что при следующей встрече подарит ей свой новый диск: «Песни сицилийских нищих». Та благодарно встрепенулась, не учуяв его глубоко спрятанного бешенства.

В какой-то момент открылась дверь в полуподвал, и из кухни явилась и строевым шагом промаршировала к столу с огромным блюдом

запеченных морских гребешков... водонапорная башня – так выглядела эта могучая старая женщина с мощным задом и маленькой головой, гордо несущей седой кукиш на затылке. Да, Берта была Большой. И не такой уж старой, и очень бодрой. Сгрузила блюдо на стол, критически оглядела всю компанию. Уперлась взглядом в Айю, охнула и укоризненно покачала головой:

– Мы что, не знакомы, а, *мэйдел*?!

Айя вскочила и с криком: «Берта!» – обежала стол и повисла у той на шее. Берта обстоятельно и невозмутимо обняла, осмотрела «мэйдел» со всех сторон. Небольшой *оперный* немецкий Леона позволил различить басовитые: «Ты такая красивая, чертовка. И дорогая!.. Который же твой жених? Какой-нибудь богатый черт, а? – По кивку Айи нашла глазами Леона, скривилась и громко припечатала: – *Нох айн казахе!*» Фридрих одобрительно рассмеялся.

Берта принялась собирать тарелки из-под салатов, но тут неожиданно подал голосок Желтухин – будто, оставшись в одиночестве, почувствовал необходимость развлечь себя самого. Большая Берта застыла, бросила тарелки на столе, ринулась в гостиную, и через мгновение оттуда донесся ее изумленный вопль:

– Oh! Ein Vogelchen! Ein Vogelchen!^[55]

И завился басовитый и умиленный разговор-пересвист растроганной старухи с заскучавшим кенарем. Желтухин воспарил и, вдохновленный благосклонным вниманием, сыпал и сыпал новыми коленцами.

– Das muß ich dem Junge zeigen!^[56] – послышался энергичный голос Большой Берты.

Она появилась в дверях столовой с клеткой в руке и, не обращая внимания на гостей, крикнула Фридриху:

– Ein Vogelchen! Das will ich mal dem Junge zeigen!^[57]

Тот отозвался на немецком (судя по интонации – недовольно и малопочтительно, насколько это позволяла общая мажорная тональность вечера); из всей фразы Леон различил: «старая корова» и «чтобы не смела соваться, и вспомнила, как в прошлый раз...» – что-то в таком роде. Могучая старуха явно плевала здесь на всех, и на хозяев, и уж тем более на гостей.

Сквозь шумок застольного разговора слышно было, как топает она по лестнице, похохатывая и приговаривая:

– Юнге, юнге! Смотри, кого я тебе несу!

Медленно и едва заметно Айя выпрямилась на стуле –

так выпрямляется скрипичная струна, подкрученная на колке. Одними губами Леон спросил, неподвижно скалясь: «Он здесь?» И она чуть прикрыла веки, побелев настолько, что темная пудра, которой она тронула скулы, зацвела двумя багровыми пятнами, горящими, как от пощечин.

Леон перевел дух, обернулся к Елене Глебовне и повел оживленный разговор о парижских премьерах. «Лючия де Ламмермур» в «Опера Бастий»... О да: бесподобное сопрано молодой японской певицы. Знаете, масло в верхах и бриллиантовая россыпь в среднем регистре...

К разговору, хвала милосердным богам, подключилась пожилая пара юристов – тоже меломаны, театральная публика, всё наши кормильцы, дай им бог здоровья. И дай мне хотя бы минуту... не успокоения – какое там успокоение! – но выдержки, пока где-то наверху скачет в клетке безмятежный Желтухин, лакмусовая бумажка на «грязную бомбу», славный маленький диверсант...

Он напрягал свой фантастический слух, чтобы уловить хоть дуновение звука там, наверху... Бесполезно: и дом построен основательно, и, несомненно, тут поработали над звукоизоляцией отдельных комнат.

Он улыбнулся Айе, кивнул на стол: *ешь, моя радость, не сиди как приговоренная к повешенью...* И та послушно вцепилась в вилку и нож, будто приготовилась к бою.

Вероятно, все было очень вкусным. Леон что-то жевал между фразами, слегка поворачивая голову то к Елене, то к моржовому усу – тот вспоминал драматическую судьбу Робертино Лоретти («Вы просто по возрасту не можете помнить его бешеную славу... Его пластинки расходились миллионными тиражами. Вот это была слава! Но в один прекрасный день – обычная история – у парня началась мутация...»).

– Что там она застряла, старая идиотка! – негромко по-русски спросила мужа Елена. – Пора баранину нести!

– Пошли за бараниной Чедрика, – слегка нахмурясь, проговорил Фридрих, и громила, будто услышав его слова, возник за спиной, склонился к уху, бормотнул пару слов и бесшумно метнулся в сторону лестницы.

– По поводу пресловутой «легкости» лигурийской кухни, – произнес Леон, как бы подхватывая разговор. – Мне казалось, что она... бедновата? В отличие от римской или пьемонтской. Вообще, когда я слышу об «итальянской кухне», я всегда недоумеваю: ее ведь просто не существует... Вернее, она – созвездие региональных кухонь.

И в этот миг уловил едва слышный глухой удар наверху, будто кто-то

стул опрокинул (нет, для стула звук *тяжеловат*), и кто-то еле слышно вскрикнул, после чего наступила тишина.

– Что там самое известное, – увлеченно продолжал Леон, подняв голос на два тона, – трофи под соусом песто?

– А знаменитая фокачча?! – с неожиданным напором возразил лучший в мире знаток персидских ковров (оказывается, он не был узким специалистом). – А инсалата ди полипо, салат из вареного осьминога?! А асуги рипьени?

– Что еще за ас... суги, – подал голос британский дипломат, – впервые слышу!

– Как! – возопили иранские ковры, заглушая все, что Леон жаждал услышать – там, наверху. – Вы не пробовали фаршированные анчоусы?! Это делается так: рыбку чистят, расправляют книжкой, запихивают фарш, обваливают в яйце и сухарях, и...

Тревожные звуки наверху стали яснее и четче – видимо, там открыли дверь.

Фридрих чуть пригнул голову, прислушиваясь, а Елена, вскинув и без того высокомерно перешитые брови, вопросительно обернулась к мужу...

В эту минуту произошло одновременно следующее: Фридрих торопливо снял салфетку с колен, поднялся, пробормотав извинения, и сверху грянул вопль Большой Берты:

– Friedrich! Der Junge stirbt!^[58]

И Фридрих ринулся прочь, через гостиную – в холл, к лестнице.

Елена пожала плечами и натянуто улыбнулась:

– Прошу извинить. Наша тетушка очень э-э... эмоциональна. Сейчас Фридрих разберется, что там за сюрприз... – И вздохнула: – Эти старики, знаете, сущие дети...

– Но готовит она изумительно! – заметила одна из дам. – Правда, Руди?

– Особенно тайский салат с говядиной, – вставил Леон. – А роза-то какая, прямо брабантские кружева!

– Ну-у... – рассеянно отозвалась Елена Глебовна. – Как раз к тайскому салату наша тетушка не имеет никакого отношения.

Сверху слышались глухие шумы, словно там двигали или тащили по полу что-то тяжелое; кажется, раздавался плач, больше похожий на скулеж собаки...

Они неплотно прикрыли дверь, значит, не до того им, значит, там – серьезное...

– Колин, еще виски? – приветливо осведомилась хозяйка у молодого дипломата, будто ничего не слыша. – Леон, обратите внимание: ваша невеста совсем не пьет. А помнится, она уважала крепкие напитки. – И ледяная улыбка в сторону Айи: – Не правда ли, дорогая?

– Правда, – вежливо отозвалась девушка. – В те времена, когда я была «казахской шлюхой».

С этой ее фразы действие покатилося сразу по нескольким звуковым дорожкам, завертелось, вспыхнуло, полетело, как *хоровой дукс*... Появился с блюдом дымящейся баранины Чедрик (возясь в кухне, он, скорее всего, ничего не слышал). Одновременно где-то наверху со стуком распахнулась дверь, выплеснув рев Большой Берты:

– Der Junge stirbt! Der Junge stirbt!.. – и властный, но в то же время испуганный оклик Фридриха, призывавшего наверх своего верного джинна.

Чедрик бросился к лестнице и там столкнулся с Фридрихом, сбегавшим к телефону в холле, где, судя по всему, стал названивать в неотложную помощь. И, как всегда бывает в самых срочных случаях, не мог добиться толку: его выпрашивали, куда-то переключали, там не сразу брали трубку, а когда брали, мучили идиотскими вопросами о температуре и цвете губ... Наконец трубку взял врач.

– Да, удушье, удушье! Странный приступ... – отрывисто бормотал Фридрих. – Внезапно и без всякой причины. Возможно, сердце... или астма. Нет, аллергией никогда не страдал. Да-да, прошу вас, ради бога!

Не заглядывая к гостям, опять взбежал по лестнице на второй этаж.

– А хорошо ли ему этак гонять – после операции-то, – негромко заметил кто-то из гостей.

За столом наступила пауза, некоторое участливое замешательство. Елена все еще прекрасно держалась. Она вздохнула и проговорила:

– Не понимаю, что там стряслось! Ужасно досадно: у нас тут проездом дальний родственник... человек, знаете, нелюдимый, странноватый. Может, ему нездоровится?.. Пожалуйста, ешьте баранину, пока не остыла. Колин, а ведь вы у нас специалист по баранине! Я помню прошлогодний очаровательный пикник у вас в Хэмпстеде...

За минуту до того, как приехала «скорая», Фридрих сошел вниз. Он держал себя в руках, только был изжелта-бледен. Заглянул в столовую, посылая гостям предупредительные пассы ладонями:

– Сидите, сидите, дорогие! Прошу меня извинить. Просто... э-э-э... небольшой приступ у моего сына. Сейчас тут начнется бедлам, так что я прикрою дверь, чтоб никого не беспокоить... Лена, будь добра!..

Извинившись, Елена поднялась из-за стола, и, пока шла к мужу, даже спина ее в элегантном платье была гораздо выразительнее, чем лицо и голос.

За хозяйкой плотно закрылась дверь, и две-три минуты за столом длилась неловкая тишина, что позволило Леону услышать несколько отрывистых, но драгоценных фраз в холле:

– ...они говорят – опасно; поеду следом за «скорой».

– Я не дам тебе садиться за руль, сама поведу!

И еще:

– Боже мой, а поднимется ли он к двадцать третьему?..

– Ничего, еще десять дней. Будем надеяться...

– Так это дальний родственник... или все же сын? – наконец удивленно пробормотала *альпинистка-альпенишок*, нарушив молчание.

– Впервые слышу, что у Фридриха есть сын! – озадаченно отозвался ее муж. На что сосед его, норвежский миротворец, резонно заметил:

– В таком случае Елене он как раз и приходится дальним родственником... Колин, не подадите ли вы мне... о-о, благодарю вас, не затрудняйтесь...

В окно эркера видно было, как подъехал желтый с сине-зелеными шашечками мини-вэн, как выпрыгнули из него двое молодцев, вытянули носилки, какую-то аппаратуру, чемоданчик, поднялись на крыльцо – и разом холл наполнили знакомые всем звуки беды: отрывистые голоса, звяканье складных носилок, топот по лестнице...

– Неприятная история... – вздохнул специалист по иранским коврам. – У меня тоже прошлой весной двоюродный брат на собственной серебряной свадьбе, знаете...

Айя смотрела на Леона не отрываясь, будто боясь пропустить какой-то жест его, слово или движение брови – какой-то сигнал, по которому ей придется решительно действовать: куда-то бежать, что-то хватать?.. Леон же мысленно отсчитывал мгновения: вот парамедики поднялись по лестнице... там пять-семь минут на манипуляции – кислородная маска? капельница? – затем сгребут больного, погрузят на носилки...

Те считанные минуты, когда будут выносить больного к машине, сказал он себе, – они и есть единственный шанс опознать Гюнтера; пусть отекающего, непохожего на себя, но именно его, никакого сомнения, никакой подмены...

За столом гости вяло перебрасывались словами, кто-то вспоминал «как раз такую историю», кто-то сокрушался, что Фридрих разволновался –

а ему-то, после операции на сердце, совсем негоже... «Вы не знаете, ему поставили байпасы?» «Обидно – они на днях собирались к себе в Лигурию. Ему бы сейчас полезно... морской воздух, йод, бром... это отлично восстанавливает сердце».

...Наконец торопливые шаги и отрывистые голоса стали приближаться – «возьми повыше, левее... осторожней, перила, перила!» – спускались все ниже: больного сносили по лестнице.

Мало что слышно было сквозь двойные двери.

Леон выждал, пока шумы поравняются с гостиной – значит, вынесли в холл, двигаются к выходу, – а там уже на крыльцо и к машине, и тогда...

– Нет, все же так нельзя! – произнес он легко и взволнованно, вскакивая и направляясь к дверям столовой. – Может, нужна наша помощь! – быстро пересек гостиную, толкнул обе створки двери и хищно прынул вперед, боясь пропустить мгновение.

Это было похоже на «Синдигов» Рембрандта или на «Ночной дозор» – когда каждая фигура на своем месте в неумолимой композиции картины и на краткий миг зафиксирована в том незыблемом движении, что выдано каждому персонажу.

Этажом выше на площадке стояла, прижав обе руки к щекам, зареванная и красная буйволица – Большая Берта. Фридрих и Елена, уже одетые, торопливо спускались по лестнице; Чедрик громоздился на пороге, сторожа распахнутую настежь входную дверь.

А двое парамедиков в темно-зеленой форме с нашивками «London Ambulance Service» тащили мимо Леона носилки, где, укрытый до подбородка, с выпученными и налитыми кровью глазами, с мучительной судорогой удушья на губах, безвольно простерся давний знакомец его юности: услужливый мастер-на-все-руки, расторопный повар-виртуоз... «Ужасный нубиец». Винай!

...Леон отпрянул и аккуратно прикрыл дверь. Постоял, пытаясь унять бешеное сердцебиение...

– ...А знаешь, что я заметил? Ты не слишком жалуешь моих «ужасных нубийцев»!

– Глупости, Иммануэль. Напротив, я им благодарен: они так нежно за тобой приглядывают...

«Вот ты опять со своей идиотской интуицией. Брось, ее просто не существует. Разведка – дело скучное: анализ ситуации и фактов,

помноженный на кровавый опыт других...»

Все верно, шеф, и потому секретный координатор по связям КСИРа с «Хизбаллой» годами ошивался у вас под носом... Родэф, истинный родэф, блестящий профессионал, полиглот, он окопался в одном из лучших домов, где собиралась элита нашей армии, разведки, цвет военной аналитики и военной промышленности, – свободно скачивал из самого воздуха этих свободных бесед бездну информации. Змея, вползшая в дом, он обвинял тело тщедушного старика, омывал его, кормил и ухаживал за ним – попутно вытягивая из его окружения драгоценные сведения...

А сейчас вы хотите, чтобы я отыграл ваш провал, отпасовал вам последний удар, уступил эту сладость: сжать пальцы на его горле?!

Нет уж! Нет!!! Это мой удар и моя заработанная радость: самому раздавить гадину, убить своей рукой родэфа, преследователя, убийцу Адила, Куньи и Рахмана! Это – моя привилегия; возжеленный, заслуженный мною дар...

Первым делом он подошел к стереоустановке и выключил цвет: «Не каждая фотография достойна стать черно-белой». Ты потрудился сегодня, Голос, ты помогал изо всех сил, спасибо тебе...

В столовой едва теплился тихий принужденный разговор. Неловкая ситуация для гостей, когда не знаешь, что уместнее: предложить свое деятельное сочувствие или ретироваться восвояси, предоставив хозяевам самим достойно справиться с неприятностями.

Где-то там, в глубине дома, тягуче рыдала Большая Берта. Леон подумал – при этакой ее привязанности к «юнге» какой это был невероятный поступок: разыскать сбежавшую Айю и предупредить ее об опасности!

Перед гостями явился Чедрик и на довольно приличном английском неожиданно мягким голосом, никак не подходящим к его угрожающей внешности, передал, что Фридрих и Елена просят их извинить, предлагают гостям оставаться; буквально через полчаса Елена вернется – только подбросит мужа к приемному покою больницы, тут недалеко, – тем более что сейчас подадут десерт, который сегодня особенно удался.

И все-таки гости уже поднимались из-за стола, предпочитая откланяться: «Ну, какой там десерт, когда в доме несчастье...» «... Передайте благодарность за прекрасный ужин, за удовольствие общения... Впрочем, конечно, мы позвоним попозже вечером – узнать, что и как...»

Леон выжидал, пока Чедрик оденет и проводит «нашего тегеранского представителя» и обе сиамские четы. Остался один лишь твидовый

мидовец – тот как-то вдруг оказался совершенно пьяным, припелся в гостиную, рухнул в викторианское кресло перед камином и немедленно уснул.

Леон огляделся в поисках Айи и напрягся: ее нигде не было. Неужто отправилась утешать Большую БERTу? Сейчас, *после всего?!*

Вдруг он увидел ее и обмер: она неслышно и медленно спускалась по лестнице со второго этажа – тень, сомнамбула, в руках клетка с невесомым Желтухиным, – и вновь про себя ахнул: умница, умница!

Бледная как мел, она смотрела на него с ужасом в проваленных темных глазах.

Это не Леон стоял посреди холла – одинокий, отдельный, разящий, – это была смертельным кольцом свернувшаяся змея, готовая к удару. Это не Леон был – а тот, кого она боялась больше, чем Фридриха, больше, чем Гюнтера. Тот, кто едва не убил ее там, на острове, и ни объятия, ни слова, ни всплески сладкой боли не могли заслонить удушье, и уплывающее сознание, и те его глаза, что горючей смолой растекались в глубине ее оцепенелого сердца... Все это длилось какую-то долю секунды; они встретились глазами, и морок растаял: она увидела *своего Леона* и ускорила шаг, чтобы оказаться в спасительном кольце его рук.

А он представил, как с этим искаженным лицом она проскальзывает на второй этаж, прокрадывается в комнату ненавистного ей человека, хватает клетку с кенарем, и все потому, что просто не может – папина дочь! – бросить невинную птицу здесь, в этом доме.

– Мда, бывает... ужасно... – бормотал Леон, не глядя на Чедрика. – Аллергия – бич нашего времени.

И, повернувшись к Айе, тревожно-ласково:

– Пожалуй, мы тоже пойдем, дорогая?

Он молча снял с вешалки ее плащ, молча его развернул. И она послушно подошла и, неловко опустив клетку с кенарем на пол, молча продела руки в рукава. С угрюмой настороженностью за каждым их движением следил от дверей Чедрик. Толстые, как гусеницы, шрамы, багрово-синеватые в минуты растерянности или гнева, странно расцветчивали его диковатое лицо восточного джинна из спектакля какого-нибудь провинциального ТЮЗа. Внутренне он метался: чуял, что не стоило бы отпускать этих двоих безнаказанными, но перед глазами у него был хозяин, явно взволнованный возвращением преображенной девки. А как вилась хозяйка вокруг *этого утонченного араба* с таким подозрительно свободным русским языком! Огромный и сильный детина –

монстр, готовый на любое насилие, – он настолько привык действовать по приказу, что сейчас чувствовал себя беспомощным.

Леон же медлил, наслаждаясь диковатой ситуацией, тонко, как бы невзначай испытывая терпение джинна, – хотел до дна испытать последние минуты этого незадачливого, но такого блистательного визита... Вот сейчас он разглядел изумительные витражные панели, отделяющие прихожую от холла. Выполненные в стиле прерафаэлитов, они являли две разлученные фигуры: печальную деву в гирляндах цветов и фруктов и томного рыцаря – вероятно, раненного – в рубиновых брызгах на матово-бледном лице.

Перед тем как навсегда покинуть проклятый дом «Казаха», Леон через всю гостиную бросил взгляд на неубранный стол.

Последним в памяти осталось желтое керамическое блюдо – в нем горстка тайского салата и никогда никем не съедаемая, утонувшая в соусе луковая роза Виная.

Разумеется, он знал, по каким адресам следует обращаться за *пресуществлением* чистого бланка *Schweizer Pass* в реальный швейцарский паспорт, если б только решил подарить *конторе* этот восхитительный пейзаж: зеленые скалы над синей подковкой бухты, где в стае белокрылых яхт покачивается та, в чьем брюхе созрел радиоактивный эмбрион, некий груз, аллергенный для обладателя канареек.

Заодно уж и дату подарить, и имена *харонов-перевозчиков*.

Сбросить бремя священной казни на казенные руки...

Нет уж, мы по старинке как-нибудь, лично приглядим-озаботимся. Нам есть кого порадовать на небесах.

Точной даты операции он пока и сам не знал, как, впрочем, не знал и пункта отправления яхты. С именами тоже проблема: многовато их, аж по два на брата.

Так что в деле изготовления *ксивы* пришлось обойтись без *конторы*; у него и выбора, в сущности, не было.

– А хороша корочка... – Кнопка Лю задумчиво вертел в руках слишком новый, слишком красный, со слишком белым крестиком бланк. – Когда-то мечтал о такой... Где раздобыл, мон шер Тру-ля-ля?

Они сидели и тянули дешевый ром на кухонном островке в довольно забавной берлоге крошки-эфиопа. Эту социальную квартиру в Кретей (всего одна, зато большая комната с выходом на просторный балкон седьмого этажа) бывший марксист получил как беженец – из Анголы, кажется, или другого подобного рая, где в свое время очутился по просьбе и заданию советских товарищей.

– У меня просто дворец, старина, – хвастался он, впервые зазывая Леона в гости. – Альгамбра! Версаль! Тишина, море зелени, вид на озеро такой – Ниагары не захочешь! Тут тебе метро, тут и магазины... И никаких хлопот: весь товар, мебель-ковры-барахло, с грузовичком в придачу, – все в деревне у Шарло.

Бородавчатая физиономия старого хитрована морщилась в улыбке:

– Известно ли тебе, что мой Шарло – троцкист? Если б в молодости какой-нибудь гад заявил мне, что я всей душой буду предан троцкисту, я бы

того в дым распустил! А знаешь, сколько у моего троцкиста пуделей? Восемь!..

Бывая у Кнопки Лю, каждый раз Леон изумлялся причудливому вкусу приятеля. Его квартира была настоящей лавкой старьевщика, то есть ужасно Леону нравилась: помимо фанерных полок с книгами и каталогами, тут были горы древних видеокассет с фильмами всех времен и народов, от «Набережной туманов» до «Летят журавли», и такие же горы древних аудиокассет с записями – от концертов Яши Хейфеца до конкурсов трескучих виртуозов тамтама.

Аппаратура, надо заметить, была из той же дорогой сердцу Кнопки Лю эпохи его молодости.

Большая часть мебели – шкафы, диван с гаремной россыпью подушек и подушечек, круглые кофейные столики, о которые гость спотыкался на каждом шагу, – была выдержана в марокканском стиле. Непременный персидский ковер (фазано-павлины, старательно клюющие блеклую травку) висел над диваном и нежно отсвечивал старыми красками, если до него дотягивался дневной луч. Довершала великолепии парочка музейных французских секретеров, которые не нужны, но нет сил расстаться, и пара-тройка русских икон, водруженных на эти самые секретеры.

Все имущество гордо стояло, лежало, валялось и прислонялось к стенкам на зеркальном от лака – как в московских хрущобах – полу.

Зато на стенах висела приличная реалистическая живопись конца позапрошлого века. Сюжеты: «Хмурым парижским утром дети идут в школу», «Утро лесбиянок», «Атака зулусов». Из нового – симпатичный зимний пейзажик «под Грабаря».

Возле помпезного, обитого винным бархатом, с золоченой развесистой спинкой кресла в стиле Людовика Шестнадцатого – в котором Кнопка Лю казался просто сморщенной сливой – неизменно стоял на полу высокий кальян (фальшивое серебро, фальшивое золото, темно-синее стекло фигурного корпуса – роскошная вещь!).

Главной же достопримечательностью квартиры, гордостью хозяина, не тускневшей с годами, была «американская» кухня-бар, то есть стойка в виде носовой части яхты, установленная прямо посреди комнаты. Она торчала, как утес в сердце залива, как взрезающий комнату волнолом, о который разбивались океанские валы спиртного. Множество ящичков по бортам яхты содержало несметные запасы сгущенки, шоколада и сухофруктов – хозяин любил сладкое. В буфете всегда можно было отыскать ром, зеленые лимоны, гашиш, кофе, сардины и фасоль в банках.

– Слушай, ты на флейте играешь? – внезапно спросил Кнопка Лю, откладывая в сторону чистую «корочку». Перегнулся через борт яхты, выдвинул один из семидесяти ящиков и извлек темно-красного лака бамбуковую трость. – Японская, видал? «Сякухати» называется! Четыре дырки всего, но, говорят, райский звук... На броканте нашел, выторговал за два евро... Теперь думаю, это ж какую наглость надо поиметь – купить музыкальный инструмент, не умея на нем играть! Так я что: ты научи-ка меня быстренько пару штук симфоний, а?

Леон молча отобрал у него японскую флейту и минут пять забавлялся, вытягивая из бамбуковой палки «Подмосковные вечера», довольно заунывные.

Вот тогда эфиоп принялся вновь ощупывать, осматривать и одобрительно обнюхивать девственный бланк *Schweizer Pass*. На его вопрос о происхождении сего пропуска в рай Леон усмехнулся, отнял от губ трость сякухати и весомо произнес:

– Не докатился я еще – мужскими победами хвастать...

Правильный ответ в образе благородного Тру-ля-ля.

На самом деле в его словах была некая доля истины: чистый бланк паспорта лет пять назад украла на спор некая девица, мелкая сошка в одном из отделов NDB. Она, конечно, не собиралась из-за Леона идти под суд и бланк в закрома родной конторы намеревалась возвратить – спор-то выигран. Но не успела... Нет, ничего страшного, упаси боже, с девицей не стряслось, кроме того, что она очень крепко спала в том прелестном гнездышке на подъезде к Женеве...

...вспомни только резную каменную террасу, выходящую на бледно-маслянистую гладь озера. Вспомни белоснежных лебедей – их грациозные шеи и алые клювы, которыми они выдалбливали из-под крыльев какие-то свои секреты...

...в том гнездышке, где Леон усердно потчевал дорогим снотворным ликером девицу, потерявшую голову от заезжего певца.

В этих придорожных мотелях, между прочим, всякое случается: вместе с бланком швейцарского паспорта из номера *исчезло* кое-что еще из мелочей, принадлежавших артисту, – дорогой кожаный несессер, серебряные запонки с монетами императора Адриана и галстук, купленный в дьюти-фри аэропорта Схипхол.

Возмущенному Леону ничего не оставалось, как устроить грандиозный скандал администратору. Полицию, впрочем, по понятным

причинам никто вызывать не стал, хотя Леон категорически на этом настаивал и уговаривал барышню «действовать логично» – впрочем, с логикой у нее в то утро дела обстояли самым плачевным образом.

Ну, дело прошлое, все быльем поросло; паспорт он втайне от конторы приберег для себя, на всякий пожарный, то и дело меняя тайники в своей, мягко говоря, не обширной квартирке. Не Альгамбре. И не Версале.

На придумывание схронов он был мастак.

...И с утра тихо радовался тому, что перед отъездом в Лондон перепрятал свой запасец. Ибо сегодня он нанес неофициальный визит в собственную берлогу. И когда, неслышно отомкнув замок в калитке бывших конюшенных ворот, невесомо взлетел по винтовой лестнице к своей двери так, чтоб его не услышала Исадора (он еще не решил, стоит ли показываться ей на глаза и вообще обозначать свое присутствие в городе), едва провернув ключ в замочной скважине, сразу понял, что его навестили.

Нет, все стояло на своих местах, посуда цела, подушки не взрезаны, шкафы не вывернуты. Никакой ярости разочарованных грабителей – работа профессионалов...

Никогда он не мог объяснить, откуда приходит это острое, как запах скунса, ощущение чужой враждебной тени, все еще висящей в воздухе, еще не до конца развеянной: чувство диссонанса, не разрешенного в гармонический аккорд, едва слышная фальшь в застойном ожидании самого воздуха. Как будто пианист, всегда безукоризненно чисто пробегавший сложный пассаж, на сей раз прихватил мизинцем лишний звук, и никто из публики не услышал этой мимолетной – на сотую долю секунды – оплошности, никто, кроме самого исполнителя да еще одинокого гения-слухача в оркестре.

Причем Леон сразу понял, что побывали гости недавно. А вот кто это был – ребята из конторы или те, другие, уже разыскавшие его адрес (да что там разыскивать, все на виду), – этого с ходу сказать не мог.

Они смотрели везде и прощупали многое – стояло-то все на своих местах, но возвернутое чужой рукой. Две рамки с фотографиями на «стейнвее» глядели слегка виновато (с любимыми лицами на старых карточках это случается от малейшего изменения ракурса): одна чуть сдвинута влево, под второй потревожена кромка пыли.

Тайник в массивной раме картины был вскрыт – и не подарил им ничего. Они – профессионалы! – нашли и аккуратно прикрыли еще два

пустых тайника, в ванной и в спальне. Кухню оставили на закуску, но, вероятно, спешили и были уже утомлены и не так внимательны; во всяком случае...

...во всяком случае, когда, опустившись на корточки, он выщелкнул из связки ключей потайное лезвие и поддел им двойное донце столика размером с поднос в столовке Одесского судоремонтного, в руки ему вывалились бланки трех паспортов, седой паричок Ариадны Арнольдовны фон (!) Шнеллер и еще две-три вещицы, которые он не всем гостям демонстрировал.

Что и говорить, безукоризненный швейцарский паспорт ему и самому бы не помешал. Но сейчас он куда больше был озабочен безопасностью Айи.

И теперь предстояло самое сложное: объяснить маленькому эфиопу странную просьбу известного артиста, законопослушного гражданина – как говаривал сам Кнопка Лю, «элитной персоны, далекой от грязи и низости этого мира».

– Дело в том... – проговорил Леон взволнованным и смущенным голосом, – что мы боимся преследований ее мужа. Он способен на все, на все! Наймет частных сыщиков, громил, даже убийц... Ты не поверишь: он настоящий зверь, а я, извини, не приспособлен ломать чьи-то шеи. И вообще: мне голос надо беречь, голос и... репутацию! Ну и... в моем статусе...

Он умолк, понуро помотал головой и глотнул из рюмки.

Обезумел, понимаешь ли, чувак от любви – важная краска.

– Да ладно, ладно, – махнул рукой Кнопка Лю. – Не объясняй, чего там... Сам из-за этого дела горел и трещал по швам. Однако... как тебя угораздило влипнуть! Она что – настолько смазлива? Ну, молчи, молчи, не спрашиваю, я деликатный. Поиграй-ка еще на флейте, знаешь, вот это: «Течьёт река-а во-о-оль-га-а-а»...

Леон мягко отвел занесенную над его рюмкой маленькую крепкую руку с бутылкой и настойчиво продолжал:

– Ну, я и подумал: может, у тебя еще остались прежние... э-э... связи? Само собой, заплачу, сколько скажешь... – И умоляющим тоном: – Честно говоря, старина... я растерян и сам уже не рад своей эскападе. Ни черта не понимаю во всей этой идиотской конспирации, ты ж меня знаешь много лет! Просто мы хотим смыться на время, вот и все. А с ее документами это невозможно: «зверь» мгновенно нас выследит!

Он извлек из нагрудного кармана пиджака прозрачный пластиковый

пакетик с паспортной фотографией Айи, помедлил и положил на стойку.

Что и говорить: вся затея с документом от начала до конца очень рискованна и абсолютно непрофессиональна.

– Хм! – одобрительно заметил эфиоп, бросив взгляд на паспортный квадратик, минутный шедевр фотоавтомата в придорожном кафе. – Правильное лицо. Какое-угодное...

Леон давно подозревал, что бывший филолог до сих пор поддерживает связи не только со своими прежними друзьями, но и – принимая во внимание волшебную легкость, с которой он получил французское гражданство, квартиру и прочее благорасположение властей, – с совсем иными, куда более серьезными структурами, вроде DGSE. Обнаружение себя как перед теми, так и перед другими было делом опасным и ненужным, и в любом случае никто из конторы не погладил бы Леона по головке за столь рискованный фортель.

Но, во-первых, он был сейчас загнан в угол; во-вторых (и в-главных): он бы и себе не признался, что в самой потаенной сердцевине этой многоходовой и многолюдной постановки кроется его неистребимая жажда театра; что он упивается каждым поворотом сюжета, каждой двусмысленной фразой, да и всей этой историей, в которой свободно, как рыба меж сетями, переплывает от одной заводи к другой – не потому, что предусматривает и рассчитывает будущие ходы оперного либретто, а просто: наслаждаясь мизансценами. Почему-то в двух этих, таких разных состояниях души не было противоречия, будто каждым из них заведовал свой участок мозга: Леон пребывал в ярости; Леон наслаждался.

Кнопка Лю вновь подобрал с кухонной стойки бланк швейцарского паспорта и задумчиво его пощупал. Так хирург осторожно пальпирует область предполагаемой опухоли, так закупщик-эксперт модного дома чуткими многоопытными пальцами щупает материю для новой линии весенних моделей.

– На чье имя ксиву мастырить?

Леон запнулся, будто не ожидал подобного вопроса. Поднялся и вышел на балкон, с которого открывался вид на большой, но невзрачный пруд, тусклый в этот пасмурный день, как алюминиевая шайка в одесской бане. По окоему пруда росли плакучие ивы в вечно провожающем кого-то поклоне. В единственной лодочке гуляла семья: папа на веслах, грандиозная мама (она лодку потопит!) обеими руками прижимала к себе

двух визжащих малышей.

– Не знаю! – отозвался Леон, не оборачиваясь. – Честно говоря, не задумывался. На какое-нибудь такое – расхожее, незаметное... Ну, пусть хоть на... Камиллу Робинсон, а?

Эфиоп кивнул, записал имя на обрывке муниципального счета за воду и спрятал бланк паспорта с фотографией в один из ящиков своей кухни-яхты.

– Не забудешь, куда положил? – встревожился Леон, переступая порог комнаты. Набычив голову, Лю укоризненно глянул на Леона своими лемурыми, в розовых прожилках, глазами и – вот, наконец! – перешел на русский:

– Замечьяние настояс-чего мудазвонца!

– Мудозвона, – поправил Леон.

Дальше они принялись обсуждать нынешний рынок предметов «де люкса» и даты ближайших распродаж. Леон просил подобрать ему небольшую прикроватную лампу Тиффани. Полагаюсь на твой безупречный вкус. Стилъ – неперегруженный, традиционный, что-нибудь, знаешь, – «лист лотоса»... Цвета? Старая роза, бордо, блекло-зеленый...

– Не надумал свой гобелен продавать? – как обычно, спросил Кнопка Лю, и Леон, как обычно, добродушно послал его к чертям.

Они договорились о сроке – пять дней, шесть – самый крайний, помни, что мы рискуем, скрываясь от настоящего зверя! – и Леон вышел к лифту. Маленький эфиоп стоял в проеме двери – удивительно трезвый для такого количества спиртного, какое в себя влил. Гроыхнул стакан лифта, причалив на этаже.

– Счастливчик, мон шер Тру-ля-ля... – с мечтательной грустью произнес эфиоп. – *Эх, где мая молада-асть!*

Леон шагнул в кабину и нажал нижнюю кнопку – фойе.

Айю он прятал в Бургундии, в деревушке среди лесистых холмов и полей.

Не в Жуаньи у Филиппа и даже не в Дило, на ферме старого польского ветерана и его супруги, коротконогой бургундки с железными руками трактористки. Слишком легко там было выйти на них – через Филиппа.

Собственно, он не так уж долго и решал, где ее спрятать. Колебался между коттеджем на берегу Прудов Святых Ангелов и съемной квартирой

в прибрежном Канкале, в Бретани.

Поселок коттеджей по весне пустовал, и Леон мог бы договориться с владелицей одного из них, Авророй. Собачья парикмахерша Аврора (сама лохматая, как пудель, и дико активная, так что хотелось ее остричь и посадить на привязь), помимо предоставления «эстетических услуг», нелегально лечила больных животных, хотя диплома ветеринара не имела. К тому же она держала нечто вроде собачьего пансиона, вернее, притона – если судить по уровню собачьего бомонда и по запущенной территории вокруг коттеджа, обнесенной металлической сеткой. Так вот, Авроре лишние руки всегда были нужны, и Айе она бы искренне обрадовалась.

Зато в Канкале можно снять квартирку (на туристов там не обращают внимания) и гулять по утрам к причалу, наблюдая, как гладкие бутылочные подбрюшья валов катятся к берегу под безучастными небесами, как прилив охватывает кольцом ребристые утесы и по крутой дуге над волной, скрежеща голосами, скользят резкие тела белых чаек...

Там у причала, поросшего мохнатыми водорослями, можно за сущие гроши купить устриц (а лимон подарит продавец); в ближайшей продуктовой лавке отовариться хлебом, маслом и бутылкой шабли.

Погода в тех местах дрянная, а с вином и устрицами можно целый день не выходить из дома – что еще человеку нужно? Человеку, который спасается от людей...

* * *

Она молчала всю дорогу, молчала, пока они спешно выметались из лондонской гостиницы, срывая с вешалок в шкафу вещи и как попало бросая их в чемодан. Прижимала к груди клетку с Желтухиным и молчала, пока ехали в поезде, пока из Кале мчались в колымаге Жан-Поля...

И Леон молчал, сосредоточенно глядя перед собой на дорогу: гнал как одержимый. Слишком хорошо знал, чего стоит в таких случаях драгоценная фора, лишние два-три часа.

Без конца прокручивая минувший восхитительный вечер бешенства, ненависти и изощренной лжи, он выуживал из памяти реплики Елены, Фридриха и гостей, сопоставлял их, отсеивал ненужное, вновь вытаскивал за хвост какую-нибудь невинно произнесенную фразу – ядовитую гадину из клубка змей, – поворачивая ее так и сяк, мысленно проговаривая то важное, что выпало в осадок сознания и интуиции. Да, шеф, уж прости этот жалкий непрофессионализм – именно интуиции:

– У нас ведь не Тоскана... на наших террасах... спасибо, построили эту монорельсовую дорогу...

– ...Боже мой, а поднимется ли он к двадцать третьему?..

– Еще десять дней. Будем надеяться...

– А вот другие тенора не обходят своим вниманием наши края!

И заветный ключ к событиям прошлого: книга с экслибрисом Дома Этингера на полке в проклятом доме «Казаха» – книга с закладкой-фантиком на странице смертельной опасности!

В те несколько часов он еще не вспомнил про игуменью Августу, настоятельницу монастыря в Бюсси. Молча гнал машину на сильно превышенной, но ровной скорости. Временами Айя косилась на мертвую хватку, с какой эти артистичные руки держали руль, но от замечаний удерживалась.

Он молчал. Многое надо было извлечь из памяти, проветрить, вывернув все заначки; слишком многое – из того, что подзабылось и осело в дальних уголках отрочества и юности.

Вспомнить – не обсуждал ли когда-нибудь он с Иммануэлем свою работу при «ужасных нубийцах»? Мог ли Винай вычислить занятие Леона или тот оставался для него просто «цуциком», давней благотворительной слабостью Иммануэля?

Вдруг он с горечью припомнил, как упрямо просил Иммануэля быть сдержанным при тайской парочке и даже в самых невинных обсуждениях – живописи, книг, музыки или очередной Владкиной выходки – переходил на русский язык, полагая, что *оберегает свои частные интересы и контакты*. Болван! Ведь Винай наверняка понимает русский, хотя, возможно, знает его не так хорошо и не так досконально, как иврит.

И главное: мог ли вчера Фридрих после их телефонного разговора упомянуть имя Леона при Гюнтере, объявить, что вечером в дом явятся Айя с женихом, – или инстинктивно предпочел держать сына подальше от девушки, тем более что, как обычно, Гюнтер отсиживался у себя наверху?

И уж конечно, не мешало бы знать наверняка: мог тот опознать Леона за считанные мгновения, когда самого его – оплывшего, полужадохнувшегося – парамедики волокли на носилках в машину?

Остановились они только раз, у одного из типовых придорожных заведений круглосуточного (судя по веренице трейлеров, припаркованных у кромки шоссе) обслуживания – заправить бензином бак и выпить кофе.

Ночь набухала мощными запахами весны. Сквозь бензиновые выхлопы грузовиков и легковых машин прорастало ее темно-зеленое, терпкое, душистое тело. Придорожные кусты бузины, уже оперенные листвой буки, дубы и каштаны – все источало предрассветную влагу в предвкушении ясного солнечного дня.

Они сидели в самом углу стеклянного зала с двумя игровыми и одним фотоавтоматом, и Айя молча смотрела, как, поставив локти на стол, Леон обеими ладонями с силой растирает лицо, взбадривая себя, но одновременно и укрываясь (хочешь не хочешь) от ее непереносимого взгляда.

Принесли крепкий и неожиданно отличный для дорожной забегаловки кофе. Обжигаясь, Леон его заглотал, рассеянно пролистывая окружающие лица усталой шоферни.

Наконец перевел взгляд на Айю, в ее вымогавшие хотя бы словечко глаза и, сцепив руки на столе, скупно обронил, что есть, мол, такое благородное понятие «мечь».

– Благородное?! – спросила она.

Да. Благородное, что бы там кто ни говорил. Ибо подразумевает немалую силу чувств, невозвратимые потери и неослабное страдание оскорбленного.

Ты понимаешь, о чем я толкую?

– Пытаюсь...

– Вот... Кстати, прекрасно звучит на всех языках и у всех народов, а мне особенно на русском нравится – острое отточенное слово, удар кастетом: «мечь!».

Все-таки он бандит, бандит, бандит, в смятении думала она. Достаточно посмотреть в эти испепеляющие глаза, когда он произносит это бандитское слово своими бандитскими губами!

– Дело в том, что... понимаешь ли, Супец... Я пока тебе – конспективно, как уговорились, да? подробности потом, если выживем... Короче, сегодня выяснилось, что этот твой родственничек, этот Гюнтер... он уже бывал в моей жизни, правда, под другим именем. Он уже в ней прохаживался, хозяйничал втихомолку и, похоже, очень уютно себя чувствовал. В свое время, понимаешь ли, мы с ним были очень, оч-ч-чень хорошо знакомы. Я поражен, что не опознал его раньше на той фотографии, пусть даже и со спины. Я просто идиот! Если б я вовремя его опознал, ты,

моя героическая бедняжка, была бы избавлена от вчерашней вечеринки.

Взметнув *ужаснувшиеся* брови, она уставилась на этого чертова конспиратора. Никак не отозвалась, пыталась осознать новость, ждала еще каких-то объяснений, хоть какой-то внятной истории с началом и концом – той, что, судя по всему, он не собирался ей рассказывать.

– И вот теперь, подавившись этой пилюлей, я должен восстановить поруганную честь. – Он усмехнулся: – Ты бы сказала проще: отчистить обосранный мундир, да? Ну, прости за пафос, я не нарочно – это так, издержки оперного жанра. В реальной жизни мои мертвецы на поклоны не вставали.

Она смотрела на него и видела лишь одно: меловую бледность затравленного лица. Но, может, это усталость от бессонной ночи за рулем?

– Вот тут горит, не остывая, – бормотал он, нетерпеливым движением кисти ополаскивая горло и грудь. – Горит и жжет... и просит залить пожар. Я даже знаю, какой жидкостью его заливать... Но это уже – как ты говоришь? – это уже театр.

Он покрутил в пальцах пустую чашечку и твердо поставил ее на стол.

– Ну и... некоторое время я буду этим очень занят. Разнообразно и опасно занят... И, как приличный человек, вынужден объявить, что ты можешь чувствовать себя... э-э...свободной... – Он с трудом переглотнул, будто у него действительно болело горло. – Свободной от меня и от всех моих гнусных дел, моя любовь.

Зачем ты это сказал? Ведь это же ложь, ведь ясно: стоит ей всерьез вознамериться встать и уйти, как ты взовьешься и настигнешь, и опрокинешь ее, и сверху упадешь – как сбивают пламя на жертве.

– Он принес тебе... горе? – наконец спросила Айя, все так же пристально и сурово на него глядя, легко пропустив мимо ушей, просто отменяя идиотское предложение какой-то там свободы (будто она уже не нахлебалась досыта этой свободы – в аэропорту Краби, когда уходила в водоворот толпы на свой безнадежный рейс, а он стоял и глядел вслед, не двигаясь, как зацементированный. Будто они оба не нахлебались этой свободы – когда она загибалась от тоски в Бангкоке, а он метался в поисках ее – аж до апортовых садов катился!). – Нет, ты сейчас скажи, я хочу понять. – И с напором: – Он зло тебе причинил?

– Дело не во мне. В одном старике, которого я очень любил.

– И Гюнтер... что – издевался над ним?

Она ничего не могла понять в этом внезапном обвале новых бед и злилась: на него, на себя – за примитивный первобытный страх, что всякий раз подкатывал из желудка к сердцу, когда Леон вскидывал

на нее свои невыносимо горящие глаза на очень бледном лице и казался просто безумцем, просто окончательно спятившим артистом, вот и все!

– Пытал он, что ли, этого твоего старика? Убил его?

– Наоборот, – безрадостно рассмеялся Леон. – Гюнтер прислуживал ему, купал, кормил и укладывал спать. Готовил свой неподражаемый салат с луковой розой... А убил – другого старика, в другое время... И еще кое-кого прикончил – не сам, чужими руками, – кто был мне достаточно дорог, кто от меня зависел и верил мне, а я вот их не спас... И этот провал тоже во мне клокочет.

– Леон... – в отчаянии проговорила она. – Я ничего не пойму в твоей бормотне!

– Да что тут понимать! – рывкнул он, оскалившись так, что Айю продрал мороз по хребту. Это был оскал волка, не человека. – Это ты-то просишь «понять» – ты, которая бежала от него на остров, к морским цыганам?! Мне нужна его голова! – прошептал он, склонившись к ней над столом, проникновенно и страшно улыбаясь. И простонал, чуть ли не задыхаясь от нежности, как задыхался в самые острые мгновения любви: – Мне голова его нужна! С луковой розой во рту.

* * *

В тот момент, когда они вновь сели в машину и Леон выехал на шоссе и погнал к зазеленевшей над деревьями полоске неба с черными галочками какой-то высокой перелетной стаи, – в тот момент он и вспомнил про маленький женский монастырь в бургундских лесах. Усмешка в лукавой бородке Филиппа: «Чем хороши эти богоугодные заведения – они во все времена человеческой истории играли роль этакой банковской ячейки, где можно передержать что угодно: спасенное еврейское дитя, внебрачного отпрыска какого-нибудь барона, беглого генерала СС, наконец...»

– Я не прав, моя радость?

«Моя радость» – настоятельница монастыря матушка Августа, в рясе и клобуке, сидела за столом напротив и благоразумно молчала. На губах у нее всегда витала чудесная, слегка удивленная полуулыбка, как бы оставшаяся (как улыбка Чеширского Кота) от прошлого светского ее облика. А вслед за улыбкой, как продолжение чуда, возникал голос: глубокий и чувственный – альтовый, совсем не монашеский.

Матушка Августа в молодости была хорошей альтисткой – в те

времена, когда звали ее Сесиль Фурнье и она концертировала, выступая (и побеждая) на международных конкурсах. Филиппа знала с детства: ее отец, контрабасист, много лет играл в оркестре Парижской оперы под управлением отца Филиппа, Этьена Гишара.

Но... что-то стряслось в судьбе этой незаурядной женщины, о чем не распространялся даже такой закоренелый и неутомимый сплетник, как Филипп. Последние лет двадцать Сесиль провела в этом маленьком монастыре, возведенном на месте обычной, средних размеров, крестьянской фермы. Каждое утро над пересохшим каменным колодцем звонил колокол церкви, перестроенной – Леону особенно нравился этот евангельский мотив – из бывшего хлева. Когда умерла прежняя игуменья, из русских эмигрантов старинной дворянской фамилии, Сесиль заняла ее место, приняв имя Августы.

И вот что вовремя вспомнил Леон: по соседству с монастырем существовала ферма, купленная парижскими друзьями игуменьи. Обычная бургундская ферма, из тех, где время остановилось век назад: деревянные ворота в невысокой каменной ограде, за ними – большой двор, клочковато заросший травой. Внутри, как водится, службы, ныне пустующие: хлев, сарай, конюшня и мастерская... Но главное – старый фермерский дом: прохлада и уют мощных каменных стен, ряд чердачных окон в высоких скатах черепичной крыши.

Большую часть года ферма пустовала. В ней-то однажды и пришлось заночевать Леону с Филиппом, когда они припозднились за ужином в монастыре, крепко выпили и как-то не хотелось вести машину по узким средневековым улочкам меж каменных стен, а затем и лесом, и пустынной дорогой, да все по темени, выколи глаз. Вот тогда игуменья и предложила им заночевать на ферме, тут рядом...

Дом оказался просторным, с красноватыми, как поджаренные гренки, плитами каменного пола. На первом этаже все было обустроено для большой семьи: кухня с современной газовой печью (но старинную чугунную никто не выбрасывал) и гостиная с истинно бургундским, циклопических размеров камином, приспособленным под местные холодные зимы. Наверху, как обычно, три спальни, на чердаке – сеновал, винный погреб – в подвале.

Традиционный, добротный основательный дом.

...Утром выяснилось – еще и светлый, несмотря на черные балки потолка и громоздкую дубовую мебель. Сквозь целый ряд высоких, в частых переплетах окон ломилось солнце, так что надраенная решетка чугунной плиты в кухне, ввинченные в балки потолка крюки для окороков

и разрозненная кухонная утварь над печкой горели яростной медью. Над диваном в гостиной обнаружили две картины в золоченых рамах. На одной группа крестьян дружно валила дерево, на другой те же крестьяне работали на винограднике, и корзины с винно-красным изобилием гроздей казались совсем неподъемными для их согбенных спин.

Но все это проявилось и озарилось наутро, а накануне вечером две монахини и сторож отперли ворота и провели гостей в дом, где выяснилось, что на ферме какая-то поломка в электрической сети, так что сторож побежал в монастырь и вернулся с фонариком и тремя толстыми свечами монастырского производства. Совместными усилиями разожгли огонь в огромном камине, и до поздней ночи Леон с Филиппом сидели в двух таких же циклопических креслах, обращенных к огню, попивая монастырское вино и мусоля свои, все те же музыкально-театральные темы, – стоило из Парижа уезжать! Леон, в своей жизни лишенный ежевечернего зрелища усмиренного огня, мирно лижущего бокастые поленья, невольно вспоминал то страшное пламя на Кармеле, черный скелет погибшей сосны. (Наутро странно было увидеть пирамидку белесого пепла на месте вчерашнего жарко-золотого цветения.)

Когда в сон потянуло, они даже не стали подниматься на второй этаж – искать спальни. Да и рассвет был – рукой подать. Филипп завалился на могучий диван с разлапистым резным изголовьем, а Леон, в свете огарка нащупав какую-то кушетку, решил: с его комплекцией – сойдет.

– Ты не находишь, что этот деревенский дом подвернулся очень кстати? – проговорил Филипп, ворочаясь с боку на бок на своем патриархальном ложе. – Не представляю, как бы я уснул в монашеской келье – с моими-то грехами, с моими-то мыслями о чьих-то соблазнительных формах за стенкой. А?

– Что? – донеслось с кушетки.

– Да я все насчет грехов... – вздохнул Филипп.

– А я безгрешен, – кротко отозвался Леон, и правда – уснул как младенец...

* * *

Он даже не стал заезжать в Париж; и когда с кольцевой дороги свернул на Фонтенбло, над верхушками деревьев огненной рыбкой уже всплывало солнце, вызолотив мох на огромных серых валунах вдоль дороги. Стволы сосен, буков и платанов вспыхнули красным золотом; под деревьями

проступили гигантские резные папоротники немыслимых окрасок – охристые, ржаво-зеленые, кроваво-кирпичные... В приспущенные стекла машины вливался ни с чем не сравнимый древний папоротниковый дух – земли, полыни и почему-то моря – может, ископаемые эти растения за миллионы лет пронесли в своих древесных жилах память о морской глубине?

С рассветом ему полегчало – ему всегда, даже в самые тяжелые моменты жизни, становилось легче с наступлением дня.

К тому же Айя уснула и минут сорок спала, приоткрыв рот, с удивленным лицом, и когда проснулась, солнце уже бежало по мокрой траве на обочинах дороги, а Леон уже знал, куда они едут.

– Смотри, какое солнце кругло-малиновое... Прямо огонь в брюхе плещется!

– Ой... – сказала она, проснувшись, – как красиво...

Она так часто, совсем по-детски повторяла эту фразу, с такой благодарностью отзывалась на любой пейзаж, что Леон каждый раз давал себе слово купить ей камеру – сразу же, сразу же! Он снизил скорость, глубоко вдохнул папоротниковый ветер и стал ей описывать – очень смешно, в лицах – монастырь и его насельниц, старую монахиню Аглаиду, например. Как в один из его приездов, когда прямо у ворот монастыря развалилась очередная тачка изверга Жан-Поля, она предложила подбросить Леона в Париж. Рванула по деревенским дорогам со скоростью 120 в час, и он перепугался, что на репетицию *приедет с мокрыми штанами*.

– «А что это вы в Париж наладились?» – осторожненько так спрашиваю напряженным голосом, поверх визга тормозов. «Да на исследования еду: катаракты надо оперировать на обеих глазыньках, совсем слепая стала...» – и продолжает давить на газ, визжа тормозами, вписываясь в повороты деревенских каменных улочек, что твой каскадер... Это бургундская глубинка, – добавил Леон, – здесь, если верить местной шутке, покупая на почте марку с изображением Марианны^[59], мужики плюют на нее с двух сторон...

Мысленно он перебирал варианты: в случае, если на ферме кто-то живет, – куда деваться? Надеялся, что и тогда матушка Августа согласится принять девушку на постой в какую-нибудь келью, хотя бы на несколько дней, пока Леон обмозгует ситуацию и *выстроит либретто*. Самое же дорогое в монастыре – русский язык. Айя может общаться с монахинями и паломниками. Там русский многие знают. Он вдруг вспомнил огромную

бельгийку, сестру Ермигонию – всегда сонную, всегда на кухне: печет просфоры и истово молится. Если что подгорит – начинает внезапно и пугающе громко рыдать. Вообще-то у нее диплом Оксфорда, но что с того? У каждого своя биография. Во время редких наездов Леон говорил с нею по-французски; она называла его «месье Этинжэ», по-своему произнося фамилию. Но вот в монастырь приехал столяр Федя из белорусской деревни. И однажды утром Леон прямо застыл на монастырском дворе, наблюдая истинное чудо: Ермигония (опять зареванная) балакает с Федей на великолепном и очень живом русском языке!

– Сестра Ермигония! – вскричал Леон. – Почему ж вы никогда со мной по-русски не говорили, мне было бы приятно!

– А зачем? Вы *и так* говорить умеете, месье Этинжэ... А Федя – нет...

На полях уже копошились люди и ползали тракторы. В матово-солнечной дымке утра замаячил над пятнистой черепицей домов бесплотный и будто парящий в воздухе Кафедральный собор Санса. Вскоре миновали Жуаньи – мелькнула среди старой терракоты крыш, с островками зеленого мха и темными пятнами копоти, высокая, узорная, чешуйчатая крыша церкви, устланная полукруглой черепицей.

Наконец проехали крошечный Брион и въехали в Бюсси.

Вот она, деревенская площадь с разъездом вокруг фонтана, вот почта, мэрия, продуктовая лавка. Магазинчик, где торгуют газетами, леденцами и табаком...

Он свернул к Отскому лесу, и вскоре показались ворота монастыря.

На проезжей части деревенской улицы монастырский сторож играл с мальчишками в футбол.

Фермерский дом оказался свободен, Желтухин Пятый, странник и храбрец, обрел наконец покой; Матушка Августа творила благодеяния с той же альтовой полуулыбкой. Огромный камин разжигался по-прежнему удивительно легко, дрова постреливали шальными искрами, и огонь отплясывал над золотыми поленьями нескончаемую свою жигу...

Для себя он снял номер в одной из тех затрапезных трехзвездочных гостиниц на площади Гамбетта в Двадцатом округе, что принадлежали

марокканцам, тунисцам или пакистанцам и постояльцев имели соответствующих – небогатых туристов из России и стран Восточной Европы. В кафе на улице Пиренеев – за углом – всегда можно было перехватить сэндвич и кофе.

На стойке он предъявил паспорт благонадежного Льва Эткина и минут двадцать с весьма приблизительной туристической картой в руках донимал портье – несчастного пожилого армянина с благостным профилем очередного Папы Римского и фасом крестного отца итальянской мафии, – пытаясь на гремучей смеси французского и английского выяснить «местоположение Лувра» и «еще двух знаменитых музэйнс... как это... как это... Помпиду! Да, и Нотрэ Дам, пли-и-из!» – получая истинное удовольствие и от диалога, и от откровенной муки, написанной на лице портье, который разительно преображался, стоило ему сменить фас на профиль, и от реплик двух марокканцев из obsługi, отпускавших на счет «идиота-русского» тихие язвительные замечания на арабском.

Ему необходимо было уладить несколько неотложных дел: провести две репетиции с барочным ансамблем, обсудить с главным режиссером театра свое присутствие в репертуаре «Опера Бастий» на будущий год, договориться о недельном отпуске с девятнадцатого апреля и... и тому подобные рядовые и мелкие заботы по делам своего «оперного бизнеса», которые сейчас казались ему до смешного уютно-малозначимыми.

Вообще, за последние недели как-то померкла и отодвинулась вся его парижская жизнь, будто некий театральный осветитель погасил угол сцены, где в данное время нечего смотреть. Сейчас этот чертов осветитель с неумолимой ослепляющей яркостью озарил иное Средиземноморье: Иерусалим, милый дом в Эйн-Кереме, старый прекрасный сад в богатом предместье Тель-Авива, где в патио вокруг бассейна бродили тени, ставшие за последнее время столь осязаемо грозными, что полностью затмили его нынешнюю жизнь. Леон знал, что должен доиграть до финальной сцены этот спектакль – посмертный, но с такими живыми воспоминаниями, такими запахами летней жаркой ночи, что першило в горле и слезы выступали на глазах... И от того, как он расставит персонажей давнего спектакля, как исполнит свою партию и насколько убедительным выйдет финал, будет зависеть вся его дальнейшая жизнь...

Вечерами он валялся в возмутительно тесном номере паршивой гостиницы, где не то что шагать – повернуться было рискованно;

просыпался среди ночи, вскакивал к компьютеру, шебуршил в Интернете, проверяя очередную дикую идею, пришедшую в голову, изучая расписание работы какой-нибудь очередной марины на очередной ривьере... Без конца крутил, переставлял, соединял известные ему детали, даты и факты, пытаюсь собрать некий пазл, сценарий, сколько-нибудь пригодный для постановки.

На Лигурию указывали редкие белые вина, над которыми квохтала обольстительная Елена Глебовна: *пигато*, *шаккетра*... Опять же – монорельсовая дорога, построенная в помощь сборщикам винограда. Берем Лигурию, добавляем монорельсовую дорогу, множим на виноградники – получаем Чинкве-Терре: тысячелетняя культура вина, сотни виноградных хозяйств... Убедительная площадка для финальной сцены: все пять деревушек-борго расположены на террасных землях, подпираемых каменными стенами. Если верить Интернету, «протяженность этих стен семь тысяч километров – длина Великой Китайской стены»... О'кей, к черту Интернет, к черту туристические справочники. Важно то, что во всех пяти деревушках Чинкве-Терре марины нет, хоть бейся головой о какую-нибудь каменную террасу! Нет ни одной марины, только маленькие причалы для рыбацких лодок. Ближайшая марина – в Портовенере. Значит ли это, что вилла «Казаха» там и находится? И как опознать нужную яхту? Списки с фамилиями владельцев яхт в офисах марин, безусловно, существуют. Но кто выдаст их первому встречному, а главное – с чего ты взял, что яхта записана непременно на имя «Казаха»?

А ведь в Италии еще и нет адресных столов. Можно, конечно, обратиться в коммуну с запросом, оставив свои координаты. И если разыскиваемая персона готова встретиться с тобой, ты получишь по почте ответ. Помнится, Иммануэль рассказывал, что у нацистов в Италии были проблемы с домашними адресами евреев: приходилось конфисковывать в синагогах списки прихожан.

Все было глухо у него внутри, и ни единого звука не долетало из той области чувств, которую его бывший шеф именовал «твоей идиотской интуицией». Время шло, день проходил за днем, а Леон пока и не представлял, с какого конца подступиться к поискам. Впору было сдаваться *конторе*, подарив ее *специалистам* свое кровное прошлое...

Кроме того, его мучили некоторые побочные соображения: почему, собственно, пунктом отправления выбрана Лигурия, одна из самых дорогих европейских ривьер? Почему вообще Италия, когда самой немудреной

дорожкой из Казахстана в Иран могла быть морская прогулка по Каспию?

Впрочем, напоминал он себе, в наши дни трафик любых передвижений определяется надежностью и быстротой каналов транспортировки. Маршруты зависят от связей владельца. Посмотреть, к примеру, как идет письмо, доставляемое какой-нибудь экспресс-почтой: маршруты могут кренделять из России в Париж через Латинскую Америку. Все зависит от расположения крупных сортировочных центров, объемов, перевозочных средств... А у нас перевозочное средство – какое? Яхта! И уместнее всего, и безопаснее всего она смотрится на обжитых просторах европейского Средиземноморья...

Мысленно он прочерчивал невероятный для яхты маршрут (это должен быть крейсер, а не яхта): из Средиземного моря через Суэцкий канал, а там, огибая Аравию, через Ормузский пролив – в Персидский залив?... Безумный рейс.

Нет, самым разумным для яхты маршрутом может быть только: Средиземным морем – в Бейрут, а там (несмотря на беспредел в Сирии и Ираке) головорезы из «Хизбаллы» найдут способ переправить груз в Иран... Или, что не исключено, оставят его в Ливане – «грязная бомба» и «Хизбалле» пригодится в хозяйстве.

Вновь – по зернышку – Леон перебирал рассказ Айи: «Фридрих сказал: “Андрей участвует в какой-то операции *российским экспертом*... Андрей – консультант, он ведь там все знает”. В общем, как я поняла, на полигоне проводилась секретная операция – сбор плутония, что ли...»

Что ли, что ли, моя наблюдательная умница... Секретная операция Казахстана, России и Америки, столь умело *заныканная* от МАГАТЭ. Вот там, надо полагать, Крушевич и поживился... Только чем?

Натан, помнится, упоминал об альтернативном пути создания бомбы. В данном случае грязной бомбы, «пугалки-загрязнилки» для нашего огорода. Милые *альтернативные* плутониевые яблочки...

Что такое плутоний и с чем его едят, черт бы побрал твое музыкальное образование?

Он пытался на сей предмет покопаться в Интернете. Но когда ты – пришлец и кенарь, и изотоп плутония 239, с периодом полураспада порядка 25 тысяч лет, не сильно для тебя отличается от другого изотопа плутония, 238, с периодом полураспада всего в 87 лет, и тебе, в сущности, глубоко плевать, для чего используют тот и этот и почему сей таинственный процесс называется не «распадом», а «полураспадом»...

Вдруг вспомнился Бостон, гастроль трехлетней давности, визит в университетский музей науки (один из спонсоров гастролей непременно желал что-то там чудесное показать), и неожиданно сильное впечатление, когда провожатый предложил ему взять в руку черный шар величиной с теннисный мяч, который неожиданно оттянул руку восьмикилограммовым грузом. И щекастое, ужасно довольное лицо провожатого, похожего на пожилого подростка, хвастающего научными чудесами:

– А это и есть уран! Плотнее его только плутоний... ну, и платина.

Плутоний... Плут, плут, плутократия... Вот кому надо позвонить: Рик, славному кембриджскому гребцу в сланцах на босу ногу. Кто, как не физик-теоретик, может доступно растолковать тупому лабуху всю эту ядерную хренотень? И мысленно огрызнулся: да раньше надо было звонить, раньше! О чем ты думал – профан, невежда!

Но Рик пропадал где-то на конференции в Бразилии, о чем любого желающего дружески извещал автоответчик, при всей своей приветливости не сообщая номера сотового телефона.

Наконец Леон застал его – после бессонного рейса – и благословил судьбу за простодушное величие подлинного человека науки: сразу почувствовал, что тут не требуется обычных в таких случаях идиотских легенд и тщательно продуманных историй. Рик был прост и утомлен, будто вернулся не с конференции, а с соревнований по гребле на реке Кем... Так что Леон – из уважения к его занятости – не стал особо крутить, на скорую руку соорудив байку из серии «и такое бывает».

– Рик, тут дурацкая история, – смущенно посмеиваясь, начал он, – даже неудобно, что беспокою. Ко мне в гости приезжает одесская кузина с женихом. Он какой-то гений в области ядерной физики, ну а меня, с моей *авемарией*, вы уже знаете... Как представляю напряженное общение с будущим родственником... Ну и я что: хотелось бы не то чтобы скоренько образование получить, – (тут перед ним мелькнул Кнопка Лю: «Ты научи меня быстренько пару штук симфоний»), – не то чтобы... но хоть чуть-чуть представить – о чем речь... А то я уж совсем – музыкальный болван болваныч. Боюсь ляпнуть что-то чудовищное, расстроить свадьбу сестры. Вот, залез в Интернет, а там в новостях все какой-то плутониевый путь создания ядерной бомбы...

– О'кей, – буркнул Рик. – Только плесну себе бренди.

– Да и я плесну, – обрадовался Леон, не уточняя, что именно себе плеснет (молока: с утра у него саднило горло). Они синхронно расстались на минуту и дальше («Значит, так, – плутоний, если уж мы о нем заговорили, – серебристый металл, довольно быстро окисляется, приобретая желтоватый оттенок...») – и дальше часа полтора увлеченно беседовали, мгновенно сблизившись (чего не случилось в Кембридже), приканчивая – по разные стороны Ла-Манша – содержимое двух разных бутылок, переспрашивая, поправляя, уточняя, терпеливо разъясняя – и кое-что записывая, чтобы не забыть...

– Черт, украл у тебя уйму времени! – прощаясь, воскликнул Леон и в ответ получил меланхолическое приглашение «позванивать, когда требуется, – глядишь, человеком станешь...».

Затем Леон часа полтора валялся в номере, перебирая листки из тощего гостиничного блокнота со своими каракулями, тасуя их, как карты, разглядывая, как самые дорогие фотографии:

«...в одном литре – 20 кг!!! но: критич. масса – около 11 кг, след-но, одним куском выше критической массы – взрыв! Потому: никогда больше 1–2 кг в одном куске, в свинцовой оболочке, не оч. толстой, т. к. плут-й не излучает гамма-лучей, только альфа-частицы (ядра гелия) со слабой проникающей способн-ю... Несколько кг пл-ния вместе со свинц-й оболочк. провезти легко, потому боятся ноутбуков – идеальная упаковка! Но в аэропортах – через рентген – видят черное пятно, это – риск!

Главное: 12 кг плутония (в 4–5 отдел. кусках) – достаточно для бомбы...»

Обдумывая эти обрывочные сведения и сваленные в кучу цифры, он пытался вообразить, где на яхте спрятал бы небольшое количество плутония? И резонно себе отвечал: да где угодно, если как следует поломать голову.

* * *

...Между тем паспорт на имя Камиллы Робинсон был готов, и в наилучшем виде.

Они встретились на бегу, у того самого «музэйона Помпиду», на минуту присев на бортик фонтана Стравинского. Леон изумился безупречному исполнению *этой изящной пьесы* и с новым уважительным

интересом разглядывал суетливого человечка в тяжелых ботинках и потертом комбинезоне смутно армейского образца.

– Я тут красоту навел, – пояснил Кнопка Лю, – велел понаставить с десяток въездов-выездов...

За его спиной в фонтане истекала двумя струйками знаменитая скульптура: непристойно красные и непристойно пухлые губы, формой в точности повторяющие толстые губы крошки эфиопа.

– Горжусь тобой! – ответил Леон, листая паспорт – уже *настоящий*, как бы размятый торопливыми и хваткими руками пограничников, слегка потертый, с чуть замусоленными уголками страниц.

Да, такую убедительную ксиву, такой подлинный пропуск в рай могли сработать только в самой серьезной лаборатории, криминальные структуры тут ни при чем. *Интересно, во что мне станет эта дикая эскапада...*

Впрочем, сейчас он не мог думать о том, что будет после. Внутри у него были взведены все пружины, словно чья-то неумолимая рука долго заводила механизм, поворачивая и поворачивая ключ, и еще докручивая на последние пол-оборота... И вот-вот раздастся то ли взрыв, то ли оглушительный звон обезумевшего будильника, то ли трактирная шарманка зальется расхожей полькой и будет крутить и крутить ее – не остановишь! – пока не раздолбаешь каблуки или не выдохнется завод.

Пока ускользящая дичь не забьется в моих руках – в смертельной агонии.

Сейчас он лишь отметил про себя, что Кнопка Лю и правда поработал на славу и что Камилле Робинсон придется при расчете накинуть ему сотню «целковигов».

Когда уже расставались (каждый торопился, у каждого свои дела-заботы), Леон вдруг щелкнул пальцами, будто вспомнил нечто забавное, подался к эфиопу и, понизив голос, проговорил:

– Да: я исчезаю, и, возможно, надолго... А ты, если захочешь опохмелиться, подскочи в Лондон. Корейский ресторан на Шарлотт-стрит – там ждет бадья отличного пойла. Назовешь у стойки мое звездное имя, тебе нальют. Вылакай все!

– Ты... очумел или как? – озадаченно пробормотал Кнопка Лю. – Где я, а где этот Лондон?

– Отличное корейское пойло, – со значением повторил Леон. Закинул на плечо пустотелый рюкзак с красной книжицей подорожной удачи внутри. – Соджу называется. Сод-жу!

И адресок повторил, улыбочиво и спокойно глядя в изумленные глаза

Кнопки Лю. Знал, что тот запомнит: у старого марксиста была отличная память.

Он и сам не очень ясно представлял себе, к чему затеял этот финт. Точно так, уезжая на гастроли, всегда прихватывал на всякий случай тьмутьмущую ненужного барахла – вдруг пригодится? И были, были моменты, когда потрясающим образом совпадали нужда с припасенным счастливым обстоятельством. Он был артистом, он был певцом и распеваться привык в разных регистрах и разных тональностях.

4

В один из этих дней, совсем измаявшись, поехал на ферму в Бюсси...

Неожиданно застал ухоженный дом, будто неделю в нем шуровала выездная бригада опытных уборщиков, и умиротворенную, загорелую под весенним деревенским солнцем, похожую на мальчика-мулата, скуластую сладостную Айю.

Она увидела его в окне, вскрикнула и побежала открывать... Оба одновременно споткнулись на пороге, уцепились друг за друга и замерли.

От нее пахло упоительной мешаниной: укропом и розмарином (помогала на монастырском огороде?), еле слышным ароматом специй, сладковато-пряным духом копченостей из монастырской коптильни, легкой испариной... Отросшие и уже выющиеся волосы пружинили под его пальцами; он подумал, что они с Айей, должно быть, опять ужасно похожи этими упругими завитками одинаково крутых затылков.

В голове предательски мелькнуло: может, к черту все? Зайти в ближайшее интернет-кафе, черкнуть Шаули два-три слова о прекрасной Лигурии и о «казахском сыночке»; кинуть предположительную дату: двадцать третье апреля...

(«А поднимется ли он к двадцать третьему?» – и «он» поднялся: во всяком случае, в справочной службе лондонского госпиталя Святого Фомы некой девушке, озабоченным голосом осведомившейся о здоровье такого-то, ответили, что такой-то выписан позавчера в удовлетворительном состоянии.)

...короче, выложить все, что на сегодняшний день имеется в наличии,

и закрыть эту тему навсегда. С перелицованным Винаем разберутся, и очень скоро. Иммануэль умер много лет назад в полнейшем неведении и вовсе не требует от тебя сведения счетов с его любимым «ужасным нубийцем»... В конце концов, разве ты не твердил годами самому себе и друзьям из *конторы*: «Я – артист, я – частное лицо. Я просто голос»? Так вот и стань частным лицом, просто Голосом – именно тогда, когда ты встретил свою пару: свою голубку, свою лебедицу, свою волчицу – кто там еще в животном мире никогда не расстается, а умирает от тоски, когда погибает другой?

Отослать письмо и все забыть... Им с Айей всего лишь придется погулять тут по лесистым холмам Бюсси как раз с неделю – время, которое он и взял для отпуска. А дальше можно будет просто жить: петь, фотографировать, забросить в Сену с моста Турнель седой паричок вместе с паспортом Ариадны Арнольдовны фон (!) Шнеллер и вожделенным швейцарским паспортом Камиллы Робинсон. Наконец купить Айе фотокамеру, да, пожалуй, и снять другую квартиру, побольше, ибо *эта мадам Этингер* весьма скоро потребует своей беспрекословной доли свободного пространства...

– Пойдем, что покажу! – выдохнула она ему в ухо, схватила за руку и минут двадцать таскала по двору и по дому: заставила подняться на до сих пор пахнувший сеном пустой чердак с мощными стропилами, высоко, как в соборе, вознесенными над головой. Затащила в винный погреб: «Настоящее чрево земли!» – где под низкими сводами выгнутого дугой потолка деревянные стеллажи целили запечатанные дула пыльных бутылок.

Это был добротный фермерский *cave a vin*. Если судить по кирпичной кладке – века полтора от силы. Но, присмотревшись, можно заметить серые камни прежней кладки, а копнув хорошенько, обнаружить кладку еще древнее. Короткий аппендикс лестницы штопором вонзался в грунт, глухо заваленный камнями. Старая добрая Бургундия: поколение за поколением тут рыли погреба, многокилометровые тайные ходы, что впоследствии заваливались и приходили в негодность.

– Ну, да, подвал... – одобрительно заметил Леон. – Хозяйство было немаленьким.

– Нет, ты глаза закрой и нюхай! – потребовала она. – Здесь есть одна тайна.

И сама зажмурила глаза, ноздри раздула, с шумом втягивая сырой воздух:

– Чуешь? Яблоками пахнет! Совсем как в ангаре у нас на Экспериментальной базе. Только это не апорт, там запах с кислинкой, а здесь сухой, сладковатый. Откуда – среди виноградников? Загадка!

– Ну уж и загадка, – насмешливо улыбнулся Леон. – Это запах ратафии, крепленого вина. Прежний хозяин гнал ее из яблок, вот и вся загадка. В тех вон бочках бродил сидр, набирал нужный градус, а потом отправлялся на винокурню, чтобы стать аперитивом...

...В этой подземной матрешке было сыровато и знобко, но въевшийся в стены стойкий запах яблочного брожения отгонял мрачные мысли.

Они прихватили бутылку красного сухого и по лесенке поднялись в кухню, озаренную жаркой медью сковород и половников, начищенных и развешанных по стенам.

Айя и тут не могла остановиться, все хвастала хозяйством: в шкафах целые залежи прошлого – смотри, какие ухваты, а какой серебряный щелкунчик, видал? А какие чугунные узорные подставки под все на свете! Без умолку болтала новым, свободным и полным голосом без обычной своей хрипотцы, будто дом и ферма принадлежали ей и Леону, а глаза, насыщенные всей этой зеленью, и медью, и красным деревом, и искрами каминного огня, молча умоляли только об одном: давай здесь останемся, давай!

Леон поймал ее за руку, притянул к себе, стиснул.

– Да что за безобразие! Охотник прискакал с намерением завалить лань, а та изворачивается и бежит по двору! Так: вот удобный диван: за-ава-а-аливаем...

– Погоди-погоди! – вскричала она. – А ситцевый балдахин в спальне, ты ж не видел! – Вырвалась, помчалась по деревянной лестнице на второй этаж, крикнула оттуда: – Ты просто рухнешь!

Он взбежал за ней следом, налетел, зажал под мышкой ее голову и – рухнул, заволакивая лань под ситцевый балдахин...

Проснулись только под вечер, не слышали, как вошла в дом и сновала по кухне, расставляя судки с едой, послушница из монастыря: матушка Августа считала своим долгом подкармливать девочку *Этингера*.

Солнце еще перебирало оборки балдахина – голубого, с черными провансальскими маслинами, – ползло по такой же голубой-оборочной скатерке на деревенского вида комод, обтекая сливочным блеском фаянсовый кувшин с незабудками...

Проснулись, но все валялись, то и дело напоминая друг другу

блаженно-тягучими, на зевках, голосами, что надо спуститься, поставить на газ чайник, приготовить что-нибудь пожарить... Часа через полтора Леон намеревался выехать в Париж. Медленный прозрачный разговор, не имеющий отношения к их *страшному и мутному*:

– А по-французски «крестьяне» – это «пейзане», да?

– Сейчас их так редко называют, только в смысле «деревенщина». Сейчас говорят «земледелец», *agriculteur*. Произносится приблизительно так: «агрикультёр».

– Покажи еще раз! – приказала она, обеими ладонями поворачивая к себе его лицо.

– Аг-ри-кю-уль-тёр... – он преувеличенно артикулировал, гримасничая, пытаясь дотянуться губами до ее лица. – Постой, а Желтухин-то где?

– Опомнися. Вот цена твоей любви. Желтухин теперь живет в трапезной. Поклонниками обзавелся! Его лично матушка Августа кормит. И, главное...

– Что это играет? – вдруг спросил Леон.

– Наверное, радио. Знаешь, я в кухне отыскала настоящее старое радио, явно по такому «агри-кюльтёры» слушали передачи во время войны. И оно действует: я ладонью слушала... Там такая смешная ручка-рулетик и дли-инная линейка станций. Видимо, прикрутила не до конца. А может, девушка-послушница включила. А что, ты?..

– Подожди! – Он перехватил и сжал ее ладонь.

Пел Андреа Бочелли... Разумеется, Леон сразу узнал этот голос, один из самых красивых голосов в мире – благородно-чувственный тенор, глубокий и мягкий в нижнем регистре:

Lo strano gioco del destino
A Portofno m'ha preso il cuor
Nel dolce incanto del mattino
Il mare ti ha portato a me... [\[60\]](#)

«И, между прочим, у нас там симпатичное общество собирается, – произнес в памяти голос Николь. – Где-где – в Портофино! Ну-у-у... ты уже забыл, я тебе вчера рассказывала? Love in Portofno...»

Популярная когда-то песенка «Love in Portofno» раскачивала мелодию, как лодку, ритмично лилась и лилась, обволакивая нездешними мечтами

старый бургундский дом.

«...Можно прекрасно время провести: образованные люди, коллекционеры, умницы – всё наши соседи и всё наши клиенты... Кстати, и россияне есть, так что скучно тебе не будет...»

Леон рывком сел на кровати. Сердце колотилось о ребра, раскачивая не только тело, но и кровать, и весь дом.

Айя села рядом, нежно и сильно провела ладонью по его голой согнутой спине – от затылка до ягодиц. Молча прижалась щекой к плечу. Он даже головы не повернул.

Так вот оно: укрытая среди скал курортная деревушка Портофино. Маленькая удобная марина, уютная пьядца, пустынная (не сезон) набережная...

«Ведь это полезно для голосовых связок – теплый морской воздух?..»

Сильным проигрышем вступила скрипка, пронеслась мелодическим вихрем, взмыла, растаяла в мягком, но темпераментном ритме ударных, подготавливая вступление голоса, полного чуть старомодной романтической любви:

So-cchiu-do gli o-o-o-cchi

E a me vicino

A Po-orto-fno-o

Ri-ve-do te-e-e-e... [\[61\]](#)

И сразу же игривый, но несколько натянутый голос Елены Глебовны подчеркнуто произнес:

– А вот другие тенора не обходят своим вниманием наши края!

Леон вскочил и молча стал одеваться. Обняв колени, Айя следила за ним запавшими глазами. Весь солнечный взмыв ее гибкого тела, мягкая кошачья сила полуденной любовной схватки, весенний загар, солоноватый на вкус, – все вмиг ушло, оставив тоску и обреченную готовность к беде.

– Опять бежим? – спросила она. – Вот мне лафа... Ты просто путеводная звезда пилигримов.

– Одевайся! – коротко приказал Леон, быстрыми пальцами *проигрывая* пуговицы на блейзере. Надо успеть собраться, наскоро прибрать за собой в доме, попрощаться с благодетельницей – игуменьей Августой. – И поторопись... Мы возвращаемся в Париж.

Потом бесчисленное количество раз он допрашивал себя – почему не оставил ее на ферме, зачем поволок в безумие погони, в потный страх, в сердцебиение смертельной опасности, в блевотину соленой морской воды? И, как часто с ним бывало, не мог себе внятно ответить. Мысленно твердил, что ферма и монастырь – отнюдь не самое безопасное место (чепуха, чепуха, чепуха!), что Айя и сама бы отказалась с ним расстаться (приказал бы – осталась!), что она гениально подыграла в задуманном им спектакле, без которого... а иначе бы... а в противном случае...

И сам себя обрывал: чушь, бред, хрень собачья! Ты просто не мог от нее оторваться, вот и все! Не мог даже помыслить вновь ее потерять – обсирался от страха! Облепил себя ею, как пластырем, и ее связал по рукам-ногам – себя, ее... головоногий тяни-толкай!

Но даже в рваные, залитые кровью часы пыток, когда вопль раздирает его несчастные голосовые связки, он знал, почему это сделал: его инстинкт, его нутро, все его существо спасалось в этой любви и питалось ею; само присутствие Айи странным образом обосновывало справедливость смертного приговора, что самолично он вынес и привел в исполнение.

* * *

Портье затрапезного пансиона стоял лицом к входным дверям и потому являл ипостась угрюмого мафиози. Леон успокоил его с порога, просто подмигнув и невзначай обронив на стойку перед его грозным носом купюру в сотню евро. Тот нахмурился, засуетился (все же чаевые были неожиданно жирными) и обратил зверский фас к компьютеру, явив постояльцам благостный профиль Папы Римского...

После простора бургундского дома их возмутительно тесный закут, выкроенный в конце коридора явно из какого-нибудь бывшего туалета или кладовки, Айю не то чтобы шокировал, но озадачил.

– Мы здесь будем жить? – поинтересовалась она.

– Уже не будем. Завтра вылетаем в Геную.

– В Геную... – эхом повторила она, взметнув ласточкины брови. – А это что такое? – откинув занавеску на окне, ощупала никелированные ручки нашего транспорта, сложенного и прислоненного к стене. Леон снова восхитился: мгновенно заметила – вот наблюдательность, глаз-алмаз!

– Это инвалидное кресло.

– Та-ак... И кто тут инвалид?

– Я, – коротко отозвался он. Айя промолчала, продолжая осматриваться. Научишься тут помалкивать, подумал Леон чуть ли не с благодарностью. Если б она распахнула дверцы хлипкого шкафа, втиснутого в простенок, то обнаружила бы там и палку с крестовиной внизу. И то и другое, как и черный ортопедический ботинок, Леон приобрел в Гранд Фармаци Думер-Пасси.

Его любимый персонаж Ариадна Арнольдовна фон (!) Шнеллер (это, говорил Шаули, уже смахивает на обсецию) иногда взбадривалась, поднималась и шкандыбала, опираясь на палку: инвалидное кресло не всюду протащишь. А порой, как это было однажды в Праге, прямо-таки молодела лет на десять. Почему при этом Леон гримировался под Барышню в старости, он объяснить не мог. Эська, уже впавшая в маразм, столько раз повествовала о благородной Ариадне, принявшей еврейскую смерть, что в воображении Леона две старухи слились в один лелеемый им образ.

К тому же тут присутствовал еще нюанс: Леон ведь не просто выпускал в мир ожившую Ариадну: он посылал ее на мечь. Спустя семь десятилетий после своего исчезновения старуха являлась в хаос этого грязного мира карающим ангелом, мышцей простертой, изничтожающей зло.

– Ты можешь еще поспать, – предложил Леон, доставая чемодан и раскрывая его на прикроватной тумбочке. – Время есть...

– Я бы хотела душ принять – это здесь позволено?

– Вон там, за занавеской. Там и унитаз – не пугайся. Я буду выходить по требованию. А раздеваться лучше здесь – туда вползают по стеночке и только боком, причем левым. Постарайся локтем не сбить зеркало.

– Вот сволочи, – в сердцах бросила она, стянула через голову свитерок, расстегнула джинсы и переступила через них. – Бесстыжая обираловка!

– Да уж, это не ферма в Бюсси...

Она нырнула за занавеску и включила душ.

– Работает, слава богу! – крикнула оттуда. – И напор приличный... А мы ведь еще вернемся на ферму, а, Леон? Обещай мне. Я их всех так полюбила... Знаешь, там есть одна послушница – Нектария. Она египтянка, дочь дипломата, жутко умная, книжница такая, ой-ей-ей. Похожа на фараона в саркофаге, в смысле – высохшая, как мумия. И все время молчит...

Он не вслушивался в то, что она там бормочет, но сочетание ее голоса с шумом воды доставляло ему странное наслаждение, вначале необъяснимое, потом он понял: тот душ на пенишете, когда ему пришлось собственноручно мыть ее – тонкую, как мальчик-подросток, с этим шрамом под левой лопаткой, поливая на расстоянии и умирая от желания залезть к ней прямо в одежду и прижать к себе, ну и так далее.

Вдруг ему пришло в голову сейчас же опробовать на Айе... Точно! Почему бы и нет? И улыбнулся, предвкушая ее реакцию...

Достал из чемодана и открыл небольшую пластиковую «шкатулку с сюрпризом».

Она была трехэтажной: каждое донце выдвигалось, являя какие-то скучные баночки, пинцеты, тампоны и кисточки, лоскуты сероватой морщинистой кожи, напоминавшей шкурку ящерицы, прозрачные пластины с как бы проросшими сквозь них волосками бровей, усов и бород разного цвета... И несколько линз на глаза, которыми, впрочем, он редко пользовался, считая ненужным шукарством.

– ...И вот кто-то привез в подарок монахиням невиданное баловство: черную икру! Ее вывалили из банок в лохань и поставили в трапезной на общий стол. Египтянка положила себе, как обычно, рисовой каши, сдобрила ее икрой и хорошенько посыпала сахаром. И принялась давиться этой бурдой – с каменным лицом. Представляешь? Смирение паче гордости. И никто ей ничего не сказал – чтобы не смутить...

По крайней мере, душ здесь работал хорошо, и Айя не торопилась, с удовольствием намыливая себя с головы до ног дешевым гостиничным шампунем, пригоршнями плеща в лицо воду, отфыркиваясь и продолжая громко вываливать впечатления из *монастырских закровов*:

– А еще там есть такая старенькая монахиня из Голландии, ну эта вообще – чудо из чудес. Захожу вчера в кухню и вижу кошмарную картину, можешь не верить: из огромной раскаленной духовки торчат тощие ноги в башмаках! Я ка-ак заору от ужаса! А она выползает ногами вперед – в нейлоновом подряснике, без единого ожога, и в одежде ни дырочки. Вот, говорит, проголодалась, решила отрезать себе кусок пирога. А тот стоит в самой глубине печи.

Леон *наизусть* подклеивал мятые мешки под глазами, почти не всматриваясь в свое отражение в зеркальце. Его пальцы досконально знали каждый выступ, каждую мышцу и впадину лица, надбровные дуги, горбинку хищного носа, и бежали, где-то прихлопывая складочку, где-то присборивая морщинку, придавливая весьма натуральную бородавку над правой бровью...

В театре он известен был тем, что не прибегал к услугам гримеров; а одна из них, китаянка Же Чен, когда бывала свободна, приходила поглядеть, как он гримируется. Бесшумно витала вокруг него, дышала в затылок, хмурилась где-то у виска, обдувала неслышным выдохом щеку. Говорила: маэстро Этингер, я учусь. Вы грим накладываете, как ноту берете: точно в тон...

– ...Я вокруг нее прыгаю: как вы, да что вы, да не надо ли помочь... А она мне с таким спокойным достоинством: спасибо, мол, я справилась. На десятом десятке становишься как-то самостоятельнее... В общем, обязательно туда вернусь и сделаю серию рассказов о монастыре и о деревне – какие там лица есть, Леон, какие лица!

Наконец вышла из-за занавески, обернутая большим полотенцем. Другим полотенцем, поменьше, взлохмачивала темно-каштановую гривку уже отросших волос, что-то оживленно бубня из-под махровой ткани. Наткнулась на молча стоявшего Леона и подняла голову.

Она не издала ни звука, только отпрянула всем телом, уронила полотенце и осела на журнальный столик: к телу Леона была приставлена подрагивающая голова седой старухи с такими тошнотворными золочеными клипсами, что одно это могло кого угодно привести в ужас.

– Видали ее, – сказала страшная старуха отчетливыми губами Леона. – Разнагишалась тут. Подбери титьки, бесстыжая!

Айя изменилась в лице, медленно поднялась на дрожащих ногах и, размахнувшись, так что упало опоясывающее ее полотенце, с силой залепила старухе меткую сверкающую затрещину.

Та подхватила клипсу, издала короткое ржание и торопливо проговорила:

– Нормально, это шок... Да ладно тебе, Супец, я же просто для провер... – и вновь получила по мордасам уже с другой руки, для равновесия (ох и тяжеленькие это были ручки, когда Айя вкладывалась).

Короче, эксперимент, подытожил Леон, минут через пять собственноручно высушивая феном ее темно-каштановый затылок, эксперимент прошел успешно.

Она обозвала его клоуном – когда пришла в себя. Господи, говорила, бросая брезгливые взгляды на морщинистую образину, слишком натуралистично, по ее мнению, *навороченную*, – с кем я связалась! С кем связалась!

– С Ариадной Арнольдовной фон Шнеллер, – мягко втолковывал ей

Леон, слегка грассируя. – Погоди, вот мы еще должны как следует *продумать тебя...* Ведь ты и сама была в этом бизнесе, а? Платка-берета, понимаешь ли, тут недостаточно, все это чепуха. Кардинально человека меняет прическа. Я тут из гримерки стащил пару симпатичных париков римских легионеров, надо выбрать, примерить... – И обиженно ахал, как хозяйка, чей пирог гости недохвалили: – Почему – в жопу? Ну при чем тут жопа, Супец! Кстати, о ней тоже надо подумать: твоя походка недостаточно сексуальна... Не дергайся! Рассматривай это все как грандиозный спектакль. Ты же художник! Ты же сама рассказыватель историй...

Позже он все-таки разгримировался (она в постель его не пускала) и, лежа на немилосердно комковатом матрасе, брошенном на какие-то металлические козлы, в желтоватом сумраке их постылого закута расписывал Айе Портофино и Чинкве-Терре – пять лигурийских деревушек, «Пять земель», пять *борго*, где сам вообще-то никогда не бывал...

Она лежала щекой на его плече, закинув руку ему на шею, сонно переспрашивая, уже совсем засыпая... и вдруг опять задавая какой-нибудь вопрос.

Было забавное ощущение, что он укладывает неугомонного ребенка, который вот уже и набегался, и устал, и три сказки выслушал, и дал честное слово крепко закрыть глазки, но вдруг широко открывает их, блестящие, полные оживления, и доверчиво спрашивает: а правда, что боженька видит, когда человек не спит, даже если у того глаза зажмурены? И ты отвечаешь: правда-правда, ну-ка, давай, усыпай, наконец!

Ему необходимо было продумать *воздаяние* в мельчайших деталях, перебрать возможности, предусмотреть проколы, ничего не упустить. К тому же хотелось (и это смутно ощущалось им как измена Айе) мысленно побыть наедине с Николь, *попрощаться по-настоящему* – она это заслужила.

Леон ринулся к ней за помощью, как только тенор Андреа Бочелли – там, на ферме – слился в его памяти с голосом Николь, безмятежным, ровным, но всегда исподволь вымаливающим у него хоть каплю ласки...

* * *

Ты поступаешь как подонок, твердил он себе, давя на газ, промахивая

узкие каменные улочки Бюсси, Брион, поля и живописные городки со шпилями церквей. Обойдись без этой встречи, без этих преданных тебе и *преданных тобою* глаз... И понимал, что не получится, не получится обойтись. Ничего не выйдет без сведений, которые может сообщить ему только она. Мала рыбацья деревушка Портофино, но никто не даст ему нужного адреса, а времени на розыски просто нет. Двадцать третье апреля – вот оно, буквально на носу. Нет выхода, надо ей довериться – до известного предела, конечно. Провести партию умно и осторожно. По возможности не лгать. По возможности не ранить. По возможности вытянуть все, что необходимо.

И он позвонил – с телефона заправочной станции, когда Айя отлучилась в туалет.

Бесподобным своим слухом ощупывал, внедрялся в напряженную паузу, в перехваченное дыхание, воцарившееся на том конце провода, едва он выговорил:

– Николь... Николь, моя дорогая...

Удушающая волна собственной фальши окатила его изнутри, хотя насущная нужда в Николь и его симпатия к ней были самыми искренними. Разве он не скучал по ней время от времени?

Она перевела дух, негромко рассмеялась и сказала:

– Не дорогая, нет... Давай уже признаем, Леон, что – совсем тебе не дорогая. Но зачем-то нужна, слышу по голосу.

– Мне необходимо с тобой увидеться. Срочно. Сейчас. Возможно ли это?

– Конечно, – отозвалась она просто. – Конечно, *мой дорогой*...

Они договорились о встрече, и нужно было мчаться, чтобы успеть...

Поэтому, когда вышла Айя, он купил ей кофе навынос, и по дороге она отхлебывала из картонного стакана, обжигаясь и морщась, когда на крутых поворотах кофе слегка выплескивался на руку. И вот эта *его дорогая*, дьяволица эта, детектор лжи, а не женщина, заметила, искоса на него глянув:

– Что может стрястись с кавалером за те пять минут, когда дама удалилась в туалет? Что за призрак тебе явился...

Он не стал обращать в шутку ее слова. Просто сказал, что да, через час должен встретиться с одним человеком, и займет это минут двадцать, тридцать, а ей, значит, придется пошататься где-то поблизости, чтобы...

– ...Чтобы я ненароком с ней не столкнулась, – понятно продолжила Айя, мгновенно и непринужденно преображая «человека» в существо женского пола.

И Леон, почему-то разозлившись, ледяным тоном отозвался:
– Именно так.

* * *

...Николь уже сидела где уговорились встретиться: за столиком кафе на площади Гамбетта. То первое, что в голову ему пришло: и от гостиницы недалеко, и угловое расположение на пересечении двух улиц даст хороший обзор площади.

Когда уже его перестанет интересовать какой бы то ни было обзор каких бы то ни было площадей!

Сидела, как он велел, – в глубине зала в углу. И когда он возник в дверях и двинулся к ней между столиками, продолжала послушно сидеть, глядя на него с милой улыбкой.

Он подошел, склонился и поцеловал ее в душистую макушку, где пышная стрижка цвета спелой ржи свободно распадалась на как бы небрежные густые пряди. С нежностью поцеловал, совершенно искренней...

...при этом в памяти мелькнули искрящая синева Андаманского моря за бортом пенишета и его собственная рука, бестрепетно снимавшая бритвой густые ручки совсем других, вишивых волос, что покорно падали на пол, открывая ужасный шрам, розовой пиявкой всосавшийся в тонкую спину...

Сел напротив, и с минуту он и Николь молча глядели друг на друга. Она прекрасно выглядела и была прекрасно одета – в фиалкового цвета кашемировый костюм, сидящий на ее полноватой фигуре как влитой. Надо сделать комплимент, спросить, не весенняя ли это модель ее нового модного дома... Какую все же кроткую ласку придает женскому лицу этот темно-голубой цвет глаз!

Красивая, подумал он. Верная. Богатая. Нежная... Ненужная.

– Ты изумительно выглядишь!

– Ну-ну, Леон... – проговорила она и улыбнулась через силу. – Ты явно торопишься, у тебя что-то стряслось, не стоит тратить время на комплименты.

И все, подумал он. Так женщины, воспитанные в приличных домах, дают понять бывшему любовнику, что полностью выздоровели от страсти.

– Я тороплюсь, – согласился он, – но не настолько, чтобы не полюбоваться тобой.

Ее лицо вмиг озарилось смуглой волной удовольствия – возможно, горького удовольствия – от его слов.

Ждала ли она от этого свидания чего-то серьезного? Тогда надо прекратить это мучительство.

Подошел официант. Леон, не спуская глаз с лица Николь, попросил кофе. Какой? Неважно, горячий, сказал он – и рассмеялся, вспомнив, что Айя так заказывает суп.

– Черный, по-турецки, пожалуйста.

Когда официант отошел, Леон проговорил с искренней силой:

– Николь, все так старо и так больно: прости меня!

– Не трать времени и на это тоже, – торопливо сказала она. – Я уже поняла: ты влюблен.

– Как догадалась?

– Ну, это просто: осунулся, высох, как копченая сельдь, растерял свою великолепную невозмутимость, стал похож на... – она грустно улыбнулась, подыскивая сравнение.

– ...На арабчонка, – подсказал он.

– Да нет, ты ведь артист, всегда в образе. Сейчас ты скорее – сицилийский рыбак перед выходом на лов. Эти вьющиеся волосы... Очень романтично – я бы сказала, *очень байронично*. Странно, что ты всегда упорно их сбрасывал, будто самого себя ненавидел. Но ты весь какой-то... измученный. Я не спрашиваю, кто она. Наверняка что-то потрясающее... – Николь храбро улыбнулась, тряхнула прелестной стрижкой. – Так говори скорей, что тебе нужно.

– Твоя сдержанность, – быстро сказал он. Слегка подался к ней и, не отрывая глаз от ее озадаченного лица, подчеркнул: – Твоя благородная сдержанность.

И далее – не выбирая ни тембра голоса, ни выражения лица, ни каких-то особо убедительных слов:

– Мне нужно твое молчание, даже если сейчас тебя что-то поразит или расстроит. Твоя забывчивость нужна: все, о чем я спрошу, и все, что ты ответишь, ты просто выкинешь из головы и никогда вслух не произнесешь – даже самой себе, Николь...

Непроизвольно выпрямившись на стуле, она подняла с колен дорогую сумочку, переложила ее на стол и спросила серьезно, спокойно:

– Тебя разыскивает полиция? Потому ты назначил встречу в этой паршивой...

– Нет, за последнюю неделю я никого не убил, – оборвал Леон, усмехнувшись. – Но готов, чтобы тебя не разочаровать.

Видимо, на приличных женщин ты производишь стойкое впечатление убийцы, с горечью подумал он. Так ты и есть убийца, был убийцей и будешь им снова.

– Помнишь, ты рассказывала о Портофино?

– Конечно! – оживилась Николь. – Любимое место. Как раз на днях едем всей семьей, чтобы успеть к двадцать третьему...

– К двадцать третьему?! – воскликнул Леон, не удержавшись. – Да что, черт побери, такого там происходит в этот день!

– Ну как же – двадцать третье апреля, день Святого Георгия, – озадаченно пояснила Николь. – Он же патрон, покровитель Портофино. Там и церковь на горе с его мощами. С утра в этот день процессия торжественно обходит всю деревушку... А вечером вообще ужасно весело: музыка, иллюминация, толпы туристов. Главное развлечение – костер, когда стемнеет. На пьядце устанавливают пеноллу – длинное такое бревно, метра три – и устраивают грандиозную огненную феерию. Символ борьбы Святого Георгия с драконом. Так красиво!

Красиво... Шумно, весело и красиво: туристы, музыка, наверняка колготня. Удобное время для чего угодно – скажем, для переправки на яхту нестандартного груза...

– ...и пока огонь горит, все веселятся, пьют-едят, слушают музыку – ждут, в какую сторону упадет пенолла. – Николь с беспокойством вглядывалась в Леона, стараясь угадать причину этого неожиданного, мягкого, терпеливого, но все же – допроса. – Если в море – то рыбачий сезон будет удачным...

– И последние лет восемьсот пенолла падает в море... – в тон ей подхватил Леон.

– Конечно! Послушай, дорогой, к чему, собственно?..

– Ты говорила, там сейчас есть кое-кто из русских, – перебил он. – Кого имела в виду?

Она замешкалась.

– Я так сказала? Странно, почему я так выразилась, – не совсем они русские, конечно. У них скорее совершенно восточные вкусы, даже есть галерея персидских ковров где-то там – не то в Рапалло, не то в Генуе... Да, в Генуе – он еще приглашал посмотреть. А сами живут вообще в Лондоне. Хотя он – немец, вполне симпатичный, вполне интеллектуал... Фамилии не помню, надо дядю спросить – они клиенты нашего банка. Я видела его раза три на приемах. Имя какое-то типично немецкое, помпезно-императорское: Генрих или...

– ...или Фридрих, – продолжил Леон ровным голосом.

– Точно! – воскликнула Николь. – Он – Фридрих, а жена... такая элегантная, *очень сделанная дама*, Хелен, а муж зовет ее коротко, как прислугу: Лена. Вот она как раз русская, да. И между собой они говорят по-русски. – Николь участливо покачала головой: – Милый, ты выглядишь таким изнуренным, и такая... придушенная ярость в твоём лице. Что стряслось? Что тебе сделали эти люди?

И Леон опять не ответил, опять перебил Николь, понесся дальше, не скрываясь, не играя, коротко и жестко задавая вопросы:

– Ты не помнишь, где находится их дом?

– Конечно, помню, довольно близко от нашего – на соседнем склоне, за мысом Кастелло Браун. Это тридцатиминутная прогулка. Постой, я нарисую... У тебя есть ручка или официанта спросить?

Леон поднял с пола рюкзак, нашарил в одном из карманов и достал три шариковые ручки – всегда таскал с собой несколько, ибо постоянный рок: какую ни возьми, кончился стержень.

Придвинув к себе салфетку, Николь развернула ее в квадрат, подумала и провела несколько основных линий:

– Точного адреса не скажу, но это просто: от церкви Святого Мартина вверх, вверх и вверх...

Как прилежная ученица, принялась уточнять пометками: перекрестки, повороты, стрелочки...

– Здесь будет развилка перед казармами карабинеров, на ней поверни резко влево. И поднимайся по этой улочке, которая постепенно перевалит на другую сторону горы, иди до самого конца – она приведет к двум прекрасным виллам, на которых, разумеется, ни адреса, ни фамилии владельцев не значится. По пути слева – замок за каменным забором, сплошь увитый глицинией, очень поэтичный, но тебе он не нужен: принадлежит, если не ошибаюсь, «Дольче и Габбана», а может, американскому сталелитейному магнату... Так вот, два палаццо. То, что ниже по горе, – приземистое, из серого камня, brutальное, но не лишено конструктивистского шарма. Там иногда обитает какой-то министр – то ли образования, то ли здравоохранения. А вот последняя вилла на склоне – это они, Фридрих и Хелен. Ты сразу опознаешь: очень высокий и очень противный кирпичный забор, как в тexasской тюрьме, а за ним – прелестная, розоватого тона типично флорентийская башня. Дом тоже прекрасных пропорций, но за этим вульгарным забором все навсегда погребено. Короче, настоящая крепость на скале.

– У них есть выход к берегу?

– Не знаю. Некоторые владельцы вилл, удаленных от набережной,

строят себе лифт и получают доступ к морю с другой стороны горы. Есть такие, кто предпочитает спускаться к воде по вырубленной в скале лестнице, – ну и что, что двести ступеней, зато для здоровья полезно. А бывает, в таких крепостях совсем уже хитрый спуск, чуть ли не природный туннель из самого дома...

– Ну да, – медленно проговорил Леон. – Карстовые скалы, пещерки, удобные пустоты...

– Ради бога, Леон, – хоть слово о себе, ну, успокой же меня!..

Он, как бы не слыша ее торопливой мольбы, придвинул к себе салфетку, подробно рассмотрел путеводный чертеж, молча сложил его вчетверо и спрятал в рюкзак, хотя мог и не забирать – он все запомнил, там и запоминать было нечего.

А вот интересно: на что «Казаху» – на итальянской ривьере – магазин ковров?

– Не знаешь, есть у них яхта?

– Нет, – определенно ответила она. – Только катер, прокатиться вдоль побережья.

– Ты уверена?

– Я бы знала, если б была... У каждой яхты есть место парковки – четко закрепленная прописка, стоит немалых денег. Мой дядя Гвидо – вот он сумасшедший яхтсмен – много лет плавает на большой гафельной яхте – знаешь, что это? Треугольные паруса называют «бермудскими», а четырехугольные – «гафельными». Я на ней выросла, так что знаю. Стоять на якоре в бухте могут все. Но швартоваться у причала – только члены Итальянского яхт-клуба, там всего четырнадцать мест.

И тем не менее двадцать третьего апреля из марины Портофино к берегам Ливана должна отправиться некая яхта с неким грузом...

Официант забрал из-под руки Николь пустой бокал, но она, даже не обратив внимания, продолжала задумчиво мять и крутить в руках ремешок своей дорогой сумочки. Наконец сказала:

– Постой-ка... Я могу ошибаться, но... Словом, не считай то, что сейчас скажу, святым писанием, просто прими к сведению. У них нет яхты, приписанной в Италии, но раза три в бухту приплывал и стоял там дня по два их приятель. Он тоже русский, тоже бизнесмен – однажды пригласил нас с отцом и с Гвидо на завтрак – на яхту. Она не очень большая, метров сорок пять, сорок шесть, но внутри великолепно отделана: просторный салон с дубовой мебелью, все обито вишневой кожей, по потолку – балки мореного дуба, в библиотеке – сплошь полированный клен... И тому подобное. Семь, кажется, кают – человек на четырнадцать.

Команда – как обычно на средних яхтах: капитан с помощником, шеф-повар, официант, пара матросов... И стояла она не в марине, а в заливе Параджи. Мы добирались на катере Фридриха, странно и романтично, среди ковров.

– Среди ковров?!

Николь умолкла, озадаченная силой, с какой, не сдержавшись, вскрикнул Леон.

– Ну да... – в растерянности пробормотала она. – Ковры были из галереи Фридриха, такие рулоны – лежали на деке... Я еще вслух пожалела, что упакованы в непрозрачный целлофан – нельзя развернуть и посмотреть: Фридрих говорил, что торгует только дорогими экземплярами. Ну, оно понятно – морская вода для таких вещей нехороша... Потом коврами занялась яхтенная команда, их поднимали лебедкой, грузили... А нас встречал хозяин. Так вот, когда я что-то сказала о коврах, мол, жаль, что нельзя посмотреть, Фридрих сразу велел размотать рулоны. И после обеда мы любовались коврами, и правда, дивными: под стеклянным потолком, в солнечной паутине... Узоры переливались, как волшебные рыбы. Фридрих сказал, лучшие экземпляры, прямо со стендов. Их так и везли – на штангах.

– На каких штангах?

– Обычных, металлических. Ты видел, как в музеях висят гобелены и ковры... Леон? У тебя лицо... такое пугающее, дорогой... Что тебя потрясло?

Он не ответил.

Так вот где они прячут контейнеры с товаром. Что ж, довольно изобретательно: внутри пустотелой металлической штанги можно запаковать несколько свинцовых контейнеров – они ведь маленькие: супертяжелый плутоний в одном кусочке весит два-три килограмма. Три-четыре прекрасных ковра на музейных штангах – вот вам и начинка для бомбы...

– А хозяин яхты – совсем невыразительная личность, знаешь, – продолжала Николь. Казалось, изо всех сил она пытается отвлечь Леона от каких-то непонятных ей и неприятных переживаний, почему-то связанных с клиентами ее отца и дяди. – Такой невзрачный: полноватый, лысоватый, нос уточкой. Зовут Андреа, а вот фамилию не спрашивай, я ее под пыткой не вспомню: что-то шипящее, длинное и каркает... Криш... Краш-ш...

– Крушевич, – проговорил Леон так тихо, что Николь разобрала это

скорее по его губам. – Андрей Крушевич.

– Кажется, так, – с облегчением кивнула Николь. – Леон, я же с ума сойду от беспокойства! Ты угодил в беду?

Да, я угодил в беду, в ту беду, что сам для себя заквашивал много лет. И вот она поднялась, эта зловещая опара, топкая и вонючая, как болото...

Он смотрел вверх головы Николь, куда-то туда, где сновали парни из яхтенной команды Крушевича, стропили рулоны ковров, поднимали их лебедкой, перемещая в глубину палубы, пока респектабельные гости, сливки итальянской и швейцарской банковской элиты, направлялись в роскошный вишневый салон. Неплохо придуман тайник, ей-богу, он неплохо придуман. Гуардия костьера, береговая охрана, ищет нынче нелегалов. Кому придет в голову сунуть нос на такую вот яхту? А если и сунут, станут ли досматривать прекрасные персидские ковры, только что привезенные из дорогой галереи в Генуе, со всеми сопроводительными документами...

– Имя яхты, конечно, ты не помнишь...

– Нет, помню! – с торжеством воскликнула Николь. – Еще как помню! Точно так назывался кинотеатр в Афинах, где мы целовались с моим первым мальчиком. «Зевес» – вот имя его яхты.

– Да здравствует первый мальчик, – тихо выдохнул Леон.

Он достал купюру из портмоне, положил ее на стол и поднялся. Николь продолжала сидеть, молча изливая на него непереносимую тревожную ласку темно-голубых глаз. Уже не задавала вопросов. Она всегда чутко понимала пределы своего присутствия в его личном мире.

Он сказал:

– Николь! Я не повторяю просьбы, зная цену твоего слова. Вряд ли я когда-нибудь встречу человека благородней тебя. Я даже пока не придумал, как тебя благодарить и что сказать, чтобы...

– ...Чтобы эта последняя встреча показалась мне слаще меда, – задумчиво продолжила она. На его попытку возразить протестующе подняла руку с сумочкой, как бы пытаясь защититься, – трогательный, немного жалкий жест. – И на этом, мой дорогой, пусть прозвучит финальный аккорд. То, что произошло между нами несколько недель назад, – то не в счет. Мы ведь оба с тобой прекрасно знаем, что все закончилось на Санторини...

Возникла пауза, такая плотная, что трудно было вдохнуть.

– Это ты... – наконец выговорил Леон, – была в гроте?

– Я не была в гроте, – со спокойной горечью отозвалась Николь. – Ты же знаешь, у меня никогда не было привычки следить за тобой, когда ты хотел побыть один. Просто я рано проснулась и, как ты велел, стала собираться... а тебя все не было. Я вышла на террасу и там столкнулась с этой сумрачной женщиной, женой твоего друга, ее звали... Магдой, правильно? Она расцветала, лишь когда ты брал первую ноту.

– Просто она любит музыку, – торопливо и смущенно вставил Леон.

– Просто она любит, – в тон ему подхватила Николь. – И точка. Она поднялась на террасу со стороны моря, с тропинки, в мокром купальнике. Она истекала водой, как кровью... У нее было какое-то странное, потрясенное лицо, и она тяжело дышала, будто спасалась бегством... Я спросила, не встретился ли ты ей на море, потому что нам пора в аэропорт. Она вдруг перебила меня, сказав что-то вроде: «Милая девочка, оставь его. Он ничего тебе не сможет дать». Это было так неожиданно и грубо, как... оплеуха! За что? Я растерялась. Просто спросила: почему? Она сказала: «Потому что любовь свирепа, и сейчас я это видела...» И прошла мимо меня в дом. А вскоре ты явился – тоже мокрый и какой-то... раздавленный. Не глядел на меня, только сказал мертвым голосом, чтобы я поторопилась. Вот и все...

Она подняла на него глаза и увидела, что Леон смотрит на улицу сквозь стеклянные двери кафе. У него было напряженное и в то же время отрешенно-счастливое лицо, не имевшее касательства к их разговору.

Он действительно напрягся: на скамейке напротив входа в кафе сидела Айя, которой полагалось болтаться по окрестным улицам. Она сидела, понятия не имея, что за ней наблюдают, перекинув ногу на ногу, разбросав руки по спинке скамьи так, что ее грудь натягивала тонкую ткань свитерка. Сидела, провожая взглядом прохожих, и, казалось, полностью была этим увлечена.

Перехватив взгляд Леона, Николь обернулась и пару мгновений жадно рассматривала девушку.

Спросила:

– Это она?

– Да, – обронил Леон.

– Какая... обыкновенная, – пробормотала Николь.

А он взгляда не мог отвести от сидящей фигурки, так ясно и так больно зная ее сквозь одежду, видя всю с головы до ног, с мальчишескими бедрами и грудками-выскачками, с этим ножевым шрамом на спине, всякий раз пронзавшим самого его, как впервые. Смотрел на нее и желал так

мучительно, словно месяца два жил одними мечтами...

– Она глухая, – проговорил он, продолжая загадочно улыбаться, торжествуя, купаясь в созерцании фигурки на скамье (то же чувство охватывало его, когда в полном одиночестве он прослушивал особенно удачные свои записи: чувство абсолютного владения самым дорогим, самым драгоценным в жизни). – Абсолютно глухая! И у нее ужасный характер. И ей плевать, во что она одета и что о ней думают.

Вместе с Николь он смотрел туда, где, закинув одну длинную ногу на другую, девушка, больше похожая на кудрявого мальчика, какого-нибудь «Пастушка» Донателло, спокойно наблюдала жизнь не слишком густой толпы. И то, как она выхватывала каждый следующий персонаж и вела его по тротуару чутким движением брови, как шевелились ее губы и ежесекундно менялось лицо, само по себе было захватывающим зрелищем.

Николь очнулась первой. Легко коснулась плеча Леона и тихо проговорила:

– Забудь, что я сказала. Это просто зависть. Она... она прекрасна!

* * *

Среди ночи он проснулся, – возможно, потому, что вдруг приснился их двор в Одессе, две обшарпанные, препоясанные *словесами* колонны перед дверью в подъезд, за одной из которых он прятался в нетерпеливом ожидании Виная: во сне тот имел прямое отношение к убийству Большого Этингера, и оставить это безнаказанным было нестерпимо. А Владка, в коротком цветастом халатике, распаренная летним жарким пляжем, взбежала по щербатым ступеням, шлепнула ладонью по колонне, крутанулась вокруг нее и задорно крикнула:

– Пали-стукали сами за себя! – и дальше помчалась, размахивая пластиковой пляжной сумкой...

Проснулся от внезапно оглушившей его тоски по Владке и такого непереносимого желания ее немедленно увидеть, что даже испугался – не стряслось ли чего. Неслышно поднялся, стараясь, чтобы Айя не учуяла пустоты рядом с собой, достал уже сложенный в рюкзак ноутбук, открыл его на прикроватной тумбочке и – впервые за несколько последних лет – щелкнул по адресочку в «Скайпе». Видимо, нынешней ночью где-то там, в небесной комиссии по помилованиям, куда поступают приговоры наших

душ и намерений, вышел Владкин срок; видно, положено было ей *вернуться из пустыни*.

Ты становишься сентиментальным придурком, думал Леон, с волнением слушая звонки, попутно себя ругая – приспичило же ночью звонить! – и злясь *на нее*, что не подходит к компьютеру... С какой стати ты подорвался, говорил себе, мог и до возвращения подождать. И раздраженно себе ответил: не мог! Ну, не мог!

Тут экран проснулся, и в отблесках настольной лампы расцвели рыжая грива и две ладони, усиленно трущие заспанное лицо. Потом Владка отняла руки и взгляделась в экран.

– Ой, Лео... – сказала, растерянно улыбаясь.

Он не верил своим глазам. Владка выглядела неправдоподобно молодо. Она не старела. А с чего ей стареть, с горечью подумал он, у нее же нет никаких «многие печали»...

– Ну, привет, – буркнул он, чуть не плача, умирая от желания проломить тонкую преграду между ними, схватить этого своего неудачного ребенка, прижать к себе и застыть, уткнувшись носом в молочную теплынь ее шеи, хоть на минуту погрузившись в запахи младенчества.

– Чё эт ты – взял и ночью позвонил! У нас вчера такое бурное собрание было, ты прям не поверишь: я вернулась прям больная, такая расстроенная – опять меня перевыбрали в комитет, опять на них пахать, они же все старые... А я, между прочим, встречалась с Папой Римским! Он так взял мою руку в свои... так нежно глянул прямо в глаза... Не веришь?! Просто я должна была убирать ихнюю временную резиденцию...

...Все в порядке, думал он, переводя дух, все по-прежнему... и не понимал, почему добровольно – на столько лет – изгнал из своей жизни свою нелепую, безмозглую, такую обаятельную Владку.

Вдруг за ее спиной, на собственном старом топчане он приметил такое, от чего даже рот приоткрыл – настолько неправдоподобно *это* выглядело:

– А... кто там у тебя?

– Кто? – Она обернулась, будто и сама подзабыла, что там за куча тряпья валяется. – Да это Аврам. Он вчера приперся – ну, жратвы приволок, две лампочки еще перегорели, кондиционер барахлит, то, се... Встал на табурет, и ка-ак шарахнет его радикулит! Или люмбаго? Представляешь, схватился за спину, воет, слезьми плачет, а сойти не может. Я его обняла, еле стащила. Уложила тут, натерла мазью... Да пусть полежит, не жалко ведь?

– Не жалко... – согласился сын, припомнив, что последние лет двадцать Аврам как-то забывает брать с них плату за эту квартиру.

– Он мне уже так надоел, – весело продолжала Владка. Она постепенно проснулась и сейчас входила в свой обычный градус вечно приподнятого настроения. – С этим сватовством. Выходи, говорит, за меня, сколько можно болтаться без присмотра. Дочери у него все давно позамужьями, ему одному скучно в большом доме... А мне его и жалко, конечно, – ну вот кто ему поясницу разомнет? Но опять же, Лео, прикинь: не станет ли он притеснять мою индивидуальность, а?

Главное, не расплакаться тут, глядя на это по-прежнему юное, безгрешное и прекрасное лицо.

– Д-дура! – сказал Леон. – Немедленно выходи за Аврама!

– Ты считаешь? – оживилась она. – Ну ладно! – И доверчиво добавила: – Он обещает, что не будет приставать. Говорит: «Мне уже не до этих глупостей. Устал к тебе мотаться. Пусть уже, – говорит, – ты будешь под боком...»

В этот миг Леон услышал тихий шорох и почувствовал, как проснулась и приподнялась в постели Айя, подалась к нему, замерла за его спиной.

– А еще у меня большой прорыв в науке! – увлеченно воскликнула Владка. – У меня скоро денег будет, Лео... я тебя озолочу! Только выправлю патент. Тут знающие люди говорят, что вот это уже – настоящее изобретение!

– Опять изобретение, – поморщился Леон. – Что ты там еще наворотила, а?

– Только никому, ладно? Это секрет – до патента. А то украдут. Мне дядька в ихнем комитете так и сказал: не советую вам сильно откровенничать по техническим деталям.

– Ну, короче... – Леон наслаждался, слушая звонкий, даже ночью, даже со сна, ее подростковый голос. В этом голосе заключено было все очарование его детства: Одесса, коммуналка, две любимые старухи, свирепые Владкины драки, с милицейскими приводами, дикие картины ее друзей-художников, синее море и два тенора – как два крыла, – однозвучным колокольчиком взмывавшие над искристой синевой...

– Гондононадеватель, – таинственно сообщила она, приблизив лицо к экрану.

Леон онемел – видать, за прошедшие без нее годы потерял квалификацию.

– Автоматический гондононадеватель, – торжественно и терпеливо

повторила Владка.

Еще пару мгновений сын молча рассматривал четкое и живое изображение на экране.

– Господи... ты хоть видала когда-нибудь гондон? – наконец спросил он.

– Конечно, видала, – обиделась Владка. – На лекции по СПИДу в комитете афганских вдов и матерей. Нам такие страсти порассказали. И тут я представила – а если у мужика рук нет? А ведь сколько у нас этих инвалидо-солдат! Ведь это какая проблема, а? Сразу вспомнила такой пластмассовый пистолет с раструбом, помнишь, в детстве у тебя был, шариками стрелял... И это дало мне идею!

Айя позади Леона приподнялась на коленях, положила обе руки на его плечи, придвинулась, прижалась теплой грудью к его спине.

– Ой, эт кто это там? – восхитилась Владка, пытаясь разглядеть обнаженную девушку за спиной сына. – Шикарная какая девах! Только ты приодень ее, Лео, слышь? Чё эт декольте у нее... до аппендицита!

Сын расхохотался. Все было восхитительно и все по-прежнему: каждое Владкино слово – лишнее, за каждую фразу ее хочется прибить.

Айя оторопело глядела на огненно-рыжую женщину в компьютере. И едва ли не в унисон с нею спросила:

– Кто это?

Леон молчал, смущенно улыбаясь между двумя этими женщинами.

– Кто она? – с напором повторила Айя, разглядывая бесшабашно-веселое, молодое Владкино лицо.

Он удивленно качнул головой, будто сам не верил тому, что сейчас произнесет.

– Моя мать, – сказал, будто пробовал на звук непривычное, еще не освоенное им слово.

В следующие гиблые месяцы ее беспросветного одиночества и тоски Айя вспоминала дни, прожитые с Леоном, как огромную, многоликую и просторную жизнь.

Как свою единственную светозарную жизнь.

Куда-то сгнули – как корочка отпала на здоровой коже – ее бродяжьи годы; даже то, что мысленно называла она «смертью в канаве», уплыло, как ветошь, как гнилой саван вослед истлевшему

мертвецу.

И никак она не могла поверить, что жизни той было им отпущено всего ничего: несколько недель, если не считать их встречи на острове да еще той черной дыры – той разлуки, в которую они, дураки несчастные, сами прыгнули, как в звериную ловушку.

Эта прекрасная жизнь потом росла в ней, как дерево, – вроде и сама по себе, но в то же время по велению и под приглядом природы. В ее светлой кроне шелестели Париж и Кембридж, Лондон и Бургундия и во всем ослепительном блеске – последняя, солнечно-весенняя Лигурия: выхлест водопада из-под каменного мишистого моста, старый сарай с кусками шиферной крыши, прижатыми камнями, чтобы ветер не снес; пять отборных лимонов на малолетнем деревце, широкая штанина шальной радуги, спрятавшей в глубокий карман виноградник и колокольню. И ласковый белый кот, что сидел на каменном парапете над обрывом, невозмутимо зажмурил зеленые глаза...

Так стремительно в ней росла их огромная коротенькая жизнь – путешествие в страну-театр с человеком-театром, в чуткой готовности Леона к мгновенному воплощению, превращению, оборотной стороне, где день становился ночью, а луна так похожа была на «царский червонец».

Ее бесконечно удивляло то, как зависало время, как раздавалось пространство и каждый миг набухал сердцебиением опасного счастья. Как вилась среди каменных стен деревенская виа, как пронзительно синела внизу бухта, как в волшебном фонаре жили и двигались они с Леоном; как переплетались, касались, прорастали друг в друга их тела в пелене сна.

И как медленно, блаженно-устало расправлялась по утрам подушка, когда они поднимали с нее головы...

* * *

Портофино... Пор-то-фи-ино... Последний форт, конечная остановка. К нему и добираешься, как к последней точке на какой-нибудь вершине, по такой кудрявой спирали, будто штопор ввинчивается в нутро и на самом крутом вираже выдергивает сердце, словно пробку из бутылки... И тогда вокруг амфитеатром рассыпается деревушка, встроенная в излучину горы.

Но до двадцать третьего оставалось еще двое суток. И прежде времени соваться в крошечный Портофино, где каждый приезжий неизбежно

выставляет себя на подиум набережной-пьяццы, собравшей в каменный кулак нити считанных, с горы сбегających улочек, было крайне рискованно.

Так что остановились в Рапалло, на той же ривьере – не Рим и не Милан, но все же курортный туристический город, вполне обитаемый даже в это пустоватое время года.

В Рапалло Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер поднялась с инвалидного кресла и, укрепив себя мысленно и телесно, перешла на палку.

...Вечером двадцать первого апреля к одному из недорогих отелей на набережной подъехало такси. Из него выскочила хмурого вида распатланная девица в темных очках и, распахнув заднюю дверцу, принялась немилосердно тянуть из машины свою бабку («Всю дорогу, – рассказывал потом за ужином таксист своей супруге, – она обращалась к пожилой синьоре так: “Ну, заткнись уже, ба!” Вот это наша молодежь, и мы ее заслужили»).

Старуха не то чтобы сопротивлялась, скорее бестолково пыталась помочь, цепляясь за дверцу и всюду застревая ногой в черном ортопедическом ботинке, тыча по сторонам распальцованным копытом своей инвалидной палки. Таксист с неодобрительным видом ждал окончания этой корриды.

Сердобольный молодой портье, заметив сквозь стеклянные двери отеля *затруднения* синьоры, поторопился выйти... Он же помог девушке извлечь из багажника и разложить инвалидное кресло – девица благодарила и чуть ли не руки ему целовала: можно представить, как она, бедная, намучилась в дороге.

Старуху усадили, вкатили в разъехавшиеся двери... Тут опять возникли *затруднения*. Внучкин-то швейцарский паспорт был предъявлен и принят к регистрации, а вот старуха рылась в своей допотопной сумочке с застежкой в виде львиной морды, беспомощно выворачивая ее и встряхивая над тощими коленями в синих спортивных штанах, с которыми никак не вязались крупные позолоченные клипсы в ушах. Голова ее – трогательный серебристый ежик – слегка подрагивала: старческий тремор.

– Боже! – вскричала девица по-английски. – Ты забыла паспорт в аэропорту! Я так и знала! Я знала, что вся эта поездка будет моим мучением, я так и знала!

– Синьорина, синьорина, пожалуйста, не волнуйтесь! – поспешил вклиниться в назревающий, а вернее, перманентный скандал молодой

человек. Для служащего небольшого отеля он говорил по-английски совсем неплохо. – Это не трагедия. Сейчас Винченцо поднимет вас в номер, а в аэропорт мы позвоним чуть позже. Я надеюсь, там не выбросят паспорт синьоры...

И когда кресло со старухой уже вкатили в номер, паспорт, слава богу, нашелся – где-то в складках допотопной вязаной шали, накрученной на бабкины шею и плечи. Так что звонить в аэропорт, а тем более ехать туда отпала необходимость. Винченцо получил свои чаевые – и пусть передаст молодому человеку, который так мило помогал и беспокоился, что паспорт мы при случае, попозже... да ведь это и не важно, а?

Девушка улыбалась и встряхивала бесподобной гривой – темно-русой, с высветленными прядями, отчего та казалась пышной плиссированной юбкой, довольно нелепой.

– А вот этот концерт с потерянным паспортом – он к чему был? – спросила Айя, заперев дверь номера.

– Чтобы никчемная и немощная бабка покрепче связалась с твоим безукоризненным швейцарским паспортом.

– Но зачем? У тебя у самого есть надежный...

– Не такой надежный, как твой, – возразила старуха, поднимаясь с кресла и стаскивая с ноги бочонок ортопедического ботинка. – К тому же Ариадна Арнольдовна в свое время поколесила по миру и всюду оставила неизгладимый след. Пора ей и на покой. – Взвесив в руке тяжеленький снаряд, бабка от всей души запустила им в угол комнаты и принялась выпутываться из лапчатой бежевой шали: старое милое снаряжение со дна картонного ящика во *фринпри*^[62] неподалеку от дома. – Боюсь, это последний вояж славной старухи, после которого она откинет ортопедические копыта.

– К огромному облегчению наследницы... – вставила Айя.

Леон рухнул на застеленную кровать и с наслаждением потянулся. Номер был хорош: просторная комната, высокие потолки, бронзовые бра, худо-бедно копия Караваджо, ну и прочие карнизы-плафоны-гардины; балкон во всю стену... Что тут скажешь: Лигурия, почтенная итальянская ривьера.

Айя открыла балконную дверь и вышла оглядеться. Сказала оттуда:

– Красота – сдохнуть!

Подобные реплики означали у нее обычно профессиональное равнодушие к объекту. Когда ей хотелось снимать, она молчала, щурилась и беспокойно шарила руками где-то в районе диафрагмы, где должен был

висеть фотоаппарат.

Балкон их удачно расположенного номера (третий этаж) смотрел и на море, и на город.

Парадная дверь отеля выходила на небольшую площадь, в центре которой на постаменте (как пожилой регулировщик, ожидающий выхода на пенсию) стоял бравый бронзовый мужчина с двумя живыми голубями – на голове и на эполете.

Слева, за каменным парапетом набережной сверкала морская гладь, похожая на задний двор большого мебельного склада, заваленный всяким-разным: нескончаемой толпой бок о бок тянулись вдоль набережной лодки, катера, бесчисленные ряды маленьких парусных яхт со спущенными (штанами, подумала Айя) парусами...

Парадный бульвар по правую руку плавно обегал чудный сквер с толпой каштанов и фикусовых деревьев. Высокие чугунные фонари, уже затеплившись электрическим медом, освещали шеренгу элегантных фасадов в стиле бель эпок: высокие окна, мансардные окошки в скатах черепичных крыш, невесомые изящные балкончики.

Внизу под цветными парусиновыми тентами сновали официанты.

Нежные весенние сумерки все длились и длились, баюкая нарядную и праздную жизнь вечного курорта...

Но по-настоящему взгляд притягивали дальние планы, озаренные уходящим солнцем: россыпь домов и башенок на горах, невесомая гребенка акведука на фоне пепельного неба – все было уравновешено ритмами разнообразной и разноплановой зелени.

Там и тут по холмам, как сухопутные медузы, расселись огромные клубни бледно-зеленых агав. Рассыпчатые гривы гигантов-пальм над гладкими от старости, темными и неуловимо эротичными стволами, издали казались метелками от пыли, воткнутыми в холмик. Они выплескивались из комковатых крон зонтичных пиний, черными облаками присевших на зубчатые башни и крыши старинных вилл.

И всюду крутизна темно-зеленых кудрей на горах была расчесана зубьями кипарисов...

– Тот мужик внизу, обгаженный голубями, – он кто? – спросила Айя, вернувшись с балкона в комнату.

– Скорее всего, Витторио Эмануэле Третий, – отозвался Леон, блаженно пошевеливая большими пальцами босых ног. Он еще в аэропорту обнаружил, что ортопедический ботинок маловат и слишком тяжел. – Его Величество король единой Италии, император Эфиопии, король

Албании... Савойская династия, если не ошибаюсь.

– Жирненькое местечко, – заметила Айя.

– Ты еще не видала Портофино, – возразил Леон. – Скромное, оглушительное *рыбачье* богатство первейших мира сего. Говорят, там и Берлускони держит виллу, и еще кое-кто...

– А *рыбачьи борго* на скалах, про которые ты соловьем разливался, – там тоже гламур прет из каждой собачьей будки?

– Разумеется. – Леон скукожился на постели, подтянул ноги и по-стариковски затряс немощной головой: – Туристы обгадили этот мир, дитя мое, как голуби – беднягу Витторио Эмануэле.

– Ты похож на старика Вольтера, – пробормотала она, внимательно его изучая. – Тебя можно снимать без конца, и каждый снимок будет иным.

– Я похож на Барышню, – отозвался он. – На свою знаменитую прабабку Эсфирь Гавриловну Этингер. Понятно?

– Понятно. – Двумя пальцами она приподняла полосатый парик – как дохлую медузу – и с минуту покручивала его над макушкой. Наконец опустила, но задом наперед, отчего приобрела вид горца в папахе. – Даю тебе пять дней, старая мымра. Если через пять дней мои руки – вот эти, – растопырила пальцы и уставилась на них, как безумная леди Макбет, – если они не будут заняты фотокамерой, а мои изголодавшиеся по работе глаза будут вынуждены созерцать одну только твою мятую рожу...

Через пять дней, дитя мое, мы с тобой будем либо навсегда свободны, либо...

– Кстати, на какой помойке ты надыбал эти бездарные перстни и клипсы?

– Цыть, ничтожная! Это старая французская бижутерия. Между прочим, на сцене под софитами сверкает, как яхонты и рубины.

– Зато без софитов ты – вылитая бандерша на покое.

– И прекрасно! Поди-ка сюда, моя скромница... по кажу тебе суперприемчик старых шлюх.

– Попробуй только!.. Убери свои старые лапы! И смой с лица это дерьмо!!! – И вслед ему, в ванную: – И развратные клипсы – к черту!

* * *

Карту *рыбачьей деревни Портофино* Леон знал наизусть, до мельчайших деталей.

Ограниченную естественной береговой линией, стиснутую между скалами, ее можно было обойти за час: коммуна, полиция, Церковный дом братства Богоматери (он же – воскресная школа, где детишки корпят над катехизисом), *адзьенда туристика*, крошечный театрик, где проходят фестивали и концерты... На оконечности мыса расселась под старыми пиниями кряжистая круглая, желто-серая башня замка Кастелло Браун. Две церкви, Святого Георгия и Святого Мартина, отмеряли время неторопливыми колоколами. Ну и, конечно, пьядца Мартири дель Оливетта, туристическое сердце Портофино – рестораны, магазины, лотки и лавки – подковой лежала у набережной марины с двумя ее причалами: *моло трагетти* для рейсовых катеров и *моло Умберто Примо* – для швартовки яхт, катамаранов и лодок...

Поднявшись на рассвете, Леон тщательно выбрился и привычно заgrimировался, боком присев на краешек стула. Бывали моменты, когда эта, им же сочиненная, личина казалась ему приросшей к его коже.

(Однажды приснился сон, в котором он до утра слой за слоем снимал вязкую ветошь морщин, похожих на рыбачью сеть с застрявшими в ней ракушками, водорослями и скелетами рыб, но так и не смог очистить лицо. Проснулся в ужасе и долго умывался, вновь и вновь намыливая физиономию и подозрительно вглядываясь в отточенную линию скул, высокий тонкий нос и густые сумрачные брови...)

В последнее время – чаще всего на рассвете – его допекал покойный Адиль: улыбаясь, плыл на изнанке еще закрытых глаз. Или валялся на дне подвала с подвернутой детской рукой. А то вдруг поднимался как ни в чем не бывало и успокаивающе говорил: главное, что ты получил мой сигнал, падре Леон. Я ведь не перепутал страницу, хотя уже видел, как разминаются, готовясь, руки убийцы... И если соберешься мстить за меня, падре Леон, не отдавай эту радость пуле; пусть твои руки – у тебя ведь они обе сильные и здоровые, – пусть они наслаждаются его последним всхлипом.

Странно, что минувшие годы – музыка, спектакли, города, все, что (ему казалось) милосердно стянуло края этой раны и замутило наконец бесконечно длящийся полутораминутный ролик в Интернете, где толпа глумилась над мертвыми телами парней, которым он обещал защиту, – эти благополучные годы словно бы отпали, унеслись, обнажив ту же разверстую рану, по-прежнему истекавшую его виной, его отчаянием и ядом неосуществленной мести.

И вот он настиг неизвестного врага, был на расстоянии вытянутой руки, увидел его личину... И – отшатнулся, опознав знакомые черты.

Сейчас, проснувшись ночью даже на минуту, чувствовал ровный внутренний жар, так что хотелось пар выдохнуть; а проведешь рукой по лбу – холодная испарина.

Он прислушивался к себе и чувствовал только хриплый безумный гон – то ли охотника, мчащегося во весь опор, то ли волкодава, спущенного с цепи...

Забыл, когда в последний раз распевался. Да и кто распевается на охоте?

Он допускал, что обезумел, что одержим маниакальным стремлением к убийству, и Айю тащит за собой, как заложницу, прикрученную к руке веревкой.

Может, его уже надо взять по рукам-ногам, запереть в психушку, накачивать какой-нибудь прохладительной дрянью?

Он распаковал фирменную коробку «Левенгука», извлек из футляра и осмотрел бинокль, купленный в аэропорту: легкая компактная модель, двадцатипятикратное увеличение. Хотя, если верить Николь, из-за гористого ландшафта и густой растительности рассмотреть что-либо на соседнем склоне очень сложно. С вертолета разве что... Ничего, попытка не пытка. Ну-с, обновим снаряжение...

Он вышел на балкон и навел окуляры на дальнюю заманчивую гору, на виллы какой-нибудь Санта-Маргариты. Перед глазами промахнула полоса густой курчавой зелени, залатанной черепичными крышами, не сколько старых агав, в вихре бледно-зеленых полосатых лент... полет замедлился... Глаз нащупал объект, пальцы подкрутили колесико резкости... И вот на макушке горы возникла зубчатая кирпичная стена поместья – новенькая черепица, одна к одной, по периметру круглой башни, как классическое трезвучие, взбегают окошки – до-ми-соль-до! – и флаг развевается, семейный или гостиничный вымпел. Прекрасно, прекрасно. Вероятно, это и есть тот самый рай на земле.

Леон выждал еще минут десять – жалко было внуку будить. Но никуда не денешься, первый рейд надо провести как можно раньше. Первый прогулочный рейд... Где моя инвалидная клюка о четырех копытах? Вот она, приготовлена. Ортопедический ботинок (настоящий «испанский сапог») нешуточно сдавливает ногу: старухина хромота будет вполне натуральной. Сидела бы дома, старая, чего по горам-то шляться...

Наконец приступил к побудке – это всегда занимало какое-то время, словно, засыпая, Айя погружалась в более глубокие слои забытья, чем остальные люди. Чтобы выманить ее из Аида, Орфею недостаточно было окликнуть или просто погладить щеку. Порой приходилось минут пять тормошить ее, щекотать, бормотать в шею или в спину патетические монологи, выцеловывать ушко, рвякая отрывистые приказы, даже вполне чувствительно кусать.

Наконец она открыла глаза, узрела над собой морщинистую образину, опять испугалась, опять вспомнила, закрыла глаза и простонала:

– Уйди-и-и-и... сгинь, старуха!

– «Стару-уха! Прокля-а-атая! Ты меня с ума-а свела!» – пропел он Германа из «Пиковой дамы», раскопал под одеялом некую пятку, схватил ее и бесцеремонно потащил Айю с кровати...

* * *

Они сели на первый рейсовый автобус – почти пустой, с несколькими местными мужчинами, говорливыми и громкоголосыми даже в это раннее время (ресторанная и туристическая obsлyга разъезжалась по рабочим местам), и, взреывая на кольцах серпантина, тяжело переваливаясь с боку на бок, автобус пошел на приступ горы. Справа ступенчато взбегали еще спящие виллы, отели, великолепные дворцы ривьеры, а вниз на дорогу сползали клочья дымной бороденки утреннего тумана, что цеплялись за ветви пиний и жестяные на вид ленты агав.

Слева тусклой сталью отсвечивал залив, пронзенный вязальными спицами – целым лесом голых яхтенных рей. Два паруса – белый и оранжевый – медленно шли себе, как по рельсам, в полнейшем безветрии, и все пространство бледного аквамарина казалось обитаемым, прогулочным и привычным продолжением суши – как всегда бывает на всех ривьерах.

Промахнули Санта-Маргариту с ее роскошными дворцами в стиле ар-нуво и возносились все выше, к голубеющему небу полуострова Портофино.

И вот в жемчужной дымке на невидимой линии стыка воды и воздуха созрел восход солнца: желтый слиток топленого масла растекся по подолу горизонта, стекая на гигантский поддон моря, закипевшего янтарным огнем. Лохматые ветви сосен и мерлушковые шкурки пиниевых крон

на ближних планах, за которыми воссиял залив, показались совсем черными, а склоны гор вспыхнули вечнозеленым блеском. В гуще олеандров и дрока, фисташки и мирта, пушистого дуба и каштана торчали небрежно заточенные карандаши кипарисов. Глянцевой патокой сияли апельсиновые и лимонные деревца, сбрызнутые золотыми каплями плодов. Среди благородного серебра олив и лавра по-осьминожки скручивались конечности полосатых агав и громоздились колючие заросли кактусов... Сводный райский хор встречал солнце ежеутренней распевкой.

В последний раз автобус навалился боком на поворот, и по излучине горного хребта цветными лоскутами рассыпалась почти вертикальная рыбацья деревня с уже озаренными солнцем напластованиями черепичных крыш – крапчатых, карминных, серовато-зеленых, плоских, разноуровневых и высокоскатных; с двумя колокольнями старых церквей, с зеркальными заплатками окон, с красно-желто-лиловой гармоникой домов над бухтой и с серо-голубым донышком каменной пьядцы, еще погруженной в рассветную тень...

Выйдя из автобуса, они были немедленно взяты в плен одуряющим запахом фокаччи, только что вынутой из печи. Голодные, совершенно проснувшиеся, шальные от дорожных виражей, пошли на запах, как на дудку крысолова, и обнаружили только что открытую панеттерию^[63], где купили две божественно хрустящие, пахнущие оливковым маслом, присыпанные травкой фокаччи. Свернув их конвертиком, тут же принялись отщипывать, отхрустывать и жевать...

Скособоченный Леон весьма натурально наваливался на свою палку, Айя же, глаза ее, все существо – были полностью поглощены красками и запахами лигурийского утра.

В тающей деревенской тишине, продутой морским бризом и уже просверленной множеством птичьих голосов, они шли по испятнанной солнцем улочке, старательно нарисованной Николь на салфетке далекого отсюда парижского кафе.

Эта улица – скорее, деревенская виа, оправленная низкой оградой из серых камней, увитых плющом, – вилась по горе между прекрасными палаццо, как неторопливый ручей, то припадая к очередным воротам, то отбегая прочь.

Сквозь прорехи в плотной стене темно-зеленых кустов то справа, то слева вспыхивала внизу синева окольцованной домами бухты, густо простеганной лодками, яхтами и катерами. Перетасованные цветные

кубики домов так ритмично и уместно, так продуманно точно сидели в вертикальной складке горы, что казались притороченными рукой опытного портного.

Голубую стену залива разделяла надвое колокольня церкви Святого Мартина, а выше на горе на флагштоке Святого Георгия полоскался белый с красным крестом флаг.

Улочка взбиралась по горе. Показалась каменная, шевелящаяся от густой глицинии ограда виллы «Дольче и Габбана». Значит, следующая будет именно той, ради которой они сегодня поднялись так рано.

Здесь неподалеку должна проходить узкая и крутая, но пригодная для машины дорога и спуск к морю, где – если верны расчеты – уже стоит на якоре яхта Крушевича.

– Ну вот... – сказал Леон, останавливаясь и оглядываясь на Айю.

На дальних планах море уже слепило открыточной синькой, припорошенной пенными гребешками, но ближе к берегу, возле причала, отражало растительность скал, окрашивающих прибрежную воду в глубокую малахитовую зелень, на которой особенно ярким вымпелом покачивался какой-то красный ялик.

– Дальше не пойдем. Вернее, обойдем с другой стороны. Во-первых, нам нужен вид сверху, во-вторых, ближе подбираться опасно.

– Почему? – спросила она. – Думаешь, у них камеры?

– Не только камеры. Это тебе, знаешь ли, не Лондон. Такие владения охраняют гораздо тщательнее, чем коллекции живописи в лондонских домах. Пошли, дайка руку!

Он помог ей взобраться на склон и потащил еще выше, и вскоре сильно удалившаяся вилла «Казаха» как бы всплыла из густой зелени, так что виднелась уже не только смугло-розовая башня за высокой кирпичной стеной, но и черепичная крыша дома, и два балкона второго этажа с изящным плетением чугунных перил.

– Здесь? – тяжело дыша, спросила Айя, но Леон только мотнул головой, продолжая взбираться по крутой тропе на гребень горы.

Он заметил поляну, окруженную оливковой рощицей, посреди которой расселись три неряшливые агавы.

– Леон, я устала, понял! – крикнула она. – Откуда в тебе-то силы карабкаться, с этим чертовым копытом!

– С копытом да... Кстати, ты права. – Он опустился на землю, расшнуровал и стащил оба ботинка, связал их шнурками и забросил в рюкзак. – Как я раньше не догадался!

А вот и не догадался, как не догадывался снять снаряжение в марш-бросках, потому что просто надо было переть и переть дальше.

– Прости, моя бедная!

Будто в ортопедическом ботинке топала она, а не он.

И еще минут пять взбирались по склону вверх, пока наконец Леон не возгласил привал. Айя со страдальческим воплем повалилась на дерн у каменистого взгорка, откуда веером разошлись пять стволов одного дерева, под землей продолжая сплетаться в объятии родственных пут. Этот взгорок с естественной оградой сложно-семейной оливы удачно закрывал их лежбище с трех сторон.

Леон достал бинокль, принялся молча изучать виллу Фридриха и Елены, наполовину скрытую кронами старых пиний. Скорее, палаццо: было нечто величавое в четырехугольной башне, опоясанной открытой галереей. По периметру башни – полукруглые сдвоенные окна, разделенные витыми колонками – флорентийский стиль. Большой двор замощен плитами пористого местного известняка и огорожен безобразной кирпичной стеной, наверняка оборудованной скрытыми от посторонних глаз камерами видеонаблюдения.

– Ну, что такого ты там обнаружил? – спросила Айя лениво. Она лежала на спине, сняв кроссовки, задрав одну босую ногу на другую, – внимательно разглядывала объект над головой: почти на уровне ее глаз, на серой, богатой зеленоватыми и желто-коричневыми вкраплениями скале замерла изумрудная пластичная ящерка с длинным хвостом... Сидела, не убегала, просилась в кадр. Будто красовалась и сама получала от этого удовольствие...

Леон перевел бинокль на море и там застрял, внимательно и терпеливо ползая по бокам яхт и кораблей, въедливо прочитывая названия. После чего долго исследовал марину, перегруженную катерами и небольшими яхтами, набережную в зеленых и темно-красных заплатах тентов, оконечность гористого мыса с белой башенкой маяка.

Наконец спрятал бинокль в рюкзак, перекатился к Айе и пристроил голову у нее на животе.

Минут десять он растолковывал ей возможности современных охранных систем: периметральная радиосистема, датчики в комнатах, реагирующие на тепловое излучение, приемники и передатчики сфокусированных инфракрасных лучей: человек пересекает луч, невидимая цепь разрывается, на пульт охраны поступает сигнал... и бог знает, что еще можно придумать на любой вкус и страх.

Ну и круглосуточная группа охраны, по старинке готовая к реагированию. Мысленно он отметил, что идею с проникновением в дом надо оставить за невыполнимостью...

Дом наверняка оборудован запасным выходом к какой-нибудь домашней пристани, сказал он себе, порода этих скал карстовая, пустотелая – тот же средиземноморский известняк, что у нас. Вспомни гигантскую цепь пещер-каменоломен Соломона, длинейший подземный ход от Иерусалима до Иерихона, по которому, если верить историкам, царь Седекия бежал от Навуходоносора...

Да, но ты не Седекия, усмехнувшись, напомнил себе, на розыски времени нет, значит, остается одно: яхта. И она уже должна, непременно должна быть где-то неподалеку!

– Слушай... как могло случиться, что ты ничего не знала об этом доме? Неужели Фридрих никогда не предлагал тебе погостить в раю?

– Чтобы я явилась со своей *вонючей фотокамерой* и предательски снимала их рай во всех сомнительных ракурсах? Вероятно, это был запрет Гюнтера: он вообще уже много лет не слишком церемонится с папашей. Иногда и разговаривает не словами, а так – кивками и жестами. Ну, а Елена при моем появлении от ненависти косеет... Ты обратил внимание, что она болтала о чем угодно: сорта вин, скалы-террасы... Но при всех этих «у нас», «к нам» «наш виноградник» – ни разу не произнесла название места? Не думаю, что для друзей и деловых партнеров это такая уж тайна, но ясно, что чужаков предпочитают держать на приличном расстоянии...

– А если б я прямо спросил?

– Она бы выкрутилась. В этом она виртуоз.

Айя ладонью, пахнущей травой и хвоей, накрыла глаза Леона и сказала:

– Мне надоела эта старуха! Я ее боюсь и не хочу на нее смотреть!

Ну да, бедная: она вынуждена все время натекать взглядом на дряблую морщинистую образину...

– Потерпи, – отозвалась старуха. – Потерпи меня еще немного, и я никогда больше тебя не потревожу. И осторожней, не сдвинь мешки под глазами...

За последние два дня Айя то и дело порывалась вновь вцепиться в него со своими невозможными вопросами, растерзать, пустить клочки по закоулочкам... И – отступалась, сникала, вспомнив про свое обещание. Обещание она держала: сама же его дала (вспомни, как плакала! вот и жди теперь конца мытарств). Просто понимала, что биться о Леона со своим

гудящим колоколом дознания бесполезно: все равно ничего не скажет. Сколько раз уже, упершись в очередной невыносимый, недоуменный, темный тупик, руками всплескивала:

– Опять спрашивать нельзя?

– Нельзя спрашивать.

– Опять – когда-нибудь?

И он эхом:

– Когда-нибудь. Уже скоро...

– А эта твоя страсть к постоянному маскараду... – и торопливо: – Не сейчас, не сейчас – вообще, весь этот театр как образ жизни: эпохи, костюмы, фижмы-декольте, куртуазная пластика: руки-ноги-походка, будто в штанах у тебя не... молчу, молчу! Пусти, ну, больно же! Я о чем: тебе это нравится? Все это *притворство*, вся эта *понарошка*...

Ты еще, слава богу, моего голоса не слышишь, подумал он, а то бы сбежала – от отвращения... Вслух сказал:

– Это не притворство. Это моя профессия: музыка, голос... и, конечно, театр. Это моя природа. Я на подмостки вышел в таком детстве, в каком ты только на коньках разъезжала. Ну и, послушай... скучно ведь – без театра!

– Что скучно – жизнь скучна? Правда скучна?

– Разумеется, – отозвался он. – Нет ничего тошнее протокольной правды. Да и у правды много одежд и много лиц. У нее оч-чень оснащенная гримерка!

Айя приподнялась на локте, слегка склонилась над фальшивой личиной, с подробным брезгливым вниманием пробираясь взглядом среди морщин и бородавок. Резко отвернулась. Проговорила:

– Не понимаю! Мне, наоборот, из каждого мига жизни нужно извлечь ядро правды, хотя бы зернышко. Но – правды голой, без одежд, без грима. Ухитрилась извлечь зернышко правды – тогда он навсегда остался, этот миг. А не удалось, – ну, значит... все зря.

– Что зря?

– Тогда он погас, миг жизни, – спокойно пояснила она. – Ушел, развеялся... Ведь его нельзя воспроизвести, как какую-нибудь оперную постановку. Жизнь не терпит дублей. Ее невозможно спеть.

Леон хотел сказать: ого, еще как можно, да еще сколько этих разных жизней можно пропеть самыми разными голосами!

И в который раз горло перехватило отчаянием: она ведь не знает, что такое Музыка! Умом понимает, ритмы чувствует – кожей,

но не знает, не представляет, что это: мелодия, гармония, наслаждение звучащего мира... Боже ж мой, какой жестокий надзиратель над его жизнью – там, наверху – придумал для него эту казнь! Вериги эти для его редчайшего голоса, неподъемную, немыслимую эту любовь: жернов – на шею, якорь – на ноги...

Он замолчал, и на какое-то мгновение Айе показалось, что рядом лежит чужой человек, чей мир обернут к ней совершенно чуждой ей стороной – звучащей, переодетой, загримированной... ненастоящей!

Это ощущение длилось две-три секунды – как наваждение. Но вот его рука беспокойно нащупала и стиснула ее руку, и сразу же рядом опять оказался Леон, хотя и в нелепой личине старухи; Леон – многоликий, волевой, скрытный и разнообразный: жестокий, холодный, взрывной и томительно нежный. Леон, без которого жизнь невыносима; Леон, с которым за несколько недель пролистали сотни километров, видали сотни разных лиц, сидели за столиками ресторанов, любили друг друга в замке, в отелях, в каюте корабля, на крестьянской ферме; общались с друзьями, рисковали в доме врага... Ну и пусть гримируется, черт с ним, решила она. Ведь когда-нибудь – он обещал – спрашивать будет *можно*, можно будет спрашивать! Да он и ждать не станет, все расскажет сам. Вот тогда обнажится ядро *его правды*, только потерпеть. Он же предупредил: потерпи меня, недолго осталось.

– Бабка, а мы на набережную скатимся? Я бы съела чего-нибудь...

Он протянул с этим дурацким стариковским гримасничеством:

– Где мои ботинки, детка? Дай-ка их сюда. И палку, палку тоже. А поднять старуху?! Вот так-то. Сейчас мы промчимся рысью еще в одно местечко, а потом вернемся и спустимся к набережной.

– Куда это еще?!

– Ты же любишь монастыри, – сказал он. – Вперед, к аббатству Сан-Фруттуозо!

* * *

Тропинка из Портофино к аббатству Сан-Фруттуозо (на итальянском она так мило называлась: «мулаттьера», ибо скорее всего предназначалась для передвижения мулов) была снабжена указателями, как и все дорожки в Национальном парке.

В начале пути мощенная каменная дорога могла и машину принять, какую-нибудь малолитражку, но вскоре превращалась в тропу, взбегала вверх, к вырубленным в скале ступеням, естественными волнами спускалась и поднималась по склону горы, и бежала, согласно природным впадинам и выпуклостям, временами становясь норовисто-утомительной.

В двух местах ее перегородили калиткой от диких свиней (объявление завершалось вежливой просьбой «закрывать за собой»). Первую калитку миновали в районе Палара, и дальше ровная каменная тропа катилась через каштановый лес до самого Вессинаро...

В Английской бухте сделали небольшой привал, и Леон вновь извлек «прибор Левенгука», который, увы, опять не отыскал на глади сей очаровательной водной гостиниой яхты по имени «Зевес»...

Тронулись дальше, хотя Леон все меньше верил, что обнаружит яхту где-то еще, – далековато от места действия.

После Английской бухты «мулатьера» пустилась качать их вверх и вниз; подъем сменялся спуском, а тот очередным подъемом. Вторую «кабанью» калитку миновали у Каппелетты, и когда добрались до цели, обогнув гигантскую, какую-то инопланетную агаву, Леон разрешил последний привал на этой птичьей высоте.

Внизу мерцала слезка сапфировой бухты, как на заказ сделанная гигантским ювелиром. Ее обступили курчавые от зелени скалы, отражаясь в воде иссиня-зеленой густой стекловидной массой, серыми напластованиями, застывшими разломами окаменелого теста земли.

А в укромном углублении между скал розовело аббатство. С первого взгляда оно и казалось порождением скалы, если бы не ряд широких арок нижней галереи, ряд тройных венецианских окон жилого здания и круглый чешуйчатый шлем церкви.

– О-о-оxxx... – выдохнула Айя в отчаянии, в упоении. – Это бы я сняла-а...

Отсюда открывался такой неохватный вид, что цепенела душа.

Справа широкой стиральной доской уходили к небу крутые террасы с зеленеющими виноградниками – путаница узловатых бурых лоз, глубокие продольные морщины на бугристом челе горы. Над ними вздымалась буйная зелень: пинии, оливы, буки и дубы; лиловые и белые дымки фруктовых деревьев.

Слева отвесно вниз уходила ребристая скала, протянув в море могучие отростки гигантской куриной ноги, вокруг которой махрилась и взлетала широкая штанина крахмальной пены.

А до горизонта сотнями оттенков сине-зеленого вздымалось море,

оживленное парусами, белым пометом пены от катеров и баркасов, далекими кораблями и ближайшими к берегу лепестками рыбацких лодок.

Дуга прекрасного белого пляжа в летний сезон, вероятно, пестрит цветными купальниками, а под навесами лотков идет торговля мороженым и хот-догами.

У мини-причала покачивался рейсовый катер, а поодаль в заливе стояла на рейде одинокая яхта...

Достав из рюкзака бинокль, Леон нетерпеливо навел на нее резкость: сначала глаза окунулись в рябую блескучую плоть волнующейся воды, жадно забегали меж скорлупками рыбацких лодок... И вдруг в окулярах выросла, навалилась на Леона яхта, в темно-синем зеркальном борту которой бешеными звездами вскипали, вспыхивали, взрывались и переливались безмолвной канонадой блики волн, а солнечная паутина, как живая, ощупывала белые буквы: «Zeves».

* * *

Солнце уже перевалило за полуостров Портофино... Оранжевая черепица домов еще сияла среди зелени гор, и церковь Святого Мартина, в ее полосатой робе, еще стояла по пояс в солнечном кадмии и сурике, но мозаичное панно перед входом выложенное серой и голубовато-синей галькой (медузы, трезубцы Нептуна, дельфины, изогнутые в подводном танце), уже пребывало в сумеречной тени.

Тем не менее аккордеонист, сидящий перед церковью на складном стульчике, так низко надвинул на лоб длинный козырек черного кепи, что совсем не было видно лица. Зато его пес – лохматый, дружелюбный – валялся на спине, подставляя брюхо каждому, кто бросал мелочь в раскрытый футляр аккордеона или просто подходил поближе.

Легко разворачивая и сворачивая перламутрово-алый зубасто-клавишный инструмент, музыкант со сдержанным изяществом исполнял расхожий репертуар променадов и набережных. Он был профессионалом. Мелодии известных танго и фокстротов плавно вливались одна в другую, не противореча ничьему вкусу. Мелочь сыпалась в раскрытый футляр – не водопадом, время еще было не курортное, – но все же не пересыхающим ручейком.

Пес так и лежал доверчивым брюхом кверху, выжидательно поглядывая на прохожих из-под мохнатого уха, принимаясь весело

крутить хвостом (профессиональный вымогатель!), если кто-то склонялся его погладить.

И ясно было, что дуэт не торчал весь день там, где приселось-прилегло, не ждал милостей от туристов, а неустанно рыскал в поисках заработка.

Во всяком случае, эту парочку, всюду собравшую дань, чуть позже Айя с Леоном видали и на набережной, под каменным забором национального парка, где взвод идиотских тушканчиков цвета фуксии выстроился рядом с высоко подвешенной тушей носорога, и на пьяцце, перед входом в кафе «Эксельсиор». Так и не поднимая лица, закрытого козырьком черного кепи, уперев подбородок в грудь, музыкант разворачивал и собирал мехи аккордеона, вытягивая душу «Бесамэмучей», а пес ассистировал, руля хвостом и подставляя желающим приветливое брюхо.

Из-под длинного зеленого тента, где в конце концов выбрали столик Леон и Айя, открывался вид на бухту, на марину и на причал, где сейчас швартовалась небольшая яхта. Два матроса в красивой белой форме, но босиком, деловито суетились на борту. Они бросили на причал канат, внизу его поймал служащий марины и принялся накручивать на кнехт. Хозяин яхты стоял на верхней палубе в полном одиночестве: наблюдал за швартовкой и кормил с ладони какую-то птицу, то ли ручную, то ли просто местную, прилетевшую за привычной данью.

Два аквабайкера с рычанием гоняли по заливу, лихо огибая катера и лодки, прямо-таки вышивая узоры по синей глади – как плугом вспахивая толщу воды, играючи разваливая ее на сверкающие пласты морской пены.

Под терпким соленым бризом плескались и лепетали протянутые над пьяццей треугольные цветные флажки. Тот же бриз воровато обыскивал кальсоны на веревке под окнами одного из домов.

Обаяние курортного межсезонья, отметил Леон, задумчиво обводя глазами пустую пьяццу.

Из-под рук аккордеониста изливалась томительно-страстная «Бесамэмуча», и все, что попадало в обзор, двигалось словно в такт этой затаенной страсти. Две пары трижды прошли мимо их столика. Пожилой элегантный господин, опираясь на сложенный черный зонт с круглой ручкой, вел двух коричневых такс, подметавших камни пьяццы своими длинными ушами.

Вдоль причала околачивалась стайка моряков в безуспешном ожидании клиентов, желающих прокатиться вдоль залива.

Ничего, вот уж завтра покатаете, завтра, в день Святого Георгия...

А к праздничному костру коммуна уже готовилась. На пьядце, у самой кромки набережной была сгружена огромная куча песка (противопожарные заботы), и трое рабочих устанавливали и крепили очищенное от сучьев бревно, высокое, как телеграфный столб, подтаскивая к эпицентру будущего огня всякий хлам, вроде старых рыбацких лодок, ящиков, обломков стульев и деревянных ставней...

Очередное истомное танго сменили «Подмосковные вечера», уже обкатанные на любом итальянском курорте, – в последние лет двадцать русские туристы заработали право на свою задушевную долю в международном бизнесе бродячих менестрелей.

– Супец! – окликнул Леон, с иронической нежностью изучая деятельно жующее лицо напротив. – Я истекаю любовью...

– Вот дурень, – ухмыльнулась она.

– ...ты жарко сияешь в центре моей вселенной.

– Это цитата?

– Это образ. Ну, как твой министроне по-гену эз ски?

– Мировецкий! – привычно откликнулась она.

Им попался симпатичный официант – пожилой, но смешливый, как подросток. Это он посоветовал Айе «министроне по-генуэзски», дунув в ее сторону поцелуем на кончиках пальцев – самая простодушная реклама. *Бабушку* он пытался отговорить от стейка: «Не тяжело ли столько мяса вашему желудку, синьора? Все мы в этом возрасте уже знаем наши проблемы по утрам, а?» Это было так трогательно (Леон мгновенно вспомнил Иммануэля: «В мои годы, цуцик, ты поймешь, что по утрам главное – не проснуться, а просрать!»), что он сдался и приструнил себя рыбой по-лигурийски, и это тоже было неплохо – филе, запеченное в пиниевых орешках и маленьких иссиня-черных маслинах.

День уходил – их последний день, прекрасный, ветреный... и все-таки безмятежный, несмотря на изнурительные поиски яхты и мускулистую, рвущую постромки *охоту* Леона.

День уходил: сгинули, как нечистая сила, рычащие аквабайки и скутеры, вода Марины плескалась в лиловой тени, и лодочки-катера мерно качались на волнах. Выше, над домами, в курчавом, колючем и листвяном боку горы стояли башни и башенки, колокольни церквей, палаццо и виллы, чьи венецианские арочные окна досылали зеркальные блики вслед уходящему дню...

Расплатившись, они поднялись и побрели вверх, к остановке автобуса.

Честно говоря, Леон так устал за этот день и так натер ногу ортопедическим ботинком, что инвалидная палка-краб на подъеме пришлась очень кстати. Примеряю старость, подумал без малейшей иронии.

Косой лоскут золотого дня медленно уползал вверх, к крышам, будто рука гигантского фокусника, томительно медля, все выше поднимала отрез золотой парчи, накинутый на волшебный ящик «с фокусом» или на классический цилиндр, где вот-вот должны показаться заячьи уши. Сквозь поросль темно-зеленых лаковых кустов виднелась гряда цветных домов над пристанью и пьядцей, по пояс погруженных в вечер. Они уходили в тень, эти цветные картинки – красные, оранжевые, желтовато-лиловые, с темно-зелеными заплатками ставен, – как уходил под воду какой-нибудь античный город.

* * *

Аккордеонист доиграл «Подмосковные вечера», сложил инструмент в футляр, поднялся со складного стульчика и вошел в ближайший из ресторанов на набережной. Собака осталась сидеть у входа, послушно его дожидаясь.

Он прошел в дальний угол длинного зала, сел у зеркальной стены и кивнул кряжистому коротконогому человеку лет сорока пяти, который здесь был то ли за официанта, то ли за хозяина; во всяком случае, в его фигуре было старомодное обаяние героев итальянских фильмов середины прошлого века: рукава белой рубахи закатаны по локоть, свободные полотняные брюки подхвачены широкими красно-синими подтяжками. Лицо некрасивое и мрачноватое, но, улыбаясь, он становился похож на дружелюбную жабу из какого-то мультфильма. Несмотря на некоторую тучность, ловко сновал между столиками, даже в напряженное обеденное время. Сейчас, впрочем, ресторан был пуст или почти пуст...

Заметив знак посетителя, он подхватился и, на ходу вынимая из нагрудного кармана блокнот с карандашом, поспешил к клиенту:

– Буона сэра, синьор!

Аккордеонист сделал заказ: графинчик «вино ди каса», свежепосоленные анчоусы и «мисто грильято» из рыбы сегодняшнего улова. Улов они обсудили отдельно.

– Си, синьор, – кивнул официант, записывая заказ. – Что-нибудь еще?

– Мне кажется, я видел Кенаря, – негромко обронил аккордеонист,

не поднимая головы. – С ним девушка.

Официант помедлил, вложил в карман блокнот, передвинул прибор с солонкой и перочницей поближе к клиенту.

– Прямо-таки видел и уверен, что это он?

– Не на все сто, – отозвался тот. Вытянул палочку «гриссини» из плетеной корзинки, переломил пополам и задумчиво сунул в рот. – Я не мог паяльничать. Но паричок знакомый. Любимый его – старушечий. И грим любимый – ну, все это мы проходили в Праге, не так ли? Надо бы его тормознуть.

– Кенаря-то? – усмехнулся официант и ушел выполнять заказ.

Вскоре вернулся с подносом, на котором стоял графинчик с белым вином и тарелки с хлебом и анчоусами.

– Прего, синьор... – и склонился чуть ниже, смахивая ладонью со скатерти невидимую крошку. – Кенарь... ведь он чего захочет, то и споет.

– А вот это дудки, – сдержанно заметил музыкант. – Предупреди «Дуби Рувку»... Еще не хватало, чтобы *этот* выкамаривал тут в самый острый момент, с него станется.

– Ладно, – сказал официант и ушел.

Следующий обмен репликами состоялся при появлении «мисто грильято».

– Все равно он не может знать, когда Перс отчалит, – заметил официант. – И не станет обыскивать всю акваторию в поисках корыта Физика. Он же не ясновидящий.

– Не ясновидящий... – Музыкант двумя пальцами взял с края тарелки дольку лимона и с силой выжал его на рыбу. – Но чертовски мозговитый.

– Наше дело простое: удостовериться, что корыто с дерьмом уплыло по адресу. – При виде двух пожилых дам, входящих в ресторан, официант расцвел улыбкой дружелюбной жабы, – *уан миныт, мизз!* – И вновь повернулся к клиенту: – А разбираться с Персом и его товаром будут не здесь. Надеюсь, Кенарь еще не спятил: заваривать кашу под носом у макаронников. У нас с ними и так в прошлом месяце были осложнения.

– Ну-ну, – буркнул музыкант, и желваки его задвигались энергичнее: то ли рыбу жевал, то ли злился.

– Си, синьор! Как насчет кофе?

– Да, позже. Что там мой Кикко?

– Сидит.

– Цены ему нет...

Неторопливо смакуя кофе, аккордеонист попросил счет, по-прежнему

предпочитая даже в кафе сидеть, опустив голову, скрывая лицо под длинным черным козырьком кепи. Впрочем, время от времени он мельком окидывал взглядом ту часть пьядцы и причала, которая видна была из дальнего угла длинного и узкого зала. В открытом окне квартиры последнего этажа дома напротив – где в распахнутых окнах еще плескалось усталое солнце – на подоконнике сидела черноволосая девушка. Вернее, она полулежала на тяжелом своем правом бедре, опасно склоняясь, и весело переругивалась с дружкой, который в зеркальной позе полулежал внизу, на палубе пришвартованного катера. Темой спора был завтрашний праздник; кажется, девушка приглашала парня полюбоваться на костер сверху, из этого самого ее окна. Одно из ее колен, согнутое голубоватым обнаженным снарядом, обещало куда более горячий костер, чем какое-то там бревно...

Аккордеонист неохотно отвел взгляд от этого колена. Он и сам был не прочь полюбоваться завтрашним костром из окна этой девицы. Но для него, к сожалению, был приготовлен совсем другой наблюдательный пункт.

Честно говоря, он не верил, что Кенарь – если то, конечно, был он – зачем-то полезет в самое пекло, спутав ребятам все карты. С другой стороны, однажды ему лично пришлось наблюдать, как это случилось в Праге: *объект* вдруг изменил планы, с утра рассчитавшись в отеле, и стало ясно, что операция отменяется. Тогда стремительно, в считанные секунды и во весь опор из слаженной волчьей стаи, несущейся за антилопой под водительством вожака, вдруг выхлестнулось поджарое тело отнюдь не самого крупного молодого самца, взметнулось дугой, перелетев через головы, и приземлилось прямо на спину убегающей жертве.

Ну еще бы, мрачно подумал он, *эти магнитные яблочки были его специализацией...* Когда-то ужас «черного мотоциклиста» заставлял отсиживаться в бетонных щелях самых отпетых головорезов «Хизбаллы» и прочей швали Южного Ливана... Но в Праге Кенарь все-таки был *внутри* операции, и с ним считались, ибо против Натана Калдмана вряд ли кто смел подняться. Сейчас же – другое дело! Натан сам уверял, что Кенарь, хотя и добыл драгоценные сведения о «Казахе», за что ему очередное спасибо, ныне изолирован, отлучен, *выведен из темы*. Вроде какой-то у него пиковый интерес в этом деле, что смертельно опасно для любой операции... Скажем, эта девушка – почему она так тревожит *наших*? К тому же, поговаривают, сам Калдман досиживает на своем месте последние дни: и здоровье шалит, и откровенно он постарел и отяжелел.

А подобный балласт наши *кормчие* живо сбрасывают с лодки.

Аkkордеонист отсчитал монеты, дождался сдачи, ссыпал мелочь в карман.

Так же аккуратно он сложил листок счета и вложил в портмоне, в особый кармашек на молнии, который про себя называл «конторским». Между прочим, сегодня они с Кикко недурно заработали. Пса он одалживал у одного из надежных местных агентов: тот лет пятнадцать работал экскурсоводом на прогулочных катерах и потому имел широкий доступ к самым разным событиям и *персоналиям*.

Но то, что ресторанные чаевые бухгалтерия не возвращает, это несправедливо, надо как-то эту тему поднять.

Что поделать: он тоже отчитывался перед Гуровицем в командировочных расходах.

6

Да что ж это за новое несчастье такое!

Она стала отключаться в самый неподходящий момент. Для начала – утром не пожелала проснуться. А между тем надо было выезжать из отеля: накануне Леон разыскал в Интернете и снял комнату в скромном *bed and breakfast* в самом Портофино: пришло время перегруппироваться к месту действия. В том, что все должно решиться в отблесках грандиозного костра Святого Георгия, у Леона уже не было сомнений.

С утра тугой холодный ветер натянул в небе войлочное полотнище, по которому неслись темные дымки. Временами серое полотно проседало, выплескивая колкую россыпь нетерпеливого дождика. И чувствовалось, что на смену этому грядет другой дождь – терпеливый и настойчивый.

Минут двадцать Леон честно пытался разбудить Айю вполне гуманными способами:

– Ах, ты еще и спящая царевна... Ну все, алё! Мы же ничего не успеем! Эй, Супец... мы так не договаривались! Ну, что это за номера? Ты же не устроишь мне такую подлянку, а, Супец? – ничего еще не понимая, еще не веря, что *так может быть*, что *она это не нарочно*... что она не шутит, не придушивается, не издевается...

В конце концов вспылil, подхватил ее под мышки, стащил с кровати и приволок в душевую кабину, где, прислонив к стене, с ужасом наблюдал,

как она сползает на пол, безвольно вытянув руки и поникнув головой. Тут он встревожился не на шутку.

Пульс у нее был замедлен, но прощупывался ясно. Бледность – не болезненная, просто утренняя, сонная. Ни температуры, ни других симптомов гриппа. Что за хрень?

Чередую горячую и холодную воду, он минут пять поливал Айю, осевшую на пол душевой кабины, самым сильным массирующим напором, пока наконец она не открыла глаза, с туповатым удивлением обнаружив Леона, изрядно взбешенного, растерянного и мокрого.

Он поднял ее, вынес в комнату, энергично растер, натянул какую-то одежду и только тут заметил, что она трясется, как заяц.

– Что с тобой? – Он встряхнул ее. – Тебе плохо? Что болит?

– Да нет... так... поспать минутку, – и норовила повиснуть на нем, распластаться, стечь на пол.

Пока он метался по комнате, собирая вещи, пока гримировался, вызывал такси, она по-старушечьи сидела на балконе с пустым безучастным лицом.

Словом, бабка с внучкой покидали отель, поменявшись ролями. Леон, обнимая за талию, буквально тащил Айю на себе. Она была тяжелой – совсем не такой, как в замке Госсенсов, когда он с легкостью, словно птичку, нес ее на плече. Еле выползли...

Хорошо хоть дежурил сегодня не тот молодой человек, перед которым позавчера разыгрывали немошь полупарализованной старухи, а какая-то девушка, к тому же занятая приемом и размещением пожилой японской четы.

Оставив на стойке ключи и чаевые, Леон погрузил Айю в такси, забросил в багажник чемодан и инвалидное кресло, и всю дорогу до Портофино – благо ехать недолго – бабка на заднем сиденье молчаливыми тычками корректировала внучкину выправку.

Мутный день слизал, как масло с бутерброда, синеву моря и неба, задул все краски рыбацкой деревни, будто заботился о том, чтобы с ночным костром во славу Святого Георгия ничто не могло соперничать.

Их *bed and breakfast* оказался очень мил – даже милее, чем на картинках в Интернете: в сущности, это был просто дом на одной из кудрявых улочек, где за кружевными чугунными воротами открывался двор, затейливо мощный местной голубой галькой и сплошь заставленный псевдоантичными скульптурами. Все они истекали струями разной толщины и напора. То ли хозяева были восторженными адептами

системы фэн-шуй, то ли просто любили фонтаны, лейки, прыскалки и прочие струйные затеи, но к входной двери пансиона постояльцы пробирались, обивая чемоданы о посеídoнов, русалок и веселых водяных с задорными гениталиями.

В уютном холле, выдержанном в зеленых тонах (зеленый креп на стенах, зеленая обивка дивана и кресел, зеленый ковер, зеленые гардины), по периметру стен были вмонтированы заросшие водорослями аквариумы, а самый большой аквариум, с крупными золотыми рыбинами – язык просто не поворачивался назвать их «рыбками», – занимал половину огромного окна на залив. Леон бы не удивился, узнав, что сервис данного заведения включает и рыбную ловлю.

Все это настолько уже мокро, что хочется оказаться в каменистой пустыне и умереть от жажды...

Три ступени вели из холла в коридор с двумя двухместными и двумя одноместными комнатами. Не Альгамбра, сказал бы Кнопка Лю. Но в деревянной раме окна распаивалась такая бирюза залива, а завтракать можно было на каменной террасе под зеленым, конечно же, тентом, с таким видом на бухту и цветную гармонику домов, что это полностью искупало все издержки рыбного хозяйства. Впрочем, сейчас Леону – с чемоданом, инвалидным креслом и Айей на прицепе – было не до пейзажей.

Он приволок ее в комнату, где просто сгрузил на кровать. И заснуив от облегчения, она обняла подушку и вытянулась, ни на что больше не реагируя.

Леон стоял над ней, мучительно всматриваясь в обморочное лицо, бледное даже на фоне белого покрывала.

Так вот оно, значит... вот как это к ней приходит и наваливается. Как же все эти годы она среди чужих – бесчувственная, беспомощная? И в какую нору заползала, предчувствуя наступление очередного беспамятства?

А отцу каково знать это с самого ее детства, и жить, и надеяться – издадека, – что рядом с ней в кромешные дни окажется какая-нибудь сердобольная душа или, по крайней мере, не враждебная...

Теперь-то ясно, как легко было вытащить у нее все деньги, украсть камеру, да просто удавить ее за ненадобность, выбросив в ближайшую канаву.

Получи еще одного проблемного ребенка, мрачно сказал он себе: медвежонка в зимней спячке...

Опустился рядом на кровать, медленно, нежно провел ладонью по упругим кольцам каштановых кудрей, почти черных на фоне бледной щеки; приложил ладонь к шее: пульс бился медленно и ровно – организм, черт подери, погружался в анабиоз...

В замешательстве Леон прокручивал возможные действия.

Рассыпался намеченный план: бежать из Портофино ночью сразу *после сделанного*: пешком по *мулаттьере* – нагруженными мулами – до бухты Сан-Фруттуозо, по пути избавясь от инвалидного инвентаря. Оттуда на первом же рейсовом катере до Санта-Маргариты, а там на поезде до Генуи, и вылететь куда получится ближайшим рейсом. А хоть и в Бангкок, а хоть и в Краби; снова снять пенишет и махнуть вдвоем на остров Джум на неделю-другую, пока не проветрится воздух, пока не выветрится из него вонючая труха и гниль последней смерти в их жизни.

Но сейчас... Как сейчас-то быть?

Ладно, не паникуй, приказал себе. Надо дать ей полный покой, а там будет видно. До ночи время есть.

Он раздел ее, с трудом ворочая странно безличный куль тела, – не верилось, каким порывисто-гибким, каким чутко-ритмичным оно бывает в иное время, – укрыл одеялом, поставил на прикроватную тумбочку чашку с водой – если вдруг очнется и захочет пить. Постоял в раздумьи...

Делать нечего: старухе Ариадне Арнольдовне придется чуток помолодеть. И первым делом – к черту ортопедический ботинок! Это будет *пражский вариант*: старая дама не так уж стара, она еще ого-го, чуть-чуть кокетка и держится молодцом... К тому же, надо надеяться, сегодня вечером затеряться в толпе огнепоклонников будет несложно.

Но до наступления вечера предстояло еще кое-что подготовить.

В любимый и полезный дамский рюкзачок Леон уложил бинокль и – никогда не знаешь, что может пригодиться, – связку ключей якобы от дома, среди которых было несколько отмычек, а также неприметный ключ со спрятанным в нем умелым лезвием, в свое время оказавшим Леону не одну услугу самого разного свойства. Облачился в приталенный бежевый плащ с большими накладными карманами – старая привязанность, милый амулет – и вышел, аккуратно захлопнув дверь, повесив на нее картонку «Non disturbare».

Пансион держала симпатичная пожилая пара из тех, кто, прожив вместе лет сорок, становятся так друг на друга похожи – в жестах, внешности, манере говорить, – что уже неважно, к кому из них обратиться.

У этих двоих были одинаковые челки цвета одуванчика. К сожалению, кто-то из них постоянно околачивался в холле, где и стойки никакой не было – просто крепкий деревянный стол, на котором пузатился компьютер сильно устаревшей модели. Сейчас здесь присутствовала синьора – прохаживалась с лейкой вдоль горшков с целым панно каменных роз, от голубого до нежно-лимонного цвета.

Леон попросил карту Портофино, дотошно выпросив у добрейшей тетки дорогу до Кастелло Браун. Он ведь открыт?

– Открыт, открыт. – Приветливые зеленые глаза из-под челки. – Советую вам, синьора, обратить внимание на тамошнюю лестницу, вернее, на майоликовую плитку, для Лигурии нетипичную.

– Такая жалость, – вздохнула Ариадна Арнольдовна, соорудив из морщинистых губ скорбную подковку. – Мы с внучкой мечтали об этой поездке полгода, и надо же, она у меня совсем раскисла: температура, и горло болит... Я, пожалуй, пройдуся, пока она спит, а вы уж ее не беспокойте.

– О, бедняжка. – Струя воды из лейки кланялась каждому цветочному горшку. Может, эти две добродушные челки – просто водяной и наяда на пенсии? – Конечно, пусть девочка отдыхает...

* * *

Майоликовой плиткой лестницы в Кастелло Браун пришлось-таки полюбоваться и даже обсудить ее с симпатичным парнем – то ли зрителем, то ли заезжим сотрудником министерства культуры: действительно, непривычное для Италии сочетание цветов, слишком яркая сине-бирюзовая керамика. Скорее, андалузская, не правда ли? И удивляться не стоит: морские добычи Генуэзской республики, ее участие в крестовых походах...

А вот чему удивляться стоило: из окна замка отчетливо – даже и бинокль не требовался – видна была сине-белая яхта Крушевича в заливе, точнехонько против мыса Портофино. Леон предполагал, что из Сан-Фруттуозо ее пригонят сюда загодя, но... чуть свет, и уже здесь? Не затеют ли они погрузку среди бела дня? Неужто его подвело чутье, заточенное на полет мухи, на еле слышное пианиссимо, замирающее под куполом храма? Неужто вся затея окажется бредом, пустышкой, провалом самонадеянного наглеца?..

Он не стал спускаться к набережной – нечего там раньше времени глаза мозолить, – зато не меньше часа провел в наблюдении за помещьем «Казаха».

Там было поразительно тихо. Кроме двух незнакомых бугаев с выбритыми колотушками чугунных затылков (очевидно, охрана: время от времени они пересекали двор из большого дома в пристройку при воротах и обратно), никто не появлялся ни на балюстраде башни, ни на балконах, ни во дворе... Лишь за кремовыми шторами в открытой балконной двери второго этажа кто-то разок прошелся, чуть поддернув их на ходу.

Леон полагал, что к делу приступят с наступлением темноты, а главное, с наступлением праздника – когда внизу, на пьядце, запалит свой огонек Святой Георгий, покровитель разбойников, победитель драконов, и этот огонь, это бушующее пламя как занавесом отделит море от суши, погрузив во тьму всю окрестную акваторию.

На сей раз он решил хорошенько исследовать зады помещья – точнее, фасад, выходящий на море. По едва заметной козьей тропке спустился чуть ниже и с полчаса сидел, как ворона, на опасном козырьке скалы, под которым внизу с тяжелым ритмичным грохотом разбивались, взлетая веерными взрывами, мутно-зеленые волны. Спасибо тучам – сегодня его не слепило солнце, так что он сразу был вознагражден: высмотрел крошечную заводь, к которой прямо из скалы спускались грубо стесанные ступени; две последние, опасно скользкие, вылизывала волна. Там к железной свае был пришвартован темно-синий катер. В темноте он будет совсем не виден, и это проблема. А следить отсюда, как этот катер выйдет, – в той же темноте и с такой высоты – можно будет только по звуку. Да и не успеть оказаться вовремя там и тут... Нет, придется поджидать их на море...

И вот тут ангел-страстотерпец, добросовестно хранивший его на разных виражах судьбы, вновь поощрительно похлопал по плечу: обрати, мол, внимание. Внизу на ступенях возник, на миг пригнувшись (будто из стены вынырнул), один из тех бугаев, что околачивались во дворе. Видимо, из дома к морю шел-таки ход в скале – карстовые пустоты, приятный сюрприз природы. Поистине, удобное расположение дома, пригодное для любой затеи: для интрижки, для контрабанды, для сложной операции по переправке плутония в Ливан. Для избавления от назойливого мертвеца, наконец.

Бугай прыгнул на палубу катера и минут десять возился там,

переставляя какие-то ящики. Место освобождает, понял Леон... Не стал дожидаться, пока на ступенях покажется второй, пока они примутся вдвоем затаскивать ящики внутрь туннеля. Все их действия можно было легко просчитать, все у них шло по плану.

Все шло по плану и у него, у Леона.

Если не считать внеплановой комы его возлюбленной...

* * *

На причале он снял у прокатного морячка лодку, предварительно переодевшись в общественном туалете на набережной.

Перелицевать старушку в суховатого пожилого господина спортивной жилки было легко – стоило лишь стянуть с мочек ушей позолоченные, с крупными зелеными стекляшками, клипсы и сбросить плащ, под которым черный свитерок-унисекс и черные джинсы вообще не останавливали на себе ничего взгляда. Он знал толк в преобразованиях, особенно в тех операх, где исполнял сразу две партии и за пять минут должен был перевоплотиться из мужчины в женщину, а затем наоборот.

Сел на весла и отчалил, кропотливо пробираясь меж лодками и катерами, а когда вышел из марины на открытую воду, минут за десять-пятнадцать догреб до яхты – вблизи она оказалась еще прекраснее.

Николь описала ее довольно точно, и Леон на таких бывал: наверху, на сандеке, в кормовой части у них имеется круглый спа-бассейн для любителей позагорать, в носовой части – смотровая площадка, с которой сегодня ближе к ночи команда непременно будет любоваться зрелищем костра и фейерверка (и это, кстати, означает, что подходить следует с другой стороны, от мыса Кастелло Браун, ибо отсюда берег и бухта видны будут как на ладони. Скорее всего, чтобы насладиться зрелищем, они оставят освещенными только верхнюю палубу и корму, плюс обычные стояночные огни).

Что там еще? Тендеры, кран с электрической лебедкой находятся в кормовой части мостиковой палубы. Трап на таких яхтах тоже обычно электрический, закреплен на корме, другим концом опускается на подошедший катер. Но если качает, как сейчас, проще пришвартоваться и, пока идет погрузка, одерживать катер, цепляясь за кормовой релинг. Интересно, сколько же человек будет на катере?

План его был прост и даже в чем-то изящен. Он не сомневался, что Винай (Леон даже мысленно продолжал называть его Винаем) намерен сопровождать груз до пункта назначения. Непременно будет сопровождать, от погрузки на катер в домашней заводи «Казаха» до выгрузки в порту Бейрута – слишком многое тут поставлено на карту, слишком многое укрывают в себе пленительные узоры драгоценных персидских ковров.

Да только не видать ему берегов Ливана – в этом Леон как-то странно, как-то неумолимо был уверен.

На яхте, похоже, отсыпались, как и в доме Фридриха: затишье перед делом. Только на корме возился кто-то из матросов – может, проверял готовность лебедек.

Разглядел Леон и принаитовленный катер – родной, яхтенный. Выходит, начинку для будущей «грязнули» доставит сюда ночью тот катер, который чистили сегодня в уютной заводи под прекрасным палаццо. И два бритых бугая-на-все-руки погрузят ковры на лебедки, помашут ручкой Винаю (*из Портофино в Бейрут – с любовью*) и вернутся восвояси на дачу...

Что мы имеем в таком случае? Несколько драгоценных минут погрузки: вот ковры застропили, подняли лебедкой, переместили на палубу... и пока снимают обвязку, пока на палубе все внимание – на товар...

Можно было попытаться в суматохе погрузки проникнуть на яхту с кормы. Однако численность команды и невозможность остаться незамеченным сразу отметали этот план, а отсутствие оружия еще более усложняло казнь. Было лишь одно место, где они могли остаться с Винаем наедине: море. Правда, жидкая среда начисто лишала Леона преимуществ удара – того, чему он был обучен: летящая рука или нога в молниеносном выпаде. Но вода... она с юности была для него дружественной стихией, во всяком случае, дружественнее, чем для остальных участников грядущего спектакля – разумеется, если среди них нет такого же любителя фридайвинга, как он сам.

Выходит, попытать удачу он мог лишь в крошечном промежутке времени – считанные минуты! – когда катер приблизится к яхте и начнется выгрузка ковров и перенос их на борт. И вот тогда незаметно взобраться на катер, напасть и утащить князя в воду.

Мысленно он называл операцию «Русалка».

Леон поднялся на ноги в своей прогулочной лодке, покрутил над головой снятым свитерком, приветливо окликнул матроса:

– Хэ-э-эй! – (*старый мудака-турист на скорлупке интересуется за шикарную жизнь*). Ему хотелось услышать акцент – опознать язык, на котором говорит команда яхты.

Не будет ли стоять тут этот плавучий дворец еще денек? Он бы внучку привез, она еще никогда таких яхт не видала. Устраивают ли они экскурсии? Он готов заплатить, чтобы попасть на судно.

Ему ответили сквозь зубы, посоветовав не крутиться тут и проваливать. И никаких внучек, и никаких экскурсий, что за наглость! Им сегодня не до гостей, и вообще, в двенадцать ночи их тут уже не будет... Выговор гортанный, родной язык – арабский. Во всяком случае, у этого моряка. Но команда может быть и смешанной.

* * *

Когда он вернулся, Айя еще спала – в той же позе, с тем же выражением на лице беспробудной, ангельской, мать твою, отрешенности. Он постоял, раздумывая, не предпринять ли еще какие-то *бодрящие* действия – влить в нее, что ли, глоток горячего кофе... Но сразу же отверг эту идею: глядя на Айю, неподвижной позой и каким-то застылым изнеможением напоминавшую надгробие саркофага богатой этрусской госпожи, он чувствовал всю невозможность вторжения в капсулу ее островной отдаленности, отделенности – от него, от мира, да и от самой себя.

Где там она плыла, что видела, что чуяла в своем безмолвном парении?

Почему, в бессильной ярости спросил он себя, почему ты не выяснил, сколько это у нее длится, почему не выпросил, как она выкарабкивается из темной утробы забвения? Да что там, поздно спохватился!

Еще есть время, беззвучно повторил он себе, не слишком уже веря в эту сомнительную мантру, – есть еще время...

И прилег рядом, приказав себе поспать (не спал всю ночь, мысленно отрабатывая каждую минуту *операции*). Понимал бесполезность этого намерения: никогда не мог отключиться по внутреннему приказу (*шеф говорил – хлипкая нервная организация*)... Задумчиво и медленно скользил взглядом по лицу, волосам и плечам спящей рядом с ним совершенно

беззащитной женщины – в сущности, мало ему знакомой... Протянул руку и легонько, указательным пальцем очертил брови, скользнул по переносице, обвел рисунок губ... Нет, не беззащитной, вдруг понял он. Она излучала властную магию отрешенного покоя, будто в глубине естества была уверена: пока она под охраной *такого* глубокого сна, с ней ничего не случится. Это из детства, подумал он: спрячусь в сон, чтобы меня не увидели.

Он обнял ее, умиротворенную запредельным покоем, и минут через пять вдруг и сам уснул – будто, уцепившись за волшебный плотик, вплыл в озеро столь необходимого ему забытья, большим ковшом черпнув глубоководной тишины...

* * *

Часа через три открыл глаза, все еще продолжая плыть вместе с ней в медленном потоке, что с каждой минутой вихрился и бурлил, растаскивая их в разные стороны, отталкивая друг от друга, выталкивая Леона прочь, вовне.

Пока он спал, прошел сильный дождь, и сейчас в открытое окно вливалась сладко пахнувшая мокрой землей и зеленью, промытая дождем весенняя ночь. Там, внизу, уже бурлила деревушка, освещенная мелкими, как просо, пригоршнями цветных огоньков, оттуда слабо доносилась музыка: праздник был в разгаре, но костер еще не запалили. Ничего, скоро уже, подумал Леон...

Он знал, что в запасе у него есть час, *хороший час*, как говорил Иммануэль, путая в русском слова «добрый» и «хороший», – а ведь это два разных слова, порой противоположных по смыслу.

Как полагается в таких случаях, он оделся во все черное. В рюкзаке – плотно скатанный гидрокостюм: бог знает сколько лет ему, но хранит, и греет, и *прячет тело* – оно не отсвечивает. Никаких молний на запястьях, на лодыжках (это ценишь, когда нужна решительная свобода рук и ног), без шлема (даже в воде Леон предпочитал использовать свой слух максимально). А главное достоинство сих рыцарских лат – нет желтых дайверских вставок; вот уж чего нам не нужно – легкости опознавания. Ни в воде, ни на суше...

Жаль, что нельзя использовать ласты, – ему могут понадобиться ноги, сила железной икры, смертельный удар стопы.

Теперь надо как-то выскользнуть из пансиона, не привлекая к себе

внимания хозяев. *(Вот уж разгулялась бабулька! А не пригласить ли доктора к вашей девочке, синьора? Что там у нее с температурой?)*

Он уже смирился с тем, что Айя лежала в прежней позе, неслышно и спокойно дыша, никак не реагируя ни на слова, ни на прикосновения. А ведь она должна была ждать его с вещами на повороте к тропе на Сан-Фруттуозо!

Сейчас надо мучительно соображать, как незаметно вернуться в пансион, когда все будет завершено, – ведь вода непременно смоет грим. Окно их комнаты – высокий бельэтаж – выходило на склон, поросший кустами олеандров и горбатыми, грубо слепленными кактусами. Удачно для спуска, не слишком удачно для возвращения. Правда, окно соседней комнаты выходит на каменную террасу, где у стены стоит огромная декоративная винная бочка. Вот с нее, подтянувшись, можно уцепиться за подоконник и перемахнуть сюда, в открытое окно. Не смертельно, не цирк. Но можно ли быть уверенным, что часа через два, когда он вернется, хозяева и постояльцы будут спать, а не сидеть и разгуливать по террасе с бокалами вина – как сейчас, например, – любуясь расцветом, а затем и умиранием костра?

В том, что вернется, Леон был абсолютно уверен. И все же...

...все же, перед тем как выйти, извлек из рюкзака Айи ноутбук, включил его, набрав пароль (*Ко Jim*, разумеется), создал прямо на рабочем столе два новых файла. Одно из писем обдумывал гораздо дольше, чем второе, предназначенное лично ей, Айе. Дописав, еще раз внимательно проверил первое послание, отключил ноутбук, но не стал его прятать, оставил на столе. Чепуха, конечно, сказал себе. Это так, на всякий случай. Возможно, придется отсидеться где-нибудь пару дней... А она умница, с его инструкциями она доберется куда следует. Если и когда очнется, мягко поправил он себя, и сердце ухнуло в гулкий погреб. Ерунда, бодро возразил он себе же, с чего б ей валяться долго? Конечно, очнется – завтра утром. Продрыхнет сутки и придет в себя, как наверняка это бывало и раньше. Еще и покоя тебе не даст, этак-то отдохнувши. И очень даже неплохо, что в этом нешикарном заведении комнаты убирают раз в три дня...

Накинув все тот же старомодный плащик, нацепив «золотые» клипсы, он вышел из номера и бесшумными шажками (*роль Маркизы-Розалинды-Линды-Инды... прочь!*) спустился по трем ступеням в холл. Тут все было тихо и все славно: хозяева наверняка торчали на террасе, а четверо других постояльцев, молодая норвежская пара и две пожилые лесбы из Милана,

отжигали в веселой толпе на пьяцце. Да, все очень удачно... кроме того, что Айя по-прежнему лежала там, за его спиной, – недвижимая, как труп на анатомическом столе...

Он пересек уютный зеленый холл, мягко отворил дверь в крапчатый дождик и вышел в оливковую от жирного света фонаря у ворот, вздыхающую влагой, журчащую фонтанами ночь.

* * *

С наступлением темноты весь Портофино замерцал огненными стежками – будто вселенская портниха приметала великолепное полотно волшебной деревушки и осталось лишь прострочить его на машинке «Зингер». Силуэты домов и колокольня церкви Сан-Мартино вышиты мелким бисером цветных лампочек.

Толпы туристов уже всю колобродили на пьяцце. Столики из окрестных ресторанов (партер будущего театра) вынесли из помещений и расставили в опасной близости к костру – а все уже было к нему готово. На колокольне Святого Георгия по-прежнему развевался в черном небе подсвеченный праздничный флаг – красный на белом крест.

Леон пробрался через толпу к окраине набережной, где по договоренности, стоившей ему немалых денег, все тот же моряк оставил ему лодку с веслами, спрятанными под брезент, – обычно здешние рыбаки на ночь уносили весла домой. И пока шел, за его спиной уже разжигали костер под восторженные вопли, упоительный бабий визг и аплодисменты...

Перед тем как ступить в лодку, Леон оглянулся.

Деревушка для богатых амфитеатром спускалась к каменной площади, на дне которой уже ворочалось, дышало и пульсировало огненное сердце праздника. Из него прорастали и опадали стебли молодого пламени. Кроткий дождик никак не мог стать помехой этим буйным всплескам. Ветер, к ночи окрепший, тащил в разные стороны охапки огненных брызг в густой волне дыма, и они вспыхивали бурей золотых жучков, расплескивались, взмывали высокой волной фейерверка. Вот пламя взметнулось, взбегая вверх по пенолле. Веселый, пышный и все же поднадзорный огонь (пожарная машина стояла чуть поодаль, и резиновые удавы змеились по камням в полной готовности к удушению злого веселья) казал всем бешеные языки, пытаясь дотянуться до визжащей публики

за столами... Вдруг грохнуло и рассыпалось небо: высоко-высоко взметнулся и пролетел-проскакал ало-золотой конь первого фейерверка. И впрямь – роскошное зрелище, подумал Леон, отворачиваясь чуть ли не с сожалением: это было его родное, любимое; это был – театр.

Сначала – под шум, под музыку – Леон запустил мотор и шел минут пять в сторону мыса, удаляясь от сверкающей буйной пьяццы, держа в виду притихшую и озаренную одними только стояночными огнями яхту в заливе. Потом заглушил мотор и, не приближаясь, остался ждать в полной тьме...

Черная толща воды вздымала и резко бросала его лодку вниз: не шторм пока, но и не прогулочная гладь. В плотных тучах неслась бешеная дымно-серебряная луна, давно не чищенный «белый червонец», и в те мгновения, когда черный флер облаков расступался, являя бледную монету, серебро волн казалось зловещей, истекающей маслом шкурой волшебного буйвола, уносящего лодку на могучем хребте...

То и дело, будто спохватываясь, ветер постреливал сверху и с боков шрапнелью колючего дождя. Раза два погромыхивало, но не здесь, – где-то там, над Генуей... Впрочем, кто сейчас разберет, что там гремит – гроза или фейерверк. А салют над Портофино только набирал силу. Черное небо то и дело вздрагивало от серии ударов, и в нем расцветали такие гобелены, такие узоры (Айя сказала бы: такие рассказы!), отражаясь в воде и в ней же угасая, что за команду яхты Леон мог быть спокоен: каждый хоть краем глаза таращился туда – на берег, стараясь ухватить хотя бы клочок от веселья богатых, от роскоши праздничной жизни, от ликования Святого Георгия.

Тихий дракон на скромной яхте свернул свой грозный хребет, готовя новые жертвы, – возможно, и среди тех, кто сейчас восторженно визжал на разукрашенной и озаренной костром пьяцце.

И опять сыпал дождь, и морская соль просачивалась сквозь кожу, пробирая сыростью до костей... В считанные минуты над бесконечно движущимися рядами пологих валов стал собираться туман, вернее, пока туманец; он поднимался от воды – связующая дырявая ткань меж двумя стихиями... Отсюда костер на пьяцце казался тугим огненным ядром, внутри которого желтым, красным, оранжевым переливались сполохи, и вверх выпархивали пышные облака дыма, и доносилась музыка, в которой Леон различил мелодию старой песенки «Love in Portofno», приведшей его сюда, как дудочка крысолова:

So-cchiu-do gli o-o-o-cchi
E a me vicino
A Po-orto-fno-o
Ri-ve-do te-e-e-e...

Он был полностью готов: одежда и седой паричок лежали свернутыми на дне лодки – дай-то бог, пригодятся, когда, *сделав дело*, он вернется на берег, где наверняка уже умрет костер, придушенный водой и туманом.

Гидрокостюм натянут. Нелишняя одежда при такой погоде – и наверняка при такой неласковой воде. В других обстоятельствах на нем можно было закрепить фонарик, нож, даже пистолет... если б все это не противоречило сценическому замыслу: никаких ножей и пуль, ведь сегодня играем «Русалку»: «Давно желанный час настал!» – величественная и грозная ария Наташи...

Полиция не должна интересоваться этим трупом: мало ли кто в пьяном виде упал за борт яхты – вряд ли кому из команды и тем более владельцу нашего летучего голландца придет в голову привлекать внимание «гуардиа костьера» к маленьким интимным прогулкам на столь длинные расстояния... Нет-нет: ни стреляных, ни резаных, ни колотых ран. Просто легкие, полные воды. Просто долгое и страстное объятие русалки в таинственной глубине вод – *давно желанный час настал...*

Ты слышишь, Адиль? Эй, ребята мои истерзанные, слышите меня? Упьется он сегодня водичкой, ваш убийца...

Распластавшись на дне лодки, Леон прислушивался: фейерверк на берегу закончился, и к мерному угрюмому гулу бесконечно катящихся волн примешивались слабые звуки музыки, доносящиеся с берега... Его глаза внимательно следили за линией оконечности мыса Портофино: по его расчетам, с минуты на минуту должен был показаться катер. Время от времени приходилось садиться на весла и подгребать ближе к яхте, но крайне осторожно, чтобы оттуда не заметили лодку... Как кстати это волнение на море: взрыхленные ветром борозды ежеминутно изменчивой морской пашни скрывали лодку в грядах волн гораздо лучше, чем любое укрытие.

И вот его слух различил рокот мотора, а минут через пять этот звук был услышан на яхте, и – будто эхом там все откликнулось – озарилась и оживилась нижняя палуба: кто-то из команды расчехлял лебедки, громко переговариваясь на английском, – готовились принимать товар с сопровождающим.

Леон дождался, когда катер окажется в поле видимости, отвел лодку подальше от круга света, падающего с яхты, выждал еще пару мгновений и (он никогда не молился, никогда ни о чем не просил, даже мысленно, не потому, что был так уверен в личной удаче, – просто в подобные минуты забывал о себе) – и тихо скользнул в воду...

Она ожгла ледяным огнем, так что сердце занялось. Железная лапа сжала горло до потери дыхания, и невольно Леон хлебнул изрядную порцию горько-соленого пойла. На секунду показалось, что не выдержит он, выскочит из воды и погребет к берегу, и гори все огнем! – но вскоре чуток отпустило, дыхание выровнялось. Оказалось, можно терпеть. Вода, даже такая холодная, по-прежнему оставалась его стихией. Он поплыл к корме яхты, давая волне вздымать его и погружать в лощины падающих валов, стараясь уворачиваться от хлестких оплеух, попутно одарявших его новыми порциями соленых глотков, – пока на гребне одного из валов не обнаружил, что слишком близко подобрался к катеру. Там уже заглушили мотор и швартовались.

Леон нырнул (уши рубануло топором боли) и, оставаясь под водой, приблизился еще, вынырнул у самой кормы.

На катере, как он и предполагал, суетились трое – те двое, которых он видел в бинокль, когда сидел на козырьке скалы и рассматривал домашнюю заводь «Казаха», и Винай, Гюнтер Бонке. Вот теперь, с удовлетворением отметил Леон, видно то, чего он не заметил, когда, укрытого одеялом, Винай сносили на носилках по лестнице: он погрузнел и явно потерял спортивную форму, чего не скажешь о двух бугаях из охраны.

Сейчас все зависело от того, насколько близко удастся подобраться к Винаю, от внезапности нападения, от его, Леона, реакции... Он чувствовал себя прекрасно: так же, как за минуту до выхода на сцену, разве что тихонько не пропевал первые такты партии.

Между тем трое на катере занялись делом: на нижней палубе яхты все было готово к подъему груза, плавно завертелись лебедки, опускаясь к самому борту катера. Оба охранника (Леон мысленно называл их «амбалами», как Барышня всегда называла грузчиков) приготовились стропить, вдвоем поднимая первый из длинных и тяжелых рулонов, запаянных в плотный целлофан.

Вот он – миг, которого ждал Леон: затих последний аккорд увертюры. Он мягко подтянулся, ухватился за борт и взметнулся на корму. Винай стоял спиной к нему, очень близко, так сладостно, так благодарно близко, словно хотел услужить напоследок. Тело Леона сгруппировалось перед броском, и...

...в следующее мгновение с яхты донесся предостерегающий крик, Винай резко обернулся, будто его дернули, и встретился глазами с Леоном. Он дико всхрипнул, шарахнулся к носу катера, и в тот же миг один из амбалов, бросив на палубу свой конец рулона, ринулся на корму...

Это были обученные люди. Леон подпустил бугая поближе, выкинул правую руку с растопыренными пальцами и, прикрывая бок левой, перехватил его запястье, рванул на себя, одновременно уклоняясь от удара, и ребром левой ладони, прямой и твердой, как доска, нанес два страшных удара – справа и слева – у основания шеи. Амбал обмяк, стал валиться на Леона, тут сразу подоспел второй, на которого времени осталось чуть, и, толкнув на него тушу первого, сбив с ног, Леон прыгнул за борт и сильной дугой ушел в глубину...

Неудача... Ах, твою ж мать, какая неудача!

Нужно было уходить, просто плыть к берегу, и черт с ней, с лодкой... Однако все его естество, его сердце, kloкочущая ярость его памяти не допускали этой мысли. Сбежать?! Когда наверху, так близко – враг, заслуживающий смерти от его руки?! Но – Винай! Как мгновенно тот опознал Леона – с первой же секунды, несмотря на полусмытый грим, а может, и не узнал, может, просто почуял смерть?

Скрываясь под водой, Леон подсчитывал доходы и убытки: один выведен из строя, трап с яхты еще не спущен, значит, вряд ли в катере быстро может очутиться кто-то из команды, и вряд ли среди них есть профессиональные бойцы. А грузить ковры им надо, и уходить им надо, так что в катере сейчас – Винай с единственным защитником. Леон всплыл туда, где в кругу электрического света над головой темнело днище катера. Сейчас он уже слышал глухие отрывистые голоса.

– Ищи, ищи! – приглушенно крикнул Винай на английском. – Выше фонарь! Он всплывет!

– Да уж сколько минут прошло... – неохотно ответили по-русски. – Наверняка утоп... Прибьет его где-нибудь в Санта-Маргарите.

– Нет! Нет! – вновь ожесточенный фальцет: Винай. – Он долго под водой может, сам видал! Надо искать! Крикни, пусть сверху дадут прожектор. – Его голос, странно высокий, поднялся до истерики: –

Не стрелять! Не стрелять! – Это он наверх, понял Леон, это яхтенным. – Только живой! Он мне нужен! Он – разменная монета!

И Леон поплыл на этот голос – зазывный, как голос сирены, самый для Леона вожаемый. Сквозь тонкий слой воды видел, как с фонарем в руке, чудесно освещенный, Винай склоняется над бортом, жадно и опасливо вглядываясь, надеясь увидеть всплывающее тело...

И тогда, собрав мышцы в единый ком, Леон торпедой вылетел из воды, мощным замком обхватил голову Винай, резко рванул, будто срывал ее с плеч, и ринулся обратно, в глубину, всем телом сплетаясь в смертельный клубок со своей добычей...

Всё решили первые секунды: ошеломление жертвы, ледяная вода... Когда, инстинктивно вцепившись в Леона, Винай попытался освободиться, было поздно: Леон уже оседлал его и, стиснув железными коленями плечевой пояс, не давал освободиться, не пускал подняться вверх.

Но столь внезапно вынырнув перед лодкой, он и сам не успел глотнуть воздуха, и сейчас в его легких оставался совсем маленький запас кислорода. Уже мутилось в голове, уже, легко покачиваясь, проплыла кругами странно яркая в мутной воде обнаженная Айя – спокойное лицо, закрытые глаза; Стеша сказала: «Вот сюда», – приподняв руку, за которой тянулся шнур капельницы, показала на горло, трепещущее от нехватки воздуха... Костер горел не на пьядце, а где-то рядом, он просто полыхал в мозгу, пожирая кислород... Леон все скакал на своем коне, обеими пятками сжимая его бока, держась до последнего мгновения, зная, как опасна эта эйфория недостатка кислорода, так гибли многие: еще секунда-две-три – и ему просто не захочется возвращаться...

Воздух в легких почти иссяк, но Леон не отпускал Винай, пока не ощутил последнего спазма в его обмякшем горле, последней судороги мертвого тела...

И тогда в полной тьме, на тающей грани сознания, отпустил, оттолкнул ногами в бездну ненавистный груз и, уже не разбирая направления, взмыл к поверхности воды...

Когда он вынырнул под завертевшийся штопор «белого червонца» луны, прямо в бьющие брызги волн, в колючий благостный дождь, перед глазами, как во сне, вспыхнула бисерная сыпь зубчатой стены домов Портофино и закачался, мерца на волнах, далекий язычок костра Святого Георгия. В тумане ядрышко огня пульсировало, как сердце плода в материнском чреве. Он и сам сейчас чувствовал себя слепым эмбрионом

в грозных морских валах, ядрышком огня в черной воде залива.

Было много воздуха: много льющегося в отверстия легкие влажного морского воздуха, много свободы и оглушительного счастья...

Затем – удар по голове, раскат фейерверка и гулкие, затухающие всплески огромной темной воды...

7

Вначале, как обычно, в сознание прокрались и расцвели запахи: кофе, свежая выпечка, зеленый хаос листвы...

Одновременно, чувствуя страшное давление в мочевом пузыре, Ая качнула пудовой головой. Правую щеку лизнуло прохладой. Душисто... Чистота... Там окно? Хорошо, приятно... Рука, занемевшая под животом, ожила и поползла по материи, холодной и гладкой. Еще не понимая, где она, уже порадовалась, что опять обошлось...

Главная задача сейчас – разлепить глаза и доползти до унитаза. Где он, кстати?... Но прошло еще минут двадцать, пока она пошевелилась, медленно ощупала вокруг себя тонкую ткань пододеяльника и край кровати – куда можно спустить ноги... Приподнявшись, спустила их, тихо покачиваясь и чувствуя сквозь веки свет и чудесные запахи из окна. Утро, сказала себе. Утро и – возвращение...

В туалете, куда она счастливо добралась и где с невыразимым наслаждением изливала из себя водопады, озера накопленной жидкости, чуть покачиваясь и прислонясь виском к кафельной стене, и потом еще долго сидела, просто медленно обретая тело, мысли, зрение и память, – в туалете она вспомнила, что: *Леон. Тревожился. Кричал... Ворочал ее заполошными руками...* потому что именно сегодня...

– Ничего-ничего, – сказала она себе. – Сейчас в душ, а когда он вернется, я тут как огурчик.

С полчасца она стояла под душем, жадно хлебая воду прямо из пригоршни, довольно быстро на сей раз обретая мышцы живота и спины, чувствуя, как возвращается упругость ног и рук, а желудок просит – нет, умоляет, вопит! – о куске хлеба, а лучше, о помидоре. О красном сочном помидоре. Жрать! – весело приказала себе. Жрать, жрать поскорее!

Она крепко растерлась полотенцем, готовая тотчас идти с Леоном куда скажет. Вернулась в комнату и, как обычно, прилегла еще на чуток, о,

совсем на минуточку! – проспала около часа здоровым, прозрачным *человеческим* сном, в котором они с Леоном ехали по длинной подъездной аллее к замку, о чем-то споря, а потом еще куда-то почему-то бежали, и Леон говорил, что за музыкой всегда так быстро бегут, что он научит ее, Айю, бегать за музыкой, и тогда она все *услышит*... Потому что это не вопрос слуха или врожденной глухоты, говорил он, а вопрос *скорости* звука... И этот сон выметал последние остатки дурноты и шел только на пользу. На пользу и душевный покой.

Проснувшись абсолютно здоровая.

Сразу все вспомнила и с ледяной ясностью поняла: Леона нет, и нет уже давно.

Волна паники накатила и сразу отхлынула: да он сейчас придет; с ним ничего не может случиться. Ведь утро? А какое сегодня число?

Кинулась к рюкзаку за ноутбуком, не нашла его и только тогда заметалась и обнаружила свой ноутбук на столе: лежал на самом видном месте, вот дурында! Открыла, набрала пароль – и увидела два этих письма. Почему-то сначала принялась за то, *другое*, названное «Shauli», – странный набор английских букв, ни черта не значащий, какие-то обрубки легиона в явно установленном порядке. Попыталась поменять расширение, потянулась стереть, но удержалась. И только тут увидела, что другой файл назван «Suprez».

И торопливо его открыла.

«Супец, ну и здорова же ты дрыхнуть, – кому только рассказать. Ну-ка просыпайся скорее! Если читаешь это письмо, значит, я еще не вернулся. И ты вот что сделай: немедленно закажи такси и сматывайся из Портофино. Хозяйке скажи, что сейчас тебе сообщили: мол, с бабушкой приключился обморок на берегу и ее уволокли в госпиталь в Рапалло, так что ты едешь к ней. Весь инвалидный инвентарь оставь в женском туалете в аэропорту, пусть персонал думает, что старуха два дня не может просрать».

Денег в портмоне тебе пока хватит. Если не хватит,ними по карточке. Код простой: первые две цифры – дата твоего появления в Париже, две вторых – день твоего рождения. Задача нетрудная. За пансион тоже плати карточкой. Главное, ничего не бойся, но: в Париж пока не суйся. Ни с кем не встречайся. *Веди себя как прежде – ты у нас толковая*. А лучше всего, поезжай к отцу, я найду тебя там непременно.

Леон.

Письмо (Shauli) сразу же пульни по адресу... (следовал дикий, как само письмо, набор цифр вперемешку с буквами, с французским доменом).

И помни: в Лондоне нас ждет целая бутылка собственного соджу, на которую никто, кроме нас, покуситься не смеет!»

Вот когда ее обуял ужас. Она заглянула в новостную программу, узнала сегодняшнее число, и ее тут же вырвало – еле успела добежать до раковины. Монотонно бормоча: «Ничего-ничего-ничего, он сказал, чтобы не боялась...» – она кое-как оделась, дрожащими руками натянув что под руку подвернулось: его, Леона, джинсы и его же синий свитерок... Наткнулась взглядом на идиотский патлатый парик, нахлобучила его на голову и, вместо того чтобы поступить, как велел Леон, ринулась на поиски...

– О-о, доброе утро! – приветствовала ее матрона в холле (кто такая?!). Над правым ее плечом стояла пугающе крупная золотая рыба. Галлюцинация?! Да нет, аквариум же, господи... – Как вы себя чувствуете, синьорина?

– Отлично, – устремляясь к двери.

– Ваша бабушка так беспокоилась. Но сейчас все в порядке? Почему вы обе не приходите на завтрак? У нас самая свежая выпечка – мне каждый день привозят из «Панеттерии Микеле»... А где же синьора?

– Синь-ора?.. – с трудом припомнила Айя, уже на пороге. – Она... она нездорова.

– О-о! Неужто заразилась? Как вам не везет с отпуском! А может быть...

Айя уже не смотрела на нее, просто толкнула дверь и вышла наружу, в утренний рай миниатюрного дворика.

Здесь все текло – при каждой скульптуре была какая-нибудь чаша, какой-нибудь изрыгающий струю миниатюрный левиафан. Два младенца мужеского пола (копии знаменитого мальчика) приткнулись в уголке сада, скрестив свои струи, и казалось, что они пишут наперегонки или на спор.

Все текло, бежало, струилось сквозь несметное количество цветочных горшков и ваз с невероятным разнообразием одного лишь растения: каменной розы...

Айя шмыгнула в открытую калитку и побежала.

Она бежала между каменными оградами по деревенской улице, и, несмотря на тревогу, каждая мышца и сухожилие ее тела, позвоночник, мельчайшие косточки и даже язык, подрагивающий во рту от бега, праздновали *возвращение*: она опять здорова, она сейчас найдет Леона – уже другого, очищенного от темной ржави, которая разъедала их жизнь. Что-то должно было миновать навсегда, какая-то страшная цель, которую они – вчера? позавчера? она даже толком не знала его планы, он такой скрытник!.. – которую они преследовали, одновременно прячась.

Мимо полосатой, как тельняшка, церкви Святого Мартина, где сколько-то дней назад они видели аккордеониста с милым дружелюбным псом, она выбежала на площадь.

Солнце уже раскатало цветные тенты над входами в ресторан «Ла Гритта», таверну «Дель Маринайо» и бар «Эксельсиор». Высоко над бухтой вспыхивали в полете бело-льדיстые тела крупных чаек. Тесные стада лодок и катеров, затянутые синим и зеленым брезентом, покачивались по всему периметру марины, и удивительно смирный морской бриз пошевеливал маленькие треугольные флажки над площадью и легкие частные яхты.

Сейчас здесь было так же солнечно и пустынно, как в тот день, когда они приехали сюда впервые. Значит, праздник Святого Георгия миновал, прошел без нее. Значит, проклятое беспамятство на сей раз *схавало* и костер, и фейерверк, и бисерное освещение праздничной деревушки. Кажется, оно сожрало и самого Леона.

Где теперь его искать?

Минут двадцать Айя бродила меж столиками, вынесенными на набережную, еще мало заселенными. Не все туристы выходят на площадь завтракать – многие завтракают в отелях и пансионах. К тому же после праздника многие разъехались. Интересно, если выйти в центр площади и заорать: «Ле-о-о-он!!!» – и ждать, чтобы он ответил, – подумают, что она сошла с ума? Господи, разве ей не плевать – что о ней подумают?

Она вернулась к церкви, прочесала все улицы вокруг, поднялась к остановке автобуса, обошла театрик, заглянула в *адзьенда туристико*...

И опомнилась: поплавок в водовороте собственного броуновского движения.

Вновь спустилась на площадь, где кое-кто из проснувшейся публики уже занимал там и тут столики под тентами.

Она принялась заглядывать в каждое кафе, в каждый ресторан...

Ведь ты ничего не знаешь, напомнила себе она, не знаешь главного:

что он затевал, а потому и не имеешь понятия, где его искать.

Она забыла, что с утра зверски хотела есть, забыла, что двое суток вообще не ела. Околачивалась среди жующих людей, и сама мысль о том, чтобы проглотить кусочек хлеба, вызывала у нее тошноту. Время от времени вспоминала, что в письме Леон велел немедленно уехать, ведь у нее теперь есть первоклассный паспорт, о котором ее преследователи не имеют понятия... И, осадив себя: да куда мне ехать – без него?! И где же, где же Леон?

Она помнила: что-то было связано с морем. Ведь зачем-то он высматривал в бинокль яхту Крушевича, будто собирался взять ее на abordаж. Все-таки дико, что за тем коротким и сильным разговором о мести в придорожном кафе-стекляшке он так и не удосужился посвятить ее в свой план, тупо затвердив это свое «нельзя спрашивать». А когда же, когда будет «можно»? И спохватилась: а вдруг Леон и собирался сделать это накануне, а она подвела, испарилась, скрылась в свое беспамятство, *предала его!* Может, будь она рядом, все не сложилось бы так... А как? Вот теперь гадай – как все сложилось? Откуда ей сейчас знать, почему он был так жесток (или так милосерден?), что скрывал от нее свои истинные планы...

Вдруг она обнаружила, что стоит под зеленым тентом того самого кафе, где они обедали в первый день: белые крахмальные скатерти, белые салфетки в нежно-салатовой тени. Вспомнила симпатичного пожилого официанта, который так мило с ними шутил. Может быть, он видел Леона, что-то знает? И приказала себе: терпение, уйми руки, уйми свое лицо... Успокойся. Сосредоточься: кажется, у него был слабенький английский, а тебе сейчас надо понять все до единого слова.

Она села за столик в двух шагах от кромки причала. Почему-то никак не могла отступиться от моря, почему-то связывала Леона с этой массой воды в бухте и в заливе – словно он мог вдруг выйти на берег, как *тридцать витязей прекрасных: макушка, плечи, торс... вся тонкая напряженная фигура, с которой льются потоки воды... и вот он идет, вырастая до гигантских размеров, раздвигая коленями корпуса катеров и яхт...*

Бред! Ну что за бред?!

Но села за столик так, чтобы смотреть на море, отмечая, как наливается жаркой синькой горизонт, исчирканный спицами голых рей, как прыгают на мелкой волне оранжевые шары буйков, как постепенно там и тут распахиваются зеленые деревянные ставни в окнах желто-лиловых

домов на другой стороне, над Калата Маркони.

Кроме нее, через два столика завтракали двое: молодая полноватая, но элегантная женщина со стильной прической цвета спелой ржи и, вероятно, какой-то ее родственник: для отца слишком моложав, для мужа – староват. Впрочем, мало ли что сводит пары... Оба почему-то были мрачны, неохотно переговариваясь по-итальянски (да хоть бы и по-английски: у Айи сейчас не было ни сил, ни охоты *прислушиваться*)...

Она ждала того самого пожилого симпатягу-официанта, словно при его появлении и Леон мог вдруг возникнуть на стуле напротив. Вспомнила, как увлекательно и говорливо тот объяснял, почему песто у них ярко-зеленого цвета: это ведь базилик из Пра, говорил он, из такого местечка под Генуей, там базилик самый пахучий и нежный; оливковое масло из Таджи и сыр – не пармезан, как думают некоторые, нет, а пекорино из Сардинии, поскольку лигурийцам, синьорина, ближе была Сардиния, чем Пармские области, – они шмыгали туда на кораблях, а не тащились через Апеннинский перевал...

И вино по его совету они заказали местное, с виноградников Портофино. Оно называлось... называлось... «Гольфо дель Тигулио», вот как!

Официант вскоре вышел, но Айю сначала не узнал, хотя в прошлый раз делал такие пылкие, совершенно итальянские комплименты.

Потом припомнил:

– Ах да, у вас очаровательная бабушка, с таким хорошим аппетитом... Где же она?

– Она... н-нездорова...

– Очень жаль. Сейчас все болеют гриппом, знаете, – весна... Что вам принести, синьорина?

В этот момент в бухту вошел бело-красный полицейский катер. Айя почему-то сразу напряглась: у него на борту было написано «Guardia costiera», и эти антенны на крыше... Катер причалил, и оттуда высыпала целая компания карабинеров, а сверху, со стороны полицейского участка, через пьядцу к ним направлялись еще двое, почему-то на велосипедах. Вся полицейская компания сгрудилась недалеко от причала, что-то, судя по бурной жестикуляции, обсуждая.

– Как много полиции... – пробормотала Айя.

– О да, – заметил официант. – Это все насчет того утопленника...

– Какого утопленника?! – вскрикнула она, вздрогнув так, что официант сразу раскаялся: вот, огорчил впечатлительную душу.

– *Mia cara*^[64], – мягко проговорил он, – здесь каждый год кто-то тонет, что поделаешь – море... Просто рановато для открытия сезона. Его вчера прибило вон там – к моло Умберто Примо... Малоприятное зрелище для туристов. Хорошо хоть, сейчас никто еще не купается...

Она уже не смотрела в его лицо, уже ничего не видела. Перебирая обеими руками по скатерти, медленно поднялась, ощупывая вокруг себя плотную и влажную ткань воздуха... И двинулась к причалу, к моло Умберто Примо, не оборачиваясь на официанта, который вслед ей что-то говорил, обескураженно качая головой... Некоторое время она стояла там, вглядываясь в воду, что плескалась у нее под ногами, вспухая радужными иглами меж бортами лодок и катеров, будто могла увидеть что-то важное. Минут через пять к ней подошел все тот же официант, осторожно взял под руку, пытался что-то озадаченно выспросить... успокоить... Никак не мог взять в толк, что стряслось с такой приятной синьориной.

Она вежливо высвободила руку и пошла прочь – по улочке, взбиравшейся в гору.

За ее передвижениями внимательно следила молодая женщина, сидевшая неподалеку со своим пожилым родственником.

– Что, – спросил он, – знакомая?

– Да нет... – неуверенно отозвалась Николь. – Просто странная девушка.

Она действительно ни в чем не была уверена. Да и связанная словом, данным Леону (а в традициях ее старинной семьи банкиров понятие «данное слово» было возведено в культ), она никогда не показала бы, что кого-то узнала. Вместе с тем никак не могла избавиться от наваждения: ужасные события последних суток у нее почему-то связывались с Леоном, с тем тревожным и, признаться, неприятно поразившим ее последним разговором в парижской забегаловке, так что, кроме растерянности и печали, она чувствовала беспокойство и необъяснимую свою вину.

– Разумеется, мы поможем с похоронами, – продолжал Гвидо. – Не потому, что они были нашими клиентами. Просто по-соседски. Ведь там не осталось родственников? Ужасная история! Фридриха нельзя было пускать за руль... Разве можно вести автомобиль в состоянии шока? И его недавняя операция... Хелен вообще-то не позволяла ему водить и, конечно, была права... Но он, когда их вызвали на опознание тела, выбежал из дому, сам сел за руль, и... вот так оно и вышло.

– В полиции считают, что у него отказало сердце? Или он потерял управление?

– И то, и другое. Потерял управление, потому что отказало сердце... Если б он еще не выбрал ту дорогу над заливом, оставался бы шанс... Представь эти последние мгновения в воздухе, пока машина переворачивается и падает, падает, падает... – Гвидо плавно взмахнул руками, как дирижер, показывающий оркестру *pianissimo*. Спыхватился и смущенно умолк.

– Их так долго искали... – Николь поежилась, представив машину, погребенную под скалой на дне залива: только рыбы всплывают и выплывают в разбитое лобовое стекло.

– Вовсе не долго, – возразил Гвидо, – часа три. Просто их отнесло течением. Интересно, что у него в завещании? – задумчиво пробормотал он. – И кому теперь все достанется? Странно погиб этот его нелюдимый сын. Ты его видала когда-нибудь? Я – нет. – Он пожал плечами и вздохнул: – Якобы любовался костром со стороны залива, немного перепил, перегнулся через борт катера и свалился в воду. Версия охранников, одного из. Второй, кстати, и сам имеет довольно побитый вид: нырнул, искал, не нашел, и так далее... И странно, что этот их приятель на яхте – помнишь, мы однажды у него завтракали? – поторопился смыться. Оба охранника уверяют, что никакой яхты в помине не было, но я-то сам видел ее утром, я же не псих! Что там произошло на самом деле... темная история. Знаешь, все-таки эти русские пузыри, вспухшие за три последних десятилетия, – от них стоит держаться подальше, несмотря на всю гигантскую прибыль.

– Папа считает иначе, – заметила Николь и бодро добавила: – Надо надеяться, полиция во всем разберется.

И затуманилась, со всей ясностью представив, что соседей и знакомых тоже будут допрашивать. И даже непременно будут! Но как же тогда совместить верность данному слову с верностью закону?!

Самым правильным сейчас было бы позвонить Леону, подумала она, *предупредить* (о чем?! Ведь она ничего не знает о его планах и понятия не имеет, что за дело было у него к несчастным жертвам). Ну, хотя бы оставить пару слов на автоответчике... Вспомнила, что автоответчика у него не было сроду, что номера сотовых у него бесконечно менялись, не уследить, словно он был одержим манией преследования.

И единственное, что она могла бы сделать, – это нагряться к нему на рю Обрио...

Но на завтра у нее был билет в Лозанну: срочные дела, новый увлекательный бизнес. Отец говорил: «Твои игрушки», – а дядя Гвидо очень ее поддерживал и был искренне рад, что Николь наконец-то бросила

заниматься всякой ерундой и, *потренировавшись*, лет через пять готова будет войти в совет директоров семейного банка.

В ближайшие месяцы она не планировала оказаться в Париже.

* * *

Войдя в номер, Айя заперла дверь, опустилась на кровать и долго тупо раскачивалась, собираясь с силами. Мыслей у нее не было никаких. Любой предмет, попавшись на глаза, приобретал скрытый смысл и огромную выпуклую важность, что-то пытаюсь ей рассказать, растолковать, имея колоссальное значение... Только ее жизнь не имела ни значения, ни смысла, ни будущего.

В какую-то минуту она обнаружила, что испорченной шарманкой нудит и нудит, без передыху, в такт своим раскачиваниям:

– Леон чтоб ты сдох со своими бандитскими делами Леон видишь что ты наделал куда мне теперь гад ублюдок предатель!!!!.. Леон... Леон... Умоляю тебя подонок сука мерзавец не бросай меня Леон!!! Вернись сволочь посмотри что ты наделал!!!!..

Она поднялась, открыла чемодан и как заведенная стала собираться, особенно аккуратно складывая вещи Леона.

Затем позвонила на стойку и попросила вызвать такси. Но когда машина приехала, Айя не сразу смогла выйти: ее опять рвало, бедный желудок просто сводило штопором – пустотой рвало, одной лишь горечью, одним только горем...

В зеркале ванной парили ее черные брови на белом лице с перепачканным ртом. А сама она была воздушным шариком, готовым взлететь и упереться в потолок, и навеки распластаться где-то рядом с алебастровой розеткой, окруженной выпуклыми виноградными гроздьями...

– All' Aeroporto di Genova, per favore... [\[65\]](#)

И закрыла глаза, и зубы сцепила, твердо намереваясь не заблевать машину.

Она уже знала, что Леона нет. Знала, что опять должна бежать и прятаться. Не знала только, что беременна и что ей больше нечего бояться – ибо к берегу течением прибило вовсе не Леона, а человека, который так долго держал ее в страхе. Которого сейчас и хоронить-то было некому.

Возвращение

1

Первым лапу приложил Юргис, помощник капитана. Вернее, не лапу – просто двинул в челюсть ботинком, не утруждая рук: Леон валялся связанный на нижней палубе.

Жилистый, верткий, низколобый тип с неожиданно кокетливой родинкой в ямке подбородка, закоренелый садист и наверняка закоренелый уголовник – Леон понял это по распевному говорку, пересыпанному ласково-убедительным матом. Именно он выбил Леону первый зуб – впрочем, неизвестно, что делали с ним в той первой неудержимой ярости, первой ликующей злобе, когда, огрев по голове тяжелым фонарем, вытащили бессознательного из воды.

...Поначалу его медленно раскачивало между тьмой и тьмой. Едва он выкарабкивался на гребень – не света, нет, на гребень боли, а значит, осознания себя, – как та же боль обрушивала его в новый провал небытия.

Он не знал, хочется ли ему остаться на точке болевого равновесия, при которой можно думать. Очнувшись, первым делом пытался мысленно прощупать тело, и по тому, как не смог разлепить век в корке натекшей крови, по огненной пульсации в висках и затылке сам поставил диагноз: сотрясение. С той минуты больше сознания не терял, но лежал очень тихо.

Он уже понял, что связан по рукам и ногам широкой липкой лентой, какой были перевиты ковры. Он и лежал среди ковров, правый локоть чувствовал холодное прикосновение пластиковой пленки (значит, с него содрали гидрокостюм, еще бы: тот хоть немного защищал от ударов). По механическим шумам, иным, чем шумовой прибой в голове, Леон определил, что находится внизу, где-то над машинным отделением.

Время от времени вверху возникали и приближались неровные шаги (винтовой трап); к нему подходили, внимательно его рассматривали; тогда он замирал, замедлял дыхание и пульс, а о мышцах лица можно было не беспокоиться: из-за корки засохшей крови лицо наверняка выглядело устрашающей индейской маской. Его тормозили, проверяя по-разному: один легкими руками осторожно тряс за плечо, другой с небрежной лентой попинывал ногами, и надо было сдерживать стоны. Затем шаги уносились

в винтовом движении вверх.

Достала уже эта лестница ангелов...

Но однажды (он всплыл из очередного зыбкого провала и тихо радовался нахлынувшей боли: все еще жив) явились двое. Спустившись, остановились рядом, носок туфли поддел локоть Леона, сбросил на пол, и недовольный пожилой голос произнес по-русски:

– Не лучше ли решить эту проблему прямо сейчас? Он ведь мог и не всплыть. Мне не нужны приключения на борту, Юргис. И хозяин не простит мне этого триллера, он любитель других жанров. Учтите, что в любой момент...

– Но Гюнтер кричал, что *этот* – «разменная монета», – вкрадчиво перебил другой голос (*мистер Хайд, почему-то отметил Леон: голос сочный, с подливкой*). – Выходит, Гюнтер его знал? На кого-то собирался менять? Знаете, кэп, пусть там разберутся, пощупают падлу. Там люди бывалые, вмиг все прояснят... – И жестче уже добавил: – Да и момент упущен. Сразу надо было – того... А сейчас, если кто из команды проговорится...

С минуту оба молчали, затем пожилой голос брезгливо сказал:

– Но сделайте же что-нибудь, чтобы он не подох, если считаете, что непременно должны довести его живым. Промойте рану, я не знаю, вколите что-то обеззараживающее! Что он валяется тут, как... падаль! Приведите, черт побери, его в чувство, Юргис, если вы так заинтересованы в том, чтобы его доставить.

Оба направились к трапу и, пока поднимались (капитан немолод, вновь отметил Леон уже по звуку шагов), продолжали негромко обсуждать ситуацию.

– Да, и позаботьтесь связаться с партнерами, – говорил капитан. – Боюсь, место встречи придется изменить, вопреки названию известного фильма. Передайте, что мы предпочитаем греческие воды. Греки – лентяи, патрульных катеров там практически нет, чего не скажешь про итальянцев, особенно в районе широты Мальты. Карабинеры там рыщут – дай боже...

– Ну дак африканов отлавливают...

Голоса удалились и стихли.

Но минут через десять спустился кто-то еще (шаги другие, моложе – *простодушнее*), и что-то полилось в миску или в тазик, затем на лицо Леона положили мокрую горячую тряпку – он чуть не задохнулся. Деловитые руки принялись смывать корку сохлой крови со лба и глаз, выжимать тряпку и вновь опрокидывать ее на лицо; горячие струйки затекали на шею и на грудь, хотелось ловить их губами. Кто-то,

насвистывая, драил его, как палубу. Что именно насвистывали, Леон не определил (от этого зависело, на каком языке обратиться).

Он и лежал пока, не открывая глаз и не двигаясь. Затем в руку ему довольно топорно всадили иглу, и молодой голос шепотом отметил по-русски:

– Порядочек!

Леон качнул головой (загудело, как ветер в проводах) и приоткрыл глаза.

Справа, в проеме отворенной двери винтом взбегал трап. Значит, все верно: он в дальнем закуте нижней палубы, в той запасной, крайне неудобной каюте, которую обычно используют вместо кладовки. Сейчас здесь были составлены вдоль стенки и свалены рулоны ковров, среди которых он на полу и валялся. Боком к нему стоял, насвистывая и складывая шприц в коробку, матрос – судя по фигуре, совсем молодой парень.

Леон сказал:

– Братишка... – и не узнал своего голоса, иссохшего, ржавого.

Матрос обернулся и уставился на Леона: жадное любопытство в совсем еще детских – как у Владки – *круглозеленых* глазах.

– Мне бы... отлить... – выговорил Леон, еле ворочая языком.

Тот молча бросился к двери, взвинтился по трапу и пропал. Но через минуту спустился с тем омерзительным типом, при виде которого Леон понял, кто его отделал, кто затем ножки об него тренировал, проверяя реакцию. И голос узнал – сочный, с ядовитой подливкой: *мистер Хайд*.

– Шо, сука... не сдох?

– Ноги развяжи, – прошелестел Леон. – И... в галюн. Я тут все обоссу.

– Я те щас хуй оторву, и ссать не понадобится.

– Как хочешь, – равнодушно выдохнул Леон. – Но запах же... такая яхта... шикарная.

И вот тогда над ним взметнулась нога, и ботинок саданул по лицу так, что череп взорвался фонтаном огня, а рот мгновенно заполнился фонтаном крови.

– О так будем, – удовлетворенно произнес над ним Юргис. – Так будем культурно беседовать.

Леон помедлил, выплюнул соленую жижу вместе с зубом, заметив, как мгновенно схлынула кровь с лица молодого матроса, как еще больше зазеленели и округлились его глаза. Подумал: паренек не в курсе; может, нанят на разовую ходку.

– Банку принеси, – велел Юргис матросу. – Пусть в банку ссыт, а там посмотрим.

...Через час его допрашивал капитан – тот, кто настоятельно требовал выкинуть его за борт. На войне как на войне. Сейчас Леону требовалось хоть приблизительно узнать, куда его везут и в чьи руки он будет передан. В разных группировках по-разному извлекали из пленных сведения, по-разному пытали. Сирийские исламисты из «Джабхат-ан-Нусра» или ребята из лагеря «Нахр аль-Барид» любили горячие методы допроса, что попроще: паяльник, кожу на лоскуты, и совсем уже просто: голодные крысы или подземный *зиндан* по пояс в нечистотах. В арсенале интеллектуалов «Хизбаллы» водились такие наркотики, от которых язык развязывался даже у трехдневного покойника. Но и те, и другие, и двадцать пятые обходились без полиграфа – к чему он? Старая добрая пытка всегда надежнее, чем эта правозащитная дребедень.

В перерывах между провалами тьмы он обдумал и наметил версию, наиболее приближенную к правде.

– Так кто же ты, любезный? Кто тебя послал?

Склонился и в ухо кричит – на всякий случай. Это правильно: надо усилить впечатление, что мозги у клиента выбиты вместе с барабанными перепонками.

Леон разлепил глаза с залитыми кровью белками: красиво поплыли вкось розовые удавы свернутых ковров, розовая койка, розовый иллюминатор...

Над ним сидел на корточках классический капитан яхты из английских детективов средней руки. На своих концертах и спектаклях Леон видывал множество подобных лиц: благородные залысины, пегая борода тихо струит перхоть, брезгливые складки язвенника навеки застряли в углах вялого рта, выговор «интеллигентного человека»... Какой-нибудь отставник с морским образованием. Этого первым делом следует перевести на «вы», поменять тональность общения.

– Я артист парижской «Опера Бастий», – вежливо, даже покорно прошамкал он. – Моя фамилия Этингер.

Отлично: седоватые брови полезли под фуражку.

– Это в консерватории учат приемчикам, которые мы имели честь наблюдать?

– Увлечение юности, – скромно пояснил Леон. – Восточные единоборства.

– Так-так. А пребывание в воде без акваланга чуть не десять минут, в течение которых вы прикончили человека, это...

– ...дыхалка оперного певца... – Говорить приходилось медленно, язык болезненно цеплялся за осколок выбитого зуба, слова взрывались на кончике пораненного языка. – И многолетний фридайвинг... увлечение юности...

– Я смотрю, у вас была бурная юность! В каком из тренировочных лагерей она протекала?

– В Одессе... Летний лагерь «Юный подводник», с пятого по десятый класс. Там же и яхт-клуб... – Он попытался повернуть голову, чтобы взглянуть капитану в глаза, и хрипло застонал. – Погуглите «Леон Этингер», «Ютьюб» откройте... Сбережете время.

Тот поднялся и молча ушел.

Вернулся через полчаса крайне, крайне озадаченный. Можно сказать, ошеломленный.

Спросил:

– Сидеть можете?

– Попробую.

– Костик, освободи ему ноги и... надо бы его одеть: майка там, какие-то штаны... Надеюсь, вы не сиганете за борт со связанными руками? Боюсь, даже вашей оперной дыхалки до берега не хватит.

Леон усмехнулся: сейчас его заветная мечта ограничивалась самостоятельным ползком до галюна. Значит, матроса звать Костик, значит, команда преимущественно русская, исключая того моряка-араба, с которым он перекинулся двумя словами, ну и, может, кого-то еще. *Самого* – в смысле, Крушевича – на яхте нет, иначе он бы уже появился.

Костик сбегал за ножницами, перерезал плотные слои липкой ленты, стал помогать Леону подняться – безуспешно: стены, потолок, пол, спираль трапа завертелись в вихре и обрушились на голову... Он застонал, повис на Костике – сильная боль в правом боку мешала вдохнуть. Значит, ребро сломано, а может, и два.

– Я... полежу, можно? У меня, видимо, сотрясение и... перелом ребер.

– Ну, лежите, лежите... Это Юргис над вами потрудился.

Капитан снял фуражку, вытер платком испарину на затылке, вновь фуражку водрузил.

– Мда, – сухо обронил он, – полистал я вашу артистическую жизнь. Голос изумительный. Даже в «Википедии» пишут: редчайший. «Мистер Сопрано» из рук принца Эдинбургского, лауреат, и солист, и черт-те что...

Бред какой-то! Я, признаться, в полном обалдении, маэстро: вы что натворили, а? Вы хоть понимаете, кого отправили на тот свет?

– Отлично понимаю, – проговорил Леон настолько твердо, насколько это позволяли разбитые губы, распухший язык и эхо в затылке от каждого вслух произнесенного слова. – Я избавил мир от последнего подонка. От растлителя и насильника невинных душ.

Наступила пауза, в которой только ровный рокот дизеля заполнял молчание.

– Что-что? – вежливо произнес капитан и даже головой помотал, будто воду из ушей вытряхивал. – Что за чепуха! Это что – «Риголетто»?

– Вы спросили, я ответил, – так же сухо отозвался Леон. – Да, я его преследовал. Я намеревался убить мерзавца Гюнтера Бонке и цели своей достиг. Больше ничего не скажу. Это – личное.

– Личное?! Вы понимаете, что с вами сделают буквально через несколько дней? Разминка Юргиса покажется детским утренником. Вас передадут в лапы настоящим профи, которые играют на всех инструментах: паяльник, иголки, вырезание ножичком по спине... вдувание в анус спецраствора, весьма неприятного... Вы, простите, идиот или кто?!

Леон отвернулся.

Эта пауза требовала большей длительности, но и переиграть было опасно.

Супец, прости за некоторые поправки к твоей биографии.

Наконец он перевел набухший кровью взгляд прямо в глаза капитана.

– У вас есть дочь? – спросил он.

– А при чем тут?.. У меня сын... и внучка четырнадцати лет.

– Прекрасно. Надеюсь, воображением вас бог не обидел? Тогда представьте, как вашей внучке зажимают лапой рот, затаскивают в комнату, дверь запирают, чтоб не вырвалась, и... ну, представили? – Он задышался от боли в боку, обрывал себя, чтобы сглотнуть сгустки кровавой слюны. – Только представить надо лицо именно внучки: зареванное, драгоценное – для вас. Вы внучку... любите? Как ее зовут – Настя, Маша... Леночка?..

Этот монолог не стоил Леону ни малейших артистических или психологических усилий: он столько раз мысленно представлял себе и проживал куда более страшную картину нападения на Айю в Рио, что никакой сука-полиграф его бы не смутил.

– Что, как? Дорогой подросток: прыщик на лбу, грудки нулевого размера...

– Ну, хватит! – передернув плечами, оборвал капитан. Видимо, с воображением у него все было в порядке. – Вы хотите сказать, что Гюнтер

Бонке... Послушайте, я его знаю года три и... плохо себе представляю... э-э... картину. Он был человек серьезный и... занятой. И о ком идет речь, черт побери? Не хотите же вы сказать, что у вас есть дочь четырнадцати лет!

– Речь о моей невесте, – тихо, с трудом выговорил Леон. – Она же – племянница этого мерзавца.

– Ах вон оно как... – протянул капитан. – Ну да, понимаю, понимаю... Ваши мужские чувства понимаю, но... Слушайте, вы не спутали оперу с жизнью? Вы же убили человека. Убили! Человека.

– Не человека, а преступника.

– Расскажите это суду: что он преступник, а вы – мститель на белом коне. Вернее... – Капитан опять достал платок и вытер лоб. – Вернее, к сожалению, не суду, а тем, кто не станет слушать ваше оперное либретто о погубленной девочке.

Он поднялся.

– Очень сожалею, Этингер. Вы, конечно, замечательный певец, но клинический идиот-ревнивец. Вот убитый вами Гюнтер Бонке был человеком недюжинного ума, пусть даже и побаловался в свое время вашей невестой. Не убил же он ее, черт вас возьми! Короче, боюсь, в скором времени ваши уникальные голосовые связки пригодятся для звуков, слух не ласкающих. Искренне желаю вам выползти живым из этого кошмара. А пока вон Костик – он у нас заведующий аптечкой – перевяжет вашу дурную голову и... ну, если там галюн по нужде – дотащит. Костик, понял?

По крайней мере, Юргис больше не упражнялся на его ребрах – наверное, капитан призвал старпома к сдержанности. Звали капитана Алексей Романович, был он, безусловно, приличным человеком – если за скобками оставить участие в плутониевых бегах. Поплавал в своей жизни немало, и не на таких элегантных шлюпочках, а на больших сухогрузах. Вышел в отставку, получил выгодное предложение, которым дорожил, и любые эксцессы на судне искоренял при первом дуновении опасности. На хорошо сыгранную простодушную просьбу Леона «сообщить моему оперному агенту о моем положении» (в случае безумного согласия дал бы *городской* телефон Джерри) капитан отпрянул и перекрестился:

– Нет, ну вы, извините, совсем не от мира сего, оперный мститель! Навалили делов, а теперь еще приглашаете Интерпол заглянуть на наше мирное частное судно?

Пожал плечами и ушел. И больше не показывался.

Надо думать, не он один пребывал в замешательстве. Неожиданная сценическая ипостась пойманного убийцы озадачивала, образ рассыпался: оперный хлюпик, *пидор писклявый*, на глазах яхтенного экипажа нейтрализовал двух охранников Гюнтера, а потом утащил в глубину и там прикончил его самого.

* * *

Двое суток Леон только воду пил, лежал на полу неподвижно, пытался заспать стреляющую в затылке боль и тягучее нытье в правом боку. На третьи сутки полегчало, зато усилилась волна, и навалилась мутная тошнота от постоянной качки в замкнутом пространстве. Ну что ж: «Кто в шторме не бывал, тот богу не молился...»

Мысленно он прикидывал маршрут, ибо уверен был, что везут его – вповалку с коврами – прямиком в Бейрут, к «Хизбалле».

Яхта шла на хорошей скорости узлов в пятнадцать. Если б самому пришлось идти на такой яхте, рассчитывая все параметры хода, оптимальным маршрутом был бы такой: от Портофино вдоль берега до Валетты по внутренним водам Италии – это примерно 760 миль, двое суток, – а дальше... Что там сказал капитан о месте какой-то «встречи» на... Мальте? Нет, он хотел перенести «встречу» куда-то в район греческих островов. Значит, от Валетты в Грецию пройти между Критом и материком, а потом Родос – Кипр – Ливан, примерно так...

В любом случае у него есть еще трое суток, не меньше, но и не больше: нет оснований думать, что, имея на борту, помимо опасных *плутониевых ковров*, столь неудобный груз, как избитый и связанный артист Парижской оперы, экипаж захочет остановиться и полюбоваться закатом или там искупаться в морской воде, дожидаясь любопытствующих стражей порядка... Нет, наверняка они будут шпарить пятеро суток без остановки – навигационные приборы позволяют ходить даже ночью на автопилоте. Да и автопилот не потребуется: у них на яхте людей достаточно, вряд ли Крушевич экономит на команде.

Раза два Юргис спускался подискутировать, и хотя у него явно чесались руки *пошевелить говнюка*, он просто описывал, пересыпая посулы смачным матом, что с Леоном сделают *знающие в этом толк ребята*.

– И тогда ты споешь им серенаду...

– Я требую, чтобы меня передали официальным властям, – Леон с трудом ворочал деревянным языком, – и сообщили в посольство Франции о...

В ответ Юргис заходился рассыпчатым девичьим хохотком.

– А это и есть официальные власти, – уверял, отсмеявшись и отирая слезы удовольствия. – Самые что ни на есть официальные в той местности, с во-от таковыми обрезам! Ты вышку получишь вполне официально. Но перед тем, обещаю, пидар: ты на полную катушку споешь им серенаду своего шопе-ена, поял?

– Шуберта, – поправил Леон, и за это в последний раз на данном этапе плавания был отправлен в нокаут.

Костик, в сущности, ничего не знал; Леон просчитал верно: тот был нанят на одну ходку. Три курса Херсонского медучилища, хороший мальчик, горячее желание помочь деньгами маме после скоропостижной смерти отца. Через брата хорошего знакомого нанялся куда-то сплавать недели на две и в Керчи, в портовой тошниловке, разговорился с приятелем Юргиса... Ну, а дальше все прекрасно сложилось: и денег тут предложили больше, и документы оформили без проблем. Заграницу опять же повидать охота: Италия, Лигурийское побережье – столько в мире красоты...

Капитана Алексея Романовича Костик побаивался и уважал; Юргиса боялся до смерти. Подкатываться к юноше с будущими деньгами было опасно: под давлением мальчик мог все и вывалить. Да он и не решился бы ни на что, Леон и не заикался – незачем губить пацана. Зато раза три добросердечный Костик шепотом ронял пару фраз – вообще, про обстановку. Как-то шепнул, что *из-за этого кипеша* поменялся маршрут: должны были идти на Мальту, а сейчас в Грецию идем, куда-то севернее Родоса. Там ковры перегрузят на другое судно.

– А что – ковры? – спросил Леон равнодушно. – Контрабанда, что ль? Такие ценные, чтоб следы замечать?

– Следы? – удивленно переспросил Костик, – замечать? Да ковры, я думаю, ни при чем. А если кого и замечать – только тебя.

И тут Леон вопреки здравому смыслу сделал опрометчивую попытку уговорить парня на *эсэмэску невесте*, но Костик даже отшатнулся и головой помотал; схлынула с лица краска, обнажив гречку веснушек на скулах.

– Ты что?! – крикнул шепотом. – Меня Юргис убьет. Дознается – и хана мне.

Потупился, проговорил, не поднимая глаз:

– Извини, у меня мать хвораёт, не стану я в эти игры затеваться. – И, подняв голову, укоризненно добавил: – Ну, и потом: ты ведь прикончил его, что, нет?

– Прикончил, – согласился Леон.

– Видишь, – вздохнув, сказал Костик. – Значит, все справедливо.

Тем еще он был эскулапом, но рану на голове промывал и дезинфицировал, наложил повязку и таскал на себе в галюн – за что ему немеркнущее спасибо на все оставшиеся дни. Дольше дней Леон не рассчитывал продержаться – учитывая ситуацию в нашем славном регионе...

К сожалению, он знал – в ужасающих подробностях, – что его ждет на различных этапах «дознания». К сожалению, отлично представлял себе весь преискурнт их фирменных «методов давления» – лучше было не думать.

К сожалению, он знал, что заговорит – говорят все. Вопрос в том – что говорить, и как говорить, и сколько будет работать версия раскаленного жениха-мстителя, после которой нужно будет сменить, вернее, обновить, и не единожды, арию: он собирался потаскать своих мучителей, насколько выдюжит, по лабиринтам нескольких легенд – как волк до последнего судорожного вдоха таскает на своей шкуре висящих на ней псов.

Ох, воистину – блаженны несведущие...

На четвертый день ближе к ночи дизель сбросил обороты до малой скорости в один-два узла, и яхта вошла в бухту – Леон слышал лязг якорной цепи и подвывание электрической лебедки. Значит, берег дикий, пришвартоваться негде, стоянка якорная...

После нескольких дней постоянного гула дизелей наступила тишина, лишь мелкая волна плескалась о борта.

Явился Костик, сменил повязку на голове, обронил сквозь зубы: островок-крохотулечка, Алимия – название, совсем пустынный: один колючий кустарник вокруг и развалины старых немецких казарм. Но бухта удобная, закрыта с трех сторон. Вот и все... Ждем встречи, сказал.

И часа через три к нему спустились двое – Юргис и матрос-араб, с которым Леон так приятно и полезно общался с лодки. Вновь его

мумифицировали: широкой лентой запеленали ноги, руки прижали к бокам и заклеили рот («Давай, шопен, прочти мне напоследок лекцию»). После чего, перекатывая по полу (в голове от виска к виску металась шаровая молния), завернули в ковер.

Задохнись, обреченно понял он. Зачем? Неужели эти идиоты ничего не хотят выколлотить из пленного... Но нет: оставили, трудяги, малый просвет меж лицом и слоями ковра, так что воздух, и без того ароматизированный каким-то мерзким средством от ковровой моли, скудно проникал в щель. Мука была мученическая: пыльное крошево забивало ноздри, в голове нарастал мерный прибой, перед закрытыми глазами возник и поплыл оранжевый диск...

Пяти минут этих дыхательных упражнений хватило, чтобы Леон потерял сознание.

* * *

Когда его вновь ослепила синева полуденного неба, он зажмурился от рези в глазах и жадными рывками, как собака, стал втягивать ноздрями соленый морской воздух. Потому не сразу увидел, кто над ним нависает, – что подарило еще несколько секунд пусть не надежды, но желания жить и дышать. Потом с его многодневной щетины и запекшихся губ с треском и болью отодрали клейкую ленту, он открыл глаза, и желание жить пропало: над ним, скалясь от ликующей ненависти, нависала физиономия восточного джинна с рассеченной бровью, так и сросшейся в изумлении. Жесткая, как надкрылья жука, черная челка придавала этому дикому лицу нелепо женское выражение.

Чедрик: телохранитель, прислуга, порученец, а отныне и черная вдова Гюнтера Бонке.

2

Самолет из Брюсселя опоздал минут на сорок, так что к выходу пассажиров Натан Калдман успел тютелька в тютельку. Завидев высокую круглоголовую фигуру в дверях багажного отделения, он молча махнул рукой и терпеливо ждал, пока Шаули проберется через объятую воздушными шарами толпу встречающих.

«Почему мы всегда так оголтело радуемся возвращению своих из-за

границы? – подумал Натан, – будто из опасных экспедиций или, не дай бог, из плена возвращаются. – И спохватился: – А ты – что? Ты-то как раз и встретил своего – из опаснейшей экспедиции».

У Шаули с собой была только небольшая сумка через плечо, и Натан в который раз восхитился: как тому удастся всегда быть налегке!

Еще минут пять ушло на то, чтобы отыскать на огромной крытой парковке старый Калдманов «BMW»... Наконец с территории аэропорта, похожей больше на апельсиновые плантации, они выехали в сторону Иерусалима.

– Ты голоден? – спросил Натан.

– Не настолько, чтобы сожрать твой пиджак, но перекусить непрочь.

– А я ужасно голоден, не помню, когда и ел по-человечески. Мечусь, как крыса, между *конторой*, мыльными мальчиками из МИДа, собственным сыном и обезумевшей Магдой... За последний месяц она похудела на восемь кило и превратилась в мощи. Не возражаешь, если заедем в Абу-Гош?

– А там по-прежнему хороши бараньи ребрышки?

– Не так, как раньше, но вполне съедобно.

Оба замолчали. Не стоит ему гнать так машину, подумал Шаули, с его-то сердцем. Но как это поделикатней сказать? В отличие от Кенаря, который лепил Натану все, что хотел, Шаули привык держать себя с Натаном довольно церемонно.

Им предстоял тяжелый разговор двух виноватых мужчин, и Натан чувствовал, как сопротивляется Шаули, как внутренне протестует против этой вины, как много бы отдал за то, чтобы живой-здоровый Леон распевался где-то там, в своем Париже, на своих подмостках – *не востребованный конторой и свободный*.

А больше всего мы хотим, чтобы все было кончено в ту или другую сторону, как это ни жестоко, подумал он. Ибо так всем будет легче. Всем... кроме Магды.

Свернув на Абу-Гош, большую арабскую деревню, широко и без всякого плана разбросанную по склонам холмов, они поехали главной асфальтированной улицей мимо теплиц, закусных, лавок и гаражей.

Как и любая арабская деревня, эта была застроена домами в причудливом местном стиле, сочетавшем венецианские окна и флорентийские галереи вторых этажей с куполами турецких бань и бетонными столбами, на которых строения выглядели грандиозными курятниками. Припарковались у одного из таких.

Сейчас здесь было пусто – будний день; но по субботам сюда наведывались гурманы даже из очень отдаленных мест. Ресторан этот лет тридцать держала одна семья, и посторонних тут не было даже на подхвате, даже на самой черной работе. Всем – и в кухне, и на террасе, и в трех залах – заправляли свои: старик с несметной ратью сыновей, племянников и внуков. Все поджарые, сноровистые, с узкими и смуглыми бровастыми лицами; все в белых рубашках и черных брюках. Потому что черкесы, Кавказ, мужчины... рассеянно отметил про себя Натан. Действительно, мусульманское население этой дружественной деревни, по преданию, имело черкесские корни, и потому здешние мужчины никогда не участвовали в боях против Израиля; наоборот, многие даже служили в армии и погибали за страну, и гордились боевыми заслугами и могилами сыновей на военных кладбищах.

За барной стойкой, облицованной иерусалимским камнем, посетителей встречал муж одной из младших дочерей старика-хозяина, видный черноусый мужчина с выправкой председателя адыгейского колхоза советских времен.

И Натан и Шаули тут бывали не раз, обоих хозяева знали в лицо, считая *какими-то шишками в МИДе*; так что, едва они поднялись по лестнице на второй этаж и показались в дверях застекленной террасы, из внутренних покоев дома был немедленно вызван глава клана, старый Али. Он поспешил к гостям с горделивой приветливой улыбкой и провел их в дальний, самый изукрашенный, сейчас совершенно свободный от гостей «свадебный» зал, где среди зеркал, хрусталя, позолоты, лепнины и прочего густого восточного *апофеоза красоты* стояли ряды простых деревянных столов без скатертей. Несмотря на раззолоченное великолепие обстановки, Али не терпел «всех этих американских глупостей». Стол должен быть чисто выскобленным – это раз. Второе: салфеток побольше, ибо местная кухня богата ароматным бараньим жиром – разве на него напасешься этих изысканных крахмальных тряпочек! Салфетки – самые простые, бумажные, в алюминиевых коробках с окошком – присутствовали в центре каждого стола: тyani, сколько потребуется.

Закуски тут не менялись со времен Войны за независимость и грешили некоторым избытком перца и уксуса, но хумус и бараньи ребрышки были просто божественны.

Когда парнишка, присланный их обслужить (хозяйский внук или внучатый племянник), был допрошен на предмет *что из мяса сегодня особенно удалось*, получил указания и испарился, Шаули еще с минуту

досказывал, как его дядя мариновал баранину: в вине, с розмарином и кумином. После чего, без всякого перехода, навалившись грудью на стол, подался к Натану и негромко сказал:

– К сожалению, на сегодня мне хвастаться нечем. Хотя, поверь, я вывернулся наизнанку и вывернул всех своих людей. Знаю только, что он все еще жив. Не представляю, что он им скормливает и на чем держится. Разве что арии свои поет...

Он аккуратно вытянул из плетеной корзинки нож и вилку, передал их Натану.

– Возможно, его *прилечивают* – там же врачей достаточно – с целью обмена или выкупа в будущем.

– Его перевозят с места на место, – буркнул Натан, принимая прибор. – Одно убежище мы засекли по прослушке: соблазнительно близко, деревня Хиама, несколько километров от Метулы. И в моей воспаленной башке сразу взыграл некий молниеносный план... Но в ту же ночь его уволокли в другую бетонированную дыру, и далеко – куда-то в район Ан-Наби Отман, в Бекаа. Их же там сотни, этих дыр. Чуть не под каждым домом и непременно под каждой мечетью: чтобы Аллах слышал стоны неверных... Нам еще повезло с этим их сирийским бардаком: в другое время Кенарь в считанные дни был бы в Иране, а это конец. – Он развел руками: – На глазах у всех прикончить не кого-нибудь, а координатора по связям КСИРа с «Хизбаллой» – это, я тебе скажу... На допросы к нему наверняка уже наведались спецы из Тегерана. Скорей всего, унюхали наш след.

– Не думаю, – возразил Шаули. – По почерку-то – след вовсе не наш. Не взрыв, не пуля... Смотри, ведь что он надумал, затейник: топить котенка. Кустарь-одиночка, одержимый мстостью. Уверен, он держится именно этой версии: личная месть – пылко, романтично, идиотски наивно... Разве это *наш* почерк? И потом: о нем же все можно прочитать в Интернете: всё – блеск и позолота, всё – на сцене, на виду. Французский певец, публичная персона...

Натан помолчал и сухо произнес:

– Вот именно. Можно подумать, ты цитируешь Нахума Шифа. Он мне так и заявил: французский певец, говорит...

Шаули раздраженно пожал плечами:

– Нахума можно понять: все было размечено по минутам, на Мальте *этих ковровиков* поджидали надроченные итальянцы. Но ковровики поменяли маршрут, потому что на борту был Кенарь... Разве не так?

Натан ничем не отозвался на это справедливое замечание. Только

с угрюмым ожесточением проговорил:

– Никогда не прощу себе, что втянул его в эту историю.

– Перестань! – мгновенно отозвался Шаули, будто ожидал именно этой фразы.

Паренек с тяжелым подносом в руках локтем приоткрыл дверь и втиснулся боком. На подносе – стеклянный кувшин с лимонной водой (ветка мяты колыхнется темно-зеленой водорослью), корзинка с питами и десяток фаянсовых плошек – в каждой горстка какой-нибудь закуски. Выставив в центр стола питы и тарелку с хумусом, парень симметрично расставил фаянсовые плошки, полюбовался морковно-свекольной мозаикой закусок и исчез.

Вот что здесь было чертовски удобным: никто не нырял тебе под руку – вытащить тарелку с недоеденным куском, никто не встревал посреди разговора с елейной улыбкой – *вкусно ли и все ли о'кей?* Деликатность и достоинство Кавказа, вновь подумал Натан. Слишком часто весьма занятые люди встречались здесь за напряженной и трудной беседой.

Среди закусок две-три были вопиюще острыми, и Натан, который за десятки лет так и не смог пристраститься к местной пище, инстинктивно подвинул их к Шаули: тот в еде был настоящим огнепоклонником.

А вот питы здесь пекли сами – поджаристые и легкие, прямо с лопаты, они еще дышали живым огнем, и Натан, оторвав и отправив в рот кусок, обжегся, задышал рывками, остужая во рту хлеб.

– Он у меня, знаешь, прямо перед глазами – в тот день, в венском кафе, – сумрачно продолжал он. – Такой элегантный, с ума сойти, в неброском дорогом костюме, зубы – жемчуг. И эти руки артиста, глаз не оторвать! Помню, подумал: мальчик в зените благополучия, стоит ли его тревожить. А как Магда кричала, боже, когда я проговорился, что еду к нему на встречу! «Вы оставите его в покое!» Чуяла, наверно...

– Перестань, – упрямо повторил Шаули, хотя губы его на мгновение сжались, а к горлу подкатила волна желчи. – Ты и отпустил его, когда...

– ...когда он добыл нам «Казаха», – кивнул Натан. – И не отпустил, а вышвырнул вон. Еще и пригрозил – из-за той глухой девочки. Где она, кстати?

– Понятия не имею. Как сквозь землю провалилась. Согласись, после неудачи в Портофино группе было не до возлюбленной Кенаря – особенно когда они поняли, что сам он – на этой проклятой яхте и невозможно ни ликвидировать ее, ни перехватить. Но вот что интересно...

Шаули вытянул из жестяной коробочки салфетку и стал протирать ею

вилку и нож – давняя самолетно-железнодорожная привычка вечно странствующего человека, брезгливого по натуре. Если бы это увидел Али, он бы умер от оскорбления.

– ...Интересно вот что: то его электронное письмо, полученное по условленному адресу и так грамотно отправленное бог весть откуда, – подробное, с анализом ситуации, с описанием и уточнением места, с разъяснением насчет плутония и способа его доставки в полых металлических штангах, с идентификацией исчезнувшего Виная с Гюнтером Бонке... Кем оно было послано? Кем, если не той глухой девушкой? Неужели он посвятил ее в суть операции? Кенарь?! Ни за что не поверю.

– Она оставалась единственной, кто был рядом, – сухо возразил Натан. – Мы позаботились о том, чтобы изолировать его полностью, отстранить, отсечь, вынести за скобки... А он опять оказался лучшим.

– Он оказался самонадеянным фраером и провалил всю операцию! – раздраженно напомнил Шаули.

– Он опять оказался первым, – упрямо повторил Натан, – хотя и да: безоглядным и безрассудным.

Принесли ребрышки в облаке румяного пара – пиршество, достойное молчаливого наслаждения, – и Шаули набросился на еду.

– Ешь! – он кивнул на блюдо. – Ты же хотел есть!

Натан смотрел, как Шаули выгрызает мякоть из излучины кости. Ел тот по-настоящему, без этих ресторанных глупостей: просто взявшись рукой за косточку, так что по пальцам потекли прозрачные капли горячего жира... Проголодался парень. Знамо, чем кормят в этих самолетах...

– Я забыл поблагодарить тебя за то, что откликнулся и приехал, – вновь заговорил Натан. – Понимаю, чего тебе это стоило. Бьюсь тут один против всех. Кенарь – уже не наша проблема, говорит Нахум. «Посмотри в “Википедию”»: его биография не включает такого факта, как израильское гражданство». И бесполезно напоминать обстоятельства, при которых они его отлучили, да и кому напоминать: столько лет прошло после ухода Гедальи, в комитете уже все по-другому, вокруг меня совершенно другие люди. Не стану спорить: жесткие, устремленные, башковитые. Но... они *другие*, понимаешь, – не в том банальном смысле, что смена поколений, а во всем другие: иная эпоха, новая *тачскрин-цивилизация*.

– Это ты к тому, – наклонясь над тарелкой, чтобы не забрызгать жиром рубашку, промычал Шаули, – что романтические времена «Энтеббе» миновали безвозвратно?

– Для них Кенаря будто не было... – не слыша его, продолжал Натан. –

Он в одиночку уничтожил разработчика и куратора чуть не всех терактов КСИРа и «Хизбаллы», совершенных за последние годы по всему миру, а они делают вид, что ничего не произошло.

Шаули уклонился от комментария – мол, благодаря все тому же блистательному Кенарю в руки врагов попал столь необходимый им плутоний... Бросил на тарелку добросовестно обглоданную кость последнего ребрышка, не торопясь вытянул целую пачку салфеток, стал тщательно вытирать каждый палец... Долго молчал, возвращаясь то к одному пальцу, то к другому, что-то там подтирая и полируя салфеткой ногти. Наконец спросил:

– А что с той иранской шишкой, с генералом Махдави, он ведь дядя нашего знатного уопленника? Генерал-то нами наверняка выпотрошен, теперь можно и поторговаться...

– Это первое, что пришло мне в голову! – горячо перебил Натан. – Махдави – отыгранная карта. Зачем он нам? Он все выложил. Кормить его оставшиеся тридцать лет? Конечно, поднимется скандал, когда он соберет первую же пресс-конференцию в Тегеране или где там – в Женеве... Но мало ли какой дипломатический хай мы переживали. Вспомни хотя бы Дубай... О Махдави я сразу подумал. И знаешь, что сказал на это Нахум? Мол, ни персы, ни «Хизбалла» на такой обмен не пойдут, потому что и для них генерал Бахрам Махдави – отыгранная карта. Скорее всего, в придачу к Махдави они потребуют много такого, на что никто *в конторе* и в правительстве не пойдет. Если б Гюнтер Бонке был жив, мы бы еще рассчитывали на его родственные чувства к дяде. Но Кенарь, как известно, пленных не берет... К тому же ясно, что мы никак не можем фигурировать в кадре, если только... – он тоскливо вздохнул, – ...если только из Кенаря уже не выжгли всей его биографии. А потому, во-первых, спасибо тебе, что приехал...

– Во-первых, ты забыл, что Кенарь и мой друг тоже, – перебил Шаули. На его гладко выбритых щеках все еще лоснился жир от бараньего мяса. – Он – мой друг, что бы ни выкинул и как бы далеко мы с ним ни разбежались. И когда я говорю тебе, что после твоего звонка вывернул наизнанку все и всех, я говорю чистую правду. Я задействовал даже Леопольда, хотя это было рискованно: с чего бы мне, его партнеру, богатому иранскому еврею, владельцу сети крупных ковровых предприятий, беспокоиться о каком-то романтическом дураке, якобы племяннике давнего друга, который полез мстить по дурацкой любви... ну и так далее... С чего бы мне обращаться к нему за помощью, если я *не подозреваю* его в связях с DGSE? Но я пошел на этот риск, пошел,

не зная, что́ на сегодняшний день спецы из «Хизбаллы» успели вырезать и выжечь из Кенаря... Больше я не могу рисковать: Леопольд – бесценный агент, мое сокровище, мое главное достояние...

– ...подаренное тебе, если не ошибаюсь, тем же Кенарем, – вкрадчиво дополнил Натан. И оба надолго замолчали.

Шаули провел рукой по подбородку, спохватился и принялся так же маниакально полировать салфетками свои детские ямочки, благодаря которым его улыбка выглядела столь безоружно-наивной.

Внезапно грянул над холмами нутряной тягучий зов муэдзина, и сразу ему отозвались несколько других – более высоких, напряженных голосов. Минуты две они плыли в воздухе над деревней, переливаясь и скользя, как водяные змеи, пока так же внезапно не оборвались.

– Вот эта их новая мечеть, – спросил Натан, кивая в панорамное окно на склон горы, где круглый купол целился в небо четырьмя тонкими круглыми минаретами, увенчанными тускло-золотыми конусами-колпачками. – В ней что-то есть, а?

– Я бы предпочел другие виды у себя на родине, – уклончиво заметил Шаули.

– Это ты зря. Черкесы никогда не были нам врагами. Возьми хотя бы здешних христиан: аббатство крестоносцев Эммауса и церковь Ковчега Завета – они прекрасно тут существуют, и никто их не обижает. Ты бывал на их музыкальных фестивалях?

– Не пришлось...

Натан помолчал и сказал:

– Леон мечтал когда-нибудь спеть в аббатстве. Там прекрасный по акустике молитвенный зал, фрески великолепные... Говорил: «Это будет моим возвращением в Иерусалим».

– Почему ты о нем – в прошедшем времени?! – вскипел Шаули, и это его восклицание на минуту словно бы приоткрыло клапан над неторопливой спокойной беседой двух мужчин, клапан, в который немедленно хлынула струя боли.

Натан невозмутимо ответил:

– Потому что я – старый хрен и не слишком надеюсь когда-нибудь его увидеть. Не обращай внимания. Я о чем: эту нарядную мечеть, мечту Али-Бабы, – он кивнул за окно, – вроде бы построил российский чеченский босс. Это правда?

– В общем, да...

– Я все думаю о нашем деле, о возможных путях... Например,

о России, где джихад расцветает и колосится, где салафиты снюхались с мафией так, что внутри России уже существует их собственная, параллельная экономика, и не примитивный бандитский рэкет, а – высокая честь! – *закят*^[66] на нужды джихада... Не подумать ли об этом? Джихад сегодня – всюду: вчера парни воевали в Афганистане, сегодня в Сирии, завтра в Ираке... И всюду слышна русская речь – как на той съемке, помнишь, где сирийские бандиты отрезают голову католическому священнику? Наемники, им все равно, где и кого убивать. Уверен, что и Кенарь *там* слышит русскую речь... Так о чем я: не попытаться ли аккуратно прощупать выход на русскую мафию – уж они-то знают, как говорить *со своими*.

– Оставь бандитов в покое, – проговорил Шаули, смяв очередную бумажную салфетку и бросив ее в плетеную корзинку. – Ничего хорошего из этого еще не выходило. Не марайся перед пенсией...

Он уже был сыт, но напоследок отщипнул и отправил в рот еще кусочек питы – теплый, не удержаться. Задумчиво проговорил:

– Если хочешь моего мнения: попытайся действовать по внутренним каналам. Здесь, дома. Тихо, неторопливо, не ломая дров... Что, мало у нас *своих*? Протряси как следует Хайфу – там целый винегрет из полезных и штучных людей! Возьми бахаев, ахмадитов – это ж всё *хабадники мусульманского мира*, святые неформалы: с одной стороны, на них *харам*^[67] из самой Саудии, с другой стороны – они весьма влиятельны по всему миру, и ребята вполне вменяемые. Да и у друзов родственные связи в Ливане.

Шаули оторвал взгляд от минаретов, наведенных с земли, как ракеты, и перевел его на Калдмана, за чьей сутулой спиной в золоченых рамах висела парочка истошных пейзажей: зеленые водопады, желтые скалы, красный леопард на дереве. Над гранитной лысиной Натана шевелила подвесками театрально тяжелая бронзовая люстра.

– В конце концов, выйди на наших черкесов! Именно: обратиться к черкесской знати.

Подобрав с тарелки баранью косточку, Шаули рассеянно покрутил ее, как бы рассматривая, не осталось ли там кусочка мяса, бросил назад в тарелку и, внезапно вспомнив что-то, спросил:

– Кстати, как там Зара?

– Зара – пожилой человек, – отмахнулся Натан. – Она старше меня! Знаешь, где она сейчас? В уютном таком недешевом местечке, между Рош-Пиной и Цфатом. Такой... санаторий, что ли. Очень респектабельное

место. Зара там – заведующая спа, мы организовали ей эту должность, она заслужила.

Заслужила, подумал Шаули, понимающе усмехнувшись.

После пяти-то лет зверских пыток под управлением следователей из палестинского «Отряда 17», при участии «специалистов» из КГБ и Штази... И все это – в крошечной пещере где-то под Сидоном. Пять лет! Впрочем, это было давно... Заслужила, да.

– Напомни, когда ее обменяли? – спросил он.

– В восьмидесятом, на Кипре, при участии Красного Креста. – Натан оживился: – Что ты, ради Зары мы жили рвали! В те времена израильские разведчики стоили недорого: мы сторговались на двух палестинских ублюдках, приговоренных к пожизненному за очередной взорванный школьный автобус. Сейчас за такого агента... да что там – даже за ее тело! – мы заплатили бы тысчонкой отпетых убийц. Все дорожает, включая покойников.

– Почему сирийцы не повесили ее, как Эли Коэна? – невозмутимо осведомился Шаули.

Натан улыбнулся:

– Потому, что она была черкешенкой, а не проклятой еврейкой; черкешенкой, с очень богатой и знатной родней... А мировой террор уже тогда учился торговать. И научился: одна только «Аль-Каида» с 2008 года по сегодняшний день выручила за пленных иностранцев кругленькую сумму: сто двадцать пять миллионов долларов. Восток всегда славился своими базарами...

Натан потянулся к кувшину и налил себе воды. Веточка мяты скользнула в его стакан и свернулась на дне темно-зеленой змейкой.

– Дело прошлое... Нет, Зара молодцом: прическа, статья, хорошая косметика. Руки только... похлеще моих. Знаешь, нежная женская кожа. Ну, ничего, она ходит в перчатках, это ведь может быть любая кожная болезнь, неприятная для красивой женщины, не так ли? А Зара до сих пор царственно красива. Главное, у нее нет чувства, что она списана по возрасту. Она не в мусорной корзине.

Натан задумался, уставясь на опустевшие плоскости из-под закусок. Перед его глазами возникло скульптурно прекрасное лицо молодой Зары – еще до всего, до всего... Чем-то она была похожа на молодую Магду, но, конечно, гораздо красивей. Магда никогда красавицей не была – другим брала: умом, страстностью...

Он постарел, думал Шаули, как-то стремительно сдал за последние месяцы. И конечно, ему уже пора высаживать кактусы в своей знаменитой

оранжерее. Вот что важно: почувствовать, когда ты устал, и не ждать той минуты, когда тебя попросят *выйти на ближайшей остановке*. Когда тебя *сопровождают в мусорную корзину*.

– Знаешь, а ведь ты прав! – Натан будто бы очнулся и перевел на Шаули такой пронизательный и настойчивый взгляд, что тот внутренне напрягся – уж не прочитал ли Натан его мыслей. – Ты прав: съезжу-ка я завтра к Заре, посоветуюсь. У нее ведь и в самом деле богатейшая родня во Франции, в Австрии. Кто-то там из племянников по дипломатической линии... А ты тоже: проветри кое-какие свои знакомства. Глянь, кто сейчас в силе из *наших мусульман*. И еще: я понимаю, что с Леопольдом у тебя крайне деликатные отношения, понимаю всю сложность твоей ситуации, но... – Он положил обе руки на стол, и стало заметно, как подрагивают его пальцы, как подозрительно блеснули глаза из-под тяжелых век. – Было бы здорово, если б французы *взяли Кенаря на себя*. Видишь ли, сынок...

Он помедлил и со спокойной горечью подытожил:

– Мне кажется, в этом деле мы с тобой остались совсем одни.

3

Они были не одни.

Второй месяц Айя металась по Европе в попытках достучаться, доползти, *доцарапаться хотя бы до намека* – с той минуты, когда осознала, что Леон не умер, а просто... исчез.

Миновали первые безумные дни, когда она пересаживалась с самолета на самолет, часами болтаясь в белесых небесах, прикинув к иллюминатору, прожигаемому солнцем или заливаемому потоками дождя, будто гналась за Леоном на самой высокой скорости, какую только можно развить; будто надеялась настигнуть и вытащить его, увязшего в мертвенной ледяной трясине.

В Вене, стравив очередной гостиничный завтрак, она наконец задумалась, нашла по Интернету ближайший кабинет женского врача и, пробыв там десять минут, вышла другим человеком. С таким выражением лица покидают кабинет адвоката, огласившего завещание; так выглядит человек, минуту назад узнавший о полученном наследстве – хлопотном, трудном... прекрасном! Ей и оставили наследство.

В тот самый миг, когда в движении губ немолодого и утомленного гинеколога (будто на прием он явился после ночной смены в клинике) Айя

разобрала количество недель (*vier Wochen*^[68], моя дорогая *фрау*), в самой глубине ее существа был остановлен заполошный бег, прекращена истерика, задавлен страх. И воскресшая надежда, проклюнувшись, стала расти вровень с крошечным ростком в ее утробе: будто новая *общая их жизнь* решительно и безоговорочно отменила смерть Леона.

– Вам надо нормально питаться, – сказал врач. – Судя по бледности, у вас низкий гемоглобин. И весу чуть-чуть набрать не помешало бы...

Она вошла в ближайшее кафе, заказала рыбу и салат и все деловито съела до последней крошки. Ужасно хотелось кофе, но она опомнилась и торжественно попросила травяного чаю. Прижала к напряженному животу ладонь, тихонько сказала:

– Слушай, ты... Сиди-ка ты тихо, ладно? И жри побольше. Нам нужно чуть-чуть набрать весу...

Вернувшись в отель, собралась, расплатилась чудесной карточкой Леона, которая никак не скудела, и, купив билет до Генуи, бесстрашно прибыла в Рапалло, где немедленно пошла на приступ полиции.

Кое-чему она все же у Леона выучилась: легенда была слабенькой, но вполне съедобной.

Тогда-то и тогда-то она путешествовала здесь с возлюбленным, который в один ужасный день (двадцать третьего апреля, если быть совсем точной) от нее сбежал. Испарился. То есть она уверена, что этот мерзавец сбежал, но, услышав в аэропорту неприятный рассказ одного туриста об утопленнике, которого прибило к берегу, хочет теперь удостовериться и определиться: проклинать ей изменщика или оплакивать безвременно ушедшего.

Карабинеры все были очень живые, галантные и даже веселые – одним словом, итальянцы. Делали комплименты, ахали, подмигивали, ободряли, заранее соболезновали. Гоняли ее из кабинета в кабинет, предлагали кофе, щелкали клавишами, качали головами... Она была терпелива и скорбна. В одном из кабинетов наконец повезло.

Да, синьорина: если вашего возлюбленного звали Гюнтер Бонке, то... примите, так сказать, наши...

– Как?! – спросила она побелевшими губами.

– Впрочем, вряд ли: он ведь не был туристом, здесь жила семья его отца... минутку... вот: отца, Фридриха Бонке, который, в свою очередь... – Тут в комнату заглянул еще один полицейский, и тот, что занимался запросом Айи, окликнул его, откинулся в кресле, чуть крутнулся туда-сюда

и сказал: – Бруно, помнишь жуткую историю в апреле, когда отец того утопленника ехал на опознание и вместе с женой сверзился в автомобиле со скалы?

– Жуть! – Бруно закатил глаза и исчез за дверью.

– Вот... – развел руками полицейский. – А других утопленников у нас в апреле не было: не сезон. Боюсь, этот... э-э... – он сверился с компьютером, – ...Гюнтер Бонке никак не мог быть вашим... э-э... партнером.

– Да, – сказала она после некоторой паузы. И твердо повторила: – Да. Именно так.

Потом долго стояла у парапета набережной, глядя, как по жаркой синеве яркими бабочками скользят паруса яхт, жадно глотала текущий соленый бриз и, не обращая ни малейшего внимания на голоногую и голоплечую толпу, опасливо ее огибавшую, тихонько скулила:

– Где ты?! Где ты... Где ты-и-и-и...

* * *

Филиппа Гишара она разыскала довольно быстро. В вещах Леона оказалась записная книжка, практически чистая, но за кожаной обложкой хранилась целая пачка визитных карточек: музыкальный, журналистский и артистический мир Парижа, вплоть до разных «Опера Онлайн», «Опера для всех» и «Общества любителей оперы».

Ну, и кое-что еще: визитка модного дизайнера (странно: Леон всегда за пять минут покупал себе шмотки, правда, в дорогих магазинах), модного парикмахера (тем более странно: он чуть ли не постоянно сам брил себе голову) и цветная россыпь ресторанных карточек, какие обычно сопровождают поданный счет. Дико предположить, что Леон, с его блестящей памятью, не помнил адреса своего импресарио Филиппа Гишара... или адреса бессменного аккомпаниатора Роберта Бермана. Тем не менее обе визитки присутствовали.

Все это требовало обдумывания: она уже понимала, что Леон никогда ничего не делал «просто так».

В сотый, что ли, раз достала она из кармана джинсов его письмо – опять потрепанное: уже дважды распечатывала копию. Знала его наизусть: «Супец, ну и здорова же ты дрыхнуть...» – но извлекала и перечитывала едва ли не ежедневно, словно за то время, пока она спала, там могла

добавиться строчка-другая. Вновь пробежала глазами указания, все, что связано с отъездом из Портофино, и – понятно, не соваться в Париж (а с чего бы это?), и – ясно, действовать, как привыкла (но зачем, если ныне ни Гюнтера, ни Фридриха нет в живых?). Банковская карточка – она и вправду держала Айю на плаву; «поезжай к отцу» – поеду, когда совсем сдамся... Но вот эта идиотская приписка насчет соджу – к чему она? В скупом и очень важном *последнем* письме он приписывает ничего не значащее, игривое:

«И помни: в Лондоне нас ждет целая бутылка собственного соджу, на которую никто, кроме нас, покуситься не смеет!»

Никто, кроме нас, покуситься не смеет? А вот это мы проверим...

Назавтра к вечеру она уже выходила из поезда на перрон вокзала Сент-Панкрас.

Куда бы ее ни заносило, она по старой привычке предпочитала не оставаться ночевать, даже если к ночи падала с ног от усталости. Ехала в аэропорт или на вокзал, покупала билет на ближайший рейс – и засыпала в кресле, обморочно откинув голову, под стук колес или гул самолетных двигателей.

Легче всего на душе бывало утром, на выходе из вагона или салона самолета. Всегда казалось: сегодня обязательно узнаю что-то важное, сегодня он даст о себе знать... И пускалась по адресам, намеченным в списке. Так, она наведалась к Шарлотте и Марку. Вокруг замка бушевал зеленый хаос листвы, хотя травы на газоне для ослика по-прежнему не хватало, и случайные гости по-прежнему скармливали ему оставшийся после завтрака шоколад.

В благостно летнем Кембридже по берегам реки цвета темного пива все так же расстилались луга (лютики, дикая герань, белые метелки тмина), над которыми духовито пахло диким чесноком, зудели комары и летали встревоженные чибисы.

Айя решила даже побеспокоить старые кальсоны, наверняка висящие над чугунной плитой, но рассеянный хозяин дома ее попросту не узнал, хотя вполне приветливо отвечал на вопросы:

– Леон Этингер? Да-да, и что же? Он так и не ответил на наше предложение...

Никто понятия не имел, никто не видел, никто не получал никакой вести.

– Вероятно, он на гастролях... в Америке? В Австралии? В Новой Зеландии? Он ведь много концертирует...

При виде ее исхудалого лица, нервно жестикулирующих рук, всклокоченной головы люди недоумевали и отводили глаза – возможно, подозревая, что несчастный Леон находится в бегах по окончании неудачной интрижки с этой ободранной кошкой.

К ночи день угасал, и город, куда она мчалась с такой надеждой, город со всеми его веселыми, занятыми, озабоченными, влюбленными, энергичными людьми становился омерзительным и *отстойным*...

* * *

Вечерний летний Лондон был прекрасен: нежно-зеленое яблочное небо медленно таяло над возбужденной вечнотекучей толпой. В этот день от Мраморной арки до Вестминстерского аббатства гулял традиционный гей-парад – *Pride London*, и разукрашенные, полуголые, в цветных париках группки его участников все еще попадались на улицах, и на них все еще пялились обалделые туристы. На Трафальгарской площади как раз в эти часы закрывал и развозил свои палатки кулинарный фестиваль, но духовой оркестр еще наяривал как заведенный, сообщая энергичный ритм увлеченной драке двух девиц с плечами и спинами, радужными от наколок.

Лондон – краснокирпичный, красноавтобусный, с красными телефонными будками – по-прежнему являл собой грандиозный театр – ее, Айи, любимый театр, хранилище бесконечных *рассказов*... У нее даже что-то дрогнуло внутри: не пробыть ли здесь дня два-три, в том уютном пансионе, где они останавливались с Леоном?

Но тут же в памяти возникла и все собой заслонила зловещая и одновременно покорная фигура Чедрика, всегда внушавшая ей ужас: где он сейчас? К кому пристроился? И – боже ты мой – при ком теперь существует Большая Берта?

Айя не занялась еще *разбором этого своего рундука*, еще не подпускала себя к мыслям о гибели Фридриха и Елены, инстинктивно чувствуя невыносимую тяжесть этого груза, понимая, что не может, не должна сейчас нагружать свой хрупкий ялик, несущийся к другой цели.

Любые тревожные, страшные и смутные мысли она яростно отметала, тотчас вызывая в воображении заветный мускулистый мешочек, в котором зреет их с Леоном жемчужина. Это и было средоточие ее бродячей жизни: удобная для перевозки котомка с драгоценностью, еще незаметная

окружающим, таскать пока легко, совсем легко; а позже... позже она найдет Леона. Все остальные мысли были всего лишь размытым фоном, на котором больно сияла ее ослепительная беда: исчезновение Леона.

Они и всплывали, эти мысли, как нечто постороннее; собственно, Айя сразу же их отгоняла, как отгоняют услышанные на улице разговоры случайных прохожих: все это чужое, и так далеко, и не имеет отношения к твоей непомерной заботе – например, к тягучей истоме внизу живота, где требовательно и нежно всплескивает хвостом золотая рыбка.

От вокзала Сент-Панкрас она села на голубую линию метро и с одной пересадкой минут за восемь добралась до Шарлотт-стрит – рукой подать.

Будто вчера только они искали, где «перехватить по-быстрому», а попали в чудесный ресторанчик с факиром-возжигателем супов («Как твой супец?» «Мировецкий!»), где на веки вечные она обзавелась семейной кличкой.

Время было вечернее, летнее, людное... ресторан распырало от посетителей, во внутреннем дворике сизой пеленой висел сигаретный дым и разносился гогот; барная стойка обсижена, как голубятня. Это хорошо, в планы Айи не входило привлекать к себе внимание. Когда некая пара, рассчитавшись, сползла с высоких табуретов, Айя протиснулась к стойке и, уперев грудь в надраенный медный поручень, а взгляд – в бармена, громко и четко произнесла имя в такт колотящемуся сердцу. Он обернулся к полке за спиной, пробежал глазами ряд бутылей и пожал плечами:

– Все выпито, мисс. Что вам предложить?

– Кем?! – крикнула она, сверля его исступленными глазами.

Он вновь пожал плечами и уже открывал-наливал-подтирал, принимал и выдавал заказы, крутил вентиль крана, подхватывал и брякал на стойку... совершал двадцать действий в секунду. Все это ей было знакомо по собственной прошлой жизни.

– Кем выпито?! – умоляюще крикнула она. Слева ее подпихивала уже набравшаяся девица, справа какой-то тип стучал по стойке кружкой, пытаясь привлечь внимание бармена. Айя плыла в оглушительной немоте многолюдства, пытаясь выпрыгнуть из нее, вновь завладеть вниманием парня. – Вы можете вспомнить, кто это был?

– Наверняка тот, чье имя написано на бутылки, мисс...

Он был поразительно вежлив, этот азиат, в этой требовательной толпе; все-таки они замечательно воспитаны и очень выдержанны.

Ей дико захотелось выпить, как в старые добрые времена: хорошую пинту коричневого портера... Но она попросила бокал пепси-колы, отошла,

села за неудобный и потому незанятый столик чуть ли не на ступеньке у дверей и сидела там до закрытия. Наконец посетители стали рассеиваться... Опустел дворик, и небольшое помещение ресторана будто раздалось, стало свободней – люди стремились наружу, в теплую оживленную ночь, в следующий бар, паб, ночное варьете... Вот последняя компания, громко поддевая друг друга, вывалилась из дверей под крики одной из девиц: «Джейми, ухажу в отрыв!»...

Высокий рослый азиат с толстой косой, тот, что готовил ей огненный чудо-суп, вышел из кухни и стал вытирать столы, переворачивать стулья и драить загаженный пол.

Тогда Айя поднялась, подошла и поставила на стойку пустой бокал.

– Вы меня не помните? – спросила.

Он вежливо покачал головой.

– Мы были здесь с моим... парнем месяца два назад. И купили бутылку соджу. Она была почти полная...

– Мэм, – устало сказал он, – очень сожалею, но у меня перед глазами за день проходит уйма народу.

– Вы приготовили отличный супец... Послушайте! Целая бутылка соджу – куда она могла деться? Кто ее выпил?

– Должно быть, не в мою смену.

– А кто, кто был вместо вас?! – в отчаянии крикнула она. – Как мне с ним связаться?

– Понятия не имею. Его уволили неделю назад... Он подворовывал.

И от этой вполне человеческой реплики – «он подворовывал» – Айя сразу всему поверила. И сникла:

– Вы хотите сказать, что он мог угощать из нашей бутылки знакомых, прохожих и всех желающих... или сам все вылакал?

– Вот этого не знаю. И не думаю: слишком рискованно. Прошу меня извинить, мэм, я должен убирать, мы закрылись...

Эта опустошенная кем-то бутылка сводила ее с ума, швыряла от отчаянной надежды к полной безнадее. Что это – невероятное совпадение? – спрашивала она себя, выйдя на оживленную, элегантную, безразличную к ее беде Шарлотт-стрит. Навстречу ей шла изумительно красивая, гигантского роста негритянка с целой упряжкой абрикосовых пуделей... Как же это?! Именно наша бутылка, «на которую никто покуситься не смеет»?! Нечистый на руку обалдуй втихую пользуется выпивкой и непременно из этой вот сироты-бутылки?!

Она была голодна, измучена, подавлена... Леон, черт тебя возьми,

умоляла вслух, чуть не шатаясь от усталости, для чего ты погнал меня сюда, Леон? Чтоб я не смела поверить, что тебя больше нет?

Вровень с ней медленно тащилось свободное такси. Но, верная себе, Леону и бог знает какому кодексу беглецов, она пропустила этот пригласительный экипаж и долго еще ловила следующую машину.

Между тем произошла обычная осечка, досадный диссонанс, нечаянно прихваченная фальшивая нота. Нащупывая внутренним слухом гармонические сочетания и ходы, Леон предчувствовал многие события, но предвидеть это нелепое совпадение – изгнание вороватого бармена на другой же день после налета Кнопки Лю на закрома корейского ресторана – он не мог.

И положив руку на сердце: вся эта дикая Леонова затея была, в сущности, артистическим экспромтом, одним из тех «маячков», которыми он метил территорию своей жизни. (Экспромты редко срабатывают на пользу дела, укорял его шеф.) Да и Кнопка Лю, хоть выпивку и уважал, но – домосед и закоренелый парижанин, вряд ли сподвигся бы рвануть в Лондон ради какой-то там бутылки... Он и Леопольду сказал:

– Вот стоит у меня перед глазами мой Тру-ля-ля, у фонтана, ну, где мы встретились в последний раз. На днях даже снился: улыбается и говорит мне, ну, это... ну, насчет корейского бухла аж в Лондоне... Поверишь: каждую ночь просыпаюсь и думаю: да етти твою, что ты хочешь от меня, а?! Чтоб я сдох, если потрачусь на эту аферу. Деньги-то какие: билет на поезд, то, се... За-ради чего?

И тогда Леопольд, щедрая душа, достал портмоне и слегка украсил жизнь бывшего марксиста, подтвердив тезис насчет бытия, которое, как ни крути, все ж таки определяет сознание...

* * *

...Вернее, все было чуть-чуть иначе: они давно не виделись, а Леопольд, такая радость, свалился на голову без предупреждения. Просто возник рядом с грузовичком Шарло – обычное воскресенье на «Монтрё», и Кнопка Лю торчал там с самого утра в поддержку своему троцкисту. Не передать, как он обрадовался Леопольду, – шутка ли, сколько не видались! Шутка ли, в какой дали от Парижа прозябал Леопольд столько лет! (На самом деле Леопольд довольно часто навещался в Париж,

просто не всё и не всегда Кнопке Лю положено было знать.)

Некоторое время они вместе бродили от прилавка к прилавку, перебирали барахло на столиках, присаживались на корточки перед расстеленными на земле газетами, споря о том и о сем, как в былые славные времена... Леопольд выудил из бросовой кучи тряпья у какого-то пакистанца винтажную куклу: Германия, прошлый век, прелестная фарфоровая головка, натуральные волосы, туловище – натуральная кожа... «Из Освенцима, что ль?» – поинтересовался Лю, а Леопольд и бровью не повел. Затем эфиоп перепоручил весь свой хлам Шарло, и они с Леопольдом засели за пивом в том ресторанчике со штурвалом на голубой вывеске, где совсем недавно...

– Надо же! – сказал Кнопка Лю, когда официант принес им кружки. – Надо же, какая незадача: опять я не познакомлю тебя со своим Тру-ля-ля... А ведь мы с ним недавно пили тут и ели «мули», вот за этим же столом, как пара голубков. Теперь только черт рогатый знает, где он со своей беглой малышкой...

И на радостях от встречи со старым другом Лю принялся во всех деталях рассказывать душераздирающую историю любви:

– Ты не поверишь, Леопольд, это как в романе или в кино: является ко мне на днях Тру-ля-ля с перекошенной от любви рожей, заикается и на коленях умоляет сделать паспорт – для нее...

То есть как раз ту историю, которую поклялся держать при себе до смертного часа. Но ведь Леопольд – это ж такой близкий друг, с которым в огонь и в воду... Словом, история о звере-супруге, украшенная несусветным орнаментом, похожим на обстановочку квартиры самого эфиопа-марксиста, должна была Леопольда развлечь.

– И ты им помог... – деликатно предположил тот.

– А как же! – воскликнул Лю. – Знаешь, в одной русской опере один военный мужчина поет: «Лю-уб-ви-и-и все во-озра-сты поп-корны-и-и», что в переводе означает: если невтерпех спустить, то и кулак согдится! – Он захохотал.

Он любил щегольнуть перед Леопольдом блестящим знанием русского языка и русского обихода. Но в ту же минуту вспомнил о благородном смущении Леона, вспомнил сиротский квадратик фотографии со скуластым девичьим лицом и... и как-то загрустил.

– Вот тут мы как раз с ним и сидели, – повторил он, подбородком указывая на кружку с пивом и окончательно смешивая две разные истории и две разные встречи. – Он купил у меня уникальную вещь: мешок для сбора мочи.

– И куда ж они, бедняги, подались? – так же мягко и улыбчиво поинтересовался Леопольд.

– Не доложил... – понурясь, отозвался Кнопка Лю. – Был ужасно напуган.

Впрочем, Леопольд уже отвлекся от любовной интрижки этого самого «Тру-ля-ля», к которому был так привязан его старинный приятель, и принялся рассказывать о жизни в Тегеране, о своем растущем бизнесе и о партнере, богатом иранском еврее:

– Добрейший мужик, симпатяга, Шауль, только глуповат, вернее, очень наивен... И в коврах мало что смыслит: его главная удача в том, что на должность управляющего этим огромным производством он догадался пригласить меня, и вот уже год мы партнеры, и, думаю, он ни разу об этом не пожалел...

Словом, Леопольд вел себя как любой агент в подобных ситуациях. Он много лет работал на *La Piscine*^[69], как называют парижане DGSE, Генеральный директорат внешней безопасности, ибо скучное это здание, похожее на какой-нибудь НИИ, находится рядом с плавательным бассейном, на самой границе Парижа, где круглосуточно гудит *периферик*^[70] и откуда из-за мощных глушилок чертовски трудно куда-либо дозвониться... Леопольд был очень ценным сотрудником *Direction generale de la securite exterieure* и в Тегеране выполнял одно деликатное долгосрочное задание, о чем, конечно же, не догадывался его симпатичный, но недалекий иранский партнер, успешно исполнявший вместе со своими коврами роль респектабельной ширмы.

У Леопольда поднялись бы дыбом последние волосы на сильно поредевшем загривке, если бы он узнал, какие топографические сведения зашифрованы в узорах пленительных персидских ковров, отправкой которых в Европу он лично ведал.

Но сейчас, сидя напротив лопочущего, поющего и пьющего Кнопки Лю, он размышлял: какая связь между исчезнувшим Тру-ля-ля и застенчивой просьбой симпатяги-партнера: разузнать «там, в вашем Париже» о каком-то пропавшем певце – то ли племяннике его соседа, то ли друге его племянника... Словом, «парень попал в беду, и кое-кто за него готов отвалить приличную сумму»... Помнится, эта странная просьба озадачила Леопольда, насторожила, заставила лишь улыбнуться партнеру

в ответ на наивную, в детских ямочках, улыбку, но ничего не обещать.

– Поверишь, все время думаю о его идиотском предложении, – слышал он голос Кнопки Лю. – Езжай, мол, в Лондон, есть там выпивка в каком-то ресторане. Соджу – эта такая японская водка, что ли? Езжай, говорит, опохмелись. Эт-то что еще значит?

– Ну и поезжай, – вдруг невозмутимо отозвался Леопольд. – Если человек предложил...

Связав одно с другим, он уже ни минуты не сомневался, что оставленная кем-то бутылка соджу в опустошенном виде была кому-то сигналом. И очень интересно: кому. И какое отношение к этому имеет просьба его партнера «разузнать и пособить – там, в вашем Париже»? А заодно – какое отношение имеет богатый иранский торговец коврами, напевающий под нос тошнотворные восточные песни, к этому, судя по всему, серьезному оперному певцу...

Вот тут Кнопка Лю и возопил свои – *с какой стати и на какие шиши.*

Вот тут Леопольд и достал свое портмоне.

Ему, понимаете ли, было любопытно: врал Тру-ля-ля или действительно оставил для Кнопки Лю целую бутылку отличного пойла.

* * *

Айя знала, что ограничена во времени: их *общая с Леоном жизнь* в глубине ее тела, их жемчужина, нетерпеливая золотая рыбка росла как на дрожжах, отвоевывала все больше места и в ее чреве, и, главное, в ее мыслях; понимала, что в конце концов ей ничего не останется, как только ползти в Алма-Ату к папе. Ей уже было плевать, как на нее посмотрит и что скажет ей Филипп Гишар, последний адрес в ее коротеньком списке. После происшествия с выпитой кем-то бутылкой соджу Айя перебрала пропасть неутешительных версий, свято веря только в одну: Леон жив и послал ей знак. Леон жив и где-то обретается.

Где?

Из всех, кто мог что-то знать о пропавшем Леоне, она не встречалась только с Филиппом – и не потому, что в своем письме Леон почему-то запретил ей соваться в Париж. Просто она прекрасно помнила тот не слишком удачный их ужин, холодноватые манеры утонченного сноба и его оценивающий и недоуменный взгляд, каким он смотрел на «новую подружку Леона».

Однако – она это знала, видела, чувствовала – Филипп к Леону очень

привязан, к тому же наверняка пострадал от исчезновения своего друга и подопечного. Словом, он был последним адресом, куда осталось наведаться.

Жилье известного импресарио – недалеко от площади Трокадеро – вполне соответствовало его статусу, кругу общения и даже его прославленной холеной бородке. Улица, громко именованная «авеню» (авеню де Камозэнс), была скорее переулком или даже тупиком: обрывалась каменным парапетом лестницы, что вела на другую улицу, уровнем ниже метров на пять. Тихая, респектабельная, была она отстроена изысканными домами конца девятнадцатого века, какими славится *истинный* Париж: мягкий желтоватый известняк, облицованный рустовым камнем.

Свою *инаковидность* этой улице, этому дому и в особенности высокомерному консьержу с лицом помощника министра (умирающее племя радетелей порядка) Айя почувствовала с первого взгляда. Накануне в одной из лавочек на метро Барбес-Рошешуар (где остановилась в подозрительном пансионе со стонущими всю ночь коридорами и номерами) она купила себе *худи*, униформу арабско-негритянских люмпенов: мешковатую флисовую куртку с капюшоном и накладными карманами; в ней и ходила, набросив капюшон на голову, – руки в карманы, ежеминутно готова броситься от кого-то через улицу, в арку, в проходной двор, за мусорные баки...

Войдя в шикарный подъезд (отделка холла поражала мрамором нескольких цветов и необычайно изящной кованой лестницей в стиле модерн), она сняла капюшон и улыбочиво объяснила консьержу, что у нее назначена встреча с месье Гишаром.

– Он не предупреждал, – возразил консьерж. – Минутку... – И, опустив трубку: – Сожалею, мадемуазель. Месье Гишара нет дома.

– Вот как? – надменно удивилась она, повернулась и вышла, и чуть ли не два часа стерегла Филиппа, серой вороной сидя под въедливым дождиком на каменном парапете лестницы с голыми икрами мраморных балясин.

Конечно, следовало позвонить, но вдруг бы он не пожелал с ней встретиться? Кажется, он был взбешен, что Леон из-за нее, из-за Айи, «превратил свою жизнь в сплошной кавардак» («сплошной каламбур» – переводил Леон *на одесский*).

А вдруг Филипп давно проклял артиста-самодура, пустившего по ветру все договора и обязательства, да и многолетнюю дружбу? Вдруг и думать забыл, что в списке его подопечных когда-то значился такой вот

вздорный молодой человек? Не говоря уже о том, спохватилась она, что ты просто идиотка: скорее всего, Филипп сейчас в Бургундии (лето, мертвый сезон), о чем прекрасно знает этот гаденыш-консьерж-помощник министра.

И тотчас, едва об этом подумала, на углу улицы показалась фигура в элегантном летнем пыльнике, в светлых свободных брюках, с небольшой сумкой через плечо. А уж бородку со сметанным мазком по центру просто невозможно было не узнать издалека. Благородная волнистая грива великолепного импресарио, покропленная дождиком, блестела, как алюминиевая, а походка его просто завораживала: церемониймейстер на коронации государя-императора.

Айя сверзилась со своего насеста и бросилась ему наперерез.

От придурочного парика она избавилась еще в Рапалло, едва только вышла из здания полиции, – стащила с головы и с остервенением запихнула в ближайшую уличную урну, – но у нее не было уверенности, что Филипп узнает ее, а главное, не было никакой уверенности, что, узнав, не отшатнется. И все же она бросилась к нему, распахнув руки, загораживая собой путь к подъезду. И загородила бы, а может, стала бы хватать его за рукава, если б, увидев ее, Филипп не остановился, как-то смешно вытаращив глаза, и в свою очередь не ринулся к ней, едва не попав под чей-то велосипед.

Налетел, вцепился в рукав ее негритянской куртки, точно не она, Айя, ждала его здесь, голодная, под мерзким кропотливым дождиком, а он ее выследил, проведя полдня в засаде.

Сначала даже говорить не мог: она никак не успевала различить в его губах сколько-нибудь связные фразы. Взмолилась:

– Филипп! Пожалуйста, английский и... не так быстро!

Сказать ему, чтобы чуток подровнял свои роскошные усы? Верхняя губа всегда внятнее, чем нижняя (Айя ненавидела усы и бороды, мешавшие слышать).

Но Филипп, наоборот, заткнулся, взял ее под руку, решительно прижав к себе локоть, и повел в подъезд, где, никак не отреагировав на приветствие консьержа, так же молча протащил к лифту. И когда они вышли на шестом этаже, он и там, молча достав ключи, отворил дверь своей квартиры – единственной на лестничной площадке – и бесцеремонно затащил Айю в прихожую, темную и душную.

Зато здесь он напрочь слетел с катушек – судя по заполошно мелькающим рукам.

Она крикнула:

– Свет, черт возьми! И говорить по-английски! И смотреть мне в лицо! Я же глу-ха-я!

Он включил свет, схватил ее руки и сказал:

– Прости! Умоляю, два слова: где он? Нет, подожди! Ты совсем замерзла...

Теперь он нависал над ее лицом, преувеличенно отчетливо обводя губами каждый звук, и, схватив ее окоченевшие ладони, мял их и растирал, и странно еще, что не дул на них.

– Пойдем в кухню, вот сюда, в коридор и направо. Что тебе налить? Виски? Коньяк?

– Чай и какой-нибудь бутерброд, – сказала она, – а то меня вырвет. Я беременна.

– Час от часу не легче, – пробормотал Филипп. И взвыл: – Где он? Где этот негодяй?!

В кухне он бессильно опустился на стул, так и не сняв своего роскошного пыльника, только протянул руку в сторону холодильника и опять уронил ее на колено. Айе самой пришлось шарить в поисках еды, но там ничего не оказалось, кроме прошлогоднего сыра, – этот гурман питался в ресторанах. Она обнаружила половину черствого багета, яростно оторвала зубами кусок и принялась жевать: *картон картоныч этот их воспетый французский багет.*

– Леон исчез... Где у тебя чайник?

Огляделась, нашла, налила воды, включила.

– Он исчез, испарился... под небом Италии золотой... погоди! Не перебивай, просто слушай...

Вышколенная отцом и бабушкой, пуристами «грамотного языка», она с детства умела «излагать дело последовательно и внятно, с деталями, обстоятельствами и пояснениями». И тем не менее ей раз десять пришлось осаживать Филиппа криками: «Погоди, не перебивай!» или просто резким: «Помолчи!». И вообще, хотелось накапать ему в чашку что-то типа валерьяны или даже чего-то более действенного... Филипп, честно говоря, выглядел совершенно раздавленным. Кто бы подумал – такой вальяжный господин...

Первым делом она предъявила ему письмо, озаглавленное «Supez», – просто перевела на английский, водя пальцем по строчкам для наглядности. Но Филипп безумными глазами беспомощно бегал по затрепанному листу бумаги, переспрашивая и вслух повторяя скупые и какие-то... боевые команды Леона.

Не в состоянии сложить два и два, подумала Айя чуть ли не с жалостью.

Подтащила стул, села напротив него, успокаивающе положила руку ему на колено:

– Филипп! Брось это и послушай меня... Всё к тому, что Леон связан с разведкой. А вот с какой – не могу додуматься.

– Ты с ума сошла?! – тихо спросил он. – Артист его масштаба и его занятости? Зачем?! К чему это?! Не верю!

– Я понимаю. – Она сосредоточенно кивнула. – То, что я тебе сейчас вывалила, весь этот винегрет... просто дичь какая-то! Могла бы рассказать еще кое-что, но... не уверена, что имею право. Боюсь, что подведу этим Леона. Он чего-то опасался, очень... – Она вскочила и – благо, кухня у Филиппа могла сойти за репетиционный класс балетной школы – принялась мотаться туда-сюда, резко разворачиваясь у окна, вновь возвращаясь к стулу, на котором обреченно сутулился Филипп: – Все последние недели с ним я провела в каком-то перевернутом мире: мы убегали и преследовали, я раньше не знала, что это одно и то же. Мы спасали свои жизни, чтобы убить, – я прежде не предполагала, что одно может означать другое. Не спрашивай меня ни о чем конкретном, я сама подбираю – видишь, как осторожно, – слова подбираю, на которые он бы не наложил запрета.

Она вздохнула и перевела усталый взгляд на Филиппа, словно прикидывая, что еще можно ему открыть. И решилась: вновь села напротив, взяла его за руку.

– Судя по всему, в Портофино он убил одного человека; утопил. Умоляю тебя, молчи и не смотри на меня безумными глазами! – крикнула, обеими руками перебивая судорожный всплеск его ладоней. – Да, он уничтожил одного крупного... хищника, очень важного типа из какой-то другой разведки – боюсь, ближневосточной. Леон убил его, а не наоборот, как мне сначала показалось, и вот это точно, потому что труп того прибило к берегу... Не спрашивай меня о деталях, я их не знаю. – Она глубоко вздохнула, сглатывая горькую слюну, и решительно продолжала: – И тогда Леон либо скрывается и не может проявиться, либо... Либо его схватили и где-то держат.

Рассказать ему о выпитой кем-то бутылки соджу? – прикидывала Айя. – Ободрить, заставить поверить, что Леон жив и подал такой вот знак, просто послав кого-то вылакать все содержимое бутылки? Или лучше не баламутить бедного? Он и так – как рыба, вытащенная

из воды...

– Есть еще третья возможность, – добавила она, сострадательно глядя в обвисшее серое лицо Филиппа. – Понимаешь, мне кажется, что одновременно он скрывался – да и меня прятал – *от своих*, ну, тех, на кого он работал и кого я не могу вычислить... Может быть, я совсем спятила, но поскольку думаю об этом днем и ночью, изнурительно, страшно, непрерывно думаю, мне сейчас кажется, что он... наводил порядок в своей прошлой жизни, о которой я, как и ты, не имею ни малейшего понятия. Он был одержим идеей мести за что-то там... И наверняка вышел из-под контроля *своих*. Он оторвался от всех, вылетел за пределы их жестко организованной вселенной... Ну, как бы тебе объяснить? – пробормотала она, сосредоточенно хмурясь. – Вот: он взял такую высокую ноту, с которой не съедешь запросто, бескровно. Короче, есть вероятность, что его схватили *свои*... И если сейчас я не колочусь во все проклятые двери всех этих проклятых разведок, так только потому, что боюсь навредить Леону.

Наступила тишина, в которой лопотали только прекрасные напольные часы в прихожей – вероятно, фамильные, такие старые семьи всегда пекутся о своем почтенном домашнем времени. Айя склонилась, погладила вялые руки Филиппа, которые совсем уже не выглядели холеными руками великолепного импресарио, а оказались просто веснушчатými руками пожилого человека. Улыбнувшись, проговорила:

– Пожалуйста, Филипп... Выпей чего-нибудь крепкого, я не уверена, что ты в порядке.

Он послушно поднялся, подошел к буфету, открыл дверцу и, достав графин с тяжелым золотом в брюхе, показал ей:

– М-м-м? Нет? – Когда она мотнула головой, налил себе рюмку, выпил... медленно произнес: – Значит, тот выстрел был не случайным.

– Какой выстрел? – насторожилась она.

– Неважно, на охоте... – он махнул рукой. – Выстрелил навскидку и попал в пробежавшего зайца. Якобы чудом. – Он сокрушенно покачал головой: – Дурил меня все эти годы, сукин сын, мерзавец, подонок... Думаешь, он работал на русских? – встрепenuвшись, спросил Филипп. – Они его схватили? Пытают? Уничтожили?! Боже мой, и этому ублюдку достался *этот* голос...

– А русские убивают своих? – встревоженно спросила Айя.

– Все, когда потребуется, убивают своих, – печально пробормотал Филипп. – Если это разведка. Приятными людьми их не назовешь.

– Мы ничего не знаем! – возразила она.
– Ничего, – согласился Филипп, – кроме того, что он оставил тебя беременной.

Она поднялась, но передумала и снова села.

– Забыла совсем!

Вытащила из кармана джинсов портмоне, достала карточку, положила на стол и пододвинула к Филиппу.

– Что это? – спросил он.

– Банковская карточка Леона. Вот код написала – на автобусном билете. Я не смотрела, сколько на ней осталось: в первые дни была не в себе, кучу денег растратила на самолеты, стыдно вспомнить... Если сможешь, оплати, на сколько там получится, его квартиру, пожалуйста. Остальное я заработаю и пришлю. Понимаешь, он велел в Париж не соваться, значит, считал, что квартира под колпаком. К тому же я никого здесь не знаю, кроме тебя и этой его любимой консьержки, которую он называл «моя радость», но и она ведь может быть связана с...

– Радость моя Айя, – усмехнувшись, проговорил Филипп. – Ты полагаешь, я огорчен срывом его контрактов? Видимо, ты просто не понимаешь всей степени моего отчаяния... Я уже оплатил его квартиру на полгода вперед, как только понял, что его... – он прокашлялся, прочищая горло, – что его нигде нет.

Она молча кивнула, не благодаря; судорожный глоток как-то по-детски беззащитно прокатился по тонкой шее до самой яремной ямки.

– И насчет его контрактов... – Она вновь упрямо придвинула к Филиппу банковскую карточку и поднялась. – Думаю, ты очень пострадал: неустойки и все такое... Короче, эти деньги – твои. Остальное я отработаю, дай срок. Все верну. К сожалению, не могу сейчас купить себе камеру, так бы я заработала быстрее и больше. Но я умею трудиться, поверь.

– Дурочка, что ты несешь! – огорченно воскликнул он. – Посмотри, на кого ты похожа. Тебя ветром сдувает! Где ты живешь, как ты... постой!

– Он вернется, – сказала она, уже приоткрыв дверь на лестничную площадку.

– Айя! – окликнул Филипп и, осознав, что она уже не видит его лица, а значит, и не *слышит*, вскочил, нагнал ее на пороге, схватил за плечи. – Спасибо, что пришла. – Он неуверенно топтался рядом. – Мы ведь тогда... мы с тобой не понравились друг другу.

– Леон должен петь, – просто сказала она, глядя ему в глаза своими

запавшими, сухими, без проблеска слезы глазами. – Он должен петь, когда вернется...

Филипп шагнул к ней и молча обнял – в последней и безуспешной попытке не пустить за порог.

4

На сей раз Натан ехал не торопясь, не обгоняя, не превышая скорости – как велел его кардиолог. В сущности, кардиолог вообще запретил садиться за руль, но кто станет слушать этих умников.

Просто он хотел еще и еще раз обдумать все, что скажет Заре.

Давно он не получал такого удовольствия от простой поездки в собственной машине. Да и Верхнюю Галилею очень любил; а сейчас, на исходе августа, эти оливы с их мощными стволами, так напоминающими изборожденных морщинами стариков, с плавким живым серебром волнующихся крон – они столько говорят памяти и душе.

Сюда они приехали с Магдой сразу после свадьбы – на маленькую частную ферму: три коровки, две козочки, маленький птичник, изнурительный труд на жаре... Выудили объявление в газете: бездетная семья сдает комнату любителям сельского отдыха. Весь их «отдых» заключался, само собой, в огромной кровати с такой разговорчивой периной, что до сих пор странно, как трудяги-хозяева, наломавшись за день, не выперли их за эти скрипучие всенощные. Даже наоборот: хозяйка – конопатая «румынка» из-под Бухареста – каждое утро вносила к ним в комнату букетик каких-то желтых цветов. Входила без стука, кралась на цыпочках к голубой вазе на столе и говорила: «Шшш! Занимайтесь своим делом, я не смотрю!»

Было это за два месяца до его плена. Магда была черноволоса, смугла и тонка, как тетива лука; гнулась в любую сторону – хоть в цирке выступай. Да все наше «свадебное путешествие», подумал Натан с улыбкой, собственно, и было – цирковой акробатикой.

От Рош-Пины, очаровательного старого городка, заложенного лет сто пятьдесят назад выходцами из Румынии, Натан повернул на Цфат и стал подниматься по горной сосновой дороге, притормаживая на слишком крутых виражах. Где-то на середине подъема, снизив скорость (въезд под еле заметным указателем легко было прозевать), свернул направо, въехал в аллею, всю испятнанную оранжевым солнцем, и, дождавшись,

когда из будки покажется охранник, назвал имя Зары и получил пропуск в рай.

А это был подлинный рай – вся сбегаящая по горе территория пятизвездочного спа-отеля, больше похожего на богатую ферму где-нибудь под Экс-ан-Провансом. Хозяйство и вправду было богатым: обширные уголья на склонах, пасека, коровник, конюшня, парники и фруктовые сады...

В аллеях бродили вздорные павлины, так и расстилая вам под ноги свои несусветные глазастые хвосты; тропинки перебегали ежи и лисицы, косули сторожко стояли в двух шагах за деревьями, а птичий гомон и клекот, и писк, и пересвирк вышивали над головой такой пестро-золотистый гобелен, что странно было – как сквозь него может быть так ясно виден пушистый самолетный хвост.

Несмотря на пресловутые пять звезд, никто тут не заботился о показушном глянце: густая трава вокруг олив была усыпана сморщенными черными плодами, пруд с четырьмя ленивыми лебедями окружен прорванной в двух местах сеткой, легкий запах коровьего навоза вплетался в буйный запах трав и цветов, старые каменистые дорожки петляли меж двухэтажных коттеджей, а главный корпус – попросту могучее старое шале, расширенное, благоустроенное и обстроенное со всех боков галереями и террасами, – расселся на горе раскидисто и по-хозяйски основательно.

Оставив машину на стоянке, окруженной высокими кустами красного и белого гибискуса, Натан пересек деревенский дворик с пятью оливами и вошел в просторный каменный холл, где кресла, буфеты, столы и диваны были прикуплены в разные годы на разных антикварных аукционах. Прокопченная утроба старого камина даже летом хранила седоватый пепел сосновых дров, витражные двери вели в застекленную оранжерею с журчащим водоемом и огромным мерно вздыхающим аквариумом...

Среди белых фигур в махровых халатах и тапочках на босу ногу ты ощущал себя как-то слишком, ненужно одетым. Телефоны и прочая тревожность отменялись уже на входе, о чем предупреждала табличка, на которой перечеркнутый крест-накрест черный мобильник походил на какого-то противного жука.

Это было ужасающе дорогое место.

Мы выбрали для нее правильную должность на правильной горке, вновь удовлетворенно отметил Натан. До конца дней она будет слышать только спокойные голоса и журчание воды и вдыхать запах ароматических

масел и дорогого полироля, которым натирают красное дерево этой изумительной мебели.

Резная деревянная лестница того же красного дерева вела из холла вниз, на лечебный этаж – к бассейну, саунам и ваннам.

Он спустился, прошел мимо магазина возмутительно дорогих сувениров и косметики, миновал несколько процедурных кабинетов и осторожно постучал в последнюю дверь. Зара должна была его ждать; она его и ждала.

– Не вставай! – воскликнул он, ускоряя шаги и протягивая руки навстречу.

Но Зара уже подтянула к себе палку, уже поднялась и вышла из-за стола. Они обнялись. Оглядели друг друга и снова обнялись.

– Я лишил тебя обеда? – спросил он. – Хочешь, поедем пообедаем где-нибудь в Рош-Пине? В «Джауни» готовят отличные стейки...

– Брось, – сказала она, – оставь эти ресторанные глупости. Тебе давно пора отказаться от красного мяса. Сейчас нам принесут чай, сухофрукты и орешки – вот что должны есть два старика, вроде нас.

– Если челюсти позволяют, – отозвался он добродушно, усаживаясь в кресло напротив. Как здесь все было продумано и как удобно! На сиденье кресла подложена подушечка – ну разве не трогательна эта забота о наших старых задницах! И стол у Зары совсем не напоминал бездушные офисные столы. Можно поклясться, что его лет сто назад приволок в Палестину в своем багаже какой-нибудь врач из Парижа, Будапешта или Варшавы. А прекрасные напольные часы в углу, а чудесный резной и как бы *нипричемный* в кабинете главного врача буфет, украшенный цветными провансальскими блюдами: черные оливки, золотой лук и кроваво-красные помидоры... Да, подытожил Натан, усаживаясь на ласковую подушку, мы выбрали для нее правильное место.

Принесли, конечно, никакие не сухофрукты и не орешки, но уж и не стейки: здешняя кухня была молочной, и единственное, чем мог разжиться плотоядный хищник, – это рыба, зато уж нескольких сортов.

Под льняными салфетками на двух подносах обнаружили закуски из баклажанов (местный повар был помешан на баклажанах: пек их и жарил, мариновал и чуть ли не скульптуры из них лепил), оладьи, цветник из разного вида повидла в крошечных стеклянных розетках, ну, и булочки, масло, чесночная паста... И, конечно же, кофе в высоком термосе.

– Ого! – воскликнул Натан, пододвигая к себе поднос. – Ого, как я

проголодался!

Он совершенно не хотел есть. Он вообще в последние месяцы страдал полным отсутствием аппетита и очень похудел, что сводило Магду с ума. Но вот кофе по-прежнему втайне от жены поглощал в страшных для сердечника количествах.

И сейчас, заставив себя ковырнуть оладьи, торопливо отвинтил крышку термоса и налил полную чашку кофе...

...Когда девушка в белом халате явилась унести подносы, он придвинул к себе термос и попросил оставить чашку на столе. Пересел поближе к Заре – на стул справа от нее, – и минут десять *стариچه*, как говорила Зара, хвасталось друг другу фотографиями внуков в телефонах. У Зары внуков было целых восемь – все мальчишки, один в один, глаза как черносливины. Пятеро погодки, трое за ними – с двухлетними паузами *в производстве*.

– У меня парень один, зато рыжий-рыжий! – сказал Натан, пролистнул длинненьких подростков-близняшек, поразительно похожих на Габриэлу, и выкатил на экран огненный шарик вихрастой головы.

– Боже мой! – ахнула Зара. – Это пожар какой-то!

– А по характеру вообще – огонь, острый перец! – заметил Натан. – И генерал с пеленок: строит сестер, мать, бабуку, даже отца – как первогодков.

Затем еще минут пятнадцать они сплетничали, перебирая знакомых, вполголоса обсуждая новости *в конторе* и в МИДе: ты не согласишься – тотальные, кардинальные изменения во всем и в кадровой политике – особенно...

Не хочет переходить к делу, отметила Зара, тяжело ему почему-то. Облысел, постарел... Что-то случилось?

И помогла: улыбнулась и проговорила:

– Ну, а теперь смело прыгни в воду с разбегу.

Он замешкался, будто не ожидал.

Еще по дороге, обдумывая их встречу, решил начать не с Леона, хотя и понимал, как жестоко сейчас забрасывать Зару в прошлое. Помедлив, достал из плоской кожаной книжки (привычное укрытие для многих фотографий за годы его пестрой карьеры) фотографию «Казаха» и положил перед Зарой на стол.

Она не притронулась к ней, лишь глаза опустила. Молча смотрела, долго, долго... Слишком долго для опознания. Слишком спокойно, удивился Натан. Как странно: не узнает? Все же это не совсем обычное

лицо. Как можно не узнать человека, ломавшего тебе пальцы?

Наконец она разлепила морщинистые губы и бесстрастно проговорила:

– Постарел, мерзавец...

Что значит выучка, восхитился Натан. Сказал, забирая фотографию:

– Прости. Это было необходимо. Я бы не стал тебя зря тревожить. Хотел еще раз удостовериться, что это он самый.

Зара спросила:

– Неужели вам удалось его добыть?

Он улыбнулся ей. Провел ладонью по старческой легкой руке в перчатке, немного задержался на покалеченных пальцах.

– Его уже нет, Зара, – тихо проговорил Натан. – Живи в радости: его уже нет... – Потянулся к термосу, отвинтил крышку и нацедил в свою чашку остатки кофе, буркнув: – Самый крепкий – на дне! – Выпил, поднял на нее усталые раскосые глаза в обвисших веках. – И приехал я не ради него, Зара. Впрочем, если захочешь, расскажу потом обстоятельства его гибели. Кстати, мне даже стыдно, что мы не сразу вспомнили твои показания – все было бы проще. Но... это было так давно. И все же – он мертв, а ты жива, моя дорогая, и я ликую! А сейчас... взгляни вот на этого парня.

Он выложил перед ней старое армейское фото, на котором Шаули с Кенарем (Пат и Паташон) сняты в полном снаряжении на последних шагах к армейскому барaku: замордованные, взмокшие, чудится – даже от фотографии разит потом. Физиономии обоих – в маскировочной зелени, а Кенарь вообще такую рожу соорудил, что его родная мамаша не опознает.

– К сожалению, тут ничего не разберешь, кроме роста и сложения, – торопливо пояснил Натан, – так что я вынужден предъявить тебе вот еще... такую его фотографию.

Разумеется, он мог не тащить с собой все эти картонки – для чего существуют сегодня *наши электронные радости!* – но, человек старой закалки, он верил вещественности жизни, любил осязаемые предметы, особенно когда дело касалось работы.

– Что это? – Она подняла голову и недоуменно взглянула на Натана. – Это что, на карнавале?

– Извини, – усмехнулся он. – Это на сцене. Он певец, Зара, каких мало. Певец, парижанин, эстет, ловелас... Артист! На первый взгляд, далеко ушел от самого себя в солдатской форме. Но это не так. Вот он и добыл «Казаха», по пути прихватив кое-кого еще...

– Прекрати морочить мне голову, Натан, – прервала его Зара. – Оставь

свою конспирацию в конторе и выкладывай все как есть про своего артиста.

...Минут через пятнадцать она уже опять внимательно разглядывала лицо Леона на двух фотографиях – и в маскировочной зелени, и в театральном гриме, с накладными ресницами, с длинными клипсами, рассыпающими брызги звезд. Деловито осведомилась: эта мушка на щеке – грим, конечно?

– Знаешь... – задумчиво проговорила она, продолжая разглядывать лицо Леона в высоком кудрявом парике восемнадцатого века. – Ты удивишься, но если закрыть эту дешевую паклю, вот так... – ее пальцы в перчатках телесного цвета с обеих сторон прикрыли кудри парика на фото, – то он напоминает сына одного человека из Кфар-Манды... Человека этого звать Валид Азари, давнее знакомство; сам он тоже небольшого роста, зато три сына – просто гиганты, в жену: там женушка настоящий гренадер! Твой Кенарь лицом поразительно напоминает его среднего сына Мусу. Тот, кстати, тоже из бешеных: яркий, уклончивый, авантюрный. И тоже побывал в переделках – в основном криминального свойства.

Она замолчала, поглаживая фотографию чуть вздрагивающими пальцами.

Натан тоже примолк, стараясь не вспугнуть ее мысли; слишком хорошо знал легендарную Зарину способность связывать разных людей в самых диковинных комбинациях. Он верил, что ее великолепный интеллект, в свое время оперировавший невероятным количеством информации, с годами не утерял своей гибкости.

Эту черкешенку называли «жемчужиной израильской разведки». Образование (медицинское) она получила в Цюрихе, блестяще знала восемь языков и целых двенадцать лет руководила в Бейруте клиникой, созданной на деньги конторы.

В личных друзьях она в те годы числила едва ли не всю верхушку ООП – Жоржа Хабаша, Вади Хаддада, да и самого Арафата, – годами поставляя бесценные сведения не только о том, что происходило в высших эшелонах руководства ООП и входивших в нее террористических организаций, но и об акциях советской и восточногерманской разведок на Ближнем Востоке.

Погорела из-за связника: тот по небрежности засветил один из «почтовых ящиков», что позволило палестинской контрразведке,

«Отряду 17», выйти на резидента...

– Между прочим, – наконец заговорила Зара оживленно, будто нащупала некую тропку, на которую можно ступить, как говорится, полной стопой: – Тот самый Валид Азари, вся его семья... они из *ахмадитов*... А это, как ты понимаешь, кое-что значит. Эти люди на собственной шкуре знают, что такое преследования, и тем более ценят свое благополучие здесь, в этой стране. Но бог с ним, с Валидом. Сам он – так, по торговой части, мотоциклы-мопеды-насосы. Не о нем речь. Вот старший его брат – тот со-овсем другое дело. Совсем!

Она вновь умолкла, напряженно перебирая какие-то свои мысли, в такт им слегка перебирая пальцами в перчатках, будто пробегала пассаж на невидимой клавиатуре (а в молодости она неплохо играла на фортепиано). Натан терпеливо ждал, опасаясь лишь какого-нибудь служебного звонка, который мог ее отвлечь. Свой-то телефон он отключил после *парада дедовской гордости*.

– Брат его, Набиль Азари, – выразительно продолжала Зара, – влиятельный адвокат, искушенный и деятельный человек. Что немаловажно – *с улыбкой на лице*; понимаешь, что я имею в виду? Живет везде – в Париже, в Бейруте, на Корфу... Он из тех, кто со всеми знаком и имеет связи в самых разных кругах: и правительственных, и мафиозных. – Она предупреждающе подняла руку: – Хотя сам человек порядочный, даже церемонно порядочный... Но уж мы с тобой знаем, что образ жизни подчас диктуется важными тайными целями, а он этими целями буквально опутан.

Зара усмехнулась:

– Помню, Жорж Хабаш, убийца по шею в крови, говорил мне: «В твоём обществе я чувствую себя человеком»... Знаешь, у всех людоедов непременно должны быть личные друзья, не замешанные в поедании человечины. Врачи, например... или вот адвокат. Для многих Набиль Азари – та скрытая пружина в обществе, та потайная кнопка, на которую нажимают в критических случаях: когда требуется посредник – *человек с улыбкой на лице*. И, если я не ошибаюсь...

«...А ты никогда не ошибаешься», – мысленно подхватил Натан, уже волнуясь, уже понимая, что не зря, не зря он ехал сюда, к этой поразительной женщине...

– ...Если не ошибаюсь, он успешно посредничает при всяких секретных обменах – ты ведь знаешь, как за последние годы наживаются джихадисты на...

– Конечно, конечно! – горячо и торопливо перебил ее Натан. – Именно это я имел в виду, когда...

Движением брови Зара остановила его на полуслове, продолжая задумчиво поглаживать фотографию на столе.

– И мальчик хороший, – негромко произнесла она, – и так похож на Мусу, а Набиль любит Мусу больше остальных племянников. В конце жизни выясняется, что это, оказывается, важно: типологически родственные черты. Подсознание, что ли? Пещерный зов племени?.. Мы ведь странные животные...

Казалось, она бормочет все это просто по какой-то инерции, любой другой свидетель мог принять это бормотание за старческое недержание мыслей. Но Натан все так же внимательно слушал этот едва ли не шепот: Зара никогда не произносила ни одного лишнего слова.

Наконец, она подытожила, чуть ли не весело:

– Что ж, попробовать можно. Обстоятельства нам сейчас на руку, у «Хизбаллы» много дел: бойня в Сирии, бои на границе с Ливаном,... Это хорошо, что «Хизбалле» сейчас не до мелочей вроде пленного артиста.

Подняла глаза, и уже другим, деловитым голосом коротко сказала:

– Дай мне два дня, Натан. Дело непростое.

Оба одновременно поднялись, и опять Натан умолял ее не беспокоиться и не провожать, и опять она решительно отмахнулась, и он не посмел перечить.

Они вышли на крыльцо и постояли там, любуясь летним цветением духовитых кустов, над которыми целыми семьями трудились пчелы.

Зара хвасталась новостями в хозяйстве: недавно построенным рестораном и двумя новыми корпусами, как обычно, «припрятанными в холмах», дабы не нарушали образ «дедовской фермы». А на следующий год будем перестраивать бассейн и библиотеку.

– В очередной раз повысив цены, – поддел ее Натан, – и без того заоблачные.

Он сел в машину, сделал круг по стоянке и, проезжая мимо дверей шале, помахал Заре огромной своей изуродованной пятерней. В ответ она махнула ему рукой в перчатке.

Две-три секунды, пока не свернул, он смотрел на нее в зеркальце заднего вида.

Ее, конечно, звали не Зара...

Для Натана она была больше чем подругой, больше чем любимой,

больше чем сестрой. Она была *сестрой по пыткам*. Много лет назад в Ливане их держали неподалеку друг от друга и однажды свезли в некий подвал в деревне, в долине Бекаа, на очную ставку – на которой оба нашли в себе силы друг друга не узнать.

Мертвая бабочка торжественно въезжала на спинах муравьиного эскорта в щель между бетонными блоками стены. Всюду жизнь, всюду смерть... Откуда здесь, в крошечной тьме, муравьи и тем более бабочки, пусть и мертвые?

Невозмутимую эту похоронную процессию он заметил в те несколько мгновений, когда его заволокли и бросили после допроса, не сразу заперев металлическую дверь. Они теперь не затрудняли себя подобными предосторожностями, справедливо полагая, что *на таких ногах* он вряд ли попытается куда-то уползти. Внесли, швырнули на пол, и, ударившись щекой, он увидел на уровне глаз в тусклом фонтанчике бетонной пыли: двойная колонна муравьев сосредоточенно и кропотливо везла на спинах роскошную мертвую капустницу: «Аида», въезд армии Радамеса в Фивы.

Его – он полагал – последний театр...

Кто это рассказывал, или приснилось (любимый педагог Кондрат Федорович, консерватория, Москва, было и такое в его жизни, – это он рассказывал?) – когда в застенках НКВД терзали Мейерхольда, тот мысленно твердил прописную истину: «Доминантсептаккорд разрешается в тонику... доминантсептаккорд разрешается в тонику...» – и ему становилось легче. Разве? Нет, никого не спасают мантры, когда тихо тлеют собственные пятки.

Впрочем, у каждого свои заветные мантры. В первые дни, после зверских допросов (капитан яхты правду сказал: *они играли на всех инструментах*), приходя в сознание, Леон пытался вызвать в памяти несколько финальных тактов «Ликующей Руфи». Ария Руфи – она мягко ложится на голос любого, даже средненького контратенора и поется раздольно и легко: там наверху всего лишь «ля» второй октавы:

Dove morirai tu, moriro anch'io e vi saro sepolta.

«Где ты умрешь, там и я умру...» (*Это вряд ли, не дай тебе боже, моя любимая!*)

Il Signore mi punisca come vuole,
se altra cosa che la morte mi separera da te.
Mi separera da te.

«Пусть то и то причинит мне Господь, и даже больше причинит, смерть одна разлучит меня с тобою...»

Пусть то и то причинит мне Господь... хм... довольно обтекаемый реестр пыток; к тому же вряд ли эти человеческие забавы проходят по божественной ведомости.

Да и глубоко, Господи, сверху не разглядеть, сквозь все-то слои бетона. Поглубже ада станет... Интересно, в какой круг поместил бы Данте эти сменяющие друг друга темницы?

Его перевозили с места на место по ночам, в наручниках, крепко завязав глаза. Несколько раз тащили длинными подземными туннелями: он определял это по затхлому холодному запаху бетона, промозглому холоду и утробному эху. Значит, правда, что у «Хизбаллы» в Ливане такая же разветвленная подземная паутина, как и у «Хамаса» в Газе. В первые дни его перевозили, опасаясь неизвестно чего, и на новом месте всегда поджидал новый, полный сил *следователь*, который принимался разрабатывать свою версию:

– Ты работаешь на американцев? Ты работаешь на израильтян?

– Я певец... откройте «Википедию»... откройте «Ютьюб»...

В глазах у Леона – в те дни, когда получалось их разлепить, – рябило от пятнистой камуфляжной формы. Со временем по привычке и даже стал кое-кого различать. Прояснились трое – вероятно, приставленные его сторожить, кормить, таскать на допросы и перевозить из одной дыры в другую. Самый молодой из них, Абдалла – маленький, востренький, с рваной речью заики, чем-то напоминал Кнопку Лю – и в руках все тот же «калашников», что гордо реет на их желтом знамени. Вторым был брезгливый верзила Джабир; неизвестно, как его занесло в эти бравые ряды: у него всегда что-то перевязано – палец, запястье, лодыжка... Леон подозревал, что это уловка такая. Джабир выполнял все, что приказывал ему старший, Умар, тот, кто единственный немного говорил по-английски, но по лицу видно было, как верзила брезговал Леоном, всегда сочащимся

какой-нибудь сукровицей, – вонючим, с бородой, заскорузлой от крови, с дико отросшей гривой.

В этот бетонный мешок (вероятно, подвал под одним из домов или мечетей в одной из деревень долины Бекаа – оплота боевиков «Хизбаллы») его перевезли некоторое время назад, и по тому, что уже два дня не волокли на допросы, он понял, что спектакль катит к финалу. Долго он вил эту нить, но когда-нибудь все кончается... Штука была в том, чтобы выдавать крошки бесполезной для них правды в самое нестерпимое мгновение пытки, когда еще хочется остаться в живых; ибо сразу за этим следует миг-оборотень, нестерпимая алчба смерти, когда даже пытатели устают от допроса и могут не выдержать – пристрелить или полоснуть по горлу ножом. Дьявольский дебет-кредит, мучительный приход-расход; точка равновесия душераздирающей боли...

Впрочем, как учил их инструктор: боль от пыток притупляется. Верно, притупляется... Но Леон громко верещал, *он криком пел*, так что *эти* затыкали уши и иногда не выдерживали, били отчаянно, чтобы он потерял сознание, замолчал, подох... а забытье, отключка, *небытие* – было счастьем.

Он уже прошел многие стадии. Сначала пустился в простейшее: плакал, умолял, клялся, просил минутку передышки – что взять с артиста. Тут не следовало переигрывать: безусловно, *те*, на яхте, передали *этим* в подробностях, как он за пятнадцать секунд отключил двух бугаев Гюнтера и прикончил в воде его самого. Так что *артист-нидар* тут не канал.

Затем пришли самые страшные мгновения *первого физического воздействия*, первой пытки, когда все твоё нутро вопит, не веря, что *это на самом деле*, что *это происходит с тобой*, длится и длится, и возвращается к пронзительному истоку невыносимой боли; что *другие люди* совершают с тобой *такое*... Вслед за тем наступила стадия, которой психологи давно уже дали название «стокгольмский синдром», – несколько омерзительных дней бесконечной жалости к себе, а также к *этим несчастным парням*, у которых *просто нет выхода*, ибо *они суть и есть ты сам*, только в *других обстоятельствах*, и так далее...

Именно жалость к себе и доверчивая любовь к палачам была чревата самой большой ошибкой, самой бесповоротной бедой: если б вдруг, не выдержав, он закричал-заговорил по-арабски, не просто отождествляя себя с мучителями, но еще и вливаясь в них всею кровью, всей жаждой выжить, остаться и быть – пусть и с ними, здесь, навсегда!

Вот тогда все действительно закончилось бы в считанные дни.

Спасал его неизменно Артист, тот самый, что всю жизнь властно правил его личностью и ни разу еще не подвел. Именно Артист в последнюю минуту твердо говорил ему: «Стоп! Это – театр, это просто очередная роль; ты выучил свою партию, и другой в *этом* спектакле у тебя быть не может. Так допой, доиграй свою партию до занавеса».

Тогда он просто входил в образ: это пьеса такая, говорил он себе, подбирая большим пальцем струйку крови изо рта, из носа, – современная опера мудака-экспериментатора, поставленная другим мудаком-экспериментатором, явным мазохистом: на сцене пытаются, добиваясь от главного героя бог знает чего, демонстрируя бывалому зрителю «весь вопиющий ужас вонючих дыр нашего мира». И поскольку партия героя мелодически и гармонически должна соответствовать замыслу режиссера, ждать от актера человеческих звуков не приходится. И он вступал...

* * *

Здесь было сухо. То есть, конечно же, сыро и темно, и постоянно кружила над ним назойливая вонь его собственного паленого мяса... Но по крайней мере он не валялся среди луж крови и нечистот предыдущих обитателей несметных темниц этой подземной страны. Лежал щекой на холодном бетоне, время от времени уплывая в разверстые декорации золоченых ворот древнеегипетских Фив, и слышал собственный голос, прерываемый быстрым топотом крысиных лапок...

Пока *они* не поняли, что крысы почему-то не пугают его и почему-то не желают его грызть, *они* бросали его голым в простой, но остроумный зиндан: спускали на веревке, завязав лишь полотно на животе, чтобы твари не выгрызли внутренности.

Пусть то и то причинит мне Господь...

Это дух белой крысы Буси, убиенной за Леона, вступился за него на просторах крысиного рая? Он с ними шептался, с крысами, иногда тихо им пел. Кое-кто из них приближался и обнюхивал его: крупные шелковистые животные с щекотливыми веревками длинных хвостов. Странно: ни одна не укусила ни разу, что произвело на *ребятушек*, особенно на Абдаллу, убойное впечатление. *Может, он – шайтан? Может, крысы его боятся? Может, его поганое мясо отдает Геенной!*

Много идиотских предположений выслушал Леон, сидя мешком у стены, свесив голову и пряча лицо – если позволяли сидеть *они* и позволяло сидеть истерзанное тело – или валяясь у них под ногами. Ни в коем случае не показать, что ты понимаешь каждое произнесенное слово. *Арабский брат* (бурный поток арабской, без акцента, речи – новая легенда, новая история, которую следует из пленного вытянуть, задокументировать и передать в Центр, а значит, продлить его жизнь еще на какое-то количество дней) – это будет последней версией, последней ниточкой, прибереженной на последние минуты перед расстрелом, повешением, сожжением, отрезанием головы или что там еще следует по ихнему преискуранту казней.

Приходя в сознание, он молча пел (связки все равно работают), молча распевался «Ликующей Руфью». В удобном для распевки эпизоде на минуту и двадцать секунд зашифрован рабочий библейский артефакт: «Пусть то и то причинит мне Господь...» шло на глубоком крещендо, последняя же фраза: «Смерть одна разлучит меня с тобою!» завершалась не в минорно-уменьшенных или терпких гармониях, как того, казалось бы, требовал трагический текст, а возносилась к небесным эмпиреям в жизнеутверждающем мажоре, да еще на фортиссимо: финал-апофеоз!

Слава богу, горло они не трогали: пленный должен говорить. И еще повезло: когда на первом же *настоящем* допросе двое поволокли его на кучу тряпья в углу комнаты, один из его охранников, старший, Умар, крикнул: «Эй! У этих артистов СПИД у всех, поголовно!»

И – сработало! Его швырнули на пол и принялись остервенело избивать ногами, целя ботинками в пах... Тогда он заплакал в первый и последний раз – от облегчения, сворачиваясь криветкой, вопя и радуясь дикой боли; любой дикой боли, *только не той, о ликующая Руфь...*

* * *

Айи не было, ее не существовало – она осталась плыть где-то там, в оцепенении своего скульптурного сна, грудками вверх, под парусами своих соболиных бровей – как облако плывет на небе, отныне для него не существующем.

Айю он себе запретил – с той минуты, когда всесторонне отрабатывалась и на всех его членах обрабатывалась легенда одержимого мстостью жениха. И то сказать: держался он на ней немало. Впрочем, скоро упустил счет времени, когда провалился без памяти незнамо сколько после

особо пристрастного допроса с участием Чедрика. Этот сопровождал его всюду и лютовал без всяких границ. Это он яростно выплюнул: «Ложь!» – на осторожно и убедительно сыгранную Леоном историю *насилия над девочкой...*

– Он лжет! – крикнул, стиснув, как от боли, лошадиные зубы. – Гюнтер не интересовался бабами!

– Ну конечно, – не поворачивая головы, с издевкой отозвался старший из них, Умар. – Тобой, только тобой он интересовался... – И головорезы в комнате невольно заржали: так нелеп был громила Чедрик в образе возлюбленной.

Тогда Леон впервые почувствовал, что *местные* ненавидят и презирают Чедрика, считают его обузой, которую вынуждены терпеть, проклятым надоедадой, соглядатаем, присланным из Тегерана.

В первое время из Центра приезжали, сменяя друг друга, несколько человек; тогда допросы ужесточались, до обмороков, до обильных кровотечений, до нескончаемого нутряного стога:
сдохнутьсдохнутьсдохнутьсдохнутьсдо-о-о-о-о-о-о-о-о!!!!..

– На кого ты работаешь? На американцев? На израильтян? *На-кого-ты-работаешь?!*

Я артист, шептал он разбитыми губами, я певец... Откройте «Ютьюб»... откройте «Википедию»...

– Кто послал тебя убить Гюнтера Бонке? *Кто-послал-тебя-убить-Гюнтера-Бонке...*

Мне плевать, кто был этот мерзавец Гюнтер... Я мстил за невесту... я певец, вот... послушайте...

– Заткните кто-нибудь его канареечную глотку! Я не могу больше слышать этот визг!

– Его надо заткнуть с другого конца, тогда он запоет по-настоящему...

– Вот ты и затыкай, халлас!^[71] Лично я обойдусь без французского СПИДа...

Мастера допроса менялись от перемены географии, но *рабочая группа* – Умар, Абдалла и Джабир – сопровождали его всюду. И если выпадали дни, когда ни один из *серьезных людей* не являлся по его душу, святая троица ловила кайф: карты, *наргиле*, травка... забывая, правда, кормить его.

Леон подозревал, что его давно бы оставили в покое, приберегая

на обмен, как они это делали с остальными пленниками, если бы не безумный Чедрик. Все слышали, исступленно твердил тот, что Гюнтер кричал: канарейка – разменная монета! Что это значит?! Он что, его знал?! Гюнтер не сможет уже ответить – значит надо выжечь, выколотить правду из канарейки!

...Из того, что время от времени в очередной бетонный или земляной ад к Леону спускался некто, внимательно осматривавший его раны и делавший толковые перевязки (у всех местных группировок были прикормленные врачи, и зачастую хорошие врачи: кто-то же должен оперировать, перевязывать и выхаживать раненых боевиков), Леон заключил, что его намерены придержать на всякий случай, дабы выяснить, на сколько может потянуть подобный странный товар. Будь он просто очередным иностранцем, журналистом, сотрудником какой-нибудь миссии, да просто певцом, случайно угодившим им в лапы, они бы сами через посредника пытались выйти на представителей Франции или на Красный Крест – на любую организацию по обмену или выкупу пленных. Но Чедрик, Чедрик, маниакально преданный памяти хозяина, – он неустанно доказывал, что из Леона далеко не все выколотили. И сам брался за «разговор», отлично владея всеми их адскими инструментами допроса, пока местные не вмешивались, не давая ему прикончить Леона – чего, конечно, страстно великан желал, но и опасался: такое мощное развлечение, такой чудесный допинг вдруг оборвется со смертью канарейки? Ну нет – ведь дохлые канарейки не поют.

Порой чудилось: потеряв хозяина, Чедрик прилепился к нему, Леону, в извращенном стремлении служить хотя бы таким образом: пытая.

* * *

Все свободное время охранники резались в карты. Иногда в «басру», но чаще в наиболее распространенный в Ливане «тарнииб». Карточные игры, как и другие особенности игровой индустрии Ближнего Востока, Леон неплохо знал по служебной необходимости: когда-то в рамках спецоперации против галилейских арабов, причастных к трансграничной наркоторговле, он месяца два проработал барменом в популярном *Casino du Liban* в Джунии – портовом и курортном городке в десяти километрах от Бейрута.

Ливанских торговцев, как обычно, контролировала «Хизбалла»,

в частности, один тип из Мардж-Аюна: он готовил каналы для переправки в Израиль не только наркотиков, но и оружия, время от времени захаживая в Casino du Liban.

(Леона звали тогда Абдулазиз абу Бодрос, был он подданным Иордании, родом из деревни под Аккабой. Знал там, само собой, каждый камень и все время сбивался на иорданский диалект. Он всем улыбался: бар казино был идеальным местом «поговорить-послушать», особенно когда после выигрыша развязывались языки.)

И легенда его в тот раз была предельно проста: приехал к двоюродному брату, тот и пристроил его в хорошее место.

(Двоюродный братец был первоклассным агентом, впоследствии заработавшим от конторы вольную, – на редкость удачная судьба, если не считать того обстоятельства, что для вольной ему пришлось угодить под машину и навеки остаться инвалидом.)

Так вот, по отдельным репликам Леон определил, что играют в «тарнийб» и что Чедрика принимают в игру четвертым – именно в этом качестве он еще ими терпим.

А через несколько недель Леон понял, что один из парней, психоватый заика Абдалла, задолжал Чедрику огромную сумму в ливанских лирах – в переводе на американские доллары что-то около трех тысяч.

...В связи с чем у него возникла навязчивая мысль: не задумают ли ребятаушки кому-то втихую его перепродать, тем более что за последние недели допросы (если не считать постоянно пылающей ненависти-страсти Чедрика) случались все реже.

Такое здесь бывало: группировки боевиков приторговывали пленными. Но тогда возникала опасная вероятность оказаться в руках совсем уже отпетого сброда, падкого на деньги.

Навозные тучи отпетого сброда летали по просторам Ливана, Ирака и Сирии без всяких границ. Просчитавшись в торговле, сброд церемониться не станет: если правительства или правозащитные организации не желают «вступать в переговоры с террористами», несчастному заложнику просто и элегантно сносят кумпол – разумеется, запечатлев кровавую забаву на видео: как же без прогресса...

Иногда, в спокойные дни Леона охватывала безумная надежда: не может такого быть, чтобы кто-то из своих не работал сейчас над его освобождением! Выжил же Натан, вернулся же он домой... Только бы голос остался, Господи, сохрани мне голос!

И легко, вдохновенно принимался выстраивать ходы: то письмо,

посланное им на адрес Шаули, – неужто оно не дошло? Да нет, непременно дошло и прочитано. Так что же – его проклинали? Стерли его имя со скрижалей *конторы*? В это он не верил, если только... если только жив Натан Калдман.

В том, что Айя сделала все, как он велел, у Леона и сомнений не было. Он доверял ей, как себе самому. Умная, рискованная, наученная этим миром *по самое не могу*, – она была *его женщиной; женщиной его жизни*.

И не ее вина, что, скорее всего, эту жизнь им не доведется прожить...

6

Монастырский колокол мерно отбивал двенадцать, когда Меир Калдман свернул на свою улочку в Эйн-Кереме. Он тихонько мычал от боли: посреди рабочего дня, после выпитого кофе, из давно дремавшего дупла вдруг выхлестнулась струя боли, мигом превратив зуб в огнедышащий очаг. Даже после таблетки не стало легче. Пришлось срочно заказать очередь к своему дантисту – тот жил неподалеку, принимал у себя дома.

И что бы там ни говорили про то, как «сегодня у дантистов совершенно безболезненные методы лечения», после неприятнейшего часа, проведенного в опрокинутом виде с разинутым ртом, Меир хотел только одного: принять снотворное и еще одну таблетку нурофена, лечь в постель и, пока в доме тихо (малыш в садике, а близнецы в школе), заспать хнычущий зуб.

Он подъехал к воротам, остановился и вытащил ключ из зажигания.

И тотчас над крышей дома, над золотой россыпью лимонов в верхнем садике, над хребтом всего лесистого ущелья взмыл и надулся тугим парусом страстный настойчивый поток:

U-na furti-iva lagri-ima
Ne-egli occhi suoi spu-unto –

...знаменитый романс Неморино из «Любовного напитка» Доницетти, взятый октавой выше; лавина голоса, неповторимо сочетавшего в своем тембре глубину и высоту:

Que-tlle festo-ose gio-ovani

In-vidia-ar sembro-o...

Опять! Опять этот ненавистный голос разливается по дому, путается в ветвях шелковицы, улетает к бесплотному небу Эйн-Керема, переключаясь с отрешенным боем колоколов монастыря Сент-Джон.

Кончится это когда-нибудь?!

Меир отворил калитку, прошел мощенной плитняком дорожкой к двери в их с Габриэлой половину дома, остановился на минуту в кухне выпить воды... спустился на нижний этаж.

Значит, Габриэла опять не вышла на работу. Она возглавляла компьютерный отдел в одном банке и в последние месяцы позволяла себе «работать дома» – то есть сидеть, безвольно уставившись в одну точку, под *этот* голос. (Под все тот же проклятый голос!)

Меир застал ее в спальне. Сидит на низком пуфе у стены – в белых шортах и свободной застиранной майке, которую давно пора бы выкинуть; лицо совершенно бессмысленное, будто кто-то вусмерть запытал ее этой музыкой. Длинные загорелые ноги бессильно вытянуты вперед, руки повисли... Воплощенная Скорбь, с ненавистью подумал Меир. И эти невымытые космы, разве что пеплом не посыпанные, – да она вообще расчесывалась сегодня?

Она не слышала, как Меир вошел. Лишь когда он выключил стереосистему и исполненный счастливой истомы голос Леона оборвался на плавной дуге легато...

Габриэла резко подняла голову и уставилась на мужа. Он стоял напротив – высокий, грузный, сильный, начавший лысеть, как отец. Очень похожий на Натана, только беспомощный.

– Что будем делать, Габриэла? – тихо спросил он. – Что мы будем делать с нашей жизнью?

Она не отвечала, вяло уставясь в проем раздвинутой стеклянной двери, где от полуденного ветерка нежными шажками в каком-то робком танце двигалась по ковру легкая темно-синяя занавеска.

В течение последующих пяти минут – как нередко бывает в жизни – у этой многолетней супружеской пары, с утра начавшей обычный день двумя-тремя обиходными словами и расставшейся с тем, чтобы вечером встретиться за ужином с детьми, состоялся обмен несколькими судьбоносными фразами – из тех, что обрушивают плотины устоявшихся

жизней.

Потом ни он, ни она не могли припомнить начала этой смертельной дуэли.

Кажется, Меир первый заявил ледяным тоном, что не позволит уничтожить их жизнь, что ей, Габриэле, пора принимать антидепрессанты, что это курам на смех, когда человека выбивает из седла неприятное происшествие с кем-то посторонним, пусть даже знакомым по юности, но не имеющим никакого отношения к семье. Что, наконец, это недопустимо, когда дети видят мать абсолютно апатичной и развинтившейся... Вот даже малыш вчера...

...И тогда, не меняя позы, так же пристально глядя в угол на вальсирующую занавеску, Габриэла спокойно сообщила ему: кстати, о семье, малыш – ребенок Леона...

Меир захлебнулся коротким ошеломленным смешком.

– Кто – мой Рыжик?

– Сын Леона, – тупо повторила она.

– Мой Ры-жик?

– А ты его мамашу видел? Одно лицо...

Все произошло очень быстро: несколько кадров малопрстойного клипа.

Получив оплеуху, Габриэла отлетела к дверям, но быстро поднялась на четвереньки, словно тяжелая рука мужа придала ей наконец недостающей энергии.

– Ну, что же ты? – выдохнула она. – Давай прикончи меня. Убивай, как ты его убивал тогда ночью...

– Я его не убивал! – прорычал он.

– Убивал! – сказала она торжествующе, изучая мужа сквозь упавшие на лицо пряди волос. Было что-то первобытное, что-то пещерное в ее позе. – Я видела, хотел убить и убивал!

– Но ты, помнится, была тогда в восторге от нашей драки, – проговорил он, внимательно за ней наблюдая. Почему, черт ее дери, она не поднимается с карачек? Просит, чтоб я еще разок наподдал ей ногой под зад?

Пролеченный зуб, как потревоженный осьминог, вдруг выпустил огненные щупальца до самого дна бедной челюсти. Хоть волком вой.

– Послушай, – пробубнил Меир, усаживаясь в кресло, машинально успокаивая ладонью взбесившийся зуб. – Мне плевать, если ты с ним переспала... Я и тогда его перешиб, и сейчас перешибу.

– Лжешь! – тем же торжествующим тоном отозвалась она. – И тогда не перешиб, а сейчас и подавно... Ты забыл мелкую деталь: он все равно и уже навсегда – был первым. Кстати, вот в этой комнате. И был прекрасен: легкое чуткое тело, нежное – как его голос. А я ведь тоже была у него *первой*, и мы любили друг друга, мы открыли друг друга... Вот что тебя выжирает изнутри всю жизнь.

– Что ты за тварь... – с тоской проговорил Меир, чувствуя, как с новой силой взмыла боль – уже не зубная: ноющая, небрежно залеченная боль всей его семейной жизни. – Провокаторша, разрушительница! Чего ты добиваешься – сейчас? Ну хорошо, можешь проваливать. Ты же понимаешь, что после такого признания любой адвокат свернет тебе шею, просто завяжет твою длинную шею узлом. Детей ты не получишь, хоть двести раз повторяй, что Рыжик не мой сын. Чушь! Это мой ребенок... А Леон не вернется.

– Почему? – крикнула она. – Твой отец ведь вернулся?!

– Мой отец вернулся, потому что мы готовы были платить за него полной мерой и заплатили. За твоего Кенаря никто платить не собирается. Кто он такой? Сейчас он к нам не имеет ни малейшего отношения.

– Ах ты гад... – прошептала она. – Все вы – гады! Ни малейшего отношения?! Он для вас... ради вас... Вы годами шантажировали его – любовью к прошлому, всем этим *братством нашей трудной юности*... всеми этими *штучками*, на которые вы так горазды! Выдергивали его из нормальной жизни, его – бесценного, бесценного артиста! Не отпускали, держали на привязи! Он же на вас работал!

– Дура! – резко оборвал жену Меир. – Он нам все испортил! Провалил подготовленную операцию. Из-за него эта чертова «передатка» преспокойно достигла Бейрута, и мы не могли ни перехватить ее, ни даже уничтожить – потому что, видите ли, на яхте находился Кенарь! Он и – начинка для «грязной бомбы» «Хизбалле». Счастливого пути!

Интуиция и опыт подсказывали ему, что сейчас не стоило бы давить на этот нарыв, что умнее всего спустить ситуацию на тормозах, уйти отсюда, слинять – хотя бы на родительскую половину дома, – спокойно дожидаться вечера, когда дети за столом, перекрикивая друг друга, хохоча, ругаясь, капризная, сами собой (особенно болтун и смешнюга Рыжик) постепенно залечат, залатают родными голосами эту ужасную сцену.

Но остановиться уже не мог. Рыжик! Любимец, его слабость, его сладость... не его кровь?! Не его семя?! Чушь!!! Эта мерзавка просто лжет, чтобы разодрать самое уязвимое в сердце мужа. Тогда и она сейчас получит.

– Он всегда путал сцену с жизнью, твой драгоценный Кенарь! – злорадно добавил Меир. – Решил, что он и тут – солист. Заигрался мальчик. Полез исполнять главную роль и – сгорел. Так что поделом ему...

Габриэла так и не поднялась с пола, сидела, привалясь спиной к стене; лицо ее было бледнее, чем недавно наклеенные серебристые обои, которые настолько им приглянулись, что они везли их на самолете из Италии, где всей семьей отдыхали на вилле под Флоренцией.

– А сказать тебе, почему ты тогда хотел его уничтожить? – тихо спросила она. – И сейчас мечтаешь, чтобы он сгинул? Сказать?

Она продолжала пристально следить за фигурой мужа, не убирая со лба свисающих на лицо прядей. Что-то невероятное, что-то безглазое есть в этом разговоре сквозь пелену волос, подумал он, как вся наша жизнь; и, криво ухмыляясь, бросил:

– Ну, скажи... Думаешь, за *тебя*, да? Чушь. На самом деле, я...

– На самом деле, – перебила она его звенящим от напряжения голосом, – ты ему не мог простить свою мать.

Повисла пауза, перебиваемая только шелестом кроны той старой шелковицы в патио, на которую все они лазали в детстве, – до сих пор она приносила сладчайшие плоды...

– Что?! – тихо произнес Меир с обескураженным лицом.

– Ты не мог простить, – отчеканила Габриэла, – что Магда давно его любит... Молчишь? То-то... Просто любит, и все. Как баба. Это ведь возрасту не подвластно. Это так всегда и бывает: голос его, улыбку, руки... Главное – голос. Думаешь, я не помню, как у нее дрожали губы, когда он только рот открывал? Она его любит с тех пор, как увидела мальчишкой – неопрятным, лохматым, бедно одетым... Я все помню! У меня отличная память.

– Ты... ты... – боль, пульсирующая в челюсти, хлынула ему в грудь и там запеклась, как сгусток крови. – Так это ты сводила свои бабские счета с моей матерью, которой в подметки не годишься! С моей матерью – эталоном верности и благородства?!

– Вер-но-сти?! – Габриэла захохотала. – Бедный, бедный сыночек... Бедный дурачок... Ну, уж конечно, когда тебя зачали, верность была ее единственным делом... Да весь Иерусалим знал ее любовника – как раз когда твоему папаше отбивали почки...

Он ринулся к ней через всю комнату, отшвыривая стулья – удавить ее, чтобы заткнулась навсегда! Чтобы ни слова больше, ни единого слова! – схватил за горло, поднял с пола одним движением, как курицу... и держал

так, все сильнее сжимая пальцы, преодолевая желание разmozжить ее голову о стену.

– Меир!

Меир не слышал... Его сжигала ненависть, душная, темная ненависть – к Леону. Это Леона он сейчас держал, все сильнее сжимая его горло, не обращая внимания ни на хрип жены, ни на окрик ошеломленного отца, заглянувшего со своей половины дома на слишком громкий разговор детей, – сжимал, чтобы Леон наконец *перестал звучать*, перестал его мучить...

– Меир!!! – крикнул Натан, подбежал и повис на сыне. И поскольку тот не выпускал добычи из замкнувшихся в судороге лап, навалился на него и стал бить, куда пришлось куда попадал, – задыхаясь, слабея и выкрикивая имя жены – в помощь.

Когда на вопль Натана в спальню влетела Магда, Габриэла уже валялась на полу с мутными глазами на багровом лице, хватая воздух распяленным ртом. Меир же, будто проснулся, с ужасом глядел на нее, пятясь к двери...

– Я не... – бормотал он, мелко трясая головой. – Это не я...

– Пошел вон, – тихо приказала Магда сыну. – Убирайся!

Но Меир все топтался в дверях – большой раненый человек, – кривясь от тягучей боли в груди, переводя взгляд с матери на отца. Невозможно было пережить то, что сейчас тут было сказано...

– Ты не знаешь... – сказал он отцу дрожащим, высоким, каким-то детским голосом, – ты не знаешь...

Тот грубо толкнул его в плечо, выпихивая из спальни, оттесняя к лестнице, молча указывая подбородком – убирайся, пошел вон!

– Ты просто не слышал, что она сказала про маму, – еле шевеля губами, бормотал Меир.

– Я все слышал, – бросил Натан, серый, какой-то обескровленный; даже крошечный семейный скандал уже не мог встряхнуть его, не мог придать ни капли энергии, возмущения или боли. – Она – баба, доведенная до ручки. А ты поверил ей, говнюк. Ну и разбирайся теперь с самим собой...

Когда Меир выбрался к машине и сел за руль, не понимая, куда ему ехать и что делать с семьей, с детьми, со всей своей жизнью, за какие-то пять безобразных минут обернувшейся пепелищем сыновней, отцовской и мужней любви, колокол Святого Иоанна вновь почему-то ожил тревожным гулом, неурочным и неуверенным, как проснувшийся в темной

пещере путник. И долго маялся в пустоте высокого неба с бездушным прочерком стылого коршуна, ахая, дрожа, никак не затихая...

Известие о внезапной кончине Натана Калдмана привело в движение – как это случается во всех подобных структурах и ведомствах – самые разные группировки и альянсы.

И хотя до похорон все следили за правильным выражением лиц и горячим выражением соболезнований семье, там и тут в кулуарах и кабинетах, в телефонных намеках и домашних бдениях забродили слухи, соображения о неперемненных перемещениях, забрезжили чьи-то надежды, заплелись чьи-то сговоры.

Впрочем, мало кто сомневался, что должность Калдмана перейдет по наследству: у него была репутация человека, не выпускавшего вожжи из рук и не пускающего дела на самотек. И если уж на то пошло: чем, по справедливости, плоха кандидатура его сына Меира? Даже недруги признавали, что стремительное восхождение его *в конторе* за последние два-три года – отнюдь не отцова заслуга. Никто бы не стал возражать, что башка у младшего Калдмана варит не хуже, чем у старшего.

Куда больше потрясло свидетелей (немногих, кому довелось оказаться в офисе *конторы* в тот утренний час) явление вдовы Калдмана с белой крысой на плече. *Ого, это было посильнее, чем тень отца Гамлета!*

Об этом пересказывали пересказы еще несколько месяцев после *визита*:

– ...И вот, представь: тело мужа лежит непохороненным, а она является сюда такой седой фурией, с крысой на плече! Очуметь можно! Чем тебе не античная трагедия!

– Да брось ты. Не античная и не трагедия, а цирк и сумасшедший дом. И что, она прямиком двинула в кабинет к Нахуму?

– Ну, а я тебе о чем! Недотепа этот, секретарь, сунулся мягко возразить, обежать ее кругом... ты ж знаешь, Нахум скальп с него снимает за любой пропущенный гол. Так она смела его одним взглядом, невозмутимо вошла к Нахуму и прикрыла за собой дверь.

Собственно, так все и произошло.

Магда притворила дверь, подошла к столу онемевшего Нахума Шифа

и – прямая, иссохшая, крахмально-седая (ни слова приветствия, ни тени улыбки) – проговорила:

– В наше время человек растворяется очень быстро, Нахум. Человек и его дела. Я пришла предупредить: если вы немедленно не начнете *настоящую работу* по вызволению Кенаря, я взорву здесь всех вас.

Лицо Нахума Шифа нервно дернулось в улыбке, и хотя его глаза – очень синие, с черной точкой зрачка – остекленели от ярости, мягкий его голос задушевно протянул:

– Магда, Ма-агда! Боже, я не верю своим ушам...

Он поднялся из-за стола и подошел к ней, протягивая руки, точно собирался обнять. Но оказавшись где-то на уровне ее плеч, руки опустились – неизвестно, как эта мерзость, крыса эта отреагирует на прикосновение к хозяйке: пожалуй что и укусит!

Нахум не был великаном, поэтому его пронзительные глаза василиска вбуравились вровень в невозмутимое лицо Магды, будто пересчитывая и запоминая все ее морщины.

– Ты просто в горе, ты в шоке, – сострадательно продолжал он. – Сама не знаешь, что говоришь. Мы все горюем: Натан, золотое сердце, выдающийся ум...

Ни малейшей фальши в его словах не было: когда-то, лет тридцать назад, они с Натаном были довольно близкими друзьями и все последние годы, в сущности, решали сообща очень многие трудные задачи. Но почему-то в присутствии Магды Нахум всегда ощущал себя лжецом и шарлатаном; эта проклятая баба умела даже переглядеть его невыносимые для многих ледяные глаза. Вот и сейчас, ощутив в собственном голосе непростительную неискренность, он отвел глаза и заторопился:

– Что касается того дела, с... э-э... Кенарем, то... во-первых, ты знаешь, мы занимаемся им и прилагаем все усилия... Дело непростое, как и любой... э-э... обмен. Весь вопрос в том, что мы можем предложить, не обнаруживая себя, – иначе его сразу уничтожат.

– У вас есть генерал Махдави! – оборвала она его.

Нахум поморщился. Если б не память о Натане, он бы вышвырнул из кабинета эту чокнутую старуху. Сегодня состоятся похороны, и пусть они пройдут в надлежащей атмосфере. А там все вернется на круги своя, и с Меиром гораздо легче договориться. Меир умный человек.

– Да? – усмехнулся он. – А я и не знал. Видимо, жены наших сотрудников знают кое-что лучше меня...

Она подняла на него глаза и так же спокойно проговорила:

– Я прожила с разведчиком всю жизнь, Нахум. Можешь вообразить, сколько я знаю: я напичкана сведениями, как электронная аппаратура. И ты понимаешь, какие у меня связи – еще от покойного Иммануэля, да и от Натана... Вообще, от нашей длинной жизни за границей, из нашего дома, в котором кто только не бывал...

Она шагнула к нему, приблизив свое лицо неприлично, почти интимно, понизив голос так, что он зашелестел между ними, как змея в траве. И такую спеленутую ярость ощутил в этом голосе Нахум, что инстинктивно отшатнулся.

– Говорю тебе: я взорву здесь всех вас к чертовой матери. Парочка интервью двум-трем европейским газетам, кое-что о продажах оружия, кое-что о странных исчезновениях, о ликвидированных иранских ядерщиках; кое-что о пленном генерале Бахраме Махдави... Западная пресса встанет на задние лапы и оближет мою задницу.

– Магда... – пробормотал Нахум в замешательстве, – дорогая... Ты?! Ты не предашь своей страны и своего народа! Нет, ты этого не сделаешь.

– Я сделаю именно это, – холодно оборвала она его. – Мне нечего терять. И если у вас появится искушение слегка подправить мою манеру водить, то учти: я обо всем позаботилась. Натан бы мной гордился. Я даю вам два месяца, – продолжала она. – Если через два месяца Кенарь не вернется, *мой человек*, что бы со мной ни случилось, пустит в ход те документы, которые сегодня ночью я нашла в домашнем сейфе и уже переправила в надежное место. Полагаю, Натан приготовил их ровно для той же цели: он выдыхался и не был уверен, что вы не захотите заткнуть ему рот.

– Господи, Магда, что за слова! – Вид у Нахума был оскорбленный, и, похоже, он действительно был сильно обижен, обескуражен, взбешен. – Я не верю тому, что слышу! До чего мы дожили и где мы живем!

Уже направляясь к двери, Магда на эту реплику резко обернулась. Белая крыска потопталась на ее плече, удерживая равновесие, и привычно замерла.

– Мы живем в дерьмовом мире, где вонь стоит до небес, – отчеканила Магда, – так что морщится даже бог, который тоже уже провонял.

Выдержав секундную паузу, она сказала:

– Надеюсь увидеть тебя на похоронах Натана.

Когда Магда покинула кабинет Нахума Шифа, его секретарь трусовато заглянул в дверь, так и оставшуюся приоткрытой.

Босс сидел за столом, в бешенстве пытаясь прикурить сигарету

от умирающей одноразовой зажигалки, дергающимся углом рта повторяя одно и то же:

– Чокнутая ведьма... Чокнутая ведьма...

Миновав двух охранников, Магда неторопливо вышла к припаркованной «хонде», села за руль и, развернувшись, выехала на проспект.

Проследив за ее машиной, один охранник подмигнул другому и сказал:

– Вдова Калдмана... Видал лицо? Спокойна как слон. В одном русском мультике, еще в Союзе, была такая старуха с крысой: Старуха Что-то... Кряк или Шмак... Когда я маленький был, любил смотреть.

* * *

Еще не пробочное время, машина движется в правом ряду спокойно, ровно, не быстро. Гнать не стоит... Ей сейчас нельзя разбиться.

По радио уже передавали некролог (молодцы, подсуетились): «... Генерал-майор запаса... бывший начальник Генштаба... бывший министр обороны... блестящий организатор операций, ставших легендой военной разведки... поднявший на новую высоту... возродивший дух... неустомимо преследовавший врага...»

Разумеется, никаких документов в сейфе не существовало. Сейфа тоже не существовало, да и к чему он Натану, верному сторожевому псу своего народа.

Вот «мой человек» как раз существовал. Они называли так внука Рыжика. Когда тот врет уж особенно заливисто, как дрозд, Натан подмигивает Магде и говорит: «Наш человек!»

Вернее, подмигивал... и больше уже не будет...

С самого рассвета Магда с сыном (после *вчерашнего* она всю ночь судорожно искала его по друзьям и знакомым и с трудом нашла) готовились к похоронам. Ей еще предстояло о многом позаботиться: пригласить на поминки друзей семьи, человек тридцать, в ресторан «Карма» (и недорого, и от дома недалеко), а значит, надо заехать туда, заказать места, продумать угощение.

Натан бы одобрил эти посиделки. Пусть... Пусть скажут много хороших слов, а они и скажут: внезапная смерть всегда огорошивает и вышибает даже у безразличных людей слова сочувствия и сожаления. Натана многие побаивались – в те времена, когда он был силен и изощрен

в своей профессии; но многие и любили его, и все как один безоговорочно уважали. Лет через тридцать о его жизни напишет книгу какой-нибудь журналист, из тех, кого допускают к краешку подлинной информации, похороненной в таких глубоких сейфах, что проще о ней забыть. Возможно, когда-нибудь в его честь назовут улицу или школу, спокойно думала Магда, – если не забудут о нем через год.

Надо было понять, что Натана нет, осознать это, ощутить и смириться. Пока не получалось. Что ж, у нее есть время...

Само собой, Меиру не был известен ее утренний *демарш*, в действенность которого она свято верила. Она была женой разведчика и отлично знала, с кем имеет дело. Простой, как обух по голове, шантаж всегда эффективнее любой сраной дипломатии.

К тому же этот отчаянный шаг помог на несколько сладостных мгновений – пока она смотрела в глаза василиска и видела в них смятение и ярость – забыть беззащитное лицо Натана на подушке в те последние минуты перед приездом «скорой», когда, сжимая руку жены, Натан *отпускал ее душу на волю*.

Она спросила:

– Ты знал?

Он сказал с расстановкой, преодолевая боль:

– Знал, конечно. Свет не без добрых самаритян... Забудь об этом, Магда, ты ни в чем не виновата. Жаль, что мы не обсудили раньше...

Она склонилась к нему, к самым губам – серым и бескровным, – выдохнула в отчаянии:

– Так не бросай же меня – *теперь!* И не бросай Леона... У него никого нет, кроме тебя!

В переулках и тупичках Эйн-Керема ночью может заблудиться кто угодно, не только «скорая помощь».

Впрочем, все равно они приехали довольно быстро, но, как говаривал в свое время Иммануэль: «Подруга-смерть, хотя и передвигается на своих двоих, всегда оказывается проворнее нас».

* * *

Как палая листва под ветром медленно кружит и собирается на асфальте в узоры; как долго вытаивает под медленным солнцем снежный курган, которому, кажется, и сносу не будет; как исподволь в толще звуковой немоты возникает в оркестре еле слышимый звук

английского рожка, и вот уже ему отвечает гобой, и фагот подхватывает тему, и звуки собираются в реплику, в музыкальную фразу, крепнет мелодическая тяга, и отзывается группа альтов, и вступают виолончели... Как, наконец, под плавной рукой дирижера взмывает волнующее соло первой скрипки, этого вечного посредника меж инструментальными группами, этой птицы, ведущей оркестровый клин на простор, к вступлению солиста, к торжествующей свободе человеческого голоса...

...Так чья-то осторожная нога отпустила тормоз, а чуткая рука мягко переключила рычаг *на движение*, и подспудно и вроде бы сама собой стронулась переговорная машина: кто-то где-то в кулуарах то ли правительственных кабинетов, то ли совещаний глав масс-медиа произнес первое слово... Кто-то выдохнул новость, назвав наконец имя захваченного в плен – подумайте только! – певца, солиста Парижской оперы!..

В те же дни некий молодой человек из клана Азари – рослый и лихой красавец, так напомнивший Заре нашего героя, – вылетел в Париж для встречи с дядей, в нагрудном кармане пиджака среди прочих бумаг имея ту фотографию в гриме, которая, естественно, ничуть ему никого не напоминала, тем более – какая чепуха! – его самого... А в Париже с той же фотографией в руках его дядя, известный адвокат Набиль Азари, человек искушенный и осторожный, учредитель известного правозащитного фонда под эгидой правительства Франции, видный деятель на ниве международных контактов, день-другой поразмыслив, сделал несколько пробных звонков: как местных, парижских, так и в Брюссель, и в Гаагу, в Каир, в Стамбул... и, наконец, в тот же Бейрут.

Всюду его внимательно выслушивали: этот человек пользовался уважением в самых разных, в том числе и самых влиятельных кругах.

* * *

Вездесущая лиса Леопольд, надо отметить, в эти дни вновь оказался в Париже и с удовольствием отобедал со своим давним приятелем адвокатом Набилем Азари, когда-то очень пособившим ему в одном щекотливом и дорогостоящем конфликте.

За обедом оба с немалым удивлением обнаружили, что дело, по которому назначили друг другу встречу, касалось одного и того же человека – ну да, певца, контратенора, очень известного в музыкальном мире, но, видимо, страшного идиота: влип в какую-то историю с любовной

местью, а убитый им тип оказался высокопоставленным функционером наших иранских друзей... И все это – на глазах свидетелей, как на подмостках сцены. Ну и угодил в лапы к этим костоломам из долины Бекаа...

– Прямо Вальтер Скотт, – заметил адвокат, подзывая официанта, чтобы попросить еще бокал шардоне.

– Скорее, Майн Рид, – поправил Леопольд. – И одному богу известно, при голове ли еще этот всадник.

Леопольд знал, о чем говорит: он уже побывал в Лондоне по следам опустошенной эфиопом бутылки соджу и уже понял, что история с этим знаком – дурацкая, сентиментальная и глубоко личная. Девушка была странная, объяснили ему в ресторане, как оглушенная... Не хотела слышать, не хотела понимать очевидные вещи.

Короче, если парень жив, продолжал адвокат, кое-кто усердствует вытащить его из вонючих пастей пятнистых гиен. «Наверное, этот “кто-то” – администрация “Опера Бастий”?» – с понимающей усмешкой заметил Леопольд.

Оба они сознавали сложность поставленной задачи. Оба имели давние связи с *La Piscine*, оба понимали, на какие верха предстоит взобраться, чтобы эта серьезная организация в будущих переговорах согласилась *взять артиста на себя*.

Накладывая горку паштета на кусочек булки, Леопольд раздумывал одновременно о двух вещах: не взять ли ему, по примеру Набиля, еще бокал вина и не предложить ли кое-кому у нас такую вот, пофантазируем, версию: *некий русский певец (но! гражданин Франции!) в свое время становится агентом DGSE по кличке... э-э-э... «Тру-ля-ля»! Кто может эту версию подтвердить? Ну-у... скажем, другой агент, крошка-эфиоп, завербованный нами еще в те времена, когда ему срочно понадобилось сменить «калашников» на какой-нибудь мешок для сбора мочи...*

И уже на следующее утро один рискованный журналист, побывавший во многих «горячих точках» планеты и сумевший поджарить себе на этих угольках немало бифштексов, был по-дружески оповещен, что пропавший три месяца назад известный оперный певец (следовали регалии и титулы артиста, произнесенные как бы между прочим) самым неожиданным образом нашелся: захвачен в плен одной из влиятельных группировок Южного Ливана и – как совершенно случайно выяснилось только сейчас –

содержится в ужасных условиях, явно нуждаясь в помощи врачей. Заметка об этом очередном вопиющем злодеянии исламских боевиков была немедленно опубликована в *Le Figaro* и перепечатана сразу тремя крупными новостными агентствами.

* * *

В тот же буквально день безутешный Филипп Гишар, импресарио похищенного артиста, был потревожен звонком от человека, назвавшегося «старым другом Леона». Человек представился: «Джерри – просто Джерри, без церемоний, пожалуйста»...

«Американец», – подумал Филипп в сильнейшей тревоге – у этого типа действительно был американский акцент.

Мягко отклонив предложение Филиппа встретиться в ресторане, тот напросился в гости и хотя не был уверен, что роскошная квартира Гишара не напичкана жучками, очень толково, не подкопаешься, провел сдержанную скорбную беседу, в которой попросил Филиппа связать его с... кем, интересно? С ее высочеством принцессой Таиланда: ее высочество, профессор, доктор наук, знаток и покровитель искусств, особенно музыки – как известно, большая поклонница незабываемого голоса Леона Этингера.

Филипп подскочил в кресле и заорал:

– Еще бы! Она трижды была у нас на спектаклях и каждый раз присылала Леону хренову тучу цветов! Но какие связи у ее высочества с...

Гость заметил скучноватым голосом, что ее высочество покровительствует не только искусствам и дружит с самыми разными, подчас неожиданными представителями международных элит. Даже вот в строптивом и грозном Иране ее просто обожают...

– В Иране?! – вытаращил глаза Филипп. – А при чем тут Иран?!

При том, так же тускло продолжал невзрачный гость, похожий на киоскера, продающего билеты национальной лотереи, что те казаки-разбойники, в чьих лапах Леон оказался, если на что и отреагируют, так только на окрик Ирана.

– Но... – промямлил Филипп.

– ...но Иран ни на что подобное сам не пойдет, – подхватил гость.

Вот тогда и было произнесено имя без вести пропавшего три года назад генерала Бахрама Махдави; вернее, не произнесено, а... На стол перед Филиппом гость выложил бумагу, в которой и значилось имя генерала; пара конфеток для самой принцессы – в виде целого пакета

новейших технологических разработок одного уникального стартапа одной из ведущих в данном вопросе стран; а также билет в Таиланд на послезавтра: дело срочное, мягко пояснил Джерри. И только теперь растерянный Филипп Гишар обратил внимание на железные желваки своего гостя.

Месье Гишар в чудовищном волнении поднялся из кресла и прошелся по комнате... Точно: это американцы, подумал он. Значит, Леон работал на американцев. Когда его успели завербовать и где – в Москве, в годы учебы? Все эти его импульсивные исчезновения, да, конечно... И что это – ЦРУ? ФБР? Филипп ни черта не понимал во всей этой проклятой мути. Послать бы его подальше, этого типа, у которого и внешность типично американская, и манеры всей этой напористой шушеры... Но... вдруг это – единственная возможность вытащить Леона?! Да, сам Филипп ни черта не понимал в дипломатической и секретной возне, но был знаком с человеком, который отлично в ней разбирался.

Остановив свой бег по кругу, Филипп проговорил:

– Вот оно, значит, как... Ну... допустим. Тогда это должен быть не я.

– А кто же?

– Я знаю, кто, – сказал Филипп. И набрал номер телефона все того же человека. Что поделаться: вездесущий, всеохватный и всепроникающий доктор Набиль Азари был известен своими разноплановыми знакомствами, а с ее высочеством принцессой Таиланда просто дружил уже много лет.

Так и получилось, что буквально в считанные дни раскрученная центрифуга, вытолкнувшая с разных сторон несколько версий и несколько персон в сложнейшем деле по освобождению артиста, вдруг сошлась в одной точке, на одном человеке.

Воистину: все пути ведут в Рим, тем паче если «Рим», исповедуя веру в своего тайного бога, предпочитает не выкорчевывать чужих богов, а заручиться их всемерной благосклонной поддержкой.

* * *

Как Леон почуял это движение в обездвиженной сырости очередного – на сей раз земляного – погреба? Это дуновение в спертой вони, в аммиачном духе застарелой мочи, смешанной с металлическим запахом свежей крови, – мельчайшее изменение в поведении его тюремщиков?

Накануне ночью его опять перевозили (он, пребывавший в кротовьей

тьме, не понимал уже времени суток, просто когда его в наручниках, с завязанными глазами, выволакивали и заталкивали в машину, кожей лица чувствовал ночную свежесть, сухой смолистый запах ливанского кедра, звездную благодать природы, которую человек, это гнусное животное, нимало не ценит).

К нему опять наведался врач, осмотрел и перевязал гноящиеся ступни паленых ног. Ему даже сбросили вниз костыль, чтобы к помойному ведру он мог не ползти, а ковылять... И повиснув на этом костыле, он корячился над ведром – счастливый, что оправляется *по-человечески*.

А потом ему на недлинном шнуре спустили лампочку слабого накала, и она теплилась туманной луной где-то наверху, под металлическим люком удивительно глубокого погреба – так затеплилась слабая надежда, хотя он и твердил себе, что это ничего не значит, что это может быть прелюдией к новому витку допросов и пыток, что Восток изощрен в издевательствах...

Он уже не пел, он молчал много дней, уверенный, что распевки эти не понадобятся, ибо *доминантсептаккорд разрешается в тонику* только там, где обитают люди, где воздух чист, где гноящаяся плоть не издает такой удушающей вони, где в футбол играют мячом, а не человеческими головами...

В тот день, когда ему вниз сбросили питу с мятым помидором, он вновь стал молча распеваться. «Ликующая Руфь» не то чтобы воспрянула, не то чтобы поверила в избавление, но – замерла в осторожном ожидании...

И никто и никогда – ни тюремщики его, ни тот, кто в разных концах мира сплетал разрозненные нити в канат, на котором медленно и бережно потянули жертву из глубины мерзкой ямы, ни деятельные участники переговоров, ни сам Леон – никто и никогда! – не узнал, что виртуозным делом выуживания артиста, повисшего над бездной на израненных пальцах, занимались его собственный сводный брат и его собственный дядя.

И вот что поразительно, что непременно: какими бы секретными ни были переговоры, как бы ни пеклись стороны о предотвращении утечки информации, так уж заведено, что в один прекрасный день слухи о грядущем обмене пленными непременно воплотятся в нескольких предположительных фразах, набранных типовым шрифтом в самом хвосте новостной полосы.

Она и выхватила из новостной полосы агентства *France-Presse* эти несколько фраз о начале секретных контактов между представителями некоего правозащитного правительственного фонда и представителями некоей ливанской группировки по вопросу освобождения из плена гражданина Франции, оперного певца, попавшего в руки вышеупомянутой группировки при невыясненных обстоятельствах, точка.

Имя Леона не называлось, но двойной канонадой грохнуло у Айки в висках и в животе, где немедленно забился неугомонный ребенок, за последний месяц не дававший ей ни минуты передышки.

Все в этом сообщении должно было вызвать недоумение рядового обывателя: как он там оказался, сей французский соловей, что забыл в тех ливанских дебрях? На что обывателю легко возразил бы человек осведомленный: подобные захваты иностранных граждан в последние годы стали настоящей ближневосточной коммерцией.

Она перетаптывалась за стойкой ресепшн пятизвездочного отеля «Континент», одного из самых роскошных в центре Бангкока, – оформляла большую *громокипящую* семью израильтян: мама с папой лет под сорок и пятеро детей, разбежавшихся по всему огромному мраморно-зеркальному холлу. Сверяла в компьютере данные по заказу, а глаза потрясенно метались, пытаясь еще раз выхватить *Ликующую Весть* с экрана ноутбука, круглосуточно открытого перед ней везде, где бы она ни оказалась: на работе, в кафе, в благословенной шестиметровой камерке, выданной ей «под ночлег» добрейшим дядькой, главным администратором отеля.

Перед глазами в знакомой наизусть поэтажной сетке номеров прыгали и плыли пустые клеточки.

Она была близка к обмороку – если, конечно, в жизни, а не в книгах, случаются обмороки от счастья.

* * *

Отель «Континент» был вершиной и, увы, скорым завершением ее здешней карьеры. С самого начала ей страшно везло: скрыв глухоту (не привыкать), она устроилась стюардессой на внутренних авиалиниях и даже прилично полетала. Но когда ее однажды едва не стошнило прямо в салоне самолета, вынуждена была уйти: пора и честь знать. И опять повезло: ее взяли преподавать английский в католическую школу в районе Ваттана, и целый месяц она пребывала в раю среди разноцветных деток

из состоятельных семейств, пока директриса не обратила внимание на ее растущий живот и, слащаво улыбаясь, не полюбопытствовала, почему супруг никогда не забирает Айю после уроков и никогда не появляется в школе? После чего, вздернув подбородок, Айя холодно объявила, что увольняется.

Теперь оставались только подсобки и кухни ресторанов и харчевен...

Она и проработала в такой харчевне до откровенного живота и была уволена за то, что стала занимать слишком много места в тесной кухоньке. В тот же день ее выперли из сомнительного рабочего общежития – очередной ночлежки в районе Ванг-Май, где полчища куцехвостых кошек с ближайшего пустыря свободно разгуливали по аварийному сквоту, деля территорию с восемью женщинами, чьи биографии могли ошеломить даже бывалого тюремного психолога. Короче, Айю выперли, опасаясь неконтролируемого прибавления в жильцах.

Ну что ж... Видимо, настало время ехать к отцу.

Ей давно осточертел этот ширпотребный занюханный рай, этот город, где шикарные небоскребы существуют рядом с грязными дворами; где голозадые дети гоняют кур, а улицы и переулки секс-индустрии занимают пространство, равное какому-нибудь предместью Парижа. Надоели паршивые лысые собаки на пустырях, похожие на крыс-выродков, дикая влажность и запах канализации из решетчатых люков вдоль дорог, уличные забегаловки – брезентовый полог на двух столбах, все эти мотобайки с шарабанами, вонючие каналы, оголтелые туристы... В самом деле, пора было уезжать.

Но случайно оказавшись в вестибюле отеля «Континент», она по какому-то наитию свернула в боковой – служебный – коридор, прошла его до конца и заглянула в открытую дверь офиса главного администратора. Встретившись глазами с плотным человеком за огромным письменным столом, улыбнулась, заговорила, вошла. И после пяти минут разговора на английском («А какой еще язык ты знаешь? Русский – это хорошо, у нас много русских туристов») он просто и без всяких оговорок взял ее на работу до... и скромно отвел глаза от ее живота: «Как получится».

– Тебе будет удобно сюда добираться? – спросил, все так же деликатно обегая взглядом ее фигуру. – Где ты живешь?

– Сейчас нигде, – честно ответила она. И он (невероятная служебная отвага!) написал записку к дежурной по пятому этажу: там в бельевой подсобке в закуте коридора вполне помещалась раскладушка.

Но зато уж и работать пришлось с утра до ночи, не считаное время.

Она и не считала – не посмела, при такой-то удаче. Ноги вот только опухали к концу смены, и остобрыдли бутерброды, которые на всякий пожарный она держала в ящике под мраморной полкой ресепшн.

Почти все деньги она пересылала на адрес Филиппа, сказала же – я отработаю (суеверно считала, что с Леоном все будет хорошо, пока у него есть куда вернуться).

Первый перевод Филипп отослал обратно, написав Айе возмущенное и строгое письмо. Но когда она упрямо пульнула назад ту же скромную сумму, он, отругавшись и покорно вздохнув, прекратил «этот матч»; стал просто вкладывать деньги на банковский счет Леоны – такой вот *круговорот бабла в природе*.

Оформив и поселив суматошную семью израильтян, она вызвонила сменщика и, едва живая, понеслась в свою подсобку (задыхалась, хотя не по лестнице же поднималась, а в лифте!); там снова открыла ноутбук и впилась в заветный абзац новостей. Сидела с успокаивающей ладонью на животе и другой ладонью – на колотящемся сердце, без конца перечитывая, вызубривая текст, вымаливая с экрана, выколдовывая, впивая по глоточку смысл каждого слова в коротеньком сообщении «о начале секретных контактов между...», мысленно шарахаясь между странами, разведками, организациями, дипломатами и теплым беспокойным грузом собственной утробы, пытаюсь понять, как ей действовать сейчас, куда ехать, в какие ломиться двери?.. И оборвала себя: дура! Куда – ломиться?! Ясно ж тебе сказано: переговоры сек-рет-ные!

...Ничего не надумала, заснула там же, над компьютером, поставленным на круглую бельевую корзину с банными халатами. А проснувшись, заказала по Интернету билет с пересадкой до Алма-Аты: «Езжай к отцу, я найду тебя там непременно».

* * *

По утрам, до лекций в университете, Илья Константинович всегда проводил час-другой в «лаборатории» в подвале. Там всегда было чем заняться: поменять газетную подстилку в клетках, завести фонограмму для молодежи или поставить кенаря-учителя; глянуть, какой помет, нет ли у кого поноса, не посыпались ли перья у кого-то из взрослых кенарей. Опять же, обыденная забота – заменить *минералку* в спецкормушке: крупный песок с толченой ракушкой и толченой яичной скорлупой.

Но главное: в период обучения молодых самцов он ежедневно прослушивал их, каждого по отдельности, и если выявлял диссонансы в песне, изолировал таких от «народа». Случалось и наоборот – изолировать именно того, кто начинал удивлять настолько неожиданными коленами, что возникала необходимость сохранить уникальную песню. Как правило, подобные таланты проявлялись в потомстве Желтухина.

И каждый день приносил что-то новое.

Это утро он, как обычно, посвятил *научным интересам*: отсидел у компьютера, редактируя свои вставки в совместную с одним молодым нейробиологом статью «О результатах исследований функций новых нейронов в мозге канарейки». В последние годы Илья Константинович все серьезнее занимался нейрогенезом – изучением нервных центров, управляющих пением кенаря.

Закрыв файл, потянулся и сделал несколько жизненно важных упражнений: поворачивал глазами, размял уставшую поясницу и, напрягая икры, раза два привстал и рухнул обратно в кресло – прочел недавно очень полезное исследование «Как не умереть за компьютером».

Сняв с полки плетеную корзину с мелочовкой, выудил оттуда пинцет, пару мешочков минералки...

...и в этот миг измученный голос Айи произнес над его плечом:

– Папа...

Илья вскочил, как подкинуло его, хотя понятно же, что показалось, показалось! Вот обернулся – и где она? Но он бросил на стол все, что держал в руках, просто вывалилось все разом! – и обмершими губами приговаривая «боже мой, боже», рванул к лестнице – наверх, на веранду, во двор, на улицу...

Она уже выкарабкалась из такси – тяжелая, вся какая-то набухшая и больная, с бело-мучным *казахским* лицом. Подняла голову на онемевшего отца, сказала:

– Заплати, пожалуйста, у меня ни копейки, все на билет ушло... папа...

И он бросился к ней, к ее животу, к милому опухшему лицу (Гуля, Гуля!), осторожно обнял...

– Я так устала, папа... – выдохнула она.

И он все повторял как заведенный свое «боже-боже», пока метался на кухню за портмоне, вначале не нашел его (оказалось, – в кармане пиджака, а там единственная крупная купюра... да не важно! – и рукой таксисту: «Неважно, неважно, бери-уезжай!»).

– Ну, спасибо, мужик... – обескураженно произнес водила, трогая

и головой покрутив на радостях.

Они опять осторожно обнялись, и он повел ее, лишь на мгновение спохватившись:

– А вещи?! – и вновь лишь рукой махнул: какие там вещи, все спустила, все! Только живот ее перед глазами маячит; заповедный живот с дорогим птенцом.

Она выглядела такой больной – как обычно бывало перед ее уходами в темные воды бездонного сна. Ступала медленно, покачиваясь, как грузовая баржа, входящая в гавань. И снова, едва слышным шелестом:

– Я так устала, папа...

– Покушать... и чай горячий, – бормотал он, укладывая дочь, поднимая обе ее тяжелых ноги на родимый «рыдван», дяди-Колино наследство... Да удобно ли ей будет на нем сейчас?! Господи, о чем я думаю, купим, все купим! Новую тахту *им* купим...

Он укрыл Айю теплым пледом, готовый уже бежать-догревать чайник, что-то быстро, и бурно, и убежденно повторяя – не мог уняться, говорил и говорил, чтобы не расплакаться.

Она бормотала из последних сил:

– Леон приедет... дверь не запирай... телефон пусть... – И опять: – Я так устала, папа...

Когда отец вернулся из кухни с подносом, на котором все, что по-быстрому, – яичница мгновенного приготовления, чай с лимоном и малиной, и гренки, конечно же, «фирменные гренки старика Морковного», – Айя уже спала. И спала так, как обычно мертвую простиралась-вытягивалась, готовясь к своему протяжному сну.

Илья поставил никому уже не нужный поднос на стол, сел в ноги у дочери, положил, как любила она, руку ей на щиколотку – «для проводимости мыслей», и стал смотреть на обморочно-бледное, одутловатое, прекрасное, бессмертное Гулино лицо. На живот – как тот вдруг колыхнулся сам по себе.

Вскочил, достал из шкафа еще один плед, укрыл ее получше, хотя в доме совсем не было холодно, наоборот, очень тепло было; бережно подтыкал пушистую шерстяную материю под ноги, под уютно лежащий на боку живот, хлопоча над не рожденным еще внуком.

Опять сел в ноги, уставился в ненаглядное лицо...

Сидел, не в силах подняться, готовый просидеть ровно столько, сколько она проспит; перебирал все ближайшие заботы и дедовы хлопоты – неотменимые, срочные, такие сладко-мучительные... Хмурился, вздыхал, качал головой...

...и был бесконечно счастлив.

Бордо с золотом: благородное сочетание... Византийское великолепие Константинополя, сказочные дебри бахайских снов, припыленные штуки патрицианских тканей в подвалах Ост-Индской компании... Нет, красиво. Сказать Марьям – может, попробовать такое же в нашей спальне, на Корфу?

Все эти мысли, вызванные созерцанием коврового покрытия да и всего оформления дорогого люкса венского отеля «Палас Кемпински», где уже много дней продолжались труднейшие переговоры по обмену *того на этого*, были всего лишь дымкой, признаком усталости мозга, попыткой не дать дикому раздражению как-то повлиять на ход дела.

В подобные минуты доктор Набиль Азари всегда отвлекал себя красотой. А красота – за редким исключением – всюду его сопровождала. Он и сам был красив: невысокий изящный человек лет за шестьдесят, с прожигающими собеседника черными глазами, безукоризненной прической и аккуратно подстриженными седыми усиками. И такими приятными манерами, что одно его появление где бы то ни было привносило в любое общество деликатную уместность, достоинство и ненавязчивое дружелюбие. Среди знакомых и друзей он славился тонким юмором и умением любую неприятную ситуацию, любой конфликт погасить безобидным каламбуром. Иными словами, доктор Набиль Азари был прирожденным дипломатом.

К тому же он был прирожденным заговорщиком, хитроумным Одиссеем и выдающимся организатором. Через основанные им благотворительные и правозащитные фонды ежегодно прокачивались миллиарды на нужды общины «Ахмадия», к которой он принадлежал и казначеем и распорядителем которой был уже много лет – с тех пор, как в 1984 году ортодоксальный ислам предал его прекрасное миролюбивое вероучение *хараму*...

(О том, что родился он в Хайфе, где у его старинно богатой семьи с начала прошлого века был в Кабабаре большой двухэтажный дом и где поныне жила его многочисленная многоступенчатая родня, знали считанные люди, самые близкие – например, Зара, которая еще в Бейруте, несмотря на разницу в возрасте, была его многолетней любовницей.)

Он стоял у открытой двери на балкон, курил свою голландскую сигару *La Paz Corona* из резаного табака и, привычно улыбаясь уголками губ, любовался сочетанием бордо с золотом – в портьерной ткани, в обивке кресел и козеток, в ковровом покрытии пола просторной гостиной. Византийское великолепие Константинополя, сказочные дебри бахайских снов...

«Грязные собаки... – думал он. – Они превратили ислам в исчадие ада. Невежи, они не знают Корана, зато с детства научаются убивать, полагая, что “джихад”, борьба за веру, – это и есть та кровавая бойня, в которую они погрузили цветущий Восток, а мечтают погрузить весь мир... Они понятия не имеют, что Коран запрещает насилие в вопросах веры...»

Двое его *оппонентов* сидели в креслах вокруг стола, тоже курили (все взяли тайм-аут и заказали кофе из бара) и нисколько не были похожи на грязных собак. Наоборот: оба, несмотря на наличие бород, тщательно выскоблили утром остатние пустоши скул, одеты были в довольно дорогие костюмы, сидевшие на их грузных телах чуть топорно, и вели себя довольно учтиво.

А вот претензии их и заломленная цена были невероятно, чудовищно наглы! Впрочем, *эти* были всего только подрядчиками, получавшими свой процент; торговались они умело, и шантажируя, и лстя, и угрожая, и уговаривая... Был еще третий у них – человек-гора; тот в комнате не присутствовал, но неизменно торчал снаружи у двери и шнырял туда-сюда по коридору, пугая богатых постояльцев великолепного отеля своей невероятно зверской физиономией с рассеченной бровью и черной лакированной челкой пятиклассницы на бугристом лбу.

Доктора Азари сопровождали только племянник, удивительным образом лично знакомый с некоторыми чинами той организации, у которой выторговывали *товар*, и представлявший правительство Франции «юрисконсульт по процедурным вопросам» по имени Леопольд (фамилия оказалась неважна, хотя какую-то он назвал, даже карточки вручал – у него этих фамилий была чертова уйма).

Невозмутимый и слегка сонный Леопольд говорить предоставлял своему старшему другу, но раза три, когда переговоры зависали в чрезвычайно опасной точке, отпускал какое-нибудь успокаивающее замечание, после которого двое бородатых посланцев почему-то сбавляли тон. Красавец племянник, с такими же выразительными, как у дяди, огненно-черными глазами, в основном улыбался. Вообще, вся компания производила впечатление вполне довольных друг другом людей.

В сущности, день сегодня был удачным, хотя и не победным: они пришли к трудному соглашению, но цена оказалась высока, непристойно высока и, помимо других условий, включала в себя частичное ослабление блокады (нефтяные потоки) и возвращение на родину генерала Бахрама Махдави, три года где-то пропадавшего; *а где именно – вы наверняка узнаете из первой же его пресс-конференции.*

Потому и сделан был общий перерыв на кофе (обычно они расходились подальше, и если одна группа шла в бар, другая следовала в ресторан), что обговорено было все, даже место обмена: Кипр, КПП возле отеля «Ледра-Палас», в буферной зоне, контролируемой войсками ООН.

Официально передающей и принимающей сторонами были Франция и Турция.

«А во всем виноват Запад, его готовность платить! – думал доктор Азари, отводя взгляд от бородатых визави, негромко переговаривающихся между собой на фарси. Он ничего не имел против фарси – в конце концов, это язык его предков, персидских евреев, перешедших в ислам в середине восемнадцатого века. Он и сам превосходно знал фарси, считал его одним из самых выразительных и богатых языков Востока, но что-то внутри него противилось говорить *с этими здесь* на их родном языке (не стоило усиливать их и без того более сильные позиции), так что переговоры шли на английском. – Виновата пошлая слабость Запада, его бесконечная готовность уступать, его прогибчивый хребет, беззубая унижительная старость! Еще в 2003 году за гражданина западной страны “Аль-Каида” просила двадцать тысяч долларов. Сегодня они просят двадцать миллионов. Только за прошлый год суммарный выкуп у них составил шестьдесят шесть миллионов! И все это немедленно идет в дело: закупка оружия, вербовка фанатиков... Погружение мира в кровавую бездну... Нет, человек недостоин Божьего милосердия, он недостоин Мессии...»

Вошел официант – за подносом с пустой посудой, – и в приоткрытой двери вновь мелькнул ужасный великан. Эти их подлые штучки, подумал доктор Азари, их главный козырь – устрашение. Ну для чего здесь маячит эта дебильная рожа? Он ведь и говорить, поди, не умеет.

– Сегодня сильное солнце, – улыбаясь, проговорил доктор Азари. – Слишком сильное для этого времени года. – И чуть задернул занавеси: бордо с золотом, благородное сочетание, патрицианское великолепие падшей Европы.

Это был сигнал двум мужчинам – обычным туристам в кроссовках

и с рюкзаками, – третий час отдыхавшим на скамье бульвара, как раз под балконом четвертого этажа гостиницы. Сигнал о положительном результате переговоров, после чего оба туриста – и высокий, дородный, ирландской масти, и другой, с тусклой внешностью киоскера, продавца лотерейных билетов, – поднялись и неторопливо потопали со своими рюкзаками в сторону Академии изобразительных искусств.

И в комнате после ухода официанта ощутимо пронеслось облегчение – во всяком случае, одной из сторон. Переговоры завершены, теперь другие, уже рабочие инстанции проговорят все процедурные вопросы с миротворческой миссией ООН на Кипре... И хотя номера в «Палас Кемпински» оплачены еще на день, доктор Набиль Азари уже мечтал вернуться к себе, возможно, слетать на Корфу, где на любимой семейной вилле его ждала жена Марьям с незамужней и нездоровой дочерью Шейлой.

Да, вот так оно почему-то вышло, с застарелой, но вечно ноющей болью думал доктор Азари, что Всевышний дал ему только двух дочерей, притом Шейла – сущее наказание, а Реджина все «ищет себя» и никак не выходит замуж... Зато Валиду, младшему его братцу, подарены трое *таких* сыновей (в особенности Муса – красавец и умница!). Хотя вспомним, что такое Валид: милый, добрый, беззлобный... никчемный человек. Не смог даже получить образование в этой своей Одессе; влип там в какую-то любовную интрижку, завел песню о браке... Хорошо, деспотичный их отец – благословенна память праведника, дети с ним не шутовали! – быстро за оба уха вытащил балбеса домой и здесь сразу женил на достойной девушке. Все это было будто вчера, и все это – прошлое, прошлое, прошлое...

В сущности, доктор Азари с сегодняшнего дня мог считать себя свободным: «переговорщики» редко принимают участие в самой процедуре обмена – обычно это обходится без столь высоких сторон. Но почему-то (он и сам не мог ответить себе, почему) ему хотелось взглянуть на «того мальчика», как мысленно он называл пленного певца, эту певчую птичку, серебряного кенаря... Каждый день он прослушивал на «Ютьюбе» какую-нибудь арию или романс в его исполнении. К тому же любопытно было – действительно ли тот и в жизни так похож на его любимца Мусу, как это кажется на фотографии?

Леопольд что-то говорил, улыбаясь: он сегодня раза два удачно сострил, и все рассмеялись, даже эти надутые фанфароны.

Оба бородатых «подрядчика» поднялись, договаривая ничего не значащие формулы этикета. Прощаются... пожимают руки... Вот направились к дверям...

Тут Набиль Азари перехватил настойчиво напоминающий взгляд племянника и вспомнил, *что* они обсуждали ночью, когда вдруг одновременно проснулись – то ли от духоты, то ли от многодневного напряжения. Вспомнил, как задумчиво Муса проговорил:

– Знаешь, дядя, что мне в голову пришло? Не всучат ли нам, как у *них* это принято, мешок с дорогими останками?

И хотя Леопольд, с которым за завтраком они обсудили *тему*, считал, что не стоит делать на ней акцент, что, мол, *на таком уровне это пункт разумеющийся*, доктор Азари с обаятельной улыбкой проговорил вслед оппонентам, будто вспомнив что-то незначительное:

– Одну минутку! Вот еще что... – Он рывком подался к столу, стряхивая пепел с сигары. – Артист нужен нам целым. Нас не интересуют ни отрезанные головы, ни набор для супа из мослов и копыт. Мы не израильяне, готовые платить даже за кости своих покойников, мы – коммерсанты. Нам нужен живой товар, а в противном случае генерал Махдави останется в своей удобной камере... Господина *Этинже*, – продолжал он, намеренно выговаривая фамилию на французский лад и сосредоточенно рассматривая при этом свою сигару, – ждут мировые подмости. Ждут меломаны во многих странах, а также его высокопоставленные друзья, включая ее высочество принцессу Таиланда. Все они ждут возвращения уникального Голоса. Мертвые же петь не умеют...

Оставив свою сигару в фирменной хрустальной пепельнице отеля «Палас Кемпински», доктор Набиль Азари поднял голову и приятно улыбнулся:

– Я хочу услышать, что мы поняли друг друга.

Это был рискованный выпад, настолько отличный от многодневного вальсирования доктора Азари вокруг этих мужланов, что даже Леопольд изменился в лице, а в комнате повисла ледяная пауза. Наконец кто-то кашлянул, и люди задвигались.

– Мы поняли друг друга, – ответил старший.

Они повернулись и вышли.

Опять приходил тот самый доктор, специалист по *прилечиванию увечий*.

Интеллигентного вида молодой человек, очки в дорогой элегантной оправе. Такого легко себе представить в бостонской, женевской, парижской клинике (не исключено, что где-то там он и стажировался).

Сменил повязку на правой, плохо заживающей ноге (левая получше была, Леон уже на нее наступал) и перевязал пальцы правой руки, гноящиеся на месте трех содранных ногтей. Прямо курорт какой-то! Косметические процедуры: «У нас вы получите все самое лучшее!»

Его и кормить стали – вернее, просто увеличили количество той же пищи. Хумус (в прежней жизни терпеть не мог) стали выкатывать в больших банках и питы выдавали – штук пять в день. Ну, и помидор иногда перепадал, а огурцы – нет, огурцов почему-то не водилось; может, считались особым деликатесом? Это был его рацион, и на том спасибо.

То, что грядет нечто новое, Леон ощутил не только по этим приметам, но держал свои надежды на прежнем голодном пайке: перемены могли означать всего лишь переход из стадии допросов, так и оставшихся для них неэффективными, на стадию пожизненного заточения – до тех времен, когда выгодно будет пустить его в какой-нибудь размен. Он твердил это себе постоянно, чтобы сердце не рвалось к пустой надежде, чтобы стойкое состояние «консервации духа», которое он навязал себе невероятным усилием воли, то *забытье Айи*, которое он в себе вышколил за эти месяцы, насильно и яростно *не вспоминая* (ее нет, ее нет, ее больше не будет), – чтобы оно оставалось несокрушимым, как скала, а иначе хана...

И все-таки кое-что изменилось.

Они стали при нем говорить между собой. Вынося парашу, уже не торопились захлопнуть люк над его головой, и когда перебрасывались новостями, Леон процеживал, сопоставлял и выстраивал разрозненные факты, смахивающие на полную ахинею, в некую картину того, что бурлило, воевало, убивало друг друга где-то там, над его норой... Судя по всему, наверху шли интенсивные бои на сирийско-ливанской границе, исламистская группировка «Джабхат-ан-Нусра», выкормыш «Аль-Каиды», вела войну по двум направлениям: в районе Кунейтры – против сирийской регулярной армии и на границе – с боевиками ливанской «Хизбаллы».

В один из этих дней Умар вслух зачитывал новости из местной газеты «Ан-Нахар»: ливанские спецслужбы раскрыли планы «Джабхат-ан-Нусры» захватить приграничный город Арсаль и двинуться вглубь, в города долины

Бекаа, на завоевание земель, по пути уничтожая всех мужчин старше пятнадцати лет... Абдалла и Джабир слушали, отпуская отрывистые матерные замечания.

Мда-а, думал Леон, прислушиваясь к этой веселой политинформации, забавно: поистине, «не пожелай царя другого».

* * *

Вдруг его помыли! Это было чудом... Минут десять поливали, подтащив шланг к люку в потолке: мыло для заключенных, естественно, еще не присутствовало в *цивилизации зинданов*. Он стоял в центре своей земляной четырехметровой норы, наваясь на благословенный костыль, и ртом ловил струю чистой воды, пусть и не питьевой, пусть из крана – подставлял безобразно отросшую гриву и бороду безумного пророка, улыбаясь воде, жизни... не мог напиться, надышаться водой никак не мог...

Словом, что-то явно менялось. Видать, им стало выгодно содержать его в пристойном состоянии.

Но дня через два после «великого омовения» он вновь услышал ненавистный голос и узнал тяжелые шаги над головой. Вернулся Чедрик, который отсутствовал больше месяца. Леон приуныл: возвращение «черной вдовы» Гюнтера Бонке означало новые побои и новые пытки. Однако Леона все никак не поднимали наверх, и Чедрик к нему не спускался. А может, Чедрика просто *не пускали* к нему? Почему? Однажды ему показалось, что Умар крикнул кому-то:

– Сказано: живым и целым, эр йим заак!^[72]

Наверху шли какие-то разборки. Сквозь захлопнутый люк он слышал голоса, интонацию, но слов не различал, как ни напрягал слух. По некоторым приметам он давно догадался, что Умар ненавидит Чедрика – тот был чужаком, оставленным тут для присмотра, навязанным чужаком, к тому же, мухлевал в карточной игре. Время от времени Чедрик напоминал Абдалле о долге, все время перевирая сумму, и Абдалла взрывался и вопил: «Йа казаб! Йа джамус!»^[73] – заикаясь так, что слов вообще нельзя было разобрать.

Вот что Леону не давало покоя: почему Чедрик все время тут околачивается? Кто его приставил к Леону – «Казах»? С какой целью? Неужели сам он, его семья, его дом больше не нуждаются в надежной

охране (разве что он сменил Чедрика на кого поумнее)? Ведь, потеряв сына, «Казах» должен был опасаться, что и его самого в любой момент могут ликвидировать?

Это был единственный недостающий фрагмент целой картины, который Леон, понятия не имевший о случайной смерти «Казаха», не мог воспроизвести. Необъяснимое исчезновение «Казаха», его *неприсутствие в кадре* – вот что не давало покоя; возможно, потому, что (будь честным, говорил себе Леон) каким-то образом с этой фигурой была связана Айя. В тяжелые дни полного затишья бывали невыносимые минуты, когда он просто жаждал услышать наверху голос Фридриха – пусть бы за этим последовали новые пытки: *хоть словечко о ней, хотя бы намек – где она...*

Где она сейчас?

Наконец его вытянули наверх. Самостоятельно он не смог бы еще подняться по лестнице. Спустился вниз Джабир, обвязал Леона ремнями, и грубыми рывками его потащили. Слегка пришедший в себя за последний месяц, Леон решил, что волокут его на новый допрос, и испытал какое-то бездонное холодное отчаяние: вот теперь он больше не выдюжит. Больше – нет...

Но его просто вытащили и проволокли по длинной бетонной кишке, освещенной двумя тощими флюоресцентными лампами, в комнату, где, видимо, по очереди спали его охранники. Там и лежбище было – брошенный на пол матрас, – и низкий столик с тремя кальянами; стул, тумбочка, умывальник. Судя по отсутствию окон, какой-нибудь очередной этаж данного бункера.

Затем явился Умар с синим тренировочным костюмом в руках, бросил его на стул и кивком приказал своим подручным одеть Леона. И сердце у того забилося: ни на расстрел, ни на повешенье *эти* врага не принаряжают. С места на место они обычно его и так перевозили, без смокинга, в вонючих лохмотьях. Значит... что же? Значит, значит...

Костюм оказался большим, возможно, с кого-то снятым. Штанины и рукава пришлось просто отхватить ножом. Тем же ножом отхватили ему бороду – нелепыми клочьями.

– Абдалла, поставь ему тут ведро, – велел Умар. – Сегодня пусть здесь валяется, а завтра – *халас*^[74], избавляемся...

Вот когда ему стоило нечеловеческих усилий сдержаться, не шлепнуться на пол, не возрыдать на арабском:

– Аху *шлуки!*^[75] Умоляю, скажи: что значит «избавляемся»? –

душераздирающий приступ благодарной любви и желания схватить и целовать руки этого прекрасного, щедрого, благородного человека...

Леон сидел на стуле с равнодушным лицом, лбом опираясь о перекладину костыля, мысленно заставляя себя монотонно твердить страшные, непроизносимые арабские ругательства. И через минуту полегчало, отпустила мутная исступленная слеза унижительной истерии, и на смену ей пришла холодная ярость врага, неудержимое желание снести, взорвать эту подземную бетонную цитадель черной боли, страдания и страха – взорвать, пусть и вместе с собой!

– Пусть ляжет, – добавил Умар. – Завтра он должен прилично выглядеть. – И по-английски, Леону: – Иди, ложись, ты! Ты, ты, артист! Ложись, понял? Кончены песни...

Уже в коридоре, перед тем как навесить на дверь замок и замкнуть его (никогда слух Леона не работал с таким неистовым напряжением), Умар кому-то буркнул:

– И того, *йа ибн иль шармута*^[76], – не пускать. Не пускать, я сказал! *Урбут эль хмар узн баддо сахбо!*^[77] На этом чертовы деньги замешаны и политика – французы, турки, оружие... какой-то интерес Тегерана. Платят за нашу канарейку, ясно? И много платят!

Ключ скрежетнул в замке, шаги стихли... Вот она: комната, пусть без окон, пусть запертая, но... комната! Лучшие в его жизни апартаменты. Прости, моя любовь, что я привел тебя в эту клоаку...

...И лишь тогда, не унимая колотящегося сердца, он *впустил Айю*: безмолвно она вошла, присела на корточки рядом с его матрасом, осторожно опустилась на колени... и он легонько, стараясь не причинить себе боли, искореженными пальцами коснулся ее грудок: старшая... младшая... А вот моя старшая... а познакомьтесь-ка: младшая. Они сравниваются, когда наполняются молоком...

У тебя, наверное, уже отросли длинные волосы, и ты убираешь их за левое ухо, в котором качается монета – царский червонец Соломона Этингера, мое наследство, чистая уральская платина. А крошечные шелковые стежки от бывших колечек – они ведь давно заросли?

Его отбитое тело, его онемевший от побоев пах ничего не хотели, ни капли чувственного желания не было в его истерзанном костяке. Ничего, кроме нежности, кроме счастья; кроме нежности, свободы и счастья... Они так и заснули рядом – он не мог даже обнять ее по-человечески. Под бледнеющим небосводом мерно катились по черной акватории серебряные гребни волн, а гребень скалы круглился двумя кучерявыми

холками – двумя няньками, баюкающими в седловине лимонную луну...

Так они и плыли на пенишете в наступавшее утро, в сизое небо, что с каждым мгновением выпивало из моря синие соки дня. По горам стекал зеленый шелк рассвета, а в отдалении – пунктиром – шла на лов флотилия рыбачьих лодок, и ровно тянуло свежим ветром...

Скрежетнул в замочной скважине ключ, и Леона подбросило: утро?! за ним пришли?! Как все произойдет, как повезут – на машине, потом аэродром, самолет?!

Но в щель приоткрытой двери лился из коридора мертвый металлический свет, в котором – не может быть, наваждение! – он узнал зловещий силуэт: Чедрик! И понял, что погиб, обречен: один, с больными ногами, никуда не годной правой рукой и едва сросшимися ребрами... Чем, чем соблазнил этот гад остальных – наркотиком? Не может быть, чтобы Умар выдал ему ключ за просто так...

Рывком изогнувшись, бесшумно подтянул к себе костыль и левой рукой крепко схватил у основания...

Несколько долгих секунд Чедрик стоял в проеме двери, пытаясь сориентироваться в темноте, нащупать глазами Леона... Наконец мягко ринулся к нему. Леон метнул костыль, метя в переносицу, но промахнулся, и великан, взрыкнув, навалился сверху, придавил всей тушей, прижав к горлу Леона лезвие ножа.

– Вот этот нож, – в восторженном трансе шептал на арабском, будто самому себе, – я тебя им располосую, если дернешься...

Он сопел, дыша на Леона дикой смесью мяса, чеснока, характерной вонью каннабиса... Капли жаркого пота падали на лицо Леона с жирного бугристого лба. Чугунная туша, распластанная поверх его искалеченного тела, полностью его парализовала, давила, не давала дышать.

Вот он, миг для самой последней версии!

– Брат! – выдохнул Леон по-арабски из-под самых ребер. – Выслушай меня, брат... Все это ошибка... тебя ввели в заблуждение... Я расскажу тебе, как все было на самом деле...

Но в мутном сознании великана арабская речь Леона воспринималась как естественная попытка смертника выкрутиться из последней петли; возможно, в наркотическом возбуждении он и не различал языки. Он и говорил с собой, только с собой и еще со своим умершим, и слышал только себя.

– Он мертв и лежит в земле, – бормотал Чедрик, прижимая лезвие к горлу Леона все плотнее, – а ты жив... И они говорят, за тебя дают большие деньги... За канарейку много платят, говорят они, продажные

твари... Хорошо, говорю, я не стану его убивать, пусть канарейка и дальше поет – хотя мой Гюнтер лежит в земле и ничего уже не услышит, не увидит... Пусть канарейка и дальше поет, даже лучше поет, но пусть тоже ничего не увидит!

Навалившись на обездвиженного Леона, левым локтем он пережимал горло пленника, так что дыхание того становилось все реже, а сознание поплыло в безбрежную смерть, в распахнутую равнину мертвенной мессы, в невыразимую тоску...

«Вот сюда», – показала Стеша на горло, и он понял, что его приглашают в компанию тех, кому уже не до воздуха, – пора, мол, давно не виделись... Тихо вращаясь гороскопическими близнецами, проплыли «ужасные нубийцы»: Тассна и Гюнтер-Винай с луковой розой во рту; Винай подмигнул Леону – ты ведь этого добивался?

Под зловещий клетот в адском мраке ледяного тумана восстали, надвинулись мертвецы – бородатые тени в белых саванах... Под далекий гул подземного зова его волокли в мертвенный свет, в белесую пелену бескрайней равнины, где синь и золото гаснут, где душа цепенеет, мертвеет, погружается в тень – навсегда.

Леон уже не слышал восторженного бормотания Чедрика:

– Я не задену его птичьего мозга... я осторожно, самым кончиком ножа...

...тот уже не берегся, безумец, уже не сдерживал голоса; готовился к жертве во имя умершего:

– Гюнтер! – вопил. – Гюнтер! Канарейка будет петь, ты слышишь? Она будет петь для тебя!..

В коридорах загрохотали ботинки бегущих на его вопли охранников, но Леон не чувствовал ни взрыва дикой боли и огненной тьмы, ни кровавых ручьев, что текли по его лицу; не слышал, как в комнату ворвались Умар с подручными, как навалились и поволокли прочь великана, яростно его избивая, и тот, не сопротивляясь, кричал:

– Это шпион! Он говорил со мной по-арабски! Он говорил по-арабски!!!

– Собака, собака! – в ответ кричал Умар. – Он все испортил! Кто дал ему ключ, *йа амиль маштан*^[78], собака, мерзавец?! Кто дал ключ?!

А больше всех старался Абдалла, психопат-заика, кто и выдал Чедрику ключ «на минутку» (вернее, продал: за прощенный карточный долг). Он старался бить того по голове и в пах, чтоб поскорей отключился. Бил,

исступленно вопя:

– Ну-ка, Джабир, вырви его вонючее нутро!!!

А тот, избиваемый сворой отборных молодцов, кричал, выл и качался – раненый медведь, – продолжая выстанывать свое безутешное: «Гюнтер, Гюнтер!» – вздымая над головой два пальца, испачканных в крови Леона; два пальца, победно расставленных буквой V...

10

В начале декабря, да еще ночью, на Кипре холодно и неприятно. Резкий наждачный ветер бренчит вывесками, скребет по кирпичной стене голыми ветками деревьев и гонит мусор по пустой сейчас улице Ледра, от автобусной станции до самого КПП.

Мало кто назвал бы это место привлекательным, хоть это и центр Никосии. Буферная зона между греческим и турецким Кипром, контролируемая войсками ООН, огорожена бетонными плитами, колючей проволокой, мешками с песком... Типовые будки и полосатый шлагбаум довершают угрюмое оформление некоего драматического действия, которое должно здесь произойти через считанные минуты; действия отнюдь не театрального, хотя на воротах «Ледра-Палас» даже присутствует двусмысленная вывеска «UN Exchange Point», что можно перевести как «ооновский пункт обмена».

Напряжение растет, ибо с обеих сторон – и с кипрской, и с турецкой – к КПП уже подъехали машины с дипномерами.

Все обговорено и размечено по минутам: в момент, когда поступит сигнал от длинного, как Паганель, и чем-то раздраженного чина миротворческой миссии ООН, произойдет обмен *того на этого*: сопровождающие должны вывести пленников в специально огражденное пространство – одного из турецкой зоны, другого – из греческой.

Оговорено и то, что к процедуре обмена не будет допущен ни один представитель прессы. Да собственно, и группы сопровождающих (они же принимающие) немногочисленны: с «французской», то есть греческой стороны КПП – двое мужчин в гражданском, а также доктор Набиль Азари и врач, пожилой, но жилистый, подбористый человек с чемоданчиком в руках. А то, что за их спинами чуть поодаль маячит меланхоличного вида чернобровый верзила с ямочками на гладко выбритых щеках, – так это просто некий ковровый коммерсант, личный друг доктора Азари и дальний

родственник семьи того пленника, которого доставили из Бейрута. Коммерсант выглядит так, будто напросился *поглазеть на процедуру*, и в этом смысле, раздраженно думает невыспавшийся чин ооновской миссии, вообще непонятно, кто его пустил тут околачиваться, среди серьезных людей.

Человек восемь в форме миротворческих сил ООН, с передатчиками в ушах, прогуливаются вдоль бетонных блоков забора с греческой стороны, иногда перебрасываясь словами с солдатами в патрульном джипе.

Наконец, старший из «миротворцев» вытягивается, напряженно выслушивая кого-то невидимого в ухе, и машет рукой остальным, а те быстро растягиваются по периметру небольшой «сцены».

Несмотря на вполне исправные фонари, их желтый недостаточный свет довольно слабо освещает напряженное, тихое, стремительное действие. Практически одновременно из обоих выходов показываются: «французы», с двух сторон тесно приобнимающие невысокого плотного человека в теплом пальто и шерстяной, альпинистского вида шапочке с легкомысленным помпоном, и – навстречу им из противоположного выхода – выдавливается сплоченная группка молодых чернобородых мужчин, за которыми не сразу виден... не сразу видно... почему-то не сразу... эти колеса... что происходит?!

Происходит заминка, невнятица мгновенных судорожных движений «французской стороны». Генерала Бахрама Махдави резко тормозят те двое, что предупредительно приобнимали его мгновение назад. Тогда один из «турецкой группы» выкатывает перед собой инвалидное кресло, где в тренировочном костюме (в такую холодрыгу!) сидит... подросток с невероятно буйной гривой длинейших кудрей, с повязкой на глазах...

На две-три секунды обе группы застывают, как для исторического снимка. Вот вперед ринулся доктор Азари, потрясая руками и от волнения крича на арабском:

– Что за повязка?! Снимите ему с глаз повязку!

И, вдруг все поняв, замирает, беспомощно повторяя:

– Вы обещали! Вы дали слово! Это бесчестно! Это кровавое зло!!!

Оглянувшись, он нервно переходит на английский:

– Остановите генерала! Не передавайте им генерала!

В этот самый опасный миг из-за спин застывших в замешательстве мужчин выныривает тот странный легкомысленный свидетель, тот случайный чей-то приятель или родственник – короче, ковровый деляга с ямочками на щеках... Одним движением руки властно отстранив совсем потерявшего лицо доктора Азари, он мягко, как пантера, устремляется

прямо в гущу неприятеля и, захватив ручки кресла, катит его «к своим», а за его спиной бородатые бросаются к генералу, с обеих сторон подхватывают его и чуть ли не на руках выносят прочь, на турецкую сторону...

Генерал уже не важен, он – отыгранная карта, сейчас важнее всего – врач, спешащий к инвалидному креслу, в котором странно неподвижно и бесчувственно, видимо, под действием наркотика, сидит слепец.

Но прежде чем того касается врач, Шаули прижимается щекой к его затылку и тихо говорит:

– Это я. Ты слышишь? Ты слышишь?! Все кончилось...

* * *

Он проклинал себя за недалёковидность. Ещё ничего не зная, обещал надоедливому старине Авраму (как тот узнал, черт побери, о сроках, шпион у него, что ли, имеется *в конторе?*), что на последнем перегоне, уже на военном аэродроме пустит его «обнять мальчика». Какое там обнять... Идиот! Как он, Шаули, мог надеяться, что Леон вернется прежним!

Теперь еще возись со стариком, объясняй ему, почему он не может сдержать обещание.

Накануне, перед вылетом их группы на Кипр, Аврам позвонил и сказал: ты не забыл? Помни, я буду ждать прямо там, у входа на летное поле. Спросил, не нужно ли мать подготовить. Шаули, мысленно выругавшись, осторожно ответил: пока не стоит.

Перед тем как самолет из Никосии, уже с Леоном на борту, поднялся в воздух, Шаули позвонил Авраму предупредить: извини, мол, в другой раз, попозже, сейчас не до тебя.

– Да я уже здесь, – перебил его Аврам. – Я здесь всю ночь провел, в машине. А ты как думал? Ведь это мой сын, понимаешь? Мой сын.

И Шаули вдруг смутился, стал оправдываться – мол, я не в том смысле, просто не стоит сейчас смотреть на него, он не в лучшем виде.

И опять Аврам перебил:

– Ты что, меня бережешь?! Или я не был солдатом, когда ты, сопляк, мамку сосал?!

Так что вопрос был снят.

И Аврам подоспел, как раз когда по трапу сносили Леона. Подбежав, увидел его, укрытого одеялом, и в нерешительности остановился:

тот вроде бы спал – поди разбери, с этой повязкой. А может, врач ему что-то вколол.

Старик растерянно поднял глаза на Шаули, молча вопросительно провел ладонью по лицу, как бы сбрасывая на землю повязку. Шаули так же молча покачал головой. И тот все понял... Забрался внутрь «скорой», сидел рядом с носилками, держал Леона за руку, монотонно, хрипло повторяя:

– Мальчик... мальчик...

И по тому, что, отнимая руку, возвращал ее мокрой, было понятно, что он плачет не переставая.

– Ну, будет тебе, – вдруг проговорил Леон тихим и внятным голосом. – Уймись.

И сразу стало ясно, что ни минуты он не спит да и не спал – с тех пор, как пришел в сознание там, в бункере; *с тех пор, как пришел в сознание и увидел черное солнце Страшного суда.*

И руку Аврама сжал левой рукой неожиданно крепко, жестом попросив наклониться ниже, еще ниже...

– Мать... – сказал ему в ухо. – Не стоит ей пока...

– *Хаз ве халила!*^[79] – воскликнул Аврам и молча затрясся, уже не таясь.

11

Ей приснились ее грядущие роды. Оказывается, это вовсе не больно, легко и даже весело, и как бы все между прочим... Смутного продолговатого ребенка плавно уносят куда-то прочь, а над ней склоняется врачиха с лицом *фигурного тренера* Виолы Кондратьевны и ласково говорит:

– Поздравляю! У вас родился мальчик с двумя парами глаз.

– Как?!.. Почему?.. – бормочет Айя в испуге. – Ведь это... неправильно, ненормально?!

Очень даже нормально, приветливо отвечает врачиха, и вполне даже оригинально выглядит. Есть и слово такое красивое: *многоочитый*... Вот архангелы или там серафимы... И если что, положим, случается с одной парой глаз, то...

Но Айя ее уже не слышит, она срывается с каталки и невесомо, в воздухе бежит по каким-то длинным коридорам, куда чужие люди в белых халатах унесли ее ребенка, бежит и ударами кулака распахивает двери, за которыми – ничего, пустота... И она кричит, кричит, понимая: вот, оказывается, *в чем* настоящая боль, вот это и есть, оказывается, *родильная*

мука...

Проснулась с папиной ладонью на щеке:

– Ты кричишь.

– Да... сон дурацкий... какая-то чушь.

Она медленно села на своем рыдване, спустила тяжелые налитые ноги на пол, нашарила тапки.

– Может, пора? – обеспокоился он. – Поедем?

– Да нет, – с досадой отмахнулась она. – Говорю ж тебе: идиотский сон, и больше ничего.

Встала и, как была, в рубашке потащила брюхо к компьютеру.

– Ну, как на работу! – воскликнул отец. – Умойся сначала, оденься, позавтракай по-человечески... Да пожалей ты ребенка!

Она вспомнила сон: *многоочитый*... И содрогнулась от вновь наплывшего на нее кошмара...

Компьютер всегда стоял включенным. Иногда ночью, оттого, что уже и лежать было тяжело, ни вдохнуть, ни выдохнуть, она поднималась и принимала к монитору, пускаясь по своему обычному кругу: все ведущие международные агентства новостей.

А тут и шарить не пришлось: экран расцвел прямо на ленте *France-Presse* на английском языке, будто ждал ее пробуждения, будто именно эта краткая новость, промаявшись ночь в нетерпеливом ожидании, послала ей сон-пробуждение – вставай, мол, смотри: для тебя писано.

Несколько слов, скупых и казенных:

Минувшей ночью в Никосии, Кипр, на КПП «Ледра-Палас» при участии французской и турецкой сторон под наблюдением миротворческих сил ООН состоялся обмен пленными: иранский генерал, бывший в плену у израильтян, обменян на французского певца, захваченного несколько месяцев назад одной из ливанских группировок.

Если прочесть кому неосведомленному – полная абракадабра: где Кипр и Турция – а где Иран и ливанские группировки?

Она поняла все мгновенно, как ослепило. Дико крикнула:

– Господи!!!

Из кухни примчался отец, обхватил за плечи, привалил к себе, испуганно и дальнозорко щурясь в экран, пытаясь разобраться, что там страшного дочь могла вычитать. А она все билась в его руках, тянула шею, кричала:

– Гос-пади!!! Госпади-и-и-и!!! – как, наверное, и кричат в настоящих,

а не сновиденческих родах.

– А что такое «аллилуйя»?

– «Славьте Господа!».

– На церковнославянском?

– Нет. На древнееврейском.

И улыбнулся этой своей улыбочкой, больше похожей на щит латника...

Господи, как она могла... где были ее мозги, почему сразу?!..

Господи, как она не дотумкала, не допетрила, не сопоставила, дура дурой! Вот же на кого он чем-то похож – на Михаль! Нет, еще на... да, на ребят, с которыми она работала на виноградниках под Ашкелоном; на измотанных солдат, прошивающих всю небольшую страну со своими винтовками и рюкзаками по всем автобусным рейсам, во всех направлениях... Что-то общее – в жестах, в мимике; клоунская свобода тела, белозубый гвалт, а кисти расслаблены и этак штопором, будто ввинчивают лампочку в патрон, когда что-то доказывают... Эх ты – ломилась в никчемные двери, в чужие приемные... где, где был твой профессиональный взгляд фотографа?! Как можно было не опознать сразу этот израильский жест!

И вдруг – как рукой сняло: весь морок и страх, глубинную мутную жуть; самолетную *белесую непроглядь*, тайландскую работную каторгу... Все стало ясно, четко, стремительно, и она оборвала саму себя: ну, довольно!

Молча и решительно высвободилась из рук отца, молча оделась, стала собирать какую-то даже не сумку, а тряпичную рыночную котомку. Илья напряженно следил за всеми этими – сначала показалось, беспорядочными – движениями. Посмотрела бы на себя: застиранная цветастая рубашонка, холщовые штаны на резиночке – посоха только не хватает... Но когда она достала из бабушкиного бюро британский паспорт и сунула его в эту странническую котомку, он решительно встал в дверях комнаты, ладонями упершись в косяки.

Как бабушка когда-то – нелепо, смешно и жалко – отчеканил:

– Через мой труп! – И добавил: – Давай, отодвинь меня. Попробуй меня обойти. Я здесь буду стоять вечно.

Она даже не услышала, просто не обратила внимания: была так сосредоточенна, так собрана и внятна. Подошла к отцу, положила обе

ладони ему на грудь и тихо – а в лице такой покой, и глаза блестящие, и губы дрожат – сказала:

– Не бойся, папа. Теперь все будет хорошо.

Илья умоляюще крикнул:

– Что ты творишь?! Ты же... ты – мать, мать!!! Ты прежде всего должна думать – о ком?! О том, кто в тебе! Ты доноси! Доноси, дай ты мне его на руки, а потом поедешь!

И заметался по комнате – грузный, с вспотевшим красным лицом, с дрожащими руками.

Как он сейчас понимал бабушку, как сострадал ей, давно умершей! И как бессилён был что-либо изменить.

* * *

По мраморным ярусам, плавно переходящим в невероятной длины мраморный проспект, она тащилась на выход в огромном аэропорту этой маленькой страны...

Дотащилась к залу с рядами таможенных будок, выстояла страшную очередь (время было праздничное, одновременно прибыло несколько рейсов), и когда наконец пробилась к окошку, за которым сидела лохматая, *отвязного вида* девица с накладными и тоже какими-то праздничными чудо-ногтями, протянула паспорт и твердо проговорила, уставясь в эти ногти, украшенные каплями стразов:

– Мне нужны люди в вашей разведке... Срочно!

Девица привстала, вмиг сделавшись хищной лохматой птицей, приблизила лицо к окошку и тихо скомандовала:

– Стоять тут.

Минут через пять Айя уже сидела на стуле, привинченном к полу, в какой-то выбеленной комнате без окон, но с большим зеркалом скрытого наблюдения, и под внимательным взглядом рыжевато-мягколицего человека в веснушчатом крошечке по рукам и лицу не могла выдавить из себя ни слова. Поднимала кулаки и бессильно опускала их на стол. И каждый раз он терпеливо говорил ей:

– Шшшш! – как ребенку. – Успокойтесь. Доктор сейчас придет, доктора уже вызвали.

И в ту минуту, когда открылась дверь и долговязый, веселый и щеголеватый доктор со словами: «Ну и кто здесь родит? – а при взгляде на ее живот: – Вау! Как ее в самолет-то пустили?» – вошел и крепко

пристукнул по столу своим чемоданчиком, она вздохнула и выговорила:

– Леон... – после чего навалилась грудью на стол, вяло стукнулась головой и потеряла сознание.

...И даже в такой небольшой стране нужно очень постараться, чтобы найти именно того человека, который необходим тебе в данную минуту, немедленно, неотложно! Так что сначала – по хлопотливой цепочке – в коридорах госпиталя «Адасса» был настигнут и выдернут оттуда один из сотрудников Шаули. Он и был послан *разобраться в вопросе* в гостиницу аэропорта, куда поместили взрывоопасную пассажирку, а когда вернулся и принялся кратко обрисовывать шефу ситуацию...

– А... та, глухая! – перебил его разозлившийся шеф. – Гнать ее в шею. Посадить на самолет и с приветом бабушке! Ему сейчас не до нее. Мало ли с кем и когда он спал.

Тот, посланец, архангел при исполнении, выдержал привычную паузу и мягко проговорил:

– Не так просто. Там... обстоятельства.

Шеф уставился на него:

– Что за обстоятельства?! – и вспыхнул: – Слушай, какие сейчас, черт возьми, у него могут быть обстоятельства, кроме предстоящих операций?!

Тот неловко усмехнулся, вновь посерьезнел. Откашлялся и произнес почему-то виновато:

– Она приволокла сюда живот. И видит бог, Шаули, этот живот больше ее самой. Так я что думаю: возможно, этот живот с его начинкой... ну... может, это и есть – лучшие *для нас* обстоятельства?

* * *

Машина подъехала к главному корпусу госпиталя «Адасса», Шаули вышел и, открыв дверцу пассажирского сиденья, терпеливо наблюдал, как в несколько приемов Айя выбирается наружу. Кажется, он побаивался ее касаться и рядом с ней двигался с профессиональной осторожностью сапера над неразорвавшимся снарядом. Но все же подставил галантный локоть, и она вцепилась в него и, тяжело переваливаясь, двинулась к лестнице. Всюду здесь были подъемы, спуски, лестницы, сейчас ей ненавистные: горы, сосны, дома на склонах – Иерусалим...

Вокруг расступался и громоздился, спускаясь по холмам, целый город разновысоких корпусов с переходами, круговым автобусным сообщением

и сложными пересадками в зданиях из лифта в лифт. И они пересаживались, шли по коридорам, снова входили в очередной лифт... Ей казалось, конца не будет этому пути; казалось, он длиннее, чем ее длинная дорога сюда; казалось, ноги ее никогда не дойдут до той палаты, или что там – камеры? бокса? реанимационной? – где держали Леона... Шаули смешно семенил рядом, часто переступая своими длинными ногами и приговаривая:

– Вот тут еще пара ступенечек, о'кей?.. И тут еще немного...

Она задыхалась, но всякий раз отказывалась «передохнуть, постоять». Не бойтесь, твердо сказала ему, я не подведу, у меня еще пять дней до срока...

Наконец вошли в последний лифт, вышли и еще тащились по многоколенным переулкам внутри хирургического отделения, огибая пустые каталки и металлические этажерки с обедами для пациентов. Это напомнило ей ночное их путешествие в дождь, бесконечные коридоры замка Марка и Шарлотты и то солнечное утро на другой день, когда – два голых беспризорника – они бежали к ванной и орали там как сумасшедшие, поливая друг друга ледяной водой.

Завернули еще раз, остановились перед закрытыми дверьми бокса, и Шаули осторожно вынул свой локоть из-под ее руки.

– Вот что... – наконец решившись, мягко проговорил он. – Зубы – это ерунда, ты даже не смотри. Зубы мы ему вставим лучше, чем были... Главное, со всем этим делом... ну, в смысле... со всем этим *для твоей радости* – тоже все будет нормально, доктор сказал. Беспокоиться, в общем, не стоит...

Значит, есть еще что-то, сказала она себе, с чем никогда уже не «будет нормально» и не будет «лучше, чем было». Вдруг вспомнился сон – невесомый ее гон за унесенным ребенком по бесконечному коридору с пустыми комнатами. Многоочитый. И горло сжалось окончательным спазмом, запирающим вопль в сухой носоглотке: приготовься...

– Вы честное слово ничего ему не сказали? – спросила она, строго глядя на Шаули сухими глазами.

– Честное слово, – ответил он. – И всех разогнал. В наших интересах, чтобы он грохнулся в обморок от счастья. Ну... иди, малышка.

И предупредительно открыл дверь перед ее животом.

Леон сидел на кровати в больничной пижаме, с повязкой на глазах,

будто его все еще везли куда-то по дороге, которую он не должен запомнить. Сидел и сосредоточенно учился нащупывать на тумбочке стакан с водой, ничего не опрокинув. Его рука осторожно ползла, легко огибая пачку бумажных носовых платков, и отпрянула на еле слышный скрип отворившейся двери.

Его не успели подстричь, или он сам не захотел, и промытые до блеска дремучие ассирийские кудри были собраны сзади в хвост и перевязаны кусочком бинта. Он был отлично выбрит, худ, как кузнецик, и мал. Он был – ребенок, которого она так тяжело носила и во сне родила *внакидку*: с двумя парами глаз.

Увидев повязку, она ослабела и привалилась плечом к косяку двери, почему-то сразу поняв, что *эта* не из тех послеоперационных, которые в конце романа с торжеством снимает врач, даруя пациенту новоявленный свет. Не приближаясь, просто сказала:

– Здравствуй, Леон.

Он не дернулся, не крикнул... только помертвел, будто кто плеснул в него гипсовой синевой, мгновенно облепившей лицо, как посмертная маска. Но через мгновение улыбнулся и легко проговорил:

– О-о... кого я слышу! Был бы и увидеть рад, но... – и шутливо-сокрушенно развел руками перед лицом, словно приглашал полюбоваться *на этот каламбур*, так что сердце у нее захолонуло и взвыло. Она молчала, задыхаясь от этого его тона.

Гордый. Гордый он, сукин сын... Ну, а я так совсем не гордая.

– Ты как же тут очутилась, Супец? – продолжал он приветливо, и ей казалось, голос его, который она не слышит, нащупывает к ней дорогу и в то же время рвется куда-то прочь – бежать, скрыться! Она видела по губам, как мечется непослушный ему голос: – И как это тебя, бывалую бродяжку, опять занесло в наши края? Надолго ли?

Кажется, этот идиот и дальше собирался выдуривать в таком роде.

Она прервала спокойно и твердо:

– Надолго. Приехала заставить тебя жениться. Ты обещал!

Он замер на миг... рассмеялся, как смеются хорошей шутке, и с горечью проговорил:

– Увы, детка. Боюсь, это не актуально. Я, как видишь, слепец.

– Вижу.

– Так не будем забавлять остряков нашей некомплектной парой.

– Сволочь! – тихо проговорила она с чувством. – Ах ты сволочь! Сейчас по-другому запоешь.

И пошла прямо на него, ткнулась коленями в его обтянутые пижамой

острые колени, растолкала их, надвинулась. Схватила обе его руки и – как на алтарь – возложила их на выпуклый свод живота.

Он оцепенел, отдернул руки, как ошпаренный.

– Что это?! – шепнул прыгающими губами. – Что это?!

...вновь припал ладонями к крутой сфере ее живота, рывками ощупывая его сверху и по бокам, сильно и больно оглаживая и сводя ладони внизу тяжелого полушария, точно проверяя подлинность и вес тугой этой амфоры...

– Ну, ты, полегче, – отозвалась она, слизывая языком катящиеся по губам слезы – первые ее слезы с того дня, как она пустилась в длинный изнурительный путь за его тенью. – Это тебе не арбуз. Это последний по времени Этингер.

Он молча ткнулся лбом в ее живот, а ладони продолжали жадно кружить под цветастой распашонкой, точно потерявшиеся псы, что бегают по пустырю в поисках хозяина. И кожей она ощущала каждый шрам, каждый воспаленный бугор на этих некогда прекрасных руках.

– Здесь никого? – спросил он севшим голосом. – В палате?

– Все ушли, – сказала она, сурово глядя прямо в повязку, точно могла проникнуть за нее и встретить взгляд его горячих, как смола, черных глаз. – Кому интересна эта порнография: глухая со слепым?

Тогда, подняв руки, он осторожно ощупал ее груди, будто прислушивался к перекличке, а затем и дуэту двух голосов, будто приценивался на будущее к хозяйству. Запрокинул незрячее лицо в белой повязке и прошептал:

– Сравнялись! Они сравнялись...

Эпилог

Гример Людмила выглянула в коридор и позвала:

– Гаврила Леоныч! Прошу в кресло. Попудрим вашу мордаху, чтоб не блестела...

Мальчик лет восьми вынырнул из-под ее локтя с другой стороны, послушно взобрался в высоковатое кресло, сказал:

– Она все равно будет блестеть в финале.

Все здесь было не очень приспособлено для артистов – как всегда бывает в *неспециальных* местах: для гримера выделена комнатка в коридоре, которую Людмила мысленно называла «кладовкой»; откуда-то – из сувенирной лавки во дворе монастыря – принесено и поставлено на обветшалый комод зеркало в синей деревянной раме. Что и говорить, условия *более чем приблизительные*, но уж акустика молитвенного зала аббатства Святой Марии в Эммаусе была такой, что любой певец сразу забывал о неудобствах. Ежегодный музыкальный фестиваль в Абу-Гоше славился этим залом, как и чуткой преданной публикой.

– А красавец-то, красавец! Фрак на заказ шили?

– Ага...

Людмила набрала на кисть матовый грим, стряхнула в коробку, левой рукой чуть приподняла подбородок мальчика и пошла огуливать пушистой кистью его щеки, нос, лоб.

– С премьерой вас, Гаврила Леоныч! Волнуешься?

– Не-а.

– Как это?! – ахнула она шутливо-возмущенно. – Выступать на равных с таким знаменитым певцом, как твой папаня, и совсем не дрейфить? Не верю! – Она отстранилась, глянула на него в зеркале, подмигнула: – Отец-то гоняет как сидорову козу? Я слышала сегодня в гостинице. С утра голосили оба, аж звон в ушах...

– Да нет, – терпеливо пояснил он. – Это так, распевка.

– Ну да! А чего он кричал: «Не срами Дома Этингера!». Где у вас такой дом?

– Да нет, – совсем смутился мальчик. – Это так, поговорка. – И добавил с материнской интонацией: – Это фигура речи.

Людмила, откровенно любуясь нежным румянцем, присущем всем рыжим людям, не отпускала его подбородка, чуть поворачивая вправо-влево, трогала кистью там и тут, а сама задавала и задавала дурацкие

вопросы, на которые он отвечал, как муштровал его дед Илья: «внятно, серьезно и полной фразой».

– Слышь, Гаврик, а ты чё – тоже певцом будешь?

– Ну... – он пожал плечами, – трудно сказать: впереди еще мутация. Папа говорит, буду ли я петь, знают только он и Бог.

Людмила расхохоталась:

– А ты кому из них больше доверяешь?

И мальчик ответил без тени иронии:

– Папе, конечно.

– Па-а-апе! Ну и ты у нас теперь, значит, Блудный сын! – Она опять рассмеялась, но сразу же спохватилась: – Ой, прости, мой зайчик. Я не над тобой, не обращай внимания. погоди, пудру смахну... Но ты хоть приблизительно знаешь, что это за штука такая – блуд?

– Знаю, – серьезно отозвался мальчик. – *Это когда голос души тонет в мерзости и забывает сам себя.*

...Странная эта тетя Люда. Нет, она, конечно, милая, но... не очень умная женщина. Знала бы, сколько отец рассказывал и объяснял, прежде чем решился ввести его в ораторию. Они даже в Санкт-Петербург летали на два дня – посмотреть картину Рембрандта, перед тем как к партитуре приступить. Папа ради этой поездки перенес какую-то важную встречу, и Филипп кипятился, кричал: «Что, нельзя было на репродукции показать?! Минутное дело!» – а папа как отрезал: «Нельзя!» И они втроем с мамой полетели в Петербург и в тот же день пошли в Эрмитаж... Папа сначала долго молчал, будто *рассматривал* картину, – на самом деле это он ему давал освоиться с *минутой встречи*... А потом вдруг привлек к себе, как мама говорит, «макушкой в сердце» («когда ты сидел у меня внутри макушкой в сердце...» – говорит она) и стал сначала рассказывать притчу, про то, как *голос души тонет в мерзости и забывает сам себя*... И затем очень подробно объяснял саму картину – прямо наизусть! – и по смыслу, и по живописи, так здорово: «Сумрачное золото рембрандтовской полутьмы...»

А когда дошел до того места, ну, что в чужих странах блудный сын *забыл родной язык*, так что, вернувшись, не смог даже попросить слуг позвать отца и в отчаянии *закричал*, то есть *криком запел* – и тогда слепой старик-отец узнал его голос... в этом месте мама вдруг страшно побледнела, быстро расчехлила свою камеру, отстранилась от них, отпала и стала быстро-быстро бегать вокруг, расстреливая кадрами их двоих, обнявшихся против картины, где *другой* слепой отец обнимал *другого*

сына – бритого наголо, как папа на своих молодых фотографиях...

* * *

Мальчик с отцом, оба во фраках, стояли в мягком дневном полусумраке перед дверьми в левый придел базилики: отец предпочитает загодя обживать пространство сцены. Ты должен ощутить акустику зала по проникающему гулу публики, говорит он. И хотя здесь, в переулках старой громады церкви крестоносцев, тесновато даже после перестройки, а оркестранты и хористы в коридорах тихо допиликивают и гнусавенько подтягивают шнурочки своих партий, отец чувствует себя в дрожжевой толще звуков, звучков, закулисной распевки басов и альтов и ровного гула публики, до последней щелочки заполонившей молитвенный зал ордена бенедиктинцев, – как рыба в море.

– Герцль, где моя грудка? – с насмешливым, но и явным волнением спросил Леон.

В последние годы он предпочитал короткую стрижку с корректными висками, в которых – пора, ничего не попишешь – уже проблескивало изрядно седины.

Сын привычно разгладил на груди отца атласные лацканы, поправил по центру бабочку.

– Все в порядке, папа.

Тот прихлопнул ладонями на своей груди руки сына и, не отпуская их, проговорил, шутливо сдвинув брови:

– Голос... голос – Леона... А руки... руки – Айи! – И мальчик привычно хмыкнул на привычную семейную шутку.

– Перед кульминацией – не затягивай, – сказал Леон. – Просто слушай меня, но помни, что ты – главное... Ты – исток, детство, юность. Ты – напоминание каждому, что человек рождается чистым и свободным от греха.

– Хорошо.

– Ты все время как бы окликаешь меня, *шваль паскудную*: мол, а ведь ты был мною, ты был безгрешен...

– Ты говорил это двести раз.

– Ничего, послушай в двести первый. Не напрягай связки. Не старайся меня догнать. У тебя одна краска: чистота. Бедновато, но прекрасно, как ангелы в старых церковных витражах. У греха всегда богаче арсенал

средств. Не передави, понял?

– Хорошо, папа...

Мимо них двумя цепочками прошел хор – вначале басы и тенора, затем (в многоструйном облаке духов) альты и сопрано: шелест юбок, мягкая поступь концертных туфель, покашливания, помыкивания в нос, последние перешептывания... Сейчас все выстроятся, затихнут, и тогда выйдет оркестр...

– Мама с Шаули здесь? – беспокойно спросил отец.

– Конечно, – легко соврал мальчик, – в третьем ряду.

Он вообще врал легко, артистично и убедительно. Мать говорила в таких случаях: что вы хотите – Этингер!

Просто за минуту до того, как они покинули артистическую, мальчик получил от нее сообщение на мобильный: «мы уже близко, задержимся на два такта, *возьми на себя*». (Айя встречала Шаули из Брюсселя.)

Никогда не уточняла – что именно сын должен «взять на себя», но он отлично понимал ее и *брал*. В свои восемь лет он вообще много чего *брал на себя*, многое умел – особенно когда мама уезжала на съемки и он оставался с отцом один: умел приготовить яичницу, сварить картошку, соорудить семейные «гренки старика Морковного»... Сегодня, сейчас, ее любимая полуфразочка означала только одно: упаси боже отцу волноваться перед премьерой!

Вот пропыхтел мимо дирижер, толстяк Ури Шрёдер:

– Ну что, мои дорогие: с богом?

...и Леон привычно нащупал плечо сына: руку пока еще можно было не задирать...

* * *

...Он удивительно свободно двигается, думала Магда, только рука на плече мальчика, а сам легкий, пластичен, естественен... И с болью: будто от рождения слеп.

Хорошо, что Айя уговорила его на сцене пользоваться этими мерзкими искусственными зенками, ничего общего не имеющими с его *незабвенными* глазами. Вблизи – ужасно, конечно, но из зала совсем не заметно. И какое же счастье, что возле него эта женщина. Она – скала, скала! А мальчик хорош, но... совсем другой. Помнишь, каким был Леон, когда – чуть старше его: ломкий, хрусткий, острый – ассириец – кудри! А сын – мягкий, без отцовской неистовости; может, это и хорошо. И уже видно,

что высоким будет, он и сейчас длинненький, то-то Леон шутливо называет его *Большим Этингером*. Рыжий, как эта дикая женщина, его бабка... Айя рассказывала с меланхоличным таким смешком: впервые взглянув на внука, та сказала: «*Хорошо, что Лео не видит, до чего пацан на меня похож*»... И не пора ли перезнакомить двух *наших рыжиков*? Нет, Меир не позволит никогда: Рыжик – благословенная его боль, спасительная, благородная боль. Его отступные Леону.

Но неужто мастерица-природа программирует и тасует драгоценный коллаж генов уже в миг зарождения клетки, так, что у *нашего* – ни слуха, ни голоса, в точности как у Габриэлы, а другой – *из утробы глухой матери!* – выловил, выудил, выхватил наследственный дар, серебряную птицу, соловьиисто звенящий алы! Почему? Неужели природа раздает свои горячие подарки, сообразуясь с *историей предмета*?

Ну, всё, всех – прочь! Вот оно... тишина... Сейчас – вступление: удар счастья, сверкающее слияние голоса и света... Боже мой, перестану ли я хоть когда-нибудь покрываться испариной от его первой ноты!

* * *

– Напрасно ты моталась в аэропорт, я мог бы доехать и на такси...

– Ты бы не успел к началу. Мы и так опоздаем, но чуть-чуть... Слушай, положи руку мне на плечо, я не могу на тебя пялиться, мне на дорогу надо смотреть.

– Запросто, могу и на коленку положить.

– Перебьешься... Ездоки здесь бешеные, наглые, хуже, чем в Бразилии!

– Как говорил Бен-Гурион: «У меня нет для вас другого народа».

Шаули помолчал и спросил:

– Как он там? – имея в виду, конечно, не Бен-Гуриона.

Айя весело отозвалась:

– Психует: премьера же... С утра над Гавриком измывался, со мной так вообще не разговаривал – недостойна... Сейчас, как обычно, последует катарсис и ночное постижение его глубокого смысла, значит, сегодня буду изгнана из постели, поплетусь к Гаврику, как побитая собака.

– Вот сукин сын! – воскликнул Шаули.

Она хохотнула:

– Зато завтра замучает нежностями...

– Да это не жизнь, а какие-то качели! – возмутился он.

– Точно, – подтвердила она с загадочной улыбкой. – Мы высоко летаем...

Жаль, что Филиппа нет, думала она, – без него празднику чего-то недостает. То, что Вернона нет, драгоценного нашего автора, то – ладно, он успеет поблестать через месяц в Лондоне, этот велосипедный болван! Ну кто устраивает велопробег накануне премьеры собственной оратории? Спасибо, что лапу сломал, а не голову... Но – Филипп, близкий друг, опора и надежда артиста! Чем он там отговаривался, какими-то делами... На самом деле, просто уперся, баран бараном: делал вид, что искренне не понимает, зачем премьеру такого масштаба нужно делать «в какой-то занюханной церкви, в арабской деревушке под Иерусалимом»... Леон, как водится, до объяснений не снизошел, пришлось объясняться ей – не привыкать бросаться на амбразуру: я перегу их, как синицу – окунь!

– Да пойми ж ты, – втолковывала Филиппу, – ведь это именно место, где и должна звучать эта оратория, место действия евангельской притчи. Во-первых, Иерусалим, а мне кажется, Леону очень хочется, чтобы Гаврик свою первую серьезную партию спел в Иерусалиме. Во-вторых, это и есть возвращение, то самое возвращение, о котором он думал еще на больничной койке. Филипп, все так густо сплелось – неужто я должна объяснять – тебе, тебе! – что́ для Леона значит возвращение в Иерусалим.

Но у Филиппа свои пристрастия и свои обиды. Так и не простил Леону прошлого, о котором ничего не знал. Вслух отговорился делами и еще полушутливым: «Нет уж, эти бараньи ребрышки не в моем вкусе, это – без меня»...

С ребрышек она немедленно перескочила в мыслях на банкет: надо заехать в ресторан к Али, проверить, все ли там готово к вечеру. Вспомнила, что за бегом и нервотрепкой с утра не ела по-человечески. Ах, сейчас бы супца горячего!

Шаули, старый холостяк, искоса поглядывал на профиль сидящей за рулем молодой женщины, которая вдруг лихо и свободно пошла на обгон бордовой «инфинити», элегантно обошла ее и плавно вернулась в правый ряд.

Стильная, думал он, властная, талантливая... Взяла и выучилась водить, обманув все медкомиссии. И водит классно! Вот сукин кот этот коротышка Кенарь: всю жизнь срывал лучших баб, а жену добыл вообще –

пальмовую ветвь, черт его дери, золотой приз кинофестиваля!

– Видел твой фильм для Би-би-си о подростках-даунах, – вспомнил он кстати; мысли цеплялись одна за другую. – Последние минуты, где ты бесконечно держишь прямой кадр на улыбке того пацана... Слушай, я прослезился, как старый мерин. Не знаю, как ты это делаешь... А что – планы? Есть что-то новенькое?

– Ага, один проект, очень интересный, с прицелом на все мыслимые высоты. С точки зрения операторской – настоящий вызов. Расскажу за ужином, если решусь: такой замысел, знаешь, я даже пока не треплюсь – из суеверия...

Какое там суеверие, подумал он, это так, профессиональное кокетство: ничего она не боится, эта его Айя. Она – библейская Руфь; скала, о которую разобьются все беды...

Вот она закладывает виражи вверх по Иерусалимскому коридору, поглядывая на часы (опаздываем, черт!), и попутно рассказывает о ребятах из университета Мельбурна:

– Эти умницы изобрели какие-то бионические датчики, которые вживляются в передние доли мозга (все, само собой, еще на стадии опытов над животными), и незрячий видит, не видя! Понимаешь?

– Нет. Что это значит: «видит, не видя»?

Она отмахивается: да я и сама пока не понимаю. Вот, лечу туда семнадцатого, вгрызусь, вызубрю все, изучу...

Так бы и ехал всю жизнь, держа руку на ее плече: сила от него такая, вера, упругая радость! Только на этом плече уже другая рука, усмехнулся он, – намертво и навсегда. Так что утихни и ручонку-то убери подальше, тем более что вот уж и поворот на Абу-Гош...

* * *

Все ближние к аббатству Святой Марии улочки забиты машинами, да и все это большое селение под Иерусалимом в дни международного музыкального фестиваля становится одной большой разлапистой, разбросанной по трем холмам стоянкой. Хорошо, что у Айи зарезервировано «служебное» монастырское место.

Чуть ли не бегом они пересекают двор, усыпанный желтоватой галькой, и мимо исполинских финиковых пальм устремляются к каменной

лестнице в молитвенный зал – там нараспашку двери, а публика – кому не досталось билетов – толпится всюду: во дворе, на ступенях базилики, на верхних ярусах сада. В горном воздухе звук расплывается далеко, и пение хора, и звучание оркестра, и голоса солистов прекрасно слышны во дворе. Айя делает знак какой-то девушке, видимо из организаторов фестиваля, а та одними жестами и округленными глазами ей показывает: «Ажиотаж! Катастрофа! Такого здесь еще не было!»

Айя достает пригласительные, и они с Шаули с трудом проникают внутрь, пробираясь в толпе...

Молитвенный зал базилики битком забит. Плечом к плечу стоят даже на ступенях лестницы, ведущей в крипту.

Несмотря на то, что и хор, и оркестр сегодня присутствуют малыми составами (большому количеству исполнителей трудно здесь разместиться), акустика этого помещения, построенного с характерной римской простотой, чудесно множит звуки, ограняя их строгостью высокого арочного пространства.

Мощные четырехугольные колонны зала, своды потолков, стены покрыты фрагментами изумительной византийской росписи, и даже то, что лица на фресках в мусульманскую эпоху были стерты, то, что святые, апостолы и пророки смотрят в людскую жизнь бледными овалами размытых лиц, придает музыке великую безадресность, ту вселенскую высоту, где нет уже ни границ, ни народов, ни вер...

Как протыриться к своим местам (где-то впереди, рядом с Магдой) сквозь плотный заслон публики, над которой парит, сплетаясь, дуэт двух высоких голосов?

Наконец Айя с Шаули просачиваются в угол, откуда виден подиум центрального нефа. Хор и оркестр в эти минуты остановлены дирижером, а две фигуры, Леона и мальчика, так близко стоящие друг к другу, будто срослись, в нерасторжимой связи двух голосов ведут партию *одной мятежной, но смилившейся души...*

Вот, медленно раскачиваясь, голос вины и блуда начинает вкрадчивое кружение вокруг длинных нот – удав, эротично расцветающий в чаще лиан, – постепенно усложняя и увеличивая напряжение, всякий раз по-новому окрашивая тембр. После каждого эпизода инкрустация мелодии все богаче и изощреннее, голос поднимается все выше, выталкивая из груди вверх ослепительные шары раскаленного звука, воздвигая плотину из серебристых трелей, ввинчивая в прозрачный полусумрак церковных аркад восходящие секвенции, гоня лавину пузырьков ввысь, ввысь... так ветер нагоняет облака, пылающие золотом заката.

Леон и сам неосознанно приподнимается на носки туфель и досылает, и досылает из-под купола глотки все новые огненные шары, что сливаются в трепещущий поток, будто это не одинокий голос, а сводный хор всей небесной ликующей рати, среди коей растворяется без остатка окающая душа.

Три форте, выданные его легкими, диафрагмой, связками и резонатором, заполняют все пространство базилики, чтобы обрушиться стоном отчаяния:

– «Отче! Я согрешил против неба и пред Тобою и уже недостойн называться сыном Твоим!»

На этом «Фа-ата!» – на фортиссимо он берет ля второй октавы и, чуть слабее повторив: «Майн фа-а-а...» – спускается на ре потрясающим по красоте знаменитым своим портамента, сфилировав звук на выдохе до трех пиано: «...та!»

...но возникает и прорастает из родного зерна голос сына, а голос греха и вины постепенно уступает первозданной чистоте детства, сходит на пианиссимо, отодвигаясь на второй план и вовсе растворясь... И вот уже над мрачными низинами ледяного тумана звучит – как далекое воспоминание – мальчишеский альт:

– Я – Го-олос!.. Я – Го-олос!..

Он вылетает из дверей молитвенного зала и звенит над листвою олив, над цветастыми ярусами кустов в монастырских садах, вплетаясь в могучий хаос пальмовых крон Эммауса: божественный поплавок в прозрачной толще воздуха, звенящий ключ во вселенной:

– Я – Го-олос!.. Я – Го-олос!..

Почему мне кажется, что я их слышу?.. Ведь я не должна, не могу их слышать. Почему они звучат во мне так глубоко, что я даже различаю тембры?.. Помнишь, совсем маленьким Гаврик по утрам прибегал к нам в постель, расталкивал, проваливаясь в подушки между нами, и я слышала твой голос через его тельце, потому что держала его за одну пяточку, а ты – за другую. Ты называл его проводником счастья...

Шаули замер, застыл: он впервые слышит дуэт Кенаря с сыном. С трудом вырвался из Брюсселя посреди серьезного дела, исключительно из-за настойчивых просьб Айи – она прислала целых три письма. Сейчас рад был, что вырвался. Вернее, не рад... это чувство даже радостью не назовешь. Скорее потрясением: в глубокой тишине базилики

крестоносцев два голоса – два крыла – восходили ввысь, парили, переплетаясь, сливаясь в мольбе, в высочайшем напряжении чувственных высот...

И все же сын знает свое – подчиненное – место, и после пропетого хором «дэр эрбли-индете Фа-ате-ер...» («ослепший отец») вновь вступает его отец, ради которого столько людей съехались сегодня отовсюду и толпятся в зале, на лестницах, во дворе и даже за стенами аббатства: выдающийся контратенор Леон Этингер – голос невероятного диапазона, редчайший в мире тембр расплавленного серебра, поистине властелин звуков.

И плачет голос Блудного сына, истекает нежнейшей любовью, и течет-течет, и парит-парит, улета и трепеща в растворенной взвеси золотого церковного воздуха.

И этот стон по утраченной жизни, это безбрежное невесомое парение – как дыхание небес над черной копотью ада.

Затих в глубокой паузе хор; умолк оркестр, захлебнувшись в середине дуги остановленного дирижером полета. Лишь голос в неустанной мольбе все восходит и восходит к горним высям, лишь голос один – бессмертный, бестелесный...

Лучезарный Голос в беспросветной тьме...

2010–2014, Иерусалим

* * *

Автор выражает беспредельную благодарность за помощь в сборе материалов к роману:

Анастасии Дергачевой, Роману Скибневскому, Сергею Баумштейну, Ладе Бaeвой, Василию Хорошеву, Лейле Ионовой, Евгении Душатовой, Полине Ивановой, Алексею Осипову, Алексею Зайцеву, Ричарду Кернеру, Рафаилу Нудельману, Рите Соколовой, Диме Брикману, Константину Доррендорфу, Петру Резникову, Марии Рубинс, Сергею Лейферкусу, Вере Рубиной, Валерию Горлицыну, Татьяне Гориной, Борису Тарakanову, Антону Федорову, Дмитрию Сахарову, Александру Стрижевскому, Алексу Либину, Владимиру Бейдеру, Евгению Сатановскому, Марине Бородицкой.

notes

СНОСКИ

Господин (*искаж. рум.*) – здесь и далее прим. автора.

Еврей (*идиш*).

От «зугт эр» – говорит он (*искаж. идиш*).

4

Хорошая компашка! (*идиш*)

5

Деятель (*идиш*).

Чуть-чуть (*идиш*).

С кряхтением, с натугой (*идиш*).

Зд.: такой старый мудила (*фр.*).

Медвежонок (ивр.) – здесь и далее прим. автора.

10

Говорить (нем.).

Мальчик мой... (*идиш*)

«Рыба над Даном» (*ивр.*). Дан – название ручья.

«Поц» – хер (искаж. идиш).

Папа (*ивр.*).

Чиновника (*ивр.*).

Историю (*идиш*).

Благодарю вас, вы очень внимательны (*нем.*).

Букв. «счет души» (ивр.).

Здесь: «Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут, / Где в темной
листве померанец горит золотистый» (нем.), пер. М. Михайлова.

Да будет к нему милосерден Господь (*араб.*).

Букв. «перс» (*ивр.*), в Израиле – еврей из Ирана.

Благословенна его память! (*ивр.*)

Грош (*ивр.*).

Пустяки! (*идиш*)

Здесь: девонька (идиш).

Пер. Э. Линецкой.

Спецподразделение Генерального штаба Армии обороны Израиля.

Террорист (*ивр.*).

Трудновато приходилось? Потрепали тебя наши братишки? (*араб.*)

Бывало, но мы их больше трепали (*араб.*).

Клан (*араб.*).

«Адиль» – справедливый (*араб.*).

Хорошо, отлично (*араб.*).

Вытяни ногу, Раджаб (*араб.*).

Что?.. ногу? (*араб.*)

Еще чуток (*араб*).

Траурная неделя, в течение которой близкие оплакивают умершего, сидя на полу.

«Человек неясного происхождения порочен изначально» (*араб.*).

В Стране (*ивр.*).

Хватит (*араб.*).

Белый, европеец (*тайск.*).

Еще один казах! (нем.)

Здесь: Лучше бы лейтенант. Все-таки блондин, и с человеческим лицом, не косоглазый... (нем.)

Еще один казах командует! (*нем.*)

Все они – казахи, казахи, казахи! (*нем.*)

Он на меня навалился, этот казах! (нем.)

Мальчик (нем.).

Здесь: ты охуел? (фр.)

Братишка (*иер.*).

«Лапша» (фр.). – Здесь и далее прим. автора.

Моча (*искаж. идиш*).

Отверзлась дверь милосердья благая,
Вступает грешник в селения рая! (нем.)

Пер. В. Коломийцова.

Если забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя! Прилипни язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не поставлю Иерусалима во главу веселия моего (*лат.*).

Сотрудница разведслужбы, выступающая в чисто «женской» роли – например, любовницы или супруги оперативника под прикрытием (*иврит, развед. сленг*).

Ой! Птичка! Птичка! (нем.)

Надо мальчику показать! (нем.)

Птичка! Хочу показать мальчику! (нем.)

Фридрих! Мальчик умирает! *(нем.)*

Символ Французской республики, олицетворение Свободы.

Злая судьба
Сердце мое отняла –
Лодку твою поутру привела
Ко мне в Портофино...

(ит.)

Здесь и далее перевод М. Бородицкой.

Только закрою глаза –
Ты снова со мной,
Рядом со мной
В Портофино...

(ит.)

Магазин подержанной одежды (*искаж. фр.*).

Булочную (*искаж. ит.*).

Дорогая моя (*ит.*).

В Генуэзский аэропорт, будьте любезны... (ит.)

Зд.: оброк (*араб.*).

Зд.: проклятие (*араб.*).

Четыре недели (нем.).

«Бассейн» (*фр.*).

Кольцевая дорога (*искаж. фр.*).

Хватит! (араб.)

Рвать тебя хером! (*араб.*)

Лгун! Скотина! (араб.)

Всѣ (араб.).

Братишка! (*араб.*)

Сукина сына (*араб.*).

Привяжи осла там, где велел его хозяин! (араб.)

Предатель (*араб.*).

Боже упаси! (*ивр.*)